This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

Lieskov, N. S

БИБЛІОТЕКА
Н. Н. ЛѢШКОВСКАГО

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Rg

891.73
L711
ed. 3a
v.5-8

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИКЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Мы плыли по Ладожскому озеру отъ острова Коневца къ Валааму и на пути зашли по корабельной надобности въ пристань къ Корелѣ. Здѣсь многіе изъ насъ полюбопытствовали сойти на берегъ и съѣздили на добрыхъ чухонскихъ лошадкахъ въ пустынный городокъ. Затѣмъ капитанъ изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.

Послѣ посѣщенія Корелы, весьма естественно, что рѣчь зашла объ этомъ бѣдномъ, хотя и чрезвычайно старомъ русскомъ поселкѣ, грустнѣе котораго трудно что-нибудь выдумать. На суднѣ всѣ раздѣляли это мнѣніе, и одинъ изъ пассажировъ, человѣкъ склонный къ философскимъ обобщеніямъ и политической шутливости, замѣтилъ, что онъ никакъ не можетъ понять: для чего это неудобныхъ въ Петербургѣ людей принято отправлять куда-нибудь въ болѣе или менѣе отдаленныя мѣста, отчего, конечно, происходитъ убытокъ казнѣ на ихъ провозъ, тогда какъ тутъ же, вблизи столицы, есть на Ладожскомъ берегу такое превосходное мѣсто, какъ Корела, гдѣ любое вольномысліе и свободомысліе не могутъ устоять передъ апатіею населенія и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

— Я увѣренъ,—сказалъ этотъ путникъ:—что въ настоящемъ случаѣ непремѣнно виновата рутина, или въ крайнемъ случаѣ, можетъ-быть, недостатокъ подлежащихъ свѣдѣній.

Кто-то, часто здѣсь путешествующій, отвѣтилъ на это, что будто и здѣсь разновременно живали какіе-то изгнанники, но только всѣ они недолго будто выдерживали.

— Одинъ молодецъ изъ семинаристовъ сюда за грубость въ дьячки былъ присланъ (этого рода ссылки я уже и понять не могъ). Такъ пріѣхавши сюда, онъ долго храбрился и все надѣялся какое-то судбище поднять; а потомъ, какъ запилъ, такъ до того пилъ, что совсѣмъ съ ума сошелъ и послалъ такую просьбу, чтобы его лучше какъ можно скорѣе велѣли «разстрѣлять, или въ солдаты отдать, а за неспособностью повѣсить».

— Какая же на это послѣдовала резолюція?

— М... н... не знаю право; только онъ все равно этой резолюціи не дождался: самовольно повѣсился.

— И прекрасно сдѣлалъ,—откликнулся философъ.

— Прекрасно?—переспросилъ разсказчикъ, очевидно купецъ и притомъ человѣкъ солидный и религіозный.

— А что же? по крайней мѣрѣ умеръ и концы въ воду.

— Какъ же концы въ воду-съ? А на томъ свѣтѣ что ему будетъ? Самоубійцы, вѣдь они цѣлый вѣкъ будутъ мучиться. За нихъ даже и молиться никто не можетъ.

Философъ ядовито улыбнулся, но ничего не отвѣтилъ, но зато и противъ него, и противъ купца выступилъ новый оппоненгъ, неожиданно вступившійся за дьячка, совершившаго надъ собою смертную казнь безъ разрѣшенія начальства.

Это былъ новый пассажиръ, который ни для кого изъ насъ незамѣтно присѣлъ съ Коневца. Онъ до сихъ поръ молчалъ, и на него никто не обращалъ никакого вниманія, но теперь всѣ на него оглянулись и, вѣроятно, всѣ подивились: какъ онъ могъ до сихъ поръ оставаться незамѣченнымъ. Это былъ человѣкъ огромнаго роста, съ смуглымъ, открытымъ лицомъ и густыми, волнистыми волосами свинцоваго цвѣта: такъ странно отливала его просѣдь. Онъ былъ одѣтъ въ послушничьемъ подрясникѣ, съ широкимъ монастырскимъ ременнымъ поясомъ и въ высокомъ, черномъ суконномъ колпачкѣ. Послушникъ онъ былъ, или постриженный монахъ — этого отгадать было невозможно, потому что монахи Ладожскихъ островов не только въ путешествіяхъ, но и на самыхъ островахъ не всегда надѣваютъ камилавки, а въ сельской простотѣ ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впослѣдствіи чрезвычайно интереснымъ человѣкомъ, по виду можно было дать съ небольшимъ лѣтъ за пятьдесятъ; но

онъ былъ въ полномъ смыслѣ слова богатырь, и притомъ типическій, простодушный, добрый русскій богатырь, напоминающій дѣдушку Илью Муромца въ прекрасной картинѣ Верещагина и въ поэмѣ графа А. К. Толстого. Казалось, что ему бы не въ ряскѣ ходить, а сидѣть бы ему на «чубаромъ» да ѣздить въ лаптищахъ по лѣсу и лѣниво нюхать, какъ «смолой и земляникой пахнетъ темный боръ».

Но, при всемъ этомъ добромъ простодушіи, немного надо было наблюдательности, чтобы видѣть въ немъ человѣка много видѣвшаго и, что называется, «бывалаго». Онъ держался смѣло, самоувѣренно, хотя и безъ непріятной развязности, и заговорилъ пріятнымъ басомъ съ повадкою:

— Это все ничего не значитъ, — началъ онъ, лѣниво и мягко выпуская слово за словомъ изъ-подъ густыхъ, вверхъ по-гусарски закрученныхъ сѣдыхъ усовъ. — Я, что вы насчетъ того свѣта для самоубійцевъ говорите, что они будто никогда не простятся, не пріемлю. И что за нихъ будто некому молиться—это тоже пустяки, потому что есть такой человѣкъ, который все ихъ положеніе самымъ легкимъ маневромъ очень просто можетъ поправить.

Его спросили: кто же это такой человѣкъ, который вѣдаетъ и исправляетъ дѣла самоубійцъ послѣ ихъ смерти?

— А вотъ кто-съ, — отвѣчалъ богатырь-черноризецъ: — есть въ московской епархіи въ одномъ селѣ попикъ,—прегорчающій пьяница, котораго чуть было не разстригли,— такъ онъ ими орудуетъ.

— Какъ же вамъ это извѣстно?

— А помилуйте-съ, это не я одинъ знаю, а всѣ въ московскомъ округѣ про то знаютъ, потому что это дѣло шло черезъ самого высокопреосвященнаго митрополита Филарета.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказалъ, что все это довольно сомнительно.

Черноризецъ нимало не обидѣлся этимъ замѣчаніемъ и отвѣчалъ:

— Да-съ, оно по первому взгляду такъ-съ, сомнительно-съ. И что тутъ удивительнаго, что оно намъ сомнительнымъ кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не вѣрили, а потомъ, получивъ вѣрныя тому доказательства, увидали, что нельзя этому не вѣрить, и повѣрили.

Пассажиры пристали къ иноку съ просьбою разсказать

эту дивную исторію, и онъ отъ этого не отказался и началъ слѣдующее:

— Повѣствуютъ такъ, что пишетъ будто бы разъ одинъ благочинный высокопреосвященному владыкѣ, что будто бы, говоритъ, такъ и такъ, этотъ попикъ ужасная пьяница,— пьетъ вино и въ приходѣ не годится. И оно, это донесеніе, по одной сущности было справедливо. Владыко и велѣли прислать къ нимъ этого попика въ Москву. Посмотрѣли на него и видятъ, что, дѣйствительно, этотъ попикъ запивашка, и рѣшили, что быть ему безъ мѣста. Попикъ огорчился и даже пересталъ пить, и все убивается и оплакиваетъ: «до чего, думаетъ, я себя довелъ, и что мнѣ теперь больше дѣлать, какъ не руки на себя наложить? Это одно, говоритъ, мнѣ только и осталося: тогда, по крайней мѣрѣ, владыко сжалятся надъ моею несчастною семьею и дочери жениха дадутъ, чтобы онъ на мое мѣсто заступилъ и семью мою питалъ». Вотъ и хорошо: такъ онъ порѣшилъ настоятельно себя кончить и день къ тому опредѣлилъ, но только какъ былъ онъ человѣкъ доброй души, то подумалъ: «хорошо же; умереть-то я, положимъ, умру, а вѣдь я не скотина: я не безъ души, — куда потомъ моя душа пойдетъ?» И сталъ онъ отъ этого часу еще больше скорбѣть. Ну, хорошо: скорбитъ онъ и скорбитъ, а владыко рѣшили, что быть ему за его пьянство безъ мѣста, и легли однажды послѣ трапезы на диванчикъ съ книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этакъ только воздремали, какъ вдругъ видятъ, будто къ нимъ въ келію двери отворяются. Они и окликнули: «кто тамъ?» потому что думали, будто служка имъ про кого-нибудь доложить пришелъ; анъ, вмѣсто служки, смотрятъ — входитъ старецъ, добрый-предобрый, и владыко его сейчасъ узнали, что это преподобный Сергій.

Владыко и говорятъ:

— Ты ли это, пресвятой отче Сергіе?

А угодникъ отвѣчаетъ:

— Я, рабъ Божій Филаретъ.

Владыко спрашиваютъ:

— Что же твоей чистотѣ угодно отъ моего недостоинства?

А святой Сергій отвѣчаетъ:

— Милости хощу.

— Кому же повелишь явить ее?

А угодникъ и наименовалъ того попика, что за пьянство мѣста лишенъ, и самъ удалился; а владыко проснулись и думаютъ: «къ чему это причесть: простой это сонъ, или мечтаніе, или духоводительное видѣніе?» И стали они размышлять и, какъ мужъ ума во всемъ свѣтѣ именитаго, находятъ, что это простой сонъ, потому что статочное ли дѣло, что святой Сергій, постникъ и добраго, строгаго житія блюститель, ходатайствовалъ объ іереѣ слабомъ, творящемъ житіе съ небреженіемъ. Ну-съ, хорошо: разсудили такъ его высокопреосвященство и оставили все это дѣло естественному онаго теченію, какъ было начато, а сами провели время, какъ имъ надлежало, и отошли опять въ должный часъ ко сну. Но только что они снова опочили, какъ снова видѣніе, и такое, что великій духъ владыки еще въ большее смятеніе повергло. Можете вообразить: грохотъ... такой странный грохотъ, что ничѣмъ его невозможно выразить... Скачутъ... числа имъ нѣтъ сколько рыцарей... несутся, всѣ въ зеленомъ убранствѣ, латы и перья, и кони, что львы вороные, а впереди ихъ горделивый стратопедархъ въ такомъ же уборѣ, и куда помахнетъ темнымъ знаменемъ, туда всѣ и скачутъ, а на знамени змѣй. Владыко не знаютъ, къ чему этотъ поѣздъ, а оный горделивецъ командуетъ: «терзайте, говоритъ, ихъ: теперь нѣтъ ихъ молитвенника», и проскакалъ мимо; а за симъ стратопедархомъ — его воины, а за ними, какъ стая весеннихъ гусей тощихъ, потянулись скучныя тѣни и все киваютъ владыкѣ грустно и жалостно, и все сквозь плачъ тихо стонутъ: «отпусти его! — онъ одинъ за насъ молится». Владыко, какъ изволили встать, сейчасъ посылаютъ за пьянымъ попикомъ и разспрашиваютъ: какъ и за кого онъ молится? А попъ по бѣдности духовной весь передъ святителемъ растерялся и говоритъ: «я, владыко, какъ положено, совершаю». И насилу его высокопреосвященство добились, что онъ повинился: «виноватъ, говоритъ, въ одномъ, что самъ, слабость душевную имѣя и отъ отчаянія думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой проскомидіи за безъ покаянія скончавшихся и руки на ся наложившихъ молюсь...» Ну, тутъ владыко и поняли, что то за тѣни предъ нимъ въ видѣніи какъ тощіе гуси плыли, и не восхотѣли радовать тѣхъ демоновъ, что впереди ихъ спѣшили съ губительствомъ, и благословили попика: «ступай,

изволили сказать, и къ тому не согрѣшай, а за кого молился — молись», и опять его на мѣсто отправили. Такъ вотъ онъ, этакій человѣкъ, всегда таковымъ людямъ, что жизни боренія не переносятъ, можетъ быть полезенъ, ибо онъ уже отъ дерзости своего призванія не отступитъ и все будетъ за нихъ Создателю докучать, и Тотъ долженъ будетъ ихъ простить.

— Почему же *«долженъ»?*

— А потому, что «толцытеся»; вѣдь это отъ Него же самого повелѣно, такъ вѣдь уже это не перемѣнится же-съ.

— А скажите, пожалуйста, кромѣ этого московскаго священника, за самоубійцъ развѣ никто не молится.

— А не знаю, право, какъ вамъ на это что доложить? Не слѣдуетъ, говорятъ, будто бы за нихъ Бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочемъ, можетъ-быть, иные, сего не понимая, и о нихъ молятся. На Троицу, не то на Духовъ день, однако, кажется, даже всѣмъ позволено за нихъ молиться. Тогда и молитвы такія особенныя читаются. Чудесныя молитвы, чувствительныя; кажется, всегда бы ихъ слушалъ.

— А ихъ нельзя развѣ читать въ другіе дни?

— Не знаю-съ. Объ этомъ надо спросить у кого-нибудь изъ начитанныхъ; тѣ, думается, должны бы знать; да какъ мнѣ это ни къ чему, такъ и не доводилось объ этомъ говорить.

— А въ служеніи вы не замѣчали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

— Нѣтъ-съ, не замѣчалъ; да вы, впрочемъ, на мои слова въ этомъ не полагайтесь, потому что вѣдь я у службы рѣдко бываю.

— Отчего же это?

— Занятія мои мнѣ не позволяютъ.

— Вы іеромонахъ, или іеродіаконъ?

— Нѣтъ, я еще просто въ рясофорѣ.

— Все же вѣдь уже это, значитъ, вы инокъ?

— Н... да-съ; вообще это такъ почитаютъ.

— Почитать-то почитаютъ,—отозвался на это купецъ:— но только изъ рясофора-то еще можно и въ солдаты лобъ забрить.

Богатырь-черноризецъ нимало этимъ замѣчаніемъ не обидѣлся, а только поразмыслилъ немножко и отвѣчалъ:

— Да, можно, и, говорятъ, бывали такіе случаи; но только я уже старъ: пятьдесятъ третій годъ живу, да и мнѣ военная служба не въ диковину.

— Развѣ вы служили въ военной службѣ?

— Служилъ-съ.

— Что же, ты изъ ундеровъ, что ли? — снова спросилъ его купецъ.

— Нѣтъ, не изъ ундеровъ.

— Такъ кто же: солдатъ или вахтеръ, или помазокъ— чей возокъ?

— Нѣтъ, не угадали: но только я настоящій военный при полковыхъ дѣлахъ былъ почти съ самаго дѣтства.

— Значитъ, кантонистъ?— сердясь добивался купецъ.

— Опять же нѣтъ.

— Такъ прахъ же тебя разберетъ, кто же ты такой?

— Я *конэсеръ*.

— Что-о-о тако-о-е?

— Я конэсеръ-съ, конэсеръ, или, какъ простонароднѣе выразить, я въ лошадяхъ знатокъ и при ремонтерахъ состоялъ для ихъ руководствованія.

— Вотъ какъ!

— Да-съ, не одну тысячу коней отобралъ и отъѣздилъ. Такихъ звѣрей отучалъ, каковые, напримѣръ, бываютъ, что встаетъ на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчасъ сѣдоку сѣдельною лукою можетъ грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

— Какъ же вы такихъ усмиряли?

— Я... я очень просто, потому что я къ этому отъ природы своей особенное дарованіе получилъ. Я какъ вскочу, сейчасъ, бывало, не дамъ лошади опомниться, лѣвою рукою ее со всей силы за ухо да въ сторону, а правою кулакомъ между ушей по башкѣ, да зубами страшно на нее заскриплю, такъ у нея, у иной, даже инда мозгъ изо-лба въ ноздряхъ вмѣстѣ съ кровью покажется,— она и усмирѣетъ.

— Ну, а потомъ?

— Потомъ сойдешь, оглядишь, дашь ей въ глаза себѣ налюбоваться, чтобы въ памяти у нея хорошее воображеніе осталось, да потомъ сядешь опять и поѣдешь.

— И лошадь послѣ этого смирно идетъ?

— Смирно пойдетъ, потому лошадь умна, она чувствуетъ, какой человѣкъ съ ней обращается и какихъ онъ насчетъ

ея мыслей. Меня, напримѣръ, лошадь въ этомъ разсужденіи всякая любила и чувствовала. Въ Москвѣ, въ манежѣ, одинъ конь былъ, совсѣмъ у всѣхъ наѣздниковъ отъ рукъ отбился и изучилъ, профанъ, такую манеру, чтобы за колѣни сѣдока ѣсть. Просто, какъ чортъ, схватитъ зубищами, такъ всю колѣнную чашку и выщелушитъ. Отъ него много людей погибло. Тогда въ Москву англичанинъ Рарей пріѣзжалъ, — «бѣшеный усмиритель» онъ назывался, — такъ она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съѣла, а въ позоръ она его все-таки привела; но онъ тѣмъ отъ нея только и уцѣлѣлъ, что, говорятъ, стальной наколѣнникъ имѣлъ, такъ что она его хотя и ѣла за ногу, но не могла прокусить и сбросила, а то бы ему смерть; а я ее направилъ какъ должно.

— Разскажите, пожалуйста, какъ же вы это сдѣлали?

— Съ Божіею помощію-съ, потому что, повторяю вамъ, я къ этому даръ имѣю. Мистеръ Рарей этотъ, что называется «бѣшеный укротитель», и прочіе, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности въ поводахъ держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть; а я совсѣмъ противное тому средство изобрѣлъ: я, какъ только англичанинъ Рарей отъ этой лошади отказался, говорю: «ничего, говорю: — это самое пустое, потому что этотъ конь ничего больше, какъ бѣсомъ одержимъ». Англичанинъ этого не можетъ постичь, а я постигну и помогу. Начальство согласилось. Тогда я говорю: «выведите его за Драгомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-съ; свели мы его въ поводьяхъ въ лощину къ Филямъ, гдѣ лѣтомъ господа на дачахъ живутъ. Я вижу: тутъ мѣсто просторное и удобное, и давай дѣйствовать. Сѣлъ на него, на этого людоѣда, безъ рубахи, босой, въ однѣхъ шароварахъ, да въ картузѣ, а по голому тѣлу имѣлъ тесменный поясокъ отъ святого, храбраго князя Всеволода-Гавріила изъ Новгорода, котораго я за молодечество его сильно уважалъ и въ него вѣрилъ; а на томъ пояскѣ его надпись заткана: «*чести моей никому не отдамъ*». Въ рукахъ же у меня не было никакого особаго инструмента, какъ опричь въ одной — крѣпкая татарская нагайка съ свинцовымъ головкомъ, въ концѣ такъ не болѣе, яко въ два фунта, а въ другой — простой муравный горшокъ съ жидкимъ тѣстомъ. Ну-съ, усѣлся я, а четверо человѣкъ тому коню морду поводьями въ разныя стороны

тащутъ, чтобы онъ на котораго-нибудь изъ нихъ зубомъ не кинулся. А онъ, бѣсъ, видя, что на него ополчаемся, и ржетъ, и визжитъ, и потѣетъ, и весь отъ злости трусится, сожрать меня хочетъ. Я это вижу и велю конюхамъ: «тащите, говорю, скорѣе съ него, мерзавца, узду долой». Тѣ ушамъ не вѣрятъ, что я имъ такое даю приказаніе, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите? Что я вамъ приказываю—то вы сейчасъ исполнять должны!» А они отвѣчаютъ: «что ты, Иванъ Северьянычъ (меня въ міру Иванъ Северьянычъ, господинъ Флягинъ, звали): какъ, говорятъ, это можно, что ты велишь узду снять?» Я на нихъ сердиться началъ, потому что наблюдаю и чувствую въ ногахъ, какъ конь отъ ярости бѣсится, и его хорошенько подавилъ въ колѣняхъ, а имъ кричу: «снимай!» Они было еще слово; но тутъ уже и я совсѣмъ разсвирѣпѣлъ, да какъ заскриплю зубами—они сейчасъ въ одно мгновеніе узду сдернули, да сами, кто куда видитъ, бросились бѣжать, а я ему въ ту же минуту сейчасъ первое, чего онъ не ожидалъ, трахъ горшокъ объ лобъ: горшокъ разбилъ, а тѣсто ему и потекло и въ глаза, и въ ноздри. Онъ испужался, думаетъ: «что̀ это такое?» А я скорѣе схватилъ съ головы картузъ въ лѣвую руку и прямо имъ коню еще больше на глаза тѣста натираю, а нагайкой его по боку щёлкъ... Онъ ёкъ да впередъ, а я его картузомъ по глазамъ тру, чтобы ему совсѣмъ зрѣніе въ глазахъ замутить, а нагайкой еще по другому боку... Да и пошелъ, да и пошелъ его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своимъ картузомъ по мордѣ тѣсто размазываю, слѣплю; зубнымъ скрежетомъ въ трепетъ привожу, пугаю, а по бокамъ съ обѣихъ сторонъ нагайкой деру, чтобы понималъ, что это не шутка... Онъ это понялъ и не сталъ на одномъ мѣстѣ упорствовать, а ударился меня носить. Носилъ онъ меня, сердечный, носилъ, а я его поролъ да поролъ, такъ что чѣмъ усерднѣе онъ носится, тѣмъ и я для него еще ревностнѣе плетью стараюсь, и, наконецъ, оба мы отъ этой работы стали уставать: у меня плечо ломитъ и рука не поднимается, да и онъ, смотрю, уже пересталъ коситься и языкъ изо рта вонъ посунулъ. Ну, тутъ я вижу, что онъ пардону проситъ, поскорѣе съ него сошелъ, протеръ ему глаза, взялъ за вихорь и говорю: «стой, собачье мясо, песья снѣдь!» да какъ дерну его книзу—онъ

на колѣни передо мною и палъ, и съ той поры такой скромникъ сдѣлался, что лучше требовать не надо: и садиться давался, и ѣздилъ, но только скоро издохъ.

— Издохъ однако?

— Издохъ-съ; гордая очень тварь былъ, поведеніемъ смирился, но характера своего, видно, не могъ преодолѣть. А господинъ Рарей меня тогда, объ этомъ прослышавъ, къ себѣ въ службу приглашалъ.

— Что же, вы служили у него?

— Нѣтъ-съ.

— Отчего же?

— Да какъ вамъ сказать! Первое дѣло, что я вѣдь былъ конэсеръ и больше къ этой части привыкъ—для выбора, а не для отъѣздки, а ему нужно было только для одного бѣшенаго усмирительства, а второе, что это съ его стороны, какъ я полагаю, была одна коварная хитрость.

— Какая же?

— Хотѣлъ у меня секретъ взять.

— А вы бы ему продали?

— Да, я бы продалъ.

— Такъ за чѣмъ же дѣло стало?

— Такъ... онъ самъ меня, должно быть, испугался.

— Разскажите, сдѣлайте милость, что̀ это еще за исторія?

— Никакой-съ особенной исторіи не было, а только онъ говоритъ: «открой мнѣ, братецъ, твой секретъ, — я тебѣ большія деньги дамъ и къ себѣ въ конэсеры возьму». Но какъ я никогда не могъ никого обманывать, то и отвѣчаю: «какой же секретъ? — это глупость». А онъ все съ аглицкой, ученой точки беретъ, и не повѣрилъ; говоритъ: «ну, если ты не хочешь такъ, въ своемъ видѣ, открыть, то давай съ тобою вмѣстѣ ромъ пить». Послѣ этого мы пили вдвоемъ съ нимъ очень много рому, до того, что онъ раскраснѣлся и говоритъ, какъ умѣлъ: «ну, теперь, молъ, открывай, что̀ ты съ конемъ дѣлалъ?» А я отвѣчаю: «вотъ что...» да глянулъ на него какъ можно пострашнѣе и зубами заскрипѣлъ, а какъ горшка съ тѣстомъ на ту пору при себѣ не имѣлъ, то взялъ да для примѣру стаканомъ на него размахнулъ, а онъ вдругъ, это видя, какъ нырнетъ — и спустился подъ столъ, да потомъ какъ шаркнетъ въ двери, да и былъ таковъ, и негдѣ его стало и искать. Такъ съ тѣхъ поръ мы съ нимъ уже и не видались.

— Поэтому вы къ нему и не поступили?

— Поэтому-съ. Да и какъ же поступить, когда онъ съ тѣхъ поръ даже встрѣтить меня опасался? А я бы очень къ нему тогда хотѣлъ, потому что онъ мнѣ, пока мы съ нимъ на ромѣ на этомъ состязались, очень понравился; но вѣрно своего пути не обѣжишь, и надо было другому призванію послѣдовать.

— А вы что же почитаете своимъ призваніемъ?

— А не знаю, право, какъ вамъ сказать... Я вѣдь много что происходилъ; мнѣ доводилось быть-съ и на коняхъ, и подъ конями, и въ плѣну былъ, и воевалъ, и самъ людей билъ, и меня увѣчили, такъ что, можетъ-быть, не всякій бы вынесъ.

— А когда же вы въ монастырь пошли?

— Это недавно-съ, всего нѣсколько лѣтъ послѣ всей прошедшей моей жизни.

— И тоже призваніе къ этому почувствовали?

— М... н... н... не знаю, какъ это объяснить... впрочемъ, надо полагать, что имѣлъ-съ.

— Почему же вы это такъ... какъ будто не навѣрное говорите?

— Да потому, что какъ же навѣрное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?

— Это отчего?

— Оттого-съ, что я многое даже не своею волею дѣлалъ.

— А чьею же?

— По родительскому обѣщанію.

— И что же такое съ вами происходило по родительскому обѣщанію?

— Всю жизнь свою я погибалъ и никакъ не могъ погибнуть.

— Будто такъ?

— Именно такъ-съ.

— Разскажите же намъ, пожалуйста, вашу жизнь.

— Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу разсказать, но только я иначе не могу-съ, какъ съ самаго первоначала.

— Сдѣлайте одолженіе. Это тѣмъ интереснѣе будетъ.

— Ну, ужъ не знаю-съ, будетъ ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Бывшій конэсеръ Иванъ Северьянычъ, господинъ Флягинъ, началъ свою повѣсть такъ:

— Я родился въ крѣпостномъ званіи и происхожу изъ дворовыхъ людей графа К. изъ орловской губерніи. Теперь эти имѣнія при молодыхъ господахъ расплылись, но при старомъ графѣ были очень значительны. Въ селѣ Г., гдѣ самъ графъ изволилъ жить, былъ громадный великій домина, флигеля для пріѣзду, театръ, особая кегельная галлерея, псарня, живые медвѣди на столбу сидѣли, оранжереи, сады, свои пѣвчіе концерты пѣли, свои актеры всякія сцены представляли; были свои ткацкія и всякія свои мастерства содержались; но болѣе всего обращалось вниманіе на конный заводъ. Ко всякому дѣлу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще въ особомъ вниманіи и все равно какъ въ военной службѣ отъ солдата въ прежнія времена кантонистъ происходилъ, чтобы сражаться, такъ и у насъ отъ кучера шелъ кучеренокъ, чтобы ѣздить, отъ конюха — конюшонокъ, чтобы за лошадьми ходить, а отъ кормового мужика кормовикъ, чтобы съ гумна на ворки кормъ возить. Мой родитель былъ кучеръ Северьянъ, и хотя приходился онъ не изъ самыхъ первыхъ кучеровъ, потому что у насъ ихъ было большое множество; но, однако, онъ шестерикомъ правилъ, и въ царскій проѣздъ одинъ разъ въ седьмомъ номерѣ былъ и старинною синею ассигнаціею жалованъ. Отъ родительницы своей я въ самомъ юномъ сиротствѣ остался и ее не помню, потому какъ я былъ у нея *молитвенный сынъ*, значитъ, она, долго дѣтей не имѣя, меня себѣ у Бога все выпрашивала, и какъ выпросила, такъ сейчасъ же, меня породивши, и умерла, оттого, что я произошелъ на свѣтъ съ необыкновенною большою головою, такъ что меня поэтому и звали не Иванъ Флягинъ, а просто *Голованъ*. Живучи при отцѣ на кучерскомъ дворѣ, всю жизнь свою я проводилъ на конюшнѣ, и тутъ я постигъ тайну познанія въ животномъ и, можно сказать, возлюбилъ коня, потому что маленькимъ еще на четвереньках я у лошадей промежъ ногъ ползалъ и онѣ меня не увѣчили, а подросъ—такъ и совсѣмъ съ ними спознался. Заводъ у насъ былъ отдѣльно,—конюшни отдѣльно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовыхъ воспи-

томковъ и обучали ихъ. У насъ у всякаго кучера съ форейторомъ были шестерики и все разныхъ сортовъ: вятки, казанки, калмыки, битюгскіе, донскіе,—все это были изъ приводныхъ коней, которые по ярмаркамъ покупались, а то, разумѣется, больше было своихъ заводскихъ, но про этихъ говорить не стоитъ, потому что заводскіе кони смирные и ни сильнаго характера, ни фантазіи веселой не имѣютъ; а вотъ эти дикари, это ужасные были звѣри. Покупаетъ ихъ, бывало, графъ прямо цѣлыми косяками, какъ есть весь табунъ, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и какъ скоро мы ихъ домой пригонимъ, сейчасъ начинаемъ ихъ школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнутъ, а воспитанію не подаются: стоятъ на дворѣ—все дивятся и даже отъ стѣнъ шарахаются, а все только на небо, какъ птицы, глазами косятъ. Даже инда жалость, глядя на иного, возьметъ, потому что видишь, что вотъ такъ бы онъ, кажется, сердечный, и улетѣлъ, да крылышекъ у него нѣтъ... И овса или воды изъ корыта ни за что по первоначалу ни пить, ни ѣсть не станетъ, и такъ все сохнетъ, сохнетъ, пока изведется совсѣмъ и околѣетъ. Иногда этой траты бываетъ болѣе, какъ на половину того, что купимъ, а особенно изъ киргизскихъ. Ужасно они степную волю любятъ. Но зато, которые оборкаются и останутся жить, изъ тѣхъ тоже не малое число, учивши, покалѣчить придется, потому что на ихъ дикость одно средство—строгость, но зато уже которые все это воспитаніе и науку вынесутъ, такъ изъ этихъ такая отборность выходитъ, что никогда съ ними никакой заводской лошади не сравниться по ѣздовой добродѣтели.

Родитель мой, Северьянъ Иванычъ, правилъ киргизскимъ шестерикомъ, а когда я подросъ, такъ меня къ нему въ этотъ же шестерикъ форейторомъ посадили. Лошади были жестокія, не то, что нынѣшнія какія-нибудь кавалерійскія, что для офицеровъ берутъ. Мы этихъ офицерскихъ кофишенками звали потому, что на нихъ нѣтъ никакого удовольствія ѣхать, такъ какъ на нихъ офицеры даже могутъ сидѣть, а тѣ были просто звѣрь, аспидъ и василискъ, все вмѣстѣ: морды эти однѣ чего стоили, или оскалъ, либо ножищи, или гривье... ну, то-есть, просто сказать ужасть! Устали онѣ никогда не знали; не только что восемьдесятъ, а даже сто и сто пятнадцать верстъ изъ деревни до Орла

или назадъ домой такимъ же манеромъ, это имъ, бывало, безъ отдыха нипочемъ сдѣлать. Какъ разнесутся, такъ только гляди, чтобы мимо не пролетѣли. А мнѣ въ ту пору, какъ я на форейторскую подсѣдельную сѣлъ, было еще всего одиннадцать лѣтъ и голосъ у меня былъ настоящій такой, какъ по тогдашнему приличію для дворянскихъ форейторовъ требовалось: самый пронзительный, звонкій и до того продолжительный, что я могъ это «дддиди-и-и-ттты-о-о» завести и полчаса этакъ звенѣть; но въ тѣлѣ своемъ силами я еще не могучъ былъ, такъ что дальніе пути не могъ свободно верхомъ переносить и меня еще присѣдлывали къ лошади, то-есть къ сѣдлу и къ подпругамъ, ко всему ремнями умотаютъ и сдѣлаютъ такъ, что упасть нельзя. Расколотитъ на смерть и даже не одинъ разъ сомлѣешь и чувство потеряешь, а все въ своей позиціи верхомъ ѣдешь, и опять, наскучивъ мотаться, въ себя придешь. Должность не легкая, за дорогу, бывало, нѣсколько разъ такія перемѣны происходятъ, то ослабѣешь, то исправишься, а дома отъ сѣдла совсѣмъ уже какъ неживого отрѣшатъ, положатъ и станутъ давать хрѣнъ нюхать; ну, а потомъ привыкъ и все это нипочемъ сдѣлалось; еще, бывало, ѣдешь да все норовишь какого-нибудь встрѣчнаго мужика кнутомъ по рубахѣ вытянуть. Это форейторское озорство уже извѣстно. Вотъ этакъ мы разъ и ѣдемъ съ графомъ въ гости. Погода лѣтняя, прекрасная, и графъ сидятъ съ собакою въ открытой коляскѣ, батюшка четверней правитъ, а я впереди задуваю, а дорога тутъ съ большака свертываетъ и идетъ особый поворотъ верстъ на пятнадцать къ монастырю, который называется П... пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивѣе къ нимъ ѣздить было: преестественно, тамъ на казенной дорогѣ нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчатъ; а у монаховъ къ пустынѣ дорожка въ чистотѣ, разметена вся и подчищена и по краямъ сажеными березками обросла и отъ тѣхъ березъ такая зелень и духъ, а вдаль полевой видъ обширный... Словомъ сказать,—столь хорошо, что вотъ такъ бы при всемъ этомъ и вскрикнулъ, а кричать, разумѣется, безъ пути нельзя, такъ я и держусь, скачу; но только вдругъ на третьей или четвертой верстѣ не доѣзжая монастыря, стало этакъ клонить подо взволочекъ и вдругъ я завидѣлъ тутъ впереди себя малую точку... что-то ползетъ

по дорогѣ, какъ ежикъ. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянулъ «дддд-и-и-и-т-т-т-ы-о-о», и съ версту все это звучалъ и до того разгорѣлся, что какъ стали мы нагонять парный возъ, на кого я кричалъ-то, я и сталъ въ стременахъ подниматься и вижу, что человѣкъ лежитъ на сѣнѣ на возу и какъ его вѣрно пріятно на свѣжемъ повѣтріи солнышкомъ пригрѣло, то онъ, ничего не опасаяся, крѣпко-прекрѣпко спитъ, такъ сладко вверхъ спиною раскинулся и даже руки врозь разложилъ, точно возъ обнимаетъ. Я вижу, что уже онъ не свернетъ, взялъ въ сторону, да поровнявшись съ нимъ, стоя на стременахъ, впервые тогда заскрипѣлъ зубами, да какъ полосну его во всю мочь вдоль спины кнутомъ. Его лошади какъ подхватятъ съ возомъ подъ гору, а онъ сразу какъ взметнется, старенькій этакой, вотъ въ такомъ, какъ я нонѣ, въ послушничьемъ колпачкѣ и лицо какое-то такое жалкое, какъ у старой бабы, да весь перепуганный и слезы текутъ, и ну виться на сѣнѣ, словно пескарь на сковородѣ, да вдругъ не разобралъ вѣрно съ просонья гдѣ край, да кувыркъ съ воза подъ колесо и въ пыли-то и поползъ... въ вожжи ногами замотался... Мнѣ и отцу моему, да и самому графу сначала это смѣшно показалось, какъ онъ кувыркнулся, а тутъ вижу я, что лошади внизу у моста зацѣпили колесомъ за надолбу и стали, а онъ не поднимается и не ворочается... Ближе подъѣхали, а гляжу онъ весь сѣрый въ пыли и на лицѣ даже носа не значится, а только трещина и изъ нея кровь... Графъ велѣли остановиться, сошли, посмотрѣли и говорятъ «убитъ». Погрозились мнѣ дома за это выпороть и велѣли скорѣй въ монастырь ѣхать. Оттуда людей послали на мостъ, а графъ тамъ съ игуменомъ переговорили и по осени отъ насъ туда въ дары цѣлый обозъ пошелъ съ овсомъ и съ мукою и съ сушеными карасями, а меня отецъ кнутомъ въ монастырѣ за сараемъ по штанамъ продралъ, но настояще пороть не стали, потому что мнѣ, по моей должности, сейчасъ опять верхомъ надо было садиться. Тѣмъ это дѣло и кончилось, но въ эту же самую ночь приходитъ ко мнѣ въ видѣніи этотъ монахъ, котораго я засѣкъ, и опять какъ баба плачетъ. Я говорю:

— Чего тебѣ отъ меня надо? пошелъ прочь!

А онъ отвѣчаетъ:

— Ты, говоритъ, меня безъ покаянія жизни рѣшилъ.

— Ну, мало чего нѣтъ,—отвѣчаю:—что же мнѣ теперь съ тобой дѣлать? Вѣдь я это не нарочно. Да и чѣмъ, говорю, тебѣ теперь худо? Умеръ ты и все кончено.

— Кончено-то,—говоритъ:—это, дѣйствительно, такъ, и я тебѣ очень за это благодаренъ, а теперь я пришелъ отъ твоей родной матери сказать тебѣ, что знаешь ли ты, что ты у нея *моленый сынъ?*

— Какъ же,—говорю:—слышалъ я про это, бабушка Ѳедосья мнѣ про это не разъ сказывала.

— А знаешь ли,—говоритъ:—ты еще и то, что ты *сынъ обѣщанный?*

— Какъ это такъ?

— А такъ,—говоритъ:—что ты Богу обѣщанъ.

— Кто же меня Ему обѣщалъ?

— Мать твоя.

— Ну, такъ пускай же,—говорю:—она сама придетъ мнѣ про это скажетъ, а то ты, можетъ-быть, это выдумалъ.

— Нѣтъ, я, — говоритъ: — не выдумывалъ, а ей придти нельзя.

— Почему?

— Такъ, — говоритъ: — потому, что у насъ здѣсь не то, что у васъ на землѣ: здѣшніе не всѣ говорятъ и не всѣ ходятъ, а кто чѣмъ одаренъ, тотъ то и дѣлаетъ. А если ты хочешь, говоритъ, такъ я тебѣ дамъ знаменіе въ удостовѣреніе.

— Хочу,—отвѣчаю:—только какое же знаменіе?

— А вотъ, — говоритъ: — тебѣ знаменіе, что будешь ты много разъ погибать и ни разу не погибнешь, пока придетъ твоя настоящая погибель и ты тогда вспомнишь материно обѣщаніе за тебя и пойдешь въ чернецы.

— Чудесно,—отвѣчаю:—согласенъ и ожидаю.

Онъ и скрылся, а я проснулся и про все это позабылъ и не чаю того, что всѣ эти погибели сейчасъ по ряду и начнутся. Но только черезъ нѣкоторое время поѣхали мы съ графомъ и съ графинею въ Воронежъ,—къ новоявленнымъ мощамъ маленькую графиньку косолапую на исцѣленіе туда везли,—и остановились въ елецкомъ уѣздѣ, въ селѣ Крутомъ, лошадей кормить, я и опять подъ колодой уснулъ, и вижу опять идетъ тотъ монашекъ, котораго я рѣшилъ, и говоритъ:

— Слушай, Голованька, мнѣ тебя жаль, просись скорѣй у господъ въ монастырь,—они тебя пустятъ.

Я отвѣчаю:—Это съ какой стати?

А онъ говоритъ:

— Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь.

Думаю, ладно; надо тебѣ что-нибудь каркать, когда я тебя убилъ, и съ этимъ всталъ, запрягъ съ отцомъ лошадей и выѣзжаемъ, а гора здѣсь прекрутая-крутищая и сбоку обрывъ, въ которомъ тогда не вѣсть что народу погибало. Графъ и говоритъ:

— Смотри, Голованъ, осторожнѣе.

А я на это ловокъ былъ и хоть вожжи отъ дышловыхъ, которымъ надо спускать, въ рукахъ у кучера, но я много умѣлъ отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые: могли такъ спускать, что просто хвостомъ на землю садились, но одинъ изъ нихъ, подлецъ, съ астрономіей былъ — какъ только его сильно потянешь, онъ сейчасъ голову кверху деретъ и прахъ его знаетъ куда на небо созерцаетъ. Эти астрономы въ корню—нѣтъ ихъ хуже, а особенно въ дышлѣ они самые опасные, за конемъ съ такою повадкою форейторъ завсегда смотри, потому что астрономъ самъ не зритъ какъ тычетъ ногами и не вѣсть куда попадаетъ. Все это я, разумѣется, за своимъ астрономомъ зналъ и всегда помогалъ отцу: своихъ подсѣдельную и подручную, бывало, на лѣвомъ локтѣ поводами держу и такъ ихъ ставлю, что онѣ хвостами дышловымъ въ самую морду приходятся, а дышло у нихъ промежду круповъ, а у самого у меня кнутъ всегда наготовѣ, у астронома передъ глазами, и чуть вижу, что онъ уже очень въ небо полѣзъ, я его по храпѣ, и онъ сейчасъ морду спуститъ и отлично съѣдемъ. Такъ и на этотъ разъ: спускаемъ экипажъ и я верчусь, знаете, передъ дышломъ и кнутомъ астронома остепеняю, какъ вдругъ вижу, что ужъ онъ ни отцовыхъ вожжей, ни моего кнута не чуетъ, весь ротъ въ крови отъ удиловъ и глаза выворотилъ, а самъ я вдругъ слышу сзади что-то заскрипѣло, да хлопъ, и весь экипажъ сразу такъ и посунулся... Тормозъ лопнулъ! Я кричу отцу: «держи! держи!» и онъ самъ ореть: «держи, держи!» А уже чего держать, когда весь шестерикъ, какъ прокаженные, несутся и сами ничего не видятъ, а передъ глазами у меня вдругъ что-то стрекнуло и смотрю отецъ съ козелъ долой летитъ... вожжа оборвалась... А впереди та страшная пропасть... Не знаю, жалко ли мнѣ господъ или себя стало,

но только я, видя неминуемую гибель, съ подсѣдельной бросился прямо на дышло и на концѣ повисъ... Не знаю опять, сколько тогда во мнѣ вѣсу было, но только на перевѣсѣ вѣдь это очень тяжело вѣситъ, и я дышловиковъ такъ сдушилъ, что они захрипѣли и... гляжу уже моихъ передовыхъ нѣтъ, какъ отрѣзало ихъ, а я вишу надъ самою пропастью, а экипажъ стоитъ и уперся въ коренныхъ, которыхъ я дышломъ подавилъ.

Тутъ только я опомнился и пришелъ въ страхъ и руки у меня оторвались, и я полетѣлъ и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю черезъ сколько времени и вижу, что я въ какой-то избѣ и здоровый мужикъ говоритъ мнѣ:

— Ну, что, неужели ты, малый, живъ?

Я отвѣчаю:

— Должно быть живъ.

— А помнишь ли, говоритъ,—что съ тобою было?

Я сталъ припоминать и вспомнилъ, какъ насъ лошади понесли и я на конецъ дышла бросился и повисъ надъ ямищей; а что̀ дальше было—не знаю.

А мужикъ и улыбается:

— Да и гдѣ же, говоритъ,—тебѣ это знать. Туда въ пропасть и кони-то твои передовые заживо не долетѣли—расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: какъ на глиняну глыбу сорвался, упалъ, такъ на ней внизъ какъ на салазкахъ и скатился. Думали мертвый совсѣмъ, а глядимъ ты дышишь, только воздухомъ духъ оморило. Ну, а теперь, говоритъ, если можешь, вставай, поспѣшай скорѣе къ угоднику: графъ деньги оставилъ, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если живъ будешь, къ нему въ Воронежъ привезть.

Я и поѣхалъ, но только всю дорогу ничего не говорилъ, а слушалъ, какъ этотъ мужикъ, который меня везъ, все на гармоніи «барыню» игралъ.

Какъ мы пріѣхали въ Воронежъ, графъ призвалъ меня въ комнаты и говоритъ графинюшкѣ:

— Вотъ, говоритъ,—мы, графинюшка, этому мальчишкѣ спасеніемъ своей жизни обязаны.

Графиня только головою закачала, а графъ говоритъ:

— Проси у меня, Голованъ, чего хочешь, — я все тебѣ сдѣлаю.

Я говорю:

— Я не знаю чего просить!

А онъ говоритъ:

— Ну, чего тебѣ хочется?

А я думалъ-думалъ, да говорю:

— Гармонію.

Графъ засмѣялся и говоритъ:

— Ну, ты взаправду дуракъ, а, впрочемъ, это само собою, я самъ, когда придетъ время, про тебя вспомню, а гармонію, говоритъ,—ему сейчасъ же купить.

Лакей сходилъ въ лавки и приноситъ мнѣ на конюшню гармонію:

— На, говоритъ, играй.

Я было ее взялъ и сталъ играть, но только вижу, что ничего не умѣю, и сейчасъ ее бросилъ, а потомъ ее у меня странницы на другой день изъ-подъ сарая и украли.

Мнѣ надо было бы этимъ случаемъ графской милости пользоваться, да тогда же, какъ монахъ совѣтовалъ, въ монастырь проситься; а я самъ не знаю зачѣмъ себѣ гармонію выпросилъ и тѣмъ первое самое призваніе опровергъ и оттого пошелъ отъ одной стражбы къ другой, все болѣе и болѣе претерпѣвая, но нигдѣ не погибъ, пока все мнѣ монахомъ въ видѣніи предреченное въ настоящемъ житейскомъ исполненіи оправдалось за мое недовѣріе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Не успѣлъ я, по семъ облагодѣтельствованіи своихъ господъ, вернуться съ ними домой на новыхъ лошадяхъ, коихъ мы въ Воронежѣ опять шестерикъ собрали, какъ прилучилося мнѣ завесть у себя въ конюшнѣ на полочкѣ хохлатыхъ голубей,—голубя и голубочку. Голубь былъ глинистаго пера, а голубочка бѣленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мнѣ нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркуетъ, такъ это пріятно слушать, а днемъ они между лошадей летаютъ и въ ясли садится, кормъ клюютъ и сами съ собою цѣлуются... Утѣшно на все на это молодому ребенку смотрѣть.

И пошли у нихъ послѣ этого цѣлованія дѣти; одну пару вывели и опять эти растутъ, а они цѣловались-цѣловались, да и опять на яички сѣли и еще вывели... Маленькіе такіе эти голубяточки, точно въ шерсти, а пера нѣтъ, и желтые какъ бываютъ ядрышки на травѣ, что зовутъ «кошачьи

просвирки», а носы, притомъ, не хуже какъ у черкесскихъ князей, здоровенные... Сталъ я ихъ, этихъ голубятокъ, разглядывать и, чтобы ихъ не помять, взялъ одного за носикъ и смотрѣлъ, смотрѣлъ на него и засмотрѣлся, какой онъ нѣжный, а голубь его у меня все отбиваетъ. Я съ нимъ и забавлялся,—все его этимъ голубенкомъ дразню; да потомъ какъ сталъ пичужку назадъ въ гнѣздо класть, а онъ уже и не дышитъ. Этакая досада; я его и въ горстяхъ-то грѣлъ и дышалъ на него, все оживить хотѣлъ;—нѣтъ, пропалъ да и полно! Я разсердился, взялъ да и вышвырнулъ его вонъ за окно. Ну, ничего; другой въ гнѣздѣ остался, а этого, дохлаго, откуда ни возьмись, бѣлая кошка какая-то мимо бѣжала и подхватила, и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо замѣтилъ, что она вся бѣлая, а на лобочкѣ какъ шапочка черное пятнышко. Ну, да думаю себѣ, прахъ съ ней, — пусть она мертваго ѣстъ. Но только ночью я сплю и вдругъ слышу на полочкѣ надъ моей кроватью голубь съ кѣмъ-то сердито бьется. Я вскочилъ и гляжу, а ночь лунная и мнѣ видно, что это опять та же кошечка бѣлая уже другого живого моего голубенка тащитъ.

— Ну, думаю, нѣтъ, зачѣмъ же, молъ, это такъ дѣлать? да вдогонку за нею и швырнулъ сапогомъ, но только не попалъ, — такъ она моего голубенка унесла и вѣрно гдѣ-нибудь съѣла. Осиротѣли мои голубки, но недолго поскучали и начали опять цѣловаться и опять у нихъ парка дѣтей готовы, а та проклятая кошка опять какъ тутъ... Лихо ее знаетъ, какъ это она все это наблюдала, но только гляжу я, одинъ разъ она среди бѣлаго дня опять голубенка волочитъ, да такъ ловко, что мнѣ и швырнуть-то за ней нечѣмъ было. Но зато же я рѣшился ее пробрать и настроилъ въ окнѣ такой силокъ, что чуть она ночью морду показала, тутъ ее сейчасъ и прихлопнуло, и она сидитъ и жалится, мяучитъ. Я ее сейчасъ изъ силка вынулъ, воткнулъ ее мордою и передними лапами въ голенище, въ сапогъ, чтобы она не царапалась, а заднія лапки вмѣстѣ съ хвостомъ забралъ въ лѣвую руку, въ рукавицу, а въ правую кнутъ со стѣны снялъ, да и пошелъ ее на своей кровати учить. Кнутовъ, я думаю, сотни полторы я ей закатилъ и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее изъ сапога вынулъ и думаю: издохла или не издохла? Семъ, думаю, испробовать, жива она или

нѣтъ? и положилъ я ее на порогъ да топорикомъ хвостъ ей и отсѣкъ: она этакъ «мяя», вся вздрогнула и перекрутилась разъ десять, да и побѣжала.

— Хорошо, думаю, теперь ты сюда, небось, въ другой разъ на моихъ голубятъ не пойдешь; а чтобы ей еще страшнѣе было, такъ я на утро взялъ да и хвостъ ея, который отсѣкъ, гвоздикомъ у себя надъ окномъ снаружи приколотилъ, и очень этимъ былъ доволенъ. Но только такъ черезъ часъ или не болѣе какъ черезъ два, смотрю, вбѣгаетъ графинина горничная, которая отъ-роду у насъ на конюшнѣ никогда не была, и держитъ надъ собой въ рукѣ зонтикъ, а сама кричитъ:

— Ага, ага! вотъ это кто! вотъ это кто!

Я говорю:

— Что такое?

— Это ты, говоритъ, — Зозиньку изувѣчилъ? Признавайся: это вѣдь у тебя ея хвостикъ надъ окномъ приколоченъ?

Я говорю:

— Ну такъ что же такое за важность, что хвостикъ приколоченъ?

— А какъ же ты, говоритъ, это смѣлъ?

— А она, молъ, какъ смѣла моихъ голубятъ ѣсть?

— Ну, важное дѣло твои голубята.

— Да и кошка, молъ, тоже небольшая барыня.

Я уже, знаете, на возрастѣ-то поругиваться сталъ.

— Что, говорю, за штука такая кошка.

А та стрекоза:

— Какъ ты эдакъ смѣешь говорить: ты развѣ не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала; да съ этимъ ручкою хвать меня по щекѣ, а я, какъ самъ тоже съ дѣтства былъ скоръ на руку, долго не думая, схватилъ отъ дверей грязную метлу, да ее метлою по таліи...

Боже мой, что̀ тутъ поднялось! Повели меня въ контору къ нѣмцу управителю судить, и онъ разсудилъ, чтобы меня какъ можно жесточе выпороть и потомъ съ конюшни долой и въ аглицкій садъ для дорожки молоткомъ камешки бить... Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не могъ, и къ отцу на рогожѣ снесли, но это бы мнѣ ничего, а вотъ послѣднее осужденіе, чтобы стоять на колѣняхъ да камешки бить... это уже домучило меня до того, что я думалъ - ду-

малъ, какъ себѣ помочь, и рѣшился съ своею жизнью покончить. Припасъ я себѣ крѣпкую сахарную веревочку, у лакейченка ее выпросилъ, и пошелъ вечеромъ выкупался, а оттудова въ осиновый лѣсокъ за огуменникомъ, сталъ на колѣни, помолился за вся христіаны, привязалъ ту веревочку за сукъ, затравилъ петлю и всунулъ въ нее голову. Осталося скакнуть, да и вся бъ недолга была... Я бы все это отъ своего характера пресвободно и исполнилъ, но только-что размахнулся да соскочилъ съ сука и повисъ, какъ, гляжу, уже я на землѣ лежу, а передо мною стоитъ цыганъ съ ножомъ и смѣется, — бѣлые-пребѣлые зубы, да такъ ночью середь черной морды и сверкаютъ.

— Что это, говоритъ,—ты, батракъ, дѣлаешь?

— А тебѣ, молъ, что до меня за надобность?

— Или, пристаетъ,—тебѣ жить худо?

— Видно, говорю,—не сахарно.

— Такъ чѣмъ своей рукой вѣшаться, пойдемъ, говоритъ,—лучше съ нами жить, авось иначе повиснешь.

— А вы кто такіе и чѣмъ живете? Вы, вѣдь, небось, воры?

— Воры, говоритъ,—мы и воры, и мошенники.

— Да; вотъ видишь, говорю,—а при случаѣ, молъ, вы, пожалуй, небось, и людей рѣжете?

— Случается, говоритъ,—и это дѣйствуемъ.

Я подумалъ - подумалъ: что̀ тутъ дѣлать: дома завтра и послѣзавтра опять все то же самое, стой на дорожкѣ на колѣняхъ, да тюпъ да тюпъ молоточкомъ камешки бей, а у меня отъ этого рукомесла уже на колѣнкахъ наросты пошли и въ ушахъ одно слышаніе было какъ надо мною всѣ насмѣхаются, что осудилъ меня вражій нѣмецъ за кошкинъ хвостъ цѣлую гору камня перемусорить. Смѣются всѣ: «А еще, говорятъ, спаситель называешься: господамъ жизнь спасъ». Просто терпѣнія моего не стало и, взгадавъ все это, что если не удавиться, то опять къ тому же надо вернуться, махнулъ я рукою, заплакалъ и пошелъ въ разбойники.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Тутъ этотъ хитрый цыганъ не далъ мнѣ опомниться и говоритъ:

— Чтобъ я, говоритъ, тебѣ повѣрилъ, что ты назадъ не

уйдешь, ты долженъ мнѣ сейчасъ изъ барской конюшни пару коней вывести, да бери коней такихъ самыхъ наилучшихъ, чтобы мы на нихъ до утра далеко могли ускакать.

Я закручинился: страсть какъ мнѣ не хотѣлось воровать, однако, видно, назвавшись груздемъ, полѣзешь и въ кузовъ; и я, знавши въ конюшнѣ всѣ ходы и выходы, безъ труда вывелъ за гумно пару лихихъ коней, кои совсѣмъ устали не вѣдали, а цыганъ еще до того сейчасъ досталъ изъ кармана на шнурочкѣ волчьи зубы и повѣсилъ ихъ и одному, и другому коню на шеи, и мы съ цыганомъ сѣли на нихъ и поѣхали. Лошади, чуя на себѣ волчью кость, такъ неслись, что и сказать нельзя, и мы на нихъ къ утру стали за сто верстъ подъ городомъ Карачевомъ. Тутъ мы этихъ коней вразъ продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли къ одной рѣчкѣ и стали дѣлиться. За коней мы взяли триста рублей, разумѣется по-тогдашнему, на ассигнацію, а цыганъ мнѣ даетъ всего одинъ серебряный цѣлковый и говоритъ:

— Вотъ тебѣ твоя доля.

Мнѣ это обидно показалось.

— Какъ, говорю,—я же тѣхъ лошадей кралъ и за то больше тебя пострадать могъ, а за что же моя доля такая маленькая?

— Потому, отвѣчаетъ,—что такая выросла.

— Это, говорю, — глупости: почему же ты себѣ много берешь?

— А, опять, говоритъ,—потому, что я мастеръ, а ты еще ученикъ.

— Что, говорю, ученикъ, — ты это все врешь! да и пошло у насъ съ нимъ слово за слово и оба мы поругались. А наконецъ, я говорю: я съ тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлецъ.

А онъ отвѣчаетъ:

— И отстань, братецъ, Христа ради, потому что ты безпачпортный, еще съ тобою спутаешься.

Такъ мы и разошлись, и я было пошелъ къ засѣдателю, чтобы объявиться, что я бѣглый, но только разсказалъ я эту свою исторію его писарю, а тотъ мнѣ и говоритъ:

— Дуракъ ты, дуракъ: на что тебѣ объявляться; есть у тебя десять рублей?

— Нѣтъ, говорю, — у меня одинъ цѣлковый есть, а десяти рублей нѣту.

— Ну такъ, можетъ-быть, еще что-нибудь есть, можетъ-быть, серебряный крестъ на шеѣ, или вонъ это что у тебя въ ухѣ: серьга?

— Да, говорю,—это сережка.

— Серебряная?

— Серебряная, и крестъ, молъ, тоже имѣю отъ Митрофанія серебряный.

— Ну, скидавай, говоритъ, — ихъ скорѣе и давай ихъ мнѣ, я тебѣ отпускной видъ напишу и уходи въ Николаевъ, тамъ много людей нужно и страсть что туда отъ насъ бродягъ бѣжитъ.

Я ему отдалъ цѣлковый, крестъ и сережку, а онъ мнѣ видъ написалъ и засѣдателеву печать приложилъ и говоритъ:

— Вотъ за печать съ тебя надо бы прибавку, потому что я такъ со всѣхъ беру, но только уже жалѣю твою бѣдность и не хочу, чтобы моихъ рукъ виды не въ совершенствѣ были. Ступай, говоритъ, и кому еще нужно — ко мнѣ посылай.

— Ладно, думаю: хорошъ милостивецъ: крестъ съ шеи снялъ, да еще и жалѣетъ. Никого я къ нему не посылалъ, а все только шелъ Христовымъ именемъ безъ грошика мѣднаго.

Прихожу въ этотъ городъ и сталъ на торжокъ, чтобы наниматься.—Народу наемнаго самая малость вышла,—всего три человѣка и тоже все должно быть точно такіе какъ я, полубродяжки, а нанимать выбѣжало много людей и всѣ такъ насъ нарасхватъ и рвутъ, тотъ къ себѣ, а этотъ на свою сторону. На меня напалъ одинъ баринъ, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всѣхъ отъ меня отпихнулъ и схватилъ меня за обѣ руки и поволокъ за собою: самъ меня ведетъ, а самъ другихъ во всѣ стороны кулаками расталкиваетъ и преподло бранится, а у самого на глазахъ слезы. Привелъ онъ меня въ домишко, не вѣсть изъ чего наскоро сколоченный, и говоритъ:

— Скажи правду: ты вѣдь бѣглый?

Я говорю:

— Бѣглый.

— Воръ, говоритъ,—или душегубецъ, или просто бродяга?

Я отвѣчаю:

— На что вамъ это разспрашивать?

— А чтобы лучше знать, къ какой ты должности годенъ.

Я разсказалъ все, отчего я сбѣжалъ, а онъ вдругъ кинулся меня цѣловать и говоритъ:

— Такого мнѣ и надо; такого мнѣ и надо! Ты, говоритъ, вѣрно, если голубятъ жалѣлъ, такъ ты можешь мое дитя выходить: я тебя въ няньки беру.

Я ужаснулся:

— Какъ, говорю:—въ няньки? я къ этому обстоятельству совсѣмъ не сроденъ.

— Нѣтъ, это пустяки, говоритъ, пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мнѣ бѣда, потому что у меня жена съ ремонтеромъ отсюда съ тоски сбѣжала и оставила мнѣ грудную дочку, а мнѣ ее кормить некогда и нечѣмъ, такъ ты ее мнѣ выкормишь, а я тебѣ по два цѣлковыхъ въ мѣсяцъ стану жалованья платить.

— Помилуйте, отвѣчаю,—тутъ не о двухъ цѣлковыхъ, а какъ я въ этой должности справлюсь?

— Пустяки, говоритъ:—вѣдь ты русскій человѣкъ? Русскій человѣкъ со всѣмъ справится.

— Да, что же, молъ,—хоть и я русскій, но вѣдь я мужчина, и чего нужно чтобы грудное дитя воспитывать, тѣмъ не одаренъ.

— А я, говоритъ, — на этотъ счетъ тебѣ въ помощь у жида козу куплю: ты ее дой и тѣмъ молочкомъ мою дочку воспитывай.

Я задумался и говорю:

— Конечно, молъ, съ козою отчего дитя не воспитать, но только все бы, говорю, кажется, вамъ женщину къ этой должности лучше имѣть.

— Нѣтъ, ты мнѣ про женщинъ, пожалуйста, отвѣчаетъ,—не говори: изъ-за нихъ-то тутъ всѣ исторіи и поднимаются, да и брать ихъ не откуда, а ты, если мое дитя няньчить не согласишься, такъ я сейчасъ казаковъ позову и велю тебя связать да и въ полицію, а оттуда по пересылкѣ отправятъ. Выбирай теперь, что тебѣ лучше: опять у своего графа въ саду на дорожкѣ камни щелкать, или мое дитя воспитывать?

Я подумалъ: нѣтъ, уже назадъ не пойду, и согласился остаться въ нянькахъ. Въ тотъ же день мы купили у жида бѣлую козу съ козленочкомъ. Козленочка я закололъ, и мы его съ моимъ бариномъ въ лапшѣ съѣли, а козочку я подоилъ и ея молочкомъ началъ дитя питать. Дитя было ма-

ленькое и такое поганое, жалкое: все пищитъ. Баринъ мой, отецъ его, изъ полячковъ былъ чиновникъ и никогда, прохвостикъ, дома не сидѣлъ, а все бѣгалъ по своимъ товарищамъ въ карты играть, а я одинъ съ этой моей воспитомкой, съ дѣвчурочкой, и страшно я сталъ къ ней привыкать, потому что скука для меня была тутъ несносная, и я отъ нечего дѣлать все съ ней упражнялся. То положу дитя въ корытце, да хорошенько ее вымою, а если гдѣ на кожечкѣ сыпка зацвѣтетъ, я ее сейчасъ мучкой подсыплю; или головенку ей расчесываю, или на колѣняхъ качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиманъ бѣлье полоскать,—и коза-то и та къ намъ привыкла, бывало, за нами тоже гулять идетъ. Такъ я дожилъ до новаго лѣта и дитя мое подросло, и стало дыбки стоять, но замѣчаю я, что у нея что-то ножки колесомъ идутъ. Я было на это барину показалъ, но онъ ничего на то не уважилъ и сказалъ только:

— Я, говоритъ, тутъ чѣмъ причиненъ? снеси ее лѣкарю покажи: пусть посмотритъ.

Я понесъ, а лѣкарь говоритъ:

— Это аглицкая болѣзнь, надо ее въ песокъ сажать.

Я такъ и началъ исполнять: выбралъ на бережку лимана такое мѣстечко, гдѣ песокъ есть, и какъ погожій теплый день, я заберу и козу, и дѣвочку, и туда съ ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочекъ и закопаю туда дѣвочку по поясъ и дамъ ей палочекъ играть и камушковъ, а коза наша вокругъ насъ ходитъ, травку щиплетъ, а я сижу, сижу; руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По цѣлымъ днямъ такимъ манеромъ мы втроемъ одни проводили и это мнѣ лучше всего было отъ скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная и особенно мнѣ тутъ весною, какъ я сталъ дѣвочку въ песокъ закапывать, да надъ лиманомъ спать, пошли разные безтолковые сны. Какъ усну, а лиманъ рокочетъ, а со степи теплый вѣтеръ на меня несетъ, такъ точно съ нимъ будто что-то плыветъ на меня чародѣйное и нападаетъ страшное мечтаніе: вижу, какія-то степи, коней и все меня будто кто-то зоветъ и куда-то манитъ: слышу даже имя кричитъ: «Иванъ! Иванъ! иди, братъ Иванъ!» Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на васъ нѣтъ, чего вы меня всклыкались! оглянешься кругомъ:—тоска; коза уже отойдетъ да-

леко, бродитъ, травку щиплетъ, да дитя закопано въ пескѣ сидитъ, а больше ничего... Ухъ, какъ скучно! пустынь, солнце да лиманъ, и опять заснешь, а оно, это теченіе съ повѣтріемъ, опять въ душу лѣзетъ и кричитъ: «Иванъ! пойдемъ, братъ Иванъ!» Даже выругаешься, скажешь: да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня такъ зовешь? И вотъ я такъ разъ озлобился и сижу да гляжу въ-полсна за лиманъ, и оттоль какъ облачко легкое поднялось и плыветъ и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Анъ вдругъ вижу это надо мною стоитъ тотъ монахъ съ бабьимъ лицомъ, котораго я давно, форейторомъ бывши, кнутомъ засѣкъ. Я говорю: тпружи! пошелъ прочь! А онъ этакъ ласково звенитъ: «пойдемъ, Иванъ, братъ, пойдемъ! тебѣ еще много надо терпѣть, а потомъ достигнешь». Я его во снѣ выругалъ и говорю: «Куда я съ тобой пойду и чего еще достигать буду». А онъ вдругъ опять облакомъ сдѣлался и сквозь себя показалъ мнѣ и самъ не знаю что̀: степь, люди, такіе дикіе, сарацины, какъ вотъ бываютъ при сказкахъ въ Еруслан̂ѣ и въ Бовѣ Королевичѣ; въ большихъ шапкахъ лохматыхъ и съ стрѣлами, на страшныхъ дикихъ коняхъ. И съ этимъ, что вижу, послышались мнѣ и гоготъ, и ржанье, и дикій смѣхъ, а потомъ вдругъ вихорь... взмело песокъ тучею и нѣтъ ничего, только гдѣ-то тонко колоколъ тихо звонитъ и весь какъ алою зарею облитый большой бѣлый монастырь по вершинѣ показывается, а по стѣнамъ крылатые ангелы съ золотыми копьями ходятъ, а вокругъ море, и какъ который ангелъ по щиту копьемъ ударитъ, такъ сейчасъ вокругъ всего монастыря море всколышется и заплещетъ, и изъ бездны страшные голоса вопіютъ: «святъ!»

Ну, думаю, — опять это мнѣ про монашество пошло! и съ досадою проснулся и въ удивленіи вижу, что надъ моею барышнею кто-то стоитъ на песку на колѣняхъ самаго нѣжнаго вида, и рѣка-рѣкой разливается-плачетъ.

Я долго на это смотрѣлъ, потому что все думалъ: не длится ли мнѣ это видѣніе, но потомъ вижу, что оно не исчезаетъ, я и всталъ, и подхожу: вижу дама дѣвочку мою изъ песку выкопала и схватила ее на руки и цѣлуетъ, и плачетъ:

Я спрашиваю ее:

— Что надо?

А она ко мнѣ и бросилась и жметъ дитя къ груди, а сама шепчетъ:

— Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!

Я говорю:

— Ну, такъ что же въ этомъ такое?

— Отдай,—говоритъ:—мнѣ ее.

— Съ чего же ты это,—говорю:—взяла, что я ее тебѣ отдамъ?

— Развѣ тебѣ,—плачетъ:—ее не жаль? видишь, какъ она ко мнѣ жмется.

— Жаться, молъ, она глупый ребенокъ,—она тоже и ко мнѣ жмется, а отдать я ее не отдамъ.

— Почему?

— Потому, молъ, что она мнѣ на соблюденіе повѣрена—вонъ и коза съ нами ходитъ, а я дитя долженъ отцу приносить.

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать:

— Ну, хорошо,—говоритъ:—ну, не хочешь дитя мнѣ отдать, такъ, по крайней мѣрѣ, не сказывай, говоритъ, моему мужу, а твоему господину, что ты меня видѣлъ, и приходи завтра опять сюда на это самое мѣсто съ ребенкомъ, чтобы я его еще поласкать могла.

— Это, молъ,—другое дѣло,—это я обѣщаю и исполню.

И точно, я ничего про нее своему барину не сказалъ, а на утро взялъ козу и ребенка и пошелъ опять къ лиману, а барыня уже ждетъ. Все въ ямочкѣ сидѣла, а какъ насъ завидѣла, выскочила и бѣжитъ, и плачетъ, и смѣется, и въ обѣихъ ручкахъ дитю игрушечки суетъ и даже на козу на нашу колокольчикъ на красной суконкѣ повѣсила, а мнѣ трубку и кисетъ съ табакомъ и расческу.

— Кури,—говоритъ:—пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя няньчить.

И такимъ манеромъ пошли у насъ тутъ надъ лиманомъ свиданія: барыня все съ дитемъ, а я сплю, а порой она мнѣ начнетъ разсказывать, что она того... замужъ въ своемъ мѣстѣ за моего барина насильно была выдана... злою мачихою и того... этого мужа своего она не того... говоритъ, никакъ не могла полюбить. А того... этого... другого-то, ремонтера-то... что ли... этого любитъ и жалуется, что противъ воли, говоритъ, своей я ему... предана. Потому мужъ мой, какъ самъ, говоритъ, знаешь, неаккуратной жизни, а

этотъ съ этими... ну, какъ ихъ?.. съ усиками, что ли, прахъ его знаетъ, и очень чисто, говоритъ, онъ завсегда одѣвается, и меня жалѣетъ, но только же, опять я, говоритъ, со всѣмъ съ этимъ все-таки не могу быть счастлива, потому что мнѣ и этого дитя жаль. А теперь мы, говоритъ, съ нимъ сюда пріѣхали и стоимъ здѣсь на квартирѣ у одного у его товарища, но я живу подъ большимъ опасеніемъ, чтобы мой мужъ не узналъ, и мы скоро уѣдемъ и я опять о дитѣ страдать буду.

— Ну, что же, молъ, дѣлать: если ты, презрѣвъ законъ и религію, свой обрядъ измѣнила, то должна и пострадать.

А она начнетъ плакать и отъ одного дня разъ отъ разу больше и жалостнѣе стала плакать, и мнѣ жалобами докучаетъ, и вдругъ ни съ того, ни съ сего стала все мнѣ деньги сулить. И, наконецъ, пришла послѣдній разъ прощаться и говоритъ:

— Послушай, Иванъ (она уже имя мое знала), послушай,—говоритъ:—что я тебѣ скажу: нынче, говоритъ, *онъ* самъ сюда къ намъ придетъ.

Я спрашиваю:

— Кто этой такой?

Она отвѣчаетъ:

— Ремонтеръ.

Я говорю:

— Ну, такъ что же мнѣ за причина?

А она повѣствуетъ, что будто онъ сею ночью страсть какъ много денегъ въ карты выигралъ и сказалъ, что хочетъ ей въ удовольствіе мнѣ тысячу рублей дать за то, чтобы я, то-есть, ей ея дочку отдалъ.

— Ну, уже вотъ этого,—говорю:—никогда не будетъ.

— Отчего же, Иванъ? отчего же?—пристаетъ.—Неужто тебѣ меня и ее не жаль, что мы въ разлукѣ?

— Ну, молъ, жаль, или не жаль, а только я себя не продавалъ ни за большія деньги, ни за малыя и не продамъ, а потому всѣ ремонтеровы тысячи пусть при немъ остаются, а твоя дочка при мнѣ.

Она плакать, а я говорю:

— Ты лучше не плачь, потому что мнѣ все равно.

Она говоритъ:

— Ты безсердечный, ты каменный.

А я отвѣчаю:

— Совсѣмъ, молъ, я не каменный, а такой же какъ всѣ, костяной да жильный, а я человѣкъ должностной и вѣрный: взялся хранить дитя и берегу его.

Она убѣждаетъ, что вѣдь посуди, говоритъ, и самому же дитяти у меня лучше будетъ!

— Опять-таки,—отвѣчаю:—это не мое дѣло.

— Неужто же,—вскрикиваетъ она:—неужто же мнѣ опять съ дитемъ моимъ должно разставаться?

— А что же, — говорю: — если ты, презрѣвъ законъ и релегію...

Но только не договорилъ я этого, что хотѣлъ сказать, какъ вижу къ намъ по степи легкій уланъ идетъ. Тогда полковые еще какъ должно ходили, съ форсомъ, въ настоящей военной формѣ, не то что какъ нынѣшніе, въ родѣ писарей. Идетъ этотъ уланъ-ремонтеръ такой осанистый, руки въ боки, а шинель широко на опашку несетъ... силы въ немъ, можетъ-быть, и нисколько нѣтъ, а форсисто... Гляжу я на этого гостя и думаю: вотъ бы мнѣ отлично съ ними со скуки поиграть. И рѣшилъ, что чуть если онъ ко мнѣ какое слово заговоритъ, я ему непремѣнно какъ ни можно хуже согрублю и авось, молъ, мы съ нимъ здѣсь, Богъ дастъ, въ свое удовольствіе подеремся. Это, восторгаюсь, будетъ чудесно, и того, что мнѣ въ это время говоритъ и со слезами моя барынька лепечетъ, уже не слушаю, а только играть хочу.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Только, рѣшивши себѣ этакую потѣху добыть, я думаю: какъ бы мнѣ лучше этого офицера раздразнить, чтобы онъ на меня нападать сталъ? и взялъ я сѣлъ, вынулъ изъ кармана гребень и зачалъ имъ себя будто въ головѣ чесать; а офицеръ подходитъ и прямо къ той своей барынькѣ.

Онъ ему—та-та-та, та-та: все, значитъ, о томъ, что я ей дитя не даю.

А онъ ее по головкѣ гладитъ и говоритъ:

— Ничего это, душенька, ничего: я противъ него сейчасъ средство найду. Деньги, — говоритъ: — раскинемъ, у него глаза разбѣжатся; а если и это средство не подѣйствуетъ, такъ мы просто отнимемъ у него ребенка,—и съ этимъ самымъ словомъ подходитъ ко мнѣ и подаетъ мнѣ пучокъ ассигнацій, а самъ говоритъ:

— Вотъ,—говоритъ:—тутъ ровно тысяча рублей,—отдай намъ дитя, а деньги бери и ступай куда хочешь.

А я нарочно невѣжничаю, не скоро ему отвѣчаю: прежде всталъ потихонечку; потомъ гребень на поясокъ повѣсилъ, откашлянулся и тогда молвилъ:

— Нѣтъ,—говорю:—это твое средство, ваше благородіе, не подѣйствуетъ, а самъ взялъ, вырвалъ у него изъ рукъ бумажки, поплевалъ на нихъ да и бросилъ, говорю: тубо,—пиль, аппортъ, подними!

Онъ огорчился, весь покраснѣлъ, да на меня; но мнѣ, сами можете видѣть мою комплекцію,—что же мнѣ съ форменнымъ офицеромъ долго справляться: я его такъ слегка пихнулъ, онъ и готовъ: полетѣлъ и шпоры вверхъ задралъ, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчасъ топнулъ, на эту саблю его ногой наступилъ и говорю:

— Вотъ тебѣ, говорю, и храбрость твою подъ ногой придавлю.

Но онъ хоть силой плохъ, но отважный былъ офицерикъ: видитъ, что сабельки ему у меня уже не отнять, такъ распоясалъ ее, да съ кулачонками ко мнѣ борзо кидается... Разумѣется, и этакъ онъ отъ меня ничего, кромѣ тѣлеснаго огорченія, для себя не получилъ, но понравилось мнѣ какъ онъ характеромъ своимъ былъ гордъ и благороденъ: я не беру его денегъ и онъ ихъ тоже не сталъ подбирать.

Какъ перестали мы драться, я кричу:

— Возьми же, ваше сіятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!

Что же вы думаете: вѣдь не поднялъ, а прямо бѣжитъ и за дитя хватается; но, разумѣется, онъ беретъ дитя за руку, а я сейчасъ же хвать за другую и говорю:

— Ну, тяни его: на чію половину больше оторвется.

Онъ кричитъ:

— Подлецъ, подлецъ, извергъ!—и съ этимъ въ лицо мнѣ плюнулъ и ребенка бросилъ, а уже только эту барыньку увлекаетъ, а она въ отчаяніи прежалобно вопитъ и, насильно влекома, за нимъ хотя слѣдуетъ, но глаза и руки сюда ко мнѣ и къ дитѣ простираетъ... и вотъ вижу я и чувствую какъ она, точно живая, пополамъ рвется, половина къ нему, половина къ дитяти... А въ эту самую минуту отъ города вдругъ вижу бѣгитъ мой баринъ, у кото-

раго я служу, и у него въ рукахъ пистолетъ, и онъ все стрѣляетъ изъ того пистолета да кричитъ:

— Держи ихъ, Иванъ! держи.

Ну, какъ же, думаю себѣ, такъ я тебѣ и ставу ихъ держать? Пускай любятся! да догналъ барыньку съ уланомъ, даю имъ дитя и говорю:

— Нате вамъ этого пострѣла! только уже теперь и меня,—говорю:—увозите, а то онъ меня правосудію сдастъ, потому что я по беззаконному паспорту.

Она говоритъ:

— Уѣдемъ, голубчикъ Иванъ, уѣдемъ, будемъ съ нами жить.

Такъ мы и ускакали и дѣвчурку, мою воспитомку, съ собой увезли, а тому моему барину коза да деньги, да мой паспортъ остались.

Всю дорогу я съ этими своими съ новыми господами все на козлахъ на тарантасѣ до самой Пензы ѣдучи сидѣлъ и думалъ: хорошо ли же это я сдѣлалъ, что я офицера билъ? вѣдь онъ присягу принималъ, и на войнѣ съ саблею отечество защищаетъ и самъ государь ему, по его чину, можетъ-быть, «вы» говоритъ, а я, дуракъ, его такъ обидѣлъ!.. А потомъ это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба опредѣлитъ, а въ Пензѣ тогда была ярмарка и уланъ мнѣ говоритъ:

— Послушай, Иванъ, ты вѣдь, я думаю, знаешь, что мнѣ тебя при себѣ держать нельзя.

Я говорю:

— Почему же?

— А потому, отвѣчаетъ, что я человѣкъ служащій, а у тебя никакого паспорта нѣтъ.

— Нѣтъ, у меня былъ, говорю,—паспортъ, только фальшивый.

— Ну, вотъ видишь, отвѣчаетъ,—а теперь у тебя и такого нѣтъ. На же вотъ тебѣ двѣсти рублей денегъ на дорогу и ступай съ Богомъ куда хочешь.

А мнѣ, признаюсь, ужасть какъ не охота была никуда отъ нихъ идти, потому что я то дитя любилъ; но дѣлать нечего, говорю:

— Ну, прощайте, говорю,—покорно васъ благодарю на вашемъ награжденіи, но только еще вотъ что:

— Что, спрашиваетъ,—такое?

— А то, отвѣчаю,—что я передъ вами виноватъ, что дрался съ вами и грубилъ.

Онъ разсмѣялся и говоритъ:

— Ну, что это, Богъ съ тобой, ты добрый мужикъ.

— Нѣтъ-съ, это, отвѣчаю:—мало ли что добрый, это такъ нельзя, потому что это у меня можетъ на совѣсти остаться: вы защитникъ отечества, и вамъ, можетъ-быть, самъ государь «вы» говорилъ.

— Это, отвѣчаетъ,—правда: намъ, когда чинъ даютъ, въ бумагѣ пишутъ: «жалуемъ *васъ* и повелѣваемъ *васъ* почитать и уважать».

— Ну, позвольте же, говорю:—я этого никакъ дальше снесть не могу...

— А что же, говоритъ,—теперь съ этимъ дѣлать. Что ты меня сильнѣе и поколотилъ меня, того назадъ не вынешь.

— Вынуть, говорю,—нельзя, а по крайности для облегченія моей совѣсти, какъ вамъ угодно, а извольте сколько-нибудь разъ меня сами ударить, и взялъ обѣ щеки передъ нимъ надулъ.

— Да за что же?—говоритъ:—за что же я тебя стану бить?

— Да такъ, отвѣчаю,—для моей совѣсти,—чтобы я не безъ наказанія своего государя офицера оскорбилъ.

Онъ засмѣялся, а я опять надулъ щеки, какъ можно полнѣе, и опять стою.

Онъ спрашиваетъ:

— Чего же ты это надуваешься, зачѣмъ гримасничаешь?

А я говорю:

— Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте, говорю,—меня съ обѣихъ сторонъ ударить, и опять щеки надулъ; а онъ вдругъ вмѣсто того, чтобы меня бить, сорвался съ мѣста и ну цѣловать меня и говоритъ:

— Полно, Христа ради, Иванъ, полно: ни за что на свѣтѣ я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорѣе, пока Машеньки съ дочкой дома нѣтъ, а то онѣ по тебѣ очень плакать будутъ.

— А! это, молъ, иное дѣло, зачѣмъ ихъ огорчать?

И хоть не хотѣлось мнѣ отходить, но дѣлать нечего: такъ и ушелъ поскорѣй, не прощавшись, и вышелъ за ворота и сталъ, и думаю:

— Куда я теперь пойду? И взаправду сколько времени

прошло съ тѣхъ поръ какъ я отъ господъ бѣжалъ и бродяжу, а все я нигдѣ мѣста подъ собой не согрѣю... Шабашъ, думаю, пойду въ полицію и объявлюсь, но только, думаю, опять теперь тò нескладно, что у меня теперь деньги есть, а въ полиціи ихъ всѣ отберутъ: дай же хоть что-нибудь изъ нихъ потрачу, хоть чаю съ кренделями въ трактирѣ попью въ свое удовольствіе. И вотъ я пошелъ на ярмарку въ трактиръ, спросилъ чаю съ кренделями и долго пилъ, а потомъ вижу, дольше никакъ невозможно продолжать и пошелъ походить. Выхожу за Суру за рѣку на степь, гдѣ тамъ стоятъ конскіе косяки и при нихъ же тутъ и татары въ кибиткахъ. Всѣ кибитки одинаковыя, но одна пестрая-препестрая, а вокругъ нея много разныхъ господъ занимаются, ѣздовыхъ коней пробуютъ. Разные—и штатскіе, и военные, и помѣщики, которые пріѣхали на ярмарку, всѣ стоятъ трубки курятъ, а посреди ихъ на пестрой кошмѣ сидитъ тонкій, какъ жердь, длинный степенный татаринъ въ штучномъ халатѣ и въ золотой тюбетейкѣ. Я оглядаюсь и, видя одного человѣка, который при мнѣ въ трактирѣ чай пилъ, спрашиваю его: что это такой за важный татаринъ, что онъ одинъ при всѣхъ сидитъ? А мнѣ тотъ человѣкъ отвѣчаетъ:

— Нешто ты, говоритъ, его не знаешь: это ханъ Джангаръ.

— Что, молъ, еще за ханъ Джангаръ?

А тòтъ и говоритъ, ханъ Джангаръ, говоритъ,—первый степной коневодъ, его табуны ходятъ отъ самой Волги до самаго Урала во всѣ Рынь-пески и самъ онъ, этотъ ханъ Джангаръ, въ степи все равно что царь.

— Развѣ, говорю,—эта степь не подъ нами?

— Нѣтъ; она, отвѣчаетъ,—подъ нами, но только намъ ее никакъ достать нельзя, потому что тамъ до самаго Каспія либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью вьются и чиновнику тамъ совсѣмъ взять нечего, вотъ по этой причинѣ, говоритъ, ханъ Джангаръ тамъ и царюетъ, и у него тамъ, въ Рынь-пескахъ, говорятъ, есть свои шихи и шихъ-сады, и молозады, и мамы, и азіи, и дербыши, и уланы, и онъ ихъ всѣхъ, какъ ему надо, наказываетъ, а они тому рады повиноваться.

Я эти слова слушаю, а самъ смотрю, что въ то самое время одинъ татарченокъ пригонилъ передъ этого хана небольшую бѣлую кобылку и что-то залопоталъ; а тотъ всталъ, взялъ кнутъ на длинномъ кнутовищѣ и сталъ прямо про-

тинъ кобылицыной головы и кнутъ ей ко лбу вытянулъ и стоитъ. Но вѣдь какъ, я вамъ доложу, разбойникъ стоитъ? просто статуй великолѣпный, на котораго на самого заглядѣться надо, и сейчасъ по немъ видно, что онъ въ конѣ все нутро соглядаетъ. А какъ я по этой части самъ съ дѣтства былъ наблюдателенъ, то мнѣ видно, что и сама кобылица-то эта зритъ въ немъ знатока, и сама вся на вытяжкѣ передъ нимъ держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И такимъ манеромъ онъ, этотъ степенный татаринъ, смотрѣлъ, смотрѣлъ на эту кобылицу и не обходилъ ее, какъ дѣлаютъ наши офицеры, что по суетливости все вокругъ коня мычутся, а онъ все съ одной точки взиралъ и вдругъ кнутъ опустилъ, а самъ персты у себя на рукѣ молча поцѣловалъ: «дескать, антикъ!» и опять на кошмѣ, склавши накрестъ ноги, сѣлъ, а кобылица сейчасъ ушми запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тутъ стояли, и пошли на нее въ перебой торговаться: одинъ даетъ сто рублей, а другой полтораста и такъ далѣе все бо́льшую другъ противъ друга цѣну нагоняютъ. Кобылица была, точно, дивная, ростомъ не великонька, въ подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазокъ полный, яблочкомъ, ушки сторожкія; бочка самые звонкіе, воздушные, спинка какъ стрѣлка, а ножки легкія, точеныя, самыя уносистыя. Я, какъ подобной красоты былъ любитель, то никакъ глазъ отъ этой кобылицы не отвлеку. А ханъ Джангаръ видитъ, что на всѣхъ отъ нея зоросгь пришла и господа на нее какъ оглашенные цѣну наполняютъ, кивнулъ чумазому татарченку, а тотъ какъ прыгъ на нее, на лебедушку, да и ну ее гонить,— сидитъ, знаете, по-своему, по-татарски, колѣнками ее ежитъ, а она подъ нимъ окрыляется и точно птица летитъ, и не всколыхнетъ, а какъ онъ ей къ холочкѣ принагнется, да на нее гикнетъ, такъ она такъ вмѣстѣ съ пескомъ въ одинъ вихорь и воскурится. Ахъ, ты, змѣя! думаю себѣ, ахъ ты стрепетъ степной, аспидскій! гдѣ ты только могла такая зародиться? И чувствую, что рванулась моя душа къ ней, къ этой лошади, родной страстію. Пригонилъ ее татарчище назадъ, она пыхнула сразу въ обѣ ноздри, выдулась и всю усталь сбросила и больше ни дыхнетъ и ни сапнетъ. Ахъ, ты, думаю, милушка; ахъ ты милушка! Кажется, спроси бы у меня за нее татаринъ не то что мою душу, а отца и

мать родную, и тѣхъ бы не пожалѣлъ—но гдѣ было о томъ и думать, чтобы этакого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтерами не вѣсть какая цѣна слагалась, но и это еще было все ничего, какъ вдругъ тутъ еще торгъ не былъ конченъ, и никому она не досталась, какъ видимъ изъ-за Суры, отъ Селиксы, гонитъ на вороном конѣ борзый всадникъ, а самъ широкою шляпой машетъ и подлетѣлъ, соскочилъ, коня бросилъ и прямо къ той къ бѣлой кобылицѣ и сталъ опять у нея въ головахъ, какъ и первый статуй, и говоритъ:

— Моя кобылица.

А ханъ отвѣчаетъ:

— Какъ не твоя: господа мнѣ за нее пятьсотъ монетовъ даютъ.

А тотъ всадникъ—татарчище этакій огромный и пузатый, морда загорѣла и вся облупилась, словно кожа съ нея сорвана, а глаза малые точно щелки, и оретъ сразу:

— Сто монетовъ больше всѣхъ даю!

Господа взъерепенились, еще больше сулятъ, а сухой ханъ Джангаръ сидитъ да губы цмокаетъ, а отъ Суры съ другой стороны еще всадникъ татарчище гонитъ на гривастомъ конѣ, на игренемъ, и этотъ опять весь худой, желтый, въ чемъ кости держатся, а еще озорнѣе того, что первый пріѣхалъ. Этотъ съерзнулъ съ коня и какъ гвоздь воткнулся передъ бѣлой кобылицей и говоритъ:

— Всѣмъ отвѣчаю: хочу, чтобы моя была кобылица!

Я и спрашиваю сосѣда: въ чемъ тутъ у нихъ дѣло зависитъ. А онъ отвѣчаетъ:

— Это, говоритъ, дѣло зависитъ отъ очень большого хана-Джангарова понятія. Онъ, говоритъ, не одинъ разъ, а чуть не всякую ярмарку тутъ такую штуку подводитъ, что прежде всѣхъ своихъ обыкновенныхъ коней, коихъ пригонитъ сюда, распродастъ, а потомъ въ послѣдній день, михорь его знаетъ откуда, какъ изъ-за пазухи выйметъ такого коня, или двухъ, что конэсеры не знать что дѣлаютъ; а онъ, хитрый татаринъ, глядитъ на это, да тѣшится и еще деньги за то получаетъ. Эту его привычку знавши, всѣ уже такъ этого послѣдыша отъ него и ожидаютъ, и вотъ оно такъ и теперь вышло: всѣ думали, ханъ нонѣ уѣдетъ, и онъ, точно, ночью уѣдетъ, а теперь ишь какую кобылицу вывелъ...

— Диво, говорю, какая лошадь!

— Подлинно диво, — онъ ее, говорятъ, къ ярмаркѣ всереди косяка пригонилъ, и такъ гналъ, что ее за другими конями никому видѣть нельзя было, и никто про нее не зналъ, опричь этихъ татаръ, что пріѣхали, да и тѣмъ онъ казалъ, что кобылица у него не продажная, а завѣтная, да ночью ее отъ другихъ отлучилъ и подъ Мордовскій ишимъ въ лѣсъ отогналъ и тамъ на полянѣ съ особымъ пастухомъ пасъ, а теперь вдругъ ее выпустилъ и продавать сталъ, и ты погляди, что изъ-за нея тутъ за чудеса будутъ, и что онъ, собака, за нее возьметъ, а если хочешь, ударимся объ закладъ, кому она достанется?

— А что, молъ, такое: изъ-за чего намъ биться?

— А изъ-за того, отвѣчаетъ,—что тутъ страсть, что сейчасъ почнется: и всѣ господа непремѣнно спятятся, а лошадь который-нибудь вотъ изъ этихъ двухъ азіатовъ возьметъ.

— Что же они, спрашиваю:—очень что ли богаты?

— И богатые, отвѣчаетъ, — и озорные охотники: они свои большіе косяки гоняютъ и хорошей, завѣтной лошади другъ другу въ жизнь не уступятъ. Ихъ всѣ знаютъ: этотъ, брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Отучевъ, а худищій, что однѣ кости ходятъ, Чепкунъ Емгурчеевъ,—оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потѣху сдѣлаютъ.

Я замолчалъ и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступилися отъ нея и только глядятъ, а тѣ два татарина другъ дружку отпихиваютъ и все хана Джангара по рукамъ хлопаютъ, а сами за кобылицу держатся и всѣ трясутся да кричатъ; одинъ кричитъ:

— Я даю за нее, кромѣ монетовъ, еще пять головъ (значитъ пять лошадей), а другой вопитъ:

— Вретъ твоя мордамъ, я даю десять.

Бакшей Отучевъ кричитъ:

— Я даю пятнадцать головъ.

А Чепкунъ Емгурчеевъ:

— Двадцать.

Бакшей:

— Двадцать пять.

А Чепкунъ:

— Тридцать.

А больше ни у того, ни у другого видно уже нѣтъ... Чепкунъ крикнулъ: тридцать, и Бакшей даетъ тоже только тридцать, а больше нѣтъ; но зато Чепкунъ еще въ придачу сѣдло сулитъ, а Бакшей сѣдло и халатъ, и Чепкунъ халатъ скидаетъ, а больше опять другъ друга имъ нечѣмъ одолѣвать. Чепкунъ крикнулъ: слушай меня, ханъ Джангаръ: я домой пріѣду, я къ тебѣ свою дочь пригоню, и Бакшей тоже дочь сулитъ, а больше опять другъ друга нечѣмъ пересилить. Тутъ вдругъ вся татарва, кои тутъ это торговище зрѣли, заорали, загалдѣли по-своему; ихъ разнимаютъ, чтобы до разоренія другъ друга не довели, тормошатъ ихъ, Чепкуна и Бакшея, въ разныя стороны, въ бока ихъ тычутъ, уговариваютъ.

Я спрашиваю у сосѣда:

— Скажи, пожалуйста, что̀ это такое у нихъ теперь пошло?

— А вотъ, видишь,—говоритъ:—этимъ князьямъ, которые ихъ разнимаютъ, имъ Чепкуна съ Бакшеемъ жалко, что они очень заторговались, такъ вотъ они ихъ разлучаютъ, чтобы опомнились и какъ-нибудь другъ дружкѣ честью кобылицу уступили.

— Какъ же,—спрашиваю:—можно ли, чтобы они другъ дружкѣ ее уступили, когда она обоимъ имъ такъ нравится? Этого быть не можетъ.

— Отчего же,—отвѣчаетъ:—азіаты народъ разсудительный и степенный: они разсудятъ, что зачѣмъ напрасно имѣніе терять и хану Джангару дадутъ сколько онъ проситъ, а кому коня взять—съ общаго согласія наперепоръ пустятъ.

Я любопытствую:

— Что же, молъ, такое это значитъ: «наперепоръ».

А тотъ мнѣ отвѣчаетъ:

— Нечего спрашивать, смотри, это видѣть надо, а оно сейчасъ начинается.

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучевъ и Чепкунъ Емгурчеевъ оба будто стишали и у тѣхъ своихъ татаръ-мировщиковъ вырываются и оба другъ къ другу бросились, подбѣжали и по рукамъ бьютъ.

— Сгодà! дескать,—поладили.

И тотъ то же самое отвѣчаетъ:

— Сгодà! поладили!

И оба въ разъ съ себя и халаты долой, и бешметы, и

чевяки сбросили, и ситцевыя рубахи сняли, и въ однихъ широкихъ полосатыхъ портищахъ остались и плюхъ одинъ противъ другого, сѣли на землю, какъ курохтаны степные, и сидятъ.

Въ первой разъ мнѣ этакое диво видѣть доводилось, и я смотрю, что̀ дальше будетъ? А они другъ дружкѣ лѣвыя руки подали и крѣпко ихъ держатъ, ноги растопырили и ими другъ дружкѣ слѣдами въ слѣды уперлись и кричатъ: «подавай!»

Что такое они себѣ требуютъ «подавать» я не предвижу, но тѣ, татарва-то, изъ кучки отвѣчаютъ:

— Сейчасъ, бачка, сейчасъ.

И вотъ вышелъ изъ этой кучки татаринъ старый, степенный такой, и держитъ въ рукахъ двѣ здоровыя нагайки и сравнялъ ихъ въ рукахъ и кажетъ всей публикѣ и Чепкуну съ Бакшеемъ: глядите, говоритъ, обѣ штуки ровныя.

— Ровныя,—кричатъ татарва:—всѣ мы видимъ, что благородно сдѣланы, плети ровныя! Пусть садятся и начинаютъ.

А Бакшей и Чепкунъ такъ и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татаринъ и говоритъ имъ: «подождите» и самъ имъ эти нагайки подалъ: одну Чепкуну, а другую Бакшею, да ладошами хлопаетъ тихо, разъ, два и три... И только что онъ въ третье хлопнулъ, какъ Бакшей стегнетъ изо всей силы Чепкуна нагайкою черезъ плечо по голой спинѣ, а Чепкунъ такимъ самымъ манеромъ на отвѣтъ его. Да и пошли этакъ одинъ другого потчивать: въ глаза другъ другу глядятъ, ноги въ ноги слѣдками упираются и лѣвыя руки крѣпко жмутъ, а правыми съ нагайками порются... Ухъ, какъ они знатно порались! Одинъ хорошо черкнетъ, а другой еще лучше. Глаза-то у обоихъ даже выстолбенѣли и лѣвыя руки замерли, а ни тотъ, ни другой не сдается.

Я спрашиваю у моего знакомца:

— Что же это, молъ, у нихъ, стало-быть, въ родѣ какъ господа на дуэль, что ли, выходятъ?

— Да,—отвѣчаетъ:—тоже такой поединокъ, только это, говоритъ, не насчетъ чести, а чтобы не расходоваться.

— И что же,—говорю:—они этакъ могутъ другъ друга долго сѣчь?

— А сколько имъ,—говоритъ:—похочется и сколько силы станетъ.

А тѣ все хлещутся, а въ народѣ за нихъ споръ пошелъ: одни говорятъ: «Чепкунъ Бакшея перепоретъ», а другіе спорятъ: «Бакшей Чепкуна перебьетъ» и, кому хочется, объ закладъ держатъ—тѣ за Чепкуна, а тѣ за Бакшея, кто на кого больше надѣется. Поглядятъ имъ съ познаніемъ въ глаза и въ зубы, и на спины посмотрятъ и по какимъ-то примѣтамъ понимаютъ кто надежнѣе, за того и держатъ. Человѣкъ, съ которымъ я тутъ разговаривалъ, тоже изъ зрителей опытныхъ былъ и сталъ сначала за Бакшея держать, а потомъ говоритъ:

— Ахъ, квитъ, пропалъ мой двугривенный: Чепкунъ Бакшея собьетъ.

А я говорю:

— Почему то знать? Еще, молъ, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидятъ.

А тотъ мнѣ отвѣчаетъ:

— Сидятъ-то,—говоритъ:—они еще оба ровно, да не одна въ нихъ повадка.

— Что же, — говорю: — по моему мнѣнію, Бакшей еще ярче стегаетъ.

— А вотъ то,—отвѣчаетъ:—и плохо. Нѣтъ, пропалъ за него мой двугривенный: Чепкунъ его запоретъ.

Что это, думаю, такое за диковина: какъ онъ непонятно, этотъ мой знакомецъ, разсуждаетъ? А вѣдь онъ же, размышляю, должно-быть въ этомъ дѣлѣ хорошо понимаетъ практику, когда объ закладъ бьется!

И стало мнѣ, знаете, очень любопытно, и я къ этому знакомцу пристаю:

— Скажи,—говорю:—милый человѣкъ, отчего ты теперь за Бакшея опасаешься?

А онъ говоритъ:

— Экой ты пригородникъ глупый: ты гляди,—говоритъ:—какая у Бакшея спина.

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, какъ подушка.

— А видишь,—говоритъ:—какъ онъ бьетъ?

Гляжу, и вижу тоже, что бьетъ яростно, даже глаза на лобъ выпялилъ, и такъ его какъ ударитъ, такъ сразу до крови и рѣжетъ.

— Ну, а теперь сообрази, какъ онъ нутремъ дѣйствуетъ?

— Что же, молъ, такое нутремъ?—я вижу одно, что си-

дитъ онъ прямо, и весь ротъ открылъ и воздухъ въ себя шибко забираетъ.

А мой знакомецъ и говоритъ:

— Вотъ это-то и худо: спина велика, по ней весь ударъ просторно ложится; шибко бьетъ, запыхается, а въ открытый ротъ дышитъ, онъ у себя воздухомъ все нутро пережжетъ.

— Что же,—спрашиваю:—стало быть Чепкунъ надежнѣй?

— Непремѣнно,—отвѣчаетъ:—надежнѣе: видишь, онъ весь сухой, кости въ одной кожѣ держатся и спиночка у него какъ лопата коробленая, по ней ни за что по всей ударъ не падетъ, а только мѣстечками, а самъ онъ, зри, какъ Бакшея спрохвала поливаетъ, не частитъ, а съ повадочкой, и плеть сразу не отхватываетъ, а подъ нею кожѣ напухать даетъ. Вонъ она отъ этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и какъ котелъ посинѣла, а крови нѣтъ и вся боль у него теперь въ тѣлѣ стоитъ, а у Чепкуна на худой спинѣ кожичка какъ на жареномъ поросенкѣ трещитъ, прорываетъ и оттого у него вся боль кровью сойдетъ и онъ Бакшея запоретъ. Понимаешь ты это теперь?

— Теперь,—говорю:—понимаю, и, точно, тутъ я всю эту азіатскую практику сразу понялъ и сильно ею заинтересовался: какъ въ такомъ случаѣ надо полезнѣе дѣйствовать?

— А еще самое главное,—указуетъ мой знакомецъ,—замѣчай, говоритъ, — какъ этотъ проклятый Чепкунъ хорошо мордой такту соблюдаетъ; видишь: стегнетъ и на отвѣтъ самъ вытерпитъ и соразмѣрно глазами хлопнетъ,—это легче, чѣмъ пялить глаза, какъ Бакшей пялитъ, и Чепкунъ зубы стиснулъ и губы прикусилъ, это тоже легче, оттого, что въ немъ черезъ эту замкнутость излишняго горѣнія внутри нѣтъ.

Я всѣ эти его любопытныя примѣты на умъ взялъ, и самъ вглядываюсь и въ Чепкуна, и въ Бакшея, и все мнѣ стало самому понятно, что Бакшей непремѣнно свалится, потому что у него уже и глазища совсѣмъ объостолопѣли и губы веревочкой собрались и весь оскалъ открыли... И точно, глядимъ, Бакшей еще разъ двадцать Чепкуна стеганулъ и все разъ отъ разу слабѣе, да вдругъ брякъ назадъ и лѣвую Чепкунову руку выпустилъ, а своею правою все еще двигаетъ, какъ будто бьетъ, но уже безъ памяти, совсѣмъ въ обморокѣ. Ну, тутъ мой знакомый говоритъ:

«шабашъ: пропалъ мой двугривенный». Тутъ всѣ и татары заговорили, поздравляютъ Чепкуна, кричатъ:

— Ай, башка Чепкунъ Емгурчеевъ, ай, умнай башка — совсѣмъ пересѣкъ Бакшея, садись—теперь твоя кобыла.

И самъ ханъ Джангаръ всталъ съ кошмы и похаживаетъ, а самъ губами шлепаетъ и тоже говоритъ:

— Твоя, твоя, Чепкунъ, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай.

Чепкунъ и всталъ: кровь струитъ по спинѣ, а ничего виду болѣзни не даетъ, положилъ кобылицѣ на спину свой халатъ и бешметъ, а самъ на нее брюхомъ вскинулся и такимъ манеромъ поѣхалъ, и мнѣ опять скучно стало.

— Вотъ, думаю, все это уже и окончилось, и мнѣ опять про свое положеніе въ голову полѣзетъ; а мнѣ страхъ какъ не хотѣлось про это думать.

Но только, спасибо, мой тотъ знакомый человѣкъ говоритъ мнѣ:

— Подожди, не уходи, тутъ непремѣнно что-то еще будетъ.

Я говорю:

— Чему же еще быть? все кончено.

— Нѣтъ,—говоритъ:—не кончено, ты смотри, говоритъ, какъ ханъ Джангаръ трубку жжетъ. Видишь, палитъ: это онъ непремѣнно еще про себя что-нибудь думаетъ, самое азіатское.

Ну, а я себѣ думаю: ахъ, если еще что̀ будетъ въ этомъ въ самомъ родѣ, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

И что же вы изволите полагать? Все точно такъ и вышло, какъ мнѣ желалось: ханъ Джангаръ трубку палитъ, а на него изъ чищобы гонитъ еще татарченокъ и уже этотъ не на такой кобылицѣ, какую Чепкунъ съ мировой у Бакшея взялъ, а караковый жеребенокъ, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, какъ по межѣ въ хлѣбахъ птичка коростель бѣжитъ, — по-нашему, по-орловски, дергачъ зовется: крыла онъ растопыритъ, а задъ у него не какъ у прочихъ птицъ, не распространяется по воздуху, а внизъ виситъ и ноги книзу пуститъ, точно онѣ ему не надобны, — настоящее, выходитъ, будто онъ ѣдетъ по воз-

духу. Вотъ и этотъ новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой несся.

Истинно не солгу скажу, что онъ даже не летѣлъ, а только земли за нимъ сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видалъ и не зналъ, какъ сего конька и цѣнить, на какія сокровища и кому его обречь, какому королевичу, а уже тѣмъ паче никогда того не думалъ, чтобы этотъ конь мой сталъ.

— Какъ онъ вашъ сталъ? — перебили разсказчика удивленные слушатели.

— Такъ-съ, мой, по всѣмъ правамъ мой, но только на одну минуту, а какимъ манеромъ, извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыкновенію, начали и на эту лошадь торговаться и мой ремонтеръ, которому я дитя подарилъ, тоже встрялъ, а противъ нихъ, точно ровня имъ, взялся татаринъ Савакирей, этакой коротышъ, небольшой, но крѣпкій, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочашокъ крѣпонькій, а рожа какъ морковь красная, и весь онъ будто огородина какая здоровая и свѣжая. Кричитъ: что, говоритъ, по-пустому карманъ терять нечего, клади кто хочетъ деньги за руки сколько ханъ проситъ, и давай со мною пороться, кому конь достанется?

Господамъ, разумѣется, это не пристало, и они отъ этого сейчасъ въ сторону, да и гдѣ имъ съ этимъ татариномъ сѣчься, онъ бы, поганый, ихъ всѣхъ перебилъ. А у моего ремонтера тогда уже и денегъ-то не очень густо было, потому онъ въ Пензѣ опять въ карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вотъ я его сзади дернулъ за рукавъ, да и говорю: такъ и такъ, молъ, лишняго сулить не надо, а что ханъ требуетъ, то дайте, а я съ Савакиреемъ сяду потягаться на мировую. Онъ было не хотѣлъ, но я упросилъ, говорю:

— Сдѣлайте такую милость: мнѣ хочется.

Ну, такъ и сдѣлали.

— Вы съ этимъ татариномъ... что же... сѣкли другъ друга?

— Да-съ, тоже такимъ манеромъ попоролись на мировую, и жеребенокъ мнѣ достался.

— Значитъ, вы татарина побѣдили?

— Побѣдилъ-съ не безъ труда, но пересилилъ его.

— Вѣдь это, должно быть, ужасная боль?

— Ммм... какъ вамъ сказать... да; вначалѣ есть-съ; и даже очень чувствительно, особенно потому, что безъ привычки, и онъ, этотъ Савакирей, тоже имѣлъ сноровку на духъ бить, чтобы кровь не спущать, но я противъ этого его тонкаго искусства свою хитрую сноровку взялъ: какъ онъ меня хлобыснетъ, я самъ подъ нагайкой спиною поддерну и такъ приноровился, что сейчасъ шкуру себѣ и сорву, такимъ манеромъ и обезопасился, и самъ этого Савакирея запоролъ.

— Какъ запороли, неужто совершенно до смерти?

— Да-съ, онъ черезъ свое упорство да черезъ политику такъ глупо себя допустилъ, что его больше и на свѣтѣ не стало,—отвѣчалъ добродушно и безстрастно разсказчикъ, и видя, что слушатели всѣ смотрятъ на него, если не съ ужасомъ, то съ нѣмымъ недоумѣніемъ, какъ-будто почувствовалъ необходимость пополнить свой разсказъ поясненіемъ.

— Видите,—продолжалъ онъ:—это стало не отъ меня, а отъ него, потому что онъ во всѣхъ Рынь-пескахъ первый батырь считался и черезъ эту амбицію ни за что не хотѣлъ мнѣ уступить, хотѣлъ благородно вытерпѣть, чтобы позора черезъ себя на азіатскую націю не положить, но сомлѣлъ, бѣднячокъ, и противъ меня не вытерпѣлъ, вѣрно потому, что я въ ротъ грошъ взялъ. Ужасно это помогаетъ, и я все его грызъ, чтобы боли не чувствовать, а для разсѣянности мыслей въ умѣ удары считалъ, такъ мнѣ и ничего.

— И сколько же вы насчитали ударовъ?—перебили разсказчика.

— А вотъ навѣрное этого сказать не могу-съ, помню, что я сосчиталъ до двѣсти до восемьдесятъ и два, а потомъ вдругъ покачнуло меня въ родѣ обморока, я и сбился на минуту и уже такъ безъ счета пущалъ, но только Савакирей тутъ же вскорѣ послѣдній разокъ на меня замахнулся, а уже ударить не могъ, самъ какъ кукла на меня впередъ и упалъ: посмотрѣли, а онъ мертвый... Тьфу, ты, дуракъ эдакій! до чего дотерпѣлся? Чуть я за него въ острогъ не попалъ. Татарва—тѣ ничего: ну, убилъ и убилъ: на то такія были кондиціи, потому что и онъ меня могъ засѣчь, но свои, наши русскіе, даже досадно какъ этого не понимаютъ, и взъѣлись. Я говорю:

— Ну, вамъ что̀ такого? что вамъ за надобность?

— Какъ, говорятъ:—вѣдь ты азіата убилъ?

— Ну, такъ, что же, молъ, такое, что я его убилъ? Вѣдь это дѣло любовное. А развѣ лучше было бы, если бы онъ меня засѣкъ?

— Онъ, говорятъ, — тебя могъ засѣчь и ему ничего, потому что онъ иновѣръ, а тебя, говорятъ, по христіанству надо судить. Пойдемъ, говорятъ, въ полицію.

Ну, я себѣ думаю: ладно, братцы, судите вѣтра въ полѣ, а какъ по-моему полиція — нѣтъ ее ничего вреднѣе, то я сейчасъ шмыгъ за одного татарина, да за другого. Шепчу имъ:

— Спасайте, князья: сами видѣли, все это было на честномъ бою...

Они сжалились и пошли меня другъ за дружку перепихивать и скрыли.

— То-есть, позвольте... Какъ же они васъ *скрыли?*

— Совсѣмъ я съ ними бѣжалъ въ ихъ степи.

— Въ степи даже!

— Да-съ, въ самые Рынь-пески.

— И долго тамъ провели?

— Цѣлыя десять лѣтъ: двадцати трехъ лѣтъ меня въ Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назадъ убѣжалъ.

— Что же вамъ понравилось или нѣтъ въ степи жить?

— Нѣтъ-съ; что же тамъ можетъ нравиться?—скучно и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.

— Отчего же: держали васъ татары въ ямѣ, или караулили?

— Нѣтъ-съ, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы въ яму сажать, или въ колодки, а просто говорятъ: ты намъ, Иванъ, будь пріятель; мы, говорятъ, тебя очень любимъ, и ты съ нами въ степи живи и полезнымъ человѣкомъ будь, — коней намъ лѣчи, и бабамъ помогай.

— И вы лѣчили?

— Лѣчилъ; я такъ у нихъ за лѣкаря и былъ, и самихъ ихъ, и скотину всю, и коней, и овецъ, всего больше женъ ихнихъ, татарокъ, пользовалъ.

— Да вы развѣ умѣете лѣчить?

— Какъ бы вамъ это сказать... Да вѣдь въ этомъ ка-

кая же хитрость? Чѣмъ кто заболитъ—я сабуру дамъ, или калганнаго корня, и пройдетъ, а сабуру у нихъ много было, — въ Саратовѣ одинъ татаринъ цѣлый мѣшокъ нашелъ и привезъ, да они до меня не знали, къ чему его опредѣлить.

— И обжились вы съ ними?

— Нѣтъ-съ, постоянно назадъ стремился.

— И неужто никакъ нельзя было уйти отъ нихъ?

— Нѣтъ-съ, отчего же, если бы у меня ноги въ своемъ видѣ оставались, такъ я навѣрно давно бы назадъ въ отечество ушелъ.

— А у васъ что же съ ногами случилось?

— Подщетиненъ я былъ, послѣ перваго раза.

— Какъ это?.. Извините, пожалуйста, мы не совсѣмъ понимаемъ, что̀ это значитъ, что вы были *подщетинены?*

— Это у нихъ самое обыкновенное средство: если они кого полюбятъ и удержать хотятъ, а тотъ тоскуетъ, или попытается бѣжать, то и сдѣлаютъ съ нимъ, чтобы онъ не ушелъ. Такъ и мнѣ, послѣ того какъ я разъ попробовалъ уходить, да сбился съ дороги, они поймали меня и говорятъ: знаешь, Иванъ, ты, говорятъ, намъ будь пріятель и чтобы ты опять не ушелъ отъ насъ, мы тебѣ лучше пятки нарубимъ и малость щетинки туда пихнемъ, ну и испортили мнѣ такимъ манеромъ ноги, такъ что все время на карачкахъ ползалъ.

— Скажите, пожалуйста: какъ же они дѣлаютъ эту ужасную операцію?

— Очень просто-съ: повалили меня на землю человѣкъ десять и говорятъ: «ты кричи, Иванъ, погромче кричи, когда мы начнемъ рѣзать: тебѣ тогда легче будетъ», и сверхъ меня сѣли, а одинъ такой искусникъ изъ нихъ въ одну минуточку мнѣ на подошвахъ шкурку подрѣзалъ да рубленой коневьей гривы туда засыпалъ и опять съ этой подсыпью шкурку завернулъ и струнной зашилъ. Послѣ этого тутъ они меня, точно, дѣнъ нѣсколько держали руки связавши, — все боялись, чтобы я себѣ ранъ не вредилъ и щетинку гноемъ не вывелъ; а какъ шкурка зажила и отпустили: теперь, говорятъ, здравствуй, Иванъ, теперь уже ты совсѣмъ нашъ пріятель и отъ насъ отсюда никогда не уйдешь.

Я тогда только всталъ на ноги, да и брякъ опять на

землю: волосъ-то этотъ рубленый, что подъ шкурой въ пятахъ заросъ, такъ смертно больно въ живое мясо колался, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногахъ средства нѣтъ. Сроду я не плакивалъ, а тутъ даже въ голосъ заголосилъ:

— Что же это, говорю, вы со мною, азіаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсѣмъ убили, чѣмъ этакъ цѣлый вѣкъ такимъ калѣкой быть, что ступить не могу.

А они говорятъ:

— Ничего, Иванъ, ничего, что ты по пустому дѣлу обижаешься.

— Какое же, говорю, — это пустое дѣло, такъ человѣка испортить, да еще чтобы не обижаться?

— А ты, говорятъ, — приснаровись, прямо-то на слѣдки не наступай, а раскорячкомъ на косточкахъ ходи.

— Тьфу, вы подлецы! — думаю я себѣ, и отъ нихъ отвернулся и говорить не сталъ, и только порѣшилъ себѣ въ своей головѣ, что лучше уже умру, а не стану, молъ, по вашему совѣту раскорякою на щиколоткахъ ходить; но потомъ полежалъ-полежалъ,—скука смертная одолѣла и сталъ приснаравливаться и мало-по-малу пошелъ на щиколоткахъ ковылять. Но только они надо мной черезъ это нимало не смѣялись, а еще говорили:

— Вотъ и хорошо, и хорошо, Иванъ, ходишь.

— Экое несчастіе, и какъ же вы это пустились уходить и опять попались?

— Да невозможно-съ; степь ровная, дорогъ нѣтъ и ѣсть хочется... Три дня шелъ, ослабѣлъ не хуже лиса, руками какую-то птицу поймалъ и сырую ее съѣлъ, а тамъ опять голодъ и воды нѣтъ... Какъ идти?.. Такъ и упалъ, а они отыскали меня и взяли и подщетинили.

Нѣкто изъ слушателей замѣтилъ по поводу этого подщетиниванья, что вѣдь это должно быть изъ рукъ вонъ неловко ходить на щиколоткахъ.

— По первоначалу даже очень нехорошо, — отвѣчалъ Иванъ Северьянычъ: — да и потомъ хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мнѣ съ этихъ поръ хорошо печалились:

— Теперь, говорятъ, тебѣ, Иванъ, самому трудно быть: тебѣ ни воды принесть, ни что прочее для себя сготовить

неловко. Бери, говорятъ, братъ, себѣ теперь Наташу, — мы тебѣ хорошую Наташу дадимъ, какую хочешь выбирай.

Я говорю:

— Что мнѣ ихъ выбирать: одна въ нихъ во всѣхъ польза. Давайте какую попало. Ну, они меня сейчасъ безъ спора и женили.

— Какъ! женили васъ на татаркѣ?

— Да-съ; разумѣется, на татаркѣ. Сначала на одной того самаго Савакирея женѣ, котораго я пересѣкъ, только она, эта татарка, вышла совсѣмъ мнѣ не по вкусу: благая какая-то и все какъ будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или такъ къ сердцу ей что-то подступало. Ну, такъ они замѣтили, что я ею сталъ отягощаться и сейчасъ другую мнѣ привели, эта маленькая была дѣвочка, не болѣе, какъ всего годовъ тринадцати... Сказали мнѣ:

— Возьми, Иванъ, еще эту Наташу; эта будетъ утѣшнѣе.

Я и взялъ.

— И что же: эта точно была для васъ утѣшнѣе?—спросили слушатели Ивана Северьяныча.

— Да, — отвѣчалъ онъ: — эта вышла поутѣшнѣе, только порою, бывало, веселитъ, а порою тѣмъ докучаетъ, что балуется.

— Какъ же она баловалась?

— А разно... Какъ ей, бывало, вздумается; на колѣни, бывало, вскочитъ; либо спишь, а она съ головы тюбетейку ногой скопнетъ, да закинетъ куда попало, а сама смѣется. Станешь на нее грозиться, а она хохочетъ, заливается, да какъ русалка бѣгать почнетъ, ну, а мнѣ ее на карачкахъ не догнать,—шлепнешься, да и самъ разсмѣешься.

— А вы тамъ въ степи голову брили и носили тюбетейку?

— Брилъ-съ.

— Для чего же это? вѣрно хотѣли нравиться вашимъ женамъ?

— Нѣтъ-съ; больше для опрятности, потому что тамъ бань нѣтъ.

— Такимъ образомъ у васъ, значитъ, за разъ было двѣ жены?

— Да-съ; въ этой степи двѣ; а потомъ у другого хана, у Агашимолы, кой меня угонилъ отъ Отучева, мнѣ еще двѣ дали.

— Позвольте же, — запыталъ опять одинъ изъ слушателей:—какъ же васъ могли угнать?

— Подвохомъ-съ. Я вѣдь изъ Пензы бѣжалъ съ татарвою Чепкуна Емгурчеева и лѣтъ пять подъ-рядъ жилъ въ емгурчеевской ордѣ и тутъ съѣзжались къ нему на радости всѣ князья и уланы, и шихъ-зады, и мало-зады, и бывалъ ханъ Джангаръ и Бакшей Отучевъ.

— Это котораго Чепкунъ сѣкъ?

— Да-съ, тотъ самый.

— Какъ же это... развѣ Бакшей на Чепкуна не сердился?

— За что же?

— За то, что онъ такъ поролъ его и лошадь у него отбилъ?

— Нѣтъ-съ, они никогда за это другъ на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьетъ, тотъ и получай, и больше ничего; а только ханъ Джангаръ мнѣ, точно, одинъ разъ выговаривалъ... эхъ, говоритъ, Иванъ, эхъ, глупая твоя башка, Иванъ, зачѣмъ ты съ Савакиреемъ за русскаго князя сѣчься сѣлъ, — я, говоритъ, было хотѣлъ смѣяться, какъ самъ князь рубаха долой будетъ снимать.

— Никогда бы, отвѣчаю ему, ты этого не дождалъ.

— Отчего?

— Оттого, что наши князья, говорю,—слабодушные и не мужественные, и сила ихъ самая ничтожная.

Онъ понялъ.

— Я такъ, говоритъ,—и видѣлъ, что изъ нихъ, говоритъ, настоящихъ охотниковъ нѣтъ, а все только если, что хотятъ получить, такъ за деньги.

— Это, молъ, вѣрно: они безъ денегъ ничего не могутъ.

— Ну, а Агашимола, онъ изъ дальней орды былъ, гдѣ-то надъ самымъ Каспіемъ его косяки ходили, онъ очень лѣчиться любилъ и позвалъ меня свою ханшу попользовать и много головъ скота за то Емгурчею обѣщалъ. Емгурчей меня къ нему и отпустилъ: набралъ я съ собою сабуру и калганнаго корня и поѣхалъ съ нимъ. А Агашимола какъ взялъ меня, да и гайда, въ сторону со всѣмъ кочемъ, восемь дней въ сторону скакали.

— И вы верхомъ ѣхали?

— Верхомъ-съ.

— А какъ же ваши ноги?

— А что же такое?

— Да волосъ-то рубленый, который у васъ въ пяткахъ былъ, развѣ онъ васъ не безпокоилъ?

— Ничего; это у нихъ хорошо приноровлено: они эдакъ кого волосомъ подщетинятъ, тому хорошо ходить нельзя, а на конѣ такой подщетиненный человѣкъ еще лучше обыкновеннаго сидитъ, потому что онъ, раскорякой ходючи, всегда ноги колесомъ привыкаетъ держать, и коня какъ обручемъ ими обтянетъ такъ, что ни за что его долой и не сбить.

— Ну и что же съ вами далѣе было въ новой степи у Агашимолы?

— Опять и еще жесточе погибалъ.

— Но не погибли?

— Нѣтъ-съ, не погибъ.

— Сдѣлайте же милость, разскажите: что̀ вы дальше у Агашимолы вытерпѣли.

— Извольте.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Какъ Агашимолова татарва пригонили со мной на становище, такъ и гайда на другое на новое мѣсто пошли и уже не выпустили меня.

— Что, говорятъ,—тебѣ тамъ, Иванъ, съ Емгурчеевыми жить,—Емгурчей воръ, ты съ нами живи, мы тебя съ охотой уважать будемъ и хорошихъ Наташъ тебѣ дадимъ. Тамъ у тебя всего двѣ Наташи было, а мы тебѣ больше дадимъ.

Я отказался:

— На что, говорю, мнѣ ихъ больше? мнѣ больше не надо.

— Нѣтъ, говорятъ,—ты не понимаешь: больше Наташъ лучше: онѣ тебѣ больше Колекъ нарожаютъ, всѣ тебя тятькой кричать будутъ.

— Ну, говорю, легко ли мнѣ обязанность татарчатъ воспитывать. Кабы ихъ крестить и причащать было кому, другое бы еще дѣло, а то что же: сколько я ихъ ни умножу, всѣ они ваши же будутъ, а не православные, да еще и обманывать мужиковъ станутъ какъ вырастутъ. Такъ двухъ женъ опять взялъ, а больше не принялъ, потому что если много бабъ, такъ онѣ хоть и татарки, но ссорятся, поганыя, и ихъ надо постоянно учить.

— Ну-съ, и что же, любили вы этихъ вашихъ новыхъ женъ?

— Какъ-съ?

— Этихъ новыхъ женъ своихъ вы любили?

— Любить?.. Да, то-есть вы про это? ничего, одна, что я отъ Агашимолы принялъ, была до меня услужлива, такъ я ее ничего... сожалѣлъ.

— А ту дѣвочку, что прежде молоденькая-то такая у васъ въ женахъ была? она вамъ, вѣрно, больше нравилась?

— Ничего; я и ее жалѣлъ.

— И скучали навѣрно по ней, когда васъ изъ одной орды въ другую украли?

— Нѣтъ; скучать не скучалъ.

— Но вѣдь у васъ, вѣрно, и тамъ отъ тѣхъ отъ первыхъ женъ дѣти были?

— Какъ же-съ, были: Савакиреева жена родила двухъ Колекъ да Наташку, да эта маленькая въ пять лѣтъ шесть штукъ породила, потому что она двухъ Колекъ въ одинъ разъ парою принесла.

— Позвольте, однако, спросить васъ: почему вы ихъ все такъ называете «Кольками» да «Наташками»?

— А это по-татарски. У нихъ все: если взрослый русскій человѣкъ такъ *Иванъ*, а женщина *Наташа*, а мальчиковъ они *Кольками* кличутъ, такъ и моихъ женъ, хоть онѣ и татарки были, но по мнѣ ихъ все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишекъ Кольками. Однако, все это, разумѣется, только поверхностно, потому что они были безъ всѣхъ церковныхъ таинствъ и я ихъ за своихъ дѣтей не почиталъ.

— Какъ же не почитали за своихъ? почему же это такъ?

— Да что же ихъ считать, когда они не крещеные-съ, и муромъ не мазаны.

— А чувства-то ваши родительскія?

— Что же такое-съ?

— Да неужто же вы этихъ дѣтей нимало и не любили, и не ласкали ихъ никогда?

— Да вѣдь какъ ихъ ласкать? Разумѣется, если, бывало, какъ одинъ сидишь, а который-нибудь подбѣжитъ, ну, ничего, по головкѣ его рукой поведешь, поглядишь и скажешь ему «ступай къ матери», но только это рѣдко доводилось, потому мнѣ не до нихъ было.

— А отчего же не до нихъ: дѣла, что ли, у васъ очень много было?

— Нѣтъ-съ; дѣла никакого, а тосковалъ: очень домой въ Россію хотѣлось.

— Такъ вы и въ десять лѣтъ не привыкли къ степямъ?

— Нѣтъ-съ, домой хочется... тоска дѣлалась. Особенно по вечерамъ, или даже когда среди дня стоитъ погода хорошая, жарынь, въ стану тихо, вся татарва отъ зною попадаетъ по шатрамъ и спитъ, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи... въ одну сторону и въ другую—все одинаково... Знойный видъ, жестокій; просторъ—краю нѣтъ; травы, буйство; ковыль бѣлый, пушистый, какъ серебряное море волнуется и по вѣтерку запахъ несетъ: овцой пахнетъ, а солнце обливаетъ, жжетъ, и степи, словно жизни тягостной, нигдѣ конца не предвидится и тутъ глубинѣ тоски дна нѣтъ... Зришь, самъ не знаешь куда, и вдругъ предъ тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь, или храмъ и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Иванъ Северьянычъ остановился, тяжело вздохнулъ отъ воспоминанія и продолжалъ:

— Или еще того хуже было на солончакахъ надъ самымъ надъ Каспіемъ; солнце рдѣетъ, печетъ и солончакъ блеститъ и море блеститъ... Одурѣніе отъ этого блеску даже хуже чѣмъ отъ ковыля дѣлается и не знаешь тогда, гдѣ себя, въ какой части свѣта числить, то-есть живъ ты или уже умеръ и въ безнадежномъ аду за грѣхи мучишься. Тамъ, гдѣ степь ковылистѣе, она все-таки радостнѣй; тамъ хоть по уваламъ кое-гдѣ изрѣдка шалфей сизѣетъ, или мелкій полынь и чабрецъ пестритъ бѣлизну! а тутъ все одно блыщаніе... Тамъ, гдѣ-нибудь огонь пàломъ по травѣ пойдетъ, — суета поднимется: дрохвы летятъ, стрепеты, кулики степные и охота на нихъ затѣется. Тудаковъ этихъ, или по здѣшнему драхвовъ, на коняхъ заѣзжаемъ и длинными кнутьями засѣкаемъ; а тамъ, гляди, надо и самимъ съ коня отъ огня бѣжать... Все отъ этого развлеченіе. А потомъ по старому палу опять клубника засядетъ; птица на нее разная налетитъ, все больше мелочь этакая и пойдетъ въ воздухѣ чириканье... А потомъ еще гдѣ-нибудь и кустикъ встрѣтишь: таволожка, дикій персичекъ, или чилизникъ... И когда на восходѣ солнца туманъ росою садится, будто прохладой пахнётъ и идутъ отъ растенія запахи... Оно, разумѣется, и при всемъ этомъ скучно, но все еще перенесть можно; но на солончакѣ не приведи Господи ни-

кому долго побывать. Конь тамъ одно время бываетъ доволенъ: онъ соль лижетъ и съ нея много пьетъ и жирѣетъ, но человѣку тамъ—погибель. Живности даже никакой нѣтъ, только и есть, какъ на смѣхъ, одна малая птичка, красноустикъ, въ родѣ нашей ласточки, самая непримѣчательная, а только у губокъ этакая оторочка красная. Зачѣмъ она къ этимъ морскимъ берегамъ летитъ—не знаю, но какъ сѣсть ей постоянно здѣсь не на что, то она упадетъ на солончакъ, полежитъ на своей хлупи и, глядишь, опять схватилась и опять полетѣла, а ты и сего лишенъ, ибо крыльевъ нѣтъ, и ты снова здѣсь, и нѣтъ тебѣ ни смерти, ни живота, ни покаянія, а умрешь, такъ какъ барана тебя въ соль положатъ, и лежи до конца свѣта солониною. А еще и этого тошнѣе зимою на тюбенькѣ; снѣгъ малый, только чуть траву укроетъ и залубенитъ — татары тогда все въ юртахъ надъ огнемъ сидятъ, курятъ... И вотъ тутъ они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь и глянуть не на что: кони нахохрятся и ходятъ свернувшись, худые такіе, что только хвосты да гривы развѣваются. Насилу ноги волочатъ и копытомъ снѣжный настъ разгребаютъ и мерзлую травку гложутъ, тѣмъ и питаются, — это и называется *тюбенькуютъ*... Несносно. Только и разсѣянія, что если замѣчаютъ, что какой конь очень ослабѣлъ и тюбеньковать не можетъ, — снѣгу копытомъ не пробиваетъ и мерзлаго корня зубомъ не достаетъ, то такого сейчасъ въ горло ножомъ колютъ и шкуру снимаютъ, а мясо ѣдятъ. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно въ родѣ какъ коровье вымя, но жесткое: отъ нужды, разумѣется, ѣшь, а самого мутитъ. У меня, спасибо, одна жена умѣла еще коневьи ребра коптить: возьметъ какъ есть коневье ребро, съ мясомъ съ обѣихъ сторонъ, да въ большую кишку всунетъ и надъ очагомъ выкоптитъ. Это еще ничего, сходнѣе ѣсть можно, потому что оно, по крайней мѣрѣ, запахомъ въ родѣ ветчины отдаетъ, но а на вкусъ все равно тоже поганое. И тутъ-то этакую гадость гложешь и вдругъ вздумаешь: эхъ, а дома у насъ теперь въ деревнѣ къ празднику утокъ, молъ, и гусей щипятъ, свиней рѣжутъ, щи съ зашеиной варятъ жирныя-прежирныя, и отецъ Илья, нашъ священникъ, добрый-предобрый старичокъ, теперь скоро пойдетъ онъ Христа славить и съ нимъ дьяки, попадьи и дьячихи плутъ и съ семинаристами, и всѣ навеселѣ, а самъ отецъ

Илья много пить не можетъ: въ господскомъ домѣ ему дворецкій рюмочку поднесетъ; въ конторѣ тоже управитель съ нянькой вышлетъ, попотчуетъ, отецъ Илья и раскиснетъ и ползетъ къ намъ на дворню, совсѣмъ чуть ножки волочитъ пьяненькій: въ первой съ краю избѣ еще какъ-нибудь рюмочку прососетъ, а тамъ ужъ болѣе не можетъ и все подъ ризой въ бутылочку сливаетъ. Такъ это все у него семейственно, даже въ разсужденіи кушанья, онъ если что посмачнѣе изъ съѣстного увидитъ, проситъ: «дайте, говоритъ, мнѣ въ газетную бумажку, я съ собой заверну». Ему обыкновенно скажутъ: «нѣту, молъ, батюшка, у насъ газетной бумаги», онъ не сердится, а возьметъ такъ просто и, не завернувши, своей попадейкѣ передастъ и дальше столь же мирно пойдетъ. Ахъ, судари, какъ это все съ дѣтства памятное житье пойдетъ вспоминаться, и понапретъ на душу и станетъ вдругъ загнетать на печеняхъ, что гдѣ ты пропадаешь, ото всего этого счастія отлученъ и столько лѣтъ на духу не былъ, и живешь невѣнчанный и умрешь неотпѣтый, и охватитъ тебя тоска, и... дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дѣти и никто бы тебя изъ поганыхъ не видалъ, и начнешь молиться... и молишься,—такъ молишься, что даже снѣгъ инда подъ колѣнами протаетъ и гдѣ слезы падали—утромъ травку увидишь.

Разсказчикъ умолкъ и поникъ головою. Его никто не тревожилъ; казалось, всѣ были проникнуты уваженіемъ къ святой скорби его послѣднихъ воспоминаній; но прошла минута и Иванъ Северьянычъ самъ вздохнулъ, какъ рукой махнулъ; снялъ съ головы своей монастырскій колпачокъ и, перекрестясь, молвилъ.

— А все прошло, слава Богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о томъ, какъ онъ, нашъ очарованный богатырь, выправилъ свои попорченныя волосяною сѣчкою пятки и какими путями онъ убѣжалъ изъ татарской степи отъ своихъ Наташекъ и Колекъ и попалъ въ монастырь?

Иванъ Северьянычъ удовлетворилъ это любопытство съ полною откровенностью, измѣнять которой онъ, очевидно, былъ вовсе не способенъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Дорожа послѣдовательностью въ развитіи заинтересовавшей насъ исторіи Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего разсказать, какими необыкновенными средствами онъ избавился отъ своей щетинки и ушелъ изъ плѣна? Онъ повѣдалъ объ этомъ слѣдующее сказаніе:

— Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидать свое отечество. Помышленіе объ этомъ даже мнѣ казалось невозможнымъ и стала даже во мнѣ самая тоска замирать. Живу, какъ статуй безчувственный, и больше ничего; а иногда думаю: что вотъ же, молъ, у насъ дома въ церкви этотъ самый отецъ Илья, который все газетной бумажки проситъ, бывало, на служеніи молится «о плавающихъ и путешествующихъ, страждущихъ и *плѣненныхъ*», а я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачѣмъ? развѣ теперь есть война, чтобы о плѣнныхъ молиться? А вотъ теперь и понимаю, зачѣмъ этакъ молятся, но не понимаю, отчего же мнѣ отъ всѣхъ этихъ молитвъ никакой пользы нѣтъ и, по малости сказать, хоша не невѣрую, а смущаюсь и самъ молиться не сталъ.

— Что же, думаю, молить, когда ничего оттого не выходитъ.

А между тѣмъ вдругъ однажды слышу-послышу татарва что-то сумятится.

Я говорю:

— Что такое?

— Ничего, говорятъ, — изъ вашей стороны два муллы пришли, отъ Бѣлаго Царя охранный листъ имѣютъ и далеко идутъ свою вѣру уставлять.

Я бросился: говорю:

— Гдѣ они?

Мнѣ показали на одну юрту, я и пошелъ туда, куда показали. Прихожу и вижу тамъ собрались много шихъ-задовъ и мало-задовъ, имамовъ и дербышей, и всѣ, поджавъ ноги, на кошмахъ сидятъ, а посреди ихъ два человѣка незнакомые, одѣты хотя и по-дорожному, а видно, что духовнаго званія: стоятъ оба посреди этого сброда и слову Божьему татаръ учатъ.

Я ихъ какъ увидалъ, взрадовался, что русскихъ вижу, и сердце во мнѣ затрепетало и упалъ я имъ въ ноги и за-

рыдалъ. Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули:

— А что? а что? видите! видите? какъ дѣйствуетъ благодать, вотъ она уже одного вашего коснулась, и онъ обращается отъ Магомета.

А татары отвѣчаютъ, что это, молъ, ничего не дѣйствуетъ: это — вашъ Иванъ, онъ изъ вашихъ, изъ русскихъ, только въ плѣну у насъ здѣсь проживаетъ.

Миссіонеры очень этимъ недовольны сдѣлались. Не вѣрятъ, что я русскій, а я и встрялъ самъ:

— Нѣтъ, — я говорю, — я, точно, русскій! Отцы, говорю, духовные! смилуйтесь, выручите меня отсюда! я здѣсь уже одиннадцатый годъ въ плѣну томлюсь и видите, какъ изувѣченъ: ходить не могу.

Они, однако, нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять свое дѣло продолжать: все проповѣдуютъ.

Я думаю: ну что же на это роптать: они люди должностные и, можетъ-быть, имъ со мною неловко иначе при татарахъ обойтися и оставилъ, а выбралъ такой часъ, что они были одни въ особливой ставкѣ, и кинулся къ нимъ, и уже со всею откровенностью имъ все разсказалъ, что самую жестокую участь претерпѣваю и прошу ихъ.

— Попугайте, — говорю, — ихъ, отцы благодѣтели, нашимъ батюшкой Бѣлымъ Царемъ: скажите имъ, что онъ не велитъ азіатамъ своихъ подданныхъ насильно въ плѣну держать, или, еще лучше, выкупъ за меня имъ дайте, а я вамъ служить пойду. Я, говорю, здѣсь живучи, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вамъ полезнымъ человѣкомъ быть.

А они отвѣчаютъ:

— Что, говорятъ, сыне: выкупу у насъ нѣтъ, а пугать, — говоритъ, — намъ невѣрныхъ не позволено, потому что и безъ того люди лукавые и непреданные, и съ ними изъ политики мы вѣжливость соблюдаемъ.

— Такъ что же, говорю: стало-быть мнѣ изъ-за этой политики такъ тутъ цѣлый вѣкъ у нихъ и пропадать?

— А что же, говорятъ, — все равно, сыне, гдѣ пропадать, а ты молись: у Бога много милости, можетъ-быть Онъ тебя и избавитъ.

— Я, молъ, молился, да уже силъ моихъ нѣтъ и упованіе отложилъ.

— А ты, говорятъ,—не отчаивайся, потому что это большой грѣхъ!

— Да я, говорю,—не отчаиваюсь, а только... какъ же вы это такъ... мнѣ это очень обидно, что вы, русскіе и земляки, и ничего пособить мнѣ не хотите.

— Нѣтъ, отвѣчаютъ,—ты, чадо, насъ въ это не мѣшай, мы во Христѣ, а во Христѣ нѣтъ ни еллинъ, ни жидъ: наши земляки всѣ послушествующіе. Намъ всѣ равны, всѣ равны.

— Всѣ?—говорю.

— Да, — отвѣчаютъ: — всѣ, это наше наученіе отъ апостола Павла. Мы куда приходимъ, не ссоримся... это намъ не подобаетъ. Ты рабъ и, что дѣлать, терпи, ибо и по апостолу Павлу,—говорятъ,—рабы должны повиноваться. А ты помни, что ты христіанинъ и потому о тебѣ намъ уже хлопотать нечего, твоей душѣ и безъ насъ врата въ рай уже отверсты, а эти во тьмѣ будутъ, если мы ихъ не присоединимъ, такъ мы за нихъ должны хлопотать.

И показываютъ мнѣ книжку:

— Вотъ вѣдь,—говорятъ,—видишь сколько здѣсь у насъ человѣкъ въ этомъ реестрѣ записано,—это все мы столько людей къ нашей вѣрѣ присоединили!

Я съ ними больше и говорить не сталъ и не видѣлъ ихъ больше, какъ окромя одного, и то случаемъ: пригонилъ отколь-то разъ одинъ мой сынишка и говоритъ:

— У насъ на озерцѣ, тятька, человѣкъ лежитъ.

Я пошелъ посмотрѣть: вижу, на ногахъ съ колѣнъ чулки содраны, а съ рукъ по локти перчатки сняты, татарва это искусно дѣлаютъ, обчертитъ да дернетъ, такъ шкуру и сниметъ,—а голова этого человѣка въ сторонкѣ валяется и на лбу крестъ вырѣзанъ.

— Эхъ, думаю:—не хотѣлъ ты за меня, землякъ, похлопотать и я тебя осуждалъ, а ты вотъ сподобился и вѣнецъ страданія пріялъ. Прости меня теперь ради Христа!

И взялъ я его перекрестилъ, сложилъ его головку съ туловищемъ, поклонился до земли и закопалъ, и «Святый Боже» надъ нимъ пропѣлъ,—а куда другой его товарищъ дѣлся, такъ и не знаю; но только тоже вѣрно онъ тѣмъ же кончилъ, что вѣнецъ пріялъ, потому что у насъ послѣ по

ордѣ у татарокъ очень много образковъ пошло, тѣхъ самыхъ, что съ этими миссіонерами были.

— А эти миссіонеры даже и туда въ Рынь-пески заходятъ?

— Какъ же-съ, они ходятъ, но только все безъ пользы безъ всякой.

— Отчего же?

— Обращаться не знаютъ какъ. Азіата въ вѣру приводить надо со страхомъ, чтобы онъ трясся отъ перепуга, а они имъ Бога смирнаго проповѣдываютъ. Это по первоначалу никакъ не годится, потому что азіатъ смирнаго Бога безъ угрозы ни за что не уважитъ и проповѣдниковъ побьетъ.

— А главное, надо полагать, идучи къ азіатамъ, денегъ и драгоцѣнностей не надо при себѣ имѣть.

— Не надо-съ; а впрочемъ, все равно они не повѣрятъ, что кто-нибудь пришелъ, да ничего при себѣ не принесъ; подумаютъ, что гдѣ-нибудь въ степи закопалъ и пытать станутъ и запытаютъ.

— Вотъ разбойники!

— Да-съ; такъ было при мнѣ съ однимъ жидовиномъ: старый жидовинъ не вѣсть откуда пришелъ, и тоже о вѣрѣ говорилъ. Человѣкъ хорошій и видно къ вѣрѣ своей усердный и весь въ такихъ лохмоткахъ, что вся плоть его видна, а сталъ говорить про вѣру, такъ даже кажется никогда бы его не пересталъ слушать. Я съ нимъ по первоначалу было спорить зачалъ, что какая же, молъ, ваша вѣра, когда у васъ святыхъ нѣтъ, но онъ говоритъ: есть, и началъ по талмуду читать, какіе у нихъ бываютъ святые... очень занятно, а тотъ талмудъ, говоритъ, написалъ раввинъ Іовозбенъ Леви, который былъ такой ученый, что грѣшные люди на него смотрѣть не могли; какъ взглянули, сейчасъ всѣ умирали, черезъ что Богъ позвалъ его передъ самого себя и говоритъ: «Эй, ты, ученый раввинъ, Іовозбенъ Леви! то хорошо, что ты такой ученый, но только то нехорошо, что чрезъ тебя всѣ мои жидки могутъ умирать. Не на то, говоритъ, я ихъ съ Моисеемъ черезъ степь перегналъ и черезъ море переправилъ. Пошелъ-ну ты за это вонъ изъ своего отечества и живи тамъ, гдѣ бы тебя никто не могъ видѣть». — А раввинъ Леви какъ пошелъ, то ударился до самаго до того мѣста, гдѣ былъ рай, и зарылъ себя тамъ въ

песокъ по самую шею и пребывалъ въ пескѣ тринадцать лѣтъ, а хотя же и былъ засыпанъ по шею, но всякую субботу приготовлялъ себѣ агнца, который былъ печенъ огнемъ, съ небеси нисходящимъ. И если комаръ или муха ему садилась на носъ, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчасъ были пожираемы небеснымъ огнемъ... Азіатамъ это очень понравилось про ученаго раввина, и они долго сего жидовина слушали, а потомъ приступили къ нему и стали его допрашивать: гдѣ онъ, идучи къ нимъ, свои деньги закопалъ? Жидовинъ батюшки-какъ клялся, что денегъ у него нѣтъ, что его Богъ безо всего послалъ съ одной мудростью, ну, однако, они ему не повѣрили, а сгребли уголья, гдѣ костеръ горѣлъ, разостлали на горячую золу коневью шкуру, положили на нее и стали потряхивать. Говори имъ, да говори: гдѣ деньги? А какъ видятъ, что онъ весь почернѣлъ и голосу не подаетъ:

— Стой,—говорятъ:—давай мы его по горло въ песокъ закопаемъ: можетъ быть ему отъ этого проходитъ.

И закопали, но, однако, жидовинъ такъ закопанный и померъ, и голова его долго потомъ изъ песку чернѣлась, но дѣти ее стали пужаться, такъ срубили ее и въ сухой колодецъ кинули.

— Вотъ тебѣ и проповѣдуй имъ!

— Да-съ; очень трудно, но а деньги у этого жидовина все-таки вѣдь были.

— Были?!

— Были-съ; его потомъ волки тревожить стали и шакалки и всего по кусочкамъ изъ песку повытаскали и, наконецъ, добрались и до обуви. Тутъ сапожонки растормошили, а изъ подметки семь монетъ выкатились. Нашли ихъ потомъ.

— Ну, а какъ же вы-то отъ нихъ вырвались?

— Чудомъ спасенъ.

— Кто же это чудо сдѣлалъ, чтобы васъ избавить?

— Талафа.

— Это кто же такой, этотъ Талафа: тоже татаринъ?

— Нѣтъ-съ; онъ другой породы, индійской, и даже не простой индіецъ, а ихній богъ, на землю сходящій.

Упрошенный слушателями, Иванъ Северьянычъ Флягинъ разсказалъ нижеслѣдующее объ этомъ новомъ актѣ своей житейской драмо-комедіи.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

— Послѣ того, какъ татары нашихъ мисанеровъ избавились, опять прошелъ безъ мала годъ и опять была зима и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поюжнѣе къ Каспію и тутъ вдругъ одного дня передъ вечеромъ пригонили къ намъ два человѣка, ежели только можно ихъ за человѣковъ считать. Кто ихъ знаетъ, какіе они и откуда и какого рода и званія. Даже языка у нихъ никакого настоящаго не было, ни русскаго, ни татарскаго, а говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промежъ себя не вѣсть по-каковски. Оба не старые, одинъ черный, съ большой бородой, въ халатѣ, будто и на татарина похожъ, но только халатъ у него не пестрый, а весь красный и на башкѣ острая персіанская шапка, а другой рыжій, тоже въ халатѣ, но этакій штуковатый: все ящички какіе-то при себѣ имѣлъ и сейчасъ, чуть ему время есть, что никто на него не смотритъ, онъ съ себя халатъ долой сниметъ и остается въ однихъ штанцахъ и въ курточкѣ, а эти и штанцы и курточка по такому шиты, какъ въ Россіи на заводахъ у какихъ-нибудь нѣмцевъ бываетъ. И все онъ, бывало, въ этихъ ящичкахъ что-то вертитъ да перебираетъ, а что̀ такое у него тамъ содержалось—лихо его вѣдаетъ. Говорили, будто изъ Хивы пришли коней закупать и хотятъ тамъ у себя дома съ кѣмъ-то войну дѣлать, а съ кѣмъ — не сказываютъ, но только все татарву противъ русскихъ подущаютъ. Слышу я — этотъ рыжій — говоритъ онъ много не умѣетъ, а только выговоритъ въ родѣ какъ по-русски «натшальникъ» и плюнетъ; но денегъ съ ними при себѣ не было, потому что они, азіаты, это знаютъ, что если съ деньгами въ степь пріѣхать, то оттоль уже съ головой на плечахъ не выѣдешь, а манули они нашихъ татаръ, чтобы имъ косяки коней на ихъ рѣку, на Дарью, перегнать, и тамъ расчетъ сдѣлать. Татарва и туда, и сюда мыслями разсѣялись, и не знаютъ: согласиться на это, или нѣтъ? Думаютъ, думаютъ, словно золото копаютъ, а видно чего-то боятся.

А тѣ ихъ то честью уговаривали, а потомъ тоже и пугать начали:

— Гоните,—говорятъ:—а то вамъ худо можетъ быть: у насъ есть богъ Талафа и онъ съ нами свой огонь прислалъ. Не дай Богъ какъ разсердится.

Татары того бога не знаютъ и сомнѣваются, что онъ имъ сдѣлать можетъ въ степи, зимою, съ своимъ огнемъ, — ничего. Но этотъ чернобородый, который изъ Хивы пріѣхалъ въ красномъ халатѣ, говоритъ, что если, говоритъ, вы сомнѣваетесь, то Талафа вамъ сею же ночью свою силу покажетъ, только вы, говоритъ, если что̀ увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то онъ сожжетъ. Разумѣется, всѣмъ это среди скуки степной, зимней, ужасть какъ интересно, и всѣ мы хотя немножко этой ужасти боимся, а рады посмотрѣть: что такое отъ этого индійскаго бога будетъ; чѣмъ онъ, какимъ чудомъ проявится?

Позабрались мы съ женами и съ дѣтьми подъ ставки рано и ждемъ... Все темно и тихо, какъ и во всякую ночь, только вдругъ, такъ въ первый сонъ, я слышу, что будто въ степи что-то какъ вьюга пришипѣло и хлопнуло, и сквозь сонъ мнѣ показалось, будто съ небеси искры посыпались.

Схватился я, гляжу и жены мои ворочаются и ребята заплакали.

Я говорю:

— Цыть! заткните имъ глотки, чтобы сосали и не плакали.

Тѣ зацмоктали и стало опять тихо, а въ темной степи вдругъ опять вверхъ огонь зашипѣлъ... зашипѣло и опять лопнуло...

— Ну, думаю, однако, видно Талафа-то не шутка!

А онъ мало спустя, опять зашипѣлъ да уже совсѣмъ на другой манеръ,—какъ птица огненная выпорхнулъ съ хвостомъ, тоже съ огненнымъ, и огонь необыкновенно какой, какъ кровь красный, а лопнетъ, вдругъ все желтое сдѣлается и потомъ синее станетъ.

По становищу, слышу, все какъ умерло. Не слыхать этого, разумѣется, никому нельзя этакой пальбы, но всѣ, значитъ, оробѣли и лежатъ подъ тулупами. Только слышно, что земля вразъ вздрогнетъ, затрясется и опять станетъ. Это, можно разумѣть, кони шарахаются и все въ кучу тѣснятся, да слышно разъ было какъ эти хивяки, или индійцы, куда-то пробѣгли и сейчасъ опять по степи огонь какъ пустится змѣемъ... Кони какъ зынули на то, да и понеслись... Татарва и страхъ позабыли, всѣ повыскакали, башками трясутъ, вопятъ: Алла! Алла! да въ погоню, а тѣ,

хивяки, пропали и слѣда ихъ нѣтъ, только одинъ ящикъ свой покинули по себѣ на память... Вотъ тутъ какъ всѣ наши бàтыри угнали за табуномъ, а въ стану однѣ бабы да старики остались, я и доглядѣлся до этого ящика: что тамъ такое? Вижу въ немъ разныя земли и снадобья, и бумажныя трубки: я сталъ разъ одну эту трубку близко къ костру разсматривать, а она какъ хлопнетъ, чуть мнѣ огнемъ всѣ глаза не выжгло, и вверхъ полетѣла, а тамъ... бббаххъ звѣздами разсыпало... Эге, думаю себѣ, да это должно не богъ, а просто фейверокъ, какъ у насъ въ публичномъ саду пускали, да опять какъ изъ другой трубки бабахну, а гляжу татары, кои тутъ старики остались уже, и повалились и ничкомъ лежатъ кто гдѣ упалъ, да только ногами дрыгаютъ... Я было по-первоначалу и самъ испугался, но потомъ какъ увидалъ, что они этакъ дрыгаютъ, вдругъ совсѣмъ въ иное расположеніе пришелъ и съ тѣхъ поръ, какъ въ полонъ попалъ, въ первый разъ какъ заскриплю зубами, да и ну на нихъ вслухъ какія попало незнакомыя слова произносить. Кричу какъ можно громче:

— Парле-бьенъ-комса-шире-миръ-ферфлюхтуръ-минъ-адью мусью!

Да еще трубку съ вертуномъ выпустилъ... Ну, тутъ уже они, увидавъ, какъ вертунъ съ огнемъ ходитъ, всѣ какъ умерли... Огонь погасъ, а они все лежатъ и только нѣтъ-нѣтъ одинъ голову подниметъ, да и опять сейчасъ мордок внизъ, а самъ только пальцемъ киваетъ, зоветъ меня къ себѣ. Я подошелъ и говорю:

— Ну, что? признавайся; чего тебѣ, проклятому: смерти или живота? потому что вижу, что они уже страсть меня боятся.

— Прости, — говорятъ: — Иванъ, не дай смерти, а дай живота.

А въ другомъ мѣстѣ тоже и другіе такимъ манеромъ киваютъ и все прощенья и живота просятъ.

Я вижу, что хорошо мое дѣло заиграло: вѣрно уже я за всѣ свои грѣхи оттерпѣлся и прошу:

— Мать Пресвятая Владычица, Николай угодникъ, лебедики мои, голубчики, помогите мнѣ, благодѣтели!

А самъ татаръ строго спрашиваю:

— Въ чемъ и на какой конецъ я васъ долженъ простить и животомъ жаловать.

— Прости, — говорятъ: — что мы въ твоего Бога не вѣрили.

— Ага, думаю, — вонъ оно какъ я ихъ пугнулъ, да говорю: ну, ужъ нѣтъ, братцы, врете.—этого я вамъ за противность религіи ни за что не прощу! да самъ опять зубами скрипъ, да еще трубку распечаталъ.

Эта вышла съ ракитою... Страшный огонь и трескъ.

Кричу я на татаръ:

— Что же: еще одна минута и я васъ всѣхъ погублю, если вы не хотите въ моего Бога вѣрить.

— Не губи,—отвѣчаютъ:—мы всѣ подъ вашего Бога согласны подойти.

Я и пересталъ фейверки жечь и окрестилъ ихъ въ рѣчечкѣ.

— Тутъ же, въ это самое время и окрестили?

— Въ эту же самую минуту-съ. Да и что же тутъ было долго время препровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочилъ ихъ по башмакамъ водицей, надъ прорубью, прочелъ «во имя Отца и Сына» и крестики, которые отъ мисанеровъ остались, понадѣвалъ на шеи и велѣлъ имъ того убитаго мисапера, чтобы они за мученика почитали и за него молились и могилку имъ показалъ.

— И они молились?

— Молились-съ.

— Вѣдь они же никакихъ молитвъ христіанскихъ, чай, не знали, или вы ихъ выучили?

— Нѣтъ; учить мнѣ ихъ некогда было, потому что я видѣлъ, что мнѣ въ это время бѣжать пора, а велѣлъ имъ: молитесь, молъ, какъ до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смѣйте, а вмѣсто него Іисуса Христа поминайте. Они такъ и приняли сіе исповѣданіе.

— Ну, а потомъ какъ же все-таки вы отъ этихъ новыхъ христіанъ убѣжали съ своими искалѣченными ногами и какъ вылѣчились?

— А потомъ я нашелъ въ тѣхъ фейверкахъ ѣдкую землю; такая, что чуть ее къ тѣлу приложишь, сейчасъ она страшно тѣло палитъ. Я ее и приложилъ и притворился, будто я боленъ, а самъ себѣ все, подъ кошмой лежа, этой ѣдкостью пятки растравливалъ и въ двѣ недѣли такъ растравилъ, что у меня вся какъ есть плоть на ногахъ взгноилась и вся та щетина, которую мнѣ татары десять лѣтъ назадъ

засыпали, съ гноемъ вышла. Я какъ можно скорѣе обмогнулся, но виду въ томъ не подаю, а притворяюсь, что мнѣ еще хуже стало, и наказалъ я бабамъ и старикамъ, чтобы они всѣ какъ можно усерднѣе за меня молились, потому что, молъ, помираю. И положилъ я на нихъ въ родѣ эпитемьи постъ, и три дня я имъ за юрты выходить не велѣлъ, а для бо́льшей еще острастки самый большой фейверкъ пустилъ и ушелъ...

— Но они васъ не догнали?

— Нѣтъ; да и гдѣ имъ было догонять: я ихъ такъ запостилъ и напугалъ, что они, небось, радешеньки остались и три дня носу изъ юртъ не казали, а послѣ хоть и выглянули, да уже искать имъ меня далеко было. Ноги-то у меня, какъ я изъ нихъ щетину спустилъ, подсохли, такіи легкія стали, что какъ разбѣжался, всю степь перебѣжалъ.

— И все пѣшкомъ?

— А то какъ же-съ, тамъ вѣдь не проѣзжая дорога, встрѣтить некого, а встрѣтишь, такъ не обрадуешься, кого обрѣтешь. Мнѣ на четвертый день чувашинъ показался, одинъ пять лошадей гонитъ, говоритъ: садись верхомъ.

Я поопасался и не поѣхалъ.

— Чего же вы его боялись?

— Да такъ... онъ какъ-то мнѣ неувѣренъ показался, а притомъ нельзя было и разобрать, какой онъ религіи, а безъ этого на степи страшно. А онъ, безтолковый, кричитъ:

— Садись,—кричитъ:—веселѣй, двое будемъ ѣхать.

Я говорю:

— А кто ты: можетъ-быть, у тебя Бога нѣтъ?

— Какъ,—говоритъ:—нѣтъ: это у татарина бока нѣтъ, онъ кобылу ѣстъ, а у меня есть бокъ.

— Кто же,—говорю:—твой Богъ?

— А у меня,—говоритъ:—все бокъ: и солнце бокъ, и мѣсяцъ бокъ, и звѣзды бокъ... все бокъ. Какъ у меня нѣтъ бокъ?

— Все!.. гм... все, молъ, у тебя Богъ, а Іисусъ Христосъ, говорю,—стало-быть, тебѣ не Богъ?

— Нѣтъ, говоритъ,—и Онъ бокъ, и Богородица бокъ, и Николачъ бокъ...

— Какой, говорю,—Николачъ?

А что одинъ на зиму, одинъ на лѣто живетъ?

Я его похвалилъ, что онъ русскаго Николая Чудотворца уважаетъ.

— Всегда, говорю, — его почитай, потому что онъ русскій, и уже совсѣмъ-было его вѣру одобрилъ и совсѣмъ съ нимъ ѣхать хотѣлъ, а онъ, спасибо, разболтался и выказался.

— Какъ же, говоритъ,—я Николача почитаю: я ему на зиму, пущай, хоть не кланяюсь, а на лѣто ему двугривенный даю, чтобъ онъ мнѣ хорошенько коровокъ берегъ, да! Да еще на него одного не надѣюсь, такъ Керемети бычка жертвую.

Я и разсердился.

— Какъ же, говорю, — ты смѣешь на Николая Чудотворца не надѣяться и ему, русскому, всего двугривенный, а своей мордовской Керемети поганой цѣлаго бычка! Пошелъ прочь, говорю:—не хочу я съ тобою... я съ тобою не поѣду, если ты такъ Николая Чудотворца не уважаешь.

И не поѣхалъ: зашагалъ во всю мочь; не успѣлъ опомниться, смотрю, къ вечеру третьяго дня вода завиднѣлась и люди. Я легъ для опаски въ траву и высматриваю: что̀ за народъ такой? Потому что боюсь, чтобы опять еще въ худшій плѣнъ не попасть, но вижу, что это люди пищу варятъ... Должно-быть, думаю, христіане. Подползъ еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьютъ, — ну, значитъ, русскіе!.. Тутъ и я выскочилъ изъ травы и объявился. Это, вышло, ватага рыбная: рыбу ловили. Они меня, какъ надо землякамъ, ласково приняли и говорятъ:

— Пей водку!

Я отвѣчаю:

— Я, братцы мои, отъ нея, съ татарвой живучи, совсѣмъ отвыкъ.

— Ну, ничего, говорятъ,—здѣсь своя нацыя, опять привыкнешь: пей!

Я налилъ себѣ стаканчикъ и думаю:

— Ну-ка, Господи благослови, за свое возвращеніе!—и выпилъ, а ватажники пристаютъ, добрые ребята.

— Пей еще! говорятъ, — ишь ты безъ нея какъ зачичкался.

Я и еще одну позволилъ и сдѣлался очень откровенный, все имъ разсказалъ: откуда я и гдѣ, и какъ пребывалъ. Всю ночь я имъ, у огня сидя, разсказывалъ и водку пилъ, и все мнѣ такъ радостно было, что я опять на святой Руси, но только подъ утро этакъ, уже костерокъ сталъ тухнуть

и почти всѣ, кто слушалъ, заснули, а одинъ изъ нихъ, ватажный товарищъ, говоритъ мнѣ:

— А паспортъ же у тебя есть?

Я говорю:

— Нѣтъ, нема.

— А если, говоритъ, — нема, такъ тебѣ здѣсь будетъ тюрьма.

— Ну, такъ я, говорю,—я отъ васъ не пойду: а у васъ, небось, тутъ можно жить и безъ паспорта?

А онъ отвѣчаетъ:

— Жить, говоритъ, — у насъ безъ паспорта можно, но помирать нельзя.

Я говорю:

— Это отчего?

— А какъ же, говоритъ,—тебя попъ запишетъ, если ты безъ паспорта?

— Такъ какъ же, молъ, мнѣ на такой случай быть?

— Въ воду, говоритъ, — тебя тогда бросимъ на рыбное пропитаніе.

— Безъ попа?

— Безъ попа.

Я, въ легкомъ подпитіи будучи, ужасно этого испугался и сталъ плакать и жалиться, а рыбакъ смѣется:

— Я, говоритъ, — надъ тобою шутилъ: помирай смѣло, мы тебя въ родную землю зароемъ.

Но я уже очень огорчился и говорю:

— Хороша, молъ, шутка. Если вы этакъ станете надо мною часто шутить, такъ я и до другой весны не доживу.

И чуть этотъ послѣдній товарищъ заснулъ, я поскорѣе поднялся и пошелъ прочь, и пришелъ въ Астрахань, заработалъ на поденщинѣ рубль и съ того часу столь усердно запилъ, что не помню, какъ очутился въ иномъ городѣ, и сижу уже я въ острогѣ, а оттуда меня по пересылкѣ въ свою губернію послали. Привели меня въ нашъ городъ, высѣкли въ полиціи и въ свое имѣніе доставили. Графиня, которая меня за кошкинъ хвостъ сѣчь приказывала, уже померла, а одинъ графъ остался, но тоже очень состарѣлся и богомольный сталъ, и конскую охоту оставилъ. Доложили ему, что я пришелъ, онъ меня вспомнилъ и велѣлъ меня еще разъ дома высѣчь и чтобы я къ батюшкѣ, къ отцу Ильѣ, на духъ шелъ. Ну, высѣкли меня по старинному, въ раз-

рядной избѣ, и я прихожу къ отцу Ильѣ, а онъ сталъ меня исповѣдывать и на три года не разрѣшаетъ мнѣ причастія...

Я говорю:

— Какъ же такъ, батюшка, я было... столько лѣтъ не причащамшись... ждалъ...

— Ну, мало ли, говоритъ, — что; ты ждалъ, а зачѣмъ ты, говоритъ, татарокъ при себѣ вмѣсто женъ держалъ... Ты знаешь ли, говоритъ, что я еще милостиво дѣлаю, что тебя только отъ причастія отлучаю, а если бы тебя взяться такъ должно по правилу святыхъ отецъ исправлять, такъ на тебѣ на живомъ надлежитъ всю одежду сжечь, но только ты, говоритъ, этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется.

Ну, что же, думаю, — дѣлать: останусь хоть такъ, безъ причастія, дома поживу, отдохну послѣ плѣна, но графъ этого не захотѣли. Изволили сказать:

— Я, говоритъ, не хочу вблизи себя отлученнаго отъ причастія терпѣть.

И приказали управителю еще разъ меня высѣчь съ оглашеніемъ для всеобщаго примѣра и потомъ на оброкъ пустить. Такъ и сдѣлалось: выпороли меня въ этотъ разъ по новому, на крыльцѣ, передъ конторою, при всѣхъ людяхъ, и дали паспортъ. Отрадно я себя тутъ-то почувствовалъ, черезъ столько лѣтъ совершенно свободнымъ человѣкомъ, съ законною бумагою, и пошелъ. Намѣреніевъ у меня никакихъ опредѣлительныхъ не было, но на мою долю Богъ послалъ практику.

— Какую же?

— Да опять все по той же, по конской части. Я пошелъ съ самаго малаго ничтожества, безъ гроша, а вскорѣ очень достаточнаго положенія достигъ и еще бы лучше могъ распорядиться, если бы не одинъ предметъ.

— Что же это такое, если можно спросить?

— Одержимости большой подпалъ отъ разныхъ духовъ и страстей, и еще одной неподобной вещи.

— Что же это такое за неподобная вещь васъ обдержала?

— Магнетизмъ-съ.

— Какъ! магнетизмъ?!

— Да-съ, магнетическое вліяніе отъ одной особы.

— Какъ же вы чувствовали надъ собой ея вліяніе?

— Чужая воля во мнѣ дѣйствовала, и я чужую судьбу исполнялъ.

— Вотъ тутъ, значитъ, къ вамъ и пришла *ваша* собственная погибель, послѣ которой вы нашли, что вамъ должно исполнить матушкино обѣщаніе, и пошли въ монастырь?

— Нѣтъ-съ, это еще послѣ пришло, а до того со мною много иныхъ разныхъ приключеній было, прежде чѣмъ я получилъ настоящее убѣжденіе.

— Вы можете разсказать и эти приключенія?

— Отчего же-съ; съ большимъ моимъ удовольствіемъ.

— Такъ, пожалуйста.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Взявши я паспортъ, пошелъ безъ всякаго о себѣ намѣренія и пришелъ на ярмарку, и вижу тамъ цыганъ мужику лошадь мѣняетъ и безбожно его обманываетъ; сталъ ея силу пробовать, и своего конишку въ просяной возъ заложилъ, а мужикову лошадь въ яблочный. Тяга въ нихъ, разумѣется, хоть и равная, а мужикова лошадь прѣетъ, потому что ее яблочный духъ обморачиваетъ, такъ какъ коню этотъ духъ страшно непріятенъ, а у цыгановой лошади, кромѣ того, я вижу, еще и обморокъ бываетъ и это сейчасъ понять можно, потому, что у нея на лбу есть знакъ, какъ былъ огонь ставленъ, а цыганъ говоритъ: «это бородавка». А мнѣ мужика, разумѣется, жаль, потому ему на обморочной лошади нельзя будетъ работать, такъ какъ она кувырнетъ, да и все тутъ, а къ тому же, я цыгановъ тогда смерть ненавидѣлъ черезъ то, что отъ первыхъ отъ нихъ имѣлъ соблазнъ бродить и впереди, вѣроятно, еще иное предчувствовалъ, какъ и оправдалось. Я эту фальшь въ лошади мужичку и открылъ, а какъ цыганъ сталъ со мною спорить, что не огонь жженъ на лбу, а бородавка, я въ доказательство моей справедливости ткнулъ коня шильцемъ въ почку, онъ сейчасъ и шлепъ на землю и закрутился. Взялъ я и мужикамъ хорошую лошадь по своимъ познаніямъ выбралъ, а они мнѣ за это вина и угощенія и двѣ гривны денегъ, и очень мы тутъ погуляли. Съ того и пошло: и капиталъ расти и усердное пьянство, и мѣсяца не прошло, какъ я вижу, что это хорошо: обвѣшался весь бляхами и коновальскою сбруею и началъ ходить съ ярмарки на ярмарку и вездѣ бѣдныхъ

людей руководствую и собираю себѣ достатокъ и всѣ могарычи пью; а между тѣмъ сталъ я для всѣхъ барышниковъ-цыгановъ все равно, что Божія гроза, и узналъ стороною, что они собираются меня бить. Я отъ этого сталъ уклоняться, потому что ихъ много, а я одинъ и они меня ни разу не могли попасть одного, и вдоволь отколотить, а при мужикахъ не смѣли, потому что тѣ за мою добродѣтель всегда стояли за меня. Тутъ они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародѣй и не своею силою въ тари толкъ знаю, но, разумѣется, все это были пустяки: къ коню я, какъ вамъ докладывалъ, имѣю дарованіе и готовъ бы его всякому кому угодно преподать, но только что главное дѣло это никому въ пользу не послужитъ.

— Отчего же это не послужитъ въ пользу?

— Не пойметъ-съ никто, потому что на это надо не иначе какъ имѣть даръ природный и у меня уже не разъ такой опытъ былъ, что я преподавалъ, но все втуне осталось; но позвольте, объ этомъ послѣ.

Когда моя слава по ярмаркамъ прогремѣла, что я насквозь коня вижу, то одинъ ремонтеръ, князь, мнѣ сто рублей давалъ:

— Открой, говоритъ, братецъ, твой секретъ насчетъ пониманія. Мнѣ это дорого стоитъ.

А я отвѣчаю:

— Никакого у меня секрета нѣтъ, а у меня на это природное дарованіе.

Ну, а онъ пристаетъ:

— Открой же мнѣ, однако, какъ ты объ этомъ понимаешь? А чтобы ты не думалъ, что я хочу какъ-нибудь,— вотъ тебѣ сто рублей.

Что тутъ дѣлать? Я пожалъ плечами, завязалъ деньги въ тряпицу и говорю: извольте, молъ, я, что знаю, стану сказывать, а вы извольте тому учиться и слушать; а если не выучитесь и нисколько вамъ отъ того пользы не будетъ, за это я не отвѣчаю.

Онъ, однако, былъ и этимъ доволенъ, и говоритъ: ну, ужъ это не твоя бѣда, сколько я научусь, а ты только сказывай.

— Первое самое дѣло, говорю,—если кто насчетъ лошади хочетъ знать, что она въ себѣ заключаетъ, тотъ долженъ имѣть хорошее расположеніе въ осмотрѣ и отгого никогда

не отдаляться. Съ перваго взгляда надо глядѣть умно на голову и потомъ всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, какъ офицеры дѣлаютъ. Тронетъ за зашеину, за чолку, за храпокъ, за обрѣзъ и за грудной соколокъ, или еще за что попало, а все безъ толку. Отъ этого барышники кавалерійскихъ офицеровъ за эту латошливость страсть любятъ. Барышникъ, какъ этакую военную латоху увидалъ, сейчасъ начнетъ передъ нимъ конемъ крутить, вертѣть, во всѣ стороны поворачивать, а которую часть не хочетъ показать, той ни за что не покажетъ, а тамъ-то и фальшь, а фальшей этихъ бездна: конь вислоухъ—ему кожицы на вершокъ въ затылкѣ вырѣжутъ, стянутъ и зашьютъ и замажутъ и онъ оттого ушки подберетъ, но не надолго: кожа ослабнетъ и уши развиснутъ. Если уши велики,—ихъ обрѣзываютъ,—а чтобы ушки прямо стояли, въ нихъ рожки суютъ. Если кто паристыхъ лошадей подбираетъ, и если, напримѣръ, одинъ конь во лбу съ звѣздочкой,—барышники уже такъ и зрятъ, чтобы такую звѣздочку другой приспособить: пемзою шерсть вытираютъ, или горячую рѣпу печеную приложатъ гдѣ надо, чтобы бѣлая шерсть выросла, она сейчасъ и идетъ, но только всячески если хорошо смотрѣть, то такимъ манеромъ рощеная шерстка всегда противъ настоящей немножко длиннѣе и пупится, какъ будто бородочка. Еще больше барышники обижаютъ публику глазами: у иной лошади западинки ввалившись надъ глазомъ и некрасиво, но барышникъ проколетъ кожицу булавкой, а потомъ приляжетъ губами и все въ это мѣсто дуетъ, и надуетъ такъ, что кожа подымется и глазъ освѣжѣетъ, и красиво станетъ. Это легко дѣлать, потому что если лошади на глазъ дышать, ей это пріятно, отъ теплаго дыханія, и она стоитъ не шелохнется, но воздухъ выйдетъ и у нея опять ямы надъ глазами будутъ. Противъ этого одно средство: около кости щупать, не ходитъ ли воздухъ. Но еще того смѣшнѣе, какъ слѣпыхъ лошадей продаютъ. Это точно комедія бываетъ. Офицерикъ, напримѣръ, крадется къ глазу коня съ соломинкой, чтобы испытать, видитъ ли конь соломинку, а самъ того не видитъ, что барышникъ въ это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулакомъ ее подъ брюхо или подъ бокъ толкаетъ. А иной хоть и тихо гладитъ, но у него въ перчаткѣ гвоздикъ, и онъ будто гладитъ, а самъ кольнетъ. И я своему ремонтеру противъ

того, что здѣсь сейчасъ упомянулъ, вдесятеро болѣе объяснилъ, но ничего ему это въ пользу не послужило: назавтра, гляжу, онъ накупилъ коней такихъ, что кляча клячи хуже и еще зоветъ меня посмотрѣть и говоритъ:

— Ну-ка, братъ, полюбуйся, какъ я наловчился коней понимать?

Я взглянулъ, разсмѣялся и отвѣчаю, что, молъ, и смотрѣть нечего:

— У этой плечи мясисты,—будетъ землю ногами цѣплять; эта ложится—копыто подъ брюхо кладетъ и много, что чрезъ годокъ себѣ силу намнетъ; а эта, когда овесъ ѣстъ, передней ногою топаетъ и колѣно объ ясли бьетъ, и такъ всю покупку раскритиковалъ и все правильно на мое вышло.

Князь на другой день и говоритъ:

— Нѣтъ, Иванъ: мнѣ, точно, твоего дарованія не понять, а лучше служи ты самъ у меня конэсеромъ и выбирай ты, а я только буду деньги платить.

Я согласился и жилъ отлично цѣлые три года, не какъ рабъ или наемникъ, а больше какъ другъ и помощникъ, и если бы не выходы меня одолѣли, такъ я могъ бы даже себѣ капиталъ собрать, потому что, по ремонтирскому заведенію, какой заводчикъ ни пріѣдетъ, сейчасъ самъ съ ремонтеромъ знакомится, а вѣрнаго человѣка подсылаетъ къ конэсеру, чтобы какъ возможно конэсера на свою сторону задобрить, потому что заводчики знаютъ, что вся настоящая сила не въ ремонтерѣ, а въ томъ, если который имѣетъ при себѣ настоящаго конэсера. Я же былъ, какъ докладывалъ вамъ, природный конэсеръ и этотъ долгъ природы исполнялъ совѣстно: ни за что я того, кому служу, обмануть не могъ. И мой князь это чувствовалъ и высоко меня уважалъ, и мы жили съ нимъ во всемъ въ полной откровенности. Онъ, бывало, если проиграется гдѣ-нибудь ночью, сейчасъ утромъ какъ встанетъ, идетъ въ архалучкѣ ко мнѣ въ конюшню и говоритъ:

— Ну что, почти-полупочтеннѣйшій мой Иванъ Северьянычъ! Каковы ваши дѣла?—Онъ все этакъ шутилъ, звалъ меня *почти-полупочтенный,* но почиталъ, какъ увидите, вполнѣ.

А я зналъ, что̀ это обозначаетъ, если онъ съ такой шуткой идетъ, и отвѣчу, бывало:

— Ничего, молъ: мои дѣла, слава Богу, хороши, а не знаю, какъ ваше сіятельство, каковы ваши обстоятельства?

— Мои, говоритъ,—такъ довольно гадки, что даже хуже требовать не надо.

— Что же это такое, молъ, вѣрно опять вчера продулись по онамедниннему?

— Вы, отвѣчаетъ,—изволили отгадать, мой полупочтеннѣйшій, продулся я-съ, продулся.

— А на сколько, спрашиваю,—вашу милость облегчило?

Онъ сейчасъ же и отвѣтитъ, сколько тысячъ проигралъ, а я покачаю головою, да говорю:

— Продрать бы ваше сіятельство—хорошо, да некому.

Онъ разсмѣется и говоритъ:

— То и есть, что некому.

— А вотъ ложитесь, молъ, на мою кроватку, я вамъ чистенькій кулечекъ въ голову положу, а самъ васъ постегаю.

Онъ, разумѣется, и начнетъ подъѣзжать, чтобы я ему на реванжъ денегъ далъ.

— Нѣтъ, ты, говоритъ,—лучше меня не пори, а дай-ка мнѣ изъ расходныхъ денегъ на реванжикъ: я пойду отыграюсь и всѣхъ обыграю.

— Ну, ужъ это, отвѣчаю,—покорно васъ благодарю, нѣтъ уже, играйте, да не отыгрывайтесь.

— Какъ благодаришь!—начнетъ смѣхомъ, а тамъ уже пойдетъ сердиться:—ну, пожалуйста, говоритъ, не забывайся, прекрати надо мною свою опеку и подай деньги.

Мы спросили Ивана Северьяныча, давалъ ли онъ своему князю на реванжъ?

— Никогда,—отвѣчалъ онъ.—Я его, бывало, либо обману: скажу, что всѣ деньги на овесъ роздалъ, либо просто со двора сбѣгу.

— Вѣдь онъ на васъ, небось, за это сердился?

— Сердился-съ; сейчасъ, бывало, объявляетъ: кончено-съ; вы у меня, полупочтеннѣйшій, болѣе не служите.

Я отвѣчаю:

— Ну, и что же такое, и прекрасно. Пожалуйте мой паспортъ.

— Хорошо-съ, говоритъ:—извольте собираться: завтра получите вашъ паспортъ.

Но только на завтра у насъ уже никогда объ этомъ ни-

какого разговору больше не было. Не болѣе какъ черезъ какой-нибудь часъ онъ, бывало, приходитъ ко мнѣ совсѣмъ въ другомъ расположеніи и говоритъ:

— Благодарю васъ, мой премного-мало-значущій, что вы имѣли и характеръ и мнѣ на реванжъ денегъ не дали.

И такъ это онъ всегда послѣ чувствовалъ, что если и со мною что-нибудь на моихъ выходахъ случалось, такъ онъ тоже, какъ братъ, ко мнѣ снисходилъ.

— А съ вами что же случалось?

— Я же вамъ объяснялъ, что выходы у меня бывали.

— А что это значитъ *выходы?*

— Гулять со двора выходилъ-съ. Обучась пить вино, я его всякій день пить избѣгалъ и въ умѣренности никогда не употреблялъ, но если, бывало, что меня растревожитъ, ужасное тогда къ питью усердіе получаю и сейчасъ сдѣлаю выходъ на нѣсколько дней и пропадаю. А брало это меня и не замѣтишь отчего; напримѣръ, когда, бывало, отпущаемъ коней, кажется, и не братья они тебѣ, а соскучаешь по нихъ и запьешь. Особенно, если отдалишь отъ себя такого коня, который очень красивъ, то такъ онъ, подлецъ, у тебя въ глазахъ и мечется, до того, что какъ отъ навожденія какого, отъ него скрываешься, и сдѣлаешь выходъ.

— Это значитъ—запьете!?

— Да-съ: выйду и запью.

— И надолго?

— М..! н... н... это не равно-съ, какой выходъ задастся: иногда пьешь пока все пропьешь, и либо кто-нибудь тебя отколотитъ, либо самъ кого побьешь, а въ другой разъ покороче удастся—въ части посидишь, или въ канавѣ выспишься и доволенъ, и отойдетъ. Въ таковыхъ случаяхъ я уже наблюдалъ правило, и какъ, бывало, чувствую, что долженъ сдѣлать выходъ, прихожу къ князю и говорю:

— Такъ и такъ, ваше сіятельство, извольте принять отъ меня деньги; а я пропаду.

Онъ уже и не споритъ, а принимаетъ деньги или только спроситъ, бывало:

— Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?

— Ну, я отвѣчаю, судя по тому, какое усердіе чувствую: на большой ли выходъ, или на коротенькій.

И я уйду, а онъ уже самъ и хозяйничаетъ и ждетъ меня,

пока кончится выходъ, и все шло хорошо; но только ужасно мнѣ эта моя слабость надоѣла, и вздумалъ я вдругъ отъ нея избавиться; тутъ-то и сдѣлалъ такой послѣдній выходъ, что даже теперь вспомнить страшно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Мы, разумѣется, подговорились, чтобы Иванъ Северьянычъ довершилъ свою любезность, досказавъ этотъ новый злополучный эпизодъ въ своей жизни, а онъ, по добротѣ своей, всеконечно отъ этого не отказался и повѣдалъ о своемъ «послѣднемъ выходѣ» слѣдующее:

— У насъ была куплена съ завода кобылица Дидона, молодая, золотогнѣдая, для офицерскаго сѣдла. Дивная была красавица: головка хорошенькая, глазки пригожіе, ноздерки субтильныя и открытенькія, какъ хочетъ, такъ и дышитъ, гривка легкая; грудь межъ плечъ ловко, какъ корабликъ, сидитъ, а въ поясу гибкая, и ножки въ бѣлыхъ чулочкахъ легкія и она ихъ мечетъ, какъ играетъ... Однимъ словомъ, кто охотникъ и въ красотѣ имѣетъ понятіе, тотъ отъ наглядѣнія на этакого животнаго задуматься можетъ. Мнѣ же она такъ по вкусу пришла, что я даже изъ конюшни отъ нея не выходилъ и все ласкалъ ее отъ радости. Бывало, самъ ее вычищу и оботру ее всю какъ есть бѣлымъ платочкомъ, чтобы пылинки у нея въ шерсткѣ нигдѣ не было, даже и поцѣлую ее въ самый лобикъ, въ завиточекъ, откуда шерсточка ея золотая расходилась... Въ эту пору у насъ разомъ шли двѣ ярмарки: одна въ Л., другая въ К., и мы съ княземъ раздѣлились: на одной я дѣйствую, а на другую онъ поѣхалъ. И вдругъ я получаю отъ него письмо, что пишетъ «прислать, говоритъ, ко мнѣ сюда такихъ-то и такихъ-то лошадей и Дидону». Мнѣ неизвѣстно было зачѣмъ онъ эту мою красавицу потребовалъ, на которую мой охотницкій глазъ радовался. Но думалъ я, конечно, что кому-нибудь онъ ее, голубушку, промѣнялъ или продалъ, или, еще того вѣрнѣе, проигралъ въ карты... И вотъ я отпустилъ съ конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелалъ выходъ сдѣлать. А положеніе мое въ эту пору было совсѣмъ необыкновенное: я вамъ докладывалъ, что у меня всегда было такое заведеніе, что если нападетъ на меня усердіе къ выходу, то я, бывало, появляюсь къ князю, отдаю ему всѣ деньги, кои всегда были у меня на рукахъ

въ большой суммѣ, и говорю: «Я на столько-то, или на столько-то дней пропаду». Ну, а тутъ, какъ мнѣ это устроить, когда моего князя при мнѣ нѣтъ? И вотъ я думаю себѣ: «нѣтъ, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нѣтъ и выхода мнѣ въ порядкѣ сдѣлать невозможно, потому что денегъ отдать некому, а при мнѣ сумма знатная, болѣе какъ до пяти тысячъ. Рѣшилъ я такъ, что этого нельзя и твердо этого рѣшенія и держусь, и усердія своего, чтобы сдѣлать выходъ и хорошенько пропасть, не попущаю, но ослабленія къ этому желанію всетаки не чувствую, а напротивъ того, все больше и больше стремлюсь сдѣлать выходъ. И, наконецъ, сталъ я исполниться одной мысли: какъ бы мнѣ такъ устроить, чтобы и свое усердіе къ выходу исполнить, и княжескія деньги соблюсти? И началъ я ихъ съ этою цѣлію прятать и все по самымъ невѣроятнымъ мѣстамъ ихъ пряталъ, гдѣ ни одному человѣку на мысль не придетъ деньги положить... Думаю: что дѣлать? видно съ собою не совладаешь, устрою, думаю, понадежнѣе деньги, чтобы онѣ были сохранны, и тогда отбуду свое усердіе, сдѣлаю выходъ. Но только напало на меня смущеніе: гдѣ я эти проклятыя деньги спрячу? Куда я ихъ ни положу, чуть прочь отъ того мѣста отойду, сейчасъ мнѣ входитъ въ голову мысль, что ихъ кто-то крадетъ. Иду и опять поскорѣе возьму и опять перепрятываю... Измучился просто я ихъ прятавши, и по сѣноваламъ, и по погребамъ, и по застрѣхамъ, и по другимъ такимъ неподобнымъ мѣстамъ для храненія, а чуть отойду, сейчасъ все кажется, что кто-нибудь видѣлъ какъ я ихъ хоронилъ и непремѣнно ихъ отыщетъ, и я опять вернусь, и опять ихъ достану, и ношу ихъ съ собою, а самъ опять думаю: «нѣтъ, уже баста, видно мнѣ не судьба въ этотъ разъ свое усердіе исполнить». И вдругъ мнѣ пришла божественная мысль: вѣдь это, молъ, меня бѣсъ томитъ этой страстью, пойду же я его, мерзавца, отъ себя святыней отгоню! И пошелъ я къ ранней обѣднѣ, помолился, вынулъ за себя частичку и, выходя изъ церкви, вижу, что на стѣнѣ Страшный Судъ нарисованъ, и тамъ въ углу дьявола въ геенне ангелы цѣпью бьютъ. Я остановился, посмотрѣлъ и помолился поусерднѣе святымъ ангеламъ, а дьяволу взялъ, да, послюнивши, кулакъ въ морду и сунулъ:

— На-ка, молъ, тебѣ кукишъ, на него, что хочешь, то

и купишь, а самъ послѣ этого совершенно успокоился и, распорядившись дома чѣмъ надобно, пошелъ въ трактиръ чай пить... А тамъ, въ трактирѣ, вижу стоитъ между гостей какой-то проходимецъ. Самый препустѣйшій-пустой человѣкъ. Я его и прежде, этого человѣка, видалъ, и почиталъ его не больше какъ за какого-нибудь шарлатана, или паяца, потому что онъ все, бывало, по ярмаркамъ таскается и у господъ по-французски пособія себѣ проситъ. Изъ благородныхъ онъ будто бы былъ и въ военной службѣ служилъ, но все свое промоталъ и въ карты проигралъ, и ходитъ по міру... Тутъ его въ этомъ трактирѣ, куда я пришелъ, услужающіе молодцы выгоняютъ вонъ, а онъ не соглашается уходить и стоитъ да говоритъ:

— Вы еще знаете ли кто я такой? Вѣдь я вамъ вовсе не ровня; у меня свои крѣпостные люди были и я очень много такихъ молодцовъ, какъ вы, на конюшнѣ для одной своей прихоти сѣкъ, а что я всего лишился, такъ на это была особая Божія воля и на мнѣ печать гнѣва есть, а потому меня никто тронуть не смѣетъ.

Тѣ ему не вѣрятъ и смѣются, а онъ сказываетъ, какъ онъ жилъ и въ каретахъ ѣздилъ, и изъ публичнаго сада всѣхъ штатскихъ господъ вонъ прогонялъ, и одинъ разъ къ губернаторшѣ голый пріѣхалъ, а нынѣ, говоритъ, я за свои своеволія проклятъ и вся моя натура окаменѣла, и я ее долженъ постоянно размачивать, а потому подай мнѣ водки! — я за нее денегъ платить не имѣю, но зато со стекломъ съѣмъ.

Одинъ гость и велѣлъ ему подать, чтобы посмотрѣть, какъ онъ будетъ стекло ѣсть. Онъ сейчасъ водку на лобъ хватилъ, и, какъ обѣщалъ, такъ честно и началъ стеклянную рюмку зубами хрустать и передъ всѣми ее и съѣлъ, и всѣ этому съ восторгомъ дивились и хохотали. А мнѣ его стало жалко, что благородный онъ человѣкъ, а вотъ за свое усердіе къ вину даже утробою жертвуетъ. Думаю: надо ему дать хоть кишки отъ этого стекла прополоснуть, и велѣлъ ему на свой счетъ другую рюмку подать, но стекла ѣсть не понуждалъ. Сказалъ: не надо, не ѣшь. Онъ это восчувствовалъ и руку мнѣ подаетъ.

— Вѣрно, — говоритъ, — ты происхожденія изъ господскихъ людей?

— Да,—говорю:—изъ господскихъ.

— Сейчасъ,—говоритъ:—и видно, что ты не то, что эти свиньи. Грацъ-мерси,—говоритъ:—тебѣ за это.

Я говорю:

— Ничего, иди съ Богомъ.

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ:—я очень радъ съ тобою поговорить. Подвиньсяка, я возлѣ тебя сяду.

— Ну, молъ,—пожалуй, садись.

Онъ возлѣ меня и сѣлъ, и началъ сказывать, какой онъ именитой фамиліи и важнаго воспитанія и опять говоритъ:

— Что это... ты чай пьешь?

— Да, молъ,—чай. Хочешь и ты со мною пей.

— Спасибо,—отвѣчаетъ:—только я чаю пить не могу.

— Отчего?

— А оттого,—говоритъ:—что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная: вели мнѣ лучше еще рюмку вина подать!.. И этакъ онъ и разъ, и два, и три у меня вина выпросилъ, и сталъ уже очень мнѣ этимъ докучать. А еще больше противно мнѣ стало, что онъ очень мало правды сказываетъ, а все-то куражится и не вѣсть что о себѣ соплететъ, а то вдругъ бѣднится, плачетъ и все о сустѣ.

— Подумай, — говоритъ: — ты, какой я человѣкъ? Я,— говоритъ:—самимъ Богомъ въ одинъ годъ съ императоромъ созданъ, и ему ровесникъ:

— Ну, такъ что же, молъ, такое?

— А то, что какое же мое, не смотря на все это, положеніе? Несмотря на все это, я, — говоритъ: — нисколько не взысканъ и вышелъ ничтожество, и какъ ты сейчасъ видѣлъ, я ото всѣхъ презираемъ. И съ этими словами опять водки потребовалъ, но на сей разъ уже велѣлъ цѣлый графинъ подать, а самъ завелъ мнѣ преогромную исторію, какъ надъ нимъ по трактирамъ купцы насмѣхаются, и въ концѣ говоритъ:

— Они,—говоритъ:—необразованные люди, думаютъ, что это легко такую обязанность несть, чтобы вѣчно пить и рюмкою закусывать? Это очень трудное, братецъ, призваніе и для многихъ даже совсѣмъ невозможно; но я свою натуру пріучилъ, потому что вижу, что свое надо отбыть, и несу.

— Зачѣмъ же, — разсуждаю: — этой привычкѣ такъ уже очень усердствовать? Ты ее брось.

— Бросить?—отвѣчаетъ.—А-га, нѣтъ, братецъ, мнѣ этого бросить невозможно.

— Почему же,—говорю:—нельзя?

— А нельзя,—отвѣчаетъ:—по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что я, не напившись вина, никакъ въ кровать не попаду, а все буду ходить; а, во-вторыхъ, самое главное, что мнѣ этого мои христіанскія чувства не позволяютъ.

— Что же, молъ, это такое? что ты въ кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь; но чтобы христіанскія чувства тебѣ не позволяли этаку вредную пакость бросить, этому я вѣрить не хочу.

— Да, вотъ ты,—отвѣчаетъ:—не хочешь этому вѣрить... Такъ и всѣ говорятъ... А что, какъ ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее подниметъ да возьметъ: радъ ли онъ этому будетъ или нѣтъ?

— Спаси, молъ, Господи! Нѣтъ, я думаю, не обрадуется.

— А-га! — говоритъ: — вотъ то-то и есть, а если же это такъ надо, чтобы я страдалъ, такъ вы уважайте же меня, по крайней мѣрѣ, за это и вели мнѣ еще графинъ водки подать!

Я постучалъ еще графинчикъ и сижу и слушаю, потому что мнѣ это стало казаться занятно, а онъ продолжаетъ таковыя слова:

— Оно, — говоритъ: — это такъ и надлежитъ, чтобы это мученіе на мнѣ кончилось, чѣмъ еще другому достанется, потому что я, — говоритъ: — хорошаго рода и настоящее воспитаніе получилъ, такъ что даже я еще самымъ маленькимъ по-французски Богу молился, но я былъ немилостивый и людей мучилъ, въ карты своихъ крѣпостныхъ проигрывалъ; матерей съ дѣтьми разлучалъ; жену за себя богатую взялъ и со свѣта ее сжилъ, и, наконецъ, будучи во всемъ самъ виноватъ, еще на Бога возропталъ: зачѣмъ у меня такой характеръ? Онъ меня и наказалъ: далъ мнѣ другой характеръ, что нѣтъ во мнѣ ни малѣйшей гордости, хоть въ глаза наплюй, по щекамъ отдуй, только бы пьянымъ быть, про себя забыть.

— И что же, — спрашиваю: — теперь, ты уже на этотъ характеръ не ропщешь?

— Не ропщу,—отвѣчаетъ: — потому что оно хотя хуже, но зато лучше?

— Какъ это, молъ, — такъ: я что-то не понимаю, какъ это: хуже, но лучше?

— А такъ,—отвѣчаетъ:—что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже другихъ губить не могу, ибо отъ меня всѣ отвращаются. Я, говоритъ, теперь все равно, что Іовъ на гноищѣ и въ этомъ, говоритъ, все мое счастье и спасеніе, и самъ опять водку допилъ и еще графинъ спрашиваетъ, и молвитъ:

— А ты знаешь ли, любезный другъ: ты никогда никѣмъ не пренебрегай, потому что никто не можетъ знать, за что кто какой страстью мучимъ и страдаетъ. Мы, одержимые, страждемъ, а другимъ зато легче. И самъ ты, если какую скорбь отъ какой-нибудь страсти имѣешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человѣкъ не поднялъ ее и не мучился; а ищи такого человѣка, который бы добровольно съ тебя эту слабость взялъ.

— Ну, гдѣ же,—говорю:—возможно такого человѣка найти! Никто на это не согласится.

— Отчего такъ?—отвѣчаетъ:—да тебѣ даже нечего далеко ходить: такой человѣкъ передъ тобою: я самъ и есть такой человѣкъ.

Я говорю:

— Ты шутишь?

Но онъ вдругъ вскакиваетъ и говоритъ:

— Нѣтъ, не шучу, а если не вѣришь, такъ испытай.

— Ну, какъ,—говорю:—я могу это испытывать?

— А очень просто: ты желаешь знать, каково мое дарованіе? У меня вѣдь, братъ, большое дарованіе: я вотъ, видишь,—я сейчасъ пьянъ... Такъ или нѣтъ: пьянъ я?

Я посмотрѣлъ на него и вижу, что онъ совсѣмъ сизый и весь осоловѣвши и на ногахъ покачивается, и говорю:

— Да, разумѣется, что ты пьянъ.

А онъ отвѣчаетъ:

— Ну, теперь отвернись на минуту на образъ и прочитай въ умѣ «Отче нашъ».

Я отвернулся, и, дѣйствительно, только «Отче нашъ», глядя на образъ, въ умѣ прочиталъ, а этотъ пьяный баринокъ уже опять мнѣ командуетъ:

— А ну-ка, погляди теперь на меня: пьянъ я теперь или нѣтъ?

Обернулся я и вижу, что онъ, точно ни въ одномъ глазу у него ничего не было, и стоитъ, улыбается.

Я говорю:

— Что же это значитъ: какой это секретъ?

А онъ отвѣчаетъ:

— Это, говоритъ,—не секретъ, а это называется магнетизмъ.

— Не понимаю, молъ,—что это такое?

— Такая воля, говоритъ,—особенная въ человѣкѣ помѣщается и ее нельзя ни пропить, ни проспать, потому что она дарована. Я, говоритъ, это тебѣ показалъ для того, чтобы ты понималъ, что я если захочу, сейчасъ могу остановиться и никогда не стану пить, но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запилъ, а я, поправившись, чтобы про Бога не позабылъ. Но съ другого человѣка со всякаго я готовъ и могу запойную страсть въ одну минуту свести.

— Такъ сведи, говорю,—сдѣлай милость, съ меня!

— А ты, говоритъ,—развѣ пьешь?

— Пью, говорю,—и временемъ даже очень усердно пью.

— Ну, такъ не робѣй же, говоритъ, — это все дѣло моихъ рукъ, и я тебя за твое угощеніе отблагодарю, все съ тебя сниму.

— Ахъ, сдѣлай милость, прошу, сними!

— Изволь, говоритъ, — любезный, изволь: я тебѣ это за твое угощеніе сдѣлаю; сниму и на себя возьму, и съ этимъ крикнулъ опять вина и двѣ рюмки.

Я говорю:

— На что тебѣ двѣ рюмки?

— Одна, говоритъ,—для меня, другая—для тебя!

— Я, молъ, пить не стану.

А онъ вдругъ какъ бы осерчалъ и говоритъ:

— Тссъ! силянсъ! молчать! Ты теперь кто?—больной.

— Ну, молъ,—ладно, будь по-твоему: я больной.

— А я, говоритъ,—лѣкарь, и ты долженъ мои приказанія исполнять и принимать лѣкарство,—и съ этимъ налилъ и мнѣ, и себѣ по рюмкѣ и началъ надъ моей рюмкой въ воздухѣ, въ родѣ какъ архіерейскій регентъ, руками махать.

Помахалъ, помахалъ и приказываетъ:

— Пей!

Я было усомнился, но, какъ по правдѣ сказать, и самому мнѣ винца попробовать очень хотѣлось и онъ приказываетъ: дай, думаю, ни для чего иного, а для любопытства выпью! и выпилъ.

— Хороша ли?—спрашиваетъ:—вкусна ли, или горька?

— Не знаю, молъ,—какъ тебѣ сказать.

— А, это значитъ, — говоритъ, что ты мало принялъ, и налилъ вторую рюмку, и давай опять надъ нею руками мотать. Помотаетъ-помотаетъ и отряхнетъ, и опять заставитъ меня и эту, другую, рюмку выпить и вопрошаетъ: эта какова?

Я пошутилъ:

— Говорю, эта что-то тяжела показалась.

Онъ кивнулъ головой и сейчасъ намахалъ третью, и опять командуетъ: пей! Я выпилъ и говорю:

— Эта легче; и затѣмъ уже самъ въ графинъ стучу и его потчую, и себѣ наливаю, да и пошелъ пить. Онъ мнѣ въ этомъ не препятствуетъ, но только ни одной рюмки такъ просто не намаханной не позволяетъ выпить, а чуть я возьмусь рукой, онъ сейчасъ ее изъ моихъ рукъ выйметъ и говоритъ:

— Шу, силянсъ... атанде,—и прежде надъ нею руками помашетъ, а потомъ и говоритъ:—теперь готово, можешь *принимать какъ сказано.*

И лѣчился я такимъ образомъ съ этимъ баринкомъ тутъ въ трактирѣ до самаго вечера, и все былъ очень спокоенъ, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухою деньги, и чувствую, что онѣ всѣ, какъ должно, на своемъ мѣстѣ цѣлы лежатъ, и продолжаю.

Баринъ мнѣ тутъ, пивши со мною, про все разсказывалъ, какъ онъ въ свою жизнь кутилъ и гулялъ и особенно про любовь, и впослѣди всего сталъ ссориться, что я любви не понимаю.

— Я говорю: что же съ тѣмъ дѣлать, когда я къ этимъ пустякамъ не привлеченъ? Будетъ съ тебя того, что ты все понимаешь и зато вонъ какой лонтрыгой ходишь.

А онъ говоритъ:

— Шу, силянсъ! любовь наша святыня!

— Пустяки, молъ.

— Мужикъ, говоритъ, — ты, и подлецъ, если ты смѣешь надъ священнымъ сердца чувствомъ смѣяться и его пустяками называть.

— Да, пустяки, молъ,—оно и есть.

— Да ты понимаешь ли, говоритъ, — что такое «краса природы совершенство»?

— Да, говорю,—я въ лошади красоту понимаю.

А онъ какъ вскочитъ и хотѣлъ меня въ ухо ударить.

— Развѣ лошадь, говоритъ, — краса природы совершенство?

Но какъ время было довольно поздно, то ничего этого онъ мнѣ доказать не могъ, а буфетчикъ видитъ, что мы оба пьяны, моргнулъ на насъ молодцамъ, а тѣ подскочили человѣкъ шесть и сами просятъ... «пожалуйте вонъ», а сами подхватили насъ обоихъ подъ ручки и за порогъ выставили и дверь за нами наглухо на ночь заперли.

Вотъ тутъ и началось такое навожденіе, что хотя этому дѣлу уже много-много лѣтъ прошло, но я и по сіе время не могу себѣ понять, что̀ тутъ произошло за дѣйствіе и какою силою оно надо мною творилось, но только такихъ искушеній и происшествій, какія я тогда перенесъ, мнѣ кажется, даже ни въ одномъ житіи въ Четминеяхъ нѣтъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Первымъ дѣломъ, какъ я за дверь вылетѣлъ, сейчасъ же руку за пазуху и удостовѣрился, здѣсь ли мой бумажникъ? Оказалось, что онъ при мнѣ. Теперь, думаю, вся забота, какъ бы ихъ благополучно домой донести. А ночь была самая темная, какую только можете себѣ вообразить. Въ лѣтѣ, знаете, у насъ, около Курска бываютъ такія темныя ночи, но претеплѣйшія и премягкія: по небу звѣзды какъ лампады навѣшаны, а по низу темнота такая густая, что словно въ ней кто-то тебя шаритъ и трогаетъ... А на ярмаркѣ всякаго дурного народа бездна бываетъ и достаточно случаевъ, что иныхъ грабятъ и убиваютъ. Я же хоть силу въ себѣ и ощущалъ, но думаю, во-первыхъ, я пьянъ, а, во-вторыхъ, что если десять или болѣе человѣкъ на меня нападутъ, то и съ большою силою ничего съ ними не сдѣлаешь и оберутъ, а я хоть и былъ въ куражѣ, но помнилъ, что когда я не разъ, вставая и опять садясь, расплачивался, то мой компаньонъ, баринокъ этотъ, видѣлъ, что у меня съ собою денегъ тучная сила. И потому вдругъ мнѣ, знаете, впало въ голову: нѣтъ ли съ его стороны ко вреду моему какого-нибудь предательства? Гдѣ онъ взаправду? вмѣстѣ насъ вонъ выставили, а куда же онъ такъ спѣшно дѣлся?

Стою я и потихоньку оглядываюсь и, имени его не зная, потихоньку зову такъ:

— Слышь, ты? говорю,—магнетизеръ, гдѣ ты?

А онъ вдругъ, словно бѣсъ какой, прямо у меня передъ глазами вырастаетъ и говоритъ:

— Я вотъ-онъ.

А мнѣ показалось, что будто это не тотъ голосъ, да и впотьмахъ даже и рожа не его представляется.

— Подойди-ка, говорю,—еще поближе; и какъ онъ подошелъ, я его взялъ за плечи и начинаю разсматривать и никакъ не могу узнать, кто онъ такой? какъ только его коснулся, вдругъ ни съ того, ни съ сего всю память отшибло. Слышу только, что онъ что-то по-французски лопочетъ: «ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе», а я въ томъ ничего не понимаю.

— Что ты такое, говорю,—лопочешь?

А онъ опять по-французски:

— Ди-ка-ти-ли-ка-типе.

— Да перестань, говорю,—дура, отвѣчай мнѣ по-русски, кто ты такой, потому что я тебя позабылъ.

Отвѣчаетъ:

— Ди-ка-ти-ли-ка-типе: я магнетизеръ.

— Тьфу, молъ,—ты пострѣлъ этакой! и на минутку будто вспомню, что это онъ, но стану въ него всматриваться и вижу у него два носа!.. Два носа, да и только! А раздумаюсь объ этомъ—позабуду, кто онъ такой...

— Ахъ, ты, будь ты проклятъ, думаю: — и откуда ты, шельма, на меня навязался? и опять его спрашиваю: кто ты такой?

Онъ опять говоритъ:

— Магнетизеръ.

— Провались же, говорю, — ты отъ меня: можетъ-быть, ты чортъ?

— Не совсѣмъ, говоритъ,—такъ, а около того.

Я его въ лобъ и стукнулъ, а онъ обидѣлся и говоритъ:

— За что же ты меня ударилъ? я тебѣ добродѣтельствую, и отъ усерднаго пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь?

А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю:

— Да кто же ты, молъ,—такой?

Онъ говоритъ:

— Я твой довѣчный другъ.

— Ну, хорошо, молъ, — а если ты мой другъ, такъ ты, можетъ-быть, мнѣ повредить можешь?

— Нѣтъ, говоритъ,—я тебѣ такое пти-ком-пё представлю, что ты себя инымъ человѣкомъ ощутишь.

— Ну, перестань, говорю,—пожалуйста, врать.

— Истинно, говоритъ,—истинно: такое пти-ком-пё...

— Да не болтай ты, говорю, — чортъ, со мною по-французски: я не понимаю, что то за пти-комъ-пё!

— Я, отвѣчаетъ,—тебѣ въ жизни новое понятіе дамъ.

— Ну, вотъ это, молъ,—такъ; но только, какое же такое ты можешь мнѣ дать новое понятіе?

— А такое, говоритъ, — что ты постигнешь красу, природы совершенство.

— Отчего же я, молъ,—вдругъ такъ ее и постигну?

— А вотъ пойдемъ, говоритъ,—сейчасъ увидишь.

— Хорошо, молъ,—пойдемъ.

И пошли. Идемъ оба, шатаемся, но все идемъ, а я не знаю куда, и только вдругъ вспомню, что кто же это такой со мною и опять говорю:

— Стой! говори мнѣ, кто ты? иначе я не пойду.

Онъ скажетъ, и я на минутку какъ будто вспомню, и спрашиваю:

— Отчего же это я позабываю, кто ты такой?

А онъ отвѣчаетъ:

— Это, говоритъ,—и есть дѣйствіе отъ моего магнетизма; но только ты этого не пугайся, это сейчасъ пройдетъ, только вотъ дай я въ тебя сразу побольше магнетизму пущу.

И вдругъ повернулъ меня къ себѣ спиною и ну у меня въ затылкѣ, въ волосахъ пальцами перебирать... Такъ чудно: копается тамъ, точно хочетъ мнѣ влѣзть въ голову.

— Я говорю: послушай ты... кто ты такой! что ты тамъ роешься?

— Погоди, отвѣчаетъ,—стой: я въ тебя свою силу магнетизмъ перепущаю.

— Хорошо,—говорю:—что ты силу перепущаешь, а можетъ ты меня обокрасть хочешь?

Онъ отпирается.

— Ну, такъ постой, молъ,—я деньги попробую.

Попробовалъ—деньги цѣлы.

— Ну, теперь, молъ,—вѣрно, что ты не воръ, а кто онъ такой—опять позабылъ, но только уже не помню какъ про то и спросить, а занятъ тѣмъ, что чувствую, что уже онъ совсѣмъ въ меня сквозь затылокъ точно внутрь влѣзъ и че-

резъ мои глаза на свѣтъ смотритъ, а мои глаза ему только словно какъ стекла.

— Вотъ, думаю,—штуку онъ со мной сдѣлалъ! а гдѣ же теперь, спрашиваю, мое зрѣніе?

— А твоего,—говоритъ:—теперь уже нѣтъ.

— Что, молъ,—это за вздоръ, что нѣтъ?

— Такъ,—отвѣчаетъ:—своимъ зрѣніемъ ты теперь только то увидишь, чего нѣту.

— Вотъ, молъ,—еще притча! Ну-ка, давай-ка я понатужусь.

Вылупился, знаете, во всю мочь, и вижу, будто на меня изъ-за всѣхъ угловъ темныхъ разныя мерзкія рожи на ножкахъ смотрятъ и дорогу мнѣ перебѣгаютъ, и на перекресткахъ стоятъ, ждутъ и говорятъ: «убьемъ его и возьмемъ сокровище». А передо мною опять мой вихрястенькій баринокъ и рожа у него вся свѣтомъ свѣтится, а сзади себя слышу страшный шумъ и содомъ, голоса и бряцанье, и гикъ, и визгъ, и веселый хохотъ. Осматриваюсь, и понимаю, что стою, прислонясь спиною къ какому-то дому, а въ немъ окна открыты и въ серединѣ свѣтло, и оттуда тѣ разные голоса и шумъ и гитара ноетъ, а передо мною опять мой баринокъ и все мнѣ спереди по лицу ладонями машетъ, а потомъ по груди руками ведетъ, противъ сердца останавливается, напираетъ и за персты рукъ схватитъ, встряхнетъ полегонечку, и опять машетъ, и такъ трудится, что даже, вижу, онъ сдѣлался весь въ поту.

Но только тутъ, какъ мнѣ сталъ изъ оконъ дома свѣтъ свѣтить и я почувствовалъ, что въ сознаніе свое прихожу, то я его пересталъ опасаться и говорю:

— Ну, послушай ты, кто ты такой ни есть: чортъ, или дьяволъ, или мелкій бѣсъ, а только, сдѣлай милость, или разбуди меня, или разсыпься.

А онъ мнѣ на это отвѣчаетъ:

— Погоди,—говоритъ:—еще не время: еще опасно, ты еще не можешь перенести.

Я говорю:

— Чего, молъ,—такого я не могу перенести?

— А того,—говоритъ:—что̀ въ воздушныхъ сферахъ теперь происходитъ.

— Что же, я, молъ,—ничего особеннаго не слышу.

А онъ настаиваетъ, что будто бы я не такъ слушаю, и говоритъ мнѣ божественнымъ языкомъ:

— Ты,—говоритъ:—чтобы слышать, подражай примѣрнѣ гусленгрателю, како сей подклоняетъ низу главу и, слухъ прилагая къ пѣнію, подвизаетъ бряцало рукою.

— Нѣтъ,—думаю:—да что же это такое? Это даже совсѣмъ на пьянаго человѣка рѣчи непохоже, какъ онъ сталъ разговаривать!

А онъ на меня глядитъ и тихо по мнѣ руками водитъ, а самъ продолжаетъ въ томъ же намѣреніи уговаривать.

— Такъ, — говоритъ: — купно струнамъ, художне соударяемымъ единымъ со другими, гусли пѣснь издаютъ и гусленгратель веселится, сладости ради медовныя.

То-есть просто, вамъ я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струитъ, и я думаю: вотъ тебѣ и пьяничка! Гляди-ка, какъ онъ еще хорошо можетъ отъ божества говорить! а мой баринокъ этимъ временемъ пересталъ егозиться и такую рѣчь молвитъ:

— Ну, теперь довольно съ тебя; теперь проснись, — говоритъ:—и подкрѣпись!

И съ этимъ принагнулся и все что-то у себя въ штанцахъ въ кармашкѣ долго искалъ и, наконецъ, что-то оттуда достаетъ. Гляжу, это вотъ такохонькій махонькій, махонькій кусочекъ сахарцу и весь въ сору, видно оттого, что тамъ долго валялся. Обобралъ онъ съ него коготками этотъ соръ, пообдулъ и говоритъ:

— Раскрой ротъ.

Я говорю:

— Зачѣмъ? а самъ ротъ разявилъ. А онъ воткнулъ мнѣ тотъ сахарокъ въ губы и говоритъ:

— Соси,—говоритъ:—смѣлѣе: это магнитный сахаръ-менторъ: онъ тебя подкрѣпитъ.

Я уразумѣлъ, что хоть это и по-французски онъ говорилъ, но насчетъ магнетизма, и больше его не спрашиваю, а занимаюсь сахаръ сосу, а кто мнѣ его далъ, того уже не вижу. Отошелъ ли онъ куда впотьмахъ въ эту минуту, или такъ куда провалился, лихо его вѣдаетъ, но только я остался одинъ и совсѣмъ сдѣлался въ своемъ понятіи и думаю: чего же мнѣ его ждать? мнѣ теперь надо домой идти. Но опять дѣло: не знаю — на какой я такой улицѣ нахожусь и что это за домъ, у котораго я стою? И думаю: да уже домъ ли это? можетъ быть это все мнѣ только кажется, а все это навожденіе... Теперь ночь,—всѣ спятъ,

а зачѣмъ тутъ свѣтъ?.. Ну, а лучше, молъ, попробовать... зайду, посмотрю, что здѣсь такое: если тутъ настоящіе люди, такъ я у нихъ дорогу спрошу, какъ мнѣ домой идти, а если это только обольщеніе глазъ, а не живые люди... такъ что же опаснаго? я скажу: «наше мѣсто свято: чуръ меня» и все разсыпется.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Вхожу я съ такою отважною рѣшимостью на крылечко, перекрестился и зачурался, ничего: домъ стоитъ, не шатается, и вижу: двери отворены и впереди большія длинныя сѣни, а въ глубинѣ ихъ на стѣнкѣ фонарь со свѣчою свѣтитъ. Осмотрѣлся я и вижу налѣво еще двѣ двери, обѣ цыновкой обиты и надъ ними опять этакіе подсвѣчники съ зеркальными звѣздочками. Я и думаю: что же это такое за домъ: трактиръ какъ будто не трактиръ, а видно, что гостиное мѣсто, а какое—не разберу. Но только вдругъ вслушиваюсь, и слышу, что изъ-за этой цыновочной двери льется пѣсня... томная-претомная, сердечнѣйшая, и поетъ ее голосъ, точно колоколъ малиновый, такъ за душу и щипетъ, такъ и беретъ въ полонъ. Я и слушаю и никуда далѣе не иду, а въ это время дальняя дверка вдругъ растворяется и я вижу вышелъ изъ нея высокій цыганъ, въ шелковыхъ штанахъ, а казакинъ бархатный, и кого-то передъ собою скоро выпроводилъ въ особую дверь, подъ дальнимъ фонаремъ, которую я сперовначала и не замѣтилъ. Я, признаться, хоть не хорошо разсмотрѣлъ, кого это онъ спровадилъ, но показалось мнѣ, что это онъ вывелъ моего магнетизера и говоритъ ему вслѣдъ:

— Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этомъ полтинникѣ, а завтра приходи: если намъ *отъ него* польза будетъ, такъ мы тебѣ за его приведеніе къ намъ еще прибавимъ.

И съ этимъ дверь на защелку защелкнулъ и бѣгитъ ко мнѣ, будто ненарокомъ, отворяетъ передо мною дверь, что подъ зеркальцемъ, и говоритъ:

— Милости просимъ, господинъ купецъ; пожалуйте нашихъ пѣсенъ послушать! Голоса есть хорошіе.

И съ этимъ дверь передъ мною тихо настежь распахнулъ... Такъ, милостивые государи, меня и обдало не знаю чѣмъ, но только будто столь мнѣ сроднымъ, что я вдругъ

весь тамъ очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолокъ повихнутъ, пузомъ внизъ лѣзетъ, все темно, закоптѣло и дымъ отъ табаку такой густой, что люстра наверху виситъ, такъ только чуть ее знать, что она свѣтится. А внизу въ этомъ дымищѣ люди... очень много, страсть какъ много людей, и передъ ними этимъ голосомъ, который я слышалъ, молодая цыганка поетъ. Притомъ, какъ я взошелъ, она только послѣднюю штучку тонко-претонко, нѣжно дотянула и спустила на нѣтъ и голосокъ у нея замеръ... Замеръ ея голосокъ и съ нимъ въ одно мановеніе точно все умерло... Зато черезъ минуту всѣ какъ вскочатъ, словно бѣшеные, и ладошами плещутъ и кричатъ. А я только удивляюсь: откуда это здѣсь такъ много народу и какъ будто еще все его больше и больше изъ дыму выступаетъ? Ухъ, думаю, да не дичь ли это какая-нибудь, вмѣсто людей? Но только вижу я разныхъ знакомыхъ господъ ремонтеровъ и заводчиковъ, и такъ просто богатыхъ купцовъ и помѣщиковъ узнаю, которые до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходитъ этакая... даже нельзя ее описать какъ женщину, а точно будто какъ яркая змѣя, на хвостѣ движетъ и вся станомъ гнется, а изъ черныхъ глазъ такъ и жжетъ огнемъ. Любопытная фигура! А въ рукахъ она держитъ большой подносъ, на которомъ по краямъ стоятъ много стакановъ съ шампанскимъ виномъ, а посрединѣ куча денегъ страшная. Только одного серебра нѣтъ, а то и золото, и ассигнаціи, и синія синицы, и сѣрыя утицы, и красные косачи,—только однихъ бѣлыхъ лебедей нѣтъ. Кому она подастъ стаканъ, тотъ сейчасъ вино выпьетъ, и на подносъ, сколько чувствуетъ усердія, денегъ мечетъ, золото, или ассигнаціи; а она его тогда въ уста поцѣлуетъ и поклонится. И обошла она первый рядъ и второй—гости въ родѣ какъ полукругомъ сидѣли—и потомъ проходитъ и самый послѣдній рядъ, за которымъ я сзади за стуломъ на ногахъ стоялъ и было уже назадъ повернула, не хотѣла мнѣ подносить, но старый цыганъ, что сзади ея шелъ, вдругъ какъ крикнетъ:

— Грушка!—и глазами на меня кажетъ. Она взмахнула на него рѣсничищами... ей-Богу вотъ этакія рѣсницы, длинныя-предлинныя, черныя, и точно онѣ сами по себѣ живыя и какъ птицы какія шевелятся, а въ глазахъ я замѣтилъ у нея какъ старикъ на нее повелѣлъ, то во всей

въ ней точно гнѣвомъ дунуло. Разсердилась, значитъ, что велятъ ей меня потчивать, но, однако, свою должность исполняетъ: заходитъ ко мнѣ за задній рядъ, кланяется и говоритъ:

— Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье!

А я ей даже и отвѣчать не могу: такое она со мною сразу сдѣлала! Сразу, то-есть, какъ она передо мною надъ подносомъ нагнулась и я увидалъ какъ это у нея промежъ черныхъ волосъ на головѣ, будто серебро, проборъ вьется и за спину падаетъ, такъ я и осатанѣлъ, и весь умъ у меня отняло. Пью ея угощенье, а самъ черезъ стаканъ ей въ лицо смотрю и никакъ не разберу: смугла она, или бѣла она, а межъ тѣмъ вижу какъ у нея подъ тонкою кожею, точно въ сливѣ на солнцѣ, краска рдѣетъ и на нѣжномъ вискѣ жилка бьетъ... Вотъ она, думаю, гдѣ настоящая-то красота, что природы совершенство называется: магнетизеръ правду сказалъ: это совсѣмъ не то, что въ лошади, въ продажномъ звѣрѣ.

И вотъ я допилъ стаканъ до дна и стукъ имъ объ подносъ, а она стоитъ да дожидается, за что ласкать будетъ. Я поскорѣе спустилъ на тотъ конецъ руку въ карманъ, а въ карманѣ все попадаются четвертаки да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этимъ одарить такую язвинку, и передъ другими стыдно будетъ! А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорятъ:

— Эхъ, Василій Ивановъ, зачѣмъ ты велишь Грушѣ этого мужика угощать? намъ это обидно.

А онъ отвѣчаетъ:

— У насъ, господа, всякому гостю честь и мѣсто, и моя дочь родной отцовъ цыганскій обычай знаетъ; а обижаться вамъ нечего, потому что вы еще пока не знаете, какъ иной простой человѣкъ красоту и талантъ оцѣнить можетъ. На это разные примѣры бываютъ.

А я, это слышучи, думаю:

— Ахъ, вы, волкъ васъ ѣшь! Неужели съ того, что вы меня богатѣе, то у васъ и чувствъ больше? Нѣтъ уже, что будетъ, то будетъ: послѣ князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей невиданной красы скупостью не унижу.

Да съ этимъ вразъ руку за пазуху, вынулъ изъ пачки сторублеваго лебедя, да и шаркнулъ его на подносъ. А цыганочка сейчасъ подносъ въ одну ручку переняла, а другою

мнѣ бѣлымъ платкомъ губы вытерла и своими устами такъ слегка, даже какъ и не поцѣловала, а только будто тронула устами, а вмѣсто того, точно будто ядомъ какимъ провела и прочь отошла.

Она отошла, а я было на томъ же мѣстѣ остался, но только тотъ старый цыганъ, этой Груши отецъ, и другой цыганъ, подхватили меня подъ руку и волокутъ впередъ и сажаютъ въ самый передній рядъ, рядомъ съ исправникомъ и съ другими господами.

Мнѣ было, признаться, на это и не охота: я не хотѣлъ продолжать и хотѣлъ вонъ идти; но они просятъ и не пущаютъ и зовутъ:

— Груша! Грунюша, останови гостя желаннаго!

И та выходитъ и... врагъ ее знаетъ, что она умѣла глазами дѣлать: взглянула, какъ заразу какую въ очи пустила, а сама говоритъ:

— Не обидь; погости у насъ на этомъ мѣстѣ.

— Ну, ужъ тебя ли, — говорю: — кому обидѣть можно, — и сѣлъ.

А она меня опять поцѣловала и опять то же самое осязаніе: какъ будто ядовитою кисточкою уста тронетъ и во всю кровь до самаго сердца болью прожжетъ.

И послѣ этого начались опять пѣсни и пляски, и опять другая цыганка съ шампанеей пошла. Тоже и эта хороша, но гдѣ противъ Груши! Половины той красоты нѣтъ, и за это я ей на подносъ зацѣпилъ изъ кармана четвертаковъ и сыпнулъ... Господа это взяли въ пересмѣхъ, но мнѣ все равно, потому я одного смотрю, гдѣ она, эта Грушенька, и жду, чтобы ее одинъ голосъ безъ хора слышать, а она не поетъ. Сидитъ съ другими подпѣваетъ, но сóлу не дѣлаетъ и мнѣ ея голоса не слыхать, а только ротокъ съ бѣлыми зубками видно... Эхъ, ты, думаю: доля моя сиротская: на минуту зашелъ и сто рублей потерялъ, а вотъ ее-то одну и не услышу! Но на мое счастье не одному мнѣ хотѣлося ее послушать: и другіе господа важные посѣтители всѣ вкупѣ закричали послѣ одной перемѣны:

— Груша! Груша! «Челнокъ», Груша! «Челнокъ!»

Вотъ цыганы покашляли и молодой ея братъ взялъ въ руки гитару, а она запѣла. Знаете... ихъ пѣніе обыкновенно достигательное и за сердца трогаетъ, а я какъ услыхалъ этотъ самый ея голосъ, на который мнѣ еще изъ-за двери

манилось, расчувствовался. Ужасно мнѣ какъ понравилось! Начала она такъ какъ будто грубовато, мужественно, этакъ: «мо-о-ре во-оо-о-етъ, мо-ре сто-нетъ». Точно въ дѣйствительности слышно, какъ и море стонетъ, и въ немъ челночекъ поглощенный бьется. А потомъ вдругъ въ голосѣ совсѣмъ другая перемѣна, обращеніе къ звѣздѣ: «Золотая, дорогая, предвѣщательница дня, при тебѣ бѣда земная недоступна до меня». И опять новая обратность, чего не ждешь. У нихъ все съ этими съ обращеніями: то плачетъ, томитъ, просто душу изъ тѣла вынимаетъ, а потомъ вдругъ какъ хватитъ совсѣмъ въ другомъ родѣ и точно сразу опять сердце вставитъ... Такъ и тутъ она это «море»-то съ «челномъ» всколыхала, а другіе какъ завизжатъ всѣмъ хоромъ:

Джа-ла́-ла. Джа-ла-ла,
Джа-ла́-ла прингала́!
Джа-ла-ла принга-ла
Гай да чепурингаля!
Гей гопъ-гай, та гара!
Гей гопъ-гай-та гара!

и потомъ Грушенька опять пошла съ виномъ и съ подносомъ, а я ей опять изъ-за пазухи еще одного лебедя... На меня всѣ оглядываться стали, что я ихъ своими подарками ниже себя ставлю; такъ что имъ даже совѣстно послѣ меня класть, а я рѣшительно уже ничего не жалѣю, потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказалъ. Что Груша разъ ни споетъ, то я ей за то лебедя, и уже не считаю сколько ихъ выпустилъ, а даю да и кончено, и за то другіе ее всѣ разомъ просятъ пѣть, она всѣ ихъ просьбы не поетъ, говоритъ «устала», а я одинъ кивну цыгану: не можно ли, молъ, ее понудить? тотъ сейчасъ на ее глазами поведетъ, она и поетъ. И много-съ она пѣла, пѣсня отъ пѣсни могучѣе, и покидалъ я уже ей много безъ счету лебедей, а въ концѣ, не знаю въ который часъ, но уже совсѣмъ на зарѣ точно и въ самомъ дѣлѣ она измаялась, и устала, и, точно съ намеками на меня глядя, завела: «Отойди, не гляди, скройся съ глазъ моихъ». Этими словами точно гонитъ, а другими словно допрашиваетъ: «иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать надъ собой». А я ей еще лебедя! Она меня опять поневолѣ поцѣловала, какъ ужалила, и въ глазахъ точно пламя

темное, а тѣ, другіе, въ этотъ лукавый часъ на послѣднихъ какъ заорутъ:

Ты восчувствуй, милáй,
Какъ люблю тебя, драгая!

и всѣ имъ подтягиваютъ, да на Грушу смотрятъ, и я смотрю, да подтягиваю: «ты восчувствуй!» А потомъ цыгане какъ хватятъ: «Ходи изба, ходи печь, хозяину негдѣ лечь» и вдругъ всѣ въ плясъ пошли... Пляшутъ и цыгане, пляшутъ и цыганки, и господа пляшутъ: всѣ вмѣстѣ вьются, точно и въ самомъ дѣлѣ вся изба пошла. Цыганки передъ господами носятся, и тѣ поспѣваютъ, имъ вслѣдъ гонятъ, молодые съ посвистомъ, а кои старше съ покрехтомъ... На мѣстахъ, гляжу, уже никого и не остается... Даже отъ которыхъ бы степенныхъ мужчинъ и въ жизнь того скоморошества не ожидалъ, и тѣ всѣ поднимаются. Посидитъ-посидитъ иной, кто посолиднѣе, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазомъ ведетъ, либо усомъ дергаетъ, а потомъ одинъ врагъ его плечомъ дернетъ, другой ногой мотнетъ и, смотришь, вдругъ вскочитъ и хоть не умѣетъ плясать, а пойдетъ такое ногами выводить, что ни къ чему годно! Исправникъ толстый-претолстый и двѣ дочери у него были замужемъ, а и тотъ съ зятьями своими тутъ же заодно пыхтитъ, какъ сомъ, и пятками мѣситъ, а гусаръ-ремонтеръ, ротмистръ богатый и собой молодецъ, плясунъ залихватскій, всѣхъ ярче дѣйствуетъ: руки въ боки, а каблуками навывертъ стучитъ, передъ всѣми идетъ — козырится, въ загребъ валяетъ, а съ Грушей встрѣнется—головой тряхнетъ, шапку къ ногамъ ея ронитъ и кричитъ «наступи, раздави, раскрасавица!» и она... Охъ, тоже плясунья была! Я видалъ какъ пляшутъ актерки въ театрахъ, да что все это, тьфу, все равно, что офицерскій конь безъ фантазіи на парадѣ для одного близиру манежится, не вѣсть чего ерихонится, а огня—жизни нѣтъ. Эта же краля, какъ пошла, такъ какъ фараонъ плыветъ—не колыхнется, а въ самой, въ змѣѣ, слышно, какъ и хрящъ хруститъ, и изъ кости въ кость мозжечокъ идетъ, а станетъ, повыгнется, плечомъ ведетъ и бровь съ носкомъ ножки на одну линію строитъ... Картина! Просто отъ этого видѣнья на ея танецъ всѣ словно свой весь умъ потеряли: рвутся къ ней безъ ума, безъ памяти: у кого слезы на глазахъ, а кто зубы скалитъ, но всѣ кричатъ:

— Ничего не жалѣемъ: танцуй!—и деньги ей такъ просто зря подъ ногу мечутъ, кто золото, кто ассигнаціи. И все тутъ гуще и гуще завѣялось, и я лишь одинъ сижу, да и то не знаю долго ли утерплю, потому что не могу глядѣть, какъ она на гусарову шапку наступаетъ... Она ступитъ, а меня чортъ въ жилу щелкъ; она опять ступитъ, а онъ меня опять щелкъ, да, наконецъ, думаю: что же мнѣ такъ себя всуе мучить! Пущу и я свою душу погулять вволю, да какъ вскочу, отпихнулъ гусара, да и пошелъ передъ Грушею въ присядку... А чтобы она на его, гусарову, шапку не становилася, такое средство изобрѣлъ, что, думаю, всѣ вы кричите, что ничего не жалѣете, меня тѣмъ не удивите: а вотъ, что я ничего не жалѣю, такъ я то дѣломъ-правдою докажу, да самъ прыгну, и самъ изъ-за пазухи ей подъ ноги лебедя и кричу: «дави его! наступай!» Она было не того... даромъ, что мой лебедь гусарской шапки дороже, а она и на лебедя не глядитъ, а все норовитъ за гусаромъ; да только старый цыганъ, спасибо, это замѣтилъ, да какъ на нее топнетъ... Она и поняла и пошла за мной... Она на меня плыветъ, глаза внизъ спустила, какъ змѣища-горынище, ажно гнѣвомъ землю жжетъ; а я передъ ней просто въ подобіи бѣса скачу, да все, что разъ прыгну, то подъ ножку ей мечу лебедя... Самъ ее такъ уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая, и землю, и небо сдѣлала? а самъ на нее съ дерзостью кричу: «ходи шибче», да все подъ ноги ей лебедей, да разъ руку за пазуху пущаю, чтобы еще одного достать, а ихъ, гляжу, тамъ уже всего съ десятокъ остался... Тьфу ты, думаю, чортъ же васъ всѣхъ побирай! скомкалъ ихъ всѣхъ въ кучку, да сразу ихъ всѣ ей подъ ноги и выбросилъ, а самъ взялъ со стола бутылку шампанскаго вина, отбилъ ей горло и крикнулъ:

— Сторонись, душа, а то оболью, да всю сразу и выпилъ за ея здоровье, потому что послѣ этой пляски мнѣ пить страшно хотѣлось.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

— Ну, и что же далѣе?—вопросили Ивана Северьяныча.

— Далѣе, дѣйствительно, все такъ воспослѣдовало, какъ *онъ* обѣщался.

— Кто обѣщался?

— А магнетизеръ, который это на меня навелъ: онъ

какъ обѣщался отъ меня пьянаго бѣса отставить, такъ его и свелъ, и я съ той поры никогда больше ни одной рюмки не пилъ. Очень онъ это крѣпко сдѣлалъ.

— Ну-съ, а какъ же вы съ княземъ-то своимъ за выпущенныхъ лебедей кончили?

— А я и самъ не знаю, какъ-то очень просто: какъ отъ этихъ цыгановъ доставился домой и не помню какъ легъ, но только слышу князь стучитъ и зоветъ, а я хочу съ коника встать, но никакъ края не найду и не могу сойти. Въ одну сторону поползу—не край, въ другую оборочусь и здѣсь тоже краю нѣтъ... Заблудилъ на коникѣ да и полно?.. Князь кричитъ: «Иванъ Северьянычъ!» А я откликаюсь «сейчасъ», а самъ лазаю во всѣ стороны и все не найду края, и, наконецъ, думаю: ну, если слѣзть нельзя, такъ я же спрыгну, и размахнулся, да какъ сигану какъ можно дальше и чувствую, что меня будто что по мордѣ ударило и вокругъ меня что-то звенитъ и сыпится, и сзади тоже звенитъ и опять сыпится, и голосъ князя говоритъ денщику: «давай огня скорѣй!»

А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во снѣ я все это надъ собою вижу, и полагаю, что я все еще на коникѣ до края не достигъ; а на мѣсто того, какъ денщикъ принесъ огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой въ хозяйскую горку съ хрусталемъ запрыгнулъ и поколотилъ все...

— Какъ же вы это такъ заблудились?

— Очень просто: думалъ, что я, по всегдашнему своему обыкновенію, на коникѣ сплю, а я, вѣрно, придя отъ цыганъ, прямо на полъ легъ, да все и ползалъ, края искалъ, а потомъ сталъ прыгать... и допрыгалъ до горки. Блуждалъ, потому этотъ... магнетизеръ, онъ пьянаго бѣса отъ меня свелъ, а блуднаго при мнѣ поставилъ... Я тутъ же и вспомнилъ его слова, что онъ говорилъ: «какъ бы хуже не было, если питье бросить» и пошелъ его искать,—хотѣлъ просить, чтобы онъ лучше меня размагнетизировалъ на старое, но его не засталъ. Онъ тоже много на себя набралъ и самъ не вынесъ, и тутъ же напротивъ цыгановъ у шинкарки такъ напился, что и померъ.

— А вы такъ и остались замагнетизированы?

— Такъ и остался-съ.

— И долго же на васъ этотъ магнетизмъ дѣйствовалъ?

— Отчего же долго ли? онъ, можетъ-быть, и посейчасъ дѣйствуетъ.

— А все-таки интересно знать, какъ же вы съ княземъ-то?.. Неужто такъ и объясненія у васъ никакого не было за лебедей?

— Нѣтъ-съ, объясненіе было, только не важное. Князь тоже пріѣхалъ проигравшись и на реванжъ у меня сталъ просить. Я говорю:

— Ну, уже это оставьте: у меня ничего денегъ нѣтъ.

Онъ думаетъ шутка, а я говорю:

— Нѣтъ исправди, у меня безъ васъ большой выходъ былъ.

Онъ спрашиваетъ:

— Куда же, молъ, ты могъ пять тысячъ на одномъ выходѣ дѣть?..

Я говорю:

— Я ихъ сразу цыганкѣ бросилъ...

Онъ не вѣритъ.

Я говорю:

— Ну, не вѣрьте: а я вамъ правду говорю.

Онъ было озлился и говоритъ:

— Запри-ка двери, я тебѣ задамъ, какъ казенныя деньги швырять,—а потомъ, это вдругъ отмѣнивъ, и говоритъ:— Не надо ничего: я и самъ такой же, какъ ты, безпутный.

И онъ въ комнатѣ легъ свою ночь досыпать, а я на сѣновалъ тоже опять спать пошелъ. Опомнился же я въ лазаретѣ и слышу говорятъ, что у меня бѣлая горячка была и хотѣлъ будто бы я вѣшаться, только меня, слава Богу, въ длинную рубашку спеленали. Потомъ выздоровѣлъ я и явился къ князю въ его деревню, потому что онъ этимъ временемъ въ отставку вышелъ, и говорю:

— Ваше сіятельство, надо мнѣ вамъ деньги отслужить.

Онъ отвѣчаетъ:

— Пошелъ къ чорту.

Я вижу, что онъ очень на меня обиженъ, подхожу къ нему и нагинаюсь.

— Что, говоритъ,—это значитъ?

— Да оттрепите же, прошу, меня, по крайней мѣрѣ, какъ слѣдуетъ!

А онъ отвѣчаетъ:

— А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь, а можетъ быть я тебя вовсе и виноватымъ не считаю.

— Помилуйте, говорю:—какъ же еще я не виноватъ, когда я этакую область денегъ расшвырялъ? Я самъ знаю, что меня, подлеца, за это повѣсить мало.

А онъ отвѣчаетъ:

— А что, братецъ, дѣлать, когда ты артистъ.

— Какъ, говорю,—это такъ?

— Такъ, отвѣчаетъ,—такъ, любезнѣйшій Иванъ Северьянычъ, вы, мой полупочтеннѣйшій,—артистъ.

— И понять, говорю,—не могу.

— Ты, говоритъ,—не думай что-нибудь худое, потому что и я самъ тоже артистъ.

— Ну, вотъ это, думаю, — понятно: видно не я одинъ до бѣлой горячки подвизался.

А онъ всталъ, ударилъ объ полъ трубку и говоритъ:

— Что тутъ за диво, что ты передъ ней бросилъ, что при себѣ имѣлъ, я, братецъ, за нее то отдалъ, чего у меня нѣтъ и не было.

Я во всѣ глаза на него вылупился.

— Батюшка, молъ, ваше сіятельство: помилосердуйте, что вы это говорите, мнѣ это даже слушать страшно.

— Ну, ты, отвѣчаетъ,—очень не пугайся: Богъ милостивъ и авось какъ-нибудь выкручусь, а только я за эту Грушу въ таборъ полсотни тысячъ отдалъ.

Я такъ и ахнулъ:

— Какъ, говорю, — полсотни тысячъ! за цыганку! да стòитъ ли она этого, аспидка.

— Ну, вотъ это, отвѣчаетъ, — вы, полупочтеннѣйшій, глупо и не по-артистически заговорили... Какъ стòитъ ли? Женщина всего на свѣтѣ стòитъ, потому что она такую язву нанесетъ, что за все царство отъ нея не вылѣчишься, а она одна въ одну минуту отъ нея можетъ исцѣлить.

А я все думаю, что все это правда, а только самъ все головою качаю и говорю:

— Этакая, молъ, сумма! цѣлыя пятьдесятъ тысячъ!

— Да, да, говоритъ,—и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше далъ... все, что хочешь, далъ бы.

— А вамъ бы, говорю,—плюнуть и больше ничего.

— Не могъ, говоритъ,—братецъ, не могъ плюнуть.

— Отчего же?

— Она меня красотою и талантомъ уязвила и мнѣ исцѣ-

ленья надо, а то я съ ума сойду. А ты мнѣ скажи: вѣдь правда: она хороша? А? правда, что ли? Есть отчего отъ нея съ ума сойти?..

Я губы закусилъ и только уже молча головой трясу.

— Правда, молъ, правда!

— Мнѣ,—говоритъ князь:—знаешь, мнѣ вѣдь за женщину хоть умереть, такъ ничего не стоитъ. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочемъ?

— Что же, говорю,—тутъ непонятнаго, краса, природы совершенство...

— Какъ же ты это понимаешь?

— А такъ, отвѣчаю,—и понимаю, что краса природы совершенство и за это восхищенному человѣку погибнуть... даже радость!

— Молодецъ, отвѣчаетъ мой князь;—молодецъ вы, мой почти-полу-почтеннѣйшій и премного-мало-значущій Иванъ Северьяновичъ! именно-съ, именно гибнуть-то и радостно, и вотъ то-то мнѣ теперь и сладко, что я для нея всю мою жизнь перевернулъ: и въ отставку вышелъ, и имѣніе заложилъ, и съ этихъ поръ стану тутъ жить, человѣка не видя, а только все буду одной ей въ лицо смотрѣть.

Тутъ я еще ниже спустилъ голосъ и шепчу:

— Какъ, говорю,—будете ей въ лицо смотрѣть? Развѣ она здѣсь.

А онъ отвѣчаетъ:

— А то какъ же иначе? разумѣется, здѣсь.

— Можетъ ли, говорю,—это быть?

— А вотъ ты, говоритъ,—постой, я ее сейчасъ приведу. Ты артистъ,—отъ тебя я ее не скрою.

И съ этимъ оставилъ меня, а самъ вышелъ за дверь. Я стою, жду и думаю:

— Эхъ, нехорошо это, что ты такъ утверждаешь, что на одно на ея лицо будешь смотрѣть! Наскучитъ! но въ подробности объ этомъ не разсуждаю, потому что какъ вспомню, что она здѣсь, сейчасъ чувствую, что у меня даже въ бокахъ жарко становится и въ умѣ мѣшаюсь, думаю: неужели я ее сейчасъ увижу? А они вдругъ и входятъ: князь впереди идетъ и въ одной рукѣ гитару съ широкою алой лентой несетъ, а другою Грушеньку, за обѣ ручки сжавши, тащитъ, а она идетъ понуро, упирается и не смо-

тритъ, а только эти рѣсничищи черныя по щекамъ какъ будто птичьи крылья шевелятся.

Ввелъ ее князь, взялъ на руки и посадилъ какъ дитя съ ногами въ уголъ на широкій мягкій диванъ; одну бархатную подушку ей за спинку подсунулъ, другую — подъ правый локотокъ подложилъ, а ленту отъ гитары перекинулъ черезъ плечо, и персты руки на струны поклалъ. Потомъ сѣлъ самъ на полу у дивана и голову склонилъ къ ея алому сафьянному башмачку и мнѣ киваетъ: дескать, «садись и ты».

Я тихонечко опустился у порожка на полъ, тоже подобралъ подъ себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало такъ, что даже тощо дѣлается. Я сидѣлъ-сидѣлъ, индо колѣни разломило, а гляну на нее, она все въ томъ же положеніи, а на князя посмотрю: вижу, что онъ отъ томноты у себя весь усъ изгрызъ, а ничего ей не говоритъ.

Я ему и киваю: дескать, что же вы, прикажите ей пѣть! А онъ обратно мнѣ пантомину даетъ въ такомъ смыслѣ, что, дескать, не послушаетъ.

И опять оба сидимъ на полу, да ждемъ, а она вдругъ начала, какъ будто бредитъ, вздыхать, да похлипывать и по рѣсницѣ слезка струитъ, а по струнамъ пальцы какъ осы ползаютъ и рокочутъ... И вдругъ она тихо-тихо, будто плачетъ, запѣла: «люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную».

Князь шепчетъ: что?

А я ему тоже шопотомъ по-французски отвѣчаю:

— Пти-комъ-пё, говорю, и сказать больше нечего, а она въ эту минуту вдругъ какъ вскрикнетъ: «а меня съ красоты продадутъ, продадутъ», да какъ швырнетъ гитару далеко съ колѣнъ, а съ головы сорвала косынку и пала ничкомъ на диванъ, лицо въ ладони уткнула и плачетъ, и я, глядя на нее, плачу, и князь... тоже и онъ заплакалъ, но взялъ гитару и точно не пѣлъ, а какъ будто службу служа, застоналъ: «Если бъ знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной», да и ну рыдать. И поетъ, и рыдаетъ: «Успокой меня, неспокойнаго, осчастливь меня, несчастливаго». Какъ онъ такъ жестоко взволновался, она, вижу, внемлетъ симъ его слезамъ и пѣнію и все стала тишать, усмиряться и вдругъ тихо ручку изъ-подъ своего лица вывела и, какъ мать, нѣжно обвила ею его голову...

Ну, тутъ мнѣ стало понятно, что она его въ этотъ часъ пожалѣла и теперь сейчасъ успокоитъ и исцѣлитъ всю тоску души его пламенной, и я всталъ потихоньку незамѣтно и вышелъ.

— И вѣрно тутъ-то вы и въ монастырь пошли?—вопросилъ нѣкто разсказчика.

— Нѣтъ-съ: еще не тутъ, а позже,—отвѣчалъ Иванъ Северьянычъ и добавилъ, что ему еще надлежало прежде много въ свѣтѣ отъ этой женщины видѣть, пока надъ ней все, чему суждено было, исполнилось, и его зачеркнуло.

Слушатели, разумѣется, приступили съ просьбою хотя вкратцѣ разсказать имъ исторію Груни, и Иванъ Северьянычъ это исполнилъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

— Видите,—началъ Иванъ Северьянычъ:—мой князь былъ человѣкъ души доброй, но перемѣнчивой. Чего онъ захочетъ, то ему сейчасъ во что бы то ни стало вынь да положи—иначе онъ съ ума сойдетъ, и въ тѣ поры ничего онъ на свѣтѣ за это достиженіе не пожалѣетъ, а потомъ, когда получитъ, не дорожитъ счастьемъ. Такъ это у него и съ этой цыганкою вышло и ея, Грушинъ, отецъ, и всѣ тѣ ихніе таборные цыганы отлично сразу въ немъ это поняли и запросили съ него за нее не вѣсть какую цѣну, больше какъ все его домашнее состояніе позволяло, потому что было у него хотя и хорошее имѣньице, но разоренное. Такихъ денегъ, какія таборъ за Грушу назначилъ, у князя тогда на-лицо не было, и онъ сдѣлалъ для того долгъ и уже служить больше не могъ.

Знавши всѣ эти его привычки, я много хорошаго отъ него не ожидалъ и для Груши, и такъ на мое и вышло. Все онъ къ ней ластился, безотходно на нее смотрѣлъ и дышалъ и вдругъ зѣвать сталъ, и все меня въ компанію призывать началъ.

— Садись, говоритъ,—послушай.

Я беру стулъ, сажусь гдѣ-нибудь поближе къ дверямъ и слушаю. Такъ и часто доводилось: онъ, бывало, ее попроситъ пѣть, а она скажетъ:

— Передъ кѣмъ я стану пѣть! ты, говоритъ,—холодный сталъ, а я хочу, чтобы отъ моей пѣсни чья-нибудь душа горѣла и мучилась.

Князь сейчасъ опять за мною и посылаетъ, и мы съ нимъ двое ее и слушаемъ; а потомъ Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мною обращаться очень дружественно, и я послѣ ея пѣнія не разъ у нея въ покояхъ чай пилъ, вмѣстѣ съ княземъ, но только, разумѣется, или за особымъ столомъ, или гдѣ-нибудь у окошечка, а если когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядомъ съ собою меня сажала. Вотъ такъ прошло сколько времени, а князь все смутнѣе началъ становиться и одинъ разъ мнѣ и говоритъ:

— А знаешь что, Иванъ Северьяновъ, такъ и такъ, вѣдь, дѣла мои очень плохи.

Я говорю:

— Чѣмъ же они плохи? Слава Богу, живете какъ надо и все у васъ есть.

А онъ вдругъ обидѣлся.

— Какъ, говоритъ,—вы, мой полупочтеннѣйшій, глупы, «все есть»? что же это такое у меня *есть?*

— Да все, молъ, что̀ нужно.

— Неправда, говоритъ,—я обѣднѣлъ, я теперь себѣ на бутылку вина къ обѣду долженъ разсчитывать. Развѣ это жизнь? Развѣ это жизнь?

— Вотъ, думаю,—что тебя огорчаетъ, и говорю:—ну, если когда вина недостача, еще не велика бѣда, потерпѣть можно, зато есть, что̀ слаще и вина, и меду.

Но онъ понялъ, что я намекаю на Грушу, и какъ будто меня устыдился и самъ ходитъ, рукою машетъ, а самъ говоритъ:

— Конечно... конечно... разумѣется... но только... Вотъ я теперь полгода живу здѣсь и человѣка у себя чужого не видалъ...

— А зачѣмъ, молъ, онъ вамъ, чужой-то человѣкъ, когда есть душа желанная?

Князь вспыхнулъ.

— Ты, говоритъ, — братецъ, ничего не понимаешь: все хорошо одно при другомъ.

— А-га! думаю:—вотъ ты что, братъ, запѣлъ? и говорю:— что же, молъ, теперь дѣлать?

— Давай, говоритъ, — станемъ лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мнѣ опять ремонтеры и заводчики ѣздили.

Пустое это и не господское дѣло лошадьми торговать,

но, думаю, чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, абы не плакало, и говорю: «извольте».

И начали мы съ нимъ заводить ворокъ. Но чуть за это принялись, князь такъ и унесся въ эту страсть: гдѣ какія деньжонки добудетъ, сейчасъ покупать коней и все беретъ, хватаетъ зря; меня не слушаетъ... Накупили обельму, а продажи нѣтъ... Онъ сейчасъ же этого не стерпѣлъ и коней бросилъ, да давай что попало городить: то кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завелъ и все отъ всего убытки и долги, а болѣе всего разстройство въ характерѣ... Постоянно онъ дома не сидитъ, а летаетъ то туда, то сюда, да чего-то ищетъ, а Груша одна и въ такомъ положеніи... въ тягости. Скучаетъ. «Мало, говоритъ, его вижу», а перемогаетъ себя и великатится: чуть замѣтитъ, что онъ день-другой дома заскучаетъ, сейчасъ сама скажетъ.

— Ты бы, говоритъ, — изумрудъ мой яхонтовый, куда-нибудь поѣхалъ, прогулялся, что тебѣ со мною сидѣть: я проста, неученая.

Этихъ словъ онъ, бывало, сейчасъ застыдится и руки у нея цѣлуетъ и дня два-три крѣпится, а зато потомъ, какъ выкатитъ, такъ уже и завьется, а ее мнѣ заказываетъ:

— Береги, говоритъ, — ее, полупочтенный Иванъ Северьяновъ, ты артистъ, ты не такой, какъ я, свистунъ, а ты настоящій, высокой степени артистъ, и оттого ты съ нею какъ-то умѣешь такъ говорить, что вамъ обоимъ весело, а меня отъ этихъ «изумрудовъ яхонтовыхъ» въ сонъ клонитъ.

Я говорю:

— Почему же это такъ? вѣдь, это слово любовное.

— Любовное, отвѣчаетъ,—да глупое и надоѣдное.

Я ничего не отвѣтилъ, а только сталъ отъ этого времени къ ней запросто вхожъ: когда князя нѣтъ, я всякій день два раза на день ходилъ къ ней во флигель чай пить и какъ могъ ее развлекалъ.

А развлекать было оттого, что она, бывало, если разговорится, все жалуется:

— Милый мой, сердечный мой другъ, Иванъ Северьяновичъ, возговоритъ: — ревность меня, мой голубчикъ, тягостно мучитъ.

Ну, я ее, разумѣется, уговариваю:

— Чего, говорю, — очень мучиться: гдѣ онъ ни побываетъ, все къ тебѣ воротится.

А она всплачетъ и руками себя въ грудь бьетъ, и говоритъ:

— Нѣтъ, скажи же ты мнѣ... не потай отъ меня, мой сердечный другъ, гдѣ онъ бываетъ?

— У господъ, говорю,—у сосѣдей, или въ городѣ.

— А нѣтъ ли, говоритъ,—тамъ гдѣ-нибудь моей съ нимъ разлучницы? Скажи мнѣ: можетъ, онъ допрежъ меня кого любилъ и къ ней назадъ воротился, либо не задумалъ ли онъ, лиходѣй мой, жениться?—А у самой при этомъ глаза такъ и загорятся, даже смотрѣть ужасно.

Я ее утѣшаю, а самъ думаю:

«Кто его знаетъ, что̀ онъ дѣлаетъ», потому что мы его мало въ то время и видѣли.

Вотъ какъ вспало ей это на мысль, что онъ жениться хочетъ, она и ну меня просить:

— Съѣзди, такой-сякой, голубчикъ, Иванъ Северьяновичъ, въ городъ; съѣзди, доподлинно узнай о нѐмъ все какъ слѣдуетъ и все мнѣ безъ потайки выскажи.

Пристаетъ она съ этимъ ко мнѣ все больше и больше и до того меня разжалобила, что думаю:

«Ну, была не была, поѣду. Хотя ежели что̀ дурное объ измѣнѣ узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу все дѣло въ ясность».

Выбралъ такой предлогъ, что будто бы надо самому ѣхать лѣкарствъ для лошадей у травщиковъ набрать и поѣхалъ, но поѣхалъ не спроста, а съ хитрымъ подходомъ.

Грушѣ было неизвѣстно и людямъ строго-на̀строго наказано было отъ нея скрывать, что у князя, до этого случая съ Грушею, была въ городѣ другая любовь,—изъ благородныхъ, секретарская дочка Евгенья Семеновна. Извѣстная она была во всемъ городѣ большая на фортепьянахъ игрица и предобрая барыня, и тоже собою очень хорошая и имѣла съ моимъ княземъ дочку, но располнѣла и онъ ее, говорили, будто за это и бросилъ. Однако, имѣя въ ту пору еще большой капиталъ, онъ купилъ этой барынѣ съ дочкою домъ и онѣ въ томъ домѣ доходцами и жили. Князь къ этой къ Евгеньѣ Семеновнѣ, послѣ того какъ ее наградилъ, никогда не заѣзжалъ, а люди наши, по старой памяти, за ея добродѣтель помнили и всякій пріѣздъ все, бывало, къ

ней захаживали, потому что ее любили и она до всѣхъ до нашихъ была ужасно какая ласковая, и княземъ интересовалась.

Вотъ я пріѣхалъ въ городъ прямо къ ней, къ этой доброй барынѣ, и говорю:

— Я, матушка Евгенья Семеновна, у васъ остановился.

Она отвѣчаетъ:

— Ну, что же; очень рада. Только отчего же, говоритъ, ты къ князю не ѣдешь на его квартиру?

— А развѣ, говорю,—онъ здѣсь, въ городѣ?

— Здѣсь, отвѣчаетъ. — Онъ уже другая недѣля здѣсь и дѣло какое-то заводитъ.

— Какое, молъ, еще дѣло?

— Фабрику, говоритъ,—суконную въ аренду беретъ.

— Господи! молъ, еще что такое онъ задумалъ?

— А что, говоритъ,—развѣ это худо?

— Ничего, говорю,—только что-то мнѣ это удивительно.

Она улыбается.

— Нѣтъ; а ты, говоритъ, — вотъ чему подивись, что князь мнѣ письмо прислалъ, чтобы я нынче его приняла, что онъ хочетъ на дочь взглянуть.

— И что же, говорю,—вы ему, матушка Евгенья Семеновна, разрѣшили?

Она пожала плечьми и отвѣчаетъ:

— Что же, пусть пріѣдетъ, на дочь посмотритъ, и съ этимъ вздохнула и задумалась, сидитъ опустя головку, а сама еще такая молодая, бѣлая, да вальяжная, а къ тому еще и обращеніе совсѣмъ не то, что у Груши... та, вѣдь, больше ничего, какъ начнетъ свое «изумрудный, да яхонтовый», а эта совсѣмъ другое... Я ее и взревновалъ.

«Охъ,—думаю себѣ,—какъ бы онъ на дитя-то какъ станетъ смотрѣть, то чтобы на самоё на тебя своимъ несытымъ сердцемъ не глянулъ! Отъ сего тогда моей Грушенькѣ много добра не воспослѣдуетъ». И въ такомъ размышленіи сижу я у Евгеньи Семеновны въ дѣтской, гдѣ она велѣла нянькѣ меня чаемъ поить, а у дверей вдругъ слышу звонокъ и горничная прибѣгаетъ очень радостная и говоритъ нянюшкѣ:

— Князинька къ намъ пріѣхалъ!

Я, было, сейчасъ же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна разговорчивая была ста-

рушка изъ московскихъ: страсть любила все высказать и не захотѣла черезъ это слушателя лишиться, а говоритъ:

— Не уходи, Иванъ Голованычъ, а пойдемъ вотъ сюда въ гардеробную за шкапу сядемъ, она его сюда ни за что не поведетъ, а мы съ тобою еще разговорцу проведемъ.

Я и согласился, потому что, по разговорчивости Татьяны Яковлевны, надѣялся отъ нея что-нибудь для Груши полезное свѣдать, и какъ отъ Евгеньи Семеновны мнѣ былъ лодиколонный пузыречикъ рому къ чаю высланъ, а я самъ уже тогда ничего не пилъ, то и думаю: подпущу-ка я ей, божьей старушкѣ, въ чаекъ еще вотъ этого разговорцу изъ пузыречка, авось она, по благодати своей, мнѣ тогда что-нибудь и совретъ, чего бы безъ того и не высказала.

Удалились мы изъ дѣтской и сидимъ за шкапами, а эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать — коридоръ, съ дверью въ концѣ, а та дверь какъ разъ въ ту комнату выходила, гдѣ Евгенья Семеновна князя приняла и даже къ тому къ самому дивану, на которомъ они сѣли. Однимъ словомъ, только меня отъ нихъ раздѣлила эта запертая дверь, съ той стороны матеріей завѣшанная, а то все равно будто я съ ними въ одной комнатѣ сижу, такъ мнѣ все слышно.

Князь какъ вошелъ и говоритъ:

— Здравствуй, старый другъ, испытанный!

А она ему отвѣчаетъ:

— Здравствуйте, князь! Чему я обязана?

А онъ ей:

— Объ этомъ, говоритъ,—послѣ поговоримъ, а прежде дай поздороваться и позволь въ головку тебя поцѣловать,—и мнѣ слышно, какъ онъ ее въ головку чмокнулъ, и спрашиваетъ про дочь. Евгенья Семеновна отвѣчаетъ, что она, молъ, дома.

— Здорова?

— Здорова, говоритъ.

— И выросла, небось?

Евгенья Семеновна разсмѣялась и отвѣчаетъ:

— Разумѣется, говоритъ,—выросла.

Князь спрашиваетъ:

— Надѣюсь, что ты мнѣ ее покажешь?

— Отчего же, отвѣчаетъ,—съ удовольствіемъ,—и встала съ мѣста, вошла въ дѣтскую и зоветъ эту самую няню, Татьяну Яковлевну, съ которою я угощаюсь.

— Выведите, говоритъ,—нянюшка, Людочку къ князю.

Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдце на столъ и говоритъ:

— О, пусто бы вамъ совсѣмъ было, только-что сядешь, въ самый аппетитъ съ человѣкомъ поговорить, непремѣнно и тутъ отрываютъ и ничего въ свое удовольствіе сдѣлать не дадутъ!—и поскорѣе меня барыниными юбками, которыя на стѣнѣ висѣли, закрыла и говоритъ:—посиди,—а сама пошла съ дѣвочкой, а я одинъ за шкапами остался и вдругъ слышу князь дѣвочку разъ и два поцѣловалъ и потетешкалъ на колѣнахъ и говоритъ:

— Хочешь, мой анфанъ, въ каретѣ покататься?

Та ничего не отвѣчаетъ; онъ говоритъ Евгеньѣ Семеновнѣ.

— Же ву при, говоритъ,—пожалуйста, пусть она съ нянею въ моей каретѣ поѣздитъ, покатается.

Та, было, ему что-то по-французскому, дескать, зачѣмъ и пуркуа, но онъ ей тоже въ родѣ того, что, дескать, «непремѣнно надобно», и этакъ они раза три словами перебросились и потомъ Евгенья Семеновна нехотя говоритъ нянюшкѣ:

— Одѣньте ее и поѣзжайте.

Тѣ и поѣхали, а эти двоичкой себѣ остались, да я у нихъ подъ сокрытьемъ на послухахъ, потому что мнѣ изъ-за шкаповъ и выйти нельзя, да и самъ себѣ я думалъ: вотъ же когда мой часъ насталъ и я теперь настоящее изслѣдую, что̀ у кого противъ Груши есть въ мысляхъ вреднаго?

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Пустившись на этакое рѣшеніе, чтобы подслушивать, я этимъ не удовольнился, а захотѣлъ и глазомъ, что можно, увидѣть и всего этого достигъ: сталъ тихонечко ногами на табуретку и сейчасъ вверху дверей въ пазу щелочку присмотрѣлъ и жаднымъ окомъ приникъ къ ней. Вижу, князь сидитъ на диванѣ, а барыня стоитъ у окна и, вѣрно, смотритъ, какъ ея дитя въ карету сажаютъ.

Карета отъѣхала и она оборачивается и говоритъ:

— Ну, князь, я все сдѣлала, какъ вы хотѣли: скажите же теперь, что у васъ за дѣло такое ко мнѣ?

А онъ отвѣчаетъ:

— Ну, что тамъ дѣло!.. дѣло не медвѣдь, въ лѣсъ не убѣжитъ, а ты прежде подойди-ка сюда ко мнѣ: сядемъ рядомъ, да поговоримъ ладомъ, по-старому, по-бывалому.

Барыня стоитъ, руки назадъ, объ окно опирается и молчитъ, а сама бровь супитъ. Князь проситъ:

— Что же, говоритъ, ты: я прошу, — мнѣ говорить съ тобой надо.

Та послушалась, подходитъ; онъ сейчасъ, это видя, опять шутитъ:

— «Ну, ну, молъ, посиди, посиди по-старому», и обнять ее хотѣлъ, но она его отодвинула и говоритъ:

— Дѣло, князь, говорите, дѣло: чѣмъ я могу вамъ служить?

— Что же это, — спрашиваетъ князь:— стало-быть, безъ разговора все на-чистоту выкладать?

— Конечно, говоритъ,—объясняйте прямо, въ чемъ дѣло? мы, вѣдь, съ вами коротко знакомы,—церемониться нечего.

— Мнѣ деньги нужны,—говоритъ князь.

Та молчитъ и смотритъ.

— И немного денегъ,—молвилъ князь.

— А сколько?

— Теперь всего тысячъ двадцать.

Та опять не отвѣчаетъ, а князь и ну расписывать, что я, говоритъ, суконную фабрику покупаю, но у меня денегъ ни гроша нѣтъ, а если куплю ее, то я буду милліонеръ; я, говоритъ, все передѣлаю, все старое уничтожу и выброшу, и начну яркія сукна дѣлать да азіатамъ въ Нижній продавать. Изъ самой гадости, говоритъ, вытку, да ярко выкрашу и все пойдетъ, и большія деньги наживу, а теперь мнѣ только двадцать тысячъ на задатокъ за фабрику нужно. Евгенья Семеновна говоритъ:

— Гдѣ же ихъ достать?

А князь отвѣчаетъ:

— Я и самъ не знаю, но надо достать, а потомъ расчетъ у меня самый вѣрный: у меня есть человѣкъ—Иванъ Голованъ, изъ полковыхъ конэсеровъ, очень не уменъ, а золотой мужикъ,—честный, и рачитель, и долго у азіатовъ въ плѣну былъ, и всѣ ихъ вкусы отлично знаетъ, а теперь у Макарія стоитъ ярмарка, я пошлю туда Голована заподрядиться и образцовъ взять, и задатки будутъ... тогда... я, первое, сейчасъ эти двадцать тысячъ отдамъ...

И онъ замолкъ, а барыня помолчала, воздохнула и начинаетъ:

— Расчетъ, говоритъ,—вашъ, князь, вѣренъ.

— Неправда ли?

— Вѣренъ, говоритъ,—вѣренъ: вы такъ сдѣлаете: вы дадите за фабрику задатокъ, васъ послѣ этого станутъ считать фабрикантомъ; въ обществѣ заговорятъ, что ваши дѣла поправились...

— Да.

— Да; и тогда...

— Голованъ наберетъ у Макарія заказовъ и задатковъ, и я верну долгъ и разбогатѣю.

— Нѣтъ, позвольте, не перебивайте меня: вы прежде поднимете всѣмъ этимъ на фу-фу предводителя, и пока онъ будетъ почитать васъ богачомъ, вы женитесь на его дочери и тогда, взявши за ней ея приданое, въ самомъ дѣлѣ разбогатѣете.

— Ты такъ думаешь?—говоритъ князь.

А барыня отвѣчаетъ:

— А вы развѣ иначе думаете?

— А ну, если ты, говоритъ, — все понимаешь, такъ дай Богъ твоими устами да намъ медъ пить.

— *Намъ?*

— Конечно, говоритъ,—тогда всѣмъ намъ будетъ хорошо: ты для меня теперь домъ заложишь, а я дочери за двадцать тысячъ десять тысячъ процента дамъ.

Барыня отвѣчаетъ:

— Домъ вашъ: вы ей его подарили, вы и берите его, если онъ вамъ нуженъ.

Онъ, было, началъ, что: «нѣтъ, дескать, домъ не мой, а ты ея мать, я у тебя прошу... разумѣется, только въ такомъ случаѣ, если ты мнѣ вѣришь...»

А она отвѣчаетъ:

— Ахъ, полноте, говоритъ,—князь: то ли я вамъ, говоритъ, вѣрила! Я вамъ жизнь и честь свою довѣряла.

— Ахъ, да, говоритъ,—ты про это... Ну, спасибо тебѣ, спасибо, прекрасно... Такъ завтра, стало-быть, можно прислать тебѣ подписать закладную?

— Присылайте, говоритъ,—я подпишу.

— А тебѣ не страшно?

— Нѣтъ, говоритъ,—я уже то потеряла, послѣ чего мнѣ нечего бояться.

— И не жаль? говори: не жаль? вѣрно, еще ты любишь меня немножечко? что? или просто сожалѣешь? а?

Она на эти слова только засмѣялась и говоритъ:

— Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы, лучше я велю вамъ моченой морошки съ сахаромъ подать? У меня она нынче очень вкусная.

Онъ, должно-быть, обидѣлся: не того, видно, совсѣмъ ожидалъ—встаетъ и улыбается.

— Нѣтъ, говоритъ,—кушай сама свою морошку, а мнѣ теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай,—и начинаетъ ей руки цѣловать, а тѣмъ временемъ какъ разъ и карета назадъ возвратилась.

Евгенья Семеновна и подаетъ ему на прощанье руку, а сама говоритъ:

— А какъ же вы съ вашей черноокой цыганкой сдѣлаетесь?

А онъ себя вдругъ рукой по лбу и вскрикнулъ:

— Ахъ, и вправду! какая ты всегда умная! Хочешь вѣрь, хочешь не вѣрь, а я всегда о твоемъ умѣ вспоминаю и спасибо тебѣ, что ты мнѣ теперь про этотъ яхонтъ напомнила!

— А вы, говоритъ,—будто про нее такъ и позабыли?

— Ей-Богу, говоритъ,—позабылъ. И изъ ума вонъ, а ее, дуру, вѣдь, дѣйствительно, надо устроить.

— Устраивайте,—отвѣчаетъ Евгенья Семеновна:—только хорошенечко: она, вѣдь, не русская прохладная кровь съ парнымъ молокомъ, она не успокоится смиреніемъ и ничего не проститъ ради прошлаго.

— Ничего, отвѣчаетъ,—какъ-нибудь успокоится.

— Она любитъ васъ, князь? Говорятъ, даже очень любитъ?

— Страсть надоѣла; но, слава Богу, на мое счастье, они съ Голованомъ большіе друзья.

— Что же вамъ изъ этого? — спрашиваетъ Евгенья Семеновна.

— Ничего; домъ имъ куплю и Ивана въ купцы запишу, перевѣнчаются и станутъ жить.

А Евгенья Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила:

— Эхъ, вы, князенька, князенька, безтолковый князенька: гдѣ ваша совѣсть?

А князь отвѣчаетъ:

— Оставь, пожалуйста, мою совѣсть! Ей-Богу, мнѣ теперь не до нея: мнѣ когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать.

Барыня ему и сказала, что Иванъ Голованъ, говоритъ, въ городѣ и даже у меня и приставши. Князь очень этому обрадовался и велѣлъ какъ можно скорѣе меня къ нему прислать, а самъ сейчасъ отъ нея и уѣхалъ.

Вслѣдъ за этимъ пошло у насъ все живою рукою, какъ въ сказкѣ. Надавалъ князь мнѣ довѣренностей и свидѣтельствъ, что у него фабрика есть, и научилъ говорить, какія сукна вырабатываетъ, и услалъ меня прямо изъ города къ Макарью, такъ что я Груши и повидать не могъ, а только все за нее на князя обижался, что какъ онъ это могъ сказать, чтобы ей моею женой быть? У Макарья мнѣ счастіе такъ повалило: набралъ я отъ азіатовъ и заказовъ, и денегъ, и образцовъ, и всѣ деньги князю выслалъ, и самъ пріѣхалъ назадъ и своего мѣста узнать не могу... Просто все какъ будто какимъ-нибудь волшебствомъ здѣсь перемѣнилось: все подновлено, словно изба, къ празднику убранная, а флигеля, гдѣ Груша жила, и слѣда нѣтъ: срытъ и на его мѣстѣ новая постройка поставлена. Я такъ и ахнулъ, и кинулся: гдѣ же Груша? а про нее никто и не вѣдаетъ; и люди-то въ прислугѣ все новые, наемные, и прегордые, такъ что и доступу мнѣ прежняго къ князю нѣтъ. Допрежъ сего у насъ съ нимъ все было по-военному, въ простотѣ, а теперь стало все на политикѣ и что мнѣ надо князю сказать, то не иначе, какъ черезъ камердинера.

Я этого такъ терпѣть не люблю, что ни одной бы минуты здѣсь не остался и сейчасъ бы ушелъ, но только мнѣ очень было жаль Грушу и никакъ я не могу узнать: гдѣ же это она дѣлась? Кого изъ старыхъ людей ни вспрошу— всѣ молчатъ: видно, что строго заказано. Насилу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тутъ была и «всего, говоритъ, денъ десять какъ съ княземъ въ коляскѣ куда-то отъѣхала и съ тѣхъ поръ назадъ не вернулась» Я къ кучерамъ, кои возили ихъ: сталъ спрашивать, и тѣ ничего не говорятъ. Сказали только, что князь, будто, своихъ лошадей на станціи смѣнилъ, назадъ отослалъ, а самъ съ Грушею куда-то на наемныхъ поѣхалъ. Куда ни метнусь, нѣтъ никакого слѣда, да и полно: погу-

билъ онъ ее, что ли, злодѣй, ножемъ, или пистолетомъ застрѣлилъ и гдѣ-нибудь въ лѣсу, во рву бросилъ, да сухою листвою призасыпалъ, или въ водѣ утопилъ... Отъ страстнаго человѣка, вѣдь, все это легко можетъ статься; а она ему помѣха была, чтобы жениться, потому что, вѣдь, Евгенья Семеновна правду говорила: Груша любила его, злодѣя, всею страстной своею любовью цыганскою, каторжной, и ей было то̀ не снесть и не покориться, какъ Евгенья Семеновна сдѣлала, русская христіанка, которая жизнь свою передъ нимъ какъ лампаду истеплила. Въ этой цыганское пламище-то, я думаю, дымнымъ костромъ вспыхнуло, какъ онъ ей насчетъ свадьбы сказалъ, и она тутъ, небось, невѣдомо что̀ зачертила, вотъ онъ ее и покончилъ.

Такъ я все чѣмъ больше эту думу въ головѣ содержу, тѣмъ больше увѣряюсь, что иначе это быть не могло, и не могу смотрѣть ни на какіе сборы къ его вѣнчанью съ предводительскою дочкою. А какъ свадьбы день пришелъ и всѣмъ людямъ роздали цвѣтные платки и кому какое идетъ по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надѣлъ, я взялъ все въ конюшнѣ въ своемъ чуланчикѣ покинулъ и ушелъ съ утра въ лѣсъ и ходилъ, самъ не знаю чего, до самаго вечера, все думалъ: не попаду ли гдѣ на ея тѣло убитое? Вечеръ пришелъ, я и вышелъ, сѣлъ на крутомъ берегу надъ рѣчкою, а за рѣкою весь домъ огнями горитъ, свѣтится и праздникъ идетъ; гости гуляютъ и музыка гремитъ, далеко слышно. А я все сижу да гляжу уже не на самый домъ, а въ воду, гдѣ этотъ свѣтъ весь отразило и струями рябитъ, какъ будто столбы ходятъ, точно водяные чертоги открыты. И стало мнѣ таково грустно, таково тягостно, что даже, чего со мною и въ плѣну не было, началъ я съ невидимой силой говорить и, какъ въ сказкѣ про сестрицу Аленушку сказываютъ, которую братъ звалъ, зову ее, мою сиротинушку Грунюшку, жалобнымъ голосомъ:

— Сестрица моя, моя, говорю, Грунюшка! откликнись ты мнѣ, отзовись мнѣ; откликнися мнѣ; покажися мнѣ на минуточку! И что же вы изволите думать: простоналъ я этакъ три раза и стало мнѣ жутко и зачало все казаться, что ко мнѣ кто-то бѣжитъ; а вотъ прибѣжалъ, вокругъ меня вѣется, въ уши мнѣ шепчетъ и черезъ плеча въ лицо засматриваетъ, и вдругъ на меня изъ темноты ночной

какъ что-то шаркнетъ!.. И прямо на мнѣ повисло, и колотится...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Я отъ страха даже мало на землю не упалъ, но чувствъ совсѣмъ не лишился, и ощущаю, что около меня что-то живое и легкое, точно какъ подстрѣленный журавль, бьется и вздыхаетъ, а ничего не молвитъ.

Я сотворилъ въ умѣ молитву, и что же-съ?—вижу передъ своимъ лицомъ какъ разъ лицо Груши...

— Родная моя, говорю, — голубушка! живая ли ты, или съ того свѣта ко мнѣ явилася? Ничего, говорю, не потаись, говори правду: я тебя, бѣдной сироты, и мертвой не испугаюсь.

А она глубоко-глубоко изъ глубины груди вздохнула и говоритъ:

— Я жива.

— Ну, и слава, молъ, Богу.

— Только я, говоритъ,—сюда умереть вырвалась.

— Что ты, говорю, — Богъ съ тобой, Грунюшка: зачѣмъ тебѣ умирать. Пойдемъ жить счастливою жизнью: я для тебя работать стану, а тебѣ, сиротиночкѣ, особливую келейку учрежду, и ты у меня живи замѣсто милой сестры.

А она отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, Иванъ Северьянычъ, нѣтъ, мой ласковый, милосердечный другъ, прими ты отъ меня, сироты, на томъ твоемъ словѣ вѣчный поклонъ, а мнѣ, горькой цыганкѣ, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить.

Пытаю ее:

— Про кого же ты это говоришь? про чью душу жалѣешь?

А она отвѣчаетъ:

— Про ее, про лиходѣя моего жену молодую, потому что она — молодая душа, ни въ чемъ неповинная, а мое ревнивое сердце ее все равно стерпѣть не можетъ, и я ее и себя погублю.

— Что ты, молъ, перекрестись: вѣдь, ты крещеная, а что душѣ твоей будетъ?

— Нѣ-ѣ-ѣ-ть, отвѣчаетъ, — я и души не пожалѣю, пускай въ адъ идетъ. Здѣсь хуже адъ!

Вижу, вся женщина въ разстройствѣ и въ изступленіи

ума: я ее взялъ за руки и держу, а самъ вглядываюсь и дивлюсь, какъ страшно она перемѣнилась и гдѣ вся ея красота дѣлась? тѣла даже на ней какъ нѣтъ, а только одни глаза среди темнаго лица, какъ въ ночи у волка, горятъ, и еще будто противъ прежняго вдвое больше стали, да нѣдро разнесло, потому что тягость ея тогда къ концу приходила, а личико въ кулачокъ сжало, и по щекамъ черныя космы трепятся. Гляжу на платьице, какое на ней надѣто, а платьице темное ситцевенькое, какъ есть все въ клочечкахъ, а башмачки на босу ногу.

— Скажи, говорю,—мнѣ: откуда же ты это сюда взялась; гдѣ ты была и отчего такая непригляднaя?

А она вдругъ улыбнулася и говоритъ:

— Что?.. чѣмъ я нехороша?.. Хороша! — Это меня такъ убралъ милъ-сердечный другъ за любовь къ нему за вѣрную: за то, что того, котораго больше его любила, для него позабыла, и вся ему предалась, безъ ума и безъ разума, а онъ меня за то въ крѣпкое мѣсто упряталъ и сторожей настановилъ, чтобы строго мою красоту стеречь...

И съ этимъ, вдругъ-съ, какъ захохочетъ и молвитъ съ гнѣвностью:

— Ахъ ты, глупая твоя голова, княженецкая: развѣ цыганка—барышня, что ее запоры удержатъ? Да я захочу, я сейчасъ брошуся и твоей молодой женѣ горло переѣмъ.

Я вижу, что она сама вся трясется отъ ревнивой муки, и думаю: дай я ее не страхомъ ада, а сладкимъ вспоминаніемъ отъ этихъ мыслей отведу, и говорю:

— А, вѣдь, какъ, молъ, онъ любилъ-то тебя! Какъ любилъ! Какъ ноги-то твои цѣловалъ... Бывало, на колѣняхъ передъ диваномъ стоитъ, какъ ты поешь, да алую туфлю твою и сверху, и снизу въ подошву обцѣлуетъ...

Она это стала слушать и вѣчищами своими черными водить по сухимъ щекамъ, и, въ воду глядя, начала гулкимъ тихимъ голосомъ:

— Любилъ, говоритъ, — любилъ, злодѣй, любилъ, ничего не жалѣлъ, пока не былъ самъ мнѣ по-сердцу, а полюбила его—онъ покинулъ. А за что?.. Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станетъ... Глупый онъ, глупый! Не грѣть солнцу зимой противъ лѣтняго, не видать ему вѣкъ любви противъ того, какъ я лю-

была; такъ ты и скажи ему: молъ, Груша, умирая, такъ тебѣ ворожила и на рокъ положила.

Я тутъ и радъ, что она разговорилась, и присталъ, спрашиваю:

— Да что это такое у васъ произошло и черезъ что все это сталося?

А она всплескиваетъ руками и говоритъ:

— Ахъ, ни черезо-что ничего не было, а все черезъ одно измѣнство... Нравиться ему я перестала, вотъ и вся причина; и сама, знаете, все это говоритъ, а сама начинаетъ слезами хлепать. Онъ, говоритъ, платьевъ мнѣ, по своему вкусу, такихъ нашилъ, какихъ тягостной не требуется: узкихъ да съ таліями; я ихъ надѣну, выстроюсь, а онъ сердится, говоритъ: «скинь; не идетъ тебѣ»; не надѣну ихъ, въ роспашнѣ покажусь, еще того вдвое обидится... говоритъ: «на кого похожа ты?» Я все поняла, что уже не воротить мнѣ его, что я ему опротивѣла...

И съ этимъ совсѣмъ зарыдала и сама впередъ смотритъ, а сама шепчетъ:

— Я, говоритъ, — давно это чуяла, что не мила ему стала, да только совѣсть его хотѣла узнать, думала: — ничѣмъ ему не досажу и догляжусь его жалости, а онъ меня и пожалѣлъ...

И разсказала-съ она мнѣ насчетъ своей послѣдней съ княземъ разлуки такую пустяковину, что я даже не понялъ, да и посейчасъ не могу понять: на чемъ коварный человѣкъ можетъ съ женщиною вѣковѣчно разстроиться?

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Разсказала Груша мнѣ, что какъ ты, говоритъ,— уѣхалъ да пропалъ, то-есть, это когда я къ Макарью отправился, князя еще долго домой не было; а до меня, говоритъ, слухи дошли, что онъ женится... Я отъ тѣхъ слуховъ страшно плакала и съ лица спала... Сердце болѣло и дитя подкатывало... думала: оно у меня умретъ въ утробѣ. А тутъ, слышу, вдругъ и говорятъ: «онъ ѣдетъ!» Все во мнѣ затрепетало!.. Кинулась я къ себѣ во флигель, чтобы какъ можно лучше къ нему одѣться, изумрудныя серьги надѣла, и тащу со стѣны изъ-подъ простыни самое любимое его голубое моревое платье съ кружевомъ, лифъ безъ горлышка... Спѣшу, одѣваю, а сзади спинка не сходится... я эту

спинку и не застегнула, а такъ, поскорѣе, сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не застегнуто, и къ нему на крыльцо выскочила... вся дрожу, и себя не помню какъ крикнула:

— Золотой ты мой, изумрудный, яхонтовый! — да обхватила его шею руками и замерла...

Дурнота съ нею сдѣлалась.

— А прочудилась я, говоритъ,—у себя въ горницѣ... на диванѣ лежу и все вспоминаю: во снѣ, или наяву я его обнимала; но только была, говоритъ, со мною ужасная слабость и долго она его не видала... Все посылала за нимъ, а онъ не ишелъ.

Наконецъ, онъ приходитъ, а она и говоритъ:

— Что же ты меня совсѣмъ бросилъ—позабылъ?

А онъ говоритъ:

— У меня есть дѣла.

Она отвѣчаетъ:

— Какія, говоритъ,—такія дѣла? Отчего же ихъ прежде не было? Изумрудъ ты мой брильянтовой!—да и протягиваетъ опять руки, чтобы его обнять, а онъ наморщился и какъ дернетъ ее изо всей силы крестовымъ шнуркомъ за шею...

— На счастье, говоритъ, — мое, шелковый шнурочекъ у меня на шеѣ не крѣпокъ былъ, перезніялъ и перервался, потому что я давно на немъ ладанку носила, а то бы онъ мнѣ горло передушилъ; да я полагаю такъ, что онъ того именно и хотѣлъ, потому что даже весь побѣлѣлъ и шипитъ:

— Зачѣмъ ты такіе грязные шнурки носишь?

А я говорю:

— Что тебѣ до моего шнурка; онъ чистый былъ, а это на мнѣ съ тоски почернѣлъ отъ тяжелаго пота.

А онъ:

— Тьфу, тьфу, тьфу, заплевалъ, заплевалъ, и ушелъ, а передъ вечеромъ входитъ сердитый и говоритъ:

— Поѣдемъ въ коляскѣ кататься!—и притворился, будто ласковый и въ голову меня поцѣловалъ, а я, ничего не опасаясь, сѣла съ нимъ и поѣхала. Ѣхали мы долго и два раза лошадей перемѣняли, а куда ѣдемъ—никакъ не доспрошусь у него, но вижу настало мѣсто лѣсное и болотное, непригожее, дикое. И пріѣхали среди лѣса на какую-то пчельню, а за пчельнею—дворъ, и тутъ встрѣчаютъ насъ три молодыя здоровыя дѣвки-однодворки въ мареновыхъ

красныхъ юбкахъ и зовутъ меня «барыней». Какъ я изъ коляски выступила, онѣ меня подъ руки выхватили и прямо понесли въ комнату, совсѣмъ убранную.

Меня что-то сразу отъ всего этого, и особливо отъ этихъ однодворокъ, замутило и сердце мое сжалось.

— Что это,—спрашиваю его,—какая здѣсь станція?

А онъ отвѣчаетъ:

— Это ты здѣсь теперь будешь жить.

Я стала плакать, руки его цѣловать, чтобы не бросалъ меня тутъ, а онъ и не пожалѣлъ: толкнулъ меня прочь и уѣхалъ...

Тутъ Грушенька умолкла и личико внизъ спустила, а потомъ вздыхаетъ и молвитъ:

— Уйти хотѣла; сто разъ порывалась—нельзя: тѣ дѣвки-однодворки стерегутъ и глазъ не спущаютъ... Томилась я, да, наконецъ, вздумала притвориться, и прикинулась беззаботною, веселою, будто гулять захотѣла. Онѣ меня гулять въ лѣсъ берутъ, да все за мной смотрятъ, а я смотрю по деревьямъ, по верхамъ вѣтвей да по кожурѣ примѣчаю—куда сторона на полдень, и вздумала, какъ мнѣ отъ этихъ дѣвокъ уйти, и вчера то исполнила. Вчера, послѣ обѣда, вышла я съ ними на полянку, да и говорю:

— Давайте, говорю,—ласковыя, въ жмурки по полянкѣ бѣгать.

Онѣ согласились.

— А на мѣсто глазъ, говорю,—станемъ другъ дружкѣ руки назадъ вязать, чтобы задомъ ловить.

Онѣ и на то согласны.

Такъ и стали. Я первой руки за спину крѣпко-накрѣпко завязала, а съ другою за кустъ забѣжала, да и эту тамъ спутала, а на ея крикъ третья бѣжитъ, я и третью у тѣхъ въ глазахъ силкомъ скрутила; онѣ кричатъ, а я, хоть тягостная, ударилась быстрѣй коня рѣзваго: все по лѣсу, да по лѣсу и бѣжала цѣлую ночь, и на утро упала у старыхъ бортей въ густой засѣкѣ. Тутъ подошелъ ко мнѣ старый старичокъ, говоритъ—неразборчиво шамкаетъ, а самъ весь въ воску и ото всего отъ него медомъ пахнетъ, и въ желтыхъ бровяхъ пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяныча, видѣть хочу, а онъ говоритъ:

— Кличь его, молодка, разъ подъ вѣтеръ, а разъ супротивъ вѣтра: онъ затоскуетъ и пойдетъ тебя искать,—вы и

встрѣтитесь. Далъ онъ мнѣ воды испить и медку на огурчикѣ подкрѣпиться. Я воды испила и огурчикъ съѣла и опять пошла, и все тебя звала, какъ онъ велѣлъ, то по вѣтру, то противъ вѣтра—вотъ и встрѣтились. Спасибо!—и обняла меня и поцѣловала, и говоритъ:—ты мнѣ все равно, что милый братъ.

Я говорю:

— И ты мнѣ все равно, что сестра милая, а у самого отъ чувства слезы пошли.

А она плачетъ и говоритъ:

— Знаю я, Иванъ Северьянычъ, все знаю и разумѣю; одинъ ты и любилъ меня, милъ-сердечный другъ мой, ласковый. Докажи же мнѣ теперь твою послѣднюю любовь, сдѣлай, что̀ я попрошу тебя въ этотъ страшный часъ.

— Говори,—отвѣчаю:—что тебѣ хочется?

— Нѣтъ, ты,—говоритъ:—прежде поклянись чѣмъ страшнѣе въ свѣтѣ есть, что сдѣлаешь о чемъ просить стану.

Я ей своимъ спасеньемъ души поклялся, а она говоритъ:

— Это мало: ты это ради меня преступишь. Нѣтъ, ты,—говоритъ:—страшнѣй поклянись.

— Ну, уже я, молъ, страшнѣе этого ничего не могу придумать.

— Ну, такъ я же,—говоритъ:—за тебя придумала, а ты за мной поспѣшай, говори, и не раздумывай.

Я сдуру пообѣщался, а она говоритъ:

— Ты мою душу прокляни такъ, какъ свою клялъ, если меня не послушаешь.

— Хорошо,—говорю:—и взялъ да ея душу проклялъ.

— Ну, такъ послушай же,—говоритъ:—теперь же стань поскорѣе душѣ моей за спасителя; моихъ, — говоритъ: — больше силъ нѣтъ такъ жить да мучиться, видючи его измѣну и надо мной надругательство. Если я еще день проживу, я и *его*, и *ее* порѣшу, а если ихъ пожалѣю, себя рѣшу, то навѣкъ убью свою душеньку... Пожалѣй меня, родной мой, мой миленый братъ: ударь меня разъ ножомъ противъ сердца.

Я отъ нея въ сторону, да крещу ее, а самъ пячуся, а она обвила ручками мои колѣни, а сама плачетъ, сама въ ноги кланяется и увѣщаетъ:

— Ты,—говоритъ:—поживешь; ты Богу отмолишь и за

мою душу, и за свою, не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла... Н... н... н... у...

Иванъ Северьянычъ страшно наморщилъ брови и, покусавъ усы, словно выдохнулъ изъ глубины расходившейся груди:

— Ножъ у меня изъ кармана достала... розняла... изъ ручки лезвее выправила... и въ руки мнѣ суетъ... А сама... стала такое несть, что терпѣть нельзя...

— Не убьешь,—говоритъ:—меня, я всѣмъ вамъ въ отместку стану самою стыдной женщиной.

Я весь задрожалъ и велѣлъ ей молиться, и колоть ее не сталъ, а взялъ, да такъ съ крутизны въ рѣку и спихнулъ...

Всѣ мы, выслушавъ это послѣднее признаніе Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его разсказа и хранили довольно долгое молчаніе, но, наконецъ, кто-то откашлянулся и молвилъ:

— Она утонула?

— Залилась,—отвѣчалъ Иванъ Северьяновичъ.

— А вы же какъ потомъ?

— Что такое?

— Пострадали небось?

— Разумѣется-съ.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Я бѣжалъ оттоль, съ того мѣста, самъ себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался ужасно какой большой и длинный, и безстыжій, обнагощенный, а тѣло все черное и голова малая, какъ луновочка, а самъ весь обростенькій, въ волосахъ, и я догадался, что это если не Каинъ, то самъ губитель-бѣсъ, и все я отъ него убѣгалъ и звалъ къ себѣ ангела-хранителя. Опомнился же я гдѣ-то на большой дорогѣ, подъ ракиточкой. И такой это день былъ осенній, сухой, солнце свѣтитъ, а холодно, и вѣтеръ, и пыль несетъ, и желтый листъ крутитъ; а я не знаю, какой часъ, и что это за мѣсто, и куда та дорога ведетъ, и ничего у меня на душѣ нѣтъ, ни чувства, ни опредѣленія, что̀ мнѣ дѣлать; а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая и моя обязанность за нее отстрадать и ее изъ ада выручить. А какъ это сдѣлать,— не знаю и объ этомъ тоскую, но только вдругъ меня за плечо что-то тронуло: гляжу — это хворостинка съ ракиты

нала и далеконько такъ покатилась, покатилася и вдругъ Груша идетъ, только маленькая, не больше какъ будто ей всего шесть, или семь лѣтъ, и за плечами у нея малыя крылышки; а чуть я ее увидалъ, она уже сейчасъ отъ меня какъ выстрѣлъ отлетѣла и только пыль да сухой листъ вслѣдъ за ней воскурились.

Думаю я: это непремѣнно ея душа за мной слѣдуетъ, вѣрно, она меня манитъ и путь мнѣ кажетъ. И пошелъ. Весь день я шелъ, самъ не знаю куда, и невмоготу усталъ, и вдругъ нагоняютъ меня люди, старичокъ со старушкою на телѣгѣ парою, и говорятъ:

— Садись, бѣдный человѣкъ, мы тебя подвеземъ.

Я сѣлъ. Они ѣдутъ и убиваются:

— Горе,—говорятъ:—у насъ: сына въ солдаты берутъ, а капиталу не имѣемъ, нанять не на что.

Я старичковъ пожалѣлъ и говорю:

— Я бы за васъ такъ, безъ платы, пошелъ, да у меня бумагъ нѣтъ.

А они говорятъ:

— Это пустяки: то уже наше дѣло; а ты только назовись, какъ нашъ сынъ, Петромъ Сердюковымъ.

— Что же,—отвѣчаю:—мнѣ все равно: я своему ангелу Ивану Предтечѣ буду молитвить, а называться я могу всячески, какъ вамъ угодно. Тѣмъ и покончили, и отвезли они меня въ другой городъ и сдали меня тамъ вмѣсто сына въ рекруты, и дали мнѣ на дорогу монетою двадцать пять рублей, а еще обѣщались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что отъ нихъ взялъ, двадцать пять рублей, сейчасъ положилъ въ бѣдный монастырь вкладъ за Грушину душу, а самъ сталъ начальство просить, чтобы на Кавказъ меня опредѣлить, гдѣ я могу скорѣе за вѣру умереть. Такъ и сдѣлалось, и я пробылъ на Кавказѣ болѣе пятнадцати лѣтъ и никому не открывалъ ни настоящаго своего имени, ни званія, а все назывался Петръ Сердюковъ и только на Ивановъ день Богу за себя молилъ, черезъ Предтечу ангела. И позабылъ уже я самъ про все мое прежнее бытіе и званіе, и дослуживаю такимъ манеромъ послѣдній годъ, какъ вдругъ на самый на Ивановъ день были мы въ погонѣ за татарами, а тѣ напоскудили и ушли за рѣку Койсу. Тѣхъ Койсъ въ томъ мѣстѣ нѣсколько: которая течетъ по Андіи, такъ и зовется андійская, которая по Аваріи—зовется ава-

рійская Койса, а то корикумуйская и кузикумуйская, и всѣ онѣ сливаются и отъ сливу ихъ зачинается Сулакъ-рѣка. Но всѣ онѣ, и по себѣ сами, быстры и холодны, особливо андійская, за которую татарва ушли. Много мы ихъ тутъ безъ счету этихъ татаровъ побили, но кои переправились за Койсу—тѣ сѣли на томъ берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они въ насъ палятъ. Но палятъ съ такою сноровкою, что даромъ огня не тратятъ, а берегутъ зелье на вѣрный вредъ, потому что знаютъ, что у насъ снаряду не въ примѣръ больше ихняго, и такъ они намъ вредно чинятъ, что стоимъ мы всѣ у нихъ въ виду, они, шельмы, ни разу въ насъ и не пукнутъ. Полковникъ у насъ былъ отважной души и любилъ изъ себя Суворова представлять, все, бывало, «помилуй Богъ» говорилъ и своимъ примѣромъ отвагу давалъ. Такъ онъ тутъ сѣлъ на бережку, а ноги разулъ и по колѣни въ эту холоднищую воду опустилъ, а самъ хвалится:

— Помилуй Богъ, — говоритъ: — какъ вода тепла: все равно, что твое парное молочко въ доеночкѣ. Кто, благодѣтели, охотники на ту сторону переплыть и канатъ перетащить, чтобы мостъ навесть?

Сидитъ полковникъ и такимъ маперомъ съ нами растабарываетъ, а татары съ того бока два ствола ружей въ щель выставили, а не стрѣляютъ. Но только-что два солдатика-охотнички вызвались и поплыли, какъ сверкнетъ пламя, и оба тѣ солдатика въ Койсу такъ и нырнули. Потянули мы канатъ, пустили другую пару, а сами тѣ камни, гдѣ татары спрятавшись, какъ роемъ, пулями осыпаемъ, но ничего имъ повредить не можемъ, потому что пули наши въ камни бьютъ, а они, анаѳемы, какъ плюнутъ въ пловцовъ, такъ вода кровью замутилась, и опять тѣ два солдатика юркнули. Пошли за ними и третья пара, и тоже середины Койсы не доплыли, какъ татары и этихъ утопили. Тутъ уже за третьею парою и мало стало охотниковъ, потому что видимо всѣмъ, что это не война, а просто убійство, а наказать злодѣевъ надобно. Полковникъ и говоритъ:

— Слушайте, мои благодѣтели! Нѣтъ ли изъ васъ кого такого, который на душѣ смертный грѣхъ за собой знаетъ? Помилуй Богъ, какъ бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконіе смыть!

Я и подумалъ:

«Чего же мнѣ лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? благослови Господи часъ мой!» и вышелъ, раздѣлся, «Отчу» прочиталъ, на всѣ стороны начальству и товарищамъ въ землю ударилъ и говорю въ себѣ: «ну, Груша, сестра моя названная, прими за себя кровь мою!» да съ тѣмъ взялъ въ ротъ тонкую бечеву, на которой другимъ концомъ былъ канатъ привязанъ, да, разбѣжавшись съ берегу, и юркнулъ въ воду.

Вода страсть была холодна: у меня даже подъ мышками закололо и грудь мретъ, судорога ноги тянетъ, а я плыву... Поверхъ наши пули летятъ, а вокругъ меня татарскія въ воду шлепаютъ, а меня не касаются и я не знаю: раненъ я или не раненъ, но только достигъ берега... Тутъ татарамъ меня уже бить нельзя, потому что я какъ разъ подъ ущельемъ сталъ, и чтобы имъ стрѣлять въ меня, надо имъ изъ щели высунуться, а наши ихъ съ того берега пулями, какъ пескомъ, осыпаютъ. Вотъ я стою подъ камнями и тяну канатъ, и перетянулъ его, и мостокъ справили, и вдругъ наши сюда уже идутъ, а я все стою и, какъ самъ изъ себя изъятъ, ничего не понимаю, потому что думаю: видѣлъ ли кто-нибудь тò, чтò я видѣлъ? А я видѣлъ, когда плылъ, что надо мною Груша летѣла и была она какъ отроковица, примѣрно, въ шестнадцать лѣтъ и у нея крылья уже огромныя, свѣтлыя, черезъ всю рѣку, и она ими меня огораживала... Однако, вижу, никто о томъ ни слова не говоритъ: ну, думаю, надо мнѣ самому это разсказать. Какъ меня полковникъ сталъ обнимать и самъ цѣлуетъ, а самъ хвалитъ:

— Ой, помилуй Богъ,—говоритъ:—какой ты, Петръ Сердюковъ, молодецъ!

А я отвѣчаю:

— Я, ваше высокоблагородіе, не молодецъ, а большой грѣшникъ и меня ни земля, ни вода принимать не хочетъ.

Онъ вопрошаетъ:

— Въ чемъ твой грѣхъ?

А я отвѣчаю:

— Я, говорю, на своемъ вѣку много неповинныхъ душъ погубилъ, да и разсказалъ ему ночью подъ палаткою все, чтò вамъ теперь сказывалъ.

Онъ слушалъ-слушалъ и задумался, и говоритъ:

— Помилуй Богъ, сколько ты одинъ перенесъ, а, главное, братецъ, какъ ты хочешь, а тебя надо въ офицеры произвесть. Я объ этомъ представленіе пошлю.

Я говорю:

— Какъ угодно, а только пошлите и туда узнать: не вѣрно ли я показываю, что я цыганку убилъ?

— Хорошо,—говоритъ:—и объ этомъ пошлю.

И послали, но только ходила-ходила бумага и назадъ пришла съ невѣрностью. Объяснено, что никогда, говорятъ, у насъ такого происшествія ни съ какою цыганкою не было, а Иванъ-де Северьяновъ хотя и былъ, и у князя служилъ, только онъ черезъ заочный выкупъ на волю вышелъ и опосля того у казенныхъ крестьянъ Сердюковыхъ въ домѣ померъ.

— Ну, что тутъ мнѣ было больше дѣлать: чѣмъ свою вину доказывать?

А полковникъ говоритъ:

— Не смѣй, братецъ, больше на себя этого врать: это ты, какъ черезъ Койсу плылъ, такъ ты отъ холодной воды, да отъ страху въ умѣ немножко помѣшался, и я, говоритъ, очень за тебя радъ, что это все неправда, что ты наговорилъ на себя. Теперь офицеромъ будешь: это, братъ, помилуй Богъ, какъ хорошо.

Тутъ я даже и самъ мыслями растерялся: точно ли я спихнулъ Грушу въ воду, или это мнѣ тогда все отъ страшной по ней тоски сильное воображеніе было?

И сдѣлали-съ меня за храбрость офицеромъ, но только какъ я все на своей истинѣ стоялъ, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы отъ этого мнѣ больше безпокойства не имѣть, пустили меня съ Георгіемъ въ отставку.

— Поздравляемъ, говорятъ, — тебя, ты теперь благородный и можешь въ приказные идти; помилуй Богъ, какъ спокойно, и письмо мнѣ полковникъ къ одному большому лицу въ Петербургъ далъ: ступай, говоритъ, онъ твою карьеру и благополучіе совершитъ. Я съ этимъ письмомъ и добрался до Нитера, но не посчастливило мнѣ насчетъ карьеры.'

— Чѣмъ же?

— Долго очень безъ мѣста ходилъ, а потомъ на ѳиту попалъ, и оттого стало еще хуже.

— Какъ на *ѳиту?* что это значитъ?

— Тотъ покровитель, къ которому я насчетъ карьеры былъ присланъ, въ адресный столъ справщикомъ опредѣлилъ, а тамъ у всякаго справщика своя буква есть, по какой кто справкѣ завѣдуетъ. Иныя буквы есть очень хорошія, какъ напримѣръ, буки, или покой, или како: много на нихъ фамиліевъ начинается и справщику есть доходъ, а меня поставили на ѳиту. Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется и то еще изъ тѣхъ, кои по всѣмъ видамъ ей принадлежатъ, все отъ нея отлыниваютъ и лукавятъ: кто чуть хочетъ благородиться, сейчасъ себя самовластно вмѣсто ѳиты черезъ фертъ ставитъ. Ищешь-ищешь его подъ ѳитою—только пропащая работа, а онъ подъ фертомъ себя проименовалъ. Никакой пользы нѣтъ, а сиди на службѣ; ну, я и вижу, что дѣло плохо, и сталъ опять наниматься, по старому обыкновенію, въ кучера, но никто не беретъ, говорятъ: ты благородный офицеръ, и военный орденъ имѣешь, тебя ни обругать, ни ударить непристойно... Просто хоть повѣситься, но я, благодаря Бога, и съ отчаянности до этого себя не допустилъ, а чтобы съ голоду не пропасть, взялъ да въ артисты пошелъ.

— Какимъ же вы были артистомъ?

— Роли представлялъ.

— На какомъ театрѣ?

— Въ балаганѣ на Адмиралтейской площади. Тамъ благородствомъ не гнушаются и всѣхъ принимаютъ: есть и изъ офицеровъ, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатскихъ очень много.

— И понравилась вамъ эта жизнь?

— Нѣтъ-съ.

— Чѣмъ же?

— Во-первыхъ, разучка вся и репетиціи идутъ на Страстной недѣлѣ или передъ масляницей, когда въ церкви поютъ: «покаянія отверзи ми двери», а во-вторыхъ, у меня роль была очень трудная.

— Какая?

— Я демона изображалъ.

— Чѣмъ же это особенно трудно?

— Какъ же-съ: въ двухъ перемѣнахъ танцовать надо, и кувыркаться, а кувыркнуться страсть неспособно, потому что весь обшитъ лохматой шкурой сѣдого козла вверхъ шерстью; и хвостъ долгій на проволокѣ, но онъ постоянно

промежъ ногъ путается, а рога на головѣ за что попало цѣпляются, а годы уже стали не прежніе, не молодые и легкости нѣтъ; а потомъ еще во все продолженіе представленія расписано меня бить. Ужасно какъ это докучаетъ. Палки этакія, положимъ, пустыя, изъ холстины сдѣланы, а въ срединѣ хлопья, но, однако, скучно ужасно это терпѣть, что все по тебѣ хлопъ да хлопъ, а иные къ тому еще съ холоду, или для смѣху изловчаются и бьютъ довольно больно. Особенно изъ сенатскихъ приказныхъ, которые въ этомъ опытные и дружные: все за своихъ стоятъ, а которые попадутся военные, они тѣмъ ужасно докучаютъ, и все это продолжительно начнутъ бить передъ всей публикой съ полдня, какъ только полицейскій флагъ поднимается, и бьютъ до самой до ночи, и все, всякій, чтобы публику утѣшить, норовитъ громче хлопнуть. Ничего пріятнаго нѣтъ. А вдобавокъ ко всему со мною и здѣсь непріятное послѣдствіе вышло, послѣ котораго я долженъ былъ свою роль оставить.

— Что же это такое съ вами случилось?

— Принца одного я за вихоръ подралъ.

— Какъ принца?

— То-есть не настоящаго-съ, а театрашнаго: онъ изъ сенатскихъ былъ, коллежскій секретарь, но у насъ принца представлялъ.

— За что же вы его прибили?

— Да стоило-съ его еще и не этакъ. Насмѣшникъ злой былъ и выдумщикъ и все надъ всѣми штуки выдумывалъ.

— И надъ вами?

— И надо мною-съ: много шутокъ строилъ; костюмъ мнѣ портилъ; въ грѣльнѣ, гдѣ мы, бывало, надъ угольями грѣлися и чай пили, подкрадется, бывало, и хвостъ мнѣ къ рогамъ прицѣпитъ, или еще что глупое сдѣлаетъ на смѣхъ, а я не осмотрюсь, да такъ къ публикѣ выбѣгу, а хозяинъ сердится; но я за себя все ему спускалъ, а онъ вдругъ сталъ одну фею обижать. Молоденькая такая дѣвочка, изъ бѣдныхъ дворяночекъ, богиню Фортуну она у насъ изображала и этого принца отъ моихъ рукъ спасать должна была. И роль ея такая, что она вся въ одной блестящей тюли выходитъ и съ крыльями, а морозы большіе, и у нея, у бѣдной, ручонки совсѣмъ посинѣли, зашлись, а онъ ее допекаетъ, лѣзетъ къ ней, и когда мы втроемъ въ апоѳеозѣ

въ подполъ проваливаемся, за тѣло ее щипетъ. Мнѣ ее очень жаль стало: я его и оттрепалъ.

— И чѣмъ же это кончилось?

— Ничего; въ провалѣ свидѣтелей не было, кромѣ самой этой феи, а только наши сенатскіе всѣ взбунтовались и не захотѣли меня въ трупѣ имѣть; а какъ они первые тамъ представители, то хозяинъ для ихъ удовольствія меня согналъ.

— И куда же вы тогда дѣлись?

— Совсѣмъ безъ крова и безъ пищи, было, остался, но эта благодарная фея меня питала, но только мнѣ совѣстно стало, что ей, бѣдной, самой такъ трудно достается, и я все думалъ-думалъ, какъ этого положенія избавиться? На ёнту не захотѣлъ ворочаться, да и къ тому на ней уже другой бѣдный человѣкъ сидѣлъ, мучился, такъ я взялъ и пошелъ въ монастырь.

— Отъ этого только?

— Да, вѣдь, что же дѣлать-съ? дѣться было некуда. А тутъ хорошо.

— Полюбили вы монастырскую жизнь?

— Очень-съ; очень полюбилъ,—здѣсь покойно, все равно какъ въ полку, много сходственнаго, все тебѣ готовое и одѣтъ, и обутъ, и накормленъ, и начальство смотритъ, и повиновенія спрашиваетъ.

— А васъ это повиновеніе иногда не тяготитъ?

— Для чего же-съ? что больше повиноваться, то человѣку спокойнѣе жить, а особенно въ моемъ послушаніи и обижаться нечѣмъ: къ службамъ я въ церковь не хожу иначе, какъ развѣ самъ пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному, скажутъ: «запрягай, отецъ Измаилъ» (меня теперь Измаиломъ зовутъ),—я запрягу; а скажутъ: «отецъ Измаилъ, отпрягай»—я откладываю.

— Позвольте,—говоримъ,—такъ это что же такое, выходитъ вы и въ монастырѣ остались... при лошадяхъ?

— Постоянно-съ въ кучерахъ. Въ монастырѣ этого моего званія офицерскаго не опасаются, потому что я хотя и въ маломъ еще постригѣ, а все же монахъ и со всѣми сравненъ.

— А скоро же вы примете старшій постригъ?

— Я его не приму-съ.

— Это почему?

— Такъ... достойнымъ себя не почитаю.

— Это все за старые грѣхи или заблужденія?

— Д-д-а-съ; да и вообще зачѣмъ? я своимъ послушаніемъ очень доволенъ и живу въ спокойствіи.

— А вы разсказывали кому-нибудь прежде всю свою исторію, которую теперь намъ разсказали?

— Какъ же-съ; не разъ говорилъ; да что же, когда справокъ нѣтъ... не вѣрятъ, такъ и въ монастырь свѣтскую ложь занесъ, и здѣсь изъ благородныхъ числюсь. Да уже все равно доживать: старъ становлюсь.

Исторія очарованнаго странника, очевидно, приходила къ концу, оставалось полюбопытствовать только объ одномъ: какъ ему повелось въ монастырѣ.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Такъ какъ нашъ странникъ доплылъ въ своемъ разсказѣ до послѣдней житейской пристани,—до монастыря, къ которому онъ, по глубокой вѣрѣ его, былъ отъ рожденія предназначенъ, и такъ какъ ему здѣсь, казалось, все столь благопріятствовало, то приходилось думать, что тутъ Иванъ Северьяновичъ болѣе уже ни на какія напасти не натыкался; однакоже, вышло совсѣмъ иное. Одинъ изъ нашихъ сопутниковъ вспомнилъ, что иноки, по всѣмъ о нихъ сказаніямъ, постоянно очень много страдаютъ отъ бѣса, и вопросилъ:

— А скажите, пожалуйста, бѣсъ васъ въ монастырѣ не искушалъ? вѣдь, онъ, говорятъ, постоянно монаховъ искушаетъ?

Иванъ Северьяновичъ бросилъ изъ-подъ бровей спокойный взглядъ на говорящаго и отвѣчалъ:

— Какъ же не искушать? Разумѣется, если самъ Павелъ апостолъ отъ него не ушелъ и въ посланіи пишетъ, что «ангелъ сатанинъ былъ данъ ему въ плоть», то могъ ли я, грѣшный и слабый человѣкъ, не претерпѣть его мучительства.

— Что же вы отъ него терпѣли?

— Многое-съ.

— Въ какомъ же родѣ?

— Все разныя пакости, а сначала, пока я его не пересилилъ, были даже и соблазны.

— А вы и *его*, самого бѣса, тоже пересилили?

— А то какъ же иначе-съ? вѣдь, это уже въ монастырѣ

такое призваніе, но я бы этого, по совѣсти скажу, самъ не сумѣлъ, а меня тому одинъ совершенный старецъ научилъ, потому что онъ былъ опытный и могъ отъ всякаго искушенія пользовать. Какъ я ему открылся, что мнѣ все Груша столь живо является, что вотъ словно ею одною вокругъ меня весь воздухъ дышитъ, то онъ сейчасъ кинулъ въ умѣ и говоритъ:

— У Якова апостола сказано: «противустаньте дьяволу и побѣжитъ отъ васъ», и ты, говоритъ, противустань. И тутъ наставилъ меня такъ дѣлать, что ты, говоритъ, какъ если почувствуешь сердцеразжиженіе, и ее вспомнишь, то и разумѣй, что это значитъ къ тебѣ приступаетъ ангелъ сатанинъ, и ты тогда сейчасъ простирайся противу его на подвигъ: перво-наперво стань на колѣни. Колѣни у человѣка, говоритъ, первый инструментъ: какъ на нихъ падешь, душа сейчасъ такъ и порхнетъ вверхъ, а ты тутъ, въ семъ возвышеніи, и бей поклоновъ земныхъ елико мощно, до изнеможенія, и изнуряй себя постомъ, чтобы заморить, и дьяволъ, какъ увидитъ твое протягновеніе на подвигъ, ни за что этого не стерпитъ и сейчасъ отбѣжитъ, потому что онъ опасается, какъ бы такого человѣка своими кознями еще прямѣе ко Христу не привести, и помыслитъ: «лучше его оставить и не искушать, авось-де онъ скорѣе забудется». Я сталъ такъ дѣлать и, дѣйствительно, все прошло.

— Долго же вы себя этакъ мучили, пока отъ васъ ангелъ сатаны отступалъ?

— Долго-съ; и все однимъ изморомъ его, врага этакого, бралъ, потому что онъ другого ничего не боится: вначалѣ я и до тысячи поклоновъ ударялъ и дня по четыре ничего не вкушалъ и воды не пилъ, а потомъ *онъ* понялъ, что ему со мною спорить не ровно и оробѣлъ, и слабъ сталъ: чуть увидитъ, что я горшочекъ пищи своей за окно выброшу и берусь за четки, чтобы поклоны считать, онъ уже понимаетъ, что я не шучу и опять простираюсь на подвигъ, и убѣжитъ. Ужасно, вѣдь, какъ онъ боится, чтобы человѣка къ отрадѣ упованія не привести.

— Однакоже, положимъ... *онъ*-то... Это такъ: вы его преодолѣли, но, вѣдь, сколько же и сами вы отъ него перетерпѣли?

— Ничего-съ; что же такое, я, вѣдь, угнеталъ гнетущаго, а себѣ никакого стѣсненія не дѣлалъ.

— И теперь вы уже совсѣмъ отъ него избавились?

— Совершенно-съ.

— И онъ вамъ вовсе не является?

— Въ соблазнительномъ женскомъ образѣ никогда-съ больше не приходитъ, а если порою еще иногда покажется гдѣ-нибудь въ уголкѣ въ кельѣ, но уже въ самомъ жалостномъ видѣ: визжитъ, какъ будто поросеночекъ издыхаетъ. Я его, негодяя, теперь даже и не мучу, а только разъ перекрещу и положу поклонъ, онъ и перестанетъ хрюкать.

— Ну, и слава Богу, что вы со всѣмъ этимъ такъ справились.

— Да-съ; я соблазны большого бѣса осилилъ, но доложу вамъ,—хоть это противъ правила,—а мнѣ мелкихъ бѣсенятъ пакости больше этого надокучили.

— А бѣсенята развѣ къ вамъ тоже приставали?

— Какъ же-съ; положимъ, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лѣзутъ...

— Что же такое они вамъ дѣлаютъ?

— Да, вѣдь, ребятишки, и притомъ ихъ тамъ, въ аду, очень много, а дѣла имъ при готовыхъ харчахъ никакого нѣтъ, вотъ они и просятся на землю поучиться смущать, и балуются, и чѣмъ человѣкъ хочетъ быть въ своемъ званіи солиднѣе, тѣмъ они ему больше досаждаютъ.

— Что же такое они, напримѣръ... чѣмъ могутъ досаждать?

— Подставятъ, напримѣръ, вамъ что-нибудь такое, или подсунутъ, а опрокинешь, или расшибешь и кого-нибудь тѣмъ смутишь и разгнѣваешь, а имъ это первое удовольствіе, весело: въ ладоши хлопаютъ и бѣжатъ къ своему старшому: дескать, и мы «смутили, дай намъ теперь за то грошикъ». Вѣдь, вотъ изъ чего бьются... Дѣти.

— Чѣмъ же именно имъ, напримѣръ, удавалось васъ смутить?

— Да вотъ, напримѣръ, у насъ такой случай былъ, что одинъ жидъ въ лѣсу около монастыря удавился и стали всѣ послушники говорить, что это Іуда, и что онъ ночами по обители ходитъ и вздыхаетъ и многіе были о томъ свидѣтели. А я объ немъ и не сокрушался, потому что думалъ: развѣ мало у насъ, что ли, жидовъ осталось; но только разъ ночью сплю въ конюшнѣ и вдругъ слышу кто-то подошелъ и морду въ дверь черезъ поперечную перекладину всунулъ и вздыхаетъ. Я сотворилъ молитву,—нѣтъ, все-таки

стоитъ. Я перекрестилъ: все стоитъ и опять вздохнулъ. Ну, что, молъ, я тебѣ сдѣлаю: молиться мнѣ за тебя нельзя, потому что ты жидъ, да хоть бы и не жидъ, такъ я благодати не имѣю за самоубійцъ молить, а пошелъ ты отъ меня прочь въ лѣсъ, или въ пустыню. Положилъ на него этакое заклятіе, онъ и отошелъ, а я опять заснулъ, но на другую ночь онъ, мерзавецъ, опять приходитъ и опять вздыхаетъ... мѣшаетъ спать, да и все тутъ. Какъ ни терпѣлъ, просто силъ нѣтъ! тьфу ты, невѣжа, думаю, мало ему въ лѣсу, или на паперти мѣста, чтобы еще непремѣнно сюда въ конюшню ко мнѣ ломиться? Ну, нечего дѣлать, видно, надо противъ тебя хорошее средство изобрѣтать: взялъ и на другой день на двери чистымъ углемъ большой крестъ написалъ, и какъ пришла ночь, я и легъ спокойно, думаю себѣ: ужъ теперь не придетъ, да только-что съ этимъ заснулъ, а онъ и вотъ онъ, опять стоитъ и опять вздыхаетъ! Тьфу ты, каторжный, ничего съ нимъ не подѣлаешь! Всю какъ есть эту ночь онъ меня этакъ пугалъ, а утромъ, чуть ударили въ первый колоколъ къ заутренѣ, я поскорѣе вскочилъ и бѣгу, чтобъ пожаловаться настоятелю, а меня встрѣчаетъ звонарь, братъ Діомидъ, и говоритъ:

— Чего ты такой нужаный?

Я говорю:

— Такъ и такъ, такое мнѣ то всю ночь было безпокойство и я иду къ настоятелю.

А братъ Діомидъ отвѣчаетъ:

— Брось, говоритъ,—и не ходи, настоятель вчера себѣ въ носъ піявку ставилъ и теперь *пресердитый* и ничего тебѣ въ этомъ дѣлѣ не поможетъ, а я тебѣ, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать.

Я говорю:

— А мнѣ совершенно все равно: только, сдѣлай милость, помоги,—я тебѣ за это старыя теплыя рукавицы подарю, тебѣ въ нихъ зимою звонить будетъ очень способно.

— Ладно,—отвѣчаетъ.

И я ему рукавицы далъ, а онъ мнѣ съ колокольни старую церковную дверь принесъ, на коей Петръ апостолъ написанъ и въ рукѣ у него ключи отъ царства небеснаго.

— Вотъ это-то, говоритъ,—и самое важное есть *ключи:* ты этою дверью только заставься, такъ уже черезъ нее никто не пройдетъ.

Я ему мало въ ноги отъ радости не поклонился и думаю: чѣмъ мнѣ этою дверью заставляться, да потомъ ее отставлять, я ее лучше фундаментально прилажу, чтобы она мнѣ всегда была огражденіемъ, и взялъ и учинилъ ее на самыхъ надежныхъ плотныхъ петляхъ, а для безопаски еще къ ней самый тяжелый блокъ приснастилъ изъ булыжнаго камня и все это исправилъ въ тишинѣ въ одинъ день до вечера и, какъ пришла ночная пора, легъ въ свое время и сплю. Но только, что же вы изволите думать: слышу—опять дышитъ! просто ушамъ своимъ не вѣрю, что это можно, анъ нѣтъ: дышитъ да и только! да еще мало этого, что дышитъ, а претъ дверь... При старой двери у меня изнутри замокъ былъ, а въ этой, какъ я болѣе на святость ея располагался, замка не приладилъ, потому что и времени не было, то онъ ее такъ и пихаетъ, и все разъ отъ разу смѣлѣе, и, наконецъ, вижу, какъ будто морда просунулась, но только дверь размахнулась на блокѣ и его какъ свистнетъ со всей силы назадъ... А онъ отскочилъ, видно, почесался, да мало обождавши, еще смѣлѣе и опять морда, а блокъ ее еще жёстче щелкъ... Больно, должно-быть, ему показалось, и онъ усмирѣлъ и больше не лѣзетъ: я и опять заснулъ, но только прошло мало времени, а онъ, гляжу, подлецъ, опять за свое взялся, да еще съ новымъ искусствомъ. Уже нѣтъ того, чтобы бодать и прямо лѣзть, а полегонечку рогами дверь отодвинулъ и какъ я былъ съ головою полушубкомъ закрытъ, такъ онъ вдругъ дерзко полушубокъ съ меня долой сорвалъ, да какъ лизнетъ меня въ ухо... Я больше этой наглости уже не вытерпѣлъ: спустилъ руку подъ кровать и схватилъ топоръ, да какъ трепу его, слышу—замычалъ и такъ и бякнулъ на мѣстѣ. Ну, думаю, такъ тебѣ и надо, а вмѣсто того, утромъ, гляжу никакого жида нѣтъ, а это они, подлецы, эти бѣсенята, мнѣ вмѣсто его корову нашу монастырскую подставили.

— И вы ее поранили?

— Такъ и прорубилъ топоромъ-съ! Смущеніе ужасное было въ монастырѣ.

— И вы, чай, непріятности какія-нибудь за это имѣли?

— Получилъ-съ; отецъ игуменъ сказали, что это все оттого мнѣ представилось, что я въ церковь мало хожу, и благословили, чтобы я, убравшись съ лошадьми, всегда впереди у рѣшетки для возжиганія свѣчъ стоялъ, а они

тутъ, эти пакостные бѣсенята, еще лучше со мною подстроили и окончательно подвели. На самаго на Мокраго Спаса, на всенощной, во время благословенія хлѣбовъ, какъ надо по чину, отецъ игуменъ и іеромонахъ стоятъ посреди храма, а одна богомолочка старенькая подаетъ мнѣ свѣчечку и говоритъ:

— Поставь, батюшка, празднику.

Я подошелъ къ аналою, гдѣ положена икона «Спасъ на Водахъ», и сталъ эту свѣчечку лѣпить, да другую уронилъ. Нагнулся, эту поднялъ, сталъ прилѣпливать,—двѣ уронилъ. Сталъ ихъ вправлять, анъ, гляжу—четыре уронилъ. Я только головой качнулъ, ну, думаю, это опять непремѣнно мнѣ пострѣлята досаждаютъ и изъ рукъ рвутъ... Нагнулся и поспѣшно съ упавшими свѣчами поднимаюсь, да какъ затылкомъ махну подъ низъ объ подсвѣчникъ... а свѣчи такъ и посыпались; ну, тутъ я разсердился да взялъ и всѣ остальныя свѣчи рукой посбивалъ.—Что же, думаю, если этакая наглость пошла, такъ лучше же я самъ поскорѣе все это опрокину.

— И что же съ вами за это было?

— Подъ судъ меня за это хотѣли было отдать, да схимникъ, слѣпенькій старецъ Сысой, въ земляномъ затворѣ у насъ живетъ, такъ онъ за меня заступился.

— За что, говоритъ,—вы его будете судить, когда это его сатанины служители смутили.

Отецъ игуменъ его послушались и благословили меня безъ суда въ пустой погребъ опустить.

— Надолго же васъ въ погребъ посадили?

— А отецъ игуменъ не благословили насколько именно времени, а такъ сказали только, что «посадить», я все лѣто до самыхъ до заморозковъ тутъ и сидѣлъ.

— Вѣдь это, надо полагать, скука и мученіе въ погребѣ, не хуже тѣмъ въ степи?

— Ну, нѣтъ-съ: какъ же можно сравнить? здѣсь и церковный звонъ слышно, и товарищи навѣщали. Придутъ, сверху надъ ямой станутъ и поговоримъ, а отецъ казначей жёрновъ мнѣ на веревкѣ велѣли спустить, чтобы я соль для поварни мололъ. Какое же сравненіе со степью или съ другимъ мѣстомъ.

— А потомъ когда же васъ вынули? вѣрно, при морозахъ, потому что холодно стало?

— Нѣтъ-съ, это не потому, совсѣмъ не для холода, а для другой причины, такъ какъ я сталъ пророчествовать.

— Пророчествовать?

— Да-съ; я въ погребу, наконецъ, въ раздумье впалъ, что какой у меня самоничтожный духъ и сколько я черезъ него претерпѣваю, а ничего не усовершаюсь, и послалъ я одного послушника къ оному учительному старцу спросить: можно ли мнѣ у Бога просить, чтобы другой болѣе соотвѣтственный духъ получить? А старецъ наказалъ мнѣ сказать, что «пусть, говоритъ, помолится, какъ должно, и тогда, чего нельзя ожидать, ожидаетъ».

Я такъ и сдѣлалъ: три ночи все на этомъ инструментѣ на колѣняхъ стоялъ въ своей ямѣ, а духомъ на небо молился и сталъ ожидать себѣ иного въ душѣ совершенія. А у насъ другой инокъ Геронтій былъ, этотъ былъ очень начитанный и разныя книги и газеты держалъ и далъ онъ мнѣ одинъ разъ читать житіе преподобнаго Тихона Задонскаго, и когда, случалось, мимо моей ямы идетъ, всегда, бывало, возьметъ, да мнѣ изъ-подъ ряски газету кинетъ.

— Читай,—говоритъ:—и усматривай полезное: во рву это тебѣ будетъ развлеченіе.

Я, въ ожиданіи невозможнаго исполненія моей молитвы, сталъ покамѣстъ этимъ чтеніемъ заниматься: какъ всю соль, что мнѣ на урокъ назначено перемолоть, перемелю, и начинаю читать, и начиталъ я сначала у преподобнаго Тихона, какъ посѣтили его въ келіи Пресвятая Владычица и святые апостолы Петръ и Павелъ. Писано, что угодникъ Божій Тихонъ сталъ тогда просить Богородицу о продленіи мира на землѣ, а апостолъ Павелъ ему громко отвѣтилъ знаменіе, когда не станетъ мира, такими словами: «егда, говоритъ,—всѣ рекутъ миръ и утвержденіе, тогда нападаетъ на нихъ внезапу всегубительство». И сталъ я надъ этими апостольскими словами долго думать и все вначалѣ никакъ этого не могъ понять: къ чему было святому отъ апостола въ такихъ словахъ откровеніе? Наконецъ того начитываю въ газетахъ, что постоянно и у насъ, и въ чужихъ краяхъ неумолчными усты вездѣ утверждается повсемѣстный миръ. И тутъ-то исполнилось мое прошеніе и сталъ я вдругъ понимать, что сближается реченное: «егда рекутъ миръ, нападаетъ внезапу всегубительство», и я исполнился страха за народъ свой русскій и началъ молиться и всѣхъ дру-

гихъ, кто ко мнѣ къ ямѣ придетъ, сталъ со слезами увѣщевать: молитесь, молъ, о покореніи подъ нозѣ Царя нашего всякаго врага и супостата, ибо близь есть намъ всегубительство. И даны были мнѣ слезы, дивно обильныя!.. все и о родинѣ плакалъ. Отцу игумену и доложили, что, говорятъ,—нашъ Измаилъ въ погребѣ сталъ очень плакать и войну пророчествовать. Отецъ игуменъ и благословили меня за это въ пустую избу на огородъ перевесть и поставить мнѣ образъ, *«Благое Молчаніе»* пишется. Спасъ съ крылами тихими, въ видѣ ангела, но въ Саваоѳовыхъ чинахъ за мѣсто вѣнца, а ручки у груди смирно сложены. И приказано мнѣ было, чтобы я передъ этимъ образомъ всякій день поклоны клалъ, пока во мнѣ провѣщающій духъ умолкнетъ. Такъ меня съ этимъ образомъ и заперли, и я такъ до весны взаперти тамъ и пребывалъ въ этой избѣ, и все *«Благому Молчанію»* молился, но чуть человѣка увижу, опять во мнѣ духъ поднимается и я говорю. На ту пору игуменъ лѣкаря ко мнѣ прислали посмотрѣть: въ разсудкѣ я не поврежденъ ли? Лѣкарь со мною долго въ избѣ сидѣлъ, вотъ этакъ же, подобно вамъ, всю мою повѣсть слушалъ и плюнулъ:

— Экій,—говоритъ:—ты, братецъ, барабанъ: били тебя, били, и все никакъ еще не добьютъ.

Я говорю:

— Что же дѣлать? вѣрно, такъ нужно.

А онъ, все выслушавши, игумену сказалъ:

— Я,—говоритъ:—его не могу разобрать, что онъ такое: такъ просто, добрякъ, или помѣшался, или взаправду предсказатель. Это,—говоритъ,—по вашей части, а я въ этомъ не свѣдущъ, мнѣніе же мое такое: прогоните,—говоритъ:—его куда-нибудь подальше пробѣгаться, можетъ-быть, онъ засидѣлся на мѣстѣ.

Вотъ меня и отпустили, и я теперь на богомоленіе въ Соловки къ Зосиму и Савватію благословился и пробираюсь. Вездѣ былъ, а ихъ не видалъ и хочу имъ передъ смертью поклониться.

— Отчего же «передъ смертью»? Развѣ вы больны?

— Нѣтъ-съ, не боленъ; а все по тому же случаю, что скоро надо будетъ воевать.

— Позвольте: какъ же это вы опять про войну говорите?

— Да-съ.

— Стало-быть, вамъ *«Благое Молчаніе»* не помогло?

— Не могу знать-съ: усиливаюсь, молчу, а духъ одолѣваетъ.

— Что же онъ?

— Все свое внушаетъ: «ополчайся».

— Развѣ вы и сами собираетесь идти воевать?

— А какъ же-съ? Непремѣнно-съ: мнѣ за народъ очень померетъ хочется.

— Какъ же вы: въ клобукѣ и въ рясѣ пойдете воевать?

— Нѣтъ-съ; я тогда клобучокъ сниму, а амуничку надѣну.

Проговоривъ это, очарованный странникъ какъ бы вновь ощутилъ на себѣ наитіе вѣщательнаго духа и впалъ въ тихую сосредоточенность, которой никто изъ собесѣдниковъ не позволилъ себѣ прервать ни однимъ новымъ вопросомъ. Да и о чемъ было его еще больше разспрашивать? повѣствованія своего минувшаго онъ исповѣдалъ со всею откровенностью своей простой души, а провѣщанія его остаются до времени въ рукѣ Сокрывающаго судьбы свои отъ умныхъ и разумныхъ, и только иногда открывающаго ихъ младенцамъ.

ШЕРАМУРЪ.

(Чрева-ради юродивый.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

По нѣкоторымъ, достаточно важнымъ причинамъ выставленная кличка должна замѣнять собственное имя моего героя—если только онъ годится куда-нибудь въ герои.

Если бы я не опасался выразиться вульгарно въ самомъ началѣ разсказа, то я сказалъ бы, что Шерамуръ есть *герой брюха*, въ самомъ тѣсномъ смыслѣ, какой только можно соединить съ этимъ выраженіемъ. Но все равно: я долженъ это сказать, потому что свойство матеріи лишаетъ меня возможности быть очень разборчивымъ въ выраженіяхъ,—иначе я ничего не выражу. Герой мой—личность узкая и однообразная, а эпопея его—бѣдная и утомительная, но, тѣмъ не менѣе, я рискую ее разсказывать.

Итакъ, Шерамуръ—*герой брюха;* его девизъ—*жрать*, его идеалъ—*кормить другихъ;* въ этомъ настроеніи онъ имѣлъ похожденія, достойныя нѣкотораго вниманія. Я опишу кое-что изъ нихъ въ короткихъ отрывкахъ: это единственная форма, въ которой можно передать что-нибудь о лицѣ, не имѣвшемъ никакой послѣдовательности и не укладывающемся ни въ какую форму.

Начинаю съ того самаго случая, какъ онъ показался первому человѣку, который обнаружилъ въ немъ нѣчто достойное наблюденія.

Лѣтомъ 187* года, въ Парижъ прибылъ изъ Петербурга литературный Nemo. Онъ поселился въ небольшой комнаткѣ,

противъ рѣшетки Люксембургскаго сада, и жилъ тутъ тихо и смирно нѣсколько дней, какъ вдругъ однажды входитъ къ нему консьержъ и говоритъ, что пришелъ «нѣкто» и требуетъ, чтобы monsieur вышелъ къ нему—на лѣстницу.

Nemo имѣлъ основаніе не любить таинственности, и съ неудовольствіемъ спросилъ:

— Кто это такой и что ему нужно?

— Я думаю, это нѣкто изъ вашихъ,—отвѣчалъ французъ.

— Это мужчина или женщина?

— Во всякомъ случаѣ мнѣ кажется, что *это* скорѣе мужчина.

— Такъ попросите его сюда.

— Да, но мнѣ кажется, что ему неудобно войти.

— Развѣ онъ пьянъ?

— Нѣтъ; онъ... раздѣтъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

На узенькой, спиральной лѣстницѣ, съ крошечнымъ окномъ въ безвоздушный каналъ, образовываемый тремя сходящимися острымъ угломъ стѣнами, стояла очень маленькая, но преоригинальная фигура. Первое, что бросилось въ глаза Nemo, были полудѣтскія плечи и курчавая голова съ длинными волосами, покрытая истасканною бандитскою шляпою.

Сначала казалось, что это костюмированный тринадцати или четырнадцати-лѣтній мальчикъ, но чуть онъ оборотился, видъ измѣняется: передъ вами, прежде всего, два яркіе, черные глаза, которые горятъ дикимъ, какъ бы голоднымъ огнемъ, и черная борода замѣчательной величины и расположенія. Она заросла по всему лицу, почти подъ самые глаза, и внизъ закрываетъ грудь до пояса. Такую бороду, по строгановскому лицевому подлиннику, указано писать только преподобному Моисею Мурину, вѣроятно ради особенности его мадьярскаго происхожденія и мучительной пылкости темперамента этого святого, которому зато и положено молиться «отъ неистовой страсти».

Nemo подошелъ къ незнакомцу и спросилъ:

— Съ кѣмъ я имѣю честь...

— Никакой нѣтъ чести, — отвѣчалъ незнакомецъ не натуральнымъ, а искусственнымъ баскомъ, какъ во время оно считали обязанностью хорошаго тона говорить кадеты вы-

пускного класса. Nemo понималъ нѣкоторый толкъ въ людяхъ и самъ перемѣнилъ манеру.

— Что же вамъ надо?—спросилъ онъ гостя.

— Имѣю дѣло.

— Такъ войдите въ комнату.

— У васъ нѣтъ никого?

— Никого.

— Могу.

И незнакомецъ пошелъ за хозяиномъ важно и неспѣшно, переставляя свои коротенькія ножки, а когда взошелъ, то сѣлъ и, не снимая шляпы, сейчасъ же спросилъ:

— Нѣтъ ли у васъ работы?

— Работы!

— Да, нѣтъ ли у васъ какой работы?

— Да какая же у меня работа?

— Развѣ я знаю какая?

— Вы мастеровой?

— Нѣтъ, не мастеровой, а мнѣ говорили, что вы романы пишете.

— Это правда.

— Такъ я—переписывать.

— Но теперь я ничего не пишу.

— Вотъ какъ! Значитъ — сыты. Онъ всталъ и, немного насупясь, добавилъ:

— А деньги есть у васъ?

Хозяинъ невольно посторонился и спросилъ:

— Что это значитъ?

— Значитъ, что я три дня не жралъ.

— Сколько же вамъ нужно?

— Мнѣ нужно много, но я у васъ хочу взять два франка.

— Извольте.

Туристъ опустилъ руку въ портмонэ и подалъ своему гостю пятифранковую монету.

— Здѣсь больше,—сказалъ тотъ.

— Это все равно.

— Да, разумѣется,—вы сдачи получите.

Съ этимъ онъ завернулся и вышелъ тѣмъ же ровнымъ шагомъ, съ тою же неизмѣнною важностью. Во время разговора можно было видѣть, что у него не крѣпко держатся рейтузы и подъ блузою нѣтъ рубашки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Nemo разсказалъ исторію землякамъ: тѣ сразу узнали.

— Это,—говорятъ:—Шерамуръ.

— Кто онъ?

— Неизвѣстно.

— Во всякомъ случаѣ онъ русскій.

— О, да! русскій: у него какая-то таинственная исторія.

— Политическая?

— Кто его разберетъ! но, кажется, политическая.

— По какому дѣлу онъ сюда сбѣжалъ?

— Право не знаю, да и знаетъ ли онъ самъ объ этомъ,— сомнѣваюсь.

— Онъ не сумасшедшій?

— Развѣ съ точки зрѣнія доктора Крупова.

— И не плутъ?

— Нѣтъ, онъ по-своему даже очень честенъ: да вотъ вы сами въ этомъ убѣдитесь.

— Какимъ образомъ?

— Онъ занялъ у васъ денегъ?

— А вы почему такъ думаете?

— Если онъ приходилъ, значитъ или долгъ принесъ, или умираетъ съ голоду и въ долгъ проситъ.

— Я ему очень мало далъ.

— Все равно: онъ принесетъ.

— Я этого вовсе не требую.

— Мало ли что! А вы если хотите у него заискать, то сведите его пожрать.

— Онъ не обидится?

— Нимало; онъ человѣкъ натуральный: только не ведите въ хорошее мѣсто: этого онъ терпѣть не можетъ, а куда-нибудь погрязнѣе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

На другое утро спитъ Nemo и слышитъ:

— Проснитесь!

Тотъ открылъ глаза и увидалъ передъ собою Шерамура. Онъ былъ по-вчерашнему въ блузѣ безъ рубашки и въ бандитской шляпѣ. Только яркій, голодный блескъ черныхъ глазъ его немножко смягчился и въ нихъ даже какъ будто мелькало что-то похожее на нѣкоторый признакъ улыбки. Онъ протянулъ къ хозяину руку и проговорилъ:

— Получайте.

— Что это?

— Три франка сдачи.

— Присядьте,—я сейчасъ встану и мы пойдемъ вмѣстѣ завтракать.

Шерамуръ сѣлъ и, положивъ деньги на стулъ, проговорилъ:

— Могу.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Они пили и ѣли именно такъ, какъ хотѣлъ того Шерамуръ, даже не у Дюваля, а пошли по самому темному изъ закоулковъ Латинскаго квартала и пріютились въ грязненькомъ кабачкѣ дородной богатырскаго сложенія нормандки, которую звали Tante Grillade. Это была единственная женщина въ Парижѣ, которую Шерамуръ зналъ по имени и при встрѣчахъ съ которою онъ кивалъ ей своею горделивою головою. Она этого стоила, потому что имѣла историческую репутацію высокой пробы. Если она не лгала, то она въ самомъ цвѣтѣ своей юности была предметомъ вниманія Луи Бонапарта и очень могла бы ему кое-что напомнить, но съ тѣхъ поръ, какъ онъ сдѣлался Наполеономъ III, Grillade его презирала и жила, содержа грязненькую съѣстную лавку.

Было ли это все правда, или только отчасти,—это оставалось на совѣсти Танты, но Шерамуръ ей вѣрилъ: ему нравилось, что она презираетъ «такого барина». За это онъ ее уважалъ и доказывалъ ей свое уваженіе, передъ ней одной снимая свою ужасную шляпу. Притомъ же она и ея темный закоулокъ составляли для Шерамура очень пріятное воспоминаніе. Здѣсь, въ этой трущобѣ, къ нему разъ спускалось небо на землю; здѣсь онъ испыталъ самое высокое удовольствіе, къ которому стремилась его душа: тутъ онъ, вѣчно голодный и холодный нищій, одинъ разъ давалъ пиръ,—такой пиръ, который можно было бы назвать «пиромъ Лазаря». Шерамуръ самыми удивительными путями получилъ по матери наслѣдство въ триста или четыреста франковъ и сдѣлалъ на нихъ «пиръ Лазаря».

Онъ отдалъ всѣ эти деньги Тантѣ и велѣлъ ей «считать», пока онъ проѣстъ.

Съ того же дня онъ ежедневно водилъ сюда по нѣсколько

voyou и всѣхъ питалъ до тѣхъ поръ, пока Танта подала ему счетъ, въ которомъ значилось, что *все съѣдено*.

Теперь онъ сюда же привелъ своего консоматера. Имъ подали скверныхъ котлетъ, сквернаго пюре и рагу изъ обрѣзковъ, да литръ кислаго вина. Шерамуръ ѣлъ все это сосредоточенно и не обращая ни на кого никакого вниманія, пока отвалился и сказалъ:

— Буде!

Съ этого у Nemo и Шерамура завязалось знакомство, которое поддерживалось «жратвою» у Tante Grillade, и съ каждымъ днемъ выводило наружу все новыя странности этого Каинова сына.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Nemo могъ опредѣлить, что Шерамуръ былъ чрезвычайно гордъ, потому что онъ былъ очень застѣнчивъ, но понятія о самой гордости у него были удивительныя. Такъ, напримѣръ, кормъ онъ принималъ отъ всякаго безъ малѣйшаго стѣсненія и безъ всякой благодарности. Кормить — это, по его мнѣнію, для каждаго было не только долгъ, но и удовольствіе. Въ томъ, что его кормятъ, онъ не только не усматривалъ никакого одолженія, но даже находилъ, что это мало. И дѣйствительно,—самъ онъ при тѣхъ же средствахъ сдѣлалъ бы гораздо больше. При тѣхъ же средствахъ онъ накормилъ бы нѣсколько человѣкъ. Жратва была пунктъ его помѣшательства: онъ о ней думалъ сытый и голодный, во всякое время,—во дни и въ нощи.

Приходитъ онъ, напримѣръ, и видитъ банку съ одеколономъ. Тотчасъ намѣчаетъ ее своимъ сверкающимъ взглядомъ и, показывая на нее пальцемъ, съ презрѣніемъ спрашиваетъ:

— Это что?

— Одеколонъ.

— Зачѣмъ нуженъ?

— Обтираюсь имъ.

— Гмъ! Обтираетесь. Развѣ прѣлое мѣсто есть?

— Нѣтъ; прѣлаго мѣста нѣтъ.

— Такъ зачѣмъ же такая низость!

— Кому же это вредно?

— Еще и спрашиваете: лучше бы сами пожрали, да другого накормили.

— Пойдемте,—накормлю.

— Что же одного-то кормить... сказали бы, такъ я бы еще человѣкъ пять позвалъ.

Другой разъ онъ застаетъ на комодѣ бѣлье, принесенное прачкою, и опять тычетъ пальцемъ:

— Чьи рубашки?

— Разумѣется, мои.

— Сколько тутъ?

— Кажется, четыре.

— Зачѣмъ столько?

— А по вашему сколько рубашекъ можно имѣть человѣку?

— Одну.

— И будто у васъ всего одна?

— Нѣтъ; у меня ни одной.

— Безъ шутокъ ни одной?

— Какія шутки, мы не такіе друзья, чтобы шутить шутки.

Съ этимъ онъ разстегнулъ блузу и показалъ нагое тѣло.

— Вотъ вамъ и шутки.

— Возьмите у меня рубашку.

— Могу.

Онъ взялъ поданную ему рубашку, пошелъ за занавѣсъ, а оттуда кричитъ:

— Ножъ!

— Вы не зарѣжетесь?

— Это не ваше дѣло.

— Какъ не мое дѣло! Я не хочу, чтобы вы здѣсь у меня напачкали кровью.

— Эка важность!

— Нѣтъ, не рѣжьтесь у меня.

— Не зарѣжусь,—я нынче пожравши.

— На-те вамъ ножъ.

Послышался какой-то трескъ и что-то шлепнуло.

— Что это вы сдѣлали?

Онъ вмѣсто отвѣта выбросилъ отрѣзанныя отъ обоихъ рукавовъ манжеты и появился самъ въ блузѣ, изъ-подъ обшлаговъ которой торчали обрѣзки безпощадно оборванныхъ рукавовъ рубашки.

Этакъ ему казалось лучше, но тоже не надолго,—завтра онъ явился опять безъ рубашки и на вопросъ: гдѣ она?—отвѣчалъ:

— Скинулъ.

— Для какой надобности?

— У другого ничего не было.

Таковъ онъ былъ въ безконечномъ числѣ разныхъ проявленій, которыя каждаго въ состояніи были убѣдить въ его полнѣйшей неспособности ни къ какому дѣлу, а еще болѣе возбудить самое сильное недоразумѣніе насчетъ того: какое онъ могъ сдѣлать политическое преступленіе? А между тѣмъ это-то и было самое интересное. Но Шерамуръ на этотъ счетъ былъ столь кратокъ, что сказанія его казались невѣроятны. По его словамъ, вся его исторія была въ томъ, что онъ однажды «на дворъ просился».

Какъ и что? Это всякаго могло удивить, но онъ очень мало склоненъ былъ это пояснять.

— Бунтъ, — говоритъ: — былъ. Мы всѣ технолжцы въ институтъ пришли,—вороты заперты, не пущаютъ. Мы стали проситься на дворъ пустить,—пихать начали. Меня взяли.

— Ну, а потомъ?

— А потомъ,—я ушелъ.

— Зачѣмъ?

— Да что же ждать—неизвѣстно бы куда засудили.

И больше ничего не добьетесь, да и сомнительно, есть ли чего добиваться.

До сихъ поръ говорю съ чужихъ словъ—теперь перехожу къ личнымъ наблюденіямъ, которыя были счастливѣе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Я о немъ въ мою послѣднюю поѣздку за границу наслышался еще по дорогѣ, — преимущественно въ Вѣнѣ и въ Прагѣ, гдѣ его знали, и онъ меня чрезвычайно заинтересовалъ. Много странныхъ разновидностей этихъ Каиновыхъ дѣтей встрѣчалъ я на своемъ вѣку, но такого экземпляра не видывалъ. И мнѣ захотѣлось съ нимъ познакомиться,—что было и кстати, такъ какъ я ѣхалъ съ литературною работою, для которой мнѣ былъ нуженъ переписчикъ. Шерамуръ же, говорятъ, исполнялъ эти занятія очень изрядно.

Его адреса никто не зналъ, но я взялъ адресъ Tante Grillade и онъ мнѣ помогъ. По письму, оставленному въ этомъ кабачкѣ, Шерамуръ ко мнѣ явился, совершенно такимъ, какимъ я его описалъ выше: маленькій, коренастый,

съ крошечнымъ носикомъ и огромной бородой Черномора.

Здѣсь, кстати замѣчу, что кличка Шерамуръ была не что иное, какъ испорченное на французскій ладъ Черноморъ, а происхожденіе этой клички имѣетъ свою причину, о которой будетъ упомянуто въ своемъ мѣстѣ.

Я не торопилъ Шерамура сближеніемъ, а просто далъ ему работу, и въ первый визитъ онъ со мною не говорилъ почти ни слова, а только кивалъ въ знакъ согласія, но, принеся черезъ три дня назадъ переписанную тетрадь, разговорился.

— Все ли вы,—спрашиваю:—разобрали въ моей рукописи—не трудно ли было?

— Ничего нѣтъ труднаго, а только одно трудно понять: зачѣмъ вы это пишете?

— Печатать буду.

— Очень нужно.

— Вамъ это не нравится?

— Не не нравится, а зачѣмъ всякую юрунду. (Онъ именно говорилъ юрунду).

— Добрые люди купятъ, прочтутъ, посмѣются и бросятъ.

— Ну, да; только и всего. Стòитъ того дѣло. Могли бы что-нибудь лучше написать.

— Да что лучше-то?—Не умѣю.

— Ну, да; не умѣете! Нѣтъ, вы, я вижу, не совсѣмъ глупый!

— Да не знаю,—говорю:—что же такое надо писать?

— Полезное что-нибудь.

— Напримѣръ?

— Я вѣдь не писатель,—что меня спрашивать. Если бы я былъ писатель,—я бы написалъ.

— Статью?

— Не знаю, можетъ-быть и статью.

— О чемъ?

— О томъ, чтобы всѣмъ было чтò жрать,—вотъ о чемъ.

— Какъ же это надо написать?

— Не знаю,—пишутъ.

— Гдѣ?

— Я не знаю; а пишутъ.

— Да все, говорю,—мало куда годится.

— Оттого, что не дописываютъ?

— А отчего не дописываютъ?

— А чортъ ихъ знаетъ.

— Ума мало, или смѣлости недостаетъ?

— Да я не знаю.

— Вы революціонеръ?

— Ну, вотъ еще! Жрать всѣмъ надо, вотъ революція. Въ революцію хорошо,—кто большого роста.

— Это почему?

— Потому что маленькаго никто не послушаетъ.

— А вотъ Наполеоны-то, — вѣдь они оба были небольшого роста, а ихъ слушались.

— Такъ это у французовъ; они на ростъ не глядятъ; а у насъ надо, чтобъ дылда былъ и ругаться умѣлъ.

— А вы развѣ этого не можете?

— Нѣтъ, не могу.

— А жрать?

Онъ улыбнулся, но только удивительно странно, сначала однимъ, а потомъ другимъ глазомъ, точно онъ не смѣлъ сразу обоими улыбнуться, и отвѣчалъ:

— Могу.

— Ну, идемте.

И онъ ходилъ со мною разъ и два и, наконецъ, за обычай взялъ со мною питаться и освоился до того, что разъ сказалъ:

— А я еще и другую штуку могу.

— Какую?

— Подвыть.

— Какъ же это?

— Здѣсь нельзя—страшно.

Я объ этомъ и позабылъ, но потомъ мы съ нимъ какъ-то пошли за городъ къ Нельи. Это былъ хорошій вечеръ; мы все бродили, бродили, сѣли на бережку ручья и незамѣтно осмеркли.

Онъ такъ же незамѣтно отъ меня отлучился, и гдѣ-то исчезъ. Я задумался и совсѣмъ про него позабылъ, но вдругъ вздрогнулъ и вскочилъ въ ужасномъ испугѣ, и было чего: въ самомъ недалекомъ отъ меня разстояніи громко и протяжно провылъ голодный волкъ... И прежде чѣмъ я могъ оправиться—онъ завылъ снова.

Надо было опомниться, что я всего въ двухъ шагахъ отъ Парижа, котораго грохотъ слышенъ и котораго огни

отражаются заревомъ, чтобы понять, какъ трудно было появиться здѣсь волку.

И пока я это сообразилъ, предо мною предсталъ Шерамуръ.

— Каково?—говоритъ.

— Это вы выли?

— Я. Разобрали, въ чемъ дѣло.

— Какое же дѣло?

— Слушайте.

И онъ опять сѣлъ на корточки, сложилъ у рта ладошки и завылъ: уаа-уаа-уаа.

— Разобрали?

— Нѣтъ; но вы, дѣйствительно, воете какъ настоящій волкъ.

— Еще бы! Мы, бывало, всѣ этакъ хоромъ воемъ.

— Кто, гдѣ?

— Технолоджцы-то, въ Петербургѣ, когда топить нечѣмъ и жрать нечего. Завоемъ, — хозяйка испужается и дастъ дровъ и поплеванникъ—чтобы замолчали. Вѣдь это слова.

Онъ опять опустился на корточки и еще разъ завылъ, но гораздо протяжнѣе, и въ этотъ разъ въ этомъ воѣ я разобралъ слова:

Холодно, странничекъ, холодно;
Голодно, родименькій, голодно!

И мнѣ стало жутко и больно, а онъ сталъ разсказывать: какъ имъ бывало холодно и какъ голодно и какъ они, вымоливъ полѣно дровъ и «поплеванникъ», потомъ разогрѣвались, прыгая вокругъ пустой комнаты и напѣвая:

А лягушки по дорожкѣ
Скачутъ, вытянувши ножки,
Ква-ква-ква-ква,
Ква-ква-ква-ква.

На него, кажется, дѣйствовала ночь, звѣзды и свобода открытаго пространства. Онъ былъ въ духѣ и въ какомъ-то порывѣ на откровенность. Я этимъ воспользовался.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

— Неужто вамъ, говорю, — когда вы такъ бѣдствовали, никто не помогалъ?

— А кто мнѣ станетъ помогать? со мною все бѣдняки жили;—всѣ втроемъ рѣдко жрали.

— Не всѣ же технологи или по-вашему «технолоджцы» такъ бѣдны.

— Да, у кого есть отцы, — не бѣдны, разумѣется — имъ помогали.

— А вашъ отецъ?

— У меня отца не было,—только родитель.

— Какая же тутъ разница?

— Отецъ жалѣетъ, а родитель—родитъ и броситъ.

— Кто же былъ вашъ *родитель?*

— Мизантропъ.

— Чѣмъ онъ занимался?

— Дворянинъ, —развлекалъ свою ипохондрію.

— Ну, а мать, развѣ и она о васъ не заботилась?

— Чѣмъ ей заботиться? — она изъ крѣпостныхъ дѣвокъ была.

— Такъ вы, значитъ, изъ податного званія?

— Нѣтъ; изъ благороднаго, — мизантропъ ее за чиновника выдалъ.

— Вы все путаете.

— Ничего не путаю: родитель былъ одинъ, а отцомъ другой числился; мужъ материнъ въ казначействѣ служилъ.

— Да вы чью фамилію-то носите?

— Материнаго мужа.

— Ваша матушка вѣрно была очень красива.

— Ну вотъ... Разумѣется не такая, какъ я. А у него все равно были всякія: и красивыя, и некрасивыя, и всѣхъ замужъ выдавалъ.

— И приданое давалъ.

— Матери пятьсотъ рублей далъ, за чиновника, а которыхъ за своихъ—тѣмъ не давалъ.

— Значитъ, онъ вашу матушку больше другихъ любилъ.

— Время такое пришло: эманцыпація. Крѣпостные не захотѣли безъ награжденія. А онъ разсудилъ, что если съ награжденіемъ, такъ ужъ все равно за благороднаго. Чиновникъ и взялся.

— Выходитъ, вы все-таки счастливѣе другихъ.

— Не вижу, тѣ надѣлы получили, а я нѣтъ.

— А чиновникъ васъ не обижалъ, воспитывалъ?

— Мы у него не жили, онъ съ матерью очень дрался; она назадъ убѣжала.

— Къ мизантропу?

— Да; меня швырнуда ему, а сама утопиться хотѣла Онъ новаго суда побоялся и взялъ насъ.

— Тутъ вамъ хорошо было?

— Ничего не было хорошаго: меня къ акушеркѣ н воспитаніе въ городъ отдали.

— Это добрая была женщина?

— Шельма; сама все съ землемѣромъ кофей пила, а мн жрать не давала. И землемѣръ очень билъ.

— Зачѣмъ?

— Такъ; напьется и бьетъ по головешкѣ. Я оттого рости пересталъ, — до двѣнадцати лѣтъ совсѣмъ не рос Въ училище отдали: тамъ началъ жрать и сталъ подни маться. А пуще въ пасалтырѣ морили.

— Что это такое за «пасалтырь»?

— Чуланъ, — землемѣръ такъ называлъ. «Бросить, ска жетъ, его въ пасалтырь» — меня и бросятъ, да и позабу дутъ безъ корму. А тамъ еще тѣсно, все стѣна перед носомъ. Я отъ этого пасалтыря и зрѣніе испортилъ, что вс въ стѣнку смотрѣлъ. Въ училище привели — за два шаг доски не видѣлъ.

— Вы въ какомъ были училищѣ?

— Въ гимназіи.

— Окончили курсъ?

— Нѣтъ; у меня отъ битья память глупая.

— А потомъ?

— Въ технологію.

— Что же тутъ больше учились или больше читали?

— Больше всего опять жрать было нечего, а иногда читали.

— А что читали?

— Много,—не помню.

— Стихи или прозу?

— И стихи, и прозу.

— И ничего не помните?

— Одни стихи помню, потому что много списывалъ ихъ

— Какіе?

— Начало божественное, а потомъ политическое:

«И вы подобно такъ падете,
«Какъ съ древъ увядшій листъ падетъ,
«И вы подобно такъ умрете,
«Какъ вашъ послѣдній рабъ умретъ».

— Это, говорю,—«Властителямъ и Судямъ».

— Вотъ, вотъ, оно самое.

— Зачѣмъ же вы его списывали?

— Всѣмъ нравилось.

— Да вѣдь это Державинское стихотвореніе: оно есть печатное.

— Ну, разсказывайте-ка.

— Не вѣрите?

— Разумѣется.

— Ну, такъ знайте же, что это переложеніе псалма и оно было въ хрестоматіи, по которой мы, бывало, грамматическій разборъ дѣлали.

— Ну, а мы не дѣлали.

— Бѣдняжки.

— Ничего не бѣдняжки.

— А когда вы окончили свою технологію?

— Я ее не кончалъ.

— Почему?

— Политическая исторія помѣшала.

— А какая же это была исторія?

— Наши студенты на дворъ просились.

— Для какой надобности?

— Какъ для какой надобности? Безъ двора развѣ можно? дворъ заперли, и некуда дѣться: мы проситься. Бударь говоритъ нельзя на дворъ,—отъ начальства не велѣно, а мы его отпихнули и пошелъ бунтъ.

— Вѣрно прежде была какая-нибудь распря.

— Я тогда не ходилъ, у меня за ухомъ юрунда какая-то вспухла и ее въ тотъ день только распороли.

— Какъ же вы этимъ не оправдались?

— А какъ это оправдаться, стали насъ показывать,— бударь на меня говоритъ: «вотъ и этотъ черномордый тоже на дворъ просился». Меня отставили, а ему велѣли изложить. Онъ говоритъ: «я не пущалъ, а онъ, какъ Спиноза, промежъ ногъ проюркнулъ».—Меня за это арестовали.

— За Спинозу?

— Да.

— Долго же вы были подъ арестомъ?

— Нѣтъ; я скоро въ деревню уѣхалъ, — меня графиня выпросила.

Онъ, къ крайнему моему удивленію, назвалъ одно изъ

самыхъ великосвѣтскихъ именъ. Я впервые ему не повѣрилъ.

— Почему она васъ знала?

— Ничего не знала, а у насъ былъ директоръ Ермаковъ, котораго всѣ знали, и онъ былъ со всѣми знакомъ и съ этой съ графинею. Она прежде жила какъ всѣ,—экозесъ танцовала, а потомъ съ однимъ англичаниномъ познакомилась и ей захотѣлось людей исправлять. Ермаковъ за насъ заступался, разсказывалъ всѣмъ, что насъ «исправить можно». А она услыхала и говоритъ: «Ахъ, дайте мнѣ одного,— самаго несчастнаго». Меня и послали. Я и идти не хотѣлъ а директоръ говоритъ: «идите,—она добрая».

— И что же: вправду такъ вышло?

— Ничего не правда. Пустили къ ней скоро — у нея внизу особый залъ былъ. Тамъ люди какіе-то, все молились. Потомъ меня спросила: читалъ ли Евангеліе [illegible] ворю: нѣтъ. «Прочитайте, говоритъ, и придите». Я пр[illegible]

— Все прочитали?

— Все.

— Что же,—понравилось вамъ?

— Разумѣется, мистики много, а то бы ничего: есть много хорошаго. Почеркать бы надо по мѣстамъ...

— Вы такъ и графинѣ отозвались?

— Не помню, — да вѣдь еще раньше генералъ Дубельтъ говорилъ... Я читалъ объ этомъ, а съ графиней... не помню... Все равно она была дура. Она мнѣ долбила все про спасеніе, только мнѣ спать захотѣлось, а ничего не понялъ.

— Что же такое было непонятное?

— «Надо придти ко Христу». Очень радъ,—только какъ это сдѣлать? Или будто я спасенъ... Почему я это знаю! Или про кровь тамъ и все этакое: ничего по настоящему нельзя понять. Я сказалъ, что я этого не понимаю, и мнѣ это не нужно. Она стала сердиться: «оставимъ, говоритъ, до деревни, — вы тамъ поймете». Дорогою хотѣла меня съ собой посадить и читать, а потомъ во второй классъ послала; двѣ дѣвки, я да буфетчикъ. Мы и поссорились.

— Какое же вамъ до нихъ дѣло было?

— Подлости говорятъ и безстыдство: я это ненавижу; а потомъ съ мужикомъ скандалъ вышелъ, — все и пропало.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Вотъ въ чемъ заключается этотъ эпизодъ, — нелѣпый, курьезный и отрывочный, какъ всѣ эпизоды своеобразной эпопеи Шерамура.

— Мы поѣхали, — началъ онъ.—Графиня сама сѣла въ первый классъ и дѣтей, и старую гувернантку - англичанку тоже тамъ посадили, а двѣ дѣвки и я, да буфетчикъ во второмъ сѣли. Буфетчикъ мнѣ подалъ билетъ и говоритъ:

— Графиня вамъ тутъ велѣла.

Я говорю:

— Мнѣ все равно.—А какъ они стали разныя глупости говорить, я и ушелъ въ третій классъ къ мужикамъ.

— Какія же такія нестерпимыя глупости они говорили?

— Всякія глупости, все важныхъ изъ себя передо мною представляли: одна говоритъ, что ее американскій князь соблазнить и увезть хотѣлъ, да она отказалась, потому что на пароходѣ ѣздить не можетъ, будто бы у нея отъ колтыханья морская свинка дѣлается. Противно слушать, а на первой станціи при насъ большая исторія вышла: мужика возлѣ нашего вагона бить стали. Я говорю: за что? А кондукторъ говоритъ: «вѣрно заслуживаетъ». — Я самого мужика спросилъ: за что? а онъ говоритъ: «ничего!» Я подскочилъ къ графинѣ, говорю: видите, безправіе! А она закричала: «ахъ, ахъ!» и окно закрыла. Буфетчикъ говоритъ: «развѣ можно безпокоить». Я говорю: если она христіанка, она могла за бѣднаго заступиться. А онъ: «съ какой стати этакъ можете? — вы энгелистъ». А я говорю: а ты дуракъ. И повздорили. Они и начали про студентовъ намеки. «Теперь, говоритъ, всѣ взялись за этотъ энгелизмъ. Коимъ и не стоило званія своего пачкать, и тѣ нынче счеты считаютъ. У насъ тоже теперь новый правитель—только вступилъ, сейчасъ счеты сталъ перемарывать. «Зачѣмъ, говоритъ, пельсики пять съ полтиной ставить, когда они по два рубля у Юлисѣева?—Это воровство». Ахъ ты, дрянь юная! Мы при твоемъ отцѣ не такіе счеты писали и ничего, потому что то былъ настоящій баринъ: самъ пользовался и другимъ не мѣшалъ; а ты вонъ что!»

«Дѣвки такъ и ахаютъ:

«— Ишь подлецъ! ишь каналья!

«А тотъ говоритъ:

«— Ну, такъ я ему сейчасъ и ввернулъ, чего онъ и не думалъ. — Мало ли что, говорю, у Юлисѣева, мы бокалейщика Юлисѣева довольно знаемъ, что эта одна лаферма, а продаетъ кто попало, — со всякаго званія особъ. «Къ чему мнѣ это знать?» говоритъ. — А къ тому-съ, что тамъ все продается для обыкновенной публики, а у насъ домъ,—мы домового поставщика имѣемъ — у него беремъ. «Впередъ, говоритъ, у Юлисѣева братъ». — Очень хорошо, говорю, только если ихъ сіятельство въ какомъ-нибудь фруктѣ отравятъ, такъ я не буду отвѣчать.

«Дѣвки визжатъ: ловко, ловко! Ожегся?

«— Страфилъ! и весь энгелизмъ спустилъ: «бери, говоритъ, негодяй, у своего поставщика, а то ты и вправду за три цѣлковыхъ кого угодно отравишь».

«А дѣвки радостно подхватываютъ: очень просто, что такъ! — очень просто! И сами что-то ѣдятъ, а буфетчикъ мнѣ очистки предлагаетъ: «у васъ, говоритъ, желудокъ крѣпкаго характера,—а у меня съ фистулой. Кушайте. А если не хотите, мы на балъ дешевымъ студентамъ за окно выбросимъ». А потомъ вдругъ всѣ: хи-хи, да ха-ха-ха и: «точно такъ какъ наше къ вашему». Я этого уже слушать не могъ и пересѣлъ къ мужикамъ.

— Что же васъ въ этихъ словахъ особенно возмутило?

— Ну какъ же: цинизмъ: «наше къ вашему».—Развѣ я не понимаю?

— Да я-то, говорю, не понимаю: что тутъ такого особенно циничнаго.

— Ну, оставьте, пожалуйста,—очень это понятно.

— Извольте; оставляю, но все-таки, гдѣ вы видите цинизмъ—не понимаю.

— Ну, а я понимаю: я даже въ Петербургъ хотѣлъ вернуться и сошелъ, но только денегъ не было. Начальникъ станціи велѣлъ съ другимъ поѣздомъ въ Москву отвезть, а въ Петербургъ, говоритъ, безъ билета нельзя. А поѣздъ подходитъ — опять того знакомаго мужика, котораго били, ведутъ и опять наколачиваютъ. Я его узналъ, говорю: за что тебя опять? А онъ говоритъ: «не твое дѣло». Я пріѣхалъ въ Москву,—въ ихъ домъ и все спалъ, а потомъ всталъ, а на дворѣ уже никого нѣтъ,—говорятъ: уѣхали.

— Васъ бросили?

— Не взбудили. Я проспалъ — пошелъ на станцію за

книгами — книги свои взять и — вижу опять поѣздъ подъѣхалъ и опять того знакомаго мужика бьютъ. Я думаю: вотъ, чортъ возьми!—и захотѣлъ узнать: за что! А онъ, какъ его отбили, съ платформы соскочилъ и прямо за вороты,— снялъ шапку и на всѣ сорокъ сороковъ раскрещивается. Я говорю: ты бы, дуракъ, чѣмъ башкой по пустякамъ кивать,—шелъ бы къ мировому.—«А мнѣ чего, говоритъ, безъ мирового недостаетъ?» — Шея-то, небось, болитъ? — «Такъ что же такое: у насъ шея завсегда можетъ болѣть, мы мужики: а донесъ Господь,—я Ему и благодарствую».—А что били тебя—это ничего?—«А какая важность, господа лише дрались, да мы терпѣли,—и перетерпѣли: теперь они и сами обосѣли—стали смирные».—Вотъ отъ этого, говорю, въ тебѣ и нѣтъ человѣческой гордости, а ты сталъ скотина. — «Черезъ что такое, отвѣчаетъ, скотина, когда я своихъ родителевъ знаю».—Экое, говорю, животное: никакихъ чувствъ въ тебѣ нѣтъ. А онъ началъ сердиться: «Что ты, говоритъ, ко мнѣ вяжешься: какое еще чувство, если мнѣ такъ надобѣ».—Отчего же это такъ надобѣ, чтобы тебя на всякой станціи били?—«Анъ совсѣмъ, говоритъ, не на всякой». — Я, говорю, видѣлъ.—«А мнѣ, говоритъ, это еще лучше тебя извѣстно: всего четыре раза за путину похлопали, только на большихъ станціяхъ, гдѣ билетъ провѣряютъ. Какое же тутъ чувство? потолкаютъ и вонъ, а я на другой поѣздокъ сяду, да вотъ, Богъ далъ, ничего не платя, и доѣхалъ».— Понимаете, какой отличный народъ! Я его практическому смыслу подивился и какъ у меня полтора рубля было, я ему помочь хотѣлъ. Дальше, спрашиваю, куда-нибудь поѣдешь?—«Дальше мнѣ теперь все равно, что рукой подать— всего въ тульскую губернію: мы съ Москвой-то сусѣди». — А все же вѣдь и тутъ опять чугунка.—«Простое дѣло, что чугунка».—Такъ опять деньги надо. Онъ посмотрѣлъ и говоритъ: — «Это не твое расположеніе». — Да у тебя есть деньги или нѣтъ?—«Съ чего такъ нѣтъ: мы мужики, а не то что, — мы работаемъ, а не крадемъ, чтобы у насъ не было. У насъ, что надобѣ есть». — А то лучше, говорю, признайся: я тебѣ дамъ. — «Намъ чужого не надо: у насъ вотъ онѣ свои, кровныя». Вытащилъ кошель и хвалится:— «Видишь, говоритъ, что есть названье отъ Бога родитель,— вотъ я родитель: я побой претерпѣлъ, а на билетъ ничего не извелъ—безъ билета доѣхалъ. Все, что заработалъ—вотъ

все оно цѣло, — дѣткамъ везу; а еще захочу, такъ и въ церкву дамъ за свое здоровье. Понимаешь?» — Глупо, говорю, въ церковь давать.—«Ну, этого говорить ты не смѣй а то вотъ что»...—И кулакъ мнѣ къ носу.—Что за народъ что за народъ!—воскликнулъ Шерамуръ и даже впотьмахъ весь расцвѣтился. — Я, говоритъ, не вытерпѣлъ: молодецъ говорю: пойдемъ, я тебя угощу въ трактирѣ. А онъ сейчасъ кошель скорѣй прятать и сталъ уходить. Я за нимъ, а онъ отъ меня еще шибче, да на углу хлопъ, упалъ и растянулся. — Чего ты, говорю, дуракъ, бѣжишь? — «А ты чего, говоритъ, меня гонишь: я вѣдь твоего не прошу».—Чего же ты меня боишься? — «Ты деньги увидалъ и скрасть хочешь», и съ этимъ какъ дернетъ во всю мочь: «карррaулъ!» Насъ обоихъ и забрали.

— Куда?

— Въ часть.

— Выпустили?

— Да; на другой день приставъ пріѣхалъ, разспросилъ обо мнѣ и послалъ къ графинѣ: дѣйствительно ли я съ нею? Оттуда дворникъ ихъ знакомаго художника прислалъ, тотъ поручился, меня и отпустили. А у мужика тамъ въ части рубль пропалъ. Онъ послѣ сказалъ мнѣ: «это твоя вина,—я за тебя заключался,—ты долженъ мнѣ воротить»,— я отдалъ...

— Вы, значитъ, на него не сердились?

— Нѣтъ, да вѣдь онъ уменъ, онъ мнѣ сказалъ: «я бы, говоритъ, отъ тебя и не бѣжалъ, да боялся, что у тебя вумственныя книжки есть. А то, сдѣлай милость, буду на угощеніи благодаренъ». Чай съ нимъ вмѣстѣ пили. Отличный мужикъ. «А если еще остача есть, говоритъ, купи моимъ дѣткамъ пряничнаго конька да рыбинку. Я свезу,— скажу: дядька прислалъ,—дѣтьки малыя рады будутъ». Хорошій мужикъ. Мы поцѣловались.

— Значитъ, онъ васъ до грошика обобралъ?

— Я самъ отдалъ.

— А зачѣмъ?

— Отдалъ, да и все.

— А сами куда и съ чѣмъ пошли?

Шерамуръ только рукой махнулъ.

— Тутъ, говоритъ,—у меня началась самая тяжкая пора, я едва разсудокъ не потерялъ.

— Отчего же собственно?

— Отъ ужаснаго божества... бѣда, что такое было.

— Вѣрно опять графиня?

— Да; и другіе,— если бы англичанка моего этого спасенія вѣрою не подкургузила, такъ я погибъ бы отъ святости.

— Валяйте, валяйте, говорю, — развѣ можно на такомъ интересномъ мѣстѣ останавливаться: сказывайте, что̀ такое было?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ московскомъ домѣ графини, гдѣ она провела сутки и уѣхала далѣе, повидимому, совсѣмъ позабывъ о Шерамурѣ и не сдѣлавъ на его счетъ никакихъ распоряженій, онъ нашелъ того профессора живописи, который за него поручился.

Это былъ единственный человѣкъ, къ которому нашъ герой могъ обратиться въ своемъ положеніи. Онъ такъ и сдѣлалъ. Считая имена недостойными человѣческаго вниманія пустяками, Шерамуръ не зналъ: какъ звали художника, но, по его словамъ, это былъ человѣкъ пожилой и больной. Онъ жилъ со своимъ семействомъ, занимая одинъ изъ флигелей въ домѣ графа, который считалъ себя покровителемъ какого-то московскаго художественнаго учрежденія. Остальной домъ былъ пустъ и оберегался однимъ старымъ лакеемъ. Лакей этотъ питалъ какія-то особенныя чувства къ профессору и свелъ къ нему Шерамура. Тотъ выслушалъ чудака и говоритъ:

— По-моему, вамъ не сто̀итъ за графиней ѣхать.

— Я, — говоритъ Шерамуръ: — спросилъ, отчего? А онъ не отвѣчаетъ. Большущее что-то пишетъ, и все помазикаетъ кистями и отскочитъ: высматриваетъ.

— Я, — говоритъ: — не совѣтую... И опять мазикаетъ. Графиня, я думаю... вами тяготится.

— Сама,—говорю:—пригласила.

— Это ничего. И опять помазикалъ, отскочилъ и смотритъ въ кулакъ на картину и говоритъ: это ей все равно; они люди особенные, у нихъ это ничего-съ.

И еще помазикалъ, помазикалъ, а потомъ положилъ свои снасти, закурилъ трубочку и сѣлъ противъ картины.

— Вы,—спрашиваетъ: — «Эмиля» Руссо читали?

— Не читалъ, а слышалъ: опытъ какой-то дѣлали — воспитать человѣка.

— Вотъ, вотъ, вотъ!—вотъ и вы на этотъ опытъ взяты: вы лучше удирайте.

— А что она мнѣ сдѣлаетъ?

— Да нехорошо, — говоритъ: — съ ними возиться. Вѣдь ей дѣлать нечего — вотъ ея забота. Ея отецъ, бывало, для собственной потѣхи все лѣчилъ собственныхъ людей, а эта отъ нечего дѣлать для своей потѣхи всѣхъ ко спасенію зоветъ. Только жаль — собственныхъ людей у нихъ теперь нѣтъ; все искать надо, чтобы одной передъ другой похвастать: какая кого въ свою вѣру поймала. Всякая дрянь нынче ихъ этою глупою потѣхою пользуется: «я, дескать, увѣровалъ — дайте поѣсть», а вы студентъ, — вамъ это стыдно.

Я говорю:

— Мнѣ это все равно, — я религіи не признаю; а если можете пять рублей мнѣ занять, такъ я поѣду, потому что она мнѣ сулила дать школу.

Онъ говоритъ:

— Нате вамъ пять рублей, а школы она вамъ не дастъ, а если дастъ, такъ васъ оттуда скоро выгонитъ.

А когда я хотѣлъ разспросить, отчего не дастъ? — онъ вдругъ закашлялся и говоритъ:

— Ну васъ совсѣмъ! — Если вы такой безтолковый, — ступайте куда хотите: у меня чахотка; а вы... ничего не понимаете.

Шерамуръ взялъ пять рублей и отправился къ мѣсту своего призванія, гдѣ его осѣтили траги-комическія случайности, которыя имѣли на него роковое вліяніе и довели его до эмиграціи.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Во-первыхъ, его не ждали и, какъ художникъ отгадалъ, — не желали видѣть въ имѣніи, куда онъ явился не то педагогомъ, не то Эмилемъ. Встрѣченъ онъ былъ сухо, какъ человѣкъ никому не нужный; даже помѣщенія ему не дали и благодѣтельницы своей графини онъ не видалъ. Въ этомъ, по его словамъ, былъ виноватъ тотъ же врагъ студентовъ, буфетчикъ, способный за три цѣлковыхъ отравить кого угодно. Онъ сбылъ Шерамура сначала въ чуланъ при

конторѣ, а потомъ въ каморку при прачечной. У его выломаннаго порога была ямина, а подъ окномъ зольная куча, на которую выбрасывали изъ кухни всякую нечисть, и тутъ, какъ говорилъ Шерамуръ, постоянно «ходили пѣшкомъ три вороны и чьи-то птичьи кишки таскали». Въ самой же храминѣ здѣсь была такая жара и духота, что Шерамуръ, къ великому своему удивленію и благополучію,—тяжко заболѣлъ: у него сдѣлался карбункулъ, который онъ называлъ: злой чирій. Ему не дали умереть и прислали къ нему фельдшера, — молодого еврея, который здѣсь тоже былъ и врачомъ, и религіознымъ Эмилемъ: графиня его второй годъ воспитывала къ христіанству. Главный трудъ обращенія его уже былъ оконченъ и по осени онъ назначался на короткое время на выставку въ религіозные салоны Петербурга, а оттуда къ отсылкѣ за границу для крещенія по наилучшему образцу какой-то изъ неизвѣстныхъ сектъ. Еврей былъ такой же горькій человѣкъ, какъ Шерамуръ,— онъ былъ вырванъ изъ солдатчины, благодаря тому, что рѣшился оказать склонность къ христіанству. Онъ уже второй годъ жилъ здѣсь неизвѣстно по какому праву и, чувствуя свое рискованное положеніе, пѣлъ стишки и читалъ «трактатцы», — но онъ былъ, разумѣется, гораздо находчивѣе Шерамура, и сдѣлалъ ему важную услугу, — спасъ ему жизнь.

Шерамуръ лежалъ безъ всякаго присмотра — его дверь часто некому было затворить и вороны заходили къ нему пѣшкомъ даже въ самую комнату, но фельдшеръ нашелъ, что случай этотъ достоинъ иного вниманія. Онъ доложилъ о больномъ графинѣ и удостовѣрилъ ее, что болѣзнь опасна, но не заразительна. Онъ зналъ, что это былъ для нея бенефисный случай: она сейчасъ же пришла съ книжечками и флакономъ разведенной водою мадеры, и читала Шерамуру о спасеніи вѣрою. Онъ ничего не понялъ; а она ушла, оставивъ ему трактатцы, но флаконъ унесла. Еврей ему сдѣлалъ выговоръ: «что вамъ такого, говоритъ, понимать,— спроситъ: «погибъ?»—говорите: «погибъ»,—а если «спасенъ», такъ «спасенъ».

— А что это значитъ?—добивался Шерамуръ.

— Ничего не значитъ, — одинъ разговоръ, а зато вамъ будутъ хорошую пищу присылать и мадеры, — а вы еще слабы. Онъ взялъ оставленные трактатцы, посмотрѣлъ и

говоритъ: вотъ по этой погибъ, а по этой спасенъ. Я скажу, что вы читали и пошли на спасенье.

Пріемъ оказался хорошъ. Въ тотъ день Шерамуру, наперекоръ всѣмъ проискамъ буфетчика, прислали супу и котлетъ, а послѣ обѣда пришла графиня и принесла новыхъ трактатцевъ и флаконъ. Еврей сказалъ, что больной слабъ, и графиня его не утруждала: она спросила его только: «видите, что вы погибли»... Онъ отвѣчалъ: «погибъ». Она стала на колѣни и долго молилась. Шерамуръ изъ всей молитвы запомнилъ только: «еще молимъ тебя, Господи, и еще молимъ тебя». Она спросила: «имѣетъ ли онъ сколько-нибудь Христа?» Онъ поморщился, но сказалъ: «немножко имѣю». Она еще помолилась, а потомъ ушла, но флаконъ оставила. Съ тѣхъ поръ его стали отлично кормить и графиня къ нему приходила съ трактатцами и флакономъ, а также приводила раза два англичанку и обѣ возлѣ него молились. Онъ велъ себя какъ училъ еврей: но все путалъ, говорилъ, то «погибъ», то имѣетъ Христа.

Еврей замѣтилъ по своимъ примѣтамъ, что это долго стоитъ на лизисѣ,—вскрылъ Шерамуру нарывъ и сказалъ: «Ну, теперь скажите: спасенъ». Шерамуръ такъ и сдѣлалъ. Онъ былъ «спасенъ», графиня утѣшалась; она пріобрѣла Христу перваго нигилиста, и велѣла Шерамуру по выздоровленіи приходить къ ней, чтобы пѣть съ вѣрными и учить дѣтей писать и закону Божію. И какъ съ этихъ поръ лично ей онъ уже былъ не интересенъ, то она его бросила, а буфетчикъ опять сталъ ему посылать вмѣсто «куричьяго супу»—«свинячьи котлеты» и вмѣсто «кокайскаго вина»—«подмадерный хересъ». Продолжали навѣщать Шерамура только фельдшеръ да англичанка, которая въ эту пору и явилась изобрѣтательницею его нынѣшней клички. Графиня при первомъ взглядѣ на него назвала его «Черноморъ»,—что ему и очень шло, графинины горничныя сдѣлали изъ этого «черномордый»,—но и это было кстати, а англичанка по-своему все перековеркала въ «Шерамуръ». Однако, впрочемъ, и это тоже имѣло свою стать, хотя въ смыслѣ ироніи.

Впрочемъ, началось это безъ ироніи. Никому не благодарный и ни на кого не жаловавшійся, Шерамуръ при воспоминаніи объ этой дамѣ морщилъ брови.

— Съ губкою,—говоритъ:—все приходила и съ теплой водичкой,—чирій размывать. Я сяду на край кровати, а

она стоитъ,—на затылкѣ мнѣ мочитъ, а лицо мое себѣ въ грудь прижметъ — ужасно непріятно; она полная и какъ зажметъ лицо, совсѣмъ дышать нельзя, а она еще такіе вопросы предлагаетъ, что видно, какая дура.

— Какіе же вопросы, Шерамуръ?

— «Пріятно ли?» Разумѣется, говорю, отъ теплой воды хорошо, а дышать трудно. Или: «ты ни о чемъ не дюмаешь?» Говорю: о чемъ мнѣ думать? — «А ти, говоритъ, дюмай, ти дюмай!» Послѣ было выдумала еще мнѣ лицо губкой обтирать, но это я сразу отбилъ—говорю: ужъ это, пожалуйста, не надо: у меня здѣсь не болитъ.

— Да она вѣрно въ васъ влюбилась?

— Ну, вотъ еще! Просто дура.

— А чѣмъ же у васъ съ нею все кончилось?

— Еще что скажете!

— А что?

— Да никогда ничего и не начиналось; а просто какъ я выздоровѣлъ и сунулся въ это божество,—сейчасъ пошли отовсюду непріятности.

— Вы не умѣли пѣть или не умѣли преподавать?

— Я не пѣлъ, а тамъ чай съ молокомъ давали, такъ я просто ходилъ сидѣть, чтобъ чаю дали.

— Вамъ не нравилось, какъ графиня говоритъ?

— Глупости.

— Однако, хуже поповъ, или лучше, толковѣе?

— У поповъ труднѣе.

— Чѣмъ?

— У нихъ, какъ тотъ мужикъ говорилъ, «вумственнѣе»,— они подите-ка какіе вопросы закатываютъ.

— Я,—говорю:—не знаю, о чемъ вы говорите.

— Ко мнѣ разъ попъ пришелъ, когда я ребятъ учу; «ну, говоритъ, отвѣчай, что хранилось въ ковчегѣ завѣта!» Мальчикъ говоритъ: «расцвѣтшій жезлъ Аароновъ, чашка съ манной кашей и скрыжи».—А что на скрыжахъ?—«Заповѣди», и все отвѣчалъ. А попъ вдругъ говорилъ, говорилъ о чемъ-то и спрашиваетъ: «А почему сіе важно въ-пятыхъ?» Мальчонко не знаетъ и я не знаю: почему сіе важно въ-пятыхъ. Онъ говоритъ: «Дѣтки! вотъ каковъ вашъ наставникъ, — самъ не знаетъ: почему сіе важно въ-пятыхъ?» Всѣ и стали смѣяться.

— Ученики ваши?

— Ребятишки отцамъ разсказали: «учитель, молъ, питер-скій, а не знаетъ: почему сіе важно въ-пятыхъ? Батюшк спросилъ, а онъ и ничего». А отцы и рады: «какой эт подхватили, учитель, это — дуракъ. Мы дѣтей къ нему н пустимъ, а къ графинюшкѣ пустимъ: если покосецъ даст покосить — пусть тогда ребятки къ ней ходятъ, поютъ ништо, худого нѣтъ». Я такъ и остался.

— Ни при чемъ?

— Да, такъ ходилъ, думалъ до осени, но тутъ... под вернулось...

— Новая исторія?

— Да, изъ-за пустого лакомства.

Понятно, нетерпѣніе знать: какъ и какая сладость се жизни соблазнила Шерамура? Почему сіе было важно въ пятыхъ?

Дѣло это содержалось въ англичанкѣ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Пожилая дама, о которой заходитъ рѣчь, была особа, описанія которыхъ не терпитъ англійская литература, но которыхъ зато съ любовью разработываетъ французская. Смѣлѣйшіе изъ англійскихъ писателей едва касаются одной стороны — ихъ ипокритства, но Тэнъ обнаружилъ и другія свойства этихъ тартюфокъ. Ихъ вкусъ мало разборчивъ, ихъ выборъ падаетъ на то, что менѣе афишируетъ. Въ большинствѣ случаевъ это бываетъ собственный кучеръ или собственный лакей. Внѣшняя фешіонабельность и гадкая связь идутъ ничего не нарушая и ничему не препятствуя. Если нѣтъ собственнаго кучера и лакея, тогда хорошъ и католическій монахъ. Эти лица пользуются очень хорошею репутаціею во многихъ отношеніяхъ, особенно со стороны скромности. Вообще англійскій культъ дорожитъ въ такихъ обстоятельствахъ скромностью субъекта и такимъ его положеніемъ, которое исключало бы всякое подозрѣніе. Шерамуръ былъ въ этомъ родѣ. Но тутъ дѣло было нѣсколько лучше: по тонкимъ навыкамъ старой эксцентрички, Шерамуръ ей даже нравился. Она была свободна отъ русскихъ предразсудковъ и не смотрѣла на него презрительными глазами, какими глядѣла «мизантропка», опрокидывающая свою ипохондрію, или ея камеристки, этотъ безвкуснѣйшій родъ женщинъ въ цѣлой вселенной. Крѣпкій, кругленькій,

точно выточенный торсъ маленькаго Шерамура, его античныя ручки, огневые черные глаза и неимовѣрно сильная растительность, выражавшаяся смолевыми кудрями и волнистою бородою, производили на нее впечатлѣніе сколько томное, столько же и безпокоящее. Онъ представлялся ей маленькимъ гномомъ, который покинулъ темныя нѣдра горъ, чтобы извѣдать привязанность, — и это ничего, что онъ малъ, но онъ крѣпокъ какъ молодой осленокъ, о которомъ въ Библіи такъ хорошо разсказано, какъ упруги его ноги и силенъ его хребетъ, — какъ бодро онъ несется и какъ неутомимо прыгаетъ. Она знала въ этомъ толкъ. Притомъ онъ былъ franc novice,—это возбуждало ея опытное любопытство, и, наконецъ, онъ молчаливъ и совершенно неподозрителенъ.

И вотъ, мало-по-малу, пріучивъ его къ себѣ во время его болѣзни, англичанка не оставляла его своимъ вниманіемъ и тогда, когда онъ очутился безъ дѣла и безъ призора за то, что не зналъ: «почему сіе важно въ-пятыхъ?»

Она была терпѣливѣе графини и не покидала Шерамура, а какъ это дѣлалось на основаніи какого-то текста, то графиня не находила этого нимало страннымъ. Напротивъ: это было именно какъ слѣдуетъ,—потому что *они* не такъ, какъ мы — примемся, да и бросимъ, а *они* до конца держатся правила: fais ce que tu dois.

И та, дѣйствительно, держалась этого правила: она учила Шерамура по-французски, употребляла его для переписки «стишковъ» и «трактатцевъ», и часто его подкармливала, спрашивая на его долю котлетку, или давая ему каштаны или фисташки, которые онъ любилъ и ѣлъ презабавно, какъ обезьяна.

Все это шло въ своемъ порядкѣ, пока не пришло къ развязкѣ, самой неожиданной, но вполнѣ соотвѣтственной дарованіямъ и такту Шерамура. Но это замѣчательнѣйшее изъ его приключеній нельзя излагать въ моихъ сокращеніяхъ, оно должно быть передано въ дословной формѣ его собственнаго разсказа, насколько онъ сохранился въ моей памяти.

— Она,—говоритъ Шерамуръ:—разъ взяла меня за бороду,—и зубами заскрипѣла. Я говорю: чего это вы?

— Приходи ко мнѣ въ окно, когда всѣ уснутъ.

Я говорю:

— Зачѣмъ?

— Я,—говоритъ:—тебѣ сладости дамъ.

— Какой?

Она говоритъ:

— Кисъ-ме-квикъ.

Я говорю:

— Это пряникъ?

Она говоритъ:

— Увидишь.

Я и полѣзъ. Изъ саду не высоко: она руку спустила и меня вздернула.

— Иди,—говоритъ:—за ширмы, чтобы тѣнь не видали.

А тамъ, за ширмой, серебряный подносъ и двѣ бутылочки: одна губастая, а одна такая.

Она спрашиваетъ:

— Чего хочешь: коньякъ или шартрезъ?

— Мнѣ,—говорю:—все равно.

— Пей, что больше любишь.

— Да мнѣ все равно, — а вотъ зачѣмъ вы такъ разодѣты?

— А что такое?

— То,—говорю:—что мнѣ совѣстно—вѣдь вы не статуя, чтобъ много видно.

— А она,—вмѣшиваюсь,—какъ была разодѣта?

— Какъ! скверно, совсѣмъ вполъодѣта, рукава съ фибрами и декольте до самыхъ поръ, вездѣ тѣло видно.

— Хорошее тѣло?

— Ну, вотъ я будто знаю? Мерзость... по всѣмъ мѣстамъ вездѣ духами набрыськано и пудрой приляпано... какъ лишаи... Зачѣмъ,—говорю:—такъ набрыськались, что дышать непріятно?

— Ты,—говоритъ:—глупый мальчикъ, не понимаешь: я тебя сейчасъ самого набрыськаю,—и стала черезъ рожокъ дуть.

Я говорю:

— Оставьте, а то уйду.

Она дуть перестала, а замѣсто того мокрую губку съ одеколономъ мнѣ прямо въ лицо.

— Это,—говорю:—еще что за подлость!

— Ничего,—говоритъ:—надо... личико чисто дѣлать.

— А, — говорю: — если такъ, то прощайте! Выскочилъ

изъ-за ширмы, а она за мною, стали бѣгать, что-то повалили; она испугалась, а я за окно и спрыгнулъ.

— Только всего и было съ англичанкой?

— Ну, понятно. А буфетчикъ изъ этого вывелъ, что я будто духи красть лазилъ.

— Какъ духи красть? Отчего онъ это могъ вывесть?

— Оттого, что когда поймалъ, отъ меня пахло. Понимаете?

— Ничего не понимаю: кто васъ поймалъ?

— Буфетчикъ.

— Гдѣ?

— Подъ самымъ окномъ: какъ я выпалъ, онъ и поймалъ.

— Ну-съ!

— Началъ кричать: «энгелиста поймалъ!» ну, тутъ, разумѣется, люди въ контору... стали графу писать: «пойманъ нигилистъ».

— Какъ же вы себя держали?

— Никакъ не держалъ,—сидѣлъ въ конторѣ.

— Сказали, однако, что-нибудь въ свое оправданіе?

— Что говорить,—отъ нигилиста какія оправданія.

— Ну, а далѣе?

— Убѣжалъ за границу.

— Изъ-за этого?

— Нѣтъ; попъ подбавилъ: когда графиня его позвала сочинять, что нигилисты въ домъ врываются и чтобы скорѣе становой пріѣзжалъ, попъ что-то приписалъ, будто я не признаю: «почему сіе важно въ-пятыхъ?» Фельдшеръ это узналъ и говоритъ мнѣ: что это такое — «почему сіе важно въ-пятыхъ?»

Я говорю: не знаю.

— Можетъ-быть это чего вышняго касается? Вамъ теперь лучше бѣжать.

Я и побѣжалъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Какъ онъ бѣжалъ?—Это тоже интересно.

— Пѣшкомъ,—говоритъ:—до самой Москвы перъ, даже на подметкахъ мозоли стали. Пошелъ къ живописцу, чтобы сказать, что пять рублей не принесъ, а ухожу, а онъ совсѣмъ умираетъ, — съ кровати не вставалъ; — выслушалъ, что было, и хотѣлъ смѣяться, но помянулъ и изъ-подъ по-

душки двадцать рублей далъ. Я спросилъ:—на что? А онъ нагнулъ къ уху и безъ голосу шепнулъ:

— Ступайте!

Съ этимъ я ушелъ.

— Куда же?

— Въ Женевку.

— Тамъ были рады вамъ?

— Ругать стали. Говорятъ: «у англичанки вѣрно деньги были,—а вы—этого не умѣли. Дуракъ вы».

— Неужто даже не пріютили?

— Ничего не пріючали: я имъ не годился, — говорятъ: вы очень форменный,—намъ надо потаенные.

— Тогда вы сюда?

— Да: здѣсь вѣжливо.

Онъ сказалъ это съ такимъ облегченнымъ сердцемъ, что даже мнѣ легко стало. Я чувствовалъ, что здѣсь—*періодъ*; что здѣсь замысловатая исторія Шерамура распадается и можно отдохнуть.

Я его спросилъ только: увѣренъ ли онъ, что ему въ Россіи угрожала какая-нибудь опасность? Но онъ пожалъ плечами, потянулъ носомъ, вздохнулъ и коротко отвѣчалъ:

— Все же уйти—безопаснѣе.

Мы встали съ края оврага, въ которомъ Шерамуръ началъ волчьимъ вытьемъ, а кончилъ божествомъ. Пора было вернуться въ Парижъ,—дать Шерамуру жрать.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Если бы я не имѣлъ передъ собою примѣра «старца Погодина», какъ онъ скорбѣлъ и плакалъ о нѣкоемъ блуждавшемъ на чужбинѣ соотчичѣ, то я едва ли бы рѣшился сознаться въ неодобрительномъ поступкѣ: мнѣ было жаль Шерамура и я даже положилъ себѣ имъ заняться и довести его до какого-нибудь предѣла. Словомъ: я велъ себя совсѣмъ какъ Погодинъ. Разбирая рапсодіи Шерамура, я готовъ былъ иногда подозрѣвать его въ сумасшествіи, но онъ не былъ сумасшедшій; другой разъ мнѣ казалось, что онъ лѣнивый негодяй и дармоѣдъ, но и это не такъ: онъ всегда ищетъ работы, и что вы ему поручите, — онъ сдѣлаетъ. Не плутъ онъ уже ни въ какомъ случаѣ, — онъ даже несомнѣнно честенъ. Онъ такъ какой-то заморухъ: точно цыпленокъ, который еще въ яйцѣ за-

чичкался. Такихъ самыя сердобольныя хозяйки, какъ только замѣтятъ, — обыкновенно «притюкиваютъ» по головешкѣ и выбросятъ,—и это очень милостиво; но Шерамуръ былъ не куриный выводокъ, а человѣкъ. Родись онъ въ селѣ, его бы считали «ледащинькимъ», но приставили бы къ соотвѣтственному дѣлу—стадо пасти или гусей сгонять, и онъ все-таки пропитался бы и даже не былъ бы въ тягость; но среди культурнаго общества, — онъ никуда не годился.

Однако, все-таки его лучше увезть въ Россію, гдѣ хоть сытнѣе и много дармоѣдовъ не умираетъ съ голоду. Поэтому самое важное было дознаться, тяготитъ ли надъ нимъ какое обвиненіе и нельзя ли ему помочь оправдаться?

Но какъ за это взяться? Къ счастію, однако, явился такой случай. Но прежде, чѣмъ дойти до него, надо сказать два слова о томъ: какъ Шерамуръ жилъ въ Парижѣ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Съ перваго дня своего прибытія въ Парижъ онъ былъ такъ же обезпеченъ, какъ нынче. *Никогда* у него не было ни опредѣленнаго жительства, ни постоянныхъ занятій. Онъ иногда что-то заработывалъ, нося что-то въ гарѣ, иногда каталъ какія-то бревна. Что ему за это платили,—не знаю, но знаю, что имѣть столько денегъ, чтобы пообѣдать за 80 сантимовъ и выспаться въ ночлежномъ домѣ,—это было его высшее благополучіе. Въ большинствѣ же случаевъ у него не было никакой работы, тѣмъ болѣе, что, перекатывая бревна, онъ сломалъ ногу, а отъ носки тяжестей протиралъ свои очень хорошенькія, дамскія плечи, плѣнившія англичанку. Очевидно, въ работѣ у него ни на что недоставало сноровки. Отдыхалъ же онъ днемъ и ночью на бульварахъ. Это трудно, но можно въ Парижѣ, а по привычкѣ Шерамуру даже не казалось трудно.

— Я,—говорилъ онъ:—ловко спать могу.

То-есть, онъ могъ спать сидя на лавочкѣ такъ, чтобы этого не замѣтилъ sergent de ville.

— А если онъ васъ замѣтитъ?

— Я на другую иду.

— Вѣдь и съ другой сгонятъ?

— Не скоро,—съ полчаса можно поспать. Надо только переходить на ту сторону, откуда онъ идетъ.

Но теперь обращаемся къ *случаю.*

Разъ, выйдя изъ русской церкви, я встрѣтился въ па
кѣ Монсо съ моею давнею знакомою, г-жею Т. Мы сидѣ
на скамеечкѣ и говорили о тѣхъ, кого знали и которы
теперь хотѣлось вспомнить. А намъ было о комъ побес
довать, такъ какъ знакомство наше съ этою дамою нач
лось еще во дни восторговъ, пробужденныхъ псковск
исторіею Гемпеля съ Якушкинымъ и тверскою эпопеею «пя
дворянъ». Мы вмѣстѣ перегорали въ этихъ трепетаніяхъ,
потомъ разбились: она, тогда еще молодая дама, съ имене
и обезпеченнымъ состояніемъ, переселилась на житье
Парижъ, а я,—мелкая литературная сошка, остался на р
динѣ испытывать тоску за различные мои грѣхи, и все
болѣе за то, чего во мнѣ никогда не было, т.-е. за какое-
направленіе.

Съ тѣхъ поръ минуло безъ малаго четверть столѣтія
многое измѣнилось, — однихъ не стало, другіе очутили
слишкомъ далеко, а мы, которыхъ здѣсь свелъ случай пос
долгой разлуки, могли не безъ интереса подвергнуть дру
друга провѣркамъ: что въ комъ изъ насъ испарилось, ч
осталось и во что преложилось и окрасилось. Она въ
время видѣла больше меня людей интересныхъ, и прито
такихъ, о которыхъ я имѣлъ только одни книжныя пон
тія. Въ дни ея отъѣзда, я помню, что она горѣла одни
постояннымъ и ни на минуту не охлажденнымъ желаніе
стать близко къ Гарибальди и къ Герцену. О первомъ о
писала, что ѣздила на Капреру, но Гарибальди ей не
нравился: онъ не чуждался женскаго пола, но относился
дамамъ слишкомъ реально. Онъ ей показался лучше изда
но почему и какъ, — я ее о томъ не разспрашивалъ. Ге
ценъ тоже не выдержалъ критики: онъ сдѣлался подъ ст
рость «не интересенъ какъ тайный совѣтникъ», и оче
капризенъ и придирчивъ. Дама весьма хорошо умѣла пре
ставлять, какъ она краснѣла за него въ одномъ жен
скомъ ресторанѣ,—гдѣ онъ при множествѣ туристовъ «ве
возмутительную сцену съ горчичницей» за то, что ему
дали не такую горчицу. Онъ былъ подвязанъ подъ го
салфеткою и кипятился совершенно какъ русскій помѣщи
Всѣ даже оборачивались... И это былъ тотъ, чьи ост
умныя клички и прозвища такъ смѣшили либеральный
тербургъ шестидесятыхъ годовъ! Это невозможно было с

сти: дама махнула рукой на подвязаннаго салфеткою старца и даже въ видѣ легкой ироніи отыгралась съ нимъ на его же картахъ: она называла его «салфеточнымъ». Затѣмъ ея вниманіе занимали Клячко, Лангевичъ, Пустовойтова, наконецъ папа Пій IX, отъ котораго она тогда только-что возвратилась и была въ восторгѣ по причинѣ его «божественнаго лица».

— Кротость, ласковость и... какое обхожденіе,—говорила она:—всякому онъ что-нибудь... Пусть его бранятъ, что онъ выдумалъ непогрѣшимость и зачатіе, но какое мнѣ дѣло! Это все въ догматахъ... Боже мой! кто тутъ что-нибудь разберетъ, а не все ли равно, какъ кто вѣритъ. Но какая прелесть... Въ одномъ представленіи было много русскихъ: одинъ знакомый профессоръ съ двумя женами, то-есть съ законной и съ романической,—и купецъ изъ Риги, раскольникъ—лѣчиться ѣздилъ съ дочерью, дѣвушкою... Всѣхъ приняли,—только раскольнику велѣли фракъ надѣть. Старикъ никогда фрака не надѣвалъ, но купилъ и во фракѣ пришелъ... И онъ со всѣми, со всѣми умѣлъ заговорить, — съ нами по-французски, а раскольнику черезъ переводчика напомнилъ что-то такое, будто государю говорили, что «въ его новизнахъ есть старизна», или «старина». Говорятъ — это, дѣйствительно, такъ было. Раскольникъ даже зарыдалъ: «батюшка, говоритъ: откуда износишь сіе, отколь тебѣ все вѣдомо?» упалъ въ ноги и вставать не хочетъ. «Старина, старина», говоритъ... Мнѣ это нравится: съ одной стороны находчивость, съ другой простота... Здѣсь теперь въ модѣ Берсье: онъ измѣнилъ католичеству, сдѣлался пасторомъ и все противъ папы... Я и его не осуждаю,—у него талантъ, но онъ не правъ и я ему прямо говорю: вы не правы; папу надо видѣть; надо на него глядѣть безъ предубѣжденія, потому что съ предубѣжденіемъ все можетъ показаться дурно,—а безъ предупрежденія...

Но только-что она это высказала, — на поворотѣ аллеи, какъ изъ земли вылупился Шерамуръ,—и какой,—въ какомъ видѣ и убранствѣ! Шершавый, всклоченный, тощій, весь въ пыли, какъ выскочившій изъ-подъ грязной застрѣхи котъ, съ желтымъ листомъ въ своей нечесаной бородѣ и прорѣхами на блузѣ и на обоихъ колѣнахъ.

При появленіи его я просто вздрогнулъ, перервалъ оживленный разсказъ моей дамы и, пользуясь правами короткаго знакомства, взялъ ее за руку и шепнулъ:

— А вотъ, посмотрите-ка безъ предубѣжденія.

— На кого? Вотъ на этого монстра?

— Да; я послѣ разскажу вамъ, какое подъ этимъ заглавіемъ содержаніе.

Она прищурилась, разсмотрѣла и... тоже вздрогнула.

— Эта ужасно!—прошептала она вслѣдъ Шерамуру, когда онъ минулъ насъ, не удостоивъ ни единаго взгляда, съ понурою, совершенно падающею головою. Надо было думать, что нынѣшнюю ночь, а можетъ быть и нѣсколько ночей кряду, его мало пожалѣлъ sergent de ville.

Моя дама схватила за карманъ, достала портмонэ и, вынимая оттуда десять франковъ, сказала:

— Вы можете ему передать это?..

— О, да, говорю, — съ удовольствіемъ. — Но, позвольте, вотъ что мнѣ пришло въ голову: вы вѣдь вѣрно знакомы съ кѣмъ-нибудь изъ здѣшнихъ нашихъ дипломатовъ?

— Еще бы,—даже очень дружески.

— Помогите же этому бѣдняку.

— Въ чемъ?

— Надо узнать: преступникъ онъ или нѣтъ?

— Охотно, только если они знаютъ. Но они, кажется, о русскихъ никогда ничего не знаютъ.

— Они,—говорю:—могутъ узнать.

Она вызвалась поговорить съ однимъ изъ близкихъ ей людей въ посольствѣ и черезъ два дня пишетъ мнѣ, чтобы я прислалъ къ ней Шерамура: она хотѣла дать ему рекомендательную карточку, съ которою тотъ долженъ пойти къ г. N. N. Это былъ видный чиновникъ посольства, который обѣщалъ принять и выслушать Шерамура и, если можно, помочь ему очистить возвратный путь въ отечество.

— А тогда,—прибавила дама:—я беру на себя собрать ему средства на дорогу, буду просить въ Петербургѣ и проч., и проч.

Думаю: чего же еще лучше надо?

Передаю все это Шерамуру и спрашиваю:

— Что вы на это скажете?

— Да я,—отвѣчаетъ:—не понимаю: зачѣмъ это?

— Вы развѣ не хотите въ Россію?

— Нѣтъ; отчего же,—могу; тамъ пищевареніе лучше.

— Такъ идите къ этой дамѣ.

— Хорошо. Она дура?

— Съ какой же стати она будетъ дурою?

— Аристократка.

— А они развѣ всѣ дураки?

— Да я не знаю, я такъ спросилъ: какая она?

— Это вамъ все равно,—какая она,—она очень добрая, принимаетъ въ васъ участіе и въ силахъ вамъ помочь, какъ никто другой. Вотъ все, что вамъ достаточно знать и идти.

— И ничего изъ этого не будетъ.

— Почему не будетъ?

— Вѣдь я сказалъ.

— Нѣтъ, не сказали.

— Аристократка.

— Такъ вы не пойдете?

Онъ помолчалъ, поводилъ носомъ и протянулъ:

— Ну, чортъ съ ней,—пожалуй схожу.

Онъ это дѣлалъ совершеннымъ grande signore, — чтобы отвязаться. Ну, да и то слава Богу, что хоть мало на ладъ идетъ. Моя знакомая женщина съ душою,—она его пойметъ и на его невѣжество не обидится.

Другое дѣло, — какъ онъ аттестуетъ себя въ самомъ посольствѣ передъ русскимъ дипломатомъ, котораго чувства, конечно, тоньше и который, по уставамъ своего уряда, «по поступкамъ поступаетъ», а не по движенію сердца.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Я ждалъ развязки дипломатическихъ свиданій Шерамура съ нетерпѣніемъ, тѣмъ болѣе, что все это затѣялось наканунѣ моего отъѣзда, и вотъ мнѣ не терпится: вечеркомъ въ тотъ день, какъ онъ долженъ былъ представиться своей патронессѣ, я ѣду къ ней и не могу отгадать: что застану? Но застаю ее очень веселую и довольную.

— Вашъ Шерамуръ,—говоритъ:—презабавное существо. Какъ онъ ѣстъ!—какъ звѣренышъ.

— Вы его кормили?

— Да; я его брала съ собой...

— Вотъ какъ, я всегда зналъ, что у васъ предоброе сердце, но это еще шагъ впередъ.

— Отчего?

— Оборвышъ онъ этакой, а вы его водили и вмѣстѣ обѣдали.

— Ахъ, это-то! Ну, полноте, вѣдь здѣсь не Россія. Н безпокойтесь меня хвалить: въ Петербургѣ я бы этого н за что не сдѣлала, а здѣсь что же такое... Я такая, как всѣ, и могу дѣлать что хочу. Гарсоны на него только вс удивлялись. Я имъ сказала, что это дикій изъ русской Си бири, и они его все разсматривали и были къ нему очен вѣжливы. А кстати: вы замѣтили, какъ онъ кости грызетъ

— Нѣтъ,—говорю:—что-то не замѣтилъ.

— Ахъ, это прелестно: онъ ихъ грызетъ какъ будто ка кую-нибудь жареную вермишель и чавкаетъ какъ поросе ночекъ.

— Да, — говорю: — насчетъ изящества съ нимъ нужн снисходительность.

Но она и приняла это снисходительно, и даже разсказал оставшійся у меня въ памяти анекдотъ о другомъ, еще бо лѣе противномъ, способѣ обращаться съ костями. Дѣло шл объ одномъ ея великосвѣтскомъ кузенѣ Вово и состояло в томъ, что этотъ кузенъ, русскій консерваторъ, удостоя чести кушать за особымъ столикомъ съ нѣкоторою прин цессою, ощутилъ неодолимое желаніе показать, какъ он чтитъ этотъ счастливый случай. Онъ остановилъ лакея, уби равшаго тарелку съ косточками птички, которую скушал принцесса, выбралъ изъ нихъ двѣ или три, завернулъ в свой бѣлый платокъ и сказалъ, что дѣлаетъ это съ тѣм чтобы «сберечь ихъ какъ святыню». Но, къ сожалѣні все это было дурно принято: принцесса обидѣлась тако грубостью, и кузенъ Вово лишился впередъ приглашені Дама называла это «русскимъ великосвѣтскимъ бебеизмомъ» который ставила безъ сравненія ниже Шерамурова ча канья,—а я ее не оспаривалъ.

— Конечно,—говорю:—такой неделикатности Шерамур не сдѣлаетъ, но вотъ меня занимаетъ: какъ онъ поведет себя съ дипломатомъ? Предупредили ли вы того: какой эт экземпляръ?

— Какъ же,—я все сказала.

— Ну, и что же онъ?

— Очень смѣялся.

Я покачалъ головою и сомнительно спросилъ:

— Зачѣмъ же онъ очень смѣялся?

— А что?

— Да такъ... Зачѣмъ это они всѣ нынче любятъ *очен*

смѣяться, когда слышатъ о страдающихъ людяхъ. Лучше бы *немножко* посмѣяться и *больше* о нихъ подумать.

И она вздохнула, и говоритъ:

— Правда, правда, правда.

— А когда,—спрашиваю,—ихъ rendez-vous?

— Завтра.

— Ну, хорошо. А Шерамуру вы не дали никакого наставленія, какъ ему себя держать?

— Нѣтъ.

— Это очень жаль.

— Да не могла,—говоритъ:—онъ такъ скоро убѣжалъ, что мы и не простились.

— Отчего же такъ?

— Не знаю: должна была на минуту выйти и предложила ему почитать книгу, а когда пришла опять въ комнату,—его уже не было; дѣвушка говоритъ: швырнулъ книгу и убѣжалъ, какъ будто за нимъ самъ дьяволъ гнался.

— Что за чудакъ!

— Да.

— Что же это можетъ значить?

— Я васъ могла бы объ этомъ спросить, вы его больше знаете.

— Такъ, говорю,—но надо знать: что передъ этимъ было?

— Передъ этимъ?—передъ этимъ онъ съѣлъ довольно много омлета съ малиной.

— А, говорю,—это тоже не шутка.

И мы оба, казалось намъ, *поняли* и разсмѣялись.

— Но, впрочемъ,—добавила она:—я надѣюсь, что все будетъ хорошо.

А я, признаться, на это не надѣялся, хотя и самъ не зналъ,—почему всѣ добрыя надежды на его счетъ были мнѣ чужды.

Затѣмъ, слѣдующій день я провелъ въ бѣготнѣ и въ сборахъ и не видалъ Шерамура. Консьержъ говорилъ, что онъ приходилъ, узналъ, что меня нѣтъ дома, и ушелъ, что-то написавъ на притолкѣ.

Я долго разбиралъ и прочиталъ нѣчто несообразное и не отвѣчавшее главному интересу минуты. Надпись гласила: «оставьте мнѣ пузырянку глазныхъ капель, что помогаютъ отъ зубной боли».

Я зналъ, что онъ одинъ разъ, когда у него болѣли зубы, взялъ въ ротъ бывшія у меня глазныя капли и тотчасъ исцѣлѣлъ. Это меня тогда удивило и насмѣшило, и я отдалъ консьержу «пузырянку», чтобы передалъ Шерамуру, если онъ не застанетъ меня дома. Но онъ не приходилъ за глазными каплями, — вѣроятно, зубы его прошли сами собою.

На слѣдующій день онъ не явился, и еще день его тоже не было, а потомъ уже и наступилъ и день моего отъѣзда. Шерамуръ какъ въ воду канулъ.

Я былъ въ затрудненіи; мнѣ чрезвычайно хотѣлось знать: чѣмъ его Богъ черезъ добрыхъ людей обрадовалъ; но Шерамура нѣтъ и нѣтъ,—какъ сквозь землю провалился.

Хоть неловко было докучать моей дамѣ послѣ прощанія, но я урвалъ минутку и ѣду къ ней, чтобы узнать: не былъ ли у ней мой несмысль, или не слыхала ли о немъ чего-нибудь отъ того, къ кому его посылала.

Пріѣзжаю и не застаю ея дома: говорятъ, она на цѣлую недѣлю уѣхала къ пріятельницѣ за Сенъ-Клу.

Конечно, больше искать слуховъ было негдѣ, и я помирился съ той мыслью, что, вѣроятно, такъ завтра и уѣду, ничего не узнавъ о Шерамурѣ. А потомъ,—думаю, онъ, пожалуй, такъ и затеряется, и въ сознаніи моемъ о немъ останется какой-то разсучившійся обрывокъ... Будетъ и жалко, и досадно всю жизнь воображать, что онъ попрежнему все голоденъ и холоденъ и блуждаетъ отъ одной скамьи до другой, не имѣя гдѣ выспаться.

Кто настоящій эгоистъ, кто съ толкомъ любитъ свой душевный комфортъ, тотъ долженъ тщательно избѣгать такихъ воспоминаній. Вотъ почему, между прочимъ, и слѣдуетъ знакомиться только съ порядочными людьми, у которыхъ дѣла ихъ всегда въ порядкѣ, и надо ихъ бросать, когда фортуна поворачивается къ нимъ спиною. Это подлое, но очень практическое правило.

И вотъ прошла послѣдняя ночь, прошло утро: я сбѣгалъ позавтракать невозможными блюдами m-me Grillade,—все въ чаяніи встрѣтить тамъ Шерамура, и, наконецъ, за часъ до отхода поѣзда, нанялъ фіакръ, взялъ мой багажъ и уѣхалъ.

Я зналъ, что пріѣду на амбаркадеръ рано; это мнѣ было нужно, чтобы встрѣтиться съ землякомъ, съ которымъ мы

условились ѣхать въ одномъ поѣздѣ, притомъ я хотѣлъ поправить свой желудокъ нѣсколько лучшимъ завтракомъ.

О Шерамурѣ размышлять было уже некогда, но зато онъ самъ очутился передо мною въ самую неожиданную минуту, и притомъ въ особенномъ, мало свойственномъ ему настроеніи.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Передъ самымъ главнымъ подъѣздомъ амбаркадера сѣверной дороги есть небольшой ресторанъ съ широкимъ тротуаромъ, отѣненнымъ пятью густыми каштанами, подъ которыми разставлено множество бѣлыхъ мраморныхъ столиковъ. Здѣсь даютъ настоящее мясо и очень хорошее красное вино. Такихъ ресторанчиковъ тутъ нѣсколько и всѣ они, главнымъ образомъ, существуютъ на счетъ отъѣзжающихъ и провожающихъ; но самый лучшій изъ нихъ это тотъ ресторанъ съ пятью каштанами, о которомъ я разсказываю. Тутъ мы условились встрѣтиться съ земляномъ, съ которымъ хотѣли держать путь, и какъ сговорились, такъ и встрѣтились. Комиссіонеръ избавилъ насъ отъ всякихъ трудовъ по сдачѣ багажа и покупкѣ билетовъ, и мы имѣли добрый часъ досужаго времени для послѣдняго завтрака подъ тѣнью парижскихъ каштановъ. Мы заняли одинъ столикъ, спросили себѣ бифштексы и вина, и не успѣли воткнуть вилки въ мясо, какъ на имперіалѣ выдвинувшагося изъ-за угла омнибуса появился Шерамуръ, котораго я издалека узналъ по его волнующейся черноморской бородѣ и бандитской шляпѣ. Онъ и самъ меня замѣтилъ и сначала закивалъ головою, а потомъ скоро соскочилъ съ имперіала и, взявъ меня за руку, сжалъ ее и не только подержалъ въ своей рукѣ, но для чего-то поводилъ изъ стороны въ сторону и даже промычалъ:

— Ну!

— Да, говорю: вотъ я и уѣзжаю, Шерамуръ.

Онъ опять пожалъ и поводилъ мою руку, опять что-то промычалъ и сталъ ѣсть бифштексъ, который я велѣлъ подать для него въ ту минуту, когда только его завидѣлъ.

— Пейте вино, Шерамуръ, — поднимайте прощальную чашу,—вѣдь мы съ вами прощаемся, пошутилъ я, заговоривъ in hoch romantische Stille.

— Могу,—отвѣчалъ онъ.

Я налилъ ему большой кубокъ, въ который входитъ почти полбутылки, и спросилъ еще вина и еще мяса. Мнѣ хотѣлось на разставаньи накормить его до отвала и, если можно, напоить влагою, веселящею сердце.

Онъ выпилъ, поднялъ другой кубокъ, который я ему налилъ, сказалъ «ну», вздохнулъ и опять поводилъ мою руку, и опять сталъ ѣсть. Наконецъ, все это было кончено, онъ выпилъ третій кубокъ, сказалъ свое «буде», закурилъ капоральную сигаретку и, опустивъ руку подъ столъ, сталъ держать меня за руку. Онъ, очевидно, хотѣлъ что-то сказать, или сдѣлать что-то теплое, дружественное, но не зналъ, какъ это дѣлается. У меня въ груди закипали слезы.

Я воспользовался его рукожатіемъ и тихо перевелъ въ его руку двадцати-франковый червонецъ, которымъ предварительно подавилъ его въ ладонь. Онъ почувствовалъ у себя въ рукѣ монету и улыбнулся, улыбнулся совершенно просто и отвѣчалъ:

— Могу, могу,—и съ этимъ зажалъ деньги въ ладонь съ ловкостью приказнаго старыхъ временъ.

— Ну, какъ же,—говорю:—разскажите, любезный Шерамуръ, каковъ вышелъ дебютъ вашъ въ большомъ свѣтѣ?

— Гдѣ это?

— Въ посольствѣ.

— Да, былъ.

— Что же... какой вы тамъ имѣли успѣхъ?

— Никакого.

— Почему?

— Я не знаю.

— Ну, шутки въ сторону: разсказывайте по порядку: вы нашли кого нужно?

— Нашелъ. Я сначала попалъ было куда-то, гдѣ написано: «извѣщаютъ соотечественниковъ, что здѣсь никакихъ пособій не выдаютъ». Тамъ мнѣ сказали, чтобы смотрѣть, гдѣ на дверяхъ заплатка и на заплаткѣ его имя написано.

— Ну, вы нашли заплатку и позвонили?

— Да.

— Васъ приняли?

— Да, пустили.

— И вы разсказали этому дипломату всю вашу исторію?

Шерамуръ посмотрѣлъ на меня, какъ дѣлалъ всегда, когда ему не хотѣлось говорить, и отвѣчалъ:

— Ничего я ему не разсказывалъ.

Но я не могъ позволить ему такъ легко отъ меня отдѣлаться и присталъ:

— Отчего же вы не разсказали? Вѣдь вы же съ тѣмъ пошли...

— Да что-жъ, какъ ему разсказывать, если онъ не вышелъ.

— Что это за мученіе съ вами: «приняли», «не вышелъ»,—говорите толкомъ!

— Лакей пустилъ и велѣлъ пять минутъ подождать. Я подождалъ пять минутъ, а потомъ говорю: пять минутъ прошло. Лакей говоритъ: «что дѣлать,—monsieur вѣрно позабылъ». А я говорю: ну, такъ скажи же своему monsieur, что онъ свинья,—и ушелъ.

Я просто глаза вытаращилъ: неужто это и все, чѣмъ кончилась моя затѣя?

— А что же вамъ еще надо?

— Шерамуръ, Шерамуръ! Злополучное и бѣдное созданіе: да развѣ это такъ можно дѣлать?

— А какъ еще надо дѣлать?

— Да вы бы подумали,—вѣдь мы изъ-за этого подняли цѣлую исторію: впутали сюда свѣтскую даму...

— А ей что такое?

— Какъ что такое? Она васъ рекомендовала, за васъ старалась, просила, а вы пошли, обругали знакомаго ей человѣка въ его же домѣ и при его же слугѣ. Вѣдь это же такъ не водится.

— Отчего—не водится?

— Ну, вотъ еще: «отчего?»—не водится, а вдобавокъ ко всему можетъ-быть вы поступили не только грубо, но и совершенно несправедливо.

Шерамуръ сдѣлалъ видъ рѣзкаго недоумѣнія и вскричалъ:

— Какъ это... я несправедливо сдѣлалъ!

— Да; вы несправедливо сдѣлали; этотъ чиновникъ въ самомъ дѣлѣ могъ быть занятъ, могъ и позабыть.

— Ну, перестаньте.

— Отчего?

— Какія у нихъ занятія!

— У дипломатовъ-то?

— Да!

— А сношенія?

— Все глупости.

— Покорно васъ благодарю.

— Разумѣется; у нихъ жрать всегда готовое. Я, батюш проходилъ, самъ видѣлъ: внизу тамъ поваръ въ колпак кастрюли кипѣли. Чего еще: жри пока не надо.

Я дольше не выдержалъ, разсмѣялся и приказалъ под еще вина.

Шерамуръ освѣтился; онъ почувствовалъ, что его пы кончилась: онъ опять изловилъ мою руку, помялъ ее, по дилъ, вздохнулъ и сказалъ:

— Бросимъ... не надо ничего.

— Это дѣло о вашей судьбѣ бросить?

— Да; какая судьба... Ну ее!..

— А мнѣ, говорю, — ужасно даже это ваше равнодуш къ себѣ.

— Ну, вотъ,—есть о чемъ.

Русскій человѣкъ, — думаю себѣ:—одна у него жизнь, та—бездѣлица. А онъ вдругъ оказываетъ мнѣ снисхожден

— Вы, говоритъ, — можете, если хотите, лучше въ П тербургѣ?

— Что это такое?

— Да прямо Горчакову поговорите.

— А вы думаете, что я такая персона, что вижу Го чакова запросто и могу съ нимъ о васъ разговаривать сказать, что въ Парижѣ проживаетъ второй Петръ Ива вичъ Бобчинскій.

— Зачѣмъ Бобчинскій,—сказать просто, такъ, что бы

— А вы думаете я знаю, что такое съ вами было?

— Разумѣется, знаете.

— Ошибаетесь: я знаю только, что васъ цыгане съ вятаго воза потеряли, что васъ землемѣръ въ тѣсный салтырь запиралъ, что вы на дворъ просились, проскол нули какъ Спиноза и ушли оттого, что не знали, поче сіе важно въ-пятыхъ.

— Вотъ, вотъ это все и есть,—больше ничего не бы

— Неужто это такъ—рѣшительно все?

— Да, разумѣется, такъ!

— И больше *ничего?*

— Ничего?

— Припомните?

Припоминалъ, припоминалъ и говоритъ:

— Я у одной дамы былъ, она меня къ одному мужчинѣ послала, а тотъ къ другому. Всѣ добры, а помогать не могутъ. Тогда одинъ мнѣ работу далъ и не заплатилъ — его арестовали.

— Вы писали, что ли?

— Да.

— Что же такое?

— Не знаю. Я середину писалъ, — безъ конца, безъ начала.

— И политичнѣе этого у васъ всю жизнь ничего не было?

— Не было.

— Ну, такъ вотъ же вамъ послѣдній сказъ: какъ вы себя дурно ни держали въ посольствѣ, ступайте опять къ этой дамѣ и разскажите ей откровенно все, что мнѣ сказали — и она сама съѣздитъ и попроситъ навести о васъ справки; вы вѣрно невинны и, можетъ-быть, никѣмъ не преслѣдуетесь.

— Нѣтъ; къ ней-то ужъ я не пойду.

— Почему?

Молчитъ.

— Что же вы не отвѣчаете?

Опять молчитъ.

— Шерамуръ! вѣдь мы сейчасъ разстаемся! говорите: почему вы не хотите опять сходить къ этой дамѣ?

— Она безстыдница.

— Что-о?

Я отъ нетерпѣнія и досады даже топнулъ и возвысилъ голосъ:

— Какъ, она безстыдница?

— А зачѣмъ она чортъ знаетъ что читать даетъ.

— Повторите мнѣ сейчасъ, что такое она дала вамъ безстыдное?

— Книжку.

— Какую?

— Нѣтъ-съ, я этого не могу назвать.

— Назовите, — я этого требую, потому что я увѣренъ, что она ничего безстыжаго сдѣлать не могла, вы это на нее выдумали.

— Нѣтъ, не выдумалъ.

А я говорю:

— Выдумали.

— Не выдумалъ.

— Ну, такъ назовите ея безстыдную книжку.

Онъ покраснѣлъ и засмѣялся.

— Извольте называть!—настаивалъ я.

— Такъ... вы по крайней мѣрѣ—того...

— Чего?

— Отвернитесь.

— Хорошо,—я на васъ не гляжу.

— Она сказала...

— Ну!

Онъ понизилъ голосъ и стыдливо пролепеталъ:

— Вы бы читали хорошіе англійскіе романы... и дала.

— Что-о та-акое?!

— «Попэнджой ли онъ»!

— Ну-съ!

— Больше ничего.

— Такъ что же тутъ дурного?

— Какъ что дурного?... «Попэнджой ли онъ»... Что за мерзость!

— Ну, и вы этимъ обидѣлись?

— Да-съ; я сейчасъ ушелъ.

Право, я почувствовалъ желаніе швырнуть въ него что попало, или треснуть его стаканомъ по лбу, — такъ онъ былъ мнѣ въ эту минуту досадителенъ и даже противенъ своею безнадежною безтолковостью и безпомощностью... И только тутъ я понялъ всю глубину и серьезность такъ называемаго «петровскаго разрыва»... Этотъ «Попэнджой» воочію убѣждалъ, какъ люди другъ друга не понимаютъ, не спорить и разсуждать о романѣ было некогда, потому что появился комиссіонеръ и возвѣстилъ, что время идти въ вагонъ.

Шерамуръ все провожалъ насъ до послѣдней стадіи,— даже несъ мой пледъ и не разъ принимался водить туда и сюда мою руку, а въ самую послѣднюю минуту мнѣ показалось, какъ будто онъ хотѣлъ потянуть меня къ себѣ или самъ ко мнѣ потянуться. По лицу у него скользнула какая-то тѣнь и волненіе его стало несомнѣнно: онъ торопливо бросилъ пледъ и побѣжалъ, крикнувъ на бѣгу:

— Прощайте; я, должно-быть, муху сожралъ.

Такова была наша разлука.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Парижъ давно былъ за нами.

По мѣрѣ того, какъ я освобождался отъ нервной усталости въ вагонѣ, мнѣ стало припоминаться другое время и другіе люди, которыхъ положеніе и встрѣчи имѣли хотя нѣкоторое маленькое подобіе съ тѣмъ, что было у меня съ Шерамуромъ. Мнѣ вспомянулся дерзновенный «старецъ Погодинъ» и его просвѣтительныя паломничества въ Европу съ благородною цѣлію просвѣтить и наставить на истинный путь Искандера, нѣжныя чувства къ коему «старецъ» исповѣдалъ въ своей «Простой рѣчи о мудрыхъ вещахъ» (1874 г.). Потомъ представился Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, — этотъ даровитѣйшій изъ всѣхъ насъ писатель — и «мягкій человѣкъ»; пришелъ на умъ и тотъ рослый грѣшникъ, чьи черты Тургеневъ изображалъ въ Рудинѣ, — человѣкъ, котораго Тургеневъ видѣлъ и наблюдалъ здѣсь же, въ этомъ самомъ Парижѣ, и мнѣ стало не по себѣ. Это даже жалостно и жутко сравнивать. Тамъ у всѣхъ есть видъ и содержаніе, и свой нравственный обликъ, а это... именно что-то цыганами оброненное; какая-то затерть, потерявшая признаки чекана. Какая-то бѣдная, жалкая изморина, которую остается хоть веретеномъ встряхнуть, да выбросить... Что это такое? Или взаправду это уже черезчуръ хитро задуманная «загадочная картинка», изъ тѣхъ, которыми полны окна мелкихъ лавчонокъ Парижа? Глупыя картинки, а надъ ними прилежно трудятъ головы очень не глупые люди. Изъ этихъ головоломокъ мнѣ особенно припоминалась одна: какой-то завитокъ, — сѣрая размазня съ подписью: «Qu'est ce que c'est?» Она болѣе всѣхъ другихъ интригуетъ и мучитъ любопытныхъ и сбиваетъ съ толку тѣхъ, которые выдаютъ себя за лучшихъ знатоковъ всѣхъ загадокъ. Они вертятъ ее на всѣ стороны, надѣясь при одномъ счастливомъ оборотѣ открыть: что такое сокрыто въ этомъ гіероглифѣ? и не открываютъ, да и не откроютъ ничего, потому что тамъ нѣтъ ничего,—потому что это просто пятно,—и ничего болѣе.

По возвращеніи въ Петербургъ, мнѣ приходилось говорить кое-гдѣ объ этомъ замѣчательномъ экземплярѣ нашей эмиграціи, и всѣ о немъ слушали съ любопытствомъ, иные съ состраданіемъ, другіе смѣялись. Были и такіе, которые

не хотѣли вѣрить, чтобы за видимымъ юродствомъ Шера мура не скрывалось что-то другое. Говорили, что «надо б его положить, да поласкать каленымъ утюжкомъ по спинѣ» Конечно, — каждый судилъ по-своему, но была въ одном домѣ вальяжная няня, которая положила ему судъ особен ный и притомъ прорекла удивительное пророчество. Эт была особа фаворитная, которая пользовалась въ домѣ ува женіемъ и правомъ вступать съ короткими знакомыми в разговоръ и даже дѣлать имъ замѣчанія.

Она, разумѣется, не принадлежала ни къ одной из ярко очерченныхъ въ Россіи политическихъ партій и хот носила «панье» и соблюдала довольно широкую фантазі въ «шнипѣ», но въ вопросахъ высшихъ мировыхъ coter держалась взглядовъ Бѣжецкаго уѣзда, откуда происходил родомъ, и оттуда же вынесла запасъ русскихъ истинъ. Е не понравилось легкомысліе и шутливость, съ которы всѣ мы относились въ Шерамуру; она не стерпѣла и з мѣтила это.

— Нехорошо,—сказала она:—человѣкъ ничевошный, на нимъ грѣхъ смѣяться: у него есть ангелъ, который види лицо.

— Да что же дѣлать, когда этотъ человѣкъ никуда годится?

— Это не ваше дѣло: такъ Богъ его создалъ.

— Да онъ и въ Бога-то не вѣритъ.

— А Господь съ нимъ—глупъ, такъ и не вѣритъ, и бе него дѣло обойдется, ангелъ у него все-таки есть и о не убивается.

— Ну, ужъ будто и убивается?

— Конечно! Онъ къ нему приставленъ и соблюдетъ. Е какъ думаете: вѣдь чѣмъ плоше человѣкъ, тѣмъ ангелъ нему умнѣй ставится, чтобы довелъ до дѣла. Это и ему заслугу.

— Ну да, вы какъ заведете о дуракѣ, такъ никогда кончите. Это у васъ самые милые люди.

Она слегка обидѣлась, начала тыкать пальцемъ въ ра сыпанныя дѣтьми на скатерти крошки и съ дрожаніемъ голосѣ докончила:

— Что они вамъ мѣшаютъ, дурачки! ихъ Богъ послал терпѣть ихъ надо, можетъ-быть онъ опредѣлится къ так цѣли, какой всѣ вы ему и не выдумаете.

— А вы этому вѣрите?

— Я? почему же? вѣрю и уповаю... А вотъ вамъ тогда и будетъ стыдно!

Вотъ она, думаю,—наша мать Ѳедорушка, распредобрая, распретолстая, что во всѣ края протянулася и всѣмъ ласково улыбнулася.

Украшайся добротою, если другимъ нечѣмъ.

Няня казалась немножко разстроена и съ нею больше не спорили и теплой вѣры ея не огорчали, тѣмъ болѣе, что никто не думалъ, что всей этой исторіи еще не конецъ и что о Шерамурѣ, долго спустя, получатся новѣйшія и притомъ самыя интересныя извѣстія.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Прошло около двухъ лѣтъ; въ Герцеговинѣ кто-то встряхнулъ старые счеты и пошла кровь. Было и не до Шерамура. У насъ шли споры о томъ, какъ мы исполнили наше призваніе. Ничего не понимая въ политикѣ, я не принималъ въ этихъ спорахъ никакого участія. Но съ окончаніемъ войны я раздѣлялъ нетерпѣливыя ожиданія многихъ, чтобы скорѣе начинала дешевѣть страшно вздорожавшая провизія. Подъ вліяніемъ этихъ нетерпѣливыхъ, но тщетныхъ ожиданій, я, бывало, какъ возвращаюсь съ прогулки, сейчасъ же обращаюсь къ этажеркѣ, гдѣ въ завѣтномъ уголкѣ, на полочкѣ, поджидаетъ меня докучная книжка съ постоянно возрастающей «передержкой». И вотъ разъ, сунувшись въ этотъ уголокъ, я нахожу какую-то незнакомую мнѣ вещь, — свертокъ, довольно дурно завернутый въ бумагу,—очевидно книга. На бумагѣ нѣтъ ничьего имени, но есть какія-то расплывшіяся письмена, писанныя въ самый край «подъ тѣснотку», какъ пишутъ неряхи. Начинаю дѣлать опыты, чтобы это прочесть и послѣ большихъ усилій читаю: «долгъ и за процентъ ж. в. х.». Больше ничего нѣтъ.

Снимаю бумагу и нахожу книгу Ренана «St. Paul», но прежде чѣмъ я успѣлъ ее развернуть, изъ нея что-то выпало и покатилось. Начинаю искать, шарить по всѣмъ мѣстамъ: что бы это такое вывалилось? Зову служанку, ищемъ вдвоемъ, втроемъ, все приподнимаемъ, двигаемъ тяжелую мебель и, наконецъ, находимъ... Но что?—Находимъ чистѣйшаго золота двадцати-франковую французскую монету! Не можетъ же быть, чтобы она валялась тутъ изстари: полъ

метутъ, натираютъ и не могли бы ее не замѣтить... Нѣт монета положительно сейчасъ только выпала изъ книги. Ч что это такое? зачѣмъ и кто могъ сдѣлать мнѣ такое пр ношеніе? Ломаю голову, припоминаю, не положилъ ли я самъ, соображаю то и другое и не прихожу ни къ како результату. Опять разыскиваю оберточную бумагу и р сматриваю письмена, возлагая на нихъ послѣднюю надеж узнать: что это за явленіе? Ничего болѣе: «долгъ и за пр центъ ж. в. х...» Характеръ почерка неуловимъ, потому писано на протекучкѣ, и все расплылось... Соображаю, здѣсь *долгъ* и что — *процентъ*, или «за процентъ»: мне долгъ, а книга «за процентъ», или наоборотъ? И потом что̀ значатъ эти «ж. в. х.»? Нѣтъ сомнѣнія, что это первыя буквы какого-либо имени, а совсѣмъ что-то друго Что же это такое? Подбираю, думаю и сочиняю: — все в ходитъ какъ-то странно и некстати: «жму вашу руку», но послѣдняя буква не та; «жгу вашъ хохолъ», тутъ буквы соотвѣтствуютъ словамъ, но для чего же кому-нибу было бы нужно написать мнѣ такую глупость? Или это пр долженіе фразы: посылаю «долгъ и за процентъ» еще во что, напримѣръ: «желтый ватошный халатъ, или женс ватошный халатъ»... Все никуда не годится. Глупый во вильный случай, а интересуетъ! Даже во снѣ соображаю подбираю: «желаю вамъ хорошаго». Вотъ, кажется, пошло на дорогу! Еще лучше: «живу весьма хорошо»; или наконецъ, батюшки мои! батюшки, да это такъ и есть: надлежитъ ли это читать... «жру всегда хорошо»? Рѣш тельно это такъ и не можетъ быть иначе. Но тогда, же это значитъ: неужто здѣсь былъ Шерамуръ? Неужто появился въ Петербургѣ именно теперь, въ это стран время, и проскользнулъ ко мнѣ. Какова отчаянность! И, можетъ-быть, его простили и разрѣшили и онъ ходитъ см по вольному паспорту... Вѣдь, говорятъ, все возможно природѣ.

Я припомнилъ, что дѣвушка мнѣ дня три-четыре наза сказывала о какомъ-то незнакомомъ ей господинѣ, котор приходилъ, спрашивалъ, просилъ позволенія «обождать» ждалъ, но не дождался, ушелъ, сказавши, что опять пр детъ, но до сихъ поръ не приходилъ.

Разспрашивалъ: каковъ былъ приходившій ростомъ, родствомъ, лицомъ — красотою? — ничего не добился. В

примѣты описываютъ точно на русскомъ паспортѣ: къ кому хочешь приложи—всѣмъ одинаково впору будетъ.

Остается одно: книгу поставить на полку, золото спрятать, а незнакомца ждать. Я такъ и сдѣлалъ, и ждалъ его терпѣливо, съ надеждою, что авось онъ и совсѣмъ не придетъ. Такъ минулъ день, два, недѣля и мѣсяцъ, и, наконецъ, когда я совсѣмъ пересталъ ждать, — онъ вдругъ и явился.

Звонокъ; дѣвушка отпираетъ дверь и спѣшно бѣжитъ впередъ гостя шепнуть:

— Это тотъ, который ждалъ.

Легкое волненіе и выхожу навстрѣчу.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Входитъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, совершенно мнѣ незнакомый, и называетъ себя незнакомымъ же именемъ.

Прошу садиться и освѣдомляюсь: чѣмъ могу служить.

— Я, говоритъ,—недавно изъ-за границы; жилъ два мѣсяца въ Парижѣ и часто видѣлся тамъ съ однимъ страннымъ землякомъ, котораго вы знаете. Онъ далъ къ вамъ порученіе,—доставить посылочку. Я ее тутъ у васъ и оставилъ, чтобы не носить, но позабылъ сказать прислугѣ.

— Я, отвѣчаю, — нашелъ какую-то посылочку; но отъ кого это?

Онъ назвалъ Шерамура.

— Какъ же, говорю:—очень его знаю. Ну, что онъ, какъ, гдѣ живетъ и все такъ же ли бѣдствуетъ, какъ бѣдствовалъ?

— Онъ въ Парижѣ, но что касается бѣдствованія, то въ какомъ смыслѣ вы это берете... Если насчетъ жены...

— Какъ, говорю, — жены!.. Какая жена! Я спрашиваю: есть ли у него что ѣсть?

— О, разумѣется,—онъ вовсе не бѣдствуетъ: онъ «пропріетеръ», женатъ, сидитъ grand mangeur'омъ въ жениномъ ресторанѣ, который называетъ «обжорной лавкой», и вообще, говоря его языкомъ, «жретъ всегда хорошо».—впрочемъ, онъ это даже обозначилъ начальными буквами, въ полной увѣренности, что вы поймете.

— Понять-то я понялъ, но что же это... какъ же это могло случиться... Ангелъ... конечно, много значитъ... но все-таки...

Всматриваюсь въ моего собесѣдника, — думая, коего онъ духа,—не вышучиваетъ ли онъ меня, сообщая такія нестаточныя дѣла о Шерамурѣ? Нѣтъ; насколько мнѣ дано наблюдательности и проникновенія, господинъ этотъ производитъ хорошее впечатлѣніе,—повидимому, это экземпляръ изъ новой, еще не вполнѣ обозначившейся, но очень пріятной породы бодрыхъ людей, не страдающихъ нашимъ нервическимъ раздраженіемъ и безпредметною мнительностью,— «человѣкъ будущаго», который умѣетъ смотрѣть впередъ безъ боязни и не таять въ безплодныхъ негодованіяхъ ни на прошлое, ни на настоящее. Люди прошлаго ему представляются больными съ похмелья; онъ на нихъ не сердитъ и даже совсѣмъ ихъ не судитъ, а словно провожаетъ на кладбище, приговаривая: вамъ гнить, а намъ жить.

Я люблю эту породу за то, что въ ней есть нѣчто свѣжее, нѣчто уже не наше, нѣчто намъ несвойственное, но живучее и сильное. Они взросли, какъ осотъ на межахъ между грядъ, и ихъ уже не выполешь. Русь будетъ скоро не такая, какъ мы, а такая—какъ они, и слава Богу, слава Богу!

Понявъ, что мой гость относится къ этому сорту, я сейчасъ же усадилъ его въ болѣе покойное кресло, велѣлъ подать чай и безцеремонно (какъ слѣдуетъ съ такими людьми) попросилъ его разсказать мнѣ все, что̀ ему извѣстно о моемъ Шерамурѣ, — какъ онъ женился и сдѣлался парижскимъ «пропріетеромъ».

Гость любезно согласился удовлетворить мое любопытство.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Шерамуру помогла славянская война въ Турціи. Но какъ онъ могъ вздумать воевать? Не противно ли это всей его натурѣ и всѣмъ доводамъ его бѣднаго разсудка? И противъ кого и за кого онъ мужествовалъ и сражался? Все это было, какъ вся его жизнь,—безтолково.

Вотъ какъ шло дѣло: онъ *начиталъ* въ газетахъ, что турки обижаютъ *бѣдныхъ* славянъ, отнимая у нихъ урожай, стада и все, что надо «жрать». Этого было довольно: долго не разсуждая, онъ возсталъ и пошелъ по образу пѣшаго хожденія въ Черногорію. Онъ попалъ въ «Волдавію» или «Молдахію», гдѣ соединился съ «доброходцами», и явился въ Сербію, образцовые порядки которой дѣлали нелишними

здѣсь даже Шерамура. Онъ поступилъ куда-то, во что-то, о чемъ, по своему обыкновенію, не умѣлъ дать никакого резоннаго отчета. На войнѣ онъ «барабанилъ», чего я даже не могъ ожидать отъ него, но потомъ нашелъ, что въ Сербіи у всѣхъ жратвы больше, чѣмъ онъ видѣлъ во весь свой вѣкъ. «Дажо виномъ прихлебываютъ». Никакихъ иныхъ интересовъ, достойныхъ борьбы на жизнь и смерть, Шерамуръ, разумѣется, не признавалъ, но въ этомъ его нельзя винить, потому что онъ не могъ ихъ чувствовать.

И вотъ онъ духомъ возмутился: за что онъ сражается: если у нихъ есть что жрать, то чего же имъ еще надо? «Черти проклятые!.. съ жиру бѣсятся! къ намъ бы ихъ спровадить, чтобы въ черныхъ избахъ пожили, да мякины пожевали!» Славянскія претензіи Шерамуръ всѣ считалъ пустяками, которые Аксаковъ въ Москвѣ выдумалъ вмѣстѣ съ Кокоревымъ, и Шерамуръ разсердился и «вышелъ», то-есть пересталъ барабанить. Нѣкоторое время онъ слонялся безъ дѣла, но ощущалъ себя въ полномъ довольствѣ: «вездѣ, говоритъ, есть кукуруза и даже виномъ запиваютъ, какъ въ царствѣ небесномъ». Таково его понятіе о царствѣ небесномъ. Но вотъ, переходя туда-сюда, съ плохими и безтолковыми разспросами, онъ былъ, наконецъ, приведенъ своимъ ангеломъ куда ему слѣдовало: напалъ на такихъ людей, которые тоже подобно ему подвывали:

Холодно, странничекъ, холодно,
Голодно, родименькій, голодно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Шерамуръ здѣсь сейчасъ «опредѣлился». Опять какъ и подъ какимъ заглавіемъ? это онъ, по непримиримой враждѣ ко всякой опредѣленности, излагалъ не ясно; но можно было понять, что онъ въ качествѣ человѣка черномордаго и съ «сербскимъ квитомъ» былъ въ числѣ санитаровъ. Кому-то гдѣ-то его отрекомендовалъ какой-то, по его словамъ, «очень добрый и вполнѣ невѣрующій монахъ». Прозорливый инокъ увѣрилъ кого-то, что лучше Шерамура нѣтъ, чтобы «приставить къ пищѣ». И вотъ нашъ чудакъ въ первый разъ во всю жизнь попалъ на мѣсто по своему настоящему призванію. И зато, говорятъ, какъ же онъ дѣйствовалъ: крошкѣ не позволялъ пропасть, все больнымъ тащилъ. Самъ только «хлѣбово» ѣлъ, а свою порцію котлетъ солдатамъ дробилъ,

выбирая, который ему казался «замореннѣй». Начальство, «сестры» — всѣ имъ были довольны, а солдатики цѣны не слагали его «добродѣтели».

— Даже котораго, говорятъ, монахъ на смерть отысповѣдуетъ, онъ и тому, мимо идя, еще кусочекъ котлетки въ ротъ сунетъ, — утѣшаетъ: «жри». Тотъ и помирать останавится, а за нимъ глазомъ поведетъ.

И кончилось все это для Шерамура чѣмъ же? тѣмъ, что онъ самъ не замѣтилъ, какъ, при его спартанствѣ, у него къ концу службы собралась отъ жалованья «пригоршня золота». Сколько его тамъ было, — онъ не считалъ, но повезъ все въ свою метрополію, къ «швейцарцамъ» — чтобы дѣлить. Привезъ къ одному изъ митрополитовъ и «высыпалъ». Стали говорить и поспорили: тотъ «*все*» хотѣлъ взять на «дѣло», но Шерамуръ не далъ. Онъ настаивалъ, чтобы прежде всего «сотворить какую-то вселенскую жратву», т. е. «пожрать и другихъ накормить», и ограничился на этомъ такъ твердо, что «*тотъ* цапнулъ съ краю и ушелъ». Сколько именно онъ у него взялъ — Шерамуръ не зналъ: «цапнулъ съ краю», да и баста. Деньги были не считанныя, да и считать ихъ не зачѣмъ: «все равно не воротить».

Шерамуръ увидалъ, что здѣсь дѣлятъ неладно, и уѣхалъ въ Парижъ. Здѣсь онъ зналъ честную душу, способную войти во всѣ его многопитательные виды и оказать ему самое непосредственное содѣйствіе: драгоцѣнный человѣкъ этотъ была Tante Grillade.

Она приняла Шерамура и его золото совсѣмъ не такъ, какъ «швейцарскіе митрополиты».

Tante Grillade ввела Шерамура въ своей arrière boutique, что составляетъ своего рода «святая святыхъ» еврейской скиніи, и пригласила его всыпать тамъ все золото въ комодъ, запереть и ключъ взять съ собою. Voyou положили пока не собирать. Tante сказала, что знаетъ нѣчто лучшее, — и назначила Шерамуру придти къ ней вечеромъ, когда она будетъ свободна. Они вмѣстѣ должны были обдумать, какъ лучше распорядиться такимъ богатствомъ, которое въ практичныхъ рукахъ нѣчто значило.

Шерамуръ, которому до сихъ поръ никакія комбинаціи никогда не приходили, думалъ просто: оставить деньги у Танты и водить къ ней голодныхъ, пока она подастъ счетъ и скажетъ: tout est fini. Но Tante Grillade была гораздо

дальнозорче и умнѣе Шерамура, а притомъ, на счастье его, она имѣла на него планы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Вечеромъ, когда Шерамуръ пришелъ къ Тантѣ, онъ встрѣченъ былъ необыкновенно: «кормежная» зала, дальше которой и во дни благополучій не заходилъ Шерамуръ, теперь была свободна отъ гостей, подметена и убрана. Въ ней еще было влажно и пахло «картофелемъ и маркофелемъ», но въ углѣ, шипя и потрескивая, горѣла маленькая угольная печечка и очищала воздухъ. Зато чрезъ открытую дверь виднѣлось настоящее чудо декоративнаго устройства. Arrière boutique, которая днемъ казалась отвратительнымъ колодезнымъ днищемъ, куда никогда не проникалъ свѣтъ и гдѣ Tante Grillade едва поворачивалась какъ черепаха въ шайкѣ, теперь представляла очень пріютный уголокъ. Сѣрая стѣна, которая заслоняла весь свѣтъ широкаго, но совершенно безполезнаго окна, теперь была заслонена пышною бѣлою драпировкою съ фестонами, подхваченными розовыми лентами. Вмѣсто слабыхъ, тщедушныхъ рефлексовъ внѣшняго свѣта комната была до изобилія освѣщена и согрѣта огнемъ двухъ лампъ, стоявшихъ по угламъ неизбѣжнаго мраморнаго камина. Вся эта комната была такъ мала, что представляла какой-то клубочекъ, въ которомъ ничто не расходилось, а все сматывалось. На пространствѣ какихъ-нибудь четырехъ квадратныхъ аршинъ тутъ были и двуспальная кровать Tante Grillade, и комодъ, гдѣ теперь хранилось Шерамурово золото, и каминъ съ веселымъ огонькомъ, и круглый столъ, на которомъ прекрасно дымилась чистая вазочка съ бульономъ изъ настоящаго мяса. Кромѣ этого, тутъ же стояли литръ краснаго вина и корзинка съ лакомствомъ «четырехъ нищихъ».

Сама Grillade тоже была въ авантажѣ: сѣдые крендели на ея вискахъ были загнуты какъ-то круче и крѣпче обыкновеннаго и придавали ея опытному лицу внушительность и въ то же время нѣчто пикантное.

Здѣсь у мѣста сказать, что Шерамуръ въ этотъ разъ впервые вкушалъ хлѣбъ и пилъ сокъ винограда tête-à-tête съ женщиной. И онъ не разсуждалъ, но чувствовалъ истину догмата, что для счастія недостаточно достать кусокъ хлѣба, но нужно имѣть съ кѣмъ его пріятно съѣсть.

Затрапезный разговоръ ихъ никѣмъ не записанъ, но онъ былъ очень серьезенъ и шелъ исключительно о деньгахъ. — Tante доказала Шерамуру, что если держать его деньги въ ея комодѣ и кормить на нихъ voyou, то этихъ денегъ хватитъ не надолго; онѣ выйдутъ и voyou опять будетъ не на что кормить.

Шерамуръ согласился и задумался, а Tante Grillade показала выходъ, который состоялъ въ томъ, чтобы пустить деньги въ оборотъ. Тогда эти деньги дадутъ на себя другія деньги, и явится неистощимая возможность всегда жрать и кормить другихъ.

Шерамуръ захлопалъ въ ладоши:

— Voilà, говоритъ, — voilà, это и нужно! Одна бѣда: какъ пустить деньги, кому довѣрить; кто не обманетъ?

Шерамуръ закивалъ головою: ему вспомнились его швейцарскіе митрополиты, и онъ какъ перепелъ забилъ: вуй, вуй, мадамъ, вуй, вуй, вуй.

А потомъ, когда вслѣдъ затѣмъ Tante встала, чтобы подать compote de pommes, Шерамуръ, глядя ей стыдливо въ спину, вымолвилъ:

— Да возьмите вы эти деньги, Танта!

— На какой предметъ, monsieur?

— Да дѣлайте что̀ знаете, наживайте.

Но Танта нашла это невозможнымъ.

— Я наживу и умру, а васъ выгонятъ.

— Гм... Да... подлость... А сколько бы человѣкъ можно постоянно кормить?

— Можно человѣка два кормить раза по два въ недѣлю, или, еще лучше, троихъ каждое воскресенье. И, кромѣ того, разъ въ годъ можно сдѣлать особый пиръ, на которомъ никого не будетъ, кромѣ бездомныхъ voyou.

У Шерамура даже сердце забилось отъ такой мысли, и когда Tante Grillade, вооружась щипчиками, принялась за noisettes, онъ застѣнчиво приступилъ къ ней:

— Ну, такъ ка̀къ же, Tante, — какъ это сдѣлать? — а Tante, надавливая крѣпкій орѣхъ, посмотрѣла на него и дружески отвѣтила:

— Надо жениться.

— Ну, вотъ! Зачѣмъ?

— Затѣмъ, что у васъ тогда все будетъ общее и если жена наживетъ — это принадлежитъ и мужу. Тогда, напри-

мѣръ, будь это я: я отдаю вамъ весь мой ресторанъ, и мы никого сюда больше не пустимъ.

— Да, да, вотъ... это самое: никого, никого не пустимъ!— вскричалъ Шерамуръ и въ сладостномъ изступленіи ума и чувствъ онъ схватилъ Tante за обѣ руки и мялъ ихъ, и водилъ изъ стороны въ сторону, пока та, глядя на него, расхохоталась и напомнила ему, что пора убираться.

На другой день вечеромъ его опять повлекли сюда и мысль о пирѣ нищихъ, и, можетъ-быть, пріютный уголокъ при каминѣ, чего онъ, по своей непрактичности, не зналъ какъ устроить даже съ деньгами.

И вотъ онъ опять явился и говорилъ:

— Можно ли, чтобы опять... здѣсь... по-вчерашнему?

— Ага, я понимаю: ты, плутишка, вѣрно нашелъ себѣ жену и хочешь со мной говорить? Хорошо, хорошо, — садись: вотъ вино и баранина.

— Да; а жены нѣтъ. Вотъ если бы вы... захотѣли...

— Найти тебѣ невѣсту?

— Нѣтъ, если бы... вы... сами...

— Что это? ужъ не хочешь ли ты сдѣлать позднюю поправку къ проступку третьяго Наполеона?

— Именно это!

— Но едва ли *это* будетъ тебѣ по силамъ, мой бѣдный мальчикъ. Вѣдь тебѣ съ чѣмъ-нибудь тридцать, а мнѣ сорокъ восемь.

Видя простоту Шерамура, Tante Grillade рѣшилась на этотъ случай сократить свою хронологію болѣе чѣмъ на пятнадцать лѣтъ, но это было совершенно не нужно. Ни лѣта, ни наружность Танты не имѣли въ глазахъ Шерамура никакого значенія.

— Это ничего.

— А если такъ, то вотъ тебѣ моя рука и дружба до гроба.

Они обнялись, поцѣловались и обвѣнчались, при чемъ Танта безмѣрно возросла въ глазахъ мужа черезъ то, что получила какія-то деньги съ какого-то общества, покровительствующаго бракамъ.

Вечеромъ у нихъ былъ «пиръ нищихъ» — пиръ удивительный. Гости пришли даже изъ Бельвиля, и всѣ одинъ голоднѣе другого и одинъ другого оборваннѣе. Шерамуръ, прѣодѣтый Тантой въ какую-то куртку, былъ между ними

настоящій король, и они съ настоящею деликатностью нищихъ устроили ему королевское мѣсто.

Безъ всякихъ ухищреній съ нимъ совершился святой обычай родной стороны: Шерамуръ былъ княземъ своего брачнаго вечера. Имъ занимались всѣ: жена, гости и полиція, которая могла заподозрить здѣсь нѣкоторое движеніе въ пользу наполеонидовъ.

Особенно возбудителенъ былъ одинъ моментъ, когда подали biegnots aux pommons и три человѣка, подученные Tante Grillade, вынули изъ-подъ стола незамѣтно туда спрятанную корзинку; въ корзинкѣ оказался большой, немного увядшій вѣнокъ, дешево купленный Тантою у какого-то капельдинера. Въ вѣнкѣ были стоптаны нѣсколько цвѣтковъ, но зато его освѣжили яркимъ пучкомъ румяныхъ вишенъ и перевязали длиннымъ пунсовымъ вуалемъ съ надписью: «Bon oncle Grillade».

Вѣнокъ возложили на голову Шерамура и этимъ актомъ навсегда лишили его клички, данной ему англичанкою: съ сей поры онъ сдѣлался «теткинъ мужъ», и очень много утрачивалъ въ своей непосредственности. Но онъ объ этомъ не думалъ. Къ тому же, историческая точность обязываетъ сказать, что добрый «oncle Grillade» въ настоящую торжественнѣйшую минуту его жизни былъ пьянъ, и это не его вина, а вина доброй Танты, которая всѣми мѣрами позаботилась облегчить всѣ предстоящія ему задачи.

И, къ чести ея, она съ первыхъ же шаговъ показала, что знаетъ и тактику, и практику. Когда sergent de ville постучалъ въ дверь, чтобы честная компанія разошлась, и довольные необыкновеннымъ угощеніемъ voyoux разсыпались, а jeunes mariés остались одни, Tante Grillade, ни слова не говоря, взяла своего маленькаго мужа на руки, повѣсила его вѣнокъ надъ кроватью, а самого его раздѣла, умыла губкою и положила къ стѣнкѣ. Шерамуръ все выдержалъ съ стоицизмомъ своего званія и потребовалъ только одно, чтобы ему дали оставшійся въ вѣнкѣ пучокъ вишенъ. И когда Tante его удовлетворила, онъ ихъ немедленно «сожралъ» и покорился своей долѣ.

Но не была ли эта доля слишкомъ сурова? Вотъ небольшія свѣдѣнія, которыя позволяютъ кое-что умозаключать объ этомъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Tante не злоупотребляла своими преимуществами: она была великодушна, какъ настоящая дочь бульвара. Единственное, что отравляло покой Шерамура, — опять-таки губка, — это страшное орудіе, которымъ повсюду ему угрожали женскія руки. Но зато онъ изъ этого научился извлекать нѣкоторыя выгоды въ пользу бѣдныхъ. Если ему встрѣчалась надобность помочь ближнему, не въ счетъ абонемента, и Танта этому противилась, — онъ «не давался умывать» и всегда успѣвалъ настоять на своемъ.

Повѣствователь видѣлъ его въ такой борьбѣ и уловилъ кое-что изъ ея сути. Онъ говорилъ, какъ они многіе сообща хотѣли кому-то помочь, и какъ къ этому стремился дядя Грилядъ, но ничего не принесъ и самъ пропалъ. А потомъ, когда разсказчикъ зашелъ къ нему вечеромъ, чтобы увести его на прощальную пирушку, онъ засталъ дядю въ стиркѣ: Танта только-что вытерла ему лицо губкою и обтирала его полотенцемъ.

Здороваясь съ гостемъ, онъ сейчасъ же сунулъ ему въ руку золотой и сказалъ:

— Передайте, я только сейчасъ у нея выпросилъ.

— Но я за вами, чтобы вмѣстѣ попировать.

— Это теперь невозможно.

— Отчего?

— Я занятъ,—видите: меня уже губкой вытерли.

— Тѣмъ лучше идти въ гости.

— Нѣтъ,—какъ же въ гости,—я говорю вамъ, что я занятъ. Надо же честно нести свой сакрифисъ.

И онъ остался въ пользу бѣдныхъ при своей Омфалѣ.

Сообщилъ я объ этомъ толстой нянѣ въ «панье» и со шиномъ. Хлопнула себя она обѣими руками по крутымъ бедрамъ и расхохоталась.

— Видишь, говоритъ,—какое ему вышло опредѣленіе.

— А какъ полагаете: счастливъ онъ этимъ или нѣтъ?

— А отчего же не быть счастливымъ: какъ она женщина степенная и въ виду, такъ и очень, можетъ-быть, счастливъ.

И впрямь, — все же это лучше, чѣмъ было ему во всю его прошлую жизнь.

Я боюсь, что мой Шерамуръ вамъ не совсѣмъ понятенъ,

читатель, но это не моя вина; я его записалъ вѣрно. Ли
я, по долгому навыку съ нимъ обращаться, все въ н
нахожу простымъ и понятнымъ. Это видовая, а не родо
особенность: онъ сынъ своего родителя и мнѣ въ н
видны крупныя родственныя черты, сближающія его д
съ обращавшею его въ христіанство графинею. Это не
вая новинка, а только остатки давняго худосочія. Ше
муръ такой же «мизантропъ, развлекающій свою фантази
какъ его родитель и графиня; только онъ, разумѣется,
безъ сравненія сердечнѣе; но это взято имъ не отъ ни
а принесено оттуда, откуда духъ дышитъ — приходит
уходитъ, но никто его не узнаетъ. Шерамуръ человѣкъ
на что не нужный, точно такъ же, какъ и тѣ, и онъ бл
получно догніетъ въ одно съ ними время. Вся разн
будетъ въ томъ, что о первыхъ скажутъ: «они скончали
а о Шерамурѣ, что онъ—«околѣлъ». Но, можетъ-быть,
не такъ серьезно, какъ нѣкоторые полагаютъ или, по кр
ней мѣрѣ, не составляетъ самаго рѣшительнаго для вѣч
сти съ ея безконечнымъ путемъ.

Пьеса кончена и читатель можетъ меня теперь спрос
зачѣмъ она попала въ одну книгу съ разсказами о тр
праведникахъ, съ которыми у Шерамура, повидимому, н
ничего общаго въ природѣ?

Такой вопросъ очень возможенъ, и я, предвидя его, сп
дать мой отвѣтъ. Шерамуръ поставленъ здѣсь по дв
причинамъ: во-первыхъ, я опасался, что безъ него въ
книжкѣ не выйдетъ опредѣленнаго числа листовъ, а во-
рыхъ, если самъ Шерамуръ не годится къ праведн
даже въ качествѣ *юродиваго*, то тутъ есть русская н
толстая баба съ шиномъ, судъ которой, по моему мнѣ
можетъ служить выраженіемъ праведности всего нас
умнаго и добраго народа

Оглавленіе

V ТОМА.

стр.
Очарованный странникъ. 3
Шерамуръ. 136

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Типографія А. Ф. Мариса, Измайл. пр., № 29.

ОБОЙДЕННЫЕ.

РОМАНЪ ВЪ 3-ХЪ ЧАСТЯХЪ.

Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Крючокъ падаетъ въ воду.

Этотъ русскій романъ начался въ Парижѣ и, вдобавокъ, въ самомъ приличномъ, самомъ историческомъ зданіи Парижа — въ Луврѣ. Въ двѣнадцать часовъ яснаго зимняго дня, картинныя галлереи Лувра были залиты сплошною и очень пестрою толпою добраго французскаго народа. Зала мурилевской Мадонны была непроходима; на зеленыхъ бархатныхъ диванахъ круглой залы тоже не было ни одного свободнаго мѣста. Только въ первой залѣ, гдѣ слабые нервы поражаются ужасной картиной потопа, и другою, не менѣе ужасной картиной предательскаго убійства — было просторнѣе. Здѣсь, передъ картиной, изображающей юношу и аскета, погребающихъ въ пустынѣ молодую красавицу, тихо прижавшись къ стѣнѣ, стоялъ господинъ лѣтъ тридцати, съ очень кроткимъ, немного грустнымъ и очень выразительнымъ, даже, можно сказать, съ очень красивымъ лицомъ. Закинутые назадъ волнистые каштановые волосы этого господина придавали его лицу что-то такое, по чему у насъ въ Россіи отличаютъ художниковъ. Съ перваго взгляда было очень трудно опредѣлить національность этого человѣка, но, во всякомъ случаѣ, лицо его не рисовалось тонкими чертами романской расы и скорѣе всего могло напомнить собою одушевленные типы славянскаго юга.

Въ трехъ шагахъ отъ этого незнакомца, прислонясь

слегка плечикомъ къ высокому табурету, на ко
молча работала копировщица, такъ же тихо и зад
стояла молодая, восхитительной красоты дѣвушка, съ
тисто-красными волосами, разсыпавшимися около сам
лой головки. Эта стройная дѣвушка скорѣе напо
собою заблудившуюся къ людямъ ундину или никсу,
живую женщину, способную считать франки и са
или вести домашнюю свару. Нарядъ этой дѣвушки
простъ до послѣдней степени; видно было, что онъ
не занималъ ее больше, чѣмъ нарядъ долженъ за
человѣка: онъ былъ очень опрятенъ и надъ нимъ
было разсмѣяться.

— Насмотрѣлась? — произнесъ по-русски тихій ж
голосъ сзади никсы.

Молодая дѣвушка не шевельнулась и не отвѣтила ни

— Я уже два раза обошла всѣ залы, а ты все с
пойдемъ, Дора!—позвалъ черезъ нѣсколько секундъ т
голосъ.

Этотъ голосъ принадлежалъ молодой женщинѣ, тож
красной, но составляющей рѣзкій контрастъ съ возд
Дорой. Это была женщина земная: высокая, стройн
роскошными круглыми формами, съ большими че
глазами, умно и страстно смотрящими сквозь густы
ницы, и до синевы черными волосами, изящно от
щими высокій мраморный лобъ и блѣдное лицо, к
могло много разсказать о борьбѣ воли съ страст
страданіями.

Дѣвушка привстала съ приножка высокаго табуре
дожницы, поблагодарила ее за позволеніе посидѣть и ск

— Да, я опять расфантазировалась.

— И что тебѣ такъ нравится въ этой картинѣ? —
сила брюнетка.

— Вотъ поди же! Мнѣ, знаешь, съ нѣкотораго вр
кажется, что эта картина имѣетъ не одинъ прямой с
старость и молодость хоронятъ свои любимыя ра
Смотри, какъ грустна и тяжела безрадостная старос
въ безрадостной молодости есть что-то ужасное, ч
проклятое просто. Всмотрись, пожалуйста, Аня, въ э
дающую голову.

— Ты вездѣ увидишь то, чего нѣтъ и чего ни
видитъ,—отвѣчала брюнетка, съ самой доброй улыбк

— Да, *чего никто не хочетъ видѣть*, это можетъ быть, но не то, чего вовсе нѣтъ. Хочешь, я спрошу вотъ этого шута, что̀ его занимаетъ въ этой картинѣ? Онъ тутъ еще прежде меня прилипъ.

Та, которая называлась Анею, покачала съ упрекомъ головою и произнесла:

— Тсс!

— Сдѣлай милость, успокойся, не забывай, что онъ ничего этого не понимаетъ.

Дамы вышли налѣво; молчаливый господинъ посмотрѣлъ имъ вслѣдъ, весело улыбнулся и тоже вышелъ. Они еще разъ встрѣтились внизу, получая свои зонтики, взглянули другъ на друга и разошлись.

Черезъ двѣ недѣли послѣ этой встрѣчи, извѣстный намъ человѣкъ стоялъ, съ маленькой карточкой въ рукахъ, у дверей омнибуснаго бюро, близъ св. Магдалины. На дворѣ былъ дождь и рѣзкій зимній вѣтеръ—самая непріятная погода въ Парижѣ. Изъ-за угла Магдалины показался высокій желтый омнибусъ, на имперіалѣ котораго не было ни одного свободнаго мѣста.

— Начинается нумеръ седьмой! — крикнулъ кондукторъ.

Нашъ луврскій знакомый подалъ свою карточку, вспрыгнулъ въ карету, и полный экипажъ тронулся снова, оставивъ всѣ дальнѣйшіе нумера дрогнуть на тротуарѣ, или грѣться около раскаленныхъ желѣзныхъ печекъ безпріютнаго бюро.

Въ каретѣ, vis-à-vis противъ новаго пассажира, сидѣли двѣ дамы, изъ которыхъ одна была закрыта густымъ чернымъ вуалемъ, а въ другой онъ тотчасъ же узналъ луврскую ундину; только она теперь казалась раздраженной и даже сердитой. Она сдвигала бровями, кусала свои губки и упорно смотрѣла въ заднее окно, гдѣ на сѣромъ дождевомъ фонѣ мелькала козлиная фигурка кондуктора въ синемъ кэпи и безобразныхъ вязаныхъ нарукавникахъ, изобрѣтеніе которыхъ, къ стыду великой германской націи, приписывается добродѣтельнымъ нѣмкамъ. Дама, закрытая вуалемъ, плакала. Хотя густой вуаль и не позволялъ видѣть ни ея глазъ, ни ея лица, а сама она старалась скрыть свои слезы, но ихъ предательски выдавало судорожное вздрагиванье неповиновавшихся ея волѣ плечъ. При каждомъ такомъ, впрочемъ, едва примѣтномъ движеніи, Дора

еще пуще сдвигала брови и сердитѣе смотрѣла на стоящую въ воздухѣ мокрядь.

— Это, наконецъ, глупо, сестра! — сказала она, не вытерпѣвъ, когда дама, закрытая вуалемъ, не удержалась и неосторожно всхлипнула.

Та молча пронесла подъ вуаль мокрый отъ слезъ платокъ и, видимо, хотѣла заставить себя успокоиться.

— Неужто и послѣ этихъ неслыханныхъ оскорбленій, въ тебѣ еще живетъ какая-нибудь глупая любовь къ этому негодяю!—сердито проговорила Дора.

— Оставь, пожалуйста, — тихо отвѣчала дама въ вуалѣ.

— Нѣтъ, тебя надо ругать: ты только тогда и образумливаешься, когда тебя хорошенько выбранишь.

— Извините, пожалуйста, — отнесся къ ундинѣ пассажиръ, сѣвшій у Магдалины: — я считаю нужнымъ сказать, что я знаю по-русски.

Дама, закрытая вуалемъ, сдѣлала едва замѣтное движеніе головою, а Дора сначала вспыхнула до самыхъ ушей, но черезъ минуту улыбнулась и, отворотясь, стала глядѣть изъ-за плеча сестры на улицу. По легкому, едва замѣтному движенію щеки можно было догадаться, что она смѣется.

Совершенно опустѣвшій омнибусъ остановился у Одеона. Пассажиръ отъ св. Магдалины посмотрѣлъ вслѣдъ Дорѣ съ ея сестрою. Онѣ вышли въ ворота Люксембургскаго сада. Пассажиръ всталъ послѣдній и, выходя, поднялъ распечатанное письмо съ московскимъ почтовымъ штемпелемъ. Письмо было адресовано въ Парижъ, госпожѣ Прохоровой, poste restante. Онъ взялъ это письмо и бѣгомъ бросился по прямой аллеѣ Люксембургскаго сада.

— Не обронили ли вы чего-нибудь?—спросилъ онъ, догнавъ Дору и ея сестру.

Послѣдняя быстро опустила руку въ карманъ и сказала:

— Боже мой! что я сдѣлала? Я потеряла письмо и мой вексель.

— Вотъ ваше письмо, и посмотрите, можетъ-быть, здѣсь же и вашъ вексель, — отвѣчалъ господинъ, подавая поднятый конвертъ.

Вексель, дѣйствительно, оказался въ конвертѣ, и господинъ, доставившій дамамъ эту находку, уже хотѣлъ спокойно откланяться, какъ та, которая напоминала собою ундину или никсу, застѣнчиво спросила его:

— Скажите пожалуйста, вы русскій?

— Я русскій-съ,—отвѣчалъ незнакомецъ.

— Скажите, пожалуйста, какая досада!

— Что я русскій?

— Именно. Я этого никакъ не ожидала, и вы меня, пожалуйста, простите, — проговорила она серьезно и протянула ручку.—Сама судьба хотѣла, чтобъ я просила у васъ извиненія за мою вѣтреность, и я его прошу у васъ.

— Извините, я не знаю, чѣмъ вы меня оскорбили.

— Недѣли двѣ назадъ, въ Луврѣ... Помните теперь?

— Назвали меня что-то шутомъ, или дуракомъ, кажется?

— Да, что-то въ этомъ вкусѣ,—отвѣчала, краснѣя, смѣясь и трясь его руку, ундина.—Позволяю вамъ за это десять разъ назвать меня дурой и шутихой. Меня зовутъ Дарья Михайловна Прохорова, а это — моя старшая сестра Анна Михайловна, тоже Прохорова: обѣ принадлежимъ къ одному гербу и роду.

— Мое имя Несторъ Долинскій, — отвѣчалъ незнакомый господинъ, кланяясь и приподнимая шляпу.

— А какъ васъ по батюшкѣ?

— Несторъ Игнатьевичъ,—пояснилъ Долинскій.

— Отлично! вы, Несторъ Игнатьевичъ, веселитесь или скучаете?

— Скорѣе скучаю.

— Безподобно! мы живемъ два шага отъ сада, вотъ сейчасъ нумеръ десятый, и у насъ есть свой самоваръ. Пожалуйста, докажите, что вы не сердитесь и приходите къ намъ пить чай.

— Очень радъ,—отвѣчалъ Долинскій.

— Пожалуйста, приходите, — упрашивала дѣвушка. — Кромѣ гадкихъ французовъ, ровно никого не увидишь — просто несносно.

— Пожалуйста, заходите,—попросила для порядка Анна Михайловна.

— Непремѣнно зайду,—отвѣчалъ Долинскій и повернулъ назадъ къ Латинскому кварталу.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Небольшая исторія, случившаяся до начала этого романа.

У каждаго изъ трехъ лицъ, съ которыми мы встрѣчаемся на первыхъ страницахъ этого романа, есть своя небольшая

исторія, которую читателю не мѣшаетъ знать. Начнемъ с
исторіи нашихъ двухъ дамъ.

Анна Михайловна и Дорушка, какъ мы уже знаемъ из
собственныхъ словъ послѣдней, принадлежали къ одному
гербу: первая была дочерью кучера княгини Сурской, а
вторая, родившаяся пять лѣтъ спустя послѣ смерти отца
своей сестры, могла считать себя безошибочно только ди-
темъ своей матери. Княгиня Ирина Васильевна Сурская, о
которой необходимо вспоминать, разсказывая эту исторію
была барыня стараго покроя. Доводилась она какъ-то с
родни князю Потемкину-Таврическому; куртизанила въ сво
время на стоящихъ выше всякаго описанія его вельможе
скихъ пирахъ; имѣла какой-то романъ, изъ рода романовъ
отличавшихъ тогдашнюю распудренную эпоху сѣверно
Пальмиры, и, наконецъ, вышла замужъ за князя Аггея Лу
кича Сурскаго, человѣка стараго, не безобразнаго, но страш
наго съ виду и еще болѣе страшнаго по характеру. Д
своей женитьбы на княжнѣ Иринѣ Васильевнѣ, князь Сур
скій былъ вдовъ, имѣлъ двѣнадцатилѣтнюю дочь отъ пер
ваго брака, и самому ему было уже лѣтъ подъ шестьде
сятъ, когда онъ рѣшился осчастливить своею рукою двад
цатитрехлѣтнюю Ирину Васильевну и посватался за не
черезъ свѣтлѣйшаго покорителя Тавриды. Впрочемъ, княз
Сурскій былъ еще свѣжъ и бодръ; какъ истый аристократ
онъ не позволялъ себѣ дряхлѣть и разрушаться раньш
времени, назначеннаго для его окончательной сломки; каф
таны его всегда были ловко подхвачены, волосы выкра
шены, лицо реставрировано всѣми извѣстными въ то врем
косметическими средствами. Но, разумѣется, не этотъ до
статокъ силъ и жизни продиктовалъ крѣпкому старик
мысль жениться на двадцатитрехлѣтней княжнѣ Ирин
Васильевнѣ. Княжна не обѣщала много интереса для е
чувствительной любознательности, и князь вовсе не желал
быть Раулемъ-Синей-бородой. Дѣло было гораздо проще
Князь былъ богатъ, знатенъ и честолюбивъ; ему хотѣлос
во что бы то ни стало породниться съ Таврическимъ, и
княжна Ирина Васильевна была избрана средствомъ дл
достиженія этой цѣли. Совершилась пышная свадьба, к
которой Ирину Васильевну, какъ просвѣщенную дѣвицу
не нужно было нимало склонять, ни приневоливать; стал
княжна Ирина Васильевна называться княгинею Сурскою

а князь Сурскій немножко еще выше приподнялъ свое бѣломраморное чело и отращивалъ розовые ногти на своихъ длинныхъ тонкихъ пальцахъ. Но вдругъ коловратное время перемѣнило козырь и такъ перетасовало колоду, что князь Сурскій, несмотря на родство съ Таврическимъ, былъ несказанно радъ, попавъ при этой перетасовкѣ не далѣе своей степной деревни въ одной изъ низовыхъ губерній. Здѣсь, въ сторонѣ отъ всякаго шума, вдали отъ далекаго, упоительнаго свѣта, очутилась княгиня Ирина Васильевна съ перспективой здѣсь же протянуть долгіе-долгіе годы. А въ двадцать четыре года жизнь такъ хороша, и жить такъ хочется, даже и за старымъ мужемъ... можетъ-быть, даже особенно за старымъ мужемъ...

Князь Сурскій въ деревнѣ явился совершенно другимъ человѣкомъ, чѣмъ былъ въ столицѣ. Его мягкія, великосвѣтскія манеры, отличавшія вельможъ екатерининскаго времени, въ степномъ селѣ уступили мѣсто неудержимой рѣзкости и порывистости. Широкіе и смѣлые замыслы и планы князя рухнули; рамки его сузились до мелкой придирчивости, до тираніи, отъ которой въ домѣ страдали всѣ, начиная отъ маленькаго поваренка на кухнѣ до самой молодой княгини, въ ея образной и опочивальнѣ. Князь мстилъ за свое униженіе людямъ, которые при тогдашнихъ обстоятельствахъ не могли ничего поставить въ свою защиту. Молодая княгиня не находилась, какъ ей вести себя въ ея печальномъ положеніи и какой методы держаться съ своимъ грознымъ и неприступнымъ мужемъ.

Черезъ полгода послѣ переѣзда ихъ въ деревню, княгиня Ирина Васильевна родила сына, котораго назвали, въ честь дѣда, Лукою. Рожденіе этого ребенка имѣло весьма благотворное, но самое непродолжительное вліяніе на крутой нравъ князя. На первыхъ порахъ онъ велѣлъ выкатить крестьянамъ нѣсколько бочекъ пѣннаго вина, пожаловалъ по рублю всѣмъ дворовымъ, барски одарилъ бѣдный сельскій причтъ за его услышанныя молитвы, а на колокольнѣ велѣлъ держать трехдневный звонъ. Робкій, запуганный и задавленный нуждою священникъ не смѣлъ ослушаться княжаго приказа, и съ приходской колокольни три дня сряду торжественнѣйшимъ звономъ возвѣщалось міру рожденіе юнаго княжича. Но не прошло со дня этого великаго событія какой-нибудь одной недѣли, какъ старикъ началъ

опять раздражаться. Въ цѣлой губерніи онъ не находилъ человѣка, достойнаго быть воспріемникомъ его новорожденнаго сына, и, наконецъ, рѣшилъ крестить *самъ!* При всемъ своемъ смиреніи передъ грознымъ вельможей, сельскій священникъ отказался исполнить эту княжескую прихоть. Князь бѣсновался-бѣсновался, наконецъ одинъ разъ, грозный и мрачный какъ градовая туча, вышелъ изъ дома, взялъ за воротъ зипуна перваго попавшагося ему навстрѣчу мужика, молча привелъ его въ домъ, молча же поставилъ его къ купели рядомъ съ своей старшей дочерью и велѣлъ священнику крестить ребенка. Трепещущій священникъ совершилъ обрядъ.

— А теперь, любезный кумъ,—сказалъ князь, тотчасъ же послѣ крещенія:—вотъ тебѣ за твой трудъ по моей кумовской и княжеской милости тысяча рублей, завтра ты получишь отпускную, а послѣзавтра чтобъ тебя, пріятеля, и помину здѣсь не было, чтобъ духу твоего здѣсь не пахло!

Оторопѣвшій мужикъ повалился князю въ ноги.

— Но помни, куманёкъ, что если ты станешь жить такъ, что хоть какой-нибудь слухъ о тебѣ до меня дойдетъ, такъ я тебя, каналью... за ребро повѣшу!

Князь заскрипѣлъ зубами и сильно закачалъ за воротъ своего кума.

Мужикъ опять упалъ ему въ ноги, закричалъ:

— Милуйте, жалуйте! милуйте, ваше сіятельство!

Приказаніе княжеское было исполнено въ точности. Семья печальнаго воспріемника новорожденнаго княжича, потихоньку голося и горестно причитывая, черезъ день, оплаканная родственниками и свойственниками, выѣхала изъ родного села на доморощенныхъ, косматыхъ лошаденкахъ и, гонимая страшнымъ призракомъ грознаго князя, потянулась отъ родныхъ степей заволжскихъ далеко-далеко къ цвѣтущей заднѣпровской Украйнѣ, къ этой обѣтованной землѣ великорусскаго крѣпостного, убѣгавшаго отъ своей горе-горькой жизни.

Потѣшивъ свой обычай, князь сдѣлался еще свирѣпѣе. Дня не проходило, чтобъ удары палками, розгами, охотничьими арапниками или кучерскими кнутьями не отсчитывались кому-нибудь сотнями, и случалось зачастую, что самъ князь, собственной особой, присутствовалъ при испол-

пеніи этихъ жестокихъ истязаній и равнодушно чистилъ во время ихъ свои розовые ногти. Народъ трепеталъ и безмолвно-могильными тѣнями скользилъ около княжескихъ хоромъ. Съ годами жестокость князя все усиливалась. Въ имѣніи князя случилось, что одинъ вѣшался, другой—рѣзался, третій бросался съ высокой плотины въ мутную, вонючую воду тинистаго, мелкаго пруда. Имѣніе князя стало мѣстомъ всяческихъ ужасовъ; въ народѣ говорили, что всѣ эти утопленники и удавленники встаютъ по ночамъ и бродятъ по княжьимъ палатамъ, стоная о своихъ душахъ, погибающихъ въ вѣчномъ огнѣ, уготованномъ самоубійцамъ. Золотая арфа, устроенная вверху большой башни княжескаго дома, при малѣйшемъ вѣтеркѣ, наводила цѣпенящій ужасъ повсюду, куда достигали ея прихотливые звуки. Люди слышали въ этихъ причудливыхъ звукахъ стоны покойниковъ, падали на колѣна, трясясь всѣмъ тѣломъ, молились за души умершихъ, молились за свои души, если Богъ не ниспошлетъ желѣзнаго терпѣнья тѣлу, и ждали своей послѣдней минуты. Князь не измѣнялся. Онъ жилъ одинъ, какъ владыка Морвены, никого не принималъ и продолжалъ свирѣпствовать. Княгиня совершенно потерялась. Она ничего не умѣла предпринять: старалась только какъ можно рѣже оставлять свою комнату, начала много молиться и вся отдалась сыну.

Какая-то простодушная Коробочка того времени, наслушавшись столь много лестнаго объ умѣньи князя управляться съ людишками, приползла къ нему на подводишкѣ просить вступиться за нее, вдову беззащитную, поучить и ея людишекъ дисциплинѣ и уму-разуму.

— Ѳедька Лапотокъ кучеромъ со мной пріѣхалъ,—жаловалась Коробочка:—прикажи, государь-князь, хоть его поучить для острастки! Пусть пріѣдетъ и разскажетъ, какой страхъ дается глупому народу,—молилась добравшаяся предъ княжьи очи помѣщица.

Вмѣсто того, чтобы оскорбиться, что его считаютъ образцовымъ сѣкуномъ, одичавшій князь выслушалъ Коробочку, только слегка шевеля бровями, и велѣлъ ей ѣхать съ своимъ Ѳедькою Лапоткомъ къ конюшнѣ. Больно высѣкли Лапотка, подняли оттрезвоненнаго и посадили въ уголокъ у двери.

— А ну-ка ее теперь,—спокойно буркнулъ князь, и прежде

чѣмъ Коробочка успѣла что-нибудь понять и сообразить, ее разложили и пошли отзванивать въ глазахъ князя и всего его холопства.

Знали Коробочкины людишки, что страшенъ, для всѣхъ страшенъ домъ княжескій! Дерзость и своевластіе князя забыли всякій предѣлъ. Князь разгнѣвался на вывезенную имъ изъ Парижа гувернантку своей дочери и въ припадкѣ бѣшенства бросилъ въ нее за столомъ тарелкой. Француженка вскипѣла:

— Я не крестьянка ваша; вы не смѣете...—сказала ему она.

Князь, давно отвыкшій отъ всякаго возраженія, побагровѣлъ:

— Не смѣю! я не смѣю!..—проговорилъ онъ, свистнулъ своихъ челядинцевъ и, безъ всякаго стѣсненія, велѣлъ несчастную дѣвушку высѣчь.

Гувернантка схватила со стола ножъ и подняла его къ своему горлу; вѣрные слуги схватили ее сзади за руки. Сопротивляться приказаніямъ князя никто не смѣлъ, да никто и не думалъ.

Упавшую въ обморокъ гувернантку вырвали изъ рукъ молодой княжны, высѣкли ее въ присутствіи самого князя, а потомъ спеленали, какъ ребенка, въ простыню и отнесли въ ея комнату. Здѣсь держали ее спеленатою, пока зажили рубцы отъ розогъ и, какъ ребенка же, кормили рожкомъ и соской, а, наконецъ, когда слѣдовъ наказанія не было болѣе замѣтно, ее, со всѣми ея пожитками, отвезли на крестьянской подводѣ въ ближайшій городъ. Француженка обратилась къ кому-то съ жалобой, но ей посовѣтовали прекратить дѣло, такъ какъ въ данномъ случаѣ свои люди не могли быть свидѣтелями противъ князя. Могучій Орсалъ не повелъ ни усомъ, ни ухомъ: равнодушный, какъ вольтеріанецъ, къ суду Божескому, онъ знать не хотѣлъ ни о какомъ судѣ человѣческомъ. По примѣру наказанной француженки, онъ вздумалъ высѣчь своего управителя, какого-то американскаго янки, и это было причиною собственной погибели князя. Янки не дался. Ко всеобщему ужасу, онъ смѣло открылъ окно своего флигеля, окруженнаго княжескими людьми, краснорѣчиво выставилъ передъ собою два заряженныхъ пистолета, пробѣжалъ никѣмъ не тронутый черезъ оторопѣвшую толпу ликторовъ и, вскочивъ

на стоявшую у коновязи осѣдланную лошадь земскаго, понесся на ней во всю мочь къ городу. Посланная погоня, угрожаемая убѣдительными поворотами пистолетовъ бѣглеца, рѣшилась оставить опасную погоню и вернулась съ пустыми руками.

Князь задыхался отъ ярости. Передъ крыльцомъ и на конюшнѣ наказывали гонцовъ и другихъ людей, виновныхъ въ упускѣ изъ рукъ дерзкаго янки, а князь, какъ дикій звѣрь, съ пѣною у рта и красными глазами, метался по своему кабинету. Онъ рвалъ на себѣ волосы, швырялъ и ломалъ вещи, ругался страшными словами.

Стоны, доносившіеся черезъ окно до его слуха, только разжигали его бѣшенство.

Среди такого ужаса, княгиня не выдержала и вошла къ мужу.

— Князь!—позвала она тихо, остановившись у порога.

Возлѣ княгини, тутъ же на порогѣ, стоялъ отворившій ей дверь, весь блѣдный отъ страха, любимый доѣзжачій князя, восемнадцатилѣтній мальчикъ Михайлушка, котораго мѣстная хроника шопотомъ называла хотя незаконнымъ, но, тѣмъ не менѣе, несомнѣнно роднымъ сыномъ князя.

— А! что! Кто васъ звалъ? Кто васъ пустилъ сюда?—закричалъ, трясясь и топая, старикъ.

— Я *сама* пришла, князь; я ваша жена, кто же меня смѣетъ не пустить къ вамъ?

— Вонъ! сейчасъ вонъ отсюда!—бѣшено заоралъ безумный князь и забарабанилъ кулаками.

— Князь! вы опомнитесь—Сибирь...

Княгиня не успѣла договорить своей тихой рѣчи, какъ тяжелая малахитовая щетка взвилась со стола, у котораго стоялъ князь, и молодой Михайлушка, зорко слѣдившій за движеніями своего грознаго владыки, тяжело грохнулся къ ногамъ княгини, защитивъ ее собственнымъ тѣломъ отъ направленнаго въ ея голову смертельнаго удара.

Князь закачался на ногахъ и повалился на полъ. Бѣшенымъ звѣремъ покатился онъ по мягкому ковру; изъ его опѣненныхъ и посинѣвшихъ губъ вылетало какое-то звѣрское рычаніе; всѣ мускулы на его багровомъ лицѣ тряслись и подергивались; красные глаза выступали изъ своихъ орбитъ, а зубы судорожно схватывали и теребили ковровую покромку. Все, что отличаетъ человѣка отъ кровожаднаго

звѣря, было чуждо въ эту минуту бѣснующемуся князю, самая слюна его, вѣроятно, имѣла всѣ ядовитыя свойства слюны разъяреннаго до бѣшенства звѣря.

Княгиня спросила черезъ порогъ воды и подошла со стаканомъ къ мужу.

«Рррбуу», рычалъ князь, закусивъ коверъ и глядя на жену столбенѣющими глазами; лицо его изъ багроваго цвѣта стало переходить въ синій, потомъ блѣдно-синій; пѣнистая слюна остановилась и рычаніе стихло. Смертельный апоплексическій ударъ разомъ положилъ конецъ ударамъ арапниковъ, свиставшихъ по приказанію скоропостижно-умершаго князя.

Бѣжавшій княжескій управитель умѣлъ заставить проснуться тяжелыя на подъемъ губернскія власти; но судъ Божескій освободилъ судъ людской отъ обязанности карать преступленіе опальнаго вельможи. Спѣшно-прибывшая изъ города комиссія застала князя на столѣ и откушала на его погребеніи.

Ни въ чемъ не повинная княгиня Ирина Васильевна осталась въ имѣніи, которое должны были наслѣдовать ея сынъ и падчерица. Она не вмѣшивалась въ управленіе приставленнаго опекуна, цѣлый рядъ лѣтъ никуда не выѣзжала, молилась, старѣлась, начинала чудить и годъ отъ года все становилась страннѣе и страннѣе. Михайлушку, котораго молодая, хотя и весьма нѣжная натура вынесла жестокій ударъ, назначавшійся княгинѣ, она считала своимъ спасителемъ и пристрастилась къ нему всею душою. Михайлушка на всю жизнь остался немножко глухимъ, и эта глухота постоянно не позволяла княгинѣ забывать объ оказанной ей этимъ человѣкомъ услугѣ. Михайлушка сдѣлался избраннѣйшимъ любимцемъ и factotum старѣющейся въ одиночествѣ княгини. Единственнымъ ея развлеченіемъ, зимою и лѣтомъ, было катанье по гладкой и ровной степи, но, ко множеству развивающихся въ ней странностей, она питала необоримую боязнь къ лошадямъ, и могла ѣздить только съ Михайлушкой. Поэтому, Михайлушка главнымъ образомъ состоялъ выѣзднымъ кучеромъ при ея особѣ. Съ нимъ княгиня ѣздила спокойно, съ нимъ она отправляла на своихъ лошадяхъ въ Москву въ гимназію подросшаго князя Луку Аггеича, съ нимъ, наконецъ, отправила въ Петербургъ къ мужниной сестрѣ подросшую падчерицу, и вообще была

твердо увѣрена, что гдѣ только есть ея Михайлинька, оттуда далеки всѣ опасности и невзгоды. Грязные языки, развязавшіеся послѣ смерти страшнаго князя и не знавшіе исторіи малахитовой щетки, сочиняли насчетъ привязанности княгини къ Михайлушкѣ разныя небывалыя вещи и не хотѣли просто понять ея слѣпой привязанности къ этому человѣку, спасшему нѣкогда ея жизнь и нынѣ платившему ей за ея довѣріе самою страстною, рабской преданностью.

Когда Михайлинькѣ минуло двадцать шесть лѣтъ, княгиня вздумала женить своего фаворита и, не откладывая этого дѣла въ дальній ящикъ, обвѣнчала его съ писаной красавицей, сѣнной дѣвушкой Феней. Пять лѣтъ у молодого супружества не было дѣтей, а потомъ явилась дочь Анюшка, и вслѣдъ затѣмъ Михайлинька умеръ отъ простуды, поручивъ свою дочь и жену заботамъ и милостямъ совершенно состарившейся княгини. Княгиня старалась какъ можно добросовѣстнѣе выполнить предсмертную просьбу своего любимца. Вдова его получала удобную квартиру и полное содержаніе, а маленькая Аня со второго же года была совсѣмъ взята въ барскій домъ, и не только жила съ княгинею, но даже и спала съ нею въ одной комнатѣ. Въ это время молодой князь Лука Аггеичъ счастливо женился, получилъ мѣсто по дипломатическому корпусу, и собирался за границу. Онъ пріѣхалъ къ матери съ женою и трехлѣтнимъ сыномъ Кириломъ. Одинокая старушка еще болѣе сиротѣла, отпуская сына въ чужіе края; князю тоже было жалко покинуть мать, и онъ уговорилъ ее ѣхать вмѣстѣ въ Парижъ. Княгинѣ жалко было и деревни, но все-таки она не захотѣла разстаться съ сыномъ, и все семейство тронулось за границу. Аню княгиня, къ крайнему прискорбію ея матери, тоже увезла съ собою. Черезъ два года, княгиню посѣтило новое горе: ея сынъ съ невѣсткою умерли другъ за другомъ въ теченіе одной недѣли, и осиротѣлая, древняя старушка снова осталась и воспитательницею, и главною опекуншею малолѣтняго внука.

Княгиня Ирина Васильевна въ это время уже была очень стара; лѣта и горе брали свое, и воспитаніе внука ей было вовсе не по силамъ. Однако, дѣлать было нечего. Точно такъ же, какъ она нѣкогда неподвижно осѣлась въ деревнѣ, теперь она засѣла въ Парижѣ и вовсе не помышляла о возвращеніи въ Россію. Одна мысль о какихъ бы то ни было

сборахъ заставляла ее трястись и пугаться. «Пусть доживу мой вѣкъ, какъ живется», говорила она и страшно не любила людей, которые напоминали ей о какихъ бы то ни было перемѣнахъ въ ея жизни.

Внука она отдала въ одинъ изъ лучшихъ парижскихъ пансіоновъ, а къ Анѣ пригласила учителей и жила въ полной увѣренности, что она воспитываетъ дѣтей какъ нельзя лучше.

Дѣти росли, княгиня старѣлась и стала быстро подаваться къ гробу.

Восемнадцатилѣтній князь Кирила Лукичъ смотрѣлъ молодцомъ, хотя и французомъ, Аня расцвѣла пышною розой.

Кромѣ того, чему Аню учили французскіе учителя и дьячокъ русской посольской церкви, она не мало сдѣлала для себя и сама. Старая княгиня не могла имѣть сильнаго вліянія на всестороннее развитіе дѣвушки. Она учила ее вѣрить въ верховную опеку промысла; старалась передать ей небольшой запасъ сухихъ правилъ, замѣнявшихъ для нея самой весь нравственный кодексъ; любовалась красотою ея лица, очаровательною граціею стана, изяществомъ манеръ и болѣе ничего. Анна Михайловна сама додумалась, что положеніе ея въ домѣ княгини фальшивое, что ей нужно самой обставить себя совсѣмъ иначе и что на заботы княгини во всемъ полагаться нельзя. Анна Михайловна была существо самое кроткое, нѣжное сердцемъ, честное до болѣзненности и безпредѣльно-довѣрчивое. Начитавшись романтическихъ писателей французской романтической школы, она сама очень порядочно страдала романтизмомъ, но при всемъ томъ она, однако, понимала свое положеніе, и хотѣла смотрѣть въ свое будущее не сквозь розовую призму. О семьѣ своей Анна Михайловна знала очень мало. Съ тѣхъ поръ, какъ ее маленькимъ дитятей вывезли за границу, разъ въ годъ, когда княгиня получала изъ имѣнія бумаги, прочитывая управительскіе отчеты, она обыкновенно говорила: «твоя мать, Аня, здорова», и тѣмъ ограничивались свѣдѣнія Ани о ея матери.

Когда дѣвочкѣ было шесть лѣтъ, княгиня, читая вновь полученный ею отчетъ, сказала: «твоя мать, Аня, здорова *и*...» и на этомъ *и* княгиня поперхнулась.

— И у тебя, Аня, родилась сестрица, — добавила она черезъ нѣсколько времени съ досадою и вмѣстѣ съ такимъ

удивленіемъ, какъ будто хотѣла сказать: что это еще за моду такую глупую выдумали!

А Аня была необыкновенно какъ рада, что у нея есть сестрица.

— Маленькая?—спрашивала она у княгини.

— Очень, мой другъ, маленькая, и зовутъ ее Дорушкой,— отвѣчала княгиня.

Аня такъ и запрыгала отъ этой радостной вѣсти.

— Ахъ, какая это должна быть прелесть—эта Дорушка!— размышляла дѣвочка цѣлый день до вечера.

Ночью сквозь сонъ ей слышалось, что княгиня какъ будто дурно говорила о ея матери съ своею старой горничной; будто упрекала ее въ чемъ-то противъ Михайлиньки, сердилась и обѣщала немедленно велѣть разсчитать молодого, бѣлокураго швейцарца Трашпа, управлявшаго въ селѣ заведенною княземъ ковровою фабрикой. Аня рѣшительно не понимала, чѣмъ ея мать оскорбила покойнаго Михайлушку и зачѣмъ тутъ при этой смѣтѣ приходился бѣлокурый швейцарецъ Трашпъ: она только радовалась, что у нея есть очень маленькая сестрица, которую, вѣрно, можно купать, пеленать, няньчить и производить надъ ней другія подобныя интересныя операціи. Черезъ годъ еще,—княгиня сказала:

— Ты, Аня, будь умница — не плачь: твоя мать, мой дружочекъ, умерла.

— Умерла!—закричала Аня.

— Давно, мой другъ, не плачь, не теперь, она давно ужъ умерла.

Аня все-таки горько плакала.

— А сестрица моя?—спрашивала она княгиню.

— Я велю, дружочекъ, твою сестрицу прибрать; велю, чтобы ей хорошо было,—успокоивала княгиня.

Аня утѣшалась, что ея маленькой сестрицѣ будетъ хорошо.

А между тѣмъ время работало свою работу. Маленькая сестрица Ани, взятая изъ состраданія, очень доброю и просвѣщенною женою новаго управителя, подросла, выучилась писать и прислала сестрѣ очень милое дѣтское письмо.

Между сестрами завязалась живая переписка: Аня заочно пристращалась къ Дорушкѣ; та ей взаимно, изъ своей степной глуши, платила самой горячей любовью. Преобладаю-

щимъ стремленіемъ дѣвочекъ стало страстное желаніе увидаться другъ съ другомъ. Княгиня и слышать не хотѣла о томъ, чтобы отпустить шестнадцатилѣтнюю Аню изъ Парижа въ какую-то глухую степную деревню.

— Послѣ моей смерти ступай куда хочешь, а при мнѣ не дѣлай глупостей, — говорила она Аннѣ Михайловнѣ, не замѣчая, что та въ ея-то именно присутствіи и дѣлаетъ самую высшую глупость изъ всѣхъ глупостей, которыя она могла бы сдѣлать.

Анна Михайловна, не видавшая ни одного мужчины, кромѣ своихъ учителей и двухъ или трехъ старыхъ роялистскихъ генераловъ, изрѣдка навѣщавшихъ княгиню, со всею теплотою и дѣтскою довѣрчивостью своей натуры привязывалась къ князю Кирилѣ Лукичу. Князь Кирилъ, выросшій во французской школѣ и пропитанный французскими понятіями о чести вообще и о честности по отношенію къ женщинѣ въ особенности, называлъ Аню своей хорошенькой кузиной и былъ къ ней добръ и предупредителенъ. Анѣ всегда очень нравилось вниманіе князя; ей съ нимъ было веселѣе и какъ-то лучше, пріятнѣе, чѣмъ съ старушкой-княгиней и ея французскими, роялистскими генералами, или съ дьячкомъ русской посольской церкви. Молодые люди вмѣстѣ гуляли, катались, ѣздили за городъ; княгиня все это находила весьма приличнымъ и естественнымъ, но ей показалось совершенно неестественнымъ, когда Аня, сидя одинъ разъ за чаемъ, вдругъ тихо вскрикнула, поблѣднѣла и откинулась на спинку кресла.

Анна Михайловна не умѣла скрыть отъ княгини своей беременности. Княгиня, впрочемъ, ни въ чемъ не упрекала Анну Михайловну и только страшно сердилась на своего внука. Родилось дитя, его свезли и отдали на воспитаніе въ небольшую деревеньку около Версаля. Прошло два мѣсяца; Анна Михайловна оправилась, а княгиня заболѣла и умерла. Кончаясь, она вручила Аннѣ Михайловнѣ давно приготовленную вольную для нея и Доры, банковый билетъ въ десять тысячъ рублей ассигнаціями, и долговое обязательство въ такую же сумму, подписанное еще покойнымъ княземъ Лукою и вполнѣ обязательное для его наслѣдника.

Поведеніе князя Кирила, по отношенію къ Аннѣ Михайловнѣ, было весьма неодобрительно, какъ французы го-

ворять: *онъ поступилъ какъ мужчина.* Аня теперь ясно видѣла, что князь никогда не любилъ ее и что она была ни больше, ни меньше, какъ одна изъ тысячи жертвъ, преслѣдованіе которыхъ составляетъ пріятную задачу праздной и пустой жизни князя. Анна Михайловна была обижена очень сильно, но ни въ чемъ не упрекала князя, и не мѣшала ему избѣгать съ нею встрѣчъ, которыми онъ еще такъ недавно очень дорожилъ, и которыхъ такъ горячо всегда добивался. Она ненавидѣла князя. Въ ея нѣжной душѣ оставалось къ нему то теплое, любовное чувство, которое иногда навсегда остается въ сердцахъ многихъ хорошихъ женщинъ къ нѣкогда любимымъ людямъ, которымъ онѣ обязаны всѣми своими несчастіями.

Анна Михайловна просила князя только навѣдываться по-временамъ о ребенкѣ, пока его можно будетъ перевезть въ Россію, и тотчасъ послѣ похоронъ старой княгини уѣхала въ давно оставленное отечество.

Тутъ же она взяла изъ деревни Дорушку, увезла ее въ Петербургъ, открыла очень хорошенькій модный магазинъ и стала работать.

Личныя впечатлѣнія, произведенныя сестрами другъ на друга, были самыя выгодныя. Дорушка не была такъ образована, какъ Анна Михайловна; она даже съ великимъ трудомъ объяснялась по-французски, но была очень бойка, умна, искренна и необыкновенна понятлива. Благодаря внимательности и благоразумію бездѣтной и очень прямо смотрѣвшей на жизнь жены управителя, у которой выросла Дора, она была развита не по лѣтамъ, и Анна Михайловна нашла въ своей маленькой сестрицѣ друга, уже способнаго понять всякую мысль и отозваться на каждое чувство.

Въ это время Аннѣ Михайловнѣ шелъ двадцатый, а Дорушкѣ пятнадцатый годъ. Труды и заботы Анны Михайловны вѣнчались полнымъ успѣхомъ: магазинъ ея пріобрѣталъ день ото дня лучшую репутацію, здоровье служило какъ нельзя лучше; Амуръ щадилъ ихъ сердца и не шевелилъ своими мучительными стрѣлами: нечего желать было больше.

Такъ прошло три года.

Въ эти три года Анна Михайловна не могла добиться отъ князя трехъ словъ *о своемъ* ребенкѣ, существованіе

котораго не было секретомъ для ея сестры, и рѣши
ѣхать съ Дорушкой въ Парижъ, гдѣ мы ихъ и встрѣча
Онѣ здѣсь пробыли уже около мѣсяца прежде, ч
столкнулись въ Луврѣ съ Долинскимъ. Анна Михайл
во все это время никакъ не могла добиться аудіенц
своего князя. Его то не было дома, то онъ не могъ
нять ее. Къ Аннѣ Михайловнѣ онъ обѣщалъ заѣхать
заѣзжалъ.

— Очень милый господинъ! Вѣжливъ какъ сапожник
говорила Дорушка, непомѣрно раздражаясь на князя, к
раго Анна Михайловна всякій день съ тревогою и не
пѣніемъ дожидала съ утра до ночи и все-таки стара
его оправдывать.

Наконецъ и Анна Михайловна не выдержала. Она н
сала князю самое убѣдительное письмо, послѣ котораго
назначилъ ей свиданіе у Вашета.

Анну Михайловну очень удивляло, почему князь не
принять ее у себя и назначаетъ ей свиданіе въ рестор
но отъ него это была уже не первая обида, которую
приходилось прятать въ карманъ. Анна Михайловна
назначенное время отправилась съ Дорою къ Вашету.
рушка спросила себѣ чашку бульону и осталась вниз
Анна Михайловна показала карточку, переданную ей
кеемъ князя.

Ее проводили въ небольшую, очень хорошо меблиро
ную комнату въ бель-этажѣ.

Анна Михайловна опустилась на диванъ, на котор
года четыре назадъ сиживала веселая и довѣрчивая съ э
же княземъ, и вспомнилось ей многое, и стало ей и гор
и смѣшно.

«Каково-то будетъ это свиданіе?»—подумала она съ гр
ной улыбкой.

«Поговоримъ о дѣлѣ, *о нашемъ ребенкѣ*, и пожела
другъ другу счастливо оставаться».

Въ дверь кто-то слегка постучался

«Это его стукъ», — подумала Анна Михайловна и о
чала:—«войдите».

Вошелъ расфранченный господинъ, совершенно незн
мый Аннѣ Михайловнѣ.

— Вы госпожа Прохорова? — спросилъ онъ ее чис
шимъ парижскимъ языкомъ.

— Я,—отвѣчала она.

— Вамъ угодно было видѣть князя Сурскаго?

— Да, мнѣ нужно видѣть князя Сурскаго.

— Онъ не можетъ лично видѣться съ вами сегодня.

Анна Михайловна смѣшалась.

— Однако, надѣюсь, онъ пригласилъ меня сюда!

— Да, это онъ, который васъ пригласилъ сюда, но ручаюсь вамъ, madame, онъ здѣсь не будетъ. Вы вѣрно знаете—князь помолвленъ.

— Помолвленъ! нѣтъ я этого не знала и не намѣрена искать чести узнавать его невѣсты, — говорила торопясь и мѣшаясь Анна Михайловна. — Скажите мнѣ только одно: гдѣ и когда, наконецъ, я могу его видѣть на нѣсколько минутъ?

— Говоря поистинѣ, я полагаю, *никогда*, — отвѣчалъ, вскидывая голову, французъ. — Князь много дѣлъ такихъ покончилъ чрезъ меня и теперь уполномочилъ меня переговорить и кончить съ вами. Я его камердинеръ — къ вашимъ услугамъ.

Французъ развязно поклонился.

— Я вамъ не вѣрю, — отвѣчала, вся вспыхнувъ, Анна Михайловна.

Камердинеръ развернулъ свою записную книжечку и показалъ листокъ, на которомъ рукою князя было написано: «я уполномочилъ моего камердинера, господина Рено, войти съ госпожею Прохоровою въ переговоры, которыхъ она желаетъ».

— Гдѣ мой ребенокъ?—рѣзко спросила, роняя изъ рукъ записную книжку, Анна Михайловна.

— Умеръ, больше двухъ лѣтъ назадъ, — отвѣчалъ спокойно господинъ Рено.

— Такъ вы скажите вашему князю, что я только это и хотѣла знать,—твердо произнесла Анна Михайловна и вышла изъ комнаты.

— Какая неслыханная дерзость! — воскликнула Дора, когда сестра, дрожа и давясь слезами, разсказала ей о своемъ свиданіи.

— Онъ пустой и ничтожный человѣкъ,—отвѣчала краснѣя Анна Михайловна—и заплакала.

— О чемъ же, о чемъ это ты плачешь?.. Тебя, честную женщину, выписываютъ въ кабакъ, въ трактиръ какой-то,

довѣряютъ твои тайны какимъ-то французикамъ, лакеямъ, а ты плачешь! Развѣ въ такихъ случаяхъ можно плакать. Такой мерзавецъ можетъ вызывать одно только пренебреженіе, а не слезы.

— Не могу пренебрегать равнодушно.

— Ну, мсти!

— Я не умѣю мстить и не хочу. Я гадка сама себѣ, онъ мнѣ просто жалокъ.

— Жалокъ!.. Да, очень жалокъ... Я бы съ жалости ему разгрызла горло и плюнула бъ въ глаза его лакею.

— Дора, оставь меня лучше въ покоѣ!

Дорушка пожала плечами и онѣ поѣхали въ томъ омнибусѣ, въ которомъ встрѣтились у св. Магдалины съ Долинскимъ, когда встревоженная Анна Михайловна обронила присланный ей изъ Москвы денежный вексель.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Исторія въ другомъ родѣ.

Дѣдъ Долинскаго, полуполякъ, полумалороссіянинъ, былъ кіевскимъ магистратскимъ войтомъ незадолго до потери этимъ городомъ привилегій, которыми онъ пользовался по магдебургскому праву. Войтъ Долинскій принадлежалъ къ старой городской аристократіи, какъ по своему роду, такъ и по почетному званію, и по очень хорошему, честно нажитому состоянію пользовался въ заднѣпровской Украйнѣ очень почтенною извѣстностью и уваженіемъ. Стойкость, строгая справедливость и дальновидный дипломатическій умъ можно ставить главными чертами, способными характеризовать личность стараго войта. Сынъ такого отца, Игнатій Долинскій не наслѣдовалъ всѣхъ родительскихъ качествъ. Онъ былъ человѣкъ очень честный въ буржуазномъ смыслѣ этого слова, и даже неглупый, но лѣнивый, вялый, безпечный и ко всему всесовершенно равнодушный. Жена Игнатія Долинскаго, сиротка, выросшая въ «племянницахъ» въ одномъ русскомъ купеческомъ домѣ, принадлежала къ весьма немалочисленному разряду нашихъ съ дѣтства забитыхъ великорусскихъ женщинъ, остающихся на цѣлую жизнь безотвѣтными, сиротливыми дѣтьми и молитвенницами за затолокшій ихъ міръ Божій. Игнатій Долинскій неспособенъ былъ разбудить въ своей безотвѣтно-доброй женѣ ни смѣлости, ни воли, ни энергіи. Выйдя замужъ и

рожая дѣтей, она оставалась такимъ же сиротливымъ и безхитростнымъ ребенкомъ, какимъ была въ домѣ своего московскаго дяди и благодѣтеля. Жизнь въ Кіевѣ, на высокомъ Печерскѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ златоверхой лавры, вѣчно полной богомольцами, стекающимися къ родной святынѣ отъ запада, и сѣвера, и моря, рельефнѣе всего выработала въ характерѣ Долинской одну черту, съ дѣтства спавшую въ ней въ зародышѣ. Съ каждымъ годомъ Ульяна Петровна Долинская становилась все религіознѣе; постилась все строже, молилась больше; скорбѣла о людской злобѣ и не выходила изъ церкви или отъ бѣдныхъ. Нищіе, странные и убогіе были любимою средою Долинской, и въ этой исключительной средѣ ея робкая и чистая душа старалась скрываться отъ мірскихъ суетъ и треволненій.

Деньги для Долинской никогда не имѣли никакой цѣны, а тутъ, отдаваясь съ лѣтами одной мысли о житьѣ по слову Божію, она стала даже съ омерзѣніемъ смотрѣть на всякое земное богатство. Ни одна монета не могла получаса пролежать въ ея карманѣ, не перепрыгнувъ въ дырявую суму проползшаго тысячу верстъ мужичка или въ хату къ дѣтямъ пьянствующаго сосѣда-ремесленника. Рука Долинской давала и направо, и налѣво; мужъ смотрѣлъ на это филаретовское милосердіе совершенно спокойно. Онъ не только не удерживалъ ея безмѣрно щедрую руку, но даже одобрялъ такое распоряженіе имуществомъ.

— Моя Ульяна Петровна—ангелъ,—говорилъ онъ, благоговѣйно поднимая глаза къ небу:—она истинная христіанка, безсребренница, незлобивая.

Такъ и шли дѣла, пока состоянія, оставленнаго войтомъ, доставало на удовлетвореніе щедрости его невѣстки; но, наконецъ, въ городѣ стали замѣчать, что Долинскіе «начали пріупадать», а еще немножко — и семья Долинскихъ ужъ вовсе не считалась зажиточною. Ульяна Петровна все шла своею дорогою. Дѣтей у Долинскихъ были трое: два сына: Аристархъ и Несторъ и дочь Леокадія. Росли эти дѣти на полной свободѣ: мать и отецъ были съ ними очень нѣжны, но не дѣлали дѣтское воспитаніе своею главною задачею. Изъ дѣтей, однако, не выходило ничего дурного: они росли дѣтьми нѣжными, дружными и ласковыми. Ульяна Петровна любила ихъ всѣхъ ровно, одною чисто-евангель-

скою любовью, но ближе двухъ другихъ къ ней былъ Не сторъ. Этотъ очаровательно-красивый мальчикъ былъ страшн привязанъ къ своей благочестивой матери и вслѣдствіе это страстности самъ пристрастился къ ея образу жизни и за нятіямъ. Торопливо протирая сонные глазенки, вскакивал онъ при первомъ движеніи матери о полуночи; стоя на ко лѣняхъ, лепеталъ онъ за нею слова вдохновенныхъ молитв Сирина, Дамаскина и, шатаясь, выстаивалъ долгій час монастырской полунощницы. И такъ всякій день. Вес домъ, наполненный и истинными, и лукавыми «людьм Божьими», спитъ безмятежнымъ сномъ, а какъ только раз дается въ двѣнадцать часовъ первый звукъ лаврскаго пз леелейнаго колокола, Несторъ съ матерью становятся н колѣна и молятся долго, тепло, со слезами молятся «о еж спастися людямъ и въ разумъ истинный внити».

Подкрѣпленная усердной молитвой, Ульяна Петровна в три часа ночи снова укладывала Нестора въ его постельк и сама спускалась въ кухню, и съ этой ранней поры там начиналось стряпанье ежедневно на сорокъ человѣкъ ну ждающихся въ пищѣ. Съ шести часовъ утра въ домѣ Д линскихъ уже пили и ѣли, а Ульяна Петровна съ этог часа позволяла себѣ снова искать своей духовной пищ Сходятъ они съ Несторомъ въ лавру, въ Великую церков или на Пещерахъ, поклонятся останкамъ древнихъ христіан скихъ подвижниковъ, найдутъ по дорогѣ кого-нибудь немоп наго или голоднаго, возьмутъ его домой, покормятъ, прік тятъ и утѣшатъ. Приходитъ къ чаю какой-нибудь стран никъ, иногда немножко изувѣръ, немножко лгунъ, немножк фанатикъ, а иногда и этакой простой, чистый и поэтич ски вдохновенный русскій экземпляръ, который не помнит какъ и почему еще съ самаго ранняго дѣтства—

Имъ овладѣло безпокойство,
Охота къ перемѣнѣ мѣстъ,
Весьма мучительное свойство
И многимъ добровольный крестъ.

Идутъ здѣсь разсказы о разныхъ чудесныхъ мѣстахъ еще болѣе чудесныхъ событіяхъ. Горы, долы, темные лѣс дремучіе, подземныя пещеры, мрачныя и широкія безпр дѣльныя степи съ ковылемъ-травой, легкимъ перекати-п демъ и Божьей птицей аистомъ «змѣеистребителемъ»; в это такъ и рисуется въ воображеніи съ разсказовъ обуча

въ лапотки «человѣка Божія», а надо всѣмъ намъ этимъ серьезно возвышаются сухіе, строгіе контуры схимниковъ, и еще выше лучезарный ликъ св. Николая, «скораго въ бѣдахъ помощника», Георгій на бѣломъ, какъ кипѣнь, конѣ, рѣющій въ высокомъ голубомъ небѣ, и, наконецъ, выше всего этого свѣтъ, тотъ свѣтъ невечерній, размышленіе о которомъ обнимаетъ вѣрующія души блаженствомъ и трепетомъ.

Наслушавшись такихъ рѣчей, Ульяна Петровна велитъ себѣ запрячь одноколочку, садится съ Несторомъ и ѣдетъ въ Китаевъ, или въ Голосеевъ. Выѣдетъ Ульяна Петровна за городъ, пахнетъ на нее съ Днѣпра вѣчной свѣжестью, и она вдругъ оживится, почувствовавъ ласкающее дыханіе свободной природы, но влѣво пробѣжитъ по зеленой муравкѣ сѣрый дымокъ, раздастся взрывъ саперной мины, или залпъ ружей въ лѣтнихъ баракахъ — и Ульяна Петровна вся такъ и замретъ. Не слабонервный страхъ, а какой-то ужасъ духовный охватываетъ ее при мысли о враждѣ человѣческой, о силѣ и разрушеніи. То же самое чувствовала она при разсказѣ о всякомъ преступленіи. «Богъ съ ними! Богу судить зло человѣческое, а не людямъ. Это не нами, не вашими руками создано, и не нашимъ умомъ судится», говорила она, и никогда въ цѣлую свою жизнь не высказала ни одного сужденія, никогда не хотѣла знать, если у нея что-нибудь крали.

— Никто не укралъ; зачѣмъ обижать человѣка! Взялъ кому нужно было; ну, и пошли ему Богъ на здоровье, — отвѣчала она на жалобы слугъ, доводившихъ ей о какой-нибудь пропажѣ.

Кончилось тѣмъ, что «пріупадавшій» домъ Долинскихъ упалъ и разорился совершенно. Игнатій Долинскій покушалъ спѣлыхъ дынь-дубровокъ, легъ соснуть, всталъ часа черезъ два съ жестокою болью въ желудкѣ, а къ полуночи умеръ. Съ него распочалась въ городѣ шедшая съ сѣверозапада холера. Ульяна Петровна схоронила мужа, не уронивъ ни одной слезы на его могилѣ, и дѣтямъ наказывала не плакать.

— Зачѣмъ,—говорила она:—его, друга нашего, смущать нашими глупыми слезами? Пусть тихъ и миренъ будетъ путь его въ селенія праведныхъ.

Точно Офелія, эта Шекспирова «божественная нимфа»

съ своею просьбою не плакать, а молиться о немъ, Ульяна Петровна совсѣмъ забыла о мірѣ. Она молилась о мужѣ сама, заставляла молиться за него и другихъ, ѣздила исповѣдывать грѣхи своей чистой души къ схимникамъ Китаевской и Голосеевской пустыни, молилась у кельи извѣстнаго провидца Парѳенія, отъ которой вдалекѣ былъ виденъ весь городъ, упывшій подъ тяжелою тучею налетѣвшей на него невзгоды.

Картина была непріятная, сухая и зловѣщая: стоявшая въ воздухѣ сѣрая мгла задергивала все небо чернымъ, траурнымъ крепомъ; солнце висѣло на западѣ безъ блеска, какъ ломоть печеной рѣпы съ пригорѣлыми краями и тускло мѣдной серединой; съ пожелтѣвшихъ заднѣпровскихъ луговъ не прилетало ни одной ароматной струи свѣжаго воздуха, и вмѣсто запаха чебреца, меруники, богородицкой травки и горчавки, оттуда доносился тяжелый пропаленный запахъ, какъ будто тамъ гдѣ-то тлѣло и дымилось несмѣтное количество слеглаго сѣна.

— Будетъ молиться, Ульянушка; пора тебѣ собираться въ путь, — сказалъ Ульянѣ Петровнѣ заставшій ее на вечерней молитвѣ старецъ.

Ульяна Петровна растолковала себѣ эти слова по-своему. Она посмотрѣла въ угасшія очи отшельника, поклонилась ему до земли, вернулась домой, отговѣлась въ лаврѣ, причастилась въ пещерѣ св. Антонія, потомъ соборовалась и черезъ день скончалась. Съ нею и прекратилась въ городѣ холера.

Дѣти Долинскихъ остались одни, съ однимъ деревяннымъ домомъ, обремененнымъ тяжелыми долгами. Аристархъ, шестнадцати лѣтъ, пошелъ служить къ купцу; сестру Леокадію взяла тетка и увезла куда-то къ Ливнамъ, а Нестора, имѣвшаго четырнадцать лѣтъ, призрѣлъ дядя, бѣдный братъ Ульяны Петровны, добившійся каѳедры въ московскомъ университетѣ. Братъ Ульяны Потровны былъ человѣкъ и добрый, и ученый, но слабый характеромъ, а жена его была недобрая женщина, пустая и тщеславная. Въ этомъ домѣ Несторъ Долинскій только началъ учиться. Двадцати одного года онъ окончилъ курсъ гимназіи, двадцати пяти вышелъ первымъ кандидатомъ изъ университета и тотчасъ поступилъ старшимъ учителемъ въ одну изъ московскихъ гимназій, а двадцати семи женился самымъ неудачнымъ образомъ.

Несторъ Игнатьевичъ Долинскій во многихъ своихъ сто-

ронахъ вышелъ очень страннымъ человѣкомъ. Никто не сомнѣвался, что онъ человѣкъ очень умный, чувствительный, но никто бы не умѣлъ продолжать его характеристику далѣе этихъ общихъ опредѣленій.

— Мой Сторя будетъ истинный инокъ Божій, — говаривала часто его мать, поглаживая сына по головкѣ, обрекаемой подъ черный клобукъ.

Можетъ-быть, покойная Ульяна Петровна и не ошиблась. Можетъ-быть, ея кроткій красавецъ-сынъ и точно болѣе всего обладалъ качествами, нужными для сосредоточенной, самосозерцательной и молитвенной жизни, которую нашъ народъ считаетъ приличною истинному иночеству. Онъ, вѣроятно, могъ быть хорошимъ проповѣдникомъ, утѣшителемъ и наставникомъ страждущаго человѣчества, которому онъ съ ранняго дѣтства привыкъ служить подъ руководствомъ своей матери и которое оставалось ему навсегда близкимъ и понятнымъ; къ людскимъ неправдамъ и порокамъ онъ былъ снисходителенъ не менѣе своей матери, но страстная религіозность его дѣтскихъ лѣтъ скоро прошла въ домѣ дяди. Онъ былъ, что у насъ называется, «человѣкъ разноплетеный». Нарушаемый извнѣ міръ своего внутренняго *я* онъ не умѣлъ врачевать молитвой, какъ его мать, но онъ и самъ ничего не отстаивалъ, ни за что не бился крѣпко. Онъ никогда не жаловался ни на что ни себѣ, ни людямъ, а, огорченный чѣмъ-нибудь, только уходилъ къ общей нашей матери-природѣ, которая всегда умѣетъ въ мѣру успокоить оскорбленное эстетическое чувство, или возстановить разрушенный міръ съ самимъ собою. Жизнь въ одномъ домѣ съ придирчивой, мелочной и сварливой женой дяди заставляла его часто лѣчить свою душу, возмущавшуюся противъ несправедливыхъ и неделикатныхъ поступковъ ея въ отношеніи мужа.

Въ какой мѣрѣ это портило характеръ Нестора Игнатьевича, или способствовало лучшей выработкѣ однѣхъ его сторонъ насчетъ угнетенія другихъ — судить было невозможно, потому что Долинскій почти не жилъ съ людьми; но онъ самъ часто вздыхалъ и ужасался, считая себя человѣкомъ совершенно неспособнымъ къ самостоятельной жизни. Сильно поразившая его, послѣ чистаго нрава матери, вздорная мелочность дядиной жены, развила въ немъ тоже своего рода мелочную придирчивость ко всякой людской мелочи,

тетеречникѣ и перевезла весь свой приплодъ въ бл
шій губернскій городъ, гдѣ въ то святое и присноп
ное время содержалъ винный откупъ человѣкъ, извѣс
нѣкогда своимъ богатствомъ, а нынѣ — позоромъ и бе
віемъ своихъ дѣтей. Бабушка этого богача съ бабу
«матроски», какъ говорятъ, на одномъ солнышкѣ чу
сушили, и въ силу этого сближающаго обстоятельства
троска» считала богача своимъ дяденькой. Радостно
тая нѣкогда его коммерческое восхожденіе, она упр
его быть воспріемнымъ отцомъ Юлиньки. Коммерч
двойка, влѣзавшая въ то время въ онёрную фигуру,
честолюбива, какъ всѣ подобныя двойки, но еще не за
поклоненіями, была, такъ сказать, довольно ручна и
кодушно снизошла на матроскину просьбу. Въ фигур
лета эта добродѣтельная карта сдѣлалась матроски
дядей и кумомъ, а когда три ограбленныя валетомъ г
ніи произвели его въ тузы, матроска, безъ всякихъ сре
въ жизни, явилась въ его резиденцію. Главнымъ и
ственнымъ ея средствомъ въ это время была «Юлочк
Юлочка, цѣною собственнаго глубокаго нравственнаго
вращенія, вывезла на своихъ дѣтскихъ плечахъ и ма
отца, и сестру, и братьевъ. Маленькою, пятилѣтнею д
кой, всю въ завиточкахъ, въ коротенькомъ платьицѣ
шитыхъ кружевцами панталончикахъ, матроска отвез
въ вертепъ откупного туза и научила, какъ она до
плакать, какъ притворяться слабой, какъ ласкаться къ
какъ льстить его тузихѣ, какъ уступать во всемъ ту
тамъ. Выпущенная къ рампѣ, Юлочка съ перваго же
обнаружила огромныя дипломатическія и сценическія
рованія. Она лгала, какъ историкъ, и вернулась домо
тысячью рублей. Съ этихъ поръ Юлочка была запр
ненасытному мамону и вѣрно поработала ему до сед
пота. Начавшееся съ этихъ поръ христорадничанье
щебродство Юлочки не прекращалось до того самаго
въ который мы встрѣчаемъ ее въѣзжающею въ разл
возкѣ съ сестрою, матерью и младшимъ братомъ Петр
въ Москву. Много дѣвка-чернявка натерпѣлась обидъ и
въ своей нищебродной жизни! Обижала ее и сухая,
кая тузиха, и надменные тузенята, и лакеи, и больша
делянская собака Выдра, имѣвшая привычку подн
лапу на каждаго, кто боялся прогнать ее предъ очам

мого туза. Юлочка глотала слезы, глядя на свое свѣженькое платьице, безпощадно спорченное Выдрою, но все сносила терпѣливо. Благодѣтель замѣчалъ это и дарилъ Юлочкѣ за одно испорченное платьице пять новыхъ, но зато тузиха и тузенята называли ее *тумбочкой* и вообще дѣлали предметомъ самыхъ злобныхъ насмѣшекъ. Юлочка все это слагала въ своемъ сердцѣ, ненавидѣла надменныхъ богачей и кланялась имъ, унижалась, лизала ихъ руки, лгала матери, стала низкою, гадкою лгуньею; но очень долго никто не замѣчалъ этого, и даже сама мать, которая учила Юлочку лгать и притворяться, кажется, не знала, что̀ она изъ нея дѣлаетъ; и она только похваливала ея умъ и расторопность. Духовнаго согласія у матери съ дочерью, впрочемъ, вовсе не было. Оба эти паразиты составляли плотный союзъ только тогда, когда дѣло шло о томъ, чтобы тѣмъ или инымъ ловкимъ фортелемъ вымозжить что-нибудь у своихъ благодѣтелей. Въ остальное же время они нерѣдко были даже открытыми врагами другъ другу: Юла мстила матери за свои униженія—та ей не вѣрила, видя, что дочь начала далеко превосходить ее въ искусствѣ лгать и притворяться. Вообще довольно смѣлая и довольно наглая, матроска была, однако, недостаточно дальновидна и очень изумилась, замѣчая, что дочь не только пошла далѣе ея, не только употребляетъ противъ нея ея же собственное оружіе, но даже самоё ее, матроску, дѣлаетъ своимъ оружіемъ. Вдругъ туза стукнулъ кандрашка; все неожиданно перекрутилось, съѣхавшіеся изъ Москвы и Питера сыновья и дочери откупщика смотрѣли насмѣшливо на неутѣшныя слезы матроски съ Юлою и отдѣлили имъ изъ всего отцовскаго наслѣдства остальныя визитныя карточки покойнаго, да еще что-то въ родѣ трехъ стаметовыхъ юбокъ. Видя, что съ визитными карточками да тремя стаметовыми юбками на этомъ бѣломъ свѣтѣ не много можно подѣлать, матроска, по совѣту Юлочки, снарядила возокъ и дернула въ Бѣлокаменную, гдѣ прочною осѣдлостью жили трое изъ дѣтей покойнаго благодѣтеля. Ѣхали наши паразиты съ тѣмъ, чтобы такъ-не-такъ, а ужъ какъ-нибудь что-нибудь да вымозжить у наслѣдниковъ, или, по крайней мѣрѣ, добиться, чтобы они пристроили Викториночку и Петрушу.

— Я скажу имъ: помилуйте, вашъ отецъ — мой дядя, вотъ его крестница; вамъ будетъ стыдно, если ваша тетка

съ просительнымъ письмомъ по нумерамъ пойдетъ. Дол
дать; не могутъ не дать, канальи! — разсказывала она,
бирансь идти къ тузовымъ дѣтямъ.

Юлочка молчала. Она вѣрила, что мать можетъ что
будь вымозжить, но ей-то, Юлочкѣ, въ этомъ было очен
много радости. Ей нужно было что-то совсѣмъ другое,
лѣе прочное и самостоятельное. Она любила богатство
глаза величала тѣхъ богачей, отъ которыхъ можно
чѣмъ-нибудь пощетиться; но въ душѣ она не терпѣла вс
кто родомъ, племенемъ, личными достоинствами и особ
состояніемъ былъ поставленъ выше и виднѣе ея, а вы
виднѣе ея были почти всѣ. Юлочка понимала, что ей ну
прежде всего мужъ. Она знала, что въ своихъ мѣстах
ней, «попрошайкѣ», нищей, не женится никто, ибо та
героизма она не подозрѣвала въ своихъ мѣстныхъ ка
датахъ на званіе мужей, да ей и ненужны были герои, т
такъ же, какъ ей не годились люди очень мелкіе. Ей
женъ былъ человѣкъ, которымъ можно было бы управ
но котораго все-таки и не стыдно было бы назвать св
мужемъ; чтобы онъ для всѣхъ казался человѣкомъ, но
бы въ то же время его можно было сдѣлать слѣпы
безотвѣтнымъ орудіемъ своей воли.

Такимъ человѣкомъ ей показался Несторъ Игнатье
Долинскій, и она перевѣнчала его съ собою.

Происшествіе это случилось съ Долинскимъ въ силу
той же его доброты и извѣстной, несчастной черты
характера.

Дѣла Азовцовыхъ устроились. Петрушу благодѣтели о
дѣлили въ пансіонъ; на воспитаніе Викторинушки он
ассигновали по триста рублей въ годъ, и на житье с
матроски съ крестницей покойника назначили по ше
сотъ. Азовцовы, заручившись такой благодатью, однак
поѣхали назадъ, а рѣшились оставаться въ Москвѣ.
знали, что «благодѣтели» отъ природы народъ разсѣян
вѣтреный, забывчивый и требующій понужденія.
Азовцова растолковала матери, что Викторинушка ужъ
лика, чтобы ее отдавать въ пансіонъ; что можно н
просто какого-нибудь недорогого учителя далеко деш
чѣмъ за триста рублей и учить ее дома.

— Такимъ образомъ,—говорила она:—вы сдѣлаете

номію, и благодѣтели наши будутъ покойны, что деньги употребляются на то самое, на что онѣ даны.

При этихъ соображеніяхъ вспомнили о братѣ Леокадіи Долинской, съ которой Юлія была знакома по губернской жизни. Нестора Игнатьевича отыскали; наговорили ему много милаго о сестрѣ, которая только съ полгода вышла замужъ; разсказали ему свое горе съ Викторинушкой, которая такъ запоздала своимъ образованіемъ, и просили посовѣтовать имъ хорошаго наставника. Вѣчно готовый на всякую услугу, Долинскій тотчасъ же предложилъ въ безвозмездные наставники Викторинѣ самого себя. Матроска, было, начала жеманиться, но Юлія быстро встала, подошла къ Долинскому, съ одушевленіемъ сжала въ своихъ рукахъ его руку и съ глазами, полными слезъ, торопливо вышла изъ комнаты. Она казалась очень растроганною. Матроску это даже чуть было не сбило съ такту.

— Такъ, моя милѣйшая, нельзя-съ держать себя,—говорила она, проводивъ Долинскаго, Юлочкѣ.—Здѣсь не губернія, и особенно съ этимъ человѣкомъ... Мы знакомы съ его сестрой, такъ должны держать себя съ нимъ совсѣмъ на другой ногѣ.

— Не безпокойтесь, пожалуйста, знаю я, на какой ногѣ себя съ кѣмъ держать,—отвѣчала Юлія.

Долинскій началъ заниматься съ Викторинушкой и понемногу становился близкимъ въ семействѣ Азовцовыхъ. Юлія находила его очень удобнымъ для своихъ плановъ и всячески старалась разгадать, какъ слѣдуетъ за него браться вѣрнѣе.

— Кажется, на поэзію прихрамливаетъ! — заподозрѣла она его довольно скоро, разумѣя подъ словомъ *поэзія* именно то самое, что разумѣютъ подъ этимъ словомъ практическіе люди, признающіе только то, во что можно пальцемъ ткнуть. Заподозрѣла Юлія этотъ порокъ за Долинскимъ и стала за нимъ приглядывать. Сидитъ Долинскій у Азовцовыхъ, молча, передъ топящеюся печкою, Юла тихо взойдетъ неслышными шагами, тихо сядетъ и сидитъ молча, не давая ему даже чувствовать своего присутствія. Долинскій встанетъ и извинется. Это повторилось два-три раза.

— Пожалуйста, не извиняйтесь; я очень люблю сидѣть вдвоемъ и молча.

Долинскій конфузился. Онъ вообще былъ очень застѣнчивъ съ женщинами и робѣлъ предъ ними.

— Этакъ я не одна, и между тѣмъ никому не мѣшаю,— мечтательно досказала Юла.—Вы знаете, я ничего такъ не боюсь въ жизни, какъ быть кому-нибудь помѣхою.

— Этого, однако, я думаю, очень не трудно достигнуть,— отвѣчалъ Долинскій.

— Да, не трудно, какъ вы говорите, но и не всегда: часто поневолѣ долженъ во что-нибудь вмѣшиваться и чему-нибудь мѣшать.

— Вы, пожалуйста, не подумайте, что эти слова имѣютъ какой-нибудь особый смыслъ! Я, право, такъ глупо это сказала.

Юлочка улыбнулась.

— Нѣтъ, я... ничего не думаю,—отвѣчалъ Долинскій.

— То-то, ужъ хоть бы намъ не мѣшали, а то гдѣ намъ, грѣшнымъ! — замѣчала съ тою же снисходительною улыбкой Юлія.

Въ такихъ невинныхъ бесѣдахъ Юлія тихо и незамѣтно шла къ сближенію съ Долинскимъ, заявляясь ему особенно со стороны смиренства и благопокорности. Долинскій,-кромѣ матери и тетки, да сестры, не зналъ женщинъ. Юлочка была первая сторонняя женщина, обратившая на него свое вниманіе. Юліи и это обстоятельство было извѣстно, и его она тоже приняла къ свѣдѣнію и надлежащему соображенію. Тонкостей особенныхъ, значитъ, было не надо и онѣ могли оказать болѣе вреда, чѣмъ пользы. Нуженъ былъ одинъ ловкій подводъ, а затѣмъ смѣлыя варіаціи поэффектнѣе, и дѣло должно удаться.

Не прошло двухъ мѣсяцевъ со дня ихъ перваго знакомства, какъ Долинскій сталъ находить удовольствіе сидѣть и молчать вдвоемъ съ Юліей; еще долѣе они стали незамѣтно высказывать другъ другу свои молчаливыя размышленія и находить въ нихъ стройную гармонію. Долинскій, напримѣръ, вспоминалъ о своей благословенной Украйнѣ, о старомъ Днѣпрѣ, о наклонившихся крестахъ Аскольдовой могилы, о набережной часовнѣ Выдубецкаго монастыря и музыкальномъ гулѣ лаврскихъ колоколовъ. Юлочка тоже и себѣ начинала упражняться въ поэзіи: она вздумала о кисельныхъ берегахъ своей мелкопомѣстной Тускари и гнилоберегой Неручи, о ракиткахъ, подъ которыми въ полдневный жаръ отдыхаютъ идущіе въ отпускъ отечественные воины; о кукушкѣ, кукующей въ губернаторскомъ саду, и

бѣломъ купидонѣ, плачущемъ на могилѣ откупщика Сыропятова, и о прочихъ симъ подобныхъ поэтическихъ прелестяхъ. Если истинная любовь къ природѣ рисовала въ душѣ Долинскаго впечатлѣнія болѣе глубокія, если его поэтическая тоска о незабвенной украинской природѣ была настолько сильнѣе дѣланной тоски Юліи, насколько грандіозныя и поражающія своимъ величіемъ картины его края сильнѣе тщедушныхъ, неизмѣнныхъ, черноземно-вязкихъ картинъ, по которымъ проводила молочныя воды въ кисельныхъ берегахъ подшпоренная фантазія его собесѣдницы, то зато въ этихъ кисельныхъ берегахъ было такъ много топкихъ мѣстъ, что Долинскій не замѣчалъ, какъ ловко тускарскіе пауки затягивали его со стороны великодушія, состраданія и ихъ непонятныхъ высокихъ стремленій. Юлочка зорко слѣдила за своею жертвою и, наконецъ, послѣ одной бесѣды о любви и о Тускари, рѣшила, что ей пора и на приступъ. Вскорѣ послѣ такого рѣшенія, въ одинъ несчастливѣйшій для Долинскаго вечеръ, онъ засталъ Юлію въ самыхъ неутѣшныхъ, горькихъ слезахъ. Какъ онъ ее ни разспрашивалъ съ самымъ теплѣйшимъ участіемъ—она ни за что не хотѣла сказать ему этихъ горькихъ слезъ. Такъ это дѣло и прошло, и кануло, и забылось, а черезъ мѣсяцъ въ домѣ Азовцовыхъ появилась пожилая благородная дѣвушка Аксинья Тимоѳеевна, и тутъ вдругъ, съ рѣчей этой злополучной Аксиньи Тимоѳеевны оказалось, что Юлія давно благодѣтельствовала этой дѣвушкѣ втайнѣ отъ матери, и что горькія слезы, которыя мѣсяцъ тому назадъ у нея замѣтилъ Долинскій, были пролиты ею, Юліею, отъ оскорбленій, сдѣланныхъ матерью за то, что она, Юлія, движимая чувствомъ состраданія, чтобы выручить эту самую Аксинью Тимоѳеевну, отдала ей заложить свой единственный мѣховой салопъ, справленный ей благодѣтелями. Выстрѣлъ попалъ въ цѣль. Съ этихъ поръ Долинскій сталъ серьезно задумываться о Юлочкѣ и измышлять различныя средства, какъ бы ему вырвать столь достойную дѣвушку изъ столь тяжелаго положенія.

Выпущенная по красному звѣрю Аксинья Тимоѳеевна шла верхнимъ чутьемъ и работала какъ нельзя лучше; заложенная шуба тоже служила Юліи не хуже, какъ Кречинскому его бычокъ, и тепло прогрѣвала безхитростное сердце Долинскаго. Юлія Азовцова, обозрѣвъ поле сраженія и со-

образивъ силу своей тактики и орудій съ шаткою позиціей атакованнаго непріятеля, совершенно успокоилась. Теперь она не сомнѣвалась, что, какъ по нотамъ, разыграетъ всю свою хитро-скомпанованную пьесу.

«Нашла дурака»,—думала матроска и молчала, выжидая, что̀ изъ всего этого отродится.

— Этотъ агнецъ кроткій въ стадѣ козлемъ, — шептала Долинскому Аксинья Тимоѳеевна, указывая при всякомъ удобномъ случаѣ на печальную Юлію.

— И нѣтъ достойной души, которая исторгла бы этого ангела,—говорила она въ другой разъ.—Подлые все нынче люди стали, интересаны.

Пятаго декабря (многими замѣчено, что это — день особенныхъ несчастій) вечеркомъ Долинскій завернулъ къ Азовцовымъ. Матроски и Викторинушки не было дома, онѣ пошли ко всенощной, одна Юлія ходила по залѣ, прихотливо освѣщенной краснымъ огнемъ разгорѣвшихся въ печи дровъ.

— Что̀ вы это... хандрите, кажется? — спросилъ ее, садясь противъ печки, Долинскій.

— Нѣтъ, Несторъ Игнатьевичъ... некогда мнѣ хандрить; у меня настоящаго горя...

Юлочка прервала рѣчь проглоченною слезою.

— Что̀ съ вами такое?—спросилъ Долинскій.

Юлія сѣла на диванъ и закрыла платкомъ лицо. Плечи и грудь ея подергивались, и было слышно, какъ она силится удержать рыданія.

— Да что̀ съ вами? что̀ у васъ за горе такое? — добивался Долинскій.

Раздались рыданія менѣе сдержанныя.

— Не подать ли вамъ воды?

— Д... д... да... й... те,—судорожно захлебываясь, произнесла Юлочка.

Долинскій пошелъ въ другую комнату и вернулся съ свѣчою и стаканомъ воды.

— Погасите, пожалуйста, свѣчу, не могу смотрѣть, — простонала Юлія, не отнимая платка.

Долинскій дунулъ, и картина осталась опять при одномъ красномъ, фантастическомъ полусвѣтѣ.

— А, а, ахъ! — вырвалось изъ груди Юліи, когда она отпила полстакана и откинулась съ закрытыми глазами на спинку дивана.

— Вы успокойтесь,—проронилъ Долинскій.

— Могила меня одна успокоитъ, Несторъ Игнатьичъ.

— Зачѣмъ все представлять себѣ въ такомъ печальномъ свѣтѣ?

Юлія плакала тихо.

— Полжизни, кажется, дала бы, — говорила она тихо и не спѣша: — чтобъ только хоть годъ одинъ, хоть полгода... чтобъ только уйти отсюда, хоть въ омутъ какой-нибудь.

— Ну, что же, подождите, мы поищемъ вамъ мѣста. О чемъ же такъ плакать?

— Никуда меня, Несторъ Игнатьичъ, не пустятъ: нечего объ этомъ говорить, — произнесла, сдѣлавъ горькую гримасу, Юлія и, хлебнувъ глотокъ воды, опять откинулась на спинку дивана.

— Отчего же не пустятъ?

Юлія истерически засмѣялась и опять поспѣшно проглотила воды.

— Отъ любви... отъ нѣжной любви... къ... къ... арендной статьѣ, — произнесла она, прерывая свои слова порывами къ истерическому смѣху, и, выговоривъ послѣднее слово, захохотала.

Долинскій сорвался съ мѣста и бросился къ дверямъ въ столовую.

— Ос... останъ... останьтесь! — торопливо процѣдила заикаясь Юлія.

— Это такъ... нич... ничего. Позвольте мнѣ еще воды.

Долинскій принесъ изъ столовой другой стаканъ; Юлія выпила его залпомъ и приняла свое положеніе.

Минутъ десять длилась пауза. Долинскій тихо ходилъ по комнатѣ, Юлія лежала.

— Боже мой! Боже мой!—шептала она...—хоть бы...

— Чего вамъ такъ хочется? — спросилъ, остановившись передъ ней, Долинскій.

— Хоть бы будочникъ какой женился на мнѣ,—докончила Юлія.

— Какія вы нынче странности, Юлія Петровна, говорите!

— Что̀ жъ тутъ, Несторъ Игнатьичъ, страннаго? Я очень хорошо знаю, что на мнѣ ни одинъ порядочный человѣкъ не можетъ жениться, а другого выхода мнѣ нѣтъ... рѣшительно нѣтъ! — отвѣчала Юлія съ сильнымъ напряженіемъ въ голосѣ.

— Отчего же нѣтъ? и отчего, наконецъ, порядочный ч
ловѣкъ на васъ не женится?

— Отчего? Гм!. Оттого, Несторъ Игнатьичъ, что я н
щая. Мало нищая, я побирушка, христорадница, *лгун*
понимаете—*лгунья*, презрѣнная, гадкая *лгунья*. Вы знает
въ чемъ прошла моя жизнь?—въ лганьѣ, въ нищебродств
въ вымаливаньи. Вы не сумѣете такъ поцѣловать сво
невѣсты, какъ я могу перецѣловать руки всѣхъ откупщ
ковъ... пусть только даютъ хоть по... пяти цѣлковыхъ.

— О, Господи! что это вы на себя за небылицы взв
дите,—говорилъ, сильно смущаясь, Долинскій.

— Что это васъ такъ удивляетъ! *Это мой честны*
трудъ; меня этому только учили; меня этому теперь учат
Вѣдь я же дочь! *Жизнью обязана;* помилуйте!

Вышла опять пауза. Долинскій молча ходилъ, что-то с
ображая и обдумывая.

— Теперь пилить меня замужествомъ!—начала какъ
сама съ собою полушопотомъ Юлія. — Ну, скажите, ну,
кого я пойду? Ну, я пойду! ну, давайте этого дурака! пус
хоть сейчасъ женится.

— Опять!

— Да что-жъ такое! я говорю правду.

— Хорошій и умный человѣкъ,—начала Юлочка:—ког
узнаетъ насъ, за сто верстъ обѣжитъ. Вѣдь мы *ложь*, м
Несторъ Игнатьичъ, самая воплощенная ложь! — говори
она, трепеща и приподнимаясь съ дивана. — Вѣдь у на
въ домѣ все лжетъ, на каждомъ шагу лжетъ. Мать м
лжетъ, я лгу, Викторина лжетъ, все лжетъ... мебель лжет
Вонъ, видите это кресло, вѣдь оно также лжетъ, Несто
Игнатьичъ! Вы, можетъ-быть, думаете, шелки или бархат
тамъ какіе закрыты этимъ чехломъ, а выйдетъ, что дерю
О, Боже мой, да я рѣшительно не знаю, право... Я да
удивляюсь, неужто мы вамъ еще не гадки?

Долинскій постоялъ съ секунду и, ничего не отвѣтив
снова заходилъ по комнатѣ. Юлинька встала, вышла и ч
резъ нѣсколько минутъ возвратилась съ свѣчою и книгой

— Темно совсѣмъ; я думаю, скоро должны придти о
всенощной, — проговорила она и стала листовать книжк
съ очевиднымъ желаніемъ скрыть отъ матери и сестры св
горячую сцену и придать картинѣ самый спокойный х
рактеръ.

Она перевернула нѣсколько листковъ и съ болѣзненнымъ усиліемъ даже разсмѣялась.

— Послушайте, Несторъ Игнатьичъ, вѣдь это забавно—

Вообрази, я здѣсь одна,
Меня никто не понимаетъ;
Разсудокъ мой изнемогаетъ
И молча гибнуть я должна.

— Нѣтъ, это не забавно, — отвѣчалъ Долинскій, остановившись передъ Юлинькой.

— Вамъ жаль меня?

— Мнѣ прискорбна ваша доля.

— Дайте же мнѣ вашу руку,—попросила Юлинька, и на глазахъ ея замигали настоящія, искреннія, художественныя слезы.

Долинскій подалъ свою руку.

— И мнѣ жаль васъ, Несторъ Игнатьичъ. — Человѣку съ вашимъ сердцемъ плохо жить на этомъ гадкомъ свѣтѣ.

Юлочка быстро выпустила его руку и тихо заплакала.

— Я и не желаю жить очень хорошо.

— Да, вы святой человѣкъ! Я никогда не забуду, сколько вы мнѣ сдѣлали добра.

— Ничего ровно.

— Не говорите мнѣ этого, Несторъ Игнатьичъ. Зачѣмъ это говорить! Узнавши васъ, я только и поняла все... все хорошее и дурное, свѣтъ и тѣни, вашу чистоту, и... все собственное ничтожество...

— Полноте, Бога-ради!

— И полюбила васъ... не какъ друга, не какъ брата, а... (Долинскій совершенно смутился). Юлинька быстро схватила его снова за руку, еще сильнѣе сжала ее въ своихъ рукахъ и съ слезами въ голосѣ договорила: — а какъ моего нравственнаго спасителя, и теперь еще, можетъ быть въ послѣдній разъ, ищу у васъ, Несторъ Игнатьичъ, спасенія.

Юлинька встала, близко придвинулась къ Долинскому и сказала:

— Несторъ Игнатьичъ, спасите меня!

— Что вы хотите сказать этимъ? что я могу для васъ сдѣлать?

— Несторъ Игнатьичъ!.. Но вы вѣдь не разсердитесь, какая бы ни была моя просьба?

Долинскій сдѣлалъ головою знакъ согласія.

— Мы можемъ платить за уроки Викторины; вы не вѣрьте, что мы такъ бѣдны... а вы... не ходите къ намъ, оставьте насъ. Я васъ униженно, усердно прошу объ этомъ.

— Извольте, извольте, но зачѣмъ это нужно и какой предлогъ я придумаю?

— Какой хотите.

— И для чего?

— Для моего спасенія, для моего *счастія. Для моего счастія*,—повторила она и засмѣялась сквозь слезы.

— Не понимаю!—произнесъ, пожавъ плечами, Долинскій.

— И не нужно,—сказала Юлія.

— Я васъ стѣсняю?

— Да, Несторъ Игнатьичъ, вы создаете мнѣ новыя муки. Ваше присутствіе увеличиваетъ мою борьбу—ту борьбу, которой не должно быть вовсе. Я должна идти, какъ ведетъ меня моя судьба, не раздумывая и не оглядываясь.

— Что̀ это за загадки у васъ сегодня?

— Загадки! Отъ нищенки благодѣтели долгъ требуютъ.

— Ну-съ!

— Я вѣдь вотъ говорила, что я привыкла цѣловать откупщичьи руки... ну, а теперь одинъ благодѣтель хочетъ пріучить меня цѣловать его самого. Кажется, очень просто и естественно... Подросла.

— Ужасно!.. Это ужасно!

— Несторъ Игнатьичъ, мы нищіе.

— Ну, надо работать... лучше отказать себѣ во всемъ.

— Вы забываете, Несторъ Игнатьичъ, что мы *ничего* не умѣемъ дѣлать и *ни въ чемъ* не желаемъ себѣ отказывать.

— Но ваша мать, наконецъ!

— Мать! Моя мать твердитъ, что я *обязана ей жизнію* и должна заплатить ей за то, что она выучила меня побираться и... да, наконецъ, вѣдь она же не слѣпа, въ самомъ дѣлѣ, Несторъ Игнатьичъ! вѣдь она жъ видитъ, въ какія меня ставятъ положенія.

Долинскій заходилъ по комнатѣ и вдругъ, круто повернувъ къ Юлинькѣ, произнесъ твердо:

— Вы бы хотѣли быть моею женою?

— Я? — какъ бы не понявъ и оторопѣвъ переспросила Юлинька.

— Ну, да; я васъ откровенно спрашиваю: лучше было бы вамъ, если бы вы теперь были моею женою?

— Вашей женой! твоей женой! Это *ты* говоришь *мнѣ!* Ты — мое божество, мой геній хранитель! Не смѣйся, не смѣйся надо мною!

— Я не смѣюсь,—отвѣчалъ ей Долинскій.

Юлинька взвизгнула, упала на его грудь, обняла его за шею и тихо зарыдала.

— Тсс, господа! господа!—заговорилъ за спиною Долинскаго подхалимственный голосъ Аксиньи Тимоѳеевны, которая, какъ выпускная кукла по пружинкѣ, вышла какъ разъ на эту сцену въ залу.—Ставни не затворены,—продолжала она въ мягко-наставительномъ тонѣ:—подъ окнами еще народъ слоняется, а вы этакъ... Нехорошо такъ неосторожно дѣлать, — прошептала она какъ нельзя снисходительнѣе и опять исчезла.

Несмотря на то, что дипломатическая Юлочка, разыгрывая въ первый разъ и безъ репетиціи новую сцену, чуть не испортила свою роль перебавленнымъ театральнымъ эффектомъ, Долинскій былъ совершенно обманутъ. Сконфуженный неожиданнымъ страстнымъ порывомъ Юлочки и еще болѣе неожиданнымъ явленіемъ Аксиньи Тимоѳеевны, онъ вырвался изъ горячихъ Юлочкиныхъ объятій и прямо схватился за шапку.

— Боже мой! Аксинья Тимоѳеевна все видѣла! Она первая сплетница, она всѣмъ все разболтаетъ,—шептала между тѣмъ, стоя на прежнемъ мѣстѣ, Юлочка.

— Что-жъ такое? это все равно,—пробурчалъ Долинскій.—Прощайте.

— Куда же вы? Куда ты! Подожди минутку.

— Нѣтъ, прощайте.

Долинскій ничего не слушалъ и убѣжалъ домой.

По выходѣ Долинскаго Юлинька возвратилась назадъ въ залъ, остановилась среди комнаты, заложила за затылокъ руки, медленно потянулась и стукнула каблучками.

— Вотъ ужъ именно, что можно чести приписать,—заговорила, тихо выползая изъ темной комнаты, Аксинья Тимоѳеевна.

Юлочка нервно вздрогнула и сердито оторвала:

— Фу, какъ вы всегда перепугаете съ своимъ ползаньемъ!

— Однако, сдѣлайте же ваше одолженіе: что̀ же онъ обо мнѣ подумаетъ?—говорила Юлинькѣ ночью матроска, выслушавъ отъ дочери всю сегодняшнюю вечернюю исторію въ сокращенномъ разсказѣ.

— А вамъ очень нужно что̀ онъ о васъ подумаетъ?—отвѣчала презрительно, смотря черезъ плечо на свою мать, Юлинька.

— Нужно или не нужно, но вѣдь я же, однако, не торгую моими дѣтьми.

— Не торгуете! Молчите ужъ, пожалуйста!

— Торгую!—крикнула азартно матроска.

— Ну, такъ *заторгуете*, если будете глупы,—отвѣчала спокойно Юлія.

Однимъ словомъ, Долинскій сталъ женихомъ и извѣстилъ объ этомъ сестру.

«Да спасетъ тебя Господь Богъ отъ такой жены,—отвѣчала Долинскому сестра.—Какъ ты съ ними познакомился? Я знаю эту фальшивую, лукавую и безсердечную дѣвчонку. Она вся ложь, и ты съ нею никогда не будешь счастливъ».

Долинскому въ первыя минуты показалось, что въ словахъ сестры есть что-то основательное, но потомъ показалось опять, что это какое-нибудь провинціальное предубѣжденіе. Онъ не хотѣлъ скрывать это письмо и показалъ его Юлинькѣ; та прочла все отъ строки до строки съ спокойнымъ, яснымъ лицомъ, и, кротко улыбнувшись, сказала:

— Вотъ видишь, въ какомъ свѣтѣ я должна была казаться. Вѣрь чему хочешь,—добавила она со вздохомъ, возвращая письмо.

«Не умѣю высказать, какъ я рада, что могу тебѣ послать доказательство, что̀ такое твоя невѣста,—писала Долинскому его сестра черезъ недѣлю.—Вдобавокъ ко всему она вѣчно была эффектница и фантазерка и вотъ провралась самымъ достойнымъ образомъ. Прочитай ея собственное письмо и, ради всего хорошаго на свѣтѣ, Бога ради не дѣлай несчастнаго шага».

При письмѣ сестры было приложено другое письмецо Юлиньки къ той самой пріятельницѣ, которая всегда служила для нея помойной ямой.

«Я, наконецъ, выхожу замужъ,—писала Юлинька между

прочимъ.—Моя нѣжная родительница распорядилась всѣмъ по своему обыкновенію и сама и безъ моего вѣдома дала за меня слово, не считая нисколько нужнымъ спросить мое сердце. Черезъ мѣсяцъ, для блага матери и сестры, я буду *madame Долинская*. Будущій мужъ мой человѣкъ очень неглупый и на хорошей дорогѣ; но ужасно не развитъ и мы съ нимъ не пара ни по чему. Живя съ нимъ, я буду исполнять мой долгъ и недостатокъ любви замѣню заботою о его развитіи, но жизнь моя будетъ, конечно, одно сплошное страданіе. Любить его, увы, я, разумѣется, не могу. Какъ я понимаю любовь, такъ любятъ одинъ разъ въ жизни; но... я, можетъ-быть, привыкну къ нему и помирюсь съ грустной необходимостью. Моя вся жизнь, вѣрно, жертва и жертва—и кому? Что онъ? Что видитъ въ немъ моя мать и почему предпочитаетъ его всѣмъ другимъ женихамъ, которые мнѣ здѣсь надоѣдаютъ, и между которыми есть люди очень богатые, просвѣщенные и съ прекраснымъ свѣтскимъ положеніемъ? Я просто не умѣю понять ничего этого и иду яко овца на закланіе».

Долинскій запечаталъ это письмо и отослалъ его Юлинькѣ; та получила его за обѣдомъ, и какъ взглянула, такъ и остолбенѣла.

— Что это?—спросила ее матроска, поднося къ своимъ рачьимъ глазамъ упавшее на полъ письмо. «Милая Устя!»—прочла она, и сейчасъ же воскликнула:—А! вѣрно, опять романтическія сочиненія!

— Оставьте!—крикнула Юлинька и, вырвавъ изъ рукъ матери письмо, торопливо изорвала его въ лепесточки.

— Да ужъ это такъ! Героиня!

Юлинька накинула на себя капотъ и шубку.

— Куда?!—крикнула матроска.—Къ милому? обниматься? Теперь прости, молъ, голубчикъ!

— А хоть бы и обниматься!—отвѣчала, проходя, Юлинька, и исчезла за дверью.

— Ты у меня, Викторина, смотри!—заговорила, стуча ладонью по столу, матроска.—Если еще ты, мерзавка, будешь похожа на эту змѣю, я тебя, шельму, пополамъ перерву. На одну ногу стану, а другую оторву.

Викторина молчала, а Юлинька въ это время именно обнималась.

— Это была шутка, я нарочно хотѣла попытать мою

глупенькую Устю, хотѣла узнать, что она скажетъ на такое вовсе непохожее на меня письмо; а онѣ, сумасшедшія, подняли такой гвалтъ и тревогу!—говорила Юлинька, весело смѣясь въ лицо Долинскому.

Потомъ она расплакалась, упрекала жениха въ подозрительности, довела его до того, что онъ же самъ началъ просить у нея прощенія, и потомъ она его, какъ слабое существо, простила, обняла, поцѣловала, и еще поцѣловала, и столь увлеклась своею добротою, что пробыла у Долинскаго до полуночи.

Матроска ожидала дочь и, несмотря на поздній для нея часъ, съ азартомъ вязала толстый шерстяной чулокъ. По сердитому стуку вязальныхъ прутиковъ и электрическому трепетанію сѣраго крысинаго хвоста, торчавшаго на матроскиной макушкѣ, видно было, что эта почтенная дама весьма въ тревожномъ положеніи. Когда у подъѣзда раздался звонокъ, она сама отперла дверь, впустила Юлочку, не сказавъ ей ни одного слова, вернулась въ залу, и только когда та прошла въ свою комнату, матроска не выдержала и тоже явилась туда за нею.

— Ну, что жъ?—спросила она, тяжело разсаживаясь на щупленькомъ креслицѣ.

— Пожалуйста, не рвите чехла; его ужъ и такъ болѣе чинить нельзя,—отвѣчала, мало обращая вниманія на ея слова, Юлія.

— Не о чехлахъ, сударыня, дѣло, а о васъ самихъ,—возвысила голосъ матроска, и крысиный хвостикъ закачался на ея макушкѣ.

— Пожалуйста, безпокойтесь обо мнѣ поменьше; это будетъ гораздо умнѣе.

— Да-съ, но когда жъ этотъ болванъ, наконецъ, рѣшится?

Юлинька помолчала и, спокойно свертывая косу подъ ночной чепецъ, тихо сказала:

— Дней черезъ десять можете потребовать, чтобы свадьба была немедленно.

Матроска, прищуривъ глаза, язвительно посмотрѣла на свою дочь и произнесла:

— Значитъ, ужъ спроворила, милая?

— Дѣлайте, что вамъ говорятъ,—отвѣтила Юлинька и, бросивъ на мать совершенно холодный и равнодушный

взглядъ, сѣла писать Устьѣ ласковое письмо о ея непростительной легковѣрности.

— Готовъ Максимъ и шапка съ нимъ,—ядовито проговорила, вставая и отходя въ свою комнату, матроска.

Черезъ мѣсяцъ Юлинька женила на себѣ Долинскаго, который, послѣ ночного посѣщенія его Юлинькой, уже не колебался въ выборѣ, что̀ ему дѣлать, и рѣшилъ, что сила воли должна заставить его загладить свое увлеченіе. Счастья онъ не ожидалъ и его не послѣдовало.

Мѣсяца медоваго у Долинскаго не было. Юлинька сдерживалась съ нимъ, но онъ все-таки не могъ долго заблуждаться и видѣлъ бѣду неминучую. А между тѣмъ Юлинька никакъ не могла полюбить своего мужа, потому что женщины ея закала не терпятъ, даже презираютъ въ мужчинахъ характеры искренніе и добрые, и эффектный порокъ для нихъ гораздо привлекательнѣе; а о томъ, чтобы щадить мужа, хоть не любя, но уважая его, Юлинька, конечно, вовсе и не думала: окончивъ одну комедію, она бросалась за другою и входила въ свою роль. Мать и сестру она оставила при себѣ, находя, что этакъ будетъ приличнѣе и экономнѣе. Викторина, дѣйствительно, была полезна въ домѣ, а матроска нужна. Первыя слезы Юлиньки пали на сердце Долинскаго за визиты ея родственникамъ и благодѣтелямъ, которыхъ Долинскій не хотѣлъ и видѣть. Матроска влетѣла и ощипала Долинскаго какъ мокраго пѣтуха.

— Этакъ, милостивый государь, съ своими женами одни мерзавцы поступаютъ!—крикнула она, не говоря худого слова, на зятя. (Долинскій сразу такъ и оторопѣлъ. Онъ сроду не слыхивалъ, чтобы женщина такъ выражалась).—Вашъ долгъ показать людямъ,—продолжала матроска:—какъ вы уважаете вашу жену, а не поворачиваться съ нею какъ воръ на ярмаркѣ. Что̀, вы стыдитесь моей дочери, или она вамъ не пара?

— Я думаю, мой долгъ жить съ женою дружески, а не стараться кому-нибудь это показывать. Не все ли равно, кто что̀ о насъ думаетъ?

— Покорно васъ благодарю! покорнѣйше-съ васъ благодарю-съ!—замотавъ головою разъярилась матроска.—Это значитъ—вамъ все равно, что̀ моя дочь, что̀ Любашка.

— Какая такая Любашка?

— Ну, что̀ бѣлье вамъ носила; думаете—не знаю?

— Фу, какая грязь!

— Да-съ! А вы бы, если вы человѣкъ такихъ хорошихъ правилъ, такъ не торопились бы до свадьбы-то въ правомужа вступать, такъ это лучше бы-съ было, честнѣе. А тебѣ, дурѣ, ништо, ништо, ништо,—оборотилась она къ дочери.—Рюмь, рюмь теперь, а вотъ, погоди немножко, как корсажи-то въ платьяхъ придется разставлять, такъ и со всѣмъ тебя будетъ прятать.

Долинскій вскочилъ и послалъ за каретой. Юлинька дѣлала визиты съ заплаканными глазами, и своимъ угнетеннымъ видомъ ставила мужа въ положеніе весьма странное и неловкое. Въ откупномъ мірѣ матроскиныхъ благодѣтелей Долинскій не понравился.

— Какой-то совсѣмъ неискательный,—отозвался о немъ главный благодѣтель, котораго Юлинька поклепала ухаживаніемъ за нею.

Матроска опять дала зятю встрепку.

— Своихъ отряхъ, учителишекъ, умѣете примѣчать, а людей, которые всей вашей семьѣ могутъ быть полезны, отталкиваете,—наступала она на Долинскаго.

Юлинька въ глаза всегда брала сторону мужа и просила его не обращать вниманія на эти грубыя выходки грубой женщины. Но на самомъ дѣлѣ каждый изъ этихъ маневровъ всегда производился по непосредственной иниціативѣ и подробнѣйшимъ инструкціямъ самой Юлиньки. По ея соображеніямъ, это былъ хорошій и вѣрный методъ обезличить кроткаго мужа, насколько нужно, чтобы распоряжаться по собственному усмотрѣнію, и въ то же время довести свою мать до совершенной остылицы мужу и въ удобную минуту немножко попустить его, такъ, чтобы не она, а *онъ* бы выгналъ матроску и Викторинушку изъ дома. Роды перваго ребенка показали Юліи, что мужъ ея уже обшколенъ весьма удовлетворительно, и что теперь она сама, безъ материнскаго посредства, можетъ обращаться съ нимъ какъ ей угодно. Дней черезъ двѣнадцать послѣ родовъ, она вышла съ сестрою изъ дома, гуляла очень долго, наѣлась султанскихъ финиковъ и, возвратясь, заболѣла. Тутъ у нея въ этой болѣзни оказались виноватыми всѣ, кромѣ ея самой: мать, что не удержала; акушерка — что не предупредила, и мужъ, должно-быть, въ томъ, что не вернулъ ее домой за ухо.

— Я же чѣмъ виноватъ?—говорилъ Долинскій.

— Вы ничѣмъ не виноваты!.. — крикнула Юлинька. — А вы съѣздили къ акушеру? разспросили вы, какъ держаться женѣ? посовѣтовались вы... прочитали вы? да прочитали вы, напримѣръ, что-нибудь о беременной женщинѣ? вообще позаботились вы? позаботились? Кому-съ, я васъ спрашиваю, за всѣмъ этимъ обязана?

— Чѣмъ?—удивлялся мужъ.

— Чѣмъ?.. Ненавистный человѣкъ! Еще онъ спрашиваетъ: *чѣмъ?..* Только съ нѣжностями своими противными умѣетъ лѣзть, а удержать жену отъ неосторожности — не его дѣло.

— Я полагаю, что это всякая женщина сама знаетъ, что черезъ двѣ недѣли послѣ родовъ нельзя дѣлать такихъ прогулокъ,—отвѣчалъ Долинскій.

— Это у васъ, ваши кіевскія тихони все знаютъ, а я ничего не знала. Если бъ я знала болѣе, такъ вы, навѣрно, со мною не сдѣлали бы всего, что̀ хотѣли.

— Ого-го-го! Забыли, видно, батюшка, ваши благородныя дѣянія-то!—подхватила изъ другой комнаты матроска.

— Ахъ, убирайтесь вы всѣ вонъ!—закричала Юлія.

Долинскій махалъ рукою и уходилъ къ себѣ въ конурку, отведенную ему для кабинета.

Автономіи его рѣшительно не существовало, и жизнь онъ велъ прегорькую-горькую. Дома онъ сидѣлъ за работою, или выходилъ на уроки, а не то, такъ, или сопровождалъ жену, или занималъ ея гостей. Матроска и Юлинька, какъ тургеневская помѣщица, были твердо увѣрены, что супруги

Не другъ для друга созданы:
Нѣтъ—*мужъ устроенъ для жены*,

и ни для кого больше, ни для міра, ни для себя самого даже. Товарищей Долинскаго принимали холодно, небрежно и, наконецъ, даже часто вовсе не принимали. Новыя знакомства, завязанныя Юлинькою съ разными тонкими цѣлями, не нравились Долинскому, тѣмъ болѣе, что ради этихъ знакомствъ его заставляли быть «искательнымъ», что̀ вовсе было и не въ натурѣ Долинскаго и не въ его правилахъ. Къ тому же, Долинскій очень хорошо видѣлъ, какъ эти новые знакомые часто безцеремонно третировали его жену и даже нерѣдко въ глаза открыто смѣялись надъ его тещей; но ни остановить чужихъ, ни обрезонить своихъ

онъ рѣшительно не умѣлъ. А матроскѣ положительно везло въ гостиной; что она ни станетъ разсказывать своихъ аристократическихъ связяхъ — все выходитъ к кимъ-то нелѣпѣйшимъ вздоромъ, и къ тому же, въ этом же самомъ разговорѣ вздумавшая аристократничать м троска, какъ нарочно, стеариновую свѣчу назоветъ *стерл новою*, вмѣсто сиропа—*суропъ*, вмѣсто камфина—*канхин* Съѣздила матроска одинъ разъ въ театръ и послѣ цѣль годъ разсказывала, что она была въ театрѣ на *Эспанском дворянинѣ;* желая похвалиться, что ея Петрушу примут въ училище Правовѣдѣнія, она говорила, что его примут въ училище *Праловѣдѣнія*, и тому подобное, и тому по добное.

Прошелъ еще годъ, Долинскій совсѣмъ сталъ неузна ваемъ. «Брошу», рѣшалъ онъ себѣ не разъ послѣ трепок за неискательность и недостатокъ средствъ удовлетворенік расширявшихся требованій Юліи Петровны, но тутъ же опять вставалъ у него вопросъ: «а гдѣ же твердая воля мужчины?» Да въ томъ-то и будетъ твердая воля, чтобы освободиться изъ этой уничтожающей среды, рѣшалъ онъ, и сейчасъ же опять запрашивалъ себя: развѣ болѣе воли нужно, чтобъ уйти, чѣмъ съ твердостью и достоинствомъ выносить свое тяжкое положеніе? А между тѣмъ, явился другой ребенокъ. Долинскій, въ качествѣ отца двухъ дѣтей, сталъ подвергаться сугубому угнетенію и, наконецъ, не выдержалъ и собрался ѣхать съ письмами жениныхъ благодѣтелей въ Петербургъ. Долинскій собрался скоро, торопливо, какъ бы боялся, что онъ останется, что его что-то задержитъ. Пріѣхавъ въ Петербургъ, онъ никуда не пошелъ съ письмами благодѣтелей, но освѣжился, одумался и въ откровенную минуту высказалъ все свое горе одному старому своему дѣтскому товарищу, земляку и другу, художнику Ильѣ Макаровичу Журавкѣ, человѣку очень доброму, пылкому, суетливому и немножко смѣшному.

— Одно средство, братецъ мой, вамъ другъ съ другомъ разстаться,—отвѣчалъ, выслушавъ его исповѣдь, Журавка.

— Это, Ильюша, легко, братъ, сказать.

— А сдѣлать еще легче.

Долинскій походилъ и въ раздумьѣ произнесъ:

— Не могу, какъ-то все это съ одной, будто, стороны такъ, а съ другой—опять.

— Пф! да брось, братецъ, брось, вотъ и вся недолга, ибо заплеснѣвѣешь, бабы ѣздить на тебѣ будутъ!—воскликнулъ Журавка.

Поживя мѣсяцъ въ Петербургѣ, Долинскій чувствовалъ, что, дѣйствительно, нужно собрать всю волю и уйти отъ людей, съ которыми жизнь мука, а не спокойный трудъ и не праздникъ.

— Ну, положимъ такъ,—говорилъ онъ:—положимъ, я бы и рѣшился, оставилъ бы жену, а дѣтей же какъ оставить?

— Дѣтей обезпечь, братецъ.

— Чѣмъ, чѣмъ, Илья Макарычъ?

— Деньгами, разумѣется.

— Да какія же деньги, гдѣ я ихъ возьму?

— Пф! хочешь десять тысячъ обезпеченія, сейчасъ, хочешь?

— Ну, ну, давай.

— Нѣтъ, ты говори коротко и узловато: хочешь или не хочешь?

— Да, давай, давай.

— Стало-быть, хочешь?

— Да ужъ, конечно, хочу.

— Идеть, и да будетъ тебѣ, яко же хощеши! Послѣзавтра у твоихъ дѣтей десять тысячъ обезпеченія, супругѣ давай на дѣтское воспитаніе, а самъ живи во славу Божію; ступай въ Италію, тамъ, братъ, итальяночки... уухъ, одними глазами такъ и вскипятитъ иная! Я тебѣ скажу, наши-то женщины, братецъ, вѣдь, если по правдѣ говорить, все-таки, вѣдь, дрянь.

— А я думаю, — говорилъ на другой день Долинскій Журавкѣ:—я думаю, точно ты правъ, надо, вѣдь, это дѣло покончить.

— Да какъ же, братецъ, не надо?

— То-то, я всю ночь продумалъ и...

— Ты, пожалуйста, ужъ лучше и не раздумывай.

Черезъ два дня въ рукахъ Долинскаго былъ полисъ на его собственную жизнь, застрахованную въ десять тысячъ рублей, и предложеніе редакціи одного большого изданія быть корреспондентомъ въ Парижѣ.

Долинскій, какъ всѣ несильные волею люди, старался исполнить свое рѣшеніе какъ можно скорѣе. Онъ перемѣнилъ паспортъ и уѣхалъ за границу. Во все это время

онъ ни малѣйшимъ образомъ не выдалъ себя женѣ; извѣщалъ ее, что онъ хлопочетъ, что ему даютъ очень выгодное мѣсто, и только въ день своего отъѣзда вручилъ Ильѣ Макаровичу конвертъ съ письмомъ слѣдующаго содержанія:

«Я, наконецъ, долженъ сказать вамъ, что я нашелъ себѣ очень выгодное мѣсто и отправляюсь къ этому мѣсту, не заѣзжая въ Москву. Главная выгода моего мѣста заключается въ томъ, что вы его никогда не узнаете, а если узнаете, то не можете меня болѣе мучить и терзать. Я васъ оставляю навсегда за вашъ дурной нравъ, жестокость и лукавство, которые мнѣ ненавистны и которыхъ я болѣе переносить не могу. Ссориться и браниться я не пріученъ, а на великодушіе, хотя бы даже въ далекомъ будущемъ, я не надѣюсь, и потому просто бѣгу отъ васъ. На случай моей смерти оставляю моему извѣданному другу полисъ страхового общества, которое уплатитъ моимъ дѣтямъ десять тысячъ рублей; а пока живъ, буду высылать вамъ на ихъ воспитаніе столько, сколько позволятъ мнѣ мои средства.

«Не выражаю вамъ никакихъ доброжелательствъ, чтобы вы не приняли ихъ за насмѣшку, но ручаюсь вамъ, что не питаю къ вамъ, ни къ вашему семейству ни малѣйшей злобы. Я хочу только, чтобы мы, какъ люди совершенно несходныхъ характеровъ и убѣжденій, не мѣшали другъ другу, и вы сами вскорѣ увидите, что для васъ въ этомъ нѣтъ рѣшительно никакой потери. Я знаю, что я неспособенъ ни состроить себѣ служебную карьеру, ни нажить денегъ, съ которыми можно бы не нуждаться. Вы ошиблись во мнѣ, я — въ васъ. Не будемте безполезно упрекать ни себя, ни другъ друга, и простимтесь, утѣшая себя, что передъ нами раскрывается снова жизнь, если и не счастливая, то, по крайней мѣрѣ, не лишенная того высшаго права, которое называется свободою совѣсти и которое, къ несчастію, люди такъ мало уважаютъ другъ въ другѣ».

«Н. Долинскій».

С.-Петербургъ.

Такъ покончилась семейная жизнь человѣка, встрѣченнаго Дорушкою уже послѣ четырехлѣтняго его житья въ Парижѣ.

Въ Россію Долинскій еще боялся возвращаться, потому что даже и изъ-за границы ему два или три раза приводилось давать въ посольствѣ непріятныя и тяжелыя объясненія по жалобамъ жены.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Главныя лица романа знакомятся ближе.

Продолжаемъ прерванную повѣсть.

Домъ, въ которомъ Анна Михайловна съ своею сестрою жила въ Парижѣ, былъ изъ новыхъ домовъ Rue de l'Ouest. Въ немъ съ улицы не было воротъ, но тотчасъ, перешагнувъ за его красиво-отдѣланныя, тяжелыя двери, открывался маленькій дворикъ, почти весь занятый большою цвѣточною клумбою; направо была красивенькая клѣтка, въ которой жила старая concierge, а налѣво дверь и легкая спиральная лѣстница. Черезъ два дня послѣ свиданія съ Прохоровыми, Долинскій съ несовсѣмъ довольнымъ лицомъ медленно взбирался по этой ажурной лѣстницѣ и позвонилъ у одной двери въ третьемъ этажѣ. Его ввели черезъ небольшой коридорчикъ въ очень просторную и хорошо меблированную комнату, передѣленную густою шерстяною драпировкою.

По комнатѣ, на диванѣ и на стульяхъ, лежали кучи лентъ, цвѣтовъ, синели, рюшу и разной галантерейщины; на столѣ были набросаны выкройки и узоры, передъ которыми, опустивъ въ раздумьѣ голову, стояла сама хозяйка. Немного нужно было имѣть проницательности, чтобы отгадать, что Анна Михайловна стоитъ въ этомъ положеніи не одну минуту, но что не узоры и не выкройки занимаютъ ея голову.

При входѣ Долинскаго, Анна Михайловна покраснѣла, какъ институтка, и сказала:

— Ахъ, извините Бога ради, у насъ такой ералашный безпорядокъ.

Долинскій ничего не отвѣтилъ на это, но, взглянувъ на Анну Михайловну, только подумалъ: «а какъ она дивно хороша, однако».

Анна Михайловна была одѣта въ простое коричневое платье съ высокимъ лифомъ подъ душу, и ея черные волосы были гладко причесаны за уши. Этотъ простой уборъ, впрочемъ, шелъ къ ней необыкновенно и прекрасная наружность Анны Михайловны, дѣйствительно, могла бы остановить на себѣ глаза каждаго.

— Пожалуйста, садитесь, сестры дома нѣтъ, но она

сейчасъ должна вернуться, — говорила Анна Михайловна, собирая со стола свои узоры.

— Я, кажется, совсѣмъ не во́-время?—началъ Долинскій.

— А, нѣтъ! Вы, пожалуйста, не обращайте на это вниманія, мы вамъ очень рады.

Долинскій поклонился.

— Дорушка еще вчера васъ поджидала. Вы курите?

— Курю, если позволите.

— Сдѣлайте милость.

Долинскій зажегъ папироску.

— Дора все не дождется, чтобы помириться съ вами,— начала хозяйка.

— Это, если я отгадываю, все о луврской еще встрѣчѣ?

— Да, сестра моя ужасно сконфужена.

— Это пресмѣшной случай.

— Ахъ, она такая...

— Непосредственная, кажется, — подсказалъ, улыбаясь, Долинскій.

— Даже черезчуръ иногда, — замѣтила снисходительно Анна Михайловна.—Но вы не повѣрите, какъ ей совѣстно, что̀ она надѣлала.

Долинскій хотѣлъ отвѣтить, что объ этомъ даже и говорить не сто̀итъ, но въ это время послышался колокольчикъ и звонкій контральтъ запѣлъ въ коридорчикѣ:

Если жизнь тебя обманетъ,
Не печалься, не сердись.
Въ день несчастія смирись,
День веселья, вѣрь, настанетъ.

— Вотъ и она,—сказала Анна Михайловна.

На порогѣ показалась Дорушка въ легкомъ бѣломъ платьѣ съ своими оригинальными красноватыми кудрями, распущенными по волѣ, съ снятой съ головы соломенной шляпой въ одной рукѣ и съ картонкой въ другой.

— А-а!—произнесла она протяжно при видѣ Долинскаго и остановилась у двери.

Гость всталъ съ своего мѣста.

— Стар... Стар... нѣтъ, все не могу выговорить вашего имени.

— Несторъ,—произнесъ, разсмѣявшись, Долинскій.

— Да, да, есть Несторъ-лѣтописецъ.

— То-есть—былъ; но это во всякомъ случаѣ не я.

— Я это ужъ сообразила, что вы, должно-быть, совершенно отдѣльный, особенный Несторъ. Ахъ, Несторъ Игнатьичъ, я передъ вами на колѣни сейчасъ опущусь, если вы меня не простите.

— Помилуйте, вы только заставляете меня краснѣть отъ этихъ вашихъ просьбъ.

— О, если вы это безъ шутокъ говорите, то вы просто покорите мое сердце своею добродѣтелью.

— Увѣряю васъ, что я ужъ забылъ объ этомъ.

— Въ такомъ случаѣ, Полканушка, дай лапу.

Анна Михайловна неодобрительно качнула головою, на что не обратили вниманія ни Долинскій, ни Дорушка, крѣпко и весело сжимавшіе поданныя другъ другу руки.

— А моя сестра ужъ, вѣрно, морщится, что мы дружимся, — проговорила Дора, и, взглянувъ въ лицо сестры, добавила: — такъ и есть, вотъ удивительная женщина, никогда она, кажется, не будетъ вѣрить, что я знаю, что̀ дѣлаю.

— Ты знала, что̀ дѣлала, и тогда, когда разсуждала о monsieur Долинскомъ.

— Это въ первый разъ случилось, но, впрочемъ, вотъ видишь, какъ все хорошо вышло: теперь у меня есть русскій другъ въ Парижѣ. Вѣдь, мы друзья, правда?

— Правда,—отвѣчалъ Долинскій.

— Вотъ видишь, Аня. Я говорю, что всегда знаю, что̀ я дѣлаю. Я женщина практичная — и это правда. Вы хотите мароновъ?—спросила она Долинскаго, опуская въ карманъ руку.

— Нѣтъ-съ, не хочу.

— Тепленькіе совсѣмъ еще.

— Все-таки покорно васъ благодарю.

— Зачѣмъ ты покупаешь эту дрянь, Дора?—вмѣшалась Анна Михайловна.

— Я совсѣмъ ихъ не покупаю, это мнѣ какой-то французъ подарилъ.

— Какой это у тебя еще французъ завелся?

— Не знаю, глупый, должно-быть, какой-то, далеко-далеко меня провожалъ и все глупости какія-то вретъ. Завтракать съ собой звалъ, а я не пошла, велѣла себѣ тутъ, на этомъ углу, въ лавочкѣ, мароновъ купить и пожелала ему счастливо оставаться на улицѣ.

— Вотъ видите, какъ она знаетъ, что дѣлать, — про
цесла Анна Михайловна.—Только того и ждешь, что на
титъ на какую-нибудь исторію.

— Пустяки это, съѣдомое всегда можно брать, особе
у француза.

— Почему же особенно у француза?

— Потому что онъ, во-первыхъ, глупъ, а, во-вторы
это ему удовольствіе доставляетъ.

— И тебѣ тоже?

— Нѣкоторое.

— А если этотъ французъ тебѣ сдѣлаетъ дерзость?

— Не смѣетъ.

— Отчего же не смѣетъ?

— Такъ, не смѣетъ—да и только. Вы давно за гра
цею?—обратилась она опять къ Долинскому.

— Скоро четыре года.

— Ой, ой, ой, это одурѣть можно.

Анна Михайловна засмѣялась и сказала:

— Вы ужъ, monsieur Долинскій, теперь насъ извиня
за выраженія; мы, какъ видите, скоро дружимся и, под
жившись, всѣ церемоніи сразу въ сторону.

— Сразу,—серьезно подтвердила Дора.

— Да, у насъ съ Дарьей Михайловной все вдругъ
лается. Я того и гляжу, что она когда-нибудь пойд
два аршина лентъ купить, а мимоходомъ зайдетъ
церковь, да съ кѣмъ-нибудь обвѣнчается и вернется
мужемъ.

— Нѣтъ-съ, этого, душенька, не случится, — отвѣча
сморщивъ носикъ, Дора.

— Охъ, а все-таки что-то страшно,—шутила Анна
хайловна.

— Во-первыхъ, — выкладывала по пальцамъ Дора: —
мнѣ никогда никто не женится, потому что по множес
разныхъ пороковъ я неспособна къ семейной жизни, а,
вторыхъ, я и сама ни за кого не пойду замужъ.

— Какое суровое рѣшеніе!—произнесъ Долинскій.

— Самое гуманное. Я знаю, что я дѣлаю; не безпок
тесь. Я увѣрена, что я въ полгода или бы уморила
его мужа, или бы умерла сама, а я жить хочу—жить, ж
и пѣть.

Дорушка подняла вверхъ ручку и пропѣла:

Золотая волюшка мнѣ милѣй всего.
Не надо мнѣ съ волею въ свѣтѣ ничего.

— Вотъ,—начала она: — я почти такъ же велика, какъ Шекспиръ. У него Гамлетъ говоритъ, чтобъ никто не женился, а я говорю—пусть никто не выходитъ замужъ. Совершенно справедливо, что если выходить замужъ, такъ надо выходить за дурака, а я дураковъ терпѣть не могу.

— Почему же непремѣнно за дурака? — спросилъ Долинскій.

— А потому, что умные люди больше не будутъ жениться.

— Триста лѣтъ близко, какъ нашъ Гамлетъ положилъ зарокъ людямъ не жениться, а видите, все люди и женятся, и замужъ выходятъ.

— Ну, да, все потому, что люди еще очень глупы, потому что посвистываетъ у нихъ въ лбахъ-то,—резонировала Дора.—Умный человѣкъ всегда знаетъ, что̀ онъ дѣлаетъ, а дураки—дураки всегда охотники жениться. Вѣдь, вы вотъ, полагаю, не женитесь?

— Нѣтъ-съ, не женюсь,—отвѣчалъ, немного покраснѣвъ, Долинскій.

— А-а, то-то и есть. Даже вонъ въ краску васъ бросило при одной мысли, а скажите-ка, отчего вы не женитесь? оттого, что вы не хотите попасть въ дураки?

— Нѣтъ, оттого, что я женатъ,—еще болѣе покраснѣвъ и засмѣявшись, отвѣчалъ Долинскій.

Дорушка быстро откинулась, значительно закусила свою нижнюю губку и, вспрыгнувъ съ своего мѣста, юркнула за драпировку.

Долинскій обтиралъ выступившій у него на лбу потъ и смѣялся самымъ веселымъ, искреннимъ смѣхомъ. Анна Михайловна сидѣла совершенно переконфуженная и ворочала что-то въ своей рабочей корзинкѣ. Щеки ея до самыхъ ушей были покрыты густымъ пунцовымъ румянцемъ.

Секунды три длилась тихая пауза.

— Нѣтъ, это ужъ чортъ знаетъ что такое! — крикнула изъ-за драпировки Дорушка голосомъ, въ которомъ звучали и насилу сдерживаемый смѣхъ, и досада.

— Да, все это оттого, что ты всегда знаешь, что̀ ты дѣлаешь! — тихо проговорила съ упрекомъ Анна Михайловна.

Долинскій опять разсмѣялся и вслѣдъ затѣмъ послышался несдержанный смѣхъ самой Доры. Аннѣ Михайловнѣ тоже измѣнила ея физіономія, она улыбнулась и съ упрекомъ проронила:

— Чудо, какъ умно!

— Что жъ, *«чудо, какъ умно!»* — заговорила, появляясь между полами драпировки, смѣющаяся Дора.

— Очень умно,—повторила Анна Михайловна.

— Да развѣ же я виновата,—оправдывалась Дора:—что насталъ такой вѣкъ, что никакъ не наспасешься? Кто и знаетъ, какъ они такъ женятся, что это по нихъ незамѣтно! Ну, чего, ну, что это вы женились и не сказываете объ этомъ пріятномъ происшествіи? — обратилась она къ смѣющемуся Долинскому и сама расхохоталась снова.

— Да нѣтъ, это вы вышиваете, — продолжала она, махнувъ ручкой.

— Ну, не вѣрьте.

— И не вѣрю, — отвѣчала Дора. — Мнѣ даже этакъ удобнѣе.

— Что это, не вѣрить?

— Конечно; а то, Господи, что же это въ самомъ дѣлѣ за напасть такая! Опять бы надо во второй разъ передъ однимъ и тѣмъ же господиномъ извиняться. Не вѣрю.

— Да совершенно не въ чемъ-съ извиняться. Вы мнѣ только доставили искреннее удовольствіе посмѣяться, какъ я давно не смѣялся,—отвѣчалъ Долинскій.

Хозяйки, по-русски, оставили Долинскаго у себя отобѣдать, потомъ вмѣстѣ ходили гулять и продержали его до полночи. Дорушка была умна, рѣзва и весела. Долинскій не замѣтилъ, какъ у него прошелъ цѣлый день съ новыми знакомыми.

— Вы, Дарья Михайловна, бываете когда-нибудь и грустны?—спросилъ онъ ее, прощаясь.

— Ой, ой, и какъ еще!—отвѣчала за нее сестра.

— И тогда ужъ не смѣетесь?

— Черной тучею смотритъ.

— Грозна и величественна бываю. Приходите почаще, такъ я вамъ доставлю удовольствіе видѣть себя въ мрачномъ настроеніи, а теперь adieu, mon plaisir, спать хочу,— сказала Дорушка и, дружески взявъ руку Долинскаго, закричала портьеру: «откройте».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Кое-что о чувствахъ.

Прошелъ мѣсяцъ, какъ нашъ Долинскій познакомился съ сестрами Прохоровыми. Во все это время не было ни одного дня, когда бы они не видались. Ежедневно, аккуратно въ четыре часа, Долинскій являлся къ нимъ, и они вмѣстѣ обѣдали, вмѣстѣ гуляли, читали, ходили въ театры и на маленькіе балики, которые очень любила наблюдать Дора. Анна Михайловна, съ своими хлопотами о закупкахъ для магазина, часто уклонялась отъ такъ-называемаго Дорою «шлянья» и предоставляла сестрѣ мыкаться по Парижу съ однимъ Долинскимъ. Знакомство этихъ трехъ лицъ въ этотъ промежутокъ времени, дѣйствительно, перешло въ самую короткую и искреннюю дружбу.

— Чудо, какъ весело мы теперь живемъ! — восклицала Дора.

— Это правда, — отвѣчалъ необыкновенно повеселѣвшій Несторъ Игнатьевичъ.

— А все, вѣдь, мнѣ всѣмъ обязаны.

— Ну, конечно-съ, вамъ, Дарья Михайловна.

— Разумѣется; а не будь вы такой пентюхъ, все могло бы быть еще веселѣе.

— Что̀ жъ я, напримѣръ, долженъ бы дѣлать, если бъ не имѣлъ чина пентюха?

— Это вы не можете догадаться, что̀ бы вы должны дѣлать? Вы, милостивый государь, даже изъ вѣжливости должны бы въ которую-нибудь изъ насъ влюбиться, — говорила ему не разъ, расшалившись, Дорушка.

— Не могу,—отвѣчалъ Долинскій.

— Отчего это не можете? Какъ бы весело-то было, чудо?

— Да вотъ видѣть чудесъ-то я именно и боюсь.

— Э, лучше скажите, что просто у васъ, батюшка мой, вкуса нѣтъ,—шутила Дора.

— Ну, какъ тебѣ не стыдно, Дора, уши, право, вянутъ слушать, что̀ ты только врешь, — останавливала ее въ такихъ случаяхъ скромная Анна Михайловна.

— Стыдно, мой другъ, только красть, лѣниться да обманывать,—обыкновенно отвѣчала Дора.

Мрачное настроеніе духа, въ которомъ Дорушка, по ея собственнымъ словамъ, была *грозна* и *величественна*, во

все это время не приходило къ ней ни разу, но она иногда очень упорно молчала часъ и другой, и потомъ вдругъ разрѣшалась вопросомъ, показывавшимъ, что она все это время думала о Долинскомъ.

— Скажите мнѣ, пожалуйста, вы, въ самомъ дѣлѣ, женаты?— спросила она его однажды послѣ одного такого раздумья.

— Безъ всякихъ шутокъ,—отвѣчалъ ей Долинскій.

Дорушка пожала плечами.

— Гдѣ же теперь ваша жена?—спросила она опять послѣ нѣкоторой паузы.

— Моя жена? Моя жена въ Москвѣ.

— И вы съ ней не видались четыре года?

— Да, вотъ скоро будетъ четыре года.

— Что̀ жъ это значитъ? вы съ нею, вѣроятно, разошлись?

— Дора!—остановила Анна Михайловна.

— Что жъ тутъ такого обиднаго для Нестора Игнатьича въ моемъ вопросѣ? Дѣло ясное, что если люди по собственной волѣ четыре года кряду другъ съ другомъ не видятся, такъ они другъ друга не любятъ. Любя — нельзя другъ къ другу не рваться.

— У Нестора Игнатьича здѣсь дѣла.

— Нѣтъ, что жъ, Анна Михайловна, я, вѣдь, вовсе не вижу нужды секретничать. Вопросъ Дарьи Михайловны меня нимало не смущаетъ: я, дѣйствительно, не въ ладахъ съ моей женою.

— Какое несчастье, — проговорила съ искреннимъ участіемъ Анна Михайловна.

— И вы твердо рѣшились никогда съ нею не сходиться?—допрашивала, серьезно глядя, Дора.

— Скорѣе, Дарья Михайловна, земля сойдется съ небомъ, чѣмъ я съ своей женою.

— А она любитъ васъ?

— Не знаю; полагаю, что нѣтъ.

— Что жъ, она измѣнила вамъ, что ли?

— Дора! Ну, да что̀ жъ это, наконецъ, такое!—сказала, порываясь съ мѣста, Анна Михайловна.

— Не знаю я этого, и знать объ этомъ не хочу,—отвѣчалъ Долинскій:—какое мнѣ до нея теперь дѣло, она вольна жить какъ ей угодно.

— Значитъ, вы ее не любите?—продолжала съ прежнимъ спокойствіемъ Дорушка.

— Не люблю.

— Вовсе не любите?

— Вовсе не люблю.

— Это вамъ такъ кажется, или вы въ этомъ увѣрены?

— Увѣренъ, Дарья Михайловна.

— Почему жъ вы увѣрены, Несторъ Игнатьичъ?

— Потому, что... я ее ненавижу.

— Гм! ну, этого еще иногда бываетъ маловато, люди иногда и ненавидятъ, и презираютъ, а все-таки любятъ.

— Не знаю; мнѣ кажется, что даже и слова *ненавидѣть* и *любить* въ одно и то же время вмѣстѣ не вяжутся.

— Да, разсуждайте тамъ, вяжутся или не вяжутся; что̀ вамъ за дѣло до словъ, когда это случается на дѣлѣ; нѣтъ, а вы попробовали ли себя спросить, что̀ если бъ ваша жена любила кого-нибудь другого?

— Ну-съ, такъ что же?

— Какъ бы вы, напримѣръ, смотрѣли, если бы ваша жена цѣловала своего любовника, или... такъ, вышла, что ли бы, изъ его спальни?

— Дора! да ты, наконецъ, рѣшительно несносна! — воскликнула Анна Михайловна и, вставши съ своего мѣста, подошла къ окошку.

— Смотрѣлъ бы съ совершеннымъ спокойствіемъ,—отвѣчалъ Долинскій на послѣдній вопросъ Дорушки.

— Да, ну, если такъ, то это хорошо! Это, значитъ, дѣло капитальное,—протянула Дора.

— Но смѣшно только,—отозвалась съ своего мѣста Анна Михайловна: — что ты придаешь такое большое значеніе ревности.

— Гадкому чувству, которое свойственно только пустымъ, щепетильно-самолюбивымъ людишкамъ,—подкрѣпилъ Долинскій.

— Толкуйте, господа, толкуйте; а отчего, однако, это гадкое чувство переживаетъ любовь, а любовь не переживаетъ его никогда?

— Но, тѣмъ не менѣе, все-таки оно гадко.

— Да я же и не говорю, что оно хорошо; я только хотѣла пробовать имъ вашу любовь, и теперь очень рада, что вы не любите вашей жены.

— Ну, а тебѣ что̀ до этого? — укоризненно качая головою, спросила Анна Михайловна.

— Мнѣ? Мнѣ ничего, я за него радуюсь. Я вовсе не желаю ему несчастія.

— Какія ты сегодня глупости говорила, Дора,— сказала Анна Михайловна, оставшись одна съ сестрою.

— Это ты о Долинскомъ?

— Да, разумѣется. Почемъ ты знаешь, какая его жена? Можетъ-быть, она самая прекрасная женщина.

— Нѣтъ, этого не можетъ быть: онъ не такой человѣкъ, чтобы могъ бросить хорошую женщину.

— Да откуда ты его знаешь?

— Ахъ, Господи Боже мой, развѣ я дура, что ли?

— Ну, а Богъ его знаетъ, какой у него характеръ?

— Дѣтскій; да, впрочемъ, какой бы ни былъ, это ничего не значитъ: умъ и сердце у него хорошіе, — это все что нужно.

— Нѣтъ; а ты пресентиментальная особа, Аня,—начала, укладываясь въ постель, Дорушка. — У тебя все какъ бы такъ, чтобъ и волкъ наѣлся, и овца бъ была цѣлою.

— А, конечно, это всего лучше.

— Да, очень даже лучше, только, къ несчастію, вотъ досадно, что это невозможно. Ужъ ты повѣрь мнѣ, что его жена—волкъ, а онъ—овца. Въ немъ есть что-то такое до безпредѣльности мягкое, кроткое, этакое, знаешь, какъ будто жалкое, мужской умъ, чувства простыя и теплыя, а при всемъ этомъ онъ дитя,—правда?

— Да, кажется. Мнѣ и самой иногда очень жаль его почему-то.

— А, видишь! Мы—чужія ему, да намъ жаль его, а ей не жаль. Ну, что жъ это за женщина?

Анна Михайловна вздохнула.

— Страшный ты человѣкъ, Дора,—проговорила она послѣ минутнаго молчанія.

— Повѣрь, Аничка, — отвѣчала, приподнявшись съ подушки на локоть, Дора:—что вотъ этакое твое мягкосердечіе-то иной разъ можетъ заставить тебя сдѣлать болѣе несправедливости. А по-моему, лучше кого-нибудь спасать, чѣмъ надъ цѣлымъ свѣтомъ охать.

— Я живу сердцемъ, Дора, и, можетъ-быть, очень дурно увлекаюсь, но ужъ такая я родилась.

— А я развѣ не сердцемъ живу, Аня? — отвѣтила Дорушка и заслонила рукою свѣчку.

— А, вѣдь, онъ очень хорошъ, — сказала черезъ нѣсколько минутъ Дора.

— Да, у него довольно хорошее лицо, — тихо отвѣчала Анна Михайловна.

— Нѣтъ, онъ просто очаровательно хорошъ.

— Да, хорошъ, если хочешь.

— Какіе-то притягивающіе глаза,—произнесла послѣ короткой паузы Дора, щуря на огонь свои собственные глазки, и молча задула свѣчу.

— Люблю такія тихія, покорныя лица, — досказала она, ворочаясь впотьмахъ съ подушкой.

— Ну, что это, Дора, сто разъ повторять про одно и то же! Спи, сдѣлай милость,— отвѣчала ей Анна Михайловна

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Романъ чуть не прерывается въ самомъ началѣ.

Доходилъ второй мѣсяцъ знакомству Долинскаго съ Прохоровыми, и сестры стали собираться назадъ въ Россію. Долинскій помогалъ имъ въ ихъ сборахъ. Онъ сдалъ комиссіонеру всѣ покупки, которыя нужно было переслать Аннѣ Михайловнѣ черезъ всѣ таможенныя мытарства въ Петербургъ; даже помогалъ имъ укладывать чемоданы; самъ напрашивался на разныя мелкія порученія и вообще разставался съ ними, какъ съ самыми добрыми и близкими друзьями, но безъ всякой особенной грусти, безъ горя и досады. Отношенія его къ обѣимъ сестрамъ были совершенно ровны и одинаковы. Если съ Дорушкой онъ себя чувствовалъ нѣсколько веселѣе и самъ оживлялся въ ея присутствіи, зато каждое слово, сказанное тихимъ и симпатическимъ голосомъ Анны Михайловны, вѣяло на него какимъ-то невозмутимымъ, святымъ покоемъ, и Долинскій чувствовалъ силу этого спокойнаго вліянія Анны Михайловны не менѣе, чѣмъ энергическую натуру Доры.

Дорушка не заводила болѣе рѣчи о бракѣ Долинскаго, и только разъ, при какомъ-то разсказѣ о бракѣ, совершившемся изъ благодарности, или изъ какого-то другого весьма почтеннаго, но безстрастнаго чувства, сказала, что это ужъ изъ рукъ вонъ глупо.

— Но благородно,—замѣтила сестра.

— Да, знаешь, ужъ именно до подлости благородно, до самоубійства.

— Самопожертвованіе!

— Нѣтъ, Аня, — глупость, а не самопожертвованіе. Изъ самопожертвованія можно дать отрубить себѣ руку, отказаться отъ наслѣдства, можно сдѣлать самую безумную вещь, на которую нужна минута, пять, десять... ну, даже хоть сутки, но хроническое самопожертвованіе на цѣлую жизнь, нѣтъ-съ, это невозможно. Вотъ вы, Несторъ Игнатьичъ, тоже не изъ состраданія ли женились? — отнеслась она къ Долинскому.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ Долинскій, стараясь сохранить на своемъ лицѣ какъ можно болѣе спокойствія.

Анна Михайловна и Дорушка обѣ пристально на него посмотрѣли.

— Пожалуй, что и да, мой батюшка; отъ него и это могло статься, — произнесла нѣсколько комическимъ тономъ Дора.

Долинскій самъ разсмѣялся и сказалъ:

— Нѣтъ, право, нѣтъ, я не такъ женился.

За день до отъѣзда сестеръ изъ Парижа, Долинскій принесъ къ нимъ нѣсколько эстамповъ, вложенныхъ въ папку и адресованныхъ: *Ильѣ Макаровичу Журавкѣ, по 11-й линіи, домъ Клеменца.*

— Скажите, какой скромникъ! — воскликнула Дорушка, прочитавъ адресъ.—Скоро два мѣсяца знакомы и ни разу не сказалъ, что онъ знаетъ Илью Макаровича.

— Развѣ и вы его знаете?

— Кого? Журавку? это нашъ другъ,—отозвалась Анна Михайловна. — Я его кума, дѣтей его крестила. У насъ даже есть портреты его работы.

— Какъ же онъ мнѣ ничего не говорилъ о васъ?

— Изъ ревности,—вмѣшалась Дорушка.—Онъ, вѣдь, бѣдный Ильюша, влюбленъ въ Аню.

— Право?

— По уши.

Послѣдній день Долинскій провелъ у Прохоровыхъ съ самаго утра. Вмѣстѣ пообѣдавъ, они сѣли въ нѣсколько опустѣвшей комнатѣ, и всѣмъ имъ разомъ стало очень невесело.

— Ну, помните, дитя мое, все, чему я васъ учила,—пошутила Дорушка, гладя Долинскаго по головѣ.

— Слушаю-съ,—отвѣчалъ Долинскій.

— Не хандрите, работайте и самое главное—непремѣнно влюбитесь.

— Послѣдняго только, самаго-то главнаго, и не обѣщаю.

— Отчего?

— Смысла не вижу.

— Какой же вамъ надо смыслъ для любви? Развѣ любовь сама по себѣ не есть смыслъ,—смыслъ жизни.

— Я не могу любить, Дарья Михайловна, права не имѣю давать въ себѣ мѣста этому чувству.

— Это право принадлежитъ каждому живущему.

— Не совсѣмъ-съ. Напримѣръ, въ какой мѣрѣ можетъ пользоваться этимъ правомъ человѣкъ, обязанный жить и трудиться для своихъ дѣтей?

— А, такъ и эта прелесть есть въ вашемъ положеніи?

— У меня двое дѣтей.

— Да, это кое-что значитъ.

— Нѣтъ, это *очень много* значитъ, — отозвалась Анна Михайловна.

— Н-н-ну, не знаю, отчего такъ ужъ очень много. Можно любить и своихъ прежнихъ дѣтей, и женщину.

— Да, если бы любовь, которая, какъ вы говорите, сама по себѣ есть цѣль-то, или главный смыслъ нашей жизни, не налагала на насъ извѣстныхъ обязанностей.

— Что-то не совсѣмъ понятно.

— Очень просто! всей моей заботливости едва достаетъ для однихъ моихъ дѣтей, а если ее придется еще раздѣлить съ другими, то всѣмъ будетъ мало. Вотъ почему у меня и выходитъ, что нельзя любить, слѣдуетъ бѣжать отъ любви.

— Да это дико! это просто дико!

— И очень честно, очень благородно,—вмѣшалась Анна Михайловна.—Съ этой минуты, Несторъ Игнатьичъ, я васъ еще болѣе уважаю и радуюсь, что мы съ вами познакомились. Дора сама не знаетъ, что̀ она говоритъ. Лучше одному тянуть свою жизнь, какъ ужъ Богъ ее устроилъ, нежели видѣть около себя кругомъ несчастныхъ, да слышать упреки, видѣть страдающія лица. Нѣтъ, Боже васъ спаси отъ этого!

— Нѣтъ, извините, господа, это вы-то, кажется, не знаете, что̀ говорите! Любовь, деньги, обезпеченія... фу, какой противоестественный винегретъ! Все это очень умно,

звучно, чувствительно, а самое главное то, что все это ce sont des пустяки. Кто ведетъ свои дѣла умно и рѣшительно, тотъ все это отлично уладитъ, а вы, милашечки мои, сами неудобь какая-то, оттого такъ и разсуждаете.

— Дарья Михайловна смотритъ на все очень ужъ молодо, смѣло черезчуръ, снисходительно,—проговорилъ Долинскій, относясь къ Аннѣ Михайловнѣ.

— Крылышки у нея еще не помяты,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Именно; а пуганая ворона, какъ говоритъ пословица, и куста боится.

— Вотъ, вотъ, вотъ! Это—самое лучшее средство разрѣшать себѣ все пословицами, то-есть чужимъ умомъ! Ну, и поздравляю васъ, и оставайтесь вы при своемъ, что *вороны куста боятся*, а я буду при томъ, что *соколу лѣсъ не страшенъ*. Вѣдь, это тоже пословица.

Долинскій простился съ Прохоровыми у вагона сѣверной желѣзной дороги и они дали слово иногда писать другъ другу.

— Прощайте, пуганая ворона!—крикнула изъ окна Дорушка, когда вагоны тронулись.

— Летите, летите, мой смѣлый соколъ.

Посмотрѣвъ вслѣдъ уносившемуся поѣзду, Долинскій обернулся, и въ эту минуту особенно тяжко почувствовалъ свое одиночество, почувствовалъ его сильнѣе, чѣмъ во всѣ протекшіе четыре года. Не тихая тоска, а какое-то зло на свое сиротство, желчная раздражительная скука охватила его со всѣхъ сторонъ. Онъ заѣхалъ на старую квартиру Прохоровыхъ, чтобы взять оставленныя тамъ книги, и пустыя комнаты, которыя мела француженка, окончательно его сдавили; ему стало еще хуже. Долинскій зашелъ въ кафе, выпилъ два грога и, возвратясь домой, заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Опять онъ оставался въ Парижѣ одинъ-одинёшенекъ, утомленный, разбитый и безотрадно-смотрящій на свое будущее.

«Вернуться бы ужъ, что ли, самому въ Россію?» подумалъ онъ, лежа на другое утро въ постели.

«Да какъ вернуться? того гляди, исторію сдѣлаетъ. Нѣтъ ужъ,—размышлялъ онъ, переворачивая, по своему обыкновенію, каждый вопросъ со всѣхъ сторонъ:—нужно имѣть

надъ собою власть и мыкать здѣсь свое горе. Все же это достойнѣе, чѣмъ не устоять противъ скуки и опять рисковать попасться въ какую-нибудь гадкую исторію».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Дора знаетъ, что дѣлаетъ.

Такъ попрежнему скучно, тоскливо и одиноко прожилъ Долинскій еще полгода въ Парижѣ. Въ эти полгода онъ получилъ отъ Прохоровыхъ два или три малозначащія письма съ шутливыми приписками Ильи Макаровича Журавки. Письма эти радовали его, какъ доказательства, что тамъ, на Руси, у него все-таки есть люди, которые его помнятъ; но, читая эти письма, ему становилось еще грустнѣе, что онъ оторванъ отъ родины и, какъ изгнанникъ какой-нибудь, не смѣетъ въ нее возвратиться безъ опасенія для себя большихъ непріятностей.

Наконецъ, въ одинъ прекрасный день, Несторъ Игнатьевичъ получилъ письмо, которое сначала его поразило, а потомъ весьма порадовало и дало ему толчокъ, котораго давно ждала его робкая, нерѣшительная натура.

Письмо это сначала до конца было писано Дорушкою, безъ всякой сторонней приписки.

«Несторъ Игнатьевичъ (писала Дора Долинскому)! Я никакъ не могу себѣ опредѣлить, очень умно или до крайности глупо я поступаю, что пишу къ вамъ это письмо; но не могу удержаться и все-таки пишу его. Когда я сказала моимъ и вашимъ друзьямъ, то-есть Анѣ и Ильѣ Макаровичу, что васъ непремѣнно надо немедленно извѣстить о томъ, о чемъ вы теперь узнаете изъ этого письма, то они подняли такой гвалтъ, что съ ними не стоило спорить и приходилось бы отказаться отъ всякаго намѣренія посвятить васъ въ ваши же собственныя дѣла. Но мой грѣшный разумъ и тайный голосъ моего сердца, которыхъ я привыкла слушаться, склонили меня къ преступленію противъ Ани и Ильи Макаровича. Я пишу вамъ это письмо тайно отъ нихъ и прошу васъ это хорошенько запомнить.

«Дѣло идетъ, конечно, о васъ и заключается въ томъ, что вашихъ дѣтей, на воспитаніе которыхъ вы высылаете деньги, уже четвертый годъ не существуетъ на свѣтѣ, а жена ваша тоже около года живетъ въ Эмсѣ съ старымъ

богачомъ, откупщикомъ Штульцемъ. Дѣти ваши почти обои разомъ умерли отъ крупа, вскорѣ послѣ вашего отъѣзда изъ Москвы, а у вашей жены за границею родился новый ребенокъ, на котораго откупщикъ Штульцъ (какой-то задушевный пріятель родственниковъ вашей жены) далъ очень серьезную сумму. Говорятъ, что этою суммою на цѣлую жизнь прочно обезпечены и мать, и ребенокъ.

«Всѣ эти аккуратно и достовѣрно собранныя свѣдѣнія привезъ намъ Илья Макаровичъ, который на-дняхъ ѣздилъ въ Москву реставрировать какую-то вновь открытую изъ-подъ старой штукатурки допотопную фреску. Обстоятельства эти мнѣ показались очень важными для васъ, и я настаивала, чтобы извѣстить васъ обо всемъ этомъ подробно; но и сестра, а за нею и милѣйшій другъ нашъ Журавка завопили: «нельзя! невозможно! это все нужно исподволь, да другими путями, *чтобы не сразить* васъ и не попасть самимъ въ сплетники». Я не могла съ ними совладѣть, но и не могла съ ними согласиться, потому что все это, мнѣ кажется, должно имѣть для васъ очень большое и, по-моему, не совсѣмъ грустное значеніе. А для того, чтобы на свѣтѣ не было сплетенъ, я думаю, самое лучшее дѣло— какъ можно болѣе сплетничать. Это одно только можетъ отучить людей распускать запечные слухи. Хочу думать, Несторъ Игнатьевичъ, что я васъ понимаю и не дѣлаю ошибки, посылая къ вамъ это конфиденціальное посланіе.

«Пребываю къ вамъ благосклонная

Дора».

«PS. Нашъ независимый Илья Макаровичъ продолжаетъ все болѣе и болѣе терять независимость отъ своей Граціэллы и приходитъ къ намъ довольно рѣдко и то урывкомъ».

Въ отвѣтъ на это письмо Долинскій написалъ Дорѣ: «Вы прекрасно сдѣлали, Дарья Михайловна, что послушались самихъ себя и извѣстили меня о происшествіяхъ въ моей семьѣ. Сразить меня это никакъ не могло. Дѣтей, разумѣется, жалко, но если подумать, что ихъ могло ожидать при семейномъ разладѣ родителей, то, можетъ-быть, для нихъ самихъ лучше, что они умерли въ самые ранніе годы. А что касается до моей жены, то я былъ всегда увѣренъ, что она устроится самымъ лучшимъ и выгоднымъ для нея образомъ. Я очень радъ за нее и не сомнѣваюсь,

что она поведетъ свои дѣла прекрасно. Для меня же теперь исчезаютъ препятствія къ возвращенію на родину, и я черезъ мѣсяцъ надѣюсь лично поблагодарить васъ за оказанную мнѣ услугу».

— Да ты, стало-быть, въ самомъ дѣлѣ, иногда знаешь, что дѣлаешь,—сказала Анна Михайловна, когда Дора, получивъ письмо Долинскаго, сама открыла свой секретъ.

Не прошло и мѣсяца, какъ одинъ разъ, густыми осенними сумерками, Журавка влѣзъ въ маленькую столовую Анны Михайловны, гдѣ сидѣли хозяйка и Дора, и закричалъ:

— Неудобь наше пріѣхало.

— Долинскій! Гдѣ жъ онъ?—спросили вмѣстѣ обѣ сестры.

Въ эту же минуту въ темной рамѣ дверей показалась фигура безъ облика; но, взглянувъ на эту фигуру, и Дорушка, и Анна Михайловна разомъ закричали: «Несторъ Игнатьевичъ, это вы?»

— Я, Анна Михайловна,—отвѣчалъ Долинскій, цѣлуя руки обѣихъ сестеръ.

— Когда пріѣхали?

— Сегодня въ четыре часа.

— А теперь шесть; это очень мило,—похвалила Дорушка.—А мы васъ здѣсь, знаете, какъ прозвали? «*Неудобь*».

Долинскій махнулъ рукой и сказалъ:

— Ужъ это хоть не спрашивай—Дарья Михайловна выдумала.

— Пф! сразу, шельмецъ, узналъ,—воскликнулъ Журавка, и тотчасъ же, нагнувшись къ уху Анны Михайловны, прошепталъ:

— Вы намъ, кумушка, чайшка дадите, а я тѣмъ часомъ тутъ слетаю; всего на одну минуточку слетаю и ворочусь; дѣлишко есть у Пяти Угловъ.

— Летите, летите,—отвѣчала ему Анна Михайловна, и художникъ юркнулъ.

Обѣ хозяйки были необыкновенно радушны съ Долинскимъ. Онѣ его внимательно разспрашивали, какъ ему жилось, что онъ думалъ, что видѣлъ?

Долинскій давно не чувствовалъ себя такъ хорошо: словно онъ къ самымъ добрымъ, къ самымъ теплымъ роднымъ пріѣхалъ. Подали свѣчи и самоваръ; Дорушка сѣла за чай, а Анна Михайловна повела Долинскаго показать ему свою квартиру.

Квартира Анны Михайловны помѣщалась въ одномъ изъ лучшихъ домовъ на Владимірскомъ проспектѣ. Эта квартира состояла изъ шести прекрасныхъ комнатъ въ бельэтажѣ, съ парадн̂ѣйшимъ подъѣздомъ съ улицы. Самая большая комната съ подъѣзда была занята магазиномъ. Здѣсь стояли шкапы, шифоньерки, подставки и два огромныхъ, дорогихъ трюмо. За большимъ орѣховымъ шкапомъ, устроеннымъ по размѣрамъ этой комнаты и раздѣлявшимъ ее на двѣ ровныя половины, помѣщался длинный липовый столъ и около него шесть или восемь такихъ же чистенькихъ, некрашеныхъ, липовыхъ табуреточекъ. Половина этого отдѣленія комнаты была еще разъ передѣлена драпировкою изъ зеленаго коленкора, за которою стояли три кроватки, закрытыя недорогими, сѣрыми, байковыми одѣялами. Здѣсь была спальня трехъ небольшихъ дѣвочекъ, отданныхъ ихъ родными Аннѣ Михайловнѣ для обученія мастерству. Когда Анна Михайловна ввела за собою своего гостя въ это зашкапное отдѣленіе, на Долинскаго чрезвычайно благопріятно подѣйствовала представившаяся ему картина. Надъ чистымъ липовымъ столомъ, заваленнымъ кучею тюля, газа, лентъ и матеріи, висѣла огромная мѣдная лампа, освѣщавшая весь столъ. За столомъ, на табуреткахъ, сидѣли четыре очень опрятныя, миловидныя дѣвушки и три дѣвочки, одѣтыя, какъ институтки, въ одинаковыя люстриновыя платьица съ бѣлыми передниками. Въ одномъ концѣ стола, на легкомъ деревянномъ креслѣ съ рѣшетчатою деревянною спинкой, сидѣла небольшая женская фигурка съ взбитымъ хохломъ и чертообразными мохрами напереди сѣтки.

— Это моя помощница, mademoiselle Alexandrine, — отрекомендовала Анна Михайловна эту фигурку Долинскому.

Mademoiselle Alexandrine тотчасъ же, очень ловко и съ большимъ достоинствомъ, удостоила Долинскаго легкаго поклона, и такъ произнесла свое bonsoir, monsieur, что Долинскій не вообразилъ себя въ Парижѣ только потому, что глаза его въ эту минуту остановились на невозможныхъ архитектурныхъ украшеніяхъ трехъ другихъ дѣвушекъ, очевидно стремившихся, во что бы то ни стало, не только догнать, но и далеко превзойти и хохолъ, и чертообразность сѣтки, всегда столь ненавистной русской швеѣ «фран-

цуженки». Дѣвочки были острижены въ кружокъ и не могли усвоить себѣ заманчивой прически; но у одной изъ нихъ волосёнки на лбу были подрѣзаны и торчали, какъ у самаго благочестиваго раскольника. Это постриженіе надъ нею совершила Дора, чтобы освободить молодую русскую франтиху отъ воска, съ помощію котораго она старалась выстроить себѣ французскій хохолъ на остриженной головкѣ. Въ другомъ концѣ стола, противъ кресла, на которомъ сидѣла mademoiselle Alexandrine, стояло точно такое же другое пустое кресло. Это было мѣсто Доры. Никакихъ атрибутовъ старшинства и превосходства не было замѣтно возлѣ этого мѣста, даже подножная скамейка возлѣ него стояла простая, деревянная, точно такая же скамейка, какія стояли подъ ногами дѣвушекъ и ученицъ. Единственное преимущество этого мѣста заключалось въ томъ, что прямо противъ него, надъ чернымъ карнизомъ драпировки, отдѣлявшей спальню дѣвочекъ, помѣщались довольно большіе часы въ черной деревянной рамкѣ. По этимъ часамъ Даша вела рабочій порядокъ мастерской. Сестра Анны Михайловны не любила выскакивать по дверному звонку и торчать въ магазинѣ, что, напротивъ, очень нравилось mademoiselle Alexandrine. Поэтому, продажею и пріемомъ заказовъ преимущественно завѣдывала француженка и сама Анна Михайловна, а Дора сидѣла за рабочимъ столомъ и дирижировала работою, и выходила въ магазинъ только въ крайнихъ случаяхъ, такъ сказать, на особенно важные консиліумы. На ея же попеченіи были и три ученицы. Она не только имѣла за ними главный общій надзоръ, но она же наблюдала за тѣмъ, чтобы эти оторванныя отъ семьи дѣти не терпѣли много отъ грубости и невѣжества другихъ женщинъ, по натурѣ хотя и не злыхъ, но утратившихъ подъ ударами чужого невѣжества всю собственную мягкость. Кромѣ того, Дора, по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ, учила этихъ дѣвочекъ грамотѣ, счисленію и разсказывала имъ, какъ умѣла, о Богѣ, о людяхъ, объ исторіи и природѣ. Дѣвочки боготворили Дарью Михайловну; взрослыя мастерицы тоже очень ее любили и довѣряли ей всѣ свои тайны, требующія гораздо бо́льшаго секрета и вниманія, чѣмъ мистеріи иной свѣтской дамы, или тайны тѣхъ безплотныхъ нимфъ, которыя «такъ непорочны, такъ умны и такъ благочестія полны», что какъ мелкіе потоки текутъ въ боль-

шую рѣку, такъ и онѣ катятся неуклонно въ одну великую тайну: добыть себѣ во что бы то ни стало богатаго мужа и роскошно пресыщаться всѣми благами жизненнаго пира, бросая честному труду обглоданную кость и презрительное снисхожденіе. Изъ четырехъ дѣвушекъ этой мастерской особеннымъ расположеніемъ Доры пользовалась Анна Анисимовна. Это была та единственная дѣвушка, у которой надо лбомъ не было французскаго хохла. Аннѣ Анисимовнѣ было отъ роду лѣтъ двадцать восемь; она была высокая и довольно полная, но весьма граціозная блондинка, съ голубыми, рано померкшими глазами и характерными углами губъ, которыя, въ сочетаніи съ немного выдающимся подбородкомъ, придавали ея лицу выраженіе твердое, честное и рѣшительное. Анна Анисимовна родилась крѣпостною дѣвочкою, выучена швейному мастерству на Кузнецкомъ мосту въ Москвѣ и отпущена своею молодою барыней на волю. Имѣя девятнадцать лѣтъ, она совсѣмъ близко познакомилась съ однимъ молодымъ, замотавшимся купеческимъ сыномъ и мѣсяца черезъ два приняла своего милаго въ свою маленькую комнатку, которую нанимала неподалеку отъ магазина, гдѣ работала. Три года она работала безъ отдыха, что называется, не покладывая рукъ, денно и нощно. Въ эти три года Богъ далъ ей трехъ дѣтей. Анна Анисимовна кормила и дѣтей, и любовника, и ни на что не жаловалась. Наконецъ, кончилъ ея милый курсъ покаянія, получилъ радостное извѣстіе о смерти самодура-отца и удралъ, обѣщая Аннѣ Анисимовнѣ не забывать ее за хлѣбъ и соль, за любовь вѣрную и за дружбу. О женитьбѣ, или хотя о чемъ-нибудь другомъ посущественнѣе словесной благодарности, и рѣчи не было. Анна Анисимовна сама тоже не сказала ни о чемъ подобномъ ни слова. Приходили съ тѣхъ поръ Аннѣ Анисимовнѣ не разъ крутыя времена съ тремя дѣтьми, и знала Анна Анисимовна, что забывшій ее милый живетъ богато, губернаторовъ принимаетъ, чуть пару въ банѣ шампанскимъ не поддаетъ, но никогда ни за что она не хотѣла ему напомнить ни о дѣтяхъ, ни о старомъ долгѣ. «Самъ не помнитъ, такъ и не надо; значитъ, совѣсти нѣтъ», говорила она, и еще сильнѣе разрывалась надъ работой, которою и питала, и обогрѣвала дѣтей своей отверженной любви. Просила у Анны Анисимовны одного ея мальчика въ сыновья бездѣтная купеческая семья, обѣ-

шала сдѣлать его наслѣдникомъ всего своего состоянія— Анна Анисимовна не отдала.

— Счастье у своего ребенка отнимаете, — говорили ей дѣвушки.

— Ничего,—отвѣчала Анна Анисимовна:—зато совѣсти не отниму; не выучу бѣдныхъ дѣвушекъ обманывать, да дѣтей своихъ пускать по-міру.

Этой Аннѣ Анисимовнѣ Дорушка оказывала полнѣйшее уваженіе и своимъ примѣромъ заставляла другихъ уважать.

Мертвая блѣдность нѣкогда прекраснаго, рано отцвѣтшаго лица и крайняя простота наряда этой дѣвушки невольно остановили на себѣ мимолетное вниманіе Долинскаго, когда изъ противоположныхъ дверей вошла съ свѣчою въ рукахъ Дорушка и спросила:

— Правда, хорошо у насъ, Несторъ Игнатьичъ?

— Прекрасно,—отвѣтилъ Долинскій.

— Вотъ тамъ мой тронъ, или, лучше сказать, мое президентское мѣсто; а это все моя республика. Аня вѣрно уже познакомила васъ съ mademoiselle Alexandrine?

Долинскій отвѣчалъ утвердительно.

— Ну, а я еще познакомлю васъ съ прочими: это—Полинька; видите, она у насъ совсѣмъ перфская красна-дѣвица, и если у васъ есть хоть одна капля вкуса, то вы въ этомъ должны со мною согласиться; Полинька, нечего, нечего закрываться! Сама очень хорошо знаешь, что ты красавица. Это,—продолжала Дора:—это Оля и Маша, отличающіяся замѣчательною неразрывностью своей дружбы и потому называемыя «симпатичными попугаями» (дѣвушки засмѣялись); это все мелкота, пока еще не успѣвшая ничѣмъ отличиться, — сказала она, указывая на маленькихъ дѣвочекъ:—а это Анна Анисимовна, которую мы всѣ уважаемъ и которую совѣтую уважать и вамъ. Она—самый честный человѣкъ, котораго я знаю.

Долинскій нѣсколько смѣшался и протянулъ Аннѣ Анисимовнѣ руку; дѣвушка торопливо положила на столъ свою работу и съ неловкою застѣнчивостью подала Долинскому свою исколотую иголкою руку.

— Ну, пойдемте дальше теперь, — позвала Анна Михайловна.

Хозяйка и гость вышли за двери, которыми за минуту

вошла Дора, и вслѣдъ за ними изъ мастерской послышался дружный, веселый смѣхъ нѣсколькихъ голосовъ.

— Ужасныя сороки и хохотушки,—проговорила, идя впереди со свѣчою, Дорушка:—а зато народъ все преискренній и пресердечный.

Тотчасъ за мастерскою у Анны Михайловны шелъ небольшой коридоръ, въ одномъ концѣ котораго была кухня и черный ходъ на дворъ, а въ другомъ двѣ большія, свѣтлыя комнаты, которыя Анна Михайловна хотѣла кому-нибудь отдать, чтобы облегчить себѣ плату за весьма дорогую квартиру. Посрединѣ коридора была дверь, которою входили въ ту самую столовую, куда Журавка ввелъ сумерками къ хозяйкамъ Долинскаго. Эта комната служила сестрамъ въ одно и то же время и залой, и гостиною, и столовой. Въ ней были четыре двери: одна, какъ сказано, вела въ коридоръ; другая—въ одну изъ комнатъ, назначенныхъ внаймы, третья—въ спальню Анны Михайловны, а четвертая—въ уютную комнату Доры. Вся квартира была меблирована не роскошно и не бѣдно, но съ большимъ вкусомъ и комфортно. Все здѣсь давало чувствовать, что хозяйки устраивались тутъ для того, чтобы жить, а не для того, чтобы принимать гостей и заботиться выказываться предъ ними съ какой-нибудь изящной стороны. Это жилье дышало тою спокойною простотою, которая сразу даетъ себя чувствовать и которую, къ сожалѣнію, все рѣже и рѣже случается встрѣчать въ наше суетливое и суетное время.

— Очень хорошо у насъ, Несторъ Игнатьевичъ?—спрашивала Дора, когда всѣ усѣлись за чай.

— Очень хорошо,—соглашался съ нею Долинскій.

Здѣсь нѣтъ мебели богатой,
Нѣтъ ни бронзы, ни картинъ,
И хозяинъ, слава Богу,
Здѣсь не знатный господинъ —

проговорила Дора и съ послѣдними словами сердечно поцѣловала свою сестру.

— Дорого только,—сказала Анна Михайловна.

— Э! полно, пожалуйста, жаловаться. Отдадимъ двѣ комнаты, такъ вовсе не будетъ дорого. За эти комнаты всякій охотно дастъ триста рублей въ годъ.

— Это даже дешево,—сказалъ Долинскій.

— Но вѣдь подите же съ нами! — говорила Дора. — На-

няли квартиру съ тѣмъ, чтобы кому-нибудь эти двѣ комнаты уступить, а перешли сюда, и баста; вотъ третій мѣсяцъ не можемъ рѣшиться. Мужчинъ боимся, женщинъ еще болѣе, а дѣти на наше горе не нанимаютъ; ну, кто же намъ виноватъ, скажите пожалуйста?

— Ты,—отвѣчала Анна Михайловна:—сбила меня. Послушалась ее, наняла эту квартиру; правда, она очень хороша, но велика совсѣмъ для насъ.

Изъ коридора показался Илья Макаровичъ.

— А какъ вы, люди, мыслите? Я... какъ бы это вамъ помудренѣе выразиться?—началъ, входя, художникъ.

— Крошечку выпилъ,—подсказала Дора.

— Да-съ... въ этомъ въ самомъ густѣ.

— Объ этомъ и говорить не стоило,—сказала, разсмѣявшись, Дора.

Всѣ взглянули на Илью Макаровича, у котораго на щечкахъ пылалъ румянецъ и волосы слиплись на потномъ челѣ.

— Нельзя, Несторка пріѣхалъ, — проговорилъ, икнувъ, Журавка.

— Никакъ нельзя,—поддержала серьезно Дора.

Всѣ еще болѣе засмѣялись.

— Да ужъ такъ-съ!—лепеталъ художникъ.—Вы сдѣлайте милость... не того-съ... не острите. Я иду, бацъ на углѣ этакій каламбуръ.

— Хорошій человѣкъ встрѣчается,—сказала Дора.

— Да-съ, именно хорошій человѣкъ встрѣчается и...

— И говоритъ, давай, говоритъ, выпьемъ! — снова подсказала Дора.

— И совсѣмъ не то! Денкера приказчикъ, это... — Журавка икнулъ и продолжалъ: — Денкера приказчикъ, говоритъ, просилъ тебя привезти къ нему; портретченко, говоритъ, жены хочетъ тебѣ заказать. Ну, вѣдь, волка, я думаю, ножки кормятъ; такъ это я говорю?

— Такъ.

— Я, разумѣется, и пошелъ.

— И, разумѣется, выпилъ.

— Ну, и выпили, и работу взялъ. Вѣдь нельзя же!.. А тутъ вспомнилъ, Несторка тутъ меня ждетъ! Другъ, говорю, ко мнѣ пріѣхалъ неожиданно; позвольте, говорю, мнѣ въ долгъ пару бутыльченокъ шампанскаго. И ужъ извините,

кумушка, двѣ бутыльченки мы разопьемъ! Вотъ онѣ, канашки французскія! — воскликнулъ Журавка, торжественно вынимая изъ-подъ пальто двѣ засмоленныя бутылки.

Всѣ глядѣли, посмѣиваясь, на Илью Макаровича, на лицѣ котораго выражалось полнѣйшее блаженство опьянѣнія.

— Хорошаго, должно быть, о васъ мнѣнія остался этотъ Денкеровъ приказчикъ,—говорила Дора.

— А что же такое?

— Ничего; пришелъ говорить о заказѣ, сейчасъ натянулся и еще въ долгъ пару бутыльченокъ выпросилъ.

— Да, двѣ; и вотъ онѣ здѣсь; вонъ онѣ, заморскія, засмоленныя... Нельзя, Дарья Михайловна! Вы еще молоды; вы еще писанія не понимаете.

— Нѣтъ, понимаю, — шутила Дора. — Я понимаю, что дома вамъ нельзя, такъ вы вотъ...

— Тсс! тс, тс, тс... нѣтъ, ей-Богу же для Несторки. Несторка... вамъ вѣдь онъ ничего, а мнѣ онъ другъ.

— И намъ другъ.

— Ну, нѣтъ-съ, вы погодите еще! Я его отъ бѣды, отъ чорта оторвалъ, а вы... нѣтъ... вы...

— «А вы... нѣтъ... вы», — передразнила, смѣшно кривляясь, Дора и добавила:—совсѣмъ пьянъ, голубчикъ!

— А это развѣ худо, худо? Ну, я и на то согласенъ; на то я художникъ, чтобъ все худое дѣлать. Правда, Несторъ Игнатьичъ? Канашка ты, шельмецъ ты!

Журавка обнялъ и поцѣловалъ Долинскаго.

— Вотъ видишь,—говорилъ, освобождаясь изъ дружескихъ объятій, Долинскій: — теперь толкуешь о дружбѣ, а какъ я совсѣмъ разбитый ѣхалъ въ Парижъ, такъ, небось, не вздумалъ меня познакомить съ Анной Михайловной и съ mademoiselle Дорой.

— Не хотѣлъ, братишка, не хотѣлъ; тебѣ было нужно тогда уединеніе.

— Уединеніе! Все вздоръ, вретъ, просто отъ ревности не хотѣлъ васъ знакомить съ нами,—разбивала художника Дора.

— Отъ ревности? Ну, а отъ ревности, такъ и отъ ревности. Вы это навѣрное знаете, что я отъ ревности его не хотѣлъ знакомить?

— Навѣрное.

— Ну, и очень прикрасно, пусть такъ и будетъ,— отвѣчалъ художникъ, налегая на букву *и* въ умышленно портимомъ словѣ прекрасно.

— Да, и очень прикрасно, а мы вотъ теперь съ Несторомъ Игнатьичемъ вмѣстѣ жить будемъ,—сказала Дора.

— Какъ это вмѣстѣ жить будете?

— Такъ; Аня отдаетъ ему тѣ двѣ комнаты.

— Да вы это со мною шутите, смѣетесь, или просто говорите?—вопросилъ съ эффектомъ Журавка.

— А вотъ отгадайте?

— Я и съ своей стороны спрошу васъ, Дарья Михайловна, вы это шутите, смѣетесь, или просто говорите? — сказалъ Долинскій.

Изъ шутки вышло такъ, что Анна Михайловна, послѣ нѣкотораго замѣшательства и нѣсколькихъ минутъ колебанья, уступила просьбѣ Долинскаго и въ самомъ дѣлѣ отдала ему свои двѣ свободныя комнаты.

— И очень прикрасно! — возглашалъ художникъ, когда переговоры кончились въ пользу перехода Долинскаго къ Прохоровымъ.

— А прикрасно, — говорила Дора: — по крайней мѣрѣ, будетъ хоть съ кѣмъ въ театръ пойти.

— Прикрасно, прикрасно,—отвѣчалъ Журавка шутя, но съ тѣнью нѣкоторой, хотя и легкой, но худо скрытой досады.

Послѣ уничтоженія принесенныхъ Ильею Макаровичемъ двухъ бутыльченокъ, онъ началъ высказываться нѣсколько яснѣе:

— Если бъ я былъ холостой, — заговорилъ онъ: — ужъ тебѣ бъ, братишку, тутъ не жить.

— Да вы же развѣ женаты?

— Пфъ! не женатъ! да вѣдь я же ей вексель выдалъ.

Этого событія между Ильею Макаровичемъ и его Граціэллою до сихъ поръ никто не вѣдалъ. Извѣстно было только, что Илья Макаровичъ былъ помѣшанъ на свободѣ любовныхъ отношеній и на итальяночкахъ. Счастливый случай свелъ его, гдѣ-то въ Неаполѣ, съ довольно безобразной синьорой Луизой, которую онъ привезъ съ собою въ Россію, и долго не переставалъ кстати и некстати кричать о ея художественныхъ талантахъ и страстной къ нему привязанности. Поэтому извѣстіе о векселѣ, взятомъ съ него итальянкою, заставило всѣхъ очень смѣяться.

— Фу, Боже мой! да вѣдь это только для того, чтобъ я не женился,—оправдывался художникъ.

Дорогою, по пути къ Васильевскому острову, Журавка все твердилъ Долинскому:

— Ты только смотри, Несторъ... ты, я знаю... ты человѣкъ честный...

— Ну, ну, говори яснѣе,—требовалъ Долинскій.

— Онѣ... вѣдь это я тебѣ говорю... пфъ! это божественныя души!.. чистота, искренность... довѣрчивость...

— Да ну, что̀ ты сказать-то хочешь?

— Не... обезпокой какъ-нибудь, не оскорби.

— Полно, пожалуйста.

— Не скомпрометируй.

— Ну, ты, я вижу, въ самомъ дѣлѣ пьянъ.

— Это, другъ, ничего, пьянъ я, или не пьянъ—это мое дѣло; пьянъ да уменъ, два угодья въ немъ, а ты имъ... братомъ будь. Минутъ пять пріятели проѣхали молча, и Журавка опять началъ:

— Потому что, что̀ жъ хорошаго...

— Фу, надоѣлъ совсѣмъ! что я самъ будто не знаю, — отговорился Долинскій.

— А знаешь, братъ, такъ и помни. Помни, что кто за довѣріе заплатитъ не хорошо, тотъ подлецъ, Несторъ Игнатьичъ.

— Подлецъ, Илья Макаровичъ,—шутя отвѣчалъ Долинскій.

Оба пріятеля весело разсмѣялись и распростились у гостиницы, тотчасъ за Николаевскимъ мостомъ.

На другой день, часу въ двѣнадцатомъ, Долинскій переѣхалъ къ Прохоровымъ и прочно водворился у нихъ на жительствѣ.

— Вчера Илья Макаровичъ цѣлую дорогу все читалъ мнѣ нотацію, какъ я долженъ жить у васъ,—разсказывалъ за вечернимъ чаемъ Долинскій.

— Онъ большой нашъ другъ и, къ несчастію его, совершенно слѣпой Аргусъ,—отвѣчала Дора.

— Онъ рѣдкій человѣкъ и любитъ насъ чрезмѣрно, — проговорила Анна Михайловна.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Пансіонеръ.

Несторъ Игнатьевичъ зажилъ такъ, какъ еще не жилось ему ни одного дня съ самаго выхода изъ отцовскаго дома. Постоянная внутренняя тревога и недовольство и собою, и

всѣмъ окружающимъ, совершенно его оставили въ домѣ Анны Михайловны. Аккуратный какъ часы, но необременительный, какъ несносная дисциплина, порядокъ въ жизни его хозяекъ возвратилъ Долинскаго къ своевременному труду, который смѣнялся своевременнымъ отдыхомъ и возможными удовольствіями. Всякій день неизмѣнно, въ восемь часовъ утра, ему приносили въ его комнату стаканъ кофе со свѣжею булкою; въ два часа Дорушка звала его въ столовую, гдѣ былъ приготовленъ легкій завтракъ, потомъ онъ проходилъ съ Дорою (которой была необходима прогулка) отъ Владимірской до Адмиралтейства и назадъ; въ пять часовъ садились за столъ, въ восемь пили вечерній чай и въ двѣнадцать ровно расходились по своимъ комнатамъ.

Въ недѣлю раза два Долинскій съ Дорою бывали въ театрѣ. Дни у нихъ проходили за дѣломъ, но вечерами они не отказывали себѣ въ роздыхѣ и нѣкоторыхъ удовольствіяхъ. Жизнь шла живо, ровно, безъ скуки, безъ задержки.

Пансіонеръ совершенно привыкъ къ порядкамъ своего пансіона и удивлялся, какъ могъ онъ жить иначе столько лѣтъ сряду!

Со смертью своей благочестивой матери, Несторъ Игнатьевичъ разлучился съ стройною домашнею жизнью. Жизнь у дяди, въ которой поверхъ всего плавало и все застилало собою эгоистическое самовластіе его тетки, оставила въ немъ одни тяжелыя воспоминанія. Воспоминанія о семейной жизни съ женою и тещею, уничтожившими своею требовательностію всякую его свободу и обращавшими его въ раба жениной суетности и своекорыстія, были еще отвратительнѣе. Съ тѣхъ поръ Несторъ Игнатьевичъ велъ студенческую жизнь въ Латинскомъ кварталѣ Парижа, то-есть жилъ бездомовникомъ и отличался отъ прочихъ, истинныхъ студентовъ только развѣ тѣмъ, что немножко чаще ихъ просиживалъ вечера дома за книгою и рѣже таскался по ресторанамъ, кафе и баламъ Прадо. Впрочемъ, не смотря на это, Несторъ Игнатьевичъ все-таки совсѣмъ отучился во-время встать, во-время лечь и въ свое время погулять. Обращать свѣтлый день въ скучную ночь, и скучную ночь въ бѣдный радостями день для него не составляло ничего необыкновеннаго. Онъ зналъ, что ему будетъ скучно на балѣ, потому что всѣ удовольствія этого бала можно было всегда

разсказать впередъ — и все-таки онъ шелъ отъ скуки на балъ и отъ скуки зѣвалъ здѣсь, пока не пустѣла зала. Отъ скуки онъ валялся въ постели до самаго вечера; между тѣмъ позарѣзъ нужно было изготовить срочную корреспонденцію, и потомъ вдругъ садился, читалъ листы различныхъ газетъ, брошюръ и работалъ напролетъ цѣлыя ночи. Огромный расходъ силъ и постоянная тревога, происходящая оттого, что работа врывалась въ сроки отдыха, а отдыху посвящалось время труда, вовсе не обращали на себя вниманія Долинскаго.

— Все равно, какъ ни живи,—все скучно,—говаривалъ онъ себѣ, когда нестройность жизни напоминала ему о себѣ утомленіемъ, разстройствомъ нервной системы, или неудачею догнать безполезно потерянное время въ работѣ.

Теперь онъ не могъ надивиться, какъ въ былое время у него недоставало досуга написать въ недѣлю двухъ довольно короткихъ корреспонденцій, когда нынче онъ свободно велъ порученный ему цѣлый отдѣлъ газеты и на все это не требовалось ни одной безсонной ночи. Несторъ Игнатьевичъ не только успѣвалъ кончить все къ шести часамъ вечера, когда къ нему приходилъ разсыльный изъ редакціи, но даже и изъ этого времени у него почти всегда оставалось нѣсколько свободныхъ часовъ, которые онъ могъ употребить по своему произволу. Съ шести часовъ онъ обыкновенно сидѣлъ въ столовой и что-нибудь читалъ своимъ хозяйкамъ. Анна Михайловна любила чтеніе, хотя въ послѣднее время за хлопотами и недосугами читала далеко меньше, чѣмъ Дора. Эта перечитала Богъ-знаетъ сколько и, обладая неимовѣрною памятью, обо всемъ имѣла собственное, иногда не совсѣмъ вѣрное, но всегда вполнѣ независимое мнѣніе.

Гостей у Анны Михайловны и у Дорушки бывало немного; даже можно сказать, что, кромѣ Ильи Макаровича, у нихъ почти никто не бывалъ, но къ Долинскому кое-кто таки-навертывался, особенно изъ газетчиковъ. По семейному образу жизни, который Долинскій велъ у Прохоровыхъ, его знакомые незамѣтнымъ образомъ становились и знакомыми его хозяекъ. Газетчики для Дорушки были народъ совершенно новый и она очень охотно съ ними знакомилась, но потомъ еще скорѣе начинала тяготиться этимъ знакомствомъ и старалась отъ нихъ отдѣлываться. Особенною ея антипа-

тіею были два молодые газетчика: Спиридонъ Меркуловичъ Вырвичъ и Иванъ Ивановичъ Шпандорчукъ. Это были люди того нехитраго разбора, который въ настоящее время не представляетъ уже никакого интереса. Нынче на нихъ смотрятъ съ тѣмъ же равнодушіемъ, съ какимъ смотрятъ на догорающій домъ, около котораго обломаны всѣ постройки и огонь ничему по сосѣдству сообщиться не можетъ; но было другое, *старое* время, года три-четыре назадъ, когда и у насъ въ Петербургѣ и даже частію въ просторной Москвѣ на Неглинной безъ этихъ людей, какъ говорятъ, и вода не святилась. Было это доброе, простодушное время, когда въ извѣстныхъ слояхъ петербургскаго общества нельзя было повернуться, не сталкиваясь съ Шпандорчукомъ или Вырвичемъ, и когда многими нехитрыми людьми умъ и нравственныя достоинства человѣка опредѣлялись тѣмъ, какъ этотъ человѣкъ относится къ Шпандорчукамъ и Вырвичамъ. Такое положеніе заставляетъ насъ нѣсколько оторваться отъ хода событій и представить читателямъ образцы, можетъ быть, весьма скудныхъ размѣровъ, выражающихъ отношеніе Доры, Анны Михайловны и Долинскаго къ этому рѣдкостному явленію петербургской цивилизаціи.

И Шпандорчукъ, и Вырвичъ въ существѣ были люди незлые и даже довольно добродушные, но недалекіе и безтактные. Оба они, прочитавъ извѣстный тургеневскій романъ, начали называть себя нигилистами. Дора тоже прочла этотъ романъ и при первомъ словѣ кстати сказала:

— Нѣтъ, вы совсѣмъ не нигилисты.

— Какъ это, Дарья Михайловна?

— Да такъ, не нигилисты, да и только.

— Какъ же, когда мы сами говоримъ вамъ, что мы въ Бога не вѣруемъ и мы нигилисты.

— Сами вы можете говорить, что̀ вамъ угодно, а все-таки вы не то, что̀ тутъ названо нигилистомъ.

— Такъ что̀ же мы такое по-вашему?

— Богъ васъ, господа, знаетъ, что̀ вы такое!

— Вотъ это-то и есть; вотъ такіе-то люди, какъ мы, и называются нигилистами.

— Знаете, по-моему, какъ называются такіе люди, какъ вы?—спросила, смѣясь, Дора.

— Нѣтъ, не знаемъ; скажите, пожалуйста.

— А не будете сердиться?

— Сердиться глупо. Всякая свобода — нашъ первый принципъ.

— Такъ видите ли, такіе люди, какъ вы, называются *скучные люди*.

— А! а вамъ веселья хочется.

— Да не веселья, но помилуйте, что же это цѣлую жизнь сообщать, въ видѣ новостей, то, что̀ каждому человѣку давно очень хорошо извѣстно: «А знаете ли, что мужикъ тоже человѣкъ? А знаете ли, что женщина тоже человѣкъ? А знаете ли, что богачи давятъ бѣдныхъ? А знаете ли, что человѣкъ долженъ быть свободенъ? Знаете ли, что цивилизація навыдумывала пропасть вздоровъ?» — Вѣдь это-жъ, согласитесь, скучно! Кто-жъ этого не знаетъ, и какой же умный человѣкъ со всѣмъ этимъ давно не согласенъ? И главное дѣло, что все-то вы насъ учите, учите... Право, даже страшно подумать, какіе мы, должно быть, всѣ умные скоро подѣлаемся! А въ самомъ-то дѣлѣ, все это—нуль; на все это жизнь дунетъ—и все это разлетѣлось; все выйдетъ совсѣмъ не такъ, какъ написано въ рецептѣ.

— Да вотъ, то-то и есть, Дарья Михайловна, что вы и сами выходите нигилистка.

— Я! Боже меня сохрани! — отвѣчала Дора, и какъ бы въ доказательство тотчасъ же перекрестилась.

— Да что̀ же дурного быть нигилисткой?

— Ничего особенно дурного, и ничего особенно хорошаго, только на что мнѣ мундиръ? я не хочу его. Я хочу быть свободнымъ человѣкомъ, я не люблю зависимости.

— Да это и значитъ быть независимой. Вы сами не знаете, что̀ говорите.

— Благодарю за любезность, но не вѣрю ей. Я очень хорошо знаю, что̀ я такое. У меня есть совѣсть и, какой случился, свой царь въ головѣ, и, кромѣ ихъ, я ни отъ кого и ни отъ чего не хочу быть зависимой,—отвѣчала съ раздувающимися ноздерками Дора.

— Крайнее свободолюбіе!

— Самое крайнее.

— Но можно найти еще крайнѣе.

— Напримѣръ, можно даже стать въ независимость отъ здраваго смысла.

— А что-жъ! Я, пожалуй, лучше соглашусь и на это! Лучше же быть независимою отъ здраваго смысла, и такъ

ужъ и слыть дуракомъ или дурой, чѣмъ зависѣть отъ этихъ господъ, которые всѣхъ учатъ. Моя душа не дудка, и я не позволю на ней играть никому,—говорила она въ пылу горячихъ споровъ.

— Ну, а что же будетъ, если вы, въ самомъ дѣлѣ, наконецъ, станете независимы отъ здраваго смысла? — отвѣчали ей.

— Что? Свезутъ въ сумасшедшій домъ. Все же, говорю вамъ, это гораздо лучше, чѣмъ цѣлый вѣкъ слушать учителей, сбиться съ толку и сдѣлаться пѣшкой, которую, пожалуй, еще другіе, чего добраго, слушать станутъ. Я жизни слушаюсь.

— Да вѣдь странны вы, право! Теорію вѣдь жизнь же выработала,—убѣждали Дору.

— Нѣтъ-съ; ужъ это извините, пожалуйста; этому я не вѣрю! Теорія—сочиненіе, а жизнь—жизнь. Жизнь—это то, что есть, и то, что всегда будетъ.

— Значитъ, у васъ человѣкъ—рабъ жизни?

— Извините, у меня такъ: думай что хочешь, а дѣлай что долженъ.

— А что же вы *должны?*

— Должна? Должна я прежде всего работать и какъ можно больше работать, а потомъ не мѣшать никому жить свободно, какъ ему хочется,—отвѣчала Дора.

— А не должны вы, напримѣръ, еще позаботиться о человѣческомъ счастьѣ?

— То-есть какъ же это о немъ позаботиться? Кому я могу доставить какое-нибудь счастье—я всегда очень рада; а всѣмъ, то-есть цѣлому человѣчеству, ничего не могу сдѣлать: ручки не доросли.

— Эхъ-съ, Дарья Михайловна! — ручки-то у всякаго доросли, да желанья мало.

— Не знаю-съ, не знаю. Для этого нужно очень много знать, вообще надо быть очень умнымъ, чтобъ не подѣлать еще худшей безтолочи.

— Такъ вы и рѣшаете быть въ сторонкѣ?

— Мимо чего пойду, то сдѣлаю — позволенія ни у кого просить не стану, а то, говорю вамъ, надо быть очень умной.

— Несторъ Игнатьичъ! да полноте же, батюшка, отмалчиваться! Какія же, наконецъ, *ваши* на этотъ счетъ мнѣнія?—затягивали Долинскаго.

— Это, господа, вѣдь все вещи рѣшенныя: «ищит прежде всего царствія Божія и правды Его, а вся сія при ложатся вамъ».

— Фу ты, какой онъ! Такъ отъ него и претъ моральк Что̀ это за царствіе, и что̀ это за правда?

— Правда? Внутренняя правда—*быть*, а не *казаться*.

— А царствіе?

— Да что-жъ вы меня разспрашиваете? Сами возраст имате; чтите и разумѣйте.

— Это о небѣ.

— Нѣтъ о землѣ.

— Обѣтованной, по которой потечетъ медъ и млеко?

— Да, конечно, объ обѣтованной, гдѣ нѣсть ни рабъ ни свободъ, но всяческая и во всѣхъ одинъ духъ, одн желаніе любить другого, какъ самого себя.

— Я за васъ, Несторъ Игнатьичъ!—воскликнула Дора.

— Да и я, и я!—шумѣлъ Журавка.

«И я»,—говорили хорошіе глаза Анны Михайловны.

— Широко это, очень широко, батюшка Несторъ Иг натьичъ,—замѣчалъ Вырвичъ.

— Да какъ же вы хотите, чтобы такая міровая иде была узка, чтобы она, такъ сказать, въ аптечную коро бочку, что ли, укладывалась?

— То-то вотъ отъ ширины-то ея ей и не удается до сих поръ воплотиться-то; а вы поуже, поясн̀ѣе формулируйте.

— Да любви мало-съ. Вы говорите: идея не воплощаетс до сихъ поръ потому, что она очень широка, а посмотрит не оттого ли она не воплощается, что любви нѣтъ, что вс и во имя любви-то дѣлается безъ любви вовсе.

Дорушка заплескала ладонями.

Эти споры Доры съ Вырвичемъ и съ Шпандорчуком обыкновенно затягивались долго. Дора давно терпѣть н могла этихъ споровъ, но, по своей страстной натурѣ, все-так опять увлекалась и опять при первой встрѣчѣ готова был спорить снова. Шпандорчукъ и Вырвичъ тоже не упускал случая сказать ей нарочно что-нибудь почуднѣй и спов втянуть Дорушку въ споры. За глаза же они надъ ней по смѣивались и называли ее «*философствующей вздержкой*».

Дора съ своей стороны тоже была о нихъ не очень вы годнаго мнѣнія.

— Что̀ это за люди? — говорила она Долинскому: — вс

вычитанное, все чужое, взятое напрокатъ, и своего рѣшительно ничего.

— Да чего вы на нихъ сердитесь? Они сколько видѣли, сколько слышали, столько и говорятъ. Все ихъ несчастье въ томъ, что они мало знаютъ жизнь, мало видѣли.

— И еще меньше думали.

— Ну, думать-то они, пожалуй, и думаютъ.

— Такъ какъ же ни до чего путнаго не додумаются?

— Да вѣдь это... Ахъ, Дарья Михайловна, и вы-то еще мало знаете людей!

— Это и не удивительно; но удивительно, какъ они другихъ учатъ, а сами какъ дѣти лепечутъ! Я, по крайней мѣрѣ, нигдѣ не видная и ничего не знающая человѣчица, а вѣдь это... видите... разсуждаютъ совсѣмъ будто какъ большіе!

Долинскій и Дора вмѣстѣ засмѣялись.

— Нѣтъ, а вы вотъ что, Несторъ Игнатьичъ, даромъ что вы такой тихоня, а прехитрый вы человѣкъ. Что вы никогда почти не хотите меня поддержать передъ ними? — говорила Дора.

— Да не въ чемъ-съ, когда вы и сами съ ними справляетесь. Я бы вѣдь такъ не соспорилъ, какъ вы.

— Отчего это?

— Да оттого, что̀ за охота съ ними спорить? Вы вѣдь ихъ ничѣмъ не урезоните.

— Ну-съ?

— Ну-съ, такъ и говорить не сто̀итъ. Что̀ мнѣ за радость открывать передъ ними свою душу! Для меня что̀ очень дорого, то для нихъ ничего; васъ вотъ все это занимаетъ серьезно, а имъ лишь бы слова выпускать; вы убѣждаетесь или разубѣждаетесь въ чемъ-нибудь, — а они много-что если зарядятся какимъ-нибудь впечатлѣніемъ, а то все такъ...

— Это, выходитъ, значитъ, что я глупо поступаю, споря съ ними?

Долинскій тихо улыбнулся.

— Ммм! какой любезный! — произнесла Дора, бросивъ ему въ лицо хлѣбнымъ шарикомъ.

— Вы думаете, что для нихъ ошибаться въ чемъ-нибудь — очень важная вещь? Жизни не будетъ стоить: скажетъ: *ошибся*, да и дѣло къ сторонѣ; не изболитъ сердцемъ, и тѣломъ не похудѣетъ.

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ, Несторъ Игнатьичъ! кому жъ, однако, вѣрить-то остается? А вѣдь нужно же кому-нибудь вѣрить, хочется, наконецъ, вѣрить!—говорила задумчиво Дора.

— Вѣруйте смѣлѣе въ себя, идите бодрѣе въ жизнь; жизнь сама покажетъ, что дѣлать: нужно имѣть умъ и правила, а не росписаніе, — успокоивалъ ее Долинскій, и у нихъ перемѣнялся тонъ и заходила долгая, живая бесѣда, кончая которую, Даша всегда говорила:— зачѣмъ эти люди мѣшаютъ намъ говорить?

Долинскій самъ чувствовалъ, что очень досадно, зачѣмъ эти люди мѣшаютъ ему говорить съ Дорой, а эти люди являлись къ нимъ довольно рѣдко и разъ отъ разу посѣщенія ихъ становились еще рѣже.

— Ну, какое сравненіе разговаривать, напримѣръ, съ ними, или съ простодушнымъ Ильею Макаровичемъ?—спрашивала Дора. — Это—человѣкъ, онъ живетъ, сочувствуетъ, любитъ, страдаетъ, однимъ словомъ, *несетъ жизнь;* а тѣ, точно кукушки, по чужимъ гнѣздамъ прыгаютъ; точно ученые скворцы сверкочутъ: «дай скворушкѣ кашки!» И еще этакія-то кукушки хотятъ, чтобы всѣ ихъ слушали. Нечего сказать, хорошо бы стало на свѣтѣ! Вышло бы, что нѣтъ одной твари на землѣ нѣтъ глупѣе, какъ люди.

— Это мы вамъ обязаны за такое знакомство, — шутила она съ Долинскимъ.—Къ намъ прежде такія птицы не залетали. А, впрочемъ, ничего—это очень назидательно.

— А не спорить я все-таки не могу,— говорила она въ заключеніе.

Вырвичъ и Шпандорчукъ пробовали заводить съ Дорушкой рѣчь о стѣсненности женскихъ правъ, но она съ перваго же слова осталась къ этому вопросу совершенно равнодушною. Развиватели дали ей прочесть нѣсколько статей, касавшихся этого предмета; она прочла всѣ эти статьи очень терпѣливо и сказала:

— Пожалуйста, не носите мнѣ больше этого сора.

— Неужто,—говорили ей: — вы не сочувствуете и тому, что люди бьются за васъ же, бьются за ваши же естественныя права, которыя у васъ отняты?

— Я очень довольна моими правами; я нахожу, что у меня ихъ ровно столько же, сколько у васъ, и отнять ихъ у меня никто не можетъ,—отвѣчала Дора.

— А вотъ не можете быть судьей.

— И не хочу; мнѣ довольно судить самоё себя.

— А другихъ вы судите чужимъ судомъ?

— Нѣтъ, своимъ собственнымъ.

— Спорщица! Когда ты перестанешь спорить! — останавливала сестру Анна Михайловна, обыкновенно не принимавшая личнаго участія въ заходившихъ при ней длинныхъ спорахъ.

— Не могу, Аня, за живое меня задѣваютъ эти молодыя фразы,—горячо отвѣчала Дора.

— Но позвольте, вѣдь вы могли бы пожелать быть врачомъ?—возражалъ ей Шпандорчукъ.

— Могла бы.

— И вамъ бы не позволили.

— Совершенно напрасно не позволили бы.

— А все-таки вотъ взяли бы, да и не позволили бы.

— Очень жаль, но я бы нашла себѣ другое дѣло. Не только свѣта, что въ окнѣ.

— Ну, хорошо-съ, — ну, положимъ, вы можете себѣ создать этакое другое независимое положеніе, а тѣ, которыя не могутъ?

— Да о тѣхъ и говорить нечего! Кто не умѣетъ стать самъ, того не поставите. Бѣлинскій прекрасно говоритъ, что тому нѣтъ спасенія, кто въ слабости своей натуры носитъ своего врага.

— Ахъ, да оставьте вы, сдѣлайте милость, въ покоѣ вашего Бѣлинскаго! Помилуйте, что жъ это, приговоръ, что ли, что сказалъ Бѣлинскій?

— Въ этомъ случаѣ, да—приговоръ. Попробуйте-ка отнять независимость у меня, у моей сестры, или у Анны Анисимовны! Не угодно ли?

— Что за Анна Анисимовна?

— А, это счастливое имя имѣетъ честь принадлежать совершенно независимой швеѣ изъ нашего магазина.

Дорушка любила ставить свою Анну Анисимовну въ примѣръ, и охотно разсказывала ея несекретную исторію.

— Вотъ видите!—говорили ей послѣ этого разсказа развиватели:—а легко зато этой Аннѣ Анисимовнѣ?

— Ну, господа, простите меня великодушно!—запальчиво отвѣчала Дора. — Кто смотритъ, легко ли ему, да еще выгодно ли ему отстоять свою свободу, тотъ ея не стоитъ и даже говорить о ней не долженъ.

— Да, женщина, почти каждая — раба; она раба и въ семьѣ, раба въ обществѣ.

— Потому что она большей частью раба по натурѣ.

— То-есть какъ это? Не можетъ жить безъ опеки?

— *Не хочетъ-съ*, не хочетъ сама себѣ помогать, продаетъ свою свободу за кареты, за положеніе, за прочія глупыя вещи. Раба! Всякій, кто дорожитъ чѣмъ-нибудь больше чѣмъ свободой — рабъ. Не все ли равно, женщина раба мужа, мужъ рабъ чиновъ и мѣстъ, вы рабы вашего либерализма, соболи, бобры—всѣ равны!

— Даже досюда идетъ!

— А еще бы! Вѣдь вы не смѣете быть не либераломъ?

— Потому что мы убѣждены...

— Убѣждены!—съ улыбкой перебивала Дора.—Не смѣете, просто не смѣете. Не знаете, что̀ дѣлать; не знаете, за что зацѣпиться, если васъ выключатъ изъ либераловъ. Отъ жизни даже отрекаетесь.

— Вотъ то-то, Дарья Михайловна,—говорили ей: — не знаете вы, сколько труда въ послѣднее время положено за женщину.

— Это правда. Только я, господа, объ одномъ жалѣю, что я не писательница. Я бы всѣ силы мои употребила растолковать женщинамъ, что всѣ ваши о насъ попеченія... просто для насъ унизительны.

— Да что жъ, Дарья Михайловна, *унизительно*, вы говорите? Позвольте вамъ замѣтить, что въ настоящемъ случаѣ вы нѣсколько неосторожно увлеклись вашимъ самолюбіемъ. Мы хлопочемъ вовсе и не о васъ—то-есть не только не о васъ лично, а и вообще не объ однѣхъ женщинахъ.

— А о себѣ—я это такъ и догадывалась.

— Да хотя бы-съ и о себѣ! Пора, наконецъ, похлопотать и о себѣ, когда на насъ ложится весь трудъ и тяжесть заработка; а женщины живутъ въ тягость и себѣ, и другимъ—ничего не дѣлаютъ. Вопросъ женскій—общій вопросъ.

— Да то-то вотъ; пожалуйста, хоть не называйте же вы этого вопроса *женскимъ*.

— А какъ же прикажете его называть въ вашемъ присутствіи?

— *Барыньскій, дамскій*—однимъ словомъ какъ тамъ хотите, *только не женскій*, потому что, если дѣло идетъ о томъ, чтобъ русская женщина трудилась, такъ она, рус-

ская-то женщина, monsieur Шпандорчукъ, всегда трудилась и трудится, и трудится нерѣдко гораздо больше своихъ мужчинъ. А это вы говорите о барышняхъ, о дамахъ — такъ и не называйте же ихняго вопроса нашимъ *женскимъ*.

— Мы говоримъ вообще о развитой женщинѣ, которая въ наше время не можетъ себѣ добыть хлѣба.

— *Развившаяся до того, что не можетъ добыть себѣ хлѣба!* Ха-ха-ха!..

Дѣвушка неудержимо расхохоталась.

— Не смѣшите, пожалуйста, людей, господа! Эти ваши такимъ манеромъ развившіяся женщины, не въ наше только время, *а во всякое время* будутъ безъ хлѣба.

— Нѣтъ-съ, это немножко не такъ будетъ. А, впрочемъ, гдѣ же эти ваши и не-дамы, и не-барышни, и ужъ, разумѣется, тоже и не судомойки же, а женщины?

— А-а! это, господа, ужъ ищите, да-съ, ищите, какъ голодный хлѣба ищетъ. Женщина вѣдь стòитъ того, чтобъ ее поискать повнимательнѣе.

— Но гдѣ-съ? гдѣ?

— А-а! вотъ то-то и есть. Помните, какъ Кречинскій говоритъ о деньгахъ: «деньги вездѣ есть, во всякомъ домѣ, только надо знать, гдѣ онѣ лежатъ; надо знать, какъ ихъ взять». Такъ точно и женщины: вездѣ онѣ есть, въ каждомъ общественномъ кружочкѣ есть женщины, *только нужно ихъ умѣть найти!*—проговорила Дорушка, стукая внушительно ноготкомъ по столу.

— Да и о чемъ собственно рѣчь-то?— вмѣшался Долинскій.—Если объ общемъ счастіи, о мужскомъ и о женскомъ, то я вовсе не думаю, чтобы женщины стали счастливѣе, если мы ихъ завалимъ работою и заботою; а мужчина, который, дѣйствительно, *любитъ* женщину, тотъ самъ охотно возьметъ на себя все тяжелѣйшее. Чтò тамъ ни вводите, а полюбя женщину, я все-таки стану заботиться, чтобы ей было легче, такъ сказать, чтобъ ей было лучше жить, а не буду производить надъ ней опыты, сколько она вытянетъ. Мнѣ же пріятно видѣть ее счастливою и знать, что это я для нея устроилъ!

— Да-съ, это прекрасно, только съ одной стороны — со стороны поэзіи; а вы забываете, что есть и другія точки, съ которыхъ можно смотрѣть на этотъ вопросъ: напримѣръ, съ точки хлѣба и брюха.

Долинскій нѣсколько смутился словомъ «брюхо», и отвѣчалъ:

— То-есть вы хотите сказать: со стороны денегъ; ну, что же-съ! Если женщина даетъ вамъ счастье, создаетъ ваше благополучіе, то неужто она не участвуетъ такимъ образомъ въ вашемъ трудѣ и не имѣетъ права на вашъ заработокъ? Она вашъ половинщикъ во всемъ—въ горѣ и радостяхъ. Какъ вы расцѣните на рубли вліяніе, которое хорошая женщина можетъ имѣть на васъ, освѣжая вашъ духъ, поддерживая въ васъ бодрость, успокоивая васъ лаской, однимъ словомъ—утѣшая васъ своимъ присутствіемъ и поднимая васъ и на работу, и на мысль, и на все хорошее? Можетъ-быть, не половина, а восемь десятыхъ, даже все почти, что вы заработаете, будетъ принадлежать ей, а не вамъ, несмотря на то, что это будетъ заработано вашими руками.

— Все же, я думаю, согласитесь вы, что нужно развить въ женщинѣ вкусъ, то-есть я хотѣлъ сказать, развить въ ней любовь и къ труду, и къ свободѣ, чтобъ она умѣла цѣнить свою свободу и ни на что ее не промѣнивала.

— Да противъ этого никто ничего не говоритъ. Давай имъ Богъ и этой любви къ свободѣ, и умѣнья честно достигать ее—одно другому ничуть не мѣшаетъ.

— Кто цѣнитъ свою свободу, тотъ ни на что ее и такъ не промѣняетъ, тотъ и самъ отстоитъ ее и совсѣмъ не по вашимъ рецептамъ,—равнодушно сказала Дора.

— А вы забываете наши милые законы, — заговорилъ, перемѣняя тонъ, Шпандорчукъ.

— Очень они мнѣ нужны, ваши законы! Я сама себѣ законъ. Не убиваю, не краду, не буяню — какое до меня дѣло закону?

— Ну, а если вы полюбите и законъ станетъ вамъ поперекъ дороги?

— Что за вздоръ такой вы сказали! Гдѣ же есть для любви законы? Люблю—вотъ и все.

— И какъ же будете поступать?

— Какъ укажетъ мое чувство.—Нѣтъ, всѣ вы, господа—рабы,—заканчивала Дора.

Съ нею обыкновенно никто изъ спорящихъ не соглашался и даже нерѣдко ставили Дорушку въ затруднительное положеніе заученными софизмами, но всего чаще она

на-голову побивала своею живою и простою рѣчью всѣхъ своихъ ученыхъ противниковъ, и Несторъ Игнатьевичъ ликовалъ за нее, молча похаживая по оглашенной споромъ комнатѣ.

— Бѣдовая эта ученая швейка!—говорили о ней ея новые знакомые.

— Да, разсуждаетъ!

— Придетъ, братъ, видно, точно, шекспировское время, что мужикъ станетъ наступать на ногу дворянину и не будетъ извиняться. Я, разумѣется, понимаю *дворянина мысли*.

— Ну, еще бы!

— Надъ ней, однако, очень бы стоило поработать прилежно,—заключилъ Вырвичъ.

— Очень жаль, что вы безъ системы все читаете,—поучительно заявлялъ онъ ей одинъ разъ.

— Напротивъ, спросите Нестора Игнатьича: я его, я думаю, замучила, заставляя переводить себѣ.

— Несторъ Игнатьичъ—извѣстный старовѣръ.

— А какая же новая-то есть вѣра? — спросилъ сквозь зубы Долинскій.

— Вѣра въ лучшихъ людей и въ лучшее будущее.

— Это самая старая вѣра и есть,—также нехотя и равнодушно отвѣчалъ Долинскій.

— Да-съ, да это не о томъ, а о томъ, что Дарья Михайловна съ вами, я думаю, въ чемъ вѣдь упражняется? Все того же Шекспира, небось, заставляетъ себѣ переводить?

— Русскихъ журналовъ я болѣе не читаю,—отвѣчала за Долинскаго Дора.

— Это за что такая немилость?

— Нечего читать. Своихъ прежнихъ писателей я всѣхъ знаю, а новыхъ... да и новыхъ, впрочемъ, знаю.

— Даже не читавши!

— А это васъ удивляетъ? Тутъ ничего нѣтъ такого удивительнаго. Дѣло очень извѣстное: всѣ вѣдь почти они на одинъ фасонъ! одинъ говоритъ: пусть женщина отдается по первому влеченію, другой говоритъ — пусть никому не отдается; одинъ учитъ, какъ наживать деньги, другой—говоритъ, что деньги наживать нечестно, что надо жить совсѣмъ иначе, а самъ живетъ еще иначе. Все одна докучная басня: «жили-были кутыль да журавль; накосили они

себѣ стожокъ сѣнца, поставили посередь польцà, не сказать ли вамъ опять съ конца?» зарядила сорока «*Якова*», и съ тѣмъ до всякаго.

— А у вашего Шекспира?

— А у моего Шекспира? А у моего Шекспира — вотъ что: я вотъ сегодня устала, забила свою голову всякой дрязгой домашней, а прочла Ричарда — и это меня освѣжило; а прочитай я какую-нибудь вашу статью, или нравоученіе въ лицахъ — я бы только разозлилась, или еще больше устала.

— Въ Ричардѣ Третьемъ—жизнь!.. О, разумъ!—къ тебѣ взываю. Чтò это такое, эта Анна? Уродъ невозможный. Живая на небо летитъ за мертвымъ мужемъ, и тутъ же на шею вѣшается его убійцѣ. Помилуйте, развѣ это возможно.

— Иль палецъ выломить *любя*, какъ леди Перси,—вставилъ съ своей стороны Шпандорчукъ.

— Да... и палецъ выломить,—спокойно отвѣчала Дора.

— Такъ ужъ, послѣдовательно идя, почему-жъ не свернуть любя и голову?

— Да... свернуть и голову.

— Любя!

Дорушка помолчала и, посмотрѣвъ на обоихъ оппонентовъ, медленно проговорила, качая своею головкою:

— Эхъ, господа, господа! Какія у васъ должны быть крошечныя-крошечныя страстишки-то!—Она приложила палецъ къ концу ногтя своего мизинца и добавила: — вотъ этакія должно быть, чупушныя, малюсенькія; меньше воробьинаго носка.

— Прекрасно-съ! ну, пусть тамъ страсти, такъ и страсти; но зачѣмъ же въ небо-то было лѣзть?

— Да что вы такъ этого неба боитесь? Не безпокойтесь, пожалуйста, никто живьемъ ни въ небо не вскочитъ, ни въ землю совсѣмъ не закопается.

Журавка обыкновенно фыркалъ, пыхалъ, подпрыгивалъ и вообще ликовалъ при этихъ спорахъ. Вырвичъ и Шпандорчукъ одинъ или два раза круто поспорили съ нимъ о значеніи художества и вообще говорили объ искусствѣ неуважительно. Илья Макаровичъ былъ плохой діалектикъ; онъ не могъ соспорить съ ними, и зато питалъ къ нимъ всегдашнюю затаенную злобу.

Чуть, бывало, онъ завидитъ ихъ еще изъ окна, какъ

сейчасъ же завертится, забѣгаетъ, потираетъ свои руки и кричитъ: «волхвы идутъ! волхвы, гадатели! сейчасъ будутъ намъ будущее предсказывать».

Съ появленіемъ Вырвича и Шпандорчука, Журавка стихалъ, усаживался въ уголокъ и только тихонько пофыркивалъ. Но зато, пересидѣвъ ихъ и дождавшись, когда они уйдутъ, онъ тотчасъ же вскакивалъ и шумѣлъ безпощадно.

— Кошлачки! кошлачки!—говорилъ онъ о нихъ:—отличные кошлачки!—Славные такіе, все какъ на подборъ шершавенькіе, все сѣренькіе, такіе, что хоть выжми ихъ, такъ ничего живого не выйдетъ... То-есть,—добавлялъ онъ, кипятясь и волнуясь:—то-есть вотъ, что называется, ни вкусаго, ни радости, опричь самой гадости... Торчатъ на свѣтѣ, какъ вывѣтрѣлыя шишки еловыя... Тьфу, вы сморчки ненавистные!

Долинскій всей душой сочувствовалъ Дорѣ, по вслѣдствіе ея молодости и дѣтскаго ея положенія при нѣжной, страстно ее любящей сестрѣ, онъ привыкъ смотрѣть на нее только какъ на богато-одаренное дитя, у котораго все еще... не устоялось и бродитъ. Онъ очень любилъ Дору и съ удовольствіемъ исполнялъ каждое ея желаніе, но ко многимъ ея требованіямъ относился какъ къ капризамъ ребенка и даже исполнялъ ихъ съ снисходительной улыбкой. Дорушка, при всемъ своемъ умѣ и прочихъ хорошихъ качествахъ, дѣйствительно, иногда позволяла себѣ немножко покапризить, и материнское снисхожденіе Анны Михайловны къ этимъ капризамъ упрочивало за ея сестрою положеніе дитяти. Въ поведеніи Дорушки таки-случались своего рода грѣшки и странности, и Анна Михайловна не безъ основанія говаривала, что Дора про себя самоё поетъ романсъ:

«То безъ рѣчей, то говорлива,
«То холодна, то жжетъ въ ней кровь».

Отношенія Долинскаго къ Аннѣ Михайловнѣ были совершенно иныя. Это было что-то въ родѣ благоговѣйнаго почтенія. Долинскій даже перемѣнялся въ лицѣ, когда Анна Михайловна относилась къ нему съ вопросомъ. Онъ смотрѣлъ на нее какъ на что-то неприкосновенное, высшее обыкновенной женщины; разговаривалъ съ нею онъ, не сводя своего взора съ ея прекрасныхъ глазъ; держался передъ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Мальчикъ Бобка.

Прошло очень немного времени, какъ Дорѣ представился новый случай наблюдать сестру по отношенію къ Долинскому.

Одинъ разъ, въ самый ясный погожій осенній день, поздним утромъ, такъ часовъ около двѣнадцати, къ Аннѣ Михайловнѣ забѣжалъ Журавка, а черезъ нѣсколько минутъ, какъ по сигналу, явились Шпандорчукъ и Вырвичъ, и у Доры съ ними, за кофе, къ которому они сошлись было въ столовую, закипѣлъ какой-то ожесточенный споръ. Чтобы положить конецъ этому пренію и не потерять рѣдкаго въ эту пору хорошаго дня, Долинскій, допивъ свою чашку, тихонько вышелъ и возвратился въ столовую въ пальто и въ шляпѣ: на одной рукѣ его была перекинута драповая тальма Доры, а въ другой онъ бережно держалъ ея сѣренькую касторовую шляпу съ черными марабу. Замѣтивъ Долинскаго, Дора улыбнулась и сказала:

— Pardon, господа, мой вѣрный пажъ готовъ.

— Да-съ, готовъ, — отвѣтилъ Долинскій: — и полагаетъ, что его благородной госпожѣ будетъ гораздо полезнѣе теперь пройтись по свѣжему воздуху, чѣмъ спорить и кипятиться.

— Кажется, вы правы,—произнесла Дора, оборачиваясь къ нему спиною для того, чтобы тотъ могъ надѣть ей тальму, которую держалъ на своей рукѣ.

Долинскій раскрылъ тальму и уже поднесъ ее къ Дориным плечамъ, но вдругъ остановился и, поднявъ вверхъ одинъ палецъ, тихо произнесъ:

— Тсс!

Всѣ посмотрѣли на него съ нѣкоторымъ удивленіемъ, но никто не сказалъ ни слова, а между тѣмъ Долинскій швырнулъ въ сторону тальму, торопливо подошелъ къ двери, которая вела въ рабочую комнату и, притворивъ ее безъ всякаго шума, схватилъ Дорушку за руку и, весь дрожа всѣмъ тѣломъ, сказалъ ей:

— Вызовите Анну Анисимовну въ мои комнаты! Да сейчасъ! сейчасъ вызовите!

— Что такое?!—спросила удивленная Дора.

— Зовите ее оттуда!—отвѣчалъ Долинскій, крѣпко подернувъ Дорину руку.

— Да что? что?

Вмѣсто отвѣта Долинскій взялъ ее за плечи и показалъ рукою на фронтонъ высокаго надворнаго флигеля.

— Ахъ!—произнесла чуть слышно Дорушка и побѣжала къ комнатамъ Долинскаго.—Душенька! Анна Анисимовна!—говорила она идучи: — подите ко мнѣ, мой дружочекъ, съ иголочкой въ Несторъ Игнатьевича комнату.

По коридорчику вслѣдъ за Дашей прошумѣло ситцевое платье Анны Анисимовны.

Между тѣмъ, всѣ столпились у окна, а Долинскій, шепнувъ имъ:—Видите, Бобка на карнизѣ!—выбѣжалъ и, снова возвратясь черезъ секунду, проговорилъ, задыхаясь:—Богаради, чтобъ не было шума! Анна Михайловна! Пожалуйста, чтобъ ничто не привлекало его вниманія!

Сказавъ это, Долинскій исчезъ за дверью и въ это мгновеніе какъ-то никому не пришло въ голову ни остановить его, ни спросить о томъ, что̀ онъ хочетъ дѣлать, ни подумать даже, что̀ онъ можетъ сдѣлать въ этомъ случаѣ.

Общее вниманіе было занято карнизомъ. По узкому деревянному карнизу, крытому зеленымъ листовымъ желѣзомъ и отдѣляющему фронтонъ флигеля и бѣльевую сушильню отъ верха третьяго жилого этажа, преспокойнымъ образомъ, весело и граціозно ползъ самый маленькій, трехлѣтній сынъ Анны Анисимовны, всеобщій фаворитъ Борисушка, или Бобка. Онъ ползъ на четверенькахъ по направленію отъ слухового окна, изъ котораго онъ выбрался, къ острому углу, подъ которымъ крыша соединяется съ фронтономъ. Передъ нимъ, въ нѣсколькихъ шагахъ разстоянія, подпрыгивалъ и взмахивалъ связанными крылышками небольшой сизый голубокъ, котораго ребенокъ все старался схватить своею пухленькою ручкою. Голубокъ не дѣлалъ никакой попытки разомъ отдѣлаться отъ своего преслѣдователя; чуть ребенокъ, подвинувшись на колѣночкахъ, распускалъ надъ нимъ свою ручку, голубокъ встрепенался, взмахивалъ крылышками, показывая свои бѣленкія подмышки, припрыгивалъ два раза, потомъ дѣлалъ своими красненькими ножками два вершковыхъ шага, и опять давалъ Бобкѣ подползать и изловчаться. Голубокъ отодвигался, и Бобка сейчасъ же заносилъ ножонку впередъ и осторожно двигался на четверенькахъ. Тонкіе желѣзные листы, которыми былъ покрытъ полусгнившій карнизъ, гнулись и подъ маленькимъ тѣломъ

Бобки и, гнувшись, шумѣли; а изъ-подъ нихъ на землю потихоньку сыпалась гнилая пыль гнилого карниза. Бобкѣ оставалось два шага до соединенія карниза съ крышею, гдѣ онъ непремѣнно бы поймалъ своего голубя, и откуда бы еще непремѣннѣе полетѣлъ съ нимъ вмѣстѣ съ десяти-саженной высоты на дворовую мостовую. Гибель Бобки была неизбѣжна, потому что голубь бы непремѣнно удалялся отъ него тѣмъ же аллюромъ до самаго угла соединенія карниза съ крышей, гдѣ мальчикъ ни за что не могъ ни разогнуться, ни поворотиться; надѣяться на то, чтобы ребенокъ догадался двигаться задомъ, было довольно трудно, да и всякій, кому въ дѣтствѣ случалось путешествовать по такъ-называемымъ «кошачьимъ дорогамъ», тотъ, конечно, пойметъ, что такой фортель былъ для Бобки совершенно невозможенъ. Еще двѣ-три минуты, или какой-нибудь шумъ на дворѣ, который бы заставилъ его оглянуться внизъ, или откуда-нибудь сердобольный совѣтъ, или крикъ ужаса и состраданія—и Бобка бы непремѣнно оборвался и легъ бы съ размозженнымъ черепомъ на гладкихъ голышахъ почти передъ самымъ окномъ, у котораго работала его бѣдная мать.

Но на Бобкино счастье во дворѣ никто не замѣтилъ его воздушнаго путешествія. И Журавка, выбѣжавшій вслѣдъ за Долинскимъ, совершенно напрасно, тревожно стоя подъ карнизомъ, грозилъ пальцемъ на всѣ внутреннія окна дома. Даже Анны Михайловны кухарка, рубившая котлетку прямо противъ окна, изъ котораго видно было каждое движеніе Бобки, преспокойно работала сѣчкой и распѣвала:

Полюбила я любовничка,
Канцелярскаго чиновничка;
По головкѣ его гладила,
Волоса ему помадила.

Долинскій, выйдя изъ комнаты, духомъ перескочилъ дворикъ и въ одно мгновеніе очутился на чердакѣ за деревяннымъ фронтономъ.

— Бобка!—позвалъ онъ потихоньку сквозь доску, стараясь говорить какъ можно спокойнѣе и какъ разъ у мальчиковой головы.

— А!—отозвался на знакомый голосъ юный Блонденъ.

— Гляди-ка сюда!—продолжалъ Долинскій, имѣя въ виду

привлечь глаза мальчика къ стѣнѣ, чтобы онъ далѣе не трогался и не глянулъ какъ-нибудь внизъ...

— Говабь повзаетъ,—говорилъ, весь сіяя, Бобка.

— Вижу; а ты гляди-ко, Бобка, какъ я его, шельму, сейчасъ изловлю!

— Ну, ну, ну, лови! — отвѣчалъ мальчикъ, и самъ воззрился въ одно мѣсто на нижней доскѣ фронтона.

— Ты только смотри, Бобка, не трогайся, а я уже его сейчасъ.

Мальчикъ отъ радости оскалилъ бѣленькіе зубенки и закусилъ большой палецъ своей лѣвой руки.

Въ это же мгновеніе, въ слуховомъ окнѣ показалась прелестная голова Долинскаго. Красивое, дышащее добротою и кротостью лицо его было оживлено свѣжею краскою спокойной рѣшимости; волнистые волосы его разсыпались отъ вѣтра и легкими, тонкими прядями прилипали къ лицу, покрывающемуся отъ страха крупными каплями пота. Черезъ мгновеніе вся его стройная фигура обрисовалась на сѣромъ фонѣ выцвѣтшаго фронтона, и прежде чѣмъ желѣзные листы загромыхали подъ его ногами, лѣвая рука Долинскаго ловко и крѣпко схватила ручонку Бобки. Правою рукою онъ сильно держался за край слухового окна и въ одну секунду бросилъ въ него мальчика, и вслѣдъ за нимъ прыгнулъ туда самъ.

Все это произошло такъ скоро, что когда Долинскій съ Бобкою на рукахъ проходилъ черезъ кухню, кухарка еще не кончила пѣсню про любовничка, канцелярскаго чиновничка, и разсказывала, какъ она

Напоила его мятою,
Обложила кругомъ ватою.

— Ахъ, скверный ты мальчикъ!—нервно вскрикнула Анна Михайловна при видѣ Бобки.

— Насилу поймалъ,—говорилъ весело Долинскій.

— Боже мой, какой страхъ былъ!

Изъ коридора выбѣжала блѣдная Анна Анисимовна: она было сердито взяла Бобку за чубокъ, но тотчасъ же разжала руку, схватила мальчика на руки и страстно впилась губами въ его розовыя щеки.

— Миндаль вамъ за спасеніе погибавшаго,—проговорилъ шутливо Вырвичъ, подавая Долинскому выколупнутую съ булки поджаренную миндалину.

Анна Михайловна вспыхнула.

— Страшно! у васъ голова могла закружиться, — говорила она, обращаясь къ Долинскому.

— Нѣтъ, это вѣдь одна минута; не надо только смотрѣть внизъ, — отвѣчалъ Долинскій, спокойно кладя на столъ поданную ему миндалинку, и съ этими словами ушелъ въ свою комнату, а оттуда вмѣстѣ съ Дашею прошелъ черезъ магазинъ на улицу.

Черезъ часа полтора, когда они возвратились домой, Дора застала сестру въ ея комнатѣ, сильно встревоженною.

— Что̀ это такое съ тобою?—спросила она Анну Михайловну.

— Ахъ, Дорушка, не можешь себѣ вообразить, какъ меня разбѣсили!

— Ну?

— Да вотъ эти господа ненавистные. Только что вы ушли, какъ начали они разсуждать, слѣдовало или не слѣдовало Долинскому снимать этого мальчика, и просто вывели меня изъ терпѣнія.

— Рѣшили, что не слѣдовало?

— Да! Рѣшили, что дворника надо было послать; потомъ стали увѣрять меня, что здѣсь никакого страха нѣтъ и никакого риска нѣтъ; потомъ ужъ опять, какъ-то опять стало выходить, что рискъ былъ, и что потому-то именно не слѣдовало рисковать собой.

— Да вѣдь они ничѣмъ не рисковали, у окошка стоя. Жаль, что я ушла, не послушала рѣчей умныхъ.

— Ужъ именно! И что̀ только такое тутъ говорилось!.. И о развитіи, и о томъ, что отъ погибели одного мальчика человѣчеству не стало бы ни хуже, ни лучше; что истинное развитіе обязываетъ человѣка беречь себя для жертвъ болѣе важныхъ, чѣмъ одна какая-нибудь жизнь, и все такое, что просто... разстроили меня.

— Что ты даже взялась за гофманскія капли?

— Ну, да.

— Успокойся, моя Софья Павловна, твой Молчалинъ живъ; ни лбомъ не треснулся о землю, ни затылкомъ,— проговорила Дора, развязывая передъ зеркаломъ ленты своей шляпы.

— И ты тоже! — нетерпѣливо сказала Анна Михайловна.

— Господи, да что̀ такое за «не тронь-меня» этотъ Долинскій.

— Не Молчалинъ онъ, а я не Софья Павловна.

— Пожалуйста, прости, если неловко пошутила. Я не знала, что съ тобой на его счетъ ужъ и пошутить нельзя,— сухо проговорила, выходя изъ комнаты, Дора.

Черезъ минуту Анна Михайловна вошла къ Дорушкѣ и молча поцѣловала ея руку; Дора взяла обѣ руки сестры и обѣ ихъ поцѣловала также молча.

Въ очень короткое время Анна Михайловна удивила Дору еще болѣе поступкомъ, который прямо не свойственъ былъ ея характеру. Анна Михайловна и Дора какъ-то случайно знали, что Шпандорчукъ и Вырвичъ частенько заимствовались у Долинскаго небольшими деньжонками и что должки эти частію кое-какъ отдавались пополамъ съ грѣхомъ, а частію не отдавались вовсе и возрастали до цифръ, хотя и небольшихъ, но все-таки для рабочаго человѣка кое-что значащихъ. Было извѣстно также и то, что Долинскій иногда самъ очень сбивается съ копейки и что въ одну изъ такихъ минутъ онъ самымъ мягкимъ и деликатнымъ образомъ попросилъ ихъ, не могутъ ли они ему отдать что̀-нибудь; но отвѣта на это письмо не было, а Долинскій пересталъ даже напоминать пріятелямъ о долгѣ. Эта деликатность злила необыкновенно самолюбиваго Шпандорчука; ему непремѣнно хотѣлось отомстить за нее Долинскому, хотѣлось хоть какой-нибудь гадостью расквитаться съ нимъ въ долгѣ и, поссорившись, уничтожить всякую мысль о какой бы то ни было расплатѣ. Но поссориться съ Несторомъ Игнатьевичемъ бывало гораздо труднѣе, чѣмъ помириться съ глупой женщиной. Шпандорчукъ пробовалъ ему и кивать головою, и подавать ему два пальца, и полунасмѣшливо отвѣчать на его вопросы, но Долинскій хорошо зналъ, сколько все это стоитъ, и не удостоивалъ этихъ продѣлокъ никакого вниманія. Шпандорчуку даже видъ Долинскаго сталъ ненавистенъ.

— Какое это у васъ лицо, гляжу я?—говорилъ одинъ разъ, прощаясь съ нимъ, Вырвичъ.

— Какое лицо?—спросилъ, не понимая вопроса, Долинскій.

— Да я не знаю, что̀ такое, а Шпандорчукъ что-то увѣряетъ, что у Долинскаго, говоритъ, совсѣмъ неблагопристойное лицо какое-то дѣлается.

Вырвичъ откровенно захохоталъ.

— А это вѣрно господинъ Шпандорчукъ не чувствуетъ ли себя передъ Несторомъ Игнатьевичемъ въ чемъ-нибудь... неисправнымъ?—тихо вмѣшалась Анна Михайловна.—Всѣ пустые люди,—продолжала она:—у которыхъ очень много самолюбія и есть какіе-то слѣды совѣсти, а нѣтъ ни искренности, ни желанія поправиться, всегда кончаютъ этимъ, что ихъ раздражаютъ лица, напоминающія имъ объ ихъ собственной гадости.

Все это Анна Михайловна проговорила съ такимъ холоднымъ спокойствіемъ и съ такимъ достоинствомъ, что Вырвичъ не нашелся сказать въ отвѣтъ ни слова, и красненькій-раскрасненькій молча вышелъ за двери.

— Вотъ, братъ, отдѣлала тебя!—началъ онъ, являясь домой, и разсказалъ всю эту исторію Шпандорчуку.

— Кто васъ проситъ сообщать мнѣ такія мерзости!—взвизгнулъ Шпандорчукъ, неистово вскакивая съ постели.—Я ей, негодяйкѣ, просто... уши оболтаю на Невскомъ!—зарѣшилъ онъ, перекрутивъ и бросивъ на полъ коробочку изъ-подъ зажигательныхъ спичекъ.

Съ этихъ поръ ни Вырвичъ, ни Шпандорчукъ не показывались въ домѣ Анны Михайловны, и послѣдній, встрѣчаясь съ нею, всегда поднималъ носъ какъ можно выше, по недостатку смѣлости задорно смотрѣлъ въ сторону.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Интересное домино.

Была зима. Святки наступили. Долинскому кто-то подарилъ семейный билетъ на маскарады дворянскаго собранія. Дорушка во что бы то ни стало хотѣла быть въ этомъ маскарадѣ, а Аннѣ Михайловнѣ, наоборотъ, смерть этого не хотѣлось, и она всячески старалась отговорить Дашу. Для Долинскаго было все равно: ѣхать ли въ маскарадъ или просидѣть дома.

— Охота тебѣ, право, Дора!—отговаривалась Анна Михайловна.—Въ благородномъ собраніи бываетъ гораздо веселѣе—да не ѣздишь, а тутъ что? Кого мы знаемъ?

— Я? я знаю цѣлый десятокъ франтихъ и всѣ ихъ грязные романы, и нынче всѣ ихъ перепутаю. Ты знаешь эту барыню, которая какъ взойдетъ въ магазинъ—сейчасъ вотъ

такъ начинаетъ водить носомъ по потолку? Сегодня она потерпитъ самое страшное пораженіе.

— Полно вздоры затѣвать, Дора!

— Нѣтъ, пожалуйста, поѣдемъ.

И поѣхали.

О томъ, какъ залъ сіялъ, гремѣли хоры и волновалась маскарадная толпа, не стоитъ разсказывать: всему этому есть ужъ очень давно до подробности вѣрно составленныя описанія.

Дорушка какъ только вошла въ первую залу, тотчасъ же впилась въ какого-то конногвардейца и исчезла съ нимъ въ густой толпѣ. Анна Михайловна прошлась раза два съ Долинскимъ по заламъ и стала искать укромнаго уголка, гдѣ бы можно было усѣсться поспокойнѣе.

— Душно мнѣ — уже устала; терпѣть я не могу этихъ маскарадовъ,—жаловалась она Долинскому, который отыскалъ два свободныхъ кресла въ одномъ изъ менѣе освѣщенныхъ угловъ.

— Я тоже не большой ихъ почитатель,—отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Духота, давка и всякаго вздора наслушаешься — только и хорошаго.

— Ну, вѣдь для этого же вздора, Анна Михайловна, собственно и ѣздятъ.

— Не понимаю этого удовольствія. Я, знаете, просто... боюсь масокъ.

— Боитесь!

— Да, дерзкія онѣ... имъ все нипочемъ... Не люблю.

— Зато можно многое сказать, чего не скажешь безъ маски.

— Тоже не люблю и говорить съ незнакомыми.

— Да и съ знакомыми такъ какъ-то совсѣмъ иначе говорится.

— Да это въ самомъ дѣлѣ. Отчего бы это?

Разсуждая, почему и отчего подъ маскою говорится совсѣмъ не такъ, какъ безъ маски, они сами незамѣтно заговорили иначе, чѣмъ говаривали внѣ маскарада.

Прошелъ часъ-другой, голубое домино Доры мелькало въ толпѣ; изрѣдка оно, проносясь мимо сестры и Долинскаго, ласково кивало имъ головою и опять исчезало въ густой толпѣ, гдѣ ее неотступно преслѣдовали разные фешенэбель-

ные господа и грандіозныя черныя домино. Дора была въ ударѣ и бросала на всѣ стороны самыя ѣдкія шпильки, постоянно увеличивавшія гонявшійся за нею хвостъ. Анна Михайловна тоже развеселилась и не замѣчала времени. Несмотря на то, что онѣ видѣлись съ Долинскимъ каждый день и, кажется, могли бы затрудняться въ выборѣ темы для разговора, особенно занимательнаго, у нихъ шла самая оживленная бесѣда. По поводу нѣкоторыхъ припомненныхъ ими здѣсь извѣстныхъ маскарадныхъ интригъ, они незамѣтно перешли къ разговору объ интригѣ вообще. Анна Михайловна возмущалась противъ всякой любовной интриги и относилась къ ней презрительно, Долинскій еще презрительнѣе.

— Ужъ если случится такое несчастіе, то лучше нести его прямо,—разсуждала Анна Михайловна. Долинскій былъ съ нею согласенъ во всѣхъ положеніяхъ и на эту тему.— Или бороться,—говорила Анна Михайловна; Долинскій и здѣсь былъ снова согласенъ и не ставилъ борьбу съ долгомъ, съ привычнымъ уваженіемъ къ извѣстнымъ правиламъ, ни въ вину, ни въ порицаніе. Борьба всегда говоритъ за хорошую натуру, неспособную перешвыривать всѣмъ, какъ попало, между тѣмъ, какъ обманъ...

— Гадость ужасная!—съ омерзѣніемъ произнесла Анна Михайловна.—Странно это,—говорила она черезъ нѣсколько минутъ:—какъ люди мало цѣнятъ то, что̀ въ любви есть самаго лучшаго, и спѣшатъ падать какъ можно грязнѣе.

— Таковъ ужъ человѣкъ, да можетъ быть его въ этомъ даже нельзя слишкомъ и винить.

— Нѣтъ, все это очень странно... ни борьбы, ни увѣренности, что мы любимъ другъ въ другѣ... что-то все-таки высшее... человѣческое... Неужто-жъ ужъ это въ самомъ дѣлѣ только шутовство! неужто ужъ такъ нельзя любить?

Анна Михайловна выговорила это съ затрудненіемъ, и она бы вовсе не выговорила этого Долинскому безъ маски.

— Какъ же нельзя, если мы и въ литературѣ, и въ жизни встрѣчаемъ множество примѣровъ такой любви?

— Ну, не правда ли, всегда можно любить чисто? Ну, что̀ эти волненья крови... интриги...

— Да, мнѣ кажется, что вы совершенно правы.

— Какъ, Несторъ Игнатьичъ, «кажется»! Я вѣрю въ это,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Да, конечно... Борьба... а не выйдешь изъ этой борьбы побѣдителемъ, то все-таки знаешь, что я—человѣкъ, я спорилъ, боролся, но не совладѣлъ, не устоялъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ? — Чистая, чистая любовь и борьба—вотъ настоящее наслажденіе: «блѣднѣть и гаснуть... вотъ блаженство».

— Долинскій, здравствуй! — произнесло, остановясь передъ ними, какое-то черное, кружевное домино.

Несторъ Игнатьевичъ посмотрѣлъ на маску и никакъ не могъ догадаться, кто бы могъ его знать на этомъ аристократическомъ маскарадѣ.

— Давай свою руку, несчастный страдалецъ!—звало его пискливымъ голосомъ домино.

Долинскій отказался, говоря, что у него есть своя очень интересная маска.

— Лжешь, совсѣмъ не интересная,—пищало домино.—Я ее знаю—совсѣмъ не интересная. Пора ужъ вамъ наскучить другъ другу.

— Иди, иди себѣ съ Богомъ, маска, — отвѣчалъ Долинскій.

— Нѣтъ, я хочу идти съ тобою,—настаивало домино.

Долинскій едва-едва могъ отдѣлаться отъ привязчивой маски.

— Вы не знаете, кто это такая? — спросила Анна Михайловна.

— Рѣшительно не знаю.

— Долинскій!—опять запищала та же маска, появляясь съ другой стороны подъ руку съ другою маскою, покрытою звѣзднымъ покрываломъ.

Несторъ Игнатьевичъ оглянулся.

— Оставь же, наконецъ, на минутку свое сокровище,—начала, смѣясь, маска.

— Оставь меня, пожалуйста, въ покоѣ.

— Нѣтъ, я тебя не оставлю; я не могу тебя оставить, мой милый рыцарь!—рѣшительно отвѣчала маска.—Ты мнѣ очень дорогъ, пойми ты—дорогъ мнѣ, Долинскій.

Маски слегка хихикали.

— Ахъ, ужъ оставь его! Онъ радъ бы, видишь ли, и самъ идти съ тобой, да не можетъ,—картавило звѣздное покрывало.

— Ты думаешь, что она его причаровала?

— О, нѣтъ! Она не чаровница. Она его просто пришила—*пришила его,*—отвѣчало, громко разсмѣявшись, звѣздное покрывало, и обѣ маски побѣжали.

— Пойдемте, пожалуйста, ходить... Гдѣ Дора?—говорила нѣсколько смущенная Анна Михайловна, еще болѣе смущенному Долинскому.

Они встали и пошли; но не успѣли сдѣлать двадцати шаговъ, какъ снова увидѣли тѣ же два домино, шедшія навстрѣчу имъ подъ руки съ очень молодымъ конногвардейцемъ.

— Пойдемте отъ нихъ,—сказала оробѣвшая Анна Михайловна и, дернувъ Долинскаго за руку, повернула назадъ.

— Чего она насъ такъ боится? — спрашивало, нагоняя ихъ сзади, черное домино у звѣзднаго покрывала.

— Она не сшила мнѣ къ сроку панталонъ,—издѣвалось звѣздное покрывало, и обѣ маски вмѣстѣ съ конногвардейцемъ залились.

— Возьмемъ его приступомъ! — продолжало шутить за спиною у Анны Михайловны и Долинскаго звѣздное покрывало.

— Возьмемъ,—соглашалось домино.

Долинскій терялся, не зная, что̀ ему дѣлать, и тревожно искалъ глазами голубого домино Доры. — Вотъ... Чортъ знаетъ, что̀ я могу, что̀ я долженъ сдѣлать? Если бъ Дора! ахъ, если бъ она! Онъ посмотрѣлъ въ глаза Аннѣ Михайловнѣ—глаза эти были полны слезъ.

— Ну, бери!—произнесло сквозь смѣхъ заднее домино и схватило Долинскаго за локоть свободной руки.

Въ то же время звѣздное покрывало ловко отодвинуло Анну Михайловну и взялось за другую руку Долинскаго.

Несторъ Игнатьевичъ слегка рванулся: маски висѣли крѣпко, какъ хорошо принявшіяся піявки, и только захохотали.

— Ты не думаешь ли драться?—спросило его покрывало.

Долинскій, ничего не отвѣчая, только оглянулся; конногвардеецъ, сопровождавшій полонившихъ Долинскаго масокъ, разсказывалъ что-то лейбъ-казачьему офицеру и старичку самой благонамѣренной наружности. Всѣ они трое помирали со смѣха и смотрѣли въ ту сторону, куда маски увлекали Нестора Игнатьевича. Пунцовый бантъ на капюшонѣ Анны Михайловны робко жался къ стѣнѣ за колоннадою.

— Пустите меня Бога-ради!—просилъ Долинскій и ворохнулъ руками тихо, но гораздо посерьезнѣе.

— Послушай, Долинскій, будь паинька, не дурачься, а не то, mon cher, самъ пожалѣешь.

— Дѣлайте, что хотите, только отстаньте отъ меня теперь.

— Ну, хорошо, иди, а мы сдѣлаемъ скандалъ твоей маскѣ.—Долинскій опять оглянулся. Одинокая Анна Михайловна попрежнему жалась у стѣны, но изъ ближайшихъ дверей показался голубой капюшонъ Доры. Конногвардеецъ съ лейбъ-казакомъ и благонамѣреннымъ старичкомъ попрежнему веселились. Лицо благонамѣреннаго старичка показалось что-то знакомымъ Долинскому.

«Боже мой! — вспомнилъ онъ: — да это, кажется, благодѣтель Азовцовыхъ—откупщикъ», и, оглянувшись на висѣвшее у него на правомъ локтѣ черное домино, Долинскій проговорилъ строго:

— Юлія Петровна, это вы мнѣ дѣлаете такіе сюрпризы?

Онъ узналъ свою жену.

— Ну, пойдемте же, куда вамъ угодно и, пожалуйста, говорите скорѣе, что̀ хотите вы отъ меня — безсовѣстная вы, ненавистная женщина!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Звѣздочка счастья.

Анна Михайловна, встрѣтивъ Дору, упросила ее тотчасъ же уѣхать съ маскарада.

— Я совсѣмъ нездорова—голова страшно разболѣлась,— говорила она сестрѣ, скрывая отъ нея причину своего настоящаго разстройства.

— Позовемъ же Долинскаго,—отвѣчала Дора.

— Нѣтъ, Богъ съ нимъ—пусть себѣ повеселится.

Сестры пріѣхали домой, слегка закусили и разошлись по своимъ комнатамъ.

Долинскій позвонилъ съ чернаго входа часа черезъ два или даже нѣсколько болѣе. Кухарка отперла ему дверь, подала спички и опять повалилась на кровать.

Спички оказались вовсе ненужными. На столѣ въ столовой горѣла свѣча и стояла тарелка, покрытая чистою салфеткою, подъ которой лежалъ ломоть хлѣба и кусокъ жареной индѣйки.

Несторъ Игнатьевичъ взглянулъ на этотъ ужинъ и, дунувъ на свѣчку, тихонько прошелъ въ свою комнату.

Минутъ черезъ пять кто-то очень тихо постучался въ его двери.

Долинскій, азартно шагавшій взадъ и впередъ, остановился.

— Можно войти,—тихо произнесъ за дверью голосъ Анны Михайловны.

— Сдѣлайте милость,—отвѣчалъ Долинскій, смущаясь и оглянувъ порядокъ своей комнаты.

— Отчего вы не закусили? — спросила, входя тоже нѣсколько смущенная, Анна Михайловна.

— Сытъ,—благодарю васъ за вниманіе.

Анна Михайловна, очевидно, пришла говорить не о закускѣ, но не знала съ чего начать.

— Садитесь, пожалуйста,—вы устали, — отнесся къ ней Долинскій, подвигая кресло.

— Что это было за явленіе такое? — спросила она, опускаясь въ кресло и стараясь спокойно улыбнуться.

— Боже мой! я просто теряю голову,—отвѣчалъ Долинскій.—Я былъ причиною, что васъ такъ тяжело оскорбила эта дрянная женщина.

— Нѣтъ... что до меня касается, то... вы, пожалуйста, не думайте объ этомъ, Несторъ Игнатьичъ. Это — совершенный вздоръ.

— Я далъ бы дорого—о, я дорого бы далъ, чтобы этого вздора не случилось.

— Эта маска была ваша жена?

— Почему вы это подумали?

— Такъ какъ-то, сама не знаю. У меня было нехорошее предчувствіе, и я не хотѣла ни за что ѣхать—это все Даша упрямая виновата.

— Пожалуйста, забудьте этотъ возмутительный случай,— упрашивалъ Долинскій, протягивая Аннѣ Михайловнѣ свою руку. — Иначе это убьетъ меня; я... не знаю, право... я уйду Богъ-знаетъ куда: я просто хотѣлъ уѣхать, хоть въ Москву, что ли.

— Очень мило,—прошептала, качая съ упрекомъ головою, Анна Михайловна.—Вы лучше скажите мнѣ, не было ли *съ вами* чего дурного?

— Ничего. Она хочетъ съ меня денегъ, и я ей обѣщалъ.

— Какая странная женщина!

— Богъ съ ней, Анна Михайловна. Мнѣ только стыдно... больно... кажется, сквозь землю бы пошелъ за то, что̀ вынесли вы сегодня. Вы не повѣрите, какъ мнѣ это больно...

— Вѣрю, вѣрю, только успокойтесь и забудьте этотъ нехорошій вечеръ,—отвѣчала Анна Михайловна, подавая Долинскому свои обѣ руки.—Вѣрьте и вы, что изъ всего, что̀ сегодня случилось, я хочу помнить одно: вашу боязнь за мое спокойствіе.

— Боже мой! да что̀ же у меня остается въ жизни, кромѣ вашего спокойствія.

Анна Михайловна взглянула на Долинскаго и молча встала.

— Позвольте на одно слово,—попросилъ ее Долинскій.

Анна Михайловна остановилась.

— Вы не сердитесь?—спросилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Я увѣрена, что вы не можете сказать ничего такого, что бы меня разсердило,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Я васъ всегда очень уважалъ, Анна Михайловна, а сегодня, когда мнѣ показалось, что я болѣе не буду васъ видѣть, не буду слышать вашего голоса, я убѣдился, я понялъ, что я страстно, глубоко васъ люблю, и я рѣшился... уѣхать.

— Зачѣмъ? — краснѣя и взглянувъ на дверь, отвѣчала Анна Михайловна.

Долинскій молчалъ.

— Вамъ никто не мѣшаетъ... и...

— И что̀?

— Вы никогда не будете имѣть права подумать, что васъ любятъ меньше,—чуть слышно уронила Анна Михайловна.

Долинскій сжалъ въ своихъ рукахъ ея руку. Анна Михайловна ничего не говорила и, опустивъ глаза, смотрѣла въ землю.

Въ домѣ было до жуткости тихо и сердце билось, точно подъ самымъ ухомъ. И онъ, и она были въ крайнемъ замѣшательствѣ, изъ котораго Анна Михайловна вышла, впрочемъ, первая.

— Пустите, — прошептала она, легонько высвобождая свою руку изъ рукъ Долинскаго.

Тотъ было тихо приподнялъ ея руку къ своимъ устамъ,

но взглянулъ въ лицо Аннѣ Михайловнѣ и робко остановился.

Анна Михайловна сама взяла его за голову, тихо, беззвучно его поцѣловала и быстро отодвинулась назадъ. Приложивъ палецъ къ губамъ, она стояла въ волненіи у притолка.

— Ахъ! не надо, не надо, Бога-ради не надо! — заговорила она, торопясь и задыхаясь, когда Долинскій сдѣлалъ къ ней одинъ шагъ, и, переведя духъ, какъ тѣнь, неслышно скользнула за его двери.

Прошелъ круглый годъ; Долинскій продолжалъ любить Анну Михайловну такъ точно, какъ любилъ ее до маскараднаго случая, и никогда не сомнѣвался, что Анна Михайловна любитъ его не меньше. Ни о чемъ происшедшемъ не было и помину.

Единственною разницею въ ихъ теперешнихъ отношеніяхъ отъ прежняго было то, что они знали изъ устъ другъ друга о взаимной любви, нѣжно лелѣяли свое чувство, «блѣднѣли и гасли», ставя въ этомъ свое блаженство.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Симпатическіе попугаи.

Въ теченіе цѣлаго этого года не произошло почти ничего особенно замѣчательнаго, только Дорушкины симпатическіе попугаи, Оля и Маша, къ концу мясоѣда выкинули преуморительную штуку, еще болѣе упрочившую за ними названіе *симпатическихъ попугаевъ*. Въ одинъ прекрасный день онѣ сообщили Дорѣ, что онѣ выходятъ замужъ.

— *Обѣ вмѣстѣ?*—спросила, удивясь, Дора.

— Да; такъ вышло, Дарья Михайловна, — отвѣчали дѣвушки.

— По крайней мѣрѣ, не за одного хоть?

— Нѣтъ-съ, какъ можно?

— То-то.

Онѣ выходили за двухъ родныхъ братьевъ, наборщиковъ изъ бывшей по сосѣдству типографіи.

Затѣялась свадьба, въ устройствѣ которой Даша принимала самое жаркое участіе, и, наконецъ, въ одинъ вечеръ передъ масляницей, симпатическихъ попугаевъ обвѣнчали. Свадьба справлялась въ двухъ комнатахъ, нанятыхъ въ томъ же домѣ, гдѣ помѣщался магазинъ Анны Михайловны.

Анна Михайловна была посаженою матерью дѣвушекъ; Несторъ Игнатьевичъ посаженымъ отцомъ, Дорушка и Анна Анисимовна — дружками у Оли и Маши. Илья Макаровичъ былъ въ эту пору боленъ и не могъ принять въ торжествѣ никакого личнаго участія, но прислалъ дѣвушкамъ по парѣ необыкновенно изящно-разрисованныхъ вѣнчальныхъ свѣчъ, бѣлаго пѣтуха съ краснымъ гребнемъ и бѣлую курочку.

Магазинъ въ этотъ день закрыли ранѣе обыкновеннаго, и всѣ столпились въ немъ около Даши, подъ надзоромъ которой передъ большими трюмо происходило одѣванье невѣстъ.

Даша была необыкновенно занята и оживлена; она хлопотала обо всемъ, начиная съ башмака невѣстъ и до каждаго бантика въ ихъ головныхъ уборахъ. Наряды были подарены невѣстамъ Анной Михайловной и частію Дорой, изъ ея собственнаго заработка. Она также сдѣлала на свой счетъ два самыя скромныя, совершенно одинаковыя бѣлыя платья для себя, и для своего друга — Анны Анисимовны. Дорушка и Анна Анисимовна, обѣ были одѣты одинаково, какъ двѣ родныя сестры.

— Что это за прелестное созданіе наша Дора!—заговорила Анна Михайловна, взойдя въ комнату Долинскаго, когда былъ оконченъ уборъ.

— Да, что ужъ о ней, Анна Михайловна, и говорить!— отвѣчалъ Долинскій. — Счастливый будетъ человѣкъ, кого она полюбитъ.

Анна Михайловна случайно чихнула и сказала:

— Вотъ и правда.

— Господа! Симпатическіе попугаи! — позвала, спѣшно пріотворивъ дверь и выставивъ свою головку, Дора. — Чего-жъ вы сюда забились? — Пожалуйте благословлять моихъ попугаевъ.

Кончилось благословеніе и вѣнчаніе, и начался пиръ. Анна Михайловна пробыла съ часъ и стала прощаться; Долинскій послѣдовалъ ея примѣру. Ихъ удерживали, но они не остались, боясь стѣснять своимъ присутствіемъ гостей жениховыхъ, и поступили очень основательно. Все-таки Анна Михайловна была *хозяйка*, все-таки Долинскій—*баринъ*.

Дорушка была совсѣмъ иное дѣло. Она умѣла всегда держать себя со всѣми какъ-то особенно просто, и невѣсты

были бы очень огорчены, если бы она оставила ихъ торжественный пиръ, ранѣе чѣмъ ему положено было окончиться по порядку.

Въ комнатахъ была изрядная давка и духота, но Дора не тяготилась этимъ, и подъ звуки плохенькаго квартета танцовала съ наборщиками двѣ кадрили.

Въ квартирѣ Анны Михайловны не оставалось ни души; даже дѣвочки были отпущены веселиться на свадьбѣ. Двери съ обоихъ подъѣздовъ были заперты, и Анна Михайловна, съ работою въ рукахъ, сидѣла на мягкомъ диванѣ въ комнатѣ Долинскаго.

Вездѣ было такъ тихо, что черезъ три комнаты было слышно, какъ кто-нибудь шмыгалъ резиновыми калошами по парадной лѣстницѣ. Красивый и очень сторожкій кингчарльзъ Анны Михайловны, «Риголетка», непривыкшая къ такой ранней тишинѣ, безпрестанно поднимала головку, взмахивая волнистыми ушами, и сердито рычала.

— Успокойся, успокойся, Риголеточка, — уговаривала ее Анна Михайловна, но собачка все тревожилась и насилу заснула.

— Что это за жизнь безъ Доры-то была бы какая скучная,—сказала послѣ долгой паузы Анна Михайловна, относясь къ настоящему положенію.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, какъ безъ нея тихо.

— Я тамъ было сѣла у себя, такъ даже какъ будто страшно,—молвила Анна Михайловна, и послѣ непродолжительнаго молчанія добавила: — ужасно дурная вещь одиночество!

— И не говорите. Я такъ отъ него настрадался, что до сихъ поръ, кажется, еще никакъ не отдышусь.

Анна Михайловна снова помолчала, и съ едва замѣтной улыбкой сказала:

— А ужъ, кажется, пора бы.

— Впрочемъ, человѣкъ никогда не бываетъ совершенно счастливъ,—проговорила она, вздохнувъ черезъ нѣсколько времени.

— Сердце будущимъ живетъ.

— А вотъ это-то и нехорошо. Вѣдь вотъ я же счастлива.

Долинскій промолчалъ. Онъ стоялъ у печки и грѣлся.

— А вы, Несторъ Игнатьичъ?—спросила она, улыбнувшись и положивъ на колѣна свою работу.

— Я очень счастливъ и доволенъ.

— Чѣмъ?

— Судьбой, и чѣмъ хотите,—отвѣчалъ весело Долинскій.

— А я, знаете, чѣмъ и кѣмъ болѣе всего довольна?— Анна Михайловна нѣсколько лукаво посмотрѣла искоса на молчавшаго Долинскаго и договорила:—вами.

Долинскій шутливо поклонился.

— Въ самомъ дѣлѣ, Несторъ Игнатьичъ, — продолжала, краснѣя и волнуясь, Анна Михайловна:—вы мнѣ доказали истинно и не словами, что вы меня, дѣйствительно, любите.

Долинскій также шутливо поклонился еще ниже.

— Я думала, что такъ въ наше время ужъ никто не умѣетъ любить,—произнесла она, мѣшаясь, какъ переконфуженный ребенокъ.

Долинскій подошелъ къ Аннѣ Михайловнѣ, взялъ и поцѣловалъ ея руку.

Анна Михайловна безотчетно задержала его руку въ своей.

— Вы—хорошій человѣкъ,—прошептала она и подняла къ его плечу свою свободную руку.

Въ это же мгновеніе Риголетка насторожила уши и съ звонкимъ лаемъ кинулась къ черному входу. Послышался сильный и нетерпѣливый стукъ.

— Посмотрите, пожалуйста, кто это?—произнесла Анна Михайловна, вздрогнувъ и скоро выбрасывая изъ своей руки руку Долинскаго.

Долинскій пошелъ въ кухню и тамъ тотчасъ же послышался голосъ Даши:

— Чего это вы до сихъ поръ не отпираете! Десять часовъ стучусь и никакъ не могу достучаться,—взыскивала она съ Долинскаго.

— Не слышно было.

— Помилуйте, мертвые бы, я думаю, услыхали,—отвѣчала она, пробѣгая.

— Сестра!—позвала она.

— Ну,—откликнулась Анна Михайловна изъ комнаты Долинскаго.

Дорушка вбѣжала на этотъ голосъ и, остановясь, спросила:

— Что̀ это ты такая?

— Какая?—мѣшаясь и еще болѣе краснѣя, проговорила Анна Михайловна.

Несторъ Игнатьевичъ всталъ и тихонько пошелъ въ комнату Анны Михайловны. Чуть только онъ переступилъ порогъ этой комнаты, изъ-подъ кровати раздалось сердитое рычаніе напуганной Риголетки.

— Ага! исправилась?—отнесся Долинскій къ собачкѣ.— Ну, Риголеточка, утѣшь, утѣшь Дарью Михайловну еще!

Риголетка снова сердито залаяла.

— Мммъ! дуракъ, настоящій дуракъ,—произнесла, смотря на Долинскаго, Дора и, соблазненная его искреннимъ смѣхомъ, сама тихонько надъ собой разсмѣялась.

Такъ время подходило къ веснѣ; Дорушка все—то вставала, то опять ложилась и все хворала и хворала; Долинскій и Анна Михайловна попрежнему тщательно скрывали свою великопостную любовь отъ всякаго чужого глаза, но, однако, тѣмъ не менѣе, никто не вѣрилъ этому пуризму, и въ мастерской, при разговорахъ объ Аннѣ Михайловнѣ и Долинскомъ, собственныя имена ихъ не употреблялись, а говорилось просто: сама и ейный.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Капризы.

Наконецъ, на дворѣ запахло гнилою гадостью; гнилая петербургская весна приближалась. Здоровье Даши со всякимъ днемъ становилось хуже. Она, видимо, таяла. Она давно уже, что говорится, дышала на ладанъ. Докторъ, который ее пользовалъ, отказался брать деньги за визиты.

— Вы мнѣ лучше платите въ мѣсяцъ,—сказалъ онъ:— я буду заѣзжать къ больной, и буду стараться ее поддерживать. Больше я ничего сдѣлать не могу.

— У нея чахотка?—спросилъ Долинскій.

— Несомнѣнная.

— Долго она можетъ жить?

Докторъ пожалъ плечами и отвѣчалъ:

— Болѣзнь въ сильномъ развитіи.

Съ четвертой недѣли поста Даша вовсе не вставала съ постели. Въ домѣ все приняло еще болѣе грустный характеръ. Ходили на цыпочкахъ, говорили шопотомъ.

— Господи! вы меня уморите прежде, чѣмъ смерть придетъ за мною, — говорила больная. — Все шушукаютъ, да скользятъ безъ слѣда, точно тѣни могильныя. Да поживите

вы еще со мною! дайте мнѣ послушать человѣческаго голоса! дайте хоть поглядѣть на живыхъ людей!

Ухода и заботливости о Дорушкиномъ спокойствіи было столько, что они ей даже надоѣдали. Проснувшись какъ-то разъ ночью, еще съ начала болѣзни, она обвела глазами комнату и, къ удивленію своему, замѣтила при лампадѣ, кромѣ дремлющей на диванѣ сестры, крѣпко спящаго на плетеномъ стулѣ Долинскаго.

— Кто это, Аня?—спросила шопотомъ Дорушка, указывая на Долинскаго.

— Это Несторъ Игнатьичъ,—отвѣчала Анна Михайловна, оправляясь и подавая Дорѣ ложку лѣкарства.

Дорушка выпила микстуру и, сдѣлавъ гримаску, спросила, глядя на Долинскаго:

— Зачѣмъ эта мумія тутъ торчитъ?

— Онъ все сидѣлъ... и какъ удивительно онъ спитъ!

— Еще упадетъ и перепугаетъ.

— Бѣдняжка! три ночи онъ совсѣмъ не ложился.

— Спасибо ему,—отвѣчала тихо Дора.

— Да, преуморительный; сегодня всталъ, чтобы дать тебѣ лѣкарства, налилъ и самъ всю цѣлую ложку со сна и выпилъ.

Анна Михайловна беззвучно разсмѣялась.

— Мірское челобитье, въ лубочкѣ связанное, — проговорила, глядя на Долинскаго, Дора.

— Голубиное сердце,—добавила Анна Михайловна.

Въ другой разъ Дашѣ все казалось, что о ней никто не хочетъ позаботиться, что ее всѣ бросили.

Анна Михайловна не отходила отъ сестры ни на минуту. Въ магазинѣ всѣмъ распоряжалась m-lle Alexandrine, и тамъ все шло капромъ да въ кучу, но Анна Михайловна не обращала на это никакого вниманія. Она выходила изъ комнаты сестры только въ сумерки, когда мастерицы кончали работу, оставляя на это время у больной Нестора Игнатьевича. Впрочемъ, они всегда сидѣли вмѣстѣ. Анна Михайловна работала въ ногахъ у сестры, а Несторъ Игнатьевичъ читалъ вслухъ какую-нибудь книгу. Больная лежала и смотрѣла на нихъ, иногда слушая, иногда далеко летая отъ того, о чемъ разсказывалъ авторъ.

Насталъ канунъ Вербнаго воскресенья. Въ этотъ вечеръ въ магазинѣ никого не было. Мастерицы разошлись, дѣ-

съ упрекомъ переконфуженный Долинскій, глядя на еще болѣе сконфуженную Анну Михайловну.

Больная отвернулась къ стѣнѣ, не удостоивъ этихъ упрековъ ни малѣйшаго вниманія, и, помолчавъ съ минуту, опять сказала:

— Да поцѣлуйтесь, что ли! Мнѣ такъ хочется видѣть, какъ вы любите другъ друга.

— Даша! тебѣ вѣрно хотѣлось видѣть, какъ я плачу, такъ ты какъ нельзя лучше этого достигла,—сказала полголосомъ Анна Михайловна и, сбросивъ съ колѣнъ работу, быстро вышла изъ комнаты. Слезы текли у нея по обѣимъ щекамъ.

Долинскій посмотрѣлъ ей вслѣдъ и остался молча на своемъ мѣстѣ.

— Вотъ чудаки! — тихо заговорила Дора и начала досадливо кусать губки. Это означало, что Даша одинаково недовольна и другими, и сама собою.

— Смѣшно!—воскликнула она черезъ минуту съ тою же досадой и съ явнымъ желаніемъ вызвать на разговоръ Долинскаго.

— Да, кошкѣ игрушки, а мышкѣ слезки,—отвѣтилъ, не поднимая глазъ отъ бумаги, Долинскій.

Даша вспыхнула.

— Э! ужъ хоть вы, по крайней мѣрѣ, перестаньте, пожалуйста, комонничать! — крикнула она запальчиво на Долинскаго.

— Что̀ такое значитъ *комонничать?* Извините, пожалуйста, я даже слова такого не знаю,—отвѣчалъ сухо Долинскій.

— Русское слово.

— Никогда не слыхалъ въ моей жизни.

— Мало ли чего вы еще не слыхали въ вашей жизни!

Въ это время въ комнату снова вошла Анна Михайловна и опять спокойно сѣла за свою работу. Глаза у нея были заплаканы.

Дора посмотрѣла на сестру, слегка поморщила свой лобъ и попросила ее переложить себѣ подушки.

— Ну, а теперь уйдите отъ меня,—сказала она неоправившимся отъ смущенія голосомъ сестрѣ и Долинскому.

— Я останусь съ тобою, — отвѣчала ей Анна Михайловна.

— Нѣтъ, нѣтъ! Идите оба: «мнѣ видъ вашъ ненавистенъ»,—тихо улыбаясь, шутила Дора.—Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, мнѣ хочется быть одной... спать хочется. Идите себѣ съ Богомъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Присказка кончается и начинается сказка.

На третій день праздника пріѣхалъ докторъ, поговорилъ съ больною и, прописавъ ей малиновый сиропъ съ какою-то невинною примѣсью, сказалъ Аннѣ Михайловнѣ, что въ этомъ климатѣ Дашѣ остается жить очень недолго и что какъ послѣднее средство продлить ея дни, онъ совѣтуетъ немедленно повезти ее на югъ, въ Италію, въ Ниццу.

— Природа нерѣдко дѣлаетъ чудеса, — утѣшалъ онъ Анну Михайловну.

— А для нея, докторъ, возможно еще такое чудо?

— Отчего нѣтъ? Природа чародѣйка, ея аптека всѣмъ богата.

— Какъ же это сдѣлать?—спрашивала Анна Михайловна Долинскаго.

— Надо ѣхать въ Ниццу.

— Да не то, что надо. Объ этомъ ужъ и говорить нечего, что надо; а какъ ее везть? Какъ ее уговорить ѣхать?

— Въ самомъ дѣлѣ: кто же ее повезетъ? Кому съ нею ѣхать?

— Или мнѣ, или вамъ. Объ этомъ послѣ подумаемъ. Безъ меня тутъ все стало — да это Богъ съ ними, пусть все пропадетъ; а какъ ее приготовить?

— Хотите, я попробую?—вызвался Долинскій.

— Да. Очень хочу, но только надо осторожно, ловко, чтобъ не перепугать ее. Она все-таки еще, можетъ-быть, не знаетъ, что ей такъ худо.

— Лучше вмѣстѣ, заведемъ разговоръ сегодня вечеромъ.

— И прекрасно.

Но вечеромъ они разговора не завели; не завели они этого разговора и на другой, и на третій, и на десятый вечеръ. Все смѣлости у нихъ недоставало. Дашѣ, между тѣмъ, стало какъ будто полегче. Она вставала съ постели и ходила по комнатѣ. Докторъ былъ еще два раза, торопилъ отправленіемъ больной въ Италію и подтрунивалъ

надъ нерѣшимостью Анны Михайловны. Пріѣхавъ въ третій разъ, онъ сказалъ, что рѣшительно весны упускать нельзя и, поговоривъ съ больной въ очень удобную минуту, сказалъ ей:

— Вы теперь, слава-Богу, ужъ гораздо крѣпче, m-lle Dorothée; вамъ бы очень хорошо было теперь проѣхаться на югъ. Это бы васъ совсѣмъ оживило и разсѣяло.

Больная посмотрѣла на него долгимъ, пристальнымъ взглядомъ и сказала:

— Что жъ, я не противъ этого.

— Такъ и поѣзжайте.

— Это не отъ меня зависитъ, докторъ. Надо знать, какъ сестра, или, лучше, какъ ея средства.

— Сестра ваша совершенно согласна на эту поѣздку.

— Вы съ ней развѣ говорили?

— О! да. Давно, нѣсколько дней назадъ говорилъ.

— Что жъ это они мнѣ ни слова не сказали! Все боятся, что умру,—добавила она съ грустной улыбкой.

— Они васъ очень любятъ.

— Очень любятъ,—подтвердила задумчиво больная.

— Такъ вы поѣдете?—спросилъ ее снова докторъ.

— Пусть везутъ, пусть везутъ. Пусть, что̀ хотятъ съ мной дѣлаютъ: только пожить бы немножко.

— Поживете! — отвѣчалъ докторъ спокойно, берясь за шляпу.

— Немножко?

Докторъ протянулъ ей руку и, не отвѣчая на вопросъ, сказалъ:

— Такъ до свиданія, m-lle Dorothée!

Даша удержала его руку и опять спросила его:

— Такъ немножко?

— Что̀ немножко?

— Поживу-то?

— Поживете, поживете,—отвѣчалъ докторъ, чтобы что-нибудь отвѣчать.

— Ну, а не хотите сказать правды, такъ и Богъ съ вами,—сказала Даша.—Заѣзжайте жъ хоть проститься.

— Непремѣнно.

— То-то; а то вѣдь, пожалуй, ужъ не увидимся до радостнаго утра.

Докторъ ушелъ, а Даша позвала сестру, попенила ей за

нерѣшительность и объявила, что она съ большимъ удовольствіемъ готова ѣхать въ Италію.

Поѣздка была отложена до перваго дня, когда докторъ найдетъ Дашу способною выдержать дорогу. Изъ аптеки ей приносили всякій день укрѣпляющія лѣкарства, а Анна Михайловна, собирая ея бѣлье, платье, все осматривала, поправляла и укладывала въ особый ящикъ.

— Золотая ты моя! Точно она меня замужъ снаряжаетъ,— говорила, глядя на сестру, Даша.

Дарья Михайловна обмогалась. Хотя она еще не выходила изъ своей комнаты, но докторъ надѣялся, что она на-дняхъ же будетъ въ состояніи выѣхать за границу. Вечеромъ въ тотъ день, когда докторъ высказалъ свое мнѣніе, Анна Михайловна сидѣла у конца письменнаго стола въ комнатѣ Нестора Игнатьевича. Она сводила счеты и безпрестанно надъ ними задумывалась. Денегъ было мало. Дашина болѣзнь и зашедшіе во время этой болѣзни безпорядки серьезно разстроили дѣла Анны Михайловны, державшіяся только ея неусыпными заботами и бережливостью.

— Ну, что?— спросилъ Долинскій, видя, что рука Анны Михайловны провела черту и подписала итогъ.

— Плохо,—улыбаясь, отвѣтила Анна Михайловна.

— Сколько же?

— Всего въ сборѣ около тысячи рублей, около двухъ тысячъ въ долгахъ; тѣхъ теперь и думать нечего собрать. Изъ тысячи, четыреста сейчасъ надо отдать, рублей триста надо здѣсь на мѣсяцъ...

Въ это время за дверью кто-то запѣлъ медвѣдя, какъ поютъ его маленькія дѣти, когда они думаютъ кого-нибудь испугать:

«Я скрипу-скрипу медвѣдь,
Я на липовой ногѣ,
Въ сафьяномъ сапогѣ».

— Кто бы это?—сказали въ одинъ голосъ оба, и Долинскій пошелъ къ двери.

Не успѣлъ онъ взяться за ручку, какъ дверь сама отворилась и ему предстала Дорушка, въ бѣломъ пеньюарѣ и въ большихъ теплыхъ вязаныхъ сапогахъ. Въ одной рукѣ она держала свѣчку, а другою опиралась на палочку.

— Дарья Михайловна, что вы это дѣлаете?—вскрикнулъ

Несторъ Игнатьевичъ:—вѣдь вамъ еще не позволено выходить.

— Молчите, молчите,—запыхавшись и грозя пальчикомъ, отвѣчала Даша. — Послѣ будете разсуждать, а теперь давайте-ка мнѣ поскорѣй кресло. Да не туда, а вонъ къ камину. Ну, вотъ такъ. Теперь подбросьте побольше угля и одѣньте меня чѣмъ-нибудь теплымъ—я все зябну.

Несторъ Игнатьевичъ поставилъ Дашѣ подъ ноги скамейку, набросалъ въ каминъ изъ корзины новаго кокса, а Анна Михайловна взяла съ дивана бѣличій халатъ Долинскаго и одѣла имъ больную.

— Ишь, какой онъ нѣжоха! Какой у него халатикъ мягенькій,—говорила Даша, проводя ручкой по нѣжному бѣличьему мѣху.—И какъ тутъ все хорошо! И въ мастерской такъ хорошо, и вездѣ... вездѣ будто какъ все новое стало. Какъ я вылежалась-то, Боже мой, руки-то, руки-то, посмотрите, Несторъ Игнатьичъ? Видите?—спросила она, поставивъ свои ладони противъ камина:—насквозь свѣтятся.

— Поправитесь, Дорушка,—сказалъ Долинскій.

— А?

— Поправитесь, я говорю.

Даша глубоко вздохнула и проговорила:

— Да, поправлюсь.

— Чего ты на меня такъ смотришь? — спросила она сестру, которая забылась и не умѣла скрыть всего страданія, отразившагося въ ея глазахъ, устремленныхъ на угасающую Дашу. — Не смотри такъ, пожалуйста, Аня, это мнѣ непріятно.

— Я такъ, Даша, задумалась.

— О чемъ тебѣ думать?

— Такъ, о дѣлахъ.

Вышла маленькая пауза.

— Сколько я въ нынѣшнемъ году заработала? — проговорила Даша, глядя на огонь.—Рублей двадцать?

— Что это тебѣ вздумалось, Даша?

— А на лѣченье мое, я думаю, Богъ знаетъ сколько вышло?

— Да я не считала, Даша, и что̀ это тебѣ приходитъ въ голову.

— Нѣтъ, ничего, я такъ это.

— Даша, Даша, какъ тебѣ не грѣшно, за что̀ ты меня

обижаешь? Неужто ты думаешь, что мнѣ жаль для тебя денегъ?

— Кто жъ думаетъ, что тебѣ жаль? я только думаю, есть ли у тебя чего жалѣть, покажите-ка мнѣ, что̀ вы считали?

Анна Михайловна подала Дашѣ исписанную карандашомъ бумажку.

— Что̀ жъ это значитъ, денегъ почти что нѣтъ! — сказала Даша, положивъ счетъ на колѣни.

— Есть около четырехсотъ на поѣздку,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Около семисотъ, потому что у меня есть триста.

— Вамъ же надо высылать ихъ?

Долинскій поморщился и отвѣчалъ:

— Нѣтъ, не надо.

— Какъ же не надо, когда надо?

— Надо высылать еще черезъ пять мѣсяцевъ.

— Куда ему высылать нужно?—спросила Даша, смотря въ каминъ прищуренными глазками.

Ей никто не отвѣчалъ. Несторъ Игнатьевичъ стоялъ у печи, заложивъ назадъ руки, а сестра разглаживала ногтемъ какую-то ни къ чему не годную бумажку.

— А, это пенсіонъ за безпорочную службу той барынѣ, которая все любитъ *очень*, а деньги больше всего,—сказала, подумавъ, Дора:—хоть бы передъ смертью посмотрѣть на эту особу; полтинникъ бы, кажется, при всей нынѣшней бѣдности заплатила.

— Дорушка,—вполголоса проговорила Анна Михайловна.

— Что ты?

Анна Михайловна качнула головой, показала глазами на Долинскаго. Долинскій слышалъ слово отъ слова все, что̀ сказала Даша насчетъ его жены, и сердце его не сжалось тою мучительною болью, которою оно сжималось прежде, при каждомъ касающемся ея словѣ. Теперь при этомъ разговорѣ онъ оставался совершенно покойнымъ.

— А вы вотъ о чемъ, Дорушка, поговорите лучше,— сказалъ онъ:—кому съ вами ѣхать?

— Въ самомъ дѣлѣ, мы все толкуемъ обо всемъ, а не рѣшимъ, кому съ тобой ѣхать, Даша.

— Вѣдь паспорты нужно взять, — замѣтилъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Киньте жребій, кому выпадетъ это счастье,—шутила Дора.—Тебѣ, сестра, будетъ очень трудно уѣхать. Alexandrine твоя, что называется, пустельга чистая. Тебѣ положиться не на кого. Все тутъ безъ тебя въ разоръ пойдетъ. Помнишь, какъ тогда, когда мы были въ Парижѣ. Такъ тогда всего на какихъ-нибудь три мѣсяца уѣзжали и въ глухую пору, а теперь... Нѣтъ, тебѣ никакъ нельзя ѣхать со мной.

— Да это что! Пусть идетъ какъ пойдетъ.

— За эту готовность цѣлую твою ручку, только вѣдь и тамъ безъ денегъ макаронъ не дадутъ, а денегъ безъ тебя брать не откуда.

Всѣ задумались.

— Вѣрно ужъ съѣздите вы съ нею,—сказала Анна Михайловна, обращаясь къ Долинскому.

— Вы знаете, что я никогда не думалъ отказываться отъ услугъ Дорушкѣ.

— Поѣдемте, мой милый! — сказала Даша, обернувъ къ нему свое милое личико и протянувъ руку.

Долинскій скоро подошелъ къ креслу больной, поцѣловалъ ея руку и отвѣчалъ:

— Поѣдемте, поѣдемте, Дорушка. Я только боюсь, сумѣю ли я васъ успокоить!

— Вы не боитесь чахотки?—спросила Даша, едва удерживая своими длинными рѣсницами слезы, наполнившія ся глаза.

— Нѣтъ, не боюсь,—отвѣчалъ Долинскій.

— Ну, такъ дайте, я васъ поцѣлую. Она взяла руками его голову и крѣпко поцѣловала его въ губы.

— Женщины отсюда брать не надо. Мы вездѣ найдемъ женскую прислугу,—соображалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Не надо, не надо, — говорила Даша, махая рукой:— ничего не надо. Мы будемъ жить экономно въ двухъ комнаткахъ. Можно тамъ найти квартиру въ двѣ комнаты и невысоко?

— Можно.

— Ну, вы будете работать, пишите корреспонденціи, начинайте другую повѣсть. Говорятъ, за границей хорошо писать о родинѣ. Мнѣ кажется, что это правда. Никогда родина такъ не мила, какъ тогда, когда ея не видишь. Все маленькое, все скверненькое останется, а хорошее встаетъ

и рисуется въ памяти. Будете мнѣ читать, что̀ напишете; будемъ марать, поправлять. А я буду лѣчиться, гулять, дышать теплымъ воздухомъ, смотрѣть на голубое небо, спать подъ горячимъ солнцемъ. Ахъ, вотъ я ужъ, право, какъ будто чувствую, кажется, какъ я тамъ согрѣюсь, какъ прилетитъ въ мою грудь струя новаго, ласковаго воздуха. Да скорѣй, скорѣй ужъ, что ли, везите меня съ этого «милаго сѣвера въ сторону южную».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Дѣло темной ночи.

Черезъ три дня все было готово и на завтра назначенъ выѣздъ. Вечеромъ пили чай въ комнатѣ Даши. О чтеніи никто не думалъ, но всѣ молчали, какъ это часто бываетъ передъ разлукою у людей, которые на прощанье много-много чего-то хотѣли бы сказать другъ другу и не могутъ; мысли разсыпаются, разговоръ не вяжется. Они или не говорятъ вовсе, стараясь *насмотрѣться* другъ на друга, или говорятъ о пустякахъ, о вздорахъ, объ изломанной ножкѣ у кресла, словомъ обо всемъ, кромѣ того, о чемъ бы имъ хотѣлось и слѣдовало говорить. Только опытное, искушенное жизнью ухо сумѣетъ иногда подслушать въ небрежно оброненномъ словѣ такихъ разговоровъ цѣлую идею, цѣлую цѣпь идей, толпящихся въ головѣ человѣка, обронившаго это слово. Въ комнатѣ у Даши пробовали-было шутить, пробовали говорить серьезно, но все это не удавалось.

— Пишите чаще,—говорила Анна Михайловна, положивъ свою хорошенькую голову на одну руку, а другой мѣшая давно остывшій стаканъ чаю.

— Будемъ писать,—отвѣчалъ Долинскій.

— Не лѣнитесь, пожалуйста.

— Я буду писать аккуратно всякую недѣлю.

— Ты наблюдай за нимъ, Даша.

— За Дорушкой за самой нужно наблюдать, — отвѣчалъ, смѣясь, Долинскій.

— Ну, и наблюдайте другъ за другомъ, а главное дѣло, Несторъ Игнатьичъ... то, что̀ это я хотѣла сказать?.. Да, берегите, Бога-ради, Дору. Старайтесь, чтобъ она не скучала, развлекайте ее...

Разговоръ опять прервался. Рано разошлись по своимъ комнатамъ. Завтра, въ восемь часовъ, нужно было ѣхать,

и Дашу раньше уложили въ постель, чтобъ она выспала хорошенько, чтобъ въ силахъ была провести цѣлый де въ дорогѣ.

Долинскій тоже легъ въ постель, но какъ было еще д вольно рано, то онъ не спалъ и просматривалъ нову книжку. Прошелъ часъ или два. Вдругъ дверь изъ кор дора очень тихо скрипнула и отворилась. Долинскій оп стилъ книгу на одѣяло и внимательно посмотрѣлъ изъ-по ладони.

Въ его первой комнатѣ быстро мелькнула бѣлая фигур Долинскій приподнялся на локоть. Что̀ это такое? спраш валъ онъ себя, не зная, что̀ подумать. На порогѣ е спальни показалась Анна Михайловна. Она была въ бѣло ночномъ пеньюарѣ, но голова ея еще не была убрана ночному. При первомъ взглядѣ на ея лицо, видно был что она находится въ сильнѣйшемъ волненіи, съ которы никакъ не можетъ справиться.

— Что̀ вы? что̀ съ вами?—спрашивалъ, пораженный посѣщеніемъ и ея разстроеннымъ видомъ, Долинскій.

— Ахъ, Боже мой!—отвѣтила Анна Михайловна, отчаян заломивъ руки.

— Да что же такое? что̀?—допрашивался Долинскій.

— Ахъ, не знаю, не знаю... я сама не знаю, — прог ворила со слезами на глазахъ Анна Михайловна. — Я ничего... не знаю, зачѣмъ это я хожу... Зачѣмъ я сю пришла? — добавила она съ страданіемъ на лицѣ и голосѣ, и, опустившись, сѣла въ ногахъ Долинскаго и з плакала.

— О чемъ? О чемъ вы плачете? — упрашивалъ ее Д линскій, дрожа самъ и цѣлуя съ участіемъ ея руки.

— Не знаю сама; я сама не знаю, о чемъ я плачу,—ти отвѣчала Анна Михайловна и, спустя одну короткую с кунду, вдругъ вздрогнула — страстно его обняла, и Доли скій почувствовалъ на своихъ устахъ и влажное, и горяч прикосновеніе какого-то жгучаго яда.

— Слушай! — заговорила страстнымъ шопотомъ Ан Михайловна. — Я не могу... Ты никого не люби, кро меня... потому что я очень... я ужасно люблю тебя.

Долинскій дрожащею рукою обнялъ ее за талію.

— Тебя одну, всегда, весь вѣкъ, — прошепталъ о сохнущимъ языкомъ.

— Мой милый! Я буду ждать тебя... ждать буду,—лепетала Анна Михайловна, страстно цѣлуя его въ глаза, щеки и губы.—Я буду еще больше любить тебя!—добавила она съ истерическою дрожью въ голосѣ и, какъ мокрый вьюнъ, выскользнула изъ рукъ Долинскаго и пропала въ черной темнотѣ ночи.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Опять ничего не видно.

Извозчичья карета, нанятая съ вечера, пріѣхала въ семь часовъ утромъ. Дашу разбудили. Анна Михайловна то бросалась къ самовару, то бралась помогать дѣвушкѣ одѣвать сестру, то входила въ комнату Долинскаго. Взойдетъ, посмотритъ по сторонамъ, какъ будто она что-то забыла, и опять выйдетъ.

— Какъ тебѣ не стыдно такъ тревожиться! — говорилъ Долинскій, взглянувъ на нее, и покачалъ головой.

— Ахъ! не говори ничего, Бога-ради, — отвѣчала Анна Михайловна и, махнувъ рукой, опять вышла изъ его комнаты.

Чаю напились молча и стали прощаться. Дѣвушки вынесли извозчику два чемодана и картонку. Даша цѣловала дѣвушекъ и особенно свою «маленькую команду». Всѣ плакали. Анна Михайловна стояла молча, блѣдная, какъ мраморная статуя.

— Прощай, сестра!—сказала, наконецъ, подойдя къ ней, Даша.

— Прощай,—тихо проговорила Анна Михайловна и начала крестить Дашу.—Лѣчись, выздоравливай, возвращайся скорѣй,—говорила она, цѣлуя сестру за каждымъ словомъ.

Сестры долго цѣловались, плакали и, наконецъ, поцѣловали другъ у друга руки.

Несторъ Игнатьевичъ подошелъ и тоже поцѣловалъ ея руку. Онъ не зналъ, какъ ему проститься съ нею при окружавшихъ ихъ дѣвушкахъ.

— Дайте, я васъ перекрещу,—сказала Анна Михайловна, улыбнувшись сквозь слезы, и, положивъ рукою символическое знаменье на его лицѣ, спокойно взяла его руками за голову и поцѣловала. Губы ея были холодны, на рѣсницахъ блестѣли слезы.

Даша вошла первая въ карету, за ней сѣла Анна Ми-

хайловна, а потомъ Долинскій съ дорожною сумкою черезъ плечо.

Дѣвушки стояли у дверецъ съ заплаканными глазами и говорили:

— Прощайте, Дарья Михайловна! Прощайте, Несторъ Игнатьичъ. Ворочайтесь скорѣе.

Дѣвочки плакали, заложа ручонки подъ бумажные шейные платочки, и, отирая по временамъ слезы уголками этихъ же платочковъ, ничего не говорили.

Извозчику велѣли ѣхать тихо, чтобы не трясло больную. Карета тронулась, дѣвушки еще разъ крикнули: «Прощайте!» — а Даша, высунувшись изъ окна, еще разъ перекрестила въ воздухѣ дѣвочекъ, и экипажъ завернулъ за уголъ.

На станцію пріѣхали во-время. Долинскій отправился къ кассѣ купить билеты и сдать въ багажъ, а Анна Михайловна съ Дашею усѣлись въ уголкѣ на диванъ въ пассажирской комнатѣ. Онѣ обѣ молчали и обѣ страдали. На прекрасномъ лицѣ Анны Михайловны это страданіе отражалось спокойно; хорошенькое личико Даши болѣзненно подергивалось и она кусала до крови свои губки.

Подошелъ Долинскій и, укладывая въ сумку билеты, сказалъ:

— Все готово. Остается всего пять минутъ, — добавилъ онъ послѣ коротенькой паузы, взглянувъ на свои часы.

— Дайте мнѣ свои руки,—тихо сказала Анна Михайловна сестрѣ и Долинскому.

Анна Михайловна пристально посмотрѣла на путешественниковъ и сказала:

— Будьте, пожалуйста, благоразумны; не обманывайте меня, если случится что дурное: что бы ни случилось—все пишите мнѣ.

— Пожалуйте садиться! — крикнулъ кондукторъ, отворяя двери на платформу.

Долинскій взялъ саквояжъ въ одну руку и подалъ Дашѣ другую. Они вышли вмѣстѣ, а Анна Михайловна пошла за ними. У барьера ее не пустили и она остановилась противъ вагона, въ который вошли Долинскій съ Дорой. Усѣвшись, они выглянули въ окно. Анна Михайловна стояла прямо передъ окномъ въ двухъ шагахъ. Ихъ раздѣлялъ барьеръ и узенькій проходъ. Въ глазахъ Анны Михайловны еще дрожали слезы, но она была покойнѣе, какъ часто

успокаиваются люди въ самую послѣднюю минуту разлуки.

— Смотри же, Даша, выздоравливай, — говорила она громко сестрѣ.

— А ты не грусти,—отвѣчала ей Даша.

— Ворочайтесь оба скорѣе! Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! я забыла спросить! что дѣлать съ письмами, которыя будутъ приходить на ваше имя?

— Отвѣчай на нихъ сама,—сказала Даша.

Анна Михайловна засмѣялась.

— Да, право! что тамъ этакими пустяками нарушать наше спокойствіе.

Раздался третій свистокъ, вагоны дернулись, покатились и исчезли въ густомъ облакѣ сѣраго пара.

Анна Михайловна вернулась домой довольно спокойною— даже она сама не могла надивиться своему спокойствію. Она хлопотала въ магазинѣ, распоряжалась работами, обѣдала вмѣстѣ съ m-lle Alexandrine, и только къ вечеру, когда начало темнѣть, ей стало скучнѣе. Она вошла въ комнату Даши — пусто, вошла къ Долинскому—тоже пусто. Присѣла на его креслѣ, и невыносимая тоска, словно какъ нѣжнѣйшій другъ, такъ и обняла ее изъ-за мягкой спинки. Въ глазахъ у Анны Михайловны затуманилось и зарябило.

«Какое дѣтство!»—подумала она и поспѣшно отерла слезы.

Такъ просидѣла она здѣсь больше двухъ часовъ, молча, спокойно, не сводя глазъ съ окна, и ей все становилось скучнѣе и скучнѣе. Одиночество сухимъ чучеломъ вырастало въ холодномъ полумракѣ бѣлесоватой полярной ночи, въ которую смотришь не то какъ въ день, не то какъ въ ночь, а будто вотъ глядишь по какой-то обязанности въ сѣдую грудь сонной совы. Анна Михайловна пошла въ кухню, позвала кухарку и дѣвочекъ. Съ ними она отставила шкапъ отъ дверей, соединявшихъ ея комнату съ комнатой Долинскаго, отставила комодъ отъ дверей, соединявшихъ ея спальню съ спальнею Даши, отворила всѣ эти двери и долго-долго ходила вдоль открывшейся анфилады.

Была уже совсѣмъ поздняя ночь. Луна свѣтила во всѣ окна и Аннѣ Михайловнѣ не хотѣлось остаться ни въ одной изъ трехъ комнатъ. Тутъ она лелѣяла красавицу Дору и завивала ея локоны; тутъ онъ, со слезами въ голосѣ, разсказывалъ ей о своей тоскѣ, о сухомъ одиночествѣ; а

тутъ... Сколько надъ собою выказано силы, сколько уваженія къ ней? Сколько времени чистый потокъ этой любви не мутился страстью, и... и зачѣмъ это онъ не мутился? *Зачѣмъ* онъ не замутился... И какой онъ... странный человѣкъ, право!..

Наконецъ, далеко за полночь Анна Михайловна устала; ноги болѣли и голова тоже. Она поправила лампаду передъ образомъ въ комнатѣ Даши и посмотрѣла на ея постельку, задернутую чистымъ, бѣлымъ пологомъ, потомъ вошла къ себѣ, бросила блузу, подобрала въ ночной чепецъ свою черную косу и остановилась у своей постели. Очень скучно ей здѣсь показалось.

— Тоска! — произнесла про себя Анна Михайловна и прошла въ комнату Долинскаго.

Здѣсь было также пусто и невесело. Анна Михайловна взяла подушку, бросила ее на диванъ и на свѣту тревожно заснула.

Много грезилось ей чего-то страшнаго, безпокойнаго, въ восемь часовъ утра она проснулась, держа у груди обнятую во снѣ подушку.

Вставши, Анна Михайловна принялась за дѣло. Въ комнатѣ Нестора Игнатьевича и Даши все убрала, но все оставила въ старомъ порядкѣ. Казалось, что жильцы этихъ комнатъ только-что вышли пройтись по Невскому проспекту.

Время Анны Михайловны шло скоро. За безпрестанной работой она не замѣчала, какъ дни бѣжали за днями. Письма отъ Даши и Долинскаго начали приходить аккуратно, и Анна Михайловна была спокойна насчетъ путешественниковъ.

Сама она никуда почти не выходила и у нея никто почти не бывалъ иначе, какъ по дѣлу. Только не забывалъ Анну Михайловну одинъ Илья Макаровичъ Журавка, котораго, впрочемъ, въ этомъ домѣ никто и не считалъ гостемъ.

Часть вторая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Маленькій человѣкъ съ просторнымъ сердцемъ.

Въ этомъ романѣ, какъ читатель могъ легко видѣть, судя по первой части, все будутъ люди очень маленькіе — до такой степени маленькіе, что авторъ считаетъ своею обязанностью еще разъ предупредить объ этомъ читателя загодя. Пусть читатель не ожидаетъ встрѣтиться здѣсь ни съ героями русскаго прогресса, ни съ свирѣпыми ретроградами. Въ романѣ этомъ не будетъ ни уѣздныхъ учителей, открывающихъ дешевыя библіотеки для безграмотнаго народа, ни мужей, выдающихъ субсидіи любовникамъ своихъ сбѣжавшихъ женъ, ни гвоздевыхъ постелей, на которыхъ какъ-то умѣютъ спать образцовые люди, ни самодуровъ-отцовъ, спеціально занимающихся угнетеніемъ геніальныхъ дѣтей. Все это уже описано, описывается и, вѣроятно, еще всему этому пока не конецъ. Еще на-дняхъ новая книжка одного періодическаго журнала вынесла на свѣтъ повѣсть, гдѣ снова дѣйствуетъ такой *организмъ*, который материнское молоко чуть не отравило, который чуть не запороли въ училищѣ, но который все-таки выкарабкался, открылъ библіотеку, и сейчасъ поскорѣе посѣдѣлъ, сталъ топить горе въ водкѣ и далъ себѣ зарокъ не носить новыхъ сапогъ, а всегда съ заплатками. Благородный *организмъ* этотъ развиваетъ женщинъ, говоритъ самыя ехидныя рѣчи и все-таки сознаетъ, что онъ пришелъ въ свѣтъ не во-время, что даже и при немъ у знакомаго этому *орга-*

низму лакея *наськомыя* все-таки *могутъ отгъсть голову.* Таковы были его рѣчи.

Ни уѣзднаго учителя съ библіотекою для безграмотнаго народа, ни сѣдого въ тридцать лѣтъ женскаго развивателя, ни образцоваго безсребренника, словомъ — ни одного гражданскаго героя здѣсь не будетъ; а будутъ люди съ слабостями, *люди дурного воспитанія.* И потому, кто хочетъ слушать что-нибудь про тирановъ, или про героевъ, тому лучше далѣе не читать этого романа; а кто и за симъ не утратитъ желанія продолжать чтеніе, такого читателя я долженъ просить о небольшомъ вниманіи къ маленькому человѣчку, о которомъ я непремѣнно долженъ здѣсь кое-что поразсказать.

Самый проницательный изъ моихъ читателей будетъ тотъ, который отгадаетъ, что выступающій маленькій человѣчекъ есть не кто иной, какъ старый нашъ знакомый Илья Макаровичъ Журавка.

Несмотря на то, что мы давно знакомы съ художникомъ по нашему разсказу, здѣсь будетъ нелишнимъ сказать еще пару словъ о его теплой личности. Ильѣ Макаровичу Журавкѣ было лѣтъ около тридцати-пяти; онъ былъ бѣлокуръ, съ горбатымъ тонкимъ носомъ, очень выпуклыми близорукими глазами, довольно окладистой бородкой и такимъ курьезнымъ ротикомъ, что мало привычный къ нему человѣкъ, глядя на собранныя губки Ильи Макаровича, все ожидалъ, что онъ вотъ-вотъ сейчасъ свистнетъ.

Илья Макаровичъ былъ чистый хохолъ до самой невозможной невозможности. Онъ не только не хотѣлъ зарабатывать новаго карбованца, пока у него въ карманѣ былъ еще хоть одинъ старый, но даже при видѣ сала или колбасы способенъ былъ забывать о цѣломъ мірѣ, и, чувствуя свою несостоятельность оторваться отъ съѣдомаго, говаривалъ: «а возьмить, будьтэ ласковы, або ковбасу отъ менэ, або менэ отъ ковбасы, а то або я зъимъ, або вонà менэ зъистъ». Но несмотря на все чистокровное хохлачество Ильи Макаровича, судьба выпустила его на свѣтъ съ самой бѣлокурѣйшей нѣмецкой физіономіей. Физіономія эта была для Журавки самой несносной обидой, ибо по ней его безпрестанно принимали за нѣмца и начинали говорить съ нимъ по-нѣмецки, тогда какъ онъ относился къ доброй нѣмецкой расѣ съ самымъ глубочайшимъ презрѣніемъ и

объяснялся по-нѣмецки непозволительно гадко. Ходилъ по острову такой анекдотъ, что будто, работая что-то такое въ дрезденской галлереѣ, Журавка хотѣлъ объяснить своему профессору несовершенства нарисованной гдѣ-то собаки и заговорилъ:

— Herr Professor... Hund...

— Bitte sehr halten Sie mich nicht für einen Hund, — отвѣчалъ профессоръ.

— Aber ist sehr schlechter Hund... Professor, — поправлялся и выяснялъ Илья Макаровичъ.

Снисходительное великодушіе нѣмецкаго профессора изсякло; онъ поднялъ свой тевтонскій клювъ и произнесъ съ важностью:

— Ich höre Sie mich zum zehnten mal Hund nennen; erlauben Sie endlich, dass ich kein Hund bin!

Илья Макаровичъ покраснѣлъ, задвигалъ на носу свои очки и задумалъ-было въ тотъ же день уѣхать отъ нѣмцевъ.

Но, на несчастье свое, этотъ маленькій человѣкъ имѣлъ слабость, свойственную многимъ даже и очень великимъ людямъ: это—слабость подвергать свои рѣшенія, составленныя въ пылу негодованія, долгому позднѣйшему раздумыванію и передумыванію. Очень многихъ людей это вредное обыкновеніе отъ одного тяжелаго горя вело къ другому, гораздо большему, и оно же сыграло презлую шутку съ Ильей Макаровичемъ.

Журавка, огорченный своимъ пассажемъ съ нѣмецкимъ языкомъ у профессора, прогулялся за городъ, напился гдѣ-то въ форштадтѣ пива и, успокоясь, возвращался домой съ новою рѣшимостью уже не ѣхать отъ нѣмцевъ завтра же, а прежде еще докончить свою копію, и тогда тотчасъ же уѣхать съ готовой работой. Идетъ этакъ Илья Макаровичъ по улицѣ, такъ сказать, нѣсколько примиренный съ нѣмцами и успокоенный—а ужъ огни вездѣ были зажжены, и видитъ — маленькая парикмахерская и сидитъ въ этой парикмахерской прехорошенькая нѣмочка. А Илья Макаровичъ, хоть и не любилъ нѣмцевъ, но бѣлокуренькія нѣмочки, съ личиками Гретхенъ и съ руками колбасницъ нашей Гороховой улицы, все-таки дощупывались до его художественнаго сердца.

Журавка остановился подъ окномъ и смотритъ, а Гретхенъ все сидитъ и дѣлаетъ частые штычки своей иголочкой,

да нѣть-нѣтъ и подниметъ свою головку съ русыми кудерками и голубыми глазками.

— Ахъ, ты, шельменокъ ты этакой; какіе у нея глазенки,—думаетъ художникъ.—Отлично бы было посмотрѣть на нее ближе. А какъ на тотъ грѣхъ, дверь изъ парикмахерской вдругъ отворилась у Ильи Макаровича подъ самымъ носомъ и высокій сѣдой нѣмецъ съ физіономіей королевско-прусскаго вахмистра высунулся и сердито спрашиваетъ: Was wollen Sie hier, mein Herr?

«Чортъ бы тебя побралъ!»—подумалъ Журавка и вмѣсто того, чтобы удирать, остановился съ вопросомъ:

— Я полагаю, что здѣсь можно остричься?

Ильѣ Макаровичу вовсе не было никакой необходимости стричься, потому что онъ, какъ художникъ, носилъ длинную гривку, составлявшую, до введенія въ Россійской Имперіи нигилистической ереси, исключительную привилегію васильеостровскихъ художниковъ. И нужно вамъ знать, что Илья Макаровичъ такъ дорожилъ своими лохмами, что не разстался бы ни съ однимъ вершкомъ ихъ ни за какіе крендели; берегъ ихъ, какъ невѣста свою дѣвичью честь.

Но не бѣжать же было, въ самомъ дѣлѣ, Ильѣ Макаровичу отъ нѣмца! Во-первыхъ, это ему показалось нечестнымъ (проклятая щепетильность); во-вторыхъ, вѣдь чортъ его знаетъ, чѣмъ такой вахмистръ можетъ швырнуть вдогонку.

— Чортъ его возьми совсѣмъ! — подстригусь немножко. Немножко только — совсѣмъ немножко, этвасъ... бисхенъ,— лепеталъ онъ заискивающимъ снисхожденія голосомъ, идучи вслѣдъ за нѣмцемъ и уставляясь глазами на Гретхенъ.

Нѣмецъ посадилъ Илью Макаровича такъ, что онъ не могъ вполнѣ наслаждаться созерцаніемъ своей красавицы, и вооружился гребенкой и ножницами.

— Wie befehlen Sie Ihnen die Haare zuschneiden, mein Herr?—спросилъ пунктуальный нѣмецъ.

— Ja, bitte,—твердо отвѣтилъ Илья Макаровичъ, не сводя глазъ съ шьющей Гретхенъ.

— Nichts über den Kamm soll bleiben? — спросилъ нѣмецъ снова.

Илья Макаровичъ не понялъ и сильно сконфузился: не хотѣлось ему сознаться въ этомъ при Гретхенъ.

— Ja,—отвѣчалъ онъ наугадъ, чтобъ отвязаться.

— Oder nichts für den Kamm? — пристаетъ опять вахмистръ, не приступая къ своей работѣ.

«Чортъ его знаетъ, что̀ это такое значитъ», — подумалъ Журавка, чувствуя, что его всего бросило въ краску и на лбу выступаетъ потъ.

— Ja,—махнулъ онъ на смѣлость.

— Nichts über den Kamm, oder nichts für den Kamm?

«Oder» и «oder» показали Ильѣ Макаровичу, что тутъ однимъ ja не отдѣлаешься.

«Была не была», — подумалъ онъ и смѣло повторилъ послѣднюю часть нѣмецкой фразы: «Nichts für den Kamm!»

Нѣмецъ откашлянулся и съ особеннымъ чувствомъ, съ трескомъ высморкался въ синій бумажный платокъ гамбургскаго изготовленія и пріятельскимъ тономъ дорф-барбира произнесъ:

— Ich werde sie Ihnen ganz akkurat schneiden.

По успокоительному тону, которымъ были произнесены эти слова, Илья Макаровичъ сообразилъ, что лингвистическая пытка его кончается. Онъ съ одобряющей миной отвѣчалъ твердо:

— «Recht wohl!» и, ничѣмъ не смущаемый, началъ опять любоваться своей Далилой.

Да, это была новая Далила, глядя на которую нашъ Самсонъ не замѣчалъ, какъ жречески священнодѣйствовавшій нѣмецъ прибралъ его ganz akkurat до самаго черепа. Илья Макаровичъ все смотрѣлъ на свою Гретхенъ и не замѣчалъ, что ножницы ея отца снесли съ его головы всю его художественную красу. Когда Журавка взглянулъ въ стоявшее передъ нимъ зеркало, онъ даже не ахнулъ, но только присѣлъ книзу. Онъ былъ остриженъ подъ щетку, такъ что если бы плюнуть на ладонь и хлопнуть Илью Макаровича по маковкѣ, то за стѣною можно бы подумать, что нѣмецъ поцѣловалъ его въ темя.

— Sehr hübsch! Sehr akkurat!—произнесъ нѣмецъ, окончивъ свое жреческое священнодѣйствіе и отходя полюбоваться издали своей работой.

Илья Макаровичъ всталъ, заплатилъ бѣлокурой Далилѣ пять зильбергрошей и бросился домой опрометью. Шляпа вертѣлась на его оголенной головѣ и безпрестанно напоминала ей о ея неслыханномъ въ васильеостровской академіи позорѣ.

— Нѣтъ, я вижу, нечего тутъ съ этими чертями дѣлать! — рѣшилъ Илья Макаровичъ, и на другой же день бросилъ свою копію и уѣхалъ отъ нѣмцевъ въ Италію, но уѣхалъ,—увы!—не съ художественной гривкой, а съ форменной стрижкой прусскаго рекрута.

Бѣдный Илья Макаровичъ стыдился убѣжать отъ нѣмца, а долженъ былъ болѣе полугода безстыдно лгать, что у него было воспаленіе мозга.

Характеръ у Ильи Макаровича былъ необыкновенно живой и непостоянный; легкость въ мысляхъ, какъ говорилъ Хлестаковъ, необыкновенная; ко всему этому скорость, сердечность и доброта безграничная. Илья Макаровичъ выше всего на свѣтѣ ставилъ дружбу и товарищество. Для друга и товарища онъ былъ готовъ идти въ огонь и въ воду. Однако, Илья Макаровичъ былъ очень обидчивъ и только одна Дора владѣла секретомъ раструнивать его, соблюдая мѣру, чтобы не переходить его терпѣнія. Отъ другихъ же Илья Макаровичъ всѣмъ очень скоро и очень легко обижался, но сердился рѣдко и обыкновенно довольно жалостнымъ тономъ говорилъ только:

— Ну, да, да, я знаю, что я смѣшонъ: но есть люди и смѣшнѣй меня, да надъ ними не смѣются.

Въ жизни онъ былъ довольно смѣшной человѣкъ. По суетливости и легкости въ мысляхъ, онъ, напримѣръ, вдругъ воображалъ себя механикомъ и тутъ въ его квартирѣ сейчасъ же появлялся верстакъ, чертежи, циркуля; потомъ, словно по какому-то волшебному мановенію, все это вдругъ исчезало, и у Ильи Макаровича являлось ружье за ружьемъ, англійскій штуцеръ за штуцеромъ, старинный самопалъ и, наконецъ, барочная, мѣдная пушка. Обзаводясь этимъ арсеналомъ, Илья Макаровичъ воображалъ себя Дирслейеромъ или Ласкаро. Какъ зачарованный швабскій поэтъ, сидѣлъ онъ, скорчась монсомъ, чистилъ и смазывалъ свои смертоносныя оружія, лилъ изъ свинца разнокалиберныя пули и все собирался на какую-то необыкновенную охоту. Охоты эти, впрочемъ, оканчивались всегда пальбою въ цѣль на Смоленскомъ полѣ или подстрѣливаніемъ воронъ, печально скитающихся по заживо умершимъ деревьямъ, которыя торчатъ за смоленскимъ кладбищемъ. Ружья и самопалы у Ильи Макаровича разновременно получали, одно передъ другимъ, то повышеніе въ чинахъ, то пониженіе.

— Это подлое ружьенко,—говорилъ онъ насчетъ какого-нибудь ружья, къ которому началъ имѣть личность за то, что не умѣлъ пригнать пуль къ его калибру — и опальное ружье тотчасъ теряло тесменный погонъ и презрительно ставилось въ уголъ.

Илья Макаровичъ кипятился непомѣрно и ругался съ ружьенкомъ на чемъ свѣтъ стоитъ.

— А этотъ штуцеришко бардзо добрый! — весь сіяя отзывался онъ въ другой разъ о штуцерѣ, механизмъ котораго дался ему разгадать себя съ перваго раза.

И добрый штуцеришко внезапно же получалъ красивую полосу экипажнаго басона и вѣшался на стѣнѣ надъ кроватью Ильи Макаровича.

Разъ Илья Макаровичъ купилъ случайно пару орловъ и одного коршуна и рѣшился заняться прирученіемъ хищныхъ птицъ. Птицы были посажены въ желѣзную клѣтку и прирученіе ихъ началось съ того, что коршунъ разодралъ Ильѣ Макаровичу руку. Вслѣдствіе этого несчастнаго обстоятельства, Илья Макаровичъ возымѣлъ къ коршуну такую же личность, какую онъ имѣлъ къ своему ружью, и все прирученіе ограничивалось тѣмъ, что онъ не оказывалъ никакого вниманія своимъ орламъ, но зато коршуна раза три въ день принимался толкать линейкой.

— Нѣтъ, она понимаетъ, подлая птица, — говорилъ онъ людямъ, увѣщевавшимъ его прекратить безполезную личность къ коршуну. — О! о! видите, якъ туляется, подлецъ, по клѣткѣ! — указывалъ онъ на бѣдную птицу, которая искала какого-нибудь убѣжища отъ преслѣдующей ее линейки.

Въ Италіи Илья Макаровичъ обзавелся итальянкой, m-lle Луизой, тоже по скорости и по легкости мыслей, представлявшихъ ему въ итальянкахъ какихъ-то особенныхъ, художественныхъ существъ. Не прошло года, какъ Илья Макаровичъ возымѣлъ нѣкоторую личность и противъ своей Луизы; но съ Луизой было не такъ легко справиться, какъ съ ружьемъ или съ коршуномъ. Илья Макаровичъ было заегозился, только вскорѣ осѣлъ и замолкъ. Синьора Луиза была высока, изжелта смугла, съ очень хорошими черными глазами и весьма неизящными длинными зубами. Характеръ у нея былъ смѣлый, язвительный и сварливый. Большинство людей, знавшихъ семейный бытъ Журавки, во

всѣхъ домашнихъ непріятностяхъ болѣе обвиняли синьору Луизу, но въ существѣ и синьора Луиза никакъ не могла ужиться въ ладу съ Ильею Макаровичемъ. Въ ладу съ нимъ могла бы жить женщина добрая, умная и снисходительная, которая умѣла бы не плесть всякое лыко въ строку и проходить мимо его смѣшныхъ сторонъ съ веселой шуткой, а не съ высокомѣрной доктриной и не ядовитымъ шипѣніемъ. Конечно, синьорѣ Луизѣ бывало не очень весело, когда Илья Макаровичъ послѣдній рубль, нужный завтра на базаръ, употреблялъ на покупку орловъ да коршуновъ, или вдругъ, ни уха ни рыла не смысля въ музыкѣ, обзаводился скрипкой и начиналъ нарѣзывать на ней лазаревскіе концерты; но все же она слишкомъ обижала художника и не деликатно стѣсняла его свободу. По крайней мѣрѣ, она дѣлала это такъ, какъ нравственно развитая и умная женщина ни за что бы не сдѣлала.

— Надъ Ильею Макаровичемъ нельзя иногда не смѣяться, но огорчать его за его наивность очень неблагородно,—говорила Дора, когда заходила рѣчь о художникѣ.

Синьора Луиза не долюбливала ни Анну Михайловну, къ которой она ревновала своего сожителя, ни Дору, которая обыкновенно не могла удерживаться отъ самаго веселаго смѣха, когда итальянка съ отчаяніемъ разсказывала о какомъ-нибудь новомъ сумасбродствѣ Ильи Макаровича. Не смѣяться надъ этими разсказами, точно, было невозможно, и Дора не находила ничего ужаснаго въ томъ, что Илья Макаровичъ, напримѣръ, являлся домой съ какимъ-нибудь трехрублевымъ полированнымъ столикомъ; два или три дня онъ обдувалъ, обтиралъ этотъ столикъ, не позволялъ къ нему ни притрогиваться, ни положить на него что-нибудь — и вдругъ этотъ же самый столикъ попадалъ въ немилость: Илья Макаровичъ вытаскивалъ его въ переднюю, ставилъ на немъ сушить свои калоши или начиналъ стругать на немъ разныя палки и палочки. Дора сама была разъ свидѣтельницею, какъ Илья Макаровичъ оштрафовалъ своего грудного ребенка. Ребенокъ захотѣлъ груди и въ отсутствіи синьоры Луизы раскричался, что называется, благимъ матомъ. Илья Макаровичъ урезонивалъ его тихо, потомъ сталъ кипятиться, началъ угрожать ему розгами и вдругъ, вынувъ его изъ колыбели, положилъ на подушкѣ въ уголъ.

Даша расхохоталась.

— Нѣтъ, его надо проучить,—оправдывался художникъ.— О! о! о! вотъ-вотъ видите! Нѣтъ, не бойтесь, оно, шельмовское дитя, все понимаетъ, — говорилъ онъ Дорѣ, когда ребенокъ замолчалъ, уставя удивленные глазки въ пестрый карнизъ комнаты.

Дора взяла наказаннаго ребенка и положила обратно въ колыбель, и никогда не переставала преслѣдовать Илью Макаровича этимъ его обдуманнымъ поступкомъ.

Болѣе всего у Ильи Макаровича стычки происходили за дѣтей. На Илью Макаровича иногда находило неотразимое стремленіе заниматься воспитаніемъ своего потомства, и тотчасъ двухлѣтняя дѣвочка опредѣлялась къ растиранію красокъ, трехлѣтній сынъ плавилъ свинецъ и долженъ былъ отливать пули или изучать механизмъ добраго штуцера; но синьора Луиза поднимала бунтъ и воспитаніе дѣтей немедленно же прекращалось.

Илья Макаровичъ въ качествѣ васильеостровскаго художника также не прочь былъ выпить въ пріятельской бесѣдѣ и не прочь попотчивать пріятелей, чѣмъ Богъ послалъ, дома, но синьора Луиза смотрѣла на все это искоса и дѣлала Ильѣ Макаровичу сцены немилосердныя. Такою рѣшительною политикою синьора Луиза, однако, вполнѣ достигла только одного, чего обыкновенно легко достигаютъ сварливыя и ревнивыя женщины. Илья Макаровичъ совсѣмъ пересталъ ее любить, сталъ искусно скрывать отъ нея свои маленькія шалости, чаще началъ бѣгать изъ дома и пересталъ хвалить итальянокъ. Дѣтей своихъ онъ любилъ до сумасшествія и каждый годъ хоть по сту рублей клалъ для нихъ въ сохранную казну. Кромѣ того, онъ давно застраховалъ въ трехъ тысячахъ рублей свою жизнь и тщательно вносилъ ежегодную премію.

На сердце и нравъ Ильи Макаровича синьора Луиза не имѣла желаемаго вліянія. Онъ оставался попрежнему безпардонно добрымъ «товарищескимъ» человѣкомъ и всѣ его знакомые очень любили его попрежнему. Анну Михайловну и Дорушку онъ тоже попрежнему считалъ своими первыми друзьями и готовъ былъ для нихъ хоть лечь въ могилу. Илья Макаровичъ всегда рвался услужить имъ, и не было такой услуги, на которую бы онъ не былъ готовъ, хотя бы эта услуга и далеко превосходила всѣ его силы и возможность.

Этотъ-то Илья Макаровичъ въ цѣломъ многолюдномъ Петербургѣ оставался единственнымъ человѣкомъ, который зналъ Анну Михайловну болѣе, чѣмъ всѣ другіе, и имѣлъ право называться ея другомъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Темныя предчувствія.

Былъ пыльный и душный вечеръ. Илья Макаровичъ зашелъ къ Аннѣ Михайловнѣ съ синьорой Луизой и засѣдѣлись.

— Что это вы, Анна Михайловна, такія скупыя стали? — спросилъ, поглядѣвъ на часы, художникъ.

— Чѣмъ, Илья Макаровичъ, я стала скупа? — спросила Анна Михайловна.

— Да вотъ десять часовъ, а вы и водченки не дадите.

— Que diu?—спросила итальянка, строго взглянувъ глазами на своего сожителя.

Илья Макаровичъ дмухнулъ два раза носомъ и пробурчалъ что-то съ весьма рѣшительнымъ выраженіемъ.

— Вотъ срамъ! Какая я, въ самомъ дѣлѣ, невнимательная! — сказала Анна Михайловна, поднявшись и идя къ двери.

— Постойте! постойте!—крикнулъ Илья Макаровичъ: — я вѣдь это такъ спросилъ. Если есть, такъ хорошо, нѣтъ—и не нужно.

— Постойте, я посмотрю въ шкафѣ.

— Пойдемте вмѣстѣ! — крикнулъ Илья Макаровичъ, засѣменилъ за Анной Михайловной.

Въ шкапѣ нашлось немного водки, въ графинчикѣ, который ставили за столъ при Долинскомъ.

— Вотъ и отлично, — сказалъ художникъ. — Теперь бы кусочекъ чего-нибудь.

— Да вы идите въ мою комнату — я велю туда подать, что̀ найдутъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ хлопотать! не надо! не надо! Вотъ это что̀ у васъ въ банкѣ?

— Грибы.

— Маринованные! Отлично. Я вотъ грибченковъ закушу.

Илья Макаровичъ тутъ же, стоя у шкапа, выпилъ водченки и закусилъ грибченкомъ.

— Хотите еще рюмчонку? — сказала Анна Михайловна,

держа въ рукахъ графинъ съ остаткомъ водки. — Пейте, чтобъ ужъ зла не оставалось въ домѣ.

Илья Макаровичъ мыкнулъ въ знакъ согласія и, показавъ черезъ плечо рукою на дверь, за которою осталась его сожительница, покачалъ головою и помоталъ въ воздухѣ пальцами.

Анна Михайловна разсмѣялась, какъ умѣютъ смѣяться однѣ женщины, когда хотятъ, чтобы не слыхали ихъ смѣха, и вылила въ рюмку остатокъ водки.

— За здоровье отсутствующихъ! — возгласилъ Илья Макаровичъ.

— Да пейте, безтолковый, скорѣй! — отвѣчала шопотомъ Анна Михайловна, тихонько толкнувъ художника подъ руку.

Журавка какъ будто спохватился и, разомъ выливъ въ ротъ рюмку, чуть было не поперхнулся.

— А грибченки бардзо добрые,—заговорилъ онъ, громко откашливаясь за каждымъ слогомъ.

Анна Михайловна, закрывъ ротъ батистовымъ платкомъ, смѣялась отъ всей души, глядя на «свободнаго художника, потерявшаго свободу».

— Ахтительные грибченки,—говорилъ Илья Макаровичъ, входя въ комнату, гдѣ оставалась его итальянка.

Синьора Луиза стояла у окна и смотрѣла на стѣну сосѣдняго дома.

— Пора домой,—сказала она, не оборачиваясь

— Ту минуту, ту минуту. Вотъ только сверну сигареточку,—отвѣчалъ художникъ, доставая изъ кармана табакъ и папиросную бумажку.

Анна Михайловна вошла и положила ключи въ карманъ своего платья и сѣла.

— Чего вы торопитесь?—спросила она по-французски.

— Да вонъ, синьора приказываетъ,—отвѣчалъ по-русски и пожимая плечами Илья Макаровичъ.

— Пора, дѣти скучать будутъ. Не улягутся безъ меня,— отвѣчала синьора Луиза.

— А что-то нашъ Несторушка теперь подѣлываетъ? — спросилъ Илья Макаровичъ, котораго двѣ рюмченки, видимо, развеселили.

— А Богъ его знаетъ, — вздохнувъ, отвѣчала Анна Михайловна.

— Теперь хорошо въ Италіи!

— Да, я думаю.

— А у насъ-то какая дрянь! бррр! Колоритъ-то! колоритъ-то! Экая гадость. А пишутъ они вамъ?

— Вотъ только десятый день что-то нѣтъ писемъ, и это меня очень тревожитъ.

— Не случилось ли чего съ Дарьей Михайловной?

— Богъ знаетъ. Писали, что ей лучше, что она почти совсѣмъ здорова и ни на что не жалуется, а, впрочемъ, всего надумаешься.

— Не влюбился ли Несторушка въ итальяночку какую?—посмѣиваясь и потирая руки, сказалъ художникъ.

Анна Михайловна слегка смѣшалась, какъ человѣкъ, котораго поймали на самой сокровенной мысли.

— Что жъ, очень умно сдѣлаетъ. Пусть себѣ влюбляется хоть и не въ итальянку, лишь бы былъ счастливъ, — проговорила она съ самымъ спокойнымъ видомъ.

— Нѣтъ, Анна Михайловна! на свѣтѣ нѣтъ лучше женщинъ, какъ наши русскія,—сказалъ, вздохнувъ, Журавка.

— Въ самомъ дѣлѣ? — спрашивала его, улыбаясь, Анна Михайловна.

— Да, право! Гдѣ всѣмъ этимъ *тальянкамъ* до нашей, до русской! Наша русская какъ полюбитъ, такъ и пригрѣетъ, и приголубитъ, и пожалѣетъ, а это все...

— Qua? — спросила синьора Луиза, услыхавъ нѣсколько разъ повторенное слово «итальянка».

— Квакай, матушка,—отвѣчалъ Илья Макаровичъ, и безъ того недовольный тѣмъ, что его почти насильно уводятъ домой.—Научись говорить по-русски, да тогда и квакай; а то капусту выучилась ѣсть, вмѣсто апельсинъ, а говорить въ пять лѣтъ не выучилась. Ну, прощайте, Анна Михайловна! — добавилъ онъ, взявъ шляпу и подавъ свернутую кренделемъ руку подругѣ своей жизни.

Анна Михайловна подала руку Ильѣ Макаровичу и поцѣловала синьору Луизу, оскалившую при семъ случаѣ свои длинные зубы, закусившіе русскаго маэстро.

— Колоритъ-то, колоритъ-то какой!—говорилъ Журавка, вертясь передъ окномъ передней. — Буря, кажется, будетъ.

Ему смерть не хотѣлось идти домой.

Анна Михайловна улыбнулась и сказала:

— Да, въ одиннадцатой линіи, какъ говаривалъ Несторъ Игнатьичъ, того и гляди, что къ ночи соберется буря.

— Да, сострилъ шельмецъ, чтобъ ему самому вымокнуть.

— Будетъ съ него, батюшка мой, и того, что̀ было.

Итальянкѣ наскучилъ этотъ разговоръ, и она незамѣтно толкнула Журавку локтемъ.

— Сейчасъ, матушка! — отвѣчалъ онъ и, обратясь къ Аннѣ Михайловнѣ, спросилъ: — а что, барыня-то его бомбардируетъ?

— Нѣтъ, теперь, слава Богу, не пишетъ—успокоилась.

Анна Михайловна лгала.

— Экая егарма!—сказалъ Журавка, дмухнувъ носомъ.

— Вотъ вамъ и русская.

— Кой-чортъ это русская! Вы вотъ русская, а это чортъ, а не русская.

— Идите ужъ, полно толковать,— сказала Анна Михайловна, видя, что итальянка сердится и нѣсколько разъ еще толкнула локтемъ Журавку, который не замѣчалъ этого, слагая свой панегирикъ нѣкогда сильно захаянной имъ русской женщинѣ.— Идите, а то того и гляди, что громъ грянетъ и перекреститься не успѣете.

Журавка махнулъ рукой и потащилъ за двери свою синьору; а Анна Михайловна, проводивъ гостей, вошла въ комнату Долинскаго, сѣла у его стола, придвинула къ себѣ его большую фотографію и сидѣла какъ окаменѣлая, не замѣчая, какъ бѣлобрюхой, холодной жабой проползла надъ угрюмыми, каменными массами столицы безстыдно-наглая, петербургская лѣтняя ночь.

Часто Аннѣ Михайловнѣ выпадали такія ночи, и такъ тянулось до осени. Письма изъ-за границы начали приходить все какъ-то рѣже. Сначала, вмѣсто двухъ писемъ въ недѣлю, Анна Михайловна стала получать по одному, а тамъ письмо являлось только разъ въ двѣ недѣли и даже еще рѣже. И всѣ письма эти стали казаться Аннѣ Михайловнѣ какъ-то странными. Долинскій извѣщалъ въ нихъ, что Дорушкѣ лучше, что Дорушка совсѣмъ почти выздоровѣла, а тамъ говорилъ что-то о хорошей итальянской природѣ, о русскихъ за границей, а о себѣ никогда ни слова. Дорушка же только дѣлала приписки подъ его письмами, и то не всегда.

«Что это значитъ? — думала Анна Михайловна: — До-

рушкѣ лучше, Дорушка почти здорова и отъ Дорушки не добьешься слова. Неужто же она меня разлюбила? Неужто Долинскій забылъ меня? Неужто они оба...»

Анна Михайловна блѣднѣла отъ своихъ догадокъ и ужасно страдала, но письма въ Италію писала ровныя, теплыя, безъ горечи и упрека. Она не писала имъ ни чаще, ни рѣже, но всякое воскресенье своими руками аккуратно бросала одно письмо въ заграничный ящикъ. Иногда вся сила ея надъ собою истощалась; горячая натура брала верхъ надъ разумомъ, и Анна Михайловна хотѣла завтра же взять паспортъ и летѣть въ Ниццу, но безсонная ночь проходила въ размышленіяхъ и утромъ Анна Михайловна говорила себѣ:—Зачѣмъ? къ чему?—Чему быть, тому ужъ не миновать,—прибавляла она въ раздумьѣ.

Такъ все и ползло, и лѣзло скучное время.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Шпилька.

Передъ новымъ годомъ у Анны Михайловны была куча хлопотъ. Отъ заказовъ некуда было дѣваться; мастерицы работали рукъ не покладывая; а Анна Михайловна немножко поблѣднѣла и сдѣлалась еще интереснѣе. Въ темно-коричневомъ шерстяномъ платьѣ, подъ самую шею, перетянутая по таліи чернымъ шелковымъ поясомъ, Анна Михайловна стояла въ своемъ магазинѣ съ утра до ночи, и съ утра до ночи можно было видѣть на противоположномъ тротуарѣ не одного, такъ двухъ, или трехъ зѣвакъ, любовавшихся ея фигурою.

— Если бъ я была хоть въ половину такъ хороша, какъ эта дура, — разсуждала съ собою m-lle Alexandrine, глядя презрительно на Анну Михайловну: — что бы я только устроила... Tiens! Oui, oui... une petite maisonnette et tout ça.

Анна же Михайловна, разумѣется, ко всѣмъ поклоненіямъ своей красотѣ оставалась совершенно равнодушною.

Она держала себя съ большимъ достоинствомъ. Съ такимъ тактомъ встрѣчала она своихъ то надменныхъ, то суетливыхъ заказчицъ, такъ ловко и такими парижскими оборотами отпарировала всякое покушеніе бомонда потретировать модистку съ высоты своего величія, что засмотрѣться на нее было можно.

Въ одинъ изъ такихъ дней магазинъ Анны Михайловны

былъ полонъ существами, обсуждавшими достоинство той и другой шляпки, той и другой мантильи. Анна Михайловна терпѣливо слушала пустые вопросы и отвѣчала на нихъ со вниманіемъ, щадя пустое самолюбіе и смѣшныя претензіи. Въ часъ въ дверь вошелъ почтальонъ. Письмо было изъ-за границы; адресъ надписанъ Дашею.

— Je vous demande bien pardon, je dois lire cette lettre immédiatement,—сказала Анна Михайловна.

— Oh! je vous en prie, lisez! Faites moi la grâce de lire!— отвѣчала ей гостья.

Анна Михайловна отошла къ окну и поспѣшно разорвала конвертъ. Письмо все состояло изъ десяти строкъ, написанныхъ Дашиной рукою. Дорушка поздравляла сестру съ новымъ годомъ, благодарила ее за деньги и, по русскому обычаю, желала ей съ новымъ годомъ новаго счастья. На сдѣланный когда-то Анной Михайловной вопросъ: когда они думаютъ возвратиться, Даша теперь коротко отвѣчала въ post scriptum:

«Возвращаться мы еще не думаемъ. Я хочу еще пожить тутъ. Не хлопочи о деньгахъ. Долинскій получилъ за повѣсть, намъ есть чѣмъ жить. Въ этомъ долгѣ я надѣюсь съ нимъ счесться».

Долинскій только приписывалъ, что онъ здоровъ и что на-дняхъ будетъ писать больше. Этимъ давно уже онъ обыкновенно оканчивалъ свои коротенькія письма, но обѣщанныхъ большихъ писемъ Анна Михайловна никогда «на-дняхъ» не получала. Послѣднее письмо такъ поразило Анну Михайловну своею оригинальною краткостью, что, положивъ его въ карманъ, она подошла къ оставленнымъ ею покупательницамъ совершенно растерянная.

— Не отъ mademoiselle Доры ли?—спросила ее давняя заказчица.

— Да, отъ нея, — отвѣчала какъ могла спокойнѣе Анна Михайловна.

— Здорова она?

— Да, ей лучше.

— Скоро возвратится?

— Еще не собирается. Пусть живетъ тамъ; тамъ ей здоровѣе.

— О, да, это конечно. Россія и Италія—какое же сравненіе?—Но вамъ безъ нея большая потеря. Ты не можешь

вообразить, chère Vera, — отнеслась дама къ своей очень молоденькой спутницѣ:—какая это геніальная дѣвушка, эта mademoiselle Дора! Какой вкусъ, какая простота и отчетливость во всемъ, что бы она ни сдѣлала, а вѣдь русская! Удивительныя руки! Все въ нихъ какъ будто оживаетъ, все измѣняется. Вообще артистка.

— Гдѣ же она теперь?—спросила m-lle Vera.

— Въ Ниццѣ,—отвѣчала Анна Михайловна.

— Въ Ниццѣ?!

— Да, въ Ниццѣ.

— Я тоже провела это лѣто съ матерью въ Ниццѣ.

— Это m-lle Vera Онучина,—назвала дама дѣвушку.

Анна Михайловна поклонилась.

— Очень можетъ быть, что я гдѣ-нибудь встрѣчала тамъ вашу сестру.

— Очень немудрено.

— Съ кѣмъ она тамъ?

— Съ однимъ... нашимъ родственникомъ.

— Если это не секретъ, кто это такой?

— Долинскій.

— Долинскій, его зовутъ Несторъ Игнатьичъ?

— Да, его такъ зовутъ.

— Такъ онъ ей не мужъ?

— Нѣтъ. Съ какой стати?

— Онъ вамъ родственникъ?

— Да,—отвѣчала Анна Михайловна, проклиная эту пытливую особу, и чтобы отклонить ее отъ допроса, сама спросила:—такъ вы знали... видѣли мою сестру въ Ниццѣ, вы ее знали тамъ?

— Une tête d'or! Кто же ее не знаетъ? Вся Ницца знаетъ une tête d'or.

— Это, вѣрно, ее тамъ такъ прозвали?

— Да, ее всѣ такъ зовутъ. Необыкновенно интересное лицо; она ни съ кѣмъ не знакома, но ее всѣ русскіе знаютъ и никто ее иначе не называетъ, какъ une tête d'or. Мой братъ познакомился гдѣ-то съ Долинскимъ и онъ бывалъ у насъ, а сестра ваша, кажется, совсѣмъ дикарка.

— Ну... это не совсѣмъ такъ, — произнесла Анна Михайловна и спросила:

— Здорова она на видъ?

— Кажется; но что она прекрасна, это я могу вамъ сказать навѣрно,—отвѣчала, смѣясь, незнакомая дѣвица.

— Да, она хороша, — сказала Анна Михайловна и разсѣянно спросила: — а господинъ Долинскій часто бывалъ у васъ?

— О, нѣтъ! Три или четыре раза за все лѣто, и то братъ его затаскивалъ. У насъ случилось много русскихъ и Долинскій былъ такъ любезенъ, прочелъ у насъ свою новую повѣсть. А то, впрочемъ, и онъ тоже нигдѣ не бываетъ. Они всегда вдвоемъ съ вашей сестрой. Вмѣстѣ бродятъ по окрестностямъ, вмѣстѣ читаютъ, вмѣстѣ живутъ, вмѣстѣ скрываются отъ всѣхъ глазъ... кажется, вмѣстѣ дышатъ одной грудью.

— Какъ я вамъ благодарна за этотъ разсказъ!— проговорила Анна Михайловна, держась рукой за столъ, за которымъ стояла.

— Мнѣ самой очень пріятно вспомнить обворожительную tête d'or. А знаете, я черезъ мѣсяцъ опять ѣду въ Ниццу съ моей maman. Можетъ-быть, хотите что-нибудь передать имъ?

— Merci bien. Я имъ пишу часто.

Свѣтская дама съ свѣтской дѣвицей вышли.

— Какъ она забавно мѣнялась въ лицѣ,—замѣтила дѣвица.

— Ну да, еще бы! Это ея amant.

— Я такъ и подумала. Какой оригинальный случай.

Дамы засмѣялись.

— И въ какомъ, однако, странномъ кружкѣ вращаются эти господа!—пройдя нѣсколько шаговъ, сказала m-lle Vera.

— И, ma chère! въ какомъ же по-твоему кружкѣ имъ должно вращаться?

— А онъ уменъ,—въ раздумьѣ продолжала дѣвица.

— Мало ли, мой другъ, умныхъ людей на свѣтѣ?

— И довольно интересенъ, то-есть я хотѣла сказать, довольно оригиналенъ.

Дама взглянула на дѣвицу и саркастически улыбнулась.

— Не настолько, однако, надѣюсь, интересенъ, — пошутила она:—чтобъ приснился во снѣ mademoiselle Вѣрѣ.

— М-м-м-ъ... за сны свои, ma chère Barbe, никто не отвѣчаетъ,—отшутилась m-lle Вѣра, и онѣ обѣ весело разсмѣялись, встрѣтились съ знакомымъ гусаромъ и заговорили ни о чемъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Туманная даль близится и яснѣетъ.

Какъ только дамы вышли изъ магазина, Анна М
ловна написала къ Ильѣ Макаровичу, прося его се
же принести ей книжку журнала, въ которомъ напеч
послѣдняя повѣсть Долинскаго, и ждала его съ нет
ніемъ. Илья Макаровичъ черезъ два часа прибѣжал
своей одиннадцатой линіи, немножко разстроенный и
тый, и принесъ съ собою книжку.

— Что-жъ это Несторка-то! — началъ онъ, только
въ комнату.

— А что? — спросила Анна Михайловна, перелис
съ нетерпѣніемъ повѣсть.

— И повѣсти вамъ не прислалъ?

— Вѣрно, у него у самого ея нѣтъ. Не скоро дох
за границу.

Илья Макаровичъ заходилъ по комнатѣ и все дм
сердито носомъ.

— Читали вы повѣсть?—спросила Анна Михайлов

— Читалъ, какъ же не прочесть?—читалъ.

— Хороша?

— Хорошую написалъ повѣсть.

— Ну, и слава Богу.

— Денегъ онъ пропасть зарабатываетъ какую!

— Еще разъ слава Богу.

— А что, онъ вамъ пишетъ?

— Пишетъ,—медленно проговорила Анна Михайло
Илья Макаровичъ опять задмухалъ.

— Водченки пропустить хотите? — спросила Анна
хайловна, не подымая глазъ отъ книги.

— Нѣтъ, чортъ съ ней! Чашки развѣ, такъ отт
ки—могу.

Анна Михайловна позвонила.

Подали самоваръ.

— Вы на меня не въ претензіи? — спросила она
Макаровича.

— За что?

— Что я при васъ читаю.

— Сдѣлайте милость!

— Скучно безъ нихъ ужасно, — сказала Анна Михайловна, обваривая чай.

— И чего они тамъ сидятъ?

— Для Даши.

Илья Макаровичъ опять задмухалъ.

— Знаете, что̀ я подозрѣваю?—сказалъ онъ.—Это у него все теперь эти *идеи* въ головѣ бродятъ.

— Попали пальцемъ въ небо.

Илья Макаровичъ хотѣлъ употребить дипломатическую, успокоительную хитрость и очень сконфузился, что она не удалась.

— А вотъ что, Анна Михайловна!— сказалъ онъ, пройдясь нѣсколько разъ по комнатѣ и снова остановясь передъ хозяйкой, сидѣвшей за чайнымъ столомъ, надъ раскрытою книгою журнала.

— Что̀, Илья Макаровичъ?

Художникъ долго смотрѣлъ ей въ глаза и, наконецъ, съ добродушнѣйшей улыбкой произнесъ:

— Махну-ка я, Анна Михайловна, въ Италію.

— Это же ради какихъ благъ?

— Еще разъ передъ старостью, небо теплое увидѣть. Душу свою обогрѣю.

— Э, не сочиняйте-ка вздоровъ! У кого душа тепла, такъ вездѣ она будетъ тепла, и подъ этимъ небомъ.

Илья Макаровичъ не умѣлъ сказать обинякомъ то, что̀ онъ думалъ.

— Ихъ посмотрю,—сказалъ онъ прямо.

— Ну, и что жъ будетъ?

Илья Макаровичъ долго молчалъ, мѣнялся въ лицѣ и моргалъ глазами.

— Обрезонить надо человѣка; вотъ что будетъ! — наконецъ, вымолвилъ онъ съ таинственнымъ придыханіемъ.

— Это вы Долинскаго хотите обрезонивать! Онъ не мальчикъ, Илья Макаровичъ. Ему уже не двадцать лѣтъ, самъ понимаетъ, что̀ дѣлаетъ.

— И ее,—еще тише продолжалъ художникъ.

— Ее?

Илья Макаровичъ сдѣлалъ самую строгую мину и качнулъ въ знакъ согласія головою.

— Дашу?—переспросила его Анна Михайловна.

— Ну, да.

— Не знаете вы, за что̀ беретесь, мой милый! — отвѣчала, улыбнувшись, Анна Михайловна.

— Слово надо сказать; одно слово иногда заставляетъ человѣка опомниться,—таинственно произнесъ художникъ.

— Кому же это вы будете говорить, что̀ вы будете говорить, и по какому праву, наконецъ, Илья Макарычъ?

— Право! Съ подлецомъ нечего разбирать правъ!

— Пожалуйста, только не горячитесь.

— Нѣтъ-съ, я не горячусь и не буду горячиться, а я только хочу ему высказать все, что̀ у меня накипѣло на сердцѣ, только и всего; и чортъ съ нимъ послѣ.

Анна Михайловна махнула рукой.

— Да и ей тоже-съ. Воля милости ея, а пусть слушаетъ. А ужъ я наговорю!

— Дашѣ?

— Да-съ.

— О, Аркадія священная! Дашѣ не слова человѣческія, а если бы громъ небесный упалъ передъ нею, такъ она... и на этотъ громъ, я думаю, не обратила бы вниманія. Что тутъ слова, когда, видите, ей меня не жаль; а вѣдь она меня любитъ! Нѣтъ, Илья Макарычъ, когда сердце занялось пламенемъ, тутъ ужъ ничей разумъ и никакія слова не помогутъ!

— Такъ, что жъ они о себѣ теперь думаютъ! — грозно крикнулъ и привскочилъ съ мѣста Журавка.

— А ничего не думаютъ.

— Какъ же ничего не думаютъ?

— А такъ—зачѣмъ думать?

— Какъ зачѣмъ думать? Помилуйте, Анна Михайловна, да это... что̀ же это такое вы сами-то, наконецъ, говорите?

— Я вамъ говорю, что они ничего не думаютъ.

— Да что̀ же онъ-то такое? Послѣ этого вѣдь онъ же выходитъ подлецъ!—Илья Макаровичъ въ азартѣ стукнулъ кулакомъ по столу и опять закричалъ:—подлецъ!

— За что вы его такъ браните? Ну, что отъ этого поправится, или получшѣетъ?

— Зачѣмъ же онъ сбилъ дѣвушку?

Анна Михайловна улыбнулась.

— Чего вы смѣетесь?

— Надъ вами, Илья Макарычъ! Ничего-то вы не разумѣете, хоть и въ Италіи были.

— Чего-съ я не разумѣю?

Анна Михайловна промолчала.

— Нѣтъ-съ, позвольте же, Анна Михайловна, если ужъ начали говорить, такъ вы извольте же договаривать: чего это-съ я не разумѣю?

— Да какъ вы можете утверждать, что онъ ее съ чего-нибудь сбивалъ?—сказала Анна Михайловна.

Илья Макаровичъ дмухнулъ носомъ и, помолчавъ, спросилъ:

— Такъ какъ же это по-вашему было?

— Дору никто не собьетъ и... никто Илью Макаровича ни отъ чего не удержитъ.

Журавка опять забѣгалъ.

— Да... однакожъ... позвольте: на что же это она бьетъ, въ чью же-съ голову она бьетъ?! — спросилъ онъ, остановившись.

— Любитъ.

— Да ну-те-жъ бо, Богъ съ вами, Анна Михайловна, что жъ будетъ изъ такой любви?

— Что̀ изъ любви бываетъ—радость, счастье и жизнь.

— Да вѣдь позвольте... мы вѣдь съ вами старые друзья. Вѣдь... *вы* его, наконецъ, любите?

— Ну-съ; такъ что же далѣе?—произнесла, немного конфузясь, Анна Михайловна.

— И онъ васъ любилъ?

— Положимъ.

— Ничего не понимаю! — крикнулъ, пожавъ плечами, Илья Макаровичъ и опять ожесточенно забѣгалъ, мотая поврeменамъ головою и повторяя съ ажитаціей: — ничего... ровно ничего не понимаю! Хоть голову мою срубайте, ничего не понимаю!

— А какъ же это вы, однако, поняли, что тамъ что-то есть? — спросила послѣ паузы Анна Михайловна съ цѣлью повѣрить свои соображенія чужими.

— Да такъ, просто. Думаю себѣ иной разъ, сидя за мольбертомъ: что онъ тамъ, наконецъ, собака, дѣлаетъ? Знаю, вѣдь онъ такой олухъ царя небеснаго; даже прекраснаго, шельма, не понимаетъ; идетъ все понурый, на женщину никогда не взглянетъ, а женщины на него, какъ муха на медъ. Душа у него такая кроткая, чистая и вся на лицѣ.

— Да,—уронила Анна Михайловна, вспоминая лицо Долинскаго и опять невинно смущаясь.

— Не полюбить-то его почти нельзя!

— Нельзя,—сказала, улыбнувшись, Анна Михайловна.

— То-есть именно, я говорю, чортъ его знаетъ, каналь ну, нельзя, нельзя.

— Нельзя, — подтвердила Анна Михайловна нѣсколь серьезнѣе.

— Ну, вотъ и думаю: чего до грѣха, свихнетъ онъ Д рушку!

— Ничего я не вижу отсюда, а совершенно увѣрена. Да, Илья Макарычъ, о чемъ это мы съ вами толкуемъ, а? развѣ они не свободные люди?

Художникъ вскочилъ и неистово крикнулъ:

— А ужъ это нѣтъ-съ! Это извините-съ, бо онъ, низкі онъ человѣкъ, долженъ былъ помнить, что̀ онъ оставилъ!

— Эхъ, Илья Макарычъ! А еще вы художникъ и «сво бодный художникъ»! А молодость, а красота, а коса зол тая, сердце горячее, душа смѣлая! Мало вамъ адвокатовъ

— То-есть чортъ его знаетъ, Анна Михайловна, вѣд въ самомъ дѣлѣ можно съ ума сойти!—отвѣчалъ художник заламывая на брюшкѣ свои ручки.

— То-то и есть. Вспомните-ка ея пѣсенку:

То горделива, какъ свобода,
То вдругъ покорна, какъ раба.

— Да, да, да... то-есть именно, я вамъ, Анна Михай ловна, скажу, это чортъ знаетъ что̀ такое!

Долго Анна Михайловна и художникъ молчали. Одна тих и неподвижно сидѣла, а другой все бѣгалъ, а то дмухал носомъ, то что-то вывертывалъ въ воздухѣ рукою, но, на конецъ, это его утомило. Илья Макаровичъ остановилс передъ хозяйкой и тихо спросилъ:

— Ну, и что жъ дѣлать, однако?

— Ничего,—также тихо отвѣтила ему Анна Михайловн

Художникъ походилъ еще немножко, сдѣлалъ на одном поворотѣ руками жестъ недоумѣнія и произнесъ:

— Прощайте, Анна Михайловна.

— Прощайте. Вы домой прямо?

— Нѣтъ, забѣгу въ Палкинъ, водченки хвачу.

— Что жъ вы не сказали, здѣсь бы была водченка, — спокойно говорила Анна Михайловна, хотя лицо ея то-і дѣло покрывалось пятнами.

— Нѣтъ, ужъ тамъ выпью,—разсуждалъ Журавка.

— Ну, прощайте.

— А написать ему можно?—шопотомъ спросилъ художникъ, снова возвращаясь въ комнату въ шинели и калошахъ.

— Ни, ни, ни! Чужая собака подъ столъ, знаете пословицу?—отвѣчала Анна Михайловна, стараясь держаться шутливаго тона.

— Господи Боже мой! Какая вы дивная женщина! — воскликнулъ восторженно Журавка.

— Такая, которую всегда очень легко забыть,—отшутилась Анна Михайловна.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Немножко назадъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Долинскій съ Дарьей Михайловной отъѣхали отъ петербургскаго амбаркадера варшавской желѣзной дороги, они проводили свое время въ слѣдующихъ занятіяхъ: Дорушка утерла набѣжавшія слезы и упорно смотрѣла въ окошко вагона. Природа ее занимала, или просто молчать ей хотѣлось, — глядя на нее рѣшить было трудно. Долинскій тоже молчалъ. Онъ попробовалъ-было заговорить съ Дашей, но та кинула на него бѣглый взглядъ и ничего ему не отвѣтила. Подъѣзжая къ Острову, Даша сказала, что она устала и дальше ѣхать не можетъ. Отыскали въ гостиницѣ номеръ съ передней. Долинскій приготовилъ чай и спросилъ ужинъ.

Даша ни къ чему не притронулась.

— Ну, такъ ложитесь спать,—сказалъ ей Долинскій.

— Да, я спать хочу,—отвѣчала Даша.

Она легла на кровати въ комнатѣ, а Долинскій завернулся въ шинель и легъ на диванчикѣ въ передней.

Они оба молчали. Даша была не то печальна, не то утрюма; Долинскій приписывалъ это слабости и болѣзненной раздраженности. Онъ не безпокоилъ ее никакими вопросами.

— Прощайте, моя милая нянюшка! — слабо проговорила черезъ перегородку Даша, полежавъ минутъ пять въ постели.

— Прощайте, Дорушка. Спите спокойно.

— Вамъ тамъ скверно, Несторъ Игнатьичъ?

— Нѣтъ, Дорушка—хорошо.

— Потерпите, мой милый, ради меня, чтобы было [illegible]о чемъ вспомнить.

— Спите, Дорушка.

Больная провела ночь очень покойно и проснулась утромъ довольно поздно. Долинскій нашелъ женщину, которая помогла Дашѣ одѣться, и велѣлъ подать завтракъ. Даша кушала съ аппетитомъ.

— Несторъ Игнатьичъ! — сказала она, оканчивая завтракъ:—вотъ сейчасъ вамъ будетъ испытаніе, какъ вы понимаете наставленія моей сестры. Что̀ она приказала вамъ на мой счетъ?

— Беречь васъ.

— А еще?

— Служить вамъ.

— А еще?

— Ну, что жъ еще?

— Еще, еще?

— Право, не знаю, Дарья Михайловна.

— Вотъ память-то!

— Да что же? — она просила исполнять ваши желанія и только.

— Ну, наконецъ-то! *Исполнять мои желанія,* а у меня теперь есть желаніе, которое не входило въ наши планы: исполните ли вы его?

— Что же это такое, Дорушка?

— Свезите меня въ Варшаву. Смерть мнѣ хочется посмотрѣть поляковъ въ ихъ городѣ. У васъ тамъ есть знакомые?

— Должны быть; но какъ же это сдѣлать? Вѣдь это намъ составитъ большой расчетъ, Дорушка, да и экипажа нѣтъ.

— Какъ-нибудь. Вы не повѣрите, какъ мнѣ этого хочется.

Факторъ въ Вильно нашелъ старую, очень покойную коляску, оставленную кѣмъ-то изъ варшавянъ, и устроилъ Долинскому все очень удобно. Желѣзная дорога тогда еще была не окончена. Погода стояла прекрасная, путешественники ѣхали безъ непріятностей, и Даша была очень счастлива.

— Люблю я,—говорила она:—ѣхать на лошадяхъ. Отсталая женщина—терпѣть не могу желѣзныхъ дорогъ и этихъ глупыхъ вагоновъ.

Долинскій смѣялся и разсказывалъ ей разныя непріятности путешествія на лошадяхъ по Россіи.

— Все это, можетъ-быть, такъ; я только одинъ разъ всегда ѣхала далеко на лошадяхъ, когда Аня взяла меня изъ деревни, но терпѣть не могу, какъ въ вагонахъ запираютъ, прихлопнутъ, да еще съ наслажденіемъ ручкой повертятъ, дескать, не смѣешь вылѣзть.

Дорога шла очень пріятно. Даша много спала въ покойномъ экипажѣ и говорила, что она оживаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, несмотря на дорожную усталость, она чувствовала себя крѣпче и дышала свободнѣе.

Въ Варшавѣ они размѣстились очень удобно въ большомъ номерѣ, состоявшемъ изъ трехъ комнатъ. Долинскій отыскалъ много знакомыхъ поляковъ съ Волыни и Подоліи представилъ ихъ Дашѣ. Даша много съ ними говорила и осталась очень довольна новыми знакомствами.

Долинскій нашелъ тоже пани Свѣнтоховскую, извѣстную варшавскую модистку, съ которою Анна Михайловна и Даша познакомились въ Парижѣ и которую принимали у себя въ Петербургѣ. Пани Свѣнтоховская, женщина строгая ультракатоличка, пріѣхала къ Дашѣ, когда Долинскаго не было дома, и разсыпалась передъ Дорою въ поздравленіяхъ и благожеланіяхъ.

— Да съ чѣмъ вы меня поздравляете?—спросила Даша.

— Какъ съ чѣмъ?—Съ мужемъ?..

— Съ какимъ мужемъ,—разсмѣявшись, спросила ее Даша.

— А панъ Долинскій!

Даша еще громче разсмѣялась.

— Да какъ же вы ѣдете?—спросила, нѣсколько обиженная ея смѣхомъ, полька.

— Простите мнѣ, мой ангелъ, этотъ глупый смѣхъ, — отвѣчала Даша, обтирая выступившія у нея отъ хохота слезы, и разсказала пани Свѣнтоховской какъ устроилась ея поѣздка.

Солидная пани Свѣнтоховская покачала головой.

— Что жъ, вы развѣ находите это очень ужъ неприличнымъ? А будто приличнѣе было бы оставить меня умирать для приличія?

— Не то, что очень неприлично, а...

— А что?

— Оно... небезпечно.

Даша опять захохотала и, немного покраснѣвъ, сказала:

— Какіе пустяки!

Когда пришелъ Долинскій, не заставъ уже пани Свѣнтоховской, Даша встрѣтила его веселымъ смѣхомъ.

— Чего вы такъ смѣетесь, Дора? — освѣдомился Долинскій.

— Знаете, Несторъ Игнатьичъ, что вы въ опасности?

— Въ какой опасности?

— Въ опасности.

— Полноте шалить, Дора! скажите толкомъ, — отвѣчалъ нѣсколько встревоженный Долинскій.

— Не пугайтесь, милая няня! Опасностью вамъ угрожаю я. Я, *моей собственной персоной!*

Даша разсказала опасенія madame Свѣнтоховской.

И онъ, и она усердно смѣялись.

Вечеромъ Даша и Долинскій долго просидѣли у пани Свѣнтоховской, которая собрала нѣсколькихъ своихъ знакомыхъ дамъ, съ ихъ мужьями, и ни за что не хотѣла отпустить петербургскихъ гостей безъ ужина. Долинскій ужасно безпокоился за Дашу. Онъ не сводилъ съ нея глазъ, а она превесело щебетала съ польками, и на ея миломъ личикѣ не было замѣтно ни малѣйшаго признака усталости, хотя часъ былъ уже поздній.

— Домой пора, Дора,—не разъ шепталъ ей Долинскій.

— Погодите—невѣжливо же уѣхать?

— Заболѣете.

— Ахъ! Какъ вы мнѣ надоѣли съ вашимъ менторствомъ.

Долинскій отходилъ прочь.

Вернулись домой только во второмъ часу. Войдя въ номеръ, Долинскій взялъ Дашу за обѣ руки и сказалъ:

— Смерть я боюсь за васъ, Дорушка! Того и гляжу, что вы сляжете.

— Не бойтесь, не бойтесь, мой милый, — отвѣчала она, пожимая его руки.

— А вы слышали, что̀ о васъ говорили паны? — спросилъ Долинскій, усадивъ Дору въ кресло.

— Нѣтъ. Что̀ они говорили?

— Говорили: какая хорошенькая московка?

Даша сдѣлала гримасу и сказала:

— Это мы и безъ нихъ знали; а потомъ спросила: — А вы слышали, что̀ о васъ говорили пани?

— Нѣтъ.

Даша разсмѣялась.

— Говорили, что вы Анинъ «коханокъ».

— Кому это они говорили?

— Сами съ собой говорили.

— Ворона вѣсть принесла.

— Ворона, именуемая панею Свѣнтоховскою.

— А ей кто доложилъ?

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ! слухомъ, сударь, земля полнится.

Долинскій ничего не отвѣчалъ.

— А странный вы господинъ!—начала, подумавъ, Даша.— Громами гремите противъ предразсудковъ, а самимъ ухъ какъ жутко становится, если дѣло на чистоту выходитъ! Что же вамъ! Развѣ вы не любите сестры или стыдитесь быть ея, какъ онѣ говорятъ, «коханкомъ».

— Да мнѣ все равно, только... зачѣмъ? Я вѣдь знаю, что у этихъ господъ значитъ *коханекъ*.—Мнѣ, это, конечно, все равно, а...

— А кому жъ неравно? Ужъ не за сестру ли вы печалитесь?—Мы съ ней люди простые, въ пансіонахъ не воспитывались: ѣдимъ пряники неписанные.

— Да я жъ вѣдь ничего и не сказалъ, кажется.

— А только подумалъ! — отвѣчала съ ироніей Даша. — Нѣтъ, Несторъ Игнатьичъ, крѣпко, еще, вѣрно, сидятъ въ насъ бабушкины-то присказки!

Даша тоже задумалась и стала смотрѣть на свѣчу, а Долинскій молча прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ и сказалъ:

— Ложитесь спать, Даша.

Даша не отвѣчала.

— Идите въ постель, Дора, — повторилъ черезъ минуту Долинскій.

Даша молча встала, пожала Долинскому руку и, выходя изъ комнаты, громко продекламировала:

О, жалкій, слабый родъ! О, время
Полупорывовъ долгихъ думъ
И робкихъ дѣлъ! О, вѣкъ! О, племя!
Безъ вѣры въ собственный свой умъ!

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Все обстоитъ благополучно.

Путешественники наши пробыли въ Варшавѣ пять д
и написали Аннѣ Михайловнѣ два длинныхъ письма.
шестой день панна Свѣнтоховская проводила ихъ на же
ную дорогу. Усаживая Дашу въ вагонъ, она шепнула
нѣсколько словъ, на которыя та отвѣчала гримаскою.
рогою Даша первый день чувствовала себя нѣсколько
бою. Закачало ее, и потому Долинскій рѣшился вовсе
везти ее ночами. Но на другой день Дашѣ было гор
лучше и она хохотала надъ Долинскимъ, представляя,
кое у него длинное лицо бываетъ, когда она охнетъ.

— Смотрите, Несторъ Игнатьичъ,—говорила она:—чт
въ самомъ дѣлѣ, не вышло на слова пани Свѣнтоховс
Въ самомъ дѣлѣ, какъ она говоритъ, «небезпечно» в
кажется, разгуливаться со мной по бѣлу-свѣту. Чего
раго, влюбитесь вы въ меня. Въ два-то года, живя вм
вы меня не разсмотрѣли хорошенько, а теперь вотъ
лать вамъ нечего, со скуки какъ-разъ злой недугъ при
чится. Вотъ анекдотъ-то выйдетъ! Хоть со свѣта бѣжи т

— Что вы выдумываете, Дорушка!

— А что-жъ! Всѣ подъ Богомъ ходимъ. Развѣ уж
меня и влюбиться нельзя?

— Какая вы хорошенькая! — смѣясь, воскликнулъ
линскій.

— Вотъ то-то и оно! Въ Варшавѣ, въ царствѣ жен
красоты, таковою признана.

— А кстати, Дора, я и забылъ васъ спросить:
вамъ понравилась Варшава?

— Очень хорошій, типическій городъ.

— А варшавяне?

— Мужчины или женщины?

— Тѣ и другія?

— Однимъ словомъ на это отвѣчать нельзя.

— Ну, можете двумя словами.

— Въ полякахъ мнѣ одно только нравится, а въ п
кахъ одно только не нравится.

— Значитъ, въ мужчинахъ вы замѣтили только
добродѣтель, а въ женщинахъ только одинъ порокъ?

— Не то совсѣмъ. Мужчины почти точно такіе же,

и наши; даже у этихъ легкости этой ненавистной, пожалуй, какъ будто, еще и больше — это мнѣ противно; но они вотъ чѣмъ умнѣе: они за однимъ другого не забываютъ.

— Какъ это, Дорушка?

— А такъ! У нихъ пѣнію время, а молитвѣ часъ. Они не требуютъ, чтобъ люди уродами подѣлались за то, что ихъ матери не въ тотъ, а въ другой годъ родили. У нихъ Божіе идетъ Богови, а кесарево кесареви. Они и живутъ, и думаютъ, и любятъ, и не надоѣдаютъ своимъ женщинамъ одною докучною фразою. Мнѣ, вы знаете, смерть надоѣли эти наши ораторы! Все чувства боятся! Сердчишекъ не далъ Богъ, а они еще мечами картонными отмахиваются. Любовь и привязанность будто чему-нибудь хорошему могутъ мѣшать? Будто любовь чему-нибудь мѣшаетъ?

Даша разгорячилась.

— Шуты святочные! — сказала она съ презрѣніемъ, и стала смотрѣть въ окошко вагона.

— Ну, а о женщинахъ-то польскихъ что̀ же вы, Даша, разскажете?

Даша обернулась съ веселой улыбкой.

— Прелесть! Я не знаю, гдѣ у васъ царь въ головѣ былъ, Долинскій?

— Когда?

— Когда вы чортъ-знаетъ какъ обрѣшетились.

Долинскій ничего не отвѣчалъ и по лицу его пробѣжала тучка. Даша поняла, что она тронула больную рану Долинскаго. Она тронула его пальчикомъ по губамъ и сказала:

— У-у! Бука! стыдно дуться! Городничій поѣдетъ и губы отдавитъ.

Долинскій вздохнулъ.

— А знаете же, что̀ я одно только не взлюбила въ польскихъ?—заговаривала Дора.

— Что̀? — спросилъ въ свою очередь Долинскій, проведя рукою по лбу.

— Отгадайте?

— Богъ васъ знаетъ, Дорушка! — отвѣчалъ Долинскій, все еще не вошедшій въ свою тарелку.

— Ну, отгадайте?

— Да, право, не знаю.

Даша нагнулась и, пристально посмотрѣвъ въ глаза Долинскаго, спросила:

— Вы, кажется, все еще дуетесь?

— Нѣтъ, за что̀ же?

— То-то. Видѣли вы, какъ поляки лошадей запрягаютъ?

— Видѣлъ.

— Ну, какъ?

— Въ шоры.

— Нѣтъ, вотъ тутъ на голову—какъ это называется?

Даша приложила ладони къ своимъ вискамъ.

— Наглазники.

— Ну, да, наглазники. Вотъ эти самые наглазники есть у польскихъ женщинъ. По дорогѣ онѣ идутъ хорошо, а в сторону ничего не видятъ. Или одна крайность, или друга чрезвычайность.

— Какъ это, Дорушка?

— А такъ: или строгость, или ужъ распущенность, есть своеволіе, а между тѣмъ свободы честной нѣтъ.

— А у нашихъ есть?

— Ну, какъ же ровнять! — отвѣчала, качая головкой Дора.

— Способнѣе, полагаете, наши къ честной свободѣ-то?

— Еще бы! какъ ихъ можно и сравнивать въ этомъ отношеніи! У нашихъ, дѣйствительно, смѣлость; наши женщины—хорошія женщины; онѣ, дѣйствительно, хотятъ быть честно свободными.

— Да много ли ихъ?

— Разумѣется, немного пока; а погодите, я увѣрена, что съ нашими женщинами будетъ жить легче, чѣмъ со всякими другими. Вѣдь не плохо и теперь живется съ ними?—добавила она, улыбаясь.

— Хорошо, Дорушка,—отвѣчалъ спокойно Долинскій.

— А что̀, кого вспомнили?

Долинскій улыбнулся и отвѣчалъ:

— Какая вы наблюдательная, Дора!

— А вы это только теперь замѣтили?

— Только теперь.

— Ну, да! вѣдь я недаромъ говорила, что въ два года вы меня хорошенько не разсмотрѣли!

Даша помолчала, вздохнула и проговорила:

— Что-то она теперь подѣлываетъ?

На другой день, по пріѣздѣ въ Ниццу, Долинскій оставилъ Дашу въ гостиницѣ, а самъ до изнеможенія бѣгалъ,

отыскивая квартиру. Задача была не малая. Даша хотѣла жить какъ можно дальше отъ людныхъ улицъ и какъ можно ближе къ морю. Она хотѣла имѣть комнату въ нижнемъ этажѣ, съ окнами въ садъ, не высоко и не дорого.

Послѣ долгихъ поисковъ, наконецъ, нашлась такая квартира у старой француженки, m-me Бюжаръ. Это были три комнатки въ маленькомъ флигелькѣ, съ окнами, выходящими въ уединенный садикъ. M-me Бюжаръ, старушка съ очень добродушнымъ лицомъ, взялась приносить постояльцамъ обѣдъ и два раза въ день навѣщать ихъ и исполнять все, что̀ будетъ нужно для больной русской синьоры. Сама старушка, вмѣстѣ съ двумя желтенькими курочками и чернымъ голландскимъ пѣтухомъ, жила въ крошечной комнаткѣ въ другомъ флигелькѣ, выходившемъ въ тотъ же садикъ. Квартира очень понравилась Дашѣ, и вечеромъ того же дня они въ нее переѣхали. Даша заняла большую комнату съ двумя большими окнами, а Долинскій помѣстился въ маленькомъ кабинетикѣ. Кромѣ того, у нихъ было нѣчто въ родѣ зальца, раздѣлявшаго собою ихъ комнаты. На другой день Долинскій пригласилъ лучшаго доктора, который осмотрѣлъ больную и съ покойнымъ видомъ объявилъ, что она вовсе не въ такомъ положеніи, какъ имъ кажется. Сдѣлавъ необходимыя гигіеническія наставленія Дорѣ, докторъ уѣхалъ, обѣщавъ навѣщать ее черезъ два дня въ третій. M-me Бюжаръ оказалась драгоцѣннымъ существомъ. Она услуживала синьорѣ Дорѣ съ искреннимъ радушіемъ и со всегдашней французской веселостью. Впрочемъ, Даша и мало требовала услугъ. Утромъ она открывала окошечко и кричала: — m-me Бюжаръ! Изъ другого окна ей весело откликались словомъ:—Signora Dorra! и старуха, переваливаясь, бѣжала и помогала ей сдѣлать что̀ нужно. Утромъ старуха убирала ихъ комнаты да приносила обѣдъ. Больше Долинскій и Даша ничего не требовали, и старуха очень полюбила своихъ тихихъ и непривередливыхъ жильцовъ. Жизнь началась очень пріятная. Долинскій отдыхалъ послѣ срочной работы и трудился только тогда, когда ему хотѣлось, а Даша поправлялась не по днямъ, а по часамъ, и опять стала дѣлаться тою же обворожительной, розовой ундиной, какою она была до своей несчастной болѣзни. Только алыя пятна все еще не сходили съ ея нѣжныхъ щёчекъ. Днемъ Долинскій читалъ Дашѣ

вслухъ или работалъ. Онъ написалъ другую повѣсть и совсѣмъ приготовлялъ ее къ отсылкѣ въ Россію. Писанная на свободѣ повѣсть была очень удачна. Даша хорошо знала эту повѣсть. Она знала, что авторъ часто говоритъ въ ней о самомъ себѣ и о людяхъ, помявшихъ его въ своихъ перчаткахъ. Она заставляла Долинскаго по нѣсколько разъ повторять ей нѣкоторыя мѣста и часто надъ многими крѣпко и долго задумывалась.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

На устахъ и въ сердцѣ.

Въ десятый разъ они перечитывали знакомую рукопись и въ десятый разъ Даша заставляла его повторять знакомыя мѣста. Наступалъ вечеръ, Дорушка взяла изъ рукъ Долинскаго тетрадь, долго читала сама глазами и, задумчиво глядя на бумагу, начала что-то чертить перомъ на маржѣ.

— Однако, позвольте, Дарья Михайловна, что же это вы... Вамъ тутъ рисовать вовсе не полагается.

Даша, молча, замарала все начерченное ея перомъ, отбросила съ недовольной гримаской рукопись, встала, надѣла на себя широкополую соломенную шляпу и, подавая руку Долинскому, нѣсколько сурово сказала:

— Пойдемте гулять.

Долинскій взялъ фуражку, и они отправились къ обыкновенному пункту своихъ вечернихъ прогулокъ. Во все время дороги они оба молчали и, дойдя до холмика, съ котораго всегда любовались моремъ, оба, молча, присѣли на зеленую травку. Видъ отсюда былъ самый очаровательный и спокойный. Далеко-далеко открывалась предъ ними безбрежная водная равнина и вечернее солнце тонуло въ краснѣющей ряби тихаго моря. Необыкновенно сладко дразнить здѣсь свою душу мечтами и сердцу давать живые вопросы. Даша устала. Долинскій сбросилъ верхнее пальто и кинулъ его на траву. Даша на немъ прилегла и какъ бы уснула. Молчанью и думамъ ничто не мѣшало.

— Странно какъ это!—сказала Даша, не открывая глазъ.

— Что̀ такое?—какъ бы оторвавшись отъ другой думы, спросилъ Долинскій.

— Такъ, Богъ знаетъ, что̀ приходитъ въ голову. Вотъ напримѣръ... сколько чепухи на свѣтѣ?

— Не мало, Дарья Михайловна; даже очень довольно.

— Я это и безъ васъ знаю,—отвѣчала Дора и опять замолчала.

— Не понимаю я, — начала она черезъ нѣсколько минутъ:—какъ это дѣлается все у людей... все какъ-то шиворотъ-навыворотъ и таранты-на-вонъ. Клянутъ и презираютъ за то, что̀ только уважать можно, а уважаютъ за то, за что̀ отвернуться хочется отъ человѣка. Трусы!

— Отчего же не что-нибудь другое, а трусы?

— Такъ, потому что это все отъ трусости. En gros все ихъ пугаетъ, а en détail—все ничего. Дастъ человѣкъ золотую монету за удовольствіе, котораго ему хочется — его назовутъ мотомъ; а размѣняетъ ее на пятиалтынные и пятиалтынниками разбросаетъ — только погаже какъ-нибудь—ничего. Какъ это у нихъ тамъ все въ головахъ? Все кверху ногами.

— Подите же съ ними!—тихо отвѣчалъ Долинскій.

— Вѣдь это ужасное несчастіе.

— Да, это *не счастіе!*

— Но какъ же это дѣлается? Я, напримѣръ, совсѣмъ не понимаю, какъ это размѣняться, стать мельче, чѣмъ я есть?

— Очень просто, Дорушка. Употребляя вашу метафору, одинъ человѣкъ самъ боится раскутиться на весь капиталъ, а другой и предлагалъ свою цѣлую золотую монету да взамѣнъ ея получилъ кое-что изъ мелочи, вотъ и пошла въ обоихъ случаяхъ въ оборотѣ одна мелочь, на которую ужъ нельзя вымѣнять снова цѣлой монеты; недостаетъ ужъ нѣсколькихъ пятиалтынныхъ.

— Какія у людей маленькія душонки! — сказала Даша съ презрительной гримаской.

— У кого же онѣ больше?

— Да *у никого*. Это-то и скверно, что ни у кого.

Даша задумалась и, помолчавъ, спросила:

— А вы, Несторъ Игнатьичъ, много набрали мелочишки въ сдачу?

— Есть бездѣлица.

— А зачѣмъ?

— Богъ его знаетъ, зачѣмъ? Да и тутъ ваша милая метафора не годится. Не руками берутъ эту, какъ мы сказали, сдачу; а сама она какъ-то послѣ оказывается. Есть поговорка, что всего сердца сразу не излюбишь.

— Ну, да.

Даша подумала и тихо проговорила:

— Я это понимаю. Мнѣ вотъ только непонятны эти лю маленькіе съ своими програмками. Счастья они не даю никому, а со всѣхъ все взыскиваютъ.

— Кому жъ они понятны?

— Какъ вы думаете: вѣдь я увѣрена, что это болѣе в глупая сентиментальность дѣлаетъ?

— И сентиментальность, пожалуй, а больше всего пре разсудки, разумъ съ дѣтства изуродованный, страхи пусты безволье, привычка цѣнить пустыя удобства, да и много многое другое.

— Да, разумъ съ дѣтства изуродованный—это особенн несчастіе.

— Огромное и почти всегда вѣчное.

— Вы какъ же думаете... Я знаю, что вы поступа не мастеръ, но я хочу знать, какъ вы думаете: нуж идти противъ *всѣхъ* предразсудковъ, противъ *всего*, ч несогласно съ моимъ разумомъ и съ моими понятіями жизни?

— На это, Дорушка, я полагаю, силъ человѣческихъ н достанетъ.

— Но какъ же быть?

— Самому только не подчиняться предразсудкамъ, обращать вниманія на людей и ихъ узкую мораль, стоя смѣло за свою свободу, потому что внѣ свободы нѣ счастья.

— А вамъ скажутъ, что жизнь дана не для счастья, для чего-то другого, для чего-то далекаго, неосязаемаго.

— Что жъ вамъ до этого? Пусть говорятъ. На погос живучи, всѣхъ не переплачешь, на свѣтѣ маясь, всѣхъ н переслушаешь. Въ томъ и вся штука, чтобы не спутатьс чтобы, какъ говорятъ, съ петлей не соскочить, не поте рять своей свободы, не просмотрѣть счастья, гдѣ оно есть и не искать его тамъ, гдѣ оно кому-то представляется.

— Да-съ, да: въ этомъ штука, въ этомъ штука!

— Мнѣ такъ кажется, а впрочемъ, можетъ-быть, я неправъ.

— Нѣтъ, я чувствую, что это правда. Скажите, пожа луйста, вамъ все это не мѣшаетъ жить на свѣтѣ?

— Что̀ такое?.. Путаница-то эта?

— Путаница-то.

— Ну, какъ вамъ сказать?

— Да такъ: чувствуете вы, напримѣръ, себя свободнымъ отъ всѣхъ предразсудковъ?

— Теперь я чувствую себя очень свободнымъ.

— А прежде?

— Да и прежде. Впрочемъ, я, по какимъ-то счастливымъ случайностямъ, давно пріучилъ себя смотрѣть на многое по-своему; но только именно все мнѣ какъ-то очень неспокойно было, жилось очень дурно.

— Вы очень много любили людей?

— Да, меня учили любить людей, и я, точно, очень любилъ ихъ.

— А теперь?

— Вы знаете, что я зла никому не дѣлаю или, по крайней мѣрѣ, стараюсь его не дѣлать.

— Только ужъ не привязываетесь къ людямъ?

— Я люблю человѣчество.

— Какъ мнѣ надоѣла эта петербургская фраза! Такъ говорятъ тѣ, которые ровно никого и ничего не любятъ; а вы не такой человѣкъ. Вы мнѣ скажите, какая разница въ вашихъ теперешнихъ чувствахъ къ людямъ съ тѣми чувствами, которыя жили въ васъ прежде?

— Близкихъ людей у меня нѣтъ.

— Совсѣмъ?

— Кромѣ Анны и васъ.

— А прежнія привязанности?

— Растоптали ихъ, теперь онѣ засыпались.

— А мать?

— Я ее очень люблю, но вѣдь ея нѣтъ на свѣтѣ.

— Но вы ее все-таки любите?

— Очень. Моя мать была женщина святая. Такихъ женщинъ мало на свѣтѣ.

— Разскажите мнѣ, голубчикъ Несторъ Игнатьичъ, что-нибудь про вашу матушку,—попросила Дора, быстро приподнявшись на локоть и ласково смотря въ глаза Долинскому.

— Долго вамъ разсказывать, Дорушка.

— Нѣтъ, разскажите.

Долинскій хотѣлъ очертить свою мать и свое дѣтское житье въ Кіевскомъ Печерскѣ въ двухъ словахъ, но, увле-

каясь, началъ описывать самыя мелочныя подробности этого житья съ такою полнотою и ясностью, что передъ Дорой проходила вся его жизнь; ей казалось, что, лежа здѣсь въ Ниццѣ, на берегу моря, она слышитъ изъ-за синихъ ниццскихъ скалъ мелодическій гулъ колоколовъ Печерской лавры и видитъ живую Ульяну Петровну, у которой никто не можетъ ничего украсть, потому что всякій, не крадучи, можетъ взять у нея все, что̀ ему нужно.

— Какой вы художникъ! Какъ хорошо вы все это разсказываете!—перебивала она не разъ Долинскаго.

И выслушавъ, какъ Долинскій, вдохновившійся воспоминаніемъ о своей матери, говорилъ въ заключеніе:

— У насъ въ домѣ не знали, что̀ такое попрёкъ, или ссора; намъ не твердили, что отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ, а учили, что всякое неправое стяжаніе—прахъ; намъ никогда не говорили: «наживай да сберегай», а говорили: «отдавай, помогай, не ропщи и вѣруй, что сколько тебѣ чего нужно, столько для тебя есть на свѣтѣ».

Дорушка воскликнула:

— Какое прелестное, какое завидное дѣтство! Вы не будете ревновать меня, если я стану любить вашу мать такъ же, какъ вы?

Долинскій, молча, пожалъ руку Доры.

— Вы знаете,—продолжалъ онъ, увлекаясь:—люди восторгаются «Галубомъ»; въ немъ видѣли идеалъ; по поводу его написаны лучшія статьи о нравственно-развитомъ человѣкѣ, а Тазитъ только не столкнулъ врага, убійцу брата! Сердце не позволило. А моя мать? Эта святая душа, которая не только не могла столкнуть врага, но у которой *не могло быть врага*, потому что она впередъ своей христіанской индульгенціей простила все людямъ, она не вдохновитъ никого, и могила ея, я думаю, до сихъ поръ разрыта и сравнена, и сынъ ея вспоминаетъ о ней разъ въ цѣлые годы; даже черненькое поминанье, въ которое она записывала всѣхъ и въ которое я когда-то записывалъ моею дѣтскою рукою ея имя — и оно гдѣ-то пропало тамъ, въ Москвѣ, и еще, можетъ-быть, не разъ служило предметомъ шутокъ и насмѣшекъ... Господи, какія у насъ бываютъ женщины! Сколько добра и правды! Какое высокое пониманіе истины сердцемъ! Моя мать, напримѣръ, едва

умѣвшая писать имена въ своемъ поминаньѣ, и этотъ Шпандорчукъ или Вырвичъ...

— Зачѣмъ вы ихъ троихъ вспоминаете вмѣстѣ?—произнесла чуть слышно, отворачиваясь въ сторону, Дора. Слезы обильнымъ ручьемъ текли у нея по обѣимъ щекамъ.

— А я, ея дитя, вскормленное ея грудью, выученное ею чтить добро, любить, молиться за враговъ — что̀ я такое?.. Поэзію, искусства, жизнь какъ будто понимаю, а понимаю ли себя? Зачѣмъ нѣтъ мира въ костяхъ моихъ? Что̀ я, наконецъ, такое? Вырвичъ и Шпандорчукъ по всему лучше меня.

— Вы лучше ихъ, — произнесла скороговоркою, не оборачиваясь, Дора.

— Они могутъ быть полезнѣе меня.

— Вы всегда будете полезнѣе ихъ, — опять такъ же спѣшно оторвала Дора.

— Вы знаете... вотъ мы вѣдь друзья, а я, впрочемъ, никогда и вамъ не открывалъ такъ мою душу. Вы думаете, что я только слабъ волею... нѣтъ! Во мнѣ еще сидитъ какой-то червякъ! Мнѣ все скучно; я все какъ будто не на своемъ мѣстѣ; все мнѣ кажется... что я сдѣлаю что-то дурное, преступное, чего никогда-никогда нельзя будетъ поправить.

— Что жъ это такое? — спросила, медленно поворачиваясь къ нему лицомъ, Дора.

— Не знаю. Я все боюсь чего-то. Я просто чувствую, что у меня впереди есть какое-то ужасное несчастіе. Ахъ, мнѣ не надо жить съ людьми! Мнѣ не надо встрѣчаться съ ними! Это все, что̀ какъ-нибудь улыбается мнѣ, этого всего не будетъ. Я не умѣю жить. Все это, что̀ есть въ мірѣ хорошаго, это все не для меня.

— Васъ любятъ.

— И изъ этого ничего не будетъ, — отвѣчалъ, покачавъ головою, Долинскій.—Я вѣрю въ мои предчувствія.

— А они говорятъ?

— Что что-то близится страшное; что что-то такое мое до меня близится; что этотъ врагъ мой...

— Близокъ?

— Да. Мать моя предчувствовала свою смерть, я предчувствую свою погибель.

— Не говорите этого!—сказала строго Дора.

— Пусть только бы скорѣе, истома хуже смерти.

— Не говорите этого! Слышите! Не говорите этого пр мнѣ!—сердито крикнула, вся измѣнившись въ лицѣ, Дор и, окинувъ Долинскаго грознымъ, величественнымъ взгл домъ, прошептала:—*пророкъ!*

Ни одинъ трагикъ въ мірѣ не могъ бы передать это страшнаго, разлетѣвшагося надъ моремъ шопота Доры. Он истинно была и грозна, и величественна въ эту минуту.

— Зато, — началъ Долинскій, когда Дора, пройдясь н сколько разъ взадъ и впередъ по берегу, снова сѣла в свое мѣсто:—кончается мое незабвенное дѣтство и съ ним кончается все хорошее.

— Да... ну, продолжайте: какова была, напримѣръ, лю бовь вашей жены въ началѣ хотя?—разспрашивала, силяс успокоиться, Дора.

— А кто ее знаетъ, что̀ это была за любовь? Я толь одно знаю, что это было что-то небезкорыстное.

— Не понимаю.

— Ну, и слава Богу.

— Нѣтъ, вы разскажите это.

— Говорю вамъ, что безкорыстья не было въ это любви. Не знаете, какъ любятъ, какъ арендную статью?

— Все *по праву* требуютъ, а не по сердцу.

— Ну, вотъ вы и понимаете!

— А братъ вашъ?

— Я его очень любилъ, но мы какъ-то отвыкли друг отъ друга.

— Зачѣмъ же? зачѣмъ же отвыкать?

— Разъѣхались, разбросало насъ по̀ разнымъ мѣстам

— Какъ будто мѣста̀ могутъ разорвать любовь?

— Поддержать ее не умѣли.

— Это дурно.

— Да, хорошаго ничего нѣтъ.

— Кто же это: вы ему перестали писать, или онъ вам

— Нѣтъ, онъ.

— А вы ему писали?

— Писалъ долго, а потомъ и я пересталъ.

Дорушка задумалась.

— Ну, а сестра?—спросила она послѣ короткой паузы

— Сестра моя?.. Богъ ее знаетъ! говорятъ, такъ себѣ барыня...

— По «правиламъ» живетъ,—смѣясь сказала Даша.

— По «правиламъ»,—смѣясь же отвѣчалъ Долинскій.

— Эгоистка она?

— Нѣтъ.

— А что же?

— Я вамъ сказалъ: барыня.

— Добрая?

— Такъ... не злая.

— Не злая и не добрая?

— Не злая и не добрая.

— Господи! въ самомъ дѣлѣ, съ какою вы обстановкой жили послѣ матери! Страшно просто.

— Теперь все это прошло, Дорушка. Теперь я живу съ хорошими людьми. Вотъ, Анна Михайловна—хорошій человѣкъ; вы—золотой человѣкъ.

— Анна—хорошій, а я—золотой! что же лучше: золотой, или хорошій?

— Обѣ вы хорошіе человѣки.

— Значитъ, «обѣ лучше». А которую вы больше любите?

— Васъ, конечно.

— Ну—то-то.

Они разсмѣялись и, наговорившись до-сыта, пошли домой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Любовь до слезъ горючихъ.

Тихое однообразіе ниццской жизни Доры и ея спутника продолжалось ненарушимое ничѣмъ ни съ одной стороны, но при всемъ этомъ оно не было тѣмъ утомительнымъ semper idem, при которомъ всякое чувство и всякое душевное настроеніе способно переходить въ скуку. Одинъ недавно умершій русскій писатель, владѣвшій умомъ обаятельной глубины и свѣтлости, человѣкъ, увлекавшійся безмѣрно и соединявшій въ себѣ крайнюю необузданность страстей съ голубиною кротостью духа, восторженно утверждалъ, что для людей живыхъ, для людей *съ искрой Божіей* нѣтъ semper idem, и что такіе, живые люди, оставленные самимъ себѣ, никогда другъ для друга не исчерпываются и не теряютъ великаго жизненнаго интереса; остаются другъ для друга вѣчно, такъ сказать, недочитанною любопытною книгою. Отъ слова до слова я помнилъ всегда оригинальныя, полныя самаго горячаго поэтическаго вдохновенія рѣчи

этого человѣка, хлеставшія бурными потоками въ спорѣ всѣмъ извѣстной старенькой книжкѣ Saint Pierre «Paul et Virginie», и теперь, когда исторія событій доводитъ меня до этой главы романа, въ ушахъ моихъ снова звучатъ эти пылкія рѣчи смѣлаго адвоката за право духа и человѣка, снова начинаетъ мнѣ представляться недочитанною книгою.

Дорушка и слышать не хотѣла ни о какихъ знакомствахъ и ни о какихъ разнообразіяхъ. Когда Долинскій случайно познакомился гдѣ-то въ café съ братомъ Вѣры Александровны Онучиной, Кирилломъ, и когда Кириллъ Александровичъ сдѣлалъ Долинскому визитъ и потомъ еще навѣстилъ его два или три раза, Дорушка не то что дулась, не то чтобы тяготилась этимъ знакомствомъ, но точно какъ будто боялась его, тревожилась, находила себя въ какомъ-то неловкомъ, непрямомъ положеніи. А Кириллъ Онучинъ не былъ совсѣмъ же непріятный аристократъ, ни демократическій фатъ, ни левъ, ни франтъ дурного тона. Это былъ человѣкъ самый скромный и вообще типъ у насъ довольно рѣдкій. По происхожденію, состоянію, а равно по тонкости и бѣлизнѣ кожи, сквозь которую видно было, какъ благородная кровь переливается въ тоненькихъ, голубыхъ жилкахъ его висковъ, Кириллъ Онучинъ былъ аристократъ, но ни одного аристократическаго стремленія, ни одного исключительнаго порока и недостатка, свойственнаго большинству нашихъ русскихъ патриціевъ, въ Кириллѣ Онучинѣ не было и запаха, и тѣни. Въ собственной семьѣ онъ былъ очень милымъ и любимымъ лицомъ, но лицомъ-таки ровно ничего незначащимъ; въ обществѣ, съ которымъ водилась его мать и сестра, онъ значилъ еще менѣе.

— Кириллъ Онучинъ?.. Да какъ бы это вамъ сказать, что̀ такое Кириллъ Онучинъ?—отвѣчалъ вамъ, разводя врозь руками, всякій, у кого бы вы ни вздумали освѣдомиться объ этомъ экземплярѣ.

Въ существѣ же длинный и кротчайшій Кириллъ Александровичъ былъ страстный ученый, любившій науку для науки, а жизнь свою какъ средство знать и учиться. Онъ почти всегда или читалъ, или писалъ, или что-нибудь препарировалъ. Въ жизни онъ былъ самый милый невѣжда, но въ ботаникѣ, химіи и сравнительной анатоміи—знатокъ великій. Скромнѣйшимъ образомъ возился онъ съ листочками да корешочками, и никому рѣшительно не была из-

вѣстна мѣра его обширныхъ знаній естественныхъ наукъ; но когда Орсини бросилъ свои бомбы подъ карету Наполеона III, а во всѣхъ кружкахъ затолковали объ этихъ ужасныхъ бомбахъ и недоумѣвали, что̀ это за составъ былъ въ этихъ бомбахъ, Кириллъ Александровичъ одинъ разъ вызвалъ потихоньку въ садъ свою сестру, сталъ съ ней подъ окномъ каменнаго грота, показалъ крошечную, черненькую грушку, величиною въ маленькій женскій наперстокъ и, загнувъ руку, бросилъ этотъ шарикъ на полъ грота. Страшный взрывъ потрясъ не только всѣ стѣны грота, но и земляную, заросшую дерномъ насыпь, которая покрывала его старинные своды.

— Вотъ видишь, только это въ крошечномъ размѣрѣ, а то, вѣрно, въ большомъ,—разсказывалъ Кириллъ Александровичъ перепуганной его опытомъ сестрѣ, и никому болѣе не говорилъ объ этомъ ни одного слова.

Этотъ смирный человѣкъ рѣшительно не могъ ничѣмъ произвесть въ Дорѣ дурное впечатлѣніе, но она, очевидно, просто-на-просто не хотѣла никакихъ знакомствъ. Ей просто не хотѣлось имѣть передъ глазами и на слуху ничего способнаго каждую минуту напомнить о Россіи, съ воспоминаніемъ о которой связывалось кое-что другое, смутное, но тяжелое, о которомъ лучше всего не хотѣлось думать.

Не давая ярко проявляться своему неудовольствію за это новое знакомство съ Онучиными, Дора выбила этотъ клинъ другимъ клиномъ: замѣнила знакомство Онучиныхъ знакомствомъ съ дочерью молочной сестры madame Бюжаръ, прехорошенькою Жервезой. Эта Жервеза была очень милая женщина съ добрымъ, живымъ французскимъ лицомъ, покрытымъ постоянно сильнымъ загаромъ, придававшимъ живымъ и тонкимъ чертамъ еще бо̀льшую свѣжесть. Ей было около двадцати-двухъ лѣтъ, но она уже имѣла пятилѣтняго сына, котораго звали Пьеро, и второго, грудного, Жона. Мужъ Жервезы, прехорошенькій парискъ, щеголявшій всегда чистенькою рубашкой, яркимъ галстукомъ и кокетливой курткой, былъ огородникъ. У нихъ былъ свой очень маленькій крестьянскій домикъ, въ трехъ или четырехъ верстахъ отъ города. Домикъ этотъ стоялъ на краю одной узенькой деревенской дорожки при зеленой долинѣ, съ которой несло вѣчной свѣжестью. Жервеза и Генрихъ (ея мужъ) были собственники. Собственность ихъ состояла изъ

того домика, съ крошечнымъ дворикомъ, крошечнымъ о[illegible]го-
водцемъ грядъ въ десять или пятнадцать и огороженным[illegible]мъ
лужкомъ съ русскую тридцатную десятину. Это было н[illegible]а-
слѣдственное богатство сиротки Жервезы, которое она пр[illegible]и-
несла съ собою своему молоденькому мужу. Потомъ у них[illegible]ъ
на этомъ лужкѣ гуляли четыре очень хорошенькія коров[illegible]ы,
на дворѣ стояла маленькая желтенькая телѣжка съ крас[illegible]с-
ными колесами и небольшая, лапоухая мышастая лошадка[illegible]а,
болѣе похожая на осла, чѣмъ на лошадь. Если прибавим[illegible]ъ
къ этому еще десятка полтора куръ, то получимъ совер[illegible]о-
шенно полное и обстоятельное понятіе о богатствѣ *молоч[illegible]-
ной красавицы,* какъ называли Жервезу горожане, кото[illegible]о-
рымъ она аккуратно каждое утро привозила на своей мы[illegible]-
шастой лошаденкѣ молоко отъ своихъ коровъ и яйца от[illegible]ъ
своихъ куръ. Мужъ Жервезы бывалъ цѣлый день дома[illegible]а
только въ воскресенье. Въ простые дни онъ обыкновенно[illegible]о
вставалъ съ зарею, запрягалъ женѣ лошадь и съ зеленою[illegible]ю
шерстяною сумою за плечами уходилъ до вечера работать[illegible]ъ
на чужихъ, большихъ огородахъ. Жервеза въ эту же пору[illegible]у
усаживалась между кувшинами и корзинами въ свою кро-
шечную телѣжку и катила на своей лапоушкѣ въ нѣжа-
щійся еще во снѣ городъ. Старшій сынъ ея обыкновенно
оставался дома съ мужниной сестрою, десятилѣтнею дѣвоч-
кой Аделиной, а младшаго она всегда брала съ собою, и
ребенокъ или сладко спалъ, убаюкиваемый тихою тряскою
телѣжки, или при всей красотѣ природы съ аппетитомъ
сосалъ материно молоко, хлопалъ ее полненькой рученкой
по смуглой груди и улыбался, зазирая изъ-подъ косынки
на черные глаза своей кормилицы.

Эта Жервеза каждый день являлась къ madame Бюжаръ,
и, оставивъ у нея ребенка, отправлялась развозить свои
продукты, а потомъ заѣзжала къ ней снова, выпивала ста-
канъ кофе, брала ребенка и съ купленнымъ для супу ку-
скомъ мяса спѣшила домой. Дорушка нѣсколько разъ ви-
дѣла у madame Бюжаръ Жервезу, и *молочная красавица*
ей необыкновенно нравилась.

— Это Маріи,—говорила она Долинскому:—а не мы,
Мароы, кажется, только и стоящія одного упрека... Можетъ-
быть, только мы и выслужимъ за свое мароунство.

— Опять новое слово,—замѣтилъ весело Долинскій:—то
разъ было *комонничать,* а теперь *мароунствовать.*

— Всякое слово хорошо, голубчикъ мой, Несторъ Игнатьичъ, если оно выражаетъ то, что хочется имъ выразить. Академія наукъ не знаетъ всѣхъ словъ, которыя нужны,—отвѣчала ласково Дора.

Быстро и сильно увлекаясь своими симпатіями, Дора совсѣмъ полюбила Жервезу, вспоминала о ней очень часто и говорила, что она отдыхаетъ съ нею духомъ и не можетъ на нее налюбоваться.

Въ то время, когда съ Долинскимъ познакомился Кириллъ Онучинъ, у Жервезы случилось горе: мужъ ея, впервые послѣ шести лѣтъ, уѣхалъ на какую-то очень выгодную работу на два, или на три мѣсяца, и Жервеза очень плакала и грустила.

— Онъ у меня такой недурненькій, такой ласковый, а я одна остаюсь,—наивно жаловалась она теткѣ Бюжаръ и Дорушкѣ.

— Ай, ай, ай, ай!—говорила ей, качая сѣдою головою, старушка Бюжаръ.

— Ну, да! хорошо вамъ разсуждать-то,—отвѣчала печально, обтирая слезы, Жервеза.

Горе этой женщины было, въ самомъ дѣлѣ, такое граціозное, поэтическое и милое, что и жаль ее было, и все-таки нельзя было не любоваться самымъ этимъ горемъ. Дорушка перемѣнила мѣсто прогулокъ и стала навѣщать Жервезу. Когда они пришли къ «молочной красавицѣ» въ первый разъ, Жервеза ужинала съ сыномъ и мужниной сестренкой. Она очень обрадовалась Долинскому и Дорѣ; краснѣла, не знала какъ ихъ посадить и чѣмъ угостить.

— Милочка, душечка Жервеза, и ничего больше,—успокоивала ее Дора.—Совершенно французская идиллія изъ повѣсти или романа,—говорила она, выходя съ Долинскимъ за калитку дворика: — благородная крестьянка, коровки, дѣти, куры, молоко и лужайка. Какъ странно! Какъ глупо и пошло мнѣ это представлялось въ описаніяхъ, и какъ это хорошо, какъ спокойно ото всего этого на самомъ дѣлѣ. Жервеза, возьмите, милая, меня жить къ себѣ.

— Oh, mademoiselle, какъ это можно! Мы не умѣемъ служить вамъ; у насъ... тѣсно, безпокойно,—увѣряла «молочная красавица».

— А вотъ, mademoiselle Дора думаетъ, что у васъ-то именно очень спокойно.

— Oh, non, monsieur! Коровы, куры утромъ кричатъ, дѣти плачутъ; мой Генрихъ тоже встаетъ такъ рано и начинаетъ рубить дрова, да нарочно будитъ меня своими пѣснями.

— Но теперь вашъ Генрихъ не рубитъ вамъ дровъ и не поетъ своихъ пѣсенъ?

— Да, теперь онъ, бѣдный, не поетъ тамъ своихъ пѣсенокъ.

— А, можетъ-быть, и поетъ,—пошутила Дора.

— Поетъ! Ахъ, нѣтъ, не поетъ онъ. Вы вѣдь не знаете, mademoiselle, какъ онъ меня любитъ: онъ такой недурненькій и всегда хочетъ цѣловать меня... Я просто, когда только вздумаю, кто ему тамъ чиститъ его бѣлье, кто ему починитъ, если разорвется его платье, и мнѣ такъ хочется плакать, мнѣ дѣлается такъ грустно... когда я только подумаю, что...

— Кто-нибудь другой тамъ вычиститъ его бѣлье и его поцѣлуетъ?

— Mademoiselle! зачѣмъ вы мнѣ это говорите? — произнесла, блѣднѣя, «молочная красавица», и кружка заходила въ ея дрожащей рукѣ. — Вы знаете что-нибудь, mademoiselle?—спросила она, дѣлая шагъ къ Дорѣ и быстро вперяя въ нее полные слезъ и страха глаза.

— Что вы! что вы, бѣдная Жервеза! Успокойтесь, другъ мой, я пошутила, — говорила встревоженная Дора, вставая и цѣлуя крестьянку.

— Честное слово, что вы пошутили?

— Даю вамъ честное слово, что я пошутила и что я, напротивъ, увѣрена, что Генрихъ любитъ васъ и ни за что вамъ не измѣнитъ.

— Увѣренъ въ этомъ, mademoiselle, никто не можетъ быть, но я лучше хочу сомнѣваться, но... вы никогда, mademoiselle, такъ не шутите. Вы знаете, я завтра оставлю дѣтей и хозяйство, и пойду сейчасъ, возьму его назадъ оттуда, если я что-нибудь узнаю.

— Однако, какъ плохо шутить-то! — проговорила по-русски Дора, когда Жервеза успокоилась и начала высказывать свои взгляды.

— Вѣдь я ему вѣрна, mademoiselle Дора, я ему совсѣмъ вѣрна; я противъ него даже помысломъ не виновата, и я люблю его, потому что онъ у меня такой недурненькій и

ласковый, и потомъ вѣдь мы же съ нимъ, mademoiselle, вѣнчались; онъ не долженъ сдѣлать противъ меня ничего дурного. Прекрасно еще было бы! Нѣтъ, если я тебя люблю, такъ ты это знай и помни, и помни, и помни, — говорила она, развеселясь и цѣлуя за каждымъ словомъ своего ребенка. — Вы вѣдь знаете, мы шесть лѣтъ женаты, и мы никогда, рѣшительно никогда не ссорились съ моимъ Генрихомъ.

— Это рѣдкое счастье, Жервеза.

— Ахъ, правда, mademoiselle, что рѣдкое! Мы оба съ Генрихомъ такіе... какъ бы вамъ сказать? Мы оба всегда умно ведемъ себя: мы цѣлый день работаемъ, а ужъ зато, когда онъ приходитъ домой, mademoiselle, мы совсѣмъ сумасшедшіе; мы все цѣлуемся, все цѣлуемся.

Дора и Долинскій оба весело разсмѣялись.

— Ахъ, pardon, monsieur, что я это при васъ разсказываю!

— Пожалуйста, говорите, Жервеза; это такъ рѣдко удается слышать про счастье.

— Да, это правда, а мы съ Генрихомъ совсѣмъ сумасшедшіе: какъ я ему только отворяю вечеромъ дверь, я схожу съ ума и онъ тоже.

— А что̀ вы думаете, Жервеза, объ этомъ господинѣ? *Недурненькій* онъ или нѣтъ? — говорила Дора, прощаясь и указывая Жервезѣ на Долинскаго.

«Молочная красавица» посмотрѣла на Нестора Игнатьича, который былъ безъ сравненія лучше ея Генриха, и улыбнулась.

— Что̀ же?—переспросила ее Дора.

— Генрихъ лучше всего міра! — отвѣчала ей на ухо Жервеза.—Онъ такъ меня цѣлуетъ,—шептала она скороговоркой:—что у меня голова такъ кружится, кружится-кружится, и я ничего не помню послѣ.

На первой полуверстѣ отъ дома молочной красавицы Дорушка остановилась разъ шесть и принималась весело хохотать, вспоминая наивную откровенность своей Маріи.

— Да-съ, однако, шутить-то съ вашей Маріей не очень легко: за ухо приведетъ и скажетъ: нѣтъ, *ты мой мужъ;* помни это, голубчикъ!—говорилъ Долинскій.

— Ну, да, да, это очень наивно; но вѣдь она на это право имѣетъ: видите, она зато вся живетъ для мужа и въ мужѣ.

— Вы это оправдываете?

— Извиняю. Если бы Жервеза была не такая женщина, какая она есть; если бы она любила въ мужѣ самоё себя, а не его, тогда это, разумѣется, было бы неизвинительно; но когда женщина любитъ истинно, тогда ей должно прощать, что она смотритъ на любимаго человѣка какъ на свою собственность, и не хочетъ потерять его.

— А если она ревнуетъ, лежа какъ собака на сѣнѣ?

— Тогда она собака на сѣнѣ.

— Видите,—начала, подходя къ городу, Дора: — почему я вотъ и назвала такихъ женщинъ Маріями, а насъ—многорѣчивыми Марѳами. Какъ это все у нея просто и все выходитъ изъ одного *люблю*.—Почему *люблю?* — Потому, что онъ такой недурненькій и ласковый. А совсѣмъ нѣтъ! Она любитъ потому, что *любитъ его*, а не себя, и потомъ все ужъ это у нея такъ прямо идетъ — и преданность ему, и забота о немъ, и боязнь за него, а у насъ пойдетъ марѳунство: какъ? да что? да, можетъ-быть, иначе нужно? И пойдутъ эти надутыя лица, супленье, скитанье по угламъ, доказыванье характера, и прощай счастье. Люби просто, такъ все и пойдетъ просто изъ любви, а начнутъ вотъ этакъ пещися и молвить о многомъ — и все пойдетъ, какъ ключъ ко дну.

— Правда въ вашихъ словахъ чувствуется великая и, конечно, *внутренняя* правда, а не логическая и, сталобыть, самая вѣрная; но вѣдь вотъ какая тутъ исторія: думаешь о любви какъ-то такъ хорошо, что какъ ни повстрѣчаешься съ нею, все обыкновенно не узнаешь ее... все она бѣднѣе чѣмъ-то. И опять хочется *настоящей любви*, такой, какая мечтается, а настоящая любовь...

— Есть любовь Жервезъ,—подсказала Дора.

— Любовь Жервезъ? Я не корю ее, но почемъ вы знаете, чего здѣсь болѣе — любви, или привязанности и страсти, или убѣжденія, что все это такъ быть должно. Охъ, настоящая любовь — большое дѣло! Она скромна, она молчитъ... Нѣтъ, настоящая любовь... нѣтъ ея, кажется, нигдѣ даже.

Дорушка тихо повернулась лицомъ къ Долинскому.

— Настоящая любовь,—сказала она: — вѣрно тамъ, гдѣ нѣтъ насъ?

— Можетъ-быть.

— И гдѣ мы не были, пожалуй?

— Да это будетъ одно и то же.

— Ай, ай, ай, на какихъ вещахъ вы даете ловить себя, Долинскій! — протянула Дора и дернула за звонокъ у воротъ своего дома.

— Вы, кажется, вчера вывели изъ нашего разговора какое-то новое заключеніе? — спрашивалъ ее на другой день Несторъ Игнатьичъ.

— Новое!.. никакого,—отвѣчала, улыбнувшись, Дора.

Дней черезъ пять Дора снова вздумала идти къ Жервезѣ. Проходя мимо одной лавки, они накупили для дѣтей фруктовъ, конфетъ, лентъ для старшей дѣвочки, кушакъ для самой молочной красавицы и вышли съ большимъ бумажнымъ конвертомъ за городъ.

Не нужно много трудиться надъ описаніемъ этихъ сиверозовыхъ вечеровъ береговыхъ мѣстъ Средиземнаго моря: ни Айвазовскаго кисть, ни самое художественное перо все-таки не передаютъ ихъ вѣрно. Вечеръ былъ божественный, и Дора съ Долинскимъ не замѣтили, какъ дошли до домика молочной красавицы.

Когда Долинскій нагнулся, чтобы сбить угломъ платка пыль, насѣвшую на его лакированный ботинокъ, изъ раствореннаго низенькаго и очень широкаго окна послышалось какое-то очень стройное пѣніе: женскій, довольно слабый контральтъ и дѣтскіе, неровные дисканты.

Дорушка приподняла платье, тихонечко подошла къ окну и остановилась за густымъ кустомъ, по которому сплошною сѣтью ползли синіе усы винограда; Долинскій такъ же тихо послѣдовалъ за Дорою и остановился у ея плеча.

— Тсс! — произнесла чуть слышно Дора и, не оборачиваясь къ Долинскому, погрозила ему пальцемъ.

Чистенькая бѣлая комната молочной красавицы была облита нѣжнымъ краснымъ свѣтомъ только-что окунувшагося въ море горячаго солнца; старый орѣховый комодъ, закрытый бѣлой салфеткой; молящійся бронзовый купидонъ и грустный ликъ Мадонны, съ сердцемъ, пронзеннымъ семью мечами—все смотрѣло необыкновенно тихо, нѣжно и серьезно. Изъ комнаты не слышно было ни звука. Черезъ верхнія вѣтки куста Долинскій увидалъ Жервезу. Молочная красавица въ яркомъ спензерѣ и высокомъ бѣломъ чепцѣ стояла на колѣняхъ. На локтѣ лѣваго рукава ея бѣлой рубашки

ставляется мнѣ теперь этотъ домъ?—проговорила она, оборачиваясь и протягивая въ воздухѣ руку къ домику Жервезы.—Это горящая купина, къ которой не должны подходить наши хитрыя ноги.

— Стопы лукавыхъ.

— Да, стопы лукавыхъ. Сдѣлайте милость, не пробуйте опять нигилистничать: совсѣмъ вѣдь не къ лицу вамъ эти лица.

— Они только будутъ удивляться, откуда взялся мѣшокъ, который вы имъ положили.

— Не будутъ удивляться: это Богъ прислалъ дѣтямъ за ихъ хорошія молитвы.

— И прислалъ черезъ лучшаго изъ своихъ земныхъ ангеловъ.

— Вы такъ думаете?

— Удивительная вы дѣвушка, Дора! Кажется, нѣжнѣе и лучше васъ, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ женскаго существа на свѣтѣ.

— Тутъ одна, — сказала Дора, снова остановясь и указывая на исчезающій за холмомъ домикъ Жервезы: — а вонъ тамъ другая, — добавила она, бросивъ рукою по направленію на сѣверъ. — Вы, пожалуйста, никогда не называйте меня доброю. Это значитъ, что вы меня совсѣмъ не знаете. Какая у меня доброта?—ну, какая? Что меня любятъ, а я не кусаюсь, такъ въ этомъ доброты нѣтъ; послѣ этого вы, пожалуй, и о себѣ способны возмечтать, что и вы даже добрый человѣкъ.

— А развѣ же я, Дарья Михайловна, въ самомъ дѣлѣ, по-вашему, злой человѣкъ?

— Эхъ, да что, Несторъ Игнатьичъ, въ такой нашей добротѣ проку-то! Вонъ Анина, или Жервезина доброта — такъ это доброта: всѣмъ около нихъ хорошо, а наша съ вами доброта, это... вотъ именно художественная-то доброта: впечатлительность, порывы. Вы вѣдь не знаете, какое у меня порочное сердце и до чего я бываю иногда зла въ душѣ. Вотъ не далѣе, какъ... когда это мы были первый разъ у Жервезы?.. ухъ, какъ я тогда была зла на васъ! И что это, въ самомъ дѣлѣ, вамъ тогда пришло въ голову увѣрять меня, что это не любовь, а привязанность одна и какія-то тамъ глупыя страсти.

— Мнѣ такъ показалось.

— Врете! все врете, и опять начинаете сердить меня. Охъ, да какъ я васъ знаю, Несторъ Игнатьичъ! Если бы я замѣтила, что меня кто-нибудь такъ знаетъ и насквозь видитъ, какъ я васъ, я бы... просто ушла отъ такого человѣка на край свѣта. Вы мнѣ это тогда говорили вотъ почему: потому что безхарактерность у васъ, должно-быть, простирается иногда такъ далеко, что даже, будучи хорошимъ человѣкомъ, вы вдругъ надумаете: а ну-ка, я понигилистничаю! — можетъ-быть, это правильнѣй? И я только не хотѣла вамъ говорить этого, а ужасно вы мнѣ были противны въ тотъ вечеръ.

— Даже противенъ?

— Даже гадки, если хотите. Что это такое? первое дѣло—оскорблять ни за что, ни про что любовь женщины, а потомъ чѣмъ же вы сами-то были?—Шпандорчукъ какой-то, не то Вырвичъ—обезьянка петербургская.

— Вотъ то-то оно и есть, Дарья Михайловна, что судъ-то людской—не Божій: всегда въ немъ много ошибокъ, — отвѣчалъ спокойно Долинскій. — Совсѣмъ я не обезьянка петербургская, а худъ ли, хорошъ ли, да ужъ такой, какимъ меня Богъ зародилъ. Вамъ угодно, чтобы я оправдывался—извольте! Знаете ли вы, Дарья Михайловна, все, о чемъ я думаю?

— Конечно, не знаю.

— Совершенная правда, и потому, стало-быть, не знаете, до чего и какъ я иногда додумываюсь. Я не нигилистничалъ, Дарья Михайловна, когда выразилъ ошибочное мнѣніе о любви Жервезы, а вотъ какъ это было: очень давно мнѣ начинаетъ казаться, что все, что я считалъ когда-нибудь любовью, есть совсѣмъ не любовь; что любовь... это совсѣмъ не то будетъ, и я на этомъ пунктѣ, если вамъ угодно, сбился съ толку. Я все припоминаю, какъ это случалось, хоть и со мною даже... идетъ, идетъ будто вотъ совсѣмъ и любовь, а потомъ вдругъ — кракъ, смотришь — все какое-то такое вялое, сухое, и чувствуешь, что нѣтъ, что это совсѣмъ не любовь, и я думаю, что нѣтъ, ну, вотъ нѣтъ любви. Тутъ совсѣмъ не за что на меня сердиться. Развѣ въ томъ только моя вина, что не отучусь именно изъ себя-то сто разъ все мотать, да перематывать, а ужъ въ обезьянничествѣ я не виноватъ. Помилуйте, мнѣ вотъ очень даже часто приходитъ въ голову, какъ люди уми-

раютъ? Какъ это послѣдняя минута?.. вотъ вдругъ есть, и нѣту... Бываютъ минуты, когда я никакъ этого вообразить себѣ не могу, и отчего, откуда приходятъ эти страшныя минуты? — этого никакъ не подстережешь. Вы помните, какъ я одинъ разъ въ Петербургѣ уронилъ стѣнные часы въ мастерской и поймалъ ихъ за два какихъ-нибудь вершка отъ полу?

Дорушка кивнула утвердительно головою.

— Ловокъ!—подумалъ я себѣ тогда, а вотъ какъ-то ты увернешься отъ смерти? пошло ходить у меня въ головѣ; вотъ-вотъ-вотъ схватиться бы за что-нибудь, и не схватишься. И что жъ вы скажете? — я до такой степени все это выматывалъ, что серьезно, ясно и сознательно сталъ ощущать, что я ужъ когда-то что-то такое ловилъ и не поймалъ, и умеръ, и опять живу. Умретъ кто-нибудь—мнѣ сейчасъ опять какой-то этакій блѣдный шаръ представляется; ловишь его, и вдругъ—бацъ! не поймалъ, умеръ и сейчасъ что-то мнѣ въ этомъ знакомое есть, что я ужъ это пережилъ... Я *увѣренъ* въ этомъ, наконецъ, бываю! Такъ не осуждайте же меня, пожалуйста, за Жервезу; я, право, больной человѣкъ; мнѣ въ тотъ день такъ казалось, что нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ никакой любви, а, право, это не обезьянничество.

— Ну, хорошо, ну, пусть вамъ эта вина прощается за ваши недуги; но нынче-съ!.. позвольте васъ искренно, по душѣ, по совѣсти просить отвѣтить: чего вы стояли этакимъ рыцаремъ и таращили на меня глаза, когда мнѣ захотѣлось помолиться съ Жервезой?

— Я таращился! — нисколько. Я просто смотрѣлъ на васъ, потому что мнѣ пріятно было смотрѣть на васъ, потому что вы необыкновенно какъ хороши были у этого куста на колѣняхъ.

— Пожалуйста, пожалуйста, Несторъ Игнатьичъ! Знаю я васъ. Я знаю, что я хороша, и вы мнѣ этимъ не польстите. И вы тоже вѣдь очень... этакій интересный Наль, тоскующій о Дамаянти, а, однако, я чувствовала, что тамъ было нужно молиться, и я молилась, а вы... Снялъ шляпу и сейчасъ же сконфузился и сталъ соглядатаемъ, ммм! ненавистный, нерѣшительный человѣкъ! Отчего вы не молились?

— Ахъ, Дарья Михайловна, какой вы ребенокъ! Ну,

развѣ можно задавать такіе вопросы? Вѣдь на это вамъ только Шпандорчукъ съ Вырвичемъ и отвѣтили бы, потому что у тѣхъ ужъ все это впередъ рѣшено.

— А у васъ, мой милый, ничего не рѣшено?

— По крайней мѣрѣ, очень многое.—Да вы, пожалуйста, не думайте, что рѣшимость это ужъ такая высокая добродѣтель, что все остальное передъ нею прахъ и суета. Рѣшимостью самою твердою часто обладаютъ и злодѣи, и глупцы, и всякіе, весьма непостоянные, люди.

— И герои.

— Да, и герои, но героевъ вѣдь немного на свѣтѣ, а односторонних людей, способныхъ рѣшать себѣ все наоболмашь, гораздо больше. Вы вотъ теперь даете мнѣ вопросъ, касающійся такого предмета, котораго обнять-то, уразумѣть-то нѣтъ силы, и хотите, чтобы я такъ вотъ все и рѣшилъ въ немъ. Вы знаете моего дядю? Его не одна Москва, а вся Русь знаетъ. Это не былъ профессоръ-хлыщъ, профессоръ-чиновникъ, или профессоръ-фанфаронъ, а это былъ настоящій, комплектный ученый и человѣкъ, а я вамъ о немъ разскажу вотъ какой анекдотъ: былъ у него въ Москвѣ при домѣ садъ — старый, густой, прекрасный садъ. Дядя работалъ тамъ лѣтомъ почти по цѣлымъ днямъ: подсаживалъ тамъ деревца, колеровалъ, и разныя, знаете, такія штуки дѣлалъ. Я спалъ въ этомъ саду въ бесѣдкѣ. Только одинъ разъ какъ-то очень рано я проснулся. Дѣло было передъ послѣднимъ моимъ экзаменомъ. Я сѣлъ на порожкѣ и читаю; вдругъ, вижу я, за куртиной, дядя стоитъ въ своемъ бѣломъ парусинномъ халатѣ на колѣняхъ и жарко молится: подниметъ къ небу руки, плачетъ, упадетъ въ траву лицомъ, и опять молится, молится безъ конца. Я очень любилъ дядю и очень ему вѣрилъ и вѣрю. Когда онъ пересталъ молиться и началъ что-то вертѣть около какого-то прививка, я всталъ съ порожка и подошелъ къ нему. На дворѣ было самое раннее утро и, кромѣ насъ да птицъ, въ саду никого не было. Не помню, какъ мы тамъ съ нимъ о чемъ начали разговаривать, только знаю, что я тогда и спросилъ его, что какъ онъ, занимаясь до старости науками историческими, естественными и богословскими, до чего дошелъ, до какой степени уяснилъ себѣ изъ этихъ наукъ вопросъ о божествѣ, о душѣ, о твореніи? Напоминаю вамъ, что утро было самое раннее, изъ-за

каменныхъ стѣнъ въ большомъ саду насъ никто не могъ ни видѣть, ни слышать, развѣ кромѣ птичекъ, которыя порхали по деревьямъ. Такъ старикъ-то мой-съ нѣсколько разъ оглянулся во всѣ стороны, сложилъ вотъ такъ трубочкою свои руки, да вотъ такъ поднесъ ихъ къ моему уху и чуть слышно шепнулъ мнѣ:

«— Ни до чего не дошелъ.

Говорю ему:

«— А какъ же вы относитесь... называю, знаете, ему двѣ крайнія-то партіи.

«— Какъ отношусь?—говоритъ.

И опять нагнулся къ моему уху и шепнулъ:

«— Не вѣрю ни тѣмъ, ни другимъ.

— Такъ вотъ вамъ, Дарья Михайловна, какъ высокія и честныя-то души относятся къ подобнымъ вопросамъ: боятся, чтобы птицу небесную не ввести въ напрасное сомнѣніе, а вы меня спрашиваете о такихъ вещахъ, да еще самаго рѣшительнаго отвѣта у меня о нихъ требуете. Можно сомнѣваться, можно надѣяться, но *утверждать*... О, Боже мой, сколько у людей бываетъ странной смѣлости! Я, дѣйствительно, человѣкъ очень нерѣшительный, но не думайте, что это у меня отъ трусости. Чего же мнѣ бояться? У меня только всегда какъ-то вдругъ всѣ стороны вопроса становятся передъ глазами, и я въ нихъ путаюсь, сбиваюсь и дѣлаю Богъ знаетъ что̀, Богъ-знаетъ что̀! Ахъ, это самое худшее состояніе, которое я знаю; это хуже дня передъ казнью, потому что все *дни передъ казнью*. Перестанемте объ этомъ говорить, Дарья Михайловна, а то вонъ опять насъ птица слушаетъ.

Долинскій сдѣлалъ шагъ впередъ и поднялъ съ пыльной дороги небольшую сѣрую птичку, за ножку которой волокся пукъ завялой полевой травы и не давалъ ей ни хода, ни полета. Дорушка взяла изъ рукъ Долинскаго птичку, сѣла на дернистый край дорожки и стала распутывать сбившуюся траву. Птичка съ сомлѣвшей ножкой тихо лежала на бѣлой рукѣ Доры и смотрѣла на нее своими круглыми черными глазками.

— Какъ бьется ея бѣдное сердечко!—проговорила Дора, шевеля мелкія перышки пташки и глядя въ розовый пушокъ подъ ея крылышками.

— Милая!—сказала она, поцѣловавъ птичку въ головку

приложила ее къ своей шейкѣ и пошла къ городу. Минуть десять они шли въ совершенномъ молчаніи; на дворѣ совсѣмъ сырѣло; Дорушка принималась нѣсколько разъ все страстнѣе и страстнѣе цѣловать свою птичку. Дойдя до стараго, большого капитана, она поцѣловала ее еще разъ, бережно посадила на вѣтку и подала руку Долинскому.

— Несторъ Игнатьичъ,—сказала она ему, идучи по пустой улицѣ: — знаете, чтобъ вамъ разстаться съ вашими *днями передъ казнью*, вамъ остается одно—найти себѣ *любовь до слезъ*.

— Полноте шутить, Дарья Михайловна, я ничего не желаю находить и не умѣю находить.

— А вотъ птицъ же на дорогахъ находите. Это тоже вѣдь не всякому случается.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Повтореніе задовъ.

У Жервезы Дора и Долинскій болѣе не были, прогулки ихъ снова ограничивались холмомъ надъ заливомъ.

Всякій вечеръ они сидѣли на этомъ холмикѣ и всякій вечеръ имъ было такъ хорошо и пріятно.

Какъ ни коротки были между собой Дора и Долинскій, но эти вызываемые Дорою разсказы о прошломъ, раскрывая передъ нею еще подробнѣе внутренній міръ разсказчика, давали ея отношеніямъ къ нему новый, нѣсколько еще болѣе интимный характеръ.

— Послушайте, Несторъ Игнатьичъ!—сказала разъ Даша, положивъ ему на плечо свою руку:—разскажите мнѣ, мой милый, какъ вы любили и какъ васъ любили?

— Богъ знаетъ что̀ это вы выдумываете, Дора?

— Такъ разскажите. Мнѣ очень хочется найти ключъ вашей душевной болѣзни.

— Забылъ ужъ я, какъ я любилъ.

— Э! врете!

— Право, забылъ.

— Забвенья нѣтъ.

— Кто-жъ это вамъ сказалъ, что забвенья нѣтъ?

— Я вамъ это говорю.

Несторъ Игнатьичъ молчалъ и Даша молчала, и дулась.

— Ну, перестаньте дуть свои губки, Дора! Что̀ вамъ разсказать?

— Какъ вы любили первый разъ въ жизни.

Долинскій разсказалъ свою почти дѣтскую любовь къ какой-то кіевской кузинѣ. Дора слушала его, не сводя глазъ и когда онъ окончилъ, вздохнула и спросила:

— Ну, а какъ вы любили на законномъ основаніи?

Долинскій разсказалъ ей въ главныхъ чертахъ и всю свою женатую жизнь.

— Какая гадость!—прошептала Даша и, вздохнувъ еще разъ, спросила:

— Ну, а дальше что̀ было?

— А дальше вы все знаете.

— Вы грустили?

— Да.

— Встрѣтились съ нами?

— Да.

— И счастливы?

— И счастливъ.

Даша задумчиво покачала головкой.

— Что̀?—спросилъ ее Долинскій.

— Такъ, ключъ найденъ!—чуть слышно уронила Дора.— А какъ вы думаете,—начала она, помолчавши съ минуту:— вѣрно это такъ вообще, что хорошаго нельзя не полюбить?

— Что̀ хорошее? Есть польская пословица, что не то хорошо, что̀—хорошо, а то хорошо, что̀ кому нравится.

— Я вамъ говорю, что *хорошаго* нельзя не любить; ну, пожалуй, того, что̀ нравится.

— Къ чему же вы это говорите?

— Ни къ чему! къ тому, что если встрѣчается что-нибудь очень хорошее, такъ его возьмешь да и полюбишь, ну, понимаете, что ли?

— Да...

— Да, я думаю, что *да*.

Произошла пауза, въ теченіе которой Даша все думала, глядя въ небо, и потомъ сказала:

— Знаете что, Несторъ Игнатьичъ? Мнѣ кажется, что наши сравненія сердца съ монетой—никуда не годятся.

— Я это ужъ вамъ говорилъ.

— Съ чѣмъ же его сравнить?

— Много есть этихъ сравненій, и всѣ они никуда не годятся.

— Ну, а, напримѣръ, съ чѣмъ можно еще сравнить сердце?

— Съ постоялымъ дворомъ,—смѣясь, отвѣчалъ Долинскій
— Гадко, а похоже, пожалуй.
— А, пожалуй, и непохоже,—отвѣчалъ Долинскій.
— Одинъ постоялецъ выѣдетъ, другому есть мѣсто.
— А другой разъ и пустой дворъ простоитъ.
— Нѣтъ, и это не годится. Не вѣрю я, не вѣрю, чтобы можно было жить безъ привязанности.
— Бываетъ, однако.
— Вы помните эти нѣмецкіе, кажется, стихи...
— Какіе?
— Ну, знаете, какъ это тамъ: Юпитеръ посылалъ Меркурія отыскать никогда не любившихъ женщинъ?
— Я даже этого никогда не читалъ.
— Что-жъ, Меркурій отыскалъ?
— То-то вотъ и есть; а я это читала.
— *Трехъ!*
— Только-то?
— Да-съ, и эти три, знаете, кто были? *Три фуріи!*— протяжно произнесла Даша, поднявъ вверхъ пальчикъ.
— Вѣдь это только написано.
— Да, но я этому вѣрю, и очень боюсь этакого фуріознаго сообщества.
— Вы съ какой же это стати?
— А если Юпитеру послѣ моей смерти вздумается еще разъ послать Меркурія и онъ найдетъ ужъ четырехъ.
— Еще полюбите и какъ полюбите.
— Нѣтъ ужъ, кажется, поздно.
— Любить никогда не поздно.
— Вотъ за это вы умникъ! Люди жадны ужъ очень. Счастье не во времени. Можно быть немножко счастливымъ, и на всю жизнь довольно. Правда моя?
— Конечно, правда.
— Какое у насъ образцовое согласіе!
— Не о чемъ спорить, когда говорятъ правду.
— А вѣдь я бы могла очень сильно любить.
— Кто-жъ вамъ мѣшаетъ? Разборчивы очень.
— Нѣтъ, совсѣмъ не то. По-моему, любить, значитъ... *любить*, однимъ словомъ. Не героя, не рыцаря, а просто любить, кто по душѣ, кто по сердцу — кто не по хорошу милъ, а по милу хорошъ.
— Ну-съ, я опять спрошу: за чѣмъ же дѣло стало?

— А если «законы осуждаютъ предметъ моей любви»?— улыбаясь, продекламировала Даша.

— Но, кто—о, сердце! можетъ противиться тебѣ?—отвѣчалъ Несторъ Игнатьичъ, продолжая речитативомъ начатую Дашею пѣсню.

— Помните, какъ это сказано у Лермонтова:

Но сердцу какъ ума не соблазнить?
И какъ любви стыда не побѣдить?
Любовь, для неба и земли—святыня,
И только для людей порокъ она!

То скотство, то трусость... бѣдное ты человѣчество! Бѣдный ты царь земли въ своихъ вѣчныхъ оковахъ!

— Вы сегодня, Дорушка, все возвышаетесь до паѳоса, до поэзіи.

— Несторъ Игнатьичъ! прошу не забываться! Я никогда не унижалась до прозы

— Виноватъ.

— То-то.

Даша замолчала и, немного подождавши, сказала:

— Ну, смотрите, какія штучки наплетены на бѣломъ свѣтѣ! Вотъ я сейчасъ бранила людей за трусость, которая имъ мѣшаетъ взять свою, такъ сказать, долю радостей и счастья, а теперь сама вижу, что и я совсѣмъ не права. Есть вѣдь такія положенія, Несторъ Игнатьичъ, передъ которыми и храбрецъ струситъ.

— Напримѣръ, что-жъ это такое?

— А вотъ, напримѣръ, состраданіе, укоръ совѣсти за чужое несчастье, за чужія слезы.

— Скажите-ка немножко пояснѣе.

— Да что-жъ тутъ яснѣе? Мало ли что̀ случается! Ну, вдругъ, положимъ, полюбишь человѣка, котораго любитъ другая женщина, для которой потерять этого человѣка будетъ смерть... да что̀ смерть! Не смерть, а му̀ка, понимаете—му̀ка съ платкомъ во рту. Что̀ тогда дѣлать?

— На это мудрено отвѣчать.

— Я думаю, одинъ отвѣтъ: страдать.

— Да, если тотъ, кого вы полюбите, въ свою очередь, не любитъ васъ больше той женщины, которую онъ любилъ прежде.

— А если онъ меня любитъ больше?

— Такъ тогда какой же резонъ дѣлать общее несчастье!

Вѣдь если, положимъ, вы любите какое-нибудь А и это А взаимно любитъ васъ, хотя оно тамъ прежде любило какое-то Б. Ну-съ, теперь, если вы знаете, что это А своего Б больше не любитъ, то зачѣмъ же вамъ отказываться отъ его любви и не любить его самой. Ужъ вѣдь все равно, не отошлете его обратно, куда его не тянетъ. Простой расчетъ: пусть лучше двое любятъ другъ друга, чѣмъ трое разойдутся.

Даша долго думала.

— Въ самомъ дѣлѣ, — отвѣчала она: — въ самомъ дѣлѣ, это такъ. Какъ это странно! Люди называютъ безумствомъ то, что̀ даже можно по пальцамъ высчитать и доказать, что это разумно.

— Люди умныхъ людей въ сумасшедшіе дома сажали и на кострахъ жгли, а послѣ черезъ сто лѣтъ памятники имъ ставили. У людей, что̀ сегодня ложь, то завтра можетъ быть истиной.

— Какой вы у меня бываете умникъ, Несторъ Игнатьичъ! Какъ я люблю вашу способность просто разъяснять вещи! Если бъ вы давно были со мной, какъ бы много я знала!

— Я, Дарья Михайловна, не принимаю это на свой счетъ. Я знаю одно то, что я ничего не знаю, а суда людского такъ просто-таки терпѣть не могу. Не вѣрю ему.

— Да, говорите-ка: не знаете! Нѣтъ, большое спасибо вамъ, что вы со мной поѣхали. Здѣсь васъ у меня никто не отнимаетъ: ни Анна, ни газета, ни Илья Макарычъ. Тутъ вы мой крѣпостной. Правда?

— Да, ужъ если вы сказали такъ, то, разумѣется — правда. Иначе жъ вѣдь быть не можетъ! — отвѣчалъ, шутя, Долинскій.

— Ну, да, еще бы! Конечно, такъ, — отвѣчала живо и торопясь Дора и сейчасъ же добавила: — а вотъ, хотите, я вамъ задамъ одинъ такой вопросъ, на который вы мнѣ, пожалуй, и не отвѣтите?

— Это еще, Дарья Михайловна, будетъ видно.

— Только смотрите мнѣ прямо въ глаза. Я хочу видѣть, что̀ вы подумаете, прежде чѣмъ скажете.

— Извольте.

— А что...

— Что?

— Эхъ, нетерпѣніе! Ну, отгадывайте, что̀?

— Не магъ и не волшебникъ.

— Что, если бъ я сказала вамъ вдругъ самую ужа
вещь?

— Не удивился бы ни крошки.

Даша серьезно сдвинула брови и тихо проговорила:

— Нѣтъ, я прошу васъ не шутить, а говорить со
серьезно. Смотрите на меня прямо!

Она пронзительно уставила свои глаза въ глаза До
скаго и медленно съ разстановками произнесла:

— Ч-т-о, е-с-л-и б-ы я в-а-с-ъ п-о-л-ю-б-и-л-а?

Долинскій вздрогнулъ и, быстро выпустивъ изъ своей
ручку Даши, отвѣтилъ смущеннымъ голосомъ:

— Виноватъ, проспорилъ. Можно, дѣйствительно,
читься, что такого вздора ни за что не выдумаешь,
вы иногда скажете.

Даша тоже смутилась. Она просто испугалась движ
сдѣланнаго Долинскимъ, и, принявъ свою руку, сказал

— Чего вы! Я вѣдь такъ говорю, что вздумается.

Она была очень встревожена и проговорила эти
какъ обыкновенно говорятъ люди, вдругъ спохватясь,
они сдѣлали самый опрометчивый вопросъ.

— Пойдемте домой. Мы сегодня засидѣлись; сыро теп
сказалъ нѣсколько сухимъ, гувернерскимъ тономъ,
отвѣта, Долинскій.

Даша встала и пошла молча. Дорогою они не
другъ другу ни слова.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Съ другой стороны.

— Покажите мнѣ ваши башмаки, — началъ
Игнатьичъ, когда, возвратясь, они присѣли на м
своемъ зальцѣ.

— Это зачѣмъ?—спросила серьезно Даша.

— Покажите.

Даша нетерпѣливо сняла ногою башмакъ съ
и, не сказавъ ни слова, выбросила его изъ-п
Тонкій лѣтній башмакъ былъ сырехонекъ. Дол
нулъ на подошву, взялъ шляпу и вышелъ
Дора успѣла его о чемъ-нибудь спросить.

Съ выходомъ Долинскаго она не перемѣн

ни положенія и, опустивъ глаза, тихо посмотрѣла на свои покоившіяся на колѣняхъ ручки.

Прошло около четверти часа, прежде чѣмъ Долинскій вернулся съ склянкой спирта и ласково сказалъ:

— Ложитесь спать, Даша.

— Что это вы принесли?

— Спиртъ. Я его сейчасъ согрѣю, а вы имъ вытрите себѣ ноги.

— Для чего это?

— Такъ. Потому вытрите, что это такъ нужно.

— Да чего вы боитесь?

— Самой простой штуки, вашего милаго здоровья.

— Господи! Въ какомъ все строгомъ чинѣ! — сказала, презрительно подернувъ плечами, Дора, слегка вспыхнула и, сдѣлавъ недовольную гримаску, пошла въ свою комнату.

Долинскій присѣлъ къ столику съ какимъ-то особеннымъ тщаніемъ и серьезностью, согрѣлъ на кофейной конфоркѣ спиртъ, смѣшалъ его съ уксусомъ, попробовалъ эту смѣсь на языкъ и постучался въ Дашины двери. Отвѣта не было. Онъ постучался въ другой разъ—отвѣта тоже нѣтъ.

— Даша?—кликнулъ онъ:—Дора! Дорушка!

За дверями послышался звонкій хохотъ. Долинскій подумалъ, что съ Дашей истерика, и отворилъ ея двери. Дорушка была въ постели. Укутавшись по самую шею одѣяломъ, она весело смѣялась надъ тревогою Долинскаго.

Долинскій надулся.

— Разотрите себѣ ноги,—сказалъ онъ, подавая ей согрѣтый имъ спиртъ.

— Не стану.

— Дорушка!

— Не стану, не стану и не стану! Не хочу! ну, вотъ не хочу!

И она опять разсмѣялась.

Долинскій поставилъ чашку со спиртомъ на столикъ у кровати и пошелъ къ двери; но тотчасъ же вернулся снова.

— Дорушка! ну, прошу васъ ради-Бога, ради вашей сестры, не дурачьтесь!

— А вы не смѣйте дуться.

— Да я вовсе не дулся.

— Дулись.

— Ну, простите, Дора, только растирайте скорѣе свои ноги—не остылъ бы спиртъ.

— Попросите хорошенько.

— Я васъ прошу.

— На колѣни станьте.

— Дорушка, не мучьте меня.

— А-га! «не мучьте меня», — произнесла Даша, передразнивая Нестора Игнатьича, и протянула къ нему сложенную горстью руку.

Долинскій наливалъ Дашѣ на руку спиртъ, а она растирала себѣ подъ одѣяломъ ноги и морщилась, говоря:

— Какую вы это скверность купили.

— Гдѣ у васъ шерстяные чулки? — спросилъ Долинскій.

— Нѣтъ у меня шерстяныхъ чулокъ.

— Господи! да что вы, въ самомъ дѣлѣ, дитя пятилѣтнее, что ли?—воскликнулъ съ досадою Долинскій.

— Въ комодѣ вонъ тамъ, — сухо отвѣчала на прежній вопросъ Дора.

Долинскій взялъ ключи и рылся, отыскивая чулки.

— Точно нянька! и то самая гадкая, надоѣдливая,—говорила, смѣясь и глядя на него, Даша.

Долинскій досталъ также изъ комода пушистый плэдъ и одѣлъ имъ ноги Доры.

— Еще чего не найдете ли! — спросила она, продолжая надъ нимъ подтрунивать.

— Вы не храбритесь, — отвѣчалъ Долинскій: — а лучше спите хорошенько,—и пошелъ къ двери.

— Несторъ Игнатьичъ!—крикнула Даша.

— Что̀ вамъ угодно?

— Что жъ это за невѣжество?

— Что̀ такое?

— Ужъ вы нынче не прощаетесь со мной?

— Виноватъ. Вы, право, такъ безпощадно тревожите меня вашими сумасбродствами, Дора.

— А вы все это ото всѣхъ пощады вымаливаете?

— Ну, пожалуйте же вашу ручку.

— Не надо,—отвѣчала Даша и обернулась къ стѣнѣ.

— И тутъ капризъ.

— Вездѣ, да, вездѣ капризъ! на каждомъ шагу будетъ капризъ—потому, что вы мнѣ совсѣмъ надоѣли съ своимъ гувернерствомъ.

Ночь Даша провела очень спокойно, сны только ей странные все снились; а Долинскій не ложился вовсе. Онъ нѣсколько разъ подходилъ ночью къ Дашиной комнатѣ и все слушалъ, какъ она дышитъ. Утромъ Даша чувствовала себя хорошо; написала сестрѣ письмо, въ которомъ подтрунивала она надъ безпокойствомъ Долинскаго, и нарисовала съ краю письма карикатурку, изображающую его въ повязкѣ, какія носятъ русскія няньки. Но къ вечеру она почувствовала необыкновенную усталость и легла въ постель ранѣе обыкновеннаго. Ночью спала не спокойно, а къ утру начала покашливать. Долинскій страшно перепугался этого кашля и побѣжалъ за докторомъ. Докторъ нашелъ вообще, что у Даши очень незначительная простуда, но что кашель— очень неблагопріятная вещь при ея здоровьѣ; прописалъ ей лѣкарство и уѣхалъ. Днемъ Даша была покойна, но все сушилась и упорно молчала, а къ вечеру у нея появился жаръ. Даша сдѣлалась говорлива и тревожна. То она, какъ любознательный ребенокъ, приставала къ Долинскому съ самыми обыкновенными и незначащими вопросами; требовала у него разъясненія самыхъ простыхъ, конечно, ей самой хорошо извѣстныхъ вещей; то вдругъ рѣзко перемѣняла тонъ и начинала придираться и говорить съ нимъ свысока.

— Вы на меня не сердитесь, голубчикъ, Несторъ Игнатьичъ, что я капризничаю? — спрашивала она Долинскаго.

— Нисколько.

— Отчего жъ вы нисколько на меня не сердитесь?

— Да такъ, не сержусь.

— Да вѣдь я несносно, должно-быть, капризничаю?

— Ну, что жъ дѣлать?

— Я бы не вытерпѣла, если бы кто такъ со мною капризничалъ.

— На то вы женщина.

Дорушка помолчала съ минуту и, кусая губки, проговорила глухимъ голосомъ:

— Очень вы всѣ много знаете о женщинахъ!

— Нѣкоторые знаютъ довольно.

— Никто ничего не знаетъ,—отвѣчала Дора, рѣзко и съ сердцемъ.

— Ну, прекрасно, ну, никто ничего не знаетъ, только не сердитесь, пожалуйста.

— Вотъ! Стану я еще сердиться! — продолжала вспыльчиво Дора.—Мнѣ нечего сердиться. Я знаю, что всѣ врутъ, и только. Тотъ такъ, тотъ этакъ, а умнаго слова ни одинъ не скажетъ.

— Это правда,—отвѣчалъ примирительно Долинскій.

— Правда! А если я скажу, что я сестра луны и дочь солнца. Это тоже будетъ правда?

Даша повернулась къ стѣнѣ и замолчала.

Долинскій пригласилъ-было ночевать къ ней m-me Бежаръ, но Даша въ десять часовъ отпустила старуху, сказавъ, что ей надоѣла французская пустая болтовня. Долинскій не противорѣчилъ. Онъ сѣлъ въ кресло у двери Дашиной комнаты и читалъ, безпрестанно поднимая голову отъ книги и прислушиваясь къ каждому движенію больной.

— Несторъ Игнатьичъ!—тихо покликала его Даша, часу во второмъ ночи.

Онъ всталъ и подошелъ къ ней.

— Вы еще не спали?—спросила она.

— Нѣтъ, я еще читалъ.

— Который часъ?

— Около двухъ часовъ, кажется.

Даша покачала головой и съ ласковымъ упрекомъ сказала:

— Зачѣмъ вы себя попусту морите?

— Я зачитался немножко.

— Что же вы читали?

— Такъ, пустяки.

— Охота-жъ читать пустяки! Садитесь лучше здѣсь на кресло возлѣ меня; по крайней мѣрѣ будемъ скучать вмѣстѣ.

Долинскій молча сѣлъ на кресло.

— Я все сны какіе-то видѣла,—начала, зѣвнувъ, Даша.— Петербургъ, Анну, васъ, и вдругъ скучно что-то сдѣлалось.

— Скоро вернемся, Дорушка; не скучайте.

Даша промолчала.

— Дайте мнѣ вашу руку, — сказала она, когда Долинскій сѣлъ на кресло у ея изголовья. — Вотъ такъ веселѣе все-таки; а то страшно какъ-то, какъ будто въ могилѣ я, никого близкаго нѣтъ со мной.

— Вы хандрите, Дорушка.

— А хандра развѣ не страданье?

— Ну, разумѣется, страданье.

— То-то. Это вѣдь люди все повыдумывали: вымышлен-

ное горе, ложный страхъ, ложный стыдъ; а кому горько, или кому стыдно, такъ все равно, что отъ ложнаго, что отъ настоящаго горя—все равно. Кто знаетъ, что у кого ложное?—философствовала Даша и уснула, держа Долинскаго за руку. Такъ она проспала до утра, а онъ не спалъ опять и много передумалъ. Передъ нимъ прошла снова вся его разбитая жизнь, предъ нимъ стояла тихая, кроткая Анна, передъ которою онъ благоговѣлъ, возлѣ которой онъ успокоился, ожилъ, какъ бы вновь на свѣтъ народился. А теперь Даша. Ея странные намеки, ея порывы, которыхъ она не можетъ сдержать, или... не хочетъ даже сдерживать! Потомъ ему казалось, что Даша всегда была такая, что она просто, по обыкновенію своему, шалитъ, играетъ своими странными вопросами, и ничего болѣе. Думалъ онъ уѣхать и нашелъ, что это было бы очень странно и даже просто невозможно, пока Даша еще не совсѣмъ укрѣпилась.

Утромъ у Даши былъ легонькій кашель. День цѣлый она провела прекрасно и докторъ нашелъ, что здоровье ея пришло опять въ состояніе самое удовлетворительное. Съ вечера ей не спалось.

— Безсонница меня мучаетъ,—говорила она, метаясь по подушкѣ.

— Какая безсонница! Вы просто выспались днемъ,—отвѣчалъ Долинскій.—Хотите, я вамъ почитаю такую книгу, что сейчасъ уснете?

— Хочу,—отвѣчала Даша.

Долинскій принесъ утомительно скучный французскій формулярный списокъ Жюля Жерара.

— Покажите, — сказала Даша. Она взглянула на заглавіе и, улыбнувшись, проговорила: — львы — хорошія животныя—читайте.

Книга сдѣлала свое дѣло. Даша заснула. Долинскій положилъ книгу. Свѣча горѣла подъ зеленымъ абажуромъ и слабо освѣщала оригинальную головку Доры... «Боже! какъ она хороша»,—подумалъ Долинскій, а что-то подсказывало ему: «а какъ умна, какъ добра! Какъ честна и тебя любитъ!»

Сонъ одолѣвалъ Нестора Игнатьича. Три ночи, проведенныя имъ въ тревогѣ, утомили его. Долинскій не пошелъ въ свою комнату, боясь, что Дашѣ что-нибудь понадобится и она его не докличется. Онъ сѣлъ на коврикъ въ ногахъ

ся кровати и, прислонясь головою къ матрацу, заснулъ въ такомъ положеніи какъ убитый.

Къ утру Долинскаго начали тревожить странныя сновидѣнія: степь Сахàра жгучая, верблюды съ своими овечьими мордочками на журавлиныхъ шеяхъ, звѣриное рычаніе и щупленькій Жюль Жераръ съ сержантдевильской бородкой. Все это какъ-то такъ переставлялось, перетасовывалось, что ничего не выходитъ яснаго и опредѣленнаго. Вдругъ рѣка бѣжитъ, широкая, сердитая, на ея берегахъ лежатъ огромные крокодилы: «это, должно-быть, Нилъ», — думаетъ Долинскій. Издали показалась крошечная лодочка и кто-то поетъ:

Охъ, ты Днѣпръ ли мой широкій!
Ты кормилецъ нашъ родной!

На лодочкѣ двѣ человѣческія фигуры, покрытыя длинными бѣлыми вуалями.

— Плыветъ лодка, а въ ней два пассажира: котораго спасти, котораго утопить?—спрашиваетъ Долинскаго самый большой крокодилъ.

— Какая чепуха!—думаетъ Долинскій.

— Нѣтъ, любезный, это не чепуха, — говоритъ крокодилъ: — а ты выбирай, потому что мы съ тобой въ фанты играемъ.

— Ну, смотри же,—продолжаетъ крокодилъ:—разъ, два!

Онъ взмахнулъ хвостомъ, лодочка исчезла въ бѣлыхъ брызгахъ и на волнахъ показалась тонущая Анна Михайловна.

— Это мой фантъ, твой въ лодкѣ,—говоритъ чудовище.

Разсѣялись брызги, лодочка снова чуть качается на одномъ мѣстѣ и въ ней сидитъ Дора. Покрывало спало съ ея золотистой головки, лицо ея блѣдно, очи замкнуты: она мертвая.

— Это твой фантъ, — внятно говоритъ изъ берегового тростника крокодилъ, и всѣ крокодилы стонутъ, такъ жалобно стонутъ.

Долинскій проснулся. Было уже восемь часовъ. Прежде чѣмъ успѣлъ онъ поднять голову, онъ увидѣлъ предъ своимъ лицомъ лежавшую ручку Даши. «Непріятный сонъ»,— подумалъ Долинскій, и съ особымъ удовольствіемъ посмотрѣлъ на ручку Доры, облитую слабымъ свѣтомъ, проходив-

шимъ сквозь шелковую зеленую занавѣску окна. Привставъ, онъ тихонько наклонился и поцѣловалъ эту руку, какъ цѣловалъ ее часто по праву дружбы, и вдругъ ему показалось, что этотъ поцѣлуй былъ чѣмъ-то совсѣмъ инымъ. Нестору Игнатьевичу почудилось, что Дашина рука, привыкшая къ его поцѣлуямъ, на этотъ разъ какъ будто вздрогнула и отдернулась отъ его устъ. Онъ посмотрѣлъ на Дашу; она лежала съ закрытыми глазами, и роскошные волосы, выбившись изъ-подъ упавшаго на подушку чепца, красною сѣтью раскинулись по бѣлой наволочкѣ. Долинскій тихонько приложилъ руку ко лбу Доры. Въ головѣ не было жара. Потомъ онъ хотѣлъ послушать, какъ она дышитъ, нагнулся къ ея лицу и почувствовалъ, что у него кружится голова и уста предательски клонятся къ устамъ.

Долинскій быстро отбросилъ свою голову отъ изголовья Доры и поспѣшно вышелъ за двери.

Если бъ оконная занавѣска не была опущена, то Долинскому не трудно было бы замѣтить, что Даша покраснѣла до ушей и на лицѣ ея мелькнула счастливая улыбка. Чуть только онъ вышелъ за двери, Дора быстро поднялась съ изголовья, взглянула на дверь и, еще разъ улыбнувшись, опять положила голову на подушку... Вмѣсто выступившаго на минуту по всему ея лицу яркаго румянца, оно вдругъ покрылось мертвою блѣдностью.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Умъ свое, а чортъ свое.

Даша къ обѣду встала. Она была смущена и избѣгала взглядовъ Долинскаго; онъ тоже мало глядѣлъ на нее и говорилъ немного.

— Мнѣ теперь совсѣмъ хорошо. Не ѣхать ли намъ въ Россію?—сказала она послѣ обѣда.

— Какъ хотите. Спросимте доктора.

Даша рѣшила въ своей головѣ ѣхать, каковъ бы ни былъ докторскій отвѣтъ, и чтобъ приготовить сестру къ своему скорому возвращенію, написала ей въ тотъ же день, что она совсѣмъ здорова. Гулять они вовсе эти дни не ходили и объявили m-me Бюжаръ, что черезъ недѣлю уѣзжаютъ изъ Ниццы. Даша то суетливо укладывалась, то вдругъ садилась надъ чемоданомъ и, положивъ одну вещь, смотрѣла

на нее безмолвно по цѣлымъ часамъ. Долинскій былъ гораздо покойнѣе и видно было, что онъ искренно радовался отъѣзду въ Петербургъ. Онъ страдалъ за себя, за Дашу и за Анну Михайловну.

«Тихо, спокойно все это надо выдержать, и все это пройдетъ,—разсуждалъ онъ, медленно расхаживая по своей комнаткѣ, въ ожиданіи Дашинаго вставанья. — А когда пройдетъ, то... Боже, гдѣ же это спокойное, хорошее чувство? Теперь спи, моя душа, снова, ничего теперь у тебя нѣтъ опять; а лгать я... не могу; не стану».

— Два дня всего намъ остается быть въ Ниццѣ,—сказала одинъ разъ Даша: — пойдемте сегодня, простимся съ нашимъ холмомъ и съ моремъ.

Долинскій согласился.

— Только надо раньше идти, чтобъ опять сырость не захватила,—сказалъ онъ.

— Пойдемте сейчасъ.

Былъ восьмой часъ вечера. Угасалъ день очень жаркій. Дорушка не надѣла шляпы, а только взяла зонтикъ, покрылась вуалью, и они пошли.

— Ну-съ, сядемте здѣсь, — сказала она, когда они пришли на мѣсто своихъ обыкновенныхъ надбережныхъ бесѣдъ.

Сѣли. Даша молчала и Долинскій тоже. Въ послѣдніе дни они какъ будто разучились говорить другъ съ другомъ.

— Жарко,—сказала Даша.—Солнце садится, а все жарко.

— Да, жарко.

И опять замолчали.

— Неба этого не забудешь.

— Хорошее небо.

— Положите мнѣ, пожалуйста, ваше пальто, я на немъ прилягу.

Долинскій бросилъ на траву свое пальто, Даша легла на немъ и стала глядѣть въ сапфирное небо.

Опять началось молчаніе. Даша, кажется, устала глядѣть вверхъ и небрежно играла своими волосами, съ которыхъ сняла сѣтку вмѣстѣ съ вуалью. Перекинувъ густую прядь волосъ черезъ свою ладонь, она смотрѣла сквозь нихъ на опускавшееся солнце. Красные лучи, пронизывая золотистые волосы Доры, дѣлали ихъ еще краснѣе.

— Смотрите,—сказала она, заслонивъ волосами лицо До

линскаго: — я, точно, какъ говорятъ наши дѣвушки: «халдей опаляющій». Надо жъ, чтобы у меня были такіе волосы, какихъ нѣтъ у добрыхъ людей. Вотъ если бы у васъ были такіе волосы, — прибавила она, приложивъ къ его виску прядь своихъ волосъ:—преуморительный былъ бы.

— Рыжій чортъ,— сказалъ, смѣясь, Долинскій.

Даша отбросила свои волосы отъ его лица и проговорила:

— Да вы-таки и чортъ какой-то.

Долинскій сидѣлъ смирнехонько и ничего не отвѣтилъ; Дора, молча, смотрѣла въ сторону и, рѣзко повернувшись лицомъ къ Долинскому, спросила:

— Несторъ Игнатьичъ! а что̀ вамъ говорятъ теперь ваши предчувствія? успокоились они, или нѣтъ?

— Это всегда остается однимъ и тѣмъ же.

— Ай, какъ это дурно!

— Что̀ это васъ такъ обходитъ?

— Да такъ, я тоже начинаю вѣрить въ предчувствія; боюсь за васъ, что вы, пожалуй, чего добраго, не доѣдете до Петербурга.

— Ну, этого-то, полагаю, не случится.

— Почемъ знать! Олегова змѣя дождалась его въ лошадиномъ черепѣ: такъ, можетъ-быть, и ваша откуда-нибудь вдругъ выползетъ.

— Буду уходить.

— Хорошо, какъ успѣете! Вы помните, какъ змѣи смотрятъ на зайцевъ? Тѣ, можетъ-быть, и хотѣли бы уйти, да не могутъ. — А скажите, пожалуйста, кстати: правда это, что зайца можно выучить барабанить?

— Правда; я самъ видѣлъ, какъ заяцъ барабанилъ.

— Будто! будто вы это сами видѣли!—спросила Дорушка съ явной насмѣшкой.

— Да, самъ видѣлъ, и это гораздо менѣе удивительно, чѣмъ то, что вы теперь безъ всякой причины злитесь и придираетесь.

— Нѣтъ, мнѣ только смѣшно, что вы меня такъ серьезно увѣряете, что зайцы могутъ бить на барабанѣ, тогда какъ я знаю зайца, который умѣлъ алгебру дѣлать. Ну-съ, чей же замѣчательнѣе? — окончила она, пристально взглянувъ на Долинскаго.

— Вашъ, безъ всякаго сомнѣнія, — отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Вы такъ думаете, или вы это навѣрно знаете?

— Дарья Михайловна, ну что̀ за смѣшной разговоръ такой между нами!

Даша страшно поблѣднѣла; глаза ея загорѣлись своимъ грознымъ блескомъ; она еще пристальнѣе вперила свой взглядъ въ глаза Долинскаго, и медленно, съ разстановкою за каждымъ словомъ, проговорила:

— Когда А любитъ Б, а Б любитъ С, и С любитъ Б, что этому С дѣлать?

У Долинскаго вдругъ похолонуло въ сердцѣ.

— Отвѣчайте же! Вѣдь, это вы мнѣ эту алгебру-то растолковали,—сказала еще болѣе сердито Дора.

Несторъ Игнатьевичъ совсѣмъ не зналъ, что̀ сказать.

«Вотъ оно! вотъ оно мое воспитаніе-то! Вотъ онъ мой характеръ-то! — Ничего не умѣю сдѣлать во̀-время; ни въ чемъ не могу найтись!» — размышлялъ онъ, ломая пальцы, но на выручку его не являлось никакой случайности, никакой счастливой мысли.

— А любитъ Д, и Д любитъ А! Б любитъ А, но А уже не любитъ этого Б, потому что онъ любитъ Д. Что̀ же теперь дѣлать? Что̀ теперь дѣлать?

Дора нервно дернулась и еще раздражительнѣе крикнула:

— Что, вы глухи, или глупы стали?

— Глупъ, вѣрно,—уронилъ Долинскій.

— Ну, такъ поймите же безъ обиняковъ: *я васъ люблю.*

— Дора!—вскрикнулъ Долинскій и закрылъ лицо руками.

— Слушай же далѣе,—продолжала серьезно Дора:—ты самъ меня любишь, и ее ты не будешь любить, ты не можешь ее любить, пока я живу на свѣтѣ!.. Чего жъ ты молчишь? Развѣ это сегодня только сдѣлалось! Мы страдаемъ всѣ трое—хочешь, будемъ счастливы двое? Ну...

Долинскій, не отрывая рукъ отъ глазъ, уныло качалъ головою.

— Я, вѣдь, видѣла, какъ ты хотѣлъ цѣловать мое лицо,— проговорила Дора, поворачивая къ себѣ за плечо Долинскаго,—ну, вотъ оно—цѣлуй его: *я люблю тебя.*

— Дора, Дора, что̀ вы со мной дѣлаете? — шепталъ Долинскій, еще крѣпче прижимая къ лицу свои ладони.

Дорушка не проронила ни слова, но Долинскій почувствовалъ на своихъ плечахъ обѣ ея руки и ея теплое дыханіе у своего лба.

— Дора, пощадите меня, пощадите! это выше силъ человѣческихъ,—выговорилъ, задыхаясь, Долинскій.

— Не зачѣмъ!—страстно произнесла Дора, и сильно оторвавъ руки Долинскаго, жарко поцѣловала его въ губы.

— Любишь? — спросила она, откинувъ немножко свою голову.

— Ну, будто вы не видите!—робко отвѣчалъ Долинскій, трепетно наклоняя свое лицо къ рукѣ Доры.

Даша тихонько отодвинула его отъ себя и, глядя ему прямо въ глаза, проговорила:

— А Аня?

Долинскій молчалъ.

— Долинскій, а что же Аня?

— Вы надо мной издѣваетесь, — проронилъ, блѣднѣя Долинскій.

— *Она тебя такъ любитъ...*

— О, Боже мой, какія злыя шутки!

— *А я люблю тебя еще больше*,—досказала Дора.—Я люблю тебя, какъ никто не любитъ на свѣтѣ; я люблю тебя, какъ сумасшедшая, какъ бѣшеная!

Дора неистово обхватила его голову и впилась въ него безконечнымъ поцѣлуемъ.

— Небо... небеса спускаются на землю! — шептала она, сгорая подъ поцѣлуями.

Лепетъ прерывалъ поцѣлуи, поцѣлуи прерывали лепетъ. Головы горѣли и туманились; сердца замирали въ сладкомъ томленьи, а песочные часы Сатурна пересыпались обыкновеннымъ порядкомъ и ночь раскинула надъ усталой землей свое прохладное одѣяло. Давно пора идти было домой.

— Боже, какъ уже поздно!—сказалъ Долинскій.

— Пойдемъ,—тихо отвѣчала Даша.

Они встали и пошли: Даша шла, облокачиваясь на руку Долинскаго; онъ шагалъ уныло и нерѣшительно.

— Постой!—сказала Даша.

— Что̀ вы хотите?

— Устала я. Ноги у меня гнутся.

Они постояли молча и еще тише пошли далѣе.

На землѣ была тихая ночь; въ бальзамическомъ воздухѣ носилось какое-то животворное вѣяніе и круглыя звѣзды миріадами смотрѣли съ темно-синяго неба. Съ надбереж

наго дерева неслышно снялись двѣ какія-то большія птицы, исчезли на мгновеніе въ черной тѣни скалы и рядомъ потянули надъ тихо колеблющимся заливцемъ, а въ открытое окно изъ ярко освѣщенной виллы бояръ Онучиныхъ неслись стройные звуки согласнаго дуэта.

M-me Бюжаръ на другой день долго ожидала, пока ее позовутъ постояльцы. Она нѣсколько разъ выглядывала изъ своего окна на окно Доры, но окно это, попрежнему, все оставалось задернутымъ густою зеленою занавѣскою.

Даша встала въ одиннадцать часовъ и одѣлась сама, не покликавъ m-me Бюжаръ вовсе. На Дорѣ было вчерашнее ея бѣлое кисейное платье, подпоясанное широкою коричневою лентою. Къ ней очень шелъ этотъ простой и легкій нарядъ.

Долинскій проснулся очень давно и упорно держался своей комнаты. Въ то время, когда Даша, одѣвшись, вышла въ зальце, онъ неподвижно сидѣлъ за столомъ, тяжело опустивъ голову на сложенныя руки. Красивое и блѣдное лицо его выражало совершенную душевную немощь и страшную тревогу.

— Гнусный я, гнусный и ничтожный человѣкъ!—повторилъ себѣ Долинскій, тоскливо и робко оглядываясь по комнатѣ.

«Боже! Кажется, я заболѣю, — подумалъ онъ нѣсколько радостнѣе, взглянувъ на свои трясущіяся отъ внутренней дрожи руки.—Боже! если бъ смерть! Если бъ не видѣть и не понимать ничего, что̀ такое дѣлается.»

Въ залѣ послышались легкіе шаги и тихій шорохъ Дашинаго платья.

Долинскій вздрогнулъ, какъ вздрагиваетъ человѣкъ, получающій въ грудь острый уколъ тонкой шпаги, поблѣднѣлъ какъ полотно и быстро вскочилъ на ноги. Глаза его остановились на двери съ выраженіемъ неописуемой мѝки, ужаса и мольбы.

Въ дверяхъ, тихо, какъ появляются фигуры въ зеркалѣ, появилась воздушная фигура Доры.

Даша спокойно остановилась на порогѣ и пристально посмотрѣла на Долинскаго. Лицо Доры было еще живѣе и прекраснѣе, чѣмъ обыкновенно.

Прошло нѣсколько секундъ молчанія.

— Поди же ко мнѣ!—позвала съ покойной улыбкой Дора.

— Я сейчасъ, — отвѣчалъ Долинскій, оправляясь и отодвигая ногою свое кресло.

. . . . . .

. . . . . .

Вечеромъ въ этотъ день Даша въ первый разъ была одна. Въ первый разъ за все время Долинскій оставилъ ее одну надолго. Онъ куда-то совершенно незамѣтно вышелъ изъ дома тотчасъ послѣ обѣда и запропастился. Спустился вечеръ и угасъ вечеръ, и темная, теплая и благоуханная ночь настала, и въ воздухѣ запахло спящими розами, а Долинскій все не возвращался. Дору это, впрочемъ, повидимому, совсѣмъ не безпокоило; она проходила часовъ до двѣнадцати по цвѣтнику, въ которомъ стоялъ домикъ, и потомъ пришла къ себѣ и легла въ постель.

Темная ночь эта застала Долинскаго далеко отъ дома, но въ совершенной физической безопасности. Онъ очень далеко забрелъ скалистымъ берегомъ моря и, стоя надъ обрывомъ, какъ береговой воронъ, остро смотрѣлъ въ черную даль и добивался у рокочущаго моря отвѣта: неужто же я самъ хотѣлъ этого? неужто ужъ ни клятвъ, ни обѣщаній ненарушимыхъ больше нѣтъ?

Оглавленіе

VI ТОМА.

Обойденные. Романъ въ 3-хъ частяхъ.

Часть I. . . . . .
Часть II. . . . . .

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Типографія А. Ф. Мариса, Измайл. пр., № 29.

ОБОЙДЕННЫЕ.

РОМАНЪ ВЪ 3-ХЪ ЧАСТЯХЪ.

Часть третья.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Живая душа выгораетъ и куется.

го не было ни хорошаго, ни радостнаго, ни утѣши-
о въ одинокой жизни Анны Михайловны. Срублена
ла теперь подъ самый корень и въ утѣшеніе ей
валось даже того гадкаго утѣшенія, которое люди
находить въ ненависти и злости. Анна Михайловна
е такой человѣкъ, и Дора не безъ основанія часто
а ее «невозможною».

отъ самый день, ниццскими событіями котораго за-
вторая часть нашего романа, именно наканунѣ
нны, что̀ въ Петербургѣ приходилось, если не оши-
около конца пыльнаго и непріятнаго мѣсяца іюля.
ихайловнѣ было ужъ какъ-то особенно, какъ передъ
ью, тяжело и скучно. Цѣлый день у нея валилась
ъ работа и едва-едва она дождалась вечера и ушла
ь въ свою полутемную комнату. На дворѣ было
есяти часовъ.

го время къ квартирѣ Анны Михайловны шибко
лъ на лихачѣ молодой бѣлокурый баринъ, съ туго
и кудрями и самой испитой, ничего не выражаю-
зіономіей. Онъ быстро снялся съ линейки, велѣлъ
ку ждать себя, обдернулъ полы шикарнаго пальто-
стона и, вставивъ въ правый глазъ стеклышко,
за рѣзными дверями параднаго подъѣзда.

ъ минуту этотъ господинъ позвонилъ у магазина

и спросилъ Долинскаго. Дѣвушка отвѣчала, что Долинскаго нѣтъ ни дома, ни въ Петербургѣ. Гость сталъ добиваться его адреса.

— А лучше всего,—просилъ онъ:—попросите мнѣ повидаться съ хозяйкой.

«Что̀ ему нужно такое?»—раздумывала Анна Михайловна вставая и оправляясь.

Гость между тѣмъ топоталъ по магазину, въ которомъ отъ него разносился запахъ гостинодворскаго эс-букета.

— Мое почтеніе! — развязно хватилъ онъ при появленіи въ дверяхъ хозяйки и тряхнулъ себя циммермановской шляпой по ляжкѣ.

Анна Михайловна не просила его садиться и сама не сѣла, а остановилась у шкапа.

Анна Михайловна знала почти всѣхъ знакомыхъ Долинскаго, а этого господина припомнить никакъ не могла.

— Вамъ угодно адресъ Нестора Игнатьича? — спросила она незнакомаго гостя.

— Да-съ, мнѣ нужно ему бы отослать письмецо.

— Адресъ его просто въ Ниццу, poste restante.

— Позвольте просить васъ записать.

— Да, я говорю, просто: Niccе, poste restante.

— Вы къ нему пишете?

Анна Михайловна взглянула на безцеремоннаго гостя и спокойно отвѣчала:

— Да, пишу.

— Нельзя ли вамъ переслать ему письмецо?

— Да вы отошлите просто въ Ниццу.

— Нѣтъ, что жъ тамъ еще разсылаться! Сдѣлайте ужъ милость, передайте.

— Извольте.

— А то мнѣ некогда возжаться.—Гость подалъ конвертъ, написанный на имя Долинскаго очень дурнымъ женскимъ почеркомъ, и сказалъ:—это отъ сестры моей.

— Позвольте же узнать, кого я имѣю честь у себя видѣть?

— Митрофанъ Азовцевъ,—отвѣчалъ гость.

— Азовцевъ, Азовцевъ, — повторяла въ раздумьѣ Анна Михайловна:—я какъ будто слыхала вашу фамилію.

— Несторъ Игнатьичъ женатъ на моей сестрѣ, — отвѣчалъ гость, радостно осклабляясь и показывая рядъ нестерпимо глупыхъ бѣлыхъ зубовъ.

Теперь и почеркъ, которымъ былъ надписанъ конвертъ, показался знакомымъ Аннѣ Михайловнѣ, и что-то кольнуло ее въ сердце. А гость продолжалъ ухмыляться и съ радостью разсказывалъ, что онъ давно живетъ здѣсь въ Петербургѣ, служитъ *на конторѣ*, и очень давно слыхалъ про Анну Михайловну очень много хорошаго.

— Моя сестра, разумѣется, какъ баба, сама виновата,— произнесъ онъ, зареготавъ жеребчикомъ: — ядовита она у насъ очень. Но я Нестора Игнатьича всегда уважалъ и буду уважать, потому что онъ добрый, очень добрый былъ для всѣхъ насъ. Маменька съ сестрою тамъ какъ имъ угодно: это ихъ дѣло. Онѣ у насъ два башмака—пара. На обухѣ рожь молотятъ и зерна не уронятъ.—Азовцевъ зареготалъ снова.

Анна Михайловна созерцала этотъ экземпляръ молча, какъ воды въ ротъ набравши.

Экземпляръ поговорилъ-поговорилъ и почувствовалъ, что пора и честь знать.

— До свиданья-съ, — сказалъ онъ, наконецъ, видя, что ему ничего не отвѣчаютъ.

— Прощайте,—отвѣчала Анна Михайловна и позвонила дѣвушкѣ.

— Очень радъ, что съ вами познакомился.

Анна Михайловна поклонилась молча.

— Къ намъ на контору, когда мимо случится, милости просимъ.

Хозяйка еще разъ поклонилась.

— Нѣтъ, что жъ такое! — разговаривалъ гость, поправляя палецъ перчатки. — Къ намъ часто даже довольно дамы заходятъ, чаю выкушать или такъ отдохнуть.—Пожалуйста, будьте столько добры!

— Хорошо-съ, — отвѣчала Анна Михайловна. — Когда-нибудь.

— Сдѣлайте ваше такое одолженіе!

— Зайду-съ, зайду, — отвѣчала, чтобъ отвязаться, Анна Михайловна.

Проводя гостя, она нѣсколько разъ прошлась по комнатѣ, взяла письмо, еще прочла его адресъ и опять положила конвертъ на столъ. «Письмо отъ его жены! — думала Анна Михайловна.—Распечатать его, или нѣтъ?—Лучше отослать ему. А если тутъ что-нибудь непріятное? Если опять ка-

кой-нибудь глупый фарсъ? Зачѣмъ же его огорчать? зачѣм попусту тревожить?» — Анна Михайловна взялась за кон вертъ и положила палецъ на сургучъ, но опять задумалас «Становиться между мужемъ и женой!—Нѣтъ, не годится»,— сказала она себѣ и положила письмо опять на столъ. Вс черъ прошелъ, подали закуску. Анна Михайловна ѣла очен мало и въ раздумьѣ глядѣла на m-lle Alexandrine, глота шую все съ аппетитомъ, въ которомъ голодный волкъ, хот немножко, но все-таки, однако, уступаетъ французско двадцатипятилѣтней гризеткѣ. Послѣ ужина опять письм завертѣлось въ рукахъ Анны Михайловны. Ей, какъ Шп кину, въ одно ухо что-то шептало: «не распечатывай», въ другое — «распечатай, распечатай!» Она вспомнил какъ Даша говорила:—«нѣтъ, мои ангельчики! Если бъ когда полюбила женатаго человѣка, такъ ужъ — слуга по корная — чьи бы то ни были, хоть бы самыя законны старыя права на него, все бы у меня покончились».—«В самомъ дѣлѣ!—подумала Анна Михайловна,—что жъ тако если въ письмѣ нѣтъ для него ничего непріятнаго, я ег отошлю ему; а если тамъ однѣ мерзости, то... подумак какъ ихъ сгладить, и тоже отошлю».—Она зажгла свѣчу в комнатѣ Долинскаго и распечатала конвертъ.

На скверной, измятой почтовой бумажкѣ, рыжими черн лами было написано слѣдующее:

«Вы честнымъ словомъ обязались высылать мнѣ ежегодн пятьсотъ рублей и пожертвовали мнѣ какой-то глупы вексель на вашу сестру, которой уступили свою част вашего кіевскаго дворца. Я, по неопытности, приняла этот вексель, а теперь, когда мнѣ понадобились деньги, я вмѣ сто денегъ имѣю только однѣ хлопоты. Вы, конечно, очен хорошо знали, что это такъ будетъ, вы знали, что мн придется выдирать каждый грошъ, когда уступили мн право на вашу часть. Я понимаю всѣ ваши подлости».

Анна Михайловна пожала плечами и продолжала читат далѣе:

«Возьмите себѣ назадъ эту уступку, а я хочу имѣт чистыя деньги. Потрудитесь мнѣ тотчасъ ихъ выслать п почтѣ. Вы зарабатываете болѣе двухсотъ рублей въ мѣсяц и половину можете отдать женѣ, которая всегда могла б быть счастлива съ лучшимъ человѣкомъ, который бы цѣ нилъ ее, ежели бы вы не завязали ея вѣкъ. Если вы н

захотите этого сдѣлать — я вамъ покажу, что васъ заставятъ сдѣлать. Вы можете тамъ жить хоть не съ одною модисткой, а съ двадцатью разомъ — вы развратникъ были всегда и мнѣ до васъ дѣла нѣтъ. Но вы должны помнить, что вы воспользовались моею неопытностью и довели меня до гибельнаго шага, что вы теперь обязаны меня обезпечить и что я имѣю право этого требовать. У меня есть люди, которые за меня заступятся, и если вы не хотите поступать честно, такъ васъ хорошенько проучатъ, какъ негодяя. Я не прежняя беззащитная дѣвочка, которою вы могли вертѣть, какъ хотѣли».

Анна Михайловна разсмѣялась.

«Я выведу на чистую воду, — продолжала въ своемъ письмѣ m-me Долинская: — и покажу вамъ, какая разница между мною и обирающей васъ метреской».

На щекахъ у Анны Михайловны выступили пятна негодованія. Она вздохнула и продолжала читать далѣе:

«Я осрамлю и васъ, и ее на цѣлый свѣтъ. Вы жалуетесь, что я васъ выгнала изъ дома, такъ ужъ все равно—жалуйтесь, а я васъ выгоню еще и изъ Петербурга вмѣстѣ съ вашей шлюхой».

Письмо этимъ оканчивалось. Анна Михайловна сложила его и внутренно радовалась, что она его прочитала.

— Какая гадкая женщина!—сказала она сама съ собою, кладя письмо въ столикъ и доставая оттуда почтовую бумагу. Лицо Анны Михайловны приняло свое спокойное выраженіе, и она, выбравъ себѣ перо по рукѣ, писала слѣдующее:

«Милостивая государыня!

«Прилагаемые при этомъ письмѣ триста рублей прошу васъ получить въ число пятисотъ, требуемыхъ вами отъ вашего мужа. Остальные двѣсти вы аккуратно получите ровно черезъ мѣсяцъ. Бумагу, открывающую вамъ счетъ съ сестрою господина Долинскаго, потрудитесь удержать у себя. Неполученіе вашихъ денегъ отъ его сестры, вѣроятно, не выражаетъ ничего, кромѣ временнаго разстройства ея дѣлъ, которое, конечно, минется, и вы снова будете получать, что̀ вамъ слѣдуетъ. Мужа вашего здѣсь нѣтъ и его совсѣмъ нѣтъ въ Россіи. Письма вашего онъ не получитъ. Вамъ отвѣчаетъ, вмѣсто вашего мужа, женщина, которую вы называете его метреской. Она считаетъ

себя въ правѣ и въ средствахъ успокоить васъ насчет денегъ, о которыхъ вы заботитесь, и позволяетъ себѣ про сить васъ не прибѣгать ни къ какимъ угрожающимъ мѣ рамъ, потому что онѣ вовсе не нужны и совершенно без полезны».

Написавши это письмо, Анна Михайловна вложила ег въ конвертъ вмѣстѣ съ тремя радужными бумажками спокойно легла въ постель, сказавъ себѣ:

— Слава Богу, что только всего горя.

Черезъ день у ней былъ Журавка съ своей итальянкой и, если читатель помнитъ ихъ разговоръ у шкапика, гд художникъ пилъ водченку, то онъ припомнитъ себѣ такж и то, что Анна Михайловна была тогда довольно спокойн и даже шутила, а потомъ только плакала; но не это письм было причиной ея горя.

Послѣ новаго года, предъ наступленіемъ котораго Анн Михайловна уже нимало не сомнѣвалась, что въ Ницц дѣло пошло анекдотомъ, до чего даже домыслился и Иль Макаровичъ, сидя за своимъ мольбертомъ въ своей один надцатой линіи, пришло опять письмо изъ губерніи. Н этотъ разъ письмо было адресовано прямо на имя Анн Михайловны.

Юлочка настрочила въ этомъ письмѣ Аннѣ Михайловн кучу дерзкихъ намековъ и въ заключеніе сказала, что те перь ей извѣстно, какъ люди могутъ быть безстыдно нагл и мерзки, но что она никогда не позволитъ человѣку, за губившему всю ея жизнь, ставить ее на одну доску со вся кой встрѣчной; сама пріѣдетъ въ Петербургъ, сама пойдет всюду безъ всякихъ протекцій и докажетъ всѣмъ милым друзьямъ, что̀ она можетъ сдѣлать.

Анна Михайловна, прочитавъ письмо, произнесла пр себя: «дура!» потомъ положила его въ корзинку и ничег на него не отвѣчала. Ей очень жаль было Долинскаго, и она знала, что здѣсь нечего дѣлать, и давно рѣшила, чт въ этомъ случаѣ всего нужно выжидать отъ времени. Анн Михайловна хорошо знала жизнь и не кидалась ни на какі безполезныя схватки съ нею. Она ей не уступала безъ бо того, что̀ считала своимъ достояніемъ по человѣческом праву, и не боялась боевыхъ мукъ и страданій; но, дорож своими силами, разумно терпѣла тамъ, гдѣ оставалось одн изъ двухъ—терпѣть и надѣяться, или быть отброшенной

злобствовать, или жить только по великодушной милости побѣдителей.

Она не видѣла ничего опаснаго въ своей системѣ и была увѣрена, что она ничего не потеряла изъ всего того, что̀ могла взять, а что̀ ужъ потеряно, того, значитъ, взять было невозможно по самымъ естественнымъ и, слѣдовательно, самымъ сильнымъ причинамъ. Она сама ничего легкомысленно не бросала, но и ничего не вырывала насильно; жила по душѣ и всѣмъ предоставляла жить по совѣсти. Этой простой логики она держалась во всѣхъ болѣе или менѣе важныхъ обстоятельствахъ своей жизни и не измѣнила ей въ отношеніи къ Долинскому и Дорушкѣ, разорвавшимъ ея скромное счастье.

— Пусть будетъ, что̀ будетъ,—говорила сама себѣ Анна Михайловна:—тутъ ужъ ничего не сдѣлаешь,—и продолжала писать имъ письма, полныя участья, но свободныя отъ всякихъ нѣжностей, которыя могли бы ихъ безпокоить, шевеля въ ихъ памяти прошедшее, готовое всегда встать тяжелымъ укоромъ настоящему.

А что̀ дѣлали, между тѣмъ, въ Ниццѣ?

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Ницца.

Крылатый божокъ, кажется, совсѣмъ поселился въ трехъ комнаткахъ m-me Бюжаръ, и другимъ темнымъ и свѣтлымъ божествамъ не было входа къ обитателямъ скромной квартирки съ итальянскимъ окномъ и густыми зелеными занавѣсками. О поѣздкѣ въ Россію, разумѣется, здѣсь ужъ и рѣчи не было, да и о многомъ, о чемъ слѣдовало бы вспомнить, здѣсь не вспоминали и рѣчей не заводили. Страстная любовь Доры совершенно овладѣла Долинскимъ и не давала ему еще пока ни призадуматься, ни посмотрѣть въ будущее.

— Боже мой, какъ мы любимъ другъ друга!—восхищалась Даша, сжимая голову Долинскаго въ своихъ розовыхъ, свѣженькихъ ручкахъ.

Несторъ Игнатьичъ обыкновенно застѣнчиво молчалъ при этихъ страстныхъ порывахъ Доры, но она и въ этомъ молчаніи ясно читала всю необъятность чувства, зажженнаго ею въ душѣ своего любовника.

— Ты меня ужасно любишь? Ты никого такъ не любилъ,

какъ меня?—спрашивала она снова, стараясь добит
него желаемаго слова.

— Я всею душою люблю тебя, Дора.

Даша весело вскрикивала и еще безумнѣе, еще
ласкала Долинскаго.

Разговоры ихъ никто бы не записалъ, да они вс
и наскучили. Всѣ ихъ разговоры были въ этомъ
разговоры въ этомъ родѣ могутъ быть вполнѣ
только для того существа, которое, прочитавъ эти
можетъ наклонить къ себѣ любимую головку и по
вать то, что̀ чувствовали Даша и Долинскій. Анна
ловна говорила правду, что они ни о чемъ не д
только «любились». А время шло. Со дня святой
минуло болѣе пяти мѣсяцевъ. Въ Ниццу опять
изъ Россіи давно жившее тамъ семейство Онучины
мейство это состояло изъ матери, происходящей от
няго русскаго княжескаго рода, сына — молодого ч
очень умнаго и непомѣрно строгаго, да дочери,
подъ Новый годъ была въ магазинѣ «M-me Annett
звалась передать ея поклонъ Дашѣ и Долинскому
звали Серафимой Григорьевной, сына—Кирилломъ
вичемъ, а дочь — Вѣрой Сергѣевной. Семейство э
немного знакомо съ Долинскимъ.

Возвратясь въ Ниццу, Вѣра Сергѣевна со скук
мнила объ этомъ знакомствѣ и какъ-то послала
Долинскаго побывать у нихъ когда-нибудь за̀-прос
сторъ Игнатьевичъ на другой же день пошелъ къ
нымъ. Въ пять мѣсяцевъ это былъ его первый вы
чужой домъ. Въ эти пять мѣсяцевъ онъ одинъ ни
выходилъ, кромѣ кофейни, въ которой онъ изрѣдка
газеты, и то Дорушка обыкновенно ждала его гдѣ
или на бульварѣ, или тутъ же въ кафе.

Вѣра Сергѣевна встрѣтила Долинскаго на террас
жавшей домикъ, въ которомъ они жили. Она сидѣл
рѣзывала только что полученную французскую иллю
ванную книжку.

— Здравствуйте, m-r Долинскій!—сказала она,
протягивая ему свою длинную бѣлую руку.—Берит
и садитесь. Maman еще не вышла, а брата нѣтъ
поскучайте со мною.

Долинскій принесъ стулъ къ столу и сѣлъ.

— Какъ поживаете?—спросила его Вѣра Сергѣевна.

— Благодарю васъ: день за день, все по-старому.

— Рвешься изъ Россіи въ эти чужіе края, — резонировала дѣвушка:—а пріѣдешь сюда—и здѣсь опять такая же скука.

— Да, тутъ въ Ниццѣ, кажется, не очень веселятся.

— А вы никуда не выѣзжали?

— Нѣтъ, я не выѣзжалъ.

— Что жъ, вы... много работаете?

— Такъ... какъ нѣмцы говорятъ: «etwas».

— Sehr wenig, значитъ.

— Очень мало.

— Но, конечно, будете такъ любезны, что прочтете намъ то, что́ написали.

— Полноте, Вѣра Сергѣевна! Что̀ вамъ за охота слушать мое кропанье, когда есть столько хорошихъ вещей, которыя вы можете прочесть и съ удовольствіемъ, и съ пользою.

— Униженіе паче гордости, — шутливо замѣтила Вѣра Сергѣевна и, оставивъ этотъ разговоръ, тотчасъ же спросила:—а что̀ дѣлается съ вашей очаровательной больной?

— Ей лучше,—отвѣчалъ Долинскій.

— Я видѣла ея сестру.

— А-а! гдѣ же это?

Вѣра Сергѣевна разсказала свое свиданіе съ Анной Михайловной, какъ будто совсѣмъ не смотря на Долинскаго, но, впрочемъ, на лицѣ его и не видно было никакой особенно замѣчательной перемѣны.

— И больше ничего она не говорила?

— Нѣтъ. Она сказала, что вы часто переписываетесь.

Тутъ Несторъ Игнатьевичъ слегка покраснѣлъ и отвѣчалъ:

— Да, это правда.

— Что вы не курите, monsieur Долинскій, хотите папироску?

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не курю.

— Вы, кажется, курили.

— Да, курилъ, но теперь не курю.

— Что̀ же это за воздержаніе?

— Такъ, что-то надоѣло. Хочу воспитывать въ себѣ волю, Вѣра Сергѣевна,—шутилъ Долинскій.

— А, это очень полезно.

— Только боюсь, не поздненько ли это нѣсколько?

— Ну, mieux tard...

— Que jamais — замѣчаніе во всѣхъ другихъ случая совершенно справедливое,—подсказалъ Долинскій.

— Не собираетесь въ Россію?—спросила Вѣра Сергѣев послѣ короткой паузы.

— Нѣтъ еще.

— А тамъ новостей, новостей!

— Будьте милостивы, разскажите.

M-lle Онучина разсказала нѣсколько русскихъ новост которыя только для нея и были новостями и которыя Д линскій давно зналъ изъ иностранныхъ газетъ. Старая Он чина все не выходила. Долинскій посидѣлъ около ча простился, обѣщалъ заходить и ушелъ съ полной рѣп мостью не исполнять своего обѣщанія.

— Что ты тамъ сидѣлъ такъ долго?—спросила его Даш встрѣчая на крыльцѣ, съ лицомъ въ одно и то же врем веселымъ, и нѣсколько тревожнымъ.

— Всего часъ одинъ только, Дора, — отвѣчалъ покор Долинскій.

— Часъ! какъ это странно...—нетерпѣливо сорвала Д и остановилась, чувствуя, что говорить не дѣло.

— Нельзя же было, Дора.

— Ну, да... очень можетъ быть. Ну, что жъ тебѣ р сказали?

— Ничего. Просто поклонъ привезли.

— Отъ Анны?

— Да.

Оба долго молчали. Даша сидѣла, сложа руки, Долинс съ особеннымъ тщаніемъ выбивалъ щелчками пыль, нас шую на его бѣлой фуражкѣ.

— Что жъ еще разсказывали тебѣ? — спросила, поп вляясь на диванѣ, Даша.

— Ничего, Дора.

— Какъ это глупо!

— Что не разсказывали-то?

— Нѣтъ, что ты скрытничаешь.

— О новостяхъ говорила m-lle Véra.

— О какихъ?

— Ну, все старое. Я тебѣ все давно говорилъ.

— Чего жъ ты такимъ сентябремъ смотришь?

— Что тебѣ кажется! Тебѣ просто посердиться хочется.

— Первый туманъ,—сказала Даша, спокойно давая ему свою руку.

— Какой туманъ?

— На лбу у тебя.

— Ну, что ты сочиняешь вздоры, Даша!

— Не будь, сдѣлай милость, ничтожнымъ человѣкомъ. Нашъ мостъ разоренъ! Наши корабли сожжены! Назадъ идти нельзя. Будь же человѣкомъ, ужъ если не съ волею, такъ хоть съ разумомъ.

— Да чего ты хочешь, Даша?

Даша вмѣсто отвѣта посмотрѣла на него искоса очень пристально и съ легкой презрительной гримаской.

— Я жъ люблю тебя!—успокоивалъ ее Долинскій.

— И боишься.

— Чего?

— Прошлаго.

— Богъ знаетъ, что̀ тебѣ сегодня кажется.

— То, что̀ есть на самомъ дѣлѣ, мой милый.

— Напрасно; я только думаю, что честнѣе было бы съ нашей стороны обо всемъ написать...

Даша задумалась и потомъ, вздохнувъ, сказала:

— Я сама знаю, что̀ нужно дѣлать.

Вечеромъ, по обыкновенію, они сидѣли на холмикѣ и въ первый разъ порознь думали.

— Ты ничего не работаешь?—спросила Даша.

— Ничего, Дора.

— Я тоже ничего.

— Что жъ тебѣ работать!

— А деньги у насъ есть еще?

— Не безпокойся, есть.

— Работай что-нибудь, а то мнѣ стыдно, что я мѣшаю тебѣ работать.

— Чѣмъ же ты-то мѣшаешь?

— Да вотъ тѣмъ, что все ты возлѣ меня вертишься.

— Гдѣ же мнѣ еще быть, Дора?

— И это, конечно, правда,—сказала съ задумчивой улыбкой Даша и, не спѣша пригнувъ къ себѣ голову Долинскаго, поцѣловала его и вздохнула.

Тихо они встали и пошли домой.

— Какой ты покорный! — говорила Даша, усѣвшись дохнуть на диванѣ и пристально глядя на Долинскаго.— Смѣшно даже смотрѣть на тебя.

— Даже и смѣшно?

— Да какъ же!—Не куритъ, не ходитъ никуда, въ глаз мнѣ смотритъ, какъ падишаху какому-нибудь.

— Это все тебѣ такъ кажется.

— Зачѣмъ ты пересталъ курить?

— Наскучило.

— Врешь!

— Право, наскучило.

— Право, врешь. — Ну, говори правду. Чтобы дыму было—да?

Долинскій улыбнулся и качнулъ въ знакъ согласія головой.

— Чѣмъ ты меня любишь?

— Какъ—чѣмъ?

— Вѣдь, у тебя сердце все размѣненное, а любить мож разъ въ жизни,—сказала, смѣясь, Даша.

— Ну, почему жъ я это знаю.

— А что, если бъ я умерла?

Долинскій даже поблѣднѣлъ.

— Полно, полно, не пугайся,—отвѣчала Даша, протяг вая ему свою ручку.—Не сердись—я, вѣдь, пошутила.

— Какія же шутки у тебя!

— Вотъ странный человѣкъ! Я думаю, я и сама не имѣ особеннаго влеченія умирать. Я боюсь тебя оставить. Т съ ума сойдешь, если бъ я умерла?

— Боже спаси.

— Буду жить, буду жить, не бойся.

Утромъ Несторъ Игнатьевичъ покойно спалъ въ ногах на Дорушкиной постели, а она рано проснулась, сѣл долго внимательно смотрѣла на него, потомъ подняла в лосы съ его лица, тихо поцѣловала его въ лобъ и, снов опустившись на подушки, проговорила:

— Боже мой! Боже мой! что съ нимъ будетъ? Что мн съ нимъ сдѣлать?

Опять все за грудь стала Даша частенько потрогиватьс какъ только оставалась одна. Но при Долинскомъ она, п прежнему, была веселою и покойною, только, кажется, ст новилась еще нѣжнѣе и добрѣе.

— Напишу я, Даша, Аннѣ,—говорилъ ей Долинскій.

— Что жъ ты ей напишешь?

— Что я тебя больше всего на свѣтѣ люблю.

— Она это и такъ знаетъ!—улыбаясь, отвѣтила Даша.

— Почему ты думаешь?

— Я это знаю.

— Все же надо написать что-нибудь.

— Нечего писать что-нибудь.

— Нѣтъ, по-моему, все-таки лучше писать *ничего*, чѣмъ ничего не писать.

— Подожди. Я напишу сама,—отвѣчала послѣ минутной паузы Дора.

А все не писала.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Цвѣтутъ въ полѣ цвѣтики да померкнутъ.

Мартъ прошелъ. Дашѣ ужъ невмоготу стало скрывать своего нездоровья и съ лица она стала измѣняться.

— Весна, вѣрно, у насъ начинается,—сказала она одинъ разъ Долинскому.

Долинскій понялъ Дашино вступленіе и мгновенно поблѣднѣлъ.

— Слабость у меня какая-то во всемъ тѣлѣ, — пояснила Дора.

— Что̀ съ тобою?

— Ничего, а такъ—слабость.

— Господи! Дорушка! счастье мое, да что̀ жъ это съ тобой?

— Ничего, ничего. Слабость маленькую все чувствую, и больше ничего.

А доктора звать ни за что не хотѣла.

Кашель сталъ появляться и жаръ по ночамъ обнаруживался.

— Какой ты забавный!—говорила Даша, откашливаясь, смотря на Долинскаго. — Я кашляю, а его точно давитъ что-нибудь! — откашливается по обязанности. Ну, чего ты морщишься?—весело спросила она и засмѣялась.

— Не смѣйся такъ, Дора.

— Чего жъ плакать, мой другъ?

— Боюсь я за тебя.

— Чего?—Что я умру?

Долинскій смотрѣлъ на нее молча и мѣнялся въ лицѣ.

— Ты умри со мной.

— Полно шутить.

— Ага! любишь, любишь, а умирать вмѣстѣ не хочешь,— говорила Дора, играя его волосами.

У Долинскаго навернулись слезы, и онъ отвѣчалъ:

— Нѣтъ, хочу.

— А лжешь!

— Да полно жъ тебѣ меня мучить, Дора.

— Не мучить! Ну, хорошо, ну, слушай.

Дорушка повернулась къ нему лицомъ и сказала:

— Вотъ, мой другъ, что̀ сей сонъ обозначаетъ...

Дорушка снова остановилась.

— Да что̀ же ты хочешь сказать? — нетерпѣливо спросилъ Долинскій, отирая выступавшій у него на лбу холодный потъ.

— А то, мой милый, что... не обращай ты вниманія, если тебѣ когда-нибудь кажется, что я будто стала холодна, что я скучаю... Мнѣ все стало очень тяжело; не могу я быть и для тебя всегда такою, какою была. И для любви тоже силы нужны.

— Да что̀ же съ тобой такое?

— Дурно.

— Господи! что̀ же такое? что̀?

— Давно дурно.

— Чего жъ ты молчала?

— Это все равно.

— Какъ, все равно?

— Ничто мнѣ не поможетъ.

— Ты себѣ сочиняешь,—сказалъ, вскочивъ, Долинскій.

Даша молчала.

— Иди, ложись спать и дай мнѣ уснуть, — сказала она черезъ минуту.

Долинскій въ раздумьѣ сѣлъ у ея ногъ.

— Ложись тутъ и спи,—сказала опять Даша, указывая на мѣсто у своихъ ногъ.

По дрожащимъ и жаркимъ губамъ Долинскаго, которыми онъ прикоснулся къ рукѣ Даши, она догадалась, что онъ разстроенъ до слезъ и сказала:

— Пожалуйста, пусть будетъ очень тихо, мнѣ хочется крѣпко уснуть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Приговоръ.

Утромъ Долинскій осторожно вышелъ изъ комнаты и отправился къ доктору.

Въ двѣнадцать часовъ явился докторъ и, долгонько посидѣвъ у Даши, вошелъ въ комнату Нестора Игнатьевича, написалъ рецептъ и уѣхалъ, а Даша повеселѣла какъ будто.

— Ну, чего ты такъ раскисъ! — говорила она Долинскому.—Все хорошо, я сама напрасно перепугалась. Поживемъ еще, поцарствуемъ.

Долинскій только руки ея цѣловалъ. Онъ хотѣлъ надѣяться и не смѣлъ вѣрить.

— Ну, ну, полно же.—А ты вотъ что сдѣлай для меня. Принеси мнѣ нашу казну.

— Денегъ еще много.

— Посмотримъ.

Денегъ, точно, было около двухъ тысячъ франковъ.

— Мало. Ты долженъ для меня заработать много. У меня есть къ тебѣ просьба.

— Приказывай, Даша.

— Заработай мнѣ денегъ. Мнѣ деньги нужны.

— Выдумываешь что-нибудь.

— Право, нужны: наряжаться хочу.

— Ну, хорошо, я буду работать, а ты скажи, на что тебѣ деньги нужны?

— Видишь, пора намъ и за дѣло браться. Ты работай свою работу, а я на первыя же деньги открываю русскій, этакой, знаешь, пока маленькій ресторанчикъ.

Долинскій разсмѣялся.

— Ничего нѣтъ смѣшного! Я не меньше тебя заработаю. Англичане же всѣ ходятъ ѣсть ростбифъ въ своемъ трактирѣ.

— Ну?

— А у меня будетъ солонина, окрошка, пироги, квасъ, лапотки; не бойся, пожалуйста, я вѣрно разсчитала. Ты не бойся, я на твоей шеѣ жить не стану. — Я бы очень хотѣла... дѣтей учить, дѣвочекъ; да, вѣдь, не дадутъ. Скажутъ, сама безнравственная. А трактирщицей, ничего себѣ, могу быть—даже прилично.

Долинскій еще искреннѣе разсмѣялся.

— Нечего, нечего,—говорила съ гримаской Дора.—Вѣдь, я всегда трудилась и, разумѣется, опять буду трудиться.— Ничего новаго! Это вы только разсуждаете, какъ бы женщинѣ потрудиться, а когда же наша простая женщина не трудилась? Я же, вѣдь, не барышня; неужто же ты думаешь, что я шла ко всему, не думая, какъ жить, или думая, по-барски, сѣсть на твою шею?

— Да я ничего.

— Ну, такъ нечего, значитъ, и смѣяться. Работай же. Помни, что вотъ я выздоровѣю, фондъ нуженъ, — напоминала она, вскорѣ послѣ этого разговора, Долинскому.

— Что̀ же работать?

— Господи! Вотъ Фигаро нетлѣнный: все ткни его носомъ да покажи. Ну, разумѣется, пиши повѣсть.

— Дорушка! Вы же понимаете, что повѣсти по заказу не пишутся. У меня въ головѣ нѣтъ никакой повѣсти.

— Ну, я тебѣ задамъ.

— Задай, задай,—весело отвѣчалъ Долинскій.

— Ну, вотъ ты да я—вотъ тебѣ и повѣсть.

— Нѣтъ, это ужъ пусть другіе пишутъ.

— Отчего жъ?

— Къ сердцу очень близко.

— Напрасная сентиментальность. — Ну, Онучина, которой любить хочется, да маменька не велитъ.

— Я ее совсѣмъ не знаю, Дора.

— Побесѣдуй.

— Да откуда ты-то знаешь, что ей любить хочется?

— Такъ; приснилось мнѣ, что ли—не помню.

— Да ты жъ съ ней не говорила.

— Тутъ нечего и говорить. А, впрочемъ, нѣтъ... постой! — вскрикнула, подумавъ, Даша. — Вотъ что̀ бери этакую, знаешь, барыню, которая все испытывает любятъ ли ее вѣрно, да на цѣлый ли вѣкъ? Ну, и т словъ! словъ! словъ! — Съ словами цѣлая свора разны разныхъ прихвостней. Все она собирается любить «жа дня и огня», а годы все идутъ, и сберется она полюби когда ее любить никто не станетъ, или полюбитъ того, менѣе всего сто̀итъ любви. Выйдетъ ничего-себѣ повѣсть если хорошенько разыграть.

— Начнемъ-ка, — подбавила Дора: — я буду вязать себѣ платокъ, а ты пиши.

Шутя началась работа. Повѣсть писалась и платокъ вязался.

— Что̀ ваша кузина... не замужемъ? — спросилъ одинъ разъ докторъ, садясь за столикъ въ комнатѣ Долинскаго, чтобы записать рецептъ Дашѣ.

— Нѣтъ, не замужемъ, — нѣсколько смутясь, отвѣчалъ Долинскій.

Докторъ нагнулся къ столу и, написавъ, не спѣша, двѣ строчки, снова сказалъ:

— Я хотѣлъ васъ спросить: дѣвушка она, или нѣтъ? — очень странные симптомы!

Онъ быстро поднялъ глаза отъ бумаги на лицо Долинскаго. Тотъ былъ красенъ до ушей. Докторъ снова нагнулся, отбросилъ начатый рецептъ въ сторону и, написавъ новый, уѣхалъ.

— Что же, развѣ ей очень дурно? — спросилъ Долинскій, провожая доктора за дверь.

— Теперь ничего особеннаго, хотя и хорошаго нѣтъ, но послѣ болѣзнь можетъ идти crescendo, — отвѣчалъ врачъ сухо и даже нѣсколько строго.

— Что̀ тебѣ говорилъ докторъ?

— Ничего особеннаго, — отвѣчалъ, смущаясь, Долинскій.

— Онъ все съ намеками какими-то.

— Да.

— И все вретъ.

— А если правда?

— Лжетъ, лжетъ, я знаю. Я просто простудилась. Послушай-ка меня! Устрой-ка ты мнѣ на ночь ножную ванну — это мнѣ всегда помогало.

— Это прежде было, Дора.

— Ахъ, не спорь о томъ, чего не понимаешь!

— А если хуже будетъ?

— Ахъ, Боже мой, что̀ же это за наказаніе съ этими безтолковыми людьми! Ну, не будетъ хуже, русскимъ вамъ языкомъ говорю, не будетъ, не будетъ, — настаивала Дора.

Вечеромъ Даша, при содѣйствіи m-me Бюжаръ, брала ножную ванну и встала на другое утро довольно бодрою, но къ полудню у ней все кружилась голова, а передъ обѣдомъ она легла въ постель.

Пять дней она уже лежала и все ей худо было. Докторъ началъ покачивать головой и разъ сказалъ Долинскому:

— Просто не пойму, что̀ это такое?

— Ванну она брала.

— Зачѣмъ?

— Хотѣла.

Докторъ пожалъ плечами и уѣхалъ.

Больная все разнемогалась. Кашель сильный начался, а по ночамъ изнурительный потъ.

— Что̀ съ нею, докторъ? — спрашивалъ встревоженный Долинскій.

— Ничего не могу вамъ сказать хорошаго.

— Неужто это все ванна надѣлала?

— Не думаю, но болѣзнь идетъ ужасно быстро.

— Боже мой! что̀ жъ дѣлать?

— Будемъ дѣлать, что̀ можно.

— Собрать консиліумъ?

— Соберите.

Пять докторовъ были и деньги взяли, а Дашѣ день-ото дня становилось хуже. Не мучилась она, а все слабѣла и тяжело дышать стала. Долинскій не отходилъ отъ нея ни на шагъ и самъ разнемогся.

— Сходи къ Онучинымъ, — говорила Долинскому Даша, стараясь услать его утромъ изъ дома.

— Зачѣмъ?

— Принеси мнѣ русскую иллюстрацію.

Несторъ Игнатьевичъ взялъ фуражку.

— А ко мнѣ пошли m-me Бюжаръ,—сказала ему вслѣдъ Даша.

Онъ мимоходомъ позвалъ къ ней старуху.

Когда онъ возвратился, въ комнатѣ Даши стоялъ диванъ, перенесенный изъ его кабинетика.

— Зачѣмъ ты это велѣла перенести, Даша?

— Такъ; ты прилечь здѣсь можешь, когда устанешь.

Часто и все чаще и чаще она стала посылать его къ Онучинымъ, то за газетами, которыя потомъ заставляла себѣ читать и слушала, какъ будто со вниманіемъ, то за узоромъ, то за русскимъ чаемъ, котораго у нихъ не хватило. А между тѣмъ въ его отсутствіе она вынимала изъ-подъ подушки бумагу и скоро, и очень скоро что-то писала. Схватится за грудь руками, подержитъ себя сколько можетъ крѣпче, вздохнетъ болѣзненно и опять пишетъ, пока на дворѣ подъ окнами раздадутся знакомые шаги.

— Прибѣжалъ, не вытерпѣлъ, — скажетъ, улыбаясь, Д
ра.—Бѣдный ты мой! Зачѣмъ ты меня такъ любишь?

У Долинскаго стало все замѣтнѣе и замѣтнѣе недост
вать словъ. Въ такія особенно минуты онъ обыкновен
или потерянно молчалъ, или столь же потерянно бра
больную за руку и не сводилъ съ нея глазъ. Очень тяжел
невыносимо тяжело видѣть, какъ близкое и дорогое на
существо таетъ, какъ тонкая восковая свѣчка, и спокой
переступаетъ послѣднія ступени къ могилѣ.

Даша проболѣла мѣсяцъ и извелась совсѣмъ: сдѣлала
сухая, какъ перезимовавшая въ полѣ былинка, и прозра
ная, какъ вытаявшая восковая фигура, освѣщенная сбок
Въ послѣднее время она почти ничего не кушала и пер
стала посылать изъ дома Долинскаго.

— Будь теперь возлѣ меня,—говорила она ему.—Тепе
ужъ недолго.

— Да что ты, Дора, въ самомъ дѣлѣ, умирать, что л
собираешься?

— А ты какъ думаешь?—тихо спросила Дора.

Долинскій стоялъ передъ нею сущимъ истуканомъ.

— Охъ, какой ты смѣшной!—говорила, черезъ силу ул
баясь, Дорушка.—Ну, чего ты моргаешь? Чего тебѣ жал
Жаль меня? Ну, люби меня послѣ смерти!.. да что о
этомъ. Плачь, если плачется, а я счастлива.

Дорушка кашлянула, задумалась и произнесла еще сп
койнѣе:

— Смерть! Что жъ такое смерть? Неизбѣжное!.. Ну,
пусть жизнь оборвется на живомъ звукѣ, сразу, безъ ст
новъ, безъ жалобъ нищенскихъ.

Дорушка опять кашлянула и, показавъ Долинскому б
лый платокъ съ свѣжимъ алымъ пятнышкомъ, улыбнулас

Больной становилось все хуже. Докторъ сказалъ, что уж
нѣтъ никакой надежды.

Даша допыталась сама о состояніи своего здоровья
сказала:

— Теперь напиши Аннѣ, что я безнадежна.

Долинскій написалъ письмо; Даша прочла его, написа
внизу: «прощай, сестра», и отдала m-me Бюжаръ, чтоб
отправить на почту. На другой день, когда старуха пер
мѣняла на ней бѣлье, она отдала ей другой толстый п
кетъ и велѣла его бросить завтра въ ящикъ. Два дня п

томъ она была совсѣмъ едва жива, а на третій ей вдругъ полегчало. Цѣлый день Долинскій никакъ не могъ ее упросить, чтобы она молчала. Все, какъ птичка, она щебетала и все возлѣ себя держала его. Ночью спала она очень покойно и слѣдующій день начала хорошо, но раза три всё порывалась вскрикнуть, какъ будто разрывалось что-то у нея въ груди. Слѣдующая ночь ей была гораздо труднѣе: она бредила, вскрикивала и безпрестанно звала Долинскаго.

— Я здѣсь, Дора,—отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Гдѣ? Гдѣ ты?

Плачетъ и сама руками ищетъ въ воздухѣ.

— Да, вотъ я, вотъ, возлѣ тебя, — отвѣчалъ Долинскій, сжимая ея руку.

— Господи! а я ужъ думала, мнѣ показалось, что я... что тебя ужъ нѣтъ со мною.

— Полно, успокойся, Дора.

— Да гдѣ же ты опять?

— Да я же вотъ держу тебя за руки.

— То-то... Голосъ твой вдругъ какъ-то странно... далеко мнѣ послышался. Ты не отходилъ отъ меня?—спрашиваетъ она въ жару, тревожно водя блуждающими глазами.

— Нѣтъ, Дора.

— То-то, ты не отходи.

— Куда же я пойду?

— Ну, Богъ тебя знаетъ.

Даша на минутку забывалась и опять вскорѣ звала.

— Что̀ же? что̀, моя Дора? — перепуганнымъ голосомъ спрашивалъ забывавшійся минутнымъ сномъ Долинскій.

— Все мнѣ кажется, какъ будто мы другъ отъ друга уходимъ.

— Ты бредишь, Даша.

— Да, вѣрно, брежу.—Ты меня держишь за руку?

— Ну, да, Дора. Богъ съ тобой, развѣ ты не видишь?

— Нѣтъ, вижу. Только ты все далеко какъ-то. Ты лучше обними меня. Сядь такъ, ближе, возьми меня къ себѣ.

И она уснула почти на рукахъ Долинскаго. Когда солнышко взглянуло сквозь занавѣску, Даша спала, спокойна и прекрасна, и предательскія алыя пятна весело играли на ея нѣжныхъ щечкахъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Finita la comedia.

Съ утра Дашѣ было и такъ, и сякъ, только землистый
ѣтъ, проступавшій по тонкой кожѣ около устъ и носа,
идавалъ лицу Даши какое-то особенное непріятное и
ке страшное выраженіе. Это была та непостижимая пе-
ть, которою смерть заживо отмѣчаетъ обреченныя ей
ртвы. Даша была очень серьезна, смотрѣла въ одну
ку, и блѣдными пальцами все обирала что-то съ своего,
остью земною покрывавшагося лица. Къ ночи ей стало
ке, только она, однако, уснула.

Долинскій приподнялся, дошелъ на цыпочкахъ до дивана
прилегъ. Онъ былъ очень изнуренъ многими безсонными
ами и уснулъ какъ умеръ. Однако, несмотря на крѣп-
сонъ, часу во второмъ ночи, его какъ будто кто-то са-
мъ безцеремоннымъ образомъ толкнулъ подъ бокъ. Онъ
очилъ, оглянулся и вздрогнулъ. Даша, опершись на свою
ушку локоткомъ, манила Долинскаго къ себѣ пальчикомъ,
ихонько, шопотомъ называла его имя.

— Что ты?—спросилъ онъ, подойдя къ ея постели.

— Тссс!—произнесла Даша и сердито погрозила пальцемъ.

Долинскій остановился и оглянулся.

— Тссс!—повторила Даша и спросила шопотомъ:—когда
. пріѣхала?

— Кто пріѣхала!

— Анна.

— Какая Анна?

— Ну, Анна, Анна, сестра.

— Богъ съ тобой, это тебѣ приснилось.

Даша разсердилась.

— Не приснилось, а она приходила сюда, вотъ тутъ,
ъ возлѣ меня стояла въ бѣломъ капотѣ.

— Что̀ ты говоришь, Дора, вздоръ какой! Зачѣмъ здѣсь
етъ Анна?

— Я тебѣ говорю, она сейчасъ была тутъ, вотъ тутъ.
а смотрѣла на меня и на тебя. Вотъ въ лобъ меня по-
ловала, я еще и теперь чувствую, и сама слышала, какъ
рь за ней скрипнула. Ну, выйди, посмотри лучше, чѣмъ
рить.

Долинскій зажегъ у ночной лампочки свѣчу и вышелъ

въ другую комнату. Никого не было; все оставалось такъ, какъ было. Проходя мимо зеркала, онъ только испугался своего собственнаго лица.

— Ничего нѣтъ,—сказалъ онъ, входя къ Дашѣ, возможно спокойнымъ и твердымъ голосомъ.

— Чего жъ ты такъ обрадовался? чего ты кричишь—то! Ну, нѣтъ и нѣтъ.

— Я обыкновеннымъ голосомъ говорю.

— Не надо обыкновеннымъ голосомъ говорить — говори другимъ.

Лицо Доры было необыкновенно сурово, даже странно своею грозною серьезностью.

При свѣчѣ, на немъ теперь очень ясно обозначились серьезныя черты Иппократа.

— Зачѣмъ же это другимъ голосомъ? Что ты все пугаешь меня, Даша?—сказалъ ей, дѣйствительно дрожа отъ непонятнаго страха, Долинскій.

— Это смерть моя приходила, — отвѣчала съ досадой больная.

Долинскій понималъ, что больная бредитъ наяву, а мурашки все-таки по немъ пробѣжали.

— Какой вздоръ, Даша!

— Нѣтъ, не вздоръ, нѣтъ, не вздоръ,—и Даша заплакала.

— Чего жъ ты плачешь?

— Того, что ты со мной споришь. Я больна, а онъ споритъ.

— Ну, успокойся же, я, точно, виноватъ.

— Виноватъ!

Даша отерла платкомъ слезы и сказала:

— И опять глупо: совсѣмъ не виноватъ. Сядь возлѣ меня; я все пугалась чего-то.

Долинскій сѣлъ у изголовья.

— Капризная я стала?—спросила едва слышно больная.

— Нѣтъ, Дора, какіе жъ у тебя капризы?

— Ну, я тебѣ скажу какіе, только, пожалуйста, со мной не спорь и не возражай.

— Хорошо, Дора.

— Я хочу, чтобы ты меня на свои трудовыя деньги мертвую привезъ въ Россію. Хорошо?

Долинскій молчалъ.

— Исполнишь?—спрашивала ласково Дора.

— Исполню.

— До тѣхъ поръ не выѣзжай отсюда. Сдѣлаешь?

— Сдѣлаю.

Она приложила къ его губамъ свою ручку, а онъ поцѣловалъ ее, и больная уснула.

Черезъ два дня послѣ этого, съ самаго утра, ей стало очень худо. День она провела безъ памяти и, глядя во всѣ глаза на Долинскаго, все спрашивала: «Гдѣ ты? Не отходи же ты отъ меня!» Передъ вечеромъ зашелъ докторъ и, выходя, только губами подернулъ, да махнулъ около носа пальцемъ. Дѣло шло къ развязкѣ. Долинскій совсѣмъ растерялся. Онъ стоялъ надъ постелью безъ словъ, безъ чувствъ, безъ движенія и не слыхалъ, что̀ возлѣ него дѣлала старуха Бюжаръ. Только милый голосъ, звавшій его время отъ времени, выводилъ его на мгновеніе изъ страшнаго оцѣпенѣнія. Но и этотъ низко-упавшій голосъ очень мало напоминалъ прежній звонкій голосъ Доры. Въ комнатѣ была мертвая тишина. M-me Бюжаръ начинала позѣвывать и кланяться сѣдою головою. Пришла полночь, стало еще тише. Вдругъ, среди этой тишины, Даша стала тихо приподниматься на постели и протянула руки. Долинскій поддержалъ ее.

— Пусти, пусти,—прошептала она, отводя его руки.

Онъ уложилъ ее опять на подушки, и она легла безпрекословно.

Зорька стала заниматься, и въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ сегодня не были опущены занавѣски, начало сѣрѣть. Даша вдругъ опять начала тихо и медленно приподниматься, воззрилась въ одну точку въ ногахъ постели и прошептала:

— Звонятъ! Гдѣ это звонятъ?—и съ этими словами внезапно вздрогнула, схватилась за грудь, упала навзничь и закричала:—ой, что̀ жъ это! больно мнѣ! больно!—Охъ, какъ больно! Помогите хоть чѣмъ-нибудь. А-а! В-о-т-ъ о-н-а смерть!—Жить!.. Ахъ!.. ахъ! жить, еще! жить хочу!—крикнула громкимъ, рѣзкимъ голосомъ Дора и какъ-то неестественно закинула назадъ голову.

Долинскій нагнулся и взялъ ее подъ плечи; Дора вздрогнула, тихо потянулась, и ея не стало.

У изголовья кровати стояла m-me Бюжаръ и плакала въ платокъ, а Долинскій такъ и остался, какъ его покинула отлетѣвшая жизнь Доры.

Прошло десять или пятнадцать минутъ, m-me Бюжаръ рѣшилась позвать Долинскаго, но онъ не откликнулся.

Онъ ничего не слыхалъ.

M-me Бюжаръ пошла домой, плакала, пила со сливками свой кофе, опять просто плакала и опять пришла — все оставалось попрежнему. Только свѣтло совсѣмъ въ комнатѣ стало.

Француженка еще разъ покликала Долинскаго, онъ тупо взглянулъ на нее и его лѣвая щека скривилась въ какую-то особенную, кислую улыбку. Старуха испугалась и выбѣжала.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Сирота.

Madame Бюжаръ побѣжала къ Онучинымъ. Она знала, что, кромѣ этого дома, у ея жильцовъ не было никого знакомаго. Благородное семейство еще почивало. Француженка усѣлась на террасѣ и терпѣливо ожидала. Здѣсь ее засталъ Кириллъ Сергѣевичъ и обѣщался тотчасъ идти къ Долинскому. Черезъ часъ онъ пришелъ въ квартиру покойницы вмѣстѣ съ своею сестрою. Долинскій попрежнему сидѣлъ надъ постелью и неподвижно смотрѣлъ на мертвую голову Доры. Глаза ей никто не завелъ, и

Съ побѣлѣвшими глазами,
Ликъ, прежде нѣжный, былъ страшнѣй
Всего, что страшно для людей.

Мухи ползали по глазамъ Дорушки.

Кириллъ Сергѣевичъ съ сестрою вошли тихо. M-me Бюжаръ встрѣтила ихъ въ залѣ и показала въ отворенную дверь на сидѣвшаго попрежнему Долинскаго. Братъ съ сестрой вошли въ комнату умершей. Долинскій не трогался.

— Несторъ Игнатьичъ!—позвалъ его Онучинъ.

Отвѣта не было. Онучинъ повторилъ свой окликъ—то же самое, Долинскій не трогался.

Вѣра Сергѣевна постояла нѣсколько минутъ и, не снимая своей правой руки съ локтя брата, лѣвую сильно положила на плечо Долинскаго, и, нагнувшись къ его головѣ, сказала ласково:

— Несторъ Игнатьичъ!

Долинскій какъ будто проснулся, провелъ рукою по
и взглянулъ на гостей.

— Здравствуйте!—сказала ему опять m-lle Онучина

— Здравствуйте!—отвѣчалъ онъ, и его лѣвая щека с
скривилась въ ту же странную улыбку.

Вѣра Сергѣевна взяла его за руку и опять съ усил
крѣпко ее пожала. Долинскій всталъ и его опять подер
улыбнуться очень недоброй улыбкой. M-me Бюжаръ пу
жалась въ углу, а ботаникъ видимо растерялся.

Вѣра Сергѣевна положила обѣ свои руки на плечи
линскаго и сказала:

— Одни вы теперь остались!

— Одинъ,—чуть слышно отвѣтилъ Долинскій и, оглянув
на мертвую Дору, снова улыбнулся.

— Ваша потеря ужасна,—продолжала, не сводя съ
своихъ глазъ, Вѣра Сергѣевна.

— Ужасна,—равнодушно отвѣчалъ Долинскій.

Онучинъ дернулъ сестру за рукавъ и сдѣлалъ стр
гримасу. Вѣра Сергѣевна оглянулась на брата и, отвѣ
ему нетерпѣливымъ движеніемъ бровей, опять обрати
къ Долинскому, стоявшему передъ ней въ окаменѣломъ
койствіи.

— Она очень мучилась?

— Да, очень.

— И такъ еще молода!

Долинскій молчалъ и тщательно обтиралъ правою р
кисть своей лѣвой руки.

— Такъ прекрасна!

Долинскій оглянулся на Дору и уронилъ шопотомъ:

— Да, прекрасна.

— Какъ она васъ любила!.. Боже, какая это потер

Долинскій какъ будто пошатнулся на ногахъ.

— И за что̀ такое несчастье!

— За что̀! за... за что̀!—простоналъ Долинскій и, у
въ колѣна Вѣры Сергѣевны, зарыдалъ какъ ребенокъ
тораго безъ вины наказали въ примѣръ прочимъ.

— Полноте, Несторъ Игкатьичъ,—началъ-было Кир
Сергѣевичъ, но сестра снова остановила его сердобол
порывъ и дала волю плакать Долинскому, обхватившем
отчаяніи ея колѣни.

Мало-по-малу онъ выплакался и, облокотясь на стулъ, взглянулъ еще разъ на покойницу и грустно сказалъ:

— Все кончено.

— Вы мнѣ позволите, m-r Долинскій, заняться ею?

— Занимайтесь. Что̀ жъ, теперь все равно.

— А вы съ братомъ подите отправьте депешу въ Петербургъ сестрѣ.

— Хорошо,—покорно отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

Онучинъ увелъ Долинскаго, а Вѣра Сергѣевна послала m-me Бюжаръ за своей горничной и въ ожиданіи ихъ сѣла передъ постелью, на которой лежала мертвая Дора.

Дѣтскій страхъ смерти при бѣломъ днѣ овладѣлъ Вѣрою Сергѣевной: все ей казалось, что мертвая Дора супится и слегка шевелитъ насильно закрытыми вѣками.

Одѣли покойницу въ бѣлое платье и голубою лентой подпоясали ее по стройной таліи, а пышную красную косу расчесали по плечамъ, и такъ положили на столъ.

Комнату Дашину вычистили, но ничего въ ней не трогали; все осталось въ томъ же порядкѣ. Долинскій вернулся домой тихій, грустный, но спокойный. Онъ подошелъ къ Дашѣ, поднялъ кисею, закрывавшую ей голову, поцѣловалъ ее въ лобъ, потомъ поцѣловалъ руку и закрылъ опять.

— Пойдемте же къ намъ, Несторъ Игнатьичъ! — говорилъ Онучинъ.

— Нѣтъ, право, не могу. Я не пойду; мнѣ здѣсь хорошо.

— Въ самомъ дѣлѣ, ваше мѣсто здѣсь,—подтвердила Вѣра Сергѣевна.

Онъ съ благодарностью пожалъ ей руку.

— Знаете, что̀ я забыла спросить васъ, m-r Долинскій!— сказала Вѣра Сергѣевна, зайдя къ нему послѣ обѣда.—Вы Дору здѣсь оставите?

— Какъ здѣсь?

— То-есть въ Италіи?

— Ахъ, Боже мой! я и забылъ. Нѣтъ, ее перевезутъ домой, въ Россію. Нужно металлическій гробъ. Вы, вѣдь, это хотѣли сказать?

— Да.

— Да, металлическій.

— Вы не хлопочите, maman все это уладитъ: она знаетъ, что̀ нужно дѣлать. Она извиняется, что не можетъ къ вамъ придти, она нездорова.

Старуха Онучина боялась мертвыхъ.

— Позвольте же, деньги нужно дать,—безпокоился Долинскій.

— Послѣ, послѣ отдадите, сколько издержать.

— Благодарю васъ, Вѣра Сергѣевна. Я бы самъ ничего не дѣлалъ.

М-lle Онучина промолчала.

— Какъ вы хорошо одѣли ее!—заговорилъ Долинскій.

— Вамъ нравится?

— Да. Это всего лучше шло къ ней всегда.

— Очень рада. Я хочу посидѣть у васъ, пока братъ за мною придетъ.

— Что жъ! Это большое одолженіе, Вѣра Сергѣевна.

— У васъ есть чай?

— Чай? Вѣрно есть.

— Дайте, если есть.

Долинскій нашелъ чай и позвалъ старуху. Принесли горячей воды, и Вѣра Сергѣевна сѣла дѣлать чай. Пришла горничная съ большимъ узломъ въ салфеткѣ. Вѣра Сергѣевна стала разбирать узелъ: тамъ была розовая подушечка въ ажурномъ чехлѣ, кисея, собранная буфами, для того, чтобы ею обтянуть столъ; множество гирляндъ, великолѣпный букетъ и вѣнокъ изъ живыхъ розъ на голову.

Разложивъ все это въ порядкѣ, Вѣра Сергѣевна съ своею горничной начала убирать покойницу. Долинскій тихо и спокойно помогалъ имъ. Онъ вынулъ изъ своей дорожной шкатулки кіевскій перламутровый крестъ своей матери и, по украинскому обычаю, вложилъ его въ исхудалыя ручки Доры.

Передъ тѣмъ, когда хотѣли закрывать гробъ покойницы, Вѣра Сергѣевна вынула изъ кармана ножницы, отрѣзала у Дорушки цѣлую горсть волосъ, потомъ отрѣзала длинный конецъ отъ ея голубого пояса, перевязала эти волоса обрѣзкомъ ленты и подала ихъ Долинскому. Онъ взялъ молча этотъ послѣдній остатокъ земной Доры и даже не поблагодарилъ за него m-lle Онучину.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Письмо изъ-за могилы.

Анна Михайловна получила письмо объ отчаянной болѣзни Доры за два часа до полученія телеграммы о ея смерти.

Анна Михайловна плакала и тосковала въ Петербургѣ, и ее никто не заботился утѣшать. Одинъ Илья Макарычъ чаще забѣгалъ подъ различными предлогами, но мало отъ него было ей утѣшенія: художникъ самъ не могъ опомниться отъ печальной вѣсти и все сводилъ разговоръ на то, что «сгорѣло созданьице милое! подсѣкла его судьбенка». Анна Михайловна, впрочемъ, и не искала стороннихъ утѣшеній.

— Не безпокойтесь обо мнѣ, Илья Макарычъ, ничего со мною не сдѣлается,— отвѣчала она волновавшемуся художнику.— Отъ горя люди, къ несчастію, не умираютъ.

Только Аннѣ Анисимовнѣ она часто съ тревогою сообщала свои сновидѣнія, въ которыхъ являлась Дора.

— Видѣла ее, мою крошку, будто она одна, босая, моя голубочка, сидитъ на полу въ пустой церкви...— разсказывала, тоскуя, Анна Михайловна.

— Душенька ея... — сочувственно начинала бѣдная дѣвушка.

— И эти ручки, эти свои маленькія ручонки ко мнѣ протягиваетъ... Ахъ ты, Боже мой! Боже мой!—перебивала въ отчаяніи Анна Михайловна, и обѣ начинали плакать вмѣстѣ.

Черезъ три дня послѣ полученія печальныхъ извѣстій изъ Ниццы, Аннѣ Михайловнѣ подали большое письмо Даши, отданное покойницей m-me Бюжаръ за два дня до своей смерти. Анну Михайловну нѣсколько изумило это письмо умершаго автора; она поспѣшно разорвала конверт и вынула изъ него пять мелко исписанныхъ листовъ почтовой бумаги.

«Сестра! Пишу къ тебѣ съ того свѣта,—начинала Даша.— Живя на землѣ, я давно не въ силахъ была говорить с тобою попрежнему, то-есть я не могла говорить съ тобо откровенно. Въ первый разъ въ жизни я измѣнила себѣ отмалчивалась, робѣла. Теперь исповѣдуюсь тебѣ, моя душа во всемъ. Пусть будетъ надо мной твоя воля и твой судъ милосердый. Мой міръ прошелъ предо мною полнымъ, и я схожу въ готовую могилу безъ всякаго ропота. Совѣсть я уношу чистую. По моимъ нравственнымъ понятіямъ, то-есть понятіямъ, которыя у меня были, я ничѣмъ не оскорбила ни людей, ни человѣчество, и ни въ чемъ не прошу у нихъ прощенія. Но есть, голубчикъ-сестра, условія, безъ-

рыя плохо повинуются разсудку и заставляютъ насъ страдать крѣпко, долго страдать, наперекоръ своей увѣренности въ собственной правотѣ. Одно такое условіе давно стало между мною и тобою; оно поднималось, падало, опять поднималось, росло, росло, наконецъ, выросло во всю свою естественную или, если хочешь, во всю свою уродливую величину, и теперь, съ моею смертью, оно, слава Богу, исчезаетъ. Я говорю, Аня, о нашей любви къ Долинскому... Пора это выговорить... Зачѣмъ мы его полюбили обѣ — я не разрѣшу себѣ точно такъ же, какъ не могла себѣ разрѣшить никогда, что̀ такое мы въ немъ полюбили? что̀ такое въ немъ было?.. Увлеклись своими опекунскими ролями, или это—сила добра и честности?

«Да Богъ съ ними, съ этими вопросами! поздно ужъ рѣшать ихъ.

«Я себѣ свою начальную любовь къ этому Долинскому, къ этой живой слабости, объясняю, во-первыхъ, моей мизерикордіей, а, во-вторыхъ... тѣмъ, что ли ужъ, что нынѣшніе *сильные* люди не вызываютъ любви, не могутъ ее вызвать. Я не знаю, что̀ бы со мной было, если бы я рядомъ съ Долинскимъ встрѣтила человѣка сильнаго какъ-то иначе, сильнаго *любовью*, но люди, сильные одною ненавистью, однимъ самолюбіемъ, сильные умѣньемъ не любить никого, кромѣ себя и своихъ фразъ, мнѣ были ненавистны; другихъ людей не было, и Долинскій, со всѣми его слабостями, сталъ мнѣ милъ, какъ говорятъ, понравился.

«Ты знаешь, что я его люблю едва ли не раньше тебя, едва ли не съ первой встрѣчи въ Луврѣ передъ моей любимой картиной. Но онъ тебя, а не меня полюбилъ. Вы это искусно скрывали, но недолго. Сердце сказало мнѣ все; я все понимала, и понимала, что онъ считаетъ меня ребенкомъ. Это меня злило... Да, не будь этого, можетъ-быть, и ничего бы не было остального. Сначала я заставляла молчать мое странное, какъ будто съ зависти разгоравшееся чувство; я сама увѣряла себя, что я не могла бы успокоить упадшій духъ этого человѣка, что ты вѣрнѣе достигнешь этого, и таки-наконецъ, одолѣла себя, отошла отъ васъ въ сторону. Вы не видали меня за своею любовью, и я вамъ не мѣшала, но я наблюдала васъ, и тутъ-то мнѣ показалось, что я поняла Долинскаго гораздо вѣрнѣе, чѣмъ понимала его ты. Тебѣ было жаль его, тебѣ хотѣлось его

успокоить, дать ему вздохнуть, оправиться, а потомъ... жить тихо и скромно. Такъ я это понимала.

«Я была очень молода, совсѣмъ неопытна, совсѣмъ дѣвочка, но я чувствовала, что въ немъ еще много жизни, много силы, много охоты жить смѣлѣе, тверже. Я видѣла, что силѣ этой такъ не должно замереть, но что у него воля давно пришибена, а ты только о его покоѣ думаешь. Я почувствовала, что если бъ онъ любилъ меня, то я бы могла дать ему то, чего у него не было, или что онъ утратилъ: волю и смѣлость. Это льстило мой дѣтской гордости, этимъ я хотѣла *отмѣтить мою жизнь на свѣтѣ*. Но вы любили другъ друга, и я опять отошла въ сторону и опять наблюдала васъ, любя васъ обоихъ. А тутъ я заболѣла, собиралась умирать. Занося ногу въ могилу, я еще сильнѣе почувствовала мою любовь—въ страсть она переходила во мнѣ. Это было для меня чувство совершенно новое, и я, право, въ немъ не виновата. Это какъ-то сдѣлалось совсѣмъ мимо меня! Мнѣ не хотѣлось умирать не любя: мнѣ хотѣлось любить крѣпко, сильно. Это было ужасное чувство, мучительное, страшно мучительное! Тутъ поѣхали мы въ Италію; все вдвоемъ да вдвоемъ. Силъ моихъ не было съ собою бороться — хоть день, хоть часъ одинъ я хотѣла быть любимою во что бы то ни стало. Ахъ, сестра, ты простила бы мнѣ все, если бы знала, какое это было мучительное желаніе любви... обожанія, чьего-то рабства передъ собою! Это что-то дьявольское!.. Это гадко, но это было *непреодолимо*.

«Я хотѣла уѣхать, и не могла. Сатана, духъ нечистый, одинъ знаетъ, что это было за ненавистное состояніе! Порочная душа моя въ немъ сказалась что ли, или это было роковое наказаніе за мою самонадѣянность! Мало того, что я хотѣла быть любимой, я хотѣла, чтобы меня любилъ, боготворилъ, уничтожался передо мною человѣкъ, который не долженъ меня любить, который долженъ любить другую, а не меня... И чтобъ онъ ее бросилъ; и чтобъ онъ ее разлюбилъ; чтобъ онъ совсѣмъ забылъ ее для меня — вотъ чего мнѣ хотѣлось! Дико!.. Гнусно!.. Твоя кроткая душа не можетъ понять этого злого желанія. Правда, я давно любила Долинскаго, я любила въ немъ мягкаго и честнаго человѣка, ну, пожалуй, даже любила его, такъ-таки, по всѣмъ правиламъ, со всѣми операми, но... все-таки изъ этого, мо-

ъ-быть, ничего бы не было; все-таки жаль мнѣ было
я! Любила же я тебя, Аничка! знала же я, сколько тебѣ
зана! Все противъ меня было! Но какая-то лукавая сила
шептала: «передъ тобой и это все загремитъ и разсы-
тся прахомъ». Ты знаешь, Аня, что я никогда не была
еткой; это совершенная правда, я не кокетка: но я,
ако, кокетничала съ Долинскимъ, и безсовѣстно, зло
етничала съ нимъ. Не совсѣмъ это безсовѣстно было
ько потому, что я не хотѣла его влюбить въ себя и
сить, заставить мучиться, я хотѣла... или, лучше ска-
ь тебѣ, въ то время, при самой началѣ этой исторіи, я
его не объясняла себѣ, зачѣмъ я все это дѣлаю. Но
-таки я знала, я чувствовала, что это... нехорошо. Ино-
я останавливалась, вела себя ровно, но это было на
уту, да, все это бывало на одну минуту... Я опять на-
ала вертѣть его, сбивать, влюблять въ себя до безумія,
разумѣется, влюбила. Клянусь тебѣ всѣмъ, что это от-
тіе не обрадовало меня: оно меня испугало! Я въ ту
уту не хотѣла, чтобы онъ разлюбилъ тебя. Голубчикъ
! повѣрь мнѣ, что этого я не хотѣла... но... потомъ
угъ я совсѣмъ обо всемъ этомъ забыла, совсѣмъ о тебѣ
ыла, и моя злоба взяла верхъ надъ твоею кроткою, не-
бивою любовью, моя дорогая Аня: человѣкъ, котораго
любила, уже не любилъ тебя. Онъ не смѣлъ сказать
ь, что онъ любитъ меня; не смѣлъ даже самъ себѣ со-
ться въ этомъ, но онъ былъ *мой рабъ*, а я хотѣла лю-
ь, и онъ мнѣ нравился. Тутъ ужъ не было мѣста преж-
мизерикордіи, я только *любила*. Ахъ, Аня! не обвиняй
хоть ты ни въ чемъ: все это я одна, я все это надѣ-
а! Я ужъ не думала ни о комъ, ни о тебѣ, ни о немъ,
о себѣ: быть любимой, *быть любимой*—вотъ все, о чемъ
умала. Я знаю, что если бъ я жила, онъ бы со мною
погибъ; но я знала, что я недолго буду жить и что это
можетъ совсѣмъ сбить съ толку и мнѣ его не было
ке жалко. Пусть полюбитъ меня, а потомъ пусть гибнетъ.
звѣ я этого не стоила? Губятъ же люди себя опіумомъ,
пишемъ, неужто же любовь женщины хуже какого-ни-
ь глупаго опьянѣнія? Ужасайся, Аня, до чего доходила
я Дора!

«Я непремѣнно хочу разсказать тебѣ все, что должно
жить къ его оправданію въ этой каторжной исторіи».

Тутъ Даша довольно подробно изложила все, что было со дня ихъ пріѣзда въ Ниццу до послѣднихъ дней своей жизни и, заканчивая свое длинное письмо, писала:

«Теперь я умираю, ничего собственно не сдѣлавъ для него хорошаго. Но я, сестра, въ могилу все-таки уношу убѣжденіе, что этотъ человѣкъ еще многое можетъ сдѣлать, если благородно пользоваться его преданною, привязчивою натурою; иначе кто-нибудь станетъ ею пользоваться неблагородно. Онъ одинъ жить не можетъ. Это ужъ такой человѣкъ. Встрѣтитесь вы, что ли... но я тутъ ровно ничего не понимаю. Я и хочу, и не хочу этого. Все это, понимаешь, такъ странно и такъ неловко, что... Господи, что это я только напутала!» (Тутъ въ письмѣ было нѣсколько тщательно зачеркнутыхъ строчекъ и потомъ снова начиналось):

«Я бы доказала, что я могу сдѣлать этого человѣка счастливымъ и могу заставить его отряхнуться. Да, это дѣло возможное; повѣрь, возможное. Отъ того, что я умираю, оно не дѣлается невозможнымъ. Вдумайся хорошенько, и ты увидишь, что я не говорю ничего несообразнаго.

«Не зови его изъ Италіи. Пусть поскучаетъ обо мнѣ вволю. Это для него необходимо. Я вижу, что я для него буду очень серьезною потерею, и надо, чтобы онъ сумѣлъ съ собою справиться, а не растерялся, не бросился Богъ вѣсть куда. Я велѣла ему перевезти мое тѣло въ Россію. Для насъ, небогатыхъ людей, — это, разумѣется, затѣя совершенно лишняя и непростительная (хотя, каюсь тебѣ, мнѣ какъ-то пріятнѣе лежать въ родной землѣ, ближе людямъ, которыхъ я любила). Я сдѣлала это, однако, для себя. Онъ будетъ очень тосковать обо мнѣ, а все-та лучше ему оставаться здѣсь. Куда ему ѣхать въ Россію Все такъ свѣжо будетъ... такъ больно... Зачѣмъ встрѣ безъ радости? Я ему сказала, чтобы онъ перевезъ ме на трудовыя деньги. Это его заставитъ работать и буде очень хорошо, если никто не станетъ въ него вступать звать его. Все должно быть оставлено времени и моей п мяти. Я еще изъ-за гроба что-нибудь сдѣлаю... А ты, А не увлекайся своими фантазіями и поступай такъ, ка тебѣ укажутъ твое чувство и благоразуміе. Что, мой друг дѣлать, бываетъ всякое на свѣтѣ!»

Тутъ опять было нѣсколько тщательно зачеркнуты строчекъ и потомъ стояло:

«Только опять нѣтъ! Все мнѣ что-то кажется, я какъ-то предчувствую, что все это будетъ какъ-то не такъ, что будетъ какая-то иная развязка и вообрази... *я буду рада, если она будетъ иная*... Кажется, любила и сгубила... Что́ жъ дѣлать? дамъ отвѣтъ, если спросится... А, впрочемъ, не слушай лучше ты, Аня, меня — я, должно-быть, совсѣмъ сошла съ ума передъ смертью. Старайся, чтобъ было такъ, *какъ мнѣ не хочется*. Лучшаго я ничего не придумаю. Все это мнѣ представляется теперь, какъ объявляютъ на афишахъ, какимъ-то великолѣпнымъ, брильянтовымъ фейерверкомъ, и вотъ этотъ фейерверкъ весь сгорѣлъ до тла и около меня сгущается мракъ, сѣрый, непроглядный мракъ, могила... А нельзя было не сжечь его! Онъ такъ хорошо, такъ дивно хорошо горѣлъ!.. Говорю тебѣ одно, что если бы ты умерла прежде меня, я бы... нѣтъ, я ничего не знаю.

«*Я ничего не знаю*, и это выходитъ *все*, что́ я сумѣла сказать тебѣ въ этой послѣдней попыткѣ, моя мать, сестра и лучшій земной другъ мой! Я умираю, однако, въ полномъ убѣжденіи, что ты поняла мою исповѣдь и простила меня. Прощай, мой добрый ангелъ! Прощай издалека. Какъ бы я хотѣла тебя видѣть въ мои послѣднія минуты!.. Какъ я хочу вѣрить, что я увижу тебя! Да, я тебя увижу: я вызову тебя. Я вѣрю въ души, въ силу душъ, и я тебя вызову! Разстояній нѣтъ. Ихъ нѣтъ, потому что ты теперь со мною! Я вижу, какъ ты меня прощаешь. Ты благословляешь твою безнравственную сестру... спасибо. Совсѣмъ мнѣ плохо; едва дописываю эти строки. Пора въ походъ безвѣстный... Вотъ она, когда близится роковая загадка-то! Иду смѣло, смѣло иду! Интересно знать, что́ тамъ такое? Можетъ-быть, въ самомъ дѣлѣ, буду ждать васъ? но хочу, чтобы ждала какъ можно дольше, и боюсь только, что «въ мірѣ иномъ другъ друга ужъ мы не узнаемъ»

«Любите же и помните вашу мертвую Дору.»

«Ницца».

«PS. Если бы слѣпою волею рока это письмо мое когда-нибудь стало извѣстно высоконравственному міру, Боже, какъ бы перевернули высоконравственные люди въ могилѣ мои бѣдныя кости! Съ какими бы процентами заплатили мнѣ всѣ опять-таки высоконравственныя дамы за все презрѣніе, которое я всегда чувствовала къ ихъ фарисейской нравственности. Развѣ одна ты, милосердная, вдохнови-

тельная, всесильная любовь, вложишь въ чьи-нибудь грѣшныя и многолюбящія или многолюбившія уста слово въ мое оправданіе! Сорвалось съ петлей! Не умѣла любить вполовину сердца, а всѣмъ полюбишь—на полдорогѣ не остановишься. Прощай, и еще разъ прости меня, мертвеца, бѣднаго и болѣе никому уже не вредящаго.

«Совсѣмъ забыла про Журавку—онъ обидится. Поцѣлуй его за меня: онъ любилъ меня, нашъ добрый, маленькій человѣчекъ съ большимъ сердцемъ. Аннѣ Анисимовнѣ, всему нашему маленькому, тихому мірку, всѣмъ дѣвушкамъ, всѣмъ кланяюсь и у всѣхъ прошу себѣ всякаго прощенья».

Анна Михайловна поплакала, еще разъ перечитала письмо и легла въ постель. Много горячихъ и добрыхъ слезъ ея упало этою безконечною для нея ночью.

— Что̀ теперь впереди? Кому, на что̀ нужна моя жизнь и зачѣмъ она самой мнѣ, эта жизнь, въ которой все милое пропало, все вымерло?—спрашивала себя она, обтирая заплаканное лицо.

Совершенно разбитая, Анна Михайловна рано утромъ встала и написала Долинскому:

«Печальное извѣстіе о смерти Дорушки меня поразило, потому что ни одинъ изъ васъ даже не извѣщалъ меня, что ей сдѣлалось хуже. Однако, я давно была къ этому готова и желаю, чтобы ты какъ можешь спокойнѣе перенесъ нашу потерю. Я прошу тебя остаться въ Ниццѣ, пока я выхлопочу позволеніе перевезти въ Петербургъ тѣло Доры. Это не будетъ очень долго и ты вѣрно не откажешь въ новомъ одолженіи мнѣ и покойницѣ. Я очень скучаю теперь и вдвое буду рада каждой твоей строчкѣ. Извини, что я пишу такъ мало: самъ, вѣрно, понимаешь, что мнѣ не до словъ».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Сладкія начала злого недуга.

Долинскій все грустилъ о Дорѣ и никуда не выходилъ. Аристократъ-ботаникъ два раза заходилъ къ нему, но, замѣтивъ, что его посѣщенія въ тягость одичавшему хозяину, пересталъ его навѣщать. Старуха нѣсколько разъ посылала приглашать Долинскаго къ себѣ обѣдать—онъ всякій разъ упорно отказывался и даже сердился, что его трогаютъ. Дома онъ все ходилъ въ раздумьѣ по Дашиной комнатѣ и

ровно ничѣмъ не занимался. Ночами спалъ мало и то все Дору безпрерывно видѣлъ во снѣ. Это его радовало. Онъ очень полюбилъ свои сновидѣнія, онъ жилъ въ нихъ и незамѣтно сталъ отыскивать въ нихъ какой-то таинственный смыслъ и значеніе. Долинскій незамѣтно началъ строить такія положенія, что Даша не вся умерла для него; что она живетъ гдѣ-то и вовсе не потеряла возможности съ нимъ видѣться. Ему начало сниться, что она откуда-то приходитъ ночами, сидитъ у его изголовья и говоритъ ему живыя ласковыя рѣчи, и онъ сердился, когда разумъ говорилъ ему, что это только сонъ, только такъ кажется. Онъ всегда слово отъ слова помнилъ все, что̀ ему говорила ночью Дора, и всегда находилъ въ ея рѣчахъ тотъ же умъ и тотъ же характеръ, которыми дышали ея прежніе разговоры. Странно и неестественно было теперешнее состояніе Долинскаго, и въ такомъ состояніи онъ получилъ знакомое намъ письмо Анны Михайловны, а ночью ему опять снилась Дора. Она вошла въ комнату, тихо сѣла возлѣ Долинскаго на краю кровати и положила ему на лобъ свою исхудалую ручку. Лицо Доры было такъ же прекрасно, но сдѣлалось совсѣмъ прозрачнымъ. Она была въ томъ же бѣломъ платьицѣ, въ которомъ ее схоронили; у ея голубого кушака былъ высоко отрѣзанъ одинъ конецъ, а съ лѣвой стороны надъ вискомъ выбивались изъ-подъ бѣлыхъ розъ неровно остриженные рукою Вѣры Сергѣевны волосы.

Долинскому казалось, что все существо Доры блеститъ какимъ-то фосфоричнымъ свѣтомъ, и онъ закрытыми глазами видѣлъ, какъ она ему улыбнулась, слышалъ, какъ она сказала:—здравствуй, мой милый!—и чувствовалъ, что она положила ему на голову свою ручку.—Я на тебя сердита теперь!—говорила Дора.—Я тебя просила работать для меня, а ты все скучаешь, все ничего не дѣлаешь. Нехорошо! Скучать нечего, я всегда съ тобой. Мнѣ хорошо, я васъ вижу всѣхъ теперь. Встань, мой другъ, пиши, я хочу, чтобъ ты писалъ, чтобъ ты отвезъ меня въ Россію. Здѣсь у насъ все чужіе въ могилахъ. Встань же! встань! работай, — звала она, потряхивая его за плечо. Долинскій вскакивалъ, открывалъ глаза—въ комнатѣ ничего не было. Онъ вздыхалъ и засыпалъ снова, и Даша немедленно слетала къ нему снова и успокаивала его, говорила, что ей хорошо, что она всѣхъ любитъ.—А глазами, говорила она,

на меня смотрѣть нельзя; никогда не смотри на меня глазами!—Возьми же, возьми меня съ собой!—вскрикивалъ во снѣ Долинскій.—Нельзя, мой другъ, нельзя,—тихо отвѣчала Даша. — Я не пущу тебя! — опять вскрикивалъ Долинскій въ своемъ тревожно-сладкомъ снѣ, протягивалъ руки къ своему видѣнію и обнималъ воздухъ, а разгоряченному его воображенію представлялась уносившаяся вдалекѣ по синему ночному небу Дора. Сновидѣнія эти не прекращались. Наконецъ, разъ какъ-то Даша явилась Долинскому съ сморщеннымъ лбомъ, сказала: — работай, или я въ наказаніе тебѣ не буду навѣщать тебя и мнѣ будетъ скучно.

Прошло три ночи и Даша сдержала свое слово: ни на одно мгновеніе не привидѣлась она Долинскому.

Несторъ Игнатьичъ очень серьезно встревожился. Онъ на четвертый день вскочилъ съ разсвѣтомъ и сѣлъ за работу. Повѣсть сначала не вязалась, но онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе, и работа пошла удачно. Онъ писалъ, не вставая, весь день и далеко за полночь, а передъ утромъ заснулъ въ креслѣ, и Дора тотчасъ же выдѣлилась изъ сѣраго предразсвѣтнаго полумрака, прошла своей неслышной поступью и, поцѣловавъ Долинскаго въ лобъ, сказала:— умникъ, умникъ—работай.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Птицы пѣвчія.

Дней десять кряду Долинскій работалъ. Повѣсть подвигалась впередъ и, по мѣрѣ того, какъ онъ втягивался въ работу, мысли его приходили въ порядокъ и къ нему возвращалось не спокойствіе, а тихая грусть, которая ничему не мѣшаетъ и въ которой душа только становится выше, чище, снисходительнѣе. Проработавъ одну такую ночь до самаго разсвѣта, совершенно усталый, онъ взглянулъ въ открытое окно Дашиной спальни. Занавѣска не была опущена и робкій свѣтъ вмѣстѣ съ утренней прохладой свободно проникалъ въ комнату. Несторъ Игнатьевичъ задулъ свѣчу и, прислонясь къ креслу, сталъ смотрѣть въ окно. Свѣжій вѣтерокъ тихо скользилъ несмѣлыми порывами, слегка шевелилъ волосами Долинскаго и скоро усыпилъ его. Въ окнѣ, по обычаю, тотчасъ же показалась Дора. Она нынче была какъ-то смѣлѣе обыкновеннаго; смотрѣла

него въ окно, улыбалась и, шутя, говорила: — Неудобь,
а!—Долинскій разсмѣялся.
Во время этого сна, по стекламъ что-то слегка стукнуло
ъ-другой, еще и еще. Долинскій проснулся, отвелъ
ою разметавшіеся волосы и взглянулъ въ окно. Высокая
щина, въ легкомъ бѣломъ платьѣ и коричневой соло-
ной шляпѣ, стояла передъ окномъ, поднявъ кверху руку
зонтикомъ, ручкой котораго она только стучала въ верх-
стекло окна. Это не была золотистая головка Доры—
было хорошенькое, оживленное личико съ черными,
ыми глазками и французскимъ носикомъ. Однимъ сло-
ъ, это была Вѣра Сергѣевна.
— Какъ вамъ не стыдно, Долинскій! Пропадаете, бѣ-
те отъ людей и спите въ такое прекрасное утро.
— Ахъ, простите, Вѣра Сергѣевна! — отвѣчалъ, скоро
нимаясь, Долинскій. — Я знаю, что я невѣжа и много
оватъ передъ вашимъ семействомъ и особенно передъ
и, за все...
— Да все хандрите?
— Да, все хандрю, Вѣра Сергѣевна.
— Чего же вы прячетесь-то?
— Нѣтъ, я, кажется, не прячусь.
— Помилуйте! Посылала за вами и брата, и людей—
ъ кладъ зачарованный не даетесь. Чего ты спите въ
ое время, въ такое прелестное утро? Вы посмотрите,
за рай на дворѣ:

Я пришла сюда съ привѣтомъ
Разсказать, что солнце встало,
Что оно горячимъ свѣтомъ
По листамъ затрепетало.

оворила весело Вѣра Сергѣевна.
— Да, очень хорошо, — отвѣчалъ Долинскій, застѣнчиво
баясь.
— Но вы все-таки не подумайте, что я пришла къ вамъ
твенно съ докладомъ о солнцѣ! я—эгоистка и пришла
жить на васъ обязательство.
— Приказывайте, Вѣра Сергѣевна.
— Вы непремѣнно должны сейчасъ проводить меня. Мнѣ
ется далеко пройтись берегомъ, а брата нѣтъ: онъ въ
ни уѣхалъ.
— Вѣра Сергѣевна! я вѣдь никуда не хожу.

— Ну, такъ пойдемте.

— Право...

— Право, невѣжливо держать у окна даму и торговаться съ нею. Vous comprenez, c'est impoli! Un homme comme il faut ne fait pas celà.

— Да что же дѣлать, если ужъ я не un homme comme il faut.

— Ну, однако, я буду ждать васъ на бульварѣ, — сказала Вѣра Сергѣевна и, поклонясь слегка Долинскому, отошла отъ его окна.

Несторъ Игнатьевичъ освѣжилъ лицо, взялъ шляпу и вышелъ изъ дома въ первый разъ послѣ похоронъ Даши. На бульварѣ онъ встрѣтилъ m-lle Онучину, поклонился ей, подалъ руку, и они пошли за городъ. День былъ восхитительный. Горячее итальянское солнце золотыми лучами освѣщало землю и на землѣ все казалось счастливымъ и прекраснымъ подъ этимъ солнцемъ.

— Поблагодарите меня, что я васъ вывела на свѣтъ Божій,—говорила Вѣра Сергѣевна.

— Покорно васъ благодарю, — улыбаясь, отвѣтилъ Долинскій.

— Скажите, пожалуйста, что это вы спите въ эту пору?

— Я работалъ ночью и только утромъ вздремнулъ.

— А! это другое дѣло. Выходитъ, я дурно сдѣлала, что васъ разбудила.

— Нѣтъ, я вамъ благодаренъ!

Долинскій проходилъ съ Вѣрой Сергѣевной часа три очень усталъ и разсѣялся. Онъ зашелъ къ Онучинымъ обедать и ѣлъ съ большимъ аппетитомъ.

— Вы простите меня, Бога-ради, Серафима Григорьевна, — началъ онъ, подойдя послѣ обѣда къ старухѣ Онучиной. — Я вамъ такъ много обязанъ и до сихъ поръ не собрался даже поблагодарить васъ.

— Полноте-ка, Несторъ Игнатьевичъ! Это все дѣти хлопотали, а я ровно ничего не дѣлала, — отвѣчала старая аристократка.

Долинскій хотѣлъ узнать, сколько онъ остался должнымъ, но старуха уклонилась и отъ этого разговора.

— Кириллъ, — говорила она: — пріѣдетъ, тогда съ ним поговорите, Несторъ Игнатьевичъ; я, право, ничего не знаю.

Вѣра Сергѣевна послѣ обѣда открыла рояль, сыграла

нѣсколько мѣстъ изъ Нормы и прекрасно спѣла: *Ты для меня душа и сила.*

Долинскому припомнился канунъ св. Сусанны, когда онъ почти несъ на своихъ рукахъ ослабѣвшую, стройную Дору, и изъ этого самаго дома слышались эти же самые звуки, далеко разносившіеся въ тихомъ воздухѣ теплой ночи.

«Все живо, только ея нѣтъ»,—подумалъ онъ.

Вѣра Сергѣевна словно подслушала думы Долинскаго и съ необыкновеннымъ чувствомъ и задушевностью запѣла:

Ахъ, покиньте меня,
Разлюбите меня
Вы, надежды, мечты золотыя!
Мнѣ ужъ съ вами не жить,
Мнѣ васъ не съ кѣмъ дѣлить,—
Я одинъ, а кругомъ все чужіе.
Много мукъ вызналъ я,
Былъ и другъ у меня,
Но надолго насъ съ нимъ разлучили.
Тамъ подъ черной сосной,
Надъ шумящей волной
Друга спать навсегда положили.

— Нравится это вамъ?—спросила, быстро повернувшись лицомъ къ Долинскому, Вѣра Сергѣевна.

— Вы очень хорошо поете.

— Да, говорятъ. Хотите еще что-нибудь въ этомъ родѣ?

— Я радъ васъ слушать.

— Такъ въ этомъ родѣ, или въ другомъ?

— Что̀ вы хотите, Вѣра Сергѣевна. — Въ этомъ, если вамъ угодно,—добавилъ онъ черезъ секунду.

Вьется ласточка сизокрылая
Подъ моимъ окномъ, одинешенька;
Подъ моимъ окномъ, подъ косящатымъ,
Есть у ласточки тепло гнѣздышко.

Вѣра Сергѣевна остановилась и спросила:

— Нравится?

— Хорошо,—отвѣчалъ чуть слышно Долинскій.

Вѣра Сергѣевна продолжала:

Слезы горькія утираючи,
Я гляжу ей вслѣдъ вспоминаючи...
У меня была тоже ласточка,
Сизокрылая душа-пташечка,
Да свила ужъ ей судьба гнѣздышко,
Во сырой землѣ вѣковѣчное.

— Вѣра!—крикнула изъ гостиной Серафима Григорьевна.

— Что̀ прикажете, maman?

— Терпѣть я не могу этихъ твоихъ панихидъ.

— Это я для m-r Долинскаго, maman, пѣла, — отвѣчала Вѣра Сергѣевна, и искоса взглянула на своего вдругъ омрачившагося гостя.

— Другого голоса недостаетъ, я привыкла пѣть это дуэтомъ,—произнесла она, какъ бы ничего не замѣчая, взяла новый аккордъ и запѣла: *По небу полуночи.*

— Вторите мнѣ, Долинскій, — сказала Вѣра Сергѣевна, окончивъ первыя четыре строфы.

— Не умѣю, Вѣра Сергѣевна.

— Все равно, какъ-нибудь.

— Да я дурно пою.

— Ну, и пойте дурно.

Онучина взяла аккордъ и остановилась.

— Тихонько будемъ пѣть, — сказала она, обратясь къ Долинскому.— Я очень люблю это пѣть тихо, и это у меня очень хорошо идетъ съ мужскимъ голосомъ.

Вѣра Сергѣевна опять взяла аккордъ и снова запѣла; Долинскій удачно вторилъ ей довольно пріятнымъ баритономъ.

— Отлично!—одобрила Вѣра Сергѣевна.

Она артистично выполнила какую-то трудную итальянскую арію и, взявъ непосредственно затѣмъ новый, сразу щиплющій за сердце аккордъ, запѣла:

Ты не пой, душа дѣвица,
Пѣснь Италіи златой,
Очаруй меня, пѣвица,
Пѣснью родины святой.
Все родное сердцу ближе,
Сердце чувствуетъ сильнѣй.
Ну, запой же! Ну, начни же!
«Соловей, мой соловей».

Долинскій не выдержалъ и самъ безъ зова присталъ къ голосу пѣвицы, тронувшей его за ретивое.

— Charmant! Charmant! — произнесъ чей-то незнакомый голосъ, и съ террасы въ залу вступила высокая старуха, съ строгимъ, немножко желчнымъ лицомъ, въ очкахъ и съ сѣдыми буклями. За нею шелъ молодой господинъ, совершеннѣйшій петербургскій comme il faut настоящаго времени.

Это была княгиня Стугина, бывшая помѣщица, вдова, ѣкогда звѣзда восточная, нынѣ Богъ знаетъ что такое — оба, всѣмъ недовольная и все осуждающая. Обиженная едостаткомъ вниманія отъ молодой петербургской знати, ягиня уѣхала въ Ниццу и живетъ здѣсь четвертый годъ, аня заурядъ все русское и все заграничное. Молодой ловѣкъ, сопровождающій эту особу, былъ единственный нъ ея, молодой князь Сергѣй Стугинъ, получившій мѣсто и одномъ изъ русскихъ посольствъ въ западныхъ госуарствахъ Европы. Онъ ѣхалъ къ своему мѣсту и завер-лъ на нѣсколько дней повидаться съ матерью.

Онучины очень обрадовались молодому князю: онъ былъ ѣжій гость изъ Россіи и, слѣдовательно, могъ сообщить мыя свѣжія новости, что и какъ тамъ дома. Сергѣй Сту-нъ былъ человѣкъ весьма умный и, очевидно, не кисъ еди мелкихъ и однообразныхъ интересовъ своей узкой еды бомонда, а стоялъ au courant съ самыми разнооб-зными вопросами отечества.

— Крестьяне даже мои, напримѣръ, крестьяне не хотятъ платить мнѣ оброка,—жаловалась Серафима Григорьевна.— кажите, пожалуйста, отчего это, князь?

— Вѣроятно, въ томъ выгодъ не находятъ, — отвѣчала мѣсто сына старуха Стугина.

— Bon, но что же дѣлать, однако, должны мы, помѣ-ики? Вѣдь намъ же нужно жить?

— А они, я слышала, совсѣмъ не находятъ и въ этомъ какой надобности,—опять спокойно отвѣчала княгиня.

Молодой Стугинъ, Вѣра Сергѣевна и Долинскій раз-ѣлись.

Серафима Григорьевна посмотрѣла на Стугина и поню-ла табаку изъ своей золотой табакерки.

— Ваша maman иногда говоритъ ужасныя вещи,—отнес-ь она шутливо къ князю.—Просто, самой яростной де-краткой является.

— Это неудивительно, Серафима Григорьевна. Во-пер-хъ, maman, такимъ образомъ, не отстаетъ отъ отече-венной моды, а, во-вторыхъ, и, въ самомъ дѣлѣ, какой же ъ теперь аристократизмъ? Все смѣшалось, всѣ ровны ановимся.

— Кнутьями болѣе никого, слава Богу, не порютъ,—под-азала старая княгиня.

— Мужики и купцы покупаютъ земли и становятся такими же помѣщиками, какъ и вы, и мы, и Рюриковичи, и Гедиминовичи,—досказалъ Стугинъ.

— Ну... вѣдь въ васъ, князь, въ самомъ есть частица рюриковской крови,—добродушно замѣтила Онучина.

— У него она, кажется, въ дѣтствѣ вся носомъ вытекла,—сказала княгиня, не то съ неуваженіемъ къ рюриковской крови, не то съ легкой ироніей надъ сыномъ.

Старая Онучина опять понюхала табаку и тихо молвила:

— Говорятъ... не помню, отъ кого-то я слышала: разводы ужъ будто у насъ скоро будутъ?

— Едва ли скоро. По крайней мѣрѣ, я ничего не слыхалъ о разводахъ,—отвѣчалъ князь.

— Это удивительно! Твой дядюшка только о нихъ и умѣетъ говорить,—опять вставила Стугина.

Князь улыбнулся и отвѣтилъ, что Онучина говоритъ совсѣмъ не о полковыхъ разводахъ.

— Ахъ, простите, пожалуйста!—серьезно извинялась княгиня. — Мнѣ, когда говорятъ о Россіи и тутъ же о разводахъ — всегда представляется плацпарадъ, трубы и мой братъ, Кесарь Степанычъ, съ крашеными усами. Да и на что намъ другіе разводы?—Совсѣмъ не нужно.

— Совершенно лишнее,—поддерживалъ князь. — У насъ есть новые люди, которые будутъ безъ всего обходиться.

— Это *нигилисты?*—воскликнула m-lle Вѣра.—Ахъ, разскажите, князь, пожалуйста, что вы знаете объ этихъ забавныхъ людяхъ?

Князь не имѣлъ о нигилистахъ чудовищныхъ понятій, ходившихъ насчетъ этого страннаго народа въ нѣкоторыхъ общественныхъ кружкахъ Петербурга. Онъ разсказывалъ очень много курьезнаго о ихъ нравахъ, обычаяхъ, стремленіяхъ и образѣ жизни. Всѣ слушали этотъ разсказъ съ большимъ вниманіемъ; особенно слѣдилъ за нимъ Долинскій, который узнавалъ въ разсказѣ развитіе идей, оставленныхъ имъ въ Россіи еще въ зародышѣ, и старая княгиня Стугина, Серафима Григорьевна, тоже слушала, даже и очень неравнодушно. Она не одинъ разъ перебивала Стугина вопросомъ:

— Ну, а позвольте, князь... Какъ же они того, что бишь, я хотѣла это спросить?..

Стугинъ останавливался.

— Да, вспомнила.—Какъ они этакъ...
— Живутъ?
— Нѣтъ, не живутъ, а, напримѣръ, если съ ними встрѣ-
шься, какъ они... въ какомъ родѣ?
Князь не совсѣмъ понялъ вопросъ; но его мать спокойно
смотрѣла черезъ свои очки и подсказала:
— Я думаю, должно-быть что-нибудь въ родѣ Ягу, ко-
рые у Свифта.
— Что̀ это за Ягу, княгиня?
— Ну, будто не помните, что̀ Гуливеръ видѣлъ? На ко-
рыхъ лошади-то ѣздили? Ну, люди такіе, или нелюди
кіе: лохматые, грязные?
— Ну, что̀ это?—воскликнула Серафима Григорьевна.—
ужто, князь, они, въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ родѣ?
— Немножко,—отвѣчалъ, смѣясь, Стугинъ.
— Полагаю, трудно довольно отличить коня отъ всад-
ка,—поддержала сына княгиня.
— Ну, что̀ это! Это ужъ даже непріятно! — опять вос-
кцала Онучина, воображая, вѣроятно, какъ косматые пе-
бургскіе Ягу лазятъ по деревьямъ въ Лѣтнемъ саду,
на елагинскомъ пуантѣ и швыряютъ сверху всякими
нистотами.—И женщины такія жъ бываютъ? — спросила
черезъ секунду.
— Два по̀ла въ каждомъ родѣ должны быть необходимо—
аче родъ погибнетъ.
— Это ужасно! А, впрочемъ, вѣдь я какъ-то читала, что
иллы въ Африкѣ, или шампаньэ, тоже будто уносятъ къ
ѣ женщинъ?
Серафима Григорьевна вся содрогнулась.
Князь Сергій очень распространился насчетъ отношеній
гилистокъ къ нигилистамъ и, владѣя хорошо языкомъ,
зсказалъ нѣсколько очень забавныхъ анекдотовъ.
— Дуры!—произнесла, по окончаніи разсказа, Серафима
игорьевна.
— И пожить-то какъ слѣдуетъ не умѣютъ! — смотря че-
зъ очки, добавила княгиня.
— Но это все презабавно,—замѣтила Вѣра Сергѣевна и
шла съ молодымъ княземъ на террасу.
— Довоспиталась сторонушка! дозрѣла! Скотный дворъ
стоящій дѣлается!—презрительно уронила Стугина.

Серафима Григорьевна понюхала съ особеннымъ удовольствіемъ табачку и, улыбнувшись, спросила:

— Вы, Елена Степановна, помните Вастилу?

— Княжну Палагею Никитишну? — спросила, немножко надвинувъ брови, Стугина.

— Да.

— Ну, кто жъ ея не помнитъ.

— Но, впрочемъ, та вѣдь... то все-таки совсѣмъ въ другомъ родѣ?

— Ну, еще бы!

Старушки обѣ задумались.

— Или княгиню Мареу Викторовну въ ту пору, какъ она съ своимъ мужемъ разсталась? — спросила Серафима Григорьевна опять черезъ минуту.

— Ужъ именно!—отвѣчала, покачавъ головой, Стугина.

— Бѣсъ въ нее вселился. Очень ужъ проказила!

— Проказила княгиня; но какъ хороша-то была!

Серафима Григорьевна съ умиленіемъ смотрѣла на стѣну: вообразивъ передъ собою воспоминаемую княгиню Мареу Викторовну.

Теперь, въ свою очередь, Стугина понюхала табачку и, какъ бы нехотя, спросила:

— Да, была хороша, точно... да съ кѣмъ, бишь, она изъ Россіи-то пропала?

— Изъ Россіи?—Изъ Россіи она уѣхала съ этимъ... какъ его?.. ну, да все равно—съ французскимъ актеромъ, а потомъ была наѣздницей въ циркѣ, въ Лондонѣ; а послѣ князя Петра, ужъ за границей, ужъ самой сорокъ лѣтъ было, съ молоденькой и съ прехорошенькой женой развела... Такая грѣховодница!

— А потомъ-то! потомъ-то! — опять воскликнула, оживляясь, Серафима Григорьевна.

— Да, съ галерникомъ, я слышала, въ Алжиръ бѣжала.

— Страшный былъ такой!

— Помню я его — арабъ, весь оливковой, носъ, глаза... весь страсть неистовая! Точно, что чудо какъ былъ интересенъ. Она и съ арабами, вѣдь, кажется, кочевала. Кажется, такъ? Ее тамъ встрѣтилъ одинъ мой знакомый путешественникъ—давно это, ужъ лѣтъ двадцать. У какого-то шейха, говорятъ, была любовницею, что ли.

— Да, да, да; и имъ-то, и этимъ шейхомъ-то даже какъ

енкомъ управляла!—подсказывала, все болѣе оживляясь двигаясь на креслѣ, Серафима Григорьевна.

— Или княжна Агриппина Лукинишна!—произнесла она ѣзъ минуту, смотря пристально въ глаза Стугиной.

— Княжна Содомская, какъ называлъ ее дядя Леонъ,— ронила въ видахъ поясненія Стугина.—Не люблю ея.

— За что, княгиня?

— Такъ, ужъ черезчуръ какъ-то она... спеціалистка была икая.

— Ну, не говорите этого, душечка княгиня; въ Сибири себя вела, можетъ-быть, какъ никто.

— Что же это именно? что за мужемъ въ ссылку-то шла? Очень великое дѣло.

— Нѣтъ-съ, мало что пошла, а какъ жила? что вынесла?

— Я думаю, ничуть не больше другихъ.

— Сама бѣлье ему стирала, сама щи варила, въ юртѣ кой-то жила...

— Ну, и что жъ тутъ такого? что жъ тутъ такого удительнаго?

— Да вонъ кузенъ Grégoire — вы знаете, вѣдь его послѣ листіи тоже возвратили.

— Слышала.

— Говоритъ, что всѣ они — эти несчастные декабристы, орые были вмѣстѣ, иначе ее и не звали, какъ матерью: мъ, говоритъ, бывало, на работу изъ казармы — зимою, полѣ темно еще, а она сидитъ на снѣжку съ корзиной пешки намъ раздаетъ—всякому по лепешкѣ. А мы, бы-о: мама, мама, мама, наша родная, кричимъ и лѣземъ ь на лету ручку ея поцѣловать.

Серафима Григорьевна сморгнула слезу и кашлянула.

— Какъ, бывало, увидимъ ее, — продолжала Серафима игорьевна: — какъ только еще издали завидимъ ее, всѣ кимъ и кричимъ: «мама наша идетъ! родная идетъ!» — сѣмъ какъ галченята.

Серафима Григорьевна не совладѣла съ слезой и должна на отвернуться.

— Это прекрасно все, — начала тихо Стугина: — только оизма-то все-таки тутъ никакого нѣтъ. Бабки наши ли терпѣть, какъ имъ ноздри рвали и руки выверты-и, а тутъ — что жъ тутъ такого, скажите на милость?.. е бы въ несчастіи бросить!

— А вѣдь бросаютъ же, княгиня,—возразила, поворачиваясь, Серафима Григорьевна.

— Приказничихи или поповны, очень можетъ быть—не стану спорить.

— Ну, нѣтъ, княгиня, я знаю... я вотъ теперь слышала про одну, совсѣмъ не приказничиху, а...

— Ахъ, помилуйте, ma chère Серафима Григорьевна! не знаю, кого вы такую знаете, или про кого слышали; но во всякомъ случаѣ, если это не приказничиха, такъ какая-нибудь другая personne méprisable, о которой все-таки говорить не стоитъ.

Серафима Григорьевна помолчала и потомъ, смакуя каждое свое слово, произнесла:

— А я, какъ вы хотите, все опять къ княжнѣ Агрипинѣ. Какъ тамъ хотите говорите, ну, а все... изъ этакой роскоши... изъ свѣта... и въ какую-то дымную юрту... Ужасно!

— Вы это такъ говорите, какъ будто бы вы сами не пошли бы ни за что?

— Ахъ, нѣтъ; Боже меня сохрани? Не дай Богъ такого несчастья; но, разумѣется, пошла бы.

— Ну, такъ что же вы такъ восхваляете княжну Агрипину Лукинишну! Конечно, все-таки и она была не бишка какая-нибудь, а все-таки женщина; но вѣдь, повторяю, если такія ничтожныя вещи ставить женщинѣ въ особую заслугу, такъ, я думаю, очень много найдется имѣющихъ совершенно такія же права на дань точно такого же изумленія.

— Ахъ, Боже мой! представьте, я вѣдь совершенно забыла, что вѣдь и вы тоже...

— Да я что тамъ была—безъ году недѣлю... а, впрочемъ, да: бѣлье мужу тоже стирала и даже послѣ мужниной смерти пироги нашимъ арестантамъ верстъ за семь въ лоткѣ носила.

— По снѣгу!

— Какой наивный вопросъ, ma chère Серафима Григорьевна!— Княгиня весело засмѣялась. — Вы, пожалуйста, не сердитесь, что я смѣюсь: я вспомнила, какъ вы боитесь снѣгу.

— Ахъ, ужасъ! Зима это... это... оцѣпенѣніе; это... я просто не знаю, что это такое.

Стугина смотрѣла въ открытую дверь и вспомнила что—то особенно для нея милое и почтенное.

— Нѣтъ, вотъ,—сказала она, вздохнувъ:—вотъ графиню
ну, да ея гувернантку... Какъ она называлась: Eugénie,
Eudoxie, этихъ женщинъ стóитъ вспомнить и передъ
нами ихъ поклониться.
Въ комнатѣ наступила минута безмолвной тишины, какъ
въ память этихъ двухъ женщинъ, передъ одними име-
ш которыхъ хотѣла поклониться непреклонная, сѣдая го-
а Стугиной.
— Въ этотъ разъ, когда вы были въ Россіи, вы не ви-
и графини Нины? — спросила она послѣ паузы Ону-
у.
— Нѣтъ, не удалось мнѣ побывать за Москвою.
— Сестра моя, Анна, была у нея въ монастырѣ. Пи-
ъ, что это живой мертвецъ, совершенная, говоритъ, ада-
за голова, обтянутая желтой кожей.
Серафима Григорьевна опять повернулась на креслѣ и,
дя въ растворенное окно, нервно обрывала на колѣнѣ
ено-сѣрый, бархатный листочекъ «Люби-да-помни».
— Да, — произнесла она черезъ минуту: — да, умѣли ку-
ть, но и любить умѣли.
— Люди были; «былъ вѣкъ богатырей», какъ написалъ
выдовъ.
— А нынче все это... какая-то...
— Дребедень,—рѣшила княгиня.
— Все это какъ-то... что-то такое хотятъ дѣлать, и все...
— Наши старыя платья наизнанку, по бѣдности своей,
ашиваютъ, — закончила княгиня, поправляя на вискахъ
и сѣдыя букли.
— И этотъ царь!— проговорила она, складывая съ уми-
іемъ свои аристократическія руки и снова улетая въ
е прошедшее.—Этотъ божественный, прекрасный Але-
ндръ Павловичъ! этотъ благороднѣйшій рыцарь! этотъ
нтльменъ съ головы до ногъ!
— Какіе люди и какое время было!
— То-то, добавляйте, пожалуйста, всегда: *было*,—заклю-
а Стугина.
Старушки помолчали, поносились въ сферѣ давно минув-
го; потихоньку вздохнули и опять взошли въ свое сѣдое
тоящее. Самъ Ларошфуко, такъ хорошо знавшій о чемъ
калѣютъ подъ старость женщины, не совсѣмъ бы вѣрно
гадалъ эти два тихіе, сдержанные вздоха, со всею бѣ-

шеною силою молодости вырвавшіеся изъ родимой ихъ отцвѣтшей, старушечьей груди.

Во время этой бесѣды, безмолвнымъ слушателемъ которой оставался одинъ Долинскій, на тепло прогрѣтую землю спустился сине-розовый итальянскій вечеръ; Вѣра Сергѣевна съ молодымъ Стугинымъ вернулись съ террасы и всѣмъ вздумалось пройтись къ морю. Дорогой княгиня совсѣмъ потеряла свой желчный тонъ и даже очень оживилась; она разсказала нѣсколько скабрезныхъ исторіекъ изъ маловѣдомаго намъ міра и вѣка, и каждая изъ этихъ исторіекъ была гораздо интереснѣе свѣтскихъ романовъ одной русской писательницы, по мнѣнію которой влюбленный человѣкъ «хорошаго тона» въ самую горячечную минуту страсти ничего не можетъ сдѣлать умнѣе, какъ съ большимъ жаромъ поцѣловать ея руку и *прочесть ей слѣдующее стихотвореніе Альфреда Мюссе.* Стихотвореніе это я не выписываю, опасаясь, чтобы оно не ко времени не припомнилось кому-нибудь изъ моихъ читателей, которому еще суждено въ жизни увидѣть

Рядъ волшебныхъ измѣненій
Милаго лица.

Я не хочу, чтобъ эти прекрасные стихи заставили впечатлительнаго несчастливца возненавидѣть очень хорошаго поэта Альфреда Мюссе.

Долинскій слушалъ разсказы княгини, порою смѣялся и вообще былъ занятъ, былъ заинтересованъ ими не меньше всѣхъ прочихъ слушателей. Онъ возвратился домой въ такомъ веселомъ расположеніи духа, въ какомъ не чувствовалъ себя еще ни разу съ самой смерти Доры.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Не кается, а плющится.

Долинскій зажегъ у себя огонь и прошелся нѣсколькоразъ по комнатѣ, потомъ раздѣлся и легъ въ постель, мышляя о добромъ старомъ времени. Онъ уснулъ подъ впечатлѣніями, навѣянными на него разсказомъ строгихъ старушекъ.

— «Вотъ взойдетъ въ свою пору Вѣра Сергѣевна,— малъ онъ, засыпая:—и она, пожалуй, будетъ дѣлать такіе же чудеса. Отчего же ей ихъ и не дѣлать?.. А теперь еще, кажется, дѣвушка хорошая. Любить ей очень хоче

оворила Даша, да почему Даша это могла знать?.. Вздоръ то... А какая у нея, однако, фигура! Рукая какая... У Доры ыла крошечная лапка, но не такая. И какая грація во всемъ! Раса, значитъ.—Конечно, онѣ не рождены для вдохновеній и молитвъ; но бедуинкой—на арабскомъ конѣ разъѣзжать съ оливковымъ шейхомъ...» И вотъ видится Долинскому Вѣра Сергѣевна на огневомъ арабскомъ конѣ, а возлѣ ея статный шейхъ въ бѣломъ плащѣ, и этотъ шейхъ самъ онъ Долинскій. «Поскачемъ», говоритъ ему Вѣра Сергѣевна, и они несутся, несутся; кругомъ палящій зной, въ сонномъ воздухѣ тихо дремлютъ одинокія пальмы; изъ мелкаго кустарника выскочилъ желтый левъ, прыгнулъ и, притаясь, легъ вровень съ травою. — «Не отставай!» говоритъ ему Вѣра Сергѣевна, оскорбляя своего скакуна ударомъ. «Не отставай!» повторяетъ она, уносясь отъ него далѣе. «Не отставай же, не отставай!» кричитъ она чуть слышно, совсе исчезая изъ его глазъ за красною чертою огненнаго горизонта. Конь Долинскаго ни съ мѣста, онъ храпитъ и пятится. На небѣ темнѣетъ, надвигаетъ ночь, лошадь Долинскаго все дрожитъ, все мнется и на немъ самомъ не плащъ, а бѣлый холщевый саванъ, и лошадь его ужъ совсѣмъ не лошадь, а сѣрый волкъ. «Утки крякнули, берега всякнули, море взболталось, тростники всколыхались, проснается гамаюнъ - птица, шевелится зеленый боръ», заискалъ, стукая челюстями, сѣрый волкъ. «Хочешь, я спою тебѣ веселую пѣсенку?» спрашиваетъ сѣрый волкъ и, не ожидаясь отвѣта, затягиваетъ: «Вѣчная память, вѣчная память». «Ничто, мой другъ, не вѣчно подъ луною!» съ веселымъ хохотомъ прокричала бѣшено пронесшаяся мимо его на своемъ скакунѣ Вѣра Сергѣевна. «Ничто, мой другъ, не вѣчно подъ луною», внушительно разсказываетъ Долинскому долговязый шейхъ, раскачиваясь на высокомъ сѣдлѣ. Долинскій только хотѣлъ вглядѣться въ этого шейха, но его уже не было, и его бѣлый бурнусъ развѣвается въ темнотѣ возлѣ стройной фигуры Вѣры Сергѣевны.

Долинскій хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ около него зашевелилась трава, вдругъ она начала расти и расти, такъ что слышно было, какъ она растетъ. Росла она шибко и высоко—выше роста человѣческаго; изъ нея отовсюду безпрестанно вылетали огненные свѣтляки и во всѣхъ направленіяхъ описывали правильныя, блестящія параболы; въ

неподвижномъ воздухѣ спирался невыносимый зной и удушающій запахъ зеленыхъ майскихъ мушекъ.

Долинскій задыхался, а свѣтляки передъ нимъ все мелькали, и зеленыя майки качались на гнутыхъ стебляхъ травы и наполняли своимъ удушливымъ запахомъ неподвижный воздухъ, а трава все растетъ, растетъ и ужъ Долинскому и нечѣмъ дышать, и негдѣ повернуться. Отъ страшной, жгучей боли въ груди онъ болѣзненно вскрикнулъ, но голосъ его беззвучно замеръ въ сонномъ воздухѣ пустыни, и только переросшая траву задумчивая пальма тихо покачала ему своей печальной головкой.

Долинскій проснулся, тяжело вздохнулъ и оглянулъ комнату. Стѣны чуть сѣрѣли слабымъ превосходнымъ мерцаніемъ и прямо передъ лицомъ Долинскаго едва обрисовывалась на гвоздѣ соломенная шляпа Доры. «Дайте мнѣ, пожалуйста, эту шляпу», попросила его Вѣра Сергѣевна, чуть только онъ заснулъ снова. «Я скакала, ахъ, какъ я скакала цѣлую ночь!» весело говорила она ему, вся пылая свѣжимъ румянцемъ: «и вообразите, я потеряла мою шляпу въ Африкѣ. — Тамъ теперь растетъ ужасная трава, въ которой ничего нельзя найти. Вы знаете эту траву?»

— «О, я ее очень хорошо знаю», подумалъ Долинскій.

— А если знаешь,—заговорила Вѣра Сергѣевна, — такъ подавай же мнѣ скорѣй, скорѣе подавай мнѣ эту шляпу своей мертвой Доры. Голосъ у Вѣры Сергѣевны былъ рѣзкій, какъ трескъ дѣтскаго барабана, но такой голосъ, что нервы его трепетали и мышцы сами спѣшили исполнять ея капризы.—Тише, тише! закричала ему Вѣра Сергѣевна, когда Долинскій коснулся руками полей Дорушкиной шляпы. Долинскій оглянулся.—Развѣ не видишь, что тамъ паутина? Тамъ пауки сидятъ, мерзкіе, скверные пауки живутъ въ этой гадкой шляпѣ! И ты думалъ, что я ее надѣну! И ты это думалъ!.. Ха, ха, ха! — Вѣра Сергѣевна захохотала. — Пауки? Зачѣмъ же пауки? подумалъ обиженный Долинскій и пристально взглянулъ на шляпу. Съ полей ея почти до земли падалъ длинный газовый вуаль, а подъ дымкой этого вуаля что-то бѣлѣлось. Еще секунда, и тихо, какъ легкая туманная картина, подъ нимъ обрисовывается мертвая голова Доры. Глаза ея закрыты, на лицѣ могильная сѣрая плита и подъ ней суровая печать смерти, синія уста шевелятся безъ звука. Откуда-то взялся сѣрый большой паукъ, т

ливо закосилъ всѣми своими длинными ногами, проворно робѣжалъ по мертвому лицу и скрылся на плечѣ въ золо-ыхъ кудряхъ. На лбу ворочала скользкими усиками сѣрая тѣнная мокрица. Вездѣ была сѣро-зеленоватая плѣсень, товсюду несло холодомъ и могилой.

— «Мѣсяцъ свѣтитъ, мертвецъ ѣдетъ, не боишься ли ты еня, добрый молодецъ?»—спрашиваетъ Дора.

Голосъ у нея не рѣзкій, какъ у Вѣры Сергѣевны, а ка-ой-то гулкій, круглозвучный, словно запоздалая цапля тя-кело машетъ крыльями, пролетая темной ночью надъ сон-ымъ болотомъ. И въ самомъ дѣлѣ, это совсѣмъ даже не олосъ. Уста мертвой не движутся, а могильная пыль не евелится ни на одномъ мускулѣ ея лица, и только тяже-ыя вѣки медленно распахиваются, открываютъ на мгнове-іе злые, зеленые, лишенные всякаго блеска глаза, и опять акъ же медленно захлопываются, но зеленые зрачки все ъ тою же злостью смотрятъ изъ-подъ верхняго вѣка.

— Чѣмъ же ты обижена? Скажи, чѣмъ оскорбилъ я ебя?—протягивая руки, спрашивалъ Долинскій, но вмѣсто твѣта у него надъ самымъ ухомъ прогорланилъ пѣтухъ, и другъ все сникло. Долинскій проснулся.

На дворѣ было утро, подъ окномъ расхаживалъ голоси-тый красный пѣтухъ, а изъ маленькаго чулана за пали-адникомъ раздавалось веселое кудахтанье двухъ фаворит-ыхъ куръ домовитой француженки.

Свѣжее утро не произвело на Долинскаго хорошаго влія-ія; онъ всталъ сумрачный и разстроенный: долго ходилъ ъ большомъ безпокойствѣ изъ угла въ уголъ и, наконецъ, ѣлъ за работу.

— Madame Бюжаръ! — сказалъ онъ, когда француженка одала ему кофе:—я впередъ не буду поднимать шторы.

— Bon,—отвѣчала хозяйка.

— А вы, madame Бюжаръ, если кто меня будетъ спраши-ать, говорите всѣмъ, что я боленъ.

— C'est bien, monsieur.

— Что я ушелъ куда-нибудь или уѣхалъ,—ну, какъ тамъ отите.

— C'est ça, monsieur.

— Hélas! pauvre diable, comme il est triste! — говорила рануженка, выходя отъ постояльца и съ состраданіемъ качая своей сѣдой головою.

олинскій въ этотъ день работалъ по обыкновенію, до ыхъ сумерекъ. Никто его не отвлекалъ и не безпокоилъ. редъ вечеромъ m-me Бюжаръ принесла ему обѣдъ.

— Madame, — сказалъ онъ ей: — не носите мнѣ болѣе ѣда.

— Mon Dieu! не хотите ли вы уморить себя голодомъ.

— Нѣтъ, я боленъ. Вы мнѣ покупайте немножко зелени хлѣба. Я болѣе ничего не могу ѣсть.

Француженка молча смотрѣла на него во всѣ глаза.

— Adieu, madame Бюжаръ, — сказалъ онъ, взявъ и пожавъ ея руку.

Старуха только изумлялась.

— Это чортъ знаетъ что такое,—говорилъ порывисто, ьскочивъ и торопливо запирая на ключъ свою дверь, Долинскій.—Какое мнѣ дѣло до этихъ барынь и до ихъ тамъ какихъ-то подвиговъ? что мнѣ тамъ такое!—повторялъ онъ, кипятясь и съ негодованіемъ бѣгая изъ угла въ уголъ.— Что мнѣ за дѣло до ихъ какихъ-то свѣтскихъ скандаловъ, или до какихъ-то Ягу! У меня пропало, *пропало* съ земли все, чѣмъ мнѣ милъ былъ свѣтъ бѣлый, а я буду утѣшаться! Буду смѣяться! слушать! разговаривать! О чемъ мнѣ разговаривать, когда *все умерло*, сгинуло, пропало, *сгнило*...

Онъ сердито повернулъ въ сторону, сѣлъ къ столу и упорно, не разгибаясь, работалъ до вечера. Къ сумеркамъ Долинскій, значительно успокоенный, снова долго ходилъ изъ угла въ уголъ по залѣ. Машинально онъ иногда останавливался передъ какою-нибудь одною вещью, осматривалъ ее, трогалъ рукою и опять шелъ далѣе, до новаго желанія тронуться до чего-нибудь другого. Остановясь у столика, на которомъ стояла лампа, онъ вытащилъ изъ-подъ нея небольшую книжечку избранныхъ мыслей изъ ученія Спинозы, перелистовалъ небрежно страницы и вдругъ остановился. Между двумя печатными листками, спокойно и молчаливо притаясь, лежалъ листокъ почтовой бумаги, на которомъ было сдѣлано нѣсколько короткихъ замѣтокъ рукою Доры, и въ концѣ послѣдней замѣтки прибавлено: «сегодня до 87-й стр.». Стояло число, шедшее за три дня до ея смерти.

Долинскій посмотрѣлъ замѣтки и, подойдя къ окну, пробѣжалъ три страницы далѣе Дорушкиной закладки, отпесъ

книгу на столъ въ комнату Доры и самъ снова вышелъ въ залу. Въ его маленькой, одинокой квартирѣ было совершенно тихо. Городской шумъ только изрѣдка доносился сюда съ легкимъ вѣтеркомъ черезъ открытую форточку и въ ту же минуту замиралъ.

Настала ночь. Взошедшая луна, ударяя въ стекла окна, кидала на полъ три полосы блѣднаго свѣта. Въ воздухѣ было свѣжо; съ надворья пахло померанцами и розой. Въ форточку, весело гудя, влетѣлъ ночной жукъ, шибко треснулся съ разлета о стѣну, зажужжалъ и отчаянно завертѣлся на своихъ роговыхъ надкрыльяхъ.

Долинскій остановился, бережно взялъ со стола барахтавшагося на спинкѣ жука и поднесъ его на ладони къ открытой форточкѣ. Жукъ дрыгнулъ своими пружинистыми ножками, широко разставилъ въ стороны крылья, загудѣлъ и понесся. Съ надворья въ лицо Долинскому пахнула ароматная струя чрезмѣрно теплаго воздуха; ласково шевельнула она его сухими волосами, какъ будто что-то шепнула на ухо и безслѣдно разлилась по комнатѣ.

— Собака... кошка... мышь — жива, а нѣтъ Корделіи! Вотъ этотъ жукъ летаетъ лунной ночью, а Дора мертвая лежитъ въ сырой могилѣ!—мелькнуло въ головѣ Долинскаго.

Онъ продолжалъ стоять у окна и глядѣлъ въ открытую форточку на дремлющіе въ тѣни кусты и цвѣточныя клумбы. Луна била ему прямо въ лицо и ярко обливала своимъ желтымъ свѣтомъ всю верхнюю часть его тѣла.

Если бы въ это время кто-нибудь увидѣлъ въ форточкѣ его красивое до мертвенности блѣдное лицо, эффектно освѣщенное луною, тотъ непремѣнно отскочилъ бы отъ него въ сторону, и поневолѣ вспомнилъ бы одну изъ очаровательныхъ легендъ о душахъ, бродящихъ на землѣ въ ожиданіи прощенія своихъ земныхъ согрѣшеній. Уставшіе глаза Долинскаго смотрѣли съ тихою грустью и безпредѣльною добротою, и какъ-то совсѣмъ ничего земного не было въ этомъ взглядѣ; въ лицѣ его тоже ни одинъ мускулъ не двигался, и даже, кажется, самое сердце не билось. Это былъ Наль, разлученный съ своей Дамаянти; это было воплощеніе идеи духа, для котораго нѣмы всѣ пѣсни земли, который знаетъ другія пѣсни и полонъ томительнаго желанія снова услышать ихъ памятные звуки.

Долинскій, въ самомъ дѣлѣ, не былъ съ самимъ собою.

Словно на волшебныхъ крыльяхъ воспоминаніе его облетало все ему нѣкогда милое, все живущее далеко и спящее въ своихъ тихихъ тробахъ. Дѣтство, сердитый старикъ Днѣпръ, раздольная заднѣпровская пойма, облитая такимъ же серебристымъ свѣтомъ; сестра съ курчавой головкой, братъ, отецъ въ синихъ очкахъ съ огромной четьи-минеей, мать, Анна Михайловна, Дора—все ему было гораздо ближе, чѣмъ онъ самъ себѣ и оконная рама, о которую онъ опирался головою. Онъ совсѣмъ видѣлъ эту широкую пойму, эти песчаные острова, заросшіе густой лозою, которой вольнолюбивый черторей каждую полночь начинаетъ разсказывать про ту чудную долю—минувшую, когда пойма цѣлымъ Днѣпромъ умывалась, а въ головы горы клала и степью укрывалась; видѣлъ онъ и темный, черный боръ, заканчивающій картину; онъ совсѣмъ видѣлъ Анну Михайловну, слышалъ, что̀ она говоритъ, зналъ, что̀ она думаетъ: онъ видѣлъ мать и чувствовалъ ея присутствіе; съ нимъ неразлучна была Дора. Они были гдѣ-то. *Гдѣ же?* Гдѣ-то, гдѣ и онъ; да и что за дѣло, гдѣ?.. Но она есть; она существуетъ... — *Умерла!*—говоритъ себѣ Долинскій, стоя въ своемъ прежнемъ положеніи.—И что жъ такое, что умерла?—Нѣтъ ея; *совсѣмъ нѣтъ*—сгнила... Эта воля, эта душа, этотъ умъ — все; все это *сгнило*... Столько жизни пропало безъ слѣда... что жъ я люблю теперь... въ чемъ тѣла нѣтъ, нѣтъ жизни; ни тѣни нѣтъ, ни звука слабаго...

Среди жуткаго ночного безмолвія, за спиною Долинскаго что-то тихо треснуло и зазвучало, какъ лопнувшая гитарная квинта. Долинскій вздрогнулъ и прижался къ оконницѣ. Безпокойно и съ неувѣренностью оглянулся онъ назадъ: все было тихо; мѣсяцъ прихотливо ложился широкими свѣтлыми полосами на блестящій полъ, и на одной половинѣ едва означалась новая, тоненькая трещина, которой, однако, нельзя было замѣтить при лунномъ полусвѣтѣ.

Долинскій вздохнулъ, обернулся и снова спокойно сталъ къ окошку.

— Легко какъ поддаваться суевѣрному страху! — разсуждалъ онъ, стоя попрежнему у открытой форточки.—Трескетъ что-нибудь въ пустой комнатѣ — и вздрогнешь, и готовъ пугаться, а воображеніе, по дѣтской привычкѣ, сейчасъ и подрисовываетъ, въ головѣ вдругъ пролетитъ то одно, то другое, и готовъ вѣрить, что все, что̀ кажется, то будто

непремѣнно и есть... Милые, чистые, теплые всякою вѣрою дѣтскіе годы! Куда вы минули? Куда унеслись безвозвратно?.. Все безвозвратно... Ушло и нѣтъ его, а между тѣмъ, оно живетъ въ душѣ — былое... *Въ душѣ!..* Ну, въ *чемъ-то*, вѣдь вотъ живетъ же Дора во мнѣ самомъ, въ моей любви и мукахъ... Странная мысль! Луна одна все та же, вѣчно, а мнѣ сдается даже, что я ее видалъ совсѣмъ когда-то не такою... Вонъ этотъ бѣлый мотылёкъ, что съ сумерекъ уснулъ на розовомъ листочкѣ, и дремлетъ, облитый дрожащимъ, луннымъ свѣтомъ, неужто чувствуетъ его точь-въ-точь, какъ и я?.. А можетъ-быть, что та же самая луна ему совсѣмъ иной казалась, когда, дней пять назадъ, подъ листочкомъ онъ спалъ безкрылою козявкой?.. Навѣрно такъ; его глаза теперь, конечно, видятъ все иначе и все теперь въ его сознаніи стоитъ совсѣмъ иначе... Два шага человѣческихъ съ трудомъ переползалъ онъ въ сутки и немощный выматывалъ себѣ тяжелый саванъ, и вотъ теперь— какая прелесть! два крылышка, навыкатъ глазки, жизнь въ свѣтломъ воздухѣ; воздушная любовь и сладкій сонъ на розовой постели... А онъ вѣдь, въ сущности, все тотъ же... Онъ измѣнился, да, но къ лучшему, конечно. А жукъ, который прилетѣлъ съ надворья, а я, а всѣ мы? Мы сгнить должны. Законъ природы... странно! Природа дышитъ и обновляется въ своемъ торжественномъ безсмертьи; луна ея сегодня свѣтитъ, какъ свѣтила въ ту ночь, которою въ ея глазахъ убитъ былъ братомъ Авель; и червячки съ козявками по смерти также оживаютъ, а Авель, а человѣкъ— вѣнецъ земной природы, гніетъ безслѣдно... Гдѣ Соломонъ, гдѣ эта савская царица, которая такъ рабски шла, чтобъ положить свою дань благоговѣнія къ ногамъ царя и исполина мысли?.. Неужто исчезли оба — и этотъ царь, и эта савская царица исчезли!.. Точно такъ исчезли, какъ дуралей какой-нибудь, который разгрызалъ лѣсной орѣхъ съ гораздо бо́льшимъ размышленіемъ, чѣмъ повторялъ по наслыху, что «ничто не ново подъ луною»? Не можетъ быть. Приходило ли этому дураку въ голову, какой страшный мыслъ, какая ужасная загадка положена въ этихъ пяти словахъ, которыя болталъ его языкъ? А такъ сказать, сболтнуть «ничто не ново подъ луной»—вѣдь, кажется, и очень будто просто! И всего *только пять* словъ... и мозгъ вертится, изнемогаетъ мозгъ передъ ними и... нѣтъ яснаго

отвѣта... Противорѣчій нить все путается больше, и вѣрить на слово приходится, что все живущее не ново...

Не ново!.. Нѣтъ новаго, такъ старое жъ пропасть не можетъ... Все въ экономіи природы должно существовать и самое гніеніе... одинъ пріемъ... одинъ процессъ и снова жизнь... Козявки нѣтъ — летаетъ мотылекъ; умершій Соломонъ не новъ былъ подъ луною и каждый такъ... Быть-можетъ, я ужъ жилъ когда-то? Порой вѣдь что-то помнится жъ такое, чего никакъ себѣ растолковать не можешь, какой-то свѣтъ, такой совсѣмъ не солнечный, не огненный, не лунный; слова беззвучныя и звуки страннаго значенія... Быть-можетъ, что Картушъ шнырялъ когда-нибудь лисицей прежде, иль волкомъ рыщетъ нынче Пугачевъ; Іуда въ кардинальской шапкѣ, а Каинъ въ обществѣ моравскихъ братій, и на одной ногѣ въ лѣсу стоитъ Ньютонъ дерзвишемъ. Самъ я, я думаю, что я, лѣтъ тридцать какъ всего возникшее творенье, а можетъ-быть... я жилъ еще въ Картушѣ, въ Магометѣ, или въ томъ трусѣ, который прибѣжалъ одинъ изъ термопильскаго ущелья!.. Да, наконецъ, въ моемъ отцѣ иль матери... Прямая вещь! Быть-можетъ, Соломона мысль меня смущаетъ и волнуетъ совсѣмъ не случаемъ, не спроста! Вѣдь Соломонъ живетъ? Живетъ, конечно! Не ново здѣсь ничто, такъ старому нельзя погибнуть, ибо иначе, какъ ничто не ново? Матерія! матерія и сила!.. Да вѣдь поэзія, лиризмъ — вѣдь тоже силы... А пѣсня! Неужели жъ не сила? А музыка, которая вліяетъ на животныхъ, которую приходятъ слушать рыбы!.. А эта странная гармонія рѣчей, которыхъ «значенье пусто и ничтожно, а имъ безъ волненья внимать невозможно»? Да мало ли чего еще!.. Не всѣ жъ матеріи такъ тонки, что ихъ нашъ глазъ способенъ видѣть и отличать... Исторія видѣній, сновъ, предчувствій ясна совсѣмъ не столько, чтобы рѣшить, одно ли то живетъ, что мѣста требуетъ въ пространствѣ. А если Соломонъ теперь такъ тонокъ, такъ прозраченъ, что можетъ стать передъ моимъ окномъ и не заслонить отъ глазъ моихъ листка, гдѣ дремлетъ этотъ мотылекъ? Не новъ онъ будетъ, но иной. Кто докажетъ мнѣ, что его нѣтъ?.. Вѣдь что жъ такое скептицизмъ? Ну, фараонова тощайшая корова, которая, сожравъ свою тучнѣйшую сестру, все такъ тоща, что сердце у нея стучитъ по голымъ ребрамъ?.. Вѣдь позволительно же вѣрить въ то, по

райней мѣрѣ, что по землѣ ходили лица, устъ своихъ не сквернявшія ни лестью и ни ложью... Неужто я живу олько пока я ѣмъ, ношу сюртукъ и сплю? Жизнь вѣчная ѣчна, какъ эта вся природа, какъ мысль, живущая въ мѣняющихъ другъ друга поколѣніяхъ. Читала Дора Спинозу и умерла, не дочитавъ половины. Шутила, говорила, то выучится думать хорошенько, вотъ и выучилась. Вотъ ечатный Спиноза цѣлъ и на столѣ развернутый лежалъ се время съ ея смерти, а ея нѣтъ... Я вотъ теперь три истка просмотрѣлъ подалѣе, подалѣе того, гдѣ остановиась Дора, и что жъ она теперь: на три страницы далѣе ли ближе отъ Спинозы? Иль, можетъ-быть, она оттуда винтъ и читаетъ? Иль, можетъ-быть, не сны одни мнѣ снятся, въ самомъ дѣлѣ, для нея не нужны двери и, измѣненная, на владѣетъ средствомъ съ струею воздуха влетать сюда, дѣсь быть со мной и снова носиться и даже черныя фиурки буквъ способна различать... Нелѣпый бредъ! Луна еня тревожитъ: лучи ея какъ будто падаютъ мнѣ прямо ъ мозгъ и въ сердце. Что̀ умерло, то спитъ и не придетъ еревернуть рукой забытую страницу.

Долинскій хотѣлъ отойти отъ окна и вдругъ страшно здрогнулъ и по тѣлу его побѣжали мурашки. Въ комнатѣ окойной Доры тихо и отчетливо перевернулась страница.

— Дѣтскій страхъ!.. мечта, послышалось мнѣ, иль просто ѣтеръ дунулъ, — говорилъ себѣ Долинскій, стараясь взять адъ собою силу, а паническій, суевѣрный страхъ самъ редупреждалъ его, а онъ бралъ его за плечи, двигалъ на оловѣ его волосы и чрезъ мгновеніе донесъ до его слуха оль же спокойный и столь же отчетливый звукъ отъ обоота второй страницы.

— Вторая,—шепнулъ дрожащими отъ ужаса губами Доинскій:—ихъ три: такъ третья, что ли, будетъ тоже?

Третья страница зашелестила, не спѣша перевалилась и, урша, легла на открытую половину.

— А тридцать-первый реформатскій полкъ правильно реировался и отступалъ къ образцовой фермѣ,—прошло вдругъ ъ головѣ Долинскаго.

— Что̀ за нелѣпость, что̀ за вздоръ такой, какой полкъ аршировалъ?—шепталъ онъ, стараясь удерживать себя и оворачивая свое лицо отъ окна въ комнату.

— Тамъ нѣтъ никого, — сказалъ онъ, и только что хо-

тѣлъ сдѣлать одинъ рѣшительный шагъ, какъ скрѣпчавшій передъ зарею вѣтерокъ разомъ надулъ тяжелыя дверныя занавѣси изъ Дашиной комнаты, полы драпировки далеко выдвинулись и запарусили.

— Кто тамъ, кто ходитъ здѣсь? — отчаянно крикнулъ нервнымъ, испуганнымъ голосомъ Долинскій.

— Уйдите отъ меня!—добавилъ онъ черезъ секунду, не сводя остраго, встревоженнаго взгляда съ длинныхъ полъ, которыя все колыхались, таинственно двигались, какъ будто кто-то въ нихъ путался и, разомъ распахнувшись, защелкали своими взвившимися углами, какъ щелкаютъ дѣтскія, бумажныя хлопушки, а по стекламъ противоположнаго окна мелькнуло нѣсколько блѣдныхъ, тонкихъ линій, брошенныхъ заходящей луною, и вдругъ все стемнѣло; передъ Долинскимъ выросла огромная мрачная стѣна, подъ стѣной могильные кресты, заросшіе глухой крапивой, по стѣнѣ медленно идетъ въ бѣломъ саванѣ Дора.

— Ахъ, уйди ты! уйди! — подумалъ больной, и стѣна, и Дора тотчасъ же исчезли отъ его думы, но зато въ темной аркѣ бѣлаго камина загорѣлся пріятный голубоватый огонь и передъ этимъ огнемъ на полу, граціозно закинувъ подъ голову руки, лежала какая-то совершенно незнакомая красивая женщина.

— Этого ничего нѣтъ,—понималъ Долинскій. Онъ отвернулся къ окну и оторопѣлъ еще болѣе: тамъ, высоко-высоко на небѣ, стояла его собственная темная тѣнь колоссальнѣйшихъ размѣровъ, а тутъ сбоку, возлѣ самой его щеки, смотрѣло на него чье-то блѣдное, смѣющееся лицо.

Разстроенное воображеніе Долинскаго долѣе не выдержало. Ему представились какія-то блѣдныя, прозрачныя тѣни — тѣни, толпящіяся въ движущихся занавѣсахъ, тѣни подъ шторою окна; вся комната полна тѣнями: тѣни у него на плечахъ и въ немъ самомъ: все тѣни, тѣни... Онъ отчаянно пожался къ окну и сильно подавленное стекло разлетѣлось вдребезги.

— А тридцать-первый реформатскій полкъ правильно ретировался и отступалъ къ образцовой фермѣ,—стояло у него въ головѣ, и затѣмъ онъ ничего не помнилъ.

Прохладный, утренній воздухъ, врываясь въ разбитое окно и форточку, мало-по-малу освѣжилъ больную голову Долинскаго. Онъ приподнялъ лицо и медленно оглянулся.

ѣ сѣрѣло, между крышъ на востокѣ неба прорѣза-
дно-розовая полоска и на узенькой дощечкѣ, подъ
мъ фронтономъ плоской крыши, гулко ворковалъ
пійся голубь. Сильная нервная возбужденность До-
смѣнилась необычайной слабостью, выражавшеюся
его распускавшейся фигурѣ и совершенно угасаю-
орѣ.

изнь!.. иная жизнь! жизнь вѣчная! — шепталъ онъ,
что-то ловя и преслѣдуя глазами, какъ бы ста-
то-то прозрѣть въ тонкомъ сѣро-розовомъ свѣтѣ
ымъ потолкомъ пустой комнаты.

протяжно и съ безконечнымъ покоемъ пронесся
ому, утреннему небу одинъ тихій звонъ маленькаго
съ круглой башни ближайшей церкви. Долинскій
лъ.

ветъ!—прошепталъ онъ, складывая на груди своей

олъ черезъ минуту опять прозвучалъ еще тише и
зывнѣй.

ветъ! зоветъ!—повторилъ больной, и блѣдное лицо
у приняло строгое, серьезное выраженіе, какое бы-
нѣкоторыхъ мертвецовъ.

здатель! пощади мой разумъ!—произнесъ онъ тверже
инуту и, какъ немощный больной, держась стѣны,
къ своей постели.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Иной путь.

и дни за днями. Изъ нихъ составлялись недѣли и
—Долинскій никуда не показывался. Къ нему нѣ-
разъ заходилъ Кириллъ Онучинъ; раза три заходила
ра Сергѣевна, но madame Бюжаръ, тщательно обе-
оего страннаго постояльца, никого къ нему не до-
Вѣра Сергѣевна въ первый мѣсяцъ исчезновенія
го послала ему нѣсколько записокъ, которыми при-
его придти, потому что ей «скучно»; въ другой
е говорила ему, что «хочетъ его видѣть» и, нако-
на писала: «Я очень разстроена. У меня горе, въ
мнѣ не къ кому прибѣгнуть, не съ кѣмъ посовѣ-
, кромѣ васъ! Васъ это можетъ удивить, если вы
что я только свѣтская кукла и ничего болѣе. Если

вы такъ думаете, то вы очень ошибаетесь. Но во всякомъ случаѣ, что бы вы ни думали обо мнѣ, я вамъ говорю, что у меня горе, большое горе. Чѣмъ я ничтожнѣе, тѣмъ оно для меня тяжелѣе. Мнѣ приходится бороться съ тяжелыми для меня требованіями и мнѣ не съ кѣмъ обдумать моего положенія, не съ кѣмъ сказать слова. Вы—человѣкъ съ сердцемъ и человѣкъ любившій; умоляю васъ, помогите мнѣ хоть однимъ теплымъ словомъ! Если вы не хотите быть у насъ, если не хотите у насъ съ кѣмъ-нибудь встрѣтиться, то завтра попозже въ сумерки, какъ стемнѣетъ, будьте на томъ мѣстѣ, гдѣ мы съ вами гуляли вдвоемъ утромъ, и ждите меня—я найду случай уйти изъ дома.

«Надѣюсь, что у васъ недостанетъ холодности отказать мнѣ въ такой небольшой, но важной для меня услугѣ, хоть наконецъ, изъ снисхожденія къ моему полу. Помните, что я буду ждать васъ и что мнѣ страшно будетъ возвращаться одной ночью. Письмо сожгите».

Трудно поручиться, достало ли бы у Долинскаго холодности не исполнить просьбу Вѣры Сергѣевны, если бы онъ прочелъ это посланіе; но онъ не читалъ ни одного изъ ея писемъ. Какъ только m-me Бюжаръ подавала ему конвертъ, надписанный рукою Вѣры Сергѣевны, онъ судорожно сминалъ его въ своей рукѣ, уходилъ въ уголъ, тщательно сжигалъ нераспечатанный конвертъ, растиралъ испепелившуюся бумагу и пускалъ пыль за свою оконную форточку. Онъ боялся всего, что можетъ хоть на одно мгновеніе отрывать его отъ думъ, сѣтованій и таинственнаго міра, создаваемаго его мистической фантазіей. Наконецъ, всѣ его оставили. Онъ былъ очень этому радъ. Окончивъ работу, онъ съ восторженностью началъ изучать пророковъ и жилъ совершеннымъ затворникомъ. А тѣмъ временемъ настала осень, получилось разрѣшеніе перевезти гробъ Даши въ Россію и пришли деньги за напечатанную повѣсть Долинскаго, которая въ свое время многихъ поражала своею оригинальностью и носила сильный отпечатокъ душевнаго настроенія автора.

Долинскому приходилось выйти изъ своего заточенія и дѣйствовать.

На другой же день, по полученіи послѣдней возможности отправить тѣло Даши, онъ впервые вышелъ очень рано изъ дома. Выхлопотавъ позволеніе вынуть гробъ и перевезти его

на желѣзную дорогу, Долинскій просидѣлъ самъ цѣлую ночь на пустомъ, отдаленномъ концѣ длинной платформы, гдѣ поставили черный сундукъ, зловѣщая фигура котораго будила въ проходившихъ тяжелое чувство смерти и заставляла ихъ бѣжать отъ этого страннаго багажа.

Долинскій не замѣчалъ ничего этого. Онъ сидѣлъ у сундука, облокотясь на него рукою, и, казалось, очень спокойно отдыхалъ отъ дневныхъ хлопотъ и бѣготни по поводу перевозки. На дворѣ совсѣмъ меркло; мимо платформы торопливо проходили къ домамъ разные рабочіе люди; прошло нѣсколько дѣвушекъ, которыя съ ужасомъ и съ любопытствомъ взглядывали на мрачный сундукъ и на одинокую фигуру Долинскаго, и вдругъ сначала шли удвоеннымъ шагомъ, а потомъ бѣжали, кутая свои головы широкими коричневыми платками и путаясь въ длинныхъ юбкахъ платьевъ. Еще позже забѣжало нѣсколько рѣзвившихся послѣ ужина мальчиковъ, и эти глянули и, забывъ свои крики, какъ бы по сигналу, молча ударились во всю мочь въ сторону. Ночь спустилась; заря совсѣмъ погасла и кругомъ все окутала темная мгла; на темно-синемъ небѣ не было ни звѣздочки, въ тихомъ воздухѣ ни звука.

Откуда-то прошла большая лохматая собака съ недоглоданною костью и, улегшись, взяла ее между передними лапами. Слышно было, какъ зубы стукнули о кость и какъ треснулъ оторванный лоскутъ мяса, но вдругъ собака потянула чутьемъ, глянула на черный сундукъ, быстро вскочила, взвизгнула, зарычала тихонько и со всѣхъ ногъ бросилась въ темное поле, оставивъ свою недоглоданную кость на платформѣ.

Когда рано утромъ тронулся поѣздъ, взявшій съ собою тѣло Доры, Долинскій спокойно поклонился ему вслѣдъ до самой до земли и еще спокойнѣе побрелъ домой.

Распорядясь такимъ образомъ, Долинскій часу въ одиннадцатомъ отправился къ Онучинымъ. Неожиданное появленіе его всѣхъ очень удивило, Долинскій также могъ бы здѣсь кое-чему удивиться.

Кирилла Сергѣевича онъ засталъ за газетами на террасѣ.

— Батюшки мои! Вы ли это, Несторъ Игнатьичъ?— вскричалъ добродушный ботаникъ, подавая ему обѣ свои руки.—Вѣра!

— Ну,—послышалось лѣниво изъ залы.

— Несторъ Игнатьичъ воскресъ и является.

Изъ залы не было никакого отвѣта и никто не показывался.

— Я принесъ вамъ мой долгъ, Кириллъ Сергѣичъ. Сколько я вамъ долженъ?—началъ Долинскій.

— Позвольте, пожалуйста! Что это, въ самомъ дѣлѣ, такое? годъ пропадаетъ и чуть перенесъ ногу, сейчасъ ужъ о долгѣ.

— Тороплюсь, Кириллъ Сергѣичъ.

— Куда это?

— Я сегодня ѣду.

— Какъ ѣдете!

— То-есть уѣзжаю. Совсѣмъ уѣзжаю, Кириллъ Сергѣичъ.

— Батюшки свѣты! Да надѣюсь, хоть пообѣдаете же вѣдь вы съ нами?

— Нѣтъ, не могу... у меня еще дѣла.

Ботаникъ посмотрѣлъ на него удивленными глазами, дескать: «а должно-быть ты, братъ, скверно кончишь», и вынулъ изъ кармана своего пиджака записную книжечку.

— За вами всего тысяча франковъ,—сказалъ онъ, перечеркивая карандашомъ страницу.

Долинскій досталъ изъ бумажника вексель на банкирскій домъ и нѣсколько наполеондоровъ и подалъ ихъ Онучину.

— Большое спасибо вамъ,—сказалъ онъ, сжавъ при этомъ его руку.

— Постойте же; вѣдь все же, думаю, захотите, по крайней мѣрѣ, проститься съ сестрою и съ матушкой?

— Да, какъ же, какъ же, непремѣнно,—отвѣчалъ Долинскій.

Онучинъ пошелъ съ террасы въ залу, Долинскій за нимъ.

Въ залѣ, въ которую они вошли, стоялъ у окна какой-то пожилой господинъ съ волосами, крашеными въ свѣтло-русую краску, и нѣмецкимъ лицомъ, и съ нимъ Вѣра Сергѣевна. Пожилой господинъ сіялъ самою благопріятною улыбкою и, стоя передъ m-lle Онучиной лицомъ къ окну, разсказывалъ ей что-то такое, что, судя по утомленному лицу и разсѣянному взгляду Вѣры Сергѣевны, не только нимало ее не интересовало, но, напротивъ, нудило ее и раздражало. Она стояла прислонясь къ косяку окна, и, сложивъ руки на груди, безучастно смотрѣла по комнатѣ. Подъ глазами Вѣры Сергѣевны были два большія синева-

ыя пятна, и ея живое, задорное личико нѣсколько затуманилось и поблѣднѣло.

Она взглянула на Долинскаго весьма холодно и едва кивнула ему головою въ отвѣтъ на его привѣтствіе.

— Баронъ фонъ-Якобовскій и г. Долинскій,—отрекомендовалъ Кириллъ Сергѣевичъ другъ другу пожилого господина и Долинскаго.

Баронъ фонъ-Якобовскій раскланялся очень въ мѣру и очень въ мѣру улыбнулся.

— Членъ русскаго посольства въ N.,—произнесъ вполголоса Онучинъ, проходя съ Долинскимъ черезъ гостиную въ кабинетъ матери.

Серафима Григорьевна сидѣла въ большомъ мягкомъ креслѣ, съ лорнетомъ въ рукѣ, читала новый нумеръ парижскаго L'Union Chrétienne.

— Ахъ, Несторъ Игнатьичъ!—воскликнула она очень радушно.—Мы васъ совсѣмъ было ужъ и изъ живыхъ выключили. Садитесь поближе; ну, что? Ну, какъ вы нынче въ своемъ здоровьѣ?

Долинскій поблагодарилъ за вниманіе, присѣлъ около хозяйкинаго кресла и у нихъ пошелъ обыкновенный полуформенный разговоръ.

— А у насъ есть маленькая новость,—сказала, наконецъ, тихонько улыбаясь, Серафима Григорьевна.—Съ вами, какъ съ нашимъ добрымъ другомъ, мы можемъ и подѣлиться, потому что вы ужъ вѣрно порадуетесь съ нами.

Долинскій никакъ не могъ понять, какимъ случаемъ онъ попалъ въ добрые друзья къ Онучинымъ; но, глядя на счастливое лицо старухи, предлагающей открыть ему радостную семейную вѣсть, довольно низко поклонился и сказалъ какое-то приличное обстоятельствамъ слово.

— Да, вотъ, нашъ добрый Несторъ Игнатьичъ, наша Вѣрушка дѣлаетъ очень хорошую партію,—произнесла Серафима Григорьевна.

— Выходитъ замужъ Вѣра Сергѣевна?

— Да, выходитъ. Это еще наша семейная тайна, но такъ мы дали слово. Вы видѣли барона фонъ-Якобовскаго?

— Да, насъ сейчасъ познакомилъ Кириллъ Сергѣичъ.

— Вотъ это ея женихъ! Какъ видите, онъ еще très galant, et tout ça... уменъ, принадлежитъ къ обществу и членъ посольства. Вѣра будетъ имѣть въ свѣтѣ очень хорошее положеніе.

— Да, конечно,—отвѣчалъ Долинскій.

— Вы знаете, онъ лифляндскій баронъ.

— Гм!

— Да, у него тамъ имѣніе около Риги. Они вѣдь, эти лифляндцы, знаете, не такъ, какъ мы русскіе; мы все ѣдимъ другъ-друга да мараемъ, а они лѣсенкой.

— Да, это такъ.

— Лѣсенкой, лѣсенкой, знаете. Одинъ за другимъ цапъ-царапъ, цапъ-царапъ—и всѣ наверху.

Долинскій, въ качествѣ добраго друга, сколько умѣлъ, порадовался семейному счастью Онучиныхъ и сталъ прощаться со старушкой. Несмотря на всѣ просьбы Серафимы Григорьевны, онъ отказался отъ обѣда.

— Ну, Богъ съ вами, если не хотите съ нами проститься какъ слѣдуетъ.

— Ей-Богу, не могу, тороплюсь,—извинялся Долинскій.

Старушка положила на столъ нумеръ L'Union Chrétienne и пошла проводить Долинскаго.

— Вы къ намъ зимою въ Петербургѣ заходите, — говорила необыкновенно счастливая и веселая старуха, когда Долинскій пожалъ въ залѣ руку Вѣры Сергѣевны и пробурчалъ ей какое-то поздравленіе. — Мы вамъ всегда будемъ рады.

— Мы принимаемъ всѣхъ по четвергамъ, — сухо проговорила Вѣра Сергѣевна.

— Да и такъ запросто когда-нибудь, — звала Серафима Григорьевна.

Долинскій раскланялся, скользнулъ за двери и на улицѣ вздохнулъ свободно.

— Очень жалкій человѣкъ, — говорила барону фонъ-Якобовскому умиленная ниспосланной ей благодатью Серафима Григорьевна вслѣдъ за ушедшимъ Долинскимъ. — Былъ у него какой-то романъ съ довольно простой дѣвушкой, онъ схоронилъ ее и вотъ никакъ не утѣшится.

— Онъ такъ и смотритъ влюбленнымъ въ луну, — отвѣчалъ, въ мѣру улыбаясь, баронъ фонъ-Якобовскій.

Вѣра Сергѣевна не принимала въ этомъ разговорѣ никакого участія, лицо ея попрежнему оставалось холодно и гордо, и только въ глазахъ можно было подмѣтить слабый свѣтъ горечи и досады на все ее окружающее.

Вѣра Сергѣевна выходила замужъ не то, чтобы насильно, но и не своей охотой.

Долинскій, возвратясь домой, засталъ свои чемоданы совершенно уложенными и готовыми. Не снимая шляпы и пальто, онъ дружески расцѣловалъ m-me Бюжаръ и уѣхалъ на желѣзную дорогу за два часа до отправленія поѣзда.

— Вы въ Петербургъ? — спрашивала его, совсѣмъ прощаясь, madame Бюжаръ.

Долинскій какъ будто не разслышалъ и вмѣсто отвѣта крикнулъ:

— Adieu, madame.

Въ ожиданіи поѣзда, онъ, въ тревожномъ раздумьѣ, бѣгалъ по пустой платформѣ амбаркадера, останавливался, брался за лобъ, и какъ только открылась касса для перваго очередного поѣзда, взялъ мѣсто въ Парижъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Батиньельскія голубятни.

Несторъ Игнатьевичъ въ Парижѣ поселился въ крошечной комнаткѣ пятаго этажа одного большого дома въ Батиньелѣ. Занятое имъ помѣщеніе было далеко не изъ роскошныхъ и не изъ комфортабельныхъ. Вся комнатка Долинскаго имѣла около четырехъ аршинъ въ квадратѣ, съ однимъ небольшимъ, высокопродѣланнымъ окномъ и неуклюжимъ дымящимъ каминомъ, на которомъ, вмѣсто неизбѣжныхъ часовъ съ бронзовымъ пастушкомъ, пренеловко разстегивающимъ корсетъ своей бронзовой пастушки, одиноко торчалъ молящійся гипсовый амуръ, весь немилосердно засиженный мухами. Меблировка этой комнаты состояла изъ небольшого круглаго столика, кровати съ дешевыми ситцевыми занавѣсами, какого-то историческаго комода, на которомъ было выцарапано: Beuharnais, Oginsky, Podwysocky, Ian, nalit wody w zban, и многое множество другихъ историческихъ и неисторическихъ именъ, болѣе или менѣе удачно и тщательно произведенныхъ гвоздемъ и рукою скучавшаго и, вѣроятно, нищенствовавшаго жильца. Кромѣ этихъ вещей, въ комнатѣ находилось три кресла: одно — временъ Лудовика XIV (это было самое удобное), одно — временъ первой республики и третье — временъ нынѣшней имперіи. Послѣднее было кресло дешевое, простой базарной работы и могло стоять только будучи при-

ставленнымъ въ уголъ, ибо всѣ его ножки давнымъ-давно шатались и расползались въ разныя стороны. Зато все это обходилось неимовѣрно дешево. Цѣлая такая комната, съ креслами трехъ замѣчательнѣйшихъ эпохъ французской государственной жизни, съ водой и прислугой (которой, впрочемъ, de facto не существовало), отдавалась за пятнадцать франковъ въ мѣсяцъ. Такихъ каморокъ, по сторонамъ довольно широкаго и довольно длиннаго коридора, едва освѣщавшагося по концамъ двумя полукруглыми окнами, было около тридцати. Каждая изъ нихъ была отдѣлена одна отъ другой дощатою, или пластинною, толсто оштукатуренными перегородками, черезъ которую, однако, можно было свободно постучать и даже покричать своему сосѣду. Обитателями этихъ покоевъ были люди самые разнокалиберные; но все-таки можно сказать, что преимущественно здѣсь обитали швеи, цвѣточницы, вообще молодыя, легко смотрящія на тяжелую жизнь, дѣвушки и молодые, а иногда и не совсѣмъ молодые, даже иногда и совсѣмъ старые люди, самыхъ разнообразныхъ профессій. На каждой изъ сѣрыхъ дверей этихъ маленькихъ конурокъ грязноватою желтою краскою написаны подъ-рядъ свои нумера, а на нѣкоторыхъ есть и другія надписи, сдѣланныя просто кускомъ мѣла. Послѣднія надписи бываютъ *постоянныя*, красующіяся иногда цѣлые мѣсяцы, и *временныя*, появляющіяся и исчезающія въ одинъ и тотъ же день, въ который появляются. Очень рѣдко случается, что подобная надпись переживаетъ сутки и никогда двухъ. Къ числу первыхъ принадлежатъ мѣловыя начертанія, гласящія: «Cécile», «Pélagie», «Mathilde», la couturière, «Psyché», «Nymphe des bois», «Pol et Pepol», «Anaxagou—étudiant», «Le petit Mathusalem» или: «Frappez fort s'il vous plait!» и т. п.

Временныя же, преимущественно однодневныя надписи, болѣе все въ слѣдующемъ родѣ: «Je n'ai point d'habit», «Cela est probable», «J'en suis furieux!!!» (внизу неимовѣрный вензель), «Pouvez-vous me dire, où il demeure?» (опять вензель, или четная буква), «Je crains, que la machine ne sorte des rails», «Nous serons revenus de bonne heure», и т. п. Иногда на дверяхъ отсутствующей хозяйки являются надписи и болѣе прямого значенія, напримѣръ, подъ именемъ какой-нибудь швеи Клемансъ и цвѣточницы

Арно, вдругъ въ одинъ прекрасный день является вопросъ: «Pouvez-vous nous loger pour cette nuit?» подписано «F. et R.» или: «Je n'ai presque rien mangé depuis deux jours.— Que faire?»

На дверяхъ комнаты, занятой Долинскимъ, стояло просто «№ 11», и ничего болѣе. Съ правой стороны на дверяхъ подъ № 12 было написано еще «Marie et Augustine—gantières», а съ лѣвой подъ № 10—«Népomucène Zaionczek—le prêtre».

Въ жилищахъ этого рода, сосѣди по комнатѣ имѣютъ для каждаго жильца свое и даже весьма немаловажное значеніе. Вообще веселый, непретендательный, ссудливый сосѣдъ, не успѣетъ водвориться, какъ снискиваетъ себѣ доброе расположеніе своихъ ближайшихъ сосѣдей и особенно сосѣдокъ, изъ которыхъ одна, а иногда и двѣ непремѣнно разсчитываютъ въ самомъ непродолжительномъ времени (иногда даже съ перваго же дня) сдѣлаться его любовницей. Зато плохой, вздорливый и придирчивый сосѣдъ — чистое несчастье. Сами гризеты чаще всего начинаютъ бояться такихъ господъ, избѣгаютъ съ ними встрѣчи и даютъ имъ разныя ядовитыя клички; но выжить строптиваго жильца «изъ коридора» гризеты никакъ не сумѣютъ. Это удается только тогда, если «весь коридоръ» обозлится (что бываетъ довольно рѣдко), или если строптивый человѣкъ надоѣстъ ближайшимъ своимъ сосѣдямъ изъ студентовъ.

Перчаточницы Augustine и Marie были молодыя, веселыя, безпечныя дѣвочки, бѣгавшія за работой въ улицу Loret и распѣвавшія дома съ утра до ночи скабрезныя пѣсенки непризнанныхъ поэтовъ Латинскаго квартала. Обѣ эти дѣвочки были очень хорошенькія и очень хорошія особы, съ которыми можно было прожить цѣлую жизнь въ отношеніяхъ самыхъ пріятельскихъ, если бы не было очевидной опасности, что пріязнь скоро перейдетъ въ чувство болѣе теплое и грѣшное. Marie и Augustine были тоже очень довольны своимъ «одиннадцатымъ нумеромъ», но только съ одной стороны. Имъ очень нравилась его скромность, услужливость, готовность подѣлиться кофе, сыромъ, хлѣбомъ и т. п. Но что̀ это былъ за сосѣдъ, съ которымъ ни пойти, ни поѣхать, ни посидѣть вмѣстѣ, который не позоветъ ни къ себѣ, ни самъ не придетъ поболтать? «Un ours», прозвали его гризеты, и очень часто на него дулись. Но, не-

смотря на нелюдимость Долинскаго, и Augustine, и Marie, и даже всѣ другія жилицы коридора со второго же дня появленія его здѣсь положили, что онъ bon homme и что его надо приласкать—даже непремѣнно надо.

Зато № 10, m-r le prêtre Népomucène Zaionczek, давно стоялъ поперекъ горла рѣшительно всѣмъ своимъ ближайшимъ сосѣдямъ. Это былъ несносный, желчный старикъ съ сѣрыми, сухими глазами, острымъ, выдающимся впередъ подбородкомъ и загнутыми внизъ углами губъ. Гризеты называли его «полиціймейстеромъ» и отворачивались отъ него какъ только онъ показывался въ коридорѣ. M-r le prêtre Zaionczek обыкновенно сидѣлъ дома. Онъ выходилъ только два, много три раза въ недѣлю въ существующую на Батиньелѣ польскую школу и разъ вечеромъ въ воскресенье ѣздилъ на омнибусѣ куда-то къ St.-Sulpice. Все остальное время онъ проводилъ въ своей комнаткѣ и постоянно или читалъ, или дѣлалъ какія-то выписки. Его посѣщали здѣсь довольно странные люди и нѣсколько пышныхъ грандіозныхъ дамъ, которыхъ онъ провожалъ, называя графинями и княгинями. Сосѣдями Zaionczeka было замѣчено, что всѣ его гости были исключительно поляки и польки. Личность и положеніе Заіончека возбуждали вниманіе и любопытство всѣхъ голубей и голубокъ этой парижской голубятни, но никто не имѣлъ этого любопытства настолько, чтобы упорно стремиться къ уясненію, что̀, въ самомъ дѣлѣ, за птица этотъ m-r le prêtre Zaionczek и что̀ такое онъ дѣлаетъ, зачѣмъ сидитъ на этомъ батиньельскомъ чердакѣ? Давно, еще вскорѣ за тѣмъ, какъ Заіончекъ здѣсь поселился, кто-то болтнулъ вдругъ, что m-r le prêtre Zaionczek гадатель, что онъ отлично гадаетъ на картахъ и можетъ предсказать все, за сколько вамъ угодно лѣтъ впередъ. Нѣсколько человѣкъ повторили эту тонкую догадку и къ вечеру того же дня, двѣ или три гризеты, трясясь и замирая, собирались идти и попросить суроваго Заіончека погадать имъ о запропавшихъ любовникахъ. Но вдругъ разнеслась вѣсть, что Monsieur le professeur Grélot, который живетъ здѣсь на голубятнѣ уже болѣе трехъ лѣтъ и котораго всѣ гризеты называютъ grand papa и считаютъ своимъ оракуломъ, выслушавъ явившееся насчетъ Заіончека соображеніе, сомнительно покачалъ головою. Всѣ тотчасъ тоже сами покачали головами и съ тѣхъ поръ вовсе оставили добиваться, что̀

акое этотъ загадочный m-r le prêtre, а продолжали называть его попрежнему «полиціймейстеромъ». Это названіе келчный старикъ получилъ потому, что его сварливый характеръ и привычка повелѣвать не давали ему покоя и на батиньельскомъ чердакѣ. Чуть только гдѣ-нибудь по сосѣдству къ его номеру, послѣ десяти часовъ вечера слышался откуда-нибудь веселый разговоръ, смѣхъ, или хотя самый ничтожный шумъ, m-r le prêtre выходилъ въ коридоръ со свѣчою въ рукѣ, неуклонно текъ къ двери, изъ-за которой раздавались голоса, и, постучавъ своими костлявыми пальцами, грозно возглашалъ: «Ne faites point tant de bruit!» и затѣмъ держалъ столь же мѣрное теченіе къ своему номеру, съ полною увѣренностью, что обезпокоившій его шумъ непремѣнно прекратится. И шумъ, точно, прекращался. Съ жильцами этой батиньельской вершины, m-r le prêtre не имѣлъ никакого сообщества, и съ тѣхъ поръ, какъ онъ тутъ поселился, отъ него никто не слыхалъ болѣе, кромѣ: «Ne faites point de bruit». Въ комнатѣ Заіончека тоже никто изъ здѣшнихъ жильцовъ никогда не былъ и комната эта была предметомъ постояннаго любопытства, потому что madame Vache, единственная слуга и надзирательница этой вышки, разсказывала объ этой комнатѣ что-то столь заманчивое, что у всѣхъ почти одновременно родилось непобѣдимое желаніе взглянуть на чудеса этого неприступнаго покоя. Нѣкоторыми отчаянными смѣльчаками обоего пола (по преимуществу прекраснаго) съ тѣхъ поръ было предпринято нѣсколько очень обдуманныхъ экспедицій съ спеціальною цѣлію осмотрѣть полиціймейстерскую берлогу, но всѣ эти попытки обыкновенно оставались совершенно безуспѣшными. Въ присутствіи Заіончека объ этомъ невозможно было и думать, потому что нѣсколькихъ дерзкихъ, являвшихся къ нему попросить взаймы свѣчи или спичекъ, онъ, не открывая двери, безъ всякой церемоніи посылалъ прямо къ какому-нибудь крупному чорту, или разомъ ко сто тысячамъ рядовыхъ дьяволовъ. А уходя изъ дому, Заіончекъ постоянно уносилъ ключъ съ собою. Любопытные видали въ замочную скважину: дорогой варшавскій коверъ на полу этой комнаты; окно, задернутое зеленою тафтяною занавѣскою, большой черный крестъ съ бѣлымъ изображеніемъ распятаго Спасителя и низенькій налой краснаго дерева, съ зеленою бархатною подушкой

внизу и большою развернутою книгою на верхней наклонной доскѣ.

Въ существѣ комната Заіончека и не имѣла ничего необыкновеннаго. Конечно, сравнительно она была очень недурно меблирована, застлана мягкимъ ковромъ, увѣшана картинами, всегда чисто убрана и далеко превосходила прохладныя и пустоватыя каморки другихъ бѣдныхъ жильцовъ голубятни, но все-таки она далеко не могла оправдать восторженныхъ описаній madame Vache.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Батиньельскіе отшельники.

Долинскій, поселившись на Батиньелѣ, разсчитывалъ здѣсь найти болѣе покоя, чѣмъ въ Латинскомъ кварталѣ, гдѣ онъ могъ бы жить при своихъ скудныхъ средствахъ, о восполненіи которыхъ нимало не намѣренъ былъ много заботиться.

Съ самаго пріѣзда въ Парижъ онъ не повидался ни съ однимъ изъ своихъ прежнихъ знакомыхъ, а прямо занялъ одиннадцатый нумеръ между Заіончекомъ и двумя хорошенькими перчаточницами, и засѣлъ въ этой комнатѣ почти безвыходно. Несторъ Игнатьевичъ не писалъ изъ своего убѣжища никакихъ писемъ никому и самъ ни отъ кого не получалъ ни строчки. Выходилъ онъ иногда въ недѣлю разъ, иногда разъ въ мѣсяцъ и всегда возвращался съ какою-нибудь новою книгою. Каждый его выходъ всегда значилъ ни болѣе, ни менѣе, что новая книга прочитана и потребовалась другая. M-r le prêtre Zaionczek, встрѣтясь два или три раза съ своимъ новымъ сосѣдомъ, посмотрѣлъ на него самымъ недружелюбнымъ образомъ. Казалось, Заіончекъ досадовалъ, что Долинскій такъ долго лишаетъ его удовольствія хоть разъ закричать у его дверей:

— Ne faites pas de bruit.

Изъ ближайшихъ сосѣдей Нестора Игнатьевича короче другихъ его знали m-lle Augustine и Marie, но и m-lle Augustine скоро перестала обращать на него всякое вниманіе и занялась другимъ сосѣдомъ-студентомъ, помѣстившимся въ № 13, и только одинокая Marie никакъ не могла простить Долинскому его невниманія. Она часто стучалась къ нему вечерами, находя что-нибудь попросить или возвратить. Всегда она находила ласковый отвѣтъ, услужливость

и болѣе ничего. Marie выходила нѣсколько разъ, оглядываясь и поводя своими говорящими плечиками; Долинскій оставался спокойнымъ и протягивалъ руку къ оставленной книгѣ.

— Что̀ это вы читаете, добрый сосѣдъ? — спрашивала иногда Marie и, любопытствуя, смотрѣла на корешокъ книги. Тамъ всегда стояло что-нибудь въ такомъ родѣ: «La religion primitive des Indo-Europeens par m-r Flotard», или «Bible populaire», или что-нибудь такое же.

M-lle Marie терялась, что̀ это за удивительный экземпляръ, этотъ ея смирный сосѣдъ.

— Ну, что твой баккалавръ? — освѣдомлялась иногда у нея, возвращаясь изъ тринадцатаго нумера, m-lle Augustine.

— Rien,—отвѣчала, кусая губки, Marie.

— Tiens! — презрительно восклицала недоумѣвающая m-lle Augustine.

— Ничего онъ не сто̀итъ, — порѣшила, наконецъ, m-lle Marie и дала себѣ слово перестать думать о сосѣдѣ и найти кого-нибудь другого.

— Онъ вѣрно совсѣмъ глупъ, — говорила она, жалуясь подругѣ.

— C'est vrai, — небрежно отвѣчала Augustine, занятая своею новою любовью въ тринадцатомъ нумерѣ.

Въ одну темную осеннюю ночь, когда въ коридорѣ была совершенная тишина, въ дверь у перчаточницъ кто-то тихонько постучался. Marie, ночевавшая одна на двуспальной постели, которою онѣ владѣли изъ-полу съ своей подругой, приподнялась на локотокъ и тихонько спросила:

— Qui va là?

— C'est moi, — отвѣчалъ такъ же тихо голосъ изъ-за дверей.

— Mais quel moi donc?

— Mais puisque je vous repête que c'est moi, votre voisin du numéro onze.

— Tiens! — прошептала про себя Marie и, лукаво разсмѣявшись съ соблюденіемъ всякой тишины, отвѣчала:

— Mais je suis áu lit, monsieur!.. Que désirez-vous?.. Qu'y a-t-il à votre service?

— Une allumette, mademoiselle,—тихо отвѣчалъ Долинскій. — Уронилъ мой ключъ и не могу его отыскать безъ огня.

— Un brin de feu?

— Oui, une allumette, s'il vous plait.

Marie еще сердечнѣе разсмѣялась, откинула крючокъ и, впустивъ сосѣда, снова кувыркнулась въ свою постельку.

— Спички тамъ на комодѣ,—произнесла она, лукаво выглядывая однимъ смѣющимся глазкомъ изъ-подъ одѣяла.

Долинскій поискалъ на каминѣ спичекъ, взялъ коробочекъ, поблагодарилъ сосѣдку и, не смотря на нее, пошелъ къ двери.

M-lle Marie быстро вскочила.

— Это чортъ знаетъ что такое! — крикнула она вспыльчиво вслѣдъ Долинскому.

— Что?—спросилъ онъ, остановясь.

— Нужно быть глупѣе доски, чтобы входить ночью въ комнату женщины съ желаніемъ получить одну зажигательную спичку.

Долинскій, ни слова не отвѣчая, тихо притворилъ двери.

M-lle Marie сердито щелкнула крючкомъ, а Долинскій, несмотря на поздній часъ ночи, усѣлся у себя за столикомъ со вновь принесенною книгою. Это была одна изъ брошюръ о Юмѣ.

Прошло мѣсяца три; на батиньельскихъ вершинахъ все шло попрежнему. Единственная перемѣна заключалась въ томъ, что pigeon изъ тринадцатаго нумера прискучилъ любовью бѣдной Augustine и оставленная colombine, написавъ на дверяхъ измѣнника, что онъ «свинья, уродъ и мерзавецъ», стала спокойно встрѣчаться съ замѣнившею ее новою подругою тринадцатаго нумера и спала у себя съ m-lle Marie.

Одинъ разъ Долинскій возвращался домой часу въ пятомъ самаго ненастнаго зимняго дня. Холодный мелкій дождикъ, вперемежку съ ледянистой мглою и маленькими хлопочками мокраго снѣга, пробили его насквозь, пока онъ добрался на имперіалѣ омнибуса отъ rue de Saine, изъ Латинскаго квартала, до своихъ батиньельскихъ вершинъ.

Спустясь по осклизшимъ трехпогибельнымъ ступенямъ съ имперіала, Долинскій торопливо пробѣжалъ двѣ улицы и сталъ подниматься на свою лѣстницу. Онъ очень озябъ въ своемъ сильно поношенномъ пальтишкѣ и дрожалъ; подъ мышкой у него было нѣсколько книгъ и брошюръ, плохо увернутыхъ въ газетную бумагу.

На лѣстницѣ Долинскій обогналъ Заіончека и, не обр
шая на него вниманія, бѣжалъ далѣе, чтобы скорѣе ра
вести у себя огонь и согрѣться у камина. Второпяхъ он
не замѣтилъ, какъ у него изъ-подъ руки выскользнули
упали двѣ книжки. M-r le prêtre Zaionczek не спѣша по
нялъ эти книги и не спѣша развернулъ ихъ. Обѣ кни
были польскія: одна «Historja Kosciola Ruskiego, Ksied
Fr. Gusty» (исторія русской церкви, сочиненная католич
скимъ священникомъ Густою), а другая—мистическія бред
Тавянскаго, извѣстнѣйшаго мистика, имѣвшаго столь п
чальное вліяніе на прекраснѣйшій умъ Мицкевича и да
шаго совершенно иное направленіе послѣдней дѣятельн
сти поэта.

M-r le prêtre Zaionczek взялъ обѣ эти книги и, дер
ихъ въ рукѣ, постучалъ въ двери Долинскаго.

— Entrez,—отозвался Несторъ Игнатьевичъ.

Вошелъ m-r le prêtre Zaionczek.

— To ksiegi pana dobrodzieja?—спросилъ онъ Долинска
по-польски.

— Мои; очень вамъ благодаренъ,—отвѣчалъ кое-какъ
томъ же языкѣ давно отвыкшій отъ него Долинскій.

— Вы занимаетесь религіозною литературой?

— Да... такъ... немного,—отвѣчалъ, нѣсколько конфузяс
Долинскій.

— Пусть вамъ поможетъ Богъ, — говорилъ, сжимая е
руку, Заіончекъ, и добавилъ: — жатвы много, а дѣтей ма
есть.

Съ этихъ поръ началось знакомство Долинскаго съ Заіо
чекомъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Новое масло въ плошку.

M-r le prêtre, по отношенію къ своему новому знако
ству, явился совсѣмъ не такимъ, какимъ онъ былъ ко всѣм
прочимъ жильцамъ вышки. Онъ самъ предложилъ Доли
скому нѣсколько рѣдкихъ книгъ, и, столкнувшись съ ним
однажды вечеромъ у своей двери, попросилъ его зайти в
себѣ. Долинскій не отказался, и только-что они вошли в
комнату Заіончека, дававшую всѣмъ чувствовать, что здѣ
живетъ католическая духовная особа, какъ въ двери пост
чался новый гость. Это была съ головы до ногъ закута

ная въ бархатъ и кружева молодая, высокая дама съ очень красивымъ лицомъ, несомнѣнно польскаго происхожденія. Она только-что переступила порогъ, какъ сложила на груди свои античныя руки, преклонила колѣна и произнесла:

— Niech bedzie pochwlony Iezus Christus.

— Na wieki wieków, Amen,—отвѣтилъ Заіончекъ и подалъ дамѣ руку.

Та встала, поцѣловала руку Заіончека, подняла къ небу свои большіе голубые глаза, полные благоговѣйнаго страха, и сказала:

— Я на минуту къ вамъ, мой отецъ.

Долинскій хотѣлъ выйти. M-r le prêtre ласково его удержалъ за руку и еще ласковѣе сказалъ:

— Мои добрыя дѣти никогда не мѣшаютъ другъ другу.

Попавшій въ число добрыхъ дѣтей Заіончека Долинскій остался.

Пышная дама заговорила по-итальянски о какомъ-то семейномъ горѣ.

Долинскій старался не слушать этого разговора.

Онъ подошелъ къ этажеркѣ и разсматривалъ книги Заіончека. Прежде всего ему попалась въ руки «Dictionnaire des missions catholiques, Lacroix et Dzunkowskoy»; Долинскій взялъ другую книгу. Это была: «Histoire diplomatique des conclaves depuis Martin V jucqu'à Pie IX, Petrugelli de la Gatina». Далѣе онъ развернулъ большое in-folio «Acta Sanctorum». На столѣ лежалъ развернутый IV томъ этой книги: Ioannes Rollandus, Godefridus Stenschenius, Societatis Iesu theologi.

Пока Долинскій перелистывалъ эту книгу, приводя себѣ на память давно забытое значеніе многихъ латинскихъ словъ, дама стала прощаться съ Заіончекомъ.

— Тотъ, кто доводитъ тебя до этого, бо́льшее наказаніе пріиметъ и рука Провидѣнія давно тебя благословила,—говорилъ, напутствуя ее, m-r le prêtre, держащійся, какъ видно, съ Провидѣніемъ совсѣмъ za panibrata.

Дама опять поцѣловала руку Заіончека.

— Прощайте, дочь моя,—отвѣчалъ ласково суровый m-r le prêtre и пошелъ провожать свою восхитительно-прекрасную дочь.

Долинскій попалъ въ самый центръ польскихъ мистиковъ. Это общество жило въ Парижѣ очень разсѣянно, всѣ члены

его въ насмѣшку назывались «Tawianczykami» отъ имени того же извѣстнаго мистика Тавянскаго, котораго они считались послѣдователями. *Тавянчиковъ* считалось довольно много въ Парижѣ; они имѣли здѣсь свои собранія и своихъ представителей, въ числѣ которыхъ одно изъ первыхъ мѣстъ занималъ m-r le prêtre Zaionczek. Іезуиты смотрѣли на этихъ «тавянчиковъ» довольно снисходительно, и даже, кажется, дружелюбно. Нѣкоторые полагали, что парижскіе іезуиты одно время даже надѣялись найти въ Tawianczykach нѣкоторое противодѣйствіе противъ пугающаго святыхъ отцовъ матеріализма. Но Tawianczyki вообще не оправдали этихъ надеждъ «общества Іисусова», или, по крайней мѣрѣ, оправдали его въ самой незначительной мѣрѣ. «Tawianczyki» не распустили сильныхъ вѣтвей никуда далѣе Парижа, и даже не нашли сочувствія въ самой Польшѣ. Среди парижскихъ тавянчиковъ встрѣчались бо̀льшею частію старички и женщины (молодыя и старыя), нерѣдко принадлежащія къ самымъ лучшимъ польскимъ фамиліямъ. Между передовыми послѣдователями Тавянскаго встрѣчались люди довольно странные, въ мистическомъ тавянизмѣ которыхъ нерѣдко сквозило что-то іезуитское. Таковъ, между многими подобными, былъ извѣстный намъ m-r le prêtre Zaionczek, эмигрантъ, появившійся между парижскими тавянчиками откуда-то съ Волыни и въ самое короткое время получившій у нихъ весьма большое значеніе. Былъ ли m-r le prêtre Zaionczek дѣйствительно такимъ мистикомъ, какимъ онъ представлялся, или это съ его стороны было одно притворство, рѣшить было невозможно. Онъ съ глубокою задушевностью говорилъ о своихъ мистическихъ вѣрованіяхъ, состоялъ въ непосредственныхъ отношеніяхъ съ замогильнымъ міромъ, и въ то же время негласно основалъ въ Парижѣ «Союзъ христіанскаго братства». Члены это союза едва ли понимали что-нибудь о цѣли своего соединенія. Союзъ этотъ состоялъ изъ избранныхъ Заіончекомъ представителей всѣхъ христіанскихъ исповѣданій. Тутъ были: французы, англичане, испанцы, поляки, чехи (въ качествѣ представителей непризнаннаго гуссизма), итальянцы и даже руссины-уніаты. Собранія союза обыкновенно происходили по вечерамъ въ воскресенье, близъ St.-Sulpice, въ домѣ самой рьяной тавянистки, княгини Голензовской, той самой дамы, которую мы видѣли у Заіончека. Члены союза со-

бирались въ особой комнатѣ, обитой съ потолка до низу тонкимъ чернымъ сукномъ съ бѣлыми атласными карнизами по панелямъ. На стѣнѣ вверху, прямо противъ входа, была вышита гладью бѣлымъ шелкомъ большая мертвая голова съ крупною латинскою надписью: «Memento mori!» Посреди комнаты стоялъ длинный столъ, покрытый чернымъ сукномъ съ бѣлыми каймами и бѣлою же бахромою. По угламъ этой траурной скатерти опять были вышиты бѣлымъ мертвыя головы и вокругъ надъ всею каймою какія-то латинскія изреченія. Около этого стола стояли тяжелыя дубовыя скамейки и въ одномъ концѣ высокое рѣзное кресло съ твердымъ, ничѣмъ не покрытымъ сидѣньемъ, а возлѣ него въ ногахъ маленькая деревянная скамеечка. На рѣзномъ креслѣ было мѣсто Заіончека, въ ногахъ у него на низенькой деревянной скамейкѣ садилась прекрасная хозяйка дома, а на скамьяхъ размѣщались члены.

Познакомясь съ Долинскимъ и открывъ въ немъ сильное мистическое настроеніе, m-r le prêtre Zaionczek умѣлъ очень искусно расшевелить его больныя раны и овладѣть его слабымъ духомъ.

— Не желалъ бы я врагу человѣчества такого внутренняго состоянія, каково должно быть твое,—сказалъ ему Заіончекъ, незамѣтно выпытавъ у него грызущую его тайну.

— Молись, молись; будемъ вмѣстѣ молиться за тебя,—говорилъ онъ Долинскому.

— Ты крѣпко вѣришь въ загробную жизнь? — спрашивалъ онъ сотый разъ Долинскаго и, получая въ сотый разъ утвердительный отвѣтъ, говорилъ:—вѣрь, сынъ мой, и вѣрь, что между нами и тѣми, которые отошли отъ насъ, не порваны связи самаго тѣснаго общенія.

По цѣлымъ вечерамъ Заіончекъ разсказывалъ разстроенному Долинскому самые картинные образцы таинственнаго общенія замогильнаго міра съ міромъ живущимъ и довелъ его больную душу до самаго высокаго мистическаго настроенія. Долинскій считалъ себя первымъ грѣшникомъ въ мірѣ и незамѣтно начиналъ ощущать себя въ такомъ близкомъ общеніи съ таинственными существами иного міра, въ какомъ высказывалъ себя самъ Заіончекъ.

Достигнувъ такого вліянія на Долинскаго, Заіончекъ сообщилъ ему о существованіи въ Парижѣ «Союза христіанскаго братства», и *велѣлъ* ему быть готовымъ вступить въ

братство въ качествѣ грѣшнаго члена Wschodniego Kosciola (восточной церкви). Долинскій былъ введенъ въ таинственную комнату засѣданій и представленъ оригинальному собранію, въ которомъ никто не называлъ другъ друга по фамиліи, а произносилъ только «братъ Яковъ», или «братъ Северинъ», или «сестра Урсула» и т. д.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Русскій Tawianczyk.

Долинскій, живучи въ сторонѣ отъ людей, съ одними терзаніями своей несговорчивой совѣсти, мистическими книгами, да еще болѣе мистическими тавянчиками, дошелъ самъ до непостижимаго мистицизма. Онъ уже не видалъ Доры и даже рѣдко вспоминалъ о ней, но зато совершенно привыкъ спокойно и съ вѣрою слушать, когда Заіончекъ говорилъ дома и у графини Голензовской отъ лица святыхъ и вообще людей давно отшедшихъ отъ міра. Въ засѣданіяхъ «христіанскаго союза», Заіончекъ говорилъ нѣсколько менѣе о своихъ общеніяхъ со святыми и съ мертвыми грѣшниками, но все-таки держался, по обыкновенію, таинственно.

Въ обществѣ, главнымъ образомъ, положено было избѣгать всякаго слова о превосходствѣ того или другого христіанскаго исповѣданія надъ прочими. «Всѣ дѣти одного отца, нашего Бога, и овцы одного великаго пастыря, положившаго животъ свой за люди», было начертано огненными буквами на бѣлыхъ матовыхъ абажурахъ подсвѣчниковъ съ тремя свѣчами, какіе становились передъ каждымъ членомъ. Всѣ должны были помнить этотъ принципъ терпимости и никогда не касаться вопроса о догматическомъ разногласіи христіанскихъ исповѣданій.

По словамъ Заіончека, цѣлью общества было: *изысканіе средствъ къ освобожденію и соединенію христіанскихъ народовъ путемъ вѣры.* Задача эта многимъ представлялась весьма темною и даже вовсе непонятною, но, тѣмъ не менѣе, члены терпѣливо выслушивали, какъ Заіончекъ, стоя въ концѣ стола передъ составленною имъ картою «христіанскаго міра», излагалъ мистическія соображенія насчетъ «рокового развѣтвленія христіанства по свѣту, съ таинственными божескими цѣлями, для осуществленія которыхъ Господь сзываетъ своихъ избранныхъ». Женщины, слушая

Заіончека, поднимали очи къ небу и шептали молитвы, а мужчины, одни — набожно задумывались, другіе — внимательно слѣдили за ораторомъ и, очевидно, старались прозрѣть, что за смыслъ долженъ скрываться за этими хитросплетеніями. Пораженный тяжестью своей утраты, изнывая передъ неизслѣдимою пучиною своего нравственнаго грѣха, Долинскій былъ въ этомъ собраніи самымъ молчаливымъ членомъ Wschodniego Kosciola.

Онъ только самъ все наэлектризировывался мистицизмомъ и во всякомъ самомъ ничтожномъ событіи склоненъ былъ видѣть или особые пути Божіи, или нарочитые происки дьявольскіе.

Жилъ Долинскій до крайности умѣренно, получая не болѣе семидесяти-пяти франковъ въ мѣсяцъ, съ двухъ ничтожныхъ уроковъ, доставленныхъ ему Заіончекомъ. И за это занятіе Долинскій принялся только тогда, когда въ его карманѣ уже не было ни одного су изъ денегъ, съ которыми онъ пріѣхалъ въ Парижъ. Онъ жадно берегъ свое время и все его цѣликомъ отдалъ чтенію и своимъ мистическимъ размышленіямъ. Деньги и всякія другія блага міра сего не имѣли въ его глазахъ ровно никакой цѣны. Со всѣмъ живущимъ у него тоже не было ничего общаго. Міръ человѣческій для него былъ только міръ грѣха и преступленія, и собственное прошедшее представлялось ему однимъ сплошнымъ, безконечнымъ грѣхомъ. Долинскій утратилъ всякую способность къ какому бы то ни было анализу и бралъ все на вѣру, во всемъ видѣлъ законъ неотразимой таинственной необходимости и не взывалъ болѣе ни къ своему разуму, ни къ волѣ. Онъ даже не замѣчалъ противорѣчій, весьма ярко высказывавшихся въ поступкахъ Заіончека. Онъ ни разу не задумался надъ тѣмъ, что въ христіанскомъ обществѣ, основанномъ вѣротерпимѣйшимъ патеромъ, не было ни одного лютеранина. Онъ даже не придалъ никакого значенія тому, что m-r le prêtre, сидя разъ передъ каминомъ въ комнатѣ Долинскаго, случайно взялъ иллюстрированную книжку Puaux: «Vie de Calvin», развернулъ ее, пересмотрѣлъ портреты и съ омерзѣніемъ бросилъ безцеремонно въ огонь.

Обстоятельствамъ угодно было, чтобы, задавленный своимъ и наноснымъ мистицизмомъ, Долинскій сравнялся съ княгинею Голензовскою и прочими мистическими фанатич-

ками, вѣровавшими во всевѣдѣніе и сверхъестественное могущество Заіончека.

Прошла половина поста. Бѣшеный день французскаго demi-carême угасалъ среди пьяныхъ пѣсенъ; по улицамъ сновали пьяные студенты, пьяные блузники, пьяныя дѣвочки. Въ погребахъ, ресторанахъ и во всякихъ такихъ мѣстахъ были балы, на которыхъ гризеты вознаграждали себя за трехнедѣльное demi-смиреніе. Парижъ бѣсился и пьяный вспоминалъ свою утраченную свободу.

Зато на извѣстной намъ голубятнѣ, въ Батиньелѣ, было необыкновенно тихо, всѣ пижоны и коломбины разлетѣлись. Кромѣ Заіончека и Долинскаго не было дома ни одного жильца: все пило, бродило и бѣсновалось. Вдругъ патеръ Заіончекъ вошелъ въ комнату Долинскаго.

По торжественной походкѣ и особенной праздничной солидности, лежавшей на каждомъ движеніи Заіончека, можно было легко замѣтить, что monsieur le prêtre находится въ нѣкоторомъ духовномъ восхищеніи. Это восторженное состояніе овладѣвало патеромъ довольно рѣдко, и то единственно лишь въ такихъ случаяхъ, когда ему удавалось приплетать какую-нибудь необыкновенно ловкую, по его мнѣнію, петельку къ раскинутымъ имъ силкамъ и тенетамъ. Въ такія минуты, Заіончекъ, несмотря на всю свою желчность и сухость, одушевлялся, заносился какъ поэтъ, какъ пламенный импровизаторъ, безпрестанно впадалъ въ открытый разладъ съ логикой, и, какъ какой-нибудь дикій вождь полчищъ несмѣтныхъ, пускалъ безъ всякаго такта въ борьбу множество нужныхъ и ненужныхъ силъ.

Впадая въ подобное расположеніе, патеръ всегда ощущалъ неотразимую потребность дать передъ кѣмъ-нибудь изъ вѣрующихъ генеральное сраженіе своимъ врагамъ, причемъ враги его—*раціоналисты*, допускались къ этимъ сраженіямъ только заочно и, разумѣется, всегда были немилосердно побиваемы на-голову.

Невстовая ночь demi-carême не давала покоя патеру, хотя онъ и очень крѣпко, и очень рано заперся на своей вышкѣ. Кричащій, поющій, пляшущій и бѣснующійся Парижъ давалъ о себѣ знать и сюда. Парижъ не лакомился, а обжирался наслажденіями, какъ морская губка, онъ каждою своею точкою всасывалъ изъ опустившейся тьмы всю темную сладость грѣха и удовольствій. Заіончекъ чувство-

валъ это и не могъ себѣ представить переплета, въ который можно-бъ всунуть всѣ листы, съ записанными грѣхами этой ночи. Книга эта должна быть велика, какъ Парижъ, какъ міръ!.. Нѣтъ, больше міра, потому что міръ обновляется, а она должна быть вѣчна; ея гигантскія застежки не должны закрываться ни на одну короткую секунду, потому что и одной короткой секунды не прожить безъ грѣха тлѣнному міру.

— Какъ это такъ?.. Какъ это тамъ все? — задумалъ и, вставши, заходилъ по комнатѣ Заіончекъ.

Сердитый, онъ нѣсколько разъ вскидывалъ своими сухими глазами на темныя стекла длиннаго окна, въ пазы и щели котораго долетали съ улицъ раздражавшіе его звуки, и каждый разъ, въ каждомъ квадратѣ оконнаго переплета, ему мерещились цѣлыя группы рожъ: намалеванныхъ, накрашенныхъ, богопротивнѣйшихъ, веселыхъ рожъ въ дурацкихъ колпакахъ, зеленыхъ парикахъ и самыхъ прихотливыхъ мушкахъ.

— Да-съ, ну, такъ какъ же это тамъ все? — говорилъ онѣ Заіончеку, кривя губы, дергая носами и посылая ей вызывающія улыбки.

M-r le prêtre послалъ за это самъ милліонъ дьяволовъ всемъ виноватымъ *раціоналистамъ*, задернулъ ридо и заходилъ по комнатѣ еще скорѣе и еще сердитѣе.

Прошло полчаса, и Заіончекъ вдругъ выпрямился, остановился и медленно вынулъ изъ кармана фуляровый платокъ, съ выбитымъ на немъ планомъ всѣхъ желѣзныхъ дорогъ въ Европѣ. Прошла еще минута, и Заіончекъ присіялъ вовсе; онъ тихо высморкался (что у него въ извѣстныхъ случаяхъ замѣняло улыбку), повернулся на одной ногѣ и, съ солиднѣйшимъ выраженіемъ лица, отправился къ Долинскому.

— Мнѣ очень, однакоже, нравятся вотъ эти господа, — началъ онъ, усаживаясь передъ каминомъ.

Долинскій посмотрѣлъ на него съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

— Я говорю объ этихъ бѣльмистыхъ сычахъ, — продолжалъ Заіончекъ, подкинувъ въ каминъ лопатку глянцовитаго угля.—Мнѣ, я говорю, очень они нравятся съ своими *знаніями*. Вотъ именно, вотъ эти самые господа, которые при все-то знаютъ, которымъ законы природы очень извѣстны

Заіончекъ пару секундъ помолчалъ и, приподнимаясь съ значительной миною съ кресла, воскликнулъ:

— А я имъ говорю, что *они* сычи ночные, что они лупоглазые, бѣльмистые сычи, которымъ ихъ бѣльма ничего не даютъ видѣть при Божьемъ свѣтѣ! Ночь! ночь имъ нужна! Вотъ тогда, когда изъ темныхъ норъ на землю выползаютъ колючіе ежи, кроты слѣпые, землеройки, а въ сонномъ воздухѣ нетопыри шмыгаютъ — тогда имъ жизнь, тогда имъ жизнь, канальямъ!.. И вотъ же чортъ ихъ не возьметъ и не поѣстъ вмѣсто сардинокъ!

Заіончекъ остановился въ ужасѣ надъ этимъ непростительнымъ упущеніемъ чорта.

— Прекрасная, весьма прекрасная будетъ эта минута, когда... фффуу — одно дуновенье, и передъ каждымъ вся эта картина его мерзости напишется и напишется ярко, отчетливо, безъ чернилъ, безъ красокъ и безъ всякихъ фотографій.

Долинскій молчалъ.

— Что̀ такое *одъ*?—произнесъ протяжно съ приставленнымъ ко лбу пальцемъ Заіончекъ. — Одъ: ну, *одъ! одъ!* ну, прекрасно-съ; ну, да что̀ же такое, наконецъ, этотъ *одъ?* Вѣдь нужно же, наконецъ, знать, *что̀* онъ? *откуда* онъ? *зачѣмъ* онъ? Вѣдь нельзя же такъ сказать: «*одъ* есть невѣсомое тѣло», да и ничего больше. Съ нихъ, съ сычей, этихъ ночныхъ, пускай и будетъ этого довольно, но отчего же это такъ и для другихъ-то должно оставаться, я васъ спрашиваю?

Заіончекъ остановился съ высоко поднятыми плечами передъ Долинскимъ. Черезъ минуту онъ сталъ медленно опускать плечи, вытянувъ впередъ руки, полузакрывъ вѣками свои сухіе глаза и, потянувшись грудью на руки, произнесъ: *вотъ онъ!*

Долинскій попрежнему смотрѣлъ на патера, совершенно спокойно.

— Въ какомъ я положеніи есть, въ такомъ онъ тончайшимъ, невѣсомымъ тѣломъ отъ меня и отдѣляется, — продолжалъ Заіончекъ. (Сказавъ это, патеръ сдѣлалъ въ молчаніи два различныя движенія руками, какъ бы отражая отъ себя куда-то два различныя изображенія; потомъ дунулъ, напряженно посмотрѣлъ вслѣдъ за своимъ дуновеніемъ и заговорилъ двумя нотами ниже). Одъ отдѣлился и летитъ;

онъ — я, но тонкое... невѣсомое. Теперь воздухъ передае
это эѳиру; эѳиръ — далѣе. Все это летитъ, летитъ вѣк
тысячелѣтія летитъ, и по извѣстнымъ тамъ законамъ отп
чатывается, наконецъ, на какой-нибудь огромной, самой д
лекой планетѣ. Міръ рушится; земля распадается золо
наши плотскіе глаза выгорѣли, мы видимъ далеко, и вот
тебѣ передъ тобой *твоя картина*. Ты весь въ ней, съ тѣ
поръ, какъ бабка перерѣзала тебѣ пуповину, до моего п
слѣдняго «аминь» надъ твоей могилой. Ты это?.. Нѣтъ,
отречешься; весь ты тамъ со своей исторіей. И эта ноч
и эта ночь сугубаго разврата, кровосмѣшенья и всяка
содомскаго грѣха! — вскрикнулъ громко патеръ. — Она в
тамъ печатается, нынче,—докончилъ онъ однимъ шипящи
придыханіемъ и, швырнувъ Долинскаго за рукавъ къ окн
грозно указалъ ему на темное небо, слегка подкрашенн
миріадами рожковъ горящаго въ городѣ газа.

— Вотъ какъ пишется книга! Вотъ какъ отмѣчают
слѣды всѣхъ этихъ летучихъ мышей ночныхъ, всѣхъ эти
кротиковъ, всѣхъ этихъ землероекъ!

Сказавши это съ особымъ эффектомъ, Заіончекъ такъ
порывисто выбросилъ руку Долинскаго, какъ взялъ ее,
заходилъ по комнатѣ. Освобожденный Долинскій тотчасъ
сѣлъ верхомъ на свой стулъ и, положивъ подбородокъ
спинку, молча смотрѣлъ на патера, безъ любопытства, бе
вниманія и безъ участія.

— Да, это такъ; это несомнѣнно такъ! — утвержда
себя въ это время вслухъ патеръ. — Да, солнце и солн
Пространства очень много... Душамъ роскошно плава
Онѣ всѣ смотрятъ внизъ: лица всегда спокойныя; имъ
равно... Что здѣсь дѣлается, это имъ все равно: это н
не тревожитъ... имъ это мерзость, гниль. Я вижу... вид
мнѣ оттуда всѣ эти умники, всѣ эти конкубины, всѣ э
черви, въ гною зеленомъ, въ смрадѣ, поднимающемъ рвоту!
Мерзко!

«Да, тому, кто въ годы постоянные вошелъ, тому же
ская прелесть даже и скверна», мелькнуло въ головѣ Д
линскаго, и вдругъ причудилась ему Москва, ея Мал
театръ, купецъ Толстогораздовъ, живая жизнь съ люд
живыми, и всѣ вы, всепрощающіе, всезабывающіе, незлоб
вые люди русскіе, и сама ты, наша плакучая береза, на
драная Русь-просторная. Всѣ вы, странныя, жгучія восп

минанія, все это разомъ толкнулось въ его сердце, и что-то новое, или, лучше сказать, что-то давно забытое, гдѣ-то тихо зазвенѣло ему манящими, путеводными колокольчиками.

Долинскій на мгновеніе смутился и черезъ другое такое же летучее мгновеніе невыразимо обрадовался, ощутивъ, что память его падаетъ, какъ надтреснувшая пружина, и спокойная тупость ложится по всѣмъ краямъ воображенія.

«Но, впрочемъ, это все... непонятно», подумалъ онъ сквозь сонъ, и съ наслажденіемъ почувствовалъ, что мозгъ его все крѣпче и крѣпче усваиваетъ себѣ самыя спокойныя привычки.

Долго еще патеръ сидѣлъ у Долинскаго и грѣлъ передъ его каминомъ свои толстыя, упругія ляжки; много еще разсказывалъ онъ объ одѣ, о плавающихъ душахъ, о сверхъестественныхъ явленіяхъ, и о томъ, что сверхъестественное не есть противоестественное, а есть только непонятное, и что пониманіе свое можно расширить и уяснить до безконечности, что душу и думы человѣка можно видѣть такъ же, какъ его носъ и подбородокъ. Долинскій слабо вслушивался въ весь этотъ сумбуръ и чувствовалъ, что онъ самъ уже давно не отъ міра сего, что онъ давно плыветъ въ пространствѣ, и съ краями срѣзъ полонъ всяческаго равнодушія ко всему, что̀ видитъ и слышитъ.

Но, наконецъ, усталъ и патеръ; онъ взглянулъ на свой толстый хронометръ, зѣвнулъ и, потянувшись передъ огнемъ, отправился къ своему ложу.

Какъ только Заіончекъ вышелъ за двери, Долинскій спокойно подвинулъ къ себѣ оставленную при входѣ патера книгу и началъ ее читать съ невозмутимымъ, холоднымъ вниманіемъ.

Часы въ коридорѣ пробили два.

Долинскій уже хотѣлъ ложиться въ постель, какъ въ его дверь кто-то слегка стукнулъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Искушенія.

— Кто тамъ? — тихо спросилъ Долинскій, удивленный такимъ позднимъ посѣщеніемъ.

— Мы, ваши сосѣдки, — отвѣчалъ ему такъ же тихо молодой женскій голосъ.

— Что̀ вамъ угодно, mesdames?

— Спичку, спичку; мы возвратились съ бала и у насъ огня нѣтъ.

Долинскій отворилъ дверь.

Передъ нимъ стояли обѣ его сосѣдки, въ широкихъ панталончикахъ изъ ярко-цвѣтной тафты, обшитыхъ съ боковъ дешевенькими кружевами; въ прозрачныхъ рубашечкахъ, съ непозволительно-спущенными воротниками, и въ цвѣтныхъ шелковыхъ колпачкахъ, ухарски-заломленныхъ на туго-завитыхъ и напудренныхъ головкахъ. Въ рукахъ у одной была зажженная стеариновая свѣчка, а у другой— литръ краснаго вина и тонкая, въ аршинъ длинная, итальянская колбаса.

Не успѣлъ Долинскій выговорить ни одного слова, обѣ дѣвушки вскочили въ его комнату и весело захохотали.

— Мы пришли къ вамъ, любезный сосѣдъ, сломать съ вами постъ.—Рады вы намъ?—прощебетала m-lle Augustine.

Она поставила на столъ высокую бутылку, сѣла верхомъ на стулъ республики и, положивъ локти на его спинку, откусила большой кусокъ колбасы, выплюнула кожицу и начала усердно жевать мясо.

— Цѣломудренный Іосифъ! — воскликнула Marie, повалившись на постель Долинскаго и выкинувъ ногами неимовѣрный крендель: — хотите я вамъ представлю Жоко или бразильскую обезьяну?

Долинскій стоялъ неподвижно посреди своей комнаты. Онъ замѣтилъ, что обѣ дѣвушки пьяны, и не зналъ, что ему съ ними дѣлать.

Гризеты, смотря на него, помирали со смѣху.

— Tiens!—вы, кажется, собираетесь насъ выбросить?— спрашивала одна.

— Нѣтъ, мой другъ, онъ читаетъ молитву отъ злого духа,—утверждала другая.

— Нѣтъ... Я ничего,—отвѣчалъ растерянный Долинскій, который, дѣйствительно, думалъ о проискахъ злого духа.

— Ну, такъ садитесь. Мы веселились, плясали, ѣздили, но все-таки вспомнили: что-то дѣлаетъ нашъ бѣдный сосѣдъ?

Marie вскочила съ постели, взяла Долинскаго однимъ пальчикомъ подъ бороду, посмотрѣла ему въ глаза и сказала:

— Онъ, право, еще очень и очень годится.

— Любезенъ, какъ бѣлый медвѣдь,—отвѣчала Augustine, глотая новый кусокъ колбасы.

— Мы принесли съ собой вина и ужинъ, однѣмъ очень скучно, мы пришли къ вамъ. Садитесь,—командовала Marie и, толкнувъ Долинскаго въ кресло королевства, сама вспрыгнула на его колѣни и обняла его за шею.

— Позвольте, — просилъ ее Долинскій, стараясь снять ея руку.

— Та-та-та, совсѣмъ не нужно,—отвѣчала дѣвушка, отпихивая локтемъ его руку, а другою рукою наливая стаканъ вина и поднося его къ губамъ Долинскаго.

— Я не пью.

— Не пьешь! Cochon! не пьетъ въ demi-carême. Я на голову вылью.

Дѣвушка подняла стаканъ и слегка наклонила его на бокъ. Долинскій выхватилъ его у нея изъ рукъ и выпилъ половину. Гризета проглотила остальное и, быстро повернувшись на колѣняхъ Долинскаго, сдѣлала сладострастное движеніе головой и бровью.

— Посмотрите, какое у нея плечико,—произнесла Augustine, толкнувъ сзади голое плечо Marie къ губамъ Долинскаго.

— Tiens! я думаю, это не такъ худо въ demi-carême!— говорила она, смѣясь и глядя, какъ Marie, весело закусивъ губки, держитъ у себя подъ плечикомъ голову растерявшагося мистика.

— Пусть будетъ тьма и любовь!—воскликнула Augustine, дунувъ на свѣчу и оставляя комнату при слабѣйшемъ освѣщеніи дотлѣвшаго камина.

— Пусть будетъ свѣтъ и разумъ! — произнесъ другой голосъ, и на порогѣ показалась суровая фигура Заіончека.

Онъ былъ въ бѣлыхъ ночныхъ панталонахъ, красной вязаной фуфайкѣ и синемъ спальномъ колпакѣ. Въ одной его рукѣ была зажженая свѣча, въ другой — толстый красный шнуръ, которымъ m-r le prêtre обыкновенно подпоясывался по халату.

— Вонъ, къ ста-тысячамъ чертей отсюда, гнилыя дочери грѣха! — крикнулъ онъ на дѣвушекъ, для которыхъ всегда было страшно и ненавистно его появленіе.

Marie испугалась. Она соскользнула съ колѣнъ неподвижно сидѣвшаго Долинскаго, пируэтомъ перелетѣла его комнату и исчезла за дверью. Augustine направилась за нею. Пропуская мимо себя послѣднюю, m-r le prêtre съ

злостью очень сильно ударилъ ее шнуркомъ по тоненьким тафтянымъ панталончикамъ.

— Vous m'etourdissez! — подпрыгнувъ отъ боли, кра нула гризета и скрылась за подругою въ дверь сво комнаты.

— Ne faites plus de bruit!—проговорилъ у нихъ заперт двери черезъ минуту Заіончекъ.

— Pas beaucoup, pas beaucoup!—отвѣчали гризеты.

Заіончекъ зашелъ въ комнату одинокаго Долинска стоявшаго надъ оставленными гризетами виномъ и колбасо

— Я неспокоенъ былъ съ тѣхъ поръ, какъ легъ постель, и мой тревожный духъ во-время послалъ ме туда, гдѣ я былъ нуженъ,—проговорилъ онъ.

— Благодарю васъ,—отвѣчалъ Долинскій:—я совсѣмъ знаю, что мнѣ съ ними дѣлать.

Богъ знаетъ, чѣмъ бы окончилъ здѣсь совершенно погл щенный мистицизмомъ Долинскій, если бы судьбѣ не угод было подставить Долинскому новую штуку.

Одинъ разъ, возвратясь съ урока, онъ засталъ у се на столѣ письмо, доставленное ему по городской почтѣ.

Долинскій наморщилъ лобъ. Рука, которою былъ над санъ конвертъ, на первый взглядъ показалась ему незн комою, и онъ долго не хотѣлъ читать этого письма. Н наконецъ, сломалъ печать, досталъ листокъ и остолбенѣл Записка была писана несомнѣнно Анною Михайловною.

«Я вчера вечеромъ пріѣхала въ Парижъ и пробу здѣсь всего около недѣли,—писала Долинскому Анна Миха ловна. — Поэтому, если вы хотите со мною видѣться, пр ходите въ Hôtel Corneille, противъ Одеона, № 16. Я до до одиннадцати часовъ утра и съ семи часовъ вечера. все это время я очень рада буду васъ видѣть».

Долинскій отбросилъ отъ себя эту записку, потомъ схв тилъ ее и перечиталъ снова. На дворѣ былъ седьмой ча въ исходѣ. Долинскій хотѣлъ пойти къ Заіончеку, но вм сто того только побѣгалъ по комнатѣ, схватилъ свою шля и опрометью бросился къ мѣсту, гдѣ останавливается омн бусъ, проходящій по Латинскому кварталу.

Долинскій бѣжалъ по улицѣ съ сильно бьющимся сер цемъ и спирающимся дыханіемъ.

— Жизнь! жизнь! — говорилъ онъ себѣ. — Какъ давно не чувствовалъ тебя такъ сильно и такъ близко!

Какъ только омнибусъ тронулся съ мѣста, Долинскій вдругъ посмотрѣлъ на Парижъ, какъ мы смотримъ на мѣста, которыя должны скоро покинуть; почувствовалъ себя вдругъ отрѣзаннымъ отъ Заіончека, отъ перечитанныхъ мистическихъ бредней и блѣдныхъ созданій своего больного духа. Жизнь, жизнь, ея обаятельное очарованіе снова поманило изстрадавшагося, разбитаго мистика, и, завидѣвъ на темнѣющемъ вечернемъ небѣ сѣрый силуэтъ Одеона, Долинскій вздрогнулъ и схватился за сердце.

Черезъ двѣ минуты онъ стоялъ на лѣстницѣ отеля Корнеля и чувствовалъ, что у него гнутся и дрожатъ колѣни.

«Что я скажу ей? Какъ я взгляну на нее?—думалъ Долинскій, взявшись рукою за ручку звонка у 16 №. — Можетъ-быть, лучше, если бы теперь ея не было еще дома?» разсуждалъ онъ, чувствуя, что всѣ силы его оставляютъ, и робко потянулъ колокольчикъ.

— Entrez!—произнесъ изъ номера знакомый голосъ.

Несторъ Игнатьевичъ пріотворилъ дверь и спотыкнулся.

— Не будетъ добра,—сказалъ онъ себѣ съ досадою, тревожась незабытою съ дѣтства примѣтой.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Заблудшая овца и ея пастушка.

Отворивъ дверь изъ коридора, Долинскій очутился въ крошечной, чистенькой передней, отдѣленной тяжелою драпировкою отъ довольно большой, хорошо меблированной и ярко освѣщенной комнаты. Прямо противъ приподнятыхъ полосъ матеріи, раздѣлявшей номеръ, стоялъ ломберный столъ, покрытый чистою, бѣлою салфеткой; на немъ весело кипящій самоваръ и по бокамъ его двѣ стеариновыя свѣчи въ высокихъ блестящихъ шандалахъ, а за столомъ, въ глубинѣ дивана, сидѣла сама Анна Михайловна. При входѣ Долинскаго, который очень долго копался, снимая свои калоши, она выдвинула изъ-за самовара свою голову и, заслонивъ ладонью глаза, внимательно смотрѣла въ переднюю.

На Аннѣ Михайловнѣ было черное шелковое платье, съ высокимъ лифомъ и безъ всякой отдѣлки, да бѣлый воротничокъ около шеи.

Долинскій, наконецъ, показался между полами драпировки, закрылъ рукою свои глаза и остановился, какъ вкопанный.

Анна Михайловна теперь его узнала; она покраснѣла и смотрѣла на него молча.

— Я не смѣю глядѣть на тебя,—тихо произнесъ, не отнимая отъ глазъ руки, Долинскій.

Анна Михайловна не отвѣчала ни слова и продолжала съ любопытствомъ смотрѣть на его исхудавшую фигуру в ветхое коричневое пальто, на которомъ вытертые швы обозначались желто-бѣлыми полосами.

— Прости!—еще тише произнесъ Долинскій.

Съ этимъ словомъ онъ опустился на колѣни, поставил передъ собою свою шляпу, досталъ изъ кармана довольно грязноватый платокъ и обтеръ имъ выступившій на лбу потъ.

Анна Михайловна неспокойно поднялась съ своего мѣста и, молча, прошлась два или три раза по комнатѣ.

— Встаньте, пожалуйста,—проговорила она Долинскому.

— Прости, — проговорилъ онъ еще тише и не трогаясь съ мѣста.

— Встаньте,—сказала опять Анна Михайловна.

Долинскій медленно приподнялся и, взявъ въ руки свою шляпу, снова сталъ, опустя голову, на томъ же самомъ мѣсте.

Анна Михайловна во все это время не могла оправиться отъ перваго волненія. Пройдясь еще раза два по комнатѣ, она повернула къ окну и старалась незамѣтно утереть слезы.

— Не извиненія, а христіанской милости, прощенія...— началъ было снова Долинскій.

— Не надо! не надо! Пожалуйста, ни о чемъ этомъ говорить не надо!—нервно перебила его Анна Михайловна вынувъ изъ кармана платокъ, вытерла глаза и спокойно сѣла къ самовару.

— Что жъ вы стоите у двери?—спросила она, не смотря на Долинскаго.

Тотъ сдѣлалъ шагъ впередъ, поставилъ себѣ стулъ и сѣлъ молча.

— Какъ вы здѣсь живете? — спросила его черезъ минуту Анна Михайловна, стараясь говорить какъ можно спокойнѣе.

— Худо,—отвѣчалъ Долинскій.

Анна Михайловна молча подала ему чашку чаю.

— И давно вы здѣсь?—спросила она послѣ новой паузы

— Скоро полтора года.

— Чѣмъ же вы занимаетесь?

Долинскій подумалъ, чѣмъ онъ занимается, и отвѣчалъ:

— Даю уроки.

— Мы съ Ильей Макарычемъ о васъ долго справлялись; нѣсколько разъ писали вамъ въ Ниццу, письма приходили назадъ.

— Да меня тамъ, вѣрно, ужъ не было.

— Илья Макарычъ кланяется вамъ,—сказала Анна Михайловна послѣ паузы.

— Спасибо ему,—отвѣчалъ Долинскій.

— Вашъ редакторъ нѣсколько разъ о васъ спрашивалъ Илью Макарыча.

— Богъ съ ними со всѣми.

Анна Михайловна посмотрѣла на испитое лицо Долинскаго и, остановивъ глаза на бѣломъ швѣ его рукава, сказала:

— Какъ вы бережливы! Это у васъ еще петербургское пальто?

— Да, очень прочная матерія,—отвѣчалъ Долинскій.

Анна Михайловна посмотрѣла на него еще пристальнѣе и спросила:

— Не хотите ли вы стаканъ вина?

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не пью вина.

— Можетъ-быть, рому къ чаю?

Долинскій взглянулъ на нее и отвѣтилъ:

— Вы, можетъ-быть, подозрѣваете, что я началъ пить?

— Нѣтъ, я такъ просто спросила, — сказала Анна Михайловна и покраснѣла.

Долинскій видѣлъ, что онъ отгадалъ ея мысль, и спокойно добавилъ:

— Я ничего не пью.

— Скажи же, пожалуйста, отчего ты такъ... похудѣлъ, постарѣлъ... опустился?

— Горе, тоска меня съѣли.

Анна Михайловна покатала въ пальцахъ хлѣбный шарикъ и, повертывая его въ двухъ пальцахъ передъ свѣчкою, сказала:

— Невозвратимаго ни воротить, ни поправить невозможно.

— Я не знаю, что съ собой дѣлать? Что мнѣ дѣлать, чтобы примирить себя съ собою?

Анна Михайловна пожала плечами и опять продолжала катать шарикъ.

— Я бѣгу отъ людей, бѣгу отъ мѣстъ, которыя напоминаютъ мнѣ мое прошлое; я самъ чувствую, что я не человѣкъ, а такъ, какая-то могила... трупъ. Во мнѣ уснула жизнь, я ничего не желаю, но мои несносныя муки, мои терзанія!..

— Что же васъ особенно мучитъ? — спросила, не сводя съ него глазъ, Анна Михайловна.

— Все... вы, она... мое собственное ничтожество, и...

— И что?

— И всего мнѣ жаль порой, всего жаль: скучно, холодно одному на свѣтѣ...—проговорилъ Долинскій съ болѣзненной гримасой въ лицѣ и досадой въ голосѣ.

— Не будемъ говорить объ этомъ. Прошлаго ужъ не воротишь. Разсказывайте лучше, какъ вы живете?

Долинскій коротко разсказалъ про свое однообразное житье, умолчалъ, однако, о Заіончекѣ и обществѣ соединенныхъ христіанъ.

— Ну, а впередъ?

— Впередъ?

Долинскій развелъ руками и проговорилъ:

— Можетъ-быть, то же самое.

— Утѣшительно!

— Это все равно: хорошаго гдѣ взять?

Анна Михайловна промолчала.

— Чего-жъ вы не возвращаетесь въ Россію?—спросила она его черезъ нѣсколько минутъ.

— Зачѣмъ?

— Какъ, зачѣмъ? Вѣдь вы, я думаю, русскій.

— Да, можетъ-быть, я и возвращусь... когда-нибудь.

— Зачѣмъ же когда-нибудь! Поѣдемте вмѣстѣ.

— Съ вами? А вы скоро ѣдете?

— Черезъ нѣсколько дней.

— Вы пріѣхали за покупками?

— Да, и за вами, — улыбнувшись, отвѣчала Анна Михайловна.

Долинскій, потупясь, смотрѣлъ себѣ на ногти.

— Пора, пора вамъ вернуться.

— Дайте подумать,—отвѣчалъ онъ, чувствуя, что сердце его забилось не совсѣмъ обыкновеннымъ боемъ.

— Нечего и думать. Никакое прошлое не поправляется хандрою, да чудачествомъ. Отряхнитесь, оправьтесь, станьте на ноги: вѣдь на васъ жаль смотрѣть.

Долинскій вздохнулъ и сказалъ:

— Спасибо вамъ.

— Я завтра, можетъ-быть, пришелъ бы къ вамъ утромъ,— говорилъ онъ, прощаясь.

— Разумѣется, приходите.

— Часовъ въ восемь... можно?

— Да, конечно, можно,—отвѣчала Анна Михайловна.

Проводивъ Долинскаго до дверей, она вернулась и стала у окна. Черезъ минуту на улицѣ показался Долинскій. Онъ вышелъ на середину мостовой, сдѣлалъ шагъ и остановился въ раздумьѣ; потомъ перешагнулъ еще разъ и опять остановился и вынулъ изъ кармана платокъ. Вѣтеръ рванулъ у него изъ рукъ этотъ платокъ и покатилъ его по улицѣ. Долинскій какъ бы не замѣтилъ этого и тихо побрелъ далѣе. Анна Михайловна еще часа два ходила по своей комнатѣ и говорила себѣ:

— Бѣдный! бѣдный, какъ онъ страдаетъ!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Рѣшительный шагъ.

Долинскій провелъ у Анны Михайловны два дня. Аккуратно онъ являлся съ первымъ омнибусомъ въ восемь часовъ утра и уѣзжалъ домой съ послѣднимъ въ половинѣ двѣнадцатаго. Долинскаго не оставляла его давнишняя задумчивость, но онъ сталъ замѣтно спокойнѣе и даже минутами оживлялся. Однако, оживленность эта была непродолжительною: она появлялась неожиданно, какъ бы въ минуты забвенія, и исчезала такъ же быстро, какъ-будто по мановенію какого-то призрака, проносившагося передъ тревожными глазами Долинскаго.

— Когда мы ѣдемъ? — спрашивалъ онъ въ волненіи на третій день пребыванія Анны Михайловны въ Парижѣ.

— Дня черезъ два, — отвѣчала ему спокойно Анна Михайловна.

— Скорѣй бы!

— Это не далеко, кажется?

Долинскій хрустнулъ пальцами.

— Вы не боитесь ли раздумать? — спросила его Ан
Михайловна.

— Я!.. Нѣтъ, съ какой же стати раздумать?

— То-то.

— Мнѣ здѣсь нечего дѣлать.

«А что я буду дѣлать тамъ? Какое мое положеніе? Пос
всего того, что было, чѣмъ должна быть для меня эта же
щина! — размышлялъ онъ, глядя на ходящую по комна
Анну Михайловну.—Чѣмъ она для меня можетъ быть
Нѣтъ, не чѣмъ *можетъ*, а чѣмъ она должна быть? А з
чему же именно должна?.. Опять все какая-то путаница!

Долинскій тревожно всталъ и простился съ Анной М
хайловной.

— До утра,—сказала она ему.

— До утра, — отвѣчалъ онъ, холодно и почтительно п
луя ея руку.

Войдя въ свою комнату, Долинскій, не зажигая огн
бросилъ шляпу и повалился впотьмахъ совсѣмъ одѣтый
постель.

— Нѣтъ, — воскликнулъ онъ часа черезъ два, быст
вскочивъ съ постели. — Нѣтъ! нѣтъ! Я знаю тебя; я зна
я знаю тебя, змѣиная мысль!—повторялъ онъ въ ужасѣ
выскочивъ изъ своей комнаты, постучался въ двери Заіонче

— Помогите мнѣ, спасите меня!—сказалъ онъ, бросая
къ патеру.

— Чтобы лѣчить язвы, прежде надо ихъ видѣть, — п
говорилъ Заіончекъ, торопливо вставая съ постели. — С
крой мнѣ свою душу.

Долинскій разсказалъ о всемъ случившемся съ нимъ
эти дни.

— Отецъ мой! Отецъ мой! — повторилъ онъ, заплака
и ломая руки:—я не хочу лгать... въ моей груди... тепе
когда лежалъ я одинъ на постели, когда я молился, ко
я звалъ къ себѣ на помощь Бога... Ужасно!.. Мнѣ по
залось... я почувствовалъ, что *жить хочу*, что мертвое
умерло совсѣмъ; что нѣтъ его нигдѣ, и эта женщина
вая... для меня дороже неба; что я люблю ее гора
больше, чѣмъ мою душу, чѣмъ даже...

— Глупецъ!—рѣзкимъ, змѣинымъ придыханіемъ шепну
Заіончекъ, зажимая ротъ Долинскому своей рукою.

— Нѣтъ силъ... страдать... терпѣть и ждать... чего? че

скажите? Мой умъ погибъ, и самъ я гибну... Неужто-жъ это жизнь? Вѣдь дьяволъ такъ не мучится, какъ измучилъ себя я въ этомъ тѣлѣ!

— Дрянная персть земная непокорна.

— Нѣтъ, я покоренъ.

— А путь готовъ давно.

— И гдѣ же онъ?

— Онъ?.. Пойдемъ, я покажу его: путь вѣрный примиряться съ жизнью.

— Нѣтъ, убѣжать отъ ней...

— И убѣжать ея.

Долинскій только опустилъ голову.

Черезъ полчаса меркнущіе фонари Батиньеля короткими мгновеніями освѣщали двѣ торопливо шедшія фигуры: одна изъ нихъ, сильная и тяжелая, принадлежала Заіончеку; другая слабая и колеблющаяся—Долинскому.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Кто въ чемъ остался.

Анна Михайловна напрасно ждала Долинскаго и утромъ, и къ обѣду, и къ вечеру. Его не было цѣлый день. На другое утро она написала ему записку и ждала къ вечеру отвѣта или, лучше сказать, она ждала самого Долинскаго. Ожиданія были напрасны. Прошелъ еще цѣлый день — не приходило ни отвѣта, не бывалъ и самъ Долинскій, а по условію, вечеромъ слѣдующаго дня, нужно было выѣзжать въ Россію.

Анна Михайловна находилась въ большомъ затрудненіи. Часу въ восьмомъ вечера она надѣла бурнусъ и шляпу, взяла фіакръ и велѣла ѣхать на Батиньель.

Съ большимъ трудомъ она отыскала квартиру Долинскаго и постучалась у его двери. Отвѣта не было. Анна Михайловна постучала второй разъ. Въ темный коридоръ отворилась дверь изъ № 10-го и на порогѣ показался во всю свою нелѣпую вышину m-r le prêtre Zaionczek.

— Что вамъ здѣсь нужно?—сердито спросилъ онъ Анну Михайловну по-русски, произнося каждое слово съ особеннымъ твердымъ удареніемъ.

— Мнѣ нужно господина Долинскаго.

— Его нѣтъ здѣсь: онъ здѣсь не живетъ, — отвѣчалъ патеръ.

— Гдѣ же онъ живетъ?

Патеръ сдѣлалъ шагъ назадъ въ свою комнату и, ткнувъ въ руки Аннѣ Михайловнѣ какую-то бумажку, сказалъ:

— Отправляйтесь-ка домой.

Дверь номера захлопнулась, и Анна Михайловна осталась одна въ грязномъ коридорѣ, слабо освѣщенномъ подслѣповатою плошкою. Она разорвала конвертъ и подошла къ огню. При трепетномъ мерцаніи плошки нельзя было прочесть ничего, что̀ написано блѣдными чернилами.

Анна Михайловна нетерпѣливо сунула въ карманъ бумажку, сѣла въ фіакръ и велѣла ѣхать домой.

Въ своемъ номерѣ она зажгла свѣчу и, держа въ дрожащихъ рукахъ бумажку, прочла: «Я не могу ѣхать съ вами. Не ожидайте меня и не ищите. Я сегодня же оставляю Францію и буду далеко молиться о васъ и о мірѣ».

Анна Михайловна осталась на одномъ мѣстѣ, какъ остолбенѣлая. На другой день ея уже не было въ Парижѣ.

Прошло болѣе двухъ лѣтъ. Анна Михайловна попрежнему жила и хозяйничала въ Петербургѣ. О Долинскомъ не было ни слуха, ни духа.

За Анной Михайловной многіе пріударяли самымъ серьезнымъ образомъ и, наконецъ, одинъ статскій совѣтникъ предлагалъ ей свою руку и сердце. Анна Михайловна ко всѣмъ этимъ исканіямъ оставалась совершенно равнодушною. Она до сихъ поръ очень хороша и ведетъ жизнь совершенно уединенную. Ее можно видѣть только въ магазинѣ или во Владимірской церкви за раннею обѣднею.

Анна Анисимовна съ своими дѣтьми живетъ у Анны Михайловны въ бывшихъ комнатахъ Долинскаго. Отношенія ихъ съ Анной Михайловной самыя дружескія. Анна Анисимовна никогда ничего не говоритъ хозяйкѣ ни о Дорушкѣ, ни о Долинскомъ, но каждое воскресенье приноситъ съ собою отъ ранней обѣдни вынутую заупокойную просфору. Долинскаго она терпѣть не можетъ, и при каждомъ случайномъ воспоминаніи о немъ, лицо ея судорожно передвигается и принимаетъ выраженіе суровое, даже мстительное.

M-lle Alexandrine тоже попрежнему живетъ у Анны Михайловны, и нынче больше, чѣмъ когда-нибудь, считаетъ свою хозяйку совершенною дурою.

Илья Макаровичъ нимало не измѣнился. Онъ по-старому льетъ пули и суетится. Глядя на Анну Михайловну, какъ она, при всемъ желаніи казаться счастливою и спокойною, часто живетъ ничего не видя и не слыша и по цѣлымъ часамъ сидитъ задумчиво, склонивъ голову на руку, онъ часто повторяетъ себѣ:

— За что, про что только все это развѣялось и пропало?

— Да полюбите вы кого-нибудь! — говоритъ онъ иногда, подмѣчая несносную тоску въ глазахъ Анны Михайловны.

— Погодите еще, сѣдого волоса жду, — отвѣчаетъ она, стараясь улыбаться.

Жена Долинскаго живетъ на Арбатѣ въ собственномъ двухъэтажномъ домѣ и держитъ въ рукахъ своего сѣдого благодѣтеля. Викторинушку выдали замужъ за вдоваго квартальнаго. Она пожила годъ съ мужемъ, овдовѣла и снова вышла за молодого врача больницы, учрежденной какимъ-то «человѣколюбивымъ обществомъ», которое Матроска безъ всякой задней мысли называетъ обыкновенно «самолюбивымъ обществомъ». Сама же Матроска состоитъ у старшей дочери въ ключницахъ; зять-лѣкарь не пускаетъ ее къ себѣ на порогъ.

Вырвичъ и Шпандорчукъ, благодаря Бога, живы и здоровы. Они теперь служатъ гайдуками, или держимордами при какомъ-то приставѣ исполнительныхъ дѣлъ по вѣдомству нигилистической полиціи, и уже были два раза въ дѣлѣ, а за третьимъ, слышно, будутъ отправлены въ смирительный домъ. Имена ихъ, вѣроятно, передадутся исторіи, такъ какъ они впервые запротестовали противъ уничтоженія въ Россіи тѣлеснаго наказанія и считаютъ его одною изъ необходимыхъ мѣръ нравственнаго исправленія. Положеніе этихъ людей вообще самое нерадостное; Дорушкино предсказаніе надъ ними сбывается: они рѣшительно не знаютъ, за что имъ зацѣпиться и на какой колоколъ себя повѣсить. Взять тягло въ толокѣ житейской — руки ихъ лѣнивы и слабы; міряне ихъ не замѣчаютъ; «мыслящіе реалисты», къ которымъ они жмутся и которыхъ увѣряютъ въ своей съ ними солидарности, тоже сторонятся отъ нихъ и чураются. Стоятъ эти бѣдные, «заплаканные» люди въ сторонѣ ото всего живого, стоятъ потерянно, какъ тѣ іудейскіе воины, которыхъ вождь покинулъ у потока и повелъ впередъ только однихъ локавшихъ по-песьи. Стоятъ

они даже не ожидая, что къ нимъ придетъ новый Гедеонъ, который выжметъ передъ ними руно и разобьетъ водоносъ свой, а растерявшись измышляютъ только, какъ бы еще что-нибудь почуднѣе выкинуть въ своей старой, нигилистической курткѣ.

Вѣра Сергѣевна Онучина возбуждаетъ всеобщую зависть и удивленіе. Она нынче одна изъ блистательнѣйшихъ дамъ самаго представительнаго русскаго посольства. Мужа своего она терпѣть не можетъ, но и весьма равнодушно относится ко всѣмъ искательствамъ свѣтскихъ львовъ и онагровъ. По столичной хроникѣ, ея теплымъ вниманіемъ до сихъ поръ пользуется только одинъ primo tenore итальянской оперы. Что будетъ далѣе—пока неизвѣстно. Серафима Григорьевна читаетъ сочиненія аббата Гёте и проклинаетъ Ренана. Кириллъ Сергѣевичъ сдѣлался туристомъ. Онъ объѣхалъ западный берегъ Африки и путешествовалъ по всей Америкѣ. Недавно онъ возвратился въ Петербургъ и привезъ первое и послѣднее извѣстіе о Долинскомъ. Онучинъ видѣлъ Нестора Игнатьича съ іезуитскими миссіонерами въ Парагваѣ. По словамъ Кирилла Сергѣевича, на всѣ вопросы, которые онъ дѣлалъ Долинскому, тотъ съ ненарушимымъ спокойствіемъ отвѣчалъ только: «memento mori!»

Пара строкъ вмѣсто эпилога.

Хищная возвратная горячка, вычеркнувшая прошедшею зимою такъ много человѣческихъ именъ изъ списка живыхъ питерщиковъ, отвела сажень приневской тундры для синьоры Луизы. Безпокойная подруга Илья Макаровича улеглась на вѣчный покой въ холодной могилѣ на Смоленскомъ кладбищѣ, оставивъ художницу пятилѣтняго сына, восьмилѣтнюю дочь и вексель, взятый ею когда-то въ обезпеченіе себѣ вѣрной любви до гроба. Илья Макаровичъ совсѣмъ засуетился съ сиротами и надѣлалъ бы Богъ-вѣсть какой чепухи, если бы въ спасеніе дѣтей не вступилась Анна Михайловна. Она взяла ихъ къ себѣ и возится съ ними какъ лучшая мать. Илья Макаровичъ прибѣгаетъ теперь сюда каждый день взглянуть на своихъ ребятокъ, восторгается ими, поучаетъ ихъ любви и почтенію къ Аннѣ Михайловнѣ; цѣлуетъ ихъ черненькія головенки и нерѣдко плачетъ надъ ними. Онъ совсѣмъ не можетъ сладить съ

теперешнимъ своимъ одиночествомъ и, по собственному его выраженію, «нудится жизнью», скучаетъ ею. Недавно (читатель совершенно удобно можетъ вообразить, что это было вчера вечеромъ), Илья Макаровичъ явился къ Аннѣ Михайловнѣ съ лицомъ блѣднымъ, озабоченнымъ и серьезнымъ.

— Что̀ съ вами, милый Илья Макаровичъ? — спросила его съ своимъ всегдашнимъ теплымъ участіемъ Анна Михайловна, трогаясь рукою за плечо художника.

Илья Макаровичъ быстро поцѣловалъ ея руку, отбѣжалъ въ сторону и заморгалъ.

— Что̀ съ вами такое сегодня? — переспросила, снова подходя къ нему и кладя ему на плечи свои ласковыя руки, Анна Михайловна.

— Со мной-съ?.. Со мной, Анна Михайловна, ничего. Со мной то же, что̀ со всѣми: скучно очень.

Анна Михайловна тихо покачала головою и тихо сказала:

— Не весело; это правда.

— Анна Михайловна! — началъ, быстро оправляясь, художникъ:—у насъ ужъ такіе годы, что...

— Изъ ума выживать пора?

— Ахъ, нѣтъ-съ! то-то именно нѣтъ-съ. Въ наши годы можно о себѣ серьезнѣй думать. Просто разбитые мы всѣ люди: ни счастья у насъ, ни радостей у насъ, утромъ ждешь вечера, съ вечера ночь къ утру торопишь, жить ни при чемъ, а руки на себя наложить подло. Это что же это такое? Это просто терзанье, а не жизнь.

Тихая улыбка улетѣла съ лица Анны Михайловны, и она смотрѣла въ глаза художнику очень серьезно.

— А между тѣмъ... знаете что̀, Анна Михайловна... Не разсердитесь только вы Христа-ради?

— Я никогда не сержусь.

— Будьте матерью моимъ дѣтямъ: выйдите за меня замужъ, ей-Богу, ей-Богу я буду... хорошимъ человѣкомъ,— проговорилъ со страхомъ и надеждою Журавка и сильно прижалъ къ дрожащимъ и теплымъ губамъ Анны Михайловнину руку.

Анна Михайловна смотрѣла на художника попрежнему тихо и серьезно.

— Илья Макарычъ! — начала она ему послѣ минутной паузы. — Во-первыхъ, вы ободритесь и не конфузьтесь. Не

жалѣйте, пожалуйста, что вы мнѣ это сказали (она вз
его ладонью подъ подбородокъ и приподняла его опущен
голову). Вы ничѣмъ меня не обрадовали, но и ничѣмъ
обидѣли: сердиться на васъ мнѣ не за что; но тол
оставьте вы это, мой милый; оставьте объ этомъ думат

— Да вѣдь я-жъ бы любилъ васъ!—произнесъ совс
сквозь слезы Журавка, сжимая между своими руками р
Анны Михайловны и цѣлуя концы ея пальцевъ.

— Знаю, знаю, Илья Макарычъ, и вѣрю вамъ,—отвѣч
Анна Михайловна, матерински лаская его голову.

— Вѣдь выходятъ же замужъ и...—художникъ оста
вился.

— *Не любя*,—досказала Анна Михайловна.—Да, мн
Илья Макарычъ, выходятъ, и очень-очень дурно дѣлак
Неужто вы хвалите тѣхъ, которыя такъ выходятъ?

— Нѣтъ... это я... такъ сказалъ,—отвѣчалъ, глотая сле
Журавка.

— Такъ сказали? Да, я увѣрена, что вы въ эту мин
обо мнѣ не подумали. Но скажите же теперь, мой дру
если вы нехорошаго мнѣнія о женщинахъ, которыя вы
дятъ замужъ *не любя* своего будущаго мужа, — то ка
же вы были бы мнѣнія о женщинѣ, которая выйдетъ
мужъ, любя не того, кого она будетъ называть мужемъ?

— Но вѣдь *его* нѣту; *онъ пропалъ*... погибъ.

— Погибшіе еще болѣе жалки.

— Да нѣтъ же, поймите вы, что вѣдь нѣтъ его совс
на свѣтѣ,—говорилъ, плача какъ ребенокъ, Журавка.

Анна Михайловна слегка наморщила брови и впер
въ жизни едва не разсердилась. Она положила свою р
на темя Ильи Макаровича, порывисто придвинула его
къ своему сердцу и сказала:

— Слышите? Это *онъ* стучитъ тамъ своимъ дорожн
посохомъ.

НА КРАЮ СВЂТА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Раннимъ вечеромъ, на святкахъ, мы сидѣли за чайнымъ столомъ въ большой голубой гостиной архіерейскаго дома. Насъ было семь человѣкъ, восьмой нашъ хозяинъ, тогда же весьма престарѣлый архіепископъ, больной и немощный. Гости были люди просвѣщенные и между ними шелъ интересный разговоръ о нашей вѣрѣ и о нашемъ невѣріи, о нашемъ проповѣдничествѣ въ храмахъ и о просвѣтительныхъ трудахъ нашихъ миссій на Востокѣ. Въ числѣ собесѣдниковъ находился нѣкто флота-капитанъ Б., очень добрый человѣкъ, но большой нападчикъ на русское духовенство. Онъ твердилъ, что наши миссіонеры совершенно неспособны къ своему дѣлу, и радовался, что правительство разрѣшило теперь трудиться на пользу Слова Божія чужеземнымъ евангелическимъ пасторамъ. Б. выражалъ твердую увѣренность, что эти проповѣдники будутъ у насъ имѣть громный успѣхъ не среди однихъ евреевъ и докажутъ, какъ два и два—четыре, неспособность русскаго духовенства къ миссіонерской проповѣди.

Нашъ почтенный хозяинъ, въ продолженіе этого разговора, хранилъ глубое молчаніе: онъ сидѣлъ съ покрытыми пледомъ ногами въ своемъ глубокомъ вольтеровскомъ креслѣ и, повидимому, думалъ о чемъ-то другомъ; но когда Б. кончилъ, старый владыка вздохнулъ и проговорилъ:

— Мнѣ кажется, господа, что вы господина капитана напрасно бы стали оспаривать; я думаю, что онъ правъ: чужеземные миссіонеры положительно должны имѣть у насъ большой успѣхъ.

— Я очень счастливъ, владыко, что вы раздѣляете мое мнѣніе,—отвѣчалъ капитанъ Б. и, сдѣлавъ вслѣдъ за симъ нѣсколько самыхъ благопристойныхъ и тонкихъ комплиментовъ извѣстной образованности ума и благородству характера архіерея, добавилъ:

— Ваше высокопреосвященство, разумѣется, лучше меня знаете всѣ недостатки русской Церкви, гдѣ, конечно, среди духовенства есть люди и очень умные, и очень добрые,—я этого никакъ не стану оспаривать, но они едва ли понимаютъ Христа. Ихъ положеніе и прочее... заставляетъ ихъ толковать все... слишкомъ узко.

Архіерей посмотрѣлъ на него, улыбнулся и отвѣтилъ:

— Да, господинъ капитанъ, скромность моя не оскорбится признать, что я, можетъ-быть, не хуже васъ знаю всѣ скорби Церкви; но справедливость была бы оскорблена, если бы я рѣшился признать вмѣстѣ съ вами, что въ Россіи Господа Христа понимаютъ менѣе, чѣмъ въ Тюбингенѣ, Лондонѣ или Женевѣ.

— Объ этомъ, владыко, еще можно спорить.

Архіерей снова улыбнулся и сказалъ:

— А вы, я вижу, охочи спорить. Что съ вами дѣлать! Отъ спора мы воздержимся, а бесѣдовать—давайте.

И съ этимъ словомъ онъ взялъ со стола большой, богато украшенный рѣзьбою изъ слоновой кости, альбомъ и, раскрывъ его, сказалъ:

— Вотъ нашъ Господь!—Зову васъ посмотрѣть! Здѣсь я собралъ много изображеній Его лица. Вотъ Онъ сидитъ у кладезя съ женой самаритянской — работа дивная; художникъ, надо думать, понималъ и лицо, и моментъ.

— Да; мнѣ тоже кажется, владыко, что это сдѣлано съ понятіемъ,—отвѣчалъ Б.

— Однако, нѣтъ ли здѣсь въ Божественномъ лицѣ излишней мягкости? не кажется ли вамъ, что Ему ужъ слишкомъ все равно, сколько эта женщина имѣла мужей и что нынѣшній мужъ ей не мужъ?

Всѣ молчали; архіерей это замѣтилъ и продолжалъ:

— Мнѣ кажется, сюда немного строгаго вниманія было бы чертой нелишнею.

— Вы правы, можетъ-быть, владыко.

— Распространенная картина; мнѣ доводилось ее часто видѣть по преимуществу у дамъ. Посмотримъ далѣе. Опять

ікій мастеръ. Христа цѣлуетъ здѣсь Іуда. Какъ кажется
ъ здѣсь Господень ликъ? Какая сдержанность и доброта!
правда ли? Прекрасное изображеніе!
— Прекрасный ликъ!
— Однако, не слишкомъ ли много здѣсь усилія сдержи-
ься? Смотрите: лѣвая щека, мнѣ кажется, дрожитъ и на
ахъ какъ бы гадливость.
— Конечно, это есть, владыко.
— О, да; да вѣдь Іуда ея ужъ, разумѣется, и стоилъ; и
ъ, и льстецъ — онъ очень могъ ее вызвать у всякаго...
ько, впрочемъ, не у Христа, Который ничѣмъ не брезго-
ъ, а всѣхъ жалѣлъ. Ну, мы этого пропустимъ; Онъ насъ,
ется, не совсѣмъ удовлетворяетъ, хотя я знаю одного
ьшого сановника, который мнѣ говорилъ, что онъ удач-
этого изображенія Христа представить себѣ не можетъ.
ъ вновь Христосъ и тоже кисть великая писала. — Ти-
ъ: передъ Господомъ стоитъ коварный фарисей съ ди-
іемъ. Смотрите-ка: какой лукавый старецъ, но Христосъ...
істосъ... Охъ, я боюсь! смотрите: нѣтъ ли тутъ презрѣнія
Его лицѣ?
— Оно и быть могло, владыко!
— Могло, не спорю: старецъ гадокъ; но я, молясь, та-
ъ себѣ не мыслю Господа и думаю, что это неудобно?
правда ли?
Мы отвѣчали согласіемъ, находя, что представлять лицо
иста въ такомъ выраженіи неудобно, особенно вознося
Нему молитвы.
— Совершенно съ вами въ этомъ согласенъ, и даже при-
инаю себѣ объ этомъ споръ мой нѣкогда съ однимъ
ломатомъ, которому *этотъ* Христосъ только и нравился;
впрочемъ, что же?.. моментъ дипломатическій. Но пой-
те далѣе: вотъ тутъ уже, съ этихъ мѣстъ у меня начи-
ются одинокія изображенія Господа, безъ сосѣдей. Вотъ
ъ снимокъ съ прекрасной головы скульптора Кауера:
ошъ, хорошъ! — ни слова; но мнѣ, воля ваша, эта ака-
ическая голова напоминаетъ гораздо менѣе Христа, чѣмъ
ітона. Вотъ Онъ, еще... какой страдалецъ... какой ужас-
й видъ придалъ Ему Метсу!.. Не понимаю, зачѣмъ онъ
такъ избилъ, изсѣкъ и искровянилъ?.. Это, право, ужасно!
хли вѣки, кровь и синяки... весь духъ, кажется, изъ
го выбитъ и на одно страдающее тѣло ужъ смотрѣть

даже страшно... Перевернемъ скорѣй. Онъ тутъ внушает
только состраданіе, и ничего болѣе. — Вотъ вамъ Лафонъ
можетъ-быть, и небольшой художникъ, да на многихъ нынч
хорошо потрафилъ; онъ, какъ видите, понялъ Христа иначе
чѣмъ всѣ предыдущіе, и иначе Его себѣ и намъ предста
вилъ: фигура стройная и привлекательная, ликъ добры
голубиный, взглядъ подъ чистымъ лбомъ, и какъ легко во
нуются здѣсь кудри: тутъ локоны, тутъ эти пѣтушки, кру
тясь, легли на лбу. Красиво, право! а на рукѣ Его пы
лаетъ сердце, обвитое терновою лозою. Это «Sacré coeur
что отцы іезуиты проповѣдуютъ; мнѣ кто-то сказывалъ, ч
они и вдохновляли сего господина Лафона чертить это изо
раженіе; но оно, впрочемъ, нравится и тѣмъ, которые д
маютъ, что у нихъ нѣтъ ничего общаго съ отцами іезуитам
Помню, мнѣ какъ-то разъ, въ лютый морозъ, довелось з
ѣхать въ Петербургѣ къ одному русскому князю, котор
показывалъ мнѣ чудеса своихъ палатъ, и вотъ тамъ,
совсѣмъ на мѣстѣ — въ зимнемъ саду, я увидѣлъ впервы
этого Христа. Картина въ рамочкѣ стояла на столѣ, пере
которымъ сидѣла княгиня и мечтала Прекрасная бы
обстановка: пальмы, аурумы, бананы, шебечутъ и порхаю
птички, и она мечтаетъ. О чемъ? Она мнѣ сказала:—«ище
Христа». Я тогда и всмотрѣлся въ это изображеніе. Дѣ
ствительно, смотрите, какъ Онъ эффектно выходитъ, и
лучше сказать, износится изъ этой тьмы; за Нимъ ниче
ни этихъ пророковъ, которые докучали всѣмъ, бѣгая въ с
ихъ лохмотьяхъ и цѣпляясь даже за царскія колесницы,
ничего этого нѣтъ, а только тьма... тьма фантазіи. Э
дама,—пошли ей Богъ здоровья,—первая мнѣ и объясни
тайну, какъ находить Христа, послѣ чего я и не спорю
господиномъ капитаномъ, что иностранные проповѣдники
насъ не однимъ жидамъ Его покажутъ, а всѣмъ, кому
чется, чтобы Онъ пришелъ подъ пальмы и бананы слуш
канареекъ. Только Онъ ли туда придетъ? Не пришелъ
подъ Его слѣдъ кто другой къ нимъ? Признаюсь вамъ,
этому щеголеватому канареечному Христу охотно пред
челъ бы вотъ эту жидоватую главу Гверчино, хотя и о
говоритъ мнѣ только о добромъ и восторженномъ равви
котораго, по опредѣленію господина Ренана, можно бы
любить и съ удовольствіемъ слушать... И вотъ вамъ, сколь
пониманій и представленій о Томъ, Кто одинъ всѣмъ на

а потребу! Закроемъ теперь все это и обернитесь къ углу, ъ которому стоите спиною: опять ликъ Христовъ и уже на ей разъ это именно не лицо,—а ликъ. Типическое русское зображеніе Господа: взглядъ прямъ и простъ, темя возвы-ленное, что̀, какъ извѣстно, и по системѣ Лафатера озна-аетъ способность возвышеннаго богопочтенія; въ ликѣ ть выраженіе, но нѣтъ страстей. Какъ достигали такой релести изображенія наши старые мастера?—это осталось хъ тайной, которая и умерла вмѣстѣ съ ними и съ ихъ гверженнымъ искусствомъ. Просто—до невозможности же-ать простѣйшаго въ искусствѣ: черты чуть слегка озна-ены, а впечатлѣніе полно; мужиковатъ Онъ, правда, но ри всемъ томъ Ему подобаетъ поклоненіе, и какъ кому годно, а по-моему, нашъ простодушный мастеръ лучше сѣхъ *понялъ*—Кого ему надо было написать. Мужиковатъ нъ, повторяю вамъ, и въ зимній садъ Его не позовутъ слушать канареекъ, да что̀ бѣды! — гдѣ Онъ какимъ от-рылся, тамъ такимъ и ходитъ; а къ намъ зашелъ Онъ въ абьемъ зракѣ и такъ и ходитъ, не имѣя, гдѣ главы приклонить съ Петербурга до Камчатки. Знать Ему это нравится при-имать съ нами поношенія отъ тѣхъ, кто пьетъ кровь Его ее же проливаетъ. И вотъ, въ эту же мѣру, въ какую, о-моему, проще и удачнѣе наше народное искусство по-яло внѣшнія черты Христова изображенія, и народный ухъ нашъ, можетъ-быть, ближе къ истинѣ постигъ и вну-реннія черты Его характера. Не хотите ли, я вамъ раз-кажу нѣкоторый, можетъ-быть не лишенный интереса, некдотъ на этотъ случай.

— Ахъ, сдѣлайте милость, владыко; мы всѣ васъ просимъ бъ этомъ!

— А, просите?—такъ и прекрасно: тогда и я васъ прошу лушать и не перебивать, что̀ я начну сказывать довольно здали.

Мы откашлянулись, поправились на мѣстахъ, чтобы не шевелиться, и архіерей началъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

— Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лѣтъ назадъ: это будетъ относиться къ тому времени, когда и еще, можно сказать, довольно молодымъ человѣкомъ, былъ поставленъ во епископы, въ весьма отдаленную си-

бирскую епархію. Я былъ отъ природы нрава пылкаго и любилъ, чтобы у меня было много дѣла, а потому не только не опечалился, а даже очень обрадовался этому дальнему назначенію. Слава Богу, думалъ я, что мнѣ хотя для начала-то выпало на долю не только ставленниковъ стричь, да пьяныхъ дьячковъ разбирать, а настоящее живое дѣло, которымъ можно съ любовію заняться. Я разумѣлъ именно то наше малоуспѣшное миссіонерство, о которомъ господинъ капитанъ изволилъ вспомнить въ началѣ нашей сегодняшней бесѣды. Ѣхалъ я къ своему мѣсту, пылая рвеніемъ и съ планами самыми обширными, и сразу же былъ и всю свою энергію остудилъ и, что еще важнѣе, — чуть-чуть было самаго дѣла не перепортилъ, если бы мнѣ не данъ былъ спасительный урокъ въ одномъ чудесномъ событіи.

— Чудесное!—воскликнулъ кто-то изъ слушателей, позабывъ условіе не перебивать разсказа; но нашъ снисходительный хозяинъ за это не разсердился и отвѣчалъ:

— Да, господа, обмолвясь словомъ, могу его не брать назадъ: въ томъ, что̀ со мною случилось и о чемъ началъ вамъ разсказывать—не безъ чудесъ, и чудеса эти начали мнѣ являться чуть не съ самаго перваго дня моего прибытія въ мою полудикую епархію. Первое дѣло, съ котораго начинаетъ свою дѣятельность русскій архіерей, куда бы онъ ни попалъ, конечно есть обозрѣніе внѣшности храмовъ и богослуженія, — къ этому обратился и я: велѣлъ, чтобы вездѣ были приняты прочь съ престоловъ лишніе евангелія и кресты, благодаря которымъ эти престолы у насъ часто превращаются въ какія-то выставки магазина церковной утвари. Заказалъ себѣ столько ковриковъ съ орлецами, сколько нужно было, чтобы они лежали на своихъ мѣстахъ, чтобы не шмыгали у меня съ ними подъ носомъ, подбрасывая ихъ подъ ноги. Съ усиліемъ и подъ страхомъ штрафовъ воздерживалъ дьяконовъ не ловить меня во время служенія за локти и не забираться рядомъ со мною на горнее мѣсто, а нашаче всего не надѣлять тумаками и подзагривками бѣдныхъ ставленниковъ, у которыхъ оттого, послѣ пріятія благодати Святаго Духа, недѣли по двѣ, и загорбокъ, и шея болитъ. И никто изъ васъ мнѣ не повѣритъ, сколько все это стоитъ труда и какія приноситъ досады, особенно человѣку нетерпѣливому, какимъ я тогда былъ и остаюсь таковымъ же, къ моему стыду, отчасти и

оселѣ. Окончилось съ этимъ,—надо было приниматься за
горое архіерейское дѣло первой важности: удостовѣриться,
мѣютъ ли причетники читать, хоть ужъ если не по пи-
анному, то, по крайней мѣрѣ, по печатному. Эти экзамены
олго меня заняли и сильно досаждали мнѣ, а порою и
мѣшили. Безграмотный, или, по крайней мѣрѣ, *«непись-
енный»* дьячокъ или понамарь и теперь еще, пожалуй,
тыщется въ селѣ или въ уѣздномъ городишкѣ и внутри
оссіи, что и оказалось, когда имъ, нѣсколько лѣтъ тому
азадъ, пришлось въ первый разъ расписываться въ полу-
ніи жалованья. Но тогда,—во время оно, да еще въ
ибири,—это было явленіе самое обыкновенное. Я ихъ ве-
лъ учить; они на меня, разумѣется, плакались и про-
али меня «лютымъ»; приходы жаловались, что нѣтъ чте-
въ, что архіерей «церкви разоряетъ». Что тутъ дѣлать!
сталъ отпускать на мѣста такихъ дьячковъ, которые
ть на память читать умѣли, и—о, Боже!—что за людей
видѣлъ! Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже...
кіе-то одержимые. Одинъ, вмѣсто «Пріидите, поклонимся
реви Нашему Богу», закрывъ глаза, какъ перепелъ,
лотилъ: «плитимбоу, плитимбоу» и заливался этимъ такъ,
о удержать его невозможно. Другой — уже это именно
лъ одержимый,—онъ такъ искусился въ скорохватѣ, что
какимъ-нибудь извѣстнымъ словомъ у него являлась
ая ассоціація идей, которой онъ никакъ не могъ не под-
няться. Такое слово для него было, напримѣръ, «на не-
си». Начнетъ читать: «Иже на всякое время, на всякій
съ на небеси»... и вдругъ у него что-то въ головѣ за-
лкнетъ, и онъ продолжаетъ: «да святится Имя Твое, да
ідетъ царствіе». Что я съ этимъ тираномъ ни мучился,
е было тщетно! Велѣлъ ему по книгѣ читать,—читаетъ:
Іже на всякое время, на всякій часъ на небеси», но
ругъ закрылъ книгу и пошелъ «да святится имя Твое»,
залопоталъ до конца, и возглашаетъ «отъ лукаваго».
лько тутъ и остановиться могъ: оказалось, что онъ не
гѣетъ читать. За грамотностью дьячковъ очередь перехо-
тъ къ благонравію семинаристовъ и опять начинаются
удеса. Семинарія была до того распущена, воспитанники
ьянствовали и до того безчинствовали, что, напримѣръ,
инъ философъ, при инспекторѣ, кончая вечернія молитвы,
рочелъ: «упованіе мое, Отецъ, прибѣжище мое Сынъ, по-

кровъ мой Духъ Святый: Троица Святая,—*мое вамъ почтеніе*»; а въ богословскомъ классѣ другая исторія: одинъ послѣ обѣда благодаритъ, «яко насытилъ земныхъ благъ», и проситъ не лишить и «небеснаго царствія», а ему изъ толпы кричатъ: «Свинья! нажрался, да еще въ царство небесное просишься».

Надо было подыскать какъ можно скорѣе инспектора, подходящаго подъ мой духъ,—тоже лютаго; при большой спѣшности и небольшомъ выборѣ попался такой: лютости въ немъ оказалось довольно, но уже зато ничего другого не спрашивай.

— Я, говоритъ, ваше преосвященство, приму все это по-военному, чтобы сразу...

— Хорошо,—отвѣчаю:—примись по-военному...

Онъ и принялся и съ того началъ, что молитвы распорядился не читать, но пѣть хоромъ, дабы устранить всякія шалости, и то пѣть по его командѣ. Взойдетъ онъ при полномъ молчаніи и, пока не скомандуетъ, всѣ безмолвствуютъ; скомандуетъ: «молитву!» и запоютъ. Но этотъ уже очень «по-военному» уставилъ; скомандуетъ «молит-в-у-у!» Семинаристы только запоютъ «Очи всѣхъ Господи на Тя упов...»—онъ на половинѣ слова кричитъ: «Ст-о-ой» и подзываетъ одного:

— Фроловъ, поди сюда!

Тотъ подходитъ.

— Ты Багрѣевъ?

— Нѣтъ-съ, я Фроловъ.

— А-а: ты Фроловъ?! Отчего же это я думалъ, что ты Багрѣевъ?

Опять хохотъ и опять ко мнѣ жалобы. Нѣтъ, вижу—не годится этотъ съ военными пріемами, и нашелъ кое-какъ цивилиста, который былъ хотя не столь лютъ, но благоразумнѣе дѣйствовалъ: передъ учениками притворялся самымъ слабымъ добрякомъ, а мнѣ все ябедничалъ и повсюду разсказывалъ ужасы о моемъ звѣрствѣ. Я это зналъ и, видя, что эта мѣра оказывается дѣйствительною, не претилъ его системѣ.

Насилу этихъ своею «лютостію» въ повиновеніе привелъ, въ зрѣломъ возрастѣ чудеса пошли: доносятъ мнѣ, что въ соборнаго протоіерея возъ сѣна въ середину въѣхалъ и не можетъ выѣхать. Посылаю узнавать; говорятъ: дѣйствительно

такъ. Протопопъ былъ тучный: послѣ обѣдни крестилъ въ купеческомъ домѣ и вдоволь облѣпихою угостился, а что отъ этой облѣпихи, что отъ другой тамошней ягоды, дикуши, хмель самый тяжелый и глупый. То и съ этимъ сталось: пришелъ домой, часа четыре заснулъ, всталъ и, выпивъ жбанъ квасу, легъ грудью на окно, чтобы поговорить съ кѣмъ-то, кто внизу стоялъ, и вдругъ... возъ съ сѣномъ въ него въѣхалъ. Вѣдь все это глупое такое, что даже противно сдѣлается, а раздѣлается, такъ, пожалуй, еще противнѣй станетъ. На другой день келейникъ подаетъ мнѣ сапоги и докладываетъ, что «слава Богу, говоритъ, изъ отца протопопа возъ съ сѣномъ уже выѣхалъ».

— Очень радъ, говорю, таковой радости; но подай-ка мнѣ эту исторію обстоятельно.

Оказывается, что протопопъ, имѣвшій двухъ-этажный домъ, легъ на окно, подъ которымъ были ворота, и въ нихъ въ эту минуту въѣхалъ возъ съ сѣномъ, причемъ ему, отъ облѣпихи и отъ сна до одури, показалось, что это въ него въѣхало. Невѣроятно, но, однако, такъ было: credo, quia absurdum.

Какъ же сего дивотворнаго мужа спасли?

А тоже дивотворно: встать онъ ни за что не соглашался, потому что въ немъ возъ сидитъ; лѣкарь не находилъ лѣкарства противъ сего недуга. Тогда шаманку призвали; та повертѣлась, постучала и велѣла на дворѣ возъ сѣна наложить и назадъ выѣхать; больной принялъ, что это изъ него выѣхало, и исцѣлѣлъ.

Ну, послѣ этого дѣлайте съ нимъ, что хотите, а онъ свое уже сдѣлалъ: и людей насмѣшилъ, и шаманку призвалъ идольскими чарами его пользовать; а такія вещи тамъ не въ мѣшечкѣ лежатъ, а по дорожкѣ бѣжатъ. «Что-де попы,—они ничего не значатъ и сами нашихъ шамановъ зовутъ шайтана отгонять». И идутъ себѣ да идутъ этакія глупости. Долго я приправлялъ, какъ могъ, сіи дымящія лампады, и приходская часть мнѣ черезъ нихъ невыносимо надокучила; но зато насталъ давно желанный и вожделѣнный мигъ, когда я могъ всего себя посвятить трудамъ по просвѣщенію дикихъ овецъ моей паствы, пасущихся безъ пастыря.

«Забралъ я себѣ всѣ касающіяся этой части бумаги и присѣлъ за нихъ вплотную, такъ что и отъ стола не отхожу».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Ознакомясь съ миссіонерскими отчетностями, я остался всею дѣятельностію недоволенъ болѣе, чѣмъ дѣятельностію моего приходскаго духовенства: обращеній въ христіанство было чрезвычайно мало, да и то ясно было, что добрая доля этихъ обращеній значилась только на бумагѣ. На самомъ же дѣлѣ одни изъ крещеныхъ снова возвращались въ свою прежнюю вѣру,—ламайскую или шаманскую; а другіе дѣлали изъ всѣхъ этихъ вѣръ самое странное и нелѣпое смѣшеніе: они молились и Христу съ Его апостолами, и Буддѣ съ его буддисидами, да тенгеринами, и волочнымъ сумочкамъ съ шаманскими ангонами. Двоевѣрие держалось не у однихъ кочевниковъ, а почти и повсемѣстно въ моей паствѣ, которая не представляла отдѣльной вѣтви какой-нибудь одной народности, а какіе-то щепы и осколки Богъ вѣсть когда и откуда сюда попавшихъ племенныхъ разновидностей, бѣдныхъ по языку и еще болѣе бѣдныхъ по понятіямъ и фантазіи. Видя, что все, касающееся миссіонерства, находится здѣсь въ такомъ хаосѣ, я возымѣлъ объ этихъ моихъ сотрудникахъ мнѣніе самое невыгодное и обошелся съ ними нетерпѣливо сурово. Вообще, я сталъ очень раздражителенъ, и данное мнѣ прозвище «лютаго» начало мнѣ приличествовать. Особенно испыталъ на себѣ печать моего гнѣвливаго нетерпѣнія бѣдный монастырекъ, который я избралъ для своего жительства и при которомъ желалъ основать школу для мѣстныхъ инородцевъ. Разспросивъ чернецовъ, я узналъ, что въ городѣ почти всѣ говорятъ по-якутски, но изъ моихъ иноковъ изо всѣхъ по-инородчески говоритъ только одинъ очень престарѣлый іеромонахъ, отецъ Киріакъ, да и тотъ къ дѣлу проповѣди не годится, а если и годится, то, хоть его убей, не хочетъ идти къ дикимъ проповѣдывать.

— Что это, спрашиваю, за ослушникъ, и какъ онъ смѣетъ? Сказать ему, что я этого не люблю и не потерплю.

Но экклезіархъ мнѣ отвѣчаетъ, что слова мои передастъ, но послушанія отъ Киріака не ожидаетъ, потому что это уже ему не первое:—что и два мои быстро другъ за другомъ смѣнившіеся предмѣстника съ нимъ строгость пробовали, но онъ уперся и одно отвѣчаетъ:

— «Душу за моего Христа положить радъ, а крестить

тамъ (то-есть въ пустыняхъ) не стану». Даже, говоритъ, самъ просилъ лучше сана его лишить, но туда не посылать. И отъ священнодѣйствія много лѣтъ былъ за это ослушаніе запрещенъ, но нимало тѣмъ не тяготился, а, напротивъ, съ радостью несъ самую простую службу: то сторожемъ, то въ звонарнѣ. И всѣми любимъ: и братіей, и мірянами, и даже язычниками.

— Какъ? удивляюсь: неужто даже и язычниками?

— Да, владыко, и язычники къ нему иные заходятъ.

— За какимъ же дѣломъ?

— Уважаютъ его какъ-то изстари, когда еще онъ на проповѣдь ѣздилъ въ прежнее время.

— Да каковъ онъ былъ въ то, въ прежнее-то время?

— Прежде самый успѣшный миссіонеръ былъ и множество людей обращалъ.

— Что же ему такое сдѣлалось? отчего онъ бросилъ эту дѣятельность?

— Понять нельзя, владыко; вдругъ ему что-то приключилось: вернулся изъ степей, принесъ въ алтарь мѵрницу и дароносицу и говоритъ:—Ставлю и не возьму опять, доколѣ не придетъ часъ.

— Какой же ему нуженъ часъ? что онъ подъ симъ разумѣетъ?

— Не знаю, владыко.

— Да неужто же вы у него никто этого не добивались? О, роде лукавый, доколѣ живу съ вами и терплю васъ? Какъ васъ это ничто дѣла касающееся не интересуетъ? Помните себѣ, что если тѣхъ, кои ни горячи, ни холодны, Господь обѣщалъ изблевать съ устъ своихъ, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные?

Но мой экклезіархъ оправдывается:

— Всячески, говоритъ, владыко, мы у него любопытствовали, но онъ одно отвѣчаетъ: — «Нѣтъ, говоритъ, дѣтушки, это дѣло не шутка,—это страшное... я на это смотрѣть не могу».

А что такое страшное, на это экклезіархъ не могъ мнѣ ничего обстоятельнаго отвѣтить, а сказалъ только, что «полагаемъ-де такъ, что отцу Киріаку при проповѣди какое-либо откровеніе было». Меня это разсердило. Признаюсь вамъ, я недолюбливаю этотъ ассортиментъ «слывущихъ», которые вживѣ чудеса творятъ и непосредственными от-

кровеніями хвалятся, и причины имѣю ихъ недолюбливать. А потому я сейчасъ же потребовалъ этого строптиваго Киріака къ себѣ и, не довольствуясь тѣмъ, что уже достаточно слылъ грознымъ и лютымъ, взялъ да еще принасупился: былъ готовъ опалить его гнѣвомъ, какъ только покажется. Но пришелъ къ моимъ очамъ монашекъ, такой маленькій, такой тихій, что не на кого и взоровъ метать; одѣтъ въ облинялой коленкоровой рясѣ, клобукъ толстымъ сукномъ покрытъ, собой черненькій, востролицынькій, а входитъ бодро, безъ всякаго подобострастія, и первый меня привѣтствуетъ:

— Здравствуй, владыко!

Я не отвѣчаю на его привѣтствіе, а начинаю сурово:

— Ты что̀ это здѣсь чудишь, пріятель?

— Какъ, говоритъ, владыко? Прости, будь милостивъ: я маленько на ухо тугъ—не все дослышалъ.

Я еще погромче повторилъ.

— Теперь, молъ, понялъ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, ничего не понялъ.

— А почему ты съ проповѣдью идти не хочешь и крестить инородцевъ избѣгаешь?

— Я, говоритъ, владыко, ѣздилъ и крестилъ, пока опыта не имѣлъ.

— Да, молъ; а опытъ получивши и пересталъ?

— Пересталъ.

— Что̀ же сему за причина?

Вздохнулъ и отвѣчаетъ:

— Въ сердцѣ моемъ сія причина, владыко, и Сердцевѣдецъ ее видитъ, что велика она и мнѣ, немощному, непосильна... Не могу!

И съ симъ въ ноги мнѣ поклонился.

Я его поднялъ и говорю:

— Ты мнѣ не кланяйся, а объясни: что̀ ты откровеніе, что ли, какое получилъ, или съ самимъ Богомъ бесѣдовалъ?

Онъ съ кроткою укоризною отвѣчаетъ:

— Не смѣйся, владыко; я не Моисей, Божій избранникъ, чтобы мнѣ съ Богомъ бесѣдовать; тебѣ грѣхъ такъ думать.

Я устыдился своего пыла и смягчился, и говорю ему:

— Такъ что же? за чѣмъ дѣло?

— А за тѣмъ, видно, и дѣло, отвѣчаетъ, что я не М[illegible]

і, что я, владыко, робокъ и свою силу-мѣру знаю: изъ
ипта-то языческаго я вывесть—выведу, а Чермнаго моря
разсѣку и изъ степи не выведу, и воздвигну простыя
рдца на ропотъ къ преобидѣ Духа Святаго.
Видя этакую образность въ его живой рѣчи, я было за-
ючилъ, что онъ, вѣроятно, самъ изъ раскольниковъ, и
рашиваю:
— Да ты самъ-то какимъ чудомъ въ единеніе съ Цер-
вью приведенъ?
— Я, отвѣчаетъ, въ единеніи съ нею съ моего младен-
ства и пребуду въ немъ даже до гроба.
И разсказалъ мнѣ препростое и престранное свое про-
хожденіе. Отецъ у него былъ попъ, рано овдовѣлъ; по-
чалъ какую-то незаконную свадьбу и былъ лишенъ мѣста,
такъ, что всю жизнь потомъ не могъ себѣ его нигдѣ
ыскать, а состоялъ при нѣкоей пожилой важной дамѣ,
торая всю жизнь съ мѣста на мѣсто ѣздила и, боясь уме-
ть безъ покаянія, для этого случая сего попа при себѣ
ила. Ѣдетъ она, — онъ на передней лавочкѣ съ нею въ
ретѣ сидитъ; а она въ домъ войдетъ,—онъ въ передней
лакеями ее ожидаетъ. И можете себѣ вообразить чело-
ка, у котораго этакая была вся жизнь! А между тѣмъ,
ь, не имѣя уже своего алтаря, питался буквально отъ
ей дароносицы, которая съ нимъ за пазухою путеше-
вовала, и на сынишку онъ у этой дамы какія-то крохи
маливалъ, чтобы въ училищѣ его содержать. Такъ они и
Сибирь попали: барыня сюда поѣхала дочь навѣстить,
торая была тутъ за губернаторомъ замужемъ, и попа съ
роносицей на передней лавочкѣ привезла. Но какъ путь
лъ далекій, да къ тому же еще барыня тутъ долго оста-
ться собиралась, то попикъ, любя сынишку, не согла-
лся безъ него ѣхать. Барыня подумала-подумала — и,
дя, что ей родительскихъ чувствъ не переупрямить, со-
силась и взяла съ собою и мальчишку. Такъ онъ сзади
каретою переѣхалъ изъ Европы въ Азію, имѣя при семъ
евымъ долгомъ охранять своимъ присутствіемъ привя-
ный на запяткахъ чемоданъ, на которомъ и самого его
вязали, дабы сонный не свалился. Тутъ и его барыня,
го отецъ умерли, а онъ остался, за бѣдностію курса не
чилъ, въ солдаты попалъ, этапъ водилъ. Имѣя мѣткій
зъ, по приказанію начальства, не цѣлясь, въ догонъ за

какимъ-то бѣглымъ пулю пустилъ и безъ всякаго желанія, на свое горе, убилъ того, и съ той поры онъ все страдалъ, все мучился и, сдѣлавшись негоднымъ къ службѣ, въ монахи пошелъ, гдѣ его отличное поведеніе было замѣчено, а знаніе инородческаго языка и его религіозность побудили склонить его къ миссіонерству.

Выслушалъ я эту простую, но трогательную повѣсть старика и стало мнѣ его до жуткости жалко, и чтобы перемѣнить съ нимъ тонъ, я ему говорю:

— Такъ, стало-быть, это, что подозрѣваютъ, будто ты чудеса какія-нибудь видѣлъ, это неправда?

Но онъ отвѣчаетъ:

— Отчего же, владыко, неправда?

— Какъ?.. такъ ты видѣлъ чудеса?

— Кто же, владыко, чудесъ не видѣлъ?

— Однако?

— Что, однако? Куда ни глянь — все чудо: вода ходитъ въ облакѣ, воздухъ землю держитъ, какъ перышко; вотъ мы съ тобою прахъ и пепелъ, а движимся и мыслимъ, и то мнѣ чудесно; а умремъ и прахъ разсыпется, а духъ пойдетъ къ Тому, Кто его въ насъ заключилъ. И то мнѣ чудно: какъ онъ нагъ безо всего пойдетъ? кто ему крыла дастъ яко голубицѣ, да полетитъ и почіетъ?

— Ну, это-то, молъ, мы оставимъ другимъ разсуждать, а ты скажи мнѣ, не виляя умомъ: не было ли съ тобою въ жизни какихъ-либо необычайныхъ явленій, или чего иного въ семъ родѣ?

— Было отчасти и это.

— Что же такое?

— Очень, говоритъ, владыко, съ дѣтства я былъ взысканъ Божіей милостію и недостойно получалъ дважды чудесныя заступленія.

— Гм? разсказывай.

— Первый разъ это было, владыко, въ сущемъ младенчествѣ. Въ третьемъ классѣ я былъ еще и очень мнѣ въ поле гулять идти хотѣлось. Мы, трое мальчишекъ, пошли у смотрителя рекреацію просить, да не выпросили и рѣшились солгать, а зачинщикъ всему тому я былъ. «Давай, говорю, ребята, всѣхъ обманемъ, побѣжимъ и закричимъ: отпустилъ, отпустилъ!» Такъ и сдѣлали: всѣ съ нашего слова и разбѣжались изъ классовъ и пошли гулять и ку-

ться, да рыбченку ловить. А къ вечеру на меня страхъ напалъ: что мнѣ будетъ, какъ домой вернемся?—запоретъ смотритель. Прихожу и гляжу — уже и розги въ лохани стоятъ; я скорѣй драла, да въ баню, спрятался подъ полокъ, а и ну молиться: «Господи! хотя нельзя, чтобы меня не пороть, но сдѣлай, чтобы не пороли!» И такъ усердно объ этомъ въ жару вѣры молился, что даже запотѣлъ и обезсилѣлъ; но тутъ вдругъ на меня чудной прохладой тихой повѣяло и у сердца какъ голубокъ тепленькій зашелелился, и сталъ я вѣрить въ невозможность спасенія какъ ъ возможное, и покой ощутилъ, и такую отвагу, что вотъ е боюсь ничего, да и кончено! И взялъ да и спать легъ: просыпаюсь, слышу, товарищи-ребятишки весело кричатъ: «Кирюшка! Кирюшка! гдѣ ты? вылѣзай скорѣй, — ебя пороть не будутъ, ревизоръ пріѣхалъ и насъ гулять тпустилъ».

— Чудо, говорю, твое простое.

— Просто и есть, владыко, какъ сама Троица во единицѣ—простое существо,—отвѣчалъ онъ и съ неописаннѣйшимъ блаженствомъ во взорѣ добавилъ:

— Да вѣдь какъ я, владыко, Его чувствовалъ-то! Какъ пришелъ-то Онъ, батюшка мой, отрадненькій! удивилъ и обрадовалъ. Самъ суди: всей вселенной Онъ не обхватитъ, а видя ребячью скорбь, подъ банный полочекъ къ маленькѣ подползъ въ дусѣ хлада тонка и за пазушкой обигалъ...

Я вамъ долженъ признаться, что я болѣе всякихъ представленій о Божествѣ люблю этого, нашего *русскаго Бога*, который творитъ себѣ обитель «за пазушкой». Тутъ, что намъ господа греки ни толкуй, и какъ ни доказывай, что мы имъ обязаны тѣмъ, что и Бога черезъ нихъ знаемъ, — а не они намъ Его открыли:—не въ ихъ пышномъ византійствѣ мы обрѣли Его въ дымѣ кажденій, а Онъ у насъ свой притоманный и по-нашему, попросту, всюду ходитъ, и подъ банный полочекъ безъ ладана въ дусѣ хлада тонка проникнетъ, и за теплой пазухой голубкомъ пріоборкается.

— Продолжай, говорю, отецъ Киріакъ,—о другомъ чудѣ разсказа жду.

— Сейчасъ и про другое, владыко. Это было, какъ я сталъ уже дальше отъ Него, помаловѣрнѣе,—это было, какъ к сюда за каретою ѣхалъ. Взять меня надо было изъ рос-

сійскаго училища и сюда перевести передъ самымъ экзаменомъ. Я не боялся, потому что первымъ ученикомъ былъ и меня бы безъ экзамена въ семинарію приняли; а смотритель возьми, да и напиши мнѣ свидѣтельство во всемъ *посредственное*. «Это, говоритъ, нарочно, для нашей славы, чтобы тебя тамъ экзаменовать стали и увидали, каковыхъ мы за посредственныхъ считаемъ». Горе было намъ съ отцомъ ужасное; а къ тому же, хотя отецъ меня и заставлялъ, чтобы я дорогою, на запяткахъ сидя, учился, но разъ заснулъ и, черезъ рѣчку вбродъ переѣзжая, всѣ книжки свои потерялъ. Самъ горько плачучи, отецъ прежестоко меня за это на постояломъ дворѣ выпоролъ; а все-таки, пока мы до Сибири доѣхали, я все позабылъ и начинаю опять по-ребячьи молиться: «Господи, помоги! сдѣлай, чтобы меня безъ экзамена приняли». Нѣтъ; какъ Его ни просилъ, посмотрѣли на мое свидѣтельство и велѣли на экзаменъ идти. Прихожу печальный; всѣ ребята веселые въ чехарду другъ черезъ дружку прыгаютъ,—одинъ я такой, да еще другой, тощій-претощій мальчишка сидитъ, не учится, такъ, отъ слабости, говоритъ: «лихорадка забила». А я сижу, гляжу въ книгу и начинаю въ умѣ перекорятьсъ съ Господомъ: «ну, что же? думаю, вѣдь ужъ какъ я Тебя просилъ, а Ты вотъ ничего и не сдѣлалъ!» И съ этимъ всталъ, чтобы пойти воды напиться, а меня какъ что-то по самой серединѣ камеры хлопъ по затылку и на полъ бросило... Я подумалъ: это вѣрно за наказаніе! помочь-то Богъ мнѣ ничего не помогъ, а вотъ еще и ударилъ. Анъ, смотрю, нѣтъ: это просто тотъ больной мальчикъ черезъ меня прыгнуть вздумалъ, да не осилилъ, и самъ упалъ и меня сбилъ. А другіе мнѣ говорятъ: «гляди-ка, чужакъ, у тебя рука-то мотается». Попробовалъ, а рука сломана. Повели меня въ больницу и положили, а отецъ туда пришелъ и говоритъ: «не тужи, Кирюша, тебя зато теперь безъ экзамена приняли». Тутъ я и понялъ, какъ Богъ-то все устроилъ, и плакать сталъ... А экзаменъ-то легкій, прелегкій былъ, такъ что я его шутя бы и выдержалъ. Значитъ: не зналъ я, дурачокъ, чего просилъ, но и то исполнено, да еще съ вразумленіемъ.

— Ахъ, ты, говорю, отецъ Киріакъ, отецъ Киріакъ? да ты человѣкъ преутѣшительный!..—Расцѣловалъ я его неоднократно, отпустилъ, и, ни о чемъ болѣе не разспрашивая,

лѣлъ ему съ завтрашняго же дня ходить ко мнѣ, учить
ня тунгузскому и якутскому языку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Но отступивъ со своею суровостію отъ Киріака, я зато
пустился на прочихъ монаховъ своего монастырька, отъ
ихъ, по правдѣ сказать, не видалъ ни Киріакова просто-
шія и никакого дѣла на службу вѣры полезнаго: живутъ
ѣ этакимъ, такъ сказать, форпостомъ христіанства въ
аю язычниковъ, а ничего, лѣнивцы, не дѣлаютъ, — даже
ыку туземному ни одинъ не озаботился научиться.
Щунялъ я ихъ, щунялъ келейно и, наконецъ, съ амвона
нихъ громыхнулъ словомъ царя Ивана къ преподобному
рію, что «напрасно-де именуютъ чернецовъ ангелами, —
гъ имъ съ ангелами сравненія, ни какого-либо подобія,
должны они уподобляться апостоламъ, которыхъ Христосъ
слалъ учить и крестить!»
Киріакъ приходитъ ко мнѣ на другой день урокъ давать
прямо мнѣ въ ноги:
— Что̀ ты? что̀ ты? говорю, подымая его; учителю бла-
, тебѣ это не довлѣетъ ученику въ ноги кланяться.
— Нѣтъ, владыко, ужъ очень ты меня утѣшилъ, такъ
ѣшилъ, что я и въ жизнь не чаялъ такого утѣшенія!
— Да чѣмъ, говорю, Божій человѣкъ, ты такъ мною
радованъ?
— А что̀ велишь монахамъ учиться, да идучи *впередъ
ить, а потомъ крестить;* ты правъ, владыко, что такой
рядокъ устроилъ, его и Христосъ велѣлъ и приточникъ
учаетъ: «идѣже нѣсть ученія души, нѣсть добра». Кре-
ить-то они всѣ могучи, а обучить слову нѣтяги.
— Ну, ужъ это, говорю, ты меня, братъ, кажется, шире
нялъ, чѣмъ я говорилъ; этакъ, вѣдь, по-твоему и дѣтей
не надо крестить.
— Дѣти христіанскія другое дѣло, владыко.
— Ну да; и предковъ бы нашихъ князь Владиміръ не
рестилъ, если бы долго отъ нихъ научености ждалъ.
А онъ мнѣ отвѣчаетъ:
— Эхъ, владыко, да вѣдь и впрямь бы ихъ, можетъ,
ежде поучить лучше было. А то, самъ, чай, въ лѣтописи
галъ,—все больно скоро варомъ вскипѣло, «понеже бла-
естіе его со страхомъ бѣ сопряжено». Платонъ митропо-

литъ мудро сказалъ: «Владиміръ поспѣшилъ, а греки слукавили,—невѣждъ ненаученыхъ окрестили». Что̀ намъ ихъ спѣшкѣ съ лукавствомъ слѣдовать? вѣдь они, знаешь, «льстивы даже до сего дня». Итакъ, во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облекаемся. Тщетно это такъ крестить, владыко!

— Какъ, говорю, тщетно, отецъ Киріакъ, что̀ ты это, батюшка, проповѣдуешь?

— А что же, отвѣчаетъ, владыко?—вѣдь это благочестивой тростью писано, что одно водное крещеніе невѣждѣ къ пріобрѣтенію жизни вѣчной не служитъ.

Посмотрѣлъ я на него и говорю серьезно:

— Послушай, отецъ Киріакъ, вѣдь ты еретичествуешь.

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, во мнѣ нѣтъ ереси, я по тайноводству святого Кирилла Іерусалимскаго правовѣрно говорю: «Симонъ волховъ въ купѣли тѣло омочи водою, но сердце не просвѣти духомъ, и сниде, и изыде тѣломъ, а душою не спогребеся, и не возста». Что окрестился, что выкупался, все равно христіаниномъ не былъ. Живъ Господь и жива душа твоя, владыко,—вспомни, развѣ не писано: будутъ и крещеные, которые услышатъ «не вѣмъ васъ», и некрещеные, которые отъ дѣлъ совѣсти оправдятся и внидутъ, яко хранившіе правду и истину. Неужели же ты сіе отметаешь?

Ну, думаю, подождемъ объ этомъ бесѣдовать, и говорю:

— Давай-ка, говорю, братъ, не іерусалимскому, а дикарскому языку учиться, бери указку, да не больно сердись, если я не толковъ буду.

— Я не сердитъ, владыко, отвѣчаетъ.—И точно, удивительно былъ благодушный и откровенный старикъ и прекрасно училъ меня. Толково и быстро открылъ онъ мнѣ всѣ таинства, какъ постичь эту молвь, такую бѣдную и немногословную, что ее едва ли можно и языкомъ назвать. Во всякомъ разѣ это не болѣе какъ языкъ жизни животной, а не жизни умственной; а между тѣмъ усвоить его очень трудно: обороты рѣчи, краткіе и непеpіодическіе, дѣлаютъ крайне затруднительнымъ переводы на эту молвь всякаго текста, изложеннаго по правиламъ языка выработаннаго, со сложными періодами и подчиненными предложеніями; а выраженія поэтическія и фигуральныя на него вовсе не переводимы, да и понятія, ими выражаемыя, остались бы для этого бѣднаго люда недоступны. Какъ раз-

казать имъ смыслъ словъ: «будьте хитры, какъ змiи, и
незлобивы, какъ голуби», когда они и ни змѣи, и ни го-
убя никогда не видали и даже представить ихъ себѣ не
могутъ. Нельзя имъ подобрать словъ: ни мученикъ, ни кре-
титель, ни предтеча, а Пресвятую Дѣву, если перевести
по ихнему словами *шочмо Абя*, то выйдетъ не наша Бо-
городица, а какое-то шаманское божество женскаго пола,—
короче сказать, — *богиня*. Про заслуги же св. крови, или
про другiя тайны вѣры еще труднѣе говорить, а строить
имъ какую-нибудь богословскую систему, или просто слово
молвить о рожденiи безъ мужа, отъ дѣвы, — и думать не-
его: —они или ничего не поймутъ, и это самое лучшее, а
о, пожалуй, еще прямо въ глаза расхохочутся.

Все это мнѣ передалъ Кирiакъ и передалъ такъ пре-
восходно, что я, узнавъ духъ языка, постигъ и весь духъ
того бѣднаго народа; и что всего мнѣ было самому надъ
собою забавнѣе, что Кирiакъ съ меня самымъ незамѣт-
нымъ образомъ всю мою напускную суровость сбилъ: между
нами установились отношенiя самыя прiятныя, легкiя и
такiя шутливыя, что я, держась сего шутливаго тона, при
концѣ своихъ уроковъ, велѣлъ горшокъ каши сварить, по-
ложилъ на него серебряный рубль денегъ, да чернаго сукна
на рясу, и понесъ все это, какъ выученикъ, къ Кирiаку
въ келью.

Онъ жилъ подъ колокольнею въ такой маленькой кельѣ,
что какъ я вошелъ туда, такъ двоимъ и повернуться негдѣ,
и своды прямо на темя давятъ; но все тутъ опрятно, и
даже на полутемномъ окнѣ съ рѣшеткою, въ разбитомъ ва-
ренстомъ горшкѣ, астра цвѣтетъ.

Кирiака я засталъ за дѣломъ,—онъ низалъ что-то изъ
рыбьей чешуи и нашивалъ на холстикъ.

— Что ты это, говорю, стряпаешь?

— Уборчики, владыко.

— Какiе уборчики?

— А вотъ дѣвчонкамъ маленькимъ дикарскимъ уборчики:
мнѣ на ярмарку прiѣзжаютъ, я имъ и дарю.

— Это ты язычницъ невѣрныхъ радуешь?

— И-и, владыко! полно-ка тебѣ все такъ: «невѣрные»,
а «невѣрные»; всѣхъ одинъ Господь создалъ; жалѣть ихъ,
слѣпыхъ, надо.

— Просвѣщать, отецъ Кирiакъ.

— Просвѣтить, говоритъ, хорошо это, владыко, просвѣтить. Просвѣти, просвѣти,—и зашепталъ: «да просвѣтится свѣтъ твой предъ человѣки, когда увидятъ добрыя твоя дѣла».

— А я вотъ, говорю, къ тебѣ съ поклономъ пришелъ и за выучку горшокъ каши принесъ.

— Ну, что же, хорошо, говоритъ; садись же и самъ при горшкѣ посиди,—гость будешь.

Усадилъ онъ меня на обрубочекъ, самъ сѣлъ на другой, а кашу мою на скамью поставилъ и говоритъ:

— Ну, покушай у меня, владыко; твоимъ же добромъ да тебѣ же челомъ.

Стали мы ѣсть со старикомъ кашу и разговорились.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Меня, по правдѣ сказать, очень занимало, что̀ такое отклонило Киріака отъ его успѣшной миссіонерской дѣятельности и заставило такъ странно, по тогдашнему моему взгляду,—почти преступно, или, во всякомъ случаѣ, соблазнительно относиться къ этому дѣлу.

— О чемъ, говорю, станемъ бесѣдовать? — къ доброму привѣту хороша и бесѣда добрая. Скажи же мнѣ: не знаешь ли ты, какъ намъ научить вѣрѣ вотъ этихъ инородцевъ, которыхъ ты все подъ свою защиту берешь?

— А учить надо, владыко, учить, да отъ добраго житія примѣръ имъ показать.

— Да гдѣ же мы съ тобою ихъ будемъ учить?

— Не знаю, владыко; къ нимъ бы надо съ ученіемъ идти.

— То-то и есть.

— Да, учить надо, владыко; и утромъ сѣять сѣмя, и вечеромъ не давать отдыха рукѣ,—все сѣять.

— Хорошо говоришь, — отчего же ты такъ не дѣлаешь?

— Освободи, владыко, не спрашивай.

— Нѣтъ, ужъ разскажи.

— А требуешь разсказать, такъ поясни: зачѣмъ мнѣ туда идти?

— Учить и крестить.

— Учить?—учить-то, владыко, неспособно.

— Отчего? врагъ, что ли, не даетъ?

— Нѣ-ѣтъ! что̀ врагъ, — велика ли онъ для крещенаго человѣка особа: его однимъ пальчикомъ перекрести, онъ и сгинетъ; а вражки мѣшаютъ,—вотъ бѣда!

— Что̀ это за вражки?
— А вотъ куцые одѣтели, отцы благодѣтели, приказные, новные, съ приписью подьячіе.
— Эти, стало быть, самого врага сильнѣй?
— Какъ же можно: сей родъ, знаешь, ничѣмъ не изы-ется, даже ни молитвою, ни постомъ.
— Ну, такъ надо, значитъ, просто крестить, какъ всѣ стятъ.
— Крестить...—проговорилъ за мною Киріакъ, и—вдругъ олчалъ и улыбнулся.
— Что же? продолжай.
Улыбка сошла съ губъ Киріака, и онъ съ серьезною и ке суровою миной добавилъ:
— Нѣтъ, я скорохватомъ не хочу это дѣлать, владыко.
— Что-о-о!
— Я не хочу этого такъ дѣлать, владыко, вотъ что!— ѣчалъ онъ твердо и опять улыбнулся.
— Чего ты смѣешься? говорю. — А если я тебѣ велю стить?
— Не послушаю, — отвѣчалъ онъ, добродушно улыбнув-сь, и, фамильярно хлопнувъ меня рукою по колѣну, за-орилъ:
— Слушай, владыко: читалъ ты или нѣтъ,—есть въ жи-хъ одна славная повѣсть.
Но я его перебилъ и говорю:
— Поосвободи, пожалуйста, меня съ житіями: здѣсь о вѣ Божіемъ, а не о преданіяхъ человѣческихъ. Вы, чер-цы, знаете, что въ житіяхъ можно и того, и другого до-ть, и потому и любите все изъ житій хватать.
А онъ отвѣчаетъ:
— Дай же мнѣ, владыко, кончить; можетъ я и изъ житій -нибудь прикладно скажу.
И разсказалъ старую исторію изъ первыхъ христіанскихъ ковъ о двухъ друзьяхъ, — христіанинѣ и язычникѣ, изъ ихъ первый часто говорилъ послѣднему о христіанствѣ такъ ему этимъ надокучилъ, что тотъ, будучи до тѣхъ ръ равнодушенъ, вдругъ сталъ ругаться и изрыгать са-я злыя хулы на Христа и на христіанство, а при этомъ подхватилъ конь и убилъ. Другъ, христіанинъ, видѣлъ этомъ чудо и былъ въ ужасѣ, что другъ его, язычникъ, авилъ жизнь въ такомъ враждебномъ ко Христу настрое-

ніи. Христіанинъ сокрушался объ этомъ и горько плакалъ, говоря: лучше бы я ему совсѣмъ ничего о Христѣ не говорилъ,—онъ бы тогда на Него не раздражался и отвѣта бы въ томъ не далъ. Но, къ утѣшенію его, онъ извѣстился духовно, что другъ его принятъ Христомъ, потому что, когда язычнику никто не докучалъ настойчивостію, то онъ самъ съ собою размышлялъ о Христѣ и призвалъ Его въ своемъ послѣднемъ вздохѣ.

— А Тотъ, говоритъ, тутъ и былъ у его сердца: сейчасъ и обнялъ и обитель далъ.

— Это опять, значитъ, все дѣло свертѣлось «за пазушкой»?

— Да, за пазушкой.

— Вотъ это-то, говорю, твоя бѣда, отецъ Киріакъ, что ты все на пазуху-то уже очень располагаешься.

— Ахъ, владыко, да какъ же на нее не полагаться: тайны-то уже тамъ очень большія творятся,—вся благодать оттуда идетъ: и материно молоко дѣтопитательное, и любовь тамъ живетъ, и вѣра. Вѣрь,—такъ, владыко. Тамъ она, вся тамъ; сердцемъ однимъ ее только и вызовешь, а не разумомъ. Разумъ ее не созидаетъ, а разрушаетъ: онъ родитъ сомнѣнія, владыко, а вѣра покой даетъ, радость даетъ... Это, я тебѣ скажу, меня обильно утѣшаетъ; ты вотъ глядишь какъ дѣло идетъ, да сердишься, а я все радуюсь.

— Чему же ты радуешься?

— А тому, что все добро зѣло.

— Что̀ такое: добро зѣло?

— Все, владыко: и что̀ намъ указано, и что̀ отъ насъ сокрыто. Я думаю такъ, владыко, что мы всѣ на одинъ пиръ идемъ.

— Говори, сдѣлай милость, яснѣй: ты водное крещеніе-то просто-на-просто совсѣмъ отметаешь, что ли?

— Ну вотъ: и отметаю! Эхъ, владыко, владыко! сколько я лѣтъ томился, все ждалъ человѣка, съ которымъ бы о духовномъ свободно по духу побесѣдовать, и, узнавъ тебя, думалъ, что вотъ такого дождался; а и ты сейчасъ, какъ стряпчій, за слово емлешься! Что̀ тебѣ надо?—слово всякое ложь и я тожъ. Я ничего не отметаю; а ты обсуди, какіе мнѣ приклады разные приходятъ,—и отъ любви, а не отъ ненависти. Яви терпѣніе,—вслушайся.

— Хорошо, отвѣчаю, буду слушать, что̀ ты хочешь проповѣдывать.

— Ну, вотъ мы съ тобою крещены,—ну, это и хорошо; ъ этимъ какъ билетъ данъ на пиръ; мы и идемъ, и емъ, что мы званы, потому что у насъ и билетъ есть.

— Ну!

— Ну, а теперь видимъ, что рядомъ съ нами туда же детъ человѣчекъ безъ билета. Мы думаемъ, «вотъ дура-ъ! напрасно онъ идетъ:—не пустятъ его! Придетъ, а его вратники вонъ выгонятъ». А придемъ и увидимъ: при-тники-то его погонятъ, что билета нѣтъ, а хозяинъ уви-ь, да, можетъ-быть, и пустить велитъ,—скажетъ: «ничего, билета нѣтъ,—я его и такъ знаю: пожалуй, входи», да ведетъ, да еще, гляди, лучше иного, который съ биле-ъ пришелъ, станетъ чествовать.

— Ты, говорю, это имъ такъ и внушаешь?

— Нѣтъ; что̀ имъ это внушать? это я только про себя о всѣхъ разсуждаю, по Христовой доброти, да муд-и.

— Да то-то; мудрость-то Его ты понимаешь ли?

— Гдѣ, владыко, понимать! — ее не поймешь, а такъ... сердце чувствуетъ, говорю. Я, когда мнѣ что̀ нужно ать, сейчасъ себя въ умѣ спрашиваю; можно ли это ать во славу Христову? Если можно, такъ дѣлаю, а нельзя—того не хочу дѣлать.

— Въ этомъ, значитъ, твой главный катехизисъ?

— Въ этомъ, владыко, и главный, и неглавный, — весь этомъ; для простыхъ сердецъ это, владыко, куда какъ ручно! — просто вѣдь это: водкой во славу Христову ваться нельзя, драться и красть во славу Христову ьзя, человѣка безъ помощи бросить нельзя... И дикари скоро понимаютъ и хвалятъ: «хорошъ, говорятъ, вашъ истосикъ—праведный», — по-ихнему это такъ выходитъ.

— Что же... это, пожалуй, хоть и такъ—хорошо.

— Ничего, владыко,—изрядно; а вотъ что̀ мнѣ нехорошо ется: какъ придутъ новокрещенцы въ городъ и видятъ что̀ тутъ крещеные дѣлаютъ, и спрашиваютъ: можно ли во славу Христову дѣлать? что̀ имъ отвѣчать, владыко? стіане это тутъ живутъ или нехристи? Сказать «не сти»—стыдно, назвать христіанами — грѣха страшно.

— Какъ же ты отвѣчаешь?

Киріакъ только рукой махнулъ и прошепталъ:

— Ничего не говорю, а... плачу только.

Я понялъ, что его религіозная мораль попала въ столкновеніе съ своего рода «политикою». Онъ Тертулліана «О зрѣлищахъ» читалъ и вывелъ, что «во славу Христову» нельзя ни въ театры ходить, ни танцовать, ни въ карты играть, ни многаго иного творить, безъ чего современные намъ, наружные христіане уже обходиться не умѣютъ. Онъ былъ своего рода новаторъ и, видя этотъ обветшавшій міръ, стыдился его и чаялъ новаго, полнаго духа и истины.

Какъ я ему это намекнулъ, онъ мнѣ сейчасъ и поддакнулъ.

— Да, говоритъ, да, эти люди плоть; — а что̀ плоть-то показывать? — ее надо закрывать. Пусть хотя не хулится черезъ нихъ имя Христово въ языцѣхъ.

— А зачѣмъ это къ тебѣ, говорятъ, будто инородцы и до сихъ поръ приходятъ?

— Вѣрятъ мнѣ и приходятъ.

— То-то; зачѣмъ?

— Поспорятъ когда или поссорятся, и идутъ:—разбери, говорятъ, по-христосикову.

— Ты и разбираешь?

— Да, я обычай ихъ знаю; а умъ Христовъ приложу и скажу, какъ быть.

— Они и примутъ?

— Примутъ: — они Его справедливость любятъ. А другой разъ больные приходятъ или бѣсные, — просятъ помолиться.

— Какъ же ты бѣсныхъ лѣчишь? отчитываешь, что ли?

— Нѣтъ, владыко; такъ помолюсь, да успокою.

— Вѣдь на это ихъ шаманы слывутъ искусниками.

— Такъ, владыко:—не ровенъ шаманъ; иные и впрямь не мало тайныхъ силъ природныхъ знаютъ; ну, да вѣдь и шаманы ничего... Они меня знаютъ и иные сами ко мнѣ людей шлютъ.

— Откуда же у тебя и съ шаманами пріязнь?

— А вотъ какъ: ламы буддійскіе на нихъ гоненіе сдѣлали,—ихъ, этихъ шамановъ, тогда наши чиновники много въ острогъ забрали, а въ острогѣ дикому человѣку скучно:— съ иными Богъ вѣсть что̀ дѣлается. Ну, я, грѣшникъ, въ острогъ ходилъ, калачиковъ для нихъ по купцамъ выпрашивалъ и словцомъ утѣшалъ.

— Ну, и что же?

— Благодарны, берутъ Христа ради и хвалятъ Его: хорошъ, говорятъ, — добръ. Да ты молчи, владыко, они сами не чуютъ, какъ края ризы Его касаются.

— Да вѣдь какъ, говорю, касаются-то? все, вѣдь, это безъ толку!

— И, владыко! что̀ ты все сразу такъ сунешься! Божіе дѣло своей ходой, безъ суеты идетъ. Не шесть ли водоносовъ было на пиру въ Каннѣ, а вѣдь не всѣ ихъ, чай, сразу наполнили, а одинъ за другимъ наливали; Христосъ, батюшка, самъ уже на что великъ чудотворецъ, а и то слѣпому жиду прежде поплевалъ на глаза, а потомъ открылъ ихъ; а эти вѣдь еще слѣпѣе жида. Что̀ отъ нихъ сразу-то много требовать? Пусть за краекъ Его ризочки держатся,— доброту Его чувствуютъ, а онъ ихъ Самъ къ себѣ уволочетъ.

— Ну, вотъ, уже и «уволочетъ»!

— А что же?

— Да какія ты слова-то неумѣстныя употребляешь.

— А чѣмъ, владыко, неумѣстное, — слово препростое. Онъ, благодѣтель нашъ, вѣдь и Самъ не боярскаго рода, за простоту не судится. Родъ Его кто исповѣстъ; а Онъ съ пастухами ходилъ, съ грѣшниками гулялъ и шелудивой овцой не брезговалъ, а гдѣ найдетъ ее, взвалитъ Себѣ, какъ она есть, на святыя рамена и тащитъ къ Отцу. Ну, а Тотъ... что̀ Ему дѣлать? — не хочетъ многострадательнаго сына огорчить, — замарашку ради Его на дворъ овчій пуститъ.

— Ну, говорю, хорошо; въ катехизаторы, ты, братъ Киріакъ, совсѣмъ не годишься, а въ крестители ты, хоть и еретичествуешь немножко, однако пригоденъ и, какъ себѣ хочешь, а я тебя снаряжу крестить.

Но Киріакъ ужасно взволновался и разстроился.

— Помилуй, говоритъ, владыко: къ чему тебѣ меня нудить? Да запретитъ тебѣ Христосъ это сдѣлать! И ничего изъ этого не послѣдуетъ, ничего, ничего и ничего!

— Отчего же это такъ?

— Такъ; потому что сія дверь для насъ затворена.

— Кто же ее затворилъ?

— А Тотъ, Который имѣетъ ключъ Давидовъ: «отверзаяй и никтоже отворитъ, затворяяй и никтоже отверзетъ». Или ты Апокалипсисъ позабылъ?

— Киріакъ, говорю, многія книги безумнымъ тя творятъ.

— Нѣтъ, владыко, я не безуменъ, а ты меня если не послушаешь, то людей обидишь и Духа Святаго оскорбишь, и только однихъ церковныхъ приказныхъ обрадуешь, чтобы имъ въ своихъ отчетахъ больше лгать да хвастать.

Я его пересталъ слушать, однако не оставлялъ мысли современемъ его перекапризить и непремѣнно его послать. Но что̀ бы вы думали? — вѣдь не одинъ простосердечный ветхозавѣтный Аммосъ, собирая ягоды, вдругъ сталъ пророчествовать, — и мой Киріакъ мнѣ напророчилъ, и его слова: «да запретитъ тебѣ Христосъ» начали дѣйствовать. Въ это самое время я, какъ нарочно, получилъ изъ Петербурга извѣщеніе, что, по тамошнему благоусмотрѣнію, у насъ, въ Сибири, увеличивается число буддійскихъ капищъ и удваиваются штаты ламъ. Я хоть и въ русской землѣ рожденъ и пріученъ былъ не дивиться никакимъ неожиданностямъ, но, признаюсь, этотъ порядокъ contra jus et fas изумилъ меня, а что̀ гораздо хуже, — онъ совсѣмъ съ толку сбивалъ бѣдныхъ новокрещенцевъ и, можетъ-быть, еще большей жалости достойныхъ миссіонеровъ. Вѣсть съ этимъ радостнымъ событіемъ, во вредъ христіанству и въ пользу буддизма, какъ вихремъ разнеслась по всему краю. Для ея распространенія скакали лошади, скакали олени, скакали собаки, и Сибирь оповѣстилась, что «все преодолѣвшій и все отвергшій» богъ Фо въ Петербургѣ «одолѣлъ и отвергъ и Христосика». Торжествующіе ламы увѣряли, что уже все наше верховное правительство и самъ наш Далай Лама, то-есть митрополитъ, приняли буддійскую вѣру. Перепугались миссіонеры, извѣстясь о семъ; не зн[illegible] что̀ имъ дѣлать; иные изъ нихъ, кажется, отчасти со[illegible] вались: ужъ и впрямь не повернуло ли въ Петербургѣ [illegible] на ламайскую сторону, какъ оно въ то тонкое и кавер[illegible] вое время поворачивало на католическую, а нынѣ, въ многодумную и дурашливую пору поворачиваетъ на [illegible] ритскую. Только нынче оно, разумѣется, совершается [illegible] койнѣе, потому что теперь кумиръ хотя и ледащен[illegible] выбранъ, но зато теперь и противъ этого рожна прать кому не охота; а тогда еще этой хладнокровной выдер[illegible] недоставало во многихъ и, въ числѣ прочихъ, во мнѣ гр[illegible] номъ. Я не могъ равнодушно смотрѣть на моихъ бѣдн[illegible] крестителей, которые *тышкомъ* плелись изъ степей ко [illegible] подъ защиту. Имъ однимъ по всему краю не было ни [illegible]

диной клячи, ни оленя, ни собаки, и они, Богъ ихъ
ть какъ, лѣзли пѣшіе по сугробамъ и пришли оборван-
, обмаранные, истинно уже не какъ іереи Бога выш-
о, а какъ настоящіе калѣки-перехожіе. Чиновники и за-
дъ все управленіе, безъ зазрѣнія совѣсти, покровитель-
овали ламамъ. Мнѣ приходилось сражаться съ губерна-
омъ, чтобы сей христіанскій бояринъ хотя малость осте-
ялъ своихъ пособниковъ, дабы они, по крайней мѣрѣ,
совсѣмъ открыто радѣли буддизму. Губернаторъ, какъ
ится, обижался, и у насъ съ нимъ закипѣла жестокая
чка: я ему на его чиновниковъ жалуюсь, — онъ мнѣ на
хъ миссіонеровъ пишетъ, что «никто-де имъ не мѣ-
тъ, а они-де сами лѣнивые и неискусные». А мои де-
гировавшіе миссіонеры, въ свою очередь, пишатъ, что
, хотя, точно, рты тряпками не затыкаютъ, но нигдѣ ни
адей, ни оленей не даютъ, потому что по степямъ всюду
люди ламъ боятся.

— Ламы, говорятъ, богаты, — они чиновниковъ деньгами
ятъ, а намъ дарить нечѣмъ.

Что же мнѣ было можно имъ въ утѣшеніе сказать? Си-
у, что ли, обѣщать представить, чтобы лавры и мона-
ри, имѣя «деньги многи», подѣлились съ нашею бѣдно-
ю и какую-нибудь сумму на взятки приказнымъ отпустили,
боялся, что въ большихъ залахъ въ синодѣ это, чего
раго, за неумѣстное сочтутъ и, помолясь Богу, во вспо-
дествованіе на взятки мнѣ откажутъ, пожалуй. А къ
у же еще и это средство въ нашихъ рукахъ могло быть
адежно: апостолы мои въ самихъ себѣ такую слабость
открыли, которая, въ связи съ обстоятельствами, по-
ала очень важное значеніе.

— Насъ, говорятъ, за дикарей жалость беретъ; изъ нихъ
этой возней совсѣмъ послѣдній толкъ выбьютъ; нынче
ихъ крестимъ, завтра ламы его обращаютъ и велятъ
ста порицать, а за штрафъ все, что попало, у нихъ бе-
ъ. Обнищеваетъ бѣдный народъ и въ скотѣ, и въ своемъ
дномъ разумѣ, — всѣ вѣры перепуталъ и на всѣ колѣна
маетъ, а на насъ плачется.

Кириакъ этою борьбою очень интересовался и, пользуясь
мъ расположеніемъ, не разъ останавливалъ меня во-
сами:

— Что тебѣ, владыко, вражки пишутъ? или:

— Что̀ ты, владыко, вражкамъ написалъ?

Разъ даже онъ явился ко мнѣ съ просьбою:

— Посовѣтуйся со мною, владыко, какъ будешь вражкамъ писать?

Это было по случаю тому, что губернаторъ мнѣ ставилъ на видъ, что въ сосѣдней епархіи, при тѣхъ же обстоятельствахъ, въ какихъ я находился, проповѣдь и крещеніе совершаются успѣшно, причемъ указывалъ мнѣ на какого-то миссіонера Петра, изъ зырянъ, который цѣлыми массами креститъ инородцевъ.

Такое обстоятельство меня смутило, и я спросилъ сосѣдняго архіерея: такъ ли это?

Тотъ отвѣчалъ, что, дѣйствительно, у него есть зырянинъ, попъ Петръ, который два раза ѣздилъ на проповѣдь и въ первый разъ «всѣ кресты раскрестилъ», а во второй вдвое больше крестовъ взялъ и опять недостало,—съ одного на другого на шеи перевѣшивалъ.

Киріакъ, какъ это услышалъ, такъ и всплакался.

— Боже мой,—говоритъ, откуда еще ко всѣмъ бѣдамъ пришелъ сюда сей коварный строитель? Онъ Христа въ Его же церкви да Его же кровью затопитъ! Охъ, бѣда! помилосердуй, владыко,—проси скорѣе архіерея, чтобы онъ унялъ своего слугу вѣрнаго,—оставилъ бы въ церкви силъ хоть на сѣмена.

— Ты, говорю, отецъ Киріакъ, вздоръ говоришь; могу ли я отъ столь хвальной ревности человѣка удерживать?

— Ахъ, нѣтъ, молитъ, владыко, проси; вѣдь это тебѣ непонятно, а я такъ знаю, что̀, значитъ, теперь тамъ въ степяхъ дѣлается. Это все не Христу, а вражкамъ его служба тамъ идетъ. Зальютъ, зальютъ они Его, голубчика, кровью и на сто лишнихъ лѣтъ отъ Него народъ отпугаютъ.

Я, разумѣется, Киріака не послушалъ, а напротивъ—написалъ къ сосѣднему архіерею, чтобы онъ далъ мнѣ своего зырянина на подержаніе, или, какъ сибирскіе аристократы по-французски говорятъ: «о прока». Сосѣдъ мой архіерей въ это время уже, отбывъ сибирскую эпитимью, перемѣщался въ Россію и не постоялъ за своего досужаго крестителя. Зырянинъ былъ мнѣ присланъ: такой большебородый, словоохотливый и, что называется, весь до дна маслянъ. Я его сейчасъ же отправилъ въ степь, а недѣли черезъ двѣ отъ него уже и радостныя вѣсти имѣлъ: доно-

ъ онъ мнѣ, что креститъ народъ на всѣ стороны. Од-
о онъ опасался: достанетъ ли у него крестовъ, которыхъ
ралъ съ собою весьма изрядную коробку? Изъ сего я,
ошибаяся, могъ заключить, что уловъ въ мережи сего
стливаго ловца попадаетъ чрезвычайно обильный.
Вотъ, думаю, когда я досталъ себѣ, наконецъ, къ этому
у настоящаго мастера! И очень былъ этому радъ, да и
ъ радъ-то! Откровенно скажу вамъ,—съ самой казенной
ки зрѣнія,—потому что... и архіерей вѣдь тоже, господа,
овѣкъ, и ему надокучитъ, когда одна власть пристаетъ:
ести», а другая — «пусти»... Ну, ихъ совсѣмъ! скорѣй
ъ-нибудь кончить въ одну сторону, и какъ попался лов-
креститель, такъ пусть уже заурядъ все креститъ, авось,
юдямъ спокойнѣе станетъ.
Но Киріакъ не раздѣлялъ моего взгляда, и разъ иду я
еромъ черезъ дворъ изъ бани и встрѣчаю его; онъ оста-
ился и привѣтствуетъ меня:
— Здравствуй, владыко!
— Здравствуй, говорю, отецъ Киріакъ.
— Хорошо ли вымылся?
— Хорошо.
— А зырянина-то отмылъ ли?
И разсердился.
— Это, говорю, что за глупость?
А онъ опять про зырянина.
— Онъ безжалостный, говоритъ, — онъ и у насъ теперь
ъ креститъ, какъ за Байкаломъ крестилъ; его крестни-
ъ черезъ это только мучаютъ, а они на Христа, батюшку,
чутся. Грѣхъ всѣмъ вамъ, а тебѣ больше всѣхъ грѣхъ,
дыко!
И Киріака счелъ за грубіяна, но слова-то его мнѣ все-
и въ душу запали. Что въ самомъ дѣлѣ? онъ, вѣдь, ста-
ъ основательный, — на вѣтеръ болтать не станетъ: въ
ъ же тутъ секретъ? — какъ, въ самомъ дѣлѣ, взятый
ю «о прока» досужій зырянинъ креститъ? Я имѣлъ по-
іе о религіозности зырянъ; они по преимуществу храмо-
тели, — церкви у нихъ повсюду отличныя и даже бога-
и, но изъ всѣхъ глаголемыхъ христіанъ на свѣтѣ они,
жно сознаться, самые внѣшніе. Ни къ кому столько,
къ нимъ, не идетъ опредѣленіе, что у нихъ «Богъ въ
ихъ лишь образахъ, а не въ убѣжденіяхъ человѣка»; но,

вѣдь, не жжетъ же этотъ зырянинъ дикарей огнемъ, чтобы они крестились? Быть этого не можетъ! Въ чемъ же тутъ дѣло? отчего зырянинъ успѣваетъ, а русскіе не умѣютъ, и отчего я этого о-сю пору не знаю?

— А все оттого, владыко,—пришло мнѣ на мысль,—что ты и тебѣ подобные себялюбивы да важны: «деньги многи» собираете, да только подъ колокольнымъ звономъ разъѣзжаете, а про дальнія мѣста своей паствы мало думаете и о нихъ по слухамъ судите. На безсиліе свое на родной землѣ нарекаете, а сами все звѣзды хватать норовите, да вопрошаете: «что ми хощете дати, да азъ вамъ предамъ?» Берегись-ка, братъ, какъ бы и ты не таковъ же сталъ?

И ходилъ я, ходилъ этотъ вечеръ съ своею думою по моей пустой скучной залѣ, и до тѣхъ поръ доходился, пока вдругъ мнѣ пришла въ голову мысль: пробѣжать самому пустыню.

Такимъ образомъ я надѣялся уяснить себѣ, если не все, то, по крайней мѣрѣ, очень многое. Да, признаюсь вамъ, и освѣжиться хотѣлось.

Для совершенія этого пути мнѣ, при моей неопытности, нуженъ былъ товарищъ, который хорошо бы зналъ инородческій языкъ; но какого же товарища лучше желать, какъ Киріака? И, не откладывая этого по своей нетерпѣливости въ долгій ящикъ, я призвалъ Киріака къ себѣ, открылъ ему свой планъ и велѣлъ собираться.

Онъ не противорѣчилъ, а, напротивъ, казалось, былъ даже очень радъ и, улыбаясь, повторялъ:

— Богъ въ помощь! Богъ въ помощь!

Откладывать было незачѣмъ, и мы на другое же утро ранымъ-рано отпѣли обѣденку, одѣлись оба по-туземному и выѣхали, держа путь къ самому сѣверу, гдѣ мой зырянинъ апостольствовалъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Лихо прокатили мы первый день на доброй тройкѣ и все бесѣдовали съ отцомъ Киріакомъ. Любезный старикъ разсказывалъ мнѣ интересныя исторіи изъ инородческихъ религіозныхъ преданій, изъ коихъ меня особенно занимала повѣсть о пятистахъ путешественникахъ, которые, подъ руководствомъ одного книжника, по-ихнему—«обушія», пустились путешествовать по землѣ въ то еще время, когда «побѣдившій силу бѣсовскую и отринувшій всѣ слабости

богъ Шигемуни гостепріимствовалъ «непочатыми яствами» въ Ширвасѣ. Повѣсть эта тѣмъ интересна, что въ ней чувствуется весь складъ и духъ религіозной фантазіи этого народа. Пятьсотъ путниковъ, предводимые обушіемъ, встрѣчаютъ духа, который, чтобы устрашить ихъ, принимаетъ самый ужасный и отвратительный видъ и спрашиваетъ: «есть ли у васъ такія чудовища?»—«Есть гораздо страшнѣе», отвѣчалъ обушій.—«Кто же они?»—«Всѣ тѣ, которые завистливы, жадны, лживы и мстительны; они, по смерти, становятся чудовищами гораздо тебя страшнѣе и гаже». Духъ скрылся и, превратясь гдѣ-то въ человѣка, такого сухого и тощаго, что даже жилы его пристали къ костямъ, опять появился предъ путниками и говоритъ: «Есть ли у васъ такіе люди?» — «Какъ же, отвѣчаетъ обушій, гораздо суше тебя есть,—таковы всѣ, любящіе почести».

— Гм!—перебилъ я Киріака:—это, говорю, смотри, уже не на насъ ли, архіереевъ, мораль пущена?

— А Богъ вѣсть, владыко,—и продолжаетъ:—По нѣкоторомъ времени духъ явился въ видѣ прекраснаго юноши и говоритъ: «А вотъ такіе у васъ есть ли?»—Какъ же, отвѣчаетъ обушій,—между людьми есть несравненно тебя прекраснѣе,—это тѣ, которые имѣютъ острое понятіе и, очистивъ свои чувства, благоговѣютъ къ тремъ изяществамъ: Богу, вѣрѣ и святости. Сіи столь тебя красивѣе, что ты предъ ними никуда не годишься». Духъ разсердился и сталъ экзаменовать обушія другими манерами. Онъ зачерпнулъ въ горсть воды:—«Гдѣ, говоритъ, больше воды: въ морѣ или въ горсти?» — «Въ горсти болѣе», отвѣчалъ обушій.—«Докажи».—«Ну, и докажу: по видимому судя, кажется въ морѣ, дѣйствительно, болѣе воды, чѣмъ въ горсти, но когда придетъ время разрушенія міра и изъ нынѣшняго солнца выступитъ другое, огнепалящее, то оно изсушитъ на землѣ всѣ воды,—и большія, и малыя: и моря, и ручьи, и потоки, и сама Сумберъ - гора (Атласъ) разсыплется; а кто при жизни напоилъ своею горстью уста жаждущаго или обмылъ своею рукою раны нищаго, того горсть воды семь солнцъ не изсушатъ, а напротивъ того, будутъ только ее расширять и тѣмъ самымъ увеличивать»...—Право, какъ вы хотите, а вѣдь это не совсѣмъ глупо, господа?—вопросилъ, пріостановясь на минуту, разсказчикъ,—а? Нѣтъ, взаправду, какъ вы это находите?

— Очень не глупо, совсѣмъ не глупо, владыко.

— Признаюсь вамъ, и мнѣ это показалось, пожалуй, толковѣе иной протяженной проповѣди объ оправданіи... Ну, впрочемъ, не все объ этомъ. Потомъ повели мы долгія бесѣды о томъ, какой способъ надо предпочесть всѣмъ другимъ для обращенія дикарей въ христіанство. Киріакъ находилъ, что съ ними надо какъ можно меньше обрядничать, потому что они иначе самого Кирика съ его вопросами превзойдутъ о томъ: можно ли того причащать, кто яйцомъ въ зубы постучитъ; да не надо много и догматизировать, потому что ихъ слабый умъ устаетъ слѣдить за всякою отвлеченностью и силлогизаціею, а надо имъ просто разсказывать о жизни и о чудесахъ Христа, чтобы это представлялось имъ какъ можно живообразнѣе и чтобы ихъ бѣдной фантазіи было за что цѣпляться. Но главное: все на то напиралъ, что «кто премудръ и худогъ, тотъ пусть покажетъ имъ отъ своего житія добраго,—тогда они и Христа поймутъ, а иначе, говоритъ, плохо наше дѣло, и истинная наша вѣра, хоть мы ее промежъ нихъ и наречемъ, то будетъ она у нихъ подъ началомъ у неистинной: наша будетъ нареченная, а та дѣйствующая, — что въ томъ добра-то, владыко? Посуди: къ торжеству Христовой вѣры это будетъ, или къ ея униженію? А еще того горше, какъ отъ нашего что возьмутъ, да не знать, что изъ него сдѣлаютъ. Нечего спѣшить нарекать, а надо насаждать; другіе придутъ — будутъ поливать, а возраститъ самъ Богъ... Не такъ ли, владыко, апостолъ-то училъ, а? Вспомни его, должно-быть, такъ; а то, гляди, какъ бы не поспѣшить, да людей не насмѣшить и сатану не порадовать».

Я, по правдѣ сказать, внутренно во многомъ съ нимъ соглашался и не замѣтилъ, какъ въ простыхъ и мирныхъ съ нимъ разговорахъ провелъ весь день до вечера; а съ тѣмъ и нашъ конный путь кончился.

Переночевали мы съ нимъ у огонька въ юртѣ и на другое утро покатили на оленяхъ.

Погода стояла чудесная и ѣзда на оленяхъ очень меня занимала, хотя она, однако, не совсѣмъ отвѣчала моимъ о ней представленіямъ. Въ дѣтствѣ моемъ я очень любилъ смотрѣть на картинку, гдѣ былъ представленъ лапландецъ на оленяхъ. Но тѣ олени, на картинкѣ, были легкіе, быстроногіе, какъ вихри степные неслись, закинувъ назадъ

головы съ вѣтвистыми рогами, и я, бывало, все думалъ: эхъ, кабы хоть разъ такъ прокатиться! Какая это, должно-быть, пріятная быстрота при такой скачкѣ! А на дѣлѣ же оно выходило не такъ: передо мною были совсѣмъ не тѣ уносистые, рогатые вихри, а камолые, тяжеловатые увальни съ понурыми головами и мясистыми, разлатыми лапами. Бѣжали они побѣжкой нетвердою и неровною, склонивъ головы, и съ такою задышкою, что инда съ непривычки жалость брала на нихъ смотрѣть, особливо какъ у нихъ ноздри замерзли и они рты поразинули. Такъ тяжело дышатъ, что это густое дыханіе ихъ собирается облакомъ и такъ и стоитъ въ морозномъ воздухѣ полосою. И эта ѣзда, и грустное однообразіе пустынныхъ картинъ, которыя при ней открываются, производятъ такое скучное впечатлѣніе, что даже говорить не хочется, и мы съ Киріакомъ, ѣдучи два дня на оленяхъ, почти ни о чемъ и не бесѣдовали.

На третій день къ вечеру и этотъ путь прекратился: снѣга стали рыхлѣе, и мы замѣнили нескладныхъ оленей собаками — такія сѣренькія, мохнатыя и востроухія, какъ волчки, и по-волчьи почти и тявкаютъ. Запрягаютъ ихъ помногу, штукъ по пятнадцати, а почетному путнику, пожалуй, и больше зацѣпятъ, но салазки такія узенькія, что двоимъ рядомъ сидѣть невозможно, и мы съ отцомъ Киріакомъ должны были раздѣлиться: на однѣхъ приходилось ѣхать мнѣ съ проводникомъ, а на другихъ—Киріаку съ другимъ проводникомъ. Проводники оба казались равнаго достоинства, да и съ обличья ихъ одного отъ другого даже и не отличишь, особенно какъ своими малицами закутаются,—точно банные обмылки: что̀ одинъ, что̀ другой — въ обоихъ одна красота. Но Киріакъ нашелъ въ нихъ разницу и непремѣнно настаивалъ, чтобы усадить меня съ тѣмъ, который казался ему надежнѣе; а въ чемъ онъ видѣлъ эту надежность—не объяснилъ.

— Такъ, говоритъ, владыко: ты въ этомъ краѣ неопытнѣе меня, такъ ты съ этимъ поѣзжай.—За это я его не послушалъ и сѣлъ съ другимъ. Поклажу свою мы раздѣлили: я взялъ себѣ въ ноги узелокъ съ бѣльемъ да съ книгами, а Киріакъ надѣлъ на себя мурницу и дароносицу, да взялъ въ ноги кошель съ толокномъ, сухой рыбкой и прочей нашей незатѣйливой походной провизіей.

Усѣлись мы такъ, подоткнулись малицами, сверху по колѣнамъ оленьими кожами застегнулись и поскакали.

Ѣзда эта была гораздо быстрѣе, чѣмъ на оленяхъ, но зато сидѣть такъ худо, что у меня съ непривычки черезъ часъ же страшно спину разломило. Погляжу на Киріака—онъ сидитъ какъ воткнутый столбушекъ, а я такъ и вихляюсь по сторонамъ,—все балансъ хочу удержать, и за этой гимнастикой даже не могъ и поговорить съ моимъ проводникомъ. Узналъ только, что онъ крещеный и окрещенъ недавно моимъ зырянином, а поэкзаменовать его не успѣлъ. Къ вечеру я такъ измучился, что совсѣмъ держаться не могъ и пожаловался Киріаку.

— Плохо, говорю: меня что-то сразу уже очень расшатало.

— А все это оттого, отвѣчаетъ, что ты меня не слушалъ, — не съ тѣмъ ѣдешь, съ которымъ я тебя сажалъ: этотъ лучше правитъ, покойнѣе. Яви ласку: пересядь завтра.

— Хорошо, говорю, изволь, пересяду, — и точно, пересѣлъ и опять ѣдемъ.

Не знаю: понавыкъ ли я за прошлый день держаться на этихъ рожнахъ, или, дѣйствительно, этотъ проводникъ лучше своимъ орстелемъ правилъ, только мнѣ спокойнѣе ѣхалось, такъ что я даже могъ и побесѣдовать.

Спрашиваю его: крещеный онъ или нѣтъ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, бачка, моя некрещена, моя счастливая.

— Чѣмъ же ты такъ счастливъ?

— Счастливая, бачка; меня, бачка, Дзолъ-Дзаягачи дала, бачка. Она меня, бачка, бережетъ.

Дзолъ-Дзаягачи у шаманистовъ такая богиня, дарующая дѣтей и пекущаяся будто бы о счастіи и здоровьѣ тѣхъ, которыя у нея вымолены.

— Такъ что же, говорю, а почему же не креститься-то?

— А она, бачка, меня не даетъ крестить.

— Кто это? Дзолъ-Дзаягачи?

— Да, бачка, не даетъ.

— Ага, ну, хорошо, что ты мнѣ это сказалъ.

— Какъ же, бачка, хорошо?

— Да вотъ я тебя за это, на зло твоей Дзолъ-Дзаягачи, и велю окрестить.

— Что ты, бачка? зачѣмъ Дзолъ-Дзаягачи сердить? — она разсердится,—дуть станетъ.

— Очень она мнѣ нужна, твоя Дзолъ-Дзаягачи: окрещу, да и баста.

— Нѣтъ, бачка, она не дастъ обижать.

— Да какая тебѣ, глупому, въ этомъ обида?

— Какъ же, бачка, меня крестить? — мнѣ много обида, бачка: зайсанъ придетъ — меня крещенаго бить будетъ, шаманъ придетъ—опять бить будетъ, лама придетъ—тоже бить будетъ и олешковъ сгонитъ. Большая, бачка, обида будетъ.

— Не смѣютъ они этого дѣлать.

— Какъ, бачка, не смѣютъ? смѣютъ, бачка, все возьмутъ; у меня дядю, бачка, уже разорили... Какъ же, бачка, разорили и брата, бачка, разорили.

— Развѣ у тебя есть братъ крещеный?

— Какъ же, бачка, есть братъ, бачка, есть.

— И онъ крещеный?

— Какъ же, бачка, крещеный, два раза крещеный.

— Что такое? два раза крещеный? Развѣ по два раза крестятъ?

— Какъ же, бачка, крестятъ.

— Врешь!

— Нѣтъ, бачка, вѣрно: онъ одинъ разъ за себя крестился, а одинъ разъ, бачка, за меня.

— Какъ за тебя? Что ты это за вздоръ мнѣ разсказываешь?

— Какой, бачка, вздоръ!—не вздоръ: я, бачка, отъ попа спрятался, а братъ за меня крестился.

— Для чего же вы такъ смошенничали?

— Потому, бачка, что онъ добрый.

— Кто это: братъ-то твой, что ли?

— Да, бачка, братъ. Онъ сказалъ: «я все равно уже пропалъ, — окрещенъ, а ты спрячься, — я еще окрещусь»; я и спрятался.

— И гдѣ же онъ теперь, твой братъ?

— Опять, бачка, креститься побѣжалъ.

— Куда же этого его, бездѣльника, понесло?

— А туда, бачка, гдѣ нынѣ, слыхать, твердый попъ ѣздитъ.

— Ишь ты! Что же ему до этого попа за дѣло?

— А свои у насъ тамъ, бачка, свои люди живутъ, хорошіе, бачка, люди; какъ же? ему, бачка, жаль... онъ ихъ жалѣетъ, бачка,—за нихъ креститься побѣжалъ.

— Да что же это за шайтанъ, этотъ твой братъ? Какъ онъ это смѣетъ дѣлать?

— А что, бачка? ничего: ему, бачка, ужъ все равно, а тѣхъ, бачка, зайсанъ бить не будетъ и лама олешковъ не сгонитъ.

— Гм! надо, однако, твоего досужаго брата на примѣ[illegible] взять. Скажи-ка мнѣ, какъ его зовутъ?

— Куська-Демякъ, бачка.

— Кузьма или Демьянъ?

— Нѣтъ, бачка,—Куська-Демякъ.

— Да; по-твоему чище, — Куська-Демякъ или мѣди пя[illegible]-такъ,—только это два имени.

— Нѣтъ, бачка, одно.

— Я тебѣ говорю—два!

— Нѣтъ, бачка, одно.

— Ну, тебѣ, видно, и это лучше знать.

— Какъ же, бачка, мнѣ лучше.

— Но это его Кузьмой и Демьяномъ при первомъ или при второмъ крещеніи назвали?

Вылупился и не понимаетъ; но, когда я ему повторилъ [illegible], онъ подумалъ и отвѣтилъ:

— Такъ, бачка: это какъ онъ за меня крестился, тогда его стали Куська-Демякъ дразнить.

— Ну, а послѣ перваго-то крещенія вы какъ его дразнили?

— Не знаю, бачка,—забылъ.

— Но онъ-то, чай, это знаетъ?

— Нѣтъ, бачка, и онъ позабылъ.

— Быть, говорю, этого не можетъ!

— Нѣтъ, бачка,—вѣрно, позабылъ.

— А вотъ я его велю разыскать и разспрошу.

— Разыщи, бачка, разыщи; и онъ скажетъ, что позабылъ.

— Да только уже я его, братъ, какъ разыщу, такъ самъ зайсану отдамъ.

— Ничего, бачка; ему теперь, бачка, никто ничего, — онъ пропащій.

— Черезъ что же это онъ пропащій-то? Черезъ то, что окрестился, что ли?

— Да, бачка; его шаманъ гонитъ, у него лама олешки забралъ, ему свой никто не вѣритъ.

— Отчего не вѣритъ?

— Нельзя, бачка, крещеному вѣрить,—никто не вѣритъ.

— Что ты, дикій глупецъ, врешь! Отчего нельзя крещеному вѣрить? Развѣ крещеный васъ, идолопоклонниковъ, хуже?

— Отчего, бачка, хуже?—одинъ человѣкъ.

— Вотъ видишь, и самъ согласенъ, что не хуже?

— Не знаю, бачка, — ты говоришь, что не хуже, и я говорю; а вѣрить нельзя.

— Почему же ему нельзя вѣрить?

— Потому, бачка, что ему попъ грѣхъ прощаетъ.

— Ну, такъ что̀ же тутъ худого? неужто̀ же лучше безъ прощенія оставаться?

— Какъ можно, бачка, безъ прощенія оставаться! Это нельзя, бачка. Надо прощенье просить.

— Ну, такъ я же тебя не понимаю; о чемъ ты толкуешь?

— Такъ, бачка, говорю: крещеный своруетъ, попу скажетъ, а попъ его, бачка, проститъ; онъ и невѣрный, бачка, черезъ это у людей станетъ.

— Ишь ты какой вздоръ несешь! А по-твоему это, небось, не годится?

— Этакъ, бачка, не годится у насъ, не годится.

— А по-вашему какъ бы надо?

— Такъ, бачка: у кого укралъ, тому назадъ принеси и простить проси; человѣкъ проститъ и Богъ проститъ.

— Да, вѣдь, и попъ человѣкъ: отчего же онъ не можетъ простить.

— Отчего же, бачка, не можетъ простить?—и попъ можетъ. Кто у попа укралъ, того, бачка, и попъ можетъ простить?

— А если у другого укралъ, такъ онъ не можетъ простить?

— Какъ же, бачка? — нельзя, бачка: неправда, бачка, будетъ; невѣрный человѣкъ, бачка, вездѣ пойдетъ.

Ахъ, ты, думаю, чучело этакое неумытое, какія себѣ построенія настроилъ!—и спрашиваю далѣе:

— А ты про Господа Іисуса Христа-то что-нибудь слыхалъ?

— Какъ же, бачка,—слыхалъ.

— Что̀ же ты про Него слыхалъ?

— По водѣ, бачка, ходилъ.

— Гм! ну, хорошо—ходилъ; а еще что̀?

— Свинью, бачка, въ морѣ топилъ.

— А болѣе сего?

— Ничего, бачка,—хорошъ, жалостливъ, бачка, былъ.

— Ну, какъ же жалостливъ? Что̀ онъ дѣлалъ?

— Слѣпому на глаза, бачка, плевалъ, — слѣпой видѣлъ; хлѣбца и рыбка народца кормилъ.

— Однако, ты, братъ, много знаешь.

— Какъ же, бачка,—много знаю.

— Кто же тебѣ все это разсказалъ?

— А люди, бачка, говорятъ.

— Ваши люди?

— Люди-то? Какъ же, бачка,—наши, наши.

— А они отъ кого слышали?

— Не знаю, бачка.

— Ну, а не знаешь ли ты, зачѣмъ Христосъ сюда на землю приходилъ?

Думалъ онъ, думалъ,—и ничего не отвѣтилъ.

— Не знаешь? говорю.

— Не знаю.

Я ему все православіе и объяснилъ, а онъ не то слушаетъ, не то нѣтъ, а самъ все на собакъ поглядываетъ, да орстелемъ машетъ.

— Ну, понялъ ли, спрашиваю, что̀ я тебѣ говорилъ?

— Какъ же, бачка, понялъ: свинью въ морѣ топилъ, слѣпому на глаза плевалъ, — слѣпой видѣлъ, хлѣбца-рыбка народца далъ.

Засѣли ему въ лобъ эти свиньи въ морѣ, слѣпой да рыбка, а дальше никакъ и не поднимется... И припомнились мнѣ Киріаковы слова о ихъ жалкомъ умѣ и о томъ, что они сами не замѣчаютъ, какъ края ризы касаются. Что же? и этотъ, пожалуй, крайка коснулся, но ужъ именно только коснулся, — чуть-чуть дотронулся; но какъ бы ему болѣе дать за него ухватиться? И вотъ я и попробовалъ съ нимъ какъ можно проще побесѣдовать о благѣ Христова примѣра и о цѣли Его страданія, — но мой слушатель все одинаково невозмутимо орстелемъ помахиваетъ. Трудно мнѣ было себя обольщать: вижу, что онъ ничего не понимаетъ.

— Ничего, спрашиваю, не понялъ?

— Ничего, бачка, — все правду врешь; жаль Его: Онъ хорошъ, Христосикъ.

— Хорошъ?

— Хорошъ, бачка, не надо Его обижать.

— Вотъ ты бы Его и любилъ.

— Какъ, бачка, Его не любить?

— Что? ты можешь Его любить?

— Какъ же, бачка,—я, бачка, Его и всегда люблю.

— Ну, вотъ и молодецъ.

— Спасибо, бачка.

— Теперь, значитъ, тебѣ остается креститься: Онъ и себя спасетъ.

Дикарь молчитъ.

— Что же, говорю, пріятель: что̀ ты замолчалъ?

— Нѣтъ, бачка.

— Что такое «нѣтъ, бачка»?

— Не спасетъ, бачка; за Него зайсанъ бьетъ, шаманъ бьетъ, лама олешковъ сгонитъ.

— Да; вотъ главная бѣда!

— Бѣда, бачка.

— А ты и бѣду потерпи за Христа.

— На что̀, бачка, — Онъ, бачка, жалостливый: какъ я охнуть буду, Ему Самому меня жаль станетъ. На что Его бижать!

Хотѣлъ-было сказать ему, что если онъ вѣритъ, что Христосъ его пожалѣетъ, то пусть вѣритъ, что Онъ же его можетъ и спасти,—но воздержался, чтобы опять про зайсана да про ламу не слушать. Ясно, что Христосъ у этого человѣка былъ въ числѣ его добрыхъ и даже самыхъ добрыхъ божествъ, да только не изъ сильныхъ: добръ, да не силенъ,—не заступается,—ни отъ зайсана, ни отъ ламы не защищаетъ. Что̀ же тутъ дѣлать? какъ дикаря перевѣрить въ этомъ, когда Христову сторону поддержать не съ кѣмъ, а для той много подпоръ? Католическій проповѣдникъ въ такомъ случаѣ схитрилъ бы, какъ они въ Китаѣ хитрили: положилъ бы Буддѣ къ ногамъ крестикъ, да и кланялся и, ассимилировавъ и Христа, и Будду, кичился бы успѣхомъ; а другой новаторъ втолковалъ бы такого Христа, что въ Него и вѣрить нечего, а только... думай о Немъ благопристойно и—хорошъ будешь. Но тутъ и это трудно: чѣмъ этотъ мой молодецъ станетъ раздумывать, когда у него вся думалка комомъ смерзлась и ему ее оттаять негдѣ.

Припомнилось мнѣ, какъ Карлъ Эккартсгаузенъ превосходно, въ самыхъ простыхъ сравненіяхъ, умѣлъ пред-

ставлять простымъ людямъ великость жертвы Христова пришествія на землю, сравнивая это, какъ бы кто изъ свободныхъ людей, по любви къ заключеннымъ злодѣямъ, самъ съ ними заключался, чтобы терпѣть ихъ злонравіе. Очень просто и хорошо; но вѣдь у моего слушателя, благодаря обстоятельствамъ, нѣтъ бо́льшихъ злодѣевъ, какъ тѣ, отъ кого онъ бѣгаетъ изъ страха, чтобы его не окрестили; нѣтъ у него такого мѣста, которое могло бы произвести ужасъ въ сравненіи съ страшнымъ мѣстомъ его всегдашняго обитанія... Ничего съ нимъ не подѣлаешь,—ни Массильономъ, ни Бурдалу, ни Эккартсгаузеномъ. Вонъ онъ тебѣ тычетъ орстелемъ въ снѣгъ да помахиваетъ, рожа обмылкомъ—ничего не выражаетъ; въ глядѣлкахъ, которыя стыдъ глазами звать,—ни въ одномъ ни искры душевнаго свѣта; самые звуки словъ, выходящихъ изъ его гортани, какіе-то мертвые: въ горѣ ли, въ радости ли—все одно произношеніе, вялое и безстрастное,—половину слова гдѣ-то въ глоткѣ выговоритъ, половину въ зубахъ сожметъ. Гдѣ ему съ этими средствами искать отвлеченныхъ истинъ и что̀ ему въ нихъ? Они ему бремя: ему надо вымирать со всѣмъ родомъ своимъ, какъ вымерли ацтеки, вымираютъ индѣйцы... Ужасный законъ! Какое счастье, что онъ его не знаетъ,—и знай тычетъ себѣ орстелемъ,—тычетъ направо, тычетъ налѣво; не знаетъ, куда меня мчитъ, зачѣмъ мчитъ и зачѣмъ, какъ дитя простой душою, открываетъ мнѣ, во вредъ себѣ, свои завѣтныя тайны... Малъ весь талантъ его и... благо ему: мало съ него спросится... А онъ все несется, несется въ безбрежную даль, и машетъ своимъ орстелемъ, который, мигая передъ моими глазами, начинаетъ дѣйствовать на меня, какъ маятникъ. Меня замаячило; эти мѣрные взмахи, какъ магнетизерскіе пассы, меня путали сонною сѣтью; подъ темя тѣснилась дрема, и я тихо и сладко уснулъ,—уснулъ для того, чтобы проснуться въ положеніи, отъ котораго да сохранитъ Господь всякую душу живую!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Я спалъ очень крѣпко и, вѣроятно, довольно долго, но вдругъ мнѣ показалось, что меня какъ будто что-то толкнуло и я сижу, накренясь на бокъ. Я въ полуснѣ еще хотѣлъ поправиться, но вижу, что меня опять кто-то по-

шатнулъ назадъ; а вокругъ все воетъ... Что̀ такое? Хочу посмотрѣть, но нечѣмъ смотрѣть,—глаза не открываются. Зову своего дикаря.

— Эй, ты, пріятель! гдѣ ты?

А онъ на самое ухо кричитъ мнѣ:

— Прочкнись, бачка,—прочкнись скорѣй! застынешь!

— Да что это я, говорю, не могу глазъ открыть?

— Сейчасъ, бачка, откроешь.

И съ этими словами—что̀ бы вы думали?—взялъ да мнѣ въ глаза и плюнулъ, и ну своимъ оленьимъ рукавомъ тереть.

— Что̀ ты дѣлаешь?

— Глаза тебѣ, бачка, протираю.

— Пошелъ ты, дуракъ...

— Нѣтъ, погоди, бачка,—не я дуракъ, а ты сейчасъ глядѣть станешь.

И точно, какъ онъ провелъ мнѣ своимъ оленьимъ рукавомъ по лицу, мои смерзшіяся вѣки оттаяли и открылись. Но для чего? что̀ было видѣть? Я не знаю, можетъ ли быть страшнѣе въ аду: вокругъ мгла была непроницаемая, непроглядная темь—и вся она была, какъ живая: она тряслась и дрожала, какъ чудовище,—сплошная масса льдистой пыли была его тѣло, останавливающій жизнь холодъ—его дыханіе. Да, это была смерть въ одномъ изъ самыхъ грозныхъ своихъ явленій и, встрѣтясь съ ней лицомъ къ лицу, я ужаснулся.

Все, что̀ я могъ проговорить, это былъ вопросъ о Киріакѣ,—гдѣ онъ? Но говорить было такъ трудно, что дикарь ничего не слышалъ. Тутъ я замѣтилъ, что онъ, говоря мнѣ, нагибался и кричалъ мнѣ подъ треухъ въ самое ухо, и самъ я подъ треухъ ему закричалъ:

— А гдѣ наши другія сани?

— Не знаю, бачка,—насъ разбило.

— Какъ разбило?

— Разбило, бачка.

Я хотѣлъ этому не вѣрить; хотѣлъ оглянуться, но никуда, ни въ одну сторону не видать ничего: кругомъ адъ темный и кромѣшный. Подъ самымъ моимъ бокомъ у саней что-то копошилось, какъ клубъ, но не было никакихъ средствъ видѣть, что̀ это такое. Спрашиваю дикаря, что̀ это. Тотъ отвѣчаетъ:

— А это, бачка, собачки спутались,—грѣются.

И вслѣдъ затѣмъ онъ сдѣлалъ въ этой тьмѣ какое-то движеніе и говоритъ:

— Падай, бачка!

— Куда падать?

— Вотъ сюда, бачка,—въ снѣгъ падай.

— Погоди, говорю.

Мнѣ еще не вѣрилось, что я потерялъ своего Киріака, и я привсталъ изъ саней и хотѣлъ позвать его, но меня въ то же мгновеніе и сразу же задушило, точно какъ заткнуло всего этою ледяною пылью, и я повалился въ снѣгъ, причемъ довольно больно ударился головой о санную гряду. Подняться у меня не было никакихъ силъ, да и мой дикарь мнѣ не далъ бы этого сдѣлать. Онъ придержалъ меня и говоритъ:

— Лежи, бачка, смирно лежи, не околѣешь: снѣгъ затететъ, тепло будетъ; а то околѣешь. Лежи!

Ничего не оставалось, какъ его слушаться; и я лежу и не трогаюсь, а онъ сволокъ съ салазокъ оленью шкуру, бросилъ ее на меня и самъ подъ нее же подобрался.

— Вотъ теперь, говоритъ, бачка, хорошо будетъ.

Но это «хорошо» было такъ скверно, что я въ ту же минуту долженъ былъ какъ можно рѣшительнѣе отворотиться отъ моего сосѣда въ другую сторону, ибо присутствіе его на близкомъ разстояніи было невыносимо. Четвероднeвный Лазарь въ Виѳанской пещерѣ не могъ отвратительнѣе смердѣть, чѣмъ этотъ живой человѣкъ; это было что-то хуже трупа, — это была смѣсь вонючей оленьей шкуры, остраго человѣчьяго пота, копоти и сырой гнили, юколы, рыбьяго жира и грязи... О, Боже, о, бѣдный я человѣкъ! Какъ мнѣ былъ противенъ этотъ, по образу Твоему созданный, братъ мой! О, какъ бы охотно я выскочилъ изъ этой вонючей могилы, въ которую онъ меня рядомъ съ собою укладывалъ, если бы только сила и мочь стоять въ этомъ метущемся адскомъ хаосѣ! Но ничего похожаго на такую возможность нельзя было и ждать, — и надо было покоряться.

Мой дикарь замѣтилъ, что я отъ него отвернулся, и говоритъ:

— Погоди, бачка, ты не туда морду клалъ;—ты вотъ сюда клади морду, вмѣстѣ дуть будемъ,—тепло станетъ.

Это даже слушать казалось ужасно!

Я притворился, что его не слышу, но онъ вдругъ какъ-то напружинился, какъ клопъ, перекатился чрезъ меня и легъ прямо носъ къ носу, и ну дышать мнѣ въ лицо съ ужаснымъ сапомъ и зловоніемъ. Сопѣлъ онъ тоже необычайно, точно кузнечный мѣхъ. Я никакъ не могъ этого стерпѣть и рѣшился добиться, чтобы этого не было.

— Дыши, говорю, какъ-нибудь потише.

— А что? ничего, бачка, я не устану: я тебѣ, бачка, морду грѣю.

«Мордою» его я, разумѣется, не обижался, потому что не до амбиціи мнѣ было въ это время, да и, повторяю вамъ, у нихъ для оттѣнка такихъ излишнихъ тонкостей, чтобы отличать звѣриную морду отъ человѣческаго лица, и отдѣльныхъ словъ еще не заведено. Все морда: у него самого морда, у жены его морда, у его оленя морда, и у его бога Шигемони морда, — почему же у архіерея не быть мордѣ? Это моему преосвященству снести было не трудно, но вотъ что̀ трудно было: сносить это его дыханіе съ этой смердючей юколой и какимъ-то другимъ отвратительнымъ зловоніемъ, — вѣроятно, зловоніемъ его собственнаго желудка, — противъ этого я никакъ не могъ стоять.

— Довольно, говорю, — перестань; ты меня согрѣлъ, теперь болѣе не сопи.

— Нѣтъ, бачка, сопѣть—теплѣй будетъ.

— Нѣтъ, пожалуйста, не надо: и такъ надоѣлъ,—не надо!

— Ну, не надо, бачка, не надо. Теперь спать будемъ.

— Спи.

— И ты, бачка, спи.

И въ эту же секунду, какъ это выговорилъ, точно муштрованная лошадь, которая сразу въ галопъ принимаетъ, такъ и онъ сразу же уснулъ и сразу же захрапѣлъ. Да, вѣдь, какъ же, злодѣй, захрапѣлъ! Я, признаюсь вамъ, съ дѣтства страшный врагъ соннаго храпа, и гдѣ въ комнатѣ хоть одинъ храпливый человѣкъ есть, я уже мученикъ и ни за что уснуть не могу; а такъ какъ у насъ, въ семинаріи и академіи, разумѣется, было много храпуновъ, и я ихъ поневолѣ много и прилежно слушивалъ, то, не въ смѣхъ вамъ сказать, я вывелъ себѣ о храпѣ свои наблюденія: по храпу, увѣряю васъ, все равно, какъ по голосу и по походкѣ, можно судить о темпераментѣ и о характерѣ человѣка. Увѣряю васъ, это такъ: задорный человѣкъ — онъ и

храпитъ задорно, точно онъ и во снѣ сердится; а товарищъ у меня по академіи весельчакъ и франтъ былъ, — такъ тотъ и храпѣлъ какъ-то франтовски: — этакъ весело какъ-то, съ присвистомъ, точно въ своемъ городѣ въ соборъ идетъ новый сюртукъ обновлять. Его, бывало, даже изъ другихъ камеръ слушать приходили и одобряли его искусство. Но теперешній мой дикій сосѣдъ такую положительную музыку завелъ, что я никогда ни такого обширнаго діапазона, ни такого темпа еще не наблюдалъ и не слыхивалъ: точно какъ будто сильный густой рой гудитъ и въ звонкій сухой улей о стѣнки мягко бьется. Прекрасно этакъ, солидно, ритмически и мѣрно: у-у-у-у-бумъ, бумъ, бумъ, у-у-у-у-бумъ, бумъ, бумъ... По моимъ наблюденіямъ, надлежало бы вывести, что это дѣйствуетъ человѣкъ обстоятельный, надежный; но, лиха бѣда, мнѣ не до наблюденій было: онъ такъ одолѣлъ совсѣмъ, разбойникъ, этимъ гуломъ! Терпѣлъ - терпѣлъ я, наконецъ, не выдержалъ, — толкнулъ его въ ребра.

— Не храпи, говорю.

— А что, бачка? зачѣмъ не храпѣть?

— Да ты ужасно храпишь: спать мнѣ не даешь.

— А ты самъ захрапи.

— Да я не умѣю храпѣть.

— А я, бачка, умѣю,—и опять сразу въ галопъ загудѣлъ.

Что̀ ты съ этакимъ мастеромъ станешь дѣлать? Что ужъ тутъ съ такимъ человѣкомъ спорить, который во всемъ превосходитъ: и о крещеньи больше меня знаетъ, по скольку разъ крестятъ, и объ именахъ свѣдущъ, и храпѣть умѣетъ, а я не умѣю; во всемъ передо мною преферансъ получаетъ,—надо ему и честь, и мѣсто дать.

Попятился я отъ него, какъ могъ, немножко въ сторону, провелъ съ трудомъ руку за подрясникъ и пожалъ репетиръ: часы прозвонили всего три и три четверти. Это, значитъ, еще былъ день; вьюга, конечно, пойдетъ на всю ночь, можетъ-быть, и больше... Сибирскія вьюги, вѣдь, продолжительны. Можете себѣ представить, каково имѣть все это въ перспективѣ! А между тѣмъ, положеніе мое все становилось ужаснѣе: сверху насъ, вѣрно, уже хорошо укрыло снѣгомъ и въ логовѣ нашемъ стало не только тепло, а даже душно; но зато и отвратительныя, вонючія испаренія становились все гуще, — отъ этого спертаго смрада у меня занимало

дыханіе и очень жаль, что это сдѣлалось не сразу, потому что тогда я не испыталъ бы и сотой доли тѣхъ мученій, которыя ощутилъ, приведя себя въ память, что съ моимъ отцомъ Киріакомъ пропала и моя бутылка съ подправленною коньякомъ водою и вся наша провизія... Я ясно видѣлъ, что если я не задохнусь здѣсь, какъ въ Черной Пещерѣ, то мнѣ, навѣрно, грозитъ самая ужасная, самая мучительная изъ всѣхъ смертей,—голодная смерть и жажда, которая уже начала надо мною свое терзательство. О, какъ я теперь жалѣлъ, что не остался мерзнуть наверху и залѣзъ въ этотъ снѣжный гробъ, гдѣ мы двое лежали въ такой тѣснотѣ и подъ такимъ прессомъ, что всѣ мои усилія приподняться и встать были совершенно напрасны!

Съ величайшимъ трудомъ я доставалъ изъ-подъ своего плеча кусочки снѣгу и жадно глоталъ ихъ, одинъ за другимъ, но—увы!—это меня нимало не облегчало—напротивъ, это возбуждало у меня тошноту и несносное жженіе въ горлѣ и желудкѣ, а особенно около сердца; затылокъ у меня трещалъ, въ ушахъ стоялъ звонъ и глаза гнело и выпирало на лобъ. А между тѣмъ докучный рой гудѣлъ все гуще и гуще, и все звонче пчелки бились объ улей. Такое ужасное состояніе продолжалось, пока часовой репетиръ сказалъ семь, — и затѣмъ я больше ничего не помню, потому что потерялъ сознаніе.

Это было величайшее счастіе, какое могло посѣтить меня въ моемъ настоящемъ бѣдственномъ положеніи. Не знаю, отдыхалъ ли я въ это время сколько-нибудь физически, но я, по крайней мѣрѣ, не мучился представленіемъ о томъ, что̀ меня ожидало впереди и что̀ въ дѣйствительности, по ужасу своему, должно было далеко превзойти всѣ представленія встревоженной фантазіи.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Когда я пришелъ въ чувства, пчелиный рой отлетѣлъ, и я увидѣлъ себя на днѣ глубокой, снѣжной ямы; я лежалъ на самомъ ея днѣ, съ вытянутыми руками и ногами и не чувствовалъ ничего: ни холоду, ни голоду, ни жажды;—рѣшительно ничего! Только голова моя была до того мутна и безтолкова, что мнѣ порядочнаго труда стоило привести себѣ на память все, что̀ со мною произошло, и въ какомъ я теперь нахожусь положеніи. Но, наконецъ, все это вы-

яснилось, и первая мысль, которая мнѣ пришла въ эту пору, была та, что мой дикарь очнулся ранѣе меня и улизнулъ одинъ, а меня бросилъ.

Оно, по здравому сужденію, ему такъ бы и стоило со мною сдѣлать, особенно послѣ того, какъ я ему вчера нагрозилъ и его крестить, и брата его Кузьму-Демьяна разыскивать; но онъ, по своему язычеству, не такъ поступилъ. Чуть я, съ трудомъ двинувъ моими набрякшими членами, сѣлъ на днѣ моей разрытой могилы, какъ увидѣлъ я его шагахъ въ тридцати отъ меня. Онъ стоялъ подъ большимъ заиндивѣлымъ деревомъ и довольно забавно кривлялся, а надъ нимъ, на длинномъ суку, висѣла собака, у которой изъ распоротаго брюха ползли внизъ теплыя черева.

Я догадался, что это онъ жертву или, по-ихнему, таилгу принесъ, и, по правдѣ сказать, не возропталъ, что это жертвоприношеніе его здѣсь задержало, пока я проснулся и помѣшало ему меня бросить. А я вполнѣ былъ увѣренъ, что этотъ язычникъ непремѣнно долженъ былъ имѣть такое нехристіанское намѣреніе, и завидовалъ отцу Киріаку, который терпитъ теперь свою бѣду, по крайней мѣрѣ, хотя съ человѣкомъ крещенымъ, который все же долженъ быть благонадежнѣе моего нехристя. И отъ тяжкаго ли моего положенія, что ли, во мнѣ родилось даже такое подозрѣніе, что не слукавилъ ли со мною отецъ Киріакъ и, предусматривая всѣ больше меня ему извѣстныя случайности сибирскихъ путешествій, подъ видомъ доброжелательства подсудобилъ мнѣ язычника, а себѣ отобралъ христіанина? Не похоже это, конечно, было на отца Киріака, и мнѣ даже и сейчасъ, когда я это вспоминаю, стыдно становится сей моей подозрительности; но что дѣлать, когда она явилась?

Вылѣзъ я изъ снѣжной ямы и сталъ подбираться къ моему дикарю; онъ услыхалъ, какъ снѣгъ захрустѣлъ подъ моими ногами, и обернулся, но сейчасъ же опять сталъ продолжать попрежнему свои тайнодѣйствія.

— Ну, не довольно ли тебѣ кивать-то?—сказалъ я, постоявъ возлѣ него съ минуту.

— Довольно, бачка,—и сейчасъ же пошелъ къ санямъ и началъ цѣплять въ шорки остальныхъ собаченокъ. Закладка была готова, и мы поѣхали.

— Кому ты это тамъ таилгу далъ?—спросилъ я его, махнувъ назадъ головою.

— А не знаю, бачка.

— Да собачку-то ты кому пожертвовалъ: Богу или чорту—шайтану?

— Шайтану, бачка, какъ же,—шайтану.

— За что̀ же ты его угостилъ?

— А за то, бачка, что онъ насъ не заморозилъ: я ему, бачка, за это собачку далъ,—пусть его лопаетъ.

— Гм! да онъ-то пусть лопаетъ,—не облопается, а собаченку жаль.

— Чего, бачка, жаль: собачка плохая, скоро бы дохнуть стала; ничего, бачка,—пусть его беретъ—лопаетъ.

— Да; такъ ты съ расчетомъ: дохленькую ему далъ...

— Какъ же, бачка.

— А скажи, пожалуйста: куда мы это теперь ѣдемъ?

— Не знаю, бачка—слѣдъ ищемъ.

— А гдѣ мой попъ—товарищъ?

— Не знаю, бачка.

— Какъ же намъ его найти?

— Не знаю, бачка.

— Можетъ-быть, онъ замерзъ?

— Зачѣмъ, бачка, замерзъ: снѣгъ есть—не замерзнетъ.

Я вспомнилъ опять, что съ Киріакомъ есть еще и бутылка съ согрѣвающимъ питьемъ, и провизія, и — успокоился. Со мною ничего этого не было, а я теперь охотно поѣлъ бы хоть собачьей юколы, но боялся о ней спросить, потому что не увѣренъ былъ, есть ли она съ нами.

Цѣлый день мы кружили какъ-то зря; я это видѣлъ—если не по безстрастному лицу моего возницы, то по неспокойнымъ, неровнымъ и тревожнымъ движеніямъ его собакъ, которыя все какъ-то прыгали, суетились и безпрестанно метались изъ стороны въ сторону. Моему дикарю съ ними было много хлопотъ, но его неизмѣнное безстрастное равнодушіе не покидало его ни на минуту: онъ только работалъ своимъ орстелемъ какъ будто съ нѣсколько большимъ вниманіемъ, безъ котораго намъ, конечно, въ этотъ день сто разъ быть бы выброшенными и остаться либо среди степи, либо гдѣ-нибудь подъ лѣсами, мимо которыхъ мы проѣзжали.

Но вотъ вдругъ одна собачка ткнулась мордою въ снѣгъ, дрыгнула задними лапами и пала. Дикарь, разумѣется, лучше меня зналъ, что̀ это значитъ и какою угрожаетъ

намъ новою бѣдою, но не выразилъ ни страха, ни смущенія: такъ же, какъ и всегда, онъ твердою, но безстрастною рукою застремилъ въ снѣгъ свой орстель и далъ мнѣ держать этотъ якорь нашего спасенія, а самъ поспѣшно сошелъ съ саней, вынулъ изнемогшаго пса изъ хомутика и потащилъ его взадъ, за сани. Я думалъ, что онъ хочетъ пришибить и закинуть куда-нибудь этого пса; но, оглянувшись, увидѣлъ, что и эта собака уже виситъ на деревѣ и изъ нея опять ползутъ внизъ кровавыя черева. Отвратительное зрѣлище!

— Это что опять?—крикнулъ я ему.

— А шайтану ее, бачка.

— Ну, братъ, довольно будетъ съ твоего шайтана; много ему по двѣ собаки на день ѣсть.

— Ничего, бачка, пусть лопаетъ.

— Нѣтъ, не «ничего», говорю; а если ты ихъ такъ будешь колоть, то ты ихъ всѣхъ шайтану переколешь.

— Я, бачка, ему тѣхъ даю, которыя дохнутъ.

— А ты бы ихъ лучше покормилъ.

— Нечѣмъ, бачка.

— Вотъ оно что! — это сказалось то самое, чего я и боялся.

А короткій день уже опять клонился къ вечеру и оставшіяся собаченки, видимо, совсѣмъ устали, изъ силъ выбились и начали какъ-то дико похаркивать и садиться. И вдругъ еще одна пала, а прочія всѣ, какъ по уговору, всѣ разу сѣли на хвосты и завыли, точно тризну по ней правили.

Дикарь мой всталъ и хотѣлъ вздернуть шайтану третью собаку, но я ему этого на сей разъ уже рѣшительно не позволилъ. Такъ надоѣло мнѣ на это смотрѣть, да и казалось, что эта мерзость какъ будто увеличивала ужасъ нашего положенія.

— Оставь, говорю, и не смѣй трогать: пусть издыхаетъ какъ ей пришлось.

Онъ и спорить не сталъ, но зато съ обычнымъ ему, самымъ невозмутимымъ спокойствіемъ выкинулъ самую неожиданную штуку. Онъ молча застремилъ свой орстель впереди саней и всѣхъ собаченокъ, одну за другою, отцѣпилъ и пустилъ ихъ на волю. Оголодалые псы словно забыли истому: они взвизгнули, глухо затявкали и понеслись всей стаей въ одну сторону и въ минуту же скрылись въ

лѣсу за дальнимъ перелогомъ. Все это сталось такъ скоро, какъ въ сказкѣ объ Ильѣ-Муромцѣ сказывается: «какъ садился Илья на коня, всѣ видѣли, а какъ уѣхалъ, того никто не видалъ». Наша двигательная сила насъ оставила: мы *отъшили:* отъ десятка нашихъ, еще такъ недавно бодрыхъ собаченокъ, при насъ оставалась только одна, издохшая, которая валялась у нашихъ ногъ въ своемъ хомутишкѣ.

Дикарь мой стоялъ на этомъ позорищѣ, облокотясь на свой орстель и съ тѣмъ же безстрастіемъ смотрѣлъ себѣ на ноги.

— Зачѣмъ ты это сдѣлалъ?—воскликнулъ я.

— Пустилъ, бачка.

— Вижу, что пустилъ; а придутъ ли онѣ назадъ?

— Нѣтъ, бачка, не придутъ,—онѣ одичаютъ.

— Для чего же, для чего ты ихъ спустилъ?

— Лопать, бачка, хотятъ, — пусть звѣрька изловятъ,— лопать будутъ.

— А мы съ тобою что̀ будемъ лопать?

— Ничего, бачка.

— Ахъ ты, извергъ!

Онъ, вѣрно, не понялъ и ничего мнѣ не отвѣчалъ, но воткнулъ въ снѣгъ свой орстель и пошелъ. Никто бы не отгадалъ, куда и зачѣмъ онъ отъ меня удалился. Я его окликалъ, звалъ его вернуться назадъ, но онъ, только взглянувъ на меня своимъ тупымъ взглядомъ, прорычалъ: «молчи, бачка», и побрелъ дальше. Скоро и онъ исчезъ за опушкой, и я остался одинъ-одинёшенекъ.

Надо ли вамъ распространяться о томъ, какъ ужасно было мое положеніе или, можетъ-быть, вы лучше поймете весь этотъ ужасъ изъ того, что я не думалъ ни о чемъ, кромѣ того, что я голоденъ, что мнѣ хочется не ѣсть, въ человѣческомъ смыслѣ желанія пищи, а жрать, какъ голодному волку. Я вынулъ мои часы, подавилъ репетиръ и былъ пораженъ новымъ сюрпризомъ: мои часы стояли,—чего съ ними никогда не случалось на заводѣ. Дрожащими руками я вложилъ въ нихъ ключъ и удостовѣрился, что онѣ стали потому, что весь заводъ сошелъ; а онѣ ходили около двухъ сутокъ на одномъ заводѣ. Это мнѣ открывало, что мы, ночуя подъ снѣгомъ, пролежали въ своей ледяной могилѣ *болѣе чѣмъ сутки!* Сколько же? — можетъ-быть, двое,

можетъ-быть, трое? Я болѣе не удивлялся, что я такъ мучительно страдаю отъ голода... Я, значитъ, не ѣлъ, по крайней мѣрѣ, третьи сутки и, сообразивъ это, почувствовалъ свой терзающій голодъ еще ожесточеннѣе.

Ѣсть, что-нибудь ѣсть!—нечистое, гадкое, лишь бы ѣсть!—вотъ все, что̀ я понималъ, отчаянно водя вокругъ себя полными нестерпимой муки глазами.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Мы стояли на плоскомъ возвышеніи; за нами была огромная, безбрежная степь, а впереди безконечное ея продолженіе; вправо обозначалась занесенная снѣгомъ низменность и перевалъ, за которымъ далеко синѣла на горизонтѣ гряда лѣса, куда скрылись наши собаки. Влѣво шла другая лѣсная опушка, вдоль которой мы ѣхали, пока вся наша сбруя не разстроилась. Сами мы стояли какъ разъ подъ большимъ сугробомъ, который, видно, намело на пригорокъ, покрытый высокими, подъ самое небо уходящими пихтами и елинами. Томимый голодомъ, я стылъ, сидя на краю саней, и, не обращая вниманія ни на что окружающее, не замѣтилъ, когда здѣсь очутился возлѣ меня мой дикарь. Я не видалъ ни того, какъ онъ подошелъ, ни того, какъ онъ, молча, сѣлъ рядомъ со мною; теперь же, когда я обратилъ на него вниманіе, онъ сидѣлъ, поставивъ орстель въ колѣна, а руки завелъ за теплую малицу. Ни одна черта его лица не измѣнилась, ни одинъ мускулъ не двигался и глаза не выражали ничего, кромѣ тупой и спокойной покорности.

Я взглянулъ на него и ни о чемъ его не спросилъ — а онъ, какъ до сихъ поръ никогда первый не заговаривалъ, и теперь не заговорилъ. Такъ мы и осмеркли, такъ и просидѣли рядомъ безконечную темную ночь, не сказавъ другъ другу ни одного слова.

Но чуть на небѣ начало слегка сѣрѣть, дикарь тихо поднялся съ саней, заложилъ руки поглубже за пазуху и опять побрелъ вдоль по опушкѣ. Долго онъ не бывалъ назадъ — я долго видѣлъ, какъ онъ бродилъ и все останавливался: станетъ и что-то долго-долго на деревьяхъ разглядываетъ — и опять дальше потянетъ. И такъ онъ, наконецъ, скрылся съ моихъ глазъ, а потомъ опять такъ же тихо и безстрастно возвращается и прямо съ прихода лѣзетъ подъ сани и начинаетъ тамъ что-то настроивать или разстроивать.

— Что̀ ты, спрашиваю, тамъ дѣлаешь? — и при этомъ
ріятно открываю, какъ у меня спалъ и даже совсѣмъ
емѣнился мой голосъ, между тѣмъ мой дикарь какъ прежде
орилъ, такъ и теперь такъ же, перекусывая звуки,
ываетъ.
— Лыжи, бачка, достаю.
— Лыжи!—воскликнулъ я въ ужасѣ, тутъ только во всемъ
ченіи понявъ, что̀ такое значитъ «навострить лыжи».—
ѣмъ ты лыжи достаешь?
— Сейчасъ убѣгу.
— Ахъ, ты, разбойникъ, думаю: куда же ты это побѣжишь?
— На правую руку, бачка, убѣгу.
— Зачѣмъ же ты туда побѣжишь?
— Лопать тебѣ принесу.
— Врешь, говорю,—ты меня здѣсь кинуть хочешь.
Но онъ нимало не смутился и отвѣчаетъ:
— Нѣтъ, я тебѣ лопать принесу.
— Гдѣ же ты мнѣ лопать возьмешь?
— Не знаю, бачка.
— Какъ же не знаешь: куда же ты бѣжишь?
— На праву руку.
— Кто же тамъ на правой рукѣ?
— Не знаю, бачка.
— А не знаешь, такъ чего же ты бѣжишь?
— Примѣту нашелъ,—чумъ есть.
— Врешь, говорю, любезный, ты меня одного здѣсь бро-
ь хочешь.
— Нѣтъ; я лопать принесу.
— Ну, ступай, только ужъ лучше не ври, а иди себѣ
а знаешь.
— Зачѣмъ, бачка, врать, не хорошо врать.
— Очень, братъ, не хорошо, а ты врешь.
— Нѣтъ, бачка, не вру! поди со мной; я тебѣ примѣтку
ажу.
И, зацѣпивъ лыжи и орстель, онъ поволокъ ихъ за собою и
я взялъ за руку, привелъ къ одному дереву и спрашиваетъ:
— Видишь, бачка?
— Что же, говорю, дерево вижу,—больше ничего.
— А вонъ, на большомъ суку вѣтка на вѣткѣ,—видишь?
— Ну, что же такое? вижу, есть вѣтка, — вѣрно вѣтеръ
сюда забросилъ.

— Какой, бачка, вѣтеръ; это не вѣтеръ, а добрый человѣкъ ее посадилъ,—въ ту руку чумъ есть.

Ну, очевидное дѣло, что или онъ меня обманываетъ, или самъ обманывается; но что же мнѣ дѣлать?—силой мнѣ его не удержать, да и зачѣмъ я его стану удерживать? Не все ли равно, что одному, что вдвоемъ умирать съ холоду и голоду? Пусть бѣжитъ и спасается, если можетъ спастись,—и говорю ему по-монашески: «спасайся, братъ!»

А онъ спокойно отвѣчаетъ: «спасибо, бачка», и съ этимъ утвердился на лыжахъ, заложилъ орстель на плечи, шаркнулъ разъ ногой, шаркнулъ два,—и побѣжалъ. Черезъ минуту его уже и не видно стало, и я остался одинъ-одинёшенекъ среди снѣга, холода и совсѣмъ уже изнурившаго меня мучительнаго голода.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Небольшой зимній сибирскій день я пробродилъ около саней, то присаживаясь, то снова поднимаясь, когда холодъ пересиливалъ несносныя муки голода. Ходилъ я, разумѣется, потихоньку, потому что и силъ у меня не было, да и отъ сильнаго движенія скорѣе устаешь, и тогда еще скорѣе стынешь.

Бродя все вблизи того мѣста, гдѣ меня кинулъ мой дикарь, я не разъ подходилъ и къ тому дереву, на которомъ онъ мнѣ указывалъ примѣтную вѣтку: прилежно я ее разсматривалъ и все еще болѣе убѣждался, что это просто вѣтка, заброшенная сюда вѣтромъ съ другого дерева.

— Обманулъ, говорилъ я себѣ, обманулъ онъ меня, да и не поставится ему это въ грѣхъ: зачѣмъ ему было пропадать вмѣстѣ со мною, безъ всякой для меня пользы?

И нужно ли вамъ разсказывать, какъ тяжело и мучительно дологъ мнѣ казался этотъ куцый день? Я не вѣрилъ ни въ какую возможность спасенія и ждалъ смерти; но гдѣ она? зачѣмъ медлитъ и когда-то еще соберется припожаловать? Сколько я еще натерзаюсь прежде, чѣмъ она меня обласкаетъ и успокоитъ мои мученія?.. Скоро я сталъ замѣчать, что у меня начинаетъ минутами изнемогать зрѣніе: вдругъ всѣ предметы какъ бы сольются и пропадутъ въ какой-то сѣрой мглѣ, но потомъ опять вдругъ и неожиданно разъяснитъ... Кажется, это происходитъ просто отъ усталости, но не знаю, какую роль здѣсь играетъ перемѣна

ь освѣщеніи: чуть освѣщеніе перемѣнится, становится
лова видно, и видно очень ясно и далеко, а потомъ опять
туманитъ. На часокъ выпрыгнувшее за далекими холмами
лнышко стало обливать покрывавшій эти холмы снѣгъ
дивительно чистымъ розовымъ свѣтомъ,—это бываетъ тамъ
редъ вечеромъ, послѣ чего солнце сейчасъ же быстро и
крывается, и розовый свѣтъ тогда смѣняется самою дивною
иневою. Такъ было и теперь: вокругъ меня вблизи все
асинѣло, какъ будто сапфирною пылью обсыпалось, — гдѣ
ытвинка, гдѣ ножной слѣдъ, или такъ просто палкою въ
нѣгъ ткнуто, — вездѣ какъ сизый дымокъ заклубился и
ерезъ малое время этой игры все сразу смеркло: степь
акъ опрокинутою чашей покрыло и потомъ опять облег-
аетъ... сѣрѣетъ... Съ этою послѣднею перемѣною, какъ
счезъ и сей удивительный голубой свѣтъ и перебѣжала
гновенная тьма, на моихъ усталыхъ глазахъ въ сѣрой мглѣ
ошли отражаться разные удивительные степные фокусы.
Всѣ предметы начали принимать невѣроятные, огромные
азмѣры и очертанія: наши салазки торчали какъ корабель-
ый остовъ; заиндивѣлая дохлая собака казалась спящимъ
ѣлымъ медвѣдемъ, а деревья какъ бы ожили и стали пе-
еходить съ мѣста на мѣсто... И все это такъ живо и инте-
ресно, что я, несмотря на мое печальное положеніе, готовъ
ылъ бы во все это съ любопытствомъ всматриваться,
сли бы не одно странное обстоятельство, которое меня
тпугнуло отъ моихъ наблюденій и, пробудя во мнѣ новый
трахъ, оживило съ нимъ вмѣстѣ и инстинктъ самосохра-
енія. Предъ моими глазами, вдали, въ полутьмѣ, что-то
елькнуло, какъ темная стрѣла, потомъ другая, третья,
вслѣдъ затѣмъ въ воздухѣ раздался протяжный жалоб-
ый вой.

Я мигомъ сообразилъ, что это или волки, или наши отпу-
щенныя собаки, которыя, вѣроятно, ничего съѣдомаго не
ашли и звѣря не затравили, а, истомясь голодомъ, вспо-
нили о своей околѣвшей подругѣ и хотятъ воспользо-
аться ея трупомъ. Во всякомъ случаѣ, тѣ ли это, или
ругіе, оголодавшіе ли псы, или волки, но они моему пре-
священству спуска не дадутъ, и хотя мнѣ по разуму соб-
твенно было бы легче быть сразу растерзаннымъ, чѣмъ
олго томиться голодомъ, однако инстинктъ самосохраненія
взялъ свое, и я съ ловкостью и быстротою, какихъ, при-

знаться сказать, никогда за собою не зналъ и отъ себя не чаялъ, взобрался въ своемъ тяжеломъ убранствѣ на самый верхъ дерева, какъ векша, и тогда лишь опомнился, когда выше было некуда лѣзть. Передо мною открывалась цѣлая необъятность и снѣга, и темнаго, какъ густая накипь, неба, на которомъ, изъ далекой непроглядной тьмы, зардѣлись красноватыя, безлучныя звѣзды; а пока я окинулъ все это взглядомъ, внизу, почти у самаго корня моего дерева, произошла какая-то свалка: рванье, стонъ, опять потасовка, и опять стонъ, и вотъ опять во тьмѣ мелькнули врозсыпь стрѣлы, и сразу все стихло, какъ будто ничего и не бывало. Настала такая невозмутимая тишина, что я слышалъ и свой собственный пульсъ внутри себя, и свое дыханіе: оно какъ-то шумитъ, какъ сѣно, а если сильно вздохнуть, то точно электрическая искра тихо пощелкиваетъ въ невыносимо-разрѣженномъ морозномъ воздухѣ, такомъ сухомъ и такомъ холодномъ, что даже мои волосы на бородѣ насквозь промерзли, кололись, какъ проволоки, и ломались; я даже сейчасъ чувствую ознобъ при этомъ воспоминаніи, которому всегда помогаютъ мои съ той поры испорченныя ноги. Внизу, можетъ-быть, было немножко теплѣе, а можетъ-быть, и нѣтъ; но я во всякомъ случаѣ не вѣрилъ, что нашествіе хищниковъ тамъ не повторится, и рѣшилъ до утра не сходить съ дерева. Это было не страшнѣе, чѣмъ закопаться подъ снѣгомъ съ моимъ зловоннымъ товарищемъ, да и, вообще, что уже могло быть страшнѣе всего моего теперешняго положенія? Я только выбралъ поразбросистѣе развѣтвленіе и усѣлся на немъ, какъ въ довольно спокойномъ креслѣ, такъ что если бы даже мнѣ и вздремнулось, то я ни за что не упалъ бы; а впрочемъ, для большей безопасности, я крѣпко обхватилъ одинъ сукъ руками и завелъ ихъ обѣ поглубже за малицу. Позиція была хорошо выбрана и хорошо устроена: я сидѣлъ, какъ примерзлый старый сычъ, на котораго, вѣроятно, похожъ былъ и съ виду. Часы мои давно уже не шли, но отсюда для меня были прекрасно открыты Оріонъ и Плеяды—эти небесные часы, по которымъ я теперь могъ вести счетъ времени моихъ мученій. Я этимъ и занялся: сначала вычислилъ себѣ приблизительно данную минуту, а потомъ, такъ, просто, безъ всякой цѣли, долго-долго глядѣлъ на эти странныя звѣзды, на совершенно черномъ небѣ, пока онѣ стали слабѣть и

изъ золотыхъ сдѣлались мѣдяными и, наконецъ, совсѣмъ потемнѣли и сгасли.

Настало утро, такое же сѣрое и безрадостное. Мои часы, поставленные мною по распоряженію Плеядъ, показали девять. Голодъ все ожесточался и мучилъ меня неимовѣрно: я уже не чувствовалъ ни томящаго запаха яствъ и никакого воспоминанія о вкусѣ пищи, а у меня просто была голодная боль: мой пустой желудокъ сучило и скручивало какъ веревку и причинило мнѣ мученія невыносимыя.

Безъ всякой надежды найти что-нибудь съѣстное, я спустился съ дерева и сталъ бродить. Въ одномъ мѣстѣ я поднялъ на снѣгу еловую шишку. Сначала думалъ, не кедровая ли и нѣтъ ли въ ней орѣшковъ, но оказалось, просто-на-просто обыкновенная еловая шишка. Я разломилъ ее, досталъ изъ нея зернышко и проглотилъ, но смолистый запахъ былъ такъ противенъ, что и пустой желудокъ не принялъ этого зерна и отъ того боли мои только усилились. Въ это время я замѣтилъ, что около нашихъ брошенныхъ саней въ разныхъ направленіяхъ было множество недавнихъ слѣдовъ и что наша дохлая собака исчезла. За нею теперь, очевидно, былъ на очереди мой трупъ, на который сбѣжатся тѣ же волки и такъ же скоро и хищно его между собою раздѣлятъ. Только когда же это будетъ? Неужели еще сутки? А ну, какъ еще болѣе?—Нѣтъ. Я припомнилъ себѣ одного фанатика-запощеванца, который заморилъ себя голодомъ во славу Христову; онъ имѣлъ духъ отмѣчать дни своего томленія и насчиталъ ихъ девять... Это ужасно! Но тотъ голодалъ въ теплѣ, а я подвергаюсь всему при жестокомъ холодѣ,—это, конечно, должно дѣлать большую разницу. Силы мои меня совсѣмъ оставили, — я уже не могъ согрѣвать себя движеніемъ и сѣлъ на сани. Даже сознаніе моей участи меня какъ будто покинуло: я чувствовалъ на вѣкахъ моихъ тѣнь смерти и томился только тѣмъ, что она такъ медленно уводитъ меня въ путь невозвратный. Вы поймете, что я такъ искренно желалъ уйти изъ этой мерзлой пустыни въ сборный домъ всѣхъ живущихъ и нимало не сожалѣлъ, что здѣсь, въ этой студеной тьмѣ, я постелю постель мою. Цѣпь мыслей моихъ порвалась, кувшинъ разбился и колесо надъ колодцемъ обрушилось: ни мыслей, ни даже обращенія къ небу въ самыхъ

привычныхъ формахъ, — нечего, негдѣ и нечѣмъ стало почерпнуть. Я это созналъ и вздохнулъ.

Авва Отче! не могу даже изнести Тебѣ покаянія, но Ты Самъ сдвинулъ свѣтильникъ мой съ мѣста, Самъ и поручись за меня передъ Собою!

Это была вся моя молитва, которую я могъ собрать въ умѣ моемъ, и затѣмъ ничего не помню, какъ шелъ этотъ день. Всеконечно, съ твердостію могу уповать, что онъ былъ такой же точно, какъ и тотъ, что̀ минулъ. Казалось мнѣ только, что я въ этотъ день видѣлъ будто бы вдали отъ себя два живыя существа, и это будто были двѣ какія-то птицы; онѣ мнѣ казались ростомъ съ сорокъ и статью похожія на сороку, но съ сквернымъ лохматымъ перомъ, въ родѣ совинаго. Передъ самымъ закатомъ солнца онѣ слетѣли откуда-то съ дерева на снѣгъ, походили и улетѣли. Но, можетъ-быть, мнѣ это только казалось въ моихъ предсмертныхъ галлюцинаціяхъ; однако, казалось это такъ живо, что я слѣдилъ за ихъ полетомъ и видѣлъ, какъ онѣ гдѣ-то вдали скрылись, какъ будто растаяли. Усталые глаза мои, дойдя до этого мѣста, такъ на немъ и стали, и остолбенѣли. Но что̀ бы вамъ думалось? — вдругъ я начинаю замѣчать въ этомъ направленіи какую-то странную точку, которой, кажется, здѣсь прежде не было. Притомъ же казалось, что она какъ будто движется, — хоть это было такъ незамѣтно, что движеніе ея скорѣй можно было отличать внутреннимъ чутьемъ, а не глазами, но я былъ увѣренъ, что она движется.

Надежда на спасеніе заговорила, и всѣ муки мои не имѣли силахъ были перекричать и заглушить ее; точка все росла и все яснѣе, и яснѣе опредѣлялась на этомъ удивительно нѣжно-розовомъ фонѣ. Миражъ ли это, столь возможный въ семъ пустынномъ мѣстѣ, при такомъ капризномъ освѣщеніи, или это, дѣйствительно, что-то живое спѣшитъ ко мнѣ, но оно во всякомъ случаѣ летитъ прямо на меня, и именно не идетъ, а летитъ: я вижу, какъ *оно* чертитъ, наконецъ, различаю фигуру—вижу у нея ноги,—я вижу, какъ онѣ штрихуютъ одна за другою и... вслѣдъ затѣмъ, снова быстро перехожу отъ радости къ отчаянію. Да; это не миражъ — я его слишкомъ явно вижу, но зато это и не человѣкъ, какъ и не звѣрь. Вообще на землѣ нѣтъ во плоти ни одного такого существа, которое походило бы на это волшебное

фантастическое видѣніе, какое на меня надвигало, словно сгущаясь, складываясь, или, какъ господа спириты говорятъ нынѣ, «матеріализуясь» изъ игривыхъ тоновъ мерзлой атмосферы. Или меня обманываетъ мой глазъ и мое воображеніе, или, кто что̀ ни говори, а это духъ. Какой? Кто ты? Неужто это мой отецъ Киріакъ спѣшитъ мнѣ навстрѣчу изъ царства мертвыхъ... А можетъ быть мы оба уже *тамъ?*.. Неужто я уже и кончилъ переходъ? Какъ хорошо! какъ любопытенъ этотъ духъ, этотъ мой новый согражданинъ въ новой жизни! Опишу его вамъ какъ умѣю: ко мнѣ плыла крылатая, гигантская фигура, которая вся съ головы до ногъ была облечена въ хитонъ серебряной парчи и вся искрилась; на головѣ огромнѣйшій, казалось, чуть ли не въ сажень вышины, уборъ, который горѣлъ, какъ будто весь сплошь усыпанъ былъ брильянтами или точно это цѣльная брильянтовая митра... Все это точно у богато-убраннаго индійскаго идола, и, въ довершеніе сего сходства съ идоломъ и съ фантастическимъ его явленіемъ, изъ-подъ ногъ моего дивнаго гостя брызжутъ искры серебристой пыли, по которой онъ точно несется на легкомъ облакѣ, по меньшей мѣрѣ, какъ сказочный Гермесъ.

И вотъ, пока я его разсматривалъ, онъ, этотъ удивительный духъ, все ближе, ближе, и — вотъ, наконецъ, совсѣмъ близко, и еще моментъ, и онъ, обрызгавъ всего меня снѣжной пылью, воткнулъ передо мною свой волшебный жезлъ и воскликнулъ:

— Здравствуй, бачка!

Я не вѣрилъ ни своимъ глазамъ, ни своему слуху: удивительный духъ этотъ былъ, конечно, онъ, — мой дикарь! Теперь въ этомъ нельзя было болѣе ошибаться: вотъ подъ ногами его тѣ же самыя лыжи, на которыхъ онъ убѣжалъ, а плечами другія; передо мною воткнутъ въ снѣгъ его посохъ, а на рукахъ у него цѣлая медвѣжья ляжка, совсѣмъ съ шерстью, и со всей когтистой лапой. Но во что̀ онъ обранъ, во что̀ онъ преобразился?

Не дожидая съ моей стороны никакого отвѣта на свое привѣтствіе, онъ сунулъ мнѣ къ лицу эту медвѣжатину и, промычавъ:

— Лопай, бачка!—самъ сѣлъ на сани и началъ снимать съ своихъ ногъ лыжи.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Я припалъ къ окороку и грызъ, и сосалъ сырое мясо, стараясь утолить терзавшій меня голодъ, и въ то же время смотрѣлъ на моего избавителя.

Что̀ это такое было у него на головѣ, которая оставалась все въ томъ же дивномъ блестящемъ, высокомъ уборѣ,— никакъ я этого не могъ разобрать, и говорю:

— Послушай, что̀ это у тебя на головѣ?

— А это, отвѣчаетъ, то, что ты мнѣ денегъ не далъ.

Признаюсь, я не совсѣмъ понялъ, что̀ онъ мнѣ этимъ хотѣлъ сказать, но всматриваюсь въ него внимательнѣе — и открываю, что этотъ его высокій брильянтовый головной уборъ есть не что иное, какъ его же собственные длинные волосы: всѣ ихъ пропушило насквозь снѣжною пылью, и какъ они у него на бѣгу развѣвались, такъ ихъ снопомъ и заморозило.

— А гдѣ же твой треухъ?

— Кинулъ.

— Для чего?

— А что ты мнѣ денегъ не далъ.

— Ну, говорю, я тебѣ, точно, забылъ денегъ дать,—это я дурно сдѣлалъ, но какой же жестокій человѣкъ этотъ хозяинъ, который тебѣ не повѣрилъ и въ такую стыдь съ тебя шапку снялъ.

— Съ меня шапки никто не снималъ.

— А какъ же это было?

— Я ее самъ кинулъ.

И разсказалъ мнѣ, что онъ по примѣткѣ весь день бѣжалъ, юрту нашелъ,—въ юртѣ медвѣдь лежитъ, а хозяинъ дома нѣтъ.

— Ну?

— Думалъ, тебѣ долго ждать, бачка,—ты издохнешь.

— Ну?

— Я медвѣдь рубилъ и лапу взялъ, и назадъ бѣжалъ, а ему шапку клалъ.

— Зачѣмъ?

— Чтобы онъ дурно, бачка, не думалъ.

— Да вѣдь тебя этотъ хозяинъ не знаетъ.

— Этотъ, бачка, не знаетъ, а другой знаетъ.

— Который другой?

— А тотъ Хозяинъ, Который сверху смотритъ.

— Гм! Который сверху смотритъ?..

— Да, бачка, какъ же: вѣдь Онъ, бачка, все видитъ.

— Видитъ, братецъ, видитъ.

— Какъ же, бачка? — Онъ, бачка, не любитъ, кто худо сдѣлалъ.

Разсужденіе весьма близкое къ тому, какое высказалъ св. Сиринъ соблазнявшей его прелестницѣ, которая манила его къ себѣ въ домъ, а онъ приглашалъ ее согрѣшить всенародно на площади; та говоритъ: «тамъ нельзя; тамъ *люди увидятъ*», а онъ говоритъ: «я на людей-то не очень бы посмотрѣлъ, а вотъ какъ бы насъ Богъ не увидалъ? Давай-ка лучше разойдемся».

— Ну, братъ, подумалъ я, однако, и ты отъ царства небеснаго недалеко ходишь; а онъ во время сей краткой моей думы кувыркнулся въ снѣгъ.

— Прощай, говоритъ, бачка, ты лопай, а я спать хочу.

И засопѣлъ своимъ могучимъ обычаемъ.

Это уже было темно; надъ нами опять разостлалось черное небо и по немъ, какъ искры по смолѣ, засверкали безлучныя звѣзды.

Я тогда уже немножко препитался, то-есть проглотилъ нѣсколько кусочковъ сырого мяса, и стоялъ съ медвѣжьимъ окорокомъ на рукахъ надъ спящимъ дикаремъ и вопрошалъ себя:

— Что за загадочное странствіе совершаетъ этотъ чистый, высокій духъ въ этомъ неуклюжемъ тѣлѣ и въ этой ужасной пустынѣ? Зачѣмъ онъ воплощенъ здѣсь, а не въ странахъ, благословенныхъ природою? Для чего умъ его такъ скуденъ, что не можетъ открыть ему Творца въ болѣе пространномъ и ясномъ понятіи? Для чего, о Боже, лишенъ онъ возможности благодарить Тебя за просвѣщеніе его свѣтомъ Твоего Евангелія? Для чего въ рукѣ моей нѣтъ средствъ, чтобы возродить его новымъ торжественнымъ рожденіемъ съ усыновленіемъ Тебѣ Христомъ Твоимъ? Должна же быть на все это воля Твоя; если Ты, въ семъ печальномъ его состояніи, вразумляешь его какимъ-то дивнымъ свѣтомъ свыше, то я вѣрю, что сей свѣтъ ума его есть даръ Твой! Владыко мой, како уразумѣю: что сотворю, да не прогнѣвлю Тебя и не оскорблю сего моего искренняго?

И въ этомъ раздумьѣ не замѣтилъ я, какъ небо вдругъ

вспыхнуло, загорѣлось и облило насъ волшебнымъ свѣтомъ: все приняло опять огромные, фантастическіе размѣры и мой спящій избавитель представлялся мнѣ очарованнымъ могучимъ сказочнымъ богатыремъ. Я пригнулся къ нему и сталъ его разсматривать, словно никогда его до сей поры не видѣлъ, и что̀ я скажу вамъ?—онъ мнѣ показался прекрасенъ. Мнилось мнѣ, что это былъ тотъ, на чьей шеѣ обитаетъ сила; тотъ, чья смертная нога идетъ въ путь, котораго не знаютъ хищныя птицы; тотъ, передъ кѣмъ бѣжитъ ужасъ, сократившій меня до безсилія и уловившій меня, какъ въ петлю, въ мой собственный замыслъ. Скудно слово его, но зато онъ не можетъ утѣшать скорбное сердце движеніемъ губъ, а слово его, это—искра въ движеніи его сердца. Какъ краснорѣчива его добродѣтель и кто рѣшится огорчить его?... Во всякомъ разѣ не я. Нѣтъ, живъ Господь, огорчившій ради его душу мою, это буду не я. Пусть плечо мое отпадетъ отъ спины моей и рука моя отломится отъ моего локтя, если я подниму ее на сего бѣдняка и на бѣдный родъ его! Прости меня, блаженный Августинъ, а я и тогда разномыслилъ съ тобою, и сейчасъ съ тобою не согласенъ, что будто «самыя добродѣтели языческія суть только скрытые пороки». Нѣтъ; сей, спасшій жизнь мою, сдѣлалъ это не по чему иному, какъ по добродѣтели, самоотверженному состраданію и благородству; онъ, не зная апостольскаго завѣта Петра, «мужался ради меня (своего недруга) и предавалъ душу свою въ благотвореніе». Онъ покинулъ свой треухъ и бѣжалъ сутки въ ледяной шапкѣ, конечно, движимый не однимъ *естественнымъ* чувствомъ состраданія ко мнѣ, а имѣя также religio, — дорожа *соединеніемъ* съ тѣмъ Хозяиномъ, «Который сверху смотритъ». Что̀ же я съ нимъ сотворю теперь? возьму ли я у него эту религію и разобью ее, когда другой, лучшей и сладостнѣйшей, я лишенъ возможности дать ему, доколѣ «слова путаютъ смыслъ смертнаго», а дѣлъ, для плѣненія его, показать невозможно? Неужто я стану страхомъ его нудить, или выгодою защиты обольщать? Никогда, да не будетъ онъ, какъ Емморъ и Сихемъ, обрѣзавшіеся ради дочерей и скотовъ Іаковлевыхъ! Скотовъ и дочерей вѣрою пріобрѣтающіе — не вѣру, а дочерей и скотовъ только пріобрящутъ и семидалъ отъ рукъ ихъ будетъ Тебѣ яко мзда и кровь свиная. А гдѣ же мои средства его воспитать, его

просвѣтить, когда нѣтъ ихъ, этихъ средствъ, и все какъ бы нарочито такъ устроено, чтобы имъ не быть въ моихъ рукахъ? Нѣтъ; вѣрно, правъ мой Киріакъ: здѣсь печать, которой несвободною рукой не распечатаешь,—и благъ мнѣ по мысли пришелъ совѣтъ Аввакума пророка: «аще умедлитъ, потерпи ему, яко идый пріидетъ и не умедлитъ». Ей, гряди, Христосъ, ей, гряди Самъ въ сіе сердце чистое, въ сію душу смирную; а доколѣ медлишь, доколѣ не изволишь сего... пусть милы ему будутъ эти снѣжныя глыбы его долинъ, пусть въ свой день онъ скончается, сбросив жизнь, какъ лоза—дозрѣвшую ягоду, какъ дикая маслина—цвѣтокъ свой... Не мнѣ ставить въ колоды ноги его и преслѣдовать его стези, когда Самъ Сый написалъ перстомъ Своимъ законъ любви въ сердцѣ его и отвелъ его въ сторону отъ дѣлъ гнѣва. Авва Отче, сообщай Себя любящему Тебя, а не испытующему, и пребудь благословенъ до вѣка такимъ, какимъ Ты по благости Своей дозволилъ и мнѣ, и ему, и каждому по-своему постигать волю Твою. Нѣтъ больше смятенія въ сердцѣ моемъ: вѣрю, что Ты открылъ ему Себя, сколько ему надо, и онъ знаетъ Тебя, какъ и все Тебя знаетъ:

Largior hic campos aether et lumine vestit
Purpureo, solemque suum, sua sidera norunt!

подсказалъ моей памяти старый Виргилій,—и я поклонился у изголовья моего дикаря лицомъ до низу и, ставъ на колѣни, благословилъ его и, покрывъ его мерзлую голову своею полою, спалъ съ нимъ рядомъ такъ, какъ бы я спалъ, обнявшись съ пустыннымъ ангеломъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Досказывать ли вамъ конецъ? Онъ не мудренѣе начала.

Когда мы проснулись, дикарь подладилъ подъ меня принесенныя имъ лыжи, вырубилъ мнѣ шестъ, всунулъ въ руки и научилъ, какъ его держать; потомъ подпоясалъ меня веревкою, взялъ ее за конецъ и поволокъ за собою.

Спросите: куда? — Прежде всего за медвѣжатину долгъ платить. Тамъ мы надѣялись взять собакъ и ѣхать далѣе; но поѣхали не туда, куда вначалѣ влекла меня моя неопытная затѣя. Въ дымной юртѣ нашего кредитора ждало меня еще одно поученіе, имѣвшее весьма рѣшительное значеніе на всю мою послѣдующую дѣятельность. Въ томъ

было дѣло, что хозяинъ, которому мой дикарь шапку покинулъ, совсѣмъ не на охоту въ то время ходилъ, когда прибѣгалъ мой избавитель, а онъ выручалъ моего Кирiака, котораго обрѣлъ брошеннаго его крещенымъ проводникомъ среди пустыни. Да, господа, тутъ въ юртѣ, близъ тусклаго вонючаго огня, я нашелъ моего честнаго старца, и въ какомъ ужасномъ, сердце сжимающемъ, положенiи! Онъ весь обмерзъ; его чѣмъ-то смазали, и онъ еще живъ былъ, но ужасный запахъ, который обдалъ меня при приближенiи къ нему, сказалъ мнѣ, что духъ, стерегшiй домъ сей, отходитъ. Я поднялъ покрывавшую его оленью шкуру и ужаснулся: гангрена отдѣлила все мясо его ногъ отъ кости, но онъ еще смотрѣлъ и говорилъ. Узнавъ меня, онъ прошепталъ:

— Здравствуй, владыко!

Въ несказанномъ ужасѣ я глядѣлъ на него и не находилъ словъ.

— Я ждалъ тебя, вотъ ты и пришелъ; ну, слава Богу. Видѣлъ степь? Какова показалась?.. Ничего,—живъ будешь, опытъ имѣть будешь.

— Прости, говорю, меня, отецъ Кирiакъ, что я тебя сюда завелъ.

— Полно, владыко. Благословенъ будь приходъ твой сюда; опытъ получилъ и живи, а меня скорѣй исповѣдуй.

— Хорошо, говорю, сейчасъ; гдѣ же у тебя Святые Дары,—они вѣдь съ тобой были?

— Со мной были, отвѣчаетъ, да нѣтъ ихъ.

— Гдѣ же они?

— Ихъ дикарь съѣлъ.

— Что̀ ты говоришь!

— Да!.. съѣлъ! Ну, что̀ говоритъ, — темный человѣкъ.. спутанъ умъ... Не могъ его удержать... говоритъ: «попа встрѣчу,—онъ меня проститъ». Что̀ говоритъ?.. все спуталъ..

— Неужто же, говорю, онъ и муро съѣлъ!

— Все съѣлъ, и губочку съѣлъ, и дароносицу унесъ, и меня бросилъ... вѣритъ, что «попъ проститъ»... Что̀ говоритъ?.. спутанъ умъ... простимъ ему это, владыко, — пусть только насъ Христосъ проститъ. Дай слово мнѣ не искать его, бѣднаго, или... если отыщешь его...

— Простить?

— Да; Христа ради прости и... какъ прiѣдешь домой — гляди, вражкамъ ничего о немъ не сказывай, а то они, лу-

кавые, пожалуй, надъ бѣднякомъ-то свою ревность покажутъ. Пожалуйста, не сказывай.

Я далъ слово и, опустясь возлѣ умирающаго на колѣни, сталъ его исповѣдывать; а въ это самое время въ полную людей юрту вскочила пестрая шаманка, заколотила въ свой бубенъ; ей пошли подражать на деревянномъ камертонѣ и еще на какомъ-то непонятномъ инструментѣ, типа того времени, когда племена и народы, по гласу трубы и всякаго рода муссикіи, повергались ницъ передъ истуканомъ деирскаго поля,—и началось дикое торжество.

Это моленіе шло за насъ и за наше избавленіе, когда имъ, можетъ-быть, лучше было бы молиться за свое отъ насъ избавленіе, и я, архіерей, присутствовалъ при этомъ моленіи, а отецъ Киріакъ отдавалъ при немъ свой духъ Богу, и не то молился, не то судился съ Нимъ, какъ Іеремія пророкъ, или договаривался, какъ истинный свинопасъ евангельскій, не словами, а какими-то воздыханіями неизглаголанными.

— Умилосердись,—шепталъ онъ.—Прими меня теперь, какъ одного изъ наемниковъ Твоихъ! Насталъ часъ... возврати мнѣ мой прежній образъ и наслѣдіе... не дай мнѣ быть злымъ дьяволомъ въ адѣ; потопи грѣхи мои въ крови Іисуса, пошли меня къ Нему!.. хочу быть прахомъ у ногъ Его... Изреки: «да будетъ такъ»...

Перевелъ духъ и опять зоветъ:

— О доброта... о простота... о любовь!.. о радость моя!.. Іисусе!.. вотъ я бѣгу къ Тебѣ, какъ Никодимъ, ночью; вари ко мнѣ, открой дверь... дай мнѣ слышать Бога, ходящаго и глаголющаго!.. Вотъ... риза Твоя уже въ рукахъ моихъ... сокруши стегно мое... но я не отпущу Тебя... доколѣ не благословишь со мной всѣхъ.

Люблю эту *русскую* молитву, какъ она еще въ двѣнадцатомъ вѣкѣ вылилась у нашего Златоуста, Кѵрила въ Туровѣ, которою онъ и намъ завѣщалъ «не токмо за свои молитися, но и за чужія, и не за единыя христіаны, но и за иновѣрныя, да быша ся обратили къ Богу». Милый старикъ мой, Киріакъ, такъ и молился, — *за всѣхъ* дерзалъ: «*всѣхъ*, говоритъ, благослови, а то не отпущу Тебя!» Что съ такимъ чудакомъ подѣлаешь?

Съ сими словами потянулся онъ — точно поволокся за Христовою ризою,—и улетѣлъ... Такъ мнѣ и до сихъ поръ

представляется, что онъ все держится, виситъ и носится за Нимъ, прося: «благослови *всѣхъ, а то — не отстану*». Дерзкій старичокъ этотъ своего, пожалуй, допросится; а Тотъ по добротѣ Своей ему не откажетъ. У насъ вѣдь это все in sancta simplicitate *семейно* со Христомъ дѣлается. Понимаемъ мы Его, или нѣтъ, объ этомъ толкуйте, какъ знаете, но а что мы живемъ съ Нимъ запросто—это-то уже очень, кажется, неоспоримо. А Онъ простоту сильно любитъ...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Я схоронилъ Киріака подъ глыбой земли, на берегу замерзшаго ручья, и тутъ же узналъ отъ дикарей гнусную новость, что мой успѣшный зырянинъ крестилъ... стыдно сказать—*съ упощеніемъ*, по-просту—съ водочкой. Стыдомъ это въ моихъ глазахъ все это дѣло покрыло и не захотѣлъ я этого крестителя видѣть и слышать о немъ, а повернулъ назадъ къ городу, съ рѣшимостью сѣсть въ своемъ монастырѣ за книги, безъ коихъ монаху въ праздномысліи—смертная гибель, а въ промежуткахъ времени смирно стричь ставленниковъ, да дьячихъ съ мужьями мирить: но за святое дѣло, которое всвятѣ совершать нельзя кое-какъ, лучше совсѣмъ не трогаться,—«не давать безумія Богу».

Такъ я и сдѣлалъ,—и вернулся въ монастырь умудренный опытомъ, что многострадальные миссіонеры мои люди добрые и слава Богу, что они такіе, а не иные.

Теперь я ясно видѣлъ, что добрая слабость простительнѣе ревности не по разуму—въ томъ дѣлѣ, гдѣ нѣтъ средства приложить ревность разумную. А что таковая невозможна,—въ этомъ убѣждала меня дожидавшаяся меня въ монастырѣ бумага, въ коей мнѣ сообщалось «къ свѣдѣнію», что въ Сибири, кромѣ 580 буддійскихъ ламъ, состоящихъ въ штатѣ при тридцати четырехъ кумирняхъ, допускаются еще ламы сверхштатные. Что же? вѣдь я не Канюшкевичъ или не Арсеній Маціевичъ,—я епископъ школы новой и съ кляпомъ во рту въ Ревелѣ сидѣть не хочу, какъ Арсеній сидѣлъ, да отъ этого и проку нѣтъ... Я принялъ извѣстіе объ усиленіи ламъ «къ свѣдѣнію», и только вытребовалъ, какъ могъ поскорѣе, къ себѣ назадъ изъ степей зырянина и, навѣсивъ ему за успѣхи набедренникъ, яко мечъ духовный, оставилъ его въ городѣ при соборѣ ризничимъ и наблюдателемъ за перезолоткою иконостаса; а своихъ лѣнивенькихъ

миссіонеровъ собралъ, да, въ поясъ имъ поклонясь, сказалъ:

— Простите меня, отцы и братія, что вашу доброту не понималъ.

— Богъ, говорятъ, проститъ.

— Ну, молъ, спасибо, что вы милостивы, и будьте отнынѣ вездѣ и всегда паче всего милостивы и Богъ милосердія будетъ на дѣлахъ вашихъ.

И съ тѣхъ поръ во все мое остальное, довольно продолжительное, пребываніе въ Сибири я никогда не смущался, если тихій трудъ моихъ проповѣдниковъ не давалъ столь любимыхъ великосвѣтскими религіозными нетерпѣливцами эффектныхъ результатовъ. Когда не было такихъ эффектовъ, я былъ покоенъ, что «водоносы по очереди наполняются»; но когда случайно у того или у другого изъ миссіонеровъ являлась вдругъ большая цифра... я, признаюсь вамъ, чувствовалъ себя тревожно... Мнѣ припоминался то мой зырянинъ, то оный гвардейскій креститель Ушаковъ, либо совѣтникъ Ярцевъ, которые были еще благопоспѣшнѣе, понеже у нихъ, якоже и во дни Владиміра, «благочестіе со страхомъ бѣ сопряжено», и инородцы у нихъ, еще до пріѣзда миссіонеровъ, уже просили крещенія... Да только что же изъ всей ихъ этой борзости и «благочестія, со страхомъ сопряженнаго», вышло?—Мерзость запустѣнія стала по святымъ мѣстамъ, гдѣ были купели сихъ борзыхъ крестильниковъ и... въ этомъ путалось все — и умъ, и сердце, и понятія людей, и я, худой архіерей, не могъ съ этимъ ничего сдѣлать, да и хорошій ничего не сдѣлаетъ, пока... пока, такъ-сказать, мы всерьезъ станемъ заниматься вѣрою, а не кичиться ею фарисейски, для блезира. Вотъ, господа, въ какомъ положеніи бываемъ мы, русскіе крестители, и не отъ того, чай, что не понимаемъ Христа, а именно отъ того, что мы Его понимаемъ и не хотимъ, чтобы имя Его хулилось во языцѣхъ. И такъ я и жилъ уже, не лютуя съ прежнею прытью, а терпѣливо и даже, можетъ-быть, лѣностно влача кресты, отъ Христа и не отъ Христа на меня ниспадавшіе, изъ коихъ замѣчательнѣйшимъ былъ тотъ, что я, ревностно принявшись за изученіе буддизма, самъ раченіемъ моего зырянина прослылъ за потаеннаго буддиста... Такъ это при мнѣ и осталось, хотя я, впрочемъ, ревность своего зырянина не стѣснялъ и предоставлялъ ему орудовать испытанными, по своей вѣрности, пріемами князя

Андрея Боголюбскаго, о коихъ выкликалъ надъ его гробомъ Кузьма домочадецъ: «придетъ, дескать, бывало, язычникъ, ты велишь его весть въ ризницу, — *пусть смотритъ на наше истинное христіанство*». И я зырянину предоставилъ, кого онъ хочетъ, водить въ ризницу и все собранное тамъ отъ нашего съ нимъ «истиннаго христіанства» со тщаніемъ показывать... И было все это хорошо и довольно дѣйственно; наше «истинное христіанство» одобряли, но только, разумѣется, можетъ-быть, моему зырянину казалось скучно по два да по три человѣка крестить, да и впрямь оно скучно. Вотъ и до настоящаго русскаго слова договорился: «скучно»! Скучно, господа, тогда было бороться съ самодовольнымъ невѣжествомъ, терпѣвшимъ вѣру только какъ политическое средство; зато теперь, можетъ-быть, еще скучнѣе бороться съ равнодушіемъ тѣхъ, которые замѣсто того, чтобы другимъ свѣтить, по удачному выраженію того же Маціевича, «*сами насилу вѣруютъ...*» А вы, вѣдь, современные умные люди, все думаете: «эхъ, плохи ваши епархіальные архіереи! Что̀ они дѣлаютъ? Ничего они, наши архіереи, не дѣлаютъ». Не хочу за всѣхъ заступаться: многіе изъ насъ, дѣйствительно, очень немощны стали: подъ крестами спотыкаются, падаютъ и уже не то, что кто-нибудь — заправскій воротила, а даже иной рора mitratus для нихъ въ своемъ родѣ владыкой становится, и все это, разумѣется, изъ того, «что ми хощете дати», но, а спросилъ бы я васъ: что̀ ихъ до этого довело? Не то ли именно, что они, ваши епархіальные архіереи, обращены въ администраторовъ и *ничего* живого не могутъ теперь дѣлать? И знаете: вы, можетъ-быть, большою благодарностію имъ обязаны, что они въ эту пору ничего не дѣлаютъ. А то они скрутили бы вамъ клейменымъ ремнемъ такія бремена неудобоносимыя, что, Богъ вѣсть, разсѣлся ли бы хребетъ вдребезги, или разлетѣлся бы ремень пополамъ; но мы вѣдь *консерваторы:* бережемъ, какъ можемъ, «свободу, ею же Христосъ насъ свободи», отъ таковыхъ «содѣйствій»... Вотъ, господа, почему мы слабо дѣйствуемъ и содѣйствуемъ. Не колите же намъ глазъ бывшими іерархами, какъ св. Гурій и другіе. Св. Гурій умѣлъ просвѣщать — это правда; да вѣдь онъ для того и ѣхалъ-то въ дикій край хорошо оснаряженъ: съ наказомъ и съ правомъ «привлекать народъ ласкою, кормами, *заступленіемъ* передъ

властями, *печалованіемъ* за вины передъ воеводами и судьями»; «*онъ обязанъ былъ*» участвовать съ правителями въ совѣтѣ; а вашъ сегодняшній архіерей даже съ своимъ сосѣдомъ архіереемъ не воленъ о дѣлахъ посовѣщаться; ему словно ни о чемъ не надо думать: за него есть кому думать, а онъ обязанъ только все принять «*къ свѣдѣнію*». Чего же вы отъ него хотите, если ему нынѣ самому за себя уже негдѣ стало печаловаться?.. Эхъ, твори, Господи, волю Свою... Что̀ можетъ еще дѣлаться, то какъ-то пока само дѣлается, и я это видѣлъ подъ конецъ моего пастырства въ Сибири. Пріѣзжаетъ разъ ко мнѣ одинъ миссіонеръ и говоритъ, что онъ напалъ на кочевье въ томъ мѣстѣ, гдѣ я зарылъ моего Киріака, и тамъ у ручья цѣлую толпу окрестилъ въ «Киріакова Бога», какъ крестился нѣкогда человѣкъ во имя «Бога Іустинова». Добрый народъ у костей добраго старца возлюбилъ и понялъ Бога, сотворившаго сего добряка, и самъ захотѣлъ служить Богу, создавшему такое душевное «изящество».

Я за это велѣлъ Киріаку такой здоровый дубовый крестъ поставить, что отъ него не отрекся бы и галицкій князь Владимірко, вмѣнявшій ни во что цѣлованіе креста малаго; воздвигли мы Киріаку крестъ вдвое больше всего зырянина, — и это было самое послѣднее мое распоряженіе по сибирской паствѣ.

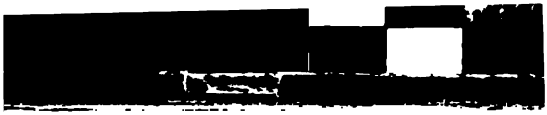
Не знаю, кто этотъ крестъ срубитъ, или уже до сихъ поръ и срубилъ его: буддійскіе ли ламы, или русскіе чиновники,—да, впрочемъ, это все равно...

Вотъ вамъ разсказъ мой и конченъ. Судите всѣхъ насъ, въ чемъ видите, — оправдываться не стану, а одно скажу, что мой простой Киріакъ понималъ Христа навѣрно не хуже тѣхъ нашихъ заѣзжихъ проповѣдниковъ, которые бряцаютъ, какъ кимвалъ звенящій, въ вашихъ гостиныхъ и вашихъ зимнихъ садахъ. Тамъ имъ и присутствовать, среди женъ Лотовыхъ, изъ коихъ каждая, какихъ бы словесъ ни наслушалась, въ Сигоръ не уйдетъ, а, пофинтивъ передъ Богомъ, доколѣ у насъ очень скучненько живется, при малѣйшемъ измѣненіи въ жизни, опять къ своему Содому обернется и столбомъ станетъ. Вотъ въ чемъ и будетъ заключаться весь успѣхъ этой салонной христовщины. Что̀ намъ до этихъ чудодѣевъ? Они хотятъ не по низу идти, а по верху летать, но, имѣя, какъ прузи, крыльца малыя, а

чревища великія, далеко не залетятъ и не пролютъ ни свѣта вѣры, ни услады утѣшенія въ туманы нашей родины, гдѣ въ дебрь изъ дебри ходитъ *нашъ* Христосъ — благій и добрый и, главное, до того терпѣливый, что даже всякаго самаго плохенькаго изъ слугъ своихъ Онъ научилъ съ покорностью смотрѣть, какъ разоряютъ Его дѣло тѣ, которые должны бы сугубо этого бояться. Мы ко всему притерпѣлися, потому что намъ уже это не первый снѣгъ на головы. Было и то, что нашъ *«Камень вѣры»* прятали, а *«Молотъ»* на него нѣмецкаго издѣлія всѣмъ въ руки совали, и стричь-то, и брить-то насъ хотѣли, и въ аббатиковъ передѣлать желали. Одинъ благодѣтель, Голицынъ, намъ свое юродское богословіе указывалъ проповѣдывать; другой, Протасовъ, намъ своимъ пальцемъ подъ самымъ носомъ грозилъ; а третій, Чебышевъ, уже всѣхъ превзошелъ, и на гостиномъ дворѣ, какъ и въ синодѣ, открыто «гнилыя слова» изрыгалъ, увѣряя всѣхъ, что «Бога нѣтъ и говорить о Немъ глупо»... А кого еще впередъ срѣтать будемъ и что̀ намъ тотъ или другой новый пѣтухъ запоетъ, про то и гадать нельзя. Одно утѣшеніе, что всѣ они, эти радѣтели Церкви русской, ничего ей не сдѣлаютъ, потому что не равна ихъ борьба: Церковь неразорима, какъ зданіе апостольское, а въ сихъ пѣвняхъ духъ пройдетъ и не познаютъ они мѣста своего. Но вотъ что̀, господа, мнѣ кажется крайне безтактно, — это то, что иные изъ этихъ, какъ ихъ нынѣ стали звать, лица высокопоставленныя, или широкоразставленныя, нашей скромности не замѣчаютъ и ея не цѣнятъ. Это, поистинѣ скажу, неблагодарно: имъ бы не резонъ нарекать на насъ, что мы терпѣливы да смирны... Будь мы понетерпѣливѣе, такъ Богъ вѣсть, не стали бы сожалѣть объ этомъ очень многіе, и больше всѣхъ тѣ, иже въ трудѣхъ не суть и съ человѣки ранъ не пріемлютъ, а, обложивъ тукомъ свои лядвіи, праздно умствуютъ, во что̀ бы имъ начать вѣрить, чтобы было только о чемъ-нибудь умствовать. Поцѣните же вы, господа, хоть святую скромность православія и поймите, что вѣрно оно духъ Христовъ содержитъ, если терпитъ *все*, что̀ Богу терпѣть угодно. Право, одно его смиреніе похвалы стоитъ; а живучести его надо подивиться и за нее Бога прославить.

Мы всѣ безъ уговора невольно отвѣчали:

— Аминь.



Оглавленіе

VII ТОМА.

Обойденные. (Романъ).

стр.

асть третья 3

і краю свѣта 101

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ВОСЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Типографія А. Ф. Мариса, Измайл. пр., № 29.

НЕКУДА.

РОМАНЪ ВЪ ТРЕХЪ КНИЖКАХЪ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

КНИГА ПЕРВАЯ.
ВЪ ПРОВИНЦІИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Тополь да березка.

Въ трактовомъ селѣ Отрадѣ, на постояломъ дворѣ, ослоненномъ со всѣхъ сторонъ покрытыми соломою сараями, было еще совсѣмъ темно.

Въ этой темнотѣ никакъ нельзя было отличить стоящаго здѣсь господскаго тарантаса отъ окружающихъ его телѣгъ тяжелаго троечнаго обоза. А около тарантаса ужъ ворочается какое-то существо, при этомъ что-то бурчитъ себѣ подъ носъ и о чемъ-то вздыхаетъ. Существо это кряхтитъ потому, что оно уже старо и что оно не въ силахъ нынче приподнять на дугу укладистый казанскій тарантасъ съ тою же молодецкою удалью, съ которою оно поднимало его двадцать лѣтъ назадъ, увозя съ своимъ бариномъ сосѣднюю барышню. Повертѣвшись у тарантаса, существо подошло къ окошечку постоялой горницы и слегка постучалось въ раму. На стукъ едва слышно отозвался старческій голосъ, а вслѣдъ за тѣмъ нижняя половина маленькаго окошечка приподнялась и въ ней показалась маленькая, сѣдая голова съ сбившеюся на сторону повязкой.

— Что, Никитушка?—спросила старушка.

— Пора, Марина Абрамовна.

— Пора?

— Да холодкомъ-то полегче отъѣдемъ.

— Ну, пора такъ пора.

— Буди барышень-то. Я ужъ подмазалъ, закладать стану.

Никитушка опять пошелъ къ тарантасу, разобралъ лежавшій на козлахъ пукъ вожжей и исчезъ подъ темнымъ сараемъ, гдѣ пофыркивали отдохнувшія лошади.

Черезъ полчаса тарантасъ, запряженный тройкою рослыхъ барскихъ лошадей, стоялъ у утлаго крылечка. Въ горницѣ было попрежнему темно и на крыльцѣ никто не показывался. Никитушка нерѣдко позѣвывалъ, покрещивалъ ротъ и съ привычною кучерскою терпѣливостью смотрѣлъ на троечниковъ, засуетившихся около своихъ возовъ. Наконецъ, на высокомъ порогѣ двери показалась стройная дѣвушка, покрытая большимъ шейнымъ платкомъ, который плотно охватывалъ ея молодую головку, перекрещивался на свѣжей груди и крѣпкимъ узломъ былъ завязанъ сзади. Въ рукахъ у дѣвушки былъ дорожный мѣшокъ и двѣ подушки въ ситцевыхъ наволочкахъ.

— Здравствуй, Никита,—привѣтливо сказала дѣвушка, пронося въ дверь свою ношу.

— Здравствуйте, барышня, — отвѣчалъ сѣдой Никитушка.—Что́ это вы сами-то таскаете?

— Да такъ, это вѣдь легкое.

— Дайте, матушка, я уложу.

И Никитушка, соскочивъ съ козелъ, принялъ изъ рукъ барышни дорожный мѣшокъ и подушки.

— Какое утро хорошее!—проговорила дѣвушка, глядя на покрывшееся блѣднымъ утреннимъ свѣтомъ небо и загораживая ручкою зѣвающій ротикъ.

— День, матушка Евгенія Петровна, жаркій будетъ! Оводье проклятое доймет совсѣмъ.

— То-то ты насъ и поднялъ такъ рано.

— Да какъ же, матушка! Разъ, что жаръ, а другое дѣло послѣдняя станція до губерни-то. Близко, близко, а вѣдь сорокъ верстъ еще. Спознишься выѣхать, будетъ ни два, ни полтора. Завтра, вонъ, люди говорятъ, Петровъ день; добрые люди къ вечернямъ пойдутъ; Агніи Николаевнѣ и сустрѣть васъ некогда будетъ.

А пока у Никитушки шелъ этотъ разговоръ съ Евгеніей Петровной, старуха Абрамовна, разсчитавшись съ заспаннымъ дворникомъ за самоваръ, горницу, овесъ, да сѣно и заткнувъ за пазуху своего капота замшевый мѣшочекъ съ деньгами, будила другую дѣвушку, которая не оказывала

никакого вниманія къ словамъ старухи и продолжала спать сладкимъ сномъ молодости. Управившись съ собою, Марина Абрамовна завязала узелки и корзиночки, а потомъ одну за другою вытащила изъ-подъ головы спящей обѣ подушки и понесла ихъ къ тарантасу.

— Гдѣ-жъ Лиза, няня?—спросила ее Евгенія Петровна, остававшаяся все это время на крылечкѣ.

— Гдѣ-жъ, милая? Спитъ на голой лавкѣ.

— Не встала еще?—спросила съ удивленіемъ дѣвушка.

— Да вѣдь какъ всегда: не разбудишь ее.—Побуди поди, красавица моя,—добавила старуха, размѣщая по тарантасу подушки и узелки съ узелочками.

Красавица ушла съ крылечка въ горницу, а вслѣдъ за нею черезъ нѣсколько минутъ туда же ушла и Марина Абрамовна. Тарантасъ былъ совсѣмъ готовъ: только сѣсть да ѣхать. Солнышко выглянуло своимъ краснымъ глазомъ; извозчики длинною вереницею потянулись со двора. Никитушка зѣвнулъ и какъ-то невольно крякнулъ.

— Ну, что это, сударыня, глупить-то! Падаетъ какъ пьяная,—говорила старуха, поддерживая обворожительно хорошенькое семнадцатилѣтнее дитя, которое никакъ не могло разнять слипающихся глазокъ и шло, опираясь на старуху и на подругу.

— Носи ее, какъ ребеночка малаго,—говорила старуха, закрывая упавшую въ тарантасъ дѣвушку, сѣла сама впереди противъ барышень подъ фордекомъ и крикнула:—«съ Богомъ, Никитушка».

Тарантасъ, выѣхавъ со двора, покатился по ровной дорогѣ, обросшей старыми высокими ракитами.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Кто ѣдетъ въ тарантасѣ.

Мелодическое погромыхиванье въ тонъ подобранныхъ бубенчиковъ и тихая качка тарантаса, потряхивающагося на гибкихъ, пружинистыхъ дрогахъ, въ союзѣ съ ласкающимъ вѣтеркомъ ранняго утра, навели сонъ и дрему на всѣхъ ѣдущихъ въ тарантасѣ. То густыя потемки, то сѣрый полумракъ ранняго утра не позволяли намъ разсмотрѣть этого общества, и мы сдѣлаемъ это теперь, когда единственный неспящій членъ его, кучеръ Никитушка, глядя

на лошадей, не можетъ замѣтить нашего присутствія въ тарантасѣ.

Направо, уткнувшись растрепанною, курчавою головкою въ мягкую пуховую подушку, спитъ Лизавета Егоровна Бахарева. Ей семнадцать лѣтъ, она очень стройна, но не высока ростомъ. У ней прелестные, густые каштановые волосы, вьющіеся у лба, какъ часто бываетъ у молодыхъ француженокъ. Овалъ ея лица нѣсколько круглъ, щечки дышатъ здоровымъ румянцемъ, сильно пробивающимся сквозь нѣсколько смуглый цвѣтъ ея кожи. На вискахъ видны тоненькія голубыя жилки, бьющіяся молодою кровью. Глазъ ея теперь нельзя видѣть, потому что они закрыты длинными рѣсницами, но въ институтѣ, изъ котораго она возвращается къ домашнимъ ларамъ, всегда говорили, что ни у кого нѣтъ такихъ прелестныхъ глазъ, какъ у Лизы Бахаревой. Все ея личико, съ нѣсколько вздернутымъ, такъ сказать, курносымъ, задорнымъ носикомъ, дышитъ умомъ, подвижностью и энергіей, которой читатель могъ не заподозрить въ ней, глядя, какъ она поднималась съ лавки постоялаго двора.

Другую нашу героиню мы уже видѣли на крылечкѣ. Читатель, конечно, догадался, что эти двѣ дѣвушки—героини моего романа. Глядя на сладко спящую подругу и раскачивающуюся въ старческой дремѣ Абрамовну, Евгенія Петровна тоже завела глазки и тихо уснула подъ усыпляющіе звуки бубенцовъ. Онѣ ровесницы съ Лизой Бахаревой, вмѣстѣ онѣ поступили въ одинъ институтъ, вмѣстѣ окончили курсъ и вмѣстѣ спѣшатъ на безсмѣнныхъ лошадяхъ, каждая подъ свои родныя липы. На взглядъ Евгенія Петровна кажется нѣсколько постарше Бахаревой, но это только такъ кажется. На самомъ дѣлѣ ей тоже восемнадцатый годъ, что и Лизѣ. Марина Абрамовна недаромъ назвала Евгенію Петровну красавицей. Она, дѣйствительно, хороша, и если бы художнику нужно было изобразить на полотнѣ извѣстную дочь, кормящую грудью осужденнаго на смерть отца, то онъ не нашелъ бы лучшей натурщицы, какъ Евгенія Петровна Гловацкая. Станъ высокій, стройный и роскошный, античная грудь, античныя плечи, прелестная ручка, волосы черные, черные какъ вороново крыло, и кроткіе, умные, голубые глаза, которые такъ и смотрѣли въ душу, такъ и западали въ сердце, говоря, что мы на

е смотримъ и все видимъ, мы не боимся страстей, но ъ дерзкаго взора они въ насъ не вспыхнутъ пожаромъ. обще въ ея лицѣ много спокойной рѣшимости и силы, , вмѣстѣ съ тѣмъ, въ ней много и той женственности, торая прежде всего ищетъ раздѣла, ласки и сочувствія. перь она спитъ, обнявъ Лизу, и голова ея, скатившись подушки, лежитъ на плечикѣ подруги, которая и передъ ю кажется сущимъ ребенкомъ.

Нянѣ, Маринѣ Абрамовнѣ, пятьдесятъ лѣтъ. Она москов- ая солдатка, давно близкая слуга семьи Бахаревыхъ, съ торою не разлучается уже болѣе двадцати лѣтъ. О ней ворятъ, что она съ душкомъ, но женщина умная и стная.

Кучеръ Никитушка, лѣтъ пять тому назадъ, прожилъ лстолѣтія. Когда ему было тридцать лѣтъ, онъ участво- лъ съ Егоромъ Бахаревымъ въ похищеніи у одного со- дняго помѣщика дочери Ольги Сергѣевны, съ которою томъ его баринъ сочетался бракомъ въ своей полковой ркви, и навсегда забылъ услугу, оказанную ему при омъ случаѣ Никитушкою. Никитушка ходилъ съ бариномъ барынею по походамъ, выучился готовить гусарское пе- нье, чистить сапоги и няньчить барышню Лизавету Его- вну, которую онъ теперь везетъ домой послѣ долголѣтняго сутствія. Своего у Никитушки ничего не было: ни жены, дѣтей, ни кола, ни двора, и онъ самъ о себѣ говорилъ, о онъ человѣкъ походный. Цѣлый вѣкъ онъ изжилъ скаючись и только лѣтъ съ восемь пріютился осѣдло, имостивъ себѣ кроватку въ одномъ порожнемъ стойлѣ сподской конюшни. Тутъ онъ спалъ лѣто и зиму съ старой бакой, Розкой, которую щенкомъ укралъ шутки ради у ного венгерскаго пана въ 1849 году. На барина своего, ставного полковника Егора Николаевича Бахарева, онъ отрѣлъ глазами солдатъ прошлаго времени, неизвѣстно что считалъ его своимъ благодѣтелемъ и отцомъ-коман- ромъ, разумѣя, что повиноваться ему не только за рахъ, но и за совѣсть самъ Богъ повелѣваетъ.

Кругло говоря, и Никитушка, и Марина Абрамовна были живающіе типы той старой русской прислуги, которая бски-снисходительно относилась къ своимъ господамъ и рдилась своею имъ преданностью. И тотъ, и другая сочли высочайшимъ преступленіемъ, достойнымъ, если не

смертной казни, то, по крайней мѣрѣ, церковной анаѳемы, если бы они упустили какой-нибудь интересъ дома Бахаревыхъ, или дома смотрителя уѣзднаго училища, Гловацкаго. Дружба старика Бахарева со старикомъ Гловацкимъ, у котораго Бахаревъ нанималъ постоянную квартиру, необходимую ему по званію безсмѣннаго уѣзднаго предводителя дворянства, внушала имъ священное почтеніе и къ старику Гловацкому, и къ его Женичкѣ, подругѣ и пріятельницѣ Лизы.

Теперь тарантасъ нашъ путешествуетъ отъ Москвы уже шестой день и ему остается проѣхать еще верстъ около ста до уѣзднаго города, въ которомъ растутъ родныя липы нашихъ барышень. Но на дорогѣ у нихъ уже близехонько есть перепутье.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Пріютъ безмятежный.

Спокойное движеніе тарантаса по мягкой грунтовой дорогѣ, со въѣзда въ московскія ворота губернскаго города, вдругъ замѣнилось несноснымъ подкидываніемъ экипажа по широко разошедшимся, неровнымъ плитамъ безобразнѣйшей мостовой и разбудило разомъ всѣхъ трехъ женщинъ. На дворѣ былъ одиннадцатый часъ утра.

— Городъ?—спросила, проворно вскочивъ, Лиза Бахарева.

— Городъ, матушка, городъ,—отвѣчала старуха.

— Городъ! Женни, городъ, пріѣхали, — щебетала Лизавета Егоровна, толкая уже проснувшуюся Гловацкую.

— Тоже мостовою зовется,—замѣтила Лиза.

— И, матушка, все лучше болота, что̀ у насъ-то въ городѣ,—проговорила няня.

— Да у насъ, няня, развѣ городъ?

— А что жъ у насъ такое, красавица?

— Чортъ знаетъ что!

— Ну, ты ужъ хоть у тетеньки-то этого своего чернаго-то не поминай! Пріучили тебя экую гадость вспоминать!

Дѣвушки засмѣялись, и Гловацкая, вставши, стала приводить себя въ порядокъ.

Между тѣмъ, тарантасъ, прыгая по каменнымъ волнамъ губернской мостовой, проѣхалъ московскую улицу, курскую, кромскую площадь, затѣмъ стрѣлецкую слободу, снова покатился по мягкому выгону и черезъ полверсты отъ курской заставы остановился у стѣнъ дѣвичьяго монастыря.

Монастырь стоялъ за городомъ на совершенно ровномъ, какъ скатерть, зеленомъ выгонѣ. Онъ былъ обнесенъ со всѣхъ сторонъ красною кирпичною стѣною, на которой по угламъ были выстроены четыре такія же красныя кирпичныя башенки. Кругомъ никакого жилища. Только въ одной сторонѣ двѣ вѣтряныя мельницы лѣниво махали своими безобразными крыльями. Ничего живописнаго не было въ положеніи этого подгороднаго монастыря: какъ-то потерянно смотрѣлъ онъ своими красными башенками, на которыя не было сдѣлано даже и всходовъ. Ничего-таки, ровно ничего тамъ не было располагающаго ни къ мечтѣ, ни къ самоуглубленію. Это не то, что пустынная обитель, гдѣ есть рядъ келій, темный проходъ, часовня у святыхъ воротъ, съ чудотворною иконою, и возлѣ ключъ воды студеной, — это было скучное, сухое мѣсто.

Въ двухъ стѣнахъ монастыря были сдѣланы ворота, изъ которыхъ одни были постоянно заперты, а у другихъ стояла часовенка. Въ этой часовенкѣ всегда сидѣла монашка, вязавшая чулокъ и звонившая колокольчикомъ, придѣланнымъ къ кошельку на длинной ручкѣ, когда мимо часовенки брелъ какой-нибудь прохожій. Возлѣ часовни, въ самыхъ темныхъ воротахъ постоянно сидѣлъ на скамеечкѣ семидесятилѣтній солдатъ, у котораго еще, впрочемъ, осталось во рту три зуба. Онъ тоже обыкновенно вязалъ шерстяной чулокъ, взапуски съ монашкой, сидѣвшей въ часовнѣ. Каждый вечеръ они мѣрялись, кто больше навязалъ, и монашка говорила: «я, Арефьичъ, сегодня больше твоего свезла», или Арефьичъ объявлялъ: «сегодня я, мать, больше тебя свезъ».

Завидя подъѣзжавшій тарантасъ, Арефьичъ вскинулъ своими старческими глазами и опять въ его рукахъ запрыгали чулочные прутья; но когда лошадиныя головы дерзостно просунулись въ самыя ворота, старикъ громко спросилъ:

— Кого надо?

— Своихъ, своихъ, — отвѣчалъ, не обращая большого вниманія на этотъ окликъ, Никитушка.

— Кого своихъ? — переспросилъ Арефьичъ и, отбросивъ на скамейку чулокъ, схватилъ за поводъ лѣвую пристяжную.

Монашка изъ часовни выскочила и, позванивая колокольчикомъ, съ недоумѣніемъ смотрѣла на происходившую сцену. Изъ экипажа послышался веселый хохотъ.

— Что ты! лѣшій! аль тебѣ высадило?—кричалъ съ козелъ Никитушка на остановившагося въ рѣшительной позѣ привратника.

— Да, такъ, на то я сторожъ... на то здѣсь поставленъ...— шамшилъ беззубый Арефьичъ, и глаза его разгорались тѣмъ особеннымъ огнемъ, который замѣчается у солдатъ, входящихъ въ дикое озлобленіе при видѣ гордаго, но безсильнаго врага.

— Чего, чортъ слѣпой, не пустишь-то?

— Не пущу,—задыхаясь, но рѣшительно отвѣтилъ опять Арефьичъ.—Позови кого тебѣ надо къ воротамъ, а не ѣзди.

— А, крупа поганая, что ты, не видишь?..

— Да чьи такія вы будете? Изъ какихъ мѣстовъ-то? — пропищала часовенная монашка, просовывая въ тарантасъ кошелекъ съ звонкомъ и свою голову.

— Да Бахаревскія, Бахаревскія, что-й-то вы словно не видите, я барышень къ тётенькѣ изъ Москвы везу, а вы не пускаете. — Стой, Никитушка, тутъ, я сейчасъ сама къ Агніи Николаевнѣ доступлю.—Старуха стала спускать ноги изъ тарантаса и, почуявъ землю, заколтыхала къ кельямъ. Никитушка остановился, монастырскій сторожъ не выпускалъ изъ руки поводьевъ пристяжного коня, а монашка опять всунулась въ тарантасъ.

— Изъ Москвы ѣдете-то?—спросила она барышень.

— Женни, тебя спрашиваютъ,—сказала Лиза и, продолжая лѣниться, смотрѣла на тиковый потолокъ фордека.

Гловацкая посмотрѣла на Лизу и вѣжливо отвѣтила монахинѣ:

— Изъ Москвы.

— Въ ученьѣ были?

— Да, въ институтѣ.

Монахиня помолчала, а черезъ нѣсколько минутъ опять спросила:

— А теперь къ кому же ѣдете?

— Домой, къ родителямъ,—отвѣчала Женни.

— Сродственниковъ имѣете?

— Да.

— Зачѣмъ это у васъ въ ворота не пускаютъ? — повернувшись къ говорившимъ, спросила Лиза.

— Какъ, матушка?

— Не пускаютъ зачѣмъ? кого боятся? кого караулятъ?

— Н... ну, такое распоряженіе отъ мать-игуменьи.

По монастырскому двору рысью бѣжала высокая, весноватая дѣвушка, въ черномъ коленкоровомъ платьѣ, съ сбившимся съ головы чернымъ шерстянымъ платкомъ.

— Пусти! пусти! Что̀ еще за глупости такія, выдумалъ не пущать!—кричала она Арефьичу.

— Я на то здѣсь поставленъ... а велятъ, я и пущу, — отвѣтилъ солдатъ и отошелъ въ сторону.

Рыжая, весноватая дѣвушка мигомъ вспрыгнула въ тарантасъ и быстро поцѣловала руки обѣихъ барышень, прежде чѣмъ тѣ успѣли ихъ спрятать. Тарантасъ поѣхалъ.

— А тётенька-то какъ обрадовались: на крыльцо ужъ вышли встрѣчать, ожидаютъ васъ. — У насъ завтра престолъ, владыко будутъ сами служить; закуска будетъ и мірскіе изъ города будутъ, — трещала дѣвушка скороговоркою.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Мать Агнія.

На высокомъ, чистенькомъ крыльцѣ небольшого, но очень чистаго деревяннаго домика, окруженнаго со всѣхъ сторонъ акаціею, сиренью, пестрыми клумбами однолѣтнихъ цвѣтовъ и не менѣе пестрою деревянною рѣшеткою, стояли четыре женщины и двѣ молоденькія дѣвочки. Три изъ этихъ женщинъ были монахини, а четвертая наша знакомая, Марина Абрамовна. Впереди, на самой нижней ступенькѣ чистенькаго крылечка рисовалась высокая строгая фигура въ черной шелковой рясѣ и бархатной шапочкѣ съ креповыми оборками и длиннымъ креповымъ вуалемъ. Это была игуменья и настоятельница монастыря, Агнія Николаевна, родная сестра Егора Николаевича Бахарева и, слѣдовательно, по немъ родная тетка Лизы. Ей было лѣтъ сорокъ пять, но на видъ казалось не болѣе сорока. Въ ея большихъ черныхъ глазахъ виднѣлась смѣлая душа, гордая своею силою и своимъ прошлымъ страданіемъ, оттиснутымъ стальнымъ штемпелемъ времени на пергаментномъ лбу игуменьи. Когда матери Агніи было восемнадцать лѣтъ, она яркою звѣздою взошла на аристократическій небосклонъ такъ-называемаго свѣта. Первый ея выѣздъ въ качествѣ взрослой дѣвицы былъ на великолѣпный балъ, данный дворянствомъ покойному императору Александру Первому, за

полгода до его кончины. Всѣ глаза на этомъ балѣ были устремлены на ослѣпительную красавицу Бахареву; императоръ прошелъ съ нею полонезъ, наговорилъ любезностей ея старушкѣ-матери, не умѣвшей ничего отвѣтить государю отъ робости, и на другой день прислалъ молодой красавицѣ великолѣпный букетъ въ еще болѣе великолѣпномъ портъ-букетѣ. Съ тѣхъ поръ нынѣшняя мать Агнія заняла первое мѣсто въ своемъ свѣтѣ. Три года продолжалось ея свѣтское теченіе, два года за нею ухаживали, искали ея вниманія и ея руки, а на третій она, черезъ пятыя руки, получила изъ Петербурга маленькую записочку отъ стройнаго гвардейскаго офицера, привозившаго ей два года назадъ букетъ отъ покойнаго императора. Въ этой записочкѣ было написано только слѣдующее: «Судьба моя рѣшена самымъ печальнымъ образомъ. Не жди меня и обо мнѣ не справляйся: это только можетъ навлечь на тебя большія непріятности. Слѣдовать за мной ты не можешь, да и это только увеличило бы мои страданія. Возвращаю тебѣ твои клятвы, прошу тебя забыть меня и быть счастливою сколько можешь и какъ можешь. Блаженства, которое я ощущалъ два года, зная, что ты любишь меня болѣе всѣхъ людей на свѣтѣ, достанетъ мнѣ на весь остатокъ моей жизни, и въ холодныхъ норахъ ужасной страны моего изгнанія я не забуду ни твоего чистаго взора, ни твоего прощальнаго поцѣлуя.

Твой до гроба
Князь А. Т.»

Анна Николаевна Бахарева въ этомъ случаѣ поступила такъ, какъ поступали многія героини писанныхъ и неписанныхъ романовъ ея вѣка. Она томилась, рвалась, выплакала всѣ глаза, отстояла колѣни, молясь теплой Заступницѣ міра холоднаго, просила ее спасти его и дать ей силы совладать съ страданіемъ вѣчной разлуки, и черезъ два мѣсяца стала навѣщать старую знакомую своей матери, инокиню Серафиму, черезъ полгода совсѣмъ переселилась къ ней, а еще черезъ полгода, несмотря ни на просьбы и заклинанія семейства, ни на угрозы брата похитить ее изъ монастыря силою, сдѣлалась сестрою Агніею. Съ лѣтами все это обошлось; старики, примирившись съ молодой монахиней, примерли; братъ, надъ которымъ она имѣла сильный умственный перевѣсъ, возвратясь изъ своихъ по-

ходовъ, очень подружился съ нею; и вотъ сестра Агнія уже восьмой годъ смѣнила умершую игуменью Серафиму и блюдетъ суровый уставъ пріюта неумѣвшихъ найти въ жизни ничего, кромѣ горя и страданія. Мать Агнію всѣ уважаютъ за ея умъ и за ея безупречное поведеніе по монастырской программѣ. У нея бываетъ почти весь городъ, и она каждаго встрѣчаетъ безъ всякаго лицезрѣнія, съ тѣмъ же спокойнымъ достоинствомъ, съ тою же сдержанностью, съ которою она теперь смотритъ на медленно подъѣзжающій къ ней экипажъ съ двумя милыми ей дѣвушками.

Съ боку матери Агніи стоитъ въ почтительной позѣ Марина Абрамовна; сзади ихъ, одною ступенькою выше, безотвѣтное существо, мать Манеѳа, другъ и сожительница игуменьи, и мать казначея, обѣ ужъ пожилыя женщины. Наверху же крыльца, прислонясь къ лавочкѣ, стояли двѣ десятилѣтнія дѣвочки въ черныхъ шерстяныхъ рясахъ и въ остроконечныхъ бархатныхъ шапочкахъ. Обѣ дѣвочки держали въ рукахъ чулки съ вязальными спицами.

— Какой глупый человѣкъ!—проговорила разбитымъ голосомъ мать Манеѳа, глядя на приближающійся тарантасъ.

— Кто это у тебя глупый человѣкъ?—спросила, не оборачиваясь, игуменья.

— Да Арефьичъ.

— Чѣмъ онъ такъ глупъ сталъ?

— Да какъ же не пускать.

— Ничуть это не выражаетъ его глупости. Старикъ свое дѣло дѣлаетъ. Ему такъ приказано, онъ такъ и поступаетъ. Исправный слуга, и только.

Старухи замолчали, няня вздохнула, тарантасъ остановился у крыльца передъ кельею матери Агніи.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Старое съ новымъ.

— Тетя! это вы, моя милая?—крикнула, выпрыгивая изъ тарантаса, Лиза Бахарева.

— Я, мой дружочекъ, я,—отвѣчала игуменья, протянувъ къ племянницѣ руки.

Обѣ обнялись и заплакали.

— Ну, полно, полно плакать, — говорила мать Агнія. — Хоть это и хорошія слезы, радостныя, а все же полно. Дай

мнѣ обнять Гешу. Поди ко мнѣ, дитя мое милое!—отнеслась она къ Гловацкой.

Съ этими словами старуха обняла Женни, стоявшую возлѣ Лизы, нѣсколько разъ поцѣловала ее, и у нея опять набѣжали слезы.

— Славная какая!—произнесла она, отодвинувъ отъ себя Гловацкую, и, держа ее за плечи, любовалась дѣвушкою съ упоеніемъ артиста. Точно мать покойница: хороша; когда-бъ и сердце тебѣ Богъ далъ материно,—добавила она, насмотрѣвшись на Женни, и протянула руку стоявшему передъ ней безъ шапки Никитушкѣ.

— Довезъ, старина, благополучно?

— Благополучно доставилъ, матушка Агнія Николаевна,—отвѣчалъ старикъ, почтительно цѣлуя игуменьину руку.

— Ну и молодецъ.

Игуменья погладила Никитушку по его сѣдой головѣ и, обратясь къ рыжей дѣвушкѣ, таскавшей изъ тарантаса вещи, скомандовала:

— Экипажъ на житный дворъ, а лошадей въ конюшню. Тройку рабочихъ пусть выведутъ пока изъ стойлъ и поставятъ подъ сараемъ, къ рѣшеткѣ. Онѣ смирны, имъ ничего не сдѣлается. А мы пойдемте въ комнаты,—обратилась она къ ожидавшимъ ее дѣвушкамъ и, взявъ за руки Лизу и Женни, повела ихъ на крыльцо.—Ахъ, и забыла совсѣмъ!—сказала игуменья, остановясь на верхней ступенькѣ.—Никитушка! винца, вѣдь, не пьешь, кажется?

— Не пью, матушка Агнія Николаевна.

— Ну, отпрягши-то, приходи ко мнѣ на кухню; я тебя велю чайкомъ попоить; вечеромъ сходи въ городъ въ баню съ дорожки; а завтра пироги будутъ. Прощай пока, управляйся, а потомъ придешь разсказать, какъ ѣхалось. Татьяну видѣлъ въ Москвѣ?

— Видѣлъ, матушка.

— Ну, что?

— Ничего, матушка, живетъ.

— Ну, съ Богомъ, управляйся, да приходи чай пить. Пойдемте, дѣтки.

Съ чистенькаго крылечка игуменьиной кельи была дверь въ такія же чистенькія, но довольно тѣсныя сѣни, съ двумя окнами по сторонамъ входной двери. Въ этихъ сѣняхъ, кромѣ двери, выходящей на крыльцо, было еще трое дверей.

Однѣ, направо, вели въ жилыя комнаты матери Агніи. Тутъ была маленькая проходная комната въ родѣ передней, гдѣ стоялъ большой платяной шкафъ, умывальный столикъ съ большимъ мѣднымъ тазомъ и мѣднымъ же рукомойникомъ съ подъемнымъ стержнемъ; небольшой столикъ съ привинченной къ нему швейной подушечкой и кровать рыжей келейницы, закрытая ватнымъ кашемировымъ одѣяломъ. Далѣе шла довольно большая и очень свѣтлая угловая комната въ четыре окна, по два въ каждую сторону. Здѣсь стояла длинная отоманка, обитая зеленой шерстяной матеріей, образникъ, трое тщательно закрытыхъ и заколотыхъ пялецъ, рядъ простыхъ плетеныхъ стульевъ и большіе стѣнные часы въ старинномъ футлярѣ. Въ этой комнатѣ жили и учились двѣ сиротки, которыхъ мать Агнія взяла изъ холодной избы голодныхъ родителей и которыхъ мы видѣли въ группѣ, ожидавшей на крыльцѣ нашихъ героинь. Дѣвочки здѣсь учились и здѣсь же спали ноги къ ногамъ на зеленой шерстяной отоманкѣ. Рядомъ была комната самой Агніи. Это была очень просторная горница, раздѣленная пополамъ ширмами краснаго дерева, обитыми сверху до половины зеленою тафтою. За ширмами стояла полуторная кровать игуменьи съ прекраснымъ замшевымъ матрацомъ, ночной столикъ, небольшой шкафъ съ книгами и два мягкія кресла; а по другую сторону ширмъ помѣщался богатый образникъ съ нѣсколькими лампадами, горѣвшими передъ фамильными образами въ дорогихъ ризахъ; письменный столъ, обитый зеленымъ сафьяномъ съ вытисненными по угламъ золотыми арфами, кушетка, двѣ горки съ хрусталемъ и нѣсколько креселъ! Полъ этой комнаты былъ весь обитъ войлокомъ, а сверху зеленымъ сукномъ.

Затѣмъ шелъ большой залъ, занимавшій средину домика, а потомъ комната матери Манеѳы и столовая, изъ которой шла узенькая лѣстница внизъ въ кухню.

Мать Агнія ввела своихъ дорогихъ гостей прямо въ спальню и усадила ихъ на кушетку. Это было постоянное и любимое мѣсто хозяйки.

— Чай, — сказала она матери Манеѳѣ и сѣла сама между дѣвушками.

— Давно мы не видались, дѣтки, — нѣсколько нараспѣвъ произнесла игуменья, положивъ на колѣни каждой дѣвушкѣ одну изъ своихъ бѣлыхъ, аристократическихъ рукъ.

— Давно, тетя! шесть лѣтъ,—отвѣчала Лиза.

— Да, шесть лѣтъ, друзья мои. Много воды утекло въ это время. Твоя прелестная мать умерла, Геша; Зина замужъ вышла; всѣ постарѣли и не поумнѣли.

— Зина счастлива, тетя?

— Какъ тебѣ сказать, мой другъ? Ни да, ни нѣтъ тебѣ не отвѣчу. То слышу—бранятся, жалуются другъ на друга, то мирятся. Ничего не разберу. Второй годъ замужемъ, а комедій настроила столько, что другая въ двадцать лѣтъ не успѣетъ.

— Сестра вспыльчива.

— Взбалмошна, мой другъ, а не вспыльчива. Вспыльчивость въ доброй, мягкой женщинѣ еще небольшое зло, а въ ней блажь какая-то сидитъ.

— А онъ хорошій человѣкъ?

— Такъ себѣ.

— Умный?

— Не вижу я въ немъ ума. Что̀ за человѣкъ, когда бабы въ рукахъ удержать не умѣетъ.

— Такъ они несчастливы?

— Такимъ людямъ нечего больше дѣлать, какъ ссориться да мириться. Ничего, такъ и проживутъ, то ругаясь, то цѣлуясь, да добрыхъ людей потѣшая.

— А мама? папаша?

— Братъ очень состарѣлся, а мать все котятъ чешетъ, какъ и въ старину бывало.

— А сестра Соня?

— Съ годъ ужъ ее не видала. Не любитъ ко мнѣ, старухѣ, учащать, скучаетъ. Впрочемъ, должно быть, все съ гусарами въ амазонкѣ ѣздитъ. Болтается дѣвочка, не читаетъ ничего, ничего не любитъ.

— Вы, тетя, все такія же рѣзкія.

— Въ мои годы, другъ мой, люди не мѣняются, а если мѣняются, такъ очень дурно дѣлаютъ.

— Отчего же дурно, тетя? Никогда не поздно исправиться.

— Исправиться? — переспросила игуменья и, взглянувъ на Лизу, добавила:—ну, исправляются-то или мѣняются къ лучшему только богатыя, прямыя искреннія натуры, а кто весь вѣкъ лгалъ и себѣ, и людямъ и не исправлялся въ молодости, тому ужъ на старости лѣтъ не исправиться.

— Будто ужъ всѣ такіе лживые, тетя,—смѣясь, проговорила Лиза.

— Не всѣ, а очень многіе. Лжецовъ больше, чѣмъ всѣхъ дурныхъ людей съ иными пороками. Какъ ты думаешь, Геша?—спросила игуменья, хлопнувъ дружески по рукѣ Гловацкую.

— Не знаю, Агнія Николаевна,—отвѣчала дѣвушка.

— Гдѣ тебѣ знать, мой другъ, васъ вѣдь въ институтѣ-то какъ въ парникѣ держатъ.

— Да, это наше институтское воспитаніе ужасно, тетя,—вмѣшалась Лиза.—Теперь на него очень много нападаютъ.

— И очень дурно дѣлаютъ, что нападаютъ,—отвѣтила игуменья.

Дѣвушки взглянули на нее изумленными глазами.

— Вы же сами, тетечка, только-что сказали, что институтъ не знакомитъ съ жизнью.

— Да, я это сказала.

— Значитъ, вы не одобряете институтскаго воспитанія?

— Не одобряю.

— А находите, что нападать на институты не должно?

— Да, нахожу. Нахожу, что всѣ эти нападки неумѣстны, непрактичны, просто сказать, глупы. Семью нужно передѣлать, такъ и училища передѣлаются. А то, что институты! У насъ, что ни семья, то адъ, дрянь, болото. Въ институтахъ воспитываютъ плохо, а въ семьяхъ еще несравненно хуже. Такъ что-жъ тутъ институты? Институты необходимое зло пошлаго вѣка и больше ничего. Иди-ка, дружочекъ, умойся: самоваръ несутъ.

Лиза встала и пошла къ рукомойнику.

— Возьми тамъ губку, охвати шею-то, пыль на васъ насѣла, хоть рѣпу сѣй,—добавила она, глядя на античную шейку Гловацкой.

Пока дѣвушки умылись и поправили волосы, игуменья сдѣлала чай и ожидала ихъ за весело шипѣвшимъ самоваромъ и безукоризненно чистенькимъ чайнымъ приборомъ.

Дѣвушки, войдя, поцѣловали руки у Агніи Николаевны и усѣлись по обѣимъ сторонамъ ея кресла.

— Пойди-ка въ залу, Геша, посмотри, не увидишь ли чего-нибудь знакомаго,—сказала игуменья.

Гловацкая подошла къ дверямъ, а за нею порхнула и Лиза.

— Картина маминаго шитья! — крикнула изъ залы Гловацкая.

— Да. Это я тебѣ все берегла: возьми ее теперь. Ну, идите чай пить.

Дѣвушки опять усѣлись за столъ.

— Экая женщина-то была!—какъ бы размышляла вслухъ игуменья.

— Кто это, тетя?

— Да ея покойница мать. Что̀ это за ангелъ во плоти былъ! Вотъ ужъ именно хорошее-то и Богу нужно.

— Мать была очень добра.

— Да это истинно святая. Такихъ женщинъ немного родится на свѣтѣ.

— И папа же мой вѣдь добрякъ. Прелестный мой папа.

— Да, мы съ нимъ большіе друзья; ну, все же онъ не то. Мать твоя была великая женщина, богатырь, героиня. Доброта-то въ ней была прямая, высокая, честная, ни этихъ сентиментальностей глупыхъ, ни нервъ, ничего этого дурацкаго, чѣмъ хвалятся наши слабонервные кучера въ юбкахъ. Это была сила, способная на всякое самоотверженіе; это было существо, никогда не жившее для себя и серьезно преданное своему долгу. Да, мой другъ Геша, — добавила игуменья со вздохомъ и значительно приподнявъ свои прямыя брови:—тебѣ не нужно далеко искать образцовъ!

— Вы такъ отзываетесь о мамѣ, что я не знаю...

— Чего не знаешь?

— Я очень рада, что о моей мамѣ осталась такая добрая память.

— Да, истинно добрая.

— Но сама я...

— Что̀ ты сама?

Дѣвушка закраснѣлась и застѣнчиво проговорила:

— Я не знаю, какъ надо жить.

— Этой науки, кажется, не ты одна не знаешь. По-моему, жить надо какъ живется; меньше говорить, да больше дѣлать, и еще больше думать; не быть эгоисткой, не выкраивать изъ всего только одно свое положеніе, не обращая вниманія на обрѣзки, да главное дѣло не лгать ни себѣ, ни людямъ. Первое дѣло не лгать. Людямъ ложь вредна, а себѣ еще вреднѣе. Станешь лгать себѣ, такъ всѣхъ обманешь и сама обманешься.

— Да какъ же лгать *себѣ*, тетя?

— Ахъ, мать моя? Какъ? Ну, вотъ одна выдумаетъ, что она страдалица, другая, что она героиня, третья еще что-нибудь такое, чего вовсе нѣтъ. Увѣрятъ себя въ существованіи несуществующаго, да и пойдутъ чудеса творить, отъ которыхъ Богъ знаетъ сколько людей станутъ въ несчастныя положенія. Вотъ какъ твоя сестрица Зиночка.

— Вы, тетя, на нее нападаете, право.

— Что мнѣ, мой другъ, нападать-то! Она мнѣ не врагъ, а своя, родная. Мнѣ вовсе непріятно, какъ о ней пустые-то языки благовѣстятъ.

— Вы же сами не хвалите ея мужа.

— Такъ что жъ! не хвалю, точно не хвалю. Ну, такъ и резонъ молодой бабочкѣ сдѣлаться городскою притчею?

— Да если онъ дурной человѣкъ, тетя?

— Ну, какой есть,—сама выбрала.

— Можно ошибиться.

— Очень можно. Но изъ одной-то ошибки въ другую лѣзть не слѣдуетъ; а у насъ-то это, къ несчастію, всегда такъ и бываетъ. Сдѣлаемъ худо, а поправимъ еще хуже.

— Да въ чемъ же ея ошибки, за которыя всѣ такъ строго ее осуждаютъ?

— Въ чемъ? А вотъ въ слабоязычіи, въ болтовнѣ, въ неумѣньи скрыть отъ свѣта своего горя и во всякомъ отсутствіи желанія помочь ему, исправить свою жизнь, сдѣлать ее сносною и себѣ, и мужу.

— Это не такъ легко, я думаю.

— И не такъ ужъ очень трудно. Брыкаться не надо. Брыканьемъ ничему не поможешь, только ноги себѣ же отобьешь.

— Извините, тетя; вы, мнѣ кажется, оправдываете семейный деспотизмъ.

— Въ иныхъ случаяхъ, да, оправдываю.

— Въ какихъ же это, тетя, случаяхъ?

— Напримѣръ, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ хранитъ слабыхъ и неопытныхъ членовъ семьи отъ заблужденій и ошибокъ.

Дѣвушка немного покраснѣла и сказала:

— Значитъ, вы оправдываете рабство женщины?

— Изъ чего же это значитъ?

— Да какъ же! Вы оправдываете, какъ сейчасъ сказали.

въ иныхъ случаяхъ деспотизмъ; а четверть часа тому назадъ замѣтили, что мужъ моей сестры не умѣетъ держать ее въ рукахъ.

— Ну такъ что жъ такое?

— Это значитъ оправдывать рабство женщины въ семьѣ?

У Лизы раздувались ноздри, и она безпрерывно откидывала за уши постоянно разбѣгавшіяся кудри.

— Нѣтъ, милая, это значитъ ни болѣе, ни менѣе, какъ признавать необходимость въ семьѣ одного авторитета.

— Ну, да. Признавать законность воли одного надъ стремленіями другихъ! Что жъ это, не деспотизмъ развѣ?

— Ничуть не деспотизмъ.

— А что же? Что же это такое? Я должна жить какъ мнѣ прикажутъ?

— Отчего же не такъ, какъ тебѣ посовѣтуютъ?

— Да, если это дружескій совѣтъ равнаго лица, а не приказаніе, какъ вы называете, авторитета.

— Слушайся совѣта, такъ онъ не перейдетъ въ приказаніе.

— А если перейдетъ?

— Ну, ты же будешь виновата. Значитъ, не умѣла держать себя.

— Этакъ у васъ всегда сильный правъ: равенства, значитъ, нѣтъ.

— Равенства нѣтъ.

— И это вамъ нравится?

— Это нравится вѣрно природѣ. Спроси ее, зачѣмъ одинъ умнѣе другого, зачѣмъ одинъ полезнѣе другого обществу.

— Природа глупа.

— Ну, какая есть.

— Гм! Это ужасно.

— Что это ужасно?

— Повиноваться, и только повиноваться!

— Нѣтъ, не только: можно и жить, и любить, и дѣлать другихъ счастливыми.

— Все повинуясь?

— Повинуясь,—повинуясь разуму.

— Своему,—да; я это понимаю.

— Или другому, если этотъ разумъ яснѣе твоего, опытнѣе твоего и имѣетъ всѣ основанія желать твоего блага.

— А если нѣтъ?

— Тогда повелѣвай имъ сама.

— Господи! Какъ странно вы смотрите, тетя, на жизнь. Или будь деспотомъ, или рабомъ. Приказывай, или повинуйся. Мужъ глава, значитъ, какъ это читается.

— Въ большинствѣ случаевъ.

— И не выходи изъ его воли?

— Да. Если эта воля разумна, не выходи изъ нея. Иначе: не станешь признавать надъ собой одной воли, одного голоса, придется узнать ихъ надъ собою нѣсколько, и далеко не столь искреннихъ и честныхъ.

— Извините, тетя, что̀ я скажу вамъ?

— Пожалуйста.

Лиза немного задумалась и, закраснѣвшись, сказала:

— Вы отстали отъ современнаго образа мыслей.

Выслушавъ это замѣчаніе, игуменья спокойно собрала со стола нѣсколько крошечекъ бѣлаго хлѣба и, ссыпавъ ихъ въ полоскательную чашку, спросила:

— А ты къ чему пристала, глядя на свѣтъ сквозь закрашенныя стекла института?

— Мы читали, мы говорили тоже, не безпокойтесь.

— Нѣтъ: не могу не безпокоиться, потому что вижу въ твоей головкѣ всѣ эти бредни-то новыя. Я тоже вѣдь говорю съ людьми-то, и врядъ ли такъ ужъ очень отстала, что и судить не имѣю права. Я только не пристала къ вралямъ и не разсталась со смысломъ. Я знаю эти, какъ ты называешь, взгляды-то. Двухъ лѣтъ еще нѣтъ, какъ ея братецъ вотъ тутъ же, на этомъ самомъ мѣстѣ, все развивалъ мнѣ ваши идеи новыя. Все вздоръ какой-то! Не поймешь ничего. — Пріѣхалъ Ипполитъ изъ университета,— обратилась она къ Гловацкой:—ну, и зашелъ ко мнѣ. Вижу мальчикъ, совсѣмъ еще мальчикъ—восемнадцать лѣтъ вѣдь всего. А ломается, кривляется. Пушкина на первыхъ же шагахъ обругалъ, отца раскритиковалъ: зачѣмъ, зачѣмъ, говоритъ, анахоретомъ живетъ? — Для тебя же съ сестрой, говорю, батюшка такъ живетъ. — Отъ науки отсталъ, говоритъ. Ну, глупъ отецъ, однимъ словомъ, а онъ уменъ; тутъ же при мнѣ и при двухъ сестрахъ, очень почтенныхъ женщинахъ, монастыри обругалъ, назвалъ насъ устрицами, приросшими къ своимъ раковинамъ. Богъ знаетъ, что̀ такое? Школы хорошей нѣтъ этому мальчику.

— Что жъ, онъ вѣдь, можетъ-быть, говорилъ правду?— замѣтила Лиза.

— Правду, говоришь, говорилъ?

— Да.

Тетка немножко насупилась.

— И правду надо знать какъ говорить.

— Вы же сами говорите всѣмъ правду.

— Да, то-то, я говорю, надо знать какъ говорить правду-то, а не осуждать за глаза отца родного, при чужихъ людяхъ.

— Онъ, вѣрно, и не осуждалъ, а разбиралъ, анализировалъ.

— Насъ, старухъ, изругалъ ни къ стру, ни къ смотру. Вреднѣйшіе мы люди, тунеядицы.

— Монастыри, тетя, — отжившія учрежденія. Это всѣ говорятъ.

— А почему это они отжившія учрежденія, смѣю спросить?

— Потому, что люди должны трудиться, а не сидѣть запершись, ничего не дѣлая.

— Кто жъ это вамъ сказалъ, что здѣсь ничего не дѣлаютъ? Не угодно ли присмотрѣться самой-то тебѣ поближе. Можетъ-быть, здѣсь еще болѣе работаютъ, чѣмъ гдѣ-нибудь. У насъ каждая почти однимъ своимъ трудомъ живетъ.

— А въ мірѣ она бы втрое болѣе могла трудиться.

— Или совсѣмъ бы не могла.

— Это отчего?

— Отъ многаго. Отъ неспособности сжиться съ этимъ міромъ-то; отъ неумѣнья отстоять себя; отъ недостатка силъ бороться съ тѣмъ, что не всякій поборетъ. Есть люди, которымъ нужно, просто необходимо такое безмятежное пристанище, и пристанище это существуетъ, а если не отжила еще потребность въ этихъ учрежденіяхъ, то, значитъ, всякій молокососъ не имѣетъ и права называть ихъ отжившими и поносить въ глаза людямъ, дорожащимъ своимъ тихимъ пріютомъ.

— Вы сейчасъ обвиняли ея брата въ томъ, что онъ осуждаетъ людей въ глаза, а теперь обвиняете его въ томъ, что онъ говоритъ правду въ глаза. Какъ же говорить ее нужно?

Мать Агніи совсѣмъ вспыхнула.

— Говорить надо съ умомъ,—замѣтила она рѣзко.

— Да я тутъ, собственно, не вижу глупости.

— Очень жаль, что ты не видишь неблаговоспитанности и мѣщанства.

— Что жъ, и мѣщане люди, тетя?

— Да, люди, люди неблаговоспитанные, несносные, люди, вносящіе въ жизнь гадкую мѣщанскую дрязгу.

— Стало-быть, они совсѣмъ ужъ не того стоятъ, чего мы?

— Совсѣмъ не того, чего стоятъ всѣ люди благовоспитанные, щадящіе человѣка въ человѣкѣ. То люди, а то *мѣщане*.

Лиза встала со стула, сдѣлала ироническую гримасу и, пожавъ плечами, проговорила:

— Не понимаю, какъ такой взглядъ согласовать съ идеею христіанскаго равенства.

— Не понимаешь?

— Не понимаю.

— Очень просто. Всѣ мы равны передъ Богомъ.

— Только-то?

— И только. Мѣщанство всегда останется мѣщанствомъ.

— Какъ ты думаешь объ этомъ, Женни? — спросила Лиза, стоя лицомъ къ открытому окну.

Но прежде чѣмъ Женни успѣла что-нибудь отвѣтить, мать Агнія отвѣтила за нее:

— Геша не будетъ такъ дерзка, чтобы произносить приговоръ о томъ, чего она сама еще хорошо не знаетъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Молодой пересадокъ.

Большой монастырскій колоколъ гудѣлъ и заливался, призывая сестеръ безмятежнаго пристанища къ вечерней молитвѣ и долгому, праздничному всенощному бдѣнію. По длиннымъ дощатымъ мосткамъ, перекрещивавшимъ во всѣхъ направленіяхъ монастырскій дворъ и такимъ образомъ поддерживавшимъ при всякой погодѣ удобное сообщеніе между кельями и церковью, потянулись сестры. Много ихъ было подъ началомъ матери Агніи. Лиза сѣла у окна въ теткиной спальнѣ и глядѣла на проходившія мимо ея черныя фигуры. Шли тихимъ, солиднымъ шагомъ пожилыя монахини въ такихъ шапкахъ и такихъ же вуаляхъ, какъ носила мать Агнія и мать Манеѳа; прошли три еще болѣе суровыя фигуры въ длинныхъ мантіяхъ, далеко волокшихся сзади длинными шлейфами; шли такъ же чинно и поту-

пивъ глаза въ землю молодыя послушницы въ черныхъ, остроконечныхъ шапочкахъ. Между послѣдними было много очень, очень молодыхъ существъ, въ которыхъ молодая жизнь жадно глядѣла сквозь опущенные глазки. Новы были впечатлѣнія, толпившіяся въ головкахъ Лизы и Женни, стоявшей тутъ же за кресломъ подруги и вмѣстѣ съ нею находившейся подъ страннымъ вліяніемъ монастырской суеты. Веселый звонъ колоколовъ, розовое вечернее небо, свѣжій воздухъ, пропитанный ароматомъ цвѣтовъ, окружающихъ каждую келью, и эти черныя фигуры, то согбенныя и закутанныя въ черныя покрывала, то молодыя и стройныя, съ миловидными личиками и потупленными глазами: все это было ново для нашихъ героинь и все это располагало ихъ къ задумчивости и молчанію. Наконецъ, кончился третій трезвонъ; двѣ молоденькія послушницы, съ большими книгами подъ руками, шибко пробѣжали къ церкви, а за дверью матери Агніи чистый, молодой контральтъ произнесъ нараспѣвъ: «Господи, Іисусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ».

— Аминь, — отвѣчала мать Агнія, оканчивавшая прикалываніе своего вуаля.

Въ дверь вошла молодая, очаровательно милая монахиня и, быстро подойдя къ игуменьѣ, поцѣловала ея руку.

— Здравствуй, Ѳеоктиста! Посмотри-ка, аккуратно ли я закололась сзади.

— Хорошо вездѣ, матушка, — отвѣчала миловидная черница, внимательно осматривая игуменью.

— Все готово?

— Уже началъ положили.

— Ну, пойдемъ,—давай мантію.

Сестра Ѳеоктиста сняла со стѣны мантію и накинула ее на плечи игуменьи. Мать Агнія была сурово-величественна въ этой длинной мантіи. Даже самое лицо ея какъ-то преобразилось: ничего на немъ не было теперь, кромѣ сухости и равнодушія ко всему окружающему міру.

— Ну, до свиданія, дѣти, — сказала она, подавая руки оставшимся у окна дѣвушкамъ.

— А мы развѣ не пойдемъ въ церковь?—спросила Лиза.

— Какъ хотите. Вы устали, служба сегодня долгая будетъ, оставайтесь дома.

— Лучше пойдемъ и мы, постоимъ сколько намъ захочется.

— Ну, хорошо. Позовите Марину и поправьтесь тутъ, а я сейчасъ пришлю за вами сестру Θеоктисту, она васъ проводитъ въ церковь.

По мосткамъ опустѣлаго двора шла строгою поступью мать Агнія, а за нею, держась нѣсколько сзади ея лѣваго плеча и потупивъ въ землю прелестные голубые глазки, брела сестра Θеоктиста.

— Ахъ, какая хорошенькая!—сказала Лиза вслѣдъ прошедшимъ монахинямъ.

— Чудо, что такое,—подтвердила Гловацкая.

— Это вы про сестру Θеоктисту изволите говорить, барышня? — вмѣшалась весноватая бѣлица, камеръ-юнгфера матери Агніи.

— Вотъ про эту монахиню,—отвѣтила Гловацкая.

— Это она и есть сестра Θеоктиста-съ.

— Прехорошенькая.

— Это, барышня, въ міру красоту-то наблюдаютъ; а здѣсь всѣ равны, что̀ Θеоктиста, что̀ другая какая.

— Давно она въ монастырѣ?

— Третій годъ, матушка; третій годъ, овдовѣмши, какъ въ монастырь пошла. Она вѣдь еще въ маломъ постригѣ.

— Что же она тутъ при тетушкѣ?—спросила Лиза.

— Такъ, тетенька любятъ, чтобы она при нихъ находилась.—Адъютантомъ своимъ называютъ ее.

— Развѣ она съ тетушкой живетъ?

— Нѣтъ, у нея есть своя полкелья, а только, когда въ церковь, или когда у тетеньки гости бываютъ, такъ ужъ сестра Θеоктиста при нихъ.

— Зачѣмъ же это?

— Такъ... Тетенькѣ такъ угодно.

— Она знакома была тетушкѣ прежде, что ль?

— Не могу вамъ про это доложить, — да нѣтъ, врядъ, чтобы была знакома. Она вѣдь изъ простыхъ, изъ города Брянскова, изъ купецкой семьи. Да простые такіе купцы-то, не то, чтобы какъ вонъ наши губернскіе или московскіе. Совсѣмъ изъ простого званія.

— Господи Іисусе Христе Сыне Божій, помилуй насъ!— раздалось опять за дверью. Весноватая бѣлица твердо возгласила: «Аминь», и на порогѣ показалась сестра Θеоктиста.

— Спаси васъ Господи и помилуй, — проговорила она, подходя къ дѣвушкамъ и смиренно придерживая одною ру-

кою полу рясы, а другою собирая длинныя шелковыя четки съ крестомъ и изящными волокнистыми кистями.

— Здравствуйте, здравствуйте,—привѣтливо отвѣчали въ одинъ голосъ обѣ дѣвушки.

Ѳеоктиста добродушно поцѣловала обѣихъ и опять поклонилась.

— Вотъ вы уже пришли; а мы еще не готовы совсѣмъ,— извините насъ, пожалуйста.

Сестра Ѳеоктиста ласково улыбнулась и сказала:

— Ничего-съ: я посижу, подожду,—и она сѣла на кончикѣ дивана.

— Много мірскихъ въ церкви?—спросила сестру Ѳеоктисту продолжавшая торчать здѣсь бѣлица.

— Много. Яблоку упасть негдѣ. Очень тѣсно въ храмѣ.

— Пошлите, пожалуйста, нашу няню, — попросила Лиза бѣлицу, послѣ чего та тотчасъ же вышла, а вслѣдъ затѣмъ появилась Марина Абрамовна.

Старуха, растопыривъ руки, несла въ нихъ только-что выправленныя утюгомъ бѣлыя платьица барышень и другія принадлежности ихъ туалета.

— Одѣвайтесь, матушки, а то къ шапочному разбору придете, — говорила Марина Абрамовна, кладя на столъ принесенныя вещи.

Дѣвушки стали одѣваться, няня помогала то той, то другой.

— Дайте я вамъ помогу, — сказала сестра Ѳеоктиста, положивъ въ уголъ дивана свои четки.

Дѣвушки вѣжливо отклоняли ея услужливость.

— Нѣтъ, что жъ такое, я помогу. Развѣ это трудно?

И сестра Ѳеоктиста, встряхнувъ бѣлую, крахмальную юбку, набросила ее на Гловацкую.

— Благодарю васъ, душка моя,—отвѣчала, закраснѣвшись, дѣвушка и, обернувшись, поцѣловала два раза молодую монахиню.

А монахиня опять заворочалась въ накрахмаленныхъ вещахъ и одѣвала Женни въ то же самое время, какъ Абрамовна снаряжала Лизу.

— Какъ нынче манишки-то стали шить! Совсѣмъ какъ мужчинская рубашка,—говорила сестра Ѳеоктиста, оправляя надѣтую на Женни манишку.

— Вамъ нравится этотъ фасонъ?

— Нѣтъ, я такъ говорю; легче какъ будто, а то бывало у насъ все шнурки, да шнурочки.

— Вы давно въ монастырѣ?

— Давно. Ужъ и не помню когда, — отвѣчала, смѣясь, Ѳеоктиста.—Три года ужъ.

— И нескучно вамъ?

— О чемъ скучать-то?—Спаси Господи и помилуй!

Сестра Ѳеоктиста глубоко вздохнула и въ серединѣ двухъ юницъ отправилась въ церковь. Въ церкви была страшная давка и духота. Сестра Ѳеоктиста насилу провела Лизу съ Женей впередъ къ рѣшеткѣ, окружающей амвонъ, и отошла къ особенному возвышенію, на которомъ неподвижно стояла строгая игуменья. Воздухъ въ церкви все болѣе и болѣе сгущался отъ запаха жарко горящихъ въ огромномъ количествѣ восковыхъ свѣчъ, ладана и дыханія плотной толпы молящагося народа. Передъ началомъ стихиръ мать Агнія незамѣтно кивнула пальцемъ сестрѣ Ѳеоктистѣ. Та подошла къ ней, сдѣлала поясной поклонъ и подставила ухо, а потомъ опять поклонилась тѣмъ же пояснымъ поклономъ и стала тихонько пробираться къ нашимъ героинямъ.

— Мать игуменья безпокоятся за васъ, — шепнула она дѣвушкамъ. — Онѣ велѣли мнѣ проводить васъ домой; вы устали, васъ Богъ проститъ; вамъ отдохнуть нужно.

— Пойдемте,—такъ же шопотомъ отвѣчали обѣ дѣвушки и стали пробираться вслѣдъ за Ѳеоктистою къ выходу.

На дворѣ стояли густыя сумерки.

— Чаю напьетесь? — спросила сестра Ѳеоктиста, входя на крыльцо кельи.

— По правдѣ сказать, такъ всего болѣе спать хочется,— отвѣчала Лиза.

— Ну, такъ Христосъ съ вами, спите. Прощайте, Господь съ вами.

— А нѣтъ, зайдите, зайдите,—заговорили дѣвушки.

— Раздуйте самоварчикъ, — сказала входя сестра Ѳеоктиста.—Ну, такъ спать? — добавила она, обратясь къ дѣвицамъ.

— Лежать, сестра Ѳеоктиста,—отвѣчала Лиза.

— Ну, ложитесь, покатайтесь, поваляйтесь, расправьте косточки, а я вамъ душепарочки волью.

— Милая! какая вы милая! — сказала. Лиза и крѣпко, взасосъ, по-институтски, поцѣловала монахиню.

— Чѣмъ такъ вамъ мила стала? Голуби вы мои! Раздѣвайтесь-ка, да на постельку.

Истомленныя дорогою дѣвушки начали спѣшно разоблачаться.

— Гдѣ же лечь?—спросила Лиза.

— На постель, на постель, мой ангелъ. Тетушка такъ сказала,—отвѣчала сестра Ѳеоктиста.

— Валимся! — проговорила Лиза и, забросивъ за уши свои кудри, упала на мягкую теткину постель. За нею съ краю легла тихо Гловацкая.

— Ну, и отлично. Теперь я подамъ чайку.

— Зачѣмъ же вы сами, сестра Ѳеоктиста?

— Да что жъ за бѣда. Я и сама напьюсь съ вами.

Чаекъ подали, и дѣвушки, облокотясь на подушечки, стали пить. Сестра Ѳеоктиста усѣлась въ ногахъ, на кровати.

Дѣвушки, утомленныя шестидневной дорогой, очень рады были мягкой постелькѣ и не хотѣли чаю. Сестра Ѳеоктиста налила имъ по второй чашкѣ, но эти чашки стояли нетронутыя и стыли на столикѣ.

— Кушайте!

— Не хочется,—отвѣчали обѣ дѣвушки.

— Ну, почивайте. Всенощная еще не скоро кончится. Часа полтора еще пройдетъ, почивайте, а я пойду.

— Нѣтъ, посидите съ нами, вы вѣдь тоже устали, тамъ духота такая въ церкви.

— Сестра Ѳеоктиста! Какъ вы думаете, можно покурить потихоньку?

— Охъ, не знаю, право.

— Вѣдь никто не взойдетъ?

— Не знаю.

Лиза спрыгнула съ кровати, зажгла папироску и сѣла у печки.

— Не тянетъ что-то.

— Труба, вѣрно, закрыта отъ грома. Я открою сейчасъ,— и Ѳеоктиста открыла трубу.

Женни тоже покурила, и обѣ дѣвушки снова улеглись.

— Душно точно, голова такъ и кружится, да это ничего, Господь подкрѣпляетъ, я привыкла ужъ, — говорила Ѳеоктиста, продолжая прерванный разговоръ о церковной духотѣ.

— Какъ вы успѣли привыкнуть такъ скоро?— спросила, внимательно глядя на сестру Ѳеоктисту, Лиза.

— М-мъ! Такъ привыкла, потому что здѣсь вѣдь хорошо.
— Чѣмъ же хорошо?
— Тихо такъ, хорошо.
Вышла пауза.
— И вы никогда не скучаете?—спросила Женни.
— Чего скучать, надо Богу молиться, а не скучать.
— Иногда противъ воли скучается.
Сестра Θеоктиста вздохнула.
— Молитвой надо ограждать себя,—проговорила она тихо.
— А если нельзя молиться?—спросила быстро Лиза.
— Отчего нельзя?
— Если не спокоенъ, разстроенъ, взволнованъ.
— Тутъ-то и молиться.
— Вы это на себѣ испытали когда-нибудь?
— Какъ же. Искушенія тоже бываютъ большія и въ монастырѣ.
— Интриги?
— Какъ изволите?
— Интриги, говорю, есть? — Сплетни, ссоры, клеветы,— пояснила Лиза.
— А! Ну, все надо перенесть! на то покаяніе, на то монастырь.
— А есть это все?
— Какъ вамъ сказать?—отвѣчала Θеоктиста съ самымъ простодушнымъ выраженіемъ на своемъ добромъ, хорошенькомъ личикѣ.—Бываетъ, врагъ смущаетъ человѣка, все по слабости по нашей. Тутъ вѣдь не то, чтобъ какъ со злости говорится что̀, или дѣлается.
— А все врагъ смущаетъ?
— Все по слабости нашей.
— Вы зачѣмъ пошли въ монастырь-то?
— Какъ изволите?—переспросила сестра Θеоктиста.
Лиза повторила свой вопросъ.
— Такъ, пошла да и только.
— Дурно вамъ было дома, что-ль?
— М-мъ... такъ. Мужъ померъ, дитя померло, тятенька померъ, я и пошла.
— Развѣ никого больше не оставалось у васъ, и состоянія никакого не было?
— Нѣтъ, видите,—повернувшись лицомъ къ Лизѣ и взявъ ее за колѣно, начала сестра Θеоктиста:—я вѣдь вотъ цер-

ковная, ну, понимаете, православная, т. е. по-нашему, по русскому закону крещена, ну, только тятенька мой жили мы въ нуждѣ большой. Городокъ нашъ маленькій, а тятенька, на волю откупившись, тутъ домикъ въ долгъ тоже купили, хотѣли трактирчикъ открыть, такъ какъ они были поваромъ, ну, не пошло. Только приказные судейскіе когда придутъ, да и то все въ долгъ больше, а помѣщики все на почтовую станцію заѣзжали. Такъ, бывало, и плиты по недѣлѣ цѣлой не разводимъ. Ну, я ужъ была на возрастѣ, шестнадцатый годокъ мнѣ шелъ; матери не было, братецъ въ лакейской должности гдѣ-то въ Петербургѣ, у важнаго лица, говорятъ, служитъ, только отцу они не помогали. Извѣстно въ этакой столицѣ, самимъ имъ что, я думаю, нужно, въ большомъ-то домѣ!

Ѳеоктиста вздохнула и, помолчавъ, продолжала:

— Жениховъ у насъ мало, да и то всѣ глядятъ на богатенькихъ, а мы же опять и въ мѣщанство-то только приписались, да и бѣдность. Очень тятенька покойникъ обо мнѣ печалился. Ну, а тутъ, такъ черезъ улицу отъ насъ купцы жили, — тоже недавно они въ силу пошли, изъ мѣщанъ, а только ужъ богатые были; всѣмъ торговали: солью, хлѣбомъ, желѣзомъ, всякимъ, всякимъ товаромъ. У насъ вѣдь, по нашему маленькому мѣсту, нѣтъ этихъ магазиновъ, а все вмѣстѣ всѣмъ торгуютъ. Только были эти купцы старовѣры... не нашего, значитъ, закона, поповъ къ себѣ не принимаютъ, а все безъ поповъ. Ну, какъ тамъ, Богъ самъ знаетъ, какъ это сдѣлалось, только этотъ купеческій сынъ Естифей Ефимычъ вздумалъ ко мнѣ присвататься. Изъ себя былъ какой, вѣдь, молодецъ; всякая бы, то-есть всякая, всякая у насъ, въ городѣ-то, за него пошла; ну, а онъ ко мнѣ сватался. Въ домѣ-то что у нихъ изъ-за этого было, страсти Божьи, какъ, бывало, разскажутъ. Мать у него была почтенная старуха, древняя такая и строгая. Я-то тогда дѣвчонка была, ничего этого не понимала. Ужъ не знаю, какъ тамъ покойничекъ Естифей-то Ефимычъ все это съ маменькой своей уладилъ, только такъ о спажинкахъ прислали къ тятенькѣ сватовъ.

— Ну?

— Ну, и выдали меня замужъ, въ церкви такъ въ нашей вѣнчали, по-нашему. А тутъ я годочекъ всего одинъ съ мужемъ-то пожила, да и овдовѣла, дитя родилось, да

умерло, все, какъ говорила вамъ, — тятенька тоже померли еще прежде.

— А вы въ монастырь и пошли?

— Да и пошла вотъ.

— А съ мужемъ вы счастливы были?

— Извѣстно какъ замужемъ. Сама хорошо себя ведешь, такъ и тебѣ хорошо. Я жъ мужа почитала и онъ меня жалѣлъ. Только свекровь очень ужъ строгая была. Страсть какія онѣ были суровыя.

— Обижала она васъ?

— Нѣтъ, обиды чтобъ такъ не было, а все, разумѣется, за вѣру мою, да за бѣдность сердились, все мужа, бывало, урекаютъ, что взялъ неровню; ну, а мнѣ мужа жаль, я, бывало, и заплачу. Вотъ изъ чего было, все изъ моей дурости.—Жарко каково!—проговорила Ѳеоктиста, откинувъ съ плеча креповое покрывало.

— Снимите шапку.

— И то.

Ѳеоктиста сняла бархатную шапку, и золотисто-русая коса, вырвавшись изъ-подъ сдерживавшей ее шапки, разсыпалась по черной ряскѣ.

— Господи, какое великолѣпіе!—вскрикнула Лиза.

— Что это вы?

— Смотри, смотри, Женни, какіе волосы!

— Что вы, что вы это,—закраснѣвшись, лепетала сестра Ѳеоктиста и протянула руку къ только-что снятой шапкѣ; но Лиза схватила ее за руки и, любуясь монахиней, нѣсколько разъ крѣпко ее поцѣловала. Женни тоже не отказалась отъ этого удовольствія и, перегнувъ къ себѣ стройный станъ Ѳеоктисты, обѣ дѣвушки съ восторгомъ цѣловали ее своими свѣжими устами.

— Что это вы?—опять пролепетала монахиня.

— Какая вы красавица, сестра Ѳеоктиста.

— Спаси Господи и помилуй; что это вамъ вздумалось! Искушеніе съ вами, съ мірскими, право.

Сестра Ѳеоктиста набожно перекрестилась и добавила:

— Ну, такъ вотъ я вамъ ужъ доскажу. Вышедши замужъ-то, я затяжелѣла; ну, брюхомъ-то мнѣ то того, то другого смерть вотъ какъ хочется. А Великій постъ былъ: у насъ въ домѣ, какъ вотъ словно въ монастырѣ, опричь грибовъ ничего не варили, да и то по середамъ и по пят-

ницамъ безъ масла. Маменька строго это соблюдала. А мнѣ то это икры захочется, то рыбы соленой, да такъ захочется, что вотъ просто душенька моя выходитъ. Я, бывало, это Естифею Ефимовичу ночью скажу, а онъ днемъ припасетъ, пронесетъ мнѣ въ карманѣ, а какъ спать ляжемъ съ нимъ, я пологомъ задернусь на кровати, да и ѣмъ. Грѣхъ это такъ ѣсть-то, Богу помолимшись, ну, а я ужъ никакъ стерпѣть не могла. Брюхомъ это часто у женщинъ бываетъ. Ну, и наказалъ же меня Господь за мои за эти за глупости! Охъ-хо-хо!

Ѳеоктиста утерла слезы, наполнившія длинныя рѣсницы ея большихъ голубыхъ глазъ, и продолжала:

— Въ самый въ Страстной вторникъ задумалось мнѣ про селянку съ рыбой. Вотъ умираю, хочу селянку съ севрюжинкой, да и только. Пришелъ мужъ изъ лавки, легли спать, я ему это и сказываю про свое про хотѣнье-то. Что̀ ты, говоритъ, дура, какіе дни! Люди теперь хлѣба мало вкушаютъ, а ты что̀ задумала? Молись, говоритъ, больше, все пройдетъ. А я вмѣсто молитвы-то цѣловать его да упрашивать: голубчикъ, говорю, соколъ мой ясный, Естифей Ефимычъ! уважь ты меня разъ, я тебя сто разъ уважу. Пристаю къ нему: ручки, ножки, говорю, тебѣ перецѣлую, только уважь, покорми ты меня селяночкой. Знала я, что какъ пристанешь къ нему лаской, безпремѣнно онъ тебѣ сдѣлаетъ. Смотрю, точно ужъ, говоритъ, только какъ, говоритъ, пронести? Пронести никакъ нельзя. Это и правда. Рыбу тамъ или икру можно какъ въ карманѣ пронесть, а селянку жидкую никакъ нельзя. Такъ я это въ горѣ и заснула. Утромъ, гляжу, мужъ толкъ меня подъ бокъ: прибѣжи, говоритъ, часовъ въ двѣнадцать въ лавку. Я догадалась, опять-таки его расцѣловала. Охъ, Боже, Боже мой, Боже мой! великая я грѣшница передъ Тобою!.. Жду не дождусь. Только пробило одиннадцать часовъ, я и стала надѣвать шубейку, чтобъ къ мужу-то идти, да только-что хотѣла поставить ногу на порогъ, а въ двери нашъ молодецъ изъ лавки, какъ есть полотно блѣдный. Что ты, что ты, Герасимъ? — спрашиваемъ его съ маменькой, а онъ и слова не выговоритъ. — Что, молъ, пожаръ, что ли? Въ окно такъ-то смотримъ, а онъ глядѣлъ-глядѣлъ на насъ, да разомъ какъ крикнетъ: хозяинъ, говоритъ, Естифей Ефимычъ потонули. — Какъ потонулъ? гдѣ? — Къ городничему, гово-

рить, за рѣку чего-то пошли, сказали, что коли Ѳедосья Ивановна, — это я-то, — придетъ, чтобъ его въ чуланчикѣ подождали, а тутъ, слышимъ, кричать на берегу: обломился, обломился, потонулъ. Побѣгли,—ничего ужъ не видно, только дыра во льду и водой сравнялась, а приступить нельзя, весь ледъ иструхъ. Ничего тутъ ужъ я и не помню. Побѣгли къ городничему, и городничій самъ пришелъ. Онъ, говоритъ, у меня не былъ, а былъ у повара, севрюги кусокъ принесъ, просилъ селянку сварить. Это въ трактиръ-то на станцію ему нельзя было идти, далеко, да и боязно, встрѣтишь кого изъ своихъ, онъ, мой голубчикъ, и пошелъ мнѣ селяночку-то эту, проклятую, готовить къ городническому повару, да торопился, на мостъ-то далеко, онъ льдомъ хотѣлъ, грѣхъ и случился. Во всемъ я передо всѣми повинилась. Что̀ тутъ только мнѣ было! Боже мой, Господи! Хуже меня по цѣлому городу человѣка не ставили. И точно, что стоило. А ужъ свекровь, бывало, какъ начнетъ: силы небесныя, что̀ только она говорила! И змѣя-то я, и блудница вавилонская, сѣдящая при водахъ на звѣрѣ червленнѣ,—чего только не говорила она съ горя. Разумѣется, мать, больно ей было, одинъ сынъ только, и того лишилась. И не знаю я, какъ ужъ это все я только пережила! А только мнѣ даже лучше было, что меня ругала маменька. А тутъ ужъ безъ покойника я родила дѣвочку, — хорошенькая такая была, да черезъ двѣ недѣли померла. Какъ я ни старалась маменькѣ угождать, все ужъ не могла ей угодить: противна я ей ужъ очень стала. Какъ я ей въ глаза, она сейчасъ: иди, иди, еретица проклятая! Гонитъ меня. Думала въ тятенькинъ домикъ перейти, что онъ мнѣ оставилъ—маменька еще пуще осерчала: развратничать, говоритъ, захотѣла, полюбовниковъ на свободѣ собирать хочется. Я и стала проситься въ монастырь, да вотъ и живу.

— А домикъ вашъ?

— Такъ свекровь его взяла, а мнѣ тутъ полкельи поставила.

— И ничего вамъ не даютъ?

— Нѣтъ, на что же мнѣ, я работаю. Мнѣ развѣ много нужно?

— Зачѣмъ же вы ей отдали?

— Да пусть. На что мнѣ. Такъ оставила ей.

— И тутъ вамъ, говорите, хорошо?

— Хорошо, молюсь да работаю, что̀ жъ мнѣ. Конечно, иной разъ...

— Что, скучно?

— Нѣтъ, спаси Господи и помилуй! А все вотъ за эту... за красоту-то, что вы говорите. Не то, такъ то выдумаютъ.

— Что̀ жъ, кому мѣшаетъ ваша красота?

— Да такъ, нѣтъ это по злобѣ! Такъ врагъ-то смущаетъ. Онъ вѣдь въ мірѣ такъ не смущаетъ, а здѣсь, гдѣ блюдутся, онъ тутъ и вередуетъ.

— Вамъ жаль вашего мужа?

— Очень жаль! Ахъ, какъ жаль. И гдѣ онъ, гдѣ его тѣло-то понесли быстрыя воды весеннія. Молюсь я, молюсь за него, а все не смолить мнѣ моего грѣха.

— Вы его любили?

— Какъ же не любить мужа!

— А дитя тоже жаль?

— Не знаю ужъ какъ и сказать, кого больше жаль! Дитя жаль, да все не такъ, все усну, такъ забуду, а мужа и во снѣ-то не забуду. И во снѣ онъ меня мучитъ. Молюсь, молюсь Создателю: Господи, упокой Ты его, отжени отъ меня грѣхъ мой. А только усну, только заведу глаза, а онъ надо мною стоитъ. Вотъ совсѣмъ стоитъ. Чувствую, холодный такой, мокрый весь, синій, какъ извѣстно, утопленникъ, а потомъ будто бѣлѣетъ; лицо опять человѣческое становится, глазами смотритъ все на меня и совсѣмъ какъ живой, совсѣмъ живой. Просто вотъ беретъ меня за плечи, цѣлуетъ, Ѳеня, говоритъ, моя, другъ мой!

Сестра Ѳеоктиста остановилась, долго смотрѣла молча въ одну точку темной стѣны и потомъ неожиданно, дернувъ на себѣ ряску, тревожно проговорила:

— Кудри его черныя вотъ такъ по лицу по моему... Ахъ ты, Господи! Боже мой! Когда жъ эти сны кончатся? Когда Ты успокоишь и его душеньку, и меня, грѣшницу нераскаянную.

Тихо, безъ всякаго движенія сидѣла на постели монахиня, устремивъ полные благоговѣйныхъ слезъ глаза на озаренное лампадой распятіе, молча смотрѣли на нее дѣвушки. Всенощная кончилась, подъ окномъ послышались шаги и голосъ игуменьи, возвращавшейся съ матерью Маннѳой. Сестра Ѳеоктиста быстро встала, надѣла свою шапку

съ покрываломъ и, поцѣловавъ обѣихъ дѣвицъ, быстро скользнула за двери игуменьиной кельи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Въ ночной тишинѣ.

Глубоко запалъ въ молодыя сердца нашихъ героинь простодушный разсказъ сестры Ѳеоктисты. Ни слова имъ не хотѣлось говорить, и ни слова онѣ не сказали по ея уходѣ.

Мать Агнія тихо вошла въ комнату, гдѣ спали маленькія дѣвочки, тихонько пріотворила дверь въ свою спальню, и видя, что тамъ только горятъ лампады и ничего не слышно, заключила, что гости ея уснули, и, затворивъ опять дверь, позвала бѣлицу.

— Умыться и раздѣться, — сказала она вошедшей дѣвушкѣ.

— Тамъ приготовлено-съ.

— Перенести сюда, да тише, не разбуди дѣтей.

Въ спальню вошла бѣлица и тихонько понесла оттуда умывальный приборъ.

— Пили чай?—спросила игуменья вполголоса.

— Кушали, матушка.

— Давно легли?

— Давно-съ, только они не спали должно-быть.

— Отчего?

— Сестра Ѳеоктиста все у нихъ тамъ сидѣла на кровати, только вотъ сейчасъ выскочила.

— Спасибо ей.

— Все разговаривали съ нею.

— Молодые люди, поговорить хотятъ.

— Да-съ, все про мужа говорили.

— Про какого мужа?

— Про Ѳеоктистинова.

— Что̀ жъ они говорили?

— Все Ѳеоктиста разсказывала, какъ жила у своихъ въ міру.

— Ну?

— А онѣ, барышни, все слушали. Все про сны какіе-то сказывала имъ, что мужа видитъ.

— Это ты слышала?

— Какъ же-съ!

— Сходи-ко къ ней, чтобъ завтра, какъ встанетъ... пораньше бъ встала и пришла ко мнѣ.

— Слушаю-съ!

— Давай умываться!

Послышались плески воды.

— Лихаревская Аннушка заходила отдохнуть,—говорила, подавая умываться, бѣлица.

— Ну и что̀ жъ?

— Барыня-то ихняя вернулась.

— Вернулась?

— Вернулась, говоритъ, и прямо мужу въ ноги.

— Ну?

— Простилъ-съ, говоритъ, во всемъ.

— Дуракъ! — какъ бы про себя замѣтила мать Агнія и, сѣвъ на стулъ, начала тщательно вытираться полотенцемъ.

— А у матери Варсонофьи опять баталія была съ этой съ новой бѣлицей, что изъ дворянокъ, вотъ что мать-то отдала.

— За что это?

— Все дворянствомъ своимъ кичится, стало-быть. У васъ, говоритъ, все необразованіе, кляузы, говоритъ, наушничество. Такая ядовитая дѣвушка, Богъ съ ней совсѣмъ.

— Вѣрно, досадили ей.

— Не знаю-съ.

— Варсонофія-то сама хороша. Вели-ка завтра этой бѣлицѣ за часами у ранней на поклоны стать. Скажи, что я приказала безъ разсужденій.

— Слушаю-съ.

— Давай чистить зубы.

Бѣлица опять взошла на цыпочкахъ въ спальню и опять вышла.

— Что̀ это у тебя въ той рукѣ?—спросила игуменья.

— Соръ какой-то... бумажку у печки какую-то подняла.

— Покажи.

Бѣлица подала окурочекъ тоненькой папироски, засунутый дѣвушками въ печку.

— Откуда это?

— Барышни, вѣрно, курили.

— Не забудь, чтобъ рано была у меня Ѳеоктиста.

— Слушаю-съ.

Игуменья положила окурочекъ папиросы въ карманъ своей ряски.

— А Никита былъ здѣсь?

— Какъ же-съ.

— Я его и видѣть не успѣла. А ты сказала казначеѣ, чтобъ отправила Татьянѣ на почту что̀ я приказала?

— Виновата, запомнила-съ, завтра скажу. Плохо ей, Татьянѣ-то бѣдной. Мужа-то ея теперь въ пожарную команду перевели; все одна, недостатки, говоритъ, страшные терпитъ.

— Бѣдная женщина.

— Да-съ. На васъ, говоритъ, только и надѣется. Грѣхъ, говоритъ, будетъ барышнѣ: я имъ всей душой служила, а онѣ и забыли. Таково-то, говоритъ, господское сердце.

— Врешь.

— Право. Никитушка сказывалъ, что очень обижается.

— Врешь, говорю тебѣ.—Къ брату давно поѣхали дать знать, что барышни прибыли?

— Передъ вторымъ звономъ Борисъ поѣхалъ.

— Отчего такъ долго собирался?

— Сѣдло, говоритъ, никуда не годится, никакой, говоритъ, сбруи нѣтъ. Подъ бабьимъ начальствомъ жить — лучше, говоритъ, камни ворочать. На весь житный дворъ зѣвалъ.

— Его ужъ давно пора со двора долой. А гусаръ не былъ?—совсѣмъ понизивъ голосъ, спросила игуменья.

— Нѣтъ-съ, нынче не было его. Я все смотрѣла, какъ народъ проходилъ и выходилъ, а только его не было: врать не хочу.

— То-то. Если ты только врешь на нее...

— Вотъ убей меня Богъ на семъ мѣстѣ!

— Ну, ужъ половину соврала. Я съ ней говорила и изъ глазъ ея вижу, что она ничего не знаетъ и въ помышленіи не имѣетъ.

— Да вѣдь я и не докладала, что она чѣмъ-нибудь тутъ причина, а я только...

— Врешь, докладывала.

— Нѣтъ, матушка, вѣрно говорю: не докладывала я ничего о ней, а только докладала точно, что онъ это, какъ взойдетъ въ храмъ Божій, такъ уставитъ въ нее свои бѣльмы поганыя и такъ и не сводитъ.

— Глядѣть никому нельзя запретить, а если другое что...

— Нѣтъ, другого прочаго до сихъ поръ точно, что ужъ не замѣчала, такъ не замѣчала, и грѣха брать на себя не хочу.

— А что Дороѳея!

— Трезвонитъ-съ.

— Г-мъ! усмирилась?

— Нѣтъ-съ. И ни вотъ капельной капельки.

— Все свое.

— Умру, говоритъ, а правду буду говорить. Мнѣ, говоритъ, сработать на себя ничего некогда, пусть казначею за покупками посылаютъ. На то она, говоритъ, казначея, на то есть лошади, а я не кульеръ какой-нибудь, чтобъ летать. Нравная женщина!

— Я ее успокою.

— Владыкѣ, говоритъ, буду жаловаться. Хочетъ въ другой монастырь проситься.

— Что-о! въ другой монастырь?

— Да-съ. Такъ разсуждала.

— Въ другой монастырь! А! ну, посмотримъ, какъ ее переведутъ въ другой монастырь. Разуй меня и иди спать,— добавила игуменья.

Лиза повернулась на кровати и шепнула:

— Вонъ оно, мѣщанство-то!

— Да, — также шопотомъ отвѣчала Женни, и дѣвушки, завернувшись въ одѣяло, обнялись другъ съ другомъ.

А мать Агнія тихо вошла, перекрестила ихъ, поцѣловала въ головы, потомъ тихо перешла за перегородку, упала на колѣни и начала читать положенную монастырскимъ уставомъ полунощницу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Родныя липы.

Село Мерево отстоитъ сорокъ верстъ отъ губернскаго города и семь отъ уѣзднаго, въ которомъ отецъ Гловацкій служитъ смотрителемъ уѣзднаго училища. Село Мерево стоитъ на самой почтовой дорогѣ. Въ немъ около двухсотъ крестьянскихъ дворовъ, каменная церковь и два помѣщичьи дома. Одинъ изъ господскихъ домовъ, построенный на крутомъ, обрывистомъ берегу рѣки, принадлежитъ вдовѣ камергера Мерева, а другой, утопающій въ зелени сада, разросшагося на роскошной почвѣ лугового берега рѣки Рыбницы, кавалерійскому полковнику и мѣстному уѣздному предводителю дворянства Егору Николаевичу Бахареву. Деревня вытянута по обѣ стороны рѣки, и какъ разъ про-

тивъ сада Бахаревыхъ, доходящаго до самаго берега, черезъ рѣку есть мостъ.

Былъ девятый часъ вечера. Если бъ я былъ поэтъ, да еще хорошій поэтъ, я бы непремѣнно описалъ вамъ, каковъ былъ въ этотъ вечеръ воздухъ и какъ хорошо было въ такое время сидѣть на лавочкѣ подъ высокимъ частоколомъ бахаревскаго сада, глядя на зеркальную поверхность тихой рѣки и запоздалыхъ овецъ, съ блеяніемъ перебѣгавшихъ по опустѣвшему мосту. Кругомъ тихо, тихо, и все надвигается сгущающійся сумракъ, а между тѣмъ какъ-то все видишь: только всѣ предметы принимаютъ какіе-то гигантскіе размѣры, какіе-то фантастическіе образы. Верстовой столбъ представляется великаномъ и совсѣмъ какъ будто идетъ, какъ будто вотъ-вотъ нагонитъ; надбрежная ракита смотритъ горою, и запоздалая овца, торопливо перебѣгающая по разошедшимся половицамъ моста, такъ хорошо и такъ звучно стучитъ своими копытками, что никакъ не хочется вѣрить, будто есть люди, равнодушные къ красотамъ природы, люди, способные то же самое чувствовать, сидя вечеромъ на каменномъ порожкѣ инвалиднаго дома, что̀ чувствуешь только припоминая эти милыя, теплыя ночи, когда и сонная рѣка, покрывающаяся туманной дымкой, колеблющаяся возлѣ вашихъ ногъ луговая травка и коростель, дерущій свое горло на противоположномъ косогорѣ, говорятъ вамъ: мы всѣ одно, мы всѣ природа, будемъ тихи теперь, теперь такая пора тихая. Въ деревняхъ мало такихъ индифферентныхъ людей и то, всего чаще, это бываютъ или барышни, или барыни. Деревенскій человѣкъ, какъ бы ни мала была степень его созерцательности, какъ бы ни велики были гнетущія его нужды и заботы, всегда чутокъ къ тому, что̀ происходитъ въ природѣ. Никогда онъ утромъ не приметъ къ сердцу извѣстнаго вопроса такъ, какъ приметъ его въ густыя сумерки или въ палящій полдень.

Итакъ, подъ высокимъ частоколомъ бахаревскаго сада, надъ самою рѣкою, была прилажена длинная дощатая скамейка, на которой теперь сидитъ цѣлое общество. Егоръ Николаевичъ Бахаревъ, высокій, плотный мужчина, съ огромнѣйшими сѣдыми усищами, толстымъ славянскимъ носомъ, дѣтски веселыми и дѣтски простодушными голубыми глазами. На лѣвой щекѣ у него широкій бѣлый шрамъ отъ сабельнаго удара. Одѣтъ онъ въ голубую гусарскую

венгерку съ довольно полинялыми шнурами и въ форменной военной фуражкѣ. Онъ куритъ огромную нѣмецкую трубку, выпуская изъ-подъ своихъ сѣдыхъ, прокопченыхъ усищъ цѣлыя облака дыма, который по тихому вѣтерку прямо ползетъ на лицо сидящихъ возлѣ Бахарева дамъ и отъ котораго дамы, ничего не говоря, безцеремонно отмахиваются платками. Въ колѣняхъ у него сидитъ старая легавая сука, Сумбека, стоившая будто бы когда-то тысячу рублей, которую Егору Николаевичу нѣсколько разъ за нее даже и давали, но ни разу не дали. Бахаревъ сидитъ вторымъ отъ края; справа отъ него помѣщаются четыре женщины и въ концѣ ихъ одна стоящая фигура мужескаго рода, а слѣва сидитъ очень высокій и очень тонкій человѣкъ, одѣтый совершенно такъ, какъ одѣваются польскіе ксендзы: длинный черный сюртукъ до пятъ, черный двубортный жилетъ и черныя панталоны, заправленныя въ голенища козловыхъ сапожекъ, а по жилету часовой шнурокъ, сплетенный изъ русыхъ женскихъ волосъ. Онъ уже совсѣмъ сѣдъ, гладко выбритъ и коротко стрижется. Въ живыхъ черныхъ глазахъ этого лица видно много уцѣлѣвшаго огня и нѣжности, а характерные заломы въ углахъ тонкихъ губъ говорятъ о силѣ воли и сдержанности. Это смотритель уѣзднаго училища, Петръ Лукичъ Гловацкій. Возлѣ Гловацкаго, заложивъ за спину руки, стоитъ вольнонаемный конторщикъ, мѣщанинъ Наркизъ Ѳеодоровъ Перепелицынъ. Ему лѣтъ подъ пятьдесятъ, онъ полонъ, приземистъ, съ совершенно краснымъ лицомъ и синебагровымъ носомъ, вводящимъ всѣхъ въ заблужденіе насчетъ его склонности къ спиртнымъ напиткамъ, которыхъ Перепелицынъ не пилъ отъ роду. Онъ въ синемъ сюртукѣ, бѣломъ жилетѣ и штанахъ бланжеваго трико. Слѣва стоитъ законная супруга предводителя, пріобрѣтенная посредствомъ ночного похищенія, Ольга Сергѣевна, въ бѣломъ чепцѣ очень стараго и очень своеобычнаго фасона, въ марселиновомъ темненькомъ платьѣ безъ кринолина и въ большомъ красномъ французскомъ платкѣ, въ который она безпрестанно самымъ тщательнымъ образомъ закутывала съ головы до ногъ свою сухощавую фигурку. Рядомъ съ матерью сидитъ старшая дочь хозяевъ, Зинаида Егоровна, второй годъ вышедшая замужъ за помѣщика Шатохина, очень недурная собою особа съ блѣдно-сахарнымъ лицомъ и капризною

хнею губкою; потомъ матушка попадья, — очень полная
щина въ очень узкомъ темненькомъ платьѣ, и ея дочь,
нь тоненькая, миловидная дѣвушка въ очень широкомъ
тьѣ, а, наконецъ, Соня Бахарева. Она нѣсколько похожа
сестру Зину и нѣсколько напоминаетъ Лизу, но все-таки
болѣе сестра Зины, чѣмъ Лизы. У нея очень хорошіе
итановые волосы и очаровательный свѣженькій ротикъ.
бще, это барышня, какихъ много: существо мелочно-
олюбивое, тирански-жестокое и сентиментально-мечта-
ьное. Такое существо, которое, пока растетъ, такъ ни-
о въ немъ нѣтъ, а вырастетъ — станетъ ни швецъ, ни
ецъ, ни въ дуду игрецъ. Противъ Сони и дочери свя-
нника сидитъ на зеленой муравкѣ человѣкъ лѣтъ двад-
и восьми или тридцати; на немъ парусинное пальто,
ія же панталоны и пикейный жилетъ съ турецкими бу-
ами, а на головѣ ветхая студенческая фуражка съ го-
ымъ околышемъ и просаленнымъ дномъ. Это кандидатъ
дическихъ наукъ Юстинъ Феликсовичъ Помада. Наруж-
ть кандидата весьма симпатична, но очень непрезента-
ьна: онъ невысокъ ростомъ, сутулъ, съ широкою, впалой
дью, огромными руками и большою головою съ волосами
аго неопредѣленнаго цвѣта. Эта голова составляетъ самую
кую особенность всей фигуры Юстина Помады: она у
о постоянно какъ будто падаетъ и въ этомъ паденіи
етъ его то въ ту, то въ другую сторону, безъ всякаго
то соизволенія ея владѣльца.

Все это общество, сидя противъ меревскаго моста, ожи-
о нашихъ героинь, и нѣкоторые изъ его членовъ уже
инали терять терпѣніе.

— Вѣрно, не пріѣдутъ сегодня, — замѣтила матушка по-
ья, опасаясь, чтобы батрачка безъ нея не поставила
сить неочередный кубанъ.

— Очень можетъ быть, — поддержала ее Ольга Сергѣевна,
мнѣнію которой ни одинъ разумный человѣкъ вечеромъ
долженъ былъ оставаться надъ водою.

— Вовсе этого не можетъ быть, — возразилъ Бахаревъ: —
гра пишетъ, что онѣ выѣдутъ тотчасъ послѣ обѣда; —
читъ, ужъ если считать самое позднее, такъ это будетъ
а въ четыре, въ пять. Тутъ около пятидесяти верстъ;
пять часовъ проѣдутъ и будутъ.

— А можетъ-быть раздумали, — слабо возразила Ольга Сергѣевна.

— Не можетъ этого быть, потому что это было бы глупо, а Агнія дурить не охотница.

— Въ дорогѣ что-нибудь могло случиться скорѣе, — проговорилъ сквозь зубы Гловацкій.

— Это такъ; это могло случиться: лошади и экипажъ сдѣлали большую дорогу, а у Никиты пустосвята вѣтеръ въ башкѣ ходитъ,—не осмотрѣлъ навѣрное.

— Верхового не послать ли-съ навстрѣчу?—предложилъ Перепелицынъ.

— Ну... подождемъ часочекъ еще: если не будетъ ихъ, тогда нужно будетъ послать.

— Чѣмъ посылать, такъ лучше жъ самимъ ѣхать,—опять процѣдилъ Гловацкій.

— И то правда. Только если мы съ Петромъ Лукичемъ уѣдемъ, такъ ты, Нарцизъ, смотри! Не моргай тутъ... дѣйствуй. Чтобъ все какъ говорилъ... понимаешь: хлопсъ-хлопсъ, и готово.

— Понимаю-съ.

— То-то, а то вѣдь тамъ, небось, въ носки жарятъ.

— Какъ можно-съ?

— Ну, да, толкуй: можно-съ... Эхъ, Зина, Алексѣя-то твоего нѣтъ!

— Да, нѣтъ,—простонала Зина.

— Чудакъ, право, какой! Семейная, можно сказать, радость, а онъ запропастился.

Зина глубоко вздохнула, склонила на бокъ головку и, скручивая пальчиками кисточку своей мантиліи, печально обиженнымъ тономъ снова простонала:

— Я ужъ къ этому давно привыкла.

— Давно-о?—спросилъ старикъ.

— Да. Это всегда такъ. Стóитъ мнѣ пожелать чего-нибудь отъ мужа, и этого ни за что не будетъ.

— Что ты вздоръ-то говоришь, матушка! Алексѣй мужикъ добрый, честный, а ты ему жена, а не метресса какая-нибудь, что онъ тебѣ на зло все будетъ дѣлать.

— Какой ты странный, Егоръ Николаевичъ,—томно вмѣшалась Ольга Сергѣевна:—ужъ вѣрно женщина имѣетъ причины такъ говорить, когда говоритъ.

— Нѣтъ, это еще не вѣрно.

— Неужто же женщина, любящее, преданное, самоотверженное существо, станетъ лгать, выдумывать, клеветать на человѣка, съ которымъ она соединена неразрывными узами! Странны ваши сужденія о дочери, Егоръ Николаевичъ.

— А ваши еще страннѣе и еще вреднѣе. Дуйте, дуйте ей, сударыня, въ уши-то, что она несчастная, ну и въ самомъ дѣлѣ увидите несчастную. Москва вѣдь отъ грошовой свѣчи сгорѣла. Вы вотъ сегодня все выболтали ужъ, такъ и беретесь снова за старую пѣсню.

— Я не болтаю, какъ вы выражаетесь, и не дую никому въ уши, а я...

Но въ это время за горою послышались ритмическіе удары копытъ скачущей лошади и вслѣдъ за тѣмъ показался знакомый всадникъ, несшійся во весь опоръ къ спуску.

— Костикъ! — вскрикнулъ Бахаревъ, быстро поднимаясь въ тревогѣ со скамейки.

— Онъ-съ,—такъ же тревожно отвѣчалъ конторщикъ.

Всѣ встали съ своихъ мѣстъ и торопливо пошли къ мосту.

Между тѣмъ форейторъ Костикъ, проскакавъ половину моста, замѣтилъ господъ и, поднявъ фуражку, кричалъ:

— Ѣдутъ! ѣдутъ!

— Ѣдутъ? Гдѣ ѣдутъ? — спрашивалъ Бахаревъ, теряясь отъ волненія.

— Сейчасъ ѣдутъ, за меревскими овинами ужъ.

— А! за овинами... Боже мой!.. Смотри, Нарцизъ... ахъ, Боже...—и старикъ побѣжалъ рысью по мосту, вдогонку за Гловацкимъ, который уже шагалъ на той сторонѣ рѣки, наискось по направленію къ довольно крутому спиралеобразному спуску.

Дамы шли тоже такъ торопливо, что Ольга Сергѣевна, нѣсколько разъ споткнувшись на подолъ своего длиннаго платья, наконецъ пріостановилась и, обратясь къ младшей дочери, сказала:

— Мнѣ неловко совсѣмъ идти съ Матузалевной, понеси ее, пожалуйста, Сонечка. Да нѣтъ, ты ее задушишь; ты все это какъ-то такъ дѣлаешь, Богъ тебя знаетъ! Саша, дружочекъ, понесите, пожалуйста, вы мою Матузалевну.

Священническая дочь приняла изъ-подъ шали Ольги Сергѣевны бѣлую кошку и положила ее на свои руки.

— Осторожнѣй, дружочекъ, она не такъ здорова,—скоро-

говоркою добавила Ольга Сергѣевна и, приподнявъ передъ своего платья, засѣменила вдогонку за опередившими ее дочерьми и попадьею.

Кандидата уже не было съ ними. Увидѣвъ бѣгущихъ стариковъ, онъ самъ не выдержалъ и, не размышляя долго, во всѣ лопатки ударился навстрѣчу ѣдущимъ.

Три лица, бросившіяся на гору, всѣ разбились другъ съ другомъ. На половинѣ спуска, отдуваясь и качаясь отъ одышки, стоялъ Бахаревъ, стараясь разстегнуть скорѣе шнуры своей венгерки, чтобы вдохнуть болѣе воздуха немного впереди его торопливо шелъ Гловацкій, но тоже безпрестанно спотыкался и задыхался. Немощная плоть стариковъ плохо повиновалась бодрости духа. Зато Помада, уже преодолѣвъ самую большую крутизну горы, настоящимъ орловскимъ рысакомъ несся по болѣе отлогой косинѣ верхней части спуска. Онъ ни на одно мгновенье не призадумался, что онъ скажетъ дѣвушкамъ, которыя его никогда не видали въ глаза и которыхъ онъ вовсе не знаетъ. Завидя впереди на дорогѣ двѣ бѣлѣвшіяся фигуры, онъ удвоилъ рысь и въ одно мгновеніе сталъ противъ дѣвушекъ, нѣсколько испуганныхъ и еще болѣе удивленныхъ его появленіемъ.

— Здравствуйте!—сказалъ онъ, задыхаясь, и затѣмъ не могъ вспомнить ни одного слова.

— Здравствуйте,—растерянно отвѣчали дѣвицы.

Помада снялъ фуражку, обтеръ ея дномъ раскраснѣвшееся лицо и совсѣмъ растерялся.

— Кто вы?—спросила Лиза.

— Я?.. Тутъ ждутъ... идутъ вотъ сейчасъ... идите...

— Кто? гдѣ ждетъ?

— Ваши.

Дѣвушки пошли, за ними пошелъ молча Помада, а сзади ихъ, изъ-за перваго поворота спуска, заскрипѣлъ заторможеннымъ колесомъ тарантасъ.

— Евгенія! дочь! Женичка! — раздалось впереди, и изъ окружающей ночной темноты выдѣлилась длинная фигура.

Гловацкая отгадала отцовскій голосъ, вскрикнула, бросилась къ этой фигурѣ и, охвативъ своими античными руками худую шею отца, плакала на его груди тѣми слезами, которыми, по сказанію нашего народа, ангелы Божіи радуются на небесахъ. И ни Помада, ни Лиза, безотчетно остановив-

шіеся въ молчаніи при этой сценѣ, не замѣтили, какъ къ нимъ колтыхалъ ускореннымъ, но не скорымъ шагомъ, Бахаревъ. Онъ не могъ ни слова произнесть отъ удушья и, не добѣжавъ пяти шаговъ до дочери, сдѣлалъ надъ собой отчаянное усиліе. Онъ какъ-то прохрипѣлъ:—«Лизокъ мой!»—и, прежде чѣмъ дѣвушка успѣла сдѣлать къ нему шагъ, споткнулся и упалъ прямо къ ея ногамъ.

— Папа, милый мой, вы зашиблись?—спрашивала Лиза, наклонясь къ отцу и обнимая его.

— Нѣтъ... ничего... споткнулся... старъ становлюсь,—лепеталъ эксъ-гусаръ голосомъ, прерывающимся отъ радостныхъ слезъ и удушья.

— Вставайте же, милый вы мой.

— Постой... это ничего... дай мнѣ еще поцѣловать твои ручки, Лизокъ... Это... ничего... охъ!

Бахаревъ стоялъ на колѣняхъ на пыльной дорогѣ и цѣловалъ дочернины руки, а Лиза, опустившись къ нему, цѣловала его сѣдую голову. Обѣ пары давно-давно не были такъ счастливы и обѣ плакали. Между тѣмъ подошли дамы, и пріѣзжія дѣвушки стали переходить изъ объятій въ объятія. Старики, прійдя въ себя послѣ перваго волненія, обняли другъ друга, поцѣловались, опять заплакали, и все общество, осыпая другъ друга разспросами, шумно отправилось подъ гору. Внѣ всякой радости и внѣ всякаго вниманія оставался одинъ Юстинъ Помада, шедшій нѣсколько въ сторонѣ, пошевеливая по временамъ свою пропотѣвшую подъ масляной фуражкой куафюру.

У самаго моста, гдѣ кончался спускъ, общество нагнало тарантасъ, возлѣ котораго стояла Марина Абрамовна, глядя, какъ Никитушка отцѣплялъ отъ колеса тормозъ, прилаженный еще по допотопному манеру.

— Здорово, ребятки!—крикнулъ Егоръ Николаевичъ, поровнявшись съ тарантасомъ.

— Здравствуйте, батюшка Егоръ Николаевичъ,—отозвались Никитушка и Марина Абрамовна, устремляясь поцѣловать барскую руку.

— Здравствуй, Марина Мнишекъ, здравствуй, Никита Пустосвятъ, — говорилъ Бахаревъ, цѣлуясь съ слугами. — Какъ ѣхали?

— Ничего, батюшка, ѣхали слава Богу.

— Ну, ѣхали, такъ и поѣзжайте. Маршъ! — скомандовалъ онъ.

Тарантасъ поѣхалъ, стуча по мостовинамъ; господа пошли сбоку его по лѣвую сторону, а Юстинъ Помада съ неопредѣленнымъ чувствомъ одиночества, неумолчно вопіющимъ въ человѣкѣ при видѣ людского счастія, безотчетно перешелъ на другую сторону моста и, крутя у себя передъ носомъ сорванный стебелекъ подорожника, брелъ одиноко, смотря на мѣрную выступку усталой пристяжной.

«Что̀ жъ,—размышлялъ самъ съ собою Помада.—Сто̀итъ вѣдь вытерпѣть только. Вѣдь не можетъ же быть, чтобъ на мою долю таки-такъ ужъ никакой радости, никакого счастья. Отчего?.. Жизнь, люди, встрѣчи, вѣдь разныя встрѣчи бываютъ!.. Случай какой-нибудь неожиданный... вѣдь бываютъ же всякіе случаи...»

Эти размышленія Помады были неожиданно прерваны молніей, блеснувшей справа изъ-за частокола бахаревскаго сада и раздавшимся тотчасъ же залпомъ изъ пяти ружей. Лошади храпнули, метнулись въ сторону и прежде чѣмъ Помада могъ что-нибудь сообразить, взвившаяся на дыбы пристяжная подобрала его подъ себя и, обломивъ утлыя перила, вмѣстѣ съ нимъ свалилась съ моста въ рѣку.

— Что такое? что такое? Рѣжьте скорѣй постромки!— крикнулъ Бахаревъ, подскочивъ къ испуганнымъ лошадямъ и держа за поводъ дрожащую коренную, между тѣмъ какъ упавшая пристяжная барахталась, стоя по брюхо въ водѣ, съ оторваннымъ поводомъ и одною только постромкою. Набѣжали люди, благополучно свели съ моста тарантасъ и вывели, не входя вовсе въ воду, упавшую пристяжную.

— Водить ее, водить теперь, гонять; она напилась воды горячая!—кричалъ старый кавалеристъ.

— Слушаемъ, батюшка, погоняемъ.

— Слушаемъ! что̀ надѣлали? Черти?

— Мы, Егоръ Николаевичъ, выслушамши ваше приказаніе...

— Что приказаніе?—кричалъ разсерженный и сконфуженный старикъ.

— Такъ какъ было ваше на то приказаніе.

— Какое мое приказаніе? Такого приказанія не было.

— Выпалить приказывали-съ.

— Выпалить,—ну, что же! Гдѣ я приказывалъ выпалить? Я приказалъ салютъ сдѣлать, какъ съ моста съѣдутъ, а вы...

— Не спопашились, Егоръ Николаевичъ.

Тѣмъ и кончилось дѣло на чистомъ воздухѣ. Въ большой свѣтлой залѣ сконфуженнаго Егора Николаевича встрѣтилъ улыбающійся Гловацкій.

— Ну, что, обморокъ небось?—спросилъ его вполголоса Бахаревъ.

— Ничего, ничего,—отвѣчалъ Гловацкій:—все ужъ прошло; дѣти умываться пошли. Все прошло.

— Ну-у,—Бахаревъ перекрестился, и проговоривъ:—слава въ вышнихъ Богу, что на землѣ миръ,—бросилъ на столъ свою фуражку.

— Угораздило же тебя выдумать такую штуку; хорошо, что тѣмъ все и кончилось,—смѣясь, замѣтилъ Гловацкій.

— И не говори лучше! Чортъ ихъ зналъ, что они и этого не сумѣютъ.

— Да этого нужно было ожидать.

— Ну, полно,—знаешь: и на Машку бываетъ промашка. Пойдемъ-ка къ дѣтямъ. А дѣти-то!

— Что дѣти?

— Большія совсѣмъ.

— Дождались, Петръ Пустынникъ.

— Дождались, драбантъ, дождалися.

Старики пошли коридоромъ на женскую половину и просидѣли тамъ до полночи. Въ двѣнадцать часовъ поужинали, повторивъ полный обѣдъ, и разошлись спать по своимъ комнатамъ. Во всемъ домѣ разомъ погасли всѣ огни и всѣ заснули мертвымъ сномъ, кромѣ одной Ольги Сергѣевны, которая долго молилась въ своей спальнѣ, потомъ внимательно осмотрѣла въ ней всѣ закоулочки и, отзыбнувъ дверь въ комнату пріѣхавшихъ дѣвицъ, тихонько проговорила:

— Лизочка, нѣтъ ли у тебя моей Матузалевны?

Но Лизочка уже спала, какъ убитая, и, къ крайнему затрудненію матери, ничего ей не отвѣтила.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Университетскій антикъ прошлаго десятилѣтія.

Какъ только кандидатъ Юстинъ Помада пришелъ въ состояніе, въ которомъ былъ способенъ сознать, что въ

самомъ дѣлѣ въ жизни бываютъ неожиданные и довольно странные случаи, онъ отодвинулся отъ мокрой сваи и хотѣлъ идти къ берегу, но жестокая боль въ плечѣ и въ боку тотчасъ же остановила его. Онъ снова охватилъ ослизшую, мокрую сваю и, прислонясь къ ней лбомъ, остановился въ почти безчувственномъ состояніи. Платье его было все мокро; онъ стоялъ въ холодной водѣ по самый животъ, и ноги его крѣпко увязли въ илистой грязи, покрывающей дно Рыбницы. На небѣ начинало сѣрѣть и по водѣ заклубился легонькій парокъ. Помада дрожалъ всѣмъ тѣломъ и не могъ удержать прыгающихъ челюстей; а въ головѣ у него и стучало, и звенѣло, и все сознавалось какъ-то смутно и неясно. Бѣднякъ то забывался, то снова вспоминалъ, что онъ въ рѣкѣ, изъ которой ему надо выйти и идти домой. Но тутъ, при первой же попыткѣ вывязить затянутыя иломъ ноги, несносная боль снова останавливала его, и онъ снова забывался. Наконецъ, кандидатъ собралъ свои послѣднія силы и, не покидая сваи, началъ потихоньку высвобождать свои ноги. Мало-по-малу онъ вытянулъ изъ ила одну ногу, потомъ другую, и наконецъ, стиснувъ отъ боли зубы, сдѣлалъ одинъ шагъ, потомъ ступилъ еще десять шаговъ и выбрелъ на берегъ. Ступивъ на землю, Помада остановился, потрогалъ себя за лѣвое плечо, за ребра и опять двинулся; но, дойдя до моста, снова остановился. Оглянувъ свой костюмъ и улыбнувшись, Помада проговорилъ:

— Какъ есть чортъ изъ болота,—и, вздохнувъ, поплелся по направленію къ дому камергерши Меревой.

На господскомъ дворѣ еще все спало. Только старая легавая собака, стоявшая у коновязи, передъ которою чистили лошадей, увидя входящаго кандидата, зѣвнула, сгорбилась, потомъ вытянулась и опять стала укладываться, выбирая посуше мѣстечко на росной травѣ. Дворъ, принадлежащій къ дому камергерши, былъ не изъ модныхъ, не изъ новыхъ помѣщичьихъ дворовъ. Онъ былъ очень великъ, но со всѣхъ сторонъ обнесенъ различными хозяйственными строеніями. Большой одноэтажный домъ, немножко похожій снаружи на уѣздную городскую больницу, занималъ почти цѣлую сторону этого двора. Окна парадныхъ комнатъ дома выходили на гору, на которой былъ разбитъ новый англійскій садъ, и подъ ней катилась свѣтлая Рыбница, а всѣ жилыя и

вообще непарадныя комнаты смотрѣли на дворъ. Тутъ же со двора были построены въ рядъ четыре подъѣзда: парадный, съ котораго былъ ходъ на мужскую половину, женскій чистый, женскій черный и, наконецъ, такъ-называемый ковровый подъѣздъ, которымъ ходили въ комнаты, занимаемыя постоянно швеями, кружевницами и коверщицами, экстренно—гостями женскаго пола и приживалками. По лѣвой сторонѣ двора, прямо противъ воротъ, тянулся рядъ службъ; тутъ были конюшни, денники, сараи, ледникъ, погребъ и нѣсколько амбаровъ. Какъ разъ противъ дома, по ту сторону двора, тянулась длинная рѣшетка, отгораживавшая дворъ отъ стараго сада, а съ четвертой стороны двора стояла кухня, прачечная, людская, контора, ткацкая и столярная. Всѣ эти заведенія помѣщались въ трехъ флигеляхъ, по два въ каждомъ. Всѣ три флигеля были, что называется, ростъ въ ростъ, колосъ въ колосъ и голосъ въ голосъ. Фундаменты сѣрые, стѣны желтыя, оконницы бѣлыя, крыши красныя. Три окна въ рядъ, посрединѣ крыльцо, и опять три окна.

Въ одномъ изъ этихъ флигелей обиталъ Юстинъ Помада. Онъ занималъ два дощатые чуланчика въ флигелѣ, вмѣщавшемъ контору и столярную.

Стóитъ разсказать, какъ Юстинъ Помада попалъ въ эти чуланчики, а при этомъ разсказать кое-что и о прошедшемъ кандидата, съ которымъ мы еще не разъ встрѣтимся въ нашемъ романѣ.

Юстинъ Помада происходилъ отъ польскаго шляхтичи Феликса Антонова Помады и его законной жены Констанці-Августовны Помады. Отецъ кандидата, прикосновенный какъ кимъ-то бокомъ къ польскому возстанію 1831 года, былъ сосланъ съ женою и малолѣтнимъ Юстиномъ въ одинъ изъ великороссійскихъ губернскихъ городовъ. Феликсъ Помада былъ человѣкъ очень добрый, но довольно пустой. Долго онъ не находилъ себѣ въ ссылкѣ никакого занятія. Наконецъ-то, наконецъ онъ какъ-то опредѣлился писаремъ въ магистратъ и побиралъ тамъ маленькія, невинныя взяточки, которыя, не столько по любви къ пьянству, сколько по слабости характера, тотчасъ же послѣ присутствія пропивалъ съ своими магистратскими товарищами въ трактирѣ «Адріанополь» купца Лямина. Всю семью содержала мать Юстина. Молодая, еще очень хорошенькая женщина и очень

нѣжная мать, Констанція Помада съ горемъ видѣла, что на мужа ни ей, ни сыну надѣяться нечего, сообразила, что слезами здѣсь ничему не поможешь, а жалобами еще того менѣе и стала изобрѣтать себѣ профессію. Она умѣла довольно скоро и бойко играть на фортепіано легкія вещицы, и особенно знала танцовальную музыку: это она и сдѣлала своимъ ремесломъ. Днями она бѣгала по купеческимъ домамъ, давая полтинные уроки толстоногимъ дщерямъ русскаго купечества, а по вечерамъ часто играла за два цѣлковыхъ на балахъ и танцовальныхъ вечеринкахъ у того же купечества и вообще у губернскаго demi-mond'a. Въ городѣ даже славились ея мазурки и у нея постоянно было столько работы, что она однѣми своими руками могла пропитать пьянаго мужа и маленькаго Юстина. По одиннадцатому году, она записала сына въ гимназію и содержала его всѣ семь лѣтъ до окончанія курса, освобождаясь по протекціи предводителя только отъ вноса пяти рублей въ годъ за сынино ученіе. Феликсъ Помада умеръ отъ перепоя, когда сынъ его былъ еще въ третьемъ классѣ; но его смерть не произвела никакого ущерба въ труженическомъ бюджетѣ вдовы, и она, собирая зернышко къ зернышку, успѣла накопить около ста рублей, назначавшихся на отправку Юстина въ харьковскій университетъ. Въ Харьковѣ у вдовы былъ братъ, служившій чѣмъ-то по винному откупу. Къ нему и былъ отправленъ восемнадцатилѣтній Юстинъ съ гимназическимъ аттестатомъ, письмомъ, облитымъ материнскими слезами, ста рублями и тысячью благословеній. Проводивъ сына, мать Помады взяла квартирку еще потѣснѣе и еще болѣе обрѣзала свои расходы. Все она гоношила, чтобы хоть время отъ времени послать что-нибудь своему милому Юськѣ. Но не велики были и вообще-то ея достатки, а съ отъѣздомъ Юстина они и еще стали убавляться. Молодое купечество и юный demi-monde стали замѣчать, что «портится Помада; выдохлась», что нѣтъ въ ея игрѣ прежней удали, прежняго огня. И точно, словно какіе-то болѣзненные стоны прорывались у нея иной разъ въ самыхъ отчаянныхъ и самыхъ залихватскихъ любовныхъ мазуркахъ танцоровъ, а къ тому же еще въ городъ пріѣхалъ молодой таперъ-нѣмецъ; началась конкуренція, отодвинувшая вдову далеко на задній планъ, и она черезъ два года послѣ отъѣзда Юстина тихо скончалась, шепча горячую молитву за

сына. Юстину въ Харьковѣ жилось трудно, но занимался онъ съ страшнымъ усердіемъ. Юридическій факультетъ, по которому онъ подвизался, въ то время въ Харьковѣ былъ изъ рукъ вонъ плохъ, и Юстинъ Помада долженъ былъ многое брать самъ, копаясь въ источникахъ. Жилъ онъ у дяди въ каморкѣ, иногда обѣдалъ, а иногда нѣтъ, участія не видалъ ни отъ кого и былъ постояннымъ предметомъ насмѣшекъ за свою неуклюжесть и необычайную влюбчивость, обыкновенно весьма неудачную. Уроковъ Помада никакъ не могъ набрать и имѣлъ только два урока въ домѣ богатаго купца Конопатина, который платилъ ему восемь рублей въ мѣсяцъ за работу съ восемью безтолковыми ослятами.

Это составляло всѣ доходы Помады, и онъ былъ весьма этимъ доволенъ. Онъ былъ, впрочемъ, вѣчно всѣмъ доволенъ, и это составляло, въ одно и то же время, и отличительную черту его характера, и залогъ его счастья въ несчастіи.

Юстинъ Помада только одинъ разъ горевалъ во все время университетскаго курса. Это было, когда онъ получилъ отъ стараго друга своей матери письмо за черной печатью, а тяжелой посылкой образокъ Остробрамской Божіей Матери. Которой его поручала, умирая, покойная страдалица. Но потомъ опять все пошло своимъ порядкомъ по-старому. Юстинъ Помада ходилъ на лекціи, давалъ уроки и былъ снова тѣмъ же дѣтски-наивнымъ и безпечнымъ «Корнишономъ», какимъ его всегда знали товарищи, давшіе ему эту кличку. Въ основѣ его безпечности лежала непоколебимая вѣра въ судьбу, поддерживавшая въ немъ самыя неясныя и самыя смѣлыя надежды.

— Все это вздоръ передъ вѣчностью, — говорилъ онъ товарищамъ, указывавшимъ ему на худой сапогъ или лопнувшій подъ мышкою сюртукъ.

Помада оставался спокойнымъ даже тогда, когда инспекторъ, завидѣвъ его лопнувшій сюртукъ, командовалъ ему:

— Извольте отправиться на двое сутокъ въ карцеръ за этотъ безпорядокъ.

Такъ Юстинъ Помада окончилъ курсъ и получилъ кандидатскій дипломъ.

Надо было куда-нибудь пристраиваться. На первый разъ это очень поразило Помаду. Потомъ онъ и здѣсь успокоился,

рѣшилъ, что пока онъ еще поживетъ уроками, «а тѣмъ временемъ что-нибудь да подвернется».

И точно, «тѣмъ временемъ» подвернулась вотъ какая оказія. Встрѣтилъ Помаду на улицу тотъ самый инспекторъ, который такъ часто сажалъ его въ карцеръ за прорванный подъ мышками сюртукъ, да и говоритъ:

— Не хотите ли вы мѣста брать? Очень, очень хорошее мѣсто: у очень богатой дамы одного мальчика приготовить въ пажескій корпусъ.

Юстинъ Помада такъ и подпрыгнулъ. Не столько его обрадовало мѣсто, сколько нечаянность этого предложенія, въ которой онъ видѣлъ давно ожидаемую имъ заботливость судьбы. Мѣсто было точно хорошее: Помадѣ давали триста рублей, помѣщеніе, прислугу и все содержаніе у помѣщицы, вдовы камергера, Меревой. Онъ мигомъ собрался и «пошилъ» себѣ «цивильный» сюртукъ, «брюндели», пальто и отправился, какъ говорятъ въ Харьковѣ, «въ Россію», въ извѣстное намъ село Мерево.

Это было за семь лѣтъ передъ тѣмъ, какъ мы встрѣтились съ Юстиномъ Помадою подъ частоколомъ бахаревскаго сада.

Два года промелькнули для Помады какъ одинъ день счастливый. Другой, въ его положеніи, можетъ-быть, нашелъ бы много непріятнаго, другого задѣвали бы и высокомѣрное, нѣсколько презрительное третированіе камергерши, и совершенное игнорированіе его личности жирнымъ управителемъ изъ дворовыхъ, и холопское нахальство камергерской прислуги, и неумѣстныя шутки барченка, но Помада ничего этого не замѣчалъ. Его плѣняли поля, то цвѣтущія и колеблющіяся переливами зрѣющихъ хлѣбовъ, то блестящія дѣвственною чистотою бѣлаго снѣга, и онъ жилъ да поживалъ, любя эти поля и читая получавшіеся въ камергерскомъ домѣ, по заведенному изстари порядку, журналы, которыхъ, тоже по изстари заведенному порядку, никто въ цѣломъ домѣ никогда не читалъ. А «тѣмъ временемъ» ученикъ Помады пришелъ въ подобающій возрастъ, и толстый управитель сталъ собираться въ Петербургъ для представленія его въ пажескій корпусъ. Старуха камергерша давно никуда не выѣзжала и почти никого не принимала къ себѣ, находя всѣхъ сосѣдей людьми, недостойными ея знакомства. Съ нею жили три компань-

онки, внучекъ, котораго приготовлялъ къ корпусу Помада, и внучка, дѣвочка лѣтъ семи. Мать этихъ дѣтей, разставшись съ мужемъ, вѣтрилась гдѣ-то за границей и о ней здѣсь никто не думалъ.

Съ отъѣздомъ ученика въ Питеръ, Помада было опять призадумался, что съ собой дѣлать, но добрая камергерша позвала его какъ-то къ себѣ и сказала:

— Monsieur Pomada! Если вы не имѣете никакихъ опредѣленныхъ плановъ насчетъ себя, то не хотите ли вы пока заняться съ Леночкой? Она еще мала, серьезно учить ее рано еще, но вы можете ее такъ, шутя... ну, понимаете... поучивать, читать ей чистописаніе... Я, право, дурно говорю по-русски, но вы меня понимаете?

Помада отозвался, что совершенно понимаетъ, и остался читать дѣвочкѣ чистописаніе.

«А тѣмъ временемъ,—думалъ онъ,—что-нибудь и опять трафится».

Такъ опять уплылъ годъ и другой, и Юстинъ Помада все читалъ чистописаніе. Въ это время камергерша только два раза имѣла съ нимъ разговоръ, касавшійся его личности. Въ первый разъ, черезъ годъ послѣ отправленія внучка, она объявила Помадѣ, что она приказала управителю расчесть его за прошлый годъ по сту пятидесяти рублей, прибавивъ при этомъ:

— Вы сами, monsieur Помада, знаете, что за Леночку нельзя платить столько, сколько я платила за Теодора.

А во второй разъ, опять черезъ годъ, она сказала ему, что намѣрена освѣжить стѣны въ домѣ новыми бумажками и потому проситъ его перейти на нѣкоторое время въ конторскій флигель. Юстина Помаду перевели въ два дощатые чулана, устроенные при столярной въ конторскомъ флигелѣ, и такъ онъ тутъ и остался на застольной, несмотря на то, что стѣны его бывшихъ комнатъ въ домѣ уже второй разъ подговаривались, чтобы ихъ послѣ трехъ лѣтъ снова освѣжили бумажками. А «тѣмъ временемъ» въ село перевели новаго священника съ молодой дочкой. Бахаревъ лѣтомъ сталъ жить въ деревнѣ, Помада познакомился съ нимъ на охотѣ и сдѣлался ежедневнымъ посѣтителемъ бахаревскаго дома. И семья священника, и семья Бахарева не питали къ Помадѣ особеннаго расположенія, но привыкли къ нему какъ-то и считали его своимъ человѣкомъ. Помада

былъ этимъ очень доволенъ и, по нѣжности своей натуры, на-смерть привязался ко всѣмъ членамъ этихъ семействъ совершенно безразличною привязанностью. Онъ любилъ и самого прямодушнаго Бахарева, и его пискливую половину, и слабонервную Зину, и пустую Софи, и матушку попадью, и веселаго отца Александра, посвящавшаго все свое свободное время изобрѣтенію perpetuum mobili. Особымъ расположеніемъ Помады пользовался только одинъ уѣздный врачъ, Дмитрій Петровичъ Розановъ, лѣкарь cum eximia laude. Онъ былъ лѣтъ на пять старѣе кандидата, составилъ себѣ въ уѣздѣ весьма мудреную репутацію и имѣлъ неотразимый авторитетъ надъ Юстиномъ Помадой. Помада часто съ нимъ споривалъ и возмущался противъ его «грубыхъ положеній», но очень хорошо зналъ, что послѣ его матери Розановъ единственное лицо въ мірѣ, которое его любитъ, и самъ любилъ его безъ мѣры. Управитель ненавидѣлъ Помаду Богъ вѣсть за что, и дворня его тоже не любила. Даже столярный ученикъ, пятнадцатилѣтній мальчикъ Епифанька, отряженный для услугъ Помадѣ, ненавидѣлъ его отъ всего сердца и повиновался только изъ страха, что неравно наѣдетъ лѣкарь и оттаскаетъ его, Епифаньку, за виски. Кого бы вы ни спросили о Помадѣ, какой онъ человѣкъ,—старъ и малъ отвѣтитъ только: «такъ, изъ поляковъ», и словно въ этомъ «изъ поляковъ» высказывалось категорическое обвиненіе Помады въ такомъ проступкѣ, послѣ котораго о немъ ужъ и говорить не стоило. А въ существѣ-то Помаду никакъ нельзя было и назвать полякомъ. Выросши въ Россіи и воспитавшись въ русскихъ училищахъ, онъ былъ совершенно русскій и даже самъ не считалъ себя полякомъ. Отецъ на него не имѣлъ никакого вліянія, и если что въ немъ отражалось отъ его дѣтской семейной жизни, то это развѣ вліяніе матери, которая жила вѣчными упованіями на справедливость рока.

И, слѣдуя строго
Печальной отчизны примѣру,
Въ надежду на Бога
Хранила все дѣтскую вѣру.

Но какъ бы тамъ ни было, а только Помаду въ меревскомъ дворѣ такъ ни за что, ни про что, а никто не любилъ. До такой степени не любили его, что когда онъ, протащившись мокрый по двору, простоналъ у двери: «отворите,

Бога ради, скорѣе», столяръ Алексѣй, слышавшій этотъ стонъ съ перваго раза, заставилъ его простонать еще десять разъ, прежде чѣмъ протянулъ съ примостка руку и отсунулъ клямку.

— Епифаньку, сдѣлай милость, пошли, Алексѣй, — простоналъ снова Помада, перенося за порогъ ногу.

— Спитъ Епифанька. Гдѣ теперь вставать ребенку,— отвѣчалъ столяръ, посылающій этого же Епифаньку ночью за шесть верстъ къ своей разлапушкѣ.

— Побуди, Бога ради,—я расшибся нà-смерть.

— Гдѣ такъ?

— О, Господи! Да полно тебѣ разспрашивать, — побуди, говорю.

Столяръ сталъ чесаться, а Помада вошелъ въ свои апартаменты.

Въ первой комнатѣ, имѣвшей три шага въ квадратѣ, у него стоялъ ушатъ съ водой, плетеный стулъ съ продавленной плетенкой и мочальная швабра. Тутъ же выходило устье варистой печи, задернутое полоской диконькаго, пестраго ситца, навѣшеннаго на шнурочкѣ. Во второй комнатѣ стояла желтая, деревянная кроватка, покрытая кашемировымъ одѣяломъ, съ одною подушкою въ довольно грязной наволочкѣ, черный столикъ съ большою круглою чернильницею синяго стекла, полки съ книгами, три стула и старая, довольно хорошая отоманка, на которой обыкновенно, заѣзжая къ Помадѣ, спалъ лѣкарь Розановъ.

Кандидатъ, какъ вошелъ, такъ и упалъ на кровать и громко вскрикнулъ отъ ужасной боли въ плечѣ и колѣнѣ.

Долго лежалъ онъ, весь мокрый, охая и стоная, прежде чѣмъ на порогѣ показался Епифанька и недовольнымъ тономъ пробурчалъ:

— Что̀ вамъ нужно?

— Гдѣ ты бываешь, паршивый? — сквозь зубы проговорилъ Помада.

— Гдѣ? Напрасно не сидѣлъ для васъ всю ночь.

— Стащи съ меня сапоги.

Мальчикъ глянулъ на сапоги и сказалъ:

— Гдѣ это такъ вобрались?

— Я расшибся; потише, Бога ради.

Вволю накричался Помада, пока его раздѣлъ Епифанька, и упалъ безъ памяти на жесткій тюфякъ.

Въ обѣдъ пришла костоправка, старушка - однодворка. Стали будить Помаду, но онъ ничего не слыхалъ. У него былъ глубокій обморокъ, вслѣдъ за которымъ почти непосредственно начался жестокій бредъ и страшный пароксизмъ лихорадки.

Такое состояніе у больного не прекращалось цѣлыя сутки: костоправка растерялась и не знала, что̀ дѣлать. На другое утро доложили камергершѣ, что учитель ночью гдѣ-то расшибся и лежитъ теперь безъ ума, безъ разума. Та испугалась и послала въ городъ за Розановымъ, а между тѣмъ старуха, не предвидя никакой возможности разобрать, что̀ дѣлается въ плечевомъ сочлененіи подъ высоко-поднявшеюся опухолью, все «вспаривала» больному плечо разными травками да муравками. Не нашли Розанова въ городѣ, — былъ гдѣ-то на слѣдствіи, а Помада все оставался въ прежнемъ состояніи, переходя изъ лихорадки въ обморокъ, а изъ обморока въ лихорадку. И страшно стоналъ онъ, и хотѣлось ему метаться, но при первомъ движеніи нестерпимая боль останавливала его, и онъ снова впадалъ въ безпамятство.

На третьи сутки, въ то самое время, какъ Егоръ Николаевичъ Бахаревъ, возсѣдая за прощальнымъ завтракомъ по случаю отъѣзда Женни Гловацкой и ея отца въ уѣздный городокъ, вспомнилъ о Помадѣ, Помада въ первый разъ пришелъ въ себя, открылъ глаза, повелъ ими по комнатѣ и, посмотрѣвъ на костоправку, заснулъ снова. До вечера онъ спалъ спокойно, и вечеромъ, снова проснувшись, попросилъ чаю.

Ему подали чай, но онъ не могъ поднять руки, и старуха поила его съ блюдца.

— Что̀, Николавна? — проговорилъ онъ, обращаясь къ давно ему знакомой костоправкѣ.

— Что, батюшка?

— Худо мнѣ, Николавна.

— Ничего, батюшка, пройдетъ,—и не то, да проходитъ.

— А что у меня такое?

— Ничего, родной.

— Сломано что, или свихнуто?

— Опухъ очень большой, кормилецъ, ничего знать подъ нимъ, подъ опухомъ-то, нельзя.

— Гдѣ опухоль?—тихо спросилъ Помада.

— Да вотъ плечико-то, видишь, какъ разнесло.

— А!

— Да, вздумшись все.

Больной снова завелъ глаза, но ему ужъ не спалось.

— Николавна!—позвалъ онъ.

— Что, батюшка?

— Ты за мной хорошо глядѣла?

— Какъ же не глядѣть!

— То-то. Я тебя за это награждать желаю.

— Спасибо, кормилецъ. Я здли всякаго, здли всякаго завсегда готова, что̀ только могу...

— Я тебѣ штаны подарю,—тихо перебилъ ее съ легкой улыбкой Помада.

— Штаны-ы?—спросила старуха.

— Да. Суконныя,—важныя штаны, со штрипками.

— На что̀ мнѣ твои штаны?

— Зимой будешь ходить. Я тебя научу, что̀ тамъ передѣлать придется. Теплынь будетъ!

— Охъ ты!

— Чего?

— Полно. Нѣшъ я изъ корысти какой! А то взаправду хоть и подари: я себѣ безрукавочку такую, курточку сошью; подари. Только я, вѣдь, не изъ-за этого. Я что̀ умѣю, тѣмъ завсегда готова.

— Да жаль, что ничего не умѣешь-то.

— Ну,—что̀ умѣю, родной.

— Да что жъ умѣешь? Вонъ видишь, говоришь: «опухъ великъ», ничего не разберешь, значитъ.

— Точно, опухъ ужъ очень вздулся, великъ.

— Ахъ!

Помада вздохнулъ и хотѣлъ повернуться лицомъ къ стѣнѣ, но боль его удержала и онъ снова остался въ прежнемъ положеніи.

Наступила и ночь темная. Старуха зажгла свѣчечку и усѣлась у столика. Помада вспомнилъ мать, ея ласки теплыя, веселую жизнь университетскую, и скучно, скучно ему становилось.

«Что же это, однако, будетъ со мной?» — думалъ онъ и спросилъ:

— А что̀ со мною будетъ, Николавна?

— Ничего, милый, — дохтарь завтра, баютъ, пріѣдетъ. Онъ сичасъ узнаетъ.

— Онъ, значитъ, больше твоего знаетъ?

— Ну,—ученые люди, или мы?

— А ты-то что̀ со мной дѣлала?

— Вспаривала,—что жъ еще дѣлать? Опухъ великъ, ничего нельзя дѣлать.

— Сѣномъ парила?

— Нѣтъ, травками.

— То-то, изъ сѣна?

— Все-то ты пересмѣшничаешь надо мной.

— Да развѣ не все равно травы, что̀ у тебя, что̀ на сѣнникѣ?

Старуха сощипнула со свѣчи, потомъ потянула губы, потомъ вздохнула и проговорила:

— Нѣтъ, милый, есть травы тоже рѣдкія.

— Да ты-то ихъ, Николавна, не знаешь?

— Ну, какъ не знать!

— Ну, разскажи, какія ты знаешь травы рѣдкія-то, что въ сѣнѣ ихъ нѣтъ?

— Что въ сѣнѣ-то нѣтъ! Мало ли ихъ!

— Ну!

— Да мало ли ихъ!

— Да ну же, разскажи, Николавна,—спать не хочется.

— Ну, вотъ тебѣ хошь бы первая теперь трава есть, называется коптырь-трава, растетъ она корешкомъ вверхъ.

Помада засмѣялся и охнулъ.

— Чего ты?

— Ну, какая трава корешкомъ вверхъ можетъ расти?

— А вотъ же растетъ и твѣты у нея подъ землей твѣтутъ.

Помада опять охнулъ и махнулъ рукой, удерживая смѣхъ, причинявшій ему боль.

— Что? не вѣришь? А полисада-трава вонъ и совсѣмъ безъ корня.

— Полно, Николавна,—не смѣши.

— Я и не на смѣхъ это говорю. Есть всякія травы. Напримѣръ, теперь, кто хорошо знается, опять находятъ лепестанъ-траву. Такая мокрая трава называется. Что ты ее больше сушишь, то она больше мокнетъ.

— Охъ, будетъ, Николавна, — вздоръ какой ты разсказываешь.

— Нѣтъ, другъ ты мой, не вздоръ это, не вздоръ. Есть всякія травы на свѣтѣ. Есть и въ травахъ-то своя разница. Иная трава больше стоитъ у Господа, а другая — меньше. Иная одно опредѣленіе отъ Бога имѣетъ, а иная и два, и три, и нѣсколько. Есть вотъ трава, такъ называется Адамова голова. Растетъ она возлѣ сильныхъ, рамедныхъ болотъ кустиками, по пяти и по девяти листовъ. Растетъ она въ четыре вершка, вотъ эстакенькая вотъ будетъ. — Старуха показала вершка четыре отъ столика. — Твѣтъ у этой у травы алый, алый, въ родѣ даже какъ синій. И когда она расцвѣтетъ, страсть тутъ какъ хороша бываетъ. И этую траву рвутъ со крестомъ, говоря Отчу и помилуй мя, Боже, — или же какихъ другихъ тридцать молитвъ святыхъ. Этой-то вотъ травой что можно сдѣлать на свѣтѣ! Все ею можно сдѣлать. Этой травой пользуютъ испорченнаго человѣка, или у кого нѣтъ плоду дѣтямъ, то дать той женщинѣ пить,—сейчасъ отъ этого будетъ плодъ. Если жъ опять кто хочетъ видѣть дьявола, то пусть возьметъ онъ корень этой травы и положитъ его на сорокъ дней за престолъ, а потомъ возьметъ, ушьетъ въ ладанку, да при себѣ и носитъ,—только чтобъ во всякой чистотѣ,— то и увидитъ онъ дьяволовъ воздушныхъ и водяныхъ... Или опять на случай пріостановленія мельницы, то вода остановится, гдѣ только пожелаешь. Это трава богатая, любимая у Бога травка, и называется эта травка во всѣхъ травахъ царь... Спишь, родной?

Старуха нагнулась къ больному, который сладко уснулъ подъ ея говоръ, перекрестила его три раза древнимъ большимъ крестомъ и, свернувшись ежичкомъ на отоманкѣ, уснула тѣмъ спокойнымъ сномъ, какимъ врядъ ли намъ съ вами, читатель, придется засыпать въ ея лѣта.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Лѣтнее утро.

Стояло сѣрое лѣтнее утро. Тучъ на небѣ не было, но и солнце не выглядывало, воздухъ едва колебался тихими, несмѣлыми порывами чрезмѣрно теплаго вѣтерка. Такія лѣтнія утра въ серединной Россіи необыкновенно благопріятно дѣйствуютъ на всякое живое существо, до изнеможенія согрѣтое знойными днями. Такимъ утрамъ обыкновенно предшествуютъ теплыя, безлунныя ночи, хорошо зна-

комыя охотникамъ на перепеловъ. Чудныя дѣла дѣлаются съ этой птицей въ такія чудныя ночи! Всегда падкій на сладострастную приманку, перепелъ тутъ какъ будто совсѣмъ одурѣваетъ отъ неукротимыхъ влеченій своего крошечнаго организма. Заслышавъ манящій кликъ залегшаго въ хлѣбахъ вабильщика, онъ мигомъ срывается съ мѣста и мчится на роковое свиданіе; толкаясь сѣрою головкою о розовые корешки растущихъ хлѣбовъ. Только разставишь сѣтку, только уляжешься и начнешь вабить, подражая голосу перепелки, а ужъ гдѣ-то, загончика за два, за три откликается пернатый Донъ-Жуанъ. Въ другое время, въ свѣтлую лунную ночь его все-таки нужно поманывать умненечко, осторожно, соображая предательскій звукъ съ разстояніемъ жертвы; а въ теплыя безлунныя ночи, предшествующія сѣрымъ днямъ, птица совершенно ошалѣваетъ отъ сладострастья. Тутъ не нужно съ нею никакой осторожности. Не успѣешь сообразить, какъ далеко находится птица, отозвавшаяся на первую поманку, и поманишь ее потише, думая, что она все-таки еще далеко, а она уже отзывается близехонько. Кликнешь потихоньку въ другой разъ—больше уже и вабить не надо. Сладострастно-нетерпѣливое оханье слышится въ двухъ шагахъ, и между розовыхъ корней хлѣба лѣзетъ перепелъ. Тутъ онъ уже не мчится сумасшедшимъ бедуиномъ, а какъ-то плетется, тяжело дыша и безпрестанно оглядываясь во всѣ стороны. Еще разъ поманутъ его уже никакъ невозможно, потому что самый тихій звукъ вабилки заведетъ птицу дальше чѣмъ нужно. Тутъ только лежишь и, удерживая смѣхъ, смотришь подъ сѣтку, а перепелъ все лѣзетъ, лѣзетъ, шумя стебельками хлѣба, и вдругъ предстаетъ глазамъ охотника въ самомъ смѣшномъ видѣ. Кто имѣлъ счастье живать лѣтомъ на Крестовскомъ или преимущественно въ деревнѣ Коломягѣ и кто бродилъ раннимъ утромъ по тощимъ полямъ, начинающимся за этою деревнею, тотъ легко можетъ представить себѣ нашихъ перепеловъ. Для этого стоитъ припомнить чиннаго петербургскаго нѣмца, преслѣдующаго рано, на зорькѣ, крестьянскихъ дѣвушекъ. Нѣмецъ то бѣжитъ полемъ, то присядетъ въ рожь, такъ, что его совсѣмъ тамъ не видно, то надъ колосьями снова мелькнетъ его черная шляпа; и вдругъ, заслышавъ веселый хохотъ совсѣмъ въ другой сторонѣ, онъ встанетъ, вздохнетъ и, никого не видя глазами, водитъ во

всѣ стороны своимъ тевтонскимъ клювомъ. Панталонишки у него всѣ подтрепаны отъ утренней росы, оживившей тощія, холодныя поля; фалды сюртучка тоже мокры, руки красны, колѣна трясутся отъ безпрестанныхъ пригинаній и прискакиваній, а свернутый трубкой ротъ совершенно сухъ отъ тревогъ и томленья. Таковъ бываетъ и перепелъ, когда, прекращая стремительный бедуинскій бѣгъ между розовыми корешками высокихъ тоненькихъ стеблей, онъ таетъ отъ нетерпѣливаго желанія угасить пламень пожирающей его страсти. Толчется пернатый сластолюбецъ во всѣ стороны и глаза его не докладываютъ ему ни о какой опасности. Онъ весь мокръ, сѣренькія перышки на его маленькихъ голеняхъ слиплись и свернулись; мокрый хвостикъ вытянулся въ двѣ фрачныя фалдочки; крылышки то трепещутся, оживляясь страстью, то отпадаютъ и тащатся, окончательно затрепываясь мокрою полевою пылью; головенка вся взъерошена, а крошечное сердчишко тревожно бьется, и сильно спирается въ маленькомъ зобикѣ скорое дыханіе. Метнется отуманенная страстью пташка туда, метнется сюда и вдругъ на вашей щекѣ чувствуется прикосновеніе ея холодныхъ лапокъ и мокраго, затрепаннаго фрачка, а надъ ухомъ раздается сладострастный вздохъ. Надо имѣть много равнодушія, чтобы не разсмѣяться въ такую минуту. Самый серьезный русскій мужичокъ, вабящій перепеловъ въ то время, когда ему нужно бы дать покой своимъ усталымъ членамъ, всегда добродушно относится къ обтрепанному франту. «Ахъ ты, поганецъ, этакой!» скажетъ онъ съ ласковой улыбкой и тихонько опуститъ пернатаго фертика въ рѣшето, надшитое холщевымъ мѣшечкомъ.

Такая чудотворящая ночь предшествовала тому покойному утру, въ которое Петръ Лукичъ Гловацкій выѣхалъ съ дочерью изъ Мерева въ свой уѣздный городъ. Отъ всякой другой поры подобныя утра отличаются, между прочимъ, совершенно особеннымъ вліяніемъ на человѣческую натуру. Человѣкъ въ такую пору бываетъ какъ-то спокоенъ, тихъ и безкорыстенъ. Даже ярмарочные купцы, проѣзжая на возахъ своего гнилого товара, не складаютъ тогда въ головахъ барышей и прибытковъ и не клюютъ носомъ, предаваясь соблазнительнымъ мечтамъ о ловкомъ банкротствѣ, а ѣдутъ молча, смотря то на поле, волнующееся подъ легкимъ набѣгомъ теплаго вѣтерка, то на задумчиво стоящія

деревья, то на тонкій парокъ, поднимающійся съ сонного озерца или рѣчки.

Рѣдко самая заскорузлая торговая душа захочетъ нарушить этотъ покой отдыхающей природы и перемолвиться словомъ съ товарищемъ или приказчикомъ. Да и то заговоритъ эта душа не о себѣ, не о своихъ хлопотахъ, а о той же спокойной природѣ.

— Ишь, птица-то полетѣла,—скажетъ ярмарочникъ, слѣдя за поднявшейся изъ хлѣбовъ птахою.

— Да,—отвѣтитъ товарищъ или приказчикъ.

И опять ѣдутъ тихо.

— Должно, у нея тутъ гдѣ-нибудь дѣти есть,—опять замѣтилъ приказчикъ.

— А можетъ и перелетная.

— Да, можетъ что и перелетная, — предположитъ приказчикъ.

И опять разговоръ оборвется, и опять ѣдутъ тихо.

Женни съ отцомъ ѣхала совсѣмъ молча. Старикъ только иногда взглядывалъ на дочь, улыбался совершенно счастливой улыбкой и снова впадалъ въ чисто созерцательное настроеніе. Женни была очень серьезна, и спокойная задумчивость придавала новую прелесть ея свѣжему личику.

На половинѣ короткой дороги отъ Мерева къ городу имъ встрѣтилъ меревскій Нарцисъ.

Конторщикъ скоро шелъ по опушкѣ мелкаго кустарника и, завидѣвъ Петра Лукича, быстро направился къ дорогѣ.

— Здравствуйте, батюшка Петръ Лукичъ!—кричалъ он, снимая широкодонный картузъ съ четыреугольнымъ козырькомъ.

— Здравствуйте, Наркисъ Григорьевичъ,—отвѣчалъ Г[illegible]вацкій.

Лошадь остановилась.

— Охотился?

— Да, половилъ перепелочковъ немножко, Петръ Лукич[illegible]

— Ты самъ-то, братъ, точно перепелъ,— улыбаясь замѣтилъ смотритель.

— Да вѣдь, батюшка, отрепишься съ ними, съ безпутниками. Это ужъ такая дичь низкая.

Нарцисъ, точно, былъ похожъ на перепела. Пыль и полевой соръ насѣли на его росные сапоги и заправленные

въ голенища панталоны; синій сюртучокъ его тоже былъ мокръ и мѣстами сильно запачканъ.

За плечами у конторщика моталась перепелиная сѣтка и рѣшето съ перепелами.

— Что-жъ, какъ полевалъ?

— Много-таки, батюшка, наловилъ. Нынче они глупы въ такую-то ночь бываютъ,—сами лѣзутъ.

— На что ихъ ловятъ?—спросила Женни.

— А вотъ, матушка, на жаркое, пашкеты тоже готовятъ и въ торговлю идутъ они.

— Вы ими торгуете?

— Я?—Нѣтъ, я такъ только, для охоты ловлю ихъ. Иной съ пѣвомъ удается, ну того содержу, а то такъ.

— Выпускаете?

— Нѣтъ, на что выпускать? — Да вотъ позвольте вамъ, сударыня, презентовать на новоселье.

— На что же они мнѣ?

— На что угодно, матушка.

— Ну, бери, Женни, на новоселье.

Нарцисъ поставилъ на колѣни дѣвушки рѣшето съ перепелами и, простившись, пошелъ своей дорогой, а дрожки покатились къ городу, который точно выросъ передъ Гловацкими, какъ только они обогнули маленькій лѣсной островочекъ.

— Узнаешь, Женичка? Вонъ соборная глава, а это Иванъ Крестителя куполъ: узнаешь?

— Какое все маленькое это стало, — задумчиво проговорила Женни.

— Маленькое! Это тебѣ такъ кажется послѣ Москвы. Все такое же, какъ и было. Ты смотри, смотри, вонъ судьи домъ, вонъ бойницы за городомъ, гдѣ скотъ бьютъ, вонъ каланча. Каланча-то, видишь желтую каланчу? Это надъ городническимъ домомъ.

Женни все смотрѣла впередъ и ручкою безотчетно выпускала одного перепела за другимъ.

— Э, да ты ихъ почти всѣхъ повыпустила, — замѣтилъ Гловацкій.

— Да. Смотрите-ка, смотрите.

Женни вынула еще одну птичку, и еще одну, и еще одну. На лицѣ ея выражалось совершенное, дѣтское счастье, когда она слѣдила за отлетавшими съ ея руки перепелами.

— Ты ихъ всѣхъ выпустишь?

— Всѣхъ выпущу,—весело отвѣтила она, раскрывая разомъ пришитый къ рѣшету бездонный мѣшокъ.

Перепела засуетились, увидя надъ собою вольное небо, вмѣсто грязной холщевой покрышки, жались другъ къ другу, присѣдали на ножкахъ, и одинъ за другимъ быстро подшмались на воздухъ.

— Вотъ теперь славно,—проговорила она, ставя въ ноги пустое рѣшето.—Хорошо, что я взяла ихъ

— Дитя ты, Женичка.

— Отчего же, папа, дитя; пусть ихъ летаютъ на волѣ.

— Ихъ завтра опять поймаютъ.

— Нѣтъ, ужъ они теперь не попадутся.

Гловацкій засмѣялся. Въ его сѣдой головѣ мелькнула мысль о страстяхъ, о ловушкахъ, и веселая улыбка замѣнилась выраженіемъ трепетной отцовской заботы.

— Боже, Господи милосердый, спаси и сохрани ее! — прошепталъ онъ, когда дрожки остановились у воротъ уѣзднаго училища.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Колыбельный уголокъ.

Петръ Лукичъ Гловацкій съ самаго дня своей женитьбы отдавалъ Женинъ приданый домъ внаймы, а самъ постоянно обиталъ въ небольшомъ каменномъ флигелькѣ подвѣдомственнаго ему уѣзднаго училища. Въ этотъ самый каменный флигель, двадцать три года тому назадъ, онъ привезъ изъ церкви молодую жену, здѣсь родилась Женни, отсюда же Женни увезли въ институтъ и отсюда же унесли на кладбище ея мать, о которой такъ тепло вспоминала игуменья. Училищный флигель состоялъ всего изъ пяти очень хорошихъ комнатъ, выходившихъ частью на чистенькій, всегда усыпанный желтымъ пескомъ дворъ уѣзднаго училища, а частью въ старый густой садъ, тоже принадлежащій училищу, и наконецъ, изъ трехъ оконъ залы была видна огибавшая городъ рѣчка Саванка. На дворѣ училища было постоянно очень тихо, но все-таки дворъ два раза въ день оглашался веселыми, рѣзкими голосами школьниковъ, а ужъ зато въ саду, начинавшемся за смотрительскимъ флигелемъ, постоянно царила ненарушимая, глубокая тишина. Въ этотъ садъ выходили два окна залы (два другія

окна этой комнаты выходили на берегъ рѣчки, за которою кончался городъ и начинался безконечный заливной лугъ), да въ этотъ же садъ смотрѣли окна маленькой гостиной съ стеклянною дверью и угловой комнаты, бывшей нѣкогда спальнею смотрительши, а нынче будуаромъ, кабинетомъ и спальнею ея дочери. Рядомъ съ этой комнатой былъ кабинетъ смотрителя, изъ котораго можно было обозрѣвать весь дворъ и окна классныхъ комнатъ, а далѣе, между кабинетомъ и передней, находился очень просторный покой со множествомъ книгъ, уставленныхъ въ высокихъ шкафахъ, четыреугольнымъ столомъ, застланнымъ зеленымъ сукномъ, и двумя сафьянными отоманками. Только и всего помѣщенія было въ смотрительской квартирѣ! Но зато все въ ней было такъ чисто, такъ уютно, что никому даже въ голову не пришло бы желать себѣ лучшаго жилища. А ужъ о комнатѣ Женни и говорить нечего. Такая была хорошенькая, такая дѣвственная комнатка, что стоило въ ней побыть десять минутъ, чтобы начать чувствовать себя какъ-то и спокойнѣе, и выше, и чище, и нравственнѣе. Старинныя кресла и диванъ свѣтлаго березоваго выплавка, съ подушками изъ шерстяной матеріи бирюзоваго цвѣта, такого же цвѣта занавѣси на окнахъ и дверяхъ; той же березы письменный столикъ съ туалетомъ и кроватка, закрытая бѣлымъ покрываломъ, да нѣсколько растеній на окнахъ и больше ровно ничего не было въ этой комнаткѣ, а между тѣмъ всѣмъ она казалась необыкновенно полнымъ и комфортабельнымъ покоемъ.

— Вотъ твой колыбельный уголочекъ, Женичка,—сказалъ Гловацкій, введя дочь въ эту комнату.—Здѣсь стояла твоя колыбелька, а материна кровать вотъ тутъ, гдѣ и теперь стоитъ. Я ничего не трогалъ послѣ покойницы, все думалъ: пріѣдетъ Женя, тогда какъ сама хочетъ,—захочетъ, пусть измѣняетъ по своему вкусу, а не захочетъ, пусть оставитъ все по-материному.

И Евгенія Петровна зажила въ своемъ колыбельномъ уголкѣ, оставивъ здѣсь все по-старому. Только надъ березовымъ комодомъ повѣсили шитую картину, подаренную матерью Агніею, и на комодѣ появилось нѣсколько книгъ.

— Возьмешься, Женни, хозяйничать? — спросилъ Петръ Лукичъ дочь на другой день пріѣзда въ городъ.

— Какъ же, папа, непремѣнно.

— То-то, какъ хочешь. У меня хозяйство маленькое и люди честные, но, по-моему, дѣвушкѣ хорошо заняться этимъ дѣломъ.

— Разумѣется, папа, разумѣется.

— Нынче этимъ пренебрегаютъ, а напрасно, право напрасно.

— И нынче, папа, я думаю, не всѣ пренебрегаютъ: это не одинаково.

— Конечно, конечно, не всѣ, только я такъ говорю... Знаешь, — старческая слабость: все какъ ты ни гонись, а все старыя-то симпатіи, какъ старыя ноги, сзади волокутся. Впрочемъ, я не спорщикъ. Вотъ моя молодая команда, такъ тѣ горячо заварены, а, впрочемъ, ладимъ, и отлично ладимъ.

— Агнія Николаевна очень строго судитъ молодыхъ.

— Она и старымъ, другъ мой, не даетъ спуску: брюзжитъ немножко, а женщина весьма добрая, весьма добрая.

— На брата жаловалась.

Старикъ добродушно улыбнулся.

— Да, вотъ чудакъ-то! Нашелъ, гдѣ свой обличительный методъ прикладывать.

— И вы, папа, молодыхъ людей тоже, кажется, не долюбливаете?

— Отчего же, мой другъ! Только вотъ они нынче рѣзковаты становятся, точно ужъ рѣзковаты. Можетъ-быть, это намъ такъ кажется. Да вѣдь, право, нельзя все такъ круто. Старики не правы, что не умѣютъ стерпѣть, да и молодежь не права. У старости тоже есть свои права и свои привычки.—Снисходить бы не грѣшно было немножко. Я естественныхъ наукъ не знаю вовсе, а все мнѣ думается, что мозгъ, привыкшій понимать что-нибудь такъ, не можетъ скоро понимать что-нибудь иначе. Такъ что-жъ и сердиться. Надо снисходить. Народъ говоритъ, что и у воробья, и у того есть амбиція, а человѣкъ, какой бы онъ ни былъ, если только мало-мальски самостоятеленъ, все-таки не хочетъ быть поставленъ ниже всѣхъ. Вотъ хоть бы у насъ, — городокъ, вѣдь, небольшой, а таки-торговый, есть люди зажиточные, и газеты, и журналы кое-кто почитываютъ изъ купечества, и умныхъ людей не обѣгаютъ. — Старикъ улыбнулся и сквозь смѣхъ проговорилъ: — А знаешь, кто здѣсь зенитъ-то просвѣщенія? Это мы, я,

учители... Ну, вѣдь, и у насъ есть учители очень молодые, вотъ, напримѣръ, Зарницынъ Алексѣй Павловичъ, всего пятый годъ курсъ кончилъ, Вязмитиновъ, тоже пять лѣтъ какъ изъ университета; люди свѣжіе и неустанно слѣдящіе и за наукой, и за литературой, и притомъ люди добросовѣстно преданные своему дѣлу, а посмотри-ка на нихъ! Ты вотъ ихъ увидишь. Вотъ какъ мало-мальски оправишься, позовемъ ихъ вечеркомъ на чаекъ. Все, вѣдь, говорю, люди, которые смотрятъ на жизнь совсѣмъ не такъ, какъ наше купечество, да даже и дворянство, а посмотри, какого о нихъ мнѣнія всѣ?—Кого ни спроси, въ одно слово скажутъ: «прекрасные люди». Какъ-то у нихъ отношенія-то къ людямъ все человѣческія. Вотъ тоже докторъ у насъ есть, Розановъ, человѣкъ со странностями и даже не безъ рѣзкостей, но и у этого самыя рѣзкости-то какъ-то, затрудняюсь, право, какъ бы тебѣ выразить это... ну, только именно рѣзки, только выказываютъ прямоту и горячность его натуры, а вовсе не стремятся смять, уничтожить, стереть человѣка. Къ его рѣзкости здѣсь всѣ привыкли и нимало ею не тяготятся, даже очень его любятъ. А тѣ, вѣдь, всѣ какъ-то... право, ужъ и совсѣмъ не умѣю назвать. Вотъ и Ипполитъ нашъ, и Звягина сынъ, и Ступинъ молодой—второй годъ пріѣзжаютъ такіе мудреные, что гляжу, гляжу на нихъ, да и руки врозь. Какъ-то будто и дико съ ними. Право, я вотъ теперь смотритель, и, слава Богу, двадцать пятый годъ, и пенсійка ужъ недалеко: всякихъ людей видалъ, и всякихъ терпѣлъ, и со всѣми сживался, ни одного учителя во всю службу не представилъ ни къ перемѣщенію, ни къ отставкѣ, а воображаю себѣ, будь у меня въ числѣ наставниковъ твой братъ, непремѣнно долженъ бы искать случая отъ него освободиться. Нельзя иначе. Дѣтей всѣхъ разберутъ, что жъ изъ этого толку будетъ? Ты вотъ познакомишься съ ними, сама ихъ разберешь. Особенно рекомендую тебѣ Николая Степановича Вязмитинова. Дивный человѣкъ! Честный, серьезный и умница. Принимай хозяйство, а я ихъ и зазову.

Не велико было хозяйство смотрителя, а весь придворный штатъ его состоялъ изъ кухарки Пелагеи, да училищнаго сторожа, отставного унтера Яковлева, исправлявшаго должность лакея и ходившаго за толстою, обезножившею отъ настоя, смотрительскою лошадью. Женни въ два дня

вошла во всю домашнюю администрацію и на ея поясѣ появился крючокъ съ ключами.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Прогрессивные люди уѣзднаго города.

— Господа! вотъ моя дочь, Женичка! рекомендую тебѣ моихъ сотоварищей: Николай Степановичъ Вязмитиновъ и Алексѣй Павловичъ Зарницынъ, — проговорилъ смотритель, представляя, разъ вечеромъ, своей дочери двухъ очень благопристойныхъ молодыхъ людей.

Оба они на видъ имѣли не болѣе какъ лѣтъ по тридцати, оба были одѣты просто. Зарницынъ былъ невысокъ ростомъ, съ розовыми щеками и живыми черными глазами. Онъ смотрѣлъ немножко денди. Вязмитиновъ, напротивъ, былъ очень стройный молодой человѣкъ, съ блѣднымъ, нѣсколько задумчивымъ лицомъ и очень скромнымъ симпатичнымъ взглядомъ. Въ немъ не было ни тѣни дендизма. Вся его особа дышала простотой, натуральностью и сдержанностью.

Женни, сидѣвшая за столомъ, на которомъ весело шумѣлъ и посвистывалъ блестящій тульскій самоваръ, встала, привѣтливо поклонилась и покраснѣла. Ее видимо конфузила непривычная роль хозяйки.

— Безъ церемоніи, господа, — прошу васъ поближе къ самовару и къ хозяйкѣ, а то я боюсь, что она со мною, старикомъ, заскучаетъ.

— Какъ вамъ не грѣхъ, папа, такъ говорить, — тихо промолвила Женни и совсѣмъ зардѣлась какъ маковый цвѣточекъ.

— Петръ Лукичъ подговаривается, чтобы ему любезность сказали, что съ нимъ до сихъ поръ люди не скучали,—проговорилъ, любезно улыбаясь, Зарницынъ.

— Да, смѣйтесь, смѣйтесь! Нѣтъ, господа, ужъ какъ тамъ ни храбрись, а пора сознаваться, что отстаю, отстаю отъ вашихъ-то понятій. Бывало, что̀ ни читаешь, все это находишь такъ въ порядкѣ вещей и самъ понимаешь, и съ другимъ станешь говорить, и другой одинаково понимаетъ, а теперь иной разъ читаешь этакую тамъ статейку, или практическую замѣтку какую и чувствуешь, и сознаешь, что давно бы должна быть такая замѣтка, а какъ-то, Богъ его знаетъ... Просто, иной разъ глазамъ не вѣришь. Чув-

ствуешь, что правда это все, а рука-то своя ни за что бы не написала этого. Даже на подпись-то цензурную не разъ глянешь, думаешь: Господи! ужъ не такъ ли махнули, чего добраго? — А вамъ это все ничего, даже мало кажется. Я вонъ прочелъ въ приказахъ, что Павелъ Ивановичъ Чичиковъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года произведенъ изъ надворныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе совѣтники. Дѣло самое пустое: есть такой Чичиковъ, служитъ, его за выслугу лѣтъ и повышаютъ чиномъ, а мнѣ ужъ чортъ знаетъ что̀ показалось. Подсунули, думаю, такую исторію въ насмѣшку, а за эту насмѣшку и покатятъ на тройкахъ. Послѣ-то раздумалъ, а сначала... Нѣтъ, мы вѣдь другой школы, намъ теперь ужъ на васъ смотрѣть только, да внучатъ качать.

— А знаете, Евгенія Петровна, когда именно и по какому случаю послѣдовало отреченіе Петра Лукича отъ единомыслія съ людьми нашихъ лѣтъ?—опять, любезно осклабляясь, спросилъ Зарницынъ.

— Нѣтъ, не знаю. Папа мнѣ ничего не говорилъ объ этомъ.

— Во-первыхъ, не отъ единомыслія, а, такъ-сказать, отъ единоспособности съ вами,—замѣтилъ смотритель.

— Ну, это все равно,—перебилъ Зарницынъ.

— Нѣтъ, батюшка, Алексѣй Петровичъ, это не все равно.

— Ну, положимъ, что такъ, только произошло это въ Петрѣ Лукичѣ разомъ, въ одинъ пріемъ.

— Да, разомъ,—потому что разомъ я понялъ, что я человѣкъ неспособный дѣлать то, что̀ самымъ спокойнымъ образомъ дѣлаютъ другіе. Представь себѣ, Женя: встаю утромъ, беру принесенныя съ почты газеты, и читаю, что какой-то господинъ Якушкинъ имѣлъ въ Псковѣ исторію съ полицейскими,—тамъ заподозрили его, посадили за клинъ, ну, и потомъ выпустили,—ну, велика важность!—Конечно, оно непріятно, да мало ли чиновниковъ за клинъ сажали. Ну, выпустятъ и уходи скорѣй, благо отвязались; а онъ, какъ вырвался, и ну все это выписывать. Валяетъ и полиціймейстера, и вице-губернатора, да вѣдь какъ! Точно,— я самъ знаю, что въ Европѣ существуетъ гласность, и понимаю, что она должна существовать, даже... между нами говоря... (смотритель оглянулся на обѣ стороны и добавилъ, понизивъ голосъ), я самъ нѣсколько разъ «*Колоколъ*» чи-

талъ и не безъ удовольствія, скажу вамъ, читалъ; но у насъ-то, на родной-то землѣ, какъ же это, думаю?—Что жъ это обо всемъ, стало-быть, люди смѣютъ говорить?—А мы смѣли объ этомъ *подумать?* — Подумать, а не то, что говорить? — Не смѣли, да и что̀ толковать о насъ! А вотъ эти господа хохочутъ, а докторъ Розановъ говоритъ: я, говоритъ, сейчасъ самого себя обличу, что, получая сто сорокъ девять рублей годового жалованья, изъ коихъ половину удерживаетъ инспекторъ управы, восполняю свой домашній бюджетъ четырьмя стами шестьюдесятью рублями взяткообразно. Ну, а я, говорю, не обличу себя, что, по недостатку средствъ, употребляю училищнаго сторожа, Яковлевича, для собственныхъ услугъ. Не могу, говорю, смѣлости нѣтъ, цѣли не вижу, да и вообще, просто, не могу. Я другой школы человѣкъ. Я могу переводить Ювенала, да, быть-можетъ, вонъ соберу систематически матеріалы для исторіи Абассидовъ, но этого не могу; я другой школы, насъ учили классически; мы литературу не принимали гражданскимъ орудіемъ; мы не пріучены дѣйствовать, и не по силамъ намъ дѣйствовать.

— Ну, однако, изъ вашей-то школы выходили и иные люди, не все о маврскихъ династіяхъ размышляли, а тоже и дѣйствовали,—замѣтилъ Зарницынъ.

— А, а! Нѣтъ, батюшка, — извините. То совсѣмъ была не наша школа,—извините.

— Конечно, — въ первый разъ проронилъ слово Вязмитиновъ.

— Точно, виноватъ, я ошибся,—оговорился Зарницынъ.

— А теперь вонъ еще новая школа заходитъ, и попомните мое слово, что скоро она скажетъ и вамъ, Алексѣй Павловичъ, и вамъ, Николай Степановичъ, да даже, чего добраго, и доктору, что всѣ вы люди отсталые, для дѣла не годитесь.

— Это несомнѣнно,—замѣтилъ опять Вязмитиновъ.

— Да, вотъ вамъ, что̀ значитъ школа-то, и не годитесь, и пронесутъ имя ваше яко зло, несмотря на то, что директоръ нынче все настаиваетъ, чтобъ я почаще навертывался на ваши уроки. И будетъ это скоро, гораздо прежде, чѣмъ вы до моихъ лѣтъ доживете. Въ наше-то время отца моего учили, что отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ, и мнѣ то же твердили, да и мой сынъ

видѣлъ, какъ я не могъ отказываться отъ головки купеческаго сахарцу; а нынче все это двинулось, пошло, и школа будетъ смѣнять школу. Такъ, Николай Степановичъ?

— По-моему такъ.

— А такъ, такъ наливай, Женни, по другому стаканчику. Тебѣ, я думаю, мой дружочекъ, наскучилъ нашъ разговоръ. Плохо мы тебя занимаемъ. У насъ все такъ, что поспоримъ, то будто какъ и дѣло сдѣлаемъ.

— Напротивъ, папа, зачѣмъ вы такъ думаете? Меня это очень занимаетъ.

— Да! Вонъ видите, школа-то: мѣсяца нѣтъ какъ съ институтской скамьи, а ее занимаетъ. Попробуйте-ка Оленьку Розанову такимъ разговоромъ занять.

— Ну, еще кого вспомнили!

— Чего, батюшка мой? Она, вѣдь, вонъ о самостоятельности тоже изволитъ разсуждать, а мужъ-то? Съ такимъ мужемъ, какъ ея, можно до многаго додуматься.

— Да что жъ это онъ хотѣлъ быть, а не идетъ? — замѣтилъ Зарницынъ.

— Идетъ, идетъ,—отвѣчалъ изъ передней довольно симпатичный мужской голосъ, и на порогѣ залы показался человѣкъ лѣтъ тридцати двухъ, невысокаго роста, немного сутуловатый, но весьма пропорціонально сложенный, съ очень хорошимъ лицомъ, въ которомъ крупность чертъ выгодно выкупалась силою выраженія. Въ этомъ лицѣ выражалась какая-то весьма пріятная смѣсь энергіи, ума, прямоты, силы и русскаго безволья и распущенности. Докторъ былъ одѣтъ очень небрежно. Платье его было все пропылено, такъ что пыль въѣлась въ него и не отчищалась, рубашка измятая, шея повязана чернымъ платкомъ, концы котораго висѣли до половины груди.

— А мы здѣсь только-что злословили васъ, докторъ,— проговорилъ Зарницынъ, протягивая врачу свою руку.

— Да чѣмъ же вамъ болѣе заниматься на гулянкахъ, какъ не злословіемъ, — отвѣчалъ докторъ, пожимая мимоходомъ поданныя ему руки.—Прошу васъ, Петръ Лукичъ, представить меня вашей дочери.

— Женичка! — нашъ докторъ. Совѣтую тебѣ заискать его расположеніе, человѣкъ весьма нужный, случайный.

— Преимущественно для мертвыхъ, съ которыми имѣю постоянныя дѣла въ теченіе пяти лѣтъ сряду, — прогово-

рилъ докторъ, развязно кланяясь дѣвушкѣ, отвѣтившей ему ласковымъ поклономъ.

— А мы ужъ думали, что вы, по обыкновенію, не сдержите слова,—замѣтилъ Гловацкій.

— Ужъ и *по обыкновенію!* Эхъ, Петръ Лукичъ! Ужъ вотъ на кого Богъ-то, на того и добрые люди. Я, Евгенія Петровна, позвольте, ужъ буду искать сегодня исключительно вашего вниманія, уповая, что свойственная человѣчеству злоба еще не успѣла достичь вашего сердца, и вы конечно, не найдете самоуслажденія допиливать меня, чѣмъ занимается весь этотъ прекрасный городъ съ своимъ уѣздомъ и даже съ своимъ уѣзднымъ смотрителемъ, сосредоточивающимъ въ своемъ лицѣ половину всѣхъ добрыхъ свойствъ, отпущенныхъ намъ на всю нашу мѣстность.

Женни покраснѣла, слегка поклонилась и тихо проговорила:—Прикажете вамъ чаю?

— Гдѣ это васъ сегодня разобидѣли? — спросилъ смотритель.

— Вездѣ, Петръ Лукичъ, вездѣ, батюшка.

— А напримѣръ?

— А напримѣръ, исправникъ двѣсти раковъ съѣлъ и говоритъ: не могу завтра на вскрытіе ѣхать; фельдшеръ въ больницѣ бабу уморилъ ни за што, ни про што; двухъ рекрутъ на нашъ счетъ вернули; съ эскадроннымъ командиромъ разбранился; въ Хилковѣ бѣшеный волкъ человѣкъ пятнадцать на лугу искусалъ, а тутъ нѣмецъ Абрамзонъ съ женою мимо моихъ оконъ проѣхалъ,—бѣда да и только.

Всѣ, кромѣ Женни, разсмѣялись.

— Да, вамъ смѣхъ, а мнѣ хоть въ воду, такъ въ пору.

— Что-жъ вы сдѣлали?

— Что? Исправнику лошадиную кладь закатилъ и сказалъ, что если онъ завтра не поѣдетъ, то я ѣду къ другому тѣлу; бабу записалъ умершею отъ апоплексическаго удара, а фельдшеру далъ записочку къ городничему, чтобы тотъ съ нимъ позанялся; эскадронному командиру сказалъ: убирайтесь, ваше благородіе, къ чорту, я вашихъ мошенничествъ прикрывать не намѣренъ и написалъ, что слѣдовало; волка посовѣтовалъ исправнику казнить по полевому военному положенію, а отъ Ольги Александровны, взволнованной каретою нѣмца Ицки Готлибовича Абрамзона, ушелъ къ вамъ чай пить. Вотъ вамъ и все!

— Распоряженія все резонныя,—замѣтилъ Зарницынъ.

— Ну, какія есть: не хороши, другія присовѣтуйте.

— Фельдшера поучать, а онъ черезъ полгода другую бабу отравитъ.

— Черезъ полгода! Экую штуку сказалъ! Двѣ бабы въ годъ,—велика важность. А по-вашему не новаго ли было бы требовать?

— Конечно.

— Ну, нѣтъ, слуга покорный. Этотъ пару въ годъ отравитъ, а новый съ непривычки по парѣ въ мѣсяцъ спуститъ.—Что̀, батюшка, тутъ радикальничать-то? Лѣчить нечѣмъ, содержать не на что, да что̀ и говорить! Радикальничать, такъ по-моему надо изъ земли Илью Муромца вызвать, чтобы сѣлъ онъ на коня ратнаго, взялъ въ могучія руки булаву сто-пудовую, да и пошелъ бы насъ, православныхъ, крестить по маковкамъ, не разбирая ни роду, ни сану, ни племени.—А то, что̀ тамъ копаться! Idem per idem все будемъ Кузьма съ Демидомъ. — Нечего и людей смѣшить. Эхъ, не слушайте нашихъ мерзостей, Евгенія Петровна. Поберегите свое вниманіе для чего-нибудь лучшаго. Вы, пожалуйста, никогда не сидите съ нами. Не сидите съ моимъ другомъ, Зарницынымъ, онъ затмитъ вашъ дѣвственный умъ своей туманной экономіей счастья; не слушайте моего друга Вязмитинова, который погубитъ ваше свѣтлое мышленіе гегеліанскою ересью; не слушайте меня, преподлѣйшаго въ сношеніяхъ съ звѣрями, которые станутъ называть себя передъ вами разными кличками греко-россійскаго календаря; даже отца вашего, которому отпущена половина всѣхъ добрыхъ качествъ нашей проклятой Гоморы, и его не слушайте. Все васъ это спутаетъ, потому что все, что̀ ни выйдетъ изъ нашихъ устъ,—или злосмрадное дыханіе антихристово, или же хитросплетенныя лукавства, уловляющія свободный разумъ. Уйдите отъ насъ, гадкихъ и вредныхъ людей, и пожалѣйте, что мы еще, къ несчастію, не самые гадкіе люди своего просвѣщеннаго времени.

— Уйди, уйди, Женичка, —смѣясь, проговорилъ Гловацкій:—и вели давать, что̀ ты тамъ намъ поѣсть приготовила Нашъ медицинскій Гамлетъ всегда мраченъ...

— Безъ водки,—чего же было не договаривать! Я точно, Евгенія Петровна, люблю закусывать и счелъ бы позоромъ.

скрыть отъ васъ этотъ маленькій порокъ изъ обширной коллекціи моихъ пороковъ.

Женни встала и вышла въ кухню, а Яковлевичъ сталъ собирать со стола чай, за которымъ, по мѣстному обычаю, всегда почти непосредственно слѣдовала закуска.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Нежданный гость.

Въ то же время, какъ Яковлевичъ, вывернувъ кренделемъ локти, несъ подносъ, уставленный различными солеными яствами, а Пелагея, склонивъ на бокъ голову и закусивъ, въ знакъ осторожности, верхнюю губу, тащила другой подносъ съ двумя графинами разной водки, бутылкою хереса и двумя бутылками столоваго вина, по усыпанному пескомъ двору уѣзднаго училища простучалъ легкій экипажецъ. Вслѣдъ затѣмъ въ двери кухни, гдѣ Женни, засучивъ рукава, разбирала жареную индѣйку, вошелъ маленькій казачокъ и спросилъ: дома ли Евгенія Петровна?

— Дома, — отвѣтила Женни, удивленная, кто бы могъ о ней освѣдомляться въ городѣ, въ которомъ она никого не знаетъ.

— Это вы-съ?—спросилъ, осклабившись, казачокъ.

— Я, я,—кто тебя прислалъ?

— Барышня-съ къ вамъ пріѣхали.

— Какая барышня?

— Барышня, Елизавета Егоровна-съ.

— Лиза Бахарева! — въ восторгѣ воскликнула Женни, бросивъ кухонный ножъ и спѣша обтирать руки.

— Точно такъ-съ, онѣ пріѣхали,—отвѣчалъ казачокъ.

— Боже мой! гдѣ же она?

— На кабріолеткѣ-съ сидятъ.

Женни отодвинула отъ дверей казачка, выбѣжала изъ кухни и вспорхнула въ кабріолетъ, на которомъ сидѣла Лиза.

— Лиза! голубчикъ! дуся! ты ли это?

— А! видишь, я тебѣ, гадкая Женька, дѣлаю визитъ первая. Не говори, что я аристократка, — ну, поцѣлуй меня еще, еще. Ангелъ ты мой! Какъ я о тебѣ соскучилась — силъ моихъ не было ждать, пока ты пріѣдешь. У насъ гостей полонъ домъ, скука смертельная, просилась, просилась къ тебѣ,—не пускаютъ. Папа пріѣхалъ съ поля, я сѣла въ его кабріолетъ покататься, да вотъ и прикатила къ тебѣ.

— Будто такъ?

— Право.

Дѣвушки разсмѣялись, еще разъ поцѣловались, и обѣ соскочили съ кабріолета.

— Я, вѣдь, только на минуточку, Женни.

— Боже мой!

— Ну да. Какая ты чудиха! Тамъ, вѣдь, съ ума посходятъ.

— Ну пойдемъ, пойдемъ.

— А вы еще не спите?

— Нѣтъ, гдѣ же спать. Всего девять часовъ и у насъ гости.

— Кто?

— Учителя и докторъ.

— Какой?

— Розановъ, кажется, его фамилія.

— Говорятъ, очень странный.

— Кажется. А ты отъ кого слышала?

— Мы съ папой ходили навѣщать этого меревскаго учителя больного, — онъ очень любитъ этого доктора и много о немъ разсказывалъ.

— А что этотъ учитель, лучше ему?

— Да, лучше, но онъ все ждетъ доктора. Впрочемъ, папа говорилъ, что у него сильный ушибъ и простуда, а больше ничего.

Дѣвушки перешли черезъ кухню въ Женину комнату.

— Ахъ, какъ у тебя здѣсь хорошо, Женни!—воскликнула, осматриваясь по сторонамъ, Лиза.

— Да,—я очень довольна.

— А я пока очень недовольна.

— У тебя хорошая комната?

— Да, хорошая, но неудобная, проходная.

— Папа! у насъ новый гость, — крикнула неожиданно Гловацкая.

— Кто, мой другъ?

— Отгадайте!

— Ну, какъ отгадаешь.

— Мой гость, собственно ко мнѣ, а не къ вамъ.

— Ну, теперь и поготово не отгадаю.

Женни открыла двери, и изумленнымъ глазамъ старика предстала Лиза Бахарева.

— Лизанька! съ кѣмъ вы, дитя мое?

— Одна.

— Нѣтъ, безъ шутокъ. Гдѣ Егоръ Николаевичъ?

— Дома съ гостями,—отвѣчала, смѣясь, Лиза.

— Въ самомъ дѣлѣ вы однѣ?

— Ахъ, какой вы странный, Петръ Лукичъ! Разумѣется, одна, съ казачкомъ Гришей.

Лиза разсказала, какъ она пріѣхала въ городъ, и добавила, что она на минуточку, что ей нужно торопиться домой.

Смотритель взялъ Лизу за руки, ввелъ ее въ залу и познакомилъ съ своими гостями, причемъ гости ограничивались однимъ молчаливымъ, вѣжливымъ поклономъ.

— Не хочешь ли чаю покушать, Лиза? Съѣшь что-нибудь; вѣдь, это я хозяйничаю.

— Ты! Ну, для тебя давай, буду ѣсть.

Дѣвушки взяли стулья и сѣли къ столу.

— Какъ у васъ весело, Петръ Лукичъ!—замѣтила Лиза.

— Какое-жъ веселье, Лизанька? такъ себѣ сошлись,—не утерпѣлъ на старости лѣтъ похвастаться товарищамъ дочкою. У васъ въ Меревѣ, я думаю, гораздо веселѣе; своя семья большая, всегда есть гости.

— Да, это правда, а все у васъ какъ-то, кажется, веселѣе выглядитъ.

— Это сегодня, а то мы все вдвоемъ съ Женней сидѣли, и еще чаще она одна. Я, напротивъ, боюсь, что она у меня заскучаетъ, журналъ для нея выписалъ. Мои-то книги, думаю, ей не по вкусу прійдутся.

— У васъ какія больше книги?

— Разный спеціальный хламъ, а изъ русскихъ только историческія.

— А у насъ цѣлый шкапъ все какой-то допотопной французской беллетристики, читать невозможно.

— А я часто видалъ, что ваши сестрицы читаютъ.

— Да, онѣ читаютъ, а мнѣ это не нравится. Мы въ институтѣ доставали разные русскіе журналы и все читали, а здѣсь ничего нѣтъ. Вы какой журналъ выписали для Женни?

— «Отечественныя Записки», — старый журналъ и все одинъ и тотъ же редакторъ, при которомъ покойникъ Бѣлинскій писалъ.

— Да, знаю. Мы все доставали въ институтѣ и «Оте-

чественныя Записки», и «Современникъ», и «Русскій Вѣстникъ», и «Библіотеку», всѣ, всѣ журналы. Я просила папу выписать мнѣ хоть одинъ теперь,—мамаша не хочетъ.

— Отчего?

— Богъ ее знаетъ! говоритъ, читай то, что̀ читаютъ сестры, а я этого читать не могу, не нравится мнѣ.

— Женни будетъ съ вами дѣлиться своимъ журналомъ. А я вотъ буду просить Николая Степановича еще снабжать Женничку книгами изъ его библіотеки. У него много книгъ и онъ можетъ руководить Женничку, если она захочетъ заняться однимъ предметомъ. Самъ я устарѣлъ ужъ, за хлопотами да дрязгами поотсталъ отъ современной науки, а Николаю Степановичу за дочку покланяюсь.

— Если только Евгенія Петровна пожелаетъ и позволитъ, я буду очень радъ служить ей, чѣмъ могу,—вѣжливо отвѣтилъ Вязмитиновъ.

Женни поблагодарила.

— Какъ жаль, что и я не могу пользоваться вашими совѣтами!—живо замѣтила Лиза.

— Отчего же?

— Я живу въ деревнѣ, а зимой, вѣроятно, уѣдемъ въ губернскій городъ.

— Пріѣзжайте къ намъ почаще лѣтомъ, Лизанька. Тутъ вѣдь рукой подать, и будете читать съ Николаемъ Степановичемъ,—сказалъ Гловацкій.

— Въ самомъ дѣлѣ, Лиза, пріѣзжай почаще.

— Да,—хорошо, какъ можно будетъ, а не пустятъ, такъ буду сидѣть.—Ахъ, Боже мой!—сказала она, быстро вставая со стула;—я и забыла, что мнѣ пора ѣхать.

— Побудь еще, Лиза,—просила Женни.

— Нѣтъ, милая, не могу, и не говори лучше.—А вы что̀ читаете въ училищѣ?—спросила она Вязмитинова.

— Я преподаю исторію и географію.

— Оба интересные предметы, а вы? — обратилась Лиза къ Зарницыну.

— Я учитель математики.

— Фуй, какая ужасная наука. Я выше двойки никогда не получала.

— У васъ вѣрно былъ дурной учитель, — немножко рисуясь сказалъ Зарницынъ.

— Нѣтъ, а впрочемъ, не знаю. Онъ кандидатъ, молодой

и нѣкоторыя у него хорошо учились. Вотъ Женни, напримѣръ, она всегда высшій баллъ брала. Она по всѣмъ предметамъ высшіе баллы брала. Вы знаете,—она, вѣдь, у насъ первая изъ цѣлаго выпуска,—а я первая съ другого конца. Я терпѣть не могу нѣкоторыхъ наукъ и особенно вашей математики. А вы естественныхъ наукъ не знаете? Это, говорятъ, очень интересно.

— Да, но занятіе естественными науками тоже требуетъ знанія математики.

— Будто! Вѣдь это для химиковъ или для другихъ, а такъ для любителей, я думаю, можно и безъ этой скучной математики.

— Право, я не умѣю вамъ отвѣчать на это, но думаю, что въ извѣстной мѣрѣ возможно. Впрочемъ, вотъ у насъ докторъ знатокъ естественныхъ наукъ.

— Ну, какъ не знатокъ,—проговорилъ докторъ.

— Мнѣ то же самое говорилъ о васъ меревскій учитель,—отнеслась къ нему Лиза.

— Помада! Онъ того мнѣнія, что я все на свѣтѣ знаю и все могу сдѣлать. Вы ему не вѣрьте, когда дѣло касается меня, — я его сердечная слабость. Позвольте мнѣ лучше освѣдомиться, въ какомъ онъ положеніи?

— Ему лучше, и онъ, кажется, ждетъ васъ съ нетерпѣніемъ.

— Что жъ дѣлать. Я только узналъ о его несчастьѣ и не могу тронуться къ нему, ожидая съ минуты на минуту непремѣннаго засѣдателя, съ которымъ тотчасъ долженъ выѣхать.

— Будто вы сегодня ѣдете?—спросилъ Гловацкій.

— А какъ же! Онъ сюда за мною долженъ заѣхать: вѣдь искусанные волкомъ не ждутъ, а завтра къ обѣду назадъ и сейчасъ ѣхать съ исправникомъ. Вотъ вамъ и жизнь, и естественныя, и всякія другія науки,—добавилъ онъ, глядя на Лизу. — Что̀ и зналъ-то когда-нибудь, и то все успѣлъ семь разъ позабыть.

— Какая странная должность!

— У насъ всѣ должности удивятъ васъ, если найдете интересъ въ нихъ всмотрѣться. Это еще не самая странная, самую странную занимаетъ Юстинъ Помада. Онъ *читаетъ чистописаніе.*

Всѣ засмѣялись.

— Право! Вы его самого разспросите о его обязанностяхъ: онъ и самъ то же самое вамъ скажетъ.

— Вотъ, Женни, фатальный нашъ пріѣздъ! Не успѣли показаться и чуть-чуть не стоили человѣку жизни,—замѣтила Лиза.

— И еще какому человѣку-то! Единственному, можетъ-быть, цѣлому человѣку на пять тысячъ верстъ кругомъ.

— А вы, докторъ, говорили, что лучшій человѣкъ здѣсь мой папа,—проговорила, немножко краснѣя, Женни.

— Это между нами: я говорилъ, Петръ Лукичъ солнце, а Помада вездѣ Антикъ. Петръ Лукичъ все-таки чего-нибудь для себя желаетъ, а тотъ, не сводя глазъ, взираетъ на птицы небесныя, какъ не жнутъ, не сѣютъ, не собираютъ въ житницы, а и сыты и одѣты. Я ужъ его пять лѣтъ сряду стараюсь испортить, да ни на одинъ шагъ въ этомъ не подвинулся. Вы обратите на него вниманіе, Лизавета Егоровна, — это дорогой экземпляръ, скоро такихъ ужъ ни за какія деньги нельзя будетъ видѣть. Онъ стòитъ вниманія и изученія не менѣе самаго допотопнаго монстра. Право. Если любите натуру, въ изученіи которой не можемъ вамъ ничѣмъ помочь ни я, ни мои просвѣщенные друзья, сообществомъ которыхъ мы здѣсь имѣемъ удовольствіе наслаждаться, то вотъ разсмотрите-ка, чтò такое подъ черепомъ у Юстина Помады. Говорю вамъ, это будетъ преинтересное занятіе для вашей любознательности, далеко интереснѣйшее, чѣмъ то, о которомъ возвѣщаетъ мнѣ приближеніе вотъ этого проклятаго колокольчика, котораго, кажется, никто даже, кромѣ меня, и не слышитъ.

Изъ-за угла улицы, дѣйствительно, послышался колокольчикъ, и прежде чѣмъ онъ замолкъ у воротъ училища, докторъ всталъ, пожалъ всѣмъ руки и, взявъ фуражку, молча вышелъ за двери. Зарницынъ и Вязмитиновъ тоже стали прощаться.

— Боже, а я-то! Что жъ это я надѣлала, засидѣвшись до сихъ поръ? — тревожно проговорила Лиза, хватаясь за свою шляпку.

— Вы! Нѣтъ, ужъ вы не безпокойтесь: я вашу лошадь давно отослалъ домой и написалъ, что вы у насъ, — сказалъ, останавливая Лизу, Гловацкій.

— Чтò вы надѣлали, Петръ Лукичъ! Теперь забранятъ меня.

— Не бойтесь. Нынче больше бы забранили, а завтра поѣдете на моей лошади съ Женичкой, и все благополучно обойдется.

Прощаясь съ Женни, Вязмитиновъ спросилъ ее:

— Вы знакомы, Евгенія Петровна, съ сочиненіями Гизо?

— Нѣтъ, вовсе ничего не знаю.

— Хотите читать этого писателя?

— Пожалуйста. Да вы ужъ не спрашивайте. Я все прочитаю и постараюсь понять. Это вѣдь историческій писатель?

— Да.

— Пожалуйста,—я съ удовольствіемъ прочту.

Гости ушли, хозяева тоже стали прощаться.

— Ну, что, Женни, какъ тебѣ новые знакомые показались?—спросилъ Гловацкій, цѣлуя дочернину руку.

— Право, еще не думала объ этомъ, папа. Кажется, хорошіе люди.

— Она вѣдь пять лѣтъ думать будетъ, прежде чѣмъ скажетъ,—шутливо перебила Лиза:—а я вотъ вамъ сразу отвѣчу, что каждый изъ нихъ лучше, чѣмъ всѣ тѣ, которые въ эти дни пріѣзжали къ намъ и съ которыми меня знакомили.

Смотритель добродушно улыбнулся и пошелъ въ свою комнату, а дѣвушки стали раздѣваться въ комнатѣ Женни.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Семейная картина въ Меревѣ.

— Однако, что-то плохо мнѣ, Женька, — сказала Лиза, улегшись въ постель съ хозяйкою.—Ждала я этого дома, какъ Богъ знаетъ какой радости, а...

— Что жъ тамъ у васъ? — съ безпокойнымъ участіемъ спросила Женни.

— Такъ, — и разсказать тебѣ не умѣю, а какъ-то сразу тяжело мнѣ стало. Мѣсяцъ всего дома живу, а все, какъ няня говоритъ, никакъ въ стихъ не войду.

— Ты еще не осмотрѣлась.

— Боюсь, чтобъ еще хуже не было. Вотъ у тебя я съ первой минуты осмотрѣлась. У васъ хорошо, легко; а тамъ, у насъ, Богъ знаетъ... мудрено все... очень тяжело какъ-то, скучно,—невыносимо скучно.

— Что, Петръ Лукичъ?—спросила Лиза, помѣщаясь на другое утро за чайнымъ столикомъ противъ смотрителя.

— Что, Лизанька?

— Боюсь домой ѣхать.

Смотритель улыбнулся.

— Право!—продолжала Лиза.—Вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ становится чего-то страшно и неловко.

— Полноте, Лизочка,—я отпущу съ вами Женни, и ничто не будетъ, ни слова никто не скажетъ.

— Да я не этого и боюсь, Петръ Лукичъ, а какъ-то это не то, что̀ я себѣ воображала, что̀ я думала встрѣчать дома.

— Это вы, дитя мое, не осмотрѣлись съ нами и больше всего.

— Нѣтъ, въ томъ-то и дѣло, что я съ *вами*-то совсѣмъ осмотрѣлась, у васъ мнѣ такъ нравится, а дома все какъ-то какъ странно—и суетливо будто, и мертво. Вообще странно.

— Потому и странно, что не привыкли.

— А какъ совсѣмъ не привыкну, Петръ Лукичъ?

Смотритель опять улыбнулся и, махнувъ рукою, проворилъ:

— Полноте сочинять, другъ мой!—Какъ къ родной семьѣ привыкнуть.

Тотчасъ послѣ чаю Женни и Лиза въ легкихъ соломенныхъ шляпкахъ впорхнули въ комнату Гловацкаго, поцѣловали старика и поѣхали въ Мерево, на смотрительскихъ дрожкахъ.

Былъ десятый часъ утра, день стоялъ прекрасный, теплый и безоблачный; дорога до Мерева шла почти сплошнымъ дубнячкомъ.

Дѣвушки встали съ дрожекъ и безъ малаго почти всѣ пять верстъ прошли пѣшкомъ. Свѣжее, теплое утро и ходьба прекрасно отразились на расположеніи ихъ духа и на ихъ молодыхъ, свѣжихъ лицахъ, горѣвшихъ румянцемъ усталости.

Передъ околицей Мерева онѣ оправили другъ на другѣ платья, сѣли опять на дрожки и въ самомъ веселомъ настроеніи подъѣхали къ высокому крыльцу бахаревскаго дома.

— Встали наши?—торопливо спросила, вбѣгая на крыльцо, она у встрѣтившаго ее лакея.

— Баринъ вставши давно-съ, чай въ залѣ кушаетъ, а барышни еще не выходили,—отвѣчалъ лакей.

Егоръ Николаевичъ одинъ сидѣлъ въ залѣ за самоваромъ

и пилъ чай изъ большого краснаго стакана, надъ которымъ носились густые клубы табачнаго дыма.

Заслышавъ по залѣ легкій шорохъ женскаго платья, Бахаревъ быстро повернулся на стулѣ и, не выпуская изъ рукъ стакана, другою рукою погрозилъ подходившей къ нему Лизѣ.

— Шалуха, шалуха, что̀ ты надѣлала!—говорилъ онъ съ добродушнымъ упрекомъ.

— Что̀, папочка?

— Я хотѣлъ-было за тобою ночью посылать, да такъ ужъ... Какъ таки можно?

— Что жъ такое, папа! Было такъ хорошо, мнѣ хотѣлось повидаться съ Женею, я и поѣхала. Я думала, что успѣю скоро возвратиться, такъ что никто и не замѣтитъ. Ну виновата, ну простите, что жъ теперь дѣлать?

— То-то, что̀ дѣлать? — Шалунья! Я на тебя и не сержусь, а вонъ, смотри-ка, что̀ съ матерью.

— Что̀ съ мамашей?—тревожно спросила дѣвушка.

— Она совсѣмъ въ постель слегла.

— Боже мой! я побѣгу къ ней. Побудь здѣсь пока, Женни, съ папой.

— Ни, ни, ни!—остановилъ ее Бахаревъ.—У нея цѣлую ночь были истерики и она только передъ утромъ глаза сомкнула, не ходи къ ней, не буди ее, пусть успокоится.

— Ну, я пройду къ сестрамъ.

— Онѣ тоже обѣ не спали. Садитесь-ка, вотъ пейте пока чай, Богъ дастъ все обойдется. Только другой разъ не пугай такъ мать.

За дверями гостиной послышались легкіе шаги и въ залу вошла Зинаида Егоровна. Она была въ бѣломъ утреннемъ пеньюарѣ и ея роскошная, густая коса красиво покоилась въ синелевой сѣткѣ, а всегда блѣдное, болѣзненно прозрачное лицо казалось еще блѣднѣе и прозрачнѣе отъ лежавшаго на немъ слѣда безсонной ночи. Зинаида Егоровна была очень эффектна: точно средневѣковая, рыцарственная дама, мечтающая о своемъ далекомъ рыцарѣ.

Тихой, ровной поступью подошла она къ отцу, спокойно поцѣловала его руку и спокойно подставила ему для поцѣлуя свой мраморный лобъ.

— Что̀, Зинушка, съ матерью?—спросилъ старикъ.

— Мамѣ лучше, она успокоилась и съ семи часовъ за-

снула. Здравствуйте, Женни!—добавила Зина, обращаясь къ Гловацкой и протягивая ей руку.—Здравствуй, Лиза.

— Здравствуй, Зина.

— Позвольте, папа, — проговорила Зинаида Егоровна, взявшись за спинку отцовскаго стула, и сѣла за самоваръ.

— Чего ты такая блѣдная сегодня, Зиночка,—съ участіемъ освѣдомилась Лиза.

— Не спала ночь,—мнѣ это всегда очень вредно.

— Отчего ты не спала?

— Нельзя же всѣмъ оставить мать.

Лиза покраснѣла и закусила губку. Всѣ замолчали.

Женни чувствовала, что здѣсь, въ самомъ дѣлѣ, какъ-то тяжело дышится.

Коридоромъ вошла въ залу Софи. Она не была блѣдна, какъ Зина, но тоже казалась нѣсколько утомленною.

Лиза замѣтила это, но уже ни о чемъ не спросила сестру.

Софи поцѣловала отца, потомъ сестеръ, потомъ съ нѣкоторымъ видомъ старшинства поцѣловала въ лобъ Женни и попросила себѣ чаю.

— Весело тебѣ было вчера?—спросила она Лизу, выпивъ первую чашку.

— Да, очень весело,—нѣсколько нерѣшительно отвѣчала Лиза.

И опять всѣ замолчали.

— Что̀ вашъ папа дѣлаетъ, Женни?—протянула Зинаида Егоровна.

— Онъ все въ своемъ кабинетѣ: вѣдомости какія-то составляетъ въ дирекцію.

— А вы же чѣмъ занимались все это время?

— Я? Пока еще ничѣмъ.

— Она хозяйничаетъ; у нея все такъ хорошо, такъ тихо, что не вышелъ бы изъ дома,—сочла нужнымъ сказать Лиза.

— А! это прекрасно,—опять протянула Зинаида Егоровна, и опять всѣ замолчали.

«Въ самомъ дѣлѣ, какъ здѣсь скучно!»—подумала Женни, поправивъ бретели своего платья, и стала смотрѣть въ открытое окно, изъ котораго было видно колосистое поле бурѣвшей ржи.

— Здравствуй, красавица!—проговорила за плечами у Женни старуха Абрамовна, вошедшая съ подносомъ, на

одной: у тебя еще есть сестра дѣвушка. Положимъ опять и то, что Соничку давно знаютъ здѣсь всѣ, но все-таки ты ея сестра.

— Господи, maman! ужъ и сестрѣ я даже могу вредить, ну что же это? Будьте же, maman, хоть каплю справедливы,—не вытерпѣла Лиза.

— Ну да, я такъ и ожидала. Это цвѣточки, а будутъ еще ягодки.

— Да Боже мой, что̀ же я такое дѣлаю? За какія вины мною всѣ недовольны? Все это за то, что къ Женни на часокъ проѣхала безъ спроса?—произнесла она сквозь душившія ее слезы.

— Лиза! Лиза!—произнесла вполголоса и качая головою Софи.

— Что?

— Оставьте ее, она не понимаетъ,—съ многозначительной гримасой простонала Ольга Сергѣевна:—она не понимаетъ, что убиваетъ родителей. Штуку отлила: исчезла ночью при стороннихъ людяхъ. Это все ничего для нея не значитъ,—оставьте ее.

Всѣ замолчали. Лиза откинула набѣжавшіе на лобъ волосы и продолжала спокойно стоять въ прежнемъ положеніи.

— Пусть свѣтъ, люди, тяжелыми уроками научатъ тому, чего она не хочетъ понимать,—продолжала чрезъ нѣкоторое время Ольга Сергѣевна.

— Да что же понимать, maman?—совсѣмъ нетерпѣливо спросила послѣ короткой паузы Лиза. — У тети Агніи я сказала свое мнѣніе, можетъ-быть, очень невѣрное, и, можетъ-быть, очень некстати, но неужто это ужъ такой проступокъ, которымъ нужно постоянно пилить меня?

— Да,—вздохнувъ, застонала Ольга Сергѣевна. — Одну глупость сдѣлаемъ, за другую возьмемся, а тамъ за третью, за четвертую и такъ далѣе.

— Если ужъ я такъ глупа, maman, то что-жъ со мной дѣлать? Буду дѣлать глупости, мнѣ же и будетъ хуже.

— Ахъ, уйди, матушка, уйди Бога ради!—нервно вскрикнула Ольга Сергѣевна.—Не распускай при мнѣ этой своей философіи. Ты очень умна, просвѣщенна, образованна, и я не могу съ тобой говорить. Я глупа, а не ты, но у меня есть еще другія дѣти, для которыхъ нужна моя жизнь. Уйди, прошу тебя.

Лиза тихо повернулась, и твердою, спокойною поступью вышла за двери.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Перепилили.

Гловацкой очень хотѣлось выйти вслѣдъ за Лизой, но она осталась.

Ольга Сергѣевна вздохнула, сдѣлала гримасу и, обратясь къ Зинѣ, сказала:

— Накапь мнѣ на сахаръ гофманскихъ капель, да пошлите ко мнѣ Абрамовну.

Женни воспользовалась этимъ случаемъ и пошла позвать няню.

Лиза сидѣла на балконѣ, положивъ свою головку на руку. Глаза ея были полны слезъ, но она безпрестанно смаргивала эти слезы и глядѣла на разстилавшееся за рѣкою колосистое поле.

Женни подошла, поцѣловала ее въ лобъ и сѣла съ ней рядомъ на плетеный диванчикъ.

— Что̀ тамъ теперь?—спросила Лиза.

— Ничего; Ольга Сергѣевна, кажется, хочетъ уснуть.

— Что если это такъ будетъ всегда, цѣлую жизнь?

— Ну, Богъ знаетъ что̀, Лиза! Ты не выдумывай себѣ, пожалуйста, горя больше, чѣмъ оно есть.

— Что-жъ это по-твоему — ничего? Можно, по-твоему, жить при такихъ сценахъ? А это первое время; первый мѣсяцъ, первый мѣсяцъ дома послѣ шестилѣтней разлуки! Боже мой! Боже мой! — воскликнула Лиза и, не удержавъ слезъ, горько заплакала.

— Полно плакать, Лиза,—уговаривала ее Гловацкая.

Лиза не могла удержаться и, зажавъ платкомъ ротъ, вся дергалась отъ сдерживаемыхъ рыданій.

— Перестань, что это! Застанутъ въ слезахъ, и еще хуже будетъ. Пойдемъ, пройдемся.

Лиза молча встала, отерла слезы и подала Женни свою руку.

Дѣвушки прошли молча длинную тополевую аллею сада и вышли черезъ калитку на берегъ, съ котораго открывался домъ и англійскій садъ камергерши Меревой.

— Какой красивый видъ отсюда!—сказала Гловацкая.

— Да, красивый, — равнодушно отвѣчала Лиза, снова обтирая платкомъ слезы, наполнившія ея глаза.

— А оттуда, изъ ея оконъ, я думаю, еще лучше.

— Богъ знаетъ,—поле и нашъ домъ, должно-быть, видны. Впрочемъ, я, право, не знаю, и меня теперь это вовсе не занимаетъ.

Дѣвушки продолжали идти молча по берегу.

— Ваши съ нею знакомы? — спросила Женни, чтобы не давать задумываться Лизѣ, у которой безпрестанно навертывались слезы.

— Съ кѣмъ?—нетерпѣливо спросила Лиза.

— Съ Меревой.

— Знакомы.

Лиза опять обтерла слезы.

— А ты познакомилась?

— Съ Меревой?

— Да.

— Нѣтъ; мы ходили къ ней съ папой, да она нездорова что-ль-то была: не приняла. Мы только были у Помады, навѣщали его. Хочешь, зайдемъ къ Помадѣ?

— Я очень рада была бы, Лиза, но какъ же это? Идти однимъ, къ чужому мужчинѣ, на чужой дворъ.

— Да что жъ такое? Ну что жъ съ нами сдѣлается?

— Ничего не сдѣлается, а пойдутъ толковать.

— Что жъ толковать? Больного развѣ нельзя навѣстить? Больныхъ всѣ навѣщаютъ. Я же была у него съ папой, отчего же мнѣ теперь не пойти съ тобою?

— Нѣтъ, я не пойду, Лиза, именно съ тобою и не пойду, потому что здоровья мы ему съ собою не принесемъ, а тебѣ ужъ такъ достанется, что и мѣста не найдешь.

— Да, вотъ это-то! — протянула, насупивъ бровки, Лиза, и опять задумалась.

— О чемъ ты все задумываешься? Брось это все, — говорила Женни.

— Да, брось! Хорошо тебѣ говорить: «брось», а сама бы попробовала слушать эти вѣчные реприманды. И отъ всѣхъ, отъ всѣхъ, рѣшительно отъ всѣхъ. Ахъ, ты, Боже мой! да что жъ это такое! И мать, и Зина, и Соничка, и даже няня. Только одинъ отецъ не брюзжитъ, а то всѣ, таки рѣшительно всѣ. Шагъ ступлю — не такъ ступила; слово скажу—не такъ сказала; все не такъ, все имъ не нравится, и пойдетъ на цѣлый день разговоръ. Я хотѣла бы посмотрѣть на тебя на моемъ мѣстѣ; хотѣла бы видѣть, отска-

кивало ли бы отъ тебя это обращеніе, какъ отъ тебя все отскакиваетъ.

— Чего жъ ты сердишься, Лиза? Я вѣдь не виновата, что у меня такая натура. Я ледышка, какъ вы называли меня въ институтѣ, ну и что жъ мнѣ дѣлать, что я такая ледышка. Можетъ-быть, это и лучше.

— Я буду очень рада, если тебя мужъ будетъ бить,— совершенно забывшись, проговорила Лиза.

Женни поблѣднѣла, какъ бѣлый воротничокъ ея манишки, и дернула свою руку съ локтя Лизы, но тотчасъ же остановилась и съ легкимъ дрожаніемъ въ голосѣ сказала:

— Даже будешь рада!

— Да, буду рада, очень буду рада.

Женни опять подернуло, и ея блѣдное лицо вдругъ покрылось яркимъ румянцемъ.

— Ты взволнована и сама не знаешь, что̀ говоришь, на тебя нельзя даже теперь сердиться.

— Конечно, я глупа; чего жъ на мои слова обращать вниманіе,—отвѣчала ей съ ѣдкой гримаской Лиза.

— Не придирайся, пожалуйста. Недостаетъ еще, чтобы мы вернулись надувшись другъ на друга: славная будетъ картина и тоже кстати.

— Нѣтъ, ты меня бѣсишь.

— Чѣмъ это?

Твоимъ напускнымъ равнодушіемъ, этой спокойностью какою-то. Тебѣ вѣдь отлично жить, и ты отлично живешь: у тебя все ладится и всегда все будетъ ладиться.

— Ну, такъ ты и желаешь, чтобы, для разнообразія въ моей жизни, меня билъ мой мужъ?

— Не билъ, а такъ вотъ пилилъ бы. Да вѣдь тебѣ что жъ это. Тебѣ это ничего. Ты будешь пѣшкою у мужа, и тебѣ это все равно будетъ,—будешь очень счастлива.

Женни спокойно молчала. Лиза вся дрожала отъ негодованія и, насупивъ брови, добавила:

— Да, это такъ и будетъ.

— Что это такое?

— Что будешь тряпкой, которой мужъ будетъ пыль стирать.

Женни опять немножко поблѣднѣла и произнесла:

— Ну, это мы посмотримъ.

— Нечего и смотрѣть: все такъ видно.

— Не станемъ больше спорить объ этомъ. Ты оскорблена

и срываешь на мнѣ свое сердце. Мнѣ тебя такъ жаль, что я и сказать не умѣю, но все-таки я съ тобой, для твоего удовольствія, не поссорюсь. Тебѣ нынче не удастся вытянуть у меня дерзость; но вспомни, Лиза, нянину пословицу, что вѣдь «и сырыя дрова загораются».

— И пусть,—еще болѣе насупясь, отвѣчала Лиза.

Гловацкая не отвѣтила ни слова и, дойдя до перекрестной дорожки, тихо повернула къ дому.

Лиза шла рядомъ съ подругою, все сильнѣе и сильнѣе опираясь на ея руку.

Такъ онѣ дошли молча до самаго сада. Пройдя также молча нѣсколько шаговъ по саду, у поворота къ тополевой аллеѣ Лиза остановилась, высвободила свою руку изъ руки Гловацкой и, кусая ноготокъ, съ тѣми же, однако, насупленными бровками, сказала:

— Ты на меня сердишься, Женни? Я передъ тобою очень виновата; я тебя обидѣла, прости меня.

Большіе глаза Гловацкой и ея доброе лицо приняли выраженіе какого-то неописаннаго счастья.

— Боже мой!—воскликнула она:— какое чудо! Лиза Бахарева первая попросила прощенья.

— Да, прости меня, я тебя очень обидѣла, — повторила Лиза и, бросаясь на грудь Гловацкой, зарыдала, какъ маленькій ребенокъ: — я скверная, злая и не стою твоей любви,—лепетала она, прижимаясь къ плечу подруги.

У Гловацкой тоже набѣжали слезы.

— Полно лгать,—говорила она:—ты добрая, хорошая дѣвушка; я тебя теперь еще больше люблю.

Лиза мало-по-малу стихала и, наконецъ, поднявъ голову, совсѣмъ весело взглянула въ глаза Гловацкой, отерла слезы и нѣсколько разъ ее поцѣловала.

— Пойдемъ, умоемся,—сказала Женни.

Дѣвушки снова вышли изъ сада и, взойдя на плотикъ, умылись и утерлись носовыми платками.

— Вотъ если бы насъ видѣли!—сказала Лиза съ улыбкой, которая плохо шла къ ея заплаканнымъ глазамъ.

— Ну и что жъ, ничего бы не было, если бы и видѣли.

— Какъ же! Ахъ, Женька, возьми меня, душка, съ собою. Возьми меня, возьми отсюда. Какъ мнѣ хорошо было бы съ вами. Какъ я счастлива была бы съ тобою и съ твоимъ отцомъ. Вѣдь это онъ научилъ тебя быть такой доброю.

— Нѣтъ, я вѣдь такъ родилась, такая ледышка,—смѣясь, отвѣчала Женни.

— Да, какъ же! Нѣтъ, это тебя выучили быть такой хорошей. Люди не родятся такими, какими они послѣ выходятъ. Развѣ я была когда-нибудь такая злая, гадкая, какъ сегодня?.. — У Лизы опять навернулись слезы. Она была ужъ очень разстроена: кажется, всѣ нервы ея дрожали, и она ежеминутно снова готова была расплакаться.

Женни замѣтила это и сказала:

— Ну, перестанемъ толковать, а то опять придется умываться.

— Что жъ, я говорю правду, мнѣ это больно; я никогда не забуду, что̀ сказала тебѣ. Я вѣдь и въ ту минуту этого не чувствовала, а такъ сказала.

— Ну, развѣ я этого не знаю.

— То-то, ты не подумай, что я хоть на минуту тебя не любила.

Лиза опять расплакалась.

— Ты забудь, забудь,—говорила она сквозь слезы:—потому что я... сама ничего не помню, что̀ я дѣлаю. Меня... такъ сильно... такъ сильно... такъ сильно... оби... обидѣли. Возьми... возьми къ себѣ, другъ мой! ангелъ мой хранитель... сох... сохрани меня.

— Что̀ ты болтаешь, смѣшная! Какъ я тебя возьму? Здѣсь у тебя семья: отецъ, мать, сестры.

— Я ихъ буду любить, я ихъ еще... больше буду лю... бить. Тутъ я ихъ скорѣе перестану любить. Они, можетъ-быть, и доб...рые всѣ, но они такъ странно со мною об... обра...щаются. Они не хотятъ понять, что мнѣ такъ нельзя жить. Они ничего не хотятъ понимать.

— Ты только успокойся, перестань плакать-то. Они узнаютъ, какая ты добрая, и поймутъ, какъ съ тобою нужно обращаться.

— Н...нѣтъ, они не поймутъ; они никог...да, ни...ког...да не поймутъ. Тетка Агнія правду говорила. Есть, вѣрно, въ самомъ дѣлѣ семьи, гдѣ еще меньше понимаютъ, чѣмъ въ институтѣ.

Лиза, разстроенная до послѣдней степени, неожиданно бросилась на колѣни предъ Гловацкою и въ какомъ-то изступленіи проговорила:

— Ангелъ мой, возьми! Я здѣсь ихъ возненавижу, я

стану злая, стану демономъ, чудовищемъ, звѣремъ... или я... чортъ знаетъ чего надѣлаю.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Перчатка поднята.

Узнавъ, что мужъ очень сердится и начинаетъ похлопывать дверями, Ольга Сергѣевна рѣшилась выздоровѣть и выйти къ столу. Она умѣла доѣзжать Егора Николаевича истерическими фокусами, но все-таки сильно побаивалась заходить далеко. Храбрый эксъ-гусаръ, опутанный слезливыми бабами, обыкновенно терпѣливо сносилъ подобныя сцены и, по безпредѣльной своей добротѣ, никогда не умѣлъ остановить ихъ прежде, чѣмъ эти сцены совершенно выводили его изъ терпѣнія. Но зато, когда визгъ, стоны, суетливая бѣготня прислуги выводили его изъ терпѣнія, онъ, громко хлопнувъ дверью, уходилъ въ свою комнату и порывисто бѣгалъ по ней изъ угла въ уголъ. Если же еще съ полчаса исторія въ домѣ не прекращалась, то двери кабинета обыкновенно съ шумомъ распахивались, Егоръ Николаевичъ выбѣгалъ оттуда дрожащій и съ растрепанными волосами. Онъ стремительно достигалъ комнаты, гдѣ истеричничала Ольга Сергѣевна, громовымъ словомъ и многознаменательнымъ движеніемъ чубука выгонялъ вонъ изъ этой комнаты всякую живую душу и затѣмъ держалъ къ корчившей ноги больной такую рѣчь:

— Вамъ мѣшаютъ успокоиться, и я васъ запру на ключъ, пока вы не перестанете.

Затѣмъ эксъ-гусаръ выходилъ за дверь, оставляя больную на постели одну-одинешеньку. Manu intrepida поворачивалъ онъ ключъ въ дверномъ замкѣ и, усѣвшись на первое ближайшее кресло, дымилъ какъ паровозъ, выкуривая трубку за трубкой, до тѣхъ поръ, пока за дверью не начинали стихать истерическіе стоны. Сначала, когда Ольга Сергѣевна была гораздо моложе и еще питала нѣкоторыя надежды хоть разъ выйти съ достоинствомъ изъ своего замкнутаго положенія, Бахареву иногда приходилось долгонько ожидать конца жениныхъ припадковъ; но разъ отъ раза, по мѣрѣ того, какъ взбѣшенный гусаръ прибѣгалъ къ своему оригинальному лѣченію, оно у него все шло удачнѣе. Не успѣетъ, бывало, Бахаревъ, усѣвшись у двери, докурить первой трубки, какъ уже вмѣсто безпорядочныхъ облаковъ дыма выпуститъ изо рта

стройное, правильное колечко, что обыкновенно служило несомнѣннымъ признакомъ, что Егоръ Николаевичъ ровно черезъ двѣ минуты встанетъ, повернетъ обратно ключъ въ двери, а потомъ уйдетъ въ свою комнату, велитъ запрягать себѣ лошадей и уѣдетъ дня на два, на три въ городъ заниматься дѣлами по предводительской канцеляріи и дворянской опекѣ. У Егора Николаевича никакъ нельзя было добиться: подозрѣваетъ ли онъ свою жену въ истерическомъ притворствѣ, или считаетъ свой способъ лѣченія надежнымъ средствомъ противъ дѣйствительной истерики, но онъ неуклонно слѣдовалъ своему правилу до счастливаго дня своей серебряной свадьбы. А теперь, когда Абрамовна доложила Ольгѣ Сергѣевнѣ, что «баринъ хлопнули дверью и ушли къ себѣ», Ольга Сергѣевна опасалась, что Егоръ Николаевичъ не измѣнитъ себѣ и до золотой свадьбы. Хорошо зная, что̀ должно наступить послѣ маневра, о которомъ ей доложила Абрамовна, Ольга Сергѣевна простонала:

— Только не бѣгайте Бога ради, не суетитесь; голову всю мнѣ разломали своимъ безтолковымъ снованьемъ. Мечутся безъ толку изъ угла въ уголъ, словно угорѣлыя кошки, право.

Произнеся такую рѣчь, Ольга Сергѣевна будто успокоилась, полежала и потомъ спросила:

— А кормили ли сегодня кошечекъ-то?

— Какъ же, maman, кормили,—отвѣчала Софи.

— То-то. Матузалевнѣ надо было сырого мясца дать: она все еще нездорова; ее не надо кормить вареным. Дайте-ка мнѣ туфли и шлафоръ, я попробую встать. Бока отлежала.

Проба оказалась удачной. Ольга Сергѣевна встала, перешла съ постели на кресло и не надѣла бѣлаго шлафора, а потребовала темненькій капотикъ.

— Скучно здѣсь,—говорила она, посматривая на дверь:— дайте я попробую выйти къ столу.

Вторая проба была опять удачна не менѣе первой. Ольга Сергѣевна безопасно достигла столовой, поклонилась мужу, потомъ помолилась передъ образомъ и сѣла за столъ на свое обыкновенное мѣсто.

Взглянувъ на наплаканные глаза Лизы, она сдѣлала страдальческую мину матери, оскорбленной непочтительною дочерью, и стала разливать супъ съ кнелью.

Егоръ Николаевичъ былъ мраченъ и хранилъ гробовое молчаніе. Глядя на него, всѣ тоже молчали.

— Что̀ вы такъ мало кушаете, Женичка? — обратился, наконецъ, въ срединѣ обѣда Бахаревъ къ Гловацкой.

— Благодарю васъ, я сыта.

— То-то, вы кушайте по-нашему, по-русски, вплотную. У насъ, вѣдь, не то, что въ институтѣ: «дѣти! дѣти! чего вамъ? Картоофеллю, картоофффеллю!» — пропищалъ, какъ-то весь сократившись, Бахаревъ, какъ бы подражая въ этомъ разсказѣ какой-то директрисѣ, которая каждое утро спрашивала своихъ воспитанницъ: «дѣти, чего вамъ?» А дѣти ей всякое утро отвѣчали хоромъ: «картофелю».

Всѣ были очень рады, что буря проходитъ, и всѣ разсмѣялись. И заплаканная Лиза, и солидная Женни, и рыцарственная Зина, безцвѣтная Софи, и даже сама Ольга Сергѣевна не могла равнодушно смотрѣть на Егора Николаевича, который, продекламировавъ послѣдній разъ «картоофеллю», остался въ принятомъ имъ на себя сокращенномъ видѣ и смотрѣлъ робкими институтскими глазами въ глаза Женни.

— Это вовсе не похоже; никогда этого у насъ не было, — смѣясь, отвѣчала Бахареву Женни.

— Какъ? какъ не было? Не было этого у васъ, Лизокъ? Не просили вы себѣ всякій день кааартоофеллю!

— Нѣтъ, папа: насъ хорошо кормили. Теперь въ институтахъ хорошо кормятъ.

— Ну, разсказывайте, *хорошо*. Знаемъ мы это хорошо! На десять штукъ фунтъ мяса сварятъ, а то все кааартоофеллю.

— Да нѣтъ же, папа, не знаете вы, — шутливо возразила Лиза.

— Реформы, значитъ, реформы, и до васъ дошли благодѣтельныя реформы?

— Да, теперь по всему замѣтно, что въ институтахъ иные порядки настали. Прежнихъ порядковъ ужъ нѣтъ, — какъ-то двусмысленно замѣтила Ольга Сергѣевна.

— Да, вотъ я смотрю на Евгенію Петровну: кровь съ молокомъ. Если бы старые годы — съ сердечкомъ распростись.

— Стыдно подсмѣиваться, Егоръ Николаевичъ, — замѣтила Женни и покраснѣла.

— А краснѣютъ-то нынѣшнія институтки еще такъ же точно, какъ и прежнія,—продолжалъ шутить старикъ.

— Не всѣ, папа,—весело замѣтила Лиза.

— Да, не всѣ, — вздохнувъ и принявъ угнетенный видъ, подхватила Ольга Сергѣевна. — Изъ нынѣшнихъ институтокъ есть такія, что, кажется, ни передъ чѣмъ и ни передъ кѣмъ не покраснѣютъ. О чемъ прежнія и думать-то, и разсуждать не умѣли, да и не смѣли, въ томъ нѣкоторыя изъ нынѣшнихъ съ старшими зубъ за зубъ. Ни совѣты имъ, ни наставленія, ничто не нужно. Сами все больше другихъ знаютъ и никѣмъ, и ничѣмъ не дорожатъ.

Лиза взглянула на Гловацкую и сохранила совершенное спокойствіе во все время, пока мать загинала ей эту шпильку.

За чаемъ шпигованье повторилось снова.

— Поѣдемте на озеро, Женичка. Вы вѣдь еще не были на нашемъ озерѣ. Будемъ тамъ ловить рыбу, сваримъ уху и пріѣдемъ,—предложилъ Бахаревъ.

— Нѣтъ, благодарю васъ, Егоръ Николаевичъ, я не могу, я сегодня должна быть дома.

— Полноте, что̀ вамъ тамъ дома, съ своимъ старикомъ дѣлать? У насъ вотъ будетъ какой гусарчикъ Канивцовъ—чудо!

— Богъ съ нимъ!

— Сонька его совсѣмъ заполонила, разбойница, но вы... одно слово: veni, vidi, vici.

— Что̀ это значитъ?

— Пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ.

— Оооо! Мнѣ этого пока вовсе не нужно.

— Те, те, те, не нужно! Всѣ такъ говорятъ—не нужно, а женишка̀ порядочнаго сейчасъ и заплетутъ въ свои розовыя сѣти.

— Я вамъ не сказала, что мнѣ вовсе не нужно, а я говорю, мнѣ это *пока* не нужно.

— А, — разсмотрѣть хотите, это другое дѣло. Ну, а съ нами-то нынче оставайтесь.

— Не могу, Егоръ Николаевичъ.

— Лиза, что жъ ты не просишь?

Лиза очень боялась этого разговора и чуть внятно проговорила:

— Оставайся, Женни.

— Не могу, Лиза, не проси. Ты знаешь, ужъ если бы было можно, я не отказала бы себѣ въ удовольствіи и осталась бы съ вами.

— Вы не по-дружески ведете себя съ Лизой, Женичка,— начала Ольга Сергѣевна.—Прежнія институтки тоже такъ не поступали. Прежнія всегда старались превосходить одна другую въ великодушіи.

— Если одна пила рюмку уксуса, то другая двѣ за нее,— подхватилъ развеселившійся Бахаревъ и захохоталъ.

— Да, — продолжала Ольга Сергѣевна: — а вы вотъ не такъ. Лиза у васъ ночевала, по вашему приглашенію, а вы не удовлетворяете ея просьбы.

Лиза во время этого разговора старалась смотрѣть какъ можно спокойнѣе.

— Лизанька, вѣроятно, и совсѣмъ готова была бы у васъ остаться, а вы не хотите подарить ей одну ночку.

— Я не могу, Ольга Сергѣевна.

— Отчего же она могла?

— У меня хозяйство, я ничѣмъ не распорядилась.

— А, вы хозяйничаете!

— Не могу выдерживать. Я и за обѣдомъ едва могла промолчать на всѣ эти задиранья. Господи! укроти Ты мое сердце!—сказала Лиза, выйдя изъ-за чая.

Ольга Сергѣевна прямо изъ-за самовара ушла къ себѣ; для Гловацкой велѣли запрягать ея лошадь, а на балконъ подали душистый, розовый варенецъ.

Вся семья, кромѣ старухи, сидѣла на балконѣ. На дворѣ были густыя лѣтнія сумерки и изъ-за меревскаго сада выплывала красная луна.

— Ахъ, луна!—воскликнула Лиза.

— Что это, Лиза! точно вы не видали луны,—замѣтила Зинаида Егоровна.

— И этого нельзя?—сухо спросила Лиза.

— Не нельзя, а смѣшно. Тебя прозовутъ мечтательницею. Зачѣмъ же быть смѣшною?

Къ крыльцу подали дрожки Гловацкаго, и Женни стала надѣвать шляпку.

— Надолго теперь, Женни.

— Не знаю, Лизочка. Я постараюсь увидѣть тебя поскорѣе.

— Вы ужъ и замужъ безъ Лизы не выходите, — смѣясь проговорилъ Бахаревъ.

— Я ужъ вамъ сказала, Егоръ Николаевичъ, что мы съ Лизой еще и не собираемся замужъ.

Бахаревъ продекламировалъ:

«Золотая волюшка
Мнѣ милѣй всего,
Не надо мнѣ съ волею
Въ свѣтѣ ничего».

— Такъ ли?

— Именно такъ, Егоръ Николаевичъ?

— И ты тоже, Лизокъ?

— О, да, тысячу разъ да, папа.

— Ну вотъ, говорятъ, институтки перемѣнились! Все тѣ же, и все тѣ же у нихъ пѣсенки.

Егоръ Николаевичъ снова расхохотался. Женни простилась и вышла. Зина, Софи и Лиза проводили ее до самыхъ дрожекъ.

— Какая ты счастливица, Женни: ѣхать ночью одной по лѣсу. Ахъ, какъ хорошо!

— Боже мой! что̀ это, въ самомъ дѣлѣ, у тебя, Лиза, то ночь, то луна, дружба... тебя, просто, никуда взять нельзя, съ тобою засмѣютъ, — произнесла по-французски Зинаида Егоровна.

Женни замѣтила при свѣтѣ луны, какъ на глазахъ Лизы блеснули слезы, но не слезы горя и отчаянія, а сердитыя, непокорныя слезы, и прежде чѣмъ она успѣла что-нибудь сообразить, та откинула волосы и рѣзко сказала:

— Ну, однако, это ужъ надоѣло. Знайте же, что мнѣ все равно не только то, что̀ скажутъ обо мнѣ ваши знакомые, но даже и все то, что̀ съ этой минуты станете обо мнѣ думать сами вы, и моя мать, и мой отецъ. Прощай, Женни, — добавила она и шибко взбѣжала по ступенямъ крыльца.

— Однако, какія тамъ странныя вещи, въ самомъ дѣлѣ, творятся, папа, — говорила Женни, снимая у себя въ комнатѣ шляпку.

— Что такое, Женюша?

Гловацкая разсказала отцу все происходившее на ея глазахъ въ Меревѣ.

— Это скверно, — замѣтилъ старикъ. — Чудаки, право! люди не злые, особенно Егоръ Николаевичъ, а живутъ Богъ

знаетъ какъ. Надо бы Агнесѣ Николаевнѣ это умненечко шепнуть: она направитъ все иначе, — а пока Христосъ съ тобой,—иди съ Богомъ спать, Женюшка.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Слово съ вѣсомъ.

Мать Агнія у окна своей спальни вязала нитяный чулокъ. Передъ нею на стулѣ сидѣла сестра Ѳеоктиста и разматывала съ моталки бумагу. Былъ двѣнадцатый часъ дня.

— Это, конечно, дѣлаетъ тебѣ честь, — говорила игуменья, обращаясь къ сестрѣ Ѳеоктистѣ: — а все же такъ нельзя. Я просила губернатора, чтобы тебѣ твое, что слѣдуетъ, отъ свекрови истребовали и отдали.

Ѳеоктиста не отрывала глазъ отъ работы и молчала.

Голосъ игуменьи на этотъ разъ былъ какъ-то слабѣе обыкновеннаго: ей сильно нездоровилось.

— Пока ты здорова, конечно, можешь и безъ поддержки прожить, — продолжала мать Агнія: — а помилуй Богъ, болѣзни,—тогда что?

— Я, матушка, здорова,—тихо отвѣчала Ѳеоктиста.

— Ну, да. Я объ этомъ не говорю теперь, а вѣдь живъ человѣкъ живое и думаетъ. Мало ли чѣмъ Господь можетъ посѣтить: тогда копеечка-то и понадобится.

Ѳеоктиста вздохнула.

— И опять, что̀ не въ коня кормъ-то класть, — разсуждала мать Агнія.—Другое дѣло, если бы оставила ты свое доброе роднымъ, или нероднымъ, да людямъ, которые понимали бы, что ты это дѣлаешь отъ благородства, и сами бы поучались быть поближе къ добру-то и къ Богу. Тутъ бы и говорить нечего: дѣло хорошее. А то, что̀ изъ всего этого выходитъ? Свекровь твоя ужъ навѣрное тебя же дурой считаетъ, да и весь городъ-то, мужланы-то ваши, о тебѣ того же мнѣнія. «Вонъ, молъ, дуру-то какъ обдѣлали», да и сами того же на другихъ, тебѣ подобныхъ, овцахъ искать станутъ. Подумай сама, не правду ли я говорю?

— Не знаю, матушка,—краснѣя проронила Ѳеоктиста.

Въ кельѣ наступило молчаніе.

Игуменья быстро шевелила чулочными прутками и смотрѣла на свою работу, нѣсколько надвинувъ брови и о чемъ-то напряженно размышляя. Ѳеоктиста также усердно работала и съ полчаса въ кельѣ только и было слышно,

что щелканье чулочныхъ спицъ, да ровный, усыпляющій шумъ деревянной моталки.

— Дома мать игуменья?—произнесъ среди этой тишины мужской голосъ въ передней.

Игуменья подняла на лобъ очки и, относясь къ Ѳеоктистѣ, проговорила:

— Кто бы это такой?

Ѳеоктиста немедленно встала и въ комнатѣ дѣвочекъ встрѣтилась съ Бахаревымъ, который шутливо погрозилъ ей пальцемъ и вошелъ къ игуменьѣ.

— Здравствуй, сестра!—произнесъ онъ, цѣлуя руки матери Агніи.

— Здравствуй, Егоръ!—отвѣчала игуменья, снова надѣвъ очки и снова зашевеливъ стальными спицами.

— Какъ живешь-можешь?

— Что̀ мнѣ дѣлается? Живу, Богу молюсь, да хлѣбъ жую. Какъ вы тамъ живете?

— И мы живемъ.

— Ну, и хорошо. Къ губернатору, что ли, пріѣхалъ?

— Да, и дѣлишки кое-какія собрались, и съ тобой захотѣлось повидаться.

— Спасибо.—Чаю хочешь?

— Пожалуй.

— Ѳеоктиста! скажи тамъ,—распорядилась игуменья.

Ѳеоктиста вышла и черезъ минуту вошла снова.

— Эхъ, сестра Ѳеоктиста,—шутилъ Бахаревъ:—какъ на васъ и смотрѣть ужъ не знаю!

— Какъ изволите?—спросила спокойно ничего не разслышавшая Ѳеоктиста, но покраснѣла, зная, что Бахаревъ любитъ пройтись насчетъ ея земной красоты.

— Полно врать-то! Тоже любезничать: сѣдина въ голову, а бѣсъ въ ребро,—съ поддѣльнымъ неудовольствіемъ остановила его игуменья и, посмотрѣвъ съ артистическимъ наслажденіемъ на Ѳеоктисту, сказала: — Иди пока домой. Я тебя позову, когда будетъ нужно.

Монахиня поставила въ уголокъ моталку, положила на нее клубокъ, низко поклонилась, проговорила: «спаси васъ, Господи!» и вышла.

Братъ съ сестрою остались вдвоемъ. Весноватая келейница подала самоваръ.

— Ну, что жъ твои тамъ дѣлаютъ?—спросила игуменья, заваривъ чай и снова взявшись за чулочныя спицы.

— Да что? Не знаю, какъ тебѣ разсказать.

— Что жъ это за мудрость такая?

— Съ котораго конца начать-то, говорю, не знаю.

Игуменья подняла голову и, не переставая стучать спицами, пристально посмотрѣла черезъ свои очки на брата.

— Жена ничего,—хворала немножко,—проговорилъ Бахаревъ:—а теперь лучше; дѣти здоровы, слава Богу.

— А Зининъ мужъ? — спросила мать Агнія, смотря на брата тѣмъ же проницательнымъ взглядомъ и попрежнему стуча спицами.

— Да вотъ думалъ, не встрѣчу ли его здѣсь.

— А она у васъ все?

— У насъ пока.

Игуменья покачала неодобрительно головой и стала поднимать спущенную петлю.

— Странная ты, сестра! Гдѣ же ей, въ самомъ дѣлѣ, быть?

— Гдѣ? У мужа, я думаю.

— Да вѣдь вотъ поди же.

Бахаревъ въ недоумѣніи развелъ руками.

— Что жъ такое?

— Не ладятъ все, Богъ ихъ знаетъ.

— А вы приголубливайте дочку-то. Поди, молъ, сюда: ты у насъ пашенька,—кошка дура.

— Да вѣдь что жъ дѣлать?

— Къ мужу отправить. Отрѣзанный ломоть къ хлѣбу не пристаетъ. Разъ бы, да другой увидала, что нельзя глупить, такъ и обдумалась бы; она вѣдь не дура. А то маменька съ папенькой сами потворствуютъ, бабенка и дуритъ, а потомъ и въ привычку войдетъ.

— Да я, сестра, ничего, я даже...

— Ты даже, — хорошо. Постой-ка, батюшка! Ты, вонъ тебѣ шестой десятокъ, да на хорошенькихъ-то зѣваешь, а ея мужу тридцать лѣтъ! тутъ безъ грѣха грѣхъ.—Да грѣхъ-то еще грѣхомъ, а то и сердечишко заговоритъ. Отъ капризныхъ-то женъ мужей вѣдь умѣютъ подбирать: тебѣ, молъ, милая, онъ не годится, ну, дескать, мнѣ подай. Вы объ этомъ подумали съ нѣжной маменькой-то или нѣтъ,—а?

— Да я, сестра...

— Что, братецъ?

— Я съ тобой совершенно согласенъ, даже хотѣлъ...

— Да вѣрно хотѣй не велѣлъ,—ѣдко подсказала игуменья.

— Да полно тебѣ, сестра! Я говорилъ, что это не хорошо.

— Это гадко, а не просто нехорошо. Парень слоняется изъ дома въ домъ по барынькамъ, да сударынькамъ, вездѣ ему рады. Да и отчего жъ нѣтъ? Человѣкъ молодой, не дуренъ, говорить не дуракъ, — а дома пустыя комнаты, да женины капризы помнятся: эй, глядите, друзья, попомните мое слово: будетъ у васъ эта милая Зиночка ни дѣвушка, ни вдова, ни замужняя жена.

— Да она возвратится, возвратится.

— Когда жъ это она возвратится?

— Да вотъ...

— Когда мужъ пріѣдетъ, да станетъ ублажать, ручки лизать, да упрашивать? А какъ, наконецъ, и не станетъ?—значительно моргнувъ однимъ глазомъ, закончила мать Агнія.

Бахаревъ молчалъ.

— Переломить надо эту фанаберію-то. Пусть разъ спесь-то свою спрячетъ, да вернется къ мужу съ покорной головой. А то,—эй, смотри, Егоръ! — на цѣлый вѣкъ вы бабенку сгубите. И что ты-то, въ самомъ дѣлѣ, за колпакъ такой!

— Я, право, сестра, самъ бы давно ее спровадилъ, да вѣдь знаешь мой характеръ дурацкій: сценъ этихъ смерть боюсь. Вѣдь изъ себя выйду, чортъ знаетъ, что̀ надѣлаю.

— Да что̀ тутъ за сцены! Велѣлъ тихо-спокойно запрячь карету, объявилъ рабѣ Божіей: «поѣзжай, молъ, матушка, честью, а не поѣдешь, повезутъ поневолѣ», — вотъ и вся не долга. И поѣдетъ, какъ увидитъ, что съ ней не шутки шутятъ, и съ мужемъ изъ-за вздоровъ разъѣзжаться по пяти разъ на годъ не станетъ. Тебя же еще будетъ благодарить и носа съ прежними штуками въ отцовскій домъ, срамница этакая, не покажетъ.—А Лиза какъ?

Бахаревъ опять развелъ руками и, вытянувъ впередъ губы, отвѣчалъ:

— Да, тоже какъ-то все...

— А-а, ужъ началось! Я такъ скоро не ожидала.—Ну, что же такое?

— Съ матерью, съ сестрами все какъ-то не поладитъ. Она на нихъ, онѣ на нее... ничего не разберу. Поступки такіе какіе-то странные...

— Напримѣръ?

— Да вотъ, напримѣръ, недѣли три тому назадъ, ночью улетѣла.

— Куда это она могла улетѣть? Разскажи, батюшка мой, толкомъ.

Игуменья положила на колѣни работу и приготовилась слушать.

Бахаревъ разсказалъ извѣстную намъ исторію Лизиной поѣздки къ Гловацкимъ и остановился на отъѣздѣ Женни.

— Ну, а послѣ жъ что̀ было?—спокойно спросила игуменья.

— За сущіе пустяки, за луну тамъ, что ли, избранила Соню и Зину, ушла, не прощаясь, наверхъ, двое сутокъ высидѣла въ своей комнатѣ; ни съ кѣмъ ни одного слова не сказала.

Игуменья улыбнулась и опять сказала:

— Ну?

— Ну, и такъ до сихъ поръ: кромѣ «да» да «нѣтъ» никто отъ нея ни одного слова не слышалъ. Я ужъ, было, и покричалъ намедни,—ничего, и глазомъ не моргнула. Ну, а потомъ мнѣ жалко ее стало, приласкалъ, и она ласково меня поцѣловала. — Теперь вотъ передъ отъѣздомъ моимъ пришла въ кабинетъ сама (чтобы не забыть еще, право), просила ей хоть какой-нибудь журналъ выписать.

— Какой же?

— Журналъ для дѣвицъ, что-ль то: тамъ у меня записано. Жена ей выбрала.

— А, Ольга Сергѣевна! Ну, она во всемъ знатокъ!

— Что жъ, все-таки мать.

— Да кто жъ говоритъ!

Игуменья медленно приподнялась, отворила старинную шифоньерку и, доставъ оттуда тридцать рублей, положила ихъ передъ братомъ, говоря:

— Вотъ, сдѣлай-ка мнѣ одолженіе, потрудись выписать Лизѣ два хорошіе журнала. Она не дитя, чтобы ей побасенки читать.

— Да зачѣмъ же это, сестра? На что жъ твои деньги? Развѣ я самъ не могу выписать для дочери?

— Ну, ты самъ можешь дѣлать, что̀ тебѣ угодно, а это прошу сдѣлать отъ меня. А не хочешь, я и сама пошлю на почту, — добавила она, протягивая руку къ лежащимъ деньгамъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ же ты сердишься? Я пошлю завтра же.

— Да, пожалуйста, и Лизѣ скажи, что это я ей посылаю. Пусть на здоровье читаетъ. Лучше чѣмъ стонать-то, да съ гусарами брындахлыстничать.

— Ну, ужъ ты пошла!

— Да, поѣхала.

— Какая ты, право, Агнеса! Къ тебѣ ѣдешь за совѣтомъ, за добрымъ словомъ, а ты все ищешь, какъ бы уколоть, уязвить да обидѣть.

Игуменья только перемѣнила спицу и начала новый рядъ.

— Мнѣ самому кажется, что съ Лизой нужно какъ-то не такъ.

Игуменья спокойно вязала.

— Какъ она тебѣ, сестра, показалась?

— Да что жъ — какъ мнѣ? Надо знать, какъ она вамъ показалась? Вы для нея больше, чѣмъ я.

— Да, мнѣ кажется, она добрая дѣвочка, только съ душкомъ.

— То-есть, съ характеромъ, скажи.

— Тебѣ она, видно, понравилась?

— Хорошая дѣвушка: прямая и смѣлая.

— Это еще институтское.

— Нѣтъ, это кровное, — съ нѣкоторою, едва, впрочемъ, замѣтною гордостью возразила игуменья.

— Вотъ ты все толкуешь, сестра, о справедливости, а и сама тоже несправедлива. Соничкѣ тамъ, или Зиночкѣ все въ строку, даже гусаровъ. Вѣдь не выгонять же молодыхъ людей.

— Молодыхъ повѣсъ, скажи,—перебила игуменья.

— Ну, будь по-твоему, ну, повѣсъ; а все же не выгонять ихъ изъ дому, когда дѣвушки въ домѣ.

Игуменья промолчала.

— И опять; отчего же такъ они всѣ повѣсы? Есть и очень солидные молодые люди.

— Солидные молодые люди дѣло дѣлаютъ: прежде хорошенько учатся, а потомъ хорошенько служатъ; а эти-то кое-какъ учились и кое-какъ служить норовятъ, лишь бы выслужиться. Повѣсы да и только.

— Однакоже и Гловацкій молодой тебѣ не понравился, а вѣдь онъ по ученой части идетъ.

— И по ученой части дураковъ развѣ мало? Я думаю, пожалуй, не меньше чѣмъ гдѣ-нибудь.

— Ну, о немъ, я думаю, этого нельзя сказать, — критиканъ большой, это точно.

— Дуракъ онъ большой: надѣлъ на себя какую-то либеральную хламиду и несетъ вздоръ, благо попалъ въ болото, гдѣ и трясогузъ птица. Какъ это ты, въ самомъ дѣлѣ, опустился, Егоръ, что не умѣешь ты различить паву по перьямъ. Этотъ балбеска Ипполитъ, Зина съ Соней, или Лиза, это у тебя все на одномъ кругу вертится. Ну, ты только подумай! То вральманъ, которому покажи пукъ розогъ, такъ онъ и отъ всего отречется; Зина съ Соней какія-то нылыноющія, — кто ужъ ихъ тамъ опредѣлитъ: и въ коробъ не лѣзутъ, и изъ короба не идутъ. На этотъ фруктъ нонче у насъ пора урожайная: прудъ пруди людямъ на-смѣхъ, еще ихъ вволю останется. А Лизанька—кровь! Пойми ты: *бахаревская* кровь, а не Ольги Сергѣевнина. Ты долженъ стать за Лизу. Лиза женщина, я въ ней вижу нашу гордость. Мало ли, что имъ въ ней примерещится. Ты долженъ ее защитить отъ этого пиленья-то. Вѣдь самъ знаешь, что противъ жару и камень треснетъ, а въ ней — опять тебѣ повторяю—наша кровь, бахаревская.

— Да, я это чувствую, — пріосаниваясь говорилъ Егоръ Николаевичъ:—я чувствую и понимаю.

— А понимаешь, такъ и разумѣй, какъ долженъ поступать. Горяча она очень, откровенна, пряма до смѣшного— это пройдетъ. Съ Женей пусть почаще вмѣстѣ бываютъ: дѣвушка предостойная, хотя и совсѣмъ въ другомъ родѣ. А умничать надъ нею много не позволяй. Школить-то ее нечего, какъ собаченку. Свѣтской пустотѣ сама еще подчинится, придетъ время. За женихами падать очень ужъ такъ нечего. Такія дѣвушки, какъ Лиза, на каждомъ шагу не встрѣчаются. Была бы охота, найдетъ доброхота. Придетъ пора, передѣлается, насколько сама сочтетъ нужнымъ. Изъ ничего ничего не сдѣлаешь, а она матерьялъ. Я вонъ вѣкъ свой до самаго монастыря француженкой росла, а нынче, батюшка мой, съ мужикомъ мужичка, съ купцомъ купчиха, а съ бариномъ и барыней еще быть не разучилась. Это все пустяки, а ты смотри, чтобы ее не грызли, чтобъ она не металась, бѣдняжка, нигдѣ не находя сочувствія: вотъ это твое дѣло.

— Это правда, я непремѣнно, непремѣнно.

Бахаревъ сталъ прощаться.

— Ты сегодня развѣ ѣдешь?

— Сейчасъ даже; человѣка оставлю забрать покупки да вотъ твои деньги на почту отправить, а самъ сейчасъ домой. Ну, прощай, сестра, будь здорова.

— Прощай, да смотри помни о Лизѣ-то.

— Хорошо, хорошо.

— То-то хорошо. Скажи на ушко Ольгѣ Сергѣевнѣ,—прибавила, смѣясь, игуменья:—что если Лизу будутъ обижать дома, то я ее къ себѣ въ монастырь возьму. Не смѣйся, не смѣйся, а скажи. А безъ шутокъ говорю: если увижу, что вы не хотите дать ей жить сообразно ея натурѣ, честное слово даю, что къ себѣ увезу.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Слово воплощается.

Черезъ день послѣ описаннаго разговора Бахарева съ сестрою, въ Меревѣ обѣдали ранѣе обыкновеннаго, и въ то время, какъ господамъ подавали кушанье, у подъѣзда стояла легонькая бахаревская каретка, запряженная четверней небольшихъ саврасыхъ вятокъ.

За столомъ сидѣла вся семья и Юстинъ Помада, нѣсколько блѣдный и нѣсколько растерянный.

У Ольги Сергѣевны и Зины глаза были наплаканы до опухоли вѣкъ; Софи тоже была не въ своей тарелкѣ.

Одна Лиза сидѣла ровно и спокойно, какъ будто чужое лицо, до котораго прямымъ образомъ нимало не касаются никакія домашнія дрязги.

Егоръ Николаевичъ былъ твердъ тою своеобычною рѣшимостью, до которой онъ доходилъ послѣ долгихъ уклоненій, и съ которой ужъ зато его свернуть было невозможно, если его разъ перепилили. Теперь онъ ѣлъ за четверыхъ и не обращалъ ни на кого ни малѣйшаго вниманія.

Зина была одѣта въ очень кокетливо сшитое дорожное холстинковое платье; всѣ прочія были въ своихъ обыкновенныхъ нарядахъ.

Пружина безмятежнаго пріюта дѣйствовала: Зина уѣзжала къ мужу. Она энергически протестовала противъ своей высылки, еще энергичнѣе протестовала противъ этого мать ея, но всѣхъ энергичнѣе былъ Егоръ Николаевичъ. Объявивъ свою непреклонную волю, онъ ушелъ въ кабинетъ, многозначительно хлопнулъ дверью, велѣлъ кучерамъ запрягать

карету, а горничной дѣвушкѣ Зины укладывать ея вещи. Бахаревъ отдалъ эти распоряженія такимъ тономъ, что Ольга Сергѣевна только проговорила:

— Собирайся, Зиночка.

А люди стали перешептываться:

— Т-съ! баринъ гнѣвенъ!

Правду говоря, однако, всѣхъ тяжеле въ этотъ день была роль самого добросердаго барина и всѣхъ пріятнѣе роль Зины. Ей давно смерть хотѣлось возвратиться къ мужу, и теперь она получила разомъ два удовольствія: надѣвала на себя вѣнокъ страдалицы и возвращалась къ мужу, яко бы не по собственной волѣ, имѣя, однако, въ виду всѣ пріятныя стороны совмѣстнаго житья съ мужемъ, которыми весьма дорожила ея натура, неуважавшая капризовъ распущеннаго разума.

Рада была Зина, когда лошади тронули ее отъ отцовскаго крыльца, радъ былъ и Егоръ Николаевичъ, что онъ выдержалъ и поставилъ на своемъ.

«Бахаревская кровь,—думалъ онъ,—бахаревская кровь, сила, терпѣніе, настойчивость: я Бахаревъ, я настоящій Бахаревъ».

— Мнишекъ! — крикнулъ онъ, подумавши это: — позвать мнѣ Марину.

Явилась Абрамовна.

— Лизочкины вещи перенесть въ Зинину комнату и устроить ей тамъ все, какъ слѣдуетъ, — скомандовалъ Бахаревъ.

Марина Абрамовна молча поглядывала то на Егора Николаевича, то на его жену.

— Слышишь?—спросилъ Егоръ Николаевичъ.

— Слушаю-съ,—отвѣчала старуха.

— Ну, и дѣлай.

— Егоръ!—простонала Ольга Сергѣевна.

— Что-съ?—отрывисто спросилъ Бахаревъ.

— Это можно послѣ.

— Это можно и сейчасъ.

— Гдѣ же будетъ помѣщаться Зина?

— У мужа.

— Но у нея не будетъ комнаты.

— Мужнинъ домъ великъ. Пока ребятъ не нарожала еще, двѣ семьи размѣстить можно.

— Но для пріѣзда.

— А! ну да. Мнишекъ, устрой такъ, чтобы Зиночкѣ было хорошо въ пріѣздъ остановиться въ теперешней Лизиной комнаткѣ.

— Слушаю-съ, — снова, посматривая на всѣхъ, проговорила Абрамовна.

— Ну, иди.

Абрамовна вышла.

— Какъ же это можно, Егоръ Николаевичъ, помѣстить Зину въ проходной комнатѣ? — запротестовала Ольга Сергѣевна.

— Га! А Лизу можно тамъ помѣстить?

— Лиза ребенокъ.

— Ну, такъ что-жъ?

— Она еще недавно въ общихъ дортуарахъ спала.

— А Зина?

— Что-жъ, Зинѣ, по вашему распоряженію, теперь негдѣ и спать будетъ.

— Негдѣ? негдѣ?—съ азартомъ спросилъ Бахаревъ.

— Конечно, негдѣ,—простонала Ольга Сергѣевна.

— У мужа въ спальнѣ, — полушопотомъ и съ грознымъ придыханіемъ произнесъ Егоръ Николаевичъ.

— Ахъ, Боже мой!..

— Что-съ?

— Ну, а на случай пріѣзда?

— О! на случай пріѣзда довольно и Лизиной комнаты. Если Лизѣ для постояннаго житья ея довольно, то ужъ для пріѣзда-то довольно ея и черезчуръ.

— Что-жъ, устроено все? — спросилъ Бахаревъ Абрамовну, сидя за вечернимъ чаемъ.

Абрамовна молчала.

— Не устроено еще?—переспросилъ Бахаревъ.

— Завтра можно, Егоръ Николаевичъ, — отвѣтила за Абрамовну Ольга Сергѣевна.

Бахаревъ допилъ стаканъ, всталъ и спокойно сказалъ:

— Лиза! иди-ка къ себѣ. Мы перенесемъ тебя съ Юстиномъ Феликсовичемъ.

И пошли, и перенесли все Лизино въ спокойную, удаленную отъ всякаго шума комнату Зины, а Зинины вещи довольно уютно уставили въ бывшей комнатѣ Лизы.

И все это своими руками.

— Вотъ живи, Лизочекъ, — возгласилъ Егоръ Николаевичъ, усѣвшись отдохнуть на табуретѣ въ новомъ помѣщеніи Лизы, когда тутъ все уже было уставлено и приведено въ порядокъ.

Лиза, хранившая мертвое молчаніе во время всѣхъ сегодняшнихъ распоряженій, при этихъ словахъ встала и поцѣловала отцовскую руку.

— Живи, голубка. Книги будутъ и покой тебѣ будетъ.

— Я завтра полочки тутъ для книгъ привѣшу, — проговорилъ Помада, сидѣвшій тутъ же на ящикѣ въ углу, и на слѣдующее утро онъ явился съ тремя книжными полочками на ремнѣ и большою, закрытою зеленою бумагою, клѣткою, въ которой сидѣлъ курскій соловей.

Полки Помада повѣсилъ по стѣнкѣ, а клѣтку съ курскимъ соловьемъ подъ окномъ.

— Отлично теперь, Лизавета Егоровна!—произнесъ онъ, забивъ послѣдній гвоздь и отойдя къ двери.

— Отлично, Юстинъ Феликсовичъ, — отвѣчала Лиза и стала уставлять на полки свои книжечки.

Такъ и зажила Лиза Бахарева.

Ставъ одинъ разъ въ разрѣзъ съ матерью и сестрами, она не умѣла съ ними сойтись снова, а онѣ этого не искали. Отецъ стоялъ за нее, но не умѣлъ найти ея прямой симпатіи. Съ Женей она видалась не часто и то на самое короткое время. Она видѣла, что у матери и сестеръ есть предубѣжденіе противъ всѣхъ ея прежнихъ привязанностей и писала Гловацкой: «Ты, Женька, не подумай, что я тебя разлюбила! Я тебя всегда буду любить. Но ты знаешь, какъ мнѣ скверно, и я не хочу, чтобы это скверное стало еще сквернѣе. А я тебя крѣпко люблю. Ты не сердись, что я къ тебѣ не ѣзжу! Меня теперь и пустили бы, да я теперь не хочу этой милости. Ты пріѣзжай ко мнѣ. У меня теперь хорошо, а пока пришли мнѣ книгъ. У меня есть три журнала, да что жъ это!»

Женни брала у Вязмитинова для Лизы—Гизо, Маколея, Милля, Шлоссера. Все это она посылала къ Лизѣ и только дивилась, какъ такъ скоро все это возвращалось съ лаконическою надписью карандашомъ: «читала», «читала» и «читала».

— Давайте еще,—просила Женни Вязмитинова.

— Право, ужъ ничего болѣе нѣтъ,—отвѣчалъ учитель.

— Хотите политическую экономію послать?—спрашивалъ Зарницынъ.

— Или логику Гегеля,—шутя добавлялъ Вязмитиновъ.

— Давайте, давайте,—отвѣчала Женни.

И ѣхали эти книжки, шутки ради, въ Мерево, а оттуда возвращались съ лаконическими надписями: «читала», «читала».

— Лиза, что это ты дѣлаешь!—спрашивала Гловацкая.

— Что, дружокъ мой?

— Ты будешь синимъ чулкомъ.

— Отчего?

— Что ты все глотаешь?

— А! ты это о книгахъ?

— Да, о книгахъ.

— Я люблю читать.

— Но нужно читать что-нибудь одно. Вязмитиновъ говоритъ, что непремѣнно нужно читать съ системой, и я это чувствую.

— Ты что же читаешь?

— Я читаю одни историческія сочиненія.

— Это хорошо.

— А ты?

— Я читаю все. Я терпѣть не могу системъ. Я очень люблю заниматься такъ, какъ занимаюсь. Я хочу жить безъ указки всегда и во всемъ.

И такъ жила Лиза до осени, до Покрова, а на Покровъ у нихъ былъ прощальный деревенскій вечеръ, за которымъ слѣдовалъ отъѣздъ въ губернскій городъ на цѣлую зиму.

На этомъ прощальномъ вечерѣ гостей было со всѣхъ волостей. Были и гусары, и помѣщики либеральные, и помѣщики изъ непосредственныхъ натуръ, и дамы уродливыя, и дамы хорошенькія, сочныя, аппетитныя и довольно рѣшительныя. Егоръ Николаевичъ ходилъ лично приглашать къ себѣ камергершу Мереву, но она, вмѣсто отвѣта на его приглашеніе, спросила:

— А Кожухова у тебя будетъ?

— Будетъ,—отвѣчалъ Бахаревъ.

— И князь будетъ?

— Какъ же, будетъ.

— Ну, батюшка, такъ что жъ ты хочешь развѣ, чтобъ на твоемъ вечерѣ скандалъ былъ?

— Боже спаси!

— То-то, я вѣдь не утерплю, спрошу эту мадамъ, гдѣ она своего мужа дѣла? Я его мальчикомъ знала и любила. Я не могу, видя ее, лишить себя случая дать ей давно слѣдующую пощечину. Такъ лучше, батюшка, и не зови меня.

Смотритель и Вязмитиновъ съ Зарницынымъ были на вечерѣ, но держались какъ-то въ сторонкѣ, а докторъ обѣщалъ быть, но не пріѣхалъ. Лиза и здѣсь, по обыкновенію, избѣгала всякихъ разговоровъ и, нехотя протанцовавъ двѣ кадрили, ушла въ свою комнату съ Женей.

— Кто этотъ молоденькій господинъ пріѣзжій?—спросила она Женни объ одномъ изъ гостей.

— Который?

— Черный, молоденькій.

— Какой-то Пархоменко.

— Нѣтъ, о Пархоменкѣ я слышала, а этотъ иностранецъ?

— Какой-то Райнеръ.

— Что онъ такое?

— Богъ его знаетъ.

— Откуда они? Изъ Петербурга?

— Да.

— У кого они гостятъ?

— Богъ ихъ знаетъ.

— Этотъ Пархоменко дурачокъ.

— Кажется.

— А Райнеръ?

— Не знаю.

— Чего бы ему сюда съ дураками?—убирая косу, проговорила Лиза и легла съ Женею спать подъ звуки безпощадно разбиваемаго внизу фортепіано.

Лиза ужъ совсѣмъ эмансипировалась изъ-подъ домашняго вліянія, и на такихъ положеніяхъ уѣхала, на третій день послѣ прощальнаго вечера, со всею своею семьею въ губернскій городъ.

— А хорошо, папа, устроилась теперь Лиза,—говорила отцу Женни, ѣдучи съ нимъ на другой день домой.

— Ну...—промычалъ Гловацкій и ничего не высказалъ.

Вечеромъ въ этотъ же день у нихъ былъ Пархоменко и Райнеръ.

Пархоменко все дергалъ носомъ, колупалъ пальцемъ глазъ и говорилъ о необходимости совершенно иныхъ во всемъ

порядковъ и разныхъ противодѣйствій консерваторамъ. Райнеръ много разсказывалъ Женни о чужихъ краяхъ, а въ особенности объ Англіи, въ которой онъ долго жилъ и которую очень хорошо зналъ.

— Боже! я тамъ всегда видѣла верхъ благоустройства,— говорила ему Женни.

— И неправомѣрности,—отвѣчалъ Райнеръ.

— Тамъ свобода.

— Номинальная. Свобода протестовать противъ голода и умирать безъ хлѣба,—спокойно отвѣчалъ Райнеръ.

— А все же свобода.

— Да. Свобода голоднаго рабства.

— А у насъ?

— У васъ есть будущее: у васъ меньше вредныхъ преданій.

— У насъ невѣжество.

— На дѣло скорѣе готовы люди односторонніе, чѣмъ переворачивающіе все на всѣ стороны.

— Гдѣ вы учились по-русски?

— Я давно знаю. Мнѣ нравился вашъ народъ и вашъ языкъ.

— Вы поговорите съ Вязмитиновымъ. Онъ здѣсь, кажется, больше всѣхъ знаетъ.

«Какой странный этотъ Райнеръ!» думала Женни, засыпая въ своей постелькѣ послѣ этого разговора.

На другой день она кормила на дворѣ куръ и слышала, какъ Вязмитиновъ, взявшись съ уличной стороны за кольцо ихъ калитки, сказалъ:

— Ну, прощайте,—добрый вамъ путь.

— Прощайте,—отвѣчалъ другой голосъ, который на первый разъ показался Женѣ незнакомымъ.

— Разсчитывайте на меня смѣло, — говорилъ Вязмитиновъ: — я готовъ на все за движеніе, конечно, за такое,— добавилъ онъ,—которое шло бы легальнымъ путемъ.

— Я увѣренъ,—отвѣчалъ голосъ.

— Только *легальнымъ* путемъ. Я не вѣрю въ успѣхъ иного движенія.

— Конечно, конечно,—отвѣчалъ снова голосъ.

— Кто съ вами былъ здѣсь за воротами? — спросила Вязмитинова Женни, не выпуская изъ рукъ чашки съ моченымъ горохомъ.

— Райнеръ,—мы съ нимъ прощались,—отвѣчалъ Вязмитиновъ.—Очень хорошій человѣкъ.

— Кто? Райнеръ?

— Да.

— Кажется. Что̀ ему здѣсь нужно? Какія у него занятія?

— Онъ путешествуетъ.

— А! Это у насъ новость? Куда жъ онъ ѣдетъ?

— Такъ ѣдетъ, съ своимъ пріятелемъ и съ Помадой. А что?

— Ничего. Онъ, въ самомъ дѣлѣ, очень образованный и очень милый человѣкъ.

— И милый?—съ полушутливой, полуѣдкой улыбкой переспросилъ Вязмитиновъ.

— И милый,—еще разъ подтвердила Женни, закраснѣвшись и нѣсколько поспѣшливо сложивъ свои губки.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Крещенскій вечеръ.

На дворѣ рано осмеркъ самый сердитый зимній день и немилосердно била сухая пурга. Въ двухъ шагахъ человѣка уже не было видно. Даже красный свѣтъ лучинъ, запылавшихъ въ крестьянскихъ хатахъ, можно было замѣтить, когда совсѣмъ ужъ ткнешься носомъ въ занесенную снѣгомъ суволоку, изъ которой бѣльмисто смотритъ обледенѣлое оконце. На господскомъ дворѣ камергерши Меревой, съ самаго начала сумерекъ, люди сбивались съ дороги: вмѣсто параднаго крыльца дома, попадали въ садовую калитку; идучи въ мастерскую, заходили въ конюшню; отправляясь къ управительницѣ, попадали въ избу скотницы. Такая пурга была, что свѣту Божьяго не видно. А между тѣмъ не держала эта пурга по своимъ угламъ меревскую дворню. Люди, вырядившись шутами, ходили толпою изъ флигеля во флигель, пили водочку, гдѣ таковая обрѣталась, плясали, шумѣли, веселились. Особенно потѣшалъ всѣхъ поваренокъ Ефимка, привязавшій себѣ льняную бороду и устроившій изъ подушекъ аршинный горбъ, по которому его во всю ночь принимались колотить горничныя дѣвушки, какъ только онъ, по праву святочныхъ обычаевъ, запускалъ свои руки за пазуху то турчанкѣ, то цыганкѣ, то богинѣ въ вѣнцѣ, вырѣзанномъ изъ стараго штофнаго кокошника барышниной кормилицы. Словомъ,

на меревскомъ дворѣ были настоящія святки. Даже бахаревскій садовникъ и птичница пришли сюда, несмотря на пургу, и тоже переходили за ряжеными изъ кухни въ людскую, изъ людской въ контору и такъ далѣе.

— А у насъ-то теперь, — говорила бахаревская птичница:—у насъ скука пристрашенная... Прямо сказать, настоящая Сибирь, какъ есть Сибирь. Мы словно какъ въ гробу живемъ. Окна въ домѣ заперты, сугробовъ нанесло, что и не вылѣзешь: живемъ старые, да кволые. Всѣ-то наши въ городѣ, и таково-то намъ часомъ бываетъ скучно, скучно, а тутъ какъ еще псы-то ночью завоютъ, такъ инда даже будто какъ и жутко станетъ.

Между тѣмъ, какъ переряженные дворовые слонялись по меревскому двору, а сѣрые облачные столбы сухого снѣга, вздымаясь, гуляли по полямъ и дорогамъ, сквозь померзлое окно въ комнатѣ Юстина Помады постоянно мелькала взадъ и впередъ одна и та же темная фигура. Эта фигура былъ самъ Помада. Онъ ходилъ изъ угла въ уголъ по своему чулану и то ворошилъ свою шевелюру, то нюхалъ зеленую вѣточку ели, или моталъ ею у себя подъ носомъ. На столѣ у него горѣла сальная свѣчка, распространяя вокругъ себя не столько свѣта, сколько зловонія; на лежанкѣ чуть-чуть пищалъ угасавшій самоваръ, и тутъ же стоялъ графинъ съ водкой и большая деревянная чашка соленыхъ и нѣсколько промерзлыхъ огурцовъ.

— Во-первыхъ, истинная любовь скромна и стыдлива, а во-вторыхъ, любовь не можетъ быть безъ уваженія,—произнесъ Помада, не прекращая своей прогулки.

— Разсказывай,—возразилъ голосъ съ кровати.

Теперь только, когда этотъ голосъ изобличалъ присутствіе въ комнатѣ Помады еще одного живого существа, можно было разсмотрѣть, что на постелѣ Помады, преспокойно растянувшись, лежалъ человѣкъ въ дубленомъ короткомъ полушубкѣ и, закинувъ ногу на ногу, преспокойно курилъ довольно гадкую сигару.

Всматриваясь въ эту фигуру, вы узнавали въ немъ доктора Розанова. Онъ сегодня ѣхалъ со слѣдствія, завернулъ къ Помадѣ, а тутъ поднялась кура, онъ и остался у него до утра.

— Это вѣрно,—говорилъ Помада, какъ бы еще разъ обдумавъ высказанное положеніе и убѣдившись въ его совершенной непогрѣшимости.

— Какъ не вѣрно!— иронически замѣтилъ докторъ.

— Бѣлинскій пишетъ, что любовь тогда чувство почтенное, когда предметъ любви достоинъ уваженія.

— Изъ чего и слѣдуетъ, что и Бѣлинскій могъ провираться.

— Ну, у тебя всѣ провираются.

— А всѣ!

— Ну, можно ли любить женщину, которую ты не уважаешь, которой не вѣришь?

— Не о чемъ и спрашивать. Стало-быть можно, когда люди любятъ.

— Люди черти, люди и водку любятъ.

— Дура ты, Помада, право дура, и дуракомъ-то тебя назвать грѣхъ.

Докторъ замолкъ.

— Терпѣть я тебя не могу за эту дрянную манеру. Какого ты чорта все идеальничаешь?

— Оставь ужъ лучше, чѣмъ ругаться, — замѣтилъ, обидясь, Помада.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ?

— А въ самомъ дѣлѣ, оставимъ этотъ разговоръ, да и только.

— И это можно, но ты мнѣ только скажи вотъ: ты съ уваженіемъ любишь или нѣтъ?

— Я никого не люблю исключительной любовью.

— Что̀ врать! Самъ сто разъ сознавался, то въ Катеньку, то въ Машеньку, то въ Сашеньку, а ужъ вѣчно врѣзавшись... То-есть, вѣдь такой козелъ сладострастный, что и вообразить невозможно. Вспыхнетъ, какъ порохъ, отъ каждаго женскаго платья и пошелъ идеализировать. А корень всѣхъ этихъ привязанностей совсѣмъ сидитъ не въ уваженіи.

— А въ чемъ же по-твоему?

— Ну ужъ, братъ, не въ уваженіи.

— По-твоему, небось, чортъ знаетъ въ чемъ... въ твоихъ грязныхъ наклонностяхъ.

— Те, те, те! ты, братъ, о грязныхъ-то наклонностяхъ не фордыбачь. Противъ природы не пойдешь, а пойдешь, такъ дуракомъ и выйдешь. Да твое-то дѣло для меня объясняется вовсе не одними этими, какъ ты говоришь, грязными побужденіями. Я даже думаю, что ты, пожалуй,— чортъ тебя знаетъ, — ты, можетъ-быть, и, дѣйствительно,

способенъ любить такъ, что уважаешь. Ты прежде вотъ, я говорю, врѣжешься, а потомъ и пошелъ додумывать своей богинѣ всякія неземныя и земныя добродѣтели. Ну, не такъ, что ли?

— Конечно, не такъ.

— Какъ же это ты и Зину Бахареву уважаешь, и Соньку, и Лизу, и поповну молодую, и Гловацкую?

— Эко напуталъ!

— Чего? да развѣ ты не во всѣхъ въ нихъ влюбленъ? Какъ есть во всѣхъ. Такой ужъ, ты, братъ, сердечкинъ, и я тебя не осуждаю. Тебѣ хочется любить, ты вотъ распяться бы хотѣлъ за женщину, а никакъ это у тебя не выходитъ. Никто ни твоей любви, ни твоихъ жертвъ не принимаетъ, вотъ ты и ищешь все своихъ идеаловъ. Какое тутъ чортъ уваженіе. Развѣ, уважая Лизу Бахареву, можно уважать Зинку, или, уважая поповну, рядомъ съ ней можно уважать Гловацкую?

— Да къ чему жъ ты ихъ всѣхъ путаешь?

— Власть, братецъ мой, такую имѣю и ничѣмъ ты мнѣ этого возбранить не можешь, потому что рыльце у тебя въ пуху.

Докторъ всталъ съ постели, набилъ себѣ дорожную трубку, потомъ выпилъ рюмку водки и, перекусивъ огурецъ, снова повалился на постель.

— Все это, братецъ мой, Юстинъ Феликсовичъ, я предпринимаю въ видахъ ближайшаго достиженія твоего благополучія,—произнесъ онъ, раскуривая трубку.

— Благодарю покорно,—процѣдилъ сквозь зубы Помада, не прекращая своей безконечной протулки.

— И долженъ благодарить, потому что эта идеальность тебя до добра не доведетъ. Такъ вотъ и просидишь всю жизнь на меревскомъ дворѣ, мечтая о любви и самоотверженіи, которыхъ на твое горе здѣсь принять-то некому.

— Ну, и просижу,—спокойно отвѣчалъ Помада.

— Просидишь?—Ну и сиди, прѣй.

Помада молчалъ.

— Отличная жизнь,—продолжалъ иронически докторъ:— и преполезная тоже! Лѣтомъ около барышень цвѣточки нюхаетъ, а зиму, въ ожиданіи этого лѣтняго блаженства, бѣгаетъ по своему чулану, какъ полевой волкъ въ клѣткѣ звѣринца. Ты мнѣ вѣрь; я тебѣ вѣдь безъ всякихъ шутокъ говорю, что ты дурѣть сталъ: ты-таки и одурѣешь.

— Какой былъ, таковъ и есть, — опять процѣдилъ Помада, видимо тяготясь этимъ разговоромъ и всячески желая его окончить.

— Нѣтъ, не таковъ. Ты еще осенью былъ человѣкомъ, подававшимъ надежды проснуться, а теперь, какъ Бахаревы уѣхали, ты совсѣмъ — шутъ тебя знаетъ, на что̀ ты похожъ,—безтолковъ совсѣмъ, милый мой, становишься. Я думалъ, что Лизавета Егоровна тебя повернетъ своей живостью, а ты, вѣрно, только и способенъ миндальничать.

Помада продолжалъ помахивать у своего носа еловою вѣточкой и молчалъ, выдерживая свое достоинство.

Докторъ всталъ, выпилъ еще рюмку водки и сталъ раздѣваться.

— У человѣка факты живые передъ глазами, а онъ ужъ и ихъ не видитъ,—говорилъ Розановъ, снимая съ себя сапоги. — Стану я факты отрицать, не выживши изъ ума! Просто одурѣваешь ты, Помада, просто одурѣваешь.

— Это ты отрицатель-то, а не я. Я все признаю, я многое признаю, чего ты не хочешь допустить.

— Напримѣръ, любовь, происходящую изъ уваженія?— смѣясь спросилъ докторъ.

— Да, что̀ тебѣ далось нынче это уваженіе! — воскликнулъ Помада нѣсколько горячѣе обыкновеннаго.

— Сердишься! ну, значитъ, ты неправъ. А ты не сердись-ка, ты дай вотъ я съ тебя показаніе сниму и сейчасъ докажу тебѣ, что ты неправъ. Хочешь ли и можешь ли отвѣчать?

— Да я не знаю, о чемъ ты хочешь спрашивать.

— Поваръ Павелъ любитъ свою жену или нѣтъ?

— Кто жъ его знаетъ.

— Ну, а я тебѣ скажу, что и онъ ее любитъ, и она его любитъ. А теперь ты мнѣ скажи, дерутся они или нѣтъ?

— Ну, дерутся.

— Такъ и запишемъ.—Теперь Васенка любитъ мельника Родіона или не любитъ?

— Да чортъ знаетъ, о чемъ ты спрашиваешь! Почемъ я знаю, любитъ Васенка или не любитъ?

— Почемъ! А вотъ почемъ, другъ любезный, потомъ, что она при тебѣ сапоги мои цѣловала, чтобы я забраковалъ этого Родіонова въ рекрутскомъ присутствіи, когда его привезли сдавать именно за то, что онъ ей совкомъ голову

проломилъ. И не только тутъ я видѣлъ, какъ она любитъ этого разбойника, а даже видѣлъ я это и въ тѣ минуты, когда она попрекала его, кляла всѣми клятвами за то, что онъ ее сокрушилъ и состарилъ безъ поры, безъ времени, а тутъ же сейчасъ послѣдній платокъ цырюльнику съ шеи сбросила, чтобы тотъ не шельмовалъ ея соколу затылокъ. Кажется, вѣдь любитъ? А только тотъ всталъ съ подстриженнымъ затылкомъ, она ему въ лицо харкнула. «Звѣрь, говоритъ, ты, лиходѣй мой проклятый». Гдѣ жъ здѣсь твое уваженіе-то?

— Что жъ, тутъ вовсе не любовь, а сожалѣніе.

— Сожалѣніе! А зачѣмъ же она сбѣжала-то съ нимъ вмѣстѣ.

— Воли захотѣлось.

— Подъ его кулачьями-то! Ну, нѣтъ, братъ, — не воли ей захотѣлось, а любва, любва эти штуки-то отливаетъ. Воли бы ей хотѣлось, давно бы ее эскадронный пять разъ откупилъ. Это ты вѣдь тоже, чай, знаешь не меньше моего. Васенка-то, братъ... знаешь, чего стоитъ! Глазомъ поведетъ — рублемъ одаритъ. Это, вѣдь, хрящекъ бѣлый, а не косточка. А я тебѣ повторяю, что все это орудуетъ любовь, да не та любовь, что вы тамъ сочиняете, да основываете на высокихъ-то нравственныхъ качествахъ любимаго предмета, а это наша, русская, каторжная, зазнобистая любва, та любва, про которую эти адски-мучительныя пѣсни поются, за которую и душатся, и рѣжутся, и не разсуждаютъ по-вашему. Бѣлинскій-то — хоть я и позабывалъ у него многое—разсуждаетъ, вѣдь, тутъ о человѣкѣ *нравственно развитомъ*, а вы, шуты, сейчасъ при своемъ развитіи на человѣчество тотъ мундиръ и хотите напялить, въ которомъ оно ходить не умѣетъ. Я тебѣ не два, а двѣсти два примѣра покажу, гдѣ нѣтъ никакого уваженія, а любовь-то живетъ, да любовь не вашинская, не мозглявая.

— Да ты все изъ какого класса примѣры-то берешь?

— А тебѣ изъ какого? Изъ самаго высокаго?

— Что высокій! Объ немъ никто не говоритъ, о высокомъ-то. А ты мнѣ покажи такой примѣръ на человѣкѣ развитомъ, изъ средняго класса, изъ того, что вотъ считаютъ бьющеюся, живою-то жилою русскаго общества. Покажи человѣка размышляющаго. Одного человѣка такого покажи мнѣ въ такомъ положеніи.

— Ну, братъ, если одного только требуешь, такъ ужъ по этому холоду далеко не пойду отыскивать.

Докторъ снова всталъ въ одномъ бѣльѣ съ постели, остановилъ Помаду въ его стремительномъ бѣгствѣ по чулану и спросилъ:

— Ты Ольгу Александровну знаешь?

— Твою жену?

— Да, мою жену.

— Знаю.

— И хорошо знаешь?

— Да какъ же не знать!

— Уважаешь ты ее?

— Н... ну...

— Нѣтъ,—хорошо. За что̀ ты ее не уважаешь?

— Да какъ это сказать...

— Говори!

— Да за все.

— Она разбила во мнѣ все, все.

— Вѣрю, вѣрю, братъ, — отвѣчалъ разстроенный этимъ разсказомъ Помада.

— А я ее люблю,—пожавъ плечами, произнесъ докторъ и проглотилъ еще рюмку водки.

И съ этимъ легъ въ постель, укрылся своимъ дубленымъ тулупомъ и молча повернулся къ стѣнѣ, а Юстинъ Помада, постоявъ молча надъ его кроватью, снова зашагалъ взадъ и впередъ.

За стѣною въ столярной давно прекратились звуки гармоніи и топотъ пляшущихъ святочниковъ, и на меревскомъ дворѣ все уснуло. Даже уснула носившаяся сѣрыми облачными столбами воющая русская кура, даже уснулъ и погасъ огонекъ, доѣвъ сальный огарокъ, въ комнатѣ Помады. Не спала только холодная луна. Выйдя на расчистившееся небо, она смотрѣла оттуда, хорошо ли похоронила кура тѣхъ, кто съ нею встрѣтился, идучи своимъ путемъ-дорогою. Да не спалъ еще Юстинъ Помада, который не замѣтилъ, какъ догорѣла и загасла свѣчка, и какъ причудливо разрисованное морозомъ окно озарилось блѣднымъ луннымъ свѣтомъ. Онъ все бѣгалъ и бѣгалъ по своей комнатѣ, оправдывая сдѣланное на его счетъ сравненіе съ полевымъ волкомъ, содержащимся въ тѣсной клѣткѣ.

— Дичь какая! — думалъ между прочимъ, бѣгая, По-

мада.—Всѣ идеалы мои онъ какъ-то разбиваетъ. Матеріалистъ онъ... а я? Я...

Безъ отвѣта остался этотъ вопросъ у Помады.

— Я вотъ что̀, я покажу... что жъ я покажу? что̀ это въ самой вещи? Ни одной привязанности устоявшейся, серьезной: все какъ-то, въ самомъ дѣлѣ, легко... воздушно... такъ сказать... расплывчиво. Эка натура проклятая!

— А впрочемъ, опять размышлялъ Помада:—чего-жъ у меня нѣтъ? Силы? Есть. Пойду на смерть... Эка штука! Только за кого? За что?

— Не за кого, не за кого,—рѣшилъ онъ.

— А любовь-то, въ самомъ дѣлѣ, не на уваженіи держится... Такъ на чемъ же? Онъ свою жену любитъ. Вздоръ! Онъ ее... жалѣетъ. Гдѣ любить такую эгоистичную, безсердечную женщину. Онъ матеріалистъ, даже... чортъ его знаетъ, слова не придумаешь, что̀ онъ такое... все отрицаетъ... Впрочемъ, чортъ бы меня взялъ совсѣмъ, если я что-нибудь понимаю... А скука-то, скука-то! Хоть бы и удавиться такъ въ ту же пору.

И съ этимъ словомъ Юстинъ Помада остановился, свернулъ комкомъ свой полушубочекъ, положилъ его на лежанку и, посмотрѣвъ искоса на луну, которая смотрѣла уже какимъ-то синимъ, подбитымъ глазомъ, свернулся калачикомъ и спать задумалъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

За полночь.

За полночь послышалось Помадѣ, будто кто-то стучитъ въ сѣнничную дверь.

«Сонъ, это я во снѣ вижу», подумалъ дремлющій Помада.

Стучали послѣ долго еще въ дверь, да никто не всталъ отворить ее.

«Сонъ», думалъ Помада.

Въ мерзлое стекло кто-то ударилъ пальцемъ.

Еще и еще.

«Ну, пусть же еще ударитъ, если это не сонъ», думалъ Помада, пригрѣвая бокъ на теплой лежанкѣ.

И еще ударили.

— Кто тамъ?—вскинувъ голову, спросилъ Помада.

Гулъ какой-то послышался изъ-за окна, а разобрать ничего невозможно.

— Чего?—спросилъ Помада, приложивъ теплое лицо къ намерзлому стеклу.

Опять гулъ. Человѣческій голосъ, а ничего не разберешь.

«Перепились, свиньи», подумалъ Помада, надѣвъ докторовы медвѣжьи сапоги, вздѣлъ на рукава полушубокъ и пошелъ отпирать двери холодныхъ сѣней.

— Кто?

— Свои, батюшка.

— Кто?—снова спросилъ Помада, держась за задвижку.

— Герасимъ.

— Чего ты, Герасимъ?

— Бахаревскій Герасимъ.

— Да чего?

— Къ вамъ, Юстинъ Феликсовичъ.

Помада отодвинулъ задвижку и, дрожа отъ охватившаго его холода, побѣжалъ въ свою комнату.

Не успѣлъ онъ переступить порогъ и вспрыгнуть на печку, а за нимъ Гараська бахаревскій.

— Что? Чего тебѣ ночью?—спросилъ Помада.

— Къ вашей милости, баринъ.

— Ну?

— Къ намъ пожалуйте.

— Къ кому къ вамъ?

— На барскій дворъ.

— Что̀ тамъ такое у васъ на барскомъ дворѣ?

— Ничего, все благополучно. Барышни васъ требуютъ.

— Какая барышня?

— Лизавета Егоровна пріѣхала.

— Лизавета Егоровна?

— Точно такъ-съ.

— Лизавета Егоровна?—переспросилъ Помада.

— Точно такъ-съ, сами Лизавета Егоровна.

— Съ кѣмъ?

— Однѣ-съ.

— Одна?

— Однѣ-съ, съ покочаловскимъ-съ мужикомъ.

— Съ кѣмъ?

— Съ покочаловскимъ-съ мужикомъ-съ,—наняли, да обмерзли-съ, нездоровы совсѣмъ.

— Одна?

— Съ покочаловскимъ-съ мужикомъ.

— Ну?

— Пожалуйте. Сейчасъ васъ просятъ.

— Пошелъ, пошелъ домой. Я сейчасъ... Розановъ! Розановъ! Дмитрій Петровичъ!

— Н-мъ!—протянулъ докторъ, не подавая никакой надежды на скорое пробужденіе.

— О, чортъ!—пробурчалъ Помада, надѣвая на себя попадавшуюся подъ руки сбрую, и побѣжалъ.

Бѣжитъ Помада подъ гору, по тому самому спуску, на который онъ когда-то несся орловскимъ рысакомъ навстрѣчу Женни и Лизѣ. Бѣжитъ онъ сколько есть силы, и то попадетъ въ снѣжистый перебой, что̀ пурга здѣсь позабыла, то раскатится по наглаженному полозному слѣду, на которомъ не удержались пушистыя снѣжинки. Духъ занимается у Помады. Злобствуетъ онъ, и увязая въ переносахъ, и падая на голыхъ раскатахъ, а впереди, за Рыбницей, въ ряду давно темныхъ оконъ, два окна смотрятъ словно волчьи глаза въ оврагѣ.

— Это у Егора Николаевича въ комнатѣ свѣтъ,—подумалъ Помада, увидя неподвижные волчьи глаза.

«И чудно, какъ смотрятъ эти окна,—думаетъ онъ, продолжая свою дорогу:—точно съѣсть хотятъ».

— И зачѣмъ бы это она?.. И на наемныхъ... Должно-быть... у—ахъ!—Эко чортъ! Тогда свалился, теперь завязъ, тьфу!..

И поперъ Помада прямо на волчьи очи, которыя все расходились, расходились, и наконецъ, выровнялись въ форму двухъ восьми-стекольныхъ оконъ.

«Однако, ходьба нынче!» подумалъ Юстинъ Помада и дернулъ за клямну.

Двери заперты.

— Кто?—спрашиваетъ изъ-за двери голосъ.

— Я.

— А! Барчукъ меревскій. Пустить?

Отвѣта Помада не слыхалъ, а дверь отворилась.

Кандидатъ бросилъ на оконокъ передней тулупъ и вошелъ въ залу.

— Подождите, батюшка, здѣсь немножечко,—попросила встрѣтившая его птичница и, оставивъ ему свѣчку, юркнула къ Лизѣ въ бахаревскій кабинетъ.

Слабо освѣщала большую залу одна сальная свѣчка. Хо-

рошо виденъ былъ только большой обѣденный столъ и два нижніе ряда нагроможденныхъ на немъ подъ самый потолокъ стульевъ, которые самымъ причудливымъ образомъ выставляли во всѣ стороны свои тоненькія, загнутыя ножки. А далѣе былъ мракъ, съ которымъ не хотѣлъ и бороться тщедушный огонекъ свѣчечки. Только взглянувши въ отворенную дверь гостиной, можно было почувствовать, что это не настоящій мракъ, и что есть мѣсто, гдѣ еще темнѣе. Какъ ни слаба была полоска свѣта, падавшая на полъ залы сквозь рядъ высунутыхъ стульями ножекъ, но все-таки по этому полу, прямо къ гостиной двери, ползла громадная, фантастическая тѣнь, напоминавшая какое-то многорукое чудовище изъ волшебнаго міра. Тонкія, кривыя ножки вырастали на тѣни, по мѣрѣ удаленія отъ свѣчки причудливо растягивались и не обрѣзывались, а какъ-то смѣшивались съ темнотою, словно пощупывая тамъ что-то, или кого-то подкарауливая.

Несмотря на тревожное состояніе Помады, таинственно-мрачный видъ темнаго, холоднаго покоя странно подѣйствовалъ на впечатлительную душу кандидата и даже заставилъ его на нѣкоторое время забыть о Лизѣ.

«Фу, какъ тутъ скверно!—подумалъ Помада, пожимаясь отъ холода,—ни слѣда жизни нѣтъ. Это хуже могилы».

Въ головѣ у Помады почему-то вдругъ пробѣжали дѣтскія сказки о заколдованныхъ зàмкахъ, о Громвалѣ, о Кикиморѣ.

«Тамъ-то, тамъ-то тьма такая!» подумалъ Помада, направляясь со свѣчою къ гостиной двери.

Здѣсь свѣчечка оказывалась еще безсильнѣе при темныхъ обояхъ комнаты. Только одинъ неуклюжій, запыленный чехолъ, окутывавшій огромную люстру съ хрустальными подвѣсками, невозможно выдѣлялся изъ густого мрака и изъ одной щелки этого чехла на Помаду смотрѣлъ крошечный огненный глазокъ. Точно Кикимора подслушала Помадины думы и затѣяла пошутить съ нимъ. «Вотъ, молъ, гдѣ я сижу-то: у меня здѣсь отлично, въ этомъ пыльномъ шалашикѣ».

Помада посмотрѣлъ на блестѣвшую хрусталинку люстры и, возвращаясь въ залу, встрѣтился съ птичницей, которая звала его къ Лизаветѣ Егоровнѣ.

Лиза была въ отцовскомъ кабинетѣ. Она сидѣла передъ

печкою, въ которой ярко пылала ржаная солома. Въ этой комнатѣ было такъ же холодно, какъ и въ гостиной, и въ залѣ, но все-таки здѣсь было много уютнѣе и на видъ даже какъ-то теплѣе. Здѣсь менѣе былъ нарушенъ живой видъ покоя: по стѣнамъ со всѣхъ сторонъ стояли довольно старые, но весьма мягкіе турецкіе диваны, обтянутые шерстяной, полосатой матеріей; старинный рѣзной шкафъ съ большою гипсовою лошадью наверху и массивный письменный столъ съ рѣзными башенками. Кромѣ того, здѣсь было нѣсколько мягкихъ табуретовъ, изъ которыхъ на одномъ теперь сидѣла и грѣлась Лиза.

Въ комнатѣ не было ни чемодана, ни дорожнаго сàка и вообще ничего такого, чтò свидѣтельствовало бы о прибытіи человѣка за сорокъ верстъ по русскимъ дорогамъ. Въ одномъ углу на отоманкѣ валялась городская лисья шуба, крытая чернымъ атласомъ, ватный капоръ и большой ковровый платокъ; да тутъ же на полу стояли черные бархатные сапожки, а больше ничего.

— Здравствуйте!—весело, но сильно взволнованнымъ и дрожащимъ голосомъ сказала Лиза, протягивая Помадѣ свою ручку.

Помада торопливо схватилъ эту ручку, пожалъ ее и взглянулъ на Лизу сіяющимъ взоромъ, но не сказалъ ни одного слова въ отвѣтъ на ея привѣтствіе.

— Чтò, вы удивлены, поражены, напуганы?—тѣмъ же взволнованнымъ голосомъ и съ тою же напряженно-веселою улыбкою спросила Лиза.

Помада кашлянулъ, пожался и отвѣчалъ:

— Точно, удивленъ, Лизавета Егоровна. Какъ это вы?

— Какъ пріѣхала? А вотъ сѣла, да и пріѣхала.

Помада взялъ табуретъ, сѣлъ къ печи и, закрывъ ладонью ротъ, опять кашлянулъ.

— Здѣсь совсѣмъ холодно,—замѣтилъ онъ.

— Да, холодно, домъ настылъ, не топленъ съ осени.

— Вамъ здѣсь нельзя оставаться.

— Ну, объ этомъ будемъ разсуждать послѣ, а теперь я за вами послала, чтобы вы какъ-нибудь достали мнѣ хоть рюмку теплаго вина, горячаго чаю, хоть чего-нибудь, чего-нибудь. Я иззябла, совсѣмъ иззябла, я больна, я замерзала въ полѣ... и даже обморозилась... Я вамъ хотѣла написать объ этомъ, да... да не могла... руки вотъ насилу оттерли

снѣгомъ... да и ни бумаги, ничего нѣтъ... а люди все переврутъ...

По мѣрѣ того, какъ Лиза высказывала свое положеніе, искусственная веселость все исчезала съ ея лица, голосъ ея становился все прерывистѣе, щеки подергивало, и видно было, что она насилу удерживаетъ слезы, выжимаемыя у нея болѣзнью и крайнимъ раздраженіемъ.

Къ концу этой короткой рѣчи все лицо Лизы выражало одно живое страданіе, и, взглянувъ въ глаза этому страданію, Помада, не говоря ни слова, выскочилъ и побѣжалъ въ свою конуру, едва ли не такъ шибко, какъ онъ бѣжалъ навстрѣчу институткамъ.

Черезъ полчаса въ комнату Лизы вошли докторъ и Помада, обремененный бутылками съ уксусомъ, спиртомъ, краснымъ виномъ и нѣсколькими сверточками въ бумагѣ.

Лиза смотрѣла въ огонь и ничего не слыхала. Она была очень слаба и разстроена.

— Лизавета Егоровна! — весело воскликнулъ докторъ, протягивая ей свою руку.

— А, докторъ! Вотъ встрѣча-то?—проговорила нѣсколько удивленная его появленіемъ Лиза. — И какъ кстати! Я совсѣмъ разнемогалась.

— Прозябли, я думаю, просто.

— Какое тамъ прозябла? Я замерзала, совсѣмъ замерзала. Мнѣ оттирали руки и ноги. На меня ужъ даже спячка находила.

— Гдѣ-жъ это вы?

— Дорогой,—сбился мужикъ.

Докторъ посмотрѣлъ ей пристально въ глаза и сказалъ:

— Дайте-ка руку. А что это у васъ съ глазами?—болятъ они у васъ?

— Да, это ужъ давно.

— Или вы плакали?

— И это немножко было, — отвѣтила, слегка улыбнувшись, Лиза.

— Ну, ты, Помада, грѣй вино, да хлопочи о помѣщеніи для Лизаветы Егоровны. Вамъ теперь прежде всего нужно тепло да покой, а тамъ увидимъ, что будетъ. Только здѣсь, въ нетопленномъ домѣ, вамъ ночевать нельзя.

— Нѣтъ, я здѣсь останусь. Я напьюсь чаю, вина выпью, одѣнусь шубой и велю всю ночь топить — ничего и здѣсь. Эта комната скоро согрѣется.

— Ну, нѣтъ, Лизавета Егоровна, это, ужъ, извините меня, причуды. Комната станетъ отходить, сдѣлается такой угаръ, что и головы не вынесете.

Лиза вздохнула и сказала:

— Что-жъ! можетъ быть и лучше будетъ.

— Что̀ это, головы-то не вынесть? Ну, объ этомъ еще подумаемъ завтра. Зачѣмъ головѣ даромъ пропадать? А теперь... куда бы это помѣстить Лизавету Егоровну! Помада! ты здѣсь весь дворъ знаешь?

— Къ конторщику, у него двѣ комнаты.

— Не хочу, не хочу! — замахавъ ручкою, возразила на это предположеніе Лизавета Егоровна.

— Отчего же?

— Не хочу.

— Да отчего?—резонировалъ докторъ.

— Я не могу никого видѣть сегодня.

— А другія помѣщенія, кромѣ птичной избы, всѣ пустыя и холодныя,—замѣтилъ Помада.

— А птичная-то изба теплая, хорошая?

— Грязная, загаженная и никуда не годится.

— Пойдемъ-ка, осмотримъ.

Докторъ и Помада вышли, а Лиза, оставшись одна въ пустомъ домѣ, снова утупила въ огонь глаза и погрузилась въ странное, столбняковое состояніе.

— Батюшка мой!—говорилъ докторъ, взойдя въ жилище конторщика, который уже возсталъ отъ сна и ожидалъ разгадки страннаго появленія барышни: — сдѣлайте-ка вы милость, заложите поскорѣе лошадку, да слетайте въ городъ за дочкою Петра Лукича. Я вотъ ей пару строчекъ у васъ черкну. Да выходите-то, батюшка, сейчасъ: намъ нужно у васъ барышню помѣстить. Вы, вѣдь, не осердитесь?

— Помилуйте, я съ моимъ удовольствіемъ. Я даже самъ разсуждалъ это предложеніе сдѣлать Лизаветѣ Егоровнѣ. Я хоть гдѣ-нибудь могу, а ихъ дѣло нѣжное.

— То-то, тамъ никакъ нельзя.

— Какъ возможно? Тамъ одно слово—стыдь.

— Да. Ну-съ, шубку-то, шубку-то, да и выйдите, побудьте гдѣ-нибудь, пока лошадь заложатъ. А лампадочку-то передъ иконами поправьте: это очень хорошо.

— Все сею минутою-съ.

— Ну, и прекрасно, и птичницу сюда на минутку по-

шлите, а мы сейчасъ переведемъ Лизавету Егоровну. Только чтобъ она васъ здѣсь не застала: она вѣдь, знаете, такая... деликатная, — разсказывалъ докторъ, уже сходя съ конторскаго крылечка.

Докторъ урезонилъ Лизавету Егоровну: ее привели въ теплую комнатку конторщика, напоили горячимъ чаемъ съ виномъ, птичница вытерла ее спиртомъ и уложила на конторщикову постель, покрытую чистою простынею.

Докторъ не позволялъ Лизѣ ни о чемъ разговаривать, да она и сама не расположена была бесѣдовать. Въ комнатѣ поправили лампаду и оставили Лизу одну съ своими думами и усталостью.

Докторъ съ Помадой остались въ конторѣ, служившей преддверіемъ къ конторщикову апартаменту.

Они посидѣли съ полчаса въ совершенномъ молчаніи, перелистывая отъ скуки книги «О приходѣ и расходѣ разнаго хлѣба снопами и зерномъ». Потомъ докторъ снялъ ногою сапоги, подошелъ къ Лизиной двери и, послушавъ, какъ спитъ больная, возвратился къ столу.

— Что?—прошепталъ Помада.

— Ничего, дышитъ спокойно и спитъ. Авось, ничего не будетъ худого. Давай ложиться спать, Помада. Ложись ты на лавкѣ, а я здѣсь на столѣ прилягу, — также шопотомъ проговорилъ докторъ.

— Нѣтъ, я не лягу.

— Отчего?

— Мнѣ не хочется спать.

— Ну, какъ знаешь, а я лягу.

И докторъ, положивъ подъ голову нѣсколько книгъ «О приходѣ и расходѣ хлѣба снопами и зерномъ», легъ на столъ и закрылся своимъ полушубкомъ.

— Что̀ бы это такое значило?—прошепталъ, наклоняясь къ самому уху доктора, Помада, тоже снявшій свои сапоги и подкравшійся къ Розанову совершенно неслышными шагами, какъ котъ изъ хрустальной лавки.

— Что̀ такое? — спросилъ шопотомъ докторъ, быстро откинувъ съ себя полушубокъ.

Помада повторилъ свой вопросъ.

— А, шутъ этакой! Испугалъ совсѣмъ. Я думалъ ужъ не вѣсть что̀ дѣлается.

— Ну, да, я виноватъ. Я это такъ шелъ, чтобъ не слышно. Ну, а какъ ты думаешь, что̀ бы это такое значило?

— Я думаю, что ступай ты спать: успѣемъ еще узнать. Что̀ тутъ отгадывать да путаться. Спи. Утро вечера мудренѣе.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Глава, нѣкоторымъ образомъ топографически-историческая.

Говорятъ, что человѣческое жилище всегда болѣе или менѣе точно выражаетъ собою характеръ людей, которые въ немъ обитаютъ. Едва ли нужно доказывать, что до извѣстной степени можно допустить справедливость этого замѣчанія. Наблюдательный и чуткій человѣкъ, осмотрѣвшись въ жильѣ людей, мало ему знакомыхъ, или даже совсѣмъ незнакомыхъ, по самымъ неуловимымъ мелочамъ въ обстановкѣ, размѣщеніи и содержаніи этого жилья, чувствуетъ, что здѣсь преобладаетъ любовь или вражда, согласіе или свара, радушіе или скупость, домовитость или расточительность.

Когда люди входили въ домъ Петра Лукича Гловацкаго, они чувствовали, что здѣсь живетъ совѣтъ и любовь, а когда эти люди знакомились съ самими хозяевами, то уже они не только чувствовали витающее здѣсь согласіе, но какъ бы созерцали олицетвореніе этого совѣта и любви въ старикѣ и его женѣ. Теперь люди чувствовали то же самое, видя Петра Лукича съ его дочерью. Женни, украшая собою тихую, предзакатную вечерю старика, умѣла всѣхъ пріобщить къ своему чистому празднеству, ввести въ свою безмятежную сферу.

До пріѣзда Женни старикъ жилъ, по собственному его выраженію, отбившимся отъ стада зубромъ: у него было чисто, тепло и пріютно, но только, со смерти жены, у него было вездѣ тихо и пусто. Тишина этого домика не зналась со скукою, но и не знала оживленія, которое снова внесла въ него съ собою Женни.

Съ пріѣздомъ Женни здѣсь все пошло жить. Ожилъ и помолодѣлъ самъ старикъ, сильнѣе зацвѣлъ старый жасминъ, обрѣзанный и подвязанный молодыми ручками; повеселѣла кухарка Пелагея, имѣвшая теперь возможность совѣщаться о соленьяхъ и вареньяхъ, и повеселѣли самыя стѣны комнаты, заслышавъ легкіе шаги граціозной Женни и ея тихій,

симпатичный голосокъ, которымъ она, оставаясь одна, иногда безотчетно пѣла для себя:

— «Когда-бъ онъ зналъ, какъ пламенной душою», или «Ты скоро меня позабудешь, а я не забуду тебя».

Въ восемь часовъ утра начинался день въ этомъ домѣ: лѣтомъ онъ начинался часомъ ранѣе. Въ восемь часовъ Женни сходилась съ отцомъ у утренняго чая, послѣ котораго старикъ тотчасъ уходилъ въ училище, а Женни заходила на кухню и черезъ полчаса являлась снова въ залѣ. Здѣсь, подъ однимъ изъ двухъ оконъ, выходившихъ на берегъ рѣчки, стоялъ ея рабочій столикъ, краснаго дерева, съ зеленымъ тафтянымъ мѣшкомъ для обрѣзковъ. За этимъ столикомъ проходили почти цѣлые дни Женни.

— Рукодѣльница наша барышня: все сидитъ, все шьетъ, все шьетъ,—приданое себѣ готовитъ,—разсказывала сосѣдямъ Пелагея.

Женни, точно, была рукодѣльница и штопала отцовскіе носки съ бо́льшимъ удовольствіемъ, чѣмъ исправникова дочь вязала бисерные кошельки и подставки къ лампамъ и подсвѣчникамъ. Вообще она стала хозяйкой не для блезиру, а взялась за дѣло плотно, безъ шума, безъ треска, тихо, но такъ солидно, что и люди, и старикъ-отецъ тотчасъ почувствовали, что въ домѣ есть настоящая хозяйка, которая все видитъ и обо всѣхъ помнитъ.

И стало всѣмъ очень хорошо въ этомъ домѣ.

Изъ окна, у котораго Женни пріютилась съ своимъ рабочимъ столикомъ, былъ если не очень хорошій, то очень просторный русскій видъ. Городокъ былъ раскинутъ по правому, высокому берегу довольно большой, но вовсе не судоходной рѣки Саванки, значащейся подъ другимъ названіемъ въ числѣ замѣчательнѣйшихъ притоковъ Оки. Лучшая улица въ городѣ была Московская, по которой проходило курское шоссе, а потомъ Рядская, на которой были десятка два лавокъ, два трактирныхъ заведенія и цырюльня съ надписью, буквально гласившею:

«Сдѣся кровъ пускаютъ и стригутъ и бреютъ Козловъ».

Знаковъ препинанія на этой вывѣскѣ не было, и мѣстные зоилы находили, что такъ оно выходитъ гораздо лучше.

Потомъ въ городѣ была еще замѣчательна улица Крупчатная, на которой приказчики и носильщики таскали кули, сбивали прохожихъ съ ногъ, или, шутки ради, *подбѣли-*

вали ихъ мучкой самой первой руки; да была еще улица Главная. Богъ ужъ знаетъ почему она такъ называлась. Разсказывали въ городѣ, что на ней когда-то стоялъ домъ самого батюшки Степана Тимоѳеевича Разина, который крѣпко засѣлъ здѣсь и зимовалъ со своими рыцарями почти цѣлую зиму. Теперь Главная улица была знаменита только тѣмъ, что по ней при малѣйшемъ дождѣ становилось море и послѣ цѣлый мѣсяцъ не было ни прохода, ни проѣзда. Затѣмъ шли закоулочки, да переулочки, пересѣкавшіе другъ друга въ самыхъ прихотливыхъ направленіяхъ. Тутъ жили прядильщики, крупчатники, мѣщане, занимавшіеся поденной работой, и мѣщане, ничѣмъ не занимавшіеся, а вѣчно полупьяные или больные съ похмелья. Съ небольшой высоты надъ этою мѣстностью царилъ высокій, каменный острогъ, наблюдая своими стеклянными глазами какъ пьетъ и сварится голодная нищета и какъ щиплетъ свою жидкую, бѣленькую бородку купецъ Никонъ Родіоновичъ Масленниковъ, попугивая то того, то другого каменнымъ мѣшечкомъ.

— Сейчасъ упеку,—говоритъ Никонъ Родіоновичъ:—чувствуй, съ кѣмъ имѣешь обращеніе!

И покажетъ рукою на острогъ.

Народъ это очень чувствовалъ и не только ходилъ безъ шапокъ передъ Масленниковыми хоромами, но и гордился имъ.

— У насъ теперь, — хвастался мѣщанинъ заѣзжему человѣку: — есть купецъ Никонъ Родіоновичъ, Масленниковъ прозывается, вотъ такъ человѣкъ! Что̀ ты хочешь, сейчасъ онъ съ тобою можетъ сдѣлать; хочешь въ острогъ тебя посадить—посадитъ; хочешь плетюганами отшлепать, или такъ въ полицы розгамъ отодрать,—тоже сичасъ онъ тебя отдеретъ. Два слова городничему повелитъ, или записочку напишетъ, а ты ее, эту записочку, только представишь,—сичасъ тебя въ самомъ лучшемъ видѣ отдѣлаютъ. Вотъ какого себѣ человѣка имѣемъ!

— Вотъ песъ-то!—щуря глаза, замѣчалъ проѣзжій мужикъ.

— Да, братъ, повадки у него никому: первое дѣло капиталъ, а второе—рука у него.

— Н-да,—вытягивалъ проѣзжій.

— Н-да!—произносилъ въ другой тонъ мѣщанинъ.

— Ишь хоромы своротилъ какія! — кричалъ мужикъ, ѣдучи на саняхъ, другому мужику, стоявшему на колѣняхъ въ другихъ саняхъ.

— Страсть, братецъ ты мой!

— А вить что?—нашъ братъ мужикъ.

— Дыть Господь одарилъ, — вздыхая отвѣчалъ задній мужикъ.

— Извѣстно: очень ужъ, говорятъ, онъ много на церквы жертвуетъ.

— Только ужъ обмѣру у него на ссыпки очень тоже много,—замѣчалъ задній мужикъ.

— Обмѣру точно много,—задумчиво отвѣчалъ передній.

У часовенки, на площади мужики крестились, развязывали мошенки, опускали по грошу въ кружку и выѣзжали за острогъ, либо размышляя о Никонѣ Родіоновичѣ, либо распѣвая съ кокоревской водки:

— Ты заной, эхъ, ты заной, мое сердечушко, заной ретивое.

Затѣмъ, развѣ для полноты описанія, слѣдуетъ упомянуть о томъ, что городъ имѣетъ пять каменныхъ приходскихъ церквей и соборъ. Соборъ славился хоромъ пѣвчихъ, содержимыхъ отъ щедротъ Никона Родіоновича, да пятисотпудовымъ колоколомъ, каждый праздникъ громко, верстъ на десять кругомъ, кричавшимъ своимъ желѣзнымъ языкомъ о рачительствѣ того же Никона Родіоновича къ благолѣпію дома Божія.

Всѣ уѣздные любители церковнаго пѣнія обыкновенно сходились въ соборъ къ ранней обѣднѣ, ибо Никонъ Родіоновичъ всегда приходили помолиться за ранней, и тутъ пѣли пѣвчіе. Поздней обѣдни Никонъ Родіоновичъ не любили и ядовито замѣчали, что къ поздней обѣднѣ только ходятъ приказничихи хвастаться, у кого новые башмаки есть.

Да еще была въ городѣ больница, въ которой несчастный Розановъ бился съ непреодолимыми препятствіями создать изъ нея что-нибудь похожее на лѣчебное заведеніе. Сначала онъ, по неопытности, все лѣзъ съ представленіями къ начальству, потомъ взывалъ къ просвѣщенному вниманію благороднаго дворянства, а, наконецъ, скрѣпя сердце и смиривъ духъ гордыни, отнесся къ толстому карману Никона Родіоновича. Никонъ Родіоновичъ пожертвовали два десятка верблюжьихъ халатовъ и фонарь къ подъѣзду, да на томъ и стали. Потребляемыхъ вещей Масленниковъ жертвовать не любилъ: у него было сильно развито стремленіе къ монументальности, онъ стремился къ нѣкоторому, такъ сказать, даже безсмертію: хотѣлъ жить въ будущемъ.

Хоть не въ далекомъ, да въ будущемъ, хоть пока халаты износятся и сопрѣетъ стѣна, къ которой привинтили безобразный фонарь съ скрипучимъ флюгеромъ, увеличивавшимъ своимъ скрипомъ предсмертную тоску замариваемыхъ, въ докторово отсутствіе, больныхъ.

Былъ еще за городомъ гусарскій выѣздной манежъ, состроенный изъ осиновыхъ вершинокъ и оплетенный соломенными притугами, но это было временное зданіе. Хотя губернскій архитекторъ, случайно видѣвшій счеты, во что обошелся этотъ манежъ правительству, и утверждалъ, что зданіе это весьма замѣчательно въ исторіи военныхъ построекъ, но это нимало не касается нашего романа и притомъ съ подробностью обработано уѣзднымъ учителемъ Зарницынымъ въ одной изъ его обличительныхъ замѣтокъ, напечатанныхъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*.

Болѣе въ цѣломъ городѣ не было ничего достопримѣчательнаго въ топографическомъ отношеніи, а его этнографическою стороною намъ нѣтъ нужды обременять вниманіе нашихъ читателей, поелику эта сторона не представляетъ собою никакихъ замѣчательныхъ особенностей и не выясняетъ положенія дѣйствующихъ лицъ въ романѣ.

Гловацкій, Вязмитиновъ, Зарницынъ, докторъ и даже Бахаревъ были, конечно, знакомы и съ Никономъ Родіоновичемъ, и съ властями, и съ духовенствомъ, и съ купечествомъ, но знакомство это не оказывало прямого вліянія ни на ихъ главные интересы, ни на ихъ внутреннюю жизнь. А слѣдить за косвеннымъ вліяніемъ среды на выработку нравовъ и характеровъ, значило бы заходить нѣсколько далѣе, чѣмъ требуетъ нашъ планъ и положеніе нашихъ героевъ и героинь, не стремившихся спѣться съ окружающею ихъ средою, а сосредоточивавшихъ свою жизнь въ томъ ограниченномъ кружочкѣ, которымъ мы занимались до сихъ поръ, не удаляясь надолго отъ домовъ Бахарева и Гловацкаго. Кто жилъ въ уѣздныхъ городахъ въ послѣднее время, въ послѣ-якушкинскую эпоху, когда разнеслись слухи о благодѣтельной гласности, о новосильцевскомъ обществѣ пароходства и побѣдахъ Гарибальди въ Италіи, тотъ не станетъ отвергать, что около этого знаменательнаго времени и въ уѣздныхъ городахъ, особенно въ великороссійскихъ уѣздныхъ городахъ, имѣющихъ не менѣе одного острога и пяти церквей, произошелъ весьма замѣчательный и притомъ

совершенно новый общественный сепаратизмъ. Общество распадалось не только прежнимъ дѣленіемъ на аристократію чина, аристократію капитала и плебейство, но изъ него произошло еще небывалое дотолѣ выдѣленіе такъ называемыхъ въ то время *новыхъ людей*. Выдѣленіе этого ассортимента почти одновременно происходило изъ весьма различныхъ слоевъ провинціальнаго общества. Сюда попадали нѣкоторые молодые дворяне, семинаристы, учители уѣздные, учители домашніе, чиновники самыхъ различныхъ вѣдомствъ и даже духовенство. Справедливость заставляетъ сказать, что едва ли не ранѣе прочихъ и не сильнѣе прочихъ въ это новое выдѣленіе вошли молодые учители, уѣздные и домашніе; за ними нѣсколько позже и нѣсколько слабѣе — чиновники, затѣмъ, еще моментомъ позже, зато съ неудержимымъ стремленіемъ сюда ринулись семинаристы. Молодое дворянство шло еще позже и нерѣшительнѣе; духовенство сепарировалось только въ очень небольшомъ числѣ своихъ представителей.

Все это не были рыцари безъ пятна и упрека. Прошлое ихъ бо́льшею частію отвѣчало стремленіямъ среды, отъ которой они отдѣлялись. Молодые чиновники уже имѣли руки, запачканныя взятками, учители клянчили за мѣста и нѣкоторые писали оды мерзавнѣйшимъ изъ мерзавнѣйшихъ личностей; молодое дворянство сѣкало людей и проматывало потовые гроши народа; остальные вели себя не лучше. Все это были люди, слыхавшіе изъ устъ отцовъ и матерей, что «отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ каменныхъ». Всѣ эти люди вынесли изъ родительскаго дома одно благословеніе: «будь богатъ и знатенъ», одну заповѣдь: «дѣлай себѣ карьеру». Правда, иные слыхали при этомъ и «старайся быть честнымъ человѣкомъ», но что̀ была эта честность и какъ было о ней стараться? Случались, конечно, и исключенія, но не ими вода освящалась въ великомъ морѣ русской жизни. Лѣзли въ купель люди прокаженные. Все, что̀ вдругъ пошло массою, было деморализовано отъ раннихъ дней, все слышало ложь и лукавство; все было обучено искать милости, помня, что «ласковое телятко *двухъ матокъ* сосетъ». Все это сбиралось сосать двухъ матокъ и вдругъ бросило обѣихъ и побѣжало къ той, у которой вымя было сухо отъ долголѣтняго голода.

Эта эпоха возрожденія съ людьми, не получившими въ

наслѣдіе ни одного гроша, не взявшими въ напутствіе ни одного добраго завѣта, поистинѣ должна считаться одною изъ великихъ, поэтическихъ эпохъ нашей исторіи. Что̀ влекло этихъ сепаратистовъ, какъ не чувство добра и справедливости? Кто велъ ихъ? Кто хоть на время подавилъ въ нихъ духъ обуявшаго націю себялюбія, двоедушія и продажности?

Предоставляя рѣшеніе настоящаго вопроса исторіи, съ благоговѣніемъ преклоняемся передъ рокомъ, судившимъ намъ зрѣть святую минуту пробужденія, видѣть лучшихъ людей эпохи, оплаканной въ незабвенныхъ стихахъ Хомякова, и можемъ только воскликнуть со многими: поистинѣ великъ твой Богъ, земля русская!

Перенеситесь мысленно, читатель, къ улетѣвшимъ днямъ этой поэтической эпохи. Вспомните это недавно прошедшее время, когда небольшая горсть «людей, довременно растлѣнныхъ», проснулась, задумалась и зашаталась въ своемъ гражданскомъ малолѣтствѣ. Эта горсть русскихъ людей, о которой вспоминаетъ авторъ, пишущій настоящія строки, быстро росла и хотѣла расти еще быстрѣе. Въ этомъ естественномъ желаніи роста она дорожила своею численностью и, къ сожалѣнію, была слишкомъ неразборчива. Она не принимала въ расчетъ рутинной силы среды и не опасалась страшнаго вреда отъ шутовъ и дураковъ, приставшихъ къ ней по страсти къ модѣ. Зная всю тлѣнь и грязь прошлаго, она вѣрила, что проклятіе лежитъ надъ всякой неподвижностью, и собирала подъ свое знамя всѣхъ, говорившихъ о необходимости очиститься, омыться и двигаться впередъ. Она знала, что въ прошломъ ей завѣщано мало достойнаго сохраненія, и не ожидала, что почти одной ей поставятъ въ вину всю тщательно собранную ложь нашего времени.

По словамъ Хомякова, страна была

«Въ судахъ черна, неправдой черной,
И игомъ рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лѣни мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.»

Когда распочалась эта пора пробужденія, ясное дѣло, что новые люди этой эпохи во всемъ рвались къ новому режиму, ибо не видали возможности идти къ добру съ лестью,

ложью, лѣнью и всякой мерзостью. На великое несчастіе этихъ людей, у нихъ не было во-время силы отречься отъ пристававшихъ къ нимъ шутовъ. Они были болѣе честны, чѣмъ политически опытны, и забывали, что одинъ Донъ-Кихотъ можетъ убить цѣлую идею рыцарства. Такъ и случилось. Шуты насмѣшили людей, дураки ихъ разсердили. Началось ренегатство и во время стремительнаго бѣга назадъ люди забыли, что гонитъ ихъ не пошлость дураковъ и шутовъ, а тупость общества, да собственная трусость. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что сдѣлаться смѣшнымъ значитъ потерять многое; но развѣ менѣе смѣшны другіе? Развѣ передъ ними нельзя поставить Сквозника-Дмухановскаго и заставить его спросить ихъ: «чего смѣетесь? Надъ собой смѣетесь?».

Честная горсть людей, не приготовленныхъ къ честному общественному служенію, но полюбившихъ добро и возненавидѣвшихъ ложь и всѣ лживыя положенія, виновата своею нерѣшительностью отречься отъ приставшихъ къ ней дурачковъ; она виновата недостаткомъ *самообличенія*. За пренебреженіе этой силой она горько наказана, вѣроятно, къ истинному сожалѣнію всѣхъ умныхъ и въ то же время добрыхъ сыновъ Россіи. Но все-таки нѣтъ никакого основанія видѣть въ этихъ людяхъ виновниковъ всей современной лжи, такъ же какъ нѣтъ основанія винить ихъ и въ заводѣ шутовъ и дураковъ, ибо шуты и дураки подъ различными знаменами фигурировали всегда и будутъ фигурировать до вѣка.

Въ описываемую нами эпоху, когда ни одно изъ смѣшныхъ и, конечно, скоропреходящихъ стремленій людей, лишенныхъ серьезнаго смысла, не проявлялось съ нынѣшнею рѣзкостью, когда общество слѣпо вѣрило Бѣлинскому, даже въ томъ, напримѣръ, что «самый почтенный мундиръ есть черный фракъ русскаго литератора», добрые люди изъ деморализованныхъ сыновъ нашей страны стремились просто къ добру. Они не стремились окреститься во имя какой бы то ни было теоріи, а просто, наивно и честно желали добра и горѣли нетерпѣніемъ всячески ему содѣйствовать. Плана у нихъ никакого не было, о крутыхъ, костоломныхъ поворотахъ во имя теорій имъ вовсе не думалось. Шло только дѣло о правдѣ въ жизни.

Первымъ шагомъ въ этомъ періодѣ былъ сепаратизмъ

со всѣмъ симпатизировавшимъ завѣтамъ прошедшаго. Къ этому сепаратизму принадлежали почти всѣ знакомыя намъ до сихъ поръ лица нашего романа. Ему по-своему сочувствовалъ Егоръ Николаевичъ Бахаревъ и Петръ Лукичъ, пугавшійся всякой обличительной замѣтки; Вязмитиновъ, сидѣвшій надъ исторіей, и Зарницынъ, продергивавшій уѣздныя величины; докторъ, обличающій свое безсиліе выбиться изъ сферы взяточничества, и мать Агнія, вѣрная традиціямъ лѣтъ своей юности. На сторонѣ старыхъ интересовъ оставалась масса людей, которыхъ, по ихъ способностямъ, Эдуардъ Уитти справедливо называетъ разрядомъ плутовъ или дураковъ. Это было большинство. Ольга Сергѣевна, Зина, Софи оставались съ большинствомъ и жили его жизнью.

Женни и Лиза вовсе не принадлежали къ прошлому и не имѣли съ нимъ никакой связи.

По обстоятельствамъ, Женни должна была познакомиться съ нѣкоторыми мѣстными дамами и дѣвицами, но изъ этого знакомства ничего не вышло. Однѣ рѣшили, что она много о себѣ думаетъ; другія, что она ехидная-преехидная: все молчитъ да выслушиваетъ; третьи даже считали ее на этомъ же основаніи интриганкой, а четвертыя, наконецъ, не соглашаясь ни съ однимъ изъ трехъ вышеприведенныхъ мнѣній, утверждали, что она просто дура и кокетка. Около нея, говорили послѣднія, лебезятъ два молодыхъ учителя, стараясь подлѣзаться къ отцу, а она думаетъ, что это за ней увиваются, и дуетъ губы.

Но, тѣмъ не менѣе, Женни, однако, сильно интересовала собою бѣдныя живыми интересами головы уѣздныхъ барынь и барышень. Однѣ ея платья и шляпы доставляли слишкомъ тощую пищу для алчущей сплетни, и потому за ея особою былъ приставленъ особый шпіонъ. Въ этой должности состояла дочь почтеннаго сослуживца Гловацкаго, восемнадцатилѣтняя полногрудая Лурлея, Ольга Григорьевна Саренко. Григорій Ильичъ Саренко, родомъ изъ бориспольскихъ дворянъ, дослуживалъ двадцать пятый годъ учителемъ уѣзднаго училища. Онъ былъ старъ, глупъ, довольно подловатъ и считалъ себя столпомъ училища. Онъ добивался себѣ какого-то особаго уваженія отъ Вязмитинова и Зарницына и, не получая онаго, по временамъ строчилъ на нихъ секретныя ябеды въ дирекцію училищъ. Дочь свою

онъ познакомилъ съ Женею, не ожидая на то никакого желанія со стороны пріѣзжей гостьи или ея отца. На другой же день по пріѣздѣ Женни, онъ явился подъ руку съ своей Лурлеей и отрекомендовалъ ее какъ дѣвицу, съ которой можно говорить и разсуждать обо всемъ самой просвѣщенной дѣвицѣ.

Съ тѣхъ поръ Лурлея начала часто навѣщать Женни и разносить о ней по городу всякія дрязги. Женни знала это: ее и предупреждали насчетъ дѣвицы Саренко, и даже, для вящшаго убѣжденія, сообщали, что̀ именно ею сочинено и разсказано, но Женни не обращала на все это никакого вниманія.

— Умные и честные люди, — отвѣчала она: — такимъ вздорамъ не повѣрятъ и поймутъ, что это сплетни, а о мнѣніи глупыхъ и дурныхъ людей я никогда не намѣрена заботиться.

Еще въ домъ Гловацкихъ ходила соборная дьяконица, Елена Семеновна, очень молоденькая, довольно хорошенькая и превеселая бабочка, безпрестанно цѣловавшая своего мужа и аккомпанировавшая ему на фортепіано разные, всѣми давно забытые романсы. И дьяконица, и ея мужъ, Василій Ивановичъ Александровскій, были очень добрые и простодушные люди, которые очень любили Гловацкихъ и всю ихъ компанію. Сепаратисты тоже любили молодую духовную чету за ея веселый, добрый нравъ, искренность и безобидчивость, составляющую большую рѣдкость въ уѣздныхъ обществахъ.

Такимъ образомъ къ концу перваго года, проведеннаго Женею въ отцовскомъ домѣ, ближайшій кругъ ея знакомства составляли: Вязмитиновъ, Зарницынъ, дьяконъ Александровскій съ женою, Ольга Саренко, состоявшая въ должности наблюдателя, отряженнаго дамскимъ обществомъ, и докторъ. Съ женою своею докторъ не знакомилъ Женни и вообще постоянно избѣгалъ даже всякихъ о ней разговоровъ.

Изъ этихъ лицъ чаще всѣхъ бывали у Гловацкихъ Вязмитиновъ и Зарницынъ. Рѣдкій вечеръ Женни проводила одна. Всегда къ вечернему чаю являлся тотъ или другой, а иногда и оба вмѣстѣ. Усаживались за столъ, и кто-нибудь изъ молодыхъ людей читалъ, а остальные слушали. Женни при этомъ обыкновенно работала, а Петръ Лукичъ

или растиралъ въ блюдцѣ грушевою ложечкою нюхательный табакъ, или, подперши ладонями голову, молча глядѣлъ на Женни, замѣнившую ему всѣ радости въ жизни. Женни очень любила слушать, особенно когда читалъ Зарницынъ. Онъ, дѣйствительно, очень хорошо читалъ, хотя и вдавался въ нѣкоторую не совсѣмъ нужную декламацію. Несмотря на то, что Женни обѣщала читать все, что ей дастъ Вязмитиновъ, ея литературный вкусъ скоро сказался. Она очень тяготилась серьезнымъ чтеніемъ и вообще не долюбливала статей. Вязмитиновъ скоро это замѣтилъ и сталъ снабжать ее лучшими беллетристическими произведеніями старой и новой литературы. Выборъ всегда былъ очень разумный, изобличавшій въ Вязмитиновѣ основательное знаніе литературы и серьезное пониманіе вліянія извѣстныхъ произведеній на умъ и сердце читательницы.

Легкій родъ литературы Женѣ очень нравился, но и въ немъ она искала отдыха и удовольствія, а не зачитывалась до страсти.

Вообще она была читательница такъ себѣ, весьма не рьяная, хотя и не была равнодушна къ драматической литературѣ и поэзіи. Она даже знала наизусть цѣлыя страницы Шиллера, Гёте, Пушкина, Лермонтова и Шекспира, но все это ей нужно было для отдыха, для удовольствія; а главное у нея было—дѣло дѣлать. Это *дѣло дѣлать* у нея сводилось къ исполненію женскихъ обязанностей дома для того, чтобы всѣмъ въ домѣ было какъ можно легче, отраднѣе и лучше. И она считала эти обязанности своимъ преимущественнымъ назначеніемъ вовсе не вслѣдствіе какой-нибудь узкой теоріи, а такъ это у нея просто такъ выходило, и она такъ жила.

Зарницынъ за это упрекалъ Евгенію Петровну, указывая ей на высокое призваніе гражданки; Вязмитиновъ объ этомъ никогда не разговаривалъ, а докторъ, сдѣлавшійся жаркимъ поклонникомъ скромныхъ достоинствъ Женни, обыкновенно не давалъ сказать противъ нея ни одного слова.

— Рудинъ! Рудинъ!—кричалъ онъ на Зарницына: — все съ проповѣдями ходишь, на великое служеніе всѣхъ подбиваешь: мать Гракховъ сыновей кормила, а ты, смотри, бабки слѣпой не умори голодомъ съ проповѣдями-то.

Докторъ, впрочемъ, бывалъ у Гловацкихъ гораздо рѣже, чѣмъ Зарницынъ и Вязмитиновъ: служба не давала ему

покоя и не позволяла засиживаться въ городѣ; къ тому же, онъ часто бывалъ въ такомъ мрачномъ расположеніи духа, что бѣгалъ отъ всякаго сообщества. Недобрые люди разсказывали, что онъ въ такія полосы пилъ мертвую и лежалъ ницъ на продавленномъ диванѣ въ своемъ кабинетѣ.

Когда докторъ заходилъ посидѣть вечерокъ у Гловацкихъ, тогда ужъ обыкновенно не читали, потому что у доктора всегда было что̀ вытащить на свѣтъ изъ грязной, но не безынтересной ямы, именуемой провинціальною жизнью.

Если же къ этому собранію еще присоединялся дьяконъ и его жена, то тогда и пѣли, и спорили, и немножко безобразничали.

Кромѣ того, иногда самымъ неожиданнымъ образомъ заходили такіе жаркіе и такіе безконечные споры, что Петръ Лукичъ прекращалъ ихъ, поднимаясь со свѣчою въ рукѣ и провозглашая: «любезные мои гости! жалѣя ваше безцѣнное для васъ здоровье, никакъ не смѣю васъ болѣе удерживать»,—и всѣ расходились.

Вообще это былъ кружокъ очень короткихъ и очень другъ къ другу не взыскательныхъ людей.

Подобные кружки сепаратистовъ въ описываемую нами эпоху встрѣчались довольно нерѣдко и составляли совершенно новое явленіе въ уѣздной жизни.

Людей, входившихъ въ составъ этихъ кружковъ, связывала не солидарность матеріальныхъ интересовъ, а единственно сочувствіе совершающемуся пробужденію, общая радость каждому шагу общественнаго преуспѣянія и искреннее желаніе всѣхъ золъ прошедшему.

Поэтому короткость тогдашнихъ сепаратистовъ не парализировалась наступательными и оборонительными диверсіями, разъединившими *новыхъ людей* впослѣдствіи, и была совершенно свободна отъ нравственной нечисти и растлѣнія, вносимыхъ съ короткостью людей отходившей эпохи.

Тутъ все имѣло только свое значеніе. Было много вѣры другъ въ друга, много простоты и снисходительности, которыхъ не было у отцовъ, занимавшихъ соотвѣтственныя соціальныя амплуа, и нѣтъ у дѣтей, занимающихъ амплуа даже гораздо выгоднѣйшія для водворенія простоты и правды житейскихъ отношеній.

Уѣздный l'ancienne régime не могъ понять настоящихъ причинъ дружелюбія и короткости кружка нашихъ знакомыхъ.

Дождется, бывало, Вязмитиновъ смѣны уроковъ, идетъ къ Евгеніи Петровнѣ и молча садится противъ нея по другую сторону рабочаго столика.

Женни тоже молча взглянетъ на него своимъ ласковымъ взглядомъ и спроситъ:—Усталъ?

— Усталъ,—отвѣтитъ Вязмитиновъ.

— Не хотите ли чашку кофе, или водочки? — спроситъ Женни, попрежнему не отрывая глазъ отъ работы.

— Нѣтъ, не хочу; я такъ пришелъ отдохнуть и посмотрѣть на васъ.

Перекинутся еще десяткомъ простыхъ, малозначащихъ словъ и разойдутся до вечера.

— Евгенія Петровна! — восклицаетъ, влетая спѣшнымъ шагомъ, красивый Зарницынъ.

— Ахъ! что̀ такое сотворилось! — улыбаясь и поднимая тѣ же ласковые глаза, спрашиваетъ Женни всегда немножко рисующагося и увлекающагося учителя.

— Умираю, Евгенія Петровна.

— Какая жалость!

— Вамъ жаль меня?

— Да какъ же?

— Читать некому будетъ?

— Да, и суетиться некому станетъ.

— Ахъ, Евгенія Петровна!—дѣлая жалкую рожицу, восклицаетъ учитель.

— Вѣрно, водочки дать?

— Съ грибочкомъ, Евгенія Петровна.

Женни засмѣется, положитъ работу и идетъ съ ключами къ завѣтному шкапику, а за ней въ самой почтительной позѣ идетъ Зарницынъ за полученіемъ изъ собственныхъ рукъ Женни рюмки травничку и маринованныхъ грибковъ на чайномъ блюдцѣ.

— Пошелъ, пошелъ, баловникъ, на свое мѣсто,—съ шутливою строгостью ворчитъ, входя, Петръ Лукичъ, относясь къ Зарницыну.—Звонокъ прозвонилъ, а онъ тутъ угощается. Что̀ ты его, Женни, не гоняешь въ классы?

Возьметъ Гловацкій педагога тихонько за руку и ведетъ къ двери, у которой тотъ проглатываетъ послѣдніе грибки и бѣжитъ внушать уравненія съ двумя неизвѣстными, а Женни подаетъ закуску отцу и снова садится подъ окно къ своему столику.

Докторъ пойдетъ въ городъ, и куда бы онъ ни шелъ, все ему смотрительскій домъ на дорогѣ выйдетъ. Забѣжитъ на минутку, все, говоритъ, некогда, все торопится, да и просидитъ битый часъ противъ работающей Женни, разсказывая ей, какъ многимъ худо живется на бѣломъ свѣтѣ и какъ имъ могло бы житься совсѣмъ иначе, гораздо лучше, гораздо свободнѣе.

И ни разу онъ не вскипятится, разсуждая съ Женей, ни разу не впадетъ въ свой обыкновенно рѣзкій, раздражительный тонъ, а уходя, скажетъ:

— Дайте, Евгенія Петровна, поцѣловать вашу ручку.

Женни спокойно подаетъ ему свою бѣлую ручку, а онъ спокойно ее поцѣлуетъ и пойдетъ повеселѣвшій и успокоенный.

Гловацкая никогда не скучала и не тяготилась тихимъ однообразіемъ своей жизни. Напротивъ, она полюбила ее всѣмъ сердцемъ, и все ей было мило и понятно въ этой жизни. Она понимала и отца, и Вязмитинова, и доктора, и условія, въ которыхъ такъ или иначе боролись представлявшіеся ей люди, и осмыслена была развернутая передъ ея окномъ широкая страница вѣчной книги. Уйдутъ, бывало, ежедневные посѣтители, разсказавъ такой или другой случай, выразивъ ту или другую мысль, а эта мысль или этотъ разсказъ копошатся въ молодой головкѣ, складываются въ ней все опредѣленнѣе, формулируются стройно выраженнымъ вопросомъ и предстаютъ на строгій, безпристрастный судъ, не сходя съ очереди, прежде чѣмъ дождутся обстоятельнаго рѣшенія.

По колоссальной живой страницѣ, глядя на которую Евгенія Петровна задумала свои первыя дѣвичьи думы, текла тихая мелководная рѣчка съ некрутыми черноземными берегами. Берегъ, на которомъ стоялъ городъ, былъ еще нѣсколько круче, а противоположный берегъ уже почти совсѣмъ отлогъ, и съ него непосредственно начиналась огромная, кажется, только въ одной просторной Россіи возможная, пойменная луговина. Разстилалась эта луговина по тотъ бокъ рѣчки на такое далекое пространство, что большая раскольничья деревня, раскинутая у предгорья, заканчивавшаго съ одной стороны луговую пойму, изъ города представлялась чѣмъ-то въ родѣ длиннаго обоза, или даже овечьяго стада. Вообще, низенькіе деревенскіе домики ка-

зались не выше луговыхъ кочекъ, усѣвшихся на переднемъ планѣ необъятнаго луга. А когда бархатная поверхность этого луга мало-по-малу сѣрѣла, клочилась и росла, деревня вовсе исчезала и только длинные журавли ея колодцевъ медленно и важно, какъ бы по собственному произволу, то поднимали, то опускали свои шеи, точно и въ самомъ дѣлѣ были настоящіе журавли, живыя, вольныя птицы Божьи, которыхъ не гнетъ за носъ къ землѣ веревка, привязанная человѣкомъ. По горѣ росли горохъ и чечевица, далѣе влѣво шелъ глубокій оврагъ съ красно-бурыми обрывами и совершенно черными впадинами, дававшими нѣкогда пріютъ смѣлымъ удальцамъ Степана Разина, сына Тимоѳеевича. Затѣмъ шелъ старый сосновый лѣсъ, густою, черно-синею щеткою покрывавшій гору и уходившій по ней подъ самое небо; а къ этому лѣсу, кокетливо поворачиваясь то въ ту, то въ другую сторону, подбѣгала мелководная рѣчечка, заросшая по загибинамъ то звонкимъ красноватымъ тростникомъ, махавшимъ своими переломленными листочками, то зелено-синимъ початникомъ. Много этого початника росло по мелководной рѣчкѣ Саванкѣ. Вымечется этотъ початникъ и славно смотрѣть на него издали. На однихъ стебляхъ качаются развѣсистыя кисточки съ какими-то красными узелками, точно деревенскія молодки въ бахромчатыхъ повязкахъ. А на другихъ стебляхъ все высокіе, черные, бархатистые султаны; ни-дать-ни-взять, тѣ прежніе султаны, что высоко стояли и шатались на высокихъ гренадерскихъ шапкахъ. Смирно стоятъ въ воздухѣ гордые, статные гренадеры въ высокомъ, синемъ ситникѣ, и только болѣе шаткія, спрятавшіяся въ томъ же ситникѣ молодочки кокетливо потряхиваютъ своими бахромчатыми, красноватыми повязочками. А дунетъ вѣтерокъ, гренадеры зашатаются съ какими-то рѣшительными намѣреніями, повязочки суетливо метнутся изъ стороны въ сторону, и все это вдругъ пригнется, юркнетъ въ густую чащу початника; наверху не останется ни повязочки, ни султана, и только синія лопасти холостыхъ стеблей шумятъ и передвигаются, будто давая кому-то мѣсто, будто сговариваясь о секретѣ, и стараясь что-то укрыть отъ звонкаго тростника, вѣчно шумящаго своими болтливыми листьями. Пронесется тучка, сбѣжитъ вѣтерокъ и изъ густой травы снова выпрыгиваютъ гренадерскіе султаны, и

за ними лѣниво встаютъ и застѣнчиво отряхиваются бахромчатыя повязочки.

Видъ этотъ измѣнялся нѣсколько разъ въ годъ. Онъ не похожъ былъ на наше описаніе раннею весною, когда вся пойма покрывалась мутными водами разлива; онъ иначе смотрѣлъ послѣ Петрова дня, когда по поймѣ лежали густые ряды буйнаго сѣна; иначе еще позже, когда по убранному лугу раздавались то тихое ржанье сосуночка, то неистово-страстный храпъ спутаннаго жеребца и дѣтскій крикъ малолѣтняго табунщика. Еще иначе все это смотрѣло позднею осенью, когда пойма чернѣла и покрывалась лужами, когда черные, бархатные султаны становились бѣлыми, сѣдыми, когда между ними уже не мелькали бахромчатыя повязочки и самый ситникъ валился въ воду, совершенно обнажая подопрѣвающія цибастыя ноги гренадеръ. Дулъ сѣдовласый Борей, и картина вступала въ свою послѣднюю смѣну: пойма блестѣла бѣлымъ снѣгомъ, деревня рѣзко обозначалась у подгорья, оврагъ постепенно исчезалъ подъ нивелирующею рукою пушистой зимы и просвирнины гуси, съ глупою важностью, дѣлали своей променадъ черезъ окаменѣвшую рѣку. Рѣдкій изъ сѣдыхъ гренадеровъ достоитъ до этого суроваго времени и, совершенно потерявшись, ежится бѣднымъ инвалидомъ до тѣхъ поръ, пока просвирнина старая гусыня подойдетъ къ нему, дернетъ для своего развлеченія за вымерзлую ногу и броситъ на потѣху холодному вѣтру.

Въ смотрительскомъ флигелѣ всѣ спали тихимъ, но крѣпкимъ сномъ, когда меревскій Нарцисъ заколотилъ кнутовищемъ въ наглухо-запертыя ворота.

Черезъ полчаса послѣ этого стука, кухарка, зѣвая и крестясь, вошла со свѣчою въ комнату Евгеніи Петровны.

Дѣвушку какъ громомъ поразило извѣстіе о неожиданномъ и странномъ пріѣздѣ Лизы въ Мерево. Протянувъ инстинктивно руку къ лежавшему на стулѣ возлѣ ея кровати ночному шлафору, она совершенно растерялась и не знала, что̀ ей дѣлать.

— Прочитайте, матушка, письмо-то, — сказала ей Пелагея.

Женни бросила шлафоръ и, сидя въ постели, развернула запечатанное письмо доктора.

«Спѣшите какъ можно скорѣе въ Мерево, — писалъ док-

торъ. — Ночью неожиданно пріѣхала Лизавета Егоровна, больная, разстроенная и перезябшая. Мы ее ни о чемъ не разспрашивали, да это, кажется, и не нужно. Я останусь здѣсь до вашего пріѣзда и даже долѣе, если это будетъ необходимо; но, во всякомъ случаѣ, она очень потрясена нравственно, и вы теперь для нея всѣхъ нужнѣе.

Д. Розановъ».

Черезъ часъ Женни сѣла въ отцовскія сани. Около нея лежалъ узелокъ съ бѣльемъ, платьемъ и кое-какой домашней провизіей.

Встревоженный Петръ Лукичъ проводилъ дочь на крыльцо, перекрестилъ ее, велѣлъ Яковлевичу ѣхать поскорѣе и, возвратясь въ залу, началъ накручивать опустившіяся гири стѣнныхъ часовъ.

На дворѣ брезжилось и стоялъ жестокій крещенскій морозъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Утро мудренѣе вечера.

Въ одиннадцать часовъ довольно ненастнаго зимняго дня, наступившаго за бурною ночью, въ которую Лиза такъ неожиданно появилась въ Мерево, въ бахаревской сельской конторѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ ночью спалъ докторъ Розановъ, теперь весело кипѣлъ не совсѣмъ чистый самоваръ. Около самовара стояли четыре чайныя чашки, чайникъ, съ обдѣланнымъ въ олово носикомъ, молочный кубанъ съ нѣсколько замерзшимъ сверху настоемъ, бумажные сверточки чаю и сахару и связка баранокъ. Далѣе еще что-то было завязано въ салфеткѣ.

За самоваромъ сидѣла Женни Гловацкая, а напротивъ ея докторъ и Помада.

Женни хозяйничала.

Она была одѣта въ темно-коричневый ватошникъ, ловко подпоясанный лакированнымъ поясомъ и застегнутый спереди большими бархатными пуговицами, нашитыми отъ самаго воротника до самаго подола; на плечахъ у нея былъ большой сѣрый платокъ изъ козьяго пуха, а на головѣ бѣленькій фламандскій чепчикъ, красиво обрамлявшій своими оборками ея прелестное, разгорѣвшееся на морозѣ личико и завязанный у подбородка двумя широкими бѣлыми лопастями. Густая черная коса въ нѣсколькихъ мѣстахъ выглядывала изъ-подъ этого чепца буйными кольцами.

Евгенія Петровна была восхитительно хороша въ своемъ дорожномъ неглиже, и прелесть впечатлѣнія, производимаго ея присутствіемъ, была тѣмъ обаятельнѣе, что Женни нимало этого не замѣчала.

Прелесть эту зато ясно ощущали докторъ и Помада, и вліяніе ея на каждомъ изъ нихъ выражалось по-своему.

Евгенія Петровна пріѣхала уже около полутора часа назадъ и успѣла разспросить доктора и Помаду обо всемъ, что̀ они знали насчетъ неожиданнаго и страннаго прибытія Лизы.

Свѣдѣнія, сообщенныя ими, разумѣется, были очень ограниченны и нимало не удовлетворили безпокойнаго любопытства дѣвушки.

Теперь уже около получаса они сидѣли за чаемъ и всѣ молчали.

Женни находилась въ глубокомъ раздумьѣ; молча она наливала подаваемые ей стаканы и молча передавала ихъ доктору или Помадѣ.

Помада пилъ чай очень медленно, хлебая его ложечкою, а докторъ съ какимъ-то неестественнымъ аппетитомъ выпивалъ чашку за чашкою и давилъ въ ладоняхъ довольно черствыя уѣздныя баранки.

— Хорошо ли это, однако, что она такъ долго спитъ?— спросила, наконецъ, шопотомъ Женни.

— Ничего, пусть спитъ, — отвѣчалъ докторъ, и опять подалъ Гловацкой опорожненную имъ чашку.

Въ контору вошла птичница, а за нею черезъ порогъ двери клубомъ перекатилось сѣдое облако холоднаго воздуха и поползло по полу.

— Лѣкаря спрашиваютъ, — проговорила птичница, относясь ко всей компаніи.

— Кто?—спросилъ докторъ.

— Генеральша прислали.

— Что ей?

— Просить велѣла безпремѣнно.

— Что̀ бы это такое? — проговорилъ докторъ, глядя на Помаду.

Тотъ пожалъ, въ знакъ совершеннаго недоумѣнія, плечами и ничего не отвѣтилъ.

— Скажи, что буду, — рѣшилъ докторъ и махнулъ бабѣ рукою на дверь.

Птичница медленно повернулась и вышла, снова впустивъ другое, очередное облако стоявшаго за дверью холода.

— Больна она, что ли?—спросилъ докторъ.

— Не знаю,—отвѣчалъ Помада.

— Ты же вчера набиралъ тамъ вино и прочее.

— Я у ключницы выпросилъ.

За тонкою тесовою дверью скрипнула кровать.

Общество молча взглянуло на перегородку и внимательно прислушивалось.

Лиза кашлянула и еще разъ повернулась.

Гловацкая встала, положила на столъ ручникъ, которымъ вытирала чашки, и сдѣлала два шага къ двери, но докторъ остановилъ ее.

— Подождите, Евгенія Петровна, — сказалъ онъ. — Можетъ-быть, это она во снѣ ворочается. Не мѣшайте ей: ей сонъ нуженъ. Можетъ-быть, за все это она однимъ сномъ и отдѣлается.

Но вслѣдъ за симъ Лиза снова повернулась и проговорила:

— Кто тамъ шепчется? Пошлите ко мнѣ, пожалуйста, какую-нибудь женщину.

Гловацкая тихо вошла въ комнату.

— Здѣсь лампада гаснетъ и такъ воняетъ, что мочи нѣтъ дышать, — проговорила Лиза, не обращая никакого вниманія на вошедшую.

Она лежала, обернувшись къ стѣнѣ.

Женни встала на стулъ, загасила догоравшую лампаду, а потомъ подошла къ Лизѣ и остановилась у ея изголовья.

Лиза повернулась, взглянула на своего друга, откинулась назадъ и, протянувъ обѣ руки, радостно воскликнула:

— Женька! какими это судьбами?

Подруги нѣсколько разъ кряду поцѣловались.

— Какъ ты это узнала, Женька? — спрашивала между поцѣлуями Лиза.

— Мнѣ дали знать.

— Кто?

— Докторъ записку прислалъ.

— А ты и пріѣхала?

— А я и пріѣхала.

— Гадкая ты моя ледышка, — съ навернувшимися на глазахъ слезами сказала Лиза и, схвативъ Женину руку, жарко ее поцѣловала.

Потомъ обѣ дѣвушки снова поцѣловались и обѣ повеселѣли.

— Ну, чаю теперь хочешь?

— Давай, Женни, чаю.

— А одѣваться?

— Я такъ напьюсь, въ постели.

— А мужчины?—прошептала Женни.

— Что жъ, я въ порядкѣ. Зашпиль мнѣ кофту, и пусть придутъ.

— Господа,—крикнула она громко:—не угодно ли вамъ придти ко мнѣ. Мнѣ что-то вставать не хочется.

— Очень, очень угодно,—отвѣчалъ входя докторъ и поцѣловалъ поданную ему Лизою руку.

За нимъ вошелъ Помада и, по примѣру Розанова, тоже приложился къ Лизиной ручкѣ.

— Вотъ теплая простота и фамильярность! — смѣясь замѣтила Лиза:—патріархальное лобызаніе ручекъ!

— Да; у насъ по-деревенски,—отвѣтилъ докторъ.

Помада только покраснѣлъ, и голова потянула его въ уголъ.

Женни вышла въ контору налить Лизѣ чашку чаю.

— Ну, а о здоровьѣ, кажется, слава Богу, нечего спрашивать?—шутливо произнесъ докторъ.

— Кажется, нечего: совсѣмъ здорова,—отвѣчала Лиза.

— Дайте-ка руку.

Лиза подала руку.

— Ну, передразнитесь теперь.

Лиза засмѣялась и показала доктору языкъ.

— Все въ порядкѣ,—произнесъ онъ, опуская ея руку:—только вотъ что̀ это у васъ глаза?

— Это у меня давно.

— Болятъ они у васъ?

— Да. При огнѣ только.

— Отчего же это?

— Докторъ Майеръ говорилъ, что отъ чтенія по ночамъ.

— И что̀ же дѣлалъ съ вами этотъ почтенный докторъ Майеръ?

— Не велѣлъ читать при огнѣ.

— А вы, разумѣется, не послушались?

— А я, разумѣется, не послушалась.

— Напрасно,—тихо сказалъ Розановъ и всталъ.

— Куда вы? — спросила его Женни, входившая въ это время съ чашкою чая для Лизы.

— Пойду къ Меревой. Мое мѣсто у больныхъ, а не у здоровыхъ, — произнесъ онъ съ комическою важностью на лицѣ и въ голосѣ.

— Когда бываетъ вамъ грустно, докторъ? — смѣясь спросила Гловацкая.

— Всегда, Евгенія Петровна, всегда и, можетъ-быть, теперь болѣе, чѣмъ когда-нибудь.

— Этого, однако, что-то не замѣтно.

— А зачѣмъ же, Евгенія Петровна, это должно быть замѣтно?

— Да такъ... прорвется...

— Да, прорваться-то прорвется, только лучше пусть не прорывается. Пойдемъ-ка, Помада!

— Куда жъ вы его-то уводите?

— А нельзя-съ; онъ долженъ идти читать свое чистописаніе будущей графинѣ Бутылкиной. Пойдемъ, братъ, пойдемъ, — настаивалъ онъ, взявъ за рукавъ поднявшагося Помаду: — пойдемъ, отдѣлаешься скорѣе, да и къ сторонѣ. Въ городъ вмѣстѣ махнемъ къ вечеру.

Дѣвушки остались вдвоемъ.

Долго онѣ обѣ молчали.

Спокойствіе и веселость снова слетѣли съ лица Лизы. бровки ея насупились и какъ будто ломались посерединѣ.

Женни сидѣла, подперши голову рукою, и, не сводя глазъ. смотрѣла на Лизу.

— Что жъ такое было? — спросила она ее наконецъ. — Ты разскажи, тебѣ будетъ легче, чѣмъ такъ. Сама супишься, мы ничего не понимаемъ: что́ это за положеніе?

Лиза молчала.

— Исторія была? — спросила, спустя нѣсколько минутъ, Гловацкая.

— Да.

— Большая?

— Нѣтъ.

— Скверная?

— То-есть, какая скверная? Въ какомъ смыслѣ?

— Ну, непріятная?

— Да; разумѣется, непріятная.

— У васъ дома?

— Нѣтъ.

— Гдѣ же?

— У губернатора на балѣ.

— Ты была на балѣ.

— Была. Это третьяго дня было.

— Ну, и что жъ такое?

— И вышла исторія.

— Изъ-за чего же?

— Изъ-за вздора, изъ глупости, изъ-за тебя, изъ-за чего ты хочешь... Только я объ этомъ нимало не жалѣю, — добавила Лиза, подумавъ.

— И изъ-за меня!

— Да, и изъ-за тебя частію.

— Ну, говори же, что̀ именно это было и какъ было?

— Я вѣдь тебѣ писала, что я довольно счастлива, что мнѣ не мѣшаютъ сидѣть дома и не заставляютъ являться ни на вечера, ни на балы?

— Ну, писала.

— Недавно это почему-то вдругъ все измѣнилось. Какъ начались выборы, мать рѣшила, что мнѣ невозможно оставаться дома, что я непремѣнно должна выѣзжать. По этому поводу шелъ цѣлый рядъ отвратительно нѣжныхъ трагикомедій. Чтобы все кончить, я уступила и стала ѣздить. Третьяго дня злая-презлая я поѣхала на балъ съ матерью и съ Софи. Одѣвая меня, мнѣ турчала въ голову няня, и тутъ, между прочимъ, я имѣла удовольствіе узнать, что мною «антересуется» этотъ молодой богачъ Игинъ. Дорогою мать запѣла. Пѣла, пѣла и допѣлась опять до Игина. Злость меня просто душила. Входимъ: въ дверяхъ встрѣчаютъ Канивцовъ и Игинъ. Канивцовъ за Софи, а тотъ берется за меня. Мнѣ стало скверно, я ему сказала какую-то дерзость. Онъ отошелъ. Зоветъ меня танцовать—я не пошла. Мать выговоръ. Я увидала, что въ одной залѣ дамы играютъ въ лото и усѣлась съ ними, чтобы избавиться отъ всевозможныхъ приглашеній. Мать совсѣмъ надулась. «Иди, говоритъ, порѣзвись, потанцуй». Я поблагодарила и говорю, что я въ выигрышѣ, что мнѣ очень везетъ, что я хочу испытать мое счастье. Мать еще болѣе надулась. Передъ ужиномъ я отошла съ Зининымъ мужемъ къ окну; стоимъ за занавѣской и болтаемъ. Онъ разсказывалъ, какъ дворяне сговаривались забаллотировать предводителя, и вдругъ

всѣ единогласно его выбрали снова, посадили на кресла, подняли, понесли по залѣ и, остановясь передъ этой дурой, предводительшей, которая сидѣла на хорахъ, ни съ того, ни съ сего тамъ что-то заорали, ура, или рады стараться.

— Ты сошлась съ Зининымъ мужемъ?—спросила Женни.

— Да. Онъ совсѣмъ не дурной человѣкъ и поумнѣе многихъ. Ну,—продолжала она, послѣ этого отступленія:—болтаемъ мы стоя, а за колонной, совсѣмъ почти возлѣ насъ начинается разговоръ, и слышу то мое, то твое имя. Это ораторствовалъ тотъ бѣлобрысый губернаторскій адъютантъ: «я, говоритъ, ее еще лѣтомъ видѣлъ, какъ она только изъ института ѣхала. Съ нею тогда была еще пріятельница, дочь какого-то смотрителя. Прелесть, батюшка, разсказываетъ, что̀ такое. Бѣлая, стройная, коса, говоритъ, такая, глаза такіе, шея такая, а плечи, плечи...»

Женни вспыхнула и прошептала: «какой дуракъ!»

— Ну, словомъ, точно лошадь тебя описываетъ, и вдобавокъ, «та, говоритъ, совсѣмъ не то, что эта; та (т. е. ты-то) совсѣмъ глупенькая...» Фу, чортъ возьми! думаю себѣ, что же это за наглецъ. А Игинъ его и спрашиваетъ (онъ все это Игину разсказывалъ): «А какого вы мнѣнія о Бахаревой?» «Такъ, говоритъ, дѣвочка ничего, смазливенькая, *годится*». Слышишь, *годится?* Годится! Ну, знаешь, что̀ это у нихъ значитъ, на ихъ скотскомъ языкѣ... Это подлость... «А объ умѣ ея, о характерѣ, что̀ вы думаете?» опять спрашиваетъ Игинъ. «Ничего; она, говоритъ, не дура, только избалована, много о себѣ думаетъ, первой умницей себя, кажется, считаетъ».—И сейчасъ же разсуждаетъ: «Но вѣдь это, говоритъ, пройдетъ; это тамъ, въ институтѣ, да дома легко прослыть умницею-то, а въ свѣтѣ какъ разъ да два щелкнуть хорошенько по курносому носику-то, такъ и опуститъ хохолъ». Можешь ты себѣ вообразить мое положеніе! Но стою, молчу, а онъ еще далѣе разъѣжаетъ: «я, говоритъ, если бы она мнѣ нравилась, однако, не побоялся бы на ней жениться. Я умѣю ихъ школить. Имъ только не надо давать потачки, такъ онѣ шелковыя станутъ. Я бы ее скоро молчать заставилъ. Я бы ее то, да я бы ее то заставилъ дѣлать»— только и слышно... Ну, ничего.—За ужиномъ я сѣла между Зиной и ея мужемъ и ни съ кѣмъ постороннимъ не говорила. И простились, и вышло все это прекрасно, благополучно. Но ужъ въ передней, стали мы надѣвать шубы и сапоги,

вдругъ возлѣ насъ вырастаютъ Игинъ и адъютантъ. Народу ужасъ сколько; ничего не допросишься и не доищешься. Этотъ болванчикъ съ своими услугами. Приноситъ шубы и сапоги. Я взяла у него шубу и подаю ее своему человѣку: «подержи, говорю, Алексѣй, пожалуйста», и сама надѣваю. «Отчего жъ вы мнѣ не позволили имѣть эту честь?» вдругъ обращается ко мнѣ эта мразь.—«Какую, говорю, честь?»—«Подать вамъ шубу». Я совершенно холодно отвѣчала, что лакейскія обязанности, по моему мнѣнію, никому не могутъ доставить особенной чести.—Нѣтъ-таки неймется!—«Зато, говоритъ, въ иныхъ случаяхъ онѣ могутъ доставить очень большое удовольствіе»,—и самъ осклабляется. Даже жалокъ онъ мнѣ тутъ сталъ, и я такъ-таки, совсѣмъ безъ всякой злости, ему буркнула, что «это дѣло вкуса и натуры». А онъ, вообрази ты себѣ, вѣрно тутъ свою теорію насчетъ укрощенія нравовъ вспомнилъ; вдругъ принялъ на себя этакой какой-то смѣшной, даже вовсе не свойственный ему, серьезный видъ и этакимъ, знаешь, внушающимъ тономъ и такъ, что всѣмъ слышно, говоритъ: «извините, mademoiselle, я вамъ скажу франшеманъ, что вы слишкомъ рѣзки». Мнѣ припомнился въ эту секунду весь его пошлый разговоръ и хвастовство. Вся кровь моя бросилась въ лицо, и я ему также громко отвѣтила. «извините и меня, monsieur, я тоже скажу вамъ франшеманъ, что вы дуракъ».

И слушательница, и разсказчица разомъ расхохотались.

— Ай, ай, ай!—протянула Гловацкая, качая головой.

— Да, айкай, сколько угодно.

— Да какъ же это ты, Лиза?

— А что̀ же мнѣ было дѣлать? — раздражительно и съ гримасой спросила Бахарева.

— Могла бы ты иначе его остановить.

— Такъ лучше: одинъ пріемъ, и все кончено, и приставать болѣе не будетъ.

Женни опять покачала головой и спросила:

— Ну, а дальше что̀ же было?

— А дальше дома были обмороки, стенанія, крики «опозорила», «осрамила», «обезчестила» и тому подобное. Даже отецъ закричалъ и даже...

Лиза вспыхнула и добавила дрожащимъ голосомъ:

— Даже — толкнулъ меня въ плечо. Потомъ я цѣлую ночь проплакала въ своей комнатѣ; утромъ рано одѣлась и

пошла пѣшкомъ въ монастырь посовѣтоваться съ теткой. Думала упросить тетку взять меня къ себѣ, — тамъ мнѣ все-таки съ нею было бы лучше. Но потомъ опять пришло мнѣ на мысль, что и тамъ сахаръ, хоть и въ другомъ родѣ, да и отецъ, пожалуй, упрется, не пуститъ, а тутъ покачаловскій мужикъ Сергѣй ѣдетъ.—Овесъ, что-ли, провозилъ.— Я сѣла въ сани, да вотъ и пріѣхала сюда. Только чуть не замерзла дорогой, — даже оттирали въ Покачаловѣ. Одѣта была скверно. Но ничего,—это все пройдетъ, а ужъ зато теперь меня отсюда не возьмутъ.

— Ты здѣсь рѣшила жить?

— Рѣшила.

— Одна?

— Да, до лѣта, пока наши въ городѣ, буду жить одна.

— Что-жъ это такое, мой милый докторъ, значитъ?— выславъ всѣхъ вонъ изъ комнаты, разспрашивала у Розанова камергерша Мерева.

— А ничего, матушка, ваше превосходительство, не значитъ,—отвѣчалъ Розановъ:—семейное что-нибудь, разумѣется, во что и входить-то со стороны, я думаю, нельзя. Пословица говорится: «свои собаки грызутся, а чужія подъ столъ». О здоровьѣ своемъ не извольте безпокоиться: начнется изжога—магнезіи кусочекъ скушайте и пройдетъ, а намъ туда прикажите теперь прислать бульонцу, да кусочекъ мяса.

— Какъ же, какъ же, я ужъ распорядилась.

— Вотъ русская-то натура и въ аристократкѣ, а все свое беретъ! Прежде напой и накорми, а тогда и спрашивай.

— Ну, ужъ ты льстецъ, ты наговоришь,—весело шутила задобренная камергерша.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Изъ большой тучи маленькій громъ.

Вечеромъ, когда сумракъ сливаетъ покрытыя снѣгомъ поля съ небомъ, по направленію отъ Мерева къ уѣздному городу, ѣхали двое небольшихъ пошевней. Въ переднихъ саняхъ сидѣли Лиза и Гловацкая, а въ заднихъ—докторъ въ огромной волчьей шубѣ и Помада въ вытертомъ коти-

ковомъ тулупчикѣ, который, по милости своего страннаго фасона, назывался «халатикомъ».

Дорога была очень тяжкая, снѣжная и сверху опять порошилъ снѣжокъ.

— Хорошія дѣвушки, — проговорилъ Помада, какъ бы отвѣчая на свою долгую думу.

— Да, хорошія, — отвѣчалъ молчаливый до сихъ поръ докторъ.

Можно было полагать, что и его думы бродили по тому же тракту, по которому путались мысли Помады.

— А которая изъ нихъ по-твоему лучше? — спросилъ шопотомъ Помада, обернувшись лицомъ къ воротнику докторской шубы.

— А по-твоему, какая? — спросилъ, смѣясь, докторъ.

— Я, братъ, не знаю; не могу рѣшить. Я ихъ, просто, боюсь.

Докторъ разсмѣялся.

— Ну, которой же ты больше боишься?

— Обѣихъ, братецъ ты мой, боюсь.

— Ну, а которой больше-то? Все же ты которой-нибудь больше боишься.

— Нѣтъ, равно боюсь. Эта, просто, бѣдовая; говори съ ней, да оглядывайся; а та еще хуже.

Докторъ опять разсмѣялся самымъ веселымъ смѣхомъ.

— Ну, а въ которую ты сильнѣе влюбленъ? — спросилъ онъ шопотомъ.

— Н-ну! Чортъ знаетъ, что̀ болтаешь! — отвѣчалъ Помада, толкнувъ доктора локтемъ и, подумавъ, прибавилъ: — какъ ихъ полюбить-то?

— Отчего же?

— Да такъ. Передъ этой, какъ передъ грознымъ ангеломъ стоишь, а та такая чистая, что гдѣ ты ей человѣка найдешь. Какъ къ ней съ нашими-то грязными руками прикоснуться.

Докторъ задумался.

— Вы это что̀ о насъ съ Лизой распускаете, Юстинъ Феликсовичъ? — спрашивала на другой день Гловацкая входящаго Помаду.

Это было вечеромъ, за чайнымъ столомъ.

Помада покраснѣлъ до ушей и уронилъ свою студентскую фуражку.

Всѣ сидѣвшіе за столомъ разсмѣялись. А за столомъ сидѣли: Лиза, Гловацкій, Вязмитиновъ (сдѣлавшійся давно ежедневнымъ гостемъ Гловацкихъ), докторъ и сама Женни, глядѣвшая изъ-за самовара на сконфуженнаго Помаду.

— Оправься,—скомандовалъ докторъ:—ни о чемъ иномъ идетъ рѣчь, какъ о твоей боязни предъ Лизаветой Егоровной и Евгеніей Петровной. Проболтался, сердце мое,—прости.

— Да, да, Юстинъ Феликсовичъ, чего-жъ это вы насъ боитесь-то?

— Я не говорилъ.

— А, такъ вы, докторъ, и сочинять умѣете!

— Помада! и ты, честный гражданинъ Помада, не говорилъ?—Трусъ ты,—самообличенія въ тебѣ нѣтъ.

— Чѣмъ же мы такія страшныя?—приставала Женни, развеселившаяся сегодня болѣе обыкновеннаго.

— Чистотой!—рѣшительно отвѣтилъ Помада.

— Чѣ-ѣмъ?

— Чистотой.

Опять всѣ засмѣялись.

— Такъ насъ и любить нельзя?—спросила Женни.

— «Страшно васъ любить»,—проговорилъ Помада, оправляясь и воспоминая пѣсенку, нѣкогда слышанную имъ отъ цыганокъ въ Харьковѣ.

— И отлично, Помада. Бойтесь насъ, а то, въ самомъ дѣлѣ, долго ли до грѣха,—влюбитесь. Я вѣдь, говорятъ, недурна, а Женни красавица; вы же, по общему отзыву, Сердечкинъ.

— Кто это вамъ вретъ, Лизавета Егоровна?—ожесточенно и въ то же время сильно обиженно крикнулъ Помада.

— А-а! развѣ можно такъ говорить съ дѣвушками?

— Подлость какая!—воскликнулъ Помада опять такимъ оскорбленнымъ голосомъ, что докторъ счелъ нужнымъ скорѣе перемѣнить разговоръ и спросилъ:

— А въ самомъ дѣлѣ, что̀ же это, однако, съ вашими глазами, Лизавета Егоровна?

— Да болятъ?

— Такъ это не съ холоду только?

— Нѣтъ, давно болятъ.

— Ну, вы смотрите: это не шутка. Шутя этакъ, можно и ослѣпнуть.

— Я очень много читаю и не могу не читать. Это у меня какой-то запой. Что же мнѣ дѣлать?

— Я вамъ буду читать, — чистымъ и радостнымъ голосомъ вдругъ вызвался Помада.

И такъ счастливо, такъ преданно и такъ честно глядѣлъ Помада на Лизу, высказавъ свою просьбу заслонить ея больные глаза своими, что никто не улыбнулся. Всѣ только случайно взглянули на него, совсѣмъ съ хорошими чувствами, и лишь одна Лиза вовсе на него не взглянула, а небрежно проронила:—Хорошо, читайте.

— Дома всѣ? — крикнулъ изъ передней голосъ, заставившій вздрогнуть цѣлую компанію.

— Дома, и милости просимъ,—отвѣчалъ Гловацкій вставая и, взявъ со стола одну изъ двухъ свѣчекъ, пошелъ навстрѣчу гостю.

Лиза молча встала и пошла за Гловацкимъ.

Въ передней былъ Егоръ Николаевичъ Бахаревъ и Марина Абрамовна.

Когда Гловацкій освѣтилъ до сихъ поръ темную переднюю, Бахаревъ стоялъ, нагнувъ свою голову къ Абрамовнѣ, а она обивала своими бѣлыми, шерстяными вязенками съ синей надвязкой, густой слой снѣга, насѣвшаго въ воротникъ господской медвѣжьей шубы.

— Снѣжно, видно, стало?—спросилъ Гловацкій.

— Занесло, братъ, совсѣмъ,—отвѣчалъ Бахаревъ самымъ веселымъ тономъ.

«Ого!» подумалъ Петръ Лукичъ.

«Ого!» подумали прочіе, и всѣ повеселѣли.

— Здравствуйте! — говорилъ Бахаревъ, цѣлуя по ряду всѣхъ.—Здравствуй, Лизокъ!—добавилъ онъ, обнявъ, наконецъ, стоявшую Лизу, поцѣловалъ ее три раза и потомъ поцѣловалъ ея руку.

Возобновили чай. Разговоръ шелъ веселый и нимало не касался Лизы. Только Абрамовна поздоровалась съ нею нѣсколько сухо, тогда какъ Женни она расцѣловала и огладила ея головку.

— Кушай, няничка, — сказала Женни, подавая Абрамовнѣ въ свою спальню стаканъ чаю со сливками и большимъ ломтемъ домашней булки.

— Спасибо тебѣ, моя красавица,—отвѣчала Абрамовна и поцѣловала въ лобъ Женни.

— Кушай, няня, еще,—сказала Лиза, подавая Абрамовнѣ другой стаканъ.

— Не безпокойся, умница,—отвѣчала Абрамовна, отворачиваясь искать чего-то неположеннаго.

А Егоръ Николаевичъ разсказывалъ о выборахъ, шутилъ и вообще былъ веселъ, но избѣгалъ разговора съ дочерью.

Только, выходя изъ-за ужина, когда уже не было ни Розанова, ни Вязмитинова, онъ самъ заперъ за ними дверь и ласково сказалъ:

— Я тебѣ, Лиза, привезъ Марину. Тебѣ съ нею будетъ лучше... Книги твои тоже привезъ... и есть тебѣ какая-то записочка отъ тетки Агнесы. Куда это я ее сунулъ?.. Не знаю, что̀ она тебѣ тамъ пишетъ.

Старикъ вынулъ изъ бумажника письмо и подалъ его Лизѣ.

«Я на тебя сердита, Лиза,—писала мать Агнія племянницѣ.—Такихъ штукъ выкидывать нельзя, легкое ли дѣло, что̀ мы передумали? Развѣ это хорошо? Посмотри ты на своего отца, который хотѣлъ тебя избранить и связать, а потомъ, какъ ребенокъ, радъ летѣть къ тебѣ на старости лѣтъ. Я тебя нимало не защищала и теперь говорю съ тобою, какъ съ женщиною, одаренною умомъ и великодушіемъ. Я говорю съ тобою какъ съ *Бахаревою* (въ этомъ мѣстѣ Лиза сдѣлала гримаску, которую нельзя было истолковать въ пользу родовыхъ аргументацій матери Агніи). Посмотри ты на старика! Онъ вѣдь весь осунулся. Развѣ это можно такъ поступать, дитя мое? Онъ не только твой отецъ, но онъ еще старикъ, цѣлую жизнь честно исполнявшій то, что̀ ему казалось его человѣческимъ долгомъ. Ты боишься людской черноты и пошлости, бойся же, другъ мой, гадчайшаго порока въ жизни,—бойся пренебрежительности и нетерпимости, и, вѣрь или не вѣрь въ Бога, а вѣрь, что даже въ этой жизни есть неотразимый законъ возмездія, помни, что проклято то сердце, которое за любовь не умѣетъ заплатить даже состраданіемъ.

«Твоя тетка

инокиня *Агнія*».

«P. S. Никакого насилія, никакихъ рѣзкостей противъ тебя употреблено не будетъ, только не бунтуйся ты сама, Бога ради».

Прочитавъ это письмо, Лиза тщательно сложила его, сунула въ карманъ, потомъ встала, подошла къ отцу, поцѣловала его самого и поцѣловала его руку.

— Что? что, мой котенокъ?—спросилъ совсѣмъ расцвѣтшій старикъ.

— Я очень виновата передъ вами, папа.

— Да, кажется,—отвѣчалъ старикъ, смаргивая нервную слезу и притворяясь, что ему попалъ въ глаза дымъ.

— Но я не могла поступить иначе,—замѣтила Лиза.

— Ну, Богъ съ тобой, если не могла.

Лиза опять обезоружилась.

— Но все-таки я виновата,—простите меня.

Бахаревъ нагнулъ дочь къ себѣ и поцѣловалъ ее.

— Тетя пишетъ, что вы не будете меня принуждать... Позвольте мнѣ жить зиму въ деревнѣ.

— Да живи, живи! Я тебѣ нарочно Марину привезъ, и книги твои тебѣ привезъ. Живи, Богъ съ тобой, если тебѣ нравится.

Лиза снова расцѣловала отца, и семья съ гостями разошлась по своимъ комнатамъ. Бахаревъ пошелъ съ Гловацкимъ въ его кабинетъ, а Лиза пошла къ Женни.

Скоро все улеглось и заснуло.

Легко было всѣмъ засыпать, глядя вслѣдъ безпокоившей ихъ огромной тучѣ, изъ которой вышелъ такой маленькій громъ.

Только одинъ старикъ Бахаревъ часто вздыхалъ и ворочался, лежа на мягкомъ диванѣ въ кабинетѣ Гловацкаго.

Наконецъ, далеко за полночь, тоска его одолѣла: онъ всталъ, отыскалъ впотьмахъ свою трубку съ черешневымъ чубукомъ, раскурилъ ее и, тяжело вздохнувъ старою грудью, въ одномъ бѣльѣ присѣлъ въ ногахъ у Гловацкаго.

— Что ты не спишь? — спросилъ его пробудившійся Петръ Лукичъ.

— Не спится, Петруха,—растерянно отвѣчалъ старикъ.

— Перестань думать-то.

— Не могу, братъ. Жаль мнѣ ее, а никакъ ничего не пойму.

— Оставь времени дѣлать свое дѣло.

— Да что̀ оставлять, когда ничего не пойму! Вижу, что не права она, а жаль. И что̀ это такое? что̀ это такое въ ней?

— Нравъ, братъ, такой! стремленія...

— Да какія же стремленія?

— То-то: вѣкъ, идеи,—все это...

— Да что за идеи-то, ты мнѣ разъясни?

— Пытливость разума, ну, безпокойство... пройдетъ все.

Бахаревъ затянулся, освѣтилъ комнату разгорѣвшимся табакомъ, потомъ, спустивъ трубку съ колѣнъ, лѣниво, но съ особеннымъ тщаніемъ и ловкостью осадилъ большимъ пальцемъ правой ноги поднявшійся изъ нея пепелъ и, тяжело вздохнувъ, побрелъ неслышными шагами на диванъ.

— Я, Лизокъ, оставилъ Николаю Степановичу деньжонокъ. Если тебѣ книги какія понадобятся, онъ тебѣ выпишетъ, — говорилъ Бахаревъ, прощаясь на другой день съ дочерью.

— Очень благодарю васъ, папа.

— Да. Я заѣду въ Мерево, обряжу тебѣ залу и мой кабинетъ, а ты тутъ погости дня два-три, пока домъ отойдетъ.

— Хорошо-съ.

— Ну, будь здорова. А къ намъ побываешь? Побывай: я лошадей тебѣ оставлю. Будь же здорова; Христосъ съ тобою.

Бахаревъ перекрестилъ дочь и уѣхалъ, а Лиза осталась одна, самостоятельною госпожею своихъ поступковъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ пустомъ домѣ.

Вся наша знакомая уѣздная молодежь не много размышляла о положеніи Лизы, но всѣ были очень рады ея переселенію въ Мерево. Надѣялись безпрестанно видѣть ее у Гловацкихъ, разсчитывали вмѣстѣ читать, гулять, спорить и вообще разгонять, чѣмъ Богъ пошлетъ, утомительное semper idem уѣздной жизни.

А дѣло вышло совсѣмъ иначе.

Лиза какъ уѣхала въ Мерево, такъ тамъ и засѣла. Правда, въ два мѣсяца она навѣстила Гловацкую раза четыре, но и то, какъ говорится, пріѣзжала словно жару хватить. Пріѣдетъ утречкомъ, посидитъ, вытребуетъ къ себѣ Вязмитинова, сообщитъ ему свои желанія насчетъ книгъ и домой собирается.

— Что это съ тобой дѣлается, Лиза? — спрашивала ее Гловацкая: — я, просто, не узнаю тебя. Сердишься ты на меня, что ли?

— За что же мнѣ на тебя сердиться, — я нимало къ тебѣ не измѣняюсь.

— Чего же ты отъ насъ скрываешься?

— Я не скрываюсь.

— То, бывало, жалуешься, что нельзя къ намъ ѣздить, а теперь едва въ двѣ недѣли разъ глаза покажешь, да и то на одну минуту. Что̀ этому за причина?

— Какая же тутъ причина нужна? Мнѣ очень хорошо теперь у себя дома, я занимаюсь—вотъ и вся причина.

Женни и спрашивать ее перестала, а если, бывало, скажетъ ей, прощаясь: «пріѣзжай скорѣе, Лиза», то та отвѣтитъ «пріѣду», да и только.

— Что же Лизавета Егоровна?—спрашивали Гловацкую докторъ, Вязмитиновъ и Зарницынъ.

Женни краснѣла при этомъ вопросѣ. Ей было досадно, что Лиза такъ странно ставитъ дѣло.

— Ужъ не поссорились ли вы?—спрашивалъ ее нѣсколько разъ отецъ.

— Фуй, папа! что̀ вамъ за мысль пришла? — отвѣчала вся вспыхнувъ, Женни.

— То-то, я думаю, что̀ бы это сдѣлалось: были такіе друзья, а тутъ вдругъ и охладѣли.

Женни становилось обидно за свое чувство, безпричинно заподозрѣваемое по милости страннаго поведенія Лизы.

Это была первая непріятность, которую Женни испытала въ отцовскомъ домѣ.

Она попробовала съѣздить къ Лизѣ. Та встрѣтила ее очень привѣтливо и радушно, но Женни казалось, что и въ этой привѣтливости нѣтъ прежней теплоты и задушевности, которая ихъ связывала цѣлые годы ранней юности.

Женни старалась увѣрить себя, что это въ ней говоритъ предубѣжденіе, что Лиза точно та же, какъ и прежде, что это только въ силу предубѣжденія ей кажется, будто даже и Помада измѣнился.

Она не видала его почти два мѣсяца. Только разъ онъ прискакалъ въ городъ точно курьеръ съ запискою Лизы къ Вязмитинову, перемѣнилъ книги и опять улетѣлъ. Даже не присѣлъ и не раздѣлся.

— Некогда, некогда, — отвѣчалъ онъ на приглашеніе Женни хоть съѣсть что-нибудь и обогрѣться.

Даже къ доктору не зашелъ.

«Въ самомъ дѣлѣ, можетъ-быть, что-нибудь спѣшное», подумала тогда Женни и не обратила на это никакого вниманія.

Зато теперь, встрѣтивъ Помаду у одинокой Лизы, она нашла, что онъ какъ-то будто вышелъ изъ своей всегдашней колеи. Во всѣхъ его движеніяхъ замѣчалась при Лизѣ какая-то живость и нѣсколько смѣшная суетливость. Взошелъ смѣлой, но тревожной поступью, поздоровался съ Женей и сейчасъ же началъ докладъ, что онъ прочелъ Милля и сдѣлалъ отмѣтки.

— Вотъ мѣсто замѣчательное, — началъ онъ, положивъ передъ Лизою книжку, и, указывая костянымъ ножемъ на открытую страницу, заслонивъ ладонью ротъ, читалъ черезъ Лизино плечо: «Въ каждой цивилизованной странѣ число людей, занятыхъ убыточными производствами, или ничѣмъ незанятыхъ, составляетъ, конечно, пропорцію, болѣе чѣмъ въ двадцать процентовъ сравнительно съ числомъ хлѣбопашцевъ». Четыреста двадцать четвертая страница, — закончилъ онъ, закрывая книгу, которую Лиза тотчасъ же взяла у него и стала молча перелистывать.

Помада опять бросился къ кучкѣ принесенныхъ имъ книгъ и, открывъ «Русскій Вѣстникъ», говорилъ: «А тутъ вотъ...» Помада тревожно взглянулъ на необращавшую на него никакого вниманія Лизу и затихъ. Потомъ, дождавшись, какъ она отбросила перелистываемую ею книгу, опять началъ: «а тутъ вотъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» какой драгоцѣнный выводъ въ одной статьѣ.

«Статистика въ Англіи доказываетъ, что пьяницъ женщинъ въ пять разъ менѣе, чѣмъ мужчинъ. Вообще такъ приходится:

«Одинъ пьяница на семьдесятъ четыре мужчины.

«Одна на четыреста тридцать четыре женщины.

«Одинъ на сто сорокъ пять жителей обоего пола».

— Преинтересный выводъ!—воскликнулъ Помада и продолжалъ читать далѣе:—«Отношеніе, замѣчательно совпадающее съ отношеніемъ, существующимъ между преступниками обоихъ половъ, по которому мужескихъ преступниковъ ровно *въ пять разъ болѣе женскихъ*».

— Замѣчательный выводъ! — опять воскликнулъ Помада, окинувъ взоромъ всѣхъ присутствовавшихъ и остановивъ его на Лизѣ.

— Отложите мнѣ, я это буду читать, — небрежно проговорила Лиза.

— Все-то уже, прости Господи, пересчитали; оттого-то, видно, уже скоро и считать нечего станетъ, — произнесла кропотливо Абрамовна, убирая свою работу и отправляясь накрывать на столъ.

За обѣдъ Помада сѣлъ, какъ семьянинъ. И за столомъ, и послѣ стола до самой ночи, онъ чего-то постоянно тревожился, бросался и суетливо оглядывался, чѣмъ бы и какъ услужить Лизѣ. То наливалъ ей воды, то подавалъ скамейку, или, какъ только она сходила съ одного мѣста и садилась на другое, онъ переносилъ за нею ея платокъ, книгу и костяной ножикъ.

Женни нѣсколько разъ хотѣлось улыбнуться, глядя на это пажеское служеніе Помады, но эта охота у нея пропадала тотчасъ, какъ только она взглядывала на серьезное лицо Лизы и болѣзненно тревожную внимательность кандидата къ каждому движенію ея сдвинутыхъ бровей.

Женни осталась ночевать. Вечеромъ всѣ спокойно усѣлись на отоманахъ въ бахаревскомъ кабинетѣ.

Тутъ же сидѣла и Абрамовна. Убравъ чай, она надѣла себѣ на носъ большія очки, достала изъ шкапа толстый мотокъ нитокъ и, надѣвъ его на свои старческія колѣни, начала разматывать.

Мотокъ безпрестанно соскакивалъ, какъ только старуха чуть-чуть неловко дергала нитку.

— О, прахъ тебя побери! — восклицала Абрамовна каждый разъ послѣ такого казуса.

— Тебѣ неловко, няня?—спросила Женни.

— Какая тутъ ловкость, моя красавица!—отвѣчала сердясь старуха: — ничего нѣтъ, ни моталки, ничего, ничего. Заѣхали въ виръ-болото, да и куликуемъ.

— Дай я тебѣ подержу.

— Ну, что вздоръ! И такъ размотаю. Не къ спѣху дѣло, не къ смерти грѣхъ.

— Полно, няня, церемониться, давай,—перебила Женни, чувствуя, что ей самой нечего дѣлать, и, сѣвши противъ старухи, взяла мотокъ на свои руки.

Въ одиннадцать часовъ Лиза сказала:

— Поѣсть бы нужно, няня.

Няня молча вышла и принесла два очищенные копченые рыбца и масленку съ сливочнымъ масломъ.

— Огурца нѣтъ, няня?

— Нѣту, сударыня, не принесла.

— А нельзя принести?

— Будить-то теперь бабу, да въ погребъ-то посылать.

Помада вскочилъ и взялся за свою неизмѣнную фуражку.

— Куда вы?—спросила, надвинувъ брови, Лиза.

— Къ себѣ; я сейчасъ отъ себя принесу.

— Сдѣлайте одолженіе, успокойтесь; никто васъ не проситъ о такой любезности.

Помада сконфузился, но безпрекословно повиновался и положилъ фуражку.

Тотчасъ послѣ закуски онъ сталъ прощаться. Женни подала Помадѣ руку, а Лиза на его поклонъ только сухо проговорила:

— Прощайте.

Помада вышелъ. Въ эти минуты въ немъ было что-то страдальческое, и Женни очень не понравилось, какъ Лиза съ нимъ обращается.

— Что̀ ты имъ недовольна за что-нибудь?—спросила она.

— Нисколько. Отчего это тебѣ показалось?

— Да что̀ за пренебреженіе такое въ обращеніи?

— Никакого пренебреженія нѣтъ: обращаюсь просто, какъ со всѣми. Ты меня извинишь, Женни, я хочу дочитать книгу, чтобы завтра ее съ тобой отправить къ Вязмитинову, а то нарочно посылать придется, — сказала Лиза, укладываясь спать и ставя возлѣ себя стулъ со свѣчкой и книгой.

— Пожалуйста, читай, — отвѣчала спокойно Женни, но въ душѣ ей это показалось очень обидно.

Дѣвушки легли на одной отоманкѣ, голова къ головѣ, а старуха напротивъ, на другомъ отоманѣ.

Она долго молилась передъ образомъ. Женни лежала молча и думала; Лиза читала. Абрамовна стояла на колѣняхъ. Въ комнатѣ было только слышно какъ шелестили листы.

— Что это, матушка! опять за свои книжечки по ночамъ берешься? Видно-таки хочется ослѣпнуть, — заворчала на Лизу старуха, окончивъ свою долгую вечернюю молитву.— Спать не хочешь,—продолжала она:—такъ хоть бы подруги-то постыдилась! Въ кои-то вѣки она къ тебѣ пріѣхала, а ты при ней чтеніемъ занимаешься.

— Перестань, няня; — я у Женни просила извиненія. Мнѣ надо кончить книгу.

— Ну, какъ не надо! Очень надобность большая,—къ спѣху вѣдь. Не все еще переглодала. Еще поищи по угламъ; не завалилась ли еще гдѣ какая... Ни дать, ни взять фараонская мышь,—что̀ ни попадетъ—все сгложетъ.

— Ахъ, какъ это, наконецъ, скучно! терпѣнья нѣтъ!—сказала Лиза, сдѣлавъ движеніе и швырнувъ на колѣни книгу; но тотчасъ же взяла ее снова и продолжала читать.

Далеко за полночь читала Лиза; няня крѣпко спала; Женни, подложивъ розовый локотокъ подъ голову, думала о Лизѣ, о матери, объ отцѣ, о дѣтскихъ годахъ, и опять о Лизѣ, и о теперешней перемѣнѣ въ ея характерѣ.

«Неужто она не добрая,—думала Женни:—неужто я въ ней ошибалась?»

И Женни сейчасъ же гнала отъ себя прочь эту мысль.

«Нѣтъ,—рѣшала она:—это случайность; она все такая же и любитъ меня... А странно,—размышляла Женни далѣе:—развѣ можно забыть человѣка для книги? Нельзя. Я бы этого никакъ не могла. «Не для книги, не для бумажной книги, а для живой, всемогущей, творческой мысли, для неугасимой жажды свѣта и правды; для нихъ уне есть человѣку погибнути», говорилъ ей другой голосъ. Да, но развѣ это необходимо? развѣ это даже нужно? Развѣ исканіе свѣта и правды становится труднѣе съ сердцемъ, согрѣтымъ животворною теплотою взаимности и сочувствія?..»

— Что, нашъ «*прахъ*» спитъ?—прошептала Лиза.

Веселое, что-то прежнее звучало Женни въ этомъ шопотѣ.

Гловацкая вскинула головку, а Лиза, облокотясь на подушку, держитъ у рта пальчикъ и другою рукою грозитъ ей, указывая на спящую старуху.

— Спитъ, думаешь?—еще тише спросила Лиза.

— Да, навѣрно.

— Давай, покуримъ.

— Я уже совсѣмъ отвыкла, но давай, покурю.

Лиза встала въ одной рубашкѣ, подошла неслышными шагами къ висѣвшему на гвоздѣ платью, вынула оттуда пачку съ папиросами и зажгла себѣ одну, а другую подала Женни.

— Зачѣмъ ты не куришь при ней?—прошептала Женни.

— Помилуй! начнетъ прибирать «прахъ», да «распрахъ», и конца нѣтъ.

— А добрая старуха.

— Добрѣйшая, но чудиха ужасная. Я ее иногда злю.

— Зачѣмъ ты это дѣлаешь? Не хорошо.

— Вѣдь она не сердится, — праховъ мнѣ насулитъ, и только.

Лиза весело засмѣялась тѣмъ беззвучнымъ смѣхомъ, которымъ женщины умѣютъ смѣяться, обманывая ворчливую мать или ревниваго мужа.

Дѣвушки лежали, облокотясь на подушки другъ противъ друга, и докуривали папироски. Женни внимательно глядѣла въ умненькіе глаза Лизы, смотрѣвшіе теперь, какъ глаза ручной птицы, и въ ея веселенькое личико, безпрестанно складывавшееся въ невинную улыбку надъ обманутой старушкой.

Наконецъ, оба лица стали серьезнѣе, и дѣвушки долго молча смотрѣли другъ на друга.

— Что̀ ты такъ смотришь, Женька? — спросила, вздохнувъ, Лиза.

— Я хотѣла тебя спросить, зачѣмъ ты стала меня чуждаться? — собиралась-было сказать Гловацкая, обрадованная добрымъ расположеніемъ Лизы, но прежде чѣмъ она успѣла выговорить вопросъ, возникшій въ ея головкѣ, Лиза погасила о подсвѣчникъ докуренную папироску и молча опустила глаза въ книгу.

Передъ Гловацкою уже опять не было прежней Лизы, передъ нею снова была Лиза, уязвившая ея чистое сердце впервые отверженнымъ безъ всякой вины чувствомъ.

Женни молча опустилась на подушку.

«Говорятъ, — думала она, стараясь уснуть: — говорятъ, нельзя опредѣлить момента, когда и отчего чувство зарождается,—а можно ли опредѣлить, когда и отчего оно гаснетъ? Приходитъ... уходитъ. Дружба придетъ, а потомъ уйдетъ. Всякая привязанность также: придетъ... уйдетъ... не удержишь. Одна любовь!.. та ужъ...» — «придетъ и уйдетъ», отвѣчалъ утомленный мозгъ, рѣшая послѣдній вопросъ вовсе не такъ, какъ его хотѣло рѣшить дѣвичье сердце Женни.

Но сердце ея не слыхало этого рѣшенія и тихо билось въ груди, обѣщавшей кому-то много-много хорошаго, прочнаго счастья.

Конецъ первой книги.

Оглавленіе

VIII ТОМА.

Некуда. Романъ въ трехъ книжкахъ.

Книга первая: Въ провинціи.

		стр.
I.	Тополь да березка	5
II	Кто ѣдетъ въ тарантасѣ	7
III.	Пріютъ безмятежный	10
IV	Мать Агнія	13
V.	Старое съ новымъ	15
VI.	Молодой пересадокъ	25
VII.	Въ ночной тишинѣ	37
VIII.	Родныя липы	40
IX.	Университетскій антикъ прошлаго десятилѣтія	49
X.	Лѣтнее утро	61
XI.	Колыбельный уголокъ	66
XII.	Прогрессивные люди уѣзднаго города	70
XIII.	Нежданный гость	76
XIV.	Семейная картинка въ Меревѣ	82
XV.	Перепилили	89
XVI.	Перчатка поднята	93
XVII.	Слово съ вѣсомъ	100
XVIII.	Слово воплощается	107
XIX.	Крещенскій вечеръ	114
XX.	За полночь	121
XXI.	Глава, нѣкоторымъ образомъ топографически-историческая	129
XXII.	Утро мудренѣе вечера	145
XXIII.	Изъ большой тучи маленькій громъ	153
XXIV.	Въ пустынномъ домѣ	159

Stanford University Libraries
3 6105 013 494 898

891.73
L711
ed.3a
v.5-8

JUN 6 1982

NOV 27 '82
JUL 26 '82

MAY 10 1987

JUN 6 - 1977
JUN 11 1987
JUL 9 - 1987

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.